

Теофиль Готье
(1811–1872)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Литературные Памятники



THÉOPHILE GAUTIER

FORTUNIO
•
LE ROI CANDAULE
•
LES ROUÉS INNOCENTS
•
MILITONA
•
PARTIE CARRÉE

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

В ДВУХ ТОМАХ



Том I

ФОРТУНИО

•

ЦАРЬ КАНДАВЛ

•

НЕВИННЫЕ РАСПУТНИКИ

•

МИЛИТОНА

•

ДВОЕ НА ДВОЕ

•

Издание подготовили
Н.Т. ПАХСАРЬЯН, Е.В. ТРЫНКИНА

Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Серия основана академиком *С.И. Вавиловым*

М.Л. Андреев, *В.Е. Багно* (заместитель председателя),
В.И. Васильев, *А.Н. Горбунов*, *Р.Ю. Данилевский*, *Н.Я. Дьяконова*,
Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), *Н.Н. Казанский*,
Н.В. Корниенко (заместитель председателя), *А.Б. Куделин* (председатель),
А.В. Лавров, *И.В. Лукьянец*, *Ю.С. Осипов*, *М.А. Островский*,
И.Г. Птушкина, *Ю.А. Рыжов*, *И.М. Стеблин-Каменский*,
Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), *А.К. Шапошников*,
С.О. Шмидт

Ответственный редактор
Н.Т. Пахсарьян

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Programme Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках программы
содействия издательскому делу «Пушкин»
при поддержке Французского института в России*

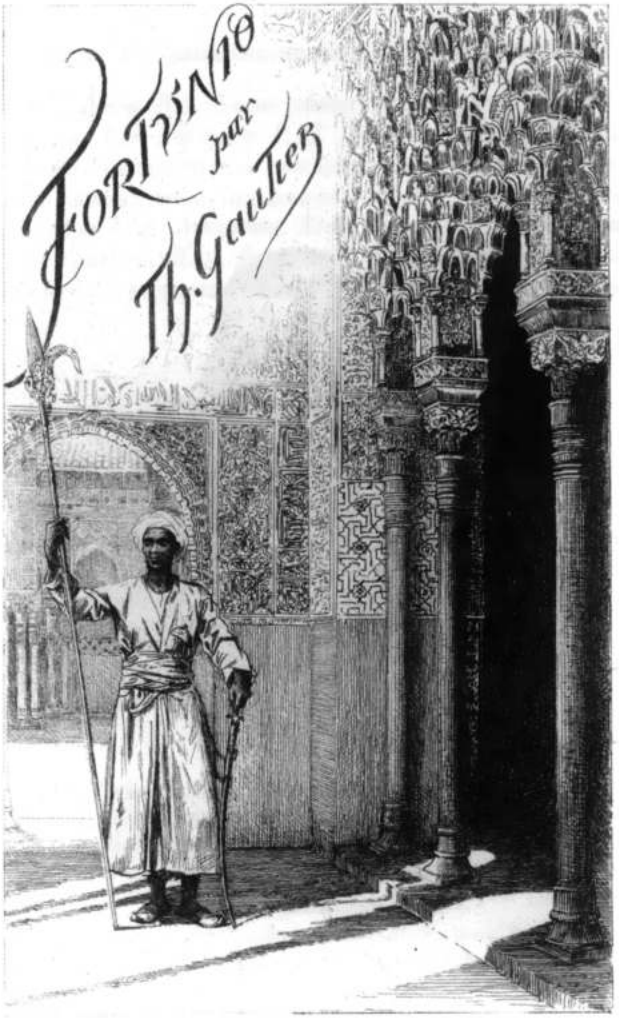
*Cet ouvrage, publié dans le cadre
du Programme d'aide à la publication Pouchkine,
a bénéficié du soutien de l'Institut français
de Russie*

© Н.Т. Пахсарьян. Статья, 2012.
© Е.В. Трынкина. Перевод, 2012.
© Примечания (см. Содержание), 2012.
ISBN 978-5-86218-504-1
© Научно-издательский центр «Ладомир», 2012.
ISBN 978-5-86218-497-6 (т. I)
© Российская академия наук. Оформление серии, 1948.

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается*



Теофиль Готье (1838 г.)


Fortunio
par
Th. Gautier



ФОРТУНИО







Предисловие

Уже давно все твердят о бесполезности предисловий, да только все не впрок. Считается, что читатели (да, такое вот амбициозное множественное число) быстро пролистывают их, не читая[1], — разумный довод, чтобы навеки отказаться от сочинения предисловий — однако что вы скажете, если некто, не поздоровавшись, остановит вас на улице, вцепится в пуговицу вашего фрака и пустится в бесконечное изложение всех подробностей личной жизни, как то: болезнь жены, школьные успехи сына, смерть любимой собачки, уход служанки или проигранная тяжба?

Хорошо воспитанный писатель для начала должен поприветствовать читателя и попросить у него прощения за собственную дерзость, за то, что отвлекает его от развлечений и забот ради каких-то своих несуразных историй. Поклонимся же почтеннейшей публике, чьи ожидания так часто бывали обмануты.

Мы можем построить теорию и на ее основе доказать, что наш роман во всех отношениях — лучший на свете. Ведь придумать правила написания

сочинений гораздо легче, чем писать по этим правилам. Многие великие люди избрали этот путь. Однако мы предпочтем не вспоминать об Аристотеле, Горации и Шлегеле[2], оставим в покое архитектонизм, эстетизм, эзотеризм и все прочие термины с величественным «*-изм*» на конце[3], из-за которых нынешние предисловия имеют столь отталкивающий вид.

Наверняка многие из тех мрачных типов, что прячутся за газетными фельетонами[4], спросят, в чем смысл и какова цель этой книги. В наш расчетливый век найдется немало «математиков», которые, посмотрев «Гофолию»[5], скажут: «И что это доказывает?» — Сей вопрос станет тем более правомерным по прочтении «Фортунио».

Увы! «Фортунио» ничего не доказывает — разве лишь то, что лучше быть богатым, чем бедным, как бы ни старался господин Казимир Бонжур и прочие убедить нас в противном[6], то есть в прелести скромного достатка.

«Фортунио» — гимн красоте, богатству и счастью, единственной троице, заслуживающей поклонения. Он прославляет золото, мрамор и пурпур. Одним словом, предупреждаем сентиментальных горничных: в нашей книге они не найдут сетований по поводу горькой разлуки, утраты иллюзий, сердечной тоски и прочих претенциозных пошлостей, большие дозы которых приводят к изнеможению и расслабленности современной молодежи. Пора покончить с литературными болезнями. Власть чахоточных осталась в прошлом. Духовность, несомненно, хорошая штука, но что она без тела? И вслед за славным Кризалем, чей мещанский здравый смысл заслуживает самой высокой оценки, мы скажем о нашей плоти: «Пусть ветошь, все равно — ценна мне эта ветошь»[7].

Найдутся такие, кто начнет кричать о неправдоподобности и невероятности, но они ошибутся: в «Фортунио» гораздо больше правды, чем во множестве других историй. И если нашим скаредным современникам кое-какая роскошь покажется чрезмерной или фантастической, мы сможем, в случае необходимости, указать соответствующие адреса, а маски, скрывающие персонажей, не настолько непроницаемы, чтобы не разглядеть за ними лица.

Следуя нашему обыкновению, мы с большой любовью, тщательно и добросовестно срисовывали с натуры апартаменты, мебель, наряды, женщин и лошадей, при этом мы очень мало добавляли от себя и лишь в тех случаях, когда того настоятельно требовала связность повествования. Все это не означает, что «Фортунио» — хорошая или занимательная книга, но можно смело утверждать, что в ней нет ничего поверхностного или продиктованного условностями.

Из этих строк ясно, сколь малую симпатию мы испытываем к романам с большими претензиями.

Если же целенаправленно искать в «Фортунио» аллегорический смысл, то чем наша главная героиня, Мюзидора[8], чье любопытство послужило косвенной причиной ее смерти, не современная Психея[9] — разумеется, за вычетом девственной чистоты и целомудренного неведения? Мы наделили Фортунио красотой и всяческими достоинствами, дабы он должным образом представлял Амура, но, по сути, он ничем не отличается от всех нас, ищущих в этой жизни свое недостижимое Эльдорадо[10].

Сенсимонисты вольны узреть в нашей книге символическое единение Запада и Востока[11], за которое они так давно ратуют; но, как сказал бы Фортунио:[12] «Разве может газ сравниться с солнцем?»[13]











Глава I

Джордж[1] давал ужин своим друзьям, не всем, конечно, так как друзей у него было две или три тысячи, а лишь некоторым львам и тиграм[2] из числа его домашних любимцев.

Званые ужины у Джорджа славились веселой изысканностью и тонкой чувственностью, поэтому получить приглашение на один из них почиталось за счастье; но милость эту заслужить было непросто, и мало кто мог похвастаться тем, что его имя неизменно стоит в списке избранных. Чтобы попасть в святилище, мужчине полагалось пройти огонь и воду и стать большим докой по части красивой жизни.

Что до женщин, то условия были еще строже: неоспоримая красота, прелестная порочность и не более двадцати лет от роду. Хотя на первый взгляд второе условие кажется легко выполнимым, можно догадаться, что на ужине у Джорджа собралось немного женщин. В тот вечер их было четыре, четыре великолепных породистых создания, четыре демона в ан-

гельском обличье со стальным сердцем в мраморной груди, Клеопатры[3] и Империи[4] с точеными ножками, самые очаровательные чудовища, каких только можно вообразить.

Вечер, имевший все основания быть исключительно приятным, не отличался бурным весельем. Интересные собеседники, стол выше всяческих похвал, вина хорошей выдержки, восхитительно молодые женщины, свечи ярче полуденного солнца — все необходимые слагаемые праздника соединились в одном месте как нигде и никогда, и, однако, на челе каждого из присутствовавших угадывалась траурная повязка недовольства. Даже Джордж едва скрывал раздражение и явно испытывал беспокойство, которое его гости, похоже, разделяли.

Они собирались поужинать после спектакля в Буффах[5], то есть около полуночи. Однако все заняли свои места, только когда стрелки великолепных часов Буля, стоявших на низкой, инкрустированной ракушками тумбе[6], подходили к часу.

Одно незанятое кресло указывало на то, что кто-то из приглашенных не сдержал своего слова.

Именно поэтому в начале ужина всем было не по себе из-за затянувшегося напрасного ожидания и перестоявших блюд; ибо в кухне, как и в любви, есть роковая минута, которую не следует упускать. Очевидно также, что опаздывавший нарушитель являлся весьма уважаемой персоной, ибо Джордж, гурман, достойный сравнения с самим Апицием[7], и четверти часа не стал бы ждать даже двух принцев крови.

— Разрази меня гром! — воскликнул Джордж, с силой сдавив похожий на колокольчик драгоценный бокал венецианского стекла[8] с витой ножкой в молочных разводах. Колокольчик разбился, и на скатерть вместо росы упали слезы старого рейнского вина[9], ценою превосходившие восточные жемчужины. — Уже час, а чертова Фортунио все нет!

Мюзидора, самая пикантная из четырех богинь, испустила прелестный вздох — жалобное воркование болящей голубки, в котором так и слышалось: «Меня ждет унылая ночь и ужасная скука, у молодых людей похоронный вид. Скверное начало».

Прекрасная малышка оказалась рядом с пустующим креслом, предназначенным для Фортунио, и потому чувствовала себя особенно одиноко.

Это место оставили для Фортунио как почетное, ибо Мюзидора принадлежала к высшему слою аристократии красоты; чтобы стать королевой, ей, несомненно, не хватало только скипетра, и, возможно, она получила бы его в поэтический век, в те старые добрые времена, когда короли женились на пастушках. Впрочем, нельзя поручиться, что она согласилась бы составить счастье законного короля. Сразу было видно, что ей очень скучно; она даже нарочито зевнула два-три раза: за этим столом ей никто

не нравился, и потому, забыв о кокетстве, она сидела с таким холодным и хмурым видом, как если бы была совсем одна.

Пока Фортунио не пришел, бросим взгляд на зал и на тех, кто в нем собрался.

Зал выглядит богато и величественно; дубовые панели с арабесками[10] из матового золота покрывают стены; изваяния детей и химер[11] поддерживают изысканный резной карниз, тянущийся по всему периметру; потолок пересекают покрытые орнаментом и резьбой балки, образующие кессоны:[12] в них на золотом фоне выделяются женские фигуры, написанные в готическом стиле, но более мягкой и свободной кистью. Простенки между окнами занимают столики и буфеты из крапленого мрамора[13] на ножках в виде серебряных дельфинов с причудливо изогнутыми хвостами и с золотыми глазами и плавниками. Столики заставлены посудой с гербами и сосудами невиданных форм с редкими напитками; тяжелые шторы из алого бархата с белым муаровым подбоем и золотой бахромой ниспадают на окна, затянутые цветным витражом, за окнами виднеются тройные ставни, которые не пропускают ни единого звука. Большой камин резного дерева стоит в глубине залы; по бокам от камина две кариатиды с тонкими шеями и округлыми бедрами, пышными, струящимися волосами и живыми лицами, достойными резца Жана Гужона или Жермена Пилона[14], подпирают своими плечами покрытую тонко, искусно выполненной листвой полку. Над ней сверкает высокое узкое венецианское зеркало в переливающейся всеми цветами радуги раме[15]. Целый лес пылает в устье этого огромного камина, обложенного внутри белым мрамором; роль подставок для дров исполняют два больших бронзовых дракона с когтистыми лапами. Три хрустальные люстры свисают с потолка подобно гигантским гроздьям диковинного винограда, а из стен торчат двенадцать бронзовых светильников, каждый в виде руки невольника, сжимающей букет причудливых цветов, из которых, как горящие пестики, выглядывают белые стрелки свечей. И в довершение роскоши над каждой дверью — прекрасные творения Тициана: в красноватой тени драпировок дивные Венеры и возлюбленные царей[16] гордо возлежат в своей божественной наготе в блеске страсти и теплом сиянии янтаря, и на лицах прелестниц блуждает самодовольная улыбка женщин, уверенных в том, что их красота неподвластна времени.

Граф Джордж чрезвычайно дорожит этими полотнами, он скорее отдаст двадцать столовых, подобных той, что мы описали, чем одну из своих картин; даже впав в нищету, хотя такое трудно себе представить, он лучше заложит портрет отца и обручальное кольцо матери, нежели расстанется со своим Тицианом. Он владеет многим, но гордится только им.

В середине просторной залы стоит огромный стол, покрытый скатертью с родовыми гербами, короной и девизом графа Джорджа; в центре стола возвышается плато[17] с чеканкой, на которой индусы верхом на слонах охотятся на тигра и крокодила; остальное пространство занимают тарелки из японского и старинного севрского фарфора[18], бокалы всевозможных форм, ножи из позолоченного серебра и прочие приборы, необходимые для трапезы. За столом сидят четыре проклятых ангела: Мюзидора, Арабелла[19], Феба[20] и Цинтия[21] — очаровательные девы, по-отечески выдрессированные самим великим Джорджем и прозванные «несравненными», а между ними — шестеро молодых людей, именно молодых, вопреки всем обыкновениям; на их гладких свежих лицах лежит печать уверенности, покоя и патрицианского апломба господ, получающих двести—триста тысяч чистого дохода в год и при этом носящих самые знатные имена Франции.

Джордж, как хозяин дома, развалился в большом кресле из кордовской кожи[22], гостям достались стулья поменьше. Эти стулья из эбенового дерева[23] причудливой формы, которая нынче получила название «мазарини»[24], обиты исключительно редкой шелковой тканью в вишневую и белую полоску.

Прислуживают гостям голые по пояс негритята в широких пунцовых шароварах со стеклянными бусами и золотыми кольцами на руках и ногах, подобные тем, что встречаются на пиршествах Паоло Веронезе[25]. Негритята снуют вокруг стола с обезьяньей ловкостью и наливают гостям самые дорогие вина Франции, Венгрии, Испании и Италии, но не из вульгарных стеклянных бутылок, а из флорентийских серебряных и позолоченных кувшинов чудесной работы. Несмотря на усердие и сноровку, у них нет ни минуты передышки.

Вдобавок к торжеству вкуса и поистине королевской роскоши представьте поток падающего на хрусталь, бронзу и позолоту света, столь яркого, что малейшая деталь вспыхивает и сияет; водопад лучей, вынуждающий тени прятаться под столом; ослепительную атмосферу, пронизанную радужными бликами и способную затмить блеск бриллиантов и любых глаз, кроме тех, конечно, что принадлежат прелестницам Мюзидоре, Арабелле, Фебе и Цинтии.

Справа от Джорджа, рядом с пустующим местом Фортунио, сидит Мюзидора, восемнадцатилетняя красавица с глазами цвета морской волны. Даже в самых смелых мечтах не вообразить более пленительного и невинного идеала, она столь чиста и нежна, что ее можно принять за живую иллюстрацию к «Любви ангелов» Томаса Мура[26]. Кажется, что свет исходит именно от нее и что это она освещает все вокруг. Волосы Мюзидоры ниспадают на плечи блестящими струями, они такие светлые, что поч-

ти сливаются с прозрачными тонами ее кожи; простой жемчужный ободок, похожий и на ленту и на диадему, поддерживает золотистые локоны, разделенные прямым пробором, и не дает им ни растрепаться, ни спутаться; они до того легки и шелковисты, что от малейшего дуновения взлетают и трепещут.

Ее бледно-зеленое платье с серебряной вышивкой подчеркивает идеальную белизну обнаженной груди и рук. На запястьях сверкают изумрудные браслеты в виде змей с бриллиантовыми глазами, изумительно похожих на живых. Вот и все ее украшения.

Бледное овальное личико Мюзидоры, сияющее несравненной юной свежестью, являет высший образец английской красоты: легкий персиковый пушок еще больше смягчает нежные черты девушки, а кожа настолько тонка, что дневной свет свободно проникает сквозь нее и освещает изнутри.

Божественной белизны ланиты в обрамлении двух каскадов светлых волос, полные апатии глаза с поволокой, маленький детский рот и влажные губы придают Мюзидоре невинный и жалобно-покорный вид, чрезвычайно странный для такого сборища: кажется, кто-то случайно забыл в неподобающем месте статую Целомудрия.

Однако, если присмотреться к Мюзидоре внимательнее, можно заметить, как порой в ее глазах мелькает отнюдь не ангельское выражение, а в уголке нежно-розового рта подрагивает змеиный язычок; хищные искры вспыхивают в глубине зрачков, как золотые прожилки на старом мраморе, сообщая ее взгляду слащавость и жестокость, нечто от куртизанки или кошки; брови изгибаются волной, выдающей глубокую, но сдерживаемую страстность, а белки влажно блестят, словно от набежавших слез.

Прекрасное дитя сидит, безвольно свесив одну руку, а другую положив на стол, губы полуоткрыты, бокал полон, взгляд рассеян — она во власти безмерной скуки, хорошо знакомой тем, кто очень рано все познал, и нет для Мюзидоры на этом свете ничего неведомого, кроме добродетели.

— Как же так, Мюзидора, — обращается к ней Джордж, — ты ничего не пьешь.

Он берет нетронутый бокал, подносит к губам Мюзидоры и, прижав к зубам, капля за каплей начинает поить ее.

Мюзидора с глубочайшим безразличием подчиняется.

— Не мучайте ее, Джордж, — говорит Феба, слегка привстав, — когда она впадает в такую тоску, от нее слова не добьешься.

— Черт! — возмущается Джордж и ставит бокал на место. — Раз она не хочет ни пить, ни говорить, я поцелую ее, чтобы хоть как-то приобщить к нашей компании.

Мюзидора быстро отворачивается, и губы Джорджа касаются лишь мочки ее уха.

— Ах так! — сказал Джордж. — Мюзидора сделалась чудовищно целомудренной, скоро она станет целоваться только со своим любовником, а ведь я внушал ей совсем другое. Мюзидора — недотрога, Фортунио не пришел, ну и вечерок!

Поскольку столь желанный Фортунио до сих пор не явился, а без него мы не можем приступить к нашему рассказу, то с дозволения читателя набросаем портреты подруг Мюзидоры, в общем, поступим, подобно тем, кто, дабы скрасить вынужденное ожидание, предлагает вам посмотреть книжку с картинками или альбомы с этюдами. Фортунио, который, как вы понимаете, будет главным героем этой повести, обычно никогда не опаздывает, очевидно, ему помешала какая-то серьезная причина.

Феба, за вычетом девственности, напоминает сестру Аполлона[27], именно поэтому она выбрала имя, которое одновременно звучит и комплиментом и насмешкой.

Она высока и стройна, в ее манере двигаться есть непринужденность античной охотницы; тонкий нос с розовыми страстными ноздрями, безупречно прямая переносица, длинные стрелы ресниц, узкие веки, четко очерченные губы, слегка приподнятый подбородок и кудрявые волосы придают ей сходство с греческой богиней.

Одета она весьма оригинально: платье из серебристой парчи наподобие туники, застегнутое на плечах крупными камеями, тончайшие шелковые чулки, сквозь которые просвечивает розовая кожа, и белые атласные туфли с длинными, завязанными крест-накрест ленточками, которые бесподобно имитируют античные сандалии; бриллиантовый полумесяц на черных как ночь волосах и ожерелье из звезд дополняют этот необычный и изысканный наряд.

Феба — близкая подруга или, если хотите, близкий недруг Мюзидоры.

Цинтия занимает место напротив Фебы, между двумя красивыми молодыми людьми — ее бывшим любовником и будущим. Это настоящая римлянка, наделенная строгой и царственной красотой; в ней нет ничего от живой грации и ветреной кокетливости парижанок; она красива и знает, что красива, а потому невозмутима и уверена в неотразимости своих чар, как уверен в своей силе воин, не знавший поражений.

Она дышит ровно и спокойно, словно спящий ребенок; ее жесты крайне сдержанны, а движения скупы и размеренны.

В данный момент Цинтия сидит, подперев подбородок тыльной стороной ладони; капризно приподнятый мизинец, изгиб кисти и рука несравненной белизны и формы вызывают в памяти прекрасных манерных дам с полотен великих живописцев прошлого; черные как смоль волосы с го-

лубоватыми бликами, гладко расчесанные на пробор, оставляют открытыми белые непроколотые ушки, чуть-чуть оттопыренные, как у греческих статуй.

Теплые коричневатые тона у корней иссиня-черных волос создают плавный переход к роскошно-белому лбу; легкий пушок на висках смягчает четкость сурово изогнутых бровей; нежная полная шея отсвечивает золотистыми тонами — яркими внизу и бледными под волосами, а спереди на этой шее вырисовываются три очаровательные складочки — ожерелье Венеры[28]. Округлые матовые плечи напоминают мрамор Кановы[29], протиравшего статуи ржавой водой, дабы убрать кричащий блеск у отполированного камня и придать ему сходство с теплой человеческой кожей.

Даже резец Клеомена[30] не создал ничего более совершенного, самые пленительные контуры, взлелеянные искусством, ничто по сравнению с этой великолепной реальностью.

Когда ей хочется бросить взгляд в сторону, она, не поворачивая головы, перемещает зрачок в уголок глаза, так что голубоватые белки загораются маслянистым блеском, эффект которого невыразим; затем она медленно возвращает хищные зрачки обратно, ничуть не потревожив свою мраморную маску.

Гордясь собственной красотой, Цинтия не признает никаких нарядов, считая их недостойными приемами; у нее только два платья, одно — черное бархатное, другое — белое муаровое; она никогда не носит ни бус, ни серег, ни даже простого колечка. Какое кольцо, какое ожерелье дороже места, которое они прикрывают? Одна женщина как-то умоляла Цинтию, чтобы та показала ей свои наряды и украшения, и очень удивилась, убедившись в крайней скудости и того и другого. На вопрос, что же она делает в дни праздников и церемоний, Цинтия ответила с надменностью, достойной героев Корнеля:[31]

— Снимаю платье и распускаю волосы.

Этим вечером она красуется в своем черном бархатном платье, надетом без корсета прямо на голое тело. Для Цинтии это значит быть одетой.

Что касается Арабеллы, то начну с того, что назову ее обворожительной. Ее плавные движения исполнены королевской грации, а жесты столь мягки и гармоничны, что создают впечатление чего-то ритмичного и музыкального.

Она парижанка в полном смысле слова: нельзя с уверенностью сказать, что она красива, однако весь ее облик являет собой такую возбуждающую смесь пряного жеманства и неповторимых манер, что любовники Арабеллы в один голос заявляют, что на свете нет более совершенной и прекрасной женщины.

Немного вздернутый носик, умные и живые глаза средней величины, слегка чувственный рот, нежно-розовые щеки в обрамлении шелковистых каштановых волос придают ее мордашке самый милый и шаловливый вид, какой только можно вообразить. И вдобавок ко всему маленькая ножка, хрупкие руки, красиво изогнутая талия, тонкая сухая лодыжка и узкая кисть — все признаки хорошей породы.

Избавлю вас от описания ее наряда. Достаточно сказать, что она одета по моде завтрашнего дня.

— Ах, Фортунио решительно опоздал, — вскричал радушный хозяин, осушив полный бокал вина Констанцы[32]. — Как только увижу его, предложу свои услуги, чтобы перерезать ему горло.

— Полностью с вами согласна, — поддержала его Арабелла, — но увидеть сеньора Фортунио не так-то просто, тут все в руках случая. Однажды я искала его по делу, нет, не для того, чтобы зарезать, напротив, и нигде не смогла найти, хотя сначала побывала везде, где он мог быть, а потом — там, где его и быть не могло: в Булонском лесу[33], в Буффах, в Опере...[34] и где же еще? В церкви! Никаких следов, как будто его никогда и не существовало. Фортунио не человек, Фортунио — это миф.

— Что же ты хотела у него попросить? — с безразличным видом поинтересовалась Мюзидора.

— Туфельки настоящей китайской принцессы. Прежде она была его любовницей. Он мне рассказал об этих туфельках как-то под утро, когда был уже немного пьян, и, поцеловав мою ножку, пообещал их подарить, потому что я единственная француженка, которой они не будут малы.

— А дома его нельзя застать? — поинтересовался Альфред, любовник, дожидавшийся своей очереди к Цинтии.

— Дома? Легко сказать, но трудно сделать.

— Да уж, он, верно, редко бывает у себя — все больше вращается в свете, — добавил отставной любовник.

— Нет, вы меня не поняли: чтобы застать его дома, нужно сначала узнать, где он живет, — пояснила Арабелла.

— Но должен же он где-то жить, если только он не устроился на каком-нибудь дереве, что вполне допустимо, — сказал Джордж. — Может быть, кто-нибудь из вас, мои обожаемые принцессы, знает, на ветке какого чудесного дерева прекрасный голубок свил себе гнездышко?

— Если бы я это знала, *мессир Джоджио*, клянусь, меня бы здесь не было, уж можете мне поверить, — вступила в разговор молчаливая римлянка.

— Ба! — пожал плечами Альфред. — Да кому сейчас нужен дом? Нынешние дамы так гостеприимны. Признайтесь, милые дамы, кто из вас приютил Фортунио?

— Твои слова лишены всякого смысла, — суровым тоном вмешался Джордж, — куда, скажи на милость, он положит свою одежду и обувь? Для этого нужен особняк. И потом, мы все недавно ужинали у Фортунио, ты там тоже был, если мне не изменяет память.

— В самом деле, — сказал Альфред, — и как только я забыл?

— И я там была, — вспомнила Арабелла, — мало того, его ужин понравился мне больше вашего, Джордж, хоть вы и хвастаетесь своей приверженностью к изысканной кухне; но я еще раз повторяю: Фортунио самый загадочный человек на свете.

— Что загадочного в ужине на двадцать персон?

— Конечно, ничего; вопрос в другом. Я приехала в особняк, где нас принимал Фортунио, а там у всех был такой вид, как будто они не понимают, о чем я говорю: никто и слыхом не слыхал о Фортунио. Я начала расспрашивать и поначалу не добилась никакого толку, но в конце концов мне удалось выяснить, что некий молодой человек, чье имя никому не ведомо, но по описанию очень похожий на Фортунио, купил этот особняк за двести тысяч франков, заплатив всю сумму банкнотами, и, как только сделка состоялась, целый рой обойщиков и мебельщиков захватил все здание и с невероятной скоростью придал ему тот вид, в котором оно предстало нашим глазам. Незадолго до ужина неизвестно откуда в особняк прибыло множество слуг в парадных ливреях, шеф-повар с легионом поварят и провиантмейстеров[35] — они притащили в огромных корзинах столько еды, что хватило бы накормить армию. Утром все исчезло: слуги удалились так же, как и пришли, Фортунио будто испарился и больше не возвращался. В доме остался один старый привратник, который время от времени открывает окна и проветривает комнаты.

— Если бы Арабелла не пила сегодня ничего, кроме воды, я бы ей, так и быть, поверила, — не выдержала Феба, — но все это кажется мне каким-то вздором. В ее словах столько же порядка, сколько в пузырьках шампанского, поднимающихся к краям бокала. Она принимает нас за маленьких детей и на полном серьезе рассказывает сказки.

— Вы так думаете, своенравная Феба? — Арабелла задала вопрос тем сухим укоризненным тоном, каким умеют разговаривать между собой только женщины. — Однако моя история гораздо правдивее многих других.

— Арабелла, пусть Феба говорит, что ей вздумается, продолжайте ваш рассказ, — вмешалась Мюзидора, в которой наконец-то пробудилось любопытство.

— Я испробовала все, а точнее, одно-единственное средство против неприступного дракона этого заколдованного замка. Я дала ему денег, но честный малый при том, что он до смерти боялся, как бы я не забрала

назад свои луидоры[36], не смог ничего сказать, поскольку ничего не знал – в высшей степени уважительная причина, чтобы держать язык за зубами. В итоге этот достойнейший старик очень расстроился оттого, что не может выдать даже малюсенького секрета, и настоял, чтобы я осмотрела дом, в надежде, что я сама нападу на какой-нибудь след. Я согласилась. Привратник провел меня по всем, даже самым потаенным, уголкам, я тщательным образом осмотрела особняк, но не нашла ничего, что хоть как-то разъяснило бы загадку: ни одного клочка бумаги, ни слова, ни цифры. Я поехала к торговцу, продавшему мебель, самому знаменитому парижскому поставщику, но он и в глаза не видал Фортунио. Этот человек неопределенного возраста, с лицом надзирателя и душой ростовщика, занимался всеми закупками, но понятия не имел, для кого старается. Мы все пали жертвами галлюцинации и поверили, что ужинаем у Фортунио.

– Странно, очень странно, чрезвычайно странно! – пробормотал изысканный Альфред, у которого уже без всякого зеркала двоилось в глазах. – Ха! Хороший способ обмануть кредиторов!

– Все очень просто: он, наверное, переехал или отправился в деревню, – предположил Джордж.

– Какой он, Фортунио? – спросила Феба.

– Черт побери! – оборвал ее Альфред. – Фортунио – это Фортунио, и точка.

– Благородный человек, превосходный во всех отношениях; мой отец был хорошо знаком с его отцом; герб Фортунио не испортит ни одной кареты, – задумчиво произнес Джордж.

– Он очень красив, – добавила Цинтия, – и как две капли воды похож на святого Михаила, написанного Гвидо[37], я влюбилась в эту картину еще в Риме, когда была маленькой девочкой.

– Ни у кого нет таких прекрасных манер, и плюс ко всему он умен, как Меркуцио[38], – продолжила Арабелла.

– Говорят, он безумно богат, богаче всех Ротшильдов[39], вместе взятых, и щедр, как Великолепный из сказки Лафонтена[40], – сказала Феба.

– И кого же наш счастливчик, крестной которого, похоже, была фея, избрал себе в любовницы? – поинтересовалась Мюзидора.

– Сие есть тайна, потому что ко всем своим добродетелям Фортунио добавил еще и скрытность, но ясно, что он не выбрал ни одну из вас, потому что иначе вы хвастались бы этим на каждом углу, – ответил Джордж. – Попробуй стать его любовницей, если хочешь, точнее, если сможешь, ибо создается впечатление, что Фортунио отлично защищен от стрел Амура, и как бы ни были жгучи и пронзительны лучи твоих кошачьих глаз, не думаю, что им удастся пробить броню маркиза.

— Один молодой английский лорд с шестьюстами тысячами ливров[41] дохода из-за меня покончил с собой, — высокомерно ответила Мюзидора.

— Возможно, но как бы тебе самой не броситься с моста в твоем самом красивом платье и новенькой шляпке.

— Значит, он демон, ваш Фортунио? Что ж, бьюсь об заклад, не пройдет и шести недель, как я вскружу ему голову и он полюбит меня.

— Будь он только демоном, все бы ничего, ты легко добилась бы своего; обвести дьявола вокруг пальца для женщины пустяк.

— Значит, он ангел?

— Хватит, ты сама сейчас все узнаешь, потому что только что открыли ворота и я слышу стук колес во дворе. Это может быть только он, — сказал Джордж. — Ставлю мою упряжку серых в яблоках против одной из твоих папильоток, что ты не найдешь даже малюсенькой, как мышиная норка, лазейки, чтобы пробраться в сердце Фортунио.

— Значит, я поеду в Лоншан[42] в коляске, запряженной по д'Омону[43], — радостно захлопала в ладоши малышка Мюзидора.

— Господин Фортунио! — визгливым голосом, перекрывшим на мгновение разговоры и звон посуды, прокричал огромный мулат в поразительном наряде.

Все головы резко повернулись в сторону вошедшего, поднятые вилки застыли в воздухе, трапеза прервалась.

Фортунио бодрым твердым шагом приблизился к креслу Джорджа и протянул графу руку.

— Ах, ах! Фортунио, здравствуй! Какого черта ты так поздно?

— Простите, милые дамы, я только что из Венеции, куда меня пригласили на блестящий бал-маскарад у принцессы Фьяммы; я забыл предупредить Джорджа, когда мы столкнулись с ним в Опере и он позвал меня на этот шабаш. Я едва успел переодеться.

— Вот как! — вмешался де Марсили. — Раз ты был на балу в Венеции, тогда понятно, но мне кажется, о Фортунио, что не далее как неделю назад я видел тебя на Гентском бульваре[44]. Мой юный друг, вы врете как эпитафия или правительственная газета.

— Марсили, я в самом деле повстречал тебя на Гентском бульваре, и что с того?

— О! Ничего, надо всего-навсего обладать волшебным плащом Фауста[45], найти способ управлять воздушным шаром[46] или оседлать орла, в противном случае такая вездесущность кажется мне маловероятной.

— Подумаешь! — Фортунио с самым беззаботным видом подбросил кошелек. — На этом коньке ускачешь дальше, чем верхом на гиппогрифе[47]. Ладно, я хочу выпить, во рту пересохло. Меркурий[48], подай мне кубок Геракла![49]

Кубком Геракла назывался чеканный сосуд, огромный, как библейское море из меди, стоящее на двенадцати волах:[50] даже самые отчаянные любители выпить поднимали его с опаской.

— Меркурий, налей мне в этот наперсток капельку какой-нибудь жидкости. Жажда душит меня, точно туго затянутый галстук.

Меркурий, подобно пажам на картинах Терборха[51], высоко поднял великолепной работы античную урну[52] с ручками в виде двух амуров, тянущихся друг к другу с поцелуями, и вылил все ее содержимое в кубок.

Фортунио одной рукой легко подхватил его, залпом осушил и сим прекрасным подвигом заслужил всеобщее восхищение.

— Меркурий, не найдется ли еще капельки этой дряни в подвале твоего хозяина? Я не прочь сделать второй глоточек.

Сраженный наповал Меркурий в нерешительности бросил взгляд на Джорджа, как бы спрашивая разрешения, но глаза Джорджа, подернутые хмельным туманом, ровным счетом ничего не выражали.

— В чем дело, скотина? Тебе что, два раза надо повторять? Будь я твоим хозяином, я бы живо шкуру с тебя спустил и подвесил вниз головой, чтоб ты пошевеливался.

Чернокожий Меркурий мигом схватил вазу[53] с другого буфета, опорожнил ее в кубок, с боязливым видом отошел подальше и замер на одной ноге, будто цапля на болоте, с почтительной тревогой ожидая дальнейшего развития событий.

Отважный Фортунио опустошил бездонный кратер[54] с легкостью, свидетельствовавшей о долгом и терпеливом обучении науке возлияний, как выразился бы папаша Алькофрибас Назье[55].

— Теперь, господа, мы квиты, я наверстал упущенное время, и мы можем спокойно поужинать. Вы, наверное, подумали, что я пришел попозже из боязни напиться, и строили на мой счет самые ужасные предположения. Что ж, сейчас я перед вами чист, как трехмесячный ягненок или как пансионерка перед первым причастием.

— Да, да! — сказал Альфред. — Невинный и добродетельный, точно вор, которого тащат на виселицу.

Фортунио страстно желал спокойно поужинать, что, однако, было совершенно невозможно. Даже если бы Юпитер спустился с потолка со своим орлом и стрелами, на него никто не обратил бы ни малейшего внимания.

Мюзидора была практически единственной, кто еще сохранил каплю рассудка, появление Фортунио вывело ее из оцепенения, и она пробудилась, словно змейка, которую раздразнили соломинкой; ее зеленые зрачки странно заблестели, маленькие ноздри раздулись, уголки губ лукаво приподнялись, она выпрямилась и оторвалась от спинки кресла, как всадник,

вставший в стременах с намерением поразить врага. В ее воображении бьют копытом и скачут рысью серые в яблоках кони Джорджа, она уже видит себя на подушках кареты, колеса которой вздымают ввысь блестящую пыль Булонского леса.

Впрочем, сам Фортунио нравится ей не меньше лошадок Джорджа; упряжка отходит на второй план в той опасной битве, которую затеяла Мюзидора. Она ищет в тайниках своего арсенала самую обольстительную улыбку и самый неотразимый взгляд, чтобы послать их, подобно стреле, и пронзить противника насквозь; готовясь нанести решающий удар, она рассматривает Фортунио с глубоким вниманием, которое прячет за шутливыми жестами; следит за каждым его движением, окружает его со всех сторон, будто армию неприятеля, и пытается поймать в свои сети, ибо Фортунио — живой пример мужского идеала, о коем мечтают все женщины и который мы так редко воплощаем, предпочитая злоупотреблять сверх меры данным нам свыше дозволением быть некрасивыми.

Фортунио выглядит не старше двадцати четырех лет; он среднего роста, хорошо сложен, строен и крепок, у него мягкое, полное решимости лицо, широкие плечи и точеные конечности — неотразимое сочетание силы и изящества; его движения плавны, как у молодого ягуара, но за их небрежной медлительностью чувствуется чудесная живость и проворство.

Его лицо являет собой самый чистый образец южной красоты, присущей, скорее, испанцам, чем французам. Ни одна кисть не запечатлеет овала более совершенного, чем у его лица; резко очерченный, будто вырезанный скульптором, тонкий нос с небольшой горбинкой нарушает безупречную женственность его черт и придает им что-то горделивое и героическое; черные бархатные ресницы с синеватым оттенком на концах четко обрисовывают темные веки, которые словно подкрашены кхолем[56]. В силу волшебной игры природы у маркиза лучистые глаза небесно-голубого цвета, прозрачного, как лазурь горного озера, а по краю радужки проходит еле заметный коричневый ободок, подчеркивающий ее алмазный блеск; сочные, ярко-красные губы свидетельствуют о все реже встречающейся чистоте крови. Полноватая нижняя губа дышит огнем сладострастия, а более тонкая и жесткая верхняя чуть изогнута, что придает ей выражение насмешливого презрения, смягченное общей благожелательностью лица, и указывает на уверенность в себе и силу воли. Усы, которые, похоже, не часто подстригают, затушевывают контуры рта мягкими шелковистыми тенями. Слегка выпуклый подбородок, тронутый посередине прелестной ямочкой, плавно соединяется с атлетической шеей, этакой выей молодого быка, не знавшего ярма. Что касается лба, то он широк и благороден, хотя ему и далеко до невиданных размеров чела знаменитого поэта[57], на полнокровных висках нет ни морщинки. Обычно прикры-

тый волосами, этот лоб блестит, будто атлас, и гораздо светлее нижней части лица; солнце более жаркое, чем наше, покрыло ее несколькими слоями золотистого загара, сквозь которые проступают розоватые и голубоватые полутона, оживляющие своей свежестью диковатую сухость теплого оттенка, столь дорогого сердцу художников. Волосы, черные, как вороново крыло, длинные и слегка вьющиеся, ниспадают вокруг этой бледной маски в самом искусном беспорядке. Маленькие, бесцветные уши, кажется, когда-то давно были проколоты.

Насколько позволяет заметить уродливый современный костюм, Фортунио обладает восхитительно пропорциональными формами, одновременно плавными и мощными: у него стальные мускулы под бархатной кожей; он являет собой нечто вроде Бахуса Индийского, которого можно увидеть в Музее древностей[58] и который своей совершенной гармонией может соперничать с самой Венерой Милосской[59], ибо нет на свете ничего более прекрасного, чем союз грации и силы. Под ослепительно-белой сорочкой угадывается широкая крепкая грудь, твердая и гладкая, словно мрамор, женщине было бы очень приятно прижаться к ней щекой; узкие рукава позволяют разглядеть очертания рук, прекрасных, как у Антиноя[60], с кистями неподражаемого совершенства.

Не станем рассказывать о его одежде: описание современного жилета, фрака и панталон заставляет в ужасе отступить даже самых смелых из нас. Лучше представьте себе, как они выглядят, вспомнив о парижских портных, этих подлинных поэтах, и их шедеврах, сшитых по заказу некоторых щеголей — вы могли любоваться ими на концерте, прогулке или где-нибудь еще; только прибавьте мысленно божественную элегантность, неизъяснимую аристократическую небрежность и безразличие, скромность, полную уверенности и апломба, рассеянное изящество, манеры, которых вы не увидите ни у кого из нынешних львов, и сверх того огромный бриллиант на левой руке, что по чистоте соперничает с Регентом и Санси[61] и отбрасывает во все стороны ярчайшие голубоватые искры.

Мюзидору охватило сильнейшее волнение, хотя она старалась держаться с самым непринужденным и равнодушным видом.

Тонкий инстинкт и врожденное чувство прекрасного до сих пор ограждали ее от любви. Она вела распутную жизнь, однако так и не узнала, что такое страсть. Ее тело разбудили слишком рано, но оно молчало: исключительно из корысти или чистой прихоти Мюзидора с легкостью вступала в связи и с еще большей легкостью их рвала. Как и всем женщинам, много повидавшим на своем веку, представители сильного пола внушали ей лишь отвращение. Порядочная жена за десять лет не узнает о мужчине столько, сколько куртизанка за одну ночь, ибо только ей мужчина показывает свое истинное лицо. Чего стесняться? Поэтому человек, который

не позволяет себе опуститься ни при каких обстоятельствах и, даже полностью раздевшись, остается любезным, вызывает необыкновенную, безумную любовь.

Малышка Мюзидора считала своих знакомцев существами исключительно презренными и к тому же крайне уродливыми. Ларчик не нравился ей ни снаружи, ни внутри. Ее не особо восхищали их бессмысленные или бесформенные, землистые или опухшие, налитые желчью или кровью физиономии с синеватой щетиной и глубокими морщинами, жесткая непослушная шевелюра, узловатые пальцы и волосатые руки. Чрезмерная деликатность натуры делала ее слишком чувствительной к любым недостаткам; тот, кто для толстокожей Цинтии был просто мужчиной, Мюзидоре казался обезьяной. Ей уже исполнилось восемнадцать, но она так и не стала ни женщиной, ни даже девушкой. Она осталась ребенком, правда, ребенком испорченным, как драгунский полковник, и прячущим за хрупкой оболочкой дьявольскую хитрость; с простодушным видом она могла обвести вокруг пальца любого кардинала и разрушить все планы князя Талейрана[62]. По этой причине она пользовалась чудесным преимуществом перед соперницами: всем известные безразличие и холодность Мюзидоры придавали ей нечто вроде невинности, похитить которую каждый почитал за честь. При всей своей продажности малышка обладала особой пикантностью девушки строгих правил и, будучи куртизанкой, искусно воздвигала преграды на пути желания, лишь разжигая последнее. Однако в этот раз удача отвернулась от Мюзидоры: несмотря на неустанные попытки соблазнить Фортунио, на невиданную нежность и очарование, он интересовался ею не больше, чем всякий, кто находится рядом с хорошенькой женщиной, и оказывал лишь дружеские, ни к чему не обязывающие знаки внимания.

Мюзидора всеми силами старалась раздразнить его и тем самым вырвать одну из тех пылких любезностей, которые при желании можно истолковать как признание или проявление завуалированного интереса. Но Фортунио, подобно хитрой рыбке, осторожно крутился вокруг верши и не заходил внутрь, уклончиво отвечая на каверзные вопросы Мюзидоры; и в тот самый миг, когда она уже верила, что поймала его, он внезапно отшучивался и уходил прочь от сетей.

Мюзидора перепробовала все средства: она пускалась в лживые откровения, чтобы вызвать ответные признания, расспрашивала Фортунио о его путешествиях, жизни, вкусах. Фортунио ел, пил, смеялся, говорил только «да» и «нет» и ускользал из ее рук, текучий и подвижный, словно живое серебро[63].

— Джордж, — шепнула Мюзидора, склонившись к своему соседу, — он неприступен, будто еж: не знаешь, с какой стороны его ухватить.

— Будь осторожна, моя маленькая царица, — ответил Джордж, — как бы он не пронзил твое сердце одной из своих иголок.

— Что за жизнь он ведет, — обеспокоилась Мюзидора, — из какого теста он слеплен?

— Черт его знает, — растерянно пожал плечами Джордж.

— Фортунио, Фортунио! — привстав, позвала Арабелла. — Когда же ты подаришь мне туфельки китайской принцессы?

— Моя прекрасная дама, они уже тихо дожидаются вас у постели на тигровой шкуре, которая служит вам ковриком.

— Вы смеетесь, Фортунио, вы никогда не входили в мою спальню, и я точно знаю, что вчера вечером никаких туфель у моей постели не было.

— Наверное, вы их не заметили, уверяю вас, они там, — сказал Фортунио и осушил огромный, полный до краев бокал.

Арабелла недоверчиво улыбнулась.

— Эти туфли, — в игривом голосе Мюзидоры зазвучали ревнивые нотки, — в самом деле достались вам от китайской принцессы?

— В самом деле, — ответил Фортунио. — Ее звали Ю-Дзю. Очаровательное создание! У нее в носу было серебряное колечко, а лоб покрывали золотые блестки. Я сочинял ей мадригалы[64] и говорил, что ее кожа подобна нефриту, а глаза — ивовым листьям.

— Она красивее меня? — оборвала его Мюзидора и повернулась к нему лицом, чтобы Фортунио было легче сравнить.

— Как сказать... У нее маленькие раскосые глазки с загнутыми вверх уголками, приплюснутый нос и красные зубы.

— Вы шутите? Она же просто уродина!

— Вовсе нет, она считалась несравненной красавицей, все китайские мандарины сходили по ней с ума.

— И вы любили ее? — обиженно спросила Мюзидора.

— Она меня обожала, я ей не мешал.

— Знаете, господин Фортунио, вы или фантастически самодовольны, или смеетесь над нами. Признайтесь, вы купили эти тапочки на набережной Вольтера, у какого-нибудь торговца редкостями[65].

— Ничего подобного, клянусь вам! Вы спрашиваете — я отвечаю, а что до туфелек, то я их не покупал, просто привез из Китая, только и всего. Налить вам немного хереса? Он очень хорош.

— Не трудитесь, — ответила Мюзидора с самой милой улыбкой. — Подайте мне ваш бокал.

Фортунио исполнил ее просьбу, нимало не удивившись такой откровенной милости. Мюзидора поднесла ко рту его бокал, повернув к себе той стороной, которой касались губы Фортунио.

Когда Мюзидора сделала несколько глотков и возвратила бокал, Фортунио вновь наполнил его и осушил так же спокойно, как если бы к тому не притрагивалась своим розовым клювиком голубки юная и очаровательная женщина.

Мюзидора не сдалась, в порыве высочайшего вдохновения она скинула атласную туфельку и прижала свою ножку к ступне Фортунио; ее тонкий, словно паутинка, шелковый чулок давал почувствовать, что ножка этой Золушки — совершенной формы и гладкая, точно слоновая кость.

— Как вы думаете, Фортунио, я смогла бы надеть туфельку вашей принцессы? — Мюзидора, чьи щеки загорелись ярким румянцем, слегка надавила на ногу Фортунио.

— Она будет вам велика, — хладнокровно заметил Фортунио и снова невозмутимо поднял бокал.

Слова эти могли бы сойти за комплимент, если бы не безразличие Фортунио; лучик надежды не сверкнул для Мюзидоры, и она, видя, что все ее усилия напрасны, решила сменить тактику и, обращаясь исключительно к Джорджу, принялась разыгрывать равнодушие (при этом ноги не убрала). Холодностью она добилась не больше, чем кокетством: Фортунио время от времени обращался к ней и то лишь для виду. Мюзидоре в какой-то момент показалось, что его рука незаметно сжала ее колено, но она тут же признала свою ошибку.

Нет необходимости объяснять, что, пока разворачивалась эта баталия, все остальные безудержно пили и с восторгом предавались самой разнузданной вакханалии, какую только можно вообразить. Щеголь Альфред требовал обезглавить тиранов и ликвидировать работорговлю, к великому изумлению негритят, до глубины души пораженных столь внезапным приступом человеколюбия.

Соседи Цинтии плавно соскользнули со своих кресел под стол и захрапели, как певчие на вечерне; прочие басили или пищали, распевая бог знает что похоронными или жалобными голосами; время от времени молодые люди прерывали это сладостное занятие, чтобы поведать самим себе о своей прекрасной доле, ибо никто другой был не в состоянии их слушать.

Женщины, продержавшиеся дольше, в конце концов тоже поддались хмельному вихрю; даже Арабелла до того напилась, что забыла о кокетстве.

Феба, положив локти на стол, невидящим взглядом тупо уставилась на одну из фигурок плато.

Что до прекрасной римлянки, то она пребывала в счастливом блаженстве: тихо покачивая головой, она, казалось, кивала в такт никому не слышной музыке; невольная улыбка порхала на приоткрытых губах, словно птичка над розой, длинные черные ресницы на полуопущенных веках

отбрасывали бархатные тени на щеки, окрашенные едва уловимой розовой дымкой; Цинтия положила одну руку на другую, как красавица на великолепном портрете Энгра[66], и удивительный покой римлянки никак не соответствовал общему шуму и настроению.

У Мюзидоры от хереса начала кружиться голова; на лбу выступила легкая испарина; помимо воли малышкой овладевала усталость, глаза слипались от золотой пыли[67], чаровница засыпала, как птенец в теплом мягком гнездышке: время от времени она приподнимала отяжелевшие веки, чтобы взглянуть на Фортунио, чей восхитительный профиль гордо вырисовывался на фоне ослепительного света, затем снова закрывала глаза, но продолжала видеть Фортунио, ибо он заполнил ее грезы. Наконец она не выдержала, склонила головку, точно цветок, намокший от дождя, машинально набросила на глаза две-три пряди прекрасных золотистых волос, словно хотела отгородиться ими, как занавесом, от окружающего мира, и крепко уснула.

– Ах, – вздохнул Джордж. – Мюзидора спрятала голову под крыло. Посмотри на эту прелестную мордашку, она уснула бы даже под грохот барабанов; очень красивая девушка, но я отдаю предпочтение моим Тицианам. Видишь ли, Фортунио, откровенно говоря, я никогда никого не любил, кроме красавицы, что возлежит над этой дверью на ложе из красного бархата; взгляни на ее пальцы, руки, плечи – какой восхитительный холст! Какая мощь жизни и цвета! Ах! Если бы ты могла распахнуть свои объятия и прижать меня к своей трепещущей груди, я бы с удовольствием выбросил в окно всех моих любовниц! Черт, Фортунио, мне дьявольски хочется сорвать эту картину и приказать отнести ее в мою постель.

– Ну-ну, Джорджио, carissimo, piano, piano*, не расстраивайтесь, от такой горячки недолго и заболеть, поберегите себя для ваших почтенных родителей: они мечтают сделать из вас пэра Франции[68] и министра. Вы неправы, проклиная природу, она тоже немалого стоит. Ты говоришь, тебе нравятся плечи этой нарисованной женщины, взгляни на Цинтию: она молчит, глядя в потолок, наверное, вспоминает о первой любви и о своем кирпичном домике в Трастевере[69], а ее плечи красивее всех венецианских и испанских Тицианов. Подойди сюда, подойди, Цинтия, покажи нам свою грудь и спину, покажи этому несчастному Джорджу, что, вопреки его уверениям, добрый Боженька тоже кое-что умеет.

Прекрасная римлянка встала, невозмутимо расстегнула платье, и оно соскользнуло на ее тонкую талию, обнажив грудь восхитительно чистых линий и такие безупречные плечи и руки, что сам Господь Бог спустился бы с небес, чтобы покрыть их поцелуями.

---

* дорогой, тише, тише (*ит.*).

— Советую тебе, мой друг Джордж, отвести ей то место, которое ты только что назначил своей картине: Цинтии не хватает только рамы.

При этих словах Фортунио хладнокровно провел рукой по спине римлянки, будто она была из мрамора. Так скульптор проверяет контуры статуи, дабы убедиться в их совершенстве.

— Надень платье, довольно с нас.

Римлянка медленно опустилась в кресло.

Но Джордж упорно повторял:

— Все равно я больше люблю моих Тицианов.

Свечи догорали; измученные негры от усталости спали стоя, прислонившись к стене; прекрасный стол пришел в ужасающий беспорядок, покрылся пятнами, разводами и объедками; изысканные сооружения из сладостей обрушились, чудесные десерты, фрукты, ананасы, чилийская клубника, тарелки, сервированные с выдумкой и тщательностью, были разорены, опрокинуты, растасканы, скатерть напоминала поле брани. Постепенно шум стихал; хотя особо упорные гости еще делали жалкие и отчаянные попытки побороть опьянение и сонливость, ни у кого уже не хватало сил на то, чтобы бить фарфор и хрусталь, на этот старый, испытанный способ оживить затихающую оргию.

Сам Джордж заметно позеленел и перешел к той нездоровой стадии опьянения, когда начинают читать мораль и прославлять добродетель. Один Фортунио по-прежнему сохранил ясный взгляд и свежий цвет лица и оставался спокоен, бодр и полон сил — точь-в-точь набожный прихожанин, идущий к причастию на Страстной неделе. Рассудок маркиза ничуть не пострадал. Фортунио лениво поигрывал позолоченным ножом и, казалось, был не прочь повторить все сначала.

— Почему никто не пьет? — возмутился он. — И это называется гостеприимством! Я умираю от жажды, как песок после двухнедельной засухи.

Принесли огромную чашу с пуншем из араки;[70] на его поверхности, словно блуждающие огоньки на балу, плясали язычки пламени, поигрывая своими пышными испанскими юбками.

Джордж, не загасив огня, налил себе и Фортунио, затем схватил чашу вместе с треножником, швырнул на пол и с непередаваемо презрительным выражением произнес:

— Лучше сжечь пунш, чем осквернить его, налив этим скотам. Раз они не хотят пить, давай поджарим их, и сделаем с чистой совестью, ибо они глупы, точно гуси.

Горящий напиток разлился по паркету, маленькие голубые язычки пламени принялись лизать пятки спящих и кусать края скатерти. Свет этого маленького пожара проник сквозь самые плотно закрытые веки, и все быстро поднялись, включая тех двоих, что пошли на дно в самом начале

бури и непременно сгорели бы заживо, если бы негр Меркурий и мулат Юпитер не помогли им выбраться из укромных уголков, в которых они валялись.

— Где Фортунио? — убрав волосы с лица, спросила Мюзидора.

— Уехал, — почтительно доложил Юпитер.

— Кто знает, когда мы увидим его? — меланхолично промолвил Джордж. — Может, он отправился обедать с Великим Моголом[71] или пресвитером Иоанном[72]. Моя маленькая королева, боюсь, тебе подобно честной девушке придется возвращаться пешком или в наемной коляске. Понадобится чудо, чтобы найти его.

— Подумаешь! — Мюзидора вытащила из-за корсажа краешек бумажника с золотыми уголками. — У меня кое-что есть.

— Ну и ну! Да ты просто дьявол в юбке! Вот что значит хорошее воспитание. Обычным родителям и в голову не пришло бы учить тебя воровству!





Глава II

Мюзидора проснулась только к трем часам пополудни — вполне разумное время. Она лениво потянулась к муаровому шнурку от звонка, висевшему над изголовьем кровати, но хорошенькая белая ручка снова бессильно упала рядом с подушкой.

Кровать Мюзидоры выглядела крайне просто: она ничем не походила на ложа разбогатевших буржуа, напоминающие временные алтари на празднике Тела Господня[1]. Она была чиста и прелестна, словно чашечка лесного колокольчика.

Занавески из белого кашемира и индийского муслина ниспадали с серебряной розетки, прикрепленной к потолку, и двумя слоями пышных, как облака, воланов окружали изящную гондолу из очень светлого лимонного дерева с инкрустациями и ножками из слоновой кости. Сквозь тончайшие простыни голландского полотна, точно сотканные из тумана, слегка просвечивал нежно-розовый чехол толстого матраса, набитого шелковистой тибетской шерстью. Мюзидора набила обыкновенный матрас драго-

ценным руном, возможно, тем самым, за которым Ясон отправился в далекий путь на своем «Арго»[2]. Самолюбивому демону, сидевшему в груди малышки, льстило, что внутри кровати спрятана цена двадцати порядочных девушек и что один-два аршина ткани из этой шерсти способны смягчить сердца самых гордых и щепетильных. Она забавлялась, пытаясь вообразить, много ли на земле людей, готовых поступиться своей честью. Ее головка утопала в мягчайшей подушке, отделанной кружевом англетер[3], а золотистые волосы струились вокруг личика, как потоки воды из кувшина наяды;[4] белое атласное одеяло на пуху, который гага выщипывает из своих крыльев, чтобы согреть птенчиков, расстилалось по телу Мюзидоры, словно теплый снежный покров; под его волнами едва просматривался очаровательный холмик, образованный ее чуть согнутым коленом.

Так почивала Мюзидора, прекрасное дитя. Для ее кровати Африка отдала самые толстые бивни своих слонов, Америка — самое ценное дерево, Масулипатнам[5] — муслин, Кашмир — шерсть, Норвегия — гагачий пух, Франция — свое мастерство. Весь мир пустился на поиски, и каждая часть света подарила ей все самое лучшее и роскошное.

Только куртизанки, с детства наевшиеся кислых яблок, смеются в лицо богатству с таким дерзким пренебрежением. Вряд ли даже Гелиогабал[6] или Сеген[7], любившие смешивать золото с грязью и доказывать всем его ничтожность, испытывали от этого большее удовольствие, чем хрупкая девушка по имени Мюзидора.

Несмотря ни на что ее постель, как мы уже сказали, сохраняла невинную простоту. И вся остальная комната была столь же разорительно скромна. Стены и потолок затянуты белым атласом, закрепленным розовыми и серебряными витыми шнурами; толстый, будто газон, белый ковер, усеянный розами, которые кажутся живыми, покрывает паркет из экзотического дерева; на дверях, врезанных в обивку с такой точностью, что их едва можно различить, поблескивают восхитительной формы замочные скважины и задвижки из ирландского хрусталя[8]. Большие часы на зависть любому мастеру сделаны из цельного куска восточной яшмы, а циферблат — из черненого серебра. Рядом с кроватью на изящном круглом столике с одной ножкой стоит вместо ночника этрусская лампа из красной глины, по форме полностью повторяющая античный оригинал[9]. На ее боках нарисованы чудные крылатые химеры и женщины, занятые своим туалетом. Несколько кресел, мозаичный столик, софа — необходимый предмет интерьера, изготовленный по образцу софы Кребийона-сына[10] — вот и вся обстановка.

Мюзидора открыла свой маленький ротик так широко, как могла, и зевок получился протяжным, но тихим; ее жемчужные зубки сверкали





словно капельки росы на лепестках мака и производили чарующее впечатление: зевок Мюзидоры был прелестнее, чем улыбка некоторых дам.

Затем она сомкнула шелковые веки, повернулась на левый бок, потом — на правый, но, поняв, что снова заснуть нет никакой надежды, испустила мелодичный томный вздох, исполненный мечтаний и задумчивости, как нота Бетховена.

И она второй раз потянулась к звонку.

Незаметная дверь, спрятанная в стене, приоткрылась, и сквозь узкий проем в комнату проскользнула высокая, стройная, хорошо сложенная девушка, чью голову украшал кокетливо повязанный по-креольски шелковый платок.

Служанка на цыпочках приблизилась к постели и молча застыла в ожидании.

— Жасинта, сделай посветлее и усади меня.

Жасинта раздвинула на окнах двойные шторы и закрепила их подхватами.

Веселый живой луч солнца резво проник в комнату, словно плохо воспитанный мальчишка, уверенный, что ему всегда рады.

— Тупица, негодяйка, хочешь, чтоб я ослепла и почернела, точно медвежий нос или руки канатоходки! — умирающим голосом произнесла Мюзидора. — Немедленно убери это ужасное солнце!.. То-то же. Теперь подложи подушки.

Жасинта взяла пару подушек, взбила их и аккуратно подложила под спину своей изнеженной хозяйки.

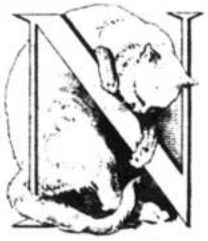
— Чего еще желает госпожа? — спросила Жасинта, не дождавшись от Мюзидоры обычного знака, которым хозяйка отсылала ее прочь.

— Скажите Джеку, чтобы принес мою британскую кошку[11], и приготовьте ванну.

Дверь бесшумно затворилась, и Жасинта исчезла так же тихо, как вошла.







Глава III

Думаем, будет нелишне посвятить отдельную главу кошке Мюзидоры, очаровательному созданию, достойному льва Андрокла[1], паука Пелиссона[2], собаки из Монтаржи[3] и других выдающихся животных, чью память увековечили серьезные историки.

Обычно говорят: «Каков пес, таков и хозяин»; я бы сказал также: «Какова кошка, такова и хозяйка».

Кошечка Мюзидоры была не просто белой, а сказочно белой, белее самого белого лебедя; молоко, алебастр[4], снег — все то, с чем испокон веков сравнивают белый цвет, рядом с ней показалось бы черным; среди миллионов невидимых шерстинок, из которых состояла ее горностаевая шубка, не нашлось бы такой, что не блестела, точно чистейшее серебро.

Представьте себе огромную пуховку для пудры, но только с глазами. Самая кокетливая и утонченная женщина не обладала такой грациозностью и изяществом движений, как это прелестное создание по имени Бланшетта. Я имею в виду то, как кошка выгибает спину, поворачивается,

держит голову, укладывает хвост, вытягивает и прячет невообразимой красоты лапки.

Мюзидора старательно копирует движения Бланшетты. И хотя у нашей героини далеко не все получается, кошка сделала из Мюзидоры одну из самых грациозных женщин Парижа, а значит, и всего мира, ибо на свете нет ничего, кроме Парижа.

Негритенок Джек, одетый для пущего контраста во все черное, ухаживает за этой скрытной белой особой: каждый вечер он укладывает ее в колыбельку из небесно-голубого атласа, а по утрам, если Мюзидора прикажет, приносит хозяйке; он обязан также кормить госпожу Кошку, расчесывать ей шерсть, промывать ушки, полировать усы и надевать ошейник из морского жемчуга, очень чистого и дорогого.

Некоторые добропорядочные граждане будут, конечно, возмущены роскошью, окружающей простую тварь, и скажут, что было бы лучше на все эти деньги купить хлеба для нищих. Но, во-первых, нищим подают не хлеб, а монетки, и к тому же очень редко, ибо, если подавать им каждый день по грошу, они очень скоро станут богатыми, как набобы[5]. И кроме того, мы докажем честным филантропам, раздающим бесплатный суп бедным[6], что существование кошки Мюзидоры приносит больше пользы, чем многое другое в этом мире.

Она доставляет Мюзидоре удовольствие и каждый день избавляет от пощечин двух или трех служанок — польза первая.

Негритенок, который занимается только кошкой и не знает никаких других забот, скорее всего, изжарился бы под солнцем Антильских островов, где его били бы кнутом с утра до ночи и с ночи до утра — польза вторая.

Милая кошечка с величайшим наслаждением точит коготки о стены своего небесного будуара. Следовательно, его обивку надо менять почти каждый месяц. Этого хватает на оплату пансиона для двух детей обойщика. В итоге благодаря простой белой кошке Франция получит одного адвоката и одного врача — третья польза.

И четвертая польза: трое деревенских мальчишек ловят на смолу маленьких птичек для завтрака и ужина кошки, которая не станет их есть, если они не будут трепыхаться и прыгать. Полученные деньги мальчики откладывают, чтобы купить рекрута в случае, если их призовут в армию[7].

Нежное и сластолюбивое животное жестоко, словно скучающая женщина: кошка любит слушать, как обед чирикает у нее в желудке, и ей не нравится, если концерт слишком быстро подходит к концу. Насколько нам известно, — это ее единственный недостаток.

Что до ошейника, то его преподнес Мюзидоре один генерал Империи[8] (который похитил в Испании браслет у Черной Мадонны[9]). Его подарок

незамедлительно перебрался с белой ручки юной красотки на еще более белую шейку молодой кошечки. И мы считаем, что жемчужное колье гораздо больше подходит кошечке с бархатистой шерсткой, чем какой-нибудь стареющей англичанке с красной морщинистой шеей.

Все это, возможно, покажется некоторым из наших читателей отступлением; мы полностью согласны с их мнением. Но как прикажете писать *без отступлений и вставных эпизодов*?[10] И как потом читать роман или поэму?







Глава IV

Когда негритенок принес белую кошечку и положил ее на белоснежное одеяло рядом с хозяйкой, Мюзидора, окончательно проснувшись, начала припоминать некоего Фортунио, с которым она прошлой ночью познакомилась на ужине у Джорджа.

Образ маркиза, несколько затуманившийся за время сна, четко нарисовался в ее голове; она снова увидела прекрасного Фортунио, полного веселой невозмутимости посреди бессмысленной оргии и не подвластного чарам вина и любви.

Она вспомнила о споре, о том, что обещала не позже чем через шесть недель под грохот барабанов и с развернутыми знаменами войти в крепость неприступного сердца Фортунио и согреть ножки у камина этого одетого по последней моде бродяги, хранящего в тайне от всех свое пристанище.

Под щелканье кнутов вихрем пронеслась у нее перед глазами сверкающая лаком коляска, запряженная четверкой серых в яблоках коней, с форейторами[1] в атласных курточках.

Она радостно захлопала в маленькие ладоши, ничуть не сомневаясь в успехе, и засмеялась про себя: «Ой, до чего забавно будет прокатить Фортунио в той самой коляске, которую я получу за него!»

И дабы перейти в наступление, она сунула руку под подушку и достала оттуда украденный бумажник, который накануне, несмотря на все попытки, ей не удалось открыть.

— Я раскрою твой секрет. — Она так и сяк вертела бумажник. — Чтобы женщина остановилась перед такой ничтожной преградой и не сломала ее! Нет, я развяжу гордиев узел, и мне не понадобится меч, как этому громиле Александру![2]

Мюзидора уселась поудобнее и, точно юркая ласка, что ищет своей острой мордочкой лазейку в кладовую, полную молока и свежих яиц, принялась искать секрет, с помощью которого открывался этот таинственный бумажник, несомненно, хранивший ценные сведения о нашем герое.

Пальчиками, тонкими, как усики насекомого или рожки улитки, она ощупала все складки и неровности кожи, надавливая по очереди на бирюзу и хризопраз[3], украшавшие бумажник снаружи; затем изо всех сил, до боли в хрупких и нежных пальцах, нажала на замочек, чтобы преодолеть сопротивление пружин. В общем, она трудилась так, как будто перед нею был сундук, кованный железом.

Девушка до того старалась, что ее бархатный лоб покрылся легкой испариной; давно уже ей не приходилось тратить столько сил.

Наконец она отчаялась открыть бумажник, хранивший верность своему хозяину, позвала Жасинту и велела принести ножницы, ибо решила разрезать кожу и вытащить через прорезь письма и бумаги, которые могли находиться внутри.

Но даже острые английские ножницы ничем не помогли Мюзидоре.

Бумажник Фортунио был пошит из кожи ящерицы или змеи, а Мюзидора приняла ее наслаивающиеся друг на друга чешуйки за тисненый узор или специальную выделку, и кожа эта настолько превосходила по прочности шкуры крестьянина или буйвола, что никто не смог бы не то что надрезать, но даже поцарапать ее.

И все же Мюзидоре удалось случайно нажать на какую-то потайную точку, которая открывала замочек. Бумажник распахнулся резко, с сухим щелчком, будто крышка шкатулки с сюрпризом.

Мюзидора, вздрогнув от неожиданности, уронила бумажник на колени, ей почудилось, что сейчас из него, точно из волшебной лампы в арабских сказках, выскочит разъяренный джинн или поднимется на хвосте закрученный спиралью змей. Пандора, и та, наверное, не так испугалась, когда открыла ящик и вместе с черным дымом выпустила на волю все земные бедствия и болезни[4].

Затем, увидев, что ничего страшного не произошло, Мюзидора успокоилась и снова взяла в руки бумажник, чтобы изучить его содержимое.

Странный экзотический аромат, возбуждающий и незнакомый, наполнил спальню и чувственно защекотал носик любопытной красавицы.

Она на мгновение застыла, принюхиваясь, затем запустила пальчики в отделения из нежнейшего китайского шелка с золотыми и зеленоватыми разводами.

Сначала она вынула большой странный цветок, давно уже утративший все краски. То была Pavetta indica, которую описал доктор Румфиус в своей книге «Hortus malabaricus»[5].

Мюзидора понятия об этом не имела, и потому цветок ничего не рассказал ей о сеньоре Фортунио.

Затем она достала косичку из голубых волос, перевитых золотыми нитями, с обоих концов которой свисали просверленные золотые цехины[6].

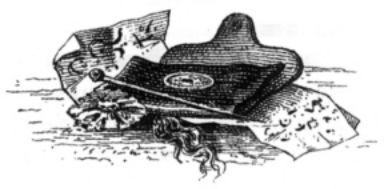
Далее на свет появился листок китайской бумаги, весь покрытый причудливыми значками, переплетавшимися словно решетка на фоне серебристых цветов. И все говорило в пользу того, что это какое-нибудь жалобное послание принцессы Ю-Дзю ветреному Фортунио.

Мюзидора не знала, что и подумать о своих фантастических находках; надеясь обнаружить что-то европейское и более понятное, она обыскала два других отделения. Ей досталась золотая иголка с покрасневшим и как будто ржавым кончиком и маленький кусочек папируса, весь покрытый какими-то неразборчивыми, с виду восточными, письменами.

Разочарованная малышка в ярости отшвырнула бумажник.

— Увы! — вздохнула она, с глубоким сочувствием разглядывая свои прелестные пальчики, пострадавшие от бесполезной работы, которую задала им Мюзидора. — Увы! Не будет мне коляски, не будет мне Фортунио. Жасинта! Отнеси меня в ванную.

Жасинта завернула хозяйку в просторный муслиновый пеньюар и, взяв ее на руки, словно больного ребенка, вынесла из спальни.







Глава V

Мюзидора была сильно раздражена, впрочем, мы раздражены не меньше.

Мы очень рассчитывали на этот бумажник, надеясь дать читателям (простите нам нашу самонадеянность) точные сведения о загадочном Фортунио. Мы хотели раздобыть любовные письма, наброски трагедий, романы в двух и более томах или по меньшей мере визитные карточки, в общем, то, что должно находиться в бумажнике всякого мало-мальски приличного героя.

Страшное замешательство! Поскольку мы сами выбрали Фортунио, вполне справедливо, что мы интересуемся им и хотим знать всю его подноготную; нам следует рассказывать о нем больше, чем о других персонажах, и живым или мертвым ему необходимо добраться до конца этой сотни с лишним страниц. Никогда еще нам не попадался столь неудобный типаж: вы его ждете, он не приходит, потом он является и, ни слова не говоря, уходит, вместо того чтобы произносить красноречивые фразы и по-

этично рассуждать на разные темы, как положено профессиональному герою романа.

Он красив, что правда, то правда; но, между нами, мне он кажется чудаковатым, насмешливым, будто обезьяна, самодовольным, капризным и непостоянным, словно луна, переменчивым, как хамелеон. К недостаткам, на которые мы охотно закрыли бы глаза, следует добавить нежелание посвящать кого бы то ни было в свои дела, что совершенно непростительно. Он довольствуется тем, что смеется, пьет и при этом не теряет лицо. Он не разглагольствует о страстях, ни слова не говорит о своих сердечных переживаниях, не читает модных романов, а лишь отделывается рассказами о своих любовных приключениях — то малайских, то китайских, — в общем, о таких, которые не могут повредить репутации знатных дам из благородного предместья;[1] он не взирает томно на луну перед десертом и никогда не упоминает об актрисах. Короче, это посредственный человек, которого, не знаю почему, весь свет упорно считает остроумным, а мы, к нашей крайней досаде, выбрали в главные герои романа.

Так и подмывает немедленно бросить его. Может, лучше взяться за Джорджа?

Ничего не выйдет. Джордж отличается отвратительной привычкой напиваться по утрам и вечерам, а бывает, даже и днем, не говоря уже о ночах. Что вы скажете, сударыня, о вечно пьяном типе, который способен два часа кряду рассуждать о различиях между правым и левым крылом куропатки?

— А Альфред?

— Он слишком глуп.

— А Марсили?

— Он недостаточно глуп.

За неимением лучшего оставим Фортунио: как только мы что-нибудь о нем разузнаем, так сразу же вам и доложим. Теперь же, прошу вас, пройдемте в ванную Мюзидоры.







Глава VI

Ванная комната Мюзидоры имеет восьмиугольную форму, ее стены до половины покрыты мелкими фарфоровыми плитками бело-голубой расцветки.

Гризайли[1] светло-зеленых тонов на мифологические сюжеты — о Диане и Каллисто, Салмакиде и Гермафродите, захваченном нимфами Гиласе, застигнутой врасплох лебедем Леде[2] — в посеребренных рамах тонкой работы с резными морскими растениями и стеблями тростника висели над дверями, прикрытыми портьерами из набивного кретона в мелкий цветочек; этот водный декор дополняли раковины, мадрепоры[3] и кораллы, изображенные на карнизе.

Окна, застекленные лазурными и светло-зелеными квадратиками, пропускают в тайное убежище Мюзидоры лишь рассеянный, сладострастно приглушенный свет, создающий ощущение, будто вы находитесь во владениях ундины[4] или наяды.

В глубине помещения на когтистых золотых лапах стоит ванна белого мрамора, напротив нее располагается кушетка.

Жасинта поднесла Мюзидору к краю ванны и поставила на пол. Пока две хорошенькие девушки перемешивают своими розовыми ручками воду, чтобы она везде была одинаково теплой, Мюзидора прохаживается по комнате в маленьких турецких туфельках и умирающим голосом с поистине царской надменностью сетует на нерасторопность и неловкость слуг. Наконец она приблизилась к ванне, дно которой было выстлано тончайшей простыней, медленно приподняла свою точеную ножку и кончиками пальцев коснулась воды.

— Жасинта, поддержите меня, — сказала она и оперлась на плечо стоявшей на коленях служанки, — у меня голова кружится.

И вдруг резким тоном, совершенно не вязавшимся с ее плавными жеманными манерами, Мюзидора обратилась к двум служанкам:

— Вы что, хотите сварить меня заживо, или чтобы я неделю ходила красная как рак? Наверняка сегодня вечером моя кожа слезет с ноги вместе с чулком. Когда вы научитесь готовить ванну?

Служанки бросились исправлять свою ошибку.

Мюзидора набралась духу и погрузила в ванну одну ногу, затем — другую, опустилась на колени, скрестив руки на груди, словно античная статуя Целомудрия, и, наконец, вытянулась, как змея, которую заставили расправить свои кольца. Красавица опять была недовольна: простыня оказалась слишком жесткой, исцарапала ей всю спину и врезалась в кожу; они нарочно постоянно кладут такую, и так далее в том же духе; одним словом, Мюзидора продемонстрировала всю причудливую смену настроений, каковую обида и неудовлетворенное любопытство могут вызвать у избалованной хорошенькой женщины, привыкшей к тому, что ей всегда и во всем потакают.

Мало-помалу теплая вода смягчила гнев и раздражение; руки Мюзидоры расслабились и всплыли на поверхность, время от времени она вынимала их из воды и с детским восторгом наблюдала, как вода разделяется на ручейки и прозрачными жемчужинами скатывается вниз.

Вошла Жасинта и склонилась к уху хозяйки: явилась Арабелла и просила принять ее.

— Пусть войдет, — приказала Мюзидора и чуть приподнялась, чтобы ее затонувшие прелести стали лучше видны сквозь тонкий слой прозрачной воды: она слышала, что Арабелла назвала ее худой, и обрадовалась блестящей возможности опровергнуть это заблуждение. Ибо в действительности природа подарила ей крепкое телосложение и наделила формами одновременно весьма изящными и округлыми.

— Божественная, как вы себя чувствуете? — спросила Арабелла, поцеловав Мюзидору.





— Сносно, на здоровье не жалуюсь, с некоторых пор я даже поправилась. — Мстительная девчонка поднялась еще выше, чтобы ее груди и одно колено вынырнули из воды, и, не сводя своих кошачьих глаз со слегка покрасневшей Арабеллы, добавила: — Когда я одета, я кажусь худее, не правда ли?

— Надо же, какая вы пухленькая, ни дать ни взять перепелка, обложенная ломтиками сала. Вы приберегаете очаровательный сюрприз для ваших фаворитов. Обычно бывает совсем наоборот. Но знаете, что меня привело?

— Нет, а вы? — хихикнула Мюзидора.

— Прежде всего желание видеть вас.

— Но зачем? Просто увидеть — это не повод.

— Я хочу рассказать нечто невообразимое, неправдоподобное, безумное, невозможное, опрокидывающее все, что мы знаем. Если бы я верила в дьявола, я сказала бы, что это и есть дьявол.

— Вы в самом деле видели дьявола, Арабелла? Представьте меня ему, раз вы уже познакомились, — недоверчиво проговорила Мюзидора, — я давно мечтаю встретиться с ним.

— Помните туфельки китайской принцессы, которые обещал мне Фортунио? Так вот, я обнаружила их там, где он сказал: на тигровой шкуре у моей кровати. Все двери были заперты, а дверь моей спальни вообще нельзя открыть, не зная секрета, известного лишь мне одной. Странно, правда? Фортунио — демон в черном фраке и белых перчатках. Он проник в мою спальню через замочную скважину, не иначе.

— Может, есть какая-то потайная дверца, о которой ему поведал один из твоих отставных любовников, — немного язвительно усмехнулась Мюзидора.

— Нет, в этой комнате я храню бриллианты и украшения, у нее только один вход, я своими руками все заперла перед тем, как пойти на ужин к Джорджу. Понимаешь? Да, кстати, вот они, эти тапочки.

Арабелла вытащила из-за корсажа две крохотные, причудливо расшитые золотом и жемчугом туфельки, самые что ни на есть китайские и безумно, невообразимо хорошенькие.

— И правда, настоящий жемчуг и непревзойденный Восток. — Мюзидора внимательно осмотрела туфельки. — Подарок действительно очень дорогой. Взгляни на эти две жемчужины, да у самой Клеопатры не было таких ровных и чистых.

— Господин Фортунио отличается поистине восточной щедростью; но он невидим, точь-в-точь как восточный царь[5], и показывается, только когда хочет. Боюсь, моя дорогая Мюзидора, тебе не выиграть пари.

— Я боюсь того же, Арабелла. На ужине я притворилась спящей, и, когда ничего не подозревавший Фортунио отвлекся, воспользовалась моментом, чтобы стащить у маркиза бумажник. Я заметила, как его края проступали сквозь фрак. Сначала проклятый бумажник никак не хотел открываться, я два часа промучилась, чтобы найти сезам, отпирающий все замки, и завладеть драгоценными, столь тщательно охраняемыми им тайнами; но Фортунио будто угадал мои намерения, я нашла только засушенный цветок, иголку и два почерневших клочка бумаги с какой-то ужасающей тарабарщиной. В жизни надо мной так не издевались!

— Позвольте мне взглянуть на бумажник, — попросила Арабелла.

— Да ради бога! Только я от ярости зашвырнула его куда-то. Жасинта, пойди, поищи.

Жасинта принесла загадочный бумажник.

Арабелла понюхала его, повертела, проверила все складочки и уголки и не нашла ничего нового; не выпуская бумажника из своих белых рук, она подумала и сказала:

— Мюзидора, у меня идея. Должны же эти бумаги быть написаны хоть на каком-то языке, поедем в Коллеж де Франс[6], там есть преподаватели всех, даже несуществующих, языков. Эти ученые господа помогут нам найти разгадку.

— Жасинта! Мария! Анетта! Быстро, вытаскивайте меня из ванной, я уже битый час мокну, у меня руки поросли ряской и волосы позеленели, как у морской нимфы.

Мюзидора выпрямилась во весь рост. Блестящие капли жемчужной сетью покрыли ее тело. Она была очаровательна. Ее кожа слегка порозовела на воздухе, светлые волосы развились от влажности и прилипли к плечам, лицо разрумянилось от пара. Она походила на сильфиду[7], что с восходом луны выглянула из чашечки колокольчика, в которой днем пряталась от солнца.

Служанки подбежали, полотенцами отерли с ее тела последние слезы наяды, бережно завернули в просторный кашемировый пеньюар, набросили сверху большую турецкую шаль, надели на ножки изящные тапочки, подбитые лебяжьим пухом, и Мюзидора, оперевшись на плечо камеристки Жасинты, прошла в гардеробную вместе со своей подругой Арабеллой.

Ее причесали, надушили, накинули на нее сорочку из восхитительных валансьенских кружев[8], обули, одним словом, нарядили Мюзидору, так что ей не пришлось даже пальцем пошевелить; зато, когда горничные закончили, она встала, подошла к своему зеркалу-псише[9] и, словно мастер, добавляющий несколько штрихов к картине, выполненной по его наброскам одним из учеников, ослабила бант, изменила форму складки, про-

шлась длинными пальчиками по локонам, нарушая их слишком строгую симметрию, в общем, придала изысканность, живость и поэтическую нотку безжизненному творению служанок.

Затем дамы наскоро позавтракали, и Джек доложил, что коляска готова.

Однако прежде чем начать следующую главу или сесть в экипаж, скажем несколько слов о наряде Мюзидоры.

На Мюзидоре было белое платье индийского муслина с очень узкими рукавами, шляпка из рисовой соломки с букетиком крохотных цветочков, идеальных в своей нежности и легкости. Венецианская баута[10] из черного кружева, изящно накинутая на плечи и присобранная на талии, замечательно подчеркивала многочисленные пышные складки платья, подобные мраморным волнам. Они ниспадали до самых маленьких в мире ножек. Добавьте ожерелье из крупного гагата[11], черные сетчатые митенки[12] да крохотные часики с пятифранковую монетку, подвешенные на простом шелковом шнурке, и вы получите туалет Мюзидоры с головы до пят, что столь же важно, как знать точную дату смерти фараона Аменхотепа[13].







Глава VII

На кривой пустынной улочке коляска остановилась у ничем не примечательного дома.

Вам, конечно, знакомы эти построенные в прошлом веке здания, за которыми с тех самых пор никто не следит и которые медленно ветшают из-за скупости владельцев.

Серые стены, изъеденные дождями и покрытые, точно стволы старых ясеней, огромными пятнами лишайника, снизу затянулись зеленью, как болото весной, так что из растущих там трав можно было бы составить целый гербарий.

Черепица на крыше давно утратила всякий цвет; трухлявые деревянные двери, кажется, готовы разлететься от легкого удара молотка. С фальшивых окон, когда-то выкрашенных в черный цвет, чтобы они больше походили на остекленные, разводами стекает краска до второго этажа, но само наличие подделки свидетельствует, что строители, пусть и не самым удачным образом, стремились к симметрии.

Ажурный жестяной флюгер в виде охотника, стреляющего в зайца, скрежещет на краю крыши и достойно венчает сие величественное сооружение.

Грум[1] опустил подножку кареты и нанес увесистый удар по воротам, чуть не рухнувшим от такого насилия.

Испуганная привратница выглянула в квадратное отверстие, служившее ей одновременно форточкой и переговорным окошком.

При взгляде на ее рожу на память одновременно приходили кабан, рыба и бегемот: пунцовый нос, усеянный багровыми шишками, походил на пробку графина; бородавки, жесткие и огромные, проросшие седыми волосками, вроде тех, что окружают пасть бегемота, придавали носу сходство с кропилом для святой воды; щеки, испещренные красными прожилками и клейменные бурыми пятнами, напоминали виноградные листья, иссушенные осенью и побитые морозом; малюсенькие, но ужасающе вытаращенные рыбьи глазки дрожали в глазницах, словно свечки в погребе; страшный зуб сомнительного цвета приподнимал уголок верхней губы на манер клыков у кабана и довершал сей очаровательный облик; лопасти[2] чепчика, дряблые и сморщенные, как слоновьи уши, вяло свисали по бокам от ввалившихся щек и достойным образом обрамляли картину в целом.

Мюзидора до смерти перепугалась при виде этого шаржа на Медузу[3], вперившего в девушку свои грязно-серые глазки.

— Господин В*** у себя? — спросила неустрашимая Арабелла.

— Разумеется, сударыня, наш бедный господин выходит только читать лекции, он великий ученый, и в доме от него не больше шума, чем от ручной мыши. Пройдите в глубину двора, по лестнице налево, третий этаж, дверь с ручкой от звонка. Все просто, вы не заблудитесь.

Мюзидора и Арабелла пересекли двор, приподнимая подолы платьев, будто шли по мокрому от росы лугу; трава росла в трещинах между камнями так же буйно, как на голой земле.

Увидев, что дамы засомневались, страшный бульдог в чепце покинул свою конуру и приковылял к ним, хромая и волоча ногу, точно раненый паук-сенокосец.

— Сюда, сударыни, сюда, вот по этой дорожке. У нас тут не какая-нибудь *республика*, где все только и делают, что ходят взад-вперед. И ведь я только месяц назад сорняки дочиста выполола, вон руки все в волдырях и мозолях. А вы, стало быть, родственницы господина В***?

Мюзидора покачала головой.

— Просто я слышала, как он говорил, что его родственницы из провинции должны приехать в Париж.

Они добрались до двери господина В***, и поскольку ни Арабелла, ни Мюзидора не ответили навязчивой лебезящей бестии, она ухватилась за

перила и с хрюканьем ринулась вниз, рассчитывая позднее получить полную информацию от мадемуазель Сезарины, горничной ученого, на которую вполне можно было положиться.

Арабелла дернула ручку звонка.

В неведомых глубинах квартиры прозвучал хриплый слабенький *динь-дон*; где-то вдали открылись и закрылись двери; послышался суховатый голос, а затем тяжелые шаги. Потом еще несколько минут раздавался звон ключей, скрежет в замочной скважине, лязг задвижек и висячих замков; наконец дверь заскрипела, и в щель высунулся острый вопрошающий нос мадемуазель Сезарины, красавицы без возраста, давно утратившей свою привлекательность.

При виде двух молодых женщин физиономия горничной тут же приобрела несговорчивое выражение, правда, несколько смягченное почтением, внушенным блеском золотой цепочки на шее Арабеллы.

– Мы хотели бы поговорить с господином В***.

Старая дева распахнула дверь настежь и ввела наших прелестниц в прихожую с зелеными в крапинку обоями, служившую одновременно столовой. На стенах в рамках висели гравюры, изображавшие четыре времени года, и барометр в газовом мешочке, защищавшем прибор от мух. Выложенная белым фаянсом печка с трубой, уходившей в стену напротив входной двери, ореховый стол и несколько стульев с соломенными сиденьями составляли всю обстановку; перед каждым стулом, дабы не поцарапать пол, лежали круглые куски клеенки, и опять-таки дабы не попортить слой дорогой прусской охры[4], тщательно навощенной и отполированной мадемуазель Сезариной, от самого входа и до двери в другую комнату был постелен рулон обоев.

Сезарина попросила дам следовать по бумажной дорожке, в ответ Мюзидора улыбнулась: ее гораздо больше волновало, как не запачкать туфли, а не как уберечь паркет.

Вторая комната была гостиной с желтыми обоями на стенах и мягкой мебелью, обитой видавшим виды и таким же желтым, как стены, утрехтским бархатом:[5] ее потертые расшатанные спинки свидетельствовали о долгой безупречной службе. Камин украшали бюсты Вольтера и Руссо из бисквита[6], с ними соседствовали два медных позолоченных подсвечника со свечами и часы с изображением то ли Времени, проходящего с Любовью, то ли Любви, проходящей со Временем, точно сказать не могу.

Портреты господина В*** и его супруги (к счастью, покойной) в парадных костюмах образца тысяча восемьсот десятого года превращали гостиную в самое роскошное место в квартире; даже Сезарина, смущенная подобным великолепием, пересекала комнату с некоторым трепетом, хотя уже давно должна была бы привыкнуть.

Дуэнья попросила го́стий оказать ей любезность и немного подождать, чтобы она могла предупредить господина, который заперся в своем кабинете, где, как обычно, занимается научными изысканиями.

Ученый стоял перед камином в позе всепоглощающего созерцания; большим и указательным пальцами он держал кусочек пышки, время от времени отщипывал от него несколько крошек и бросал в небольшой аквариум с прозрачной водой, в котором резвились три золотые рыбки. На дне сосуда лежали песок и ракушки.

Луч света пронзал сей хрустальный шар, что блестел и переливался всеми цветами радуги от движения рыбок; в самом деле, то было прекрасное зрелище, какой-нибудь колорист с удовольствием изучил бы и эту игру света, и сверкающие блики, но господин В*** не обращал ни малейшего внимания на золото, серебро и пурпур, в которые трепещущие рыбки окрашивали свою полупрозрачную тюрьму.

— Сезарина, — сказал он с самым строгим и торжественным видом, — большой красный самец слишком прожорлив, он глотает все, не оставляя другим ни крошки; надо отсадить его в отдельную банку.

Вот такому серьезному занятию господин В***, преподаватель китайского и маньчжурского языков, посвящал три часа каждый день, закрывшись в своем кабинете под тем предлогом, что ему надо поработать над комментариями к урокам мудрости знаменитого Кун Фу-цзы[7] или к «Трактату о разведении тутового шелкопряда»[8].

— Вы все о золотых рыбках да их ссорах, — сухо произнесла Сезарина, — а у нас в гостиной две дамы, которые хотят с вами поговорить.

— Две дамы? Со мной? Сезарина! — встревоженно воскликнул ученый. Одной рукой он проверил, на месте ли его парик, а другой схватился за короткие штаны, которые были столь небрежно подвязаны, что между жилетом и поясом, будто у какого-нибудь испанского щеголя, виднелась сорочка. — Две дамы? Молодые? Хорошенькие? Но у меня такой непрезентабельный вид. Сезарина, подай халат. Наверняка это светские дамы, они прочтут мой труд о пунктуации в маньчжурском языке и влюбятся в меня.

Он торопливо просунул дрожащие тощие руки в широкие рукава халата и направился в гостиную.

Увидев Арабеллу и Мюзидору, старый ученый был ослеплен, он надвинул парик на глаза и со всей грацией, на какую способен, отвесил прелестницам три поклона.

— Сударь, — начала Мюзидора, — во всей Франции, во всей Европе только и разговоров, что о ваших обширных познаниях.

— Вы очень добры, мадемуазель. — От удовольствия профессор зарделся, как маков цвет.

— Говорят, — продолжила Арабелла, — что на свете нет никого, более сведущего в восточных языках, никого, кто лучше вас разбирается в за-

гадочных иероглифах, знание которых доступно лишь самым тонким эрудитам.

– Без преувеличения могу сказать, что знаю китайский лучше всех во Франции. Госпожа знакома с моим трактатом о маньчжурской пунктуации?

– Нет, – призналась Арабелла.

– А вы, мадемуазель? – обратился ученый к Мюзидоре.

– В общих чертах. – Мюзидора с трудом удержалась от смеха. – Ваш научный труд делает честь нашему веку.

– Значит, – продолжил славный ученый, напыжившись от гордости и распустив хвост, – вы разделяете мою точку зрения на постановку знака ударения?

– Полностью, – ответила Мюзидора, – но мы не за этим сюда пришли.

– Так чего же вы хотите от меня, сударыни, чем я могу вам помочь? Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы угодить таким очаровательным созданиям.

– Сударь, – Мюзидора вытащила из-под накидки бумажник, – мы не хотим злоупотреблять вашей любезностью и вашими познаниями, но нам необходим перевод вот этих двух бумаг.

Ученый взял листы из рук Мюзидоры и с видом знатока произнес:

– Это настоящая китайская бумага, а это – самый настоящий папирус.

Он водрузил на нос величественные очки. И не смог разобрать ни слова. Как он ни мучился, все его усилия оказались напрасны.

– Сударыни, мне очень жаль, – признался он, вернув бумаги Мюзидоре, – но я не могу расшифровать эту чудовищную вязь. Могу только сказать, что это китайские иероглифы и что они написаны очень опытной рукой. Дело в том, что китайский алфавит насчитывает сорок тысяч знаков[9], и, хотя я неустанно трудился всю жизнь, мне удалось выучить только первые двадцать тысяч. Даже уроженцу Китая нужно сорок лет, чтобы научиться читать. Идеи, заключенные в этом письме, очевидно, изложены с помощью знаков, до которых я еще не добрался и которые относятся ко вторым двадцати тысячам. Что касается другой записки, то она на хинди. Господин С*** легко справится с ее переводом.

Крайне разочарованные, Арабелла и Мюзидора покинули дом ученого. Их визит к господину С*** также оказался бесполезным по той простой причине, что господин С*** не знал никакого другого языка, кроме эскуара – баскского наречия, которое он преподавал одному-единственному немцу, по наивности записавшемуся на его курс.

У господина В*** не было ничего китайского, кроме ширмы и двух чашек, зато он бегло говорил на нижнем бретонском и делал успехи в воспитании золотых рыбок.

В остальном эти два господина оставались весьма честными людьми, просто им обоим пришла в голову замечательная идея изобрести язык и преподавать его за казенный счет.

Проезжая через площадь, Арабелла заметила индийских циркачей, показывавших свои трюки на потертом ковре. Они бросали в воздух медные шары, глотали шпаги длиной в тридцать дюймов, гасили ртом факелы и извергали из носа пламя, словно сказочные драконы.

— Мюзидора, — сказала Арабелла, — прикажи своему груму, чтобы он подозвал одного из этих загорелых плутов, может, они лучше разбираются в хинди, чем профессора Коллежа де Франс.

Один из жонглеров по просьбе грума приблизился к экипажу, пройдясь колесом.

— Бездельник, — обратилась к нему Арабелла, — получишь луидор, если прочтешь этот текст, написанный на хинди.

— Сударыня, простите меня, я из Нормандии, изображать индуса — это мое ремесло, я вообще читать не умею.

— Пошел к черту, — сказала Мюзидора и бросила артисту пять франков.

Мнимый индус поблагодарил ее великолепным сальто-мортале и присоединился к своим товарищам, намазанным лакричным соком[10].

Коляска покатила по бульварам.

Перед дверями одного из магазинов у небольшого лотка с двумя-тремя фунтами фиников, полудюжиной кокосов и весами в меланхоличной позе сидел молодой человек. Золотисто-желтая кожа, глаза, распахнутые на бледном лице, подобно таинственным черным цветкам, орлиный нос и прямые иссиня-черные волосы являли все признаки азиатской расы.

На всем белом свете не нашлось бы никого более печального и изможденного тоской по родине, чем этот бедняга, съежившийся в лучах холодного солнца. Вне всякого сомнения, торговец погрузился в воспоминания о зеленых берегах Хугли[11], о величественной пагоде Джаггернаута[12], танцах баядерок[13] у караван-сараев и дворцовых ворот. Он предавался какой-то невыразимой мечте о Востоке, полном золотых бликов, пронизанном неведомыми ароматами и звенящем от веселого шума, и потому вздрогнул всем телом, словно резко разбуженный человек, когда грум Мюзидоры подал ему знак, что хозяйка хочет поговорить с ним.

Повесив на шею лоток, торговец подошел к экипажу и глубоко поклонился, прижав обе руки к голове.

— Прочти нам это. — Мюзидора протянула ему папирус.

Юноша взял листок и прочел со странным проникновенным выражением значки, не доступные вооруженным очками ученым.

Мюзидора трепетала от любопытства и волнения.

— Простите меня, сударыня. — Торговец вытер слезы, выступившие на его черных глазах. — Я сын раджи, беды и злоключения, о которых слиш-

ком долго рассказывать, заставили меня покинуть родину и довели до столь жалкого положения. Вот уже шесть лет, как я не слышал и не читал ни слова на родном языке; впервые за долгое время мне выпало такое счастье. В этом папирусе заключена песня из трех куплетов, народная песня моей страны. Вот что значат эти стихи:

Как снег над зыбями морскими
Роятся мотыльки толпой.
О, как хотел бы я за ними
Лететь лазурною тропой!

Вы, красоты живая мера,
Чьи очи – сумрачный агат,
О, догадайтесь, баядера,
Куда лететь я был бы рад?

Не юных роз, росой омытых,
Коснусь блаженно поутру,
Но ваших уст полураскрытых –
И в восхищении умру[14].

Мюзидора отдала свой кошелек индусу, который с неподдельным чувством благодарности поцеловал ей руку.

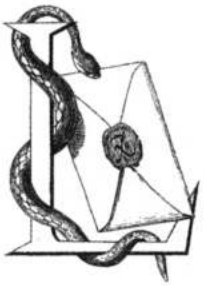
– Теперь я вернусь на родину. Да хранит вас Брахма, да одарит вас всеми благами! – молвил лишившийся трона раджа.

Мюзидора, проводив Арабеллу к любовнику, вернулась домой. Она чувствовала, что ее разум закипает от необоримого любопытства, а сердце трепещет от рождения искренней любви. Не осталось ничего, что помогло бы ей напасть на след Фортунио. Джордж, который, казалось, знал о маркизе больше других, был нем, точно бог молчания – Гарпократ[15], да и не станет же граф помогать Мюзидоре выиграть у себя коляску.

Фортунио, Фортунио, неужели ты носишь на своем пальце волшебное кольцо Гигеса[16] и становишься невидимым, когда захочешь?







Глава VIII

На следующий день Мюзидоре принесли письмо. Его печать представляла собой своего рода арабский талисман. Почерк — изысканный, необычный, с затейливыми черточками и петельками, как будто писал иностранец, — был Мюзидоре незнаком. Она сломала сургуч и прочла следующее:

Мой милый маленький демон,

Вы поперли[1] мой бумажник с восхитительной ловкостью, делающей честь Вашей обходительности, — и я крайне раздосадован, мой дорогой ангел, что в нем не нашлось банкноты на тысячу франков, которая возместила бы Ваши усилия, потраченные на то, чтобы его открыть. Вряд ли Вам удалось удовлетворить свое любопытство, но, черт побери, я никак не мог предвидеть, что той ночью Вы незаметно умыкнете эту вещь. Что поделаешь, всего не предусмотришь. Единственное, о чем я Вас прошу: будьте

осторожны с золотой иголкой. Ее кончик смочен ядовитым соком молочая, малейший укол — и человек тут же погибнет. Эта игла — оружие страшнее пистолета и кинжала, она не знает промаха.

P. S. Прикажите вынуть камни, коими украшен бумажник; они чего-то стоят: это топазы, некогда подаренные мне цейлонским раджой, из них получится браслет, который не испортит Вашу прелестную ручку. Обычно я пользуюсь услугами всем известного ювелира Б***, сошлитесь на меня, и он соберет Вам браслет бесплатно.

Целую Ваши ручки и ножки.

Фортунио





Глава IX

Мюзидора лежит на софе.

Пеньюар из розового неаполитанского шелка небрежными складками облегает ее талию; в дань утонченному кокетству ее ноги босы, а щиколотку украшают две золотые цепочки с эмалью, что смотрится необычно и очаровательно.

Поза Мюзидоры могла бы вдохновить художника на чудесный каприз[1].

Головка в ореоле волос покоится на горке подушек; красавица вытянула свои крохотные ножки и уложила их на горку пуфиков, почти столь же высокую, как та, что поддерживает голову. Таким образом, тело девушки описывает сладострастную дугу, восхитительно изогнутую и плавную.

Она держит в руках письмо Фортунио; вот уже четверть часа она смотрит на него с самым пристальным вниманием, словно форма букв и расположение строк могут открыть тайну автора послания.

Мюзидора испытывает странное ощущение: она чего-то захотела, но не получила. Впервые в жизни она натолкнулась на непреодолимое пре-

пятствие. Удивлению ее не было границ: она, Мюзидора, столь желанная, окруженная такими знаками внимания и множеством воздыхателей, королева этого модного веселого света, так открыто предложила свою любовь и ничего не добилась! Странный оборот! На одно мгновение она почувствовала несказанную злость, беспредельную, жестокую ненависть к Фортунио, еще чуть-чуть – и он стал бы смертельным врагом обольстительницы.

Фортунио спасла его несравненная красота: гнев Мюзидоры не устоял перед изумительным совершенством форм. Чистые жизнерадостные линии благородного лица маркиза изгнали из ее сердца злость, и она полюбила с такой беспримерной силой, какую в себе даже не подозревала.

Если бы любопытство не разожгло эту зарождающуюся любовь, как порыв воздуха – тлеющие угли, она могла бы угаснуть вместе с последними винными парами оргии. Добейся Мюзидора своего, и вслед за успехом явилось бы пресыщение. Но преграда и неудовлетворенное желание превратили искру в пожар.

Одна мысль завладела Мюзидорой – найти Фортунио и заставить маркиза полюбить ее. Затем к этой мысли примешалась вторая – ревность. Кому принадлежит прядь голубых волос? Чья рука подарила давно хранимый цветок? К кому обращены стихи, которые перевел раджа, торгующий финиками?

– И чего я волнуюсь? – произнесла вслух Мюзидора. – Вот уже три года, как Фортунио вернулся из Индии.

Внезапно ее озарила новая идея. Она позвонила, и появилась Жасинта.

– Жасинта, пусть из этого бумажника вынут все камни и отнесут их ювелиру Б*** от имени маркиза Фортунио. Скажите мастеру, чтобы он сделал браслет, и попробуйте разузнать побольше о маркизе. Я подарю вам серое платье с жемчугом, которое вы так хотели.

Жасинта вернулась расстроенной.

– Ну что? – приподнялась Мюзидора.

– Ювелир сказал, что господин маркиз Фортунио часто заходит в его лавку и приносит камни, чтобы вставить их в оправу. Господин маркиз сам приходит за ними в назначенный день, всегда платит наличными, крайне немногословен и в драгоценностях разбирается лучше всех в Париже. Больше ювелир ничего не знает. Я получу серое платье? – с тревогой в голосе поинтересовалась Жасинта, понимавшая, сколь мало ей удалось выведать.

– Да, и не морочь мне голову, оставь меня, я хочу побыть одна.

Жасинта удалилась.

Мюзидора снова принялась разглядывать письмо. Она испытывала несказанное удовольствие от созерцания причудливых букв, написанных

рукой Фортунио, прелестнице казалось, что в шутливом по форме предупреждении об опасности таится обеспокоенность влюбленного и тайное, смутное желание сблизиться с нею, возможно даже, что отравленная игла служила всего-навсего предлогом.

Она остановилась на этой мысли, которая грела ей душу, но очень скоро поняла, что ее надежда – всего лишь иллюзия: если бы он испытывал хоть малейшее желание, Фортунио не пришлось бы прибегать к подобным уловкам. Она продемонстрировала свои чувства достаточно ясно, он не мог обмануться. Сомнений не оставалось: с невообразимой вежливостью он уклонился от всяческих обязательств и не проявил никакого интереса к возможной интриге. Но чем объяснить такую холодность у молодого человека, чьи глаза горят живым притягательным огнем, у мужчины со всеми признаками страстной натуры? Должно быть, в уголке его сердца сокрыта идеальная, возвышенная любовь, парящая над низменными страстями, и все силы души маркиза поглощены одним глубоким чувством, защищающим тело от любых соблазнов. Иначе как он мог устоять под огнем ее ласк, от которых перевернулись бы в гробу Нестор и Приам[2] и растаяло бы даже ледяное сердце Ипполита[3].

– Ах! – вздохнула Мюзидора. – Он презирает меня, он видит во мне продажную женщину, я ему безразлична.

Мюзидора пристально и серьезно всмотрелась в свое прошлое. Казалось, золотые нити, пронизывающие ее зеленые глаза, превратились в извивающихся змеек, бархатные брови воинственно сдвинулись, ноздри резко раздулись, а маленькие зубки закусили нижнюю губу.

– Откуда я знаю, что они ему обо мне наговорили? Эта скотина, этот пьяница Джордж, который только и умеет, что превращать полные бутылки в пустые, тоже мне – дар божий, наверняка не преминул сказать со своим невыносимым смешком: «Ха-ха! Хи-хи! О, эта Мюзидора – сладкая, бесподобная девка, жемчужина всех обедов, украшение всех праздников, цветок всех балов; она в большой моде, честное слово, ты не прогадаешь, если возьмешь ее себе. С ней хорошо показаться в Опере и на скачках. Я сам провел с ней три месяца, каждый приличный молодой человек должен пройти через это. Мюзидора обладает огромной властью, эта штучка бесподобна во всем, что касается моды. Если завтра она возьмет в любовники какого-нибудь провинциала в вязаных перчатках и ботинках со шнурками, то послезавтра эти жуткие ботинки и шнурки прослывут лакированными туфлями и все побегут заказывать себе точно такие же». – Я словно слышу его голос и уверена в каждом слове. А Альфред, этот ни на что не годный дурак при галстуке, какую плоскую шуточку он отпустил в мой адрес со своей высокомерной ухмылкой?

А де Марсили и остальные? Как я их презираю, как бы мне хотелось раздавить их всех и плюнуть им в глаза, ведь именно они сделали меня такой. Или они предупредили Фортунио о нашем глупом пари? Ах, проклятый Джордж, если бы у серых в яблоках коней хватило ума закусить удила и сломать тебе шею! Но я напрасно злюсь; Фортунио не нужны ничьи откровения, чтобы с одного взгляда понять, кто я и как я живу! Черт возьми, Джордж прав, я сладкая бесподобная девка.

Мюзидора помолчала и вдруг промолвила:

– Нет, я честная женщина. Я люблю.

Она встала, поцеловала письмо Фортунио, прижала его к груди и приказала никого не впускать.







Глава X

Ручные львы и тигры начали беспокоиться о Мюзидоре.

Они не знали, что и подумать: Мюзидора нигде не показывалась. Вот уже две недели, как Альфред, который всегда и всюду поспевает, будто наделен способностью раздваиваться, ни разу не встретил ее.

Собаки сбились со следа, напрасно они рыскали и вынюхивали везде, где только можно. Уже прошел один концерт, один бал и одна премьера, а Мюзидора так и не появилась.

Никто не заметил даже краешка ее платья. Может, она уехала в деревню? Но до лета еще далеко. Де Марсили уверяет, что она предается любви с коммивояжером в какой-нибудь мансарде. Джордж утверждает, что ее похитил турецкий посол. Альфред довольствуется тем, что повторяет одну и ту же фразу: «Странно, весьма странно, чрезвычайно странно», к которой прибегает всякий раз, когда сталкивается с чем-то непонятным.

Факт же состоит в том, что уже две недели никто не видел Мюзидору.

Ее дом выглядит необитаемым и мертвым, все ставни тщательно затворены. Никто не входит и не выходит, только изредка лакей с сокрушенным и непроницаемым видом проскальзывает на цыпочках в слегка приоткрытую дверь, которая тут же снова захлопывается. Вечером обычно сияющие окна не озаряются огнями люстр и свечей, лишь одна звездочка, свет коей приглушают толстые шторы, печально дрожит в уголке, и это единственный признак жизни, который можно разглядеть на черном фасаде здания.

Наконец однажды вечером Джордж, соскучившийся по своей фаворитке, сказал на выходе из Оперы:

— Дьявол, я обязательно должен узнать, что приключилось с Мюзидорой. Готов показаться в Булонском лесу на наемной лошади, носить ботинки, смазанные яичным желтком, в общем, готов на любые унижения, если не прорвусь к ней в дом.

И Джордж направился прямиком к Мюзидоре.

Привратник, получивший строгий приказ никого не впускать, попытался преградить графу дорогу.

— Ах так! Забавно! — Джордж сунул ему в лицо очаровательную тросточку с набалдашником из рога носорога. — Ты, может, принял меня за господина барона де Б***?

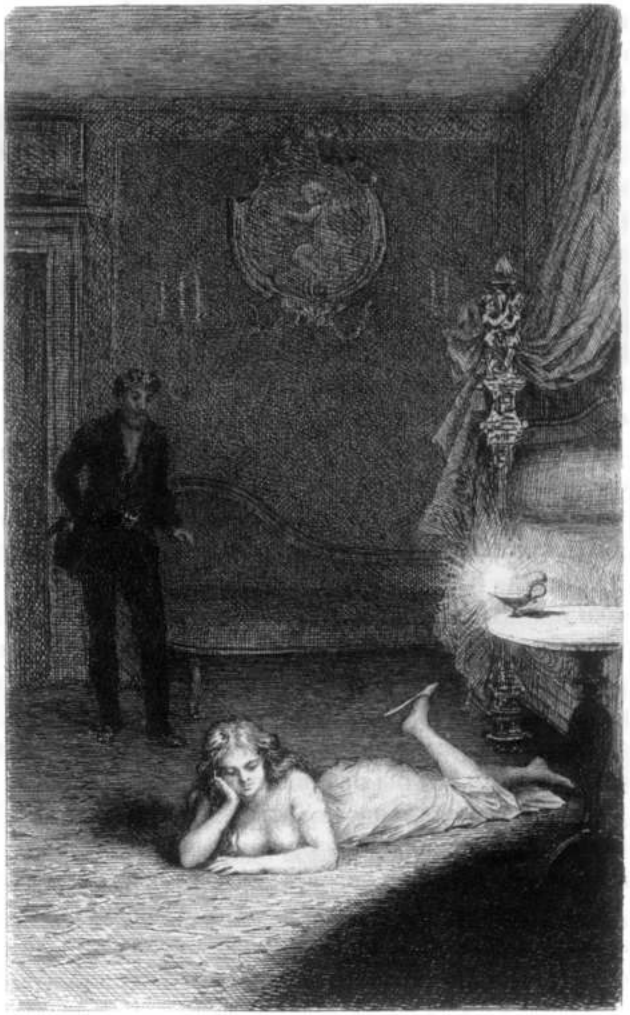
Он смело продолжил свой путь и безо всяких помех достиг первой гостиной, где обнаружил Жасинту, решительно поцеловал ее и, повернув ручку двери, судя по всему, прекрасно ему знакомой, вошел в спальню.

Не говоря ни слова, он замер на несколько мгновений, ища глазами Мюзидору. Этрусская лампа освещала комнату слабым дрожащим огнем, которого едва хватало, чтобы различать очертания предметов.

Когда его глаза привыкли к полутьме, он обнаружил Мюзидору: она лежала на полу, подперев голову руками, ее груди смяли длинный ворс ковра и спрятались в нем, как устрицы; и поза ее в точности повторяла позу Марии Магдалины с картины Корреджо[1]. Распущенные локоны мягкими волнами ниспадали по обеим сторонам печального лица, на котором светлым пятном выделялся только лоб. Если бы приподнятой ножкой она не поигрывала туфелькой из волокон алоэ, обольстительницу можно было бы принять за статую.

— Мюзидора, — нарочито отеческим тоном произнес Джордж, — ваше поведение неслыханно, скандально, вызывающе! В свете ходят самые невероятные и смехотворные слухи. Вы ужасно компрометируете себя, если так пойдет и дальше, вы испортите свою репутацию...

— Ах, это вы, Джордж! — словно очнувшись ото сна, вздохнула Мюзидора.





— Да, моя инфанта, это я, ваш искренний и преданный друг, верный поклонник ваших чар, ваш рыцарь и трубадур, ваш старый Ромео...

— Джордж, вы пьяны как сапожник. Где вам удалось так напиться?

— Я пьян? Мюзидора, я серьезен, будто на похоронах. Увы! К несчастью, вино меня давно не берет! Но речь не обо мне, Мюзидора. Даже неловко повторять, но, говорят, вы влюблены, влюблены как гризетка[2] или прачка.

— Ну и что? — Мюзидора убрала за уши упавшие на щеки волосы.

— Еще говорят, что вы ударились в религию и хотите стать Марией Магдалиной наших дней, в общем, слухи ходят самые нелепые! Зато я точно знаю, что с тех пор, как ваша звезда покинула небосвод, мы совершенно растерялись. Мюзидора, нам ужасно не хватает вас, я скучаю, словно старик, и недавно, чтобы хоть как-то развлечься, дошел до того, что поссорился с Беппом, и был до того неловок, что убил его. В результате не осталось никого, с кем я мог бы на равных сразиться в шахматы. Из-за вас я загубил мою кобылу на *стипль-чезе*[3] у Бьевры:[4] мне почудилось, будто я увидел вас в коляске как раз за той стеной, через которую собиралась перемахнуть моя Мистрис Белл, и бедняжка распорола себе брюхо об осколок бутылки. Альфред, который решительно порвал с Цинтией, чтобы встать в ряды ваших обожателей, из-за вашего исчезновения до того опустился, что появился в Тюильри[5] в грязных перчатках и с той же тростью, что и накануне. Вот краткий, но душещипательный рассказ о бесчисленных бедствиях, постигших нас из-за вашего отсутствия. Вы слишком прекрасны, дорогая малышка, чтобы прятаться. Красота как солнце: она должна светить. Красивых женщин так мало, что правительству следует обязать каждого человека, изобличенного в красоте, по меньшей мере три раза в неделю показываться на своем балконе, чтобы народ до конца не утратил чувство формы и стиля; это гораздо более стоящее дело, чем распространять стереотипные Библии по всяким караван-сараям и основывать школы по методу Ланкастера;[6] и о чем только власти думают! Знай же, моя маленькая царица, из-за того что ты ушла и перестала ранить нас зазубренными стрелами своих насмешек, мы одеваемся столь же безвкусно, как бедняки, на которых неожиданно свалилось наследство, или как те несчастные, коих утром пригласили тем же вечером прийти на бал и которые вынуждены покупать готовую одежду в Пале-Рояле[7]. Посмотри: мой жилет на палец шире, чем нужно, а правый конец галстука гораздо длиннее левого — это очевидный признак сильнейшего расстройства.

— Твои страдания растрогали меня до глубины души, — с полуулыбкой ответила Мюзидора, — по правде говоря, не думала, что из-за меня

образуется такая заметная брешь. Но мне нужно побыть одной: любой шум раздражает меня, мне все надоело, я устала.

— Я понял, — ответил Джордж, — вам хочется посмотреть, как мой фрак сидит на мне сзади. Я невыносим, если вы кого-то ждали, то только не меня. Тем хуже, но на этот раз я нарушу правила этикета и не воспользуюсь единственным способом сделать вам приятное, а именно, уйти.

С этими словами он преспокойно уселся на пол рядом с Мюзидорой.

— Черт возьми, какой красивый браслет, — промолвил Джордж, взяв ее руку.

— Фи! — с презрительной усмешкой произнесла Мюзидора. — Ведете себя, точно Тартюф[8], неужели, чтобы дотронуться до моей руки, вам надо говорить о браслете?

— Это восхитительные топазы чистейшей воды, — продолжил граф, — и наверняка браслет от Б***: такие вещицы умеет делать только он. Кто тот Амадис[9], кто тот принц Галаор[10], тот прекрасный завоеватель, что подарил вам эти камни? Кто так ревнив, что держит вас взаперти, словно турецкий султан свою любимую одалиску?

— Фортунио, — ответила Мюзидора.

— Не может быть! Фортунио? — удивился Джордж. — И когда же тебе прислать коляску и упряжку? Теперь понятно, куда ты исчезла. Ты не зря потратила время. Просила шесть недель, а управилась за две и проникла в тайну, которая оставалась за семью печатями целых три года. Прекрасно! Я подарю тебе напудренного кучера и двух грумов в придачу. И очень надеюсь, что ты отвезешь нас в нору этого хитрого лиса, столь долго водившего нас всех за нос, в коляске, которую ты так ловко у меня выиграла.

— Джордж, я не видела Фортунио с того самого ужина, — вздохнула Мюзидора, — и не знаю, куда он запропастился, не знаю даже, во Франции он или нет. Эти камни с бумажника, который, как вам известно, я стащила у него. Они украшали его снаружи, а внутри я нашла только китайское письмо и малайскую песню. Фортунио, заметив пропажу, написал мне насмешливое письмо и попросил сделать браслет из топазов. Вот и все. С тех пор я не получала никаких вестей, думаю, он отправился к своей китайской принцессе.

— Вовсе нет, малышка, я два раза видел его в Булонском лесу: первый раз на Мадридской аллее, второй — у ворот Майо[11]. Он скакал на черном жеребце, резвом, как сам черт, и этот конь с невообразимо зверской мордой промчался мимо меня, точно пушечное ядро. В то время я еще был на Мистрис Белл, ты знаешь, какова она. Но, увы! Рядом с гиппогрифом Фортунио она выглядела (да, теперь о моей бедной лошадке надо говорить в прошедшем времени), как улитка, ползущая по камню, посыпан-

ному сахарным песком. Вслед за Фортунио проскакало галопом маленькое чудище с шафранным лицом, огромными, во всю голову, глазищами, толстыми губами и прямыми волосами, да к тому же еще и разряженное, будто попугай. В общем, кошмар верхом на ветре, ибо только ветер может носиться с такой скоростью. Это все, что я знаю о Фортунио. Впрочем, с тех пор он, как ты говоришь, вполне мог оказаться и в Китае.

В этом потоке слов Мюзидора уловила одно: что она может встретить Фортунио в парке. Лучик надежды блеснул в ее зеленых глазах, и она заговорила с Джорджем почти дружелюбно.

— Даю тебе еще месяц, — сказал Джордж, поцеловав ей руку. — Раньше я попросил бы тебя оказать мне гостеприимство, но ты ведь теперь девушка с принципами. Прощай, моя инфанта, моя принцесса, желаю тебе розовых и перламутровых сновидений. Если увижу господина Фортунио, не пожалею мою четверку лошадей и пришлю его к тебе.

И на этой прекрасной заключительной ноте Джордж ушел, не забыв, как обычно, по дороге поцеловать Жасинту. Где он провел остаток ночи, мы не знаем.





Глава XI

Мюзидора проснулась в приподнятом настроении; она приказала подать ей зеркало и нашла себя прехорошенькой — немного бледна и взгляд слегка томный, как раз такой, чтобы добавить к ее красоте изысканности и загадочности. Она подумала, что если бы Фортунио увидел ее такой, то победа осталась бы за ней. В самом деле, Мюзидора была неотразима. Но как победить убегающего врага, врага, который не хочет драться?

Для этого времени года день выдался довольно ясным: в разрывах между облаками виднелись лазоревые просветы, а свежий ветерок высушил дороги. Мюзидора, обыкновенно равнодушная к переменам погоды, так как ей было все равно, льет ли дождь или светит солнце, почувствовала безграничную радость, увидев, что ненастье ей не грозит.

Она бегала по дому в необычайном возбуждении, поглядывала на все часы и интересовалась, куда повернуты флюгеры на окрестных крышах.

Жасинта, ее верная камеристка, помогла прелестнице надеть элегантную небесно-голубую амазонку и бобровую шапочку с зеленой вуалью; хлыст от Вердье[1], модные полусапожки на шнурках – все было на месте.

В этом наряде Мюзидора приобрела особенно привлекательный вид – решительный и победоносный. Грозди завитых волос, готовых противостоять ветру, изящно обрамляли щеки, талия, стянутая корсажем амазонки, выглядывала из пышных складок юбки, точно гибкий хрупкий стебелек, а крохотные ступни в узких полусапожках стали еле заметны.

Джек доложил, что лошадь госпожи оседлана.

Мюзидора спустилась во двор, Джек поддержал стремя, и она ловко и легко вспорхнула в седло, хлестнула лошадь и стрелой вылетела на улицу.

Джек мчался позади и, несмотря на неимоверные усилия, едва поспевал за нею.

Вскоре длинный проспект Елисейских полей[2] остался позади. Лошадь Мюзидоры застоялась и теперь от нетерпения скакала, будто кузнечик.

Она неслась во весь опор, но хозяйка, отпустив поводья, изо всех сил продолжала подстегивать ее: какое-то предчувствие говорило Мюзидоре, что сегодня она увидит Фортунио.

Разгоряченная лошадь перешла на галоп и, казалось, уже парила над землей.

Прохожие и проезжие восхищались смелостью молодой женщины; порой крики ужаса раздавались из карет, а некая пугливая дама, отшатнувшись от окна, спрятала лицо, чтобы не видеть, как эта сорвиголова упадет и разобьется о мостовую.

Но Мюзидора была великолепной наездницей, она держалась в седле словно влитая.

У ворот Майо ей повстречался Альфред, возвращавшийся в Париж; он хотел развернуться и поскакать за ней, чтобы поведать о сжигавшем его пламени и упросить избавить его от страданий, но оплошал: потерял стремя, съехал набок и, пока снова устраивался в седле, Мюзидора уже скрылась из виду.

– Черт, – выругался он и пустил лошадь шагом, – проворонил такой шанс! Ладно, буду ждать ее у ворот, возможно, обратно она поедет этой же дорогой.

И, боясь упустить Мюзидору, Альфред занял пост у ворот Майо и неподвижно застыл, подобно карабинеру, стоящему на часах у Триумфальной арки на площади Карусель[3].

Почки на деревьях еще не распустились, редкие травинки только-только начали пробиваться сквозь гнилую прошлогоднюю листву, крас-

новатые, липкие, голые веточки придавали кустам сходство с каркасами зонтов или вееров, с которых сорвали шелк. Солнце пряталось за облаками, но дороги уже покрылись пылью, точно после засушливого лета. Булонский лес был настолько безобразен, насколько бывает безобразен модный парк, и этим немало сказано.

Мюзидору, как человека по природе своей городского, нимало не заботили окружающие красоты, ее волновал только Фортунио.

Она несколько раз проскакала по всем аллеям и, в частности, по Мадридской, где Джордж повстречался с Фортунио, но все напрасно.

— Что это сегодня с Мюзидорой, — говорили молодые люди, видевшие, как она, отпустив поводья, проносится мимо, подобно тени, влекомой вихрем, — почему она мчится как бешеная и перепрыгивает через заборы, рискуя сломать шею? Может, она решила податься в берейторы или в жокеи? Какая муха ее укусила?

Вдруг Мюзидоре показалось, что за поворотом промелькнул Фортунио: она бросилась вдогонку, с силой пришпорив лошадь и стегнув ее хлыстом.

Разъяренная лошадь вздыбилась, два-три раза взбрыкнула и понеслась с адской скоростью. Вены вздулись на мощной дымящейся шее, бока шумно ходили, вдоль поводьев пенистыми хлопьями летел пот, она мчалась так, что ее хвост и грива стлались по ветру.

— Мюзидора, — закричал Джордж, ехавший ей навстречу, — ты загонишь лошадь!

Малышка не обратила на него никакого внимания и продолжила безумную скачку.

Выглядела Мюзидора восхитительно: от быстрой езды щеки ее разрумянились, глаза заблестели, растрепавшиеся волосы развевались за спиной, разгоряченная грудь приподнимала корсет, ноздри с шумом втягивали воздух; губы она сжала, чтобы не задохнуться от ветра; сзади трепетала вуаль, придавая всаднице что-то воздушное и призрачное. Даже у дев-воительниц Брадаманты и Марфизы[4] не было такого гордого и полного решимости вида.

Увы! То оказался вовсе не Фортунио, а довольно приятный молодой человек, который немало поразился, когда перед ним вдруг возникла прекрасная незнакомка и, ни слова не сказав, на всем скаку развернулась обратно.

Крайне раздосадованная Мюзидора снова повстречалась с Джорджем, который ехал мелким шагом, словно степенный деревенский кюре на осле.

— Джордж, — сказала она, — проводите меня домой: я потеряла своего слугу.

Джордж направил лошадь к Мюзидоре, и они выехали из леса через ворота Отёй[5].

– Смотри, – указал на них одному из своих спутников де Марсили, – похоже, Джордж снова сошелся с Мюзидорой.

– Я всегда подозревал, что они по-настоящему никогда и не расставались, – признался приятель.

– Обязательно расскажу об этом герцогине де М***, – обрадовался де Марсили, – она устроит Джорджу красивую жизнь. Сколько возвышенных и страстных фраз придется ему сочинить, чтобы вернуть ее расположение!

И довольные приятели свернули на другую аллею.

Что до Альфреда, чей нос на прохладном ветру приобрел пурпурный оттенок, то, увидев, что горизонт заволакивается туманом и становится все темнее, он произнес совершенно справедливые слова, до которых должен был додуматься двумя часами ранее:

– Ах, вот как! Похоже, Мюзидора въехала в город через другие ворота. Эта малышка в самом деле слишком капризна, всё, приударю-ка я лучше за Фебой, у нее характер намного спокойнее.

Приняв такое решение, он тронулся в путь и напился допьяна в «Кафе де Пари»[6], чтобы утешиться и забыть о постигшей его неудаче.





Глава XII

Прекрасная малышка вернулась домой, чуть не падая от усталости. Мюзидора была страшно обескуражена и расстроена – ни дать ни взять профессиональный игрок, которому близкий друг не одолжил двадцати франков, чтобы продолжить игру.

Она бросилась на диван и, пока Жасинта расшнуровывала ее сапожки и расстегивала платье, разрыдалась.

То были первые слезы, оросившие ее блестящие глаза с прямым и холодным взглядом, острым и режущим, точно кинжал.

Когда умерла ее мать, она не пролила ни слезинки. Правда, мать продала ее, тринадцатилетнюю, старому англичанину и била, чтобы отнять заработанное. Эти мелочи несколько умерили дочернюю любовь в сердце Мюзидоры.

Она смотрела безо всякого видимого волнения на окровавленное тело юного Уиллиса, который застрелился, отчаявшись удовлетворить ее запросы.

Теперь же она плакала, потому что не нашла Фортунио.

Лед ее сердца, холодного и бесплодного, как сибирская зима, таял от теплого дуновения любви, превращаясь в тихий поток слез, и эти слезы окрестили ее для новой жизни. Встречаются такие алмазные натуры — ничто не оставляет на них следа, никакой огонь не может их расплавить, ни одна кислота — растворить; они совершенно не поддаются шлифовке и раздирают своими острыми гранями нежные слабые души, попадающиеся им на пути. Их обвиняют в дикости и жестокости, а они лишь подчиняются тому неизбежному закону, в соответствии с которым при столкновении двух тел более твердое из них разбивает и коверкает то, что мягче. Почему алмаз режет стекло, а стекло не режет алмаз? Вот и весь ответ. Но кто станет обвинять алмаз в бесчувственности?

Мюзидора — одна из таких натур: равнодушно и спокойно она жила посреди хаоса; она окунулась в разврат, как ныряльщик, который забрался под свой колокол и видит вокруг чудовищных спрутов и голодных акул, но те не могут его достать. Ее жизнь полностью расходилась с внутренними убеждениями и протекала независимо от них. И часто малышке казалось, что какая-то другая женщина, повинуясь странному стечению обстоятельств, завладела ее именем и внешностью и совершает поступки, которые все приписывают ей самой.

Но вот ей встретилась душа столь же твердая и неприступная, и внезапно начали сглаживаться углы, проступать грани и появился нестираемый вензель: алмаз шлифуется только алмазом.

Фортунио удалось рассечь твердую броню Мюзидоры и запечатлеть свой образ на металле, не чувствительном к азотной кислоте и не поддающемся резцу.

Из статуи вышла женщина. Так в далекой древности навстречу юному пастуху неотразимой красоты, полученной в дар от Венеры, в сиянии белоснежной наготы вышла из узловатого и шероховатого дуба улыбающаяся нимфа[1].

Мюзидора и сама чувствовала, как в ее груди нарождается новая душа, как распускается таинственный цветок, посеянный Фортунио на бесплодной скале ее сердца; и в цветке этом сочетались и божественная наивность, и восхитительное ребячество, и чистая, девственная страсть. Мюзидора на самом деле — юная и невинная девушка, краснеющая от неосторожных слов и замыкающаяся от откровенных взглядов. Она совершенно искренне не расстается с запиской дорогого Фортунио, прячет ее на ночь под подушку и целует по двадцать раз на дню. Поверьте, если бы уже цвели ромашки, она оборвала бы у них все лепестки, гадая: «Любит, не любит», как наивная Маргарита в саду госпожи Марты[2].

И кто это сказал, что есть на свете некая Мюзидора — высокомерная, капризная, испорченная, ядовитая, будто скорпион, и до того злая, что так и тянет заглянуть ей под подол и проверить, нет ли у нее раздвоенных копыт? Бессердечная, безжалостная и бессовестная Мюзидора, способная обмануть даже собственного избранника? Вампир, пьющий золото и серебро, высасывающий наследства из отпрысков знатных семей, словно стакан содовой для аппетита? Насмешливый демон, встречающий всё и вся своим резким обидным смехом? Одиозная куртизанка, которая возродила античные оргии, хотя и не отличалась пылкостью и страстностью Мессалины?[3] Тот, кто утверждает подобное, сильно ошибается.

Такой Мюзидоры мы не знаем и сомневаемся, что она когда-нибудь существовала. И, кстати сказать, мы не взяли бы в качестве главной героини столь отвратительное создание. Кроме того, не стоит доверять слухам; как известно, злым языкам удалось оклеветать даже Тиберия и Нерона[4].

Мюзидора, которую мы знаем, слаще и белее молока; она простодушна, словно новорожденный ягненок, а ее чистая, распахнутая душа благоухает свежестью и весной, как первая земляника. Ее мечтания невинно блуждают по нежно-зеленой травке вдоль изгородей из цветущего боярышника. Ей хочется одного: поселиться в скромном домике на берегу чистого озера и жить там вечно вдвоем со своим любимым.

Найдется ли девушка пятнадцати лет, благополучно растущая под крылом любящей матери, с мечтой о счастье более целомудренной и простой? С мечтой всего-навсего о любви без всяких там тибетских зеленожелтых шалей, молочно-белых лошадей, бриллиантов и первой ложи в Буффах.

Как сказал Ян Гус, взойдя на костер: «О, sancta simplicitas!»*.

Однако, на мой взгляд, пока еще нет никаких намеков на то, что эта мечта, с виду такая простая и легко осуществимая, когда-нибудь сбудется.

Посчастливится ли нам встретить Фортунио в Булонском лесу? Сомневаюсь. И в то же время у нас нет иного способа продолжить эту повесть. Итальянские птички вылетели из золотой клетки[5], а потому нечего и думать о том, чтобы заставить Фортунио встретиться с Мюзидорой на представлении «Анны Болейн» или «Дон-Жуана»[6]. Что до Оперы, то Фортунио редко туда захаживает, а мы не хотим нарушать привычки нашего дорогого героя. В то же время мы снабжаем гаванскими сигарами одного нашего знакомца, который днюет и ночует на Гентском бульваре, чтобы поймать Фортунио, иногда прогуливающегося там с его приятелем де Марсили.

---

* «О, святая простота!»[7] (*лат.*)

Мы обдумывали, не вернуть ли нам Мюзидору на Мадридскую аллею, чтобы она увидела там Фортунио, несущегося во весь опор: она бросается за ним в погоню, лошадь пугается, наступив на ветку, бедная Мюзидора летит на землю и теряет сознание. Фортунио подбирает ее и несет домой, а потом, соблюдая приличия, навещает больную, чтобы узнать, как она себя чувствует. Мюзидора признается ему в любви, сердце дикаря Фортунио тает, ну и так далее. Нет, это слишком старо; во всех романах только и видишь, что женщин, преследуемых разъяренными быками, кареты, остановленные на краю пропасти, обезумевших от страха лошадей и незнакомца, хватающего их поводья, а также прочие изобретения подобного рода.

Кроме того, вполне естественно при падении с лошади вывихнуть плечо, разбить голову, лишиться зубов или сломать нос. Мы потратили столько сил, чтобы сделать из Мюзидоры чарующее создание, и теперь нам совсем не хочется портить ее нежные гладкие плечи, деликатно очерченный носик, и ровные, белые, словно у ньюфаундленда, зубки, ради чистоты которых мы исчерпали все ведомые нам сравнения. Думаете, приятно будет увидеть, как ее шелковистые светлые волосы спекутся от крови и превратятся в сосульки? Чтобы перевязать ее рану на голове, придется, наверное, эти волосы обрезать. И что же? Наша героиня окажется с бритой головой? Мы ни за что не допустим такого безобразия и к тому же будем не в состоянии продолжить историю, героиня которой острижена под Тита[8].

Не правда ли, дорогие дамы, нет ничего отвратительнее, чем принцесса из романа, похожая на мальчишку?

Да, тяжелую задачу мы на себя взвалили. Как, черт возьми, узнать, чем занимается Фортунио? И почему мы должны быть более осведомлены на сей счет, чем вы? Мы видели Фортунио только раз, на ужине, тогда-то нам и пришла в голову эта злополучная идея сделать маркиза нашим героем, мы надеялись, что такой приличный молодой человек не избежит любовных приключений. Теплый прием, который ему все без исключения оказывали, таинственность, его окружавшая, несколько странных слов, произнесенных им между первой улыбкой и первым тостом, все это, естественно, склонило нас в его пользу. Ах, Фортунио! Как же ты нас обманул! Мы-то надеялись, что просто запишем под твою диктовку чудесную историю, полную поразительных перипетий, а получилось совсем наоборот: надо вытаскивать все из собственных запасников и ломать голову над тем, как заставить читателя дождаться момента, когда ты соизволишь явиться и поприветствовать нашу компанию. Мы сделали тебя красивым, умным, великодушным, сказочно богатым, таинственным, благородным, хорошо обутым и одетым, в общем, одарили тебя исключительны-

ми и полезными достоинствами! Неблагодарный Фортунио, ты не стал бы лучше, даже если бы твоей крестной была фея! И сколько страниц ты нам дал за это? От силы двенадцать. О, гирканская жестокость[9], о, невиданная гнусность! Двенадцать страниц за двадцать четыре совершенства!.. Мало.

Из-за вашей великой лени бедная Мюзидора расстроилась сверх всякой меры, Джордж напился, точно целый полк тамбурмажоров, Альфред натворил больше глупостей, чем обычно, Цинтия показала свою спину и грудь, Арабелла – платье, а Феба – ножку. И все для того, чтобы заполнить пространство, которое предназначалось вам одному. Исключительно из-за вас мы в нарушение приличий, не зная, куда повести нашего читателя, вошли в ванную Мюзидоры. Из-за вас появились длиннейшие описания, это вы заставили нас нарушить принцип Горация: «Semper ad eventum festinat»*. И если у нас получился плохой роман, это ваша вина, хоть я и не желаю сильно обременять вашу совесть! Мы старательно выверили орфографию и отыскали в словаре все те слова, в которых были не уверены. Попав в наши избранники, вы должны были обеспечить нас невероятными событиями, великими страстями, платоническими и не очень, а также дуэлями, похищениями и ударами кинжала, на таких условиях мы вложили в вас все мыслимые и немыслимые достоинства. Если вы намерены продолжать в том же духе, наш дорогой Фортунио, мы объявим, что вы урод, глупец, заурядная личность, и вдобавок к тому все узнают, что у вас в кармане нет ни гроша. Мы не имеем никакой возможности подкарауливать вас в подворотнях, подобно брошенной любовнице, которая под ливнем ждет, когда ее неверный выйдет от своей новой пассии, чтобы схватить его за фалды фрака. Был бы у вас привратник, мы расспросили бы его, но у вас нет привратника, поскольку нет и дома, а следовательно, и ворот. О Каллиопа, муза с бронзовым рогом в руках![10] Поддержи наш дух! О чем, черт возьми, мы будем говорить в следующей главе? Нам остается одно: заставить Мюзидору умереть. Вот видите, Фортунио, до каких крайностей вы нас довели! Мы намеренно создали хорошенькую женщину, чтобы сделать из нее вашу любовницу, а теперь вынуждены будем убить ее на странице сто восемьдесят пятой вопреки установившемуся обычаю, который позволяет проткнуть булавкой пузырь, надутый вздохами любви и именуемый героиней романа, лишь где-то на триста десятой или триста двадцатой странице[11].



* «[Поэт] всегда спешит к развязке»[12] (*лат.*).





Глава XIII

Дни шли за днями, а Фортунио не появлялся.

Все попытки Мюзидоры найти его ни к чему не привели. Ей постоянно вспоминались слова Арабеллы: «Фортунио не человек, Фортунио — это миф».

В самом деле, он был до того красив, что, глядя на него, каждый легко поверил бы в воздействие неких сверхъестественных сил. Ошеломляющий блеск, сопровождавший его первое появление перед Мюзидорой, способствовал этой поэтической иллюзии, и порой несчастная уже сомневалась, что видела его наяву. Так тот, кто заметил, как небо на минутку расчистилось, а затем затянулось непроницаемой пеленой, думает, что стал жертвой горячечной галлюцинации.

Вероломные подруги с иронично-соболезнующими лицами и радостно-печальными глазами навещали Мюзидору и пытались утешить, на-

сколько могли. Цинтия по простоте душевной посоветовала найти другого любовника, дабы отвлечься от мыслей о Фортунио. Но Мюзидора сказала, что подобное средство, годное для Арабеллы и Фебы, ей совершенно не подходит. Тогда Цинтия нежно поцеловала ее в лоб и ушла со словами: «Povera innamorata*, я пойду в церковь и закажу новенну[1] Мадонне, чтобы вы преуспели в любви».

И она с благоговейным трепетом выполнила свое обещание.

Мюзидора, поняв, что последний лучик надежды угас, а Фортунио по-прежнему неуловим, почувствовала отвращение к жизни и принялась строить самые мрачные планы. Как девушка отважная, она решила, что не переживет свою первую любовь.

«Поскольку, — думала Мюзидора, — я своими глазами видела того, кого мне суждено любить, то не допущу, чтобы какой-то другой мужчина дотронулся до меня хоть пальцем. Отныне я неприкосновенна! Ах, если бы я могла избавиться от прошлого и начать жизнь сначала! Если бы я могла вычеркнуть из жизни дни, которые не были посвящены тебе, мой дорогой загадочный Фортунио! Я всегда подозревала в глубине души, что где-то есть ты, нежный и гордый, умный и красивый, с блестящими спокойными глазами, со снисходительной улыбкой на божественных устах, похожий на ангела, сошедшего на землю! Я увидела тебя и всей душою устремилась тебе навстречу, с первого взгляда ты завладел моим сердцем, я почувствовала, что принадлежу только тебе, я узнала моего властелина и победителя, поняла, что не смогу любить никого, кроме тебя, и что смысл моей жизни изменился раз и навсегда. Бог покарал меня за то, что я тебя не дождалась, но теперь я знаю, что ты существуешь, ты не призрак, не фантом, занесенный кровью из сердца в мою разгоряченную голову, я слышала тебя, видела, осязала; я потратила все силы, чтобы найти тебя, чтобы броситься к твоим ногам и вымолить прощение и хоть капельку любви. Ты ускользнул от меня, как тень. Мне остается только умереть. Знать, что ты не миф, и жить — невозможно».

Мюзидора перебрала все существующие способы самоубийства. Сначала она думала утопиться, но, во-первых, Сена была грязной и тинистой, а во-вторых, ей почему-то совсем не нравилось, что ее выловят сетями под мостом Сен-Клу[2] и полностью обнаженной положат на одну из липких черных плит морга.

В какой-то момент она уже решила прострелить себе голову, но у нее не было пистолета, и потом, какая женщина согласится, чтобы ее бездыхан-

---

* Бедная влюбленная (*ит.*).

ханное тело нашли обезображенным — каждой, в силу своеобразного посмертного кокетства, хочется хорошо выглядеть даже в гробу.

Ей больше улыбался удар кинжалом в грудь, но она боялась отступить перед болью и к тому же не была уверена, что ее рукам хватит твердости. Она всерьез собиралась убить себя, а не нанести себе интересную рану.

В итоге она остановилась на яде.

Сразу заверим читателя, что нашей героине ни на секунду не пришла в голову мещанская и лишенная всякого вкуса идея отравиться угарным газом, она слишком хорошо умела жить красиво, чтобы умереть столь безобразно.

И внезапно ее осенило, она вспомнила об иголке Фортунио.

«Я уколю себя в грудь, и все будет кончено. И смерть моя будет сладка, потому что я получу ее как бы из рук Фортунио». — С этими словами она вытащила маленькое жало из кармашка бумажника.

Мюзидора внимательно осмотрела острие, покрытое красноватым налетом, и положила иглу на свой круглый столик.

Затем она надела белый муслиновый пеньюар, воткнула в волосы розу того же цвета, улеглась на софу, тщательно расправила складки своего одеяния и обнажила восхитительную нежную грудь, чтобы было легче уколоться.

Да, Мюзидора была полна решимости убить себя, но мы должны признать, что она вовсе не торопилась, какая-то смутная тайная надежда еще удерживала ее. «Я сделаю это ровно в полдень», — подумала она.

Часы показывали без четверти двенадцать. Попробуйте-ка объяснить этот странный каприз, но Мюзидора очень расстроилась бы, если бы умерла в одиннадцать часов сорок пять минут.

Пока последние крупинки роковой четверти часа падали в песочных часах вечности, голову Мюзидоры посетили новые соображения. Что, если ей придется долго мучиться, прежде чем она умрет от этого яда? И не покроется ли ее тело красными или черными пятнами? Ей захотелось узнать, как он действует.

Во времена Клеопатры и до нее это не составило бы никакого труда: привели бы пять-шесть рабов мужского и женского пола и испробовали яд на них, в общем, провели бы то, что на языке медиков называется in anima vili*.

Дюжина несчастных покорчилась бы подобно разрубленным на куски угрям на порфирном[3] полу с блестящими мозаиками у ног хозяйки,

---

* [опытом] на малоценном живом существе[4] (*лат.*).

небрежно облокотившейся на плечо юного азиата, а она своими бархатными глазами наблюдала бы за их последними судорогами. Но все это в далеком прошлом, нам не понять удивительной жизни того гигантского мира, в наших добродетелях и преступлениях нет ни стиля, ни размаха.

Не имея рабов, чтобы испытать отравленную иглу, Мюзидора в крайнем замешательстве держала ее острие в трех дюймах от сердца и завидовала Клеопатре, которая, прежде чем подставить свою прекрасную грудь под ядовитые поцелуи аспида, узнала, какие страдания ей предстоят, чтобы воссоединиться с ее дорогим Антонием.

В тот момент, когда Мюзидору обуяли эти сомнения, из-под кровати вылезла ее британская кошка и, ласково мяукая, подошла к девушке. Увидев, что хозяйка не обращает внимания на ее призывы, кошка вспрыгнула на колени Мюзидоры и несколько раз ткнулась своим розовым холодным носиком в ее руку.

Глядя на хозяйку круглыми глазами, рассеченными надвое зрачками в форме римской цифры I, кошка выгнула спину и негромким урчанием, свойственным котам и тиграм, дала понять, что хочет, чтобы ее приласкали.

Мюзидора погладила пушистую шерстку, и тут ей пришла дьявольская мысль: она уколола кошку прямо в голову.

Бланшетта вскочила, спрыгнула на пол, попыталась сделать два-три шага, но, потеряв равновесие, упала; тяжело дыша, она несколько раз тихонько стукнула хвостом по паркету, затем по ее телу пробежала дрожь, глаза вспыхнули зеленым огнем и погасли. Она была мертва. Агония длилась всего несколько секунд.

— Хорошо, мне не придется долго мучиться, — облегченно вздохнула Мюзидора и поднесла иглу к груди.

Она уже почти вонзила смертоносное жало в свою белую кожу, когда до ее слуха донесся глухой стук колес экипажа, на большой скорости въехавшего в арку ворот, и этот звук на мгновение задержал осуществление рокового плана.

Она встала и посмотрела в окно.

Коляска, запряженная четверкой серых в яблоках коней, похожих друг на друга как капли воды и стройных, словно арабские скакуны, ведущие свою родословную от коней самого Пророка, огибала покрытый песком двор. Коляска была пуста.

Мюзидора не знала, что и подумать, когда Жасинта вручила ей маленькую записку, полученную от одного из форейторов.

Вот что было в этой записке:





Сударыня!

Из-за моей нелюдимости Вы не выиграли у Джорджа коляску, это несправедливо. Та, что Вы видите, лучше, соблаговолите принять от меня этот подарок. Если Вам вдруг захочется прокатиться, советую выбрать дорогу на Нейи:[5] она сейчас очень хороша, и вы сможете оценить резвость лошадей. Буду счастлив встретить Вас там.

Фортунио





Глава XIV

Легко вообразить изумление и счастье Мюзидоры; в мгновение ока глубочайшее отчаяние сменилось беспредельной радостью: этот вечный беглец, этот неуловимый и нелюдимый Фортунио явился тогда, когда она меньше всего его ждала. Победные звуки фанфар раздались в ушах Мюзидоры, ибо она уже не сомневалась в своем торжестве и была уверена, что беспрепятственно завоюет сердце Фортунио.

О, животворящая надежда! С каким упорством ты поднимаешь свои мягкие гибкие ветви, придавленные тяжестью отчаяния, и как мало нужно времени, чтобы на них распустились чудесные цветы и зазеленели бесчисленные листочки!

Дитя, что еще минуту назад было бледнее статуи из алебастра на надгробье, дитя, чьи голубоватые вены, казалось, пронизывали толщу мрамора, а не живую плоть, теперь скачет по комнате и щебечет, словно весенняя пташка.

— Жасинта, Жасинта! Быстрее, одень меня, я хочу отправиться на прогулку!

— Какое платье желает надеть госпожа? — медленно, по слогам, произнесла Жасинта, как бы давая хозяйке время на раздумье.

— Первое, что попадется, то и бери. — Малышка всплеснула руками от нетерпения. — И умоляю, поживее, что ты ползаешь, будто черепаха, можно подумать, у тебя панцирь за спиной!

Жасинта принесла белое платье в тонкую розовую полоску, которая придавала ему нежный телесный оттенок, похожий на едва распустившиеся гортензии.

Мюзидора так торопилась, что набросила его на голое тело без корсета. Впрочем, она ничем не рисковала, ибо принадлежала к тем немногочисленным женщинам, которые, сняв одежду, не теряют формы.

Потом она завернулась в просторную кашемировую накидку, ниспадавшую до самых пят, а Жасинта аккуратно надела на нее самую модную, изящную и кокетливую шляпку, о какой только можно мечтать. Мы не осмеливаемся грубой прозой описать этот шедевр. Достаточно сказать, милые дамы, что высокая тулья этой шляпки, украшенная понизу воздушной гирляндой из мелких полевых цветов, создавала вокруг личика Мюзидоры такой восхитительный ореол, что каждая вторая святая охотно променяла бы на него свой золотой нимб; в общем, вообразите себе большую камелию с ангельским личиком вместо сердцевины.

Маленькие туфли, похожие на надкрылья скарабея и такие открытые, что держались на кончиках пальцев ног, выглядывали из-под подола ее платья и ясно давали понять, что они надеты на самые красивые на свете ножки.

Сквозь исключительно тонкие, ажурные чулки просвечивала нежно-розовая кожа этих восхитительных ног.

Мюзидора, на ходу натягивая перчатки, спустилась по лестнице и села в коляску.

— В Нейи! — приказала она груму, убравшему подножку.

И коляска умчалась со скоростью света.

— Гляди-ка! — сказала Жасинта, споткнувшись о трупик кошки, который только теперь заметила. — Бланшетта сдохла! Эй, Джек! Посмотрите на вашу подопечную; она умерла. Достанется вам от хозяйки, когда она вернется!

Джек потрясенно опустился на колени рядом с кошкой, потянул ее за хвост, пощипал за уши, потер нос платком, смоченным в одеколоне, увы! — все было напрасно.

— О! Вредная тварь! Она нарочно умерла, чтобы хозяйка меня побила. — Негритенок в притворном ужасе завращал своими огромными глазищами. — У нее такая крепкая ручка!

— Замолчите, животное! Неужели вы думаете, что госпожа опустится до того, что станет бить вас собственными руками! Нет, она прикажет выпороть вас Замору, — торжествующе произнесла Жасинта. — И, правду сказать, вы заслужили порку. Всего-то делов — ухаживать за одной-единственной кошкой и при этом дать ей околеть, как *собаке*! Смотри у меня, дуралей!

— Ох! Ух! Ай! — закричал негритенок, словно уже ощущал на своих плечах град назначенных ему в наказание ударов.

— Кричите-кричите. — Жасинте нравилось пугать негритенка. — Замор вас не пожалеет, и рука у него тяжелая; не сомневайтесь, господин Джек, он с вас шкуру заживо сдерет.

Джек подобрал кошку, положил в колыбельку, подогнув Бланшетте лапки и обернув их хвостом, и открыл ей глаза, чтобы она выглядела как живая, а сам спрятался на конюшне за стогом овса, дабы переждать грозу. При этом он не забыл запастись бутылкой вина, хлебом и большим куском вареного мяса.

Поскольку эта глава заканчивается на кошке, мы хотим оградить Мюзидору от возможных обвинений в жестокости из-за того, что она убила свое любимое животное. Мюзидора собиралась умереть и думала, что после ее смерти кошка, наверное, окажется где-нибудь на крыше, под дождем и снегом, и бедняжку ожидают все ужасы голода (какая печальная перспектива!). Наша героиня поступила жестоко из добрых побуждений. Позже она приказала сделать из питомицы чучело и поместить под стеклянный колпак, отороченный красным бархатом; Бланшетта лежит на небесно-голубой подушечке, и прекрасные глаза кошки отсвечивают зеленоватым блеском, совсем как живые; так и кажется, что вот-вот раздастся ее *мур-мур*. Кто из нас может похвастать тем, что из него после смерти сделают чучело, которое положат под стекло? И что о нем будут горевать так же, как горюют о пушистой кошечке или любимой собаке?







Глава XV

Форейторы в светло-зеленых курточках лихо щелкали хлыстами, и коляска неслась с такой скоростью, что спицы слились воедино и колеса превратились в сверкающие диски.

Пыль не успевала опуститься на землю, а коляска уже исчезала из виду. Самые быстрые экипажи оставались далеко позади, но ни одна капля пота не выступила на боках серых в яблоках коней; их ноги, стройные и поджарые, как у оленей, мчались по дороге, которая убегала назад, серая и полосатая, точно лента сматываемой рулетки.

Мюзидора, небрежно откинувшись на мягкую спинку сиденья, предавалась мечтам; ее прозрачное личико светилось от счастья, а ручка в белой перчатке, лежавшая на борту коляски, отбивала такт мелодии, которую малышка тихо напевала про себя. Мюзидору охватил такой восторг, что время от времени она заливалась почти безумным смехом, ей хотелось закричать, соскочить на землю и бежать что есть сил или сотворить что-нибудь ужасное, чтобы выпустить пар и дать выход избытку чувств.

От томности не осталось и следа. Еще вчера ее на руках носили в ванную, еще вчера она не могла подняться и на одну ступеньку, а сегодня Мюзидора играючи повторила бы все, ну или почти все, двенадцать подвигов Геракла.

Любопытство, желание и любовь — эти три страшных рычага, каждый из которых в одиночку может перевернуть мир, до крайней степени разбередили ее душу: каждая ее фибра была натянута до предела и дрожала, как струна лиры.

Она увидит Фортунио, будет слушать, говорить, упиваться его красотой, этим божественным напитком: она прильнет к его губам и станет глотать каждое слово, слово, что дороже бриллиантов, падающих с уст юной чистой девушки из сказки Перро[1]. Ах, дышать воздухом, напоенным его дыханием, подставлять щеки под солнечный луч, который только что играл в его черных волосах, смотреть туда же, куда и он, на то же, на что и он, иметь с ним что-то общее — какое невыразимое блаженство, какой океан тайных восторгов!

От этих мыслей сердце плясало тарантеллу в не стесненной корсетом груди Мюзидоры.

Молодые денди[2] пускались в галоп, чтобы увидеть лицо незнакомки, уносимой столь великолепной упряжкой, и многие едва не свалились с лошади от восхищения и изумления. В любое другое время Мюзидоре польстили бы подобные чувства, теперь она не обратила на них никакого внимания; кокетство вылетело у нее из головы.

В ее душе произошла метаморфоза — от прежней Мюзидоры остались только имя и внешность. Впрочем, даже внешне она изменилась: до сей поры ее красота возбуждала умы, теперь же она волновала сердца.

Конечно, вы не поверите, что подобное превращение произошло столь внезапно и что такая страстная любовь зажглась в результате одной-единственной встречи. На это мы скажем, что в жизни ничто не выглядит так фальшиво, как правда, а фальшь кажется крайне убедительной при условии, что она заранее так упорядочена, обработана и слеплена, чтобы произвести правдивое впечатление: мишура похожа на золото больше самого золота.

Кроме того, заметим, что сердце женщины подобно творению Дедала. Даже великие поэты, с золотым светочем гения отважившиеся проникнуть в его темные закоулки, тупики и повороты, не всегда могли в нем разобраться, и никто не вправе похвастаться, что владеет волшебным клубком, ведущим к выходу из этого запутанного лабиринта[3]. От женщины можно ожидать всего и, главным образом, непостижимого.

Многие респектабельные господа и сердитые по натуре дамы, несомненно, убеждены, что *любовь с первого взгляда* встречается только в рома-

нах и что нельзя полюбить того, кого видел всего лишь раз. Что касается нас, то наше мнение таково: коль вы не влюбились с первой же встречи, то нет никаких причин, чтобы влюбиться со второй и уж тем более с третьей.

И потом, Мюзидора просто обязана была проникнуться чувством к Фортунио, потому что иначе эту повесть пришлось бы прервать. Нашего героя, наделенного всеми возможными достоинствами, богатого, молодого, красивого, умного и загадочного, нельзя не полюбить с первого взгляда. Многие, не обладающие и половиной его достоинств, добиваются успеха столь же молниеносно.

Что странного в том, что молодая женщина любит молодого красивого мужчину? В общем, правда это или нет, но мы утверждаем: Мюзидора жить не может без Фортунио, которого она совсем не знает или, что одно и то же, которого она видела всего лишь раз.

Эти рассуждения не мешают коляске птицей пролететь по широкому проспекту Елисейских полей и проехать под аркой на площади Звезды[4] — гигантскими воротами, распахнутыми в никуда.

Природа выглядела совсем по-другому, чем в тот день, когда Мюзидора наудачу искала встречи с Фортунио по всем аллеям Булонского леса: темно-красный цвет почек уступил место светло-зеленому цвету надежды, птички весело щебетали на ветках; небо с двумя-тремя неторопливо плывущими облачками походило на большой синий глаз, с любовью взирающий на землю. Нежный аромат молоденьких листочков и свежей травы парил в воздухе, словно весенний ладан, темно-желтые мотыльки вились у первых цветов и кружились в солнечных лучах, которые светлыми линиями расчертили зеленый фон пейзажа.

Бесконечное ликование охватило землю и небо. Все дышало радостью и взаимной любовью, воздух был пронизан юностью и счастьем. По меньшей мере именно так чувствовала Мюзидора, ей все виделось сквозь призму собственной страсти.

Чувства — это желтые, голубые или красные стеклышки, которые все окрашивают в свой цвет. То самое место, что в минуту отчаяния казалось ужасным, ощетинившимся, голым, отталкивающим своей нищетой, скудостью и негостеприимным, точно скифские степи, сквозь призму счастья представляется пестрым, ярким, цветущим, покрытым зеркальными водами, зелеными лугами и бескрайними голубыми далями — настоящим земным раем.

Природа отчасти напоминает великие симфонии, которые каждый понимает по-своему. Там, где один слышит последний крик Иисуса, умирающего на кресте, другому чудятся жемчужные трели соловья и тонкий голос пастушьей свирели.

Мюзидора в тот момент воспринимала симфонию природы как гимн идиллической любви.

Коляска продолжала свой полет; высокие деревья, кланяясь своими верхушками, разбегались направо и налево, подобно отступающей армии, а Фортунио все не появлялся.

Сердце Мюзидоры начало покалывать от легкого беспокойства: вдруг Фортунио передумал? Она еще раз прочитала его записку, которая показалась девушке совершенно недвусмысленной и немного успокоила ее.

Но вот в конце аллеи возник небольшой вихрь белой пыли, который быстро двигался навстречу коляске.

Мюзидору охватило такое волнение, что она вынуждена была прислонить голову к стенке экипажа: кровь застучала в висках, щеки трижды побледнели и вновь залились румянцем, ослабевшие пальцы выронили зажатую в них записку.

Наступил роковой миг, от которого зависела вся ее жизнь.

Вскоре сквозь тучу пыли, клубившуюся подобно классическому облаку, в котором скрывается какое-нибудь божество[5], Мюзидора четко различила сильную вороную лошадь с изогнутой шеей, узкой грудью, мохнатыми щиколотками, с глазами и ноздрями, полными огня, и похожую, скорее, на гиппогрифа, чем на обыкновенное четвероногое. На лошади сидел всадник. Это был не кто иной, как Фортунио собственной персоной. В нескольких шагах позади него скакал толстогубый мавр.

Да, именно Фортунио приближался к Мюзидоре с небрежной уверенностью, которая никогда не покидала его, производя неизгладимое впечатление на всех окружающих. Казалось, ему чужды все человеческие слабости, он выше любых превратностей судьбы. Ясная безмятежность покоилась на его прекрасном лице, как на мраморном пьедестале.

Он подъехал к коляске, выделывая необыкновенные трюки: его лошадь то подпрыгивала, отрывая от земли сразу все копыта, то вставала на дыбы и делала несколько шагов на задних ногах.

Благородное животное выполняло требования хозяина необычайно кокетливо и грациозно, казалось, оно соревнуется с ним в ловкости и отваге; они как будто составляли одно целое и подчинялись единой воле, ибо у Фортунио не было ни хлыста, ни шпор — только поводья. Он командовал своей умной лошадью неуловимыми движениями, и было совершенно невозможно понять, каким образом он сообщает ей о своих желаниях.

Когда до коляски оставалось не больше пятидесяти шагов, он пустил лошадь во весь опор и на бешеной скорости помчался вперед. Мюзидора испугалась, она решила, что он разобьется о колеса, и громко вскрикнула, но Фортунио ловким приемом арабских наездников моментально остановил лошадь, и они застыли, точно конная статуя, словно некий чародей в один миг превратил их обоих в камень. Немного постояв, Фортуно-

нио заставил своего бербера[6] погарцевать прямо у дверцы и посреди всех этих выкрутасов поклонился Мюзидоре с такой легкостью и грацией, как будто обеими ногами твердо стоял на паркете гостиной.

— Сударыня, — сказал он, — простите бедного странника, забывшего из-за длительного пребывания в Индии и на Востоке европейские правила обхождения с женщинами. Если бы я был чуть более самонадеян и мог предположить, что вы хотите меня видеть, поверьте, я прилетел бы к вам со всей скоростью, на которую способен мой Типпо. Но я и мысли не допускал, что такой чудак, как я, превратившийся в путешествиях по дальним странам в самого настоящего дикаря, может вызвать у вас хоть какой-то интерес.

Мы с удовольствием сообщили бы вам ответ Мюзидоры, но он нам не известен. Одно мы знаем наверняка: подняв на Фортунио свои прекрасные сияющие глаза, она открыла рот и что-то пролепетала, но, как мы ни прислушивались, нам не удалось разобрать ни слова. Скрип песка под колесами и стук копыт полностью заглушили голосок Мюзидоры. Нам очень жаль, так как было бы довольно забавно сохранить эти драгоценные слова для истории.

— Мюзидора, — продолжил Фортунио ласковым и звонким голосом, — вам конечно же наговорили про меня разных разностей, ибо у моих друзей весьма богатое воображение. Что же вы скажете, если увидите, что я вовсе не герой романа, не особенный, не роковой мужчина, а всего-навсего честный и довольно добрый малый, хотя и со странностями? Уверяю вас, Мюзидора, я пью вино, а не расплавленное золото, ем устриц, а не жемчуг, растворенный в уксусе, сплю в постели, а иногда в гамаке и, как правило, хожу на своих двоих, хотя иногда пользуюсь ногами Типпо, Зерлины или Агандеки, моей любимой кобылы. Таков мой образ жизни. Я предпочитаю прозе стихи, а стихам — музыку, но больше всего на свете люблю картины Тициана, не считая, конечно, красивых женщин. Это мое единственное политическое убеждение. Я ненавижу лишь своих друзей и, пожалуй, стал бы филантропом, если бы люди были обезьянами. Я охотно поверил бы в Бога, не будь он столь похож на приходского старосту, и я уверен, что от роз больше пользы, чем от капусты. Ну вот, теперь вы знаете меня так, как если бы десять лет проспали на моей подушке. Этим ограничиваются все сведения, которые я могу вам сообщить о своей персоне, поскольку я и сам больше ничего не знаю.

Откровение Фортунио рассмешило Мюзидору.

— На самом деле, — заметила она, — вы слишком скромны, когда отказываете себе в оригинальности; неужели вы не знаете, господин Фортунио, что вы крайне эксцентричны?

— Я? Да Бог с вами! Я самый тихий человек на свете, делаю лишь то, что мне нравится, и полагаюсь только на себя. Однако становится жарко,

скоро ваш зонтик уже не защитит вас от палящего солнца. Не соблаговолите ли вы переждать немного в моей хижине, своего рода индейском вигваме, который находится здесь, неподалеку, а в сумерках, когда станет прохладнее, вы сможете вернуться в Париж.

— Охотно, — согласилась Мюзидора, — я с удовольствием посмотрю вашу веранду, ваш вигвам[7], как вы его называете, хотя все в один голос утверждают, что вы живете не на земле, а на дереве.

— Случается, но далеко не всегда. На дереве я провел немало ночей, привязавшись поясом к стволу, чтобы не упасть и не разбиться, но здесь живу, как самый добропорядочный буржуа. Мне не хватает только черепичной крыши и зеленых ставней, чтобы стать самым аркадским[8] и сентиментальным малым на свете. Хаджи, Хаджи! Подойди на два слова.

Мавр в считанные секунды очутился рядом с Фортунио.

Фортунио сказал ему несколько странных гортанных слов на незнакомом языке.

Хаджи тут же умчался, отпустив поводья.

— Прошу меня простить, что я говорил при вас на чужом наречии, но этот малый не понимает ни французского, ни другого христианского языка.

— Надеюсь, — нахмурилась Мюзидора, — вы не послали его вперед, чтобы подготовить мне встречу, неужели вы хотите, чтобы меня у входа встречала процессия юных дев в белых одеяниях с букетами цветов, завернутыми в бумагу? Я не хочу никаких церемоний.

— Я в самом деле послал Хаджи вперед, — улыбнулся Фортунио, — чтобы он запер в клетку моего любимого льва и тигрицу Бетси. Это очаровательные создания, нежные, словно ягнята, но вы можете испугаться, увидев их. В этом отношении я такой же маньяк, как старые девы. Не могу обойтись без животных. Мой дом похож на зверинец.

— У клетки толстые прутья? — с несколько обескураженным видом поинтересовалась Мюзидора.

— О, очень толстые, — рассмеялся Фортунио. — Но вот мы и на месте.





Глава XVI

Дом Фортунио прятал свой фасад за высокими стенами из грубого шероховатого камня, вверху которых располагались галереи с перилами на пузатых балясинах и со столбами, что поддерживали занятые буйной растительностью большие вазоны из голубой глины в духе Людовика XIII[1]. Стены возвышались с двух сторон от массивных дубовых ворот, украшенных тонкой резьбой и двумя медальонами[2] с профилями римских императоров в окружении гирлянд из листьев. Галереи служили бастионами, защищавшими особняк от любопытных взглядов. Ниже находились конюшни.

Коляска, не снижая скорости, приблизилась к воротам, и они распахнулись как по волшебству, безо всякого человеческого участия.

Экипаж сделал круг по песчаному двору с выстриженной в форме арки изгородью из самшита по краям, и за это время Мюзидора успела разглядеть дом ее дорогого Фортунио.

В глубине двора в ярком солнечном свете сияло здание из белых камней, подогнанных с такой точностью, что казалось, оно высечено из монолита. Гладкую поверхность стены, лишенной окон, нарушали лишь великолепно обрамленные ниши, занятые античными бюстами. В центре располагалась бронзовая дверь, на которой подрагивала тень от решетчатого навеса, а к двери вели три беломраморные ступени со сфинксами по бокам, положившими свои заостренные груди на вытянутые лапы[3].

Коляска замерла под навесом. Фортунио спешился, бережно взял на руки прекрасную малютку и поставил на верхнюю ступеньку, затем толкнул створку, которая бесшумно распахнулась и вернулась на место, как только хозяин и гостья вошли.

Они очутились в широком, освещенном сверху коридоре, в который выходили четыре двери; пол коридора был выложен мозаикой с голубками, сидящими на краю большого кубка, склонившись к воде, в окружении завитков, цветов и гирлянд — подлинной мозаикой Сосима из Пергама[4], которую считали навеки утерянной все антиквары мира.

Наполовину утопленные в стену колонны из желтой брекчии[5] поддерживали аттик[6] с изысканной резьбой и обрамляли изображения, выполненные в технике восковой живописи:[7] на черном фоне порхали античные танцовщицы — одни слегка приподнимали подолы своих воздушных туник, другие воздевали белые хрупкие, словно ручки алебастровых амфор, руки и потрясали кроталами[8]. Ни Геркуланум, ни Помпеи[9] не видели на своих стенах таких изящных силуэтов.

Мюзидора остановилась, желая ими полюбоваться.

— Не обращайте внимания на эту мазню, — сказал Фортунио и провел Мюзидору в одну из комнат. — Признайтесь, Мюзидора, что вы ожидали большего. Наверное, я кажусь вам жалким подобием Сарданапала[10]. Я показал вам лишь дешевые безделушки, мои восточные и вавилонские сокровища — из числа самых ничтожных, в лучшем случае я достиг того, что Гораций называет mediocritas aurea*. Здесь вполне мог бы жить отшельник.

В самом деле, комната, в которую он ввел Мюзидору, отличалась крайней простотой. Из мебели там был только очень низкий полукруглый диван, а стены, пол и потолок покрывали тончайшие циновки с яркими рисунками. На окнах с белыми стеклами и рамами, расписанными красными виноградными листьями, висели тростниковые жалюзи из Китая, пропитанные душистой водой, сквозь них просматривались размытые контуры пейзажа. В середине потолка сиял стеклянный шар, наполненный прозрачной водой, в которой резвились синие рыбки с золотыми

* золотой серединой[11] (*лат.*).

плавниками; от их беспрерывного движения комната сверкала радужными переливчатыми бликами, что создавало самый удивительный эффект. Прямо под этим шаром маленький фонтан выбрасывал вверх тонкую хрустальную струйку, дрожавшую от каждого дуновения и опадавшую мелким жемчужным дождиком в порфировую раковину. В одном углу качался гамак из пальмовых волокон, в другом стоял великолепный кальян, гибкие черные кольца его шланга опоясывали покрытый серебряной филигранью сосуд из горного хрусталя для охлаждения дыма. Вот и все убранство.

— Садитесь, прекрасная царица. — Фортунио с необычайной ловкостью снял с Мюзидоры кашемировую накидку и, взяв гостью за кончики пальцев, подвел к дивану. — Давайте положим эту подушку под спину, эту — под локоть, а эту — под ноги. Вот так. Видите ли, только на Востоке умеют сидеть удобно, а один из их поэтов сложил стихи, в которых больше смысла, нежели во всех философиях мира: «Лучше сидеть, чем стоять, лежать, чем сидеть, и умереть, чем лежать». Попробуйте найти в стенаниях наших модных рифмоплетов хоть одну строчку, которая стоила бы двустишия старого доброго Феридеддина Атара[12].

С этими словами Фортунио улегся на циновку напротив Мюзидоры.

— Раз вы легли, значит, уже достигли второй ступени счастья, если верить вашему арабскому поэту, — заметила Мюзидора. — А я сегодня утром едва не перешла на третью.

— Как? — прервал ее Фортунио, приподнявшись на локте. — Вы чуть не умерли сегодня утром? Нет, неправда, вы вполне живы. — Будто желая удостовериться в этом, Фортунио взял и поцеловал ее ножку. — Даже сквозь эту тонкую сеточку я чувствую, что у вас теплая и мягкая кожа.

— Однако ж, если бы без пяти двенадцать мне не принесли вашу записку, вы нашли бы меня сейчас холодной и твердой, как камень, и я навеки обеспечила бы себе горизонтальное счастье. В полдень я собиралась покончить с собой.

— При всем моем поклонении Востоку, я согласен с Феридеддином Атаром лишь наполовину. Последнее полустишие хорошо только для мужчин, у которых нет миллиона, и для женщин, которым из-за своего уродства приходится хранить целомудрие. К вам это не относится. Что вас толкнуло на страшное решение покончить с собой ровно в двенадцать?

— Не знаю. Мне нездоровилось; синие бесы мучили меня[13], я была раздражена и злилась на весь свет; я не знала, чем занять себя, в общем, никак не могла придумать, как убить время, и потому решила убить себя, и непременно бы это сделала, если бы желание прокатиться в вашей коляске не вернуло меня к жизни.

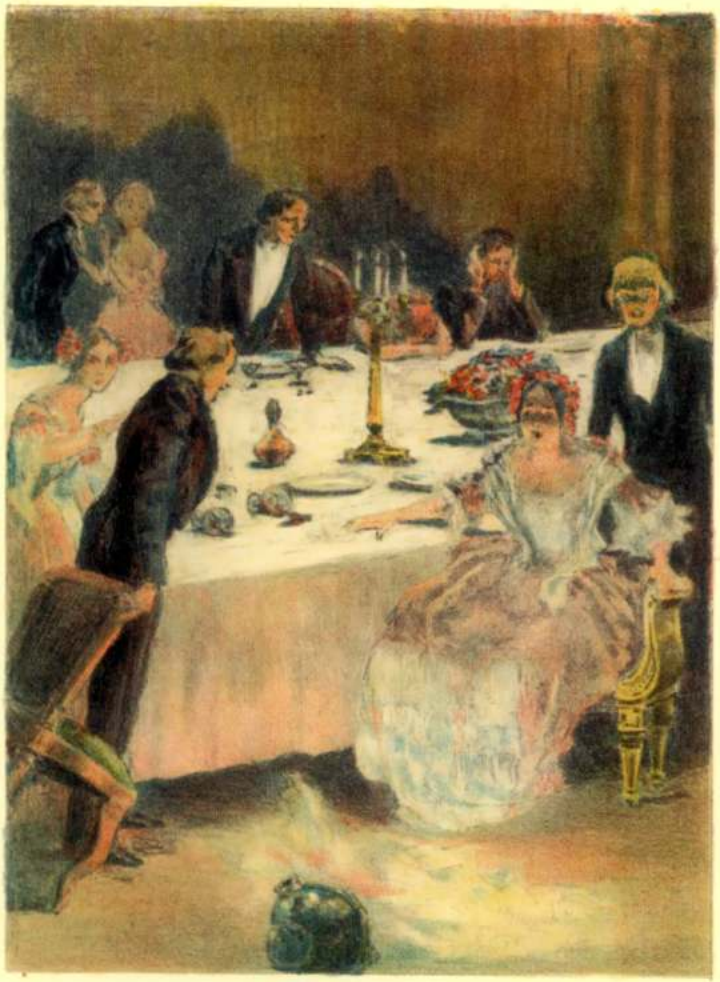


Фортунио. *Ил. 1*

Прислуживают гостям голые по пояс негритята в широких пунцовых шароварах со стеклянными бусами и золотыми кольцами на руках и ногах <...>. Негритята снуют вокруг стола с обезьяньей ловкостью и наливают гостям самые дорогие вина Франции, Венгрии, Испании и Италии, но не из вульгарных стеклянных бутылок, а из флорентийских серебряных и позолоченных кувшинов чудесной работы.



Фортунио. *Ил. 2*
Прекрасная римлянка встала, невозмутимо расстегнула платье, и оно соскользнуло на ее тонкую талию, обнажив грудь восхитительно чистых линий и такие безупречные плечи и руки, что сам Господь Бог спустился бы с небес, чтобы покрыть их поцелуями.



Фортунио. *Ил. 3*
Горящий напиток разлился по паркету, маленькие голубые язычки пламени принялись лизать пятки спящих и кусать края скатерти. Свет этого маленького пожара проник сквозь самые плотно закрытые веки, все быстро поднялись <...>.



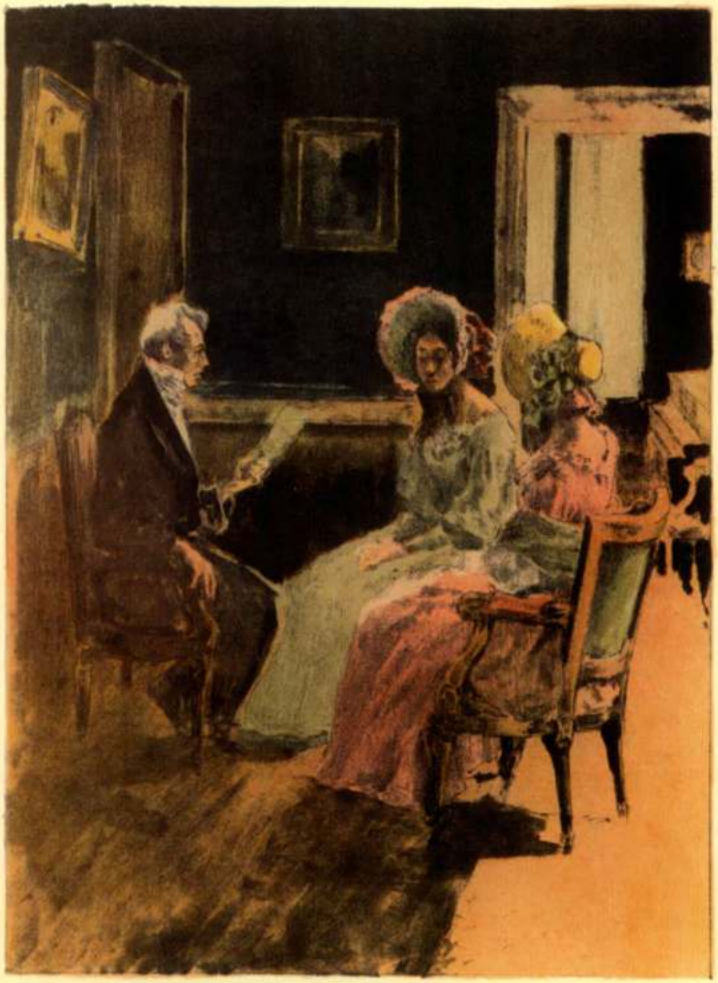
Фортунио. *Ил. 4*
Когда негритенок принес белую кошечку и положил ее на белоснежное одеяло рядом с хозяйкой, Мюзидора, окончательно проснувшись, начала припоминать некоего Фортунио, с которым она прошлой ночью познакомилась на ужине у Джорджа.



Фортунио. *Ил. 5*
Наконец Мюзидора приблизилась к ванне, дно которой было выстлано тончайшей простыней, медленно приподняла свою точеную ножку и кончиками пальцев коснулась воды.



Фортунио. *Ил. 6*
Мстительная девчонка поднялась еще выше, чтобы ее груди и одно колено вынырнули из воды, и, не сводя своих кошачьих глаз со слегка покрасневшей Арабеллы, добавила: «Когда я одета, я кажусь худее, не правда ли?»



Фортунио. *Ил. 7*
«Сударыни, мне очень жаль, – признался старый ученый, вернув бумаги Мюзидоре, – но я не могу расшифровать эту чудовищную вязь. Могу только сказать, что это китайские иероглифы и что они написаны очень опытной рукой».



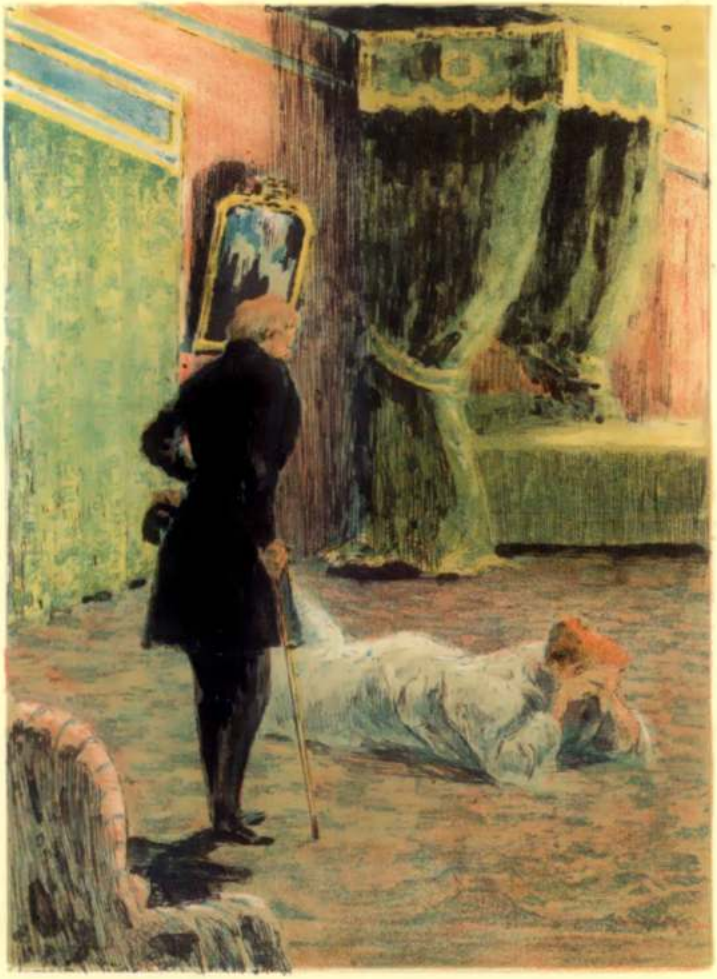
Фортунио. *Ил. 8*
Мнимый индус поблагодарил Мюзидору великолепным сальто-мортале и присоединился к своим товарищам, намазанным лакричным соком.



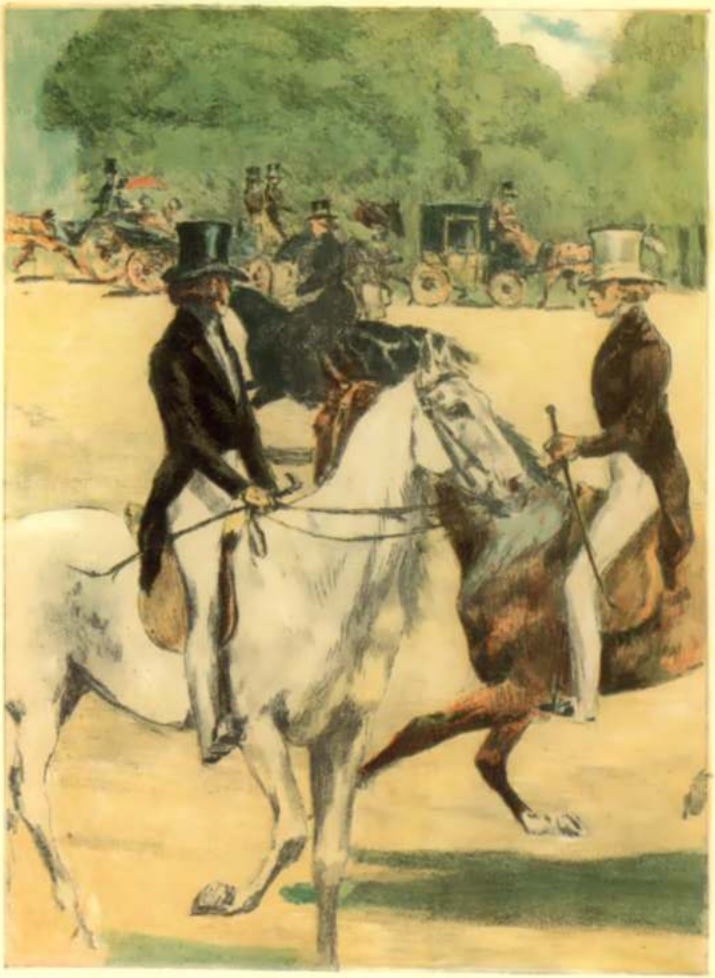
Фортунио. *Ил. 9*
Повесив на шею лоток, торговец подошел к экипажу и глубоко поклонился, прижав обе руки к голове. «Прочти нам это». – Мюзидора протянула ему папирус.



Фортунио. *Ил. 10*
Мюзидора держит в руках письмо Фортунио; вот уже четверть часа она смотрит на него с самым пристальным вниманием, словно форма букв и расположение строк могут открыть тайну автора послания.



Фортунио. *Ил. 11*
Когда глаза Джорджа привыкли к полутьме, он обнаружил Мюзидору: она лежала на полу, подперев голову руками, ее груди смяли длинный ворс ковра и спрятались в нем, как устрицы; и поза ее в точности повторяла позу Марии Магдалины с картины Корреджо.



Фортунио. *Ил. 12*
Мюзидора несколько раз проскакала по всем аллеям и, в частности, по Мадридской, где Джордж повстречался с Фортунио, но все напрасно.



Фортунио. *Ил. 13*
«О! Вредная тварь! Она нарочно умерла, чтобы хозяйка меня побила. – Негритенок в притворном ужасе завращал своими огромными глазищами. – У нее такая крепкая ручка!»



Фортунио. *Ил. 14*
Фортунио подъехал к коляске, выделывая необыкновенные трюки: его лошадь то подпрыгивала, отрывая от земли сразу все копыта, то вставала на дыбы и делала несколько шагов на задних ногах.



Фортунио. *Ил. 15*
Фортунио склонился к Мюзидоре, и их губы слились в бесконечном нежном поцелуе.



Фортунио. *Ил. 16*
Юность Фортунио прошла за охотой на тигров и слонов, он передвигался в паланкине, пил араку, жевал бетель и, сидя на персидском ковре, любовался танцующими баядерками с золотыми колокольчиками на тонких щиколотках и с чашечками из душистого дерева, прикрывавшими груди.



Фортунио. *Ил. 17*
В пятнадцать лет Фортунио владел собственным сералем и пятьюстами прислужниками всех цветов и оттенков кожи, он тратил столько тысяч рупий, сколько хотел; казна его дядюшки была для него открыта, и Фортунио мог безгранично черпать из нее.



Фортунио. *Ил. 18*
«Почему ты не купаешься, малышка? — спросил Фортунио, приблизившись к лодке. — Мне говорили, ты умеешь плавать». — «Умею, но здесь эти негры». — «Негры? Ну и что? Не обращай внимания, они же не мужчины. Не будь они немыми, вполне могли бы спеть "Miserere" в Сикстинской капелле».



Фортунио. *Ил. 19*
«Ну как, моя белая наяда, — спросил Фортунио, завернувшись в мягкую ткань, — похожи мы на античные статуи? Из меня получился бы вполне сносный Тритон, а пресной воде теперь незачем завидовать соленой, потому что из нее вышла вторая Венера, ничем не уступающая первой».



Фортунио. *Ил. 20*
Когда Мюзидора под руку с Фортунио появилась в ложе, по залу пробежал восхищенный трепет, еще немного — и раздались бы аплодисменты.

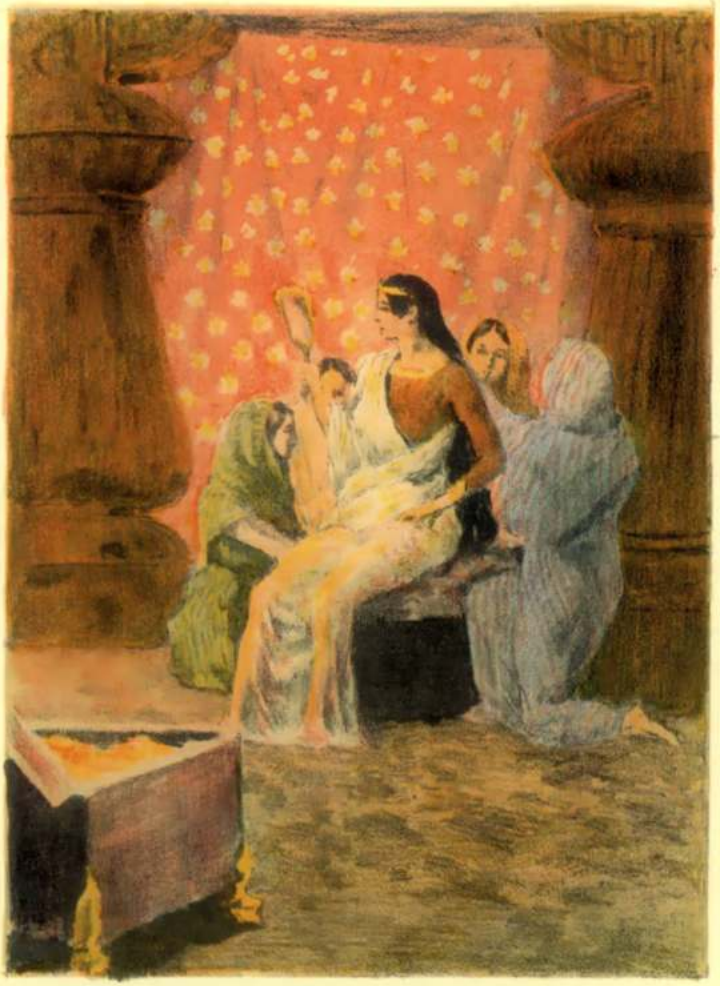


Фортунио. *Ил. 21*

Попросим читателя вспомнить кровать лимонного дерева на ножках из слоновой кости и с белыми кашемировыми занавесками <...>; пусть он мысленно добавит туда вторую подушку с кружевами англетер, вообразит на фламандском полотне черные волосы Фортунио, которые струятся, не сливаясь со светлыми локонами Мюзидоры, и картина будет полной.



Фортунио. *Ил. 22*
Фортунио взял Мюзидору на руки, завернул, словно младенца, в одеяло и вынес вон. Не будь он таким проворным и сильным, вряд ли Фортунио удалось бы пройти сквозь анфиладу комнат, охваченных невыносимым жаром и удушающим дымом.



Фортунио. *Ил. 23*
Суджа-Сари сидит на ковре и смотрится в слюдяное зеркало на ножке чеканного золота; четыре женщины, стоя на коленях, вплетают в ее волосы, разделенные на четыре пряди, золотые нити; пятая прислужница, расположившаяся чуть поодаль, легонько щекочет ей спину палочкой из слоновой кости с нефритовой лапкой на конце.



Фортунио. *Ил. 24*
С этими словами Мюзидора поцеловала прядь Фортунио и уколола себя в шею кончиком иглы. Глаза ее закрылись, розы губ сменились бледными фиалками, дрожь пробежала по прекрасному телу. Она умерла.

– Многие из тех, кого я знаю, отдают предпочтение жизни по менее уважительным причинам. Один из моих друзей, глубоко засунув в рот дуло пистолета, вдруг сообразил, что забыл сочинить себе эпитафию. Мысль об отсутствии таковой чувствительно задела его; он отложил пистолет, достал листок бумаги и написал следующие строки:

О, воля! Ей беда – лишь повод для триумфа;
Пусть слаб и смертен ты, но покорится рок.
Когда есть мужество, и...[14]

Тут наш бедный друг остановился, потому что не мог придумать рифму; он почесал в затылке, покусал ногти, но все было напрасно; он позвал слугу, велел принести словарь рифм[15], прочитал его от корки до корки, но не нашел того, что искал, ибо рифмы к «триумфу» не существует. В это время к нему случайно зашел де Марсили и пригласил поехать сыграть в карты. Мой друг выиграл сто тысяч франков и вылез из долгов. С тех пор живет припеваючи и больше не целуется со своим пистолетом. Эта правдивая история доказывает пользу трудных рифм в процессе сочинения эпитафий.

– Фортунио, вы жестокий насмешник, – с упреком произнесла Мюзидора, – неужели вы считаете, что нельзя умереть из-за любви, которой пренебрегли?

Фортунио с бесконечной нежностью посмотрел на нее своими ясными синими глазами; потом внезапно переместился с циновки на диван и, обняв одной рукой ее гибкую тонкую талию, притянул к себе.

– Эй, дитя, кто вам сказал, что вашей любовью пренебрегли?

...За дверью, где-то совсем близко, раздалось страшное рычание, хриплое и гортанное.

Мюзидора в ужасе привстала.

– Это моя тигрица, она чувствует, что я здесь, и хочет меня видеть. Должно быть, чертова зверюга сорвалась с цепи, она это любит. Извините, сударыня, пойду привяжу как следует и поболтаю с ней, чтобы успокоилась, она ревнует меня, точно женщина.

Фортунио достал из-под подушки малайский крис[16] и вышел. Мюзидора слышала, как он играет с тигрицей в коридоре. Фортунио говорил на незнакомом языке, который, похоже, был понятен тигрице, ибо она отвечала тихим урчанием. Она радостно била хвостом, и этот стук отдавался от стен ударами бича. Через несколько минут шум утих, и Фортунио вернулся.

Он успел снять костюм для верховой езды и переодеться в поражающий роскошью наряд.

Своего рода парчовый кафтан с широкими рукавами, стянутый на талии золотым шнуром, пышными складками охватывал грациозное мощное тело Фортунио, на голове красовалась круглая бархатная шапочка, расшитая золотом и жемчугом, с длинной кисточкой, свисавшей до пояса; из-под шапочки самым живописным образом ниспадали вьющиеся от природы волосы. На ногах у него не было ничего, кроме турецких туфель без задника и каблука. Наряд дополняли просторные полосатые шаровары.

Сквозь приоткрытый ворот сорочки белела мраморная грудь, на которой сверкал маленький амулет с вышивкой и блестками, напоминающий те мешочки, что носят на груди неаполитанские рыбаки.

Что это было? Суеверие, причуда, каприз, теплое воспоминание или просто любовь к местному колориту? Нам так и не удалось это выяснить, но яркий блестящий амулет чудесным образом подчеркивал мраморный блеск нежной гладкой кожи Фортунио.

— Мюзидора, — сказал он, войдя в комнату, — не желаете ли поесть или попить? Можно попытаться раздобыть кусочек или глоточек чего-нибудь. Окажите любезность, побудьте хозяйкой в доме холостяка и дикаря. В том, что касается кулинарии, я умею готовить только ноги слона и горб бизона. Идите сюда, — добавил он, приподняв портьеру, — не бойтесь.

Фортунио, приобняв Мюзидору за талию, как Отелло Дездемону, провел свою трепещущую красавицу в маленькую шестиугольную комнату, оформленную в стиле помпадур[17]. Стены помещения были покрыты розовыми обоями в серебряный цветочек, десюдепорты[18] украшены росписью Ватто[19], а на плафоне[20] изображено светло-зеленое небо с белыми облачками и целым сонмом толстощеких амуров, разбрасывающих цветы.

Несмотря на то что еще не стемнело, в маленькой гостиной царил полумрак, поскольку уважающий себя знаток чувственных удовольствий сочтет ниже своего достоинства есть не при свечах.

С потолка на розово-серебряных шнурах, подходящих по цвету к обоям, спускались две люстры.

В простенках висело десять прихотливо изогнутых канделябров со свечами, в их ослепительном свете ярко сверкали позолота мебели и серебро цветов на обоях.

В глубине гостиной под балдахином с золотыми кистями наподобие гигантской лилии раскрылась чудная софа, обитая белым атласом с золотыми узорами.

Все углы занимали этажерки и старинные лакированные поставцы, заставленные гротескными восточными статуэтками, японскими вазами и керамикой.

То был настоящий будуар[21] маркизы.

Фортунио взял кресло и перенес его в центр комнаты, затем подхватил другое кресло и поставил точно напротив первого. Он сел и жестом предложил Мюзидоре последовать его примеру.

— Теперь пообедаем, — сказал маркиз с самым серьезным видом. — Вот уж не ожидал, что так проголодаюсь.

Фортунио слегка засучил рукава, словно собираясь что-то разрезать. Мюзидора поглядывала на него с некоторым беспокойством, в эту минуту ей показалось, что он сошел с ума. Фортунио хранил полнейшее спокойствие, и при этом в комнате не было ничего, что говорило бы о приготовлениях к трапезе: ни стола, ни посуды, ни слуг.

Вдруг паркет раздвинулся, и, к изумлению Мюзидоры, из-под пола медленно поднялся великолепно освещенный стол с двумя сервировочными столиками по бокам и всем необходимым для роскошной трапезы.

Фигурки и орнаменты на плато, сверкавшие всеми выпуклостями и гранями, отбрасывали такой свет, что сама богиня зари потупила бы очи; ведерки из малахита с зелеными разводами, где в своих стеклянных платьях дрожало от холода шампанское в окружении белых кристалликов льда, составляли приятный контраст с рыжеватыми оттенками золота; в золотых и серебряных филигранных корзинках тончайшей работы с легкими воздушными прорезями, которым позавидовало бы брабантское кружево[22], лежали редчайшие фрукты: красный и золотистый, точно янтарь, виноград, огромные персики с румяными бархатными боками, ананасы с зубчатыми листьями, источавшие теплые ароматы тропиков, а также вишни и земляника чудовищных размеров. Самые ранние ягоды и поздние плоды, которыми осень наполняет свои последние корзины, впервые встретились лицом к лицу на этом столе и как бы удивленно разглядывали друг друга. Казалось, для Фортунио не существует ни времен года, ни обычного хода вещей в природе.

На порфировых подставках пирамидой возвышались сладости, джемы с далеких островов, варенья из лепестков роз, гранатов, апельсинов и цитронов[23] — все самое вкусное, изысканное и разорительно редкое, что могут найти на свете отъявленнейшие чревоугодники.

В нарушение привычного порядка мы начали с десерта, но разве не из него состоит обед всякой хорошенькой женщины? Однако, дабы успокоить читателя, который сочтет подобные яства не слишком питательными для героя такого роста и силы, как Фортунио, признаемся, что на восхитительных чеканных блюдах с гербами, стоявших на черных глазурованных жаровнях, дымились жареные перепелки, окруженные вереницей запеченных овсянок, рыбных кнелей и паштетов из дичи, и главное

блюдо — китайский фазан с перьями. И что еще? Рыбные молоки, барабульки, креветки и разные бодрящие напитки.

Шампанское «Ай»[24], о котором мы упомянули, было бы слишком легким и стремительно улетучивающимся напитком для такого заправского любителя выпить, как Фортунио, и потому графины из богемского стекла[25], сплошь покрытые золотыми арабесками, содержали в своих прозрачных утробах то, что способно поставить процесс опьянения на прочную основу, а именно, токайское, какого никогда не доводилось пробовать даже самому господину фон Меттерниху[26], йоханнисбергское[27], которое по своему вкусу и букету в десять раз лучше нектара богов, и настоящее вино из Шираза[28]. В описываемое нами время во всей Европе нашлось бы только две бутылки этого вина: одна — у Джорджа, другая — у де Марсили. Оба хранили их под семью замками для какого-нибудь необыкновенного торжества.

— Фортунио, вы обманули меня, ради меня вы пошли на умопомрачительные расходы, — молвила Мюзидора с дружеской укоризной. — Вы кого-нибудь ждете? Здесь столько еды, что хватило бы на свадьбу Камачо или Гаргантюа[29].

— Что вы, царица моя, я совсем не готовился; я, как никто другой, ненавижу церемонии и считаю, что сердечность — лучшая приправа к трапезе. Это всего лишь легкая закуска, которая стоит наготове днем и ночью на тот случай, если я вдруг проголодаюсь. Кому охота среди ночи бежать на двор, рубить цыпленку голову, ощипывать его и сажать на вертел? Я же вам сказал, что веду простой, патриархальный образ жизни. Ем, только когда голоден, пью, лишь когда хочу, а если устал — ложусь спать. Прошу вас, мой ангел, поймите наконец, что сейчас самое время подкрепиться. Вы ни к чему не притронулись, ваша тарелка как стояла, так и стоит. Не бойтесь разочаровать меня хорошим аппетитом; я не сторонник идей лорда Байрона[30] и к тому же терпеть не могу тощих крылышек. Я буду крайне раздосадован, сударыня, если вы развеетесь, точно мираж.

Несмотря на уговоры, Мюзидора отведала лишь чуточку изысканных кушаний и выпила два-три бокала розовой воды с рюмочкой Барбадосского крема[31]. От волнения у нее пропал всякий аппетит, присутствие кумира ее сердца смущало нашу героиню до такой степени, что она едва удерживала вилку в руках. Какое блаженство! Она обедает наедине с неуловимым Фортунио, он ухаживает за ней в своем никому не известном убежище, она столь блестяще отомстила Фебе и Арабелле за их сочувственные мины, и, возможно — на этой захватывающей и сладострастной мысли она боялась задержаться, — ей посчастливится прижаться к его прекрасной, мощной, белоснежной груди и обнять гладкую округлую шею!





Фортунио всячески ухаживал за Мюзидорой и с присущим ему видом знатного вельможи деликатно делал изысканные комплименты.

Мы с удовольствием передали бы вам их блестящий диалог, но считаем, что это стало бы недопустимым проявлением тщеславия; мы создали такого совершенного со всех точек зрения героя, что, как порядочный автор, не можем им воспользоваться. Мы испытываем почти то же затруднение — si parva licet componere magnis*, — что и Милтон, когда ему нужно было передать слова Творца в замечательной поэме «Потерянный рай»[32], и не способны придумать ничего столь же прекрасного и великолепного. Кроме того, по ходу повествования нам пришлось бы прибегнуть к фразам, вроде: «В ответ на блестящую остроту Фортунио уста Мюзидоры озарились очаровательной улыбкой». Значит, во-первых, острота хотя бы с виду должна быть блестящей, что уже непросто; во-вторых, наделенный хотя бы толикой скромности автор попадает в отвратительную ситуацию, когда его герой читает стихи, которые производят столь огромное впечатление на слушателей, что последние после каждой строфы восклицают: «Восхитительно! Великолепно! Хорошо! Очень хорошо! Отлично!» Поэтому мы тихо и весьма охотно воспользуемся одним очень удобным приемом старых живописцев. Когда они не знали, как нарисовать тот или иной объект, или чувствовали, что его изображение будет слишком трудоемким, они вместо человека или экипажа делали соответствующую надпись: «Currus venustus»** или «Pulcher homo»***.

Трапеза давно подошла к концу, стол исчез в люке, как оперный злодей в аду, и Фортунио, сидя на диване, погрузил свою руку в золотистые волны волос Мюзидоры, чья головка от избытка чувств поникла, словно чашечка цветка после дождя; судорожный трепет охватил ее тело, сердце возбужденно колотилось, а руки, горевшие огнем, безвольно лежали на коленях: казалось, еще чуть-чуть, и она потеряет сознание.



Фортунио склонился к ней, и их губы слились в бесконечном нежном поцелуе.

---

* если дозволено малое сравнить с великим[33] (*лат.*).

** «Изящная повозка» (*лат.*).

*** «Красивый человек» (*лат.*).





Глава XVII

Нам придется покинуть маленькую гостиную.

Святое целомудрие прикрывает глаза белой рукой с растопыренными пальцами и удаляется, порой оглядываясь через плечо, словно из желания удостовериться в том, что его тень следует за ним по пятам.

Будь наша воля, мы не двинулись бы с места: ничто не кажется нам более чистым и святым, чем ласки двух юных прекрасных созданий, но мало кто с нами согласится. И потому, к великому сожалению, мы оставим наших влюбленных в объятиях друг друга, а сами займемся опровержением обвинений, которые, несомненно, поступят в наш адрес.

Мюзидора не сказала Фортунио ни слова о своей любви; это грубейшая ошибка: красавице следовало говорить о ней до потери сознания и предаться самым возвышенным рассуждениям на эту тему; у нас была бы прекрасная возможность показать, *насколько наше сердце создано для любви*,

и без труда заполнить множество страниц. Но прелестница на самом деле ничего не сказала, а поскольку для нас, сочинителей невероятных историй, правда превыше всего, мы не можем себе позволить выдумать хотя бы одну фразу.

Влажный блеск глаз, взволнованная грудь, дрожащий голос, внезапная бледность или румянец говорили о состоянии души Мюзидоры гораздо красноречивее самых умных и длинных речей. И потому безмолвный поцелуй Фортунио был в своем роде лучшим ответом. Впрочем, вы прекрасно знаете: говорят, только когда нечего сказать. Возможно, кто-то сочтет, что Мюзидора слишком быстро уступила Фортунио: она встречается с ним только второй раз, а он уже достиг предела своих желаний.

Сошлемся на то, что ремесло Мюзидоры не требовало от нее целомудрия. И добавим в качестве апофегмы[1], что страсть расточительна и что любить — значит дарить.

Есть много достойных уважения женщин, которые через две недели позволяют поцеловать ручку, в конце первого месяца — ножку, на втором месяце они подставляют щеку, потом губы и так далее. Их тело разделено на клетки, которые они сдают по очереди, одну за другой, дробя себя на все более и более мелкие части и приберегая кое-что про запас, дабы оттянуть развязку; ибо они явно уверены, что обладание ими есть сильнейшее противоядие от любви. Подобная уверенность происходит от величайшей скромности, которая, вопреки общим представлениям, — весьма распространенное свойство: целомудрие женщин проистекает всего-навсего из опасения, что их найдут недостаточно красивыми. Именно поэтому хорошенькие девушки отдаются легче, чем дурнушки. И поистине бешеное сопротивление оказывает женщина с кривыми ногами.

Мюзидоре была чужда уничижительная мысль, что, подарив себя, она потушит огонь любви; она вручила себя Фортунио целиком и сразу не для того, чтобы утолить свои желания, а чтобы разжечь его страсть, она отдалась ему, чтобы он захотел обладать ею: ловкий расчет, который оправдывается гораздо чаще, чем думают. У красивых и сильных натур любовь — это благодарность за наслаждение.

Итак, Мюзидора атаковала сердце Фортунио, утолив его сладострастие — блестящий маневр для начала кампании. И потом, зачем ждать? С таким неуловимым человеком, как Фортунио, это было слишком рискованно.

Пока главные персонажи *забыли обо всем на свете*, воспользуемся моментом и скажем несколько слов о нашем герое, ибо долг каждого писателя — распутать клубок интриг, придуманных им ради собственного удо-

вольствия, и развеять таинственный туман, который он нагнал в ходе повествования, стремясь помешать читателям легко догадаться, что ждет их в конце.

Фортунио — молодой отпрыск благороднейшей фамилии, по знатности не уступающей королевской, и настоящий дворянин. Его отец, маркиз Фортунио, промотал все свое состояние и отправил маленького сына в Индию к дяде (простите нам этого дядю), невообразимо богатому набобу.

Юность Фортунио прошла за охотой на тигров и слонов, он передвигался в паланкине, пил араку, жевал бетель[2] и, сидя на персидском ковре, любовался танцующими баядерками с золотыми колокольчиками на тонких щиколотках и с чашечками из душистого дерева, прикрывавшими груди.

Его дядя, сластолюбивый и умный старик, отличался особым взглядом на воспитание детей: он предоставил Фортунио полную свободу, желая поглядеть, что получится из ребенка, которому никогда не делают замечаний и у которого в распоряжении есть все, чтобы проявить собственную волю.

Неисчерпаемые богатства позволяли набобу придерживаться этого плана воспитания: любой каприз племянника удовлетворялся безотлагательно.

Старик никогда не говорил с отроком ни о нравственности, ни о религии, не пугал его ни Богом, ни чертом, ни даже уголовным и гражданским кодексом, поскольку законы перестают действовать там, где доходы равны двадцати миллионам; он предоставил этому сильному человеческому растению пускать мощные и благоухающие диким ароматом побеги направо и налево, ничего не подрезал и не отсекал, не тронул ни одной колючки, ни одного сучка, ни одной прихотливо изогнутой веточки и в то же время не дал упасть ни одному листочку, ни одному цветку. Фортунио остался таким, каким его создал Бог.

Его сердце не ведало неудовлетворенных желаний, которые терзали бы его своими крысиными зубами; находившие выход страсти не пометили его чело ни складкой, ни морщинкой; юноша был мягок, спокоен и силен, как бог, ибо обладал почти несокрушимой мощью. Молодой, хорошо сложенный, здоровый, богатый и умный, он не знал никого, кому мог бы позавидовать, а лишь ощущал всеобщую зависть. Ему не приходилось завоевывать женщин, так как все, на кого обращался его взор, охотно признавали себя побежденными и недостойными совершенства Фортунио.

В пятнадцать лет он владел собственным сералем[3] и пятьюстами прислужниками всех цветов и оттенков кожи, он тратил столько тысяч рупий,

сколько хотел; казна его дядюшки была для него открыта, и Фортунио мог безгранично черпать из нее.

Забота о будущем или о состоянии никогда не отбрасывала летучей мышью тень на его чистый лоб, он жил беспечно в атмосфере благополучия и не представлял себе, что может быть иначе. И он до крайности поразился, когда узнал, что есть люди, у которых нет даже трехсот тысяч ливров дохода.

Как все избалованные дети, Фортунио стал незаурядной личностью, у него были свои пороки, но и свои достоинства.

Рядовые воспитатели не хотят понять, что гора не мыслима без долины, башня — без колодца, а всякая блестящая на солнце вещь — без глубокой темной ямы, из которой ее извлекли.

На свете нет ничего более отвратительного, чем гладкий, обструганный, точно доска, человек, которого не за что повесить, не способный на одно-два преступления.

Фортунио был способен на все, хорошее ли или плохое, но в его положении ему незачем было творить зло. С высоты его богатства люди казались ему слишком мелкими, чтобы думать о них; этот черный муравейник жалких изгоев, копошащихся у его ног, эти несчастные, обливавшиеся пóтом, чтобы заработать за год столько же, сколько он тратил за минуту, не стоили того, чтобы благородный человек ронял свое достоинство, обращая на них внимание; он не понимал ни благотворительности, ни филантропии, но его прихоти порождали вокруг него золотой ливень, и все, кто жил в тени Фортунио, скоро обретали достаток; в общем, он творил больше добра, чем тридцать тысяч добропорядочных буржуа и раздатчиков дешевого супа. Он дарил счастье, как солнце, которое не подает никому ни гроша, но обеспечивает жизнь и благополучие миллионам.

У него никогда не было ни гувернера, ни учителя, но он обладал обширными, глубокими познаниями, ибо изучал все сам. Ему не мешали предрассудки, связанные с рождением или положением, он находился так высоко, что хорошо видел и вдаль, и вширь.

Если бы ему вздумалось сделаться королем или императором, он легко добился бы своей цели; с его отвагой, умом, красотой, знанием людей и неограниченными средствами для подкупа это было проще простого. Но из беспечности или пренебрежения, он не стал тревожить властителей, довольствуясь тем, что и так был царем.

Исключительной чертой Фортунио являлось то, что, имея фантастические возможности, он не пресытился жизнью и, зная цену вещам, не проникся презрением к ним.

Поскольку все его желания исполнялись, едва зародившись, его душа никогда не ведала усталости от тягостного стремления к недостижи-

мому, ибо утомляет и иссушает не обладание, а неудовлетворенная жажда.

Он любил вино, вкусную еду, лошадей и женщин так, словно никогда не имел их; ему нравилось все прекрасное, великолепное и блестящее; он понимал и прелесть увитой виноградом хижины с крышей, заросшей темным бархатным мхом и дикими левкоями, и роскошь мраморного дворца с резными колоннами и аттиком, заполненным сонмом белых изваяний. Фортунио одинаково восхищали искусство и природа; он страстно любил рыжеволосых женщин, что ничуть не мешало ему испытывать удовольствие от негритянок и китаянок; он находил обворожительными испанок, обожал англичанок и ничуть не брезговал индианками; даже француженки казались ему весьма милыми; кроме того, ему очень нравились Мадонны Рафаэля[4] и куртизанки Тициана; короче, его отличала эклектика самого высокого полета и безграничный космополитизм. И при этом, к стыду или к чести Фортунио, никто и никогда не видел его с любовницей и не знал, где он живет.

Что до его рабов, черных, желтых и красных, то их били так же часто, как Скапенов[5] или Давов из пьес Плавта[6].

Странная штука! Прислужники боготворили его, ради него они готовы были пойти даже в огонь, а он относился к ним, будто к животным, и в конце концов заставил уверовать, что они собаки, и привил им страстную преданность и усердие.

Ему никогда не приходилось дважды повторять приказ; столь же редко ему случалось прибегать к словам, дабы выразить свое пожелание: хватало одного взгляда или жеста.

У него всегда стоял наготове выезд и две оседланные лошади, а на кухне ждал горячий обед: Фортунио никогда не доводилось томиться ожиданием кого-либо или чего-либо; две красивые девушки днем и ночью дежурили рядом с его спальней на тот случай, если ему в голову придет какая-нибудь любовная фантазия. Как вы видите, он был предусмотрительным человеком.

Он не знал ни препятствий, ни задержек и не ведал, что такое завтра. Для него все могло состояться сегодня, ему хватало власти, чтобы превратить будущее в настоящее.

Когда дядя умер, Фортунио было около двадцати, и им овладело желание увидеть Европу, Францию, Париж.

И он прибыл туда, взяв с собой двадцать состояний, тонны золота, шкатулки с алмазами и прочее, и прочее.

Поначалу ему, привыкшему к восточной роскоши, все казалось жалким, куцым и пошлым. Самые богатые и знатные вельможи представля-

лись ему нищими оборванцами; однако очень быстро под бедной тусклой оболочкой он разглядел целый мир идей, о котором раньше не подозревал. Он осваивал этот мир семимильными шагами и в скором времени благодаря природной проницательности разбирался во всем не хуже коренных парижан.

После диких, глубоко волнующих прелестей варварской жизни ему было интересно попробовать утонченный вкус цивилизации; после яванских джунглей, где он охотился на тигра верхом на слоне в компании малайцев, Фортунио казалось пикантным затравить лисицу верхом на лошади-полукровке в красном костюме для верховой езды бок о бок с министрами; после того, как он в платье из муслина, сидя по-турецки на душистой тростниковой циновке в тени главного храма Бенареса[7], любовался танцами настоящих баядерок, ему было любопытно посмотреть в Опере с биноклем и в желтых перчатках на мадемуазель Тальони в «Боге и баядерке»;[8] правда, поначалу он с большим трудом сдерживал себя, чтобы не отрубить головы зрителям, заслонявшим сцену.

Единственное, с чем он никак не мог примириться на Западе, так это с открытым всему свету домом и с тем, что под маской близких друзей в самые потаенные уголки его жизни стремятся проникнуть наглые пираты.

Он охотно встречался со своими знакомцами в ресторанах, в театре, на прогулках, но никто из друзей не был допущен в его жилище, если же ему приходилось устраивать прием, то Фортунио специально снимал особняк, который тут же покидал из боязни, что кто-нибудь нагрянет туда с визитом.

Его жизнь делилась на две равноценные части: показную — скачки, ужины и разного рода безумства, и тайную — личную и никому не доступную.

Фортунио как-то упрекнули в том, что у него нет любовницы — ни знатной дамы, ни танцовщицы, и что только этого ему, как человеку светскому, не хватает для полноты картины; он ответил, что первые для него слишком стары, вторые — слишком костлявы.

И, однако, назавтра его видели в Буффах с танцовщицей, а на следующий день — в Опере с герцогиней, и что вдвойне поразительно — танцовщица была пышнотелой, а герцогиня — молодой.

Фортунио, пойдя на эту жертву ради условностей, вернулся к привычному образу жизни, появлялся и исчезал, но никогда никому не говорил ни куда направляется, ни откуда прибыл.

В первое время любопытство его приятелей раздразнилось до крайней степени, но понемногу страсти утихли, и все приняли Фортунио та-

ким, каким он был. Любовь Мюзидоры вновь пробудила желание проникнуть в тайну его жизни, о его странностях опять заговорили, но все только терялись в смутных догадках. Правды не ведал никто. Даже Джордж знал только то, что сам Фортунио рассказал ему о своей жизни в Индии.

Мы не можем сообщить читателю ничего более о личности Фортунио, но очень надеемся настичь нашего загадочного героя в его последнем убежище.







Глава XVIII

Коляска, запряженная серыми в яблоках конями, к великому изумлению Жасинты, Джека и Замора, вернулась в дом Мюзидоры пустой. Голубка Мюзидора на эту ночь предпочла гнездо коршуна Фортунио.

Розовый лучик проскальзывает сквозь полог роскошного ложа с витыми колоннами, подпирающими резной фриз[1].

Подобно полной сомнений пчелке, жужжащей над цветком, над устами спящей Мюзидоры дрожит свет. Ее головка с распущенными волосами покоится на грациозно сложенных руках.

Разбросанные подушки, откинутые покрывала — все указывало на продлившиеся далеко за полночь наслаждения.

Фортунио, подперев голову рукой, внимательно и меланхолично разглядывал девушку, спавшую под крылом ангела сновидений.

Ее чистые изящные формы предстали во всем своем совершенстве; тонкая, шелковистая, как лепесток камелии, кожа с розовыми отметина-





ми от простыни или слишком горячих поцелуев блестела от теплой испарины; длинная прядь волос змейкой спускалась по шее на грудь до самого соска, словно хотела укусить его, как аспид Клеопатру.

Одна ее ножка, белая и округлая, с ноготками совершенной формы, напоминающими агат, с розовой пяткой и невероятно тонкой щиколоткой, выглядывала из-под покрывала на краю постели. Другая, согнутая довольно высоко, смутно угадывалась под его шелковыми складками.

Золотистый цвет кожи Фортунио счастливо сочетался с идеальной белизной Мюзидоры; то был Джорджоне[2] рядом с Лоуренсом[3], итальянский желтый янтарь рядом с пронизанным голубоватыми жилками алебастром Англии, и воистину трудно было определить, кто из них двоих обворожительнее.

Искушенный Фортунио оценивал прелести своей подруги одновременно как любовник и как эстет. Он знал толк в женщинах, а также в скульптурах и лошадях, и этим немало сказано. Похоже, осмотр удовлетворил его — на губах маркиза блуждала довольная улыбка. Он склонился к Мюзидоре и тихонько поцеловал ее, боясь разбудить, а затем снова погрузился в немое созерцание.

— Она прекрасна, — молвил он вполголоса, — но яванка Суджа-Сари лучше. Надо повидать ее завтра.

— Вы что-то сказали, мой дорогой господин? — спросила Мюзидора, приподняв бахрому своих ресниц.

— Нет, моя царица. — И Фортунио сжал ее в своих объятиях.

Можно смело утверждать, что в тот момент он забыл о яванке Суджа-Сари.







Глава XIX

Мы снова в замешательстве. Мы открыли источник богатства Фортунио, раздобыли сносные сведения о его воспитании, привычках, морали и мировоззрении; несмотря на все ухищрения и изворотливость Протея[1], которую он проявляет, дабы избавиться от любопытства посторонних, нам удалось схватить хитреца за шиворот и проникнуть в одно из его убежищ, может быть, даже в главное логово, и что же? Все наши усилия оказались напрасны, надо снова пуститься по следу и обнюхать все дороги, ведущие к новой тайне.

Какой коварный умысел двигал проклятым Фортунио, почему он произнес в постели, рядом с Мюзидорой, нелепое имя – Суджа-Сари?

Совершенно очевидно, что наши читательницы захотят узнать, кто она такая, эта Суджа-Сари. Суджа-Сари, да еще и яванка! Индийская любовница Фортунио, женщина, которой адресована малайская песня, найденная в его бумажнике и переведенная раджой – торговцем финиками?

Мы не можем разрешить этот важный вопрос; мы впервые слышим имя Суджа-Сари, знаем о ней не больше, чем о великом татарском хане[2], и признаем, что Фортунио вспомнил о ней на удивление не вовремя.

Разве нет у него Мюзидоры, восхитительного создания, бесподобной жемчужины, чья душа, возрожденная любовью, столь же прекрасна, как ее оболочка; неужели ему мало этого наивысшего достижения природы, пожелавшей доказать свое могущество, средоточия всего пленительного, изысканного, совершенного и законченного, что только можно вообразить?

Не многовато ли для одного романа, неужели мы доведем распущенность нашего героя до такой степени, что позволим ему иметь двух любовниц сразу? Лучше дать шесть любовников Мюзидоре, чем двух любовниц Фортунио. Бог знает почему, но в этом случае женщины бы нас простили.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы удовлетворить любопытство наших читательниц.

Суджа-Сари не бывшая любовница Фортунио, ведь он сказал, что увидит ее завтра. Где же он собирается встретиться с нею?.. Не думаю, что на Яве: между Парижем и Явой еще не проложили железную дорогу, и, даже если бы у него была волшебная палочка Абариса[3], Фортунио не смог бы совершить это путешествие так скоро, потому что обещал Мюзидоре показаться с ней в Опере, в большой ложе, на ближайшем спектакле. Значит, Суджа-Сари находится в Париже или поблизости от Парижа.

Но где именно? *На Сите Бержер, где гурии живут*[4], или в Сен-Жерменском предместье? В Сен-Море[5] или в Отёе?[6] Hic jacet lepus*, вот где собака зарыта.

Ограничимся лишь сообщением о том, что, согласно восточной традиции давать женщинам имена, соответствующие их внешним достоинствам, Суджа-Сари означает «Очи, исполненные неги».

Благодаря переводу этого не лишенного смысла имени, который стал нам известен от одного любезного члена Азиатского общества, исключительного знатока яванского, малайского и прочих индийских наречий, теперь мы знаем, что Суджа-Сари — красавица со сладострастными очами и бархатным взглядом, проникнутым мечтой.



Кто возьмет верх: гагатовые очи Суджи-Сари или сине-зеленые глазки Мюзидоры?

---

* Здесь лежит заяц (*лат.*).





Глава XX

Обитель Фортунио одной ногой стояла в реке; беломраморная лестница, нижние ступени которой в зависимости от времени года и дождей то уходили под воду, то оказывались на виду, вела из спальни к маленькой позолоченной расписной лодке с шелковым навесом над кормой.

Фортунио предложил перед завтраком прогуляться по реке, Мюзидора согласилась.

Она села в тени навеса на возвышение из подушек, Фортунио улегся у ее ног и закурил кальян, четыре негра в красных курточках разогнали лодку, и она полетела, будто зимородок, разрезающий крылом водную гладь.

Мюзидора с несказанным восторгом нежно поглаживала шелковистые волосы Фортунио: наконец-то ее желанный очутился в ее руках, он был рядом, его голова покоилась на ее коленях! Она сидела с ним за од-

ним столом, лежала в его постели, спала в его объятиях, всего один шаг — и она проникла в самое сердце его никому не ведомой и не доступной жизни.

Сегодня ей принадлежал тот, кого она любила, а раньше она принадлежала мужчинам, которых ненавидела; Мюзидора забыла обо всем — блаженное состояние, даруемое настоящей любовью, — и беззаботно отдавалась быстротечной страсти. Прошлого не было, она родилась только вчера, ее жизнь началась в тот день, когда Мюзидора увидела Фортунио.

Она опасалась только одного, что ей не хватит времени, чтобы доказать Фортунио свою любовь, десять лет — самое большее, на что она осмеливалась рассчитывать — казались ей слишком малым сроком. Ей хотелось бы унести любовь с собой в могилу, и та самая Мюзидора, которая совсем недавно была еще большей атеисткой и материалисткой, чем сам Вольтер, теперь ради надежды любить Фортунио вечно охотно согласилась бы уверовать в бессмертие души.

Лодка быстро скользила по гладкому зеркалу реки; четыре весла мягко, без брызг, опускались в воду, единственным звуком, нарушавшим тишину, было журчание воды, пенными гирляндами струившейся вдоль бортов.

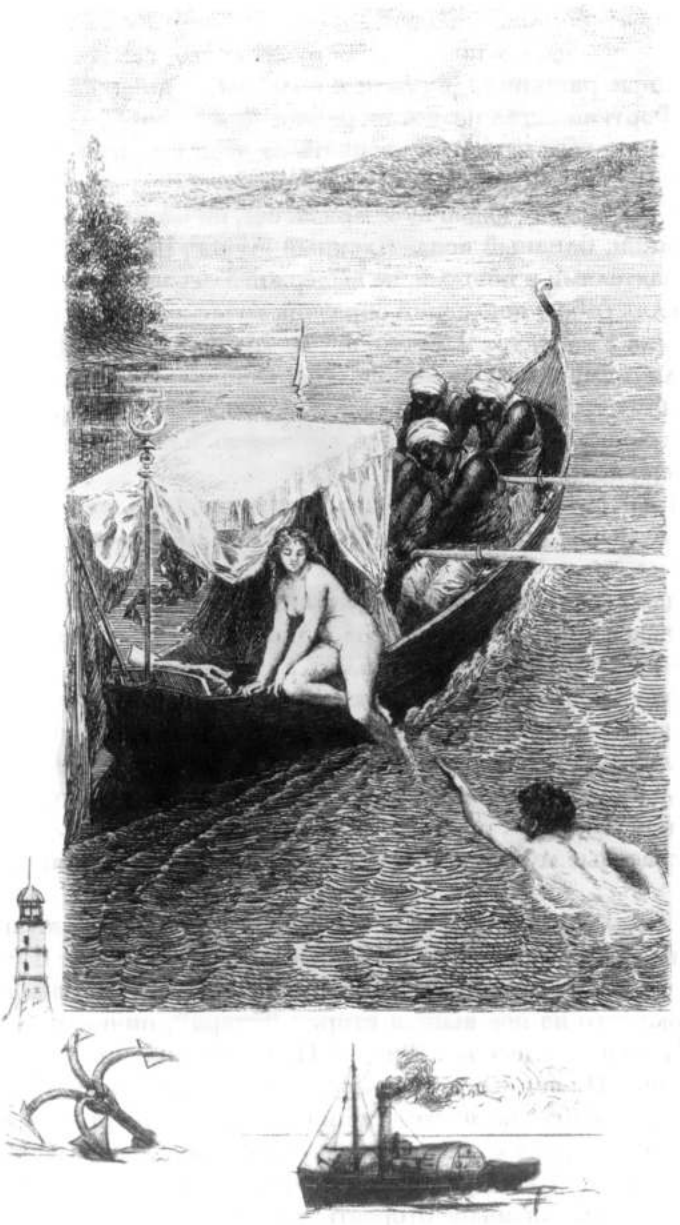
Фортунио оставил кальян, взял ножки Мюзидоры, поставил их себе на грудь, как на скамеечку из слоновой кости, и принялся меланхолично насвистывать странную протяжную мелодию.

Тени от прибрежных тополей покачивались на воде, и казалось, лодка плывет по морю листьев; стрекозы с тонкими переднеспинками, трепеща прозрачными газовыми крылышками, залетали под навес и смотрели на двух влюбленных большими изумрудными глазами. Какая-то рыбка с серебристым брюшком выпрыгивала из воды, покрывая масленистую водную гладь мимолетными бликами. Воздух стоял недвижим: гибкие стебли тростника ни разу не дрогнули, флажок на корме повис безжизненными складками, почти касаясь воды. Залитое светом небо выглядело серебристо-серым, ибо яркое полуденное солнце приглушило его синеву, а по краям небосвода, словно над египетской пустыней, поднималась горячая красноватая дымка.

— Черт! — воскликнул Фортунио, скинув с плеч кашемировый бурнус[1], в который он был облачен. — Мне страшно захотелось искупаться.

И нырнул, перепрыгнув через борт лодки.

Мюзидора умела плавать, но, увидев, как голова Фортунио погрузилась в водоворот, на мгновение прониклась ужасом. Но вот он вынырнул и встряхнул мокрыми волосами, прилипшими к плечам. Фортунио плавал, точно Тритон — самый искусный пловец из свиты Нептуна[2]. В соревновании с ним даже рыбы не имели бы особых преимуществ.



То было одно из самых восхитительных зрелищ. Красивые, сильные, гладкие плечи маркиза, покрытые каплями воды, переливались, словно мрамор на дне фонтана; очарованные волны, прикасаясь к его телу, трепетали от удовольствия и повисали на руках серебряными браслетами. Какие-то водные растения пристали к волосам, подчеркивая их черноту и блеск, и Фортунио стал похож на речное божество.

Мюзидора глаз не могла оторвать от этой красоты, превосходящей совершенства самой прекрасной из женщин.

Ни Феб-Аполлон[3], юный лучезарный бог, ни Скамандр – губитель дев[4], ни Эндимион, бледный возлюбленный Луны[5], ни один из идеалов, созданных ваятелями и поэтами, не выдерживал сравнения с нашим героем.

Он являл собою последний образчик мужской красоты, исчезнувшей с лица земли в нашу эру. Ни Фидий[6], ни Лисипп, скульптор Александра[7], не мечтали о такой безупречной и совершенной модели.

– Почему ты не купаешься, малышка? – спросил Фортунио, приблизившись к лодке. – Мне говорили, ты умеешь плавать.

– Умею, но здесь эти негры.

– Негры? Ну и что? Не обращай внимания, они же не мужчины. Не будь они немыми, вполне могли бы спеть «Miserere» в Сикстинской капелле[8].

Мюзидора скинула платье и погрузилась в реку.

Длинные волосы плыли за прелестницей, словно золотая мантия, время от времени над водой показывались атласные ягодицы, блестящие, как у нимф Рубенса, и маленькие пятки, розовые, будто персты Авроры[9].

Они плыли рядышком, точно два лебедя-близнеца; сделав несколько плавных зигзагов, чтобы преодолеть силу встречного течения, вернулись туда, откуда начали свою прогулку, и вышли на нижние ступени мраморной лестницы.

Две красивые мулатки уже ждали их с просторными пушистыми халатами.

– Ну как, моя белая наяда, – спросил Фортунио, завернувшись в мягкую ткань, – похожи мы на античные статуи? Из меня получился бы вполне сносный Тритон, а пресной воде теперь незачем завидовать соленой, потому что из нее вышла вторая Венера[10], ничем не уступающая первой. И почему здесь нет Фидия? Наш мир получил бы свою Венеру Анадиомену[11]. Но нет, наши скульпторы горазды только камни для мостовых тесать да ваять знаменитостей во французских фраках; у этой проклятой цивилизации только одна цель – возводить на пьедестал сапожников и свечников, чувство формы утрачено, придется нашему Боженьке как-нибудь с утра пораньше оторваться от своего вольтеровского кресла[12] и снова замесить земной шар, испорченный ненавидящими все велико-

лепное и прекрасное хамами, из которых сплошь состоят современные племена. Моя царица, культурный в полном смысле этого слова народ построил бы храм в твою честь и воздвиг бы тебе памятники, ты стала бы богиней: богиня Мюзидора – неплохо звучит.

– ...обвенчанная с богом Фортунио в мэрии и церкви Олимпа. В противном случае добропорядочные небожители откажутся принимать ее по средам и пятницам, – со смехом продолжила Мюзидора.

Так беседуя, любовники вошли в дом.

А как же Суджа-Сари? – Не волнуйтесь, любознательные читательницы, новости о ней не заставят себя ждать.







Глава XXI

День прошел, как дивный сон. Наши любовники без устали наслаждались своей молодостью и красотой, их розовые губы полными кубками пили хмельное вино сладострастия; они обнялись только раз, но объятие длилось до вечера. Горячая щека Мюзидоры покоилась на прохладной груди Фортунио, девушка лежала, свернувшись калачиком, будто дитя, прижавшееся к лону матери, чтобы поспать в свое удовольствие; она закрывала глаза, ее ресницы опускались до середины щек, потом она медленно поднимала веки и молча смотрела на Фортунио.

— Ах, — вздохнула она и с нечеловеческой силой стиснула его обеими руками. — В тот день, когда ты меня разлюбишь, я убью тебя.

«Ладно, — подумал Фортунио, — я уже сто пятьдесят два раза слышал это обещание, и ничего, сносно себя чувствую; никакие угрозы не помешают мне жить и радоваться жизни».

Вдруг он почувствовал, как руки Мюзидоры разомкнули свои ласковые объятия, и, взглянув на нее, увидел, что она страшно побледнела, голова ее запрокинулась, челюсти сжались, а губы побелели, словно в приступе бешенства.

«Вот дьявол, – изумился Фортунио, – неужели она говорила всерьез? Неужели хрупкий нежный демон способен на все? Это сулит мне новую забаву. В конце концов, чем не прекрасная смерть? Я не пожелал бы себе никакой другой, еще никто не любил меня настолько, чтобы убить. Странно получится, если после знойных индийских страстей меня любезно придушит чистенькая парижская блондиночка, у которой, похоже, хватит сил, чтобы сразиться с вертопрахом».

– В таком случае, моя королева, – сказал он вслух, – ты подписала мне патент на вечную жизнь; я буду жить так же долго, как Мафусаил и Мельхиседек[1].

– Значит, ты всегда будешь любить меня? – Мюзидора наградила его долгим страстным поцелуем.

– Конечно, когда любят – это навсегда, а иначе зачем любить? Разве большое и бесконечное не заслуживает вечности? Я буду любить тебя и в этом мире, и в ином, если он есть, а он должен быть именно для этого; у любви есть свои лавки вечностей.

– О, ни во что не верящий злой насмешник! – Мюзидора очаровательно скривила губы.

– Я? Я верю во все: в человеколюбие филантропов, в добродетель женщин, в чистосердечность журналистов, в искренние эпитафии на могилах, во все, что хоть чуточку правдоподобно. И если бы Троица состояла из четырех персон, то и тогда крепость моей веры удостоилась бы самой высокой похвалы[2].

– Так вы атеист, сударь, фи! Это дурной тон, – пожурила его Мюзидора, играя амулетом, блестевшим на шее Фортунио.

– Я атеист? Да у меня целых три божества: золото, красота и счастье! Я не менее набожен, чем блаженной памяти pius Æneas*.

– Наши старушки, предлагая средство от мигрени или зубной боли, говорят: «Верьте Господу нашему, это никогда не повредит».

– Вот как? Сердце мое, неужели мы станем обсуждать теологию? Давай лучше поужинаем и поедем в Оперу. Я должен показать тебя свету. Но сначала пойдем поедим.

– Ну что вы, Фортунио! Куда я поеду в таком виде?

– Заедем по дороге к тебе, и ты переоденешься.

---

* благочестивый Эней[3] (*лат.*).

После ужина, не менее роскошного, чем накануне, очаровательная пара села в экипаж.

Мюзидора зашла домой и выбрала восхитительный наряд. Повинуясь детскому капризу, она с головы до пят оделась в белое, словно невеста. Белый цвет как нельзя лучше подчеркивал нежность ее девичьего личика, светившегося изнутри безмерным блаженством.

Фортунио, предугадавший ее желания, достал из кармана красный сафьяновый футляр. В нем оказались баснословно дорогие ожерелье, серьги и браслет из идеально ровного крупного жемчуга.

— Это мой свадебный подарок, госпожа маркиза. — С этими словами он сам надел на нее украшения. — Теперь, моя инфанта, вы неотразимы, ручаюсь, что сегодня вечером двадцать женщин лопнут от зависти, точно каштаны, которые забыли расколоть перед жаркой. Вы станете причиной бесчисленных расстройств, нынче ночью многим любовникам не поздоровится из-за дурного настроения, которое вы непременно породите в лагере женщин.

Когда Мюзидора под руку с Фортунио появилась в ложе, по залу пробежал восхищенный трепет, еще немного — и раздались бы аплодисменты.

Феба, сидевшая с Альфредом в первых рядах партера, побледнела, словно луна при восходе солнца; кожа Арабеллы, претендовавшей на сердце Фортунио, покрылась желтыми пятнами, как будто у нее разлилась желчь: бедняжка так взволновалась, что ей чуть не стало плохо.

Что до римлянки Цинтии, то она ласково улыбнулась, а во время антракта вместе с Фебой зашла в ложу Мюзидоры.

— Вы выглядите совсем как невеста, можно подумать, вы обвенчались, — натянуто произнесла Феба с ядовитой улыбкой.

— Да, — не колеблясь, ответила Мюзидора, — вчера я обвенчалась со своей мечтой.

— Я ничуточки не сомневалась, — сказала Цинтия, — такого не бывало, чтобы новенна и свеча за три ливра не помогли; наша Мадонна куда лучше ваших страшных бородатых святых.

— Сударыня, — в ложе появился Джордж, — позвольте сложить к вашим ногам, если там еще найдется местечко, дань моего уважения. Коляска ваша, когда прикажете доставить?

— Спасибо, Джорджио, но Фортунио вас опередил.

— Прекрасно! Фортунио, откуда ты: из Сингапура, Калькутты или прямо из преисподней? Наверное, именно там тебя нашла Мюзидора, она с дьяволом на короткой ноге.

— Нет, я тихо-мирно, подобно истинному буржуа, явился из Нейи, точно конституционный монарх[4]. А ты заполучил Цинтию?

Не проронив ни слова, римлянка презрительно покачала головой.

Феба, склонившись к Фортунио, сообщила ему на ушко, что Цинтия влюбилась в некоего молодца – смесь наемного убийцы с учителем фехтования, шести футов ростом, с черными бакенбардами и зубами в три ряда, как у крокодила. Она отдавала ему все свои деньги.

– Узнаю Цинтию, – вполголоса ответил Фортунио.

Пока в ложе шел этот разговор, оставшийся в одиночестве Альфред непрерывно рассматривал Мюзидору в бинокль.

– Решено, – сказал он сам себе, – я снова начну ухаживать за Мюзидорой, Феба для меня слишком холодна. И что может быть лучше, чем оттеснить Фортунио с его замашками сатрапа! Я наделаю шума и восстановлю мою репутацию счастливчика, о которой все немного подзабыли, ведь, что скрывать, я упустил уже трех женщин. Этот чертов Фортунио столько тратит! Что-то тут не так. У него нет и клочка земли. Странно! Очень странно! В самом деле, чрезвычайно странно, но я раскрою эту тайну и заполучу Мюзидору.

Приняв сие похвальное решение, Альфред, весьма довольный собой, с самым самоуверенным и победоносным видом несколько раз провел рукой в белой перчатке по своим курчавым волосам.







Глава XXII

Попросим читателя вспомнить кровать лимонного дерева на ножках из слоновой кости и с белыми кашемировыми занавесками, описанную в начале нашего славного повествования; пусть он мысленно добавит туда вторую подушку с кружевами англетер, вообразит на фламандском полотне черные волосы Фортунио, которые струятся, не сливаясь со светлыми локонами Мюзидоры, и картина будет полной.

Мы не возьмемся пересказывать день за днем, час за часом жизнь, которую вели наши любовники. Разве найдется на свете достаточно сладкозвучный язык, чтобы передать все прелестные мелочи и пленительные шалости, из которых состоит любовь? Упоительные бессонные ночи, нескончаемые восторги, глубокое наслаждение, сладострастие, доходящее до исступления, неутомимое, раз от разу все более жадное и пылкое желание, птицей Феникс возрождающееся из пепла, — как передать их низкой прозой и при этом не впасть в пафос или бред?

Фортунио постепенно проникся чувством Мюзидоры. Настоящая любовь заразна, точно чума. С виду он был насмешник и скептик, но сердце его не зачерствело от ранних беспрепятственных утех. Больше всего на свете он ненавидел притворство и никогда не прельщался пустыми кокетками; ложь в любви возмущала его до глубины души, и в то же время малейший признак подлинной привязанности трогал его необычайно, он не оттолкнул бы даже старьевщицу или паршивую собаку, полюби они его по-настоящему. Хотя неисчислимые богатства делали легкодоступным все, что ни есть роскошного и привлекательного, голубой цветочек наивной любви тихо цвел в уголке его души[1], сераль из двухсот женщин и благосклонность прекрасных куртизанок никоим образом не пресытили его. Он был распутен, как восьмидесятилетний дипломат, и чист, как Керубино у ног своей крестной[2]. Он вел жизнь Дон-Жуана и охотно прогулялся бы с пансионеркой в атласной светло-зеленой накидке по берегу Линьона[3]. Он спокойно бросался из крайности в крайность и ничуть не заботился о логичности своих поступков. Страсти заводили его, куда хотели, и Фортунио никогда не пытался противиться им; он бывал утром добр, а вечером зол, но чаще добр, чем зол, поскольку прекрасно себя чувствовал; он был красив и богат, и, естественно, устройство мира казалось ему правильным; несомненно одно: как бы ни менялось его настроение, он оставался самим собой. Хорошо разбираясь в самых разных вещах, он любил одинаково и алое, и голубое небо, но ненавидел фразы из романов и модный жаргон, а в Мюзидоре его главным образом очаровало то, что она отдала ему себя, ничего о нем не зная и ни о чем не спрашивая.

В свете только и говорили, что о победе Мюзидоры над неуловимым и диким Фортунио, который сильно привязался к ней; парижская кошечка с зелеными глазами укротила индийского тигра; она держала его в клетке своей любви, невидимые прутья которой оказались крепче железной решетки; похоже, она совершенно очаровала его, и маркиз позабыл бедную Суджу-Сари, а ее красоту повергла прелесть Мюзидоры. Фортунио вел себя с ней совсем по-европейски, как не вел себя ни с одной из женщин, что были у него во Франции: он навещал ее почти каждую ночь и каждый день, а порой не расставался с нею целыми неделями. Султан Фортунио перенял привычки Амадиса, ни одна принцесса не удостаивалась столь пылкой любви и подобных знаков высочайшего почтения. Однако временами его охватывали приступы прежнего азиатского бешенства; бархатные лапы тигра выпускали острые грозные когти.

Однажды ночью, когда он лежал рядом с Мюзидорой, им завладела какая-то нелепая идея; он встал, оделся, взял лампу, поднес к бахроме занавесок и хладнокровно поджег ее, затем прошел в соседнюю комнату и проделал то же самое.





Широкие языки пламени уже лизали потолок, когда их ослепительный свет проник сквозь веки спящей Мюзидоры, она проснулась и, увидев комнату, объятую огнем и дымом, закричала от страха:

– Фортунио, Фортунио! Помогите!

Фортунио стоял, прислонившись к камину, и спокойно, с довольным видом наблюдал за пожаром.

– Я задыхаюсь! – Мюзидора соскочила на пол и бросилась к двери. – Фортунио, почему вы ничего не делаете, почему не зовете на помощь?

– Еще не время. – Фортунио взял Мюзидору на руки, завернул, словно младенца, в одеяло и вынес вон.

Не будь Фортунио таким проворным и сильным, вряд ли ему удалось бы пройти сквозь анфиладу комнат, охваченных невыносимым жаром и удушающим дымом.

В несколько прыжков маркиз достиг последней двери, птицей слетел вниз по лестнице, сам – некогда было будить одурманенного вином и крепким сном швейцара – открыл дверь и вместе со своей драгоценной ношей забрался в как будто нарочно дожидавшийся его экипаж. Усевшись, он положил Мюзидору к себе на колени, и карета тронулась.

От пламени лопнули стекла, черные клубы дыма вырвались наружу; в доме все наконец проснулись, и крики «Пожар! Пожар!», повторявшиеся на разные голоса, разнеслись по улице.

На красном фоне огня золотыми блестками порхали и переливались искры, напоминая великолепное северное сияние.

– Держу пари, Джек проснется, только когда совсем поджарится, – смеясь, произнес Фортунио.

Мюзидора не ответила. Она потеряла сознание.







Глава XXIII

Когда Мюзидора пришла в себя, то обнаружила, что лежит в изысканно простой постели, а Фортунио сидит рядом.

Мюзидора заметила, что обстановка комнаты исключительно уютна и кокетлива: мебель подобрана с утонченным вкусом без той королевской и почти вызывающей роскоши, которая скорее ослепляет, чем очаровывает; все здесь казалось упоительным, интимным, целомудренно воздушным и радовало не только глаз, но и душу. Наверняка над оформлением спальни потрудился великий поэт. И этим поэтом был Фортунио.

– Как ты находишь гнездышко? Тебе оно нравится?

– Очень, – ответила Мюзидора. – Но где я, чей это дом?

– Законный вопрос. Дом твой.

– Мой? – изумилась Мюзидора.

— Да, я купил его, когда решил сжечь твой. — Фортунио произнес эти слова столь спокойно, словно речь шла о чем-то совершенно естественном.

— Так это вы сожгли мой дом?

— Огонь не может возникнуть сам собой, к такому выводу я пришел после глубоких размышлений, и потому мне пришлось потрудиться.

— Вы с ума сошли, Фортунио, или вы смеетесь надо мной?

— Вовсе нет, разве я сказал что-нибудь невразумительное? Твой сарай был в дорическом стиле[1], я его не выношу, и, кроме того...

— Что кроме того? Какой должна быть причина, чтобы сжечь целый квартал! — сказала Мюзидора, едва Фортунио умолк на полуслове.

— Кроме того, — Фортунио позеленел, а глаза его засверкали, — я не хотел больше видеть тебя в доме, который подарил тебе кто-то другой и в котором ты принадлежала другим. Мысль об этом внушала мне ужас, я возненавидел каждое кресло, каждый шкаф, словно они были моими смертельными врагами, за каждым из них мне мерещились твои поцелуи и ласки. Я готов был зарезать твою софу, как мужчину[2]. Твои платья, кольца, украшения вызывали во мне холод и омерзение, будто я прикасался к ядовитой змее. Все напоминало мне о том, что я навсегда хотел стереть из своей памяти, эти мысли возвращались, незваными гостями, осиным роем, и прямо в сердце вонзали свои ядовитые жала. Ты и представить себе не можешь, с каким мстительным удовлетворением я смотрел, как пламя пожирает грязные занавески — сколько раз до нашей встречи они отбрасывали вероломную тень на сцены сладострастия... как в неудержимом огне горят ненавистные стены. Мне казалось, он понимает меня! Неподкупный огонь! Очистительное пламя! Его жгучие искры и языки лились на меня холодным, словно майская роса, дождем, я чувствовал, что в душе моей под этим благодатным ливнем воцаряется мир. Сейчас от этих стен ничего не осталось, только куча углей и пепла, все рухнуло, все уничтожено. Теперь я дышу свободнее, мою грудь переполняет радость. Да, но на тебе еще пеньюар, гнусный, как хитон Несса[3], я должен разорвать его на тысячу клочков, растоптать, точно живого дракона.

Фортунио одним движением сдернул с Мюзидоры пеньюар, с силой разорвал его, затем бросил на пол и принялся топтать с тупой яростью быка, поднявшего на рога пунцовый плащ чуло[4].

Напуганная дикой страстью маркиза, Мюзидора съежилась под одеялом, прижав руки к груди, и с тревогой ожидала конца ужасной сцены.

— Ах, как бы я хотел содрать с тебя кожу! — Фортунио направился к постели.

Мюзидора уже поверила, что он, как обычно, перейдет от слов к делу, но своевольный ягуар продолжил:

— Я с наслаждением сорвал бы с твоего тела эту нежную шелковую кожу, к которой прикасались опухшие от разврата губы мерзких любовников; как бы я хотел, чтобы никто и никогда не смотрел на тебя, не дотрагивался, не слышал твоего голоса; я разобью все зеркала, которые хотя бы несколько мгновений хранили твое отражение. Я ревную к твоему отцу, потому что в тебе есть его кровь, и она свободно бежит по твоим голубым жилкам; я ревную к воздуху, которым ты дышишь, потому что он целует тебя, ревную к тени, которая следует за тобой, будто жалкий влюбленный. Я хочу быть хозяином всей твоей жизни: прошлого, настоящего и будущего. И не знаю, что меня удерживает, почему я не убил до сих пор Джорджа и де Марсили, почему не достал из могилы Уиллиса и не бросил его труп собакам.

Пока Фортунио говорил, он все время кружил по комнате, как тощий волк в зверинце, который мечется по клетке и трется мордой о решетку.

Он умолк, сделал еще несколько кругов и бросился ничком на кровать. Маркиз разрыдался: гроза, начавшись громом, разразилась дождем.

— Глупенький, неужели ты не чувствуешь, что до тебя я никого и никогда не любила. — Мюзидора обняла его и ласково прижала к груди. — Друг мой! Я родилась в тот день, когда увидела тебя, моя жизнь началась с твоей любви. И зачем ты ревнуешь Мюзидору? Ты же знаешь, она умерла. Ты мой Бог, мой Творец, ты создал меня из ничего. Зачем ты мучаешь себя?

— Прости, мой ангел, я вырос вблизи солнца, на огненной земле; я ни в чем не знаю меры, мои страсти ревут во мне, будто львы в пещерах. Часы бьют, уже три пополуночи, закрой свои зеленые глазки, мой маленький крокодильчик. Давайте спать, мадемуазель.







Глава XXIV

Мы обещали нашим читательницам найти Суджу-Сари, яванскую красавицу с томными очами. Поскольку Мюзидора, в которую теперь влюблен Фортунио, оттеснила эту героиню на второй план, то, естественно, она вызывает особый интерес. Однако мы неосторожно дали обещание, которое трудно выполнить; Суджу-Сари можно найти, лишь следуя за Фортунио, а можно ли, скажите на милость, пешком догнать молодца, разъезжающего на чистокровных лошадях? Но есть ли у нас право следить за ним? И будет ли деликатно с нашей стороны раскрыть секрет галантного мужчины? Разве он виноват в том, что мы выбрали его в герои романа?

Может, лучше обратить внимание на тех, кто только и мечтает увидеть напечатанной свою частную переписку?[1]

Тем не менее во что бы то ни стало надо найти Суджу-Сари, красавицу с исполненными неги очами.

Отказавшись от всех приемов, к которым обычно прибегают романисты, чтобы вызвать и разжечь интерес, и рассудив по количеству страниц, что вскоре можно будет написать славное короткое слово «конец» в финале нашей истории, мы выдадим секрет Фортунио.

Как мы уже рассказывали, Фортунио воспитывал в Индии дядя — феерически богатый набоб. После его смерти племянник приехал во Францию. И захватил с собой столько денег, что хватило бы на покупку королевства. Наибольшее удовольствие Фортунио доставляло совмещать варварскую жизнь с цивилизованной, быть одновременно сатрапом и щеголем, Сарданапалом и Браммелом;[2] он находил весьма пикантным стоять одной ногой в Индии, а другой — во Франции.

И вот что он сделал ради этой двойной жизни.

Он купил в одном из тихих кварталов Парижа несколько соседних домов с большим внутренним садом. Фортунио приказал разрушить все, кроме выходивших на улицы фасадов, и при этом замуровать в них все окна. Таким образом, построенные им здания можно было увидеть разве что из корзины воздушного шара.

Четыре дома, по одному с каждой стороны этого островка, служили Фортунио входами, от них тянулись длинные, покрытые сводами галереи, которые он использовал, чтобы не вызывать никаких подозрений. Фортунио выходил и входил то с одной стороны, то с другой, стараясь, чтобы его никто не заметил.

Торговец, чья лавка находилась прямо перед одним из строений, был не кем иным, как преданным слугой Фортунио; не привлекая излишнего внимания, он занимался поставкой продуктов и всего необходимого.

В этом никому не известном дворце, столь же недоступном, как Эльдорадо, которое так стремились найти испанские искатели приключений[3], Фортунио таинственно исчезал, чем неизменно возбуждал жгучий интерес своих друзей.

По настроению он мог безвылазно жить там неделю, две, месяц.

Строители, соорудившие дворец, получили достойную мзду за свое молчание и разбрелись по всему земному шару, никто из них не остался в Париже. Фортунио сделал так, что они уехали, кто в Америку, кто в Индию или Африку: он от чужого имени посулил им золотые горы, и те отправились за лучшей долей, не подозревая, что перемена в их судьбе как-то связана с маркизом.

Эльдорадо, или Золотой дворец, как окрестил его Фортунио, оправдывал свое название: он весь сверкал от золота, даже Золотой дом Нерона[4] вряд ли отличался подобной роскошью.

Представьте себе обширный двор в обрамлении витых беломраморных колонн с золочеными капителями, опутанных золотыми виноградны-

ми лозами с гроздями рубиновых ягод. За четырехугольным портиком[5] скрывались резные кедровые двери, ведущие в апартаменты.

Четыре порфировые лестницы с перилами и площадками спускались в центре двора к бассейну с чистой теплой водой, которая то опускалась до нижних ступеней, то поднималась до верхних, в зависимости от желаемой глубины.

Все остальное пространство покрывали апельсинные и тюльпанные деревья, ангсоки[6] в желтом цвету, масличные пальмы, алоэ и другие тропические растения, высаженные прямо в грунт.

Чтобы это чудо стало понятным, добавим, что Эльдорадо пряталось под стеклянным куполом.

Фортунио, как всякий индус, был очень чувствителен к холоду и, чтобы создать подходящую для себя атмосферу, прежде всего приказал построить гигантскую теплицу, которая полностью накрыла его чудесное гнездышко.

Стеклянный свод заменял ему небо, но не думайте, что из-за этого Фортунио лишился влаги: он менял погоду по собственной прихоти и при желании мог заказывать дождь, который ему тут же подавали. Невидимые трубки, испещренные отверстиями, разбрызгивали мелкую жемчужную росу на разнообразные причудливые листья его девственного леса.

Тысячи колибри и райских птичек свободно порхали в этой гигантской клетке, они сверкали в воздухе, подобно ожившим крылатым цветам; павлины с лазоревыми шеями и рубиновыми хохолками величественно волочили по газонам хвосты, усеянные глазка́ми.

Помещения для слуг выходили во второй двор.

Вынужденным неудобством этого жилища было отсутствие вида из окон, но изобретательный Фортунио не останавливался ни перед чем, он решил и эту задачу: окна его гостиных заменяли чудесные диорамы[7], создававшие полную иллюзию настоящего пейзажа.

Сегодня вашему взгляду являлся Неаполь с его синим морем и домами, расположившимися амфитеатром на склоне гор, с вулканом, увенчанным пламенеющим султаном, и белыми цветущими островами; завтра — Венеция с мраморными соборами Святого Георгия, Доганой и Дворцом дожей[8], или пейзажи Швейцарии, если на господина Фортунио в этот день найдет пасторальное настроение; но чаще всего там красовались восточные виды: Бенарес, Мадрас[9], Масулипатнам и другие столь же живописные места.

Утром камердинер входил в спальню и спрашивал маркиза:

— Какую страну изволите?

— Что у вас сегодня? — интересовался Фортунио. — Дайте меню.

Слуга протягивал ему перламутровую папку с тщательно выгравированными названиями городов и местностей, и Фортунио, словно речь шла о мороженом у Тортони[10], выбирал новый, не знакомый ему вид или то, чем ему вздумалось полюбоваться еще раз.

Подобно крысе в головке голландского сыра, он беззаботно жил в своем дворце и наслаждался утонченной восточной роскошью. Рабы пресмыкались перед ним и почитали, как бога. Время от времени тем, кто не понравился ему или услужил с недостаточным рвением, он собственноручно рубил голову с ловкостью, которая сделала бы честь турецкому палачу. Тела сбрасывались в колодец с известью, где растворялись без следа. Но в последнее время, несомненно, под влиянием европейских идей Фортунио предавался подобным увеселениям, разве что когда был пьян или хотел доставить удовольствие Судже-Сари.

Прежде чем появиться в Эльдорадо, он менял свою щегольскую одежду на индийскую — платье и тюрбан из муслина, расшитые золотыми цветами, сафьяновые туфли и обязательно вешал на пояс крис с рукояткой, усыпанной алмазами.

Ни один индиец, заключенный в этой необыкновенной тюрьме, не знал ни слова по-французски и не ведал, в какой части света находится.

Ни Суджа-Сари, его фаворитка, ни Рима-Рахес, чьи черные волосы ниспадали, словно гагатовая мантия, ни Куконг-Алис с изогнутыми, как радуга, бровями, ни Сакара с губами, подобными распустившейся розе, ни Камбана, ни Кени-Тамбухан не подозревали, что живут в Париже, и знать не знали, что такое Европа.

Благодаря этому обстоятельству деспот Фортунио управлял своим маленьким мирком так же, как если бы он находился в сердце Индии.

Маркиз проводил там дни напролет в полной неподвижности, сидя на горе подушек и вытянув ноги на спине одной из прислужниц, курил кальян и равнодушно провожал глазами струйки голубоватого дыма.

Он превосходно умел погружаться в это милое азиатам оцепенение, являющееся величайшим блаженством из доступных на земле, поскольку оно позволяет полностью отрешиться от всего человеческого и суетного.

Смутные убаюкивающие видения ласкали склоненное чело Фортунио своими пушистыми крылами, светящиеся миражи витали под тяжелыми веками.

Огромные чаши индийских цветов — созданные самой природой плошки и курительницы — источали дикие всепроникающие ароматы, терпкие и пьянящие, будто вино или опиум. Фонтаны розовой воды устремляли свои струи до самого свода арок и с тихим журчанием падали мелким дождиком в плоские раковины из горного хрусталя. И в довер-





шение роскоши солнце, освещавшее стеклянный свод, создавало над Золотым дворцом искрящееся алмазное небо.

Сказка наяву — и этим все сказано.

Да, казалось, то был настоящий Восток, «Тысяча и одна ночь» в двух тысячах лье от Парижа, а на самом деле в двух шагах от стен Золотого дворца гудела, кипела и кишела грязная, зловонная и шумная улица: тусклой звездочкой в тумане светился на столбе фонарь комиссара полиции, книготорговцы продавали пять кодексов[11] с разноцветными обрезами, конституционная хартия распускалась трехцветными кокардами[12], все дышали газом, гарью и смогом современной цивилизации, барахтаясь в клоаке самой грязной прозы; кругом царили только сутолока, дым и сырость, уродство и нищета, желтые лица под серым небом, в общем, тот ужасающий мерзкий Париж, который хорошо вам знаком.

По другую сторону стен, подобно чудесному цветку из арабских сказок, цвел теплый золотой мир, полный красок, гармонии и благоухания, мир женщин, птиц и цветов, волшебный дворец, остававшийся невидимым в центре отвратительного Парижа благодаря могущественному волшебнику Фортунио; мечта поэта, осуществленная поэтичным миллионером, персоной столь же редкой, что и поэт-миллионер.

Здесь — работа, почерневшие руки и задыхающаяся, будто кузнечные мехи, грудь; там — сладкая нега, небрежно опирающаяся на локоть, томная лень с хрупкими белыми пальцами, отдыхающая днем от утомительного ночного сна; совершенный покой рядом с лихорадочной суетой — полная противоположность.

Вот так Фортунио и вел двойную жизнь и наслаждался то восточной, то парижской роскошью. Его тайное убежище — лирическая колыбель, в которой он время от времени лелеял свои грезы, — было его единственной любовью, потому что он не мог приспособиться к европейским порядкам и вечному смешению полов. Он разделял отчасти взгляды султана Шахрияра[13], и самым приятным на свете находил возможность купить невинную девушку и после первой ночи отрубить ей голову; таким простым способом раз и навсегда исключалась измена. Правда, его собственная ревность не доходила до подобных предосторожностей, но он не мог любить женщину, зная, что он у нее не первый. Поверьте на слово, если бы он женился, то никогда не выбрал бы вдову. Мюзидора стала единственной женщиной, которую он удостоил длительными отношениями: он уступил ее берущему за душу обаянию, ее волшебному кокетству, а главное, неподдельному чувству. Жаркое пламя страсти Мюзидоры согрело сердце маркиза: он полюбил и впервые в жизни был несчастлив. Невыносимые страдания терзали его душу своими острыми мечами, в самых ласковых по-

целуях он ощущал горечь: Фортунио все время помнил, что эта женщина раньше принадлежала другим.

В его власти и могуществе обнаружился изъян: отнять у времени прошлую жизнь Мюзидоры и очистить ее было выше его сил; эта мысль орлиным клювом вонзалась в его печень. Он слишком привык к безраздельному обладанию и едва ли сознавал, что на свете помимо него есть другие мужчины. Стоило ему подумать, что кто-то был любим так же, как он, и им овладевало дьявольское бешенство, его охватывала такая ярость, что он мог бы разорвать льва голыми руками. В эти минуты ему хотелось вскочить на лошадь, ворваться в гущу толпы и рубить направо и налево, отсекая головы, руки и ноги; он начинал рычать и словно безумный кататься по земле. Как раз после одного из таких приступов он и поджег дом Мюзидоры.

За этим редким исключением он оставался невозмутим, будто старый турок: даже если бы гром небесный спустился к нему и зажег его трубку, Фортунио не выказал бы ни малейшего удивления, ибо не боялся ни Бога, ни черта, ни смерти, ни жизни и отличался исключительной выдержкой.

Попав в плен к чаровнице Мюзидоре, он появлялся в Эльдорадо все реже и реже. Вот уже неделю, как ноги его не было в Золотом дворце, и удушающая скука давила на стеклянное небо, лишенное своего солнца. Поскольку обитатели Эльдорадо не знали, что находятся во Франции, никто из них и предположить не мог истинных причин отсутствия Фортунио: все думали, что он охотится на слонах или воюет с каким-нибудь раджой. Их привезли сюда прямо из Индии так, что они не видели дороги, и они не сомневались, что местные нравы ничуть не отличаются от нравов Бенареса и Мадраса.

Суджа-Сари, встревоженная и опечаленная, удалилась в свои покои вместе с прислужницами. Жаль, что никто из наших художников не видел ее, ведь она была самым восхитительным созданием, какое только можно вообразить, а слова, сколь бы мы ни старались, способны дать лишь приблизительное представление о красоте женщины.

Судже-Сари исполнилось, наверное, тринадцать, хотя на вид ей было все пятнадцать, ибо ее формы уже хорошо развились, а очертания вполне округлились. Кожа девушки, матовая и упругая, словно лист камелии, на ощупь казалась нежнее яичного белка, а ее бледный теплый оттенок, ровный от макушки до пят, можно представить, только вспомнив, как выглядит на просвет янтарь. И вряд ли вы придумаете что-нибудь более пикантное и эффектное, чем это золотистое юное тело в густом каскаде черных, как ночь, волос, покрывающем его с головы до пят. На восковом лбу, у самых корней лежала чарующая голубоватая полутень, черные миндале-

видные глаза с приподнятыми уголками были исполнены несказанной неги и сладострастия, а зрачки двигались столь плавно и томно, что никто не мог устоять. Суджа-Сари по праву носила свое имя: когда она устремляла на вас свой бархатистый взгляд, ваше сердце охватывали бесконечная леность и покой, полный свежести, благоухания и бог весть какой светлой печали. Воля покидала вас; планы улетучивались, будто дым, оставалось единственное желание — вечно лежать у ног обольстительницы. Все вокруг виделось тщетным и бессмысленным, казалось, на свете отныне есть только одно достойное занятие — любить и видеть сны.

При этом Суджа-Сари отличалась необузданной страстностью, не уступавшей по силе ароматам и ядам ее родины. Она принадлежала к породе грозных яванок, грациозных вампиров, которые за три недели высасывают из европейцев всю кровь до последней капли и все золото, а затем бросают их сухими и выжатыми, как лимон.

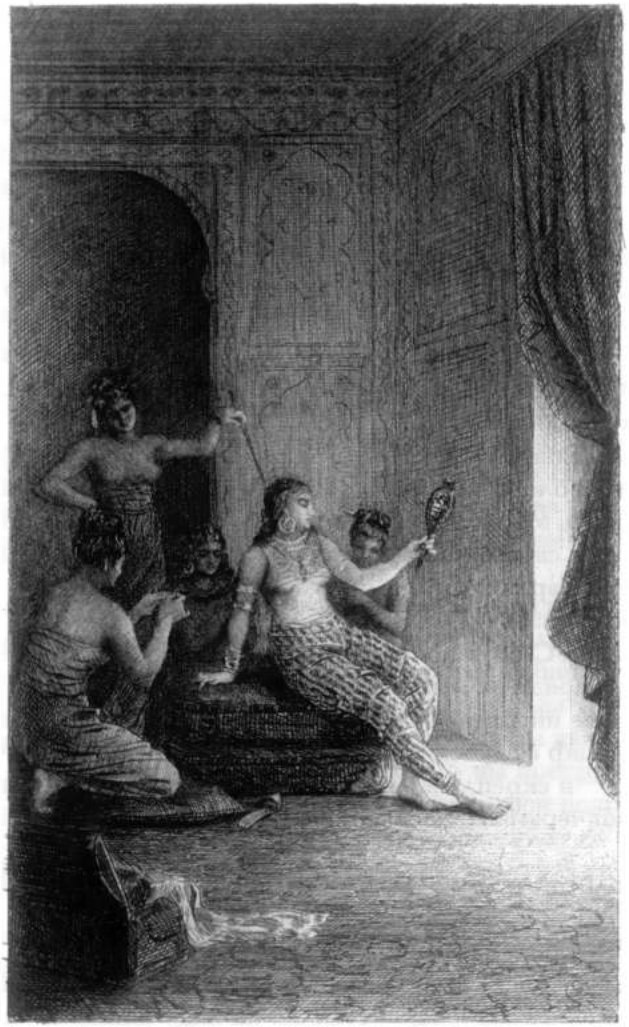
Ее тонкий точеный носик, ярко-красные, как цветок кактуса, губы, широкие бедра, крохотные ручки и ножки — все выдавало в ней чистейшую породу и незаурядную силу.

Фортунио купил яванку, когда ей было девять лет, за три буйвола, и девочке не составило труда выделиться среди красавиц сераля и стать любимицей маркиза. Он не хранил верность Судже-Сари — это было невозможно при его восточных привычках и мировоззрении, — но всегда возвращался к ней.

Однако до сих пор он ни к кому не питал столь сильных и страстных чувств, как к Мюзидоре, зеленоглазая парижская кошечка была единственной женщиной, затмившей в его сердце золотистую яванку.

Суджа-Сари сидит на ковре и смотрится в слюдяное зеркало на ножке чеканного золота; четыре женщины, стоя на коленях, вплетают в ее волосы, разделенные на четыре пряди, золотые нити; пятая прислужница, расположившаяся чуть поодаль, легонько щекочет ей спину палочкой из слоновой кости с нефритовой лапкой на конце.

Кени-Тамбухан и Куконг-Алис достают из кедровых сундуков, которые заменяют нашей принцессе шкафы, драгоценные платья и ткани: черный атлас с диковинными цветами — вместо лепестков у них крылья бабочек, а вместо пестиков — хохолки павлинов; парчу с шероховатой основой, усеянную звездами и светящимися глазка́ми; бархат с пушистым ворсом; шелка, переливающиеся, словно шея голубка или опаловая призма; муслин с золотыми и серебряными нитями в разводах и причудливых узорах; гардероб, достойный феи или пери[14]. Прислужницы выкладывают всю эту роскошь на диваны, чтобы Суджа-Сари могла выбрать то, что захочет надеть сегодня.





Рима-Рахес, чьи волосы приподняты на японский манер, собраны в пучок и заколоты двумя длинными золотыми шпильками с шариками на концах, стоит на коленях перед Суджой-Сари и показывает ей украшения, доставая их из малахитовой шкатулки.

Суджа-Сари колеблется, не зная, что лучше надеть: ожерелье из хризоберилла[15] или бусы из рудракши;[16] она примеряет их по очереди и в конце концов останавливается на розовом жемчуге, который почти сразу же меняет на бусы из трех ниток кораллов; затем, будто устав от такого непосильного труда, она откидывается на колени прислужницы, уронив руки ладонями вверх, как умирающий от усталости человек; она смыкает веки с бахромой длинных ресниц и запрокидывает голову; четыре рабыни, еще не закончившие заплетать ее косы, тут же придвигаются, чтобы не дернуть ее за волосы и не сделать ей больно, но одна из них замешкалась: Суджа-Сари испускает звук, похожий на шипение придавленной гадюки, и резко садится.

Рабыня побледнела, увидев, что Суджа-Сари протянула руку к золотой шпильке в волосах Римы-Рахес; дело в том, что наша инфанта привыкла втыкать эту шпильку в горло тех, кто недостаточно расторопно справляется со своими обязанностями. Однако шпилька сразу не поддалась, и Суджа-Сари вновь легла и закрыла глаза.

Рабыня тяжко вздохнула.

Туалет Суджи-Сари закончился без дальнейших происшествий.

Вот как ее нарядили: шаровары с черными полосками на рыжевато-золотистом фоне ниспадали от бедер до щиколоток прелестницы, корсаж или узкий лиф с глубоким вырезом, напоминающий античный строфий[17] или цест[18] и скрепленный сверху и снизу драгоценными пряжками, изящно подчеркивал смелые контуры ее полной полуобнаженной груди.

Лиф из золотой ткани с разводами, покрытый листьями из изумрудов, розами из рубинов и синими цветами из бирюзы, был без рукавов, и потому не скрывал прекрасных очертаний рук Суджи-Сари.

Особую пикантность наряду яванки придавало то, что край корсажа не доходил до пояса шаровар, оставляя на виду нижнюю часть груди, округлые бока, гладкие и блестящие, словно мрамор, а также тонкую изогнутую талию и верх живота чистых, как у древнегреческих статуй, очертаний.

Ее волосы, как мы уже сказали, были разделены на четыре косы с золотыми нитями, которые ниспадали почти до самых пят по две спереди и сзади; у ее голубоватых висков, сквозь просвечивающую кожу которых, точно у Анны Болейн, виднелась сеточка тонких прожилок[19], были

приколоты распустившиеся цветы гарцинии[20], а в перламутровых ушках поблескивали два скарабея, золотисто-зеленые надкрылья коих переливались всеми цветами радуги; широкая полоса индийского муслина, усеянного мелкими золотыми букетиками, небрежно обернулась вокруг тела девушки и белой дымкой заволакивала то, что могло показаться вызывающим или слишком откровенным в наряде прелестницы.

Большие пальцы босых ног украшали кольца с бриллиантами, щиколотку охватывала золотая цепочка, а каждую руку – три браслета: два около плеча и один на запястье.

На тот случай, если бы Судже-Сари захотелось прогуляться по саду, хотя ее редко посещала такая фантазия, рядом с диваном стояла пара необыкновенно хорошеньких открытых сиамских туфель с изящно загнутыми вверх носками.

Когда туалет был окончен, яванка попросила подать ей трубку и закурила опиум. Рима-Рахес с помощью серебряной иголки выкладывала на фарфоровый гриб растопленные над пламенем душистого дерева пластинки, Кени-Тамбухан медленно покачивала двумя большими опахалами из перьев аргуса[21], а красавица Камбана, сидя на полу, пела, подыгрывая себе на трехструнной гюзле[22], пантум о голубке Патани и ястребе Бендаме[23].

Ароматный дымок опиума легкими завитками срывался с алых губ Суджи-Сари, которая все глубже и глубже погружалась в сладостное забытье. Рима-Рахес дала ей уже шесть порций волшебной отравы.

– Еще, – приказала Суджа-Сари требовательным тоном избалованного ребенка, который, если бы захотел, получил бы даже луну с неба.

– Нет, госпожа, – отвечала Рима-Рахес, – вы прекрасно знаете, что Фортунио запретил вам курить больше шести трубок подряд.

И она вышла, унося с собой драгоценную шкатулку со сладким ядом.

– Злая Рима-Рахес, она забрала мою шкатулку! Я хочу спать, пока Фортунио не вернется! Я хотя бы увижу его во сне! Зачем просыпаться, зачем жить, если его нет! Он еще никогда так долго не охотился. Что с ним? Может, его укусила змея или ранил тигр?

– Как бы не так, – сказал Фортунио, приподняв портьеру, – это я кусаю змей и царапаю тигров.

При звуках родного голоса Суджа-Сари вскочила и бросилась в объятия Фортунио, подпрыгнув, словно внезапно разбуженный олененок.

Она обхватила руками шею своего возлюбленного и приникла к его губам с дикой жадностью путника, истомленного жаждой в пустыне, она прижалась к груди Фортунио, извиваясь всем телом, будто уж: ей хотелось обнять его так, чтобы разом дотронуться до каждой клеточки его тела.

— Ах, мой дорогой господин, — сказала она, сев к нему на колени, — если бы вы знали, как я страдала, пока вас не было, как трудно мне без вас жить! Безжалостный, вы унесли мою душу вместе с последним поцелуем, а свою мне не оставили! Я словно умерла или спала крепким сном, только слезы, тихо бежавшие по моему лицу, показывали, что я еще дышу. Когда тебя нет, о Фортунио моего сердца, мне кажется, что солнце гаснет в пустынном небе, самые яркие краски становятся темными, точно тени, мир пустеет, ты один свет, движение и жизнь[24], нет ничего, кроме тебя. О! Я хотела бы раствориться, исчезнуть в твоей любви, я хотела бы быть тобою, чтобы владеть тобою безраздельно!

«Эта девочка неплохо изъясняется на своем хинди, жаль, что она не знает французского, писала бы романы и превратилась бы в очаровательный синий чулок», — думал Фортунио, играя косами Суджи-Сари.

— Мой милостивый господин, не хотите ли шербету[25], бетеля или араки? Может, желаете китайского маринованного имбиря или мускатных орехов? — говорила яванка, пожирая его своими прекрасными глазами.

— Пусть несут все, что есть. Страшно хочу напиться, напиться до одури! Ты, Кени-Тамбухан, будешь играть на тимпане;[26] ты, Камбана, упражняйся на своей тыкве с ручкой[27]. Устройте нам всем такой шабаш, чтобы черти в аду оглохли. Я давно не веселился. Пока вы поете, а я пью, Рима-Рахес почешет мне пятки пером павлина, Фатьма и Зулейка станцуют, а потом мы устроим схватку между львом и тигром. Те, кто через два часа не будет мертвецки пьян, останутся без головы или их посадят на кол, на выбор. Я все сказал.

Налетела целая туча черных, желтых, красных и всех прочих расцветок рабов: одни несли на кончиках пальцев серебряные блюда, другие бежали с резными вазами на головах. Через три минуты все было готово.

Для каждой группы женщин накрыли свой стол, точнее, ковер, с вазами, полными цукатов и сладостей; угощение подавалось на восточный манер.

Время от времени Фортунио бросал своим красавицам сушеные фрукты вперемешку с золотыми и серебряными орешками, в которых были спрятаны мелкие украшения, и хохотал до слез, глядя, как девушки возятся, чтобы завладеть ими.

Даже греки — ценители прекрасных форм — никогда не любовались такими грациозными атлетами и не созерцали столь прелестные тела в разных необычных позах; то были восхитительные композиции, клубок змей, гибкость, достойная Протея.

— Эй, — крикнул Фортунио Куконг-Алис, — не смей кусаться! Смотрите, что за скорпион, как он орудует своими клешнями! Если ты еще раз

доведешь до слез Сакару, я подвешу тебя за волосы. Иди сюда, Сакара, вместо одного серебряного орешка получишь целую пригоршню.

Сакара приблизилась к Фортунио, улыбаясь сквозь слезы и победно поглядывая на обиженно застывшую Куконг-Алис.

Фортунио насыпал бедняжке в подол драгоценных плодов, поцеловал и усадил рядом с собой на диван.

Покачивая бедрами, вышли две танцовщицы, они танцевали до тех пор, пока полумертвыми не рухнули на пол. Лев и тигр дрались с таким ожесточением, что от них обоих мало что осталось. Арака и опиум сделали свое дело, к исходу предписанного срока разум у всех помутился, праздник удался на славу. Фортунио заснул на груди Суджи-Сари. Мюзидора прождала его всю ночь и почти не сомкнула глаз.





Глава XXV

Похоже, Фортунио неплохо себя чувствовал в своем Золотом дворце, так как Мюзидора напрасно ждала его целую неделю.

Вот что послужило причиной их внезапного разрыва. Фортунио осознал, что между ним и Мюзидорой лежит неисчерпаемый источник горечи. Маркиз находил ее прелестной, остроумной, во всех отношениях достойной любви, но не мог забыть, кем она была: ревность к прошлому никогда не утихала, он страдал и заставлял страдать Мюзидору. Он прилагал нечеловеческие усилия, чтобы избавиться от своей неистребимой ревности, но она возрождалась и разгоралась, становясь все жарче и ожесточенней. Чувствуя, что, чем больше он старается забыть, тем больше растравляет себе душу, он решил прекратить бесполезную борьбу. Любил бы он Мюзидору поменьше, он оставил бы все, как есть, но он любил ее слишком страстно и считал всякие недомолвки недопустимыми.

С присущей ему непоколебимостью он скоро нашел решение. И решение бесповоротное.

Мюзидора получила конверт, в котором находились извещение от нотариуса о назначении ей ежегодного содержания в размере двадцати пяти тысяч ливров, прядь волос Фортунио и записка, начертанная неизвестной рукой:

> Сударыня!
>
> Маркиз Фортунио только что убит на дуэли. Вспоминайте о нем иногда.

– Ах, – промолвила Мюзидора, – ну конечно, раз не пришел, значит, умер: я так и знала. Но я ненадолго переживу его.

И, не пролив ни слезинки, она пошла за бумажником с отравленной иглой. Фортунио отобрал ядовитое жало в начале их любви, опасаясь взбалмошности Мюзидоры, но она опять разыскала его на дне забытой маркизом шкатулки.

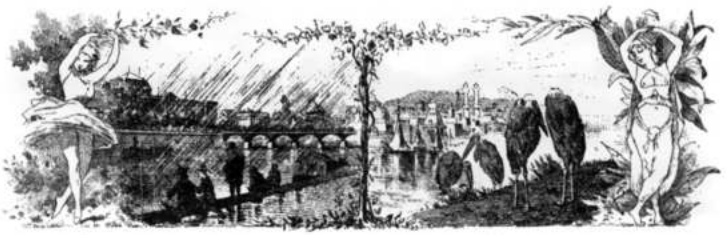
– То было роковое знамение; всевидящий случай позволил мне найти орудие смерти там, где я искала только любовные записки и способ завязать легкую интрижку.

С этими словами она поцеловала прядь Фортунио и уколола себя в шею кончиком иглы.

Глаза ее закрылись, розы губ сменились бледными фиалками, дрожь пробежала по прекрасному телу.

Она умерла.







Глава XXVI

Мой дорогой Раден-Мантри!

Это письмо ненамного меня опередит. Я возвращаюсь в Индию и, вероятно, больше не покину ее. Ты помнишь, до чего мне хотелось побывать в Европе, в цивилизованной, как они говорят, стране; но будь прокляты мои глаза! Если бы я знал, что это такое, я бы и пальцем не пошевелил.

Сейчас я в бедной стране, которая называется Францией, в грязном городе Париже. Здесь очень трудно прилично развлечься. Во-первых, все время идет дождь, солнце показывается не иначе, как во фланелевом жилете и ночном колпаке, и выглядит, точно старый отставной служака, разбитый ревматизмом. У здешних деревьев малюсенькие листочки, да и то всего три месяца в году. Охотиться можно только на зайцев, ну, самое большее, на дрянных кабанов или тощих волков, у которых едва хватает сил, чтобы задрать дюжину крестьян.

Мужчины ужасающе уродливы, а женщины... Увы и ах! У богатых или тех, кто слывет таковыми, в кармане не найдется да-

же двадцати пяти тысяч франков, поэтому, если во время прогулки их тильбюри[1] случайно въедет в витрину магазина или задавит парочку ротозеев, им приходится оставлять в залог свою шляпу или идти занимать деньги у кого-нибудь из друзей.

Есть некий класс мужчин, которые зовутся светскими львами, иначе говоря, это модные молодые люди; странную жизнь они, однако, ведут. Самый элегантный фрак у них не стоит и тысячи франков, да и те они почти всегда должны. Высшим шиком у них считается носить лаковые ботинки и белые перчатки. Пара ботинок стоит сорок франков, пара перчаток — три франка или сто су. Немыслимая роскошь! Их сюртуки, а также одежду привратников, зеленщиков и адвокатов шьют из одного и того же драпа, по этой причине очень трудно отличить человека с хорошей родословной от преподавателя, обучающего английскому письму[2] за двадцать четыре урока.

Ужинают эти господа в двух-трех кафе, что слывут модными. Но туда может зайти всяк, кому захочется. И ты рискуешь оказаться за одним столом с каким-нибудь автором водевилей или сочинителем фельетонов, который только что получил месячное жалованье и жаждет вознаградить себя за недельное воздержание. Эти кафе — самые скверные и отвратительные трактиры на свете, там нет ничего приличного: просишь подать горб бизона или слоновьи ноги под соусом, а на тебя смотрят с таким ошалелым видом, будто ты городишь нечто несусветное; в их черепаховом супе почти не попадается черепаховое мясо, а в подвалах невозможно найти ни капли настоящего токайского или Шираза.

После ужина господа щеголи отправляются в место, которое называется Оперой: это своего рода балаган из дерева и полотна с выцветшей позолотой и какой-то похожей на обои мазней, вполне пригодный, чтобы показывать обезьян-акробатов и ученых ослов. Считается хорошим тоном занимать места в продолговатых ящиках, находящихся по соседству с четырьмя толстыми омерзительными коринфскими колоннами[3], которые к тому же сделаны не из мрамора. Из этих лож ничего не видно, возможно, именно поэтому все так стремятся туда попасть.

Я долго думал, что же хорошего находят в этой Опере. Похоже, вся прелесть заключается в том, чтобы любоваться ногами танцовщиц, а ноги у них, как правило, так себе да к тому же затянуты в толстые трико. Впрочем, это не мешает старикашкам в партере весьма живо протирать стеклышки своих лорнетов.

Вместо музыки — ужасающий шум. Пьесу всегда дают одну и ту же, а стихи для нее написаны самыми скверными поэтами, каких только можно найти.

Когда нет оперы, все прогуливаются с сигарой во рту по бульвару длиной шагов в двести[4], на котором нет ни зелени, ни свежести, зато давка такая, что яблоку негде упасть. Или же идут туда, где устраивается большой прием. И это самое непостижимое для меня удовольствие цивилизованного человека. Попробую описать, что это такое. В комнату, где и сотне людей будет тесно, приглашается четыреста гостей; все мужчины в черном, будто служащие похоронных бюро, а женщины — в самых странных на свете нарядах: газ, ленты, фальшивое золото, и цена всему этому — франков пятнадцать. Платья дам, безжалостно декольтированные, выставляют напоказ невообразимо жалкие формы. Неудивительно, что здешние мужья неревнивы и, как правило, охотно уступают другим свои супружеские обязанности! Все стоят, подпирая стены; женщины сидят отдельно, и никто с ними не разговаривает, за исключением нескольких лысых пузатых стариканов; в углу жалобно надрывается пианино, жуткое изобретение, доложу тебе, и время от времени глухой гул собрания перекрывают пронзительные завывания какой-нибудь знаменитой певицы. Потом конюхи и дворники, переодетые лакеями, приносят несколько пирожных и стаканов с безвкусными коктейлями, и все тут же набрасываются на них с омерзительной жадностью.

Даже наиболее состоятельные люди танцуют сами, словно у них не хватает денег, чтобы пригласить танцовщиц.

Ты бы очень удивился, мой добрый Раден-Мантри, если бы своими глазами посмотрел на цивилизацию и на главные ее достижения — газеты и железные дороги. Газеты — это квадратные листы бумаги, которые утром разносят по городу. В сих бумагах, отпечатанных чем-то вроде сапожной ваксы, публикуются городские новости об утонувших собаках и поколоченных женами мужьях, а также размышления о состоянии европейских правительств, написанные людьми, которые в жизни не умели читать и которых ты не взял бы даже в привратники. Железные дороги — это канавы, по которым с дымом и шумом носятся большие курильницы, забавное зрелище!

Помимо газет и железных дорог у них есть еще кон-сти-ту-ци-он-ный механизм с королем, который царствует, но не правит, ты меня понимаешь? Когда этому бедному-несчастному королю нужен миллион, он вынужден просить его у трех сотен провинциалов, которые собираются в кучу и целый год говорят каждый о своем, не слушая предыдущего оратора. И на дискуссию о нищете отвечают гневной речью против рыбной ловли.

Вот так живут в Европе.

Что касается семейной жизни цивилизованных французов, то тут нравы еще более поразительны: к здешним женам можно прийти в любое время дня и ночи, они выходят из дому и отправляются на бал с первым встречным; похоже, этим людям неведомо, что такое ревность. Пэры Франции, генералы и дипломаты обычно выбирают любовниц из тощих, будто паучихи оперных танцовщиц, которые изменяют им с парикмахерами, рабочими сцены, литераторами и слугами-неграми. Мужчины прекрасно об этом знают, но продолжают вести себя как ни в чем не бывало, вместо того чтобы честь честью посадить всех разом в мешок и утопить. Но что особенно странно у здешнего народа, так это любовь к старухам. Всем актрисам, которых превозносит и обожает публика, по меньшей мере лет шестьдесят; почему-то, только когда их возраст подходит к пятидесяти, все вдруг замечают, что они хороши собой и не лишены таланта[5].

Что до искусства, то оно не производит никакого впечатления: в галереях только и хорошего, что картины старых мастеров. Впрочем, есть в Париже один поэт, чье имя кончается на «-го», мне показалось, он пишет вполне сносно[6], но я все равно больше люблю царя Шудраку, автора Васантасены[7].

Я не увидел в Европе почти ничего интересного, единственное, что мне понравилось, — это малышка по имени Мюзидора, которую я хотел бы забрать в свой сераль; но с их дурацкими европейскими идеями она была бы там очень несчастна, а по мне, нет ничего более отвратительного, чем кислые мины.

Выезжаю через несколько дней. Я зафрахтовал три судна, чтобы вывезти отсюда все сто́ящее, остальное сожгу. Эльдорадо исчезнет, как сон, один-другой бочонок с порохом сделают свое дело.

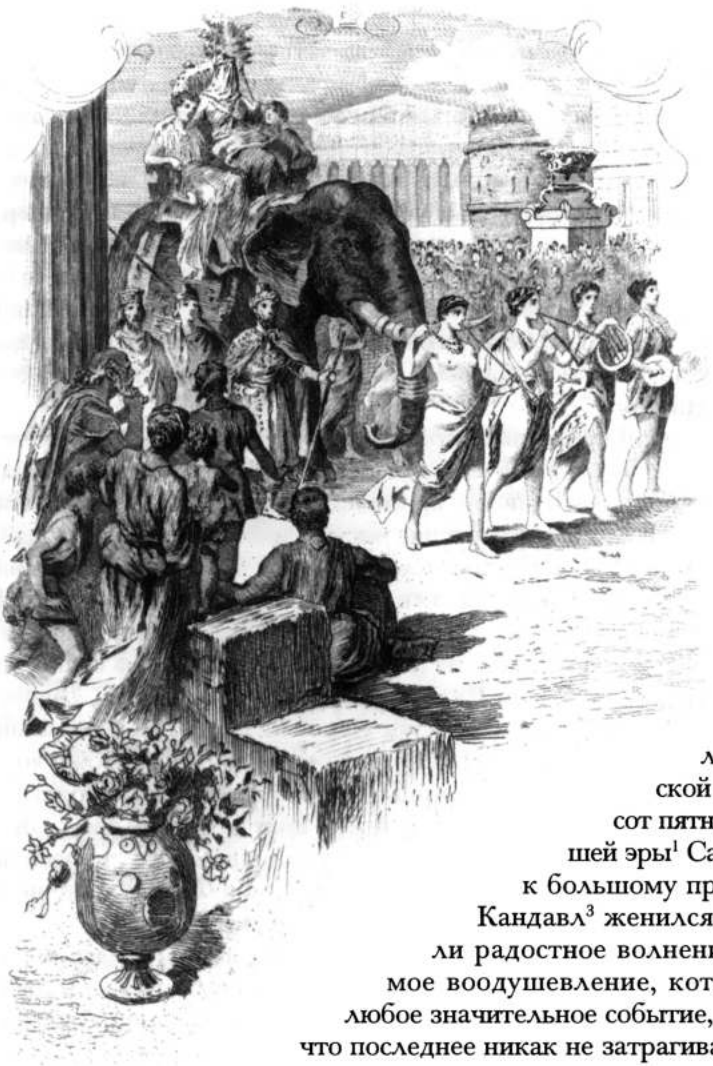
Прощай, старушка Европа, верящая в свою молодость;
постарайся изобрести паровую машину для изготовления красивых женщин и найти новый газ,
чтобы заменить солнце. Я еду на Восток,
так будет проще!




LE ROI
CANDAULE

ЦАРЬ КАНДАВЛ





Глава I

Через пятьсот лет после Троянской войны и за семьсот пятнадцать лет до нашей эры[1] Сарды[2] готовились к большому празднику — царь Кандавл[3] женился. Народ охватили радостное волнение и необъяснимое воодушевление, которые вызывает любое значительное событие, несмотря на то, что последнее никак не затрагивает простой люд и происходит в высших, недоступных для него сферах.

С того самого момента, как Феб-Аполлон[4], стоя на своей квадриге, позолотил вершины Тмола, сплошь покрытые шафраном, бравые жители Сард суетились, сновали во всех направлениях, поднимались и спускались по мраморным лестницам, соединявшим город с Пактолом[5] — рос-

кошной рекой, в водах которой некогда искупался Мидас, наполнив их золотым песком[6]. Каждый добропорядочный горожанин проникся такой важностью и торжественностью, словно сам сегодня женился.

Люди собирались группами на агоре[7], на ступенях храмов, под портиками зданий. На улицах повсюду попадались женщины, тянувшие за руки детишек, которые никак не поспевали за своими взволнованными и изнывающими от любопытства мамашами. Девушки торопились к фонтанам, чтобы поскорее набрать воды и освободиться к тому часу, когда свадебный кортеж въедет в город. Они несли на головах кувшины, поддерживая их белыми руками, напоминавшими ручки амфор. Прачки поспешно складывали еще влажные туники и хламиды в тележки, запряженные мулами. Рабы вращали жернова, не дожидаясь, пока кнут надсмотрщика напомнит о работе их голым, исполосованным шрамами плечам. Сарды торопились покончить с повседневными заботами, от которых не освобождает даже праздник.

Дорогу, по которой предстояло проехать процессии, посыпали очень мелким белесым песком. По обочинам, через равные промежутки, стояли медные треножники, источавшие ароматы корицы и нарда[8]. То были единственные струйки дыма, нарушавшие чистоту небесной лазури. В день скрепления уз Гименея только такие облачка имеют право появляться на небосводе. Ветви мирта и олеандра устилали землю, а стены особняков украшали подвешенные на бронзовых кольцах чудесные ковры, на которых искусные невольницы выткали из шерсти, золота и серебра сцены из жизни богов и героев. Тут были Иксион, обнимающий облако[9], Диана, застигнутая в купальне Актеоном[10], пастух Парис на горе Иде, вершащий суд над Герой лилейнораменной, Афиной светлоокой и Афродитой в волшебном поясе[11], а также троянские старцы, поднявшиеся, как утверждает слепец из Милета, навстречу Елене у Скейских врат[12]. Многие граждане, желая польстить царю Кандавлу — потомку Гераклида Алкея[13], вывесили на своих домах ковры с эпизодами из жизни Геракла в Фивах[14], прочие в честь праздника украсили двери гирляндами и венками.

В рядах людей, выстроившихся от царского дворца до городских ворот, через которые должна была въехать невеста Кандавла, только и говорили, что о прославившейся на всю Азию красоте молодой царицы да о характере царя, если не странном, то по меньшей мере необычном.

Ниссия, дочь сатрапа Мегабаза[15], обладала удивительно чистыми чертами и совершенными формами — по заверению ее прислужниц и подруг, сопровождавших ее в купальню, ибо ни один мужчина не мог похвастать тем, что видел хоть что-то кроме покрывала и изысканных складок мягких тканей, которые, вопреки воле Ниссии, не скрывали изящества и красоты ее подобного статуе тела.

Варварские народы не разделяют взглядов греков на то, что такое стыдливость: если молодые ахейцы[16] спокойно демонстрируют на стадионах блестящие на солнце торсы, а юные спартанцы танцуют с открытыми лицами перед алтарем Дианы, то жители Персеполя[17], Экбатаны[18] и Бактрии[19] оберегают свои тела пуще зеницы ока и придают их неприкосновенности гораздо большее значение, чем чистоте души. Там свобода, с которой греки взирают друг на друга, считается порочной и достойной наказания, а женщина, показывающая мужчинам больше, чем кончики пальцев ног, выглядывающие при ходьбе из-под целомудренных складок длинной туники, слывет непорядочной.

Несмотря на эту тайну или скорее благодаря ей, о красоте Ниссии слагали легенды по всей Лидии, и их отголоски достигли слуха царя Кандавла, хотя обычно цари знают меньше всех и живут как боги в заоблачной выси, не ведая, что творится на земле.

Сардские евпатриды[20], надеявшиеся, что молодой король возьмет в жены кого-то из их семей, гетеры из Афин, Самоса, Милета и Кипра, прекрасные рабыни родом с берегов Инда, дорогие светловолосые девушки, привезенные из далекой туманной Киммерии[21], не осмеливались произнести при Кандавле ни единого слова, имевшего хоть какое-то отношение к Ниссии. Даже у самых смелых и красивых из них и мысли не возникало о соперничестве, которое, как они предчувствовали, в случае с дочерью Мегабаза будет неравным.

Однако ни в Сардах, ни во всей Лидии никто не видел этой опасной соперницы, никто, кроме одного человека, который после встречи с нею держал рот на замке, как Гарпократ, бог молчания, навеки приложивший палец к своим устам[22]. То был Гигес, начальник гвардии Кандавла[23]. Однажды Гигес, полный смутных честолюбивых планов, скакал по холмам Бактрии, куда царь отправил его с важным секретным поручением;[24] он грезил об упоении всемогуществом, о троне, о том, какое счастье — возложить венец на голову первой красавицы; от этих мыслей кровь бурлила в его жилах и он мчался, как бы вслед за мечтой, неистово подстегивая своего покрытого белой пеной нумидийского коня[25].

Тем временем погода переменилась, приближалась буря, подобная той, что уже разыгралась в сердце воина, Борей со взлохмаченными от фракийских морозов волосами и раздутыми щеками[26], скрестив руки на груди, изо всех сил подгонял переполненные влагой тучи.

Стайка напуганных девушек, собиравших на холмах цветы, торопливо бежала к городу с душистым урожаем в подолах туник. Юные красавицы еще издали заметили всадника и по варварскому обычаю закрыли лица покрывалами; но когда Гигес проезжал мимо той, чья горделивая осанка и богатые одеяния говорили, что она здесь главная, сильный порыв ветра сорвал с нее покрывало, и оно взлетело в воздух, словно перышко,



до того высоко, что его невозможно было поймать. Так Ниссия, дочь Мегабаза, оказалась лицом к лицу с простым посланником царя Кандавла. Один лишь Борей послужил тому виною, или Эрос[27], любитель смущать души, ради собственной забавы сорвал покрывало? Гигес застыл от одного взгляда на прекрасную Медузу;[28] складки ее одежды уже скрылись за воротами города, а он еще долго неподвижно стоял на месте. Сердце подсказало ему, что он видел дочь сатрапа, и эта встреча, вторившая его мыслям, показалась ему предзнаменованием, роковым видением, ниспосланным богами. Именно на чело этой незнакомки он хотел бы надеть царский венец, никого достойнее ее не было на всем белом свете. Но разве сможет начальник гвардии когда-нибудь взойти на престол, чтобы разделить его с нею? Гигес не стал рисковать, дабы убедиться, что великий проказник по имени случай открыл телохранителю Кандавла тайну дочери Мегабаза. Ниссия удалилась столь поспешно, что он никак не мог ее разыскать, и потом, он был скорее ослеплен, околдован и оглушен, чем очарован этим немыслимым видением, этой нечеловеческой красотой.

Черты лица Ниссии, приоткрывшиеся всего на мгновенье, врезались в сердце Гигеса так же глубоко, как рисунок, что высекает раскаленным резцом на слоновой кости мастер. В ужасе от своей страсти к Ниссии Гигес всеми силами старался изгнать из сердца ее образ, но все напрасно. Безупречность и совершенство всегда внушают страх, женщины, похожие на богинь, несут людям погибель, они созданы для богов, и даже самые смелые мужчины с дрожью вступают с ними в связь. Ни малейшей надежды не зародилось в душе Гигеса, он заранее чувствовал, что его мечта несбыточна, и оттого впал в отчаяние и уныние. Он не сомневался, что, прежде чем обратиться к Ниссии, ему придется сорвать с неба звездное платье и отнять у Феба лучезарный венец, хотя, как известно, женщины часто отдают предпочтение тем, кто их недостоин, и зажечь в женском сердце пламя любви можно лишь притворившись, что жаждешь ненависти.

С той самой встречи розы радости уже не цвели на щеках Гигеса: днем он выглядел печальным и угрюмым, он блуждал в мечтах, будто смертный, узревший божество; ночью его преследовали сны, он видел Ниссию, восседающую рядом с ним на пурпурных подушках между золотыми грифонами царского трона[29].

Потому Гигес, единственный, кто мог говорить о Ниссии со знанием дела, не произнес ни слова, и жителям Сард пришлось довольствоваться предположениями, хотя, надо признать, весьма причудливыми и невероятными. Красота Ниссии, благодаря непроницаемым покровам невесты Кандавла, превратилась в своего рода миф, поэму, канву, по которой всяк вышивал на свой лад.

— Если правду о ней говорят, — молвил, картавя, молодой распутник из Афин, опираясь на плечо мальчика-азиата, — то ни одна из красавиц: ни



Плангон[30], ни Архенасса[31], ни Таис[32] – не сравнится с этой дикаркой; однако я с трудом могу поверить, что она стоит Феано из Колофона[33], за одну ночь с которой я заплатил столько золота, сколько она смогла унести, погрузив по плечи свои белые руки в мой кедровый сундук.

– Рядом с ней – добавил один из евпатридов, почитавший себя знатоком всего и вся, – дочь Неба и Моря[34] покажется эфиопской служанкой.

– Твои слова – кощунство, и хотя Афродита – богиня добрая и милостивая, остерегайся навлечь ее гнев.

– Во имя Геракла, – имя героя звучало как нельзя кстати в городе, которым управлял его потомок, – я подпишусь под каждым своим словом!

– Так ты ее видел?

– Нет, но у меня служит раб, который раньше принадлежал Ниссии и который рассказывал мне о ней тысячу раз.

– Правда ли, – наивно-детским голоском спросила сомнительного вида женщина, чья нежно-розовая туника, нарумяненные щеки и умащенные маслом волосы свидетельствовали о безуспешных попытках вернуть давно ушедшую молодость, – правда ли, что у Ниссии в каждом глазу по два зрачка? По-моему, это уродство, не понимаю, почему Кандавл увлекся подобным чудовищем в то время, как в Сардах и Лидии хватает девиц с безупречными глазами.



Ламия произнесла эти слова кокетливо и жеманно, не забыв при этом поглядеться в маленькое зеркало из литого металла[35], которое она достала из-за пояса, и поправить свои несколько растрепавшиеся от бесцеремонного ветра локоны.

– Что касается двойных зрачков, то, похоже, это бабьи россказни, – возразил хорошо осведомленный патриций, – но у нее такой пронзительный взгляд, что она видит сквозь стены – это факт, по сравнению с ней даже орел близорук.

– Как может серьезный человек хладнокровно повторять подобные глупости? – вмешался горожанин, чей лысый череп и пышная седая борода – ее он поглаживал при разговоре – придавали его словам весомость и философскую глубину. – На самом деле дочь Мегабаза видит не лучше всех вас или меня, но египетский жрец Тутмос, знающий много удивительных тайн, подарил ей волшебный камень из головы дракона, наделяющий, как всем хорошо известно, своего обладателя способностью видеть в темноте и даже сквозь самые толстые стены[36]. Ниссия носит чудодейственный камень за поясом или на запястье не снимая, этим и объясняется ее ясновидение.

Последняя версия показалась всем участникам разговора столь правдоподобной, что слова Ламии и патриция тут же предали забвению как неубедительные.

– Во всяком случае, – добавил любовник Феано, – мы скоро сами все увидим. Слышите, вдалеке трубит рожок, я не могу разглядеть Ниссию,

зато вижу глашатая с пальмовой ветвью в руках, он возвещает приближение кортежа и разгоняет толпу.

Услышав эту новость, самые сильные мужчины заработали локтями, чтобы пробиться в первые ряды; ловкие юнцы, обхватив колонны, попытались взобраться по ним наверх и примоститься на капителях; хитрые мальчишки, ободрав коленки о кору, залезли на деревья и удобно устроились на ветках; женщины усадили детишек на плечи, приказав им держаться как можно крепче. Те, кому посчастливилось жить в домах, выходивших на улицу, по которой должны были проехать Ниссия и Кандавл, свесили головы с крыш или, приподнявшись на локтях, на время расстались со своими подушками.

Шепот удовлетворения и облегчения пронесся по толпе, истомившейся от многочасового ожидания под солнцем, полуденный жар которого становился уже нестерпимым.

В первом ряду шли музыканты, они изо всех сил трубили в длинные трубы, сверкавшие на солнце, следом ехали верхом тяжело вооруженные воины, одетые в доспехи из кожи буйвола, шлемы с красными султанами из конского волоса и оловянные кнемиды[37], скрепленные блестящими от заклепок ремешками, в руках они держали щиты с гербами и бронзовые мечи. Чистокровные лошади воинов, белые, словно ноги Фетиды[38], обладали такой благородной статью, что могли бы послужить образцом для Фидия, когда он ваял рельефы на метопах[39] Парфенона.

Во главе воинов вышагивал Гигес, и это имя как нельзя лучше подходило ему, поскольку по-лидийски оно означает «прекрасный». Он был столь бледен, что правильные черты его лица казались высеченными из мрамора: он только что узнал в Ниссии, хоть ее лицо и скрывало покрывало новобрачной, ту самую женщину, чей облик явился ему по воле коварного ветра.

«Прекрасный Гигес выглядит печальным, — думали юные девушки. — Что за гордячка пренебрегла его любовью? Или он бросил какую-нибудь красавицу и она обратилась к фессалийской колдунье[40], чтобы та наслала на него порчу? Или волшебный перстень, который Гигес, говорят, нашел в бронзовом коне посреди лесной чащи, утратил чудесную силу, делавшую его владельца невидимым[41], и в самую неподходящую минуту открыл его взору удивленного мужа, считавшего себя единственным мужчиной в супружеской опочивальне? Может, он растратил все свои драхмы[42] и таланты[43] в паламедских играх[44] или расстроился оттого, что не сумел победить на Олимпийских играх? Он так рассчитывал на своего коня Гипериона[45]».

Ни одно из этих предположений не соответствовало действительности. Истина всегда ускользает от нас.

После отряда, возглавляемого Гигесом, шествовали мальчики, которые, по лидийскому обычаю, исполняли на лирах свадебный гимн; они были одеты в розовые туники с шитыми серебром подолами, головы музыкантов украшали митры, а по плечам развевались пышные локоны.

За ними шли носильщики с приданым невесты — мощные невольники, чьи полуобнаженные тела являли взору мышцы, которым позавидовал бы самый сильный атлет.

На носилках, под тяжестью которых сгибались двое или четверо рабов, лежали бронзовые кратеры из Коринфа, творения самых искусных мастеров, золотые и серебряные вазы с барельефами по бокам и изящными ручками в виде химер, ветвей или обнаженных женщин, великолепные кувшины для омовения ног именитых гостей, инкрустированные драгоценными камнями сосуды с редчайшими маслами: аравийской миррой, индийской корицей, персидским нардом, розовой эссенцией из Смирны, кумганы[46] и курильницы с испещренными отверстиями крышечками, чудесной работы сундуки из кедра и слоновой кости, секрет замков которых известен только их изобретателю. Сундуки эти ломились от браслетов из офирского золота[47], ожерелий из самого крупного восточного жемчуга и пряжек, усыпанных рубинами и карбункулами. Шкатулки для туалетных принадлежностей таили белые губки, щипцы для завивки, зубы морского зверя для полировки ногтей, зеленые румяна из Египта, приобретающие чудный красный цвет при соприкосновении с кожей, чернильный порошок для век и ресниц, в общем, все, что только может пожелать изощренная кокетка. На следующих носилках были сложены пурпурные платья из тончайшей шерсти любых оттенков, от алого до бордового, калазирисы[48] из канопской ткани:[49] египтяне бросают ее в котел с красителями, и она выходит оттуда необычайно яркой; туники, привезенные с края света из легендарной страны серов[50], где прядут нити из слюны червей, живущих на листьях, и оттого получают столь тонкую ткань, что целую тунику можно протянуть сквозь перстень.

Черные, словно гагат, эфиопы, чьи головы стягивали веревки, чтобы жилы на лбу не лопнули от натуги, торжественно несли огромную статую Геракла из золота и слоновой кости; герой был с палицей, шкурой Немейского льва, яблоками из сада Гесперид и прочими полагающимися атрибутами.

Вслед за статуей Геракла следовали изваяния Венеры Небесной и Венеры Прародительницы[51], выполненные лучшими учениками сикионской школы[52] из паросского мрамора[53], сверкающая прозрачность коего словно специально предназначена для изображения вечно юной плоти бессмертных богов. Гармоничность и изящество пропорций скульптур богинь особенно бросались в глаза после массивной фигуры Геракла.

Огромная картина Буларха, за которую Кандавл отдал столько золота, сколько она весила, картина, написанная на доске из лиственницы и представляющая битву Магнетов[54], вызывала всеобщее восхищение совершенством рисунка, правдивостью и гармонией цвета, хотя художник использовал всего четыре краски: желтую охру, белую, красную и черную. Молодой царь любил живопись и скульптуру, возможно, больше, чем подобает монарху, нередко он платил за картину цену, равную годовому доходу целого города.

Одногорбые и двугорбые верблюды, покрытые пышными попонами, везли на своих спинах музыкантов, игравших на цимбалах и тимпанах, а также позолоченные колья, веревки и полотнища походного шатра, в котором молодая царица отдыхала во время путешествия и охоты.

При любых других обстоятельствах вся эта роскошь привела бы жителей Сард в неописуемый восторг, но их любопытство требовало другого, поэтому они с нетерпением ожидали, когда же проедет эта часть кортежа. Молодые девушки и прекрасные юноши, которые старательно проделывали упражнения с горящими факелами и разбрасывали охапки крокусов, не удостоились никакого внимания публики. Все желали одного — увидеть Ниссию.

Наконец показалась квадрига, запряженная прекрасными горячими жеребцами, подобными коням самого бога Солнца; они потряхивали гривами и орошали белой пеной золотые удила. Кучер, который стоял рядом со своим повелителем, с огромным трудом сдерживал их, откидываясь назад всем телом.

Кандавл — полный сил молодой мужчина — вполне оправдывал свое геркулесово происхождение: его голову соединяла с плечами почти прямая бычья шея, черные блестящие волосы завивались мелкими непокорными кольцами, и местами вихры закрывали ободок царского венца; маленькие прижатые уши горели огнем, лоб был широк и гладок, хотя и несколько низковат, как у многих в древности; в то же время мягкие и печальные глаза, овальные щеки, округлый подбородок, слегка приоткрытые губы, руки атлета с женственными кистями указывали на то, что по характеру царь скорее поэт, чем воин. И в самом деле, хотя Кандавл отличался отвагой и ловкостью во всех упражнениях, укрощал коня не хуже лапифа[55], вплавь преодолевал бурные горные реки, мог натянуть лук Одиссея и поднять щит Ахилла[56], казалось, правителя Лидии мало занимали победы, да и война, столь захватывающая юных кесарей, совсем его не привлекала: он довольствовался тем, что отражал атаки воинственных соседей и не стремился расширить свои владения. Кандавл любил строить, и архитекторы всегда прислушивались к его советам, он собирал статуи и

картины старых и новых мастеров, приобрел работы Телефана из Сикиона, Клеанта и Ардика из Коринфа, Гигиемона, Диния, Хармада, Евмара и Кимона, среди коих помимо простых рисунков без тушевки встречались цветные и одноцветные[57]. Поговаривали даже, что, несмотря на свой сан, Кандавл любил собственноручно поработать резцом скульптора или кистью художника, использующего технику энкаустики[58].

Но почему мы говорим о Кандавле? Ведь читатель, как и народ Сард, несомненно, хочет познакомиться с Ниссией.

Дочь Мегабаза ехала на толстокожем слоне с огромными, похожими на знамена ушами, который двигался тяжелым, но быстрым шагом, словно корабль по волнам. Серебряные кольца украшали бивни и хобот слона, а на ногах покачивались ожерелья из огромных жемчужин. На спине, покрытой великолепным персидским ковром, возвышался помост, сверкающий золотой резьбой и усыпанный ониксами, сардониксами, хризолитами, ляпис-лазурью[59] и опалами; на помосте восседала молодая царица в ослепительном блеске великого множества надетых на нее драгоценностей. Ее голову венчала митра в форме шлема, расшитого на восточный манер причудливой вязью, в ушах висели украшения, напоминавшие чаши, полумесяцы и бубенцы; ожерелья из ажурных золотых и серебряных шариков трижды обвивались вокруг ее шеи и спускались, подрагивая, на грудь; изумрудные ящерицы с глазами из рубинов и топазов обвивали предплечья, как бы кусая себя за хвост; браслеты соединялись между собой цепочками из драгоценных камней и весили так много, что двум прислужницам, стоявшим на коленях по бокам от Ниссии, приходилось поддерживать ее локти. Поверх ее платья, расшитого мастерицами Тира[60] узорами из золотых листьев и алмазных плодов, была накинута короткая туника из Персеполя, едва доходившая до колен, разрезы рукавов скрепляли сапфировые брошки. Талию стягивал обернутый вокруг нее несколько раз длинный широкий пояс из узорной ткани, которая была уложена так, что образовала симметричный рисунок: только дочери Индии умеют столь искусно драпироваться. Шаровары из виссона[61], который финикийцы называют синдоном[62], стягивались чуть выше щиколоток кольцами с золотыми и серебряными бубенчиками и придавали этому наряду поразительно роскошный вид, совершенно отличный от греческих представлений о красоте. Но, увы! Фламий[63] ярко-желтого цвета безжалостно закрывал лицо Ниссии, которая, несмотря на это, казалась смущенной от бесчисленных глаз, устремленных в ее сторону, и часто просила раба, стоявшего за ее спиной, опустить опахало из страусовых перьев, будто желая спрятаться от любопытной толпы.

Сколько Кандавл ни молил, он так и не смог уговорить невесту расстаться с фатой, хотя бы ради этого торжества. Юная варварка наотрез от-

казалась заплатить своей красотой за радушный прием. Разочарование было велико: Ламия утверждала, что невеста не осмеливается открыть лицо, потому что боится показать свой двойной зрачок; молодой распутник убедился, что Феано Колофонская – самая красивая женщина в Сардах, Гигес же тяжело вздыхал, наблюдая, как слон преклонил колени и Ниссия, словно по живой лестнице, спускалась по головам склонившихся дамасских рабов к порогу царского дворца, в котором изящная греческая архитектура смешалась с фантазией и чудовищной пышностью Востока.





Глава II

Поэт имеет полное право приподнять яркий фламий, скрывающий Ниссию. И в этом ему повезло больше, чем жителям Сард, которые после целого дня ожидания разошлись по домам, оставаясь, как и прежде, во власти предположений и слухов.

Да, слава о красоте Ниссии велика, но до правды ей далеко: создавая невесту Кандавла, природа решила превзойти самое себя и заслужить прощение за все свои пробы и ошибки. Можно сказать, что из зависти к чудесным творениям будущих греческих ваятелей она тоже захотела создать статую и доказать, что по-прежнему является законодательницей и повелительницей в сфере пластики.

Снежинки, сияющий паросский мрамор, глянцевые лепестки бальзамина дадут слабое представление об идеальной субстанции, из которой была слеплена Ниссия. Ее тонкая, нежная плоть пропускала свет и обладала чистыми плавными контурами, гармоничными, будто сама музыка. В зависимости от освещения кожа дочери Мегабаза становилась то золотис-

той, то пурпурной, словно у божества, и излучала свет и жизнь. Никто: ни скульптор, ни живописец, ни поэт, ни Пракситель[1], ни Апеллес[2], ни Мимнерм[3] – не сумел бы передать всего совершенства благородно удлиненного, чистого лица Ниссии. На ее гладком челе, омываемом волнами блестящих волос, подобных расплавленному электруму[4] и покрытых по вавилонскому обычаю золотой пылью, покоилась, точно на троне из яшмы, невозмутимая безмятежность безупречной красоты.

Что до глаз, то хотя они и не оправдывали слухов, распространявшихся легковерным народом, но были по меньшей мере восхитительно необычными; темно-коричневые брови, соединенные хной по восточной моде в одну линию, изящно загибались, как кончики лука Эроса, длинная бахрома ресниц отбрасывала бархатные тени и резко контрастировала с глазами – сапфировыми звездами на серебряном небе белков. Ее зрачки казались чернее чернил, а радужки странно меняли свой оттенок: от сапфирового до бирюзового, от бирюзового до сине-зеленого, от сине-зеленого до золотистого. Порой, подобно чистому озеру с каменистым дном, в их немыслимой глубине светился золотой и алмазный песок, на котором извивались и переплетались изумрудные змейки. В фосфоресцирующих орбитах ее очей словно сосредоточились отсветы погасших светил, блеск исчезнувших миров, ослепительные ореолы закатных Олимпов. Глядя в них, человек вспоминал о вечности и чувствовал головокружение, будто склонялся над бездной.

Выражение дивных очей Ниссии было столь же переменчиво, сколь их цвет. То, раскрывшись наподобие небесных врат, они звали вас на Елисейские поля[5], полные лазоревого сияния и несказанного блаженства, и, точно угадав тайные помыслы вашей души, обещали в десять, во сто раз больше, чем вы позволяли себе в самых смелых мечтах, то, непроницаемые, словно броня из семи слоев самых твердых металлов, отражали чужие взгляды, как тупые стрелы на излете. Легким изгибом бровей, одним движением зрачков глаза бактрийки, подобно молнии Зевса, низвергали вас с высот ваших притязаний в такую глубокую пропасть, из которой уже невозможно подняться. Сам Тифон, ворочающийся под Этной[6], не смог бы сдвинуть гору презрения, которую обрушивали на вас эти зеницы, и вы понимали, что, проживи вы хоть тысячу Олимпиад[7], обладай красой златоглавого сына Лето[8], гением Орфея[9], безграничной властью ассирийских царей, сокровищами всех Кабиров, Тельхинов и Дактилей[10] – богов подземных богатств, и тогда вам не удалось бы смягчить сей страшный взор.

Порой от них исходили волны такой призывной сладкой неги и столь проникновенные флюиды, что даже ледяные души Нестора и Приама[11] растаяли бы, будто воск на крыльях Икара, поднявшегося к самому солнцу. За один такой взгляд можно было обагрить руки кровью гостя, раз-

веять по ветру прах отца, осквернить святые лики богов или, как небесный вор Прометей, похитить с неба огонь.

Но, надо признать, обычно очи Ниссии светились обезоруживающим целомудрием, непостижимой холодностью и такой непричастностью к человеческим страстям, что рядом с ними лунные глаза Фебы, глаза Афины цвета морской волны и даже взоры юной вавилонянки, повязавшей голову веревкой и приносящей жертву богине Милитте[12] в Суккот-Бенофе[13], показались бы похотливыми и вызывающими. Несокрушимая чистота глаз дочери Мегабаза отрицала любовь.

Юные цветущие ланиты Ниссии, которые не осквернил своим взглядом ни один мужчина, за исключением Гигеса, случайно увидевшего их в Бактрии, отличались белизной и нежностью, о которых лица наших женщин, вечно открытые солнцу и ветру, не дают даже отдаленного представления. Стыдливость окрашивала щеки бактрийки розовым облачком, подобным тому, что расплывается на поверхности молока от капли алого масла, а в минуты покоя они отбрасывали серебристые, теплые блики, как лампа из алебастра. То чистая душа Ниссии просвечивала сквозь прозрачную плоть.

Уста дочери сатрапа обманули бы даже пчелку, ибо форма их была совершенна, уголки изящно приподняты, а цвет неизменно ярок; и если бы дозволили ревнивые богини, сами боги спустились бы с Олимпа, чтобы прижаться к алому рту Ниссии своими влажными от нектара губами. Как повезло воздуху, что проникал сквозь этот пурпур и жемчуг, сквозь нежные, изысканные ноздри, окрашенные в розовые тона, словно перламутровые раковины, выброшенные морем на берег Кипра к ногам Венеры, выходящей из вод[14]. Да, множество счастливых мгновений даровано вещам, которые не в силах их оценить. Зато ни один мужчина не отказался бы стать туникой своей возлюбленной или водой в ее купальне.

Вот как выглядела Ниссия, если можно так сказать после столь расплывчатого описания. Обладай наши северные языки знойной свободой и обжигающим восторгом Шир ха-ширима[15], то, вероятно, прибегая к сравнениям, вызывая у читателя воспоминания о цветах, ароматах, музыке и солнце, воскрешая с помощью магии слов разнообразные чарующие картины, мы и создали бы представление о дивном облике Ниссии, но нет, только Соломону позволительно уподобить носик красавицы Ливанской башне, обращенной к Дамаску[16]. И в то же время, разве есть на свете что-нибудь более важное, чем красивый женский нос? Разве началась бы Троянская война, если бы Елена, белокурая Тиндарида[17], была курносой? И разве удалось бы Семирамиде обольстить старого монарха Нин-Невета и возложить на свою голову жемчужную митру — символ верховной власти[18], если бы профиль коварной ассирийки не отличался безупречностью?[19]

Хотя во дворцах Кандавла не было недостатка ни в красивейших невольницах из Тира, Аскалона[20], Согда[21], Шакки[22] и Ресафы[23], ни в прославленных гетерах Эфеса, Пергамы, Смирны и Кипра, прелести Ниссии околдовали царя... Он даже не подозревал, что на свете возможно подобное совершенство.

На правах супруга он свободно наслаждался созерцанием ее красоты и ощущал такое же головокружение и ослепление, как тот, кто склоняется над бездной или смотрит на солнце. Его охватывал экстаз, сродни тому, что испытывает священник, опьяненный переполняющей его верой. Он думал только о красоте своей жены, весь мир погрузился в мутный туман, в котором сиял светлый образ Ниссии. Счастье Кандавла граничило с исступлением, а любовь — с безумием. Порой благоденствие пугало его. Кто он? Ничтожный царь, далекий потомок героя, ставшего богом благодаря своим подвигам, обычный человек из плоти и крови, не задушивший, подобно своему прапрадеду, никакой гидры и не разорвавший ни одного льва[24], не сделавший ничего, чтобы заслужить блаженство, которого недостоин сам Зевс, сам великий хозяин Олимпа, чьи волосы благоухают амброзией! Кандавлу, можно сказать, было стыдно, что он присвоил такое сокровище, украл у всего света чудо и, точно страшный дракон, охраняет воплощенный идеал каждого влюбленного, каждого скульптора и поэта. Все, о чем они мечтали в порыве вдохновения, в печали и отчаянии, все принадлежало ему, Кандавлу, несчастному лидийскому тирану, владеющему всего-навсего жалкими сундуками с жемчугами, бочками с золотыми монетами да тридцатью—сорока тысячами купленных или захваченных в походах рабов!

Блаженство оказалось слишком велико для Кандавла; сил, которые он, конечно, нашел бы в себе, чтобы противостоять невзгодам, не хватало для счастья. Радость его била через край, точно вода, бурлящая в котле, и он даже жалел, что его жена столь скромна и стыдлива, ибо чересчур высокую цену он платил за то, чтобы хранить в тайне ее красоту.

«О, странная судьба! — повторял он всякий раз, когда оставался один и погружался в размышления. — Я горюю от того, что составило бы счастье любого супруга. Ниссия не хочет покидать гинекей[25] и только для меня снимает свое покрывало, а сколь горд и счастлив был бы я, если бы она, лучезарная и божественная, вышла из дворца к коленопреклоненному народу и, словно аврора, затмила бледные звезды, до рассвета мнившие себя великими светилами! Высокомерные лидийки, считающие себя красавицами, все вы, за исключением Ниссии, должны прятать свои лица даже от любовников, потому что вы так же уродливы, как рабыни нехси[26] и Куша[27] с узкими глазками и мясистыми губами. Стоит ей один только раз пройти с открытым лицом по улицам Сард, и напрасно вы будете дергать своих поклонников за край туники, ни один из них не обернется,

а если и обернется, то спросит ваше имя, потому что, увидев Ниссию, забудет все. В страстом порыве изменники бросятся под колеса ее колесницы, подобно тем индусам, что устилают своими телами дорогу, по которой везут их идола[28]. Да вы, богини, которых судил Парис-Александр[29], если бы Ниссия участвовала в вашем споре, ни одна из вас не получила бы яблока, даже Афродита, несмотря на ее волшебный пояс и обещанную пастуху-судье любовь первой в мире красавицы!..

И только подумать, что эта красота не вечна! Увы! Годы исказят божественные черты, этот восхитительный гимн формам, эту поэму, сложенную строфами-очертаниями, не прочитанную никем, кроме меня! Быть единственным обладателем бесценного сокровища! Если бы я мог кистью с помощью линий и красок, игры света и тени запечатлеть на дереве образ небесного лика Ниссии, если бы камень поддался моему резцу, то из чистого паросского или пентелийского мрамора[30] я создал бы подобие ее чарующего тела, низвергнувшее бы с алтарей жалкие изваяния богинь! Чтобы когда-нибудь, спустя столетия, под илистыми отложениями наводнений, под обломками погибших городов люди нашли кусочек каменной тени Ниссии и сказали: "Так вот какими были женщины исчезнувшего мира!" И воздвигли храм для своей божественной находки. Но у меня нет ничего, кроме глупого восхищения и бесплодной любви! Я единственный почитатель неизвестного божества, лишенный даже призрачной надежды распространить на земле его культ!»

Так в душе Кандавла восторг художника затушил пламя ревности, восхищение затмило любовь. Если бы вместо Ниссии, дочери сатрапа Мегабаза, полной восточных предрассудков, он женился на гречанке из Афин или Коринфа, то, несомненно, созвал бы ко двору лучших художников и ваятелей и предложил бы им в качестве натурщицы царицу. Именно так позднее поступил Александр Великий со своей фавориткой Кампаспой, которая обнаженной позировала Апеллесу[31]. И царская фантазия не встретила бы никакого сопротивления у уроженки края, где самые целомудренные почитали за честь показать скульптору свою спину или грудь ради совершенства какой-нибудь знаменитой статуи. Но суровая Ниссия с неохотой снимала свои одежды даже в полумраке супружеской опочивальни, горячность мужа, по правде сказать, шокировала бактрийку, а не льстила самолюбию. Только сознание долга и покорности, которую жена обязана проявлять по отношению к мужу, заставляло дочь Мегабаза изредка уступать тому, что она называла капризами Кандавла.

Он просил ее то распустить волосы, эту золотую реку, полноводную, как Пактол, и по примеру вакханок с Менала[32] возложить на голову венок из плюща и липового цвета, то лечь на шкуру тигра с серебряными зубами и рубиновыми глазами, лишь слегка прикрывшись тончайшей тканью,

сотканной будто из воздуха, то встать в перламутровую раковину и увить свои косы жемчугом, словно каплями морской воды.

Найдя наиболее подходящую для супруги позу, Кандавл погружался в немое созерцание; его рука описывала плавные дуги, будто делала набросок картины, и он проводил бы так долгие часы, если бы Ниссии не надоедала роль натурщицы, и бактрийка холодным презрительным тоном не напоминала ему, что подобные забавы не пристали царю и противоречат священным устоям брака. Завернувшись до самых глаз, прежде чем удалиться в укромный уголок гинекея, она говорила супругу на прощание: «Так обращаются с наложницами, а не с честными высокородными женщинами».

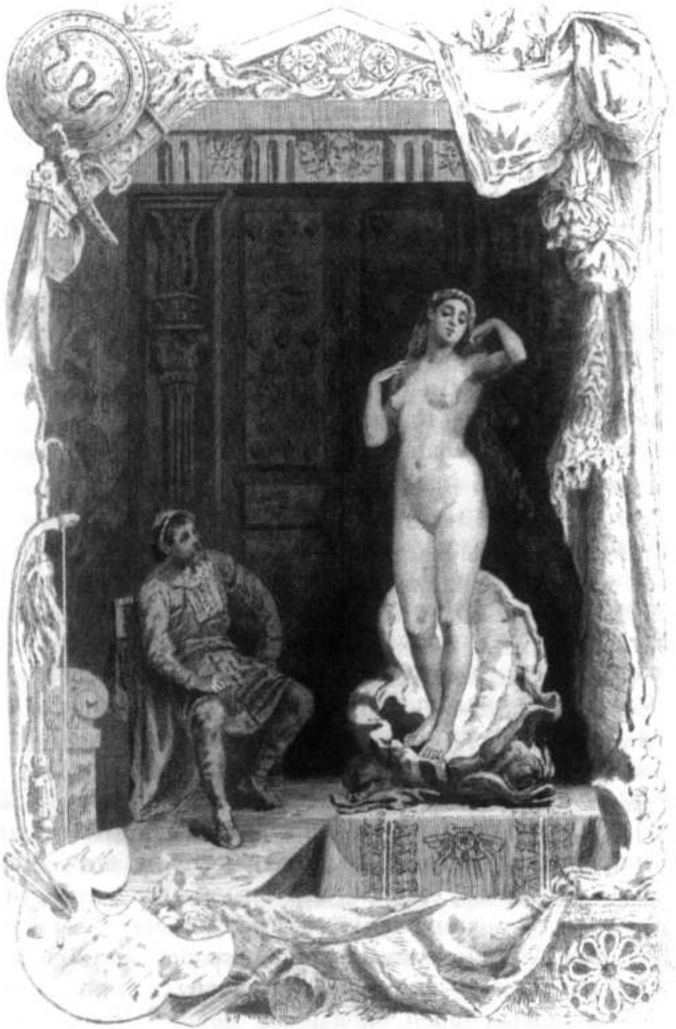
Кандавл остался глух к ее мудрым предостережениям, его страсть возрастала в обратном соотношении к холодности царицы. И он дошел до того, что уже не мог держать в себе тайные переживания супружеской опочивальни. Ему, в точности как герою современной трагедии, понадобился наперсник. Но вы уже несомненно поняли, что он не пошел к какому-нибудь суровому спесивому философу с насупленной миной и длинной седой бородой, ниспадающей на дырявую мантию, или к военачальнику, на уме у которого одни баллисты, катапульты и колесницы, оснащенные острыми серпами, или к занудному евпатриду с его нравоучениями и политическими максимами. Нет, он выбрал Гигеса, который благодаря своей репутации сердцееда слыл знатоком по части женщин.

Однажды вечером царь, к удивлению всех присутствующих, по-приятельски положил руку на плечо Гигеса, многозначительно взглянул на воина и, отойдя с ним на несколько шагов от придворных, громким голосом промолвил:

— Гигес, я хочу знать твое мнение о моем изображении, которое скульпторы из Сикиона недавно закончили на родовом барельефе Гераклидов, где запечатлены мои предки.

— О царь! Твоя премудрость превосходит все, что ведомо твоему смиренному подданному, не знаю даже, как благодарить тебя за оказанную мне честь, за то, что ты изволишь просить моего совета.

Кандавл и его фаворит пересекли несколько залов, украшенных в эллинистическом стиле — коринфские аканфы[33] и ионические волюты[34] распускались на капителях колонн, а на фризах[35] красовались цветные изображения процессий и жертвоприношений — и оказались в отдаленной части старого дворца, стены которой были сложены из неровных, не скрепленных цементом камней, как в циклопической кладке[36]. Эта древняя архитектура ошеломляла своими колоссальными пропорциями. В ней просматривался безудержный гений ушедших восточных цивилизаций, гранитно-кирпичный разгул Египта и Ассирии. Дух строителей Вавилонской башни ощущался в приземистых колоннах с глубокими витыми каннелюрами[37] и капителями в виде четырех бычьих голов, оплетенных змея-



ми, которые словно стремились заглотить их — космогонический символ, смысл коего унесли с собой в могилу жрецы-иерофанты[38] минувших веков. Двери были ни прямоугольными, ни круглыми: они описывали расширяющийся кверху овал, похожий на митры магов, и своей причудливой формой придавали сооружению еще более диковинный вид.

Эта часть дворца представляла собой двор, окруженный портиком, архитрав[39] коего украшал тот самый барельеф, о котором говорил Кандавл.

В центре барельефа восседал на троне обнаженный по пояс Геракл, чьи ноги в соответствии с канонами изображения богов опирались на приступку. Впрочем, гигантские размеры фигуры не оставляли никакого сомнения в том, что перед вами бог; архаическая шероховатость и грубость работы древнего скульптора придавали изваянию варварское величие и дикое благородство, и, возможно, больше соответствовали природе героя — победителя чудовищ, чем творение какого-нибудь более искусного мастера.

Справа от трона находились Алкей, сын Геракла и Омфалы, Нин, Бел, Агрон — первые цари из рода Гераклидов, затем шла вереница последующих царей, которую замыкали Ардис, Алиатт, Мелес, или Мирс, отец Кандавла, и, наконец, сам Кандавл[40].

Благодаря игре заходящего солнца и красноватому оттенку, в который время окрашивает мрамор в жарком воздухе юга, все эти персонажи с заплетенными в косицы волосами, закрученными спиралью бородками, миндалевидными глазами, угловатыми контурами и скованными позами казались почти живыми. Рядом с ними, наподобие музейных табличек, были высечены непонятные древние символы, которые придавали длинной череде царей в нелепых варварских одеждах еще большую таинственность. Гигес невольно заметил, что по воле случая изображение Кандавла оказалось на самом последнем свободном месте слева от Геракла. Цикл портретов замкнулся; чтобы разместить потомков Кандавла, пришлось бы непременно возвести еще один портик с новым барельефом.

Кандавл, чья рука по-прежнему лежала на плече Гигеса, молча обошел весь двор; он словно боялся перейти к делу и напрочь забыл, под каким предлогом привел своего главного телохранителя в это уединенное место.

— Что бы ты сделал, Гигес, — нарушил наконец тягостное молчание Кандавл, — будь ты ловцом жемчуга и достань из зеленого чрева океана прекраснейшую, бесценную жемчужину несравненного блеска и белизны?

— Я спрятал бы ее, — Гигес слегка удивился такому неожиданному вопросу, — в кедровый ларец, окованный бронзой, отнес в пустынное место, схоронил под камнем и время от времени, когда никто меня не видит, приходил бы туда полюбоваться на мое сокровище и посмотреть, как краски неба играют на ее перламутровых боках.

— А если бы я, — глаза Кандавла загорелись от волнения, — обладал подобной бесценной жемчужиной, я приказал бы украсить ею мой венец и

выставил на всеобщее обозрение, под лучи солнца, я бы купался в ее блеске и улыбался от гордости, слыша, как все говорят: «Ни у царя Ассирии, ни у царя Вавилона, ни у греческого или тринакрийского[41] тирана не было такой прекрасной восточной жемчужины, как у царя Кандавла, сына Мирса и потомка Геракла, царя Лидии и Сард! Рядом с Кандавлом сам Мидас, обращавший все в золото, – всего-навсего жалкий нищий, бедный, точно Ир[42]».

Гигес с изумлением слушал речи Кандавла, стремясь проникнуть в тайный смысл этих лирических отступлений. Царь выглядел необычайно возбужденным: глаза его сверкали от восторга, нежный румянец залил щеки, раздутые ноздри с силой втягивали воздух.

– Так вот, Гигес, – продолжал Кандавл, не замечая обеспокоенности своего фаворита, – я и есть тот самый счастливый ловец. В безбрежном человеческом океане, в толпе безликих и несчастных созданий, среди множества несовершенных или искаженных форм, среди бесчисленных образчиков животного уродства и неудачных набросков ищущей природы я нашел чистую, лучезарную красоту без единого пятнышка и изъяна, подлинный идеал, воплощенную мечту, красоту, которую не удалось запечатлеть ни одному художнику или скульптору на полотне или в мраморе: я нашел Ниссию!

– Хотя царица славится своей скромностью и ни один мужчина, за исключением супруга, не видел ее лица, стоустая молва разнесла славу о ее достоинствах по всем городам и весям, – с почтением поклонился Гигес.

– Да, слухи, смутные слухи, ничего не значащие. О ней, как о любой не совсем уродливой женщине, говорят, что она прекраснее Афродиты и Елены, но никто не имеет и отдаленного представления о ее совершенстве. Напрасно я умолял Ниссию открыть лицо на каком-нибудь народном празднестве или торжественном жертвоприношении, напрасно уговаривал хоть на мгновение выйти к перилам царской террасы и явить величайшую милость своему народу: подарить ему возможность полюбоваться ее профилем и тем самым выказать великодушие, превосходящее щедрость богинь, что дозволяют своим поклонникам созерцать лишь их слабое подобие из мрамора и слоновой кости. Она отказала мне раз и навсегда. Странная вещь происходит со мной, Гигес, признаюсь тебе, краснея: раньше я был ревнив, я хотел спрятать тех, кого любил, ни одна тень не казалась мне достаточно густой, никакая тайна – достаточно глубокой. Теперь же я сам себя не узнаю, я не обычный любовник или муж – моя любовь растаяла, будто воск на жарком огне, и превратилась в восхищение. Низкие чувства ревности и обладания испарились. Нет, невозможно, немыслимо самое законченное творение, посланное небом на землю впервые с того самого дня, как Прометей вылепил из глины первых людей[43], нельзя это чудо из чудес держать в ледяном сумраке гинекея! Если я умру, тайна ее красоты будет навсегда похоронена под черным вдовьим

покрывалом! Пряча Ниссию, я чувствую себя виноватым, как если бы обладал солнцем и не давал ему светить. Когда я думаю о гармонии ее линий, о божественных чертах, которых я едва осмеливаюсь коснуться губами, сердце мое рвется на куски, мне хочется, чтобы кто-нибудь разделил мое счастье, чтобы он, словно суровый судия, которому показывают законченное полотно, после внимательного осмотра смог признать, что оно безупречно и его обладатель не обманулся в своих восторгах. Очень часто мне хотелось дерзкой рукой отбросить ненавистную ткань; но Ниссия, неумолимо целомудренная Ниссия, никогда не простила бы меня. Я больше не вынесу своего счастья, мне нужен наперсник, который поймет мои чувства, эхом ответит на крик моего восхищения. Им будешь ты!

Сказав так, Кандавл внезапно исчез за потайной дверцей. Оставшись один, Гигес первым делом подумал, что сама судьба опять привела его к Ниссии. По воле случая ему выпала возможность увидеть ее красоту, скрытую от всех. Многие цари и сатрапы добивались руки Ниссии, но она стала женой Кандавла, которому он служил. В силу странного каприза, казавшегося Гигесу роковым, царь только что открыл ему дорогу к таинственному созданию и непременно, сам того не ведая, хотел довершить дело, начатое Бореем в степях Бактрии. Разве не видна во всех этих случайностях Божья длань? Не ведет ли Гигеса этот призрак красоты, покрывало которой мало-помалу приподнимается будто лишь для того, чтобы испепелить нечестивца, к некой великой цели? Такие вопросы задавал себе царский избранник, но он не мог заглянуть в будущее и, решив подождать дальнейшего развития событий, ушел с портретного двора, где по углам уже начали сгущаться тени, придавая изображениям предков Кандавла все более странный и угрожающий вид.

Было ли то простой игрой света или иллюзией, порожденной смутным беспокойством, которое овладевает даже душами самых отважных, если их застигнет под сводами древних памятников ночь? Но когда Гигес переступал порог, ему послышался тяжкий вздох, слетевший с каменных уст, и почудилось, будто Геракл изо всех сил старается вырвать свою пятицу из гранитной стены.





Глава III

На следующий день Кандавл вновь призвал Гигеса и продолжил разговор, начатый под сводом портика Гераклидов. Теперь царь не нуждался в предисловиях и без утайки открылся своему наперснику. Если бы Ниссия слышала его, она, наверное, простила бы своего болтливого супруга за страстные хвалы, которые он воздавал ее прелестям.

Гигес слушал царские дифирамбы с видом человека, подозревающего, что собеседник скорее изображает пылкое воодушевление, чем испытывает его на самом деле, чтобы тем самым вызвать на откровенность. И Кандавл не выдержал.

— Гигес, — сказал он с досадой, — я вижу, ты не веришь мне. Ты думаешь, я просто хвастаю или позволил себе увлечься, точно толстый землепашец какой-нибудь дородной селянкой, которую Гигия[1] наградила грубым румянцем во всю щеку. Нет, клянусь всеми богами!

Я собрал, словно в живой гербарий, прекраснейшие цветы Азии и Греции; я знаю все творения живописцев и ваятелей со времен Дедала, чьи статуи умели говорить и ходить[2]. Лин[3], Орфей и Гомер научили меня гармонии и ритму; я не смотрю на Ниссию ослепленными страстью глазами. Я сужу беспристрастно. В моем восхищении нет юношеского пыла. Когда я стану дряхлым, сухим и морщинистым, как Тифон в своих свивальниках[4], то и тогда не изменю свое мнение. Но я прощаю тебе недоверие и сдержанность. Чтобы понять меня, ты должен сам увидеть Ниссию во всем ее блеске, без назойливой тени, без ревнивой завесы, такой, какой ее создала природа в неповторимый миг вдохновения. Этим вечером я спрячу тебя в нашей опочивальне... и ты увидишь ее!

— Господин мой, что я слышу? — почтительно, но твердо ответил молодой воин. — Как я, ничтожный раб, из праха моего, из глубин бездны моей дерзну возвести глаза к светилу совершенства? Ведь я ослепну и до конца дней моих буду различать во тьме лишь ее светящийся образ! Смилуйся над своим смиренным слугой. Не вынуждай его поступаться добродетелью; каждый должен смотреть только на то, на что ему положено. Ты же знаешь, бессмертные карают неосторожных невеж, что отваживаются бросить взгляд на их обнаженное тело[5]. Я верю тебе: Ниссия — самая прекрасная женщина на свете, ты самый счастливый из мужей и любовников; даже Геракл, твой предок, несмотря на все свои подвиги, не нашел никого, подобного царице. Ты, властелин, к чьим словам прислушиваются самые знаменитые художники, считаешь ее несравненной. Что для тебя мнение невежественного вояки? Откажись от своей фантазии, осмелюсь сказать, она недостойна царского величия, ты раскаешься, едва осуществишь этот замысел.

— Послушай, Гигес, — поморщился Кандавл, — я понимаю, ты мне не доверяешь, ты думаешь, я хочу испытать тебя; но, клянусь пеплом костра, что превратил в бога моего предка[6], я говорю с тобой откровенно, без всякой задней мысли!

— О Кандавл! Я не сомневаюсь ни в твоей искренности, ни в силе твоих чувств, но может так случиться, когда я исполню твою волю, ты проникнешься глубоким отвращением ко мне и возненавидишь за то, что я не устоял и не воспротивился твоему безрассудству. Не захочешь ли ты тогда отнять у послушных твоей власти глаз образ, который в пылу страсти позволил им увидеть, и, кто знает, не приговоришь ли ты их к вечному мраку могилы, чтобы наказать за то, что они открылись тогда, когда должны были зажмуриться.

— Не бойся, положись на мое царское слово, никто не причинит тебе зла.

– Прости раба твоего, если он осмелится, несмотря на все уверения, еще раз возразить. Понимаешь ли ты, что это предложение есть оскорбление святости брачных уз, своего рода прелюбодеяние взглядом? Нередко женщина вместе с одеждой снимает с себя стыдливость, но, увиденная однажды против воли, она, не утратив добродетели, думает, что потеряла цветок своей чистоты. Ты обещаешь, что не станешь держать на меня зла, но кто защитит бедного Гигеса от гнева Ниссии? Ведь она так сдержанна, целомудренна, стыдлива, сурова и непорочна, что кажется, еще не ведает законов брака. Если она узнает о святотатстве, на которое я пойду из уважения к воле моего повелителя, на какие муки она обречет меня, чтобы я заплатил за это преступление? Кто защитит меня от ее мести и ярости?

– Не знал, что ты так мудр и осмотрителен, – с легкой иронией молвил Кандавл. – Все эти опасения – плод твоего воображения, я спрячу тебя, и Ниссия никогда не узнает, что ее видел кто-то кроме ее царственного супруга.

Гигес исчерпал свои возражения и смиренно поклонился в знак того, что подчиняется воле государя. Он противился, как мог, совесть его была незапятнанна, и, кроме того, он боялся, что, если не покорится, судьба отвернется от него, а ведь она, похоже, из каких-то неведомых ему высших соображений стремится непременно приблизить его к Ниссии.

Он не знал, чем все кончится, и перед его глазами проходили тысячи смутных беспорядочных видений. Его подспудная любовь, съежившаяся в самом низу, под лестницей его души, поднялась на несколько ступеней вверх, ведомая зыбким светом надежды; груз невозможного уже не так давил на его грудь, он уверовал, что ему помогают боги. И в самом деле, кто бы вообразил, что скоро для него, Гигеса, прославленные прелести дочери Мегабаза перестанут быть тайной!

– Пойдем, Гигес, – взял его за руку Кандавл, – сейчас самое время. Ниссия гуляет со своими прислужницами в саду, давай осмотримся на месте и решим, как будем действовать вечером.

Царь повел своего наперсника по извилистым проходам в супружескую опочивальню. Двери ее были сделаны из кедровых досок, пригнанных друг к другу с такой точностью, что они сливались в единое полотно. Рабы без устали натирали их промасленной шерстью, и оттого дерево блестело, словно мрамор; бронзовые гвозди с граненьми головками сверкали, точно самое чистое золото. Сложная система ремней и металлических колец, секрет переплетения которых был известен лишь Кандавлу и его жене, служили запором, ведь в те героические времена слесарное дело находилось еще в зачаточном состоянии.

Кандавл развязал узлы, вытащил ремни из колец и с помощью рукояти, которую он вставил в паз, приподнял засов, запиравший дверь изнутри. Приказав Гигесу прижаться к стене, он распахнул одну створку настежь так, чтобы она закрыла собою Гигеса. Но поскольку между створкой и дубовым косяком оставался зазор для свободного хода петель, молодой воин мог хорошо видеть всю спальню.

Напротив двери на ступенчатом помосте возвышалось царское ложе, покрытое пурпурными покрывалами. Резные серебряные столбики поддерживали антаблемент[7], украшенный рельефными листьями, среди которых амуры играли с дельфинами, а толстый полог, расшитый золотом, окружал постель, как полотнища шатра.

На алтаре богов-покровителей домашнего очага стояли вазы из драгоценных металлов, расписанные цветами глазурованные патеры[8], двуручные кубки и все, что нужно для возлияний.

Вдоль стен, обитых кедровыми панелями чудесной работы, на равных промежутках располагались черные базальтовые статуи, сохранявшие свойственную египетскому искусству скованность поз. Ладони статуй сжимали бронзовые рожки, в которые вставлялись лучины из хвойных деревьев.

На серебряной цепи с балки, которую называют черной из-за того, что больше других коптится от дыма, спускалась лампа из оникса. Каждый вечер раб наполнял ее ароматным маслом.

У изголовья кровати на небольшой колонне висело вооружение: шлем с забралом, щит из четырех слоев бычьей кожи с оловянными и медными пластинами, обоюдоострый меч и дротик из ясеня с бронзовым наконечником.

С колков свисали туники и мантии Кандавла, простые и двойные, то есть такие, которые можно было два раза обернуть вокруг тела; особенно бросалась в глаза трижды окрашенная пурпуром мантия[9], на которой была вышита сцена охоты — огромные лаконийские собаки[10] преследовали и задирали оленя, — а также туника из тончайшей, нежной, точно луковая шелуха, ткани, блестевшая, подобно солнцу. Напротив доспехов стояло кресло, инкрустированное серебром и слоновой костью, его сиденье покрывала леопардовая шкура, усеянная глазками, как тело Аргуса[11], а рядом примостилась ажурная скамья, на которую Ниссия складывала свою одежду.

— Обыкновенно я захожу первым, — сказал Кандавл, — и оставляю дверь открытой так, как сейчас. У Ниссии всегда находятся какая-то вышивка, которую непременно надо завершить, и какие-то указания, которые нужно дать прислужницам, поэтому она возвращается после меня; но, в конце концов, она приходит и начинает медленно, будто каждое движение дается ей с большим трудом, ронять на скамью из слоновой кости покрывала и туники, что окутывают ее весь день, как мумию. Из твоего

укрытия ты увидишь, сколь она грациозна и безупречна, и поймешь, сошел ли с ума Кандавл, похваляющийся напрасно, или он и в самом деле обладает прекраснейшей жемчужиной, которая когда-либо украшала царскую корону!

— О царь, я верю тебе безо всяких испытаний, — ответил Гигес, выйдя из-за двери.

— Сняв одежды, — продолжал Кандавл, не обращая никакого внимания на своего наперсника, — она ложится рядом со мной. Именно в этот момент ты и должен удалиться, потому что по пути от скамьи к кровати она поворачивается к двери спиной. Иди осторожно, будто по скошенной пшенице, да смотри, чтобы ни одна песчинка не скрипнула под твоими сандалиями, и не дыши, ступай как можно тише. Здесь будет темно, свет едва достигает порога опочивальни. Ниссия не заметит тебя, и завтра на земле появится тот, кто сможет разделить мои восторги и уже не изумится порывам моего восхищения. Пора, день уже клонится к вечеру, скоро солнце напоит своих скакунов в гесперийских водах[12] на краю света, за столпами, возведенными моим предком;[13] возвращайся в свой тайник, Гигес, и, пусть часы ожидания будут долгими, клянусь золотыми стрелами Эроса, ты не пожалеешь, когда дождешься!

Напутствовав так Гигеса, Кандавл оставил его за дверью. Из-за вынужденного бездействия мысли молодого царского наперсника устремились в свободный полет. Да, в удивительную историю он попал! Он любил Ниссию, словно далекую звезду, без надежды на взаимность; убежденный в бесплодности всяких попыток, он не сделал ни шагу, чтобы сблизиться с ней. И тем не менее благодаря невероятному стечению обстоятельств он скоро узнает о сокровищах, доступных лишь мужьям и любовникам; ни словом, ни взглядом не обменялся он с Ниссией, она, наверное, даже не подозревает о существовании того, для кого ее красота перестанет быть тайной. Он никто для той, чью стыдливость принесут ему в жертву, — какое странное положение! Тайно любить женщину, чей муж привел его, чужака, к порогу супружеской опочивальни, заполучить в проводники к сокровищу дракона, который должен защищать все подходы к оному, разве нет причин удивляться и восхищаться причудливыми поворотами судьбы?

Так размышлял Гигес, когда услышал чьи-то шаги. То шли рабы, которые должны были налить масла в лампу, бросить благовония на угли курильниц и застелить царское ложе окрашенными в пурпур и шафран овечьими шкурами.

Час приближался, Гигес чувствовал, как учащается биение его сердца. Ему захотелось уйти до прихода царицы, а потом сказать Кандавлу, что он был в условленном месте, и предаться самым искренним и пылким

восхвалениям Ниссии. Гигес, несмотря на его несколько легкомысленное поведение, обладал определенной щепетильностью: ему претило выступать в роли вора и похищать то, что стоит жизни. Соучастие супруга делало эту кражу еще более отвратительной, он согласился бы на все, только бы не быть обязанным мужу счастьем увидеть чудо Азии в ночном наряде. Возможно также — признаемся, как и подобает правдивому историку, что в угрызениях совести Гигеса не последнюю роль играла осторожность. Царский телохранитель конечно же не испытывал недостатка в мужестве, на боевой колеснице со звенящим за плечом колчаном и луком в руке он бросал вызов самым отважным воинам; на охоте он, не дрогнув, сразился бы с Калидонским вепрем и Немейским львом;[14] и при этом — кто хочет, пусть сам возьмется разъяснить эту загадку — Гигес дрожал от мысли, что ему придется подглядывать в щелочку за красивой женщиной. Никто не наделен мужеством на все случаи жизни. И Гигес предчувствовал, что кара неизбежна. То был решающий момент его жизни, он лишился покоя, мельком взглянув на Ниссию, что же будет теперь? Во что превратится его жизнь, когда к божественному лицу Ниссии, терзавшему его душу, добавится чарующее тело, созданное для ласк бессмертных? Что будет с ним, если отныне у него уже не хватит сил сдерживать свою страсть, молчать и таиться? Неужели он подарит лидийскому двору зрелище безумной любви, неужели станет пресмыкаться ради унизительной жалости царицы? Подобный исход был вполне вероятен, даже Кандавл, законный господин Ниссии, не избежал умопомрачения, вызванного ее нечеловеческой красотой, даже беззаботный царь, который до сих пор смеялся над любовью и всему на свете предпочитал картины и статуи, и тот сошел с ума. Все эти мудрые рассуждения ничем не увенчались, так как в опочивальню вошел Кандавл и тихо, но четко произнес:

— Терпение, мой бедный Гигес, Ниссия скоро будет!

Увидев, что путь к отступлению отрезан, Гигес, который в первую очередь был мужчиной, и притом мужчиной молодым, забыл обо всем и приготовился насладиться зрелищем, уготованным ему Кандавлом. Нельзя требовать от двадцатипятилетнего телохранителя воздержанности убеленного годами философа.

Наконец легкое шуршание тканей, раздавшееся в глубокой ночной тишине, возвестило о приходе царицы. В самом деле, то была Ниссия; размеренной и ритмичной, как ода, поступью она пересекла порог опочивальни, и дуновение от ее покрывала почти коснулось пылавших щек Гигеса, который от сильнейшего волнения едва не лишился чувств, так что ему даже пришлось прислониться к стене. Но он совладал с собой и, прижавшись к дверной щели, занял наиболее выгодное положение, дабы не упустить ни мгновения из сцены, невидимым свидетелем которой ему выпало стать.

Ниссия приблизилась к скамье из слоновой кости и начала вытаскивать булавки с ажурными головками, которые удерживали на затылке ее покрывало. Гигес, застывший в темном углу, мог вдоволь налюбоваться ее горделивым чарующим лицом, которое видел лишь раз, и то мельком; он разглядывал округлую шею, одновременно изящную и сильную, на которой Афродита оставила ноготком своего мизинца три легкие полоски, что до сих пор зовутся ожерельем Венеры, пышные непослушные кудри Ниссии, серебристые плечи, выглядывавшие из выреза хламиды, как лунный диск из-за непроницаемого облака. Кандавл, приподнявшись на локте, с любовью смотрел на жену и думал: «Уж теперь-то этот холодный, неприступный и самонадеянный Гигес во всем убедится сам!»

Открыв ларец, стоявший на столике с ножками в виде львиных лап, царица освободила от тяжелых браслетов и цепочек прекрасные руки, которые своей формой и белизной могли соперничать с руками Геры, сестры и супруги Зевса, царя Олимпа. Сколь ни были ценны украшения, они, бесспорно, не стоили места, которое закрывали, и, будь Ниссия кокеткой, можно было бы подумать, что она надевает драгоценности лишь затем, чтобы ее умоляли снять их. Кольца и браслеты оставили на ее коже, тонкой и нежной, словно лепестки лилии, бледные розовые отметины, которые исчезли после того, как она потерла их своими изящными пальчиками.

Затем движением расправляющей перышки голубки она распустила волосы, и они упали на ее спину и грудь мягкими локонами, похожими на гиацинты. Она застыла так на несколько мгновений, затем собрала вместе растрепанные пряди. Восхитительное зрелище: светлые кудри, подобно золотым потокам, заструились меж серебристых пальчиков, а руки, будто лебединые шеи, вытянулись над головой и скрутили волосы в жгут. Если вам на глаза случайно попадалась одна из прекрасных этрусских ваз с росписью в виде красных фигурок на черном фоне на сюжет, который называется «греческим туалетом», то вы получите представление о грациозности позы Ниссии: с античных времен и до наших дней эта поза не раз служила источником вдохновения для художников и скульпторов.

Убрав волосы, она села на краешек скамьи и принялась развязывать шнурки сандалий. Современные люди из-за ужасной обуви, столь же нелепой, как китайские туфли, уже забыли, что такое ступня. У Ниссии же она отличалась редкой даже по меркам Древней Греции и Азии красотой. Эта ступня сочетала в себе все: и слегка, словно у птички, отставленный в сторону большой палец, и удлиненные, очаровательно ровные пальчики, и безукоризненной формы, сверкающие, будто агаты, ногти, и тонкие гибкие щиколотки, и розоватую пятку. Ноги Ниссии, блестевшие, точно отполированный мрамор, были точеными и безупречными, как и ступни.

Гигес, захваченный этим зрелищем, проникался страстью Кандавла и думал, что, если боги одарили царя таким сокровищем, то он должен был хранить его как зеницу ока.

– Ниссия, почему ты не идешь ко мне? – вопросил Кандавл, видя, что царица никоим образом не торопится, и желая отпустить Гигеса с вахты.

– Да, господин мой, я сейчас, – ответила Ниссия.

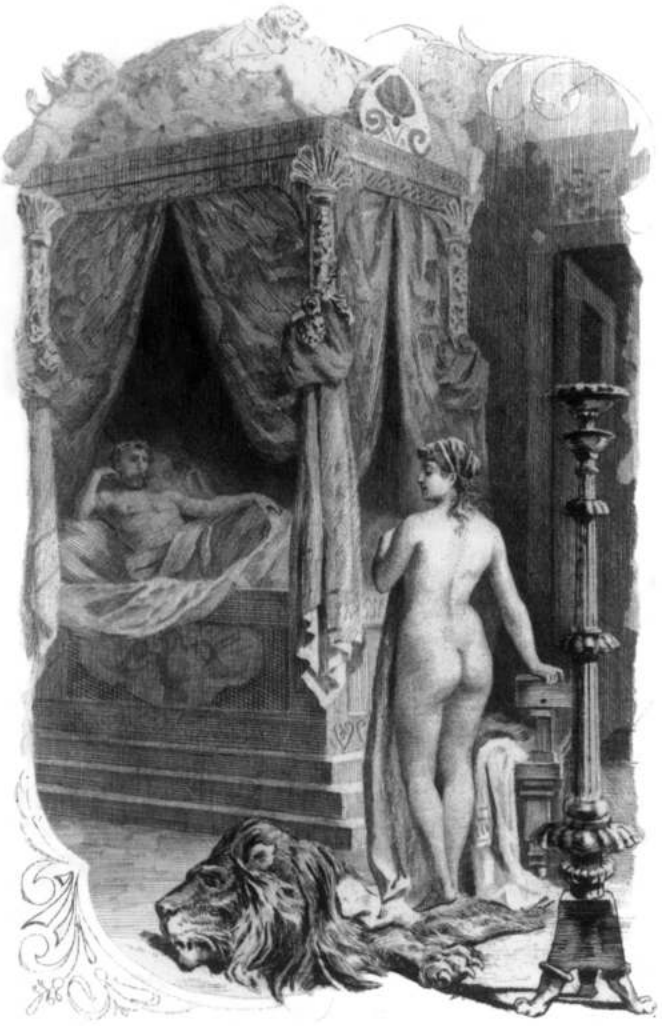
И она отстегнула камею, крепившую пеплос[15] на ее плече. Оставалось сбросить лишь тунику. Кровь прилила к лицу Гигеса, а сердце заколотилось с такой силой, что, казалось, еще немного и его стук услышат в спальне. Он прижал руку к груди, словно хотел унять сердцебиение, но, когда Ниссия небрежным движением развязала пояс туники, ноги его подкосились.

Ниссия – то ли повинуясь некоему инстинкту, то ли потому, что ее кожа, не оскверненная чужими взглядами, обладала особой магнетической чувствительностью[16] и ощущала на себе пусть невидимый, но страстный взгляд, – никак не решалась снять последний покров своей стыдливости. Мышцы ее плеч, груди и рук два-три раза нервно сократились, словно их задел ночной мотылек или нечестивые губы осмелились приблизиться к ней во мраке.

Наконец, вздохнув, она сбросила тунику, и лилейная поэма ее неземного тела предстала во всем своем величии, подобно изваянию богини в храме, с которого в день открытия срывают полотно. Дрожащий от удовольствия свет скользнул по ее изысканным формам и, пользуясь случаем – увы! – таким редким, покрыл ее робкими лобзаниями. Лучи, разбросанные по комнате, с презрением отвернулись от золотых ваз, драгоценностей, бронзовых треножников и сосредоточились на теле Ниссии, оставив все прочее в темноте. Будь мы греком времен Перикла[17], мы свободно воспели бы эти плавные линии, изящные изгибы, гладкие бока и груди, форма коих послужила бы достойным образцом для кубка Гебы;[18] но современная мораль не допускает подобных вольностей, перу не прощают того, что дозволено резцу, и к тому же есть вещи, которые можно передать только в мраморе[19].

Кандавл улыбался, довольно и горделиво.

Быстрым шагом, скрестив руки на груди, будто стыдясь собственной божественной красоты, дочь земной женщины и земного мужчины направилась к постели; но прежде чем возлечь рядом с мужем, она вдруг резко обернулась и увидела в щели глаз, сверкавший как карбункул в восточных сказках;[20] ибо, хотя слухи о двойном зрачке и волшебном камне, найденном в голове дракона, были ложью, зеленые глаза бактрийки видели в темноте, словно глаза кошки или тигра.



С губ Ниссии едва не сорвался крик – крик безмятежно пасущейся лани, чей бок внезапно поразила стрела, однако царице хватило мужества, чтобы сдержаться, и она, холодная, как змея, с мертвенно бледными щеками и губами, возлегла рядом с Кандавлом. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, ни одна жилка не забилась, и вскоре медленное и ровное дыхание дало понять, что Морфей брызнул маковым соком на ее веки.

Она все разгадала и все поняла!





Глава IV

Трясясь от страха, Гигес удалился, в точности следуя указаниям Кандавла, и если бы только в силу роковой случайности Ниссия не обернулась, она ни за что не заметила бы бегства Гигеса и, без всякого сомнения, никогда не узнала бы об оскорблении, нанесенном ей страстным и не слишком щепетильным супругом.

Молодой воин, знавший наизусть все ходы и выходы, без труда покинул пределы дворца. Он пересек город, шатаясь, словно безумец, сбежавший из Антикиры;[1] стражник узнал его и выпустил за ворота. Голова Гигеса раскалывалась, щеки пылали, будто в горячке, губы пересохли, он задыхался. Чтобы немного унять пожар в своей крови, он бросился на влажную от ночной росы траву, но тут сквозь за-

росли до него донеслось серебристое дыхание наяды, и он поплелся к источнику, опустил руки в хрустальный ключ, ополоснул лицо и выпил несколько пригоршней воды. Если бы кто-нибудь при слабом свете звезд увидел, как он в отчаянии склонился над водоемом, то принял бы его за Нарцисса, который любуется своим отражением; но, нет, не в себя был влюблен Гигес.

Мимолетное видение Ниссии ослепило его точно вспышка молнии; светящимся вихрем оно кружило перед его глазами, и он твердо знал, что отныне уже никогда ему не избавиться от этого наваждения. Любовь Гигеса мгновенно выросла: ее цветок распустился, подобно тем бутонам, что раскрываются с громким хлопком. Нечего было и помышлять о том, чтобы побороть такую страсть. С тем же успехом можно приказать пенистым волнам, что поднимает своим трезубцем Посейдон, лежать спокойно на песчаном ложе и не биться о прибрежные скалы. Гигес больше не владел собой, он испытывал мрачное отчаяние возничего, который видит, как обезумевшие лошади, закусив удила, бешеным галопом скачут к пропасти, оскалившейся острыми обломками камней. Сто тысяч мыслей, одна другой безумнее, беспорядочно сменялись в его голове: он проклинал судьбу, родную мать и богов за то, что не родился царем, ведь тогда он мог бы жениться на дочери сатрапа.

Нестерпимая боль терзала сердце Гигеса — он ревновал к царю. С того самого мгновения, как туника, словно белая голубка, опустившаяся на травку, упала к ногам царицы, наперсник считал Ниссию своей и полагал, что Кандавл присвоил себе то, что принадлежит ему, Гигесу. Раньше он забывал в своих мечтах, что она замужем: он грезил только о женщине и не думал о подробностях ее близости с супругом, всегда столь горьких и болезненных для того, кто влюблен в чужую жену. Теперь же он своими глазами увидел, как светлая головка Ниссии склоняется, подобно цветку, к смуглой голове Кандавла, и воспоминание об этом вызывало в доблестном воине беспредельную ярость, хотя, стоило ему хоть на минуту задуматься, он понял бы, что иначе и быть не может. В его душе родилась ненависть. Кандавл заставил его смотреть на раздевающуюся царицу, и теперь, забыв, что царь не ведал о его любви, а лишь искал того, кто умеет ценить красоту и не придерживается строгих правил, Гигесу чудилась в царском капризе оскорбительная ирония, отвратительная, утонченная жестокость, не высочайшая милость, а смертельное оскорбление, за которое он должен непременно отомстить. Он снова и снова представлял себе, что завтра неизбежно повторится сцена, немым свидетелем которой он стал, и его язык прикипал к нёбу, лоб покрывался холодной испариной, а рука судорожно сжимала рукоять широкого меча.

Мало-помалу благодаря ночной прохладе, этой доброй советчице, Гигес совладал с собой. Он вернулся в Сарды, прежде чем яркий солнечный

свет позволил бы редким прохожим и рабам, встающим спозаранку, заметить бледность его лица и беспорядок в одежде. Он занял свой обычный пост во дворце, опасаясь, что Кандавл не замедлит вызвать его; какие бы чувства ни испытывал Гигес, ему не хватало смелости вызвать царский гнев, отвергнув на этот раз роль наперсника, которая теперь внушала лидийцу настоящий ужас. Он уселся на ступенях вестибюля, обшитого кипарисовыми панелями, прислонился к колонне и, сославшись на усталость после ночного дозора, накрылся с головой плащом. Чтобы избежать расспросов, он притворился спящим.

Гигес пережил ужасную ночь, но не менее ужасной эта ночь стала для Ниссии, ведь она ни на мгновение не усомнилась в том, что это Кандавл привел соглядатая. Настойчивость, с которой царь твердил, что не надо прятать лицо, созданное для людского восхищения, нескрываемая досада супруга, когда она отказывалась одеться по-гречески для жертвоприношений и торжеств, насмешки Кандавла над тем, что он называл варварской дикостью, – все говорило об одном: молодой Гераклид, забывший о стыдливости подобно какому-нибудь афинскому или коринфскому скульптору, захотел посвятить кого-то в запретные тайны; ибо без его дозволения никто не стал бы рисковать головой.

Как медленно тянулись часы! С какой тревогой она ждала, когда же наконец утро смешает свои голубоватые лучи с тусклым светом лампы! Она думала, что Аполлон уже никогда не поднимется на свою колесницу, что чья-то невидимая рука удерживает песчинки в песочных часах, не давая им упасть. Ей показалось, будто эта ночь, такая же короткая, как все предыдущие, заняла целых полгода, словно полярная ночь на далеком Севере.

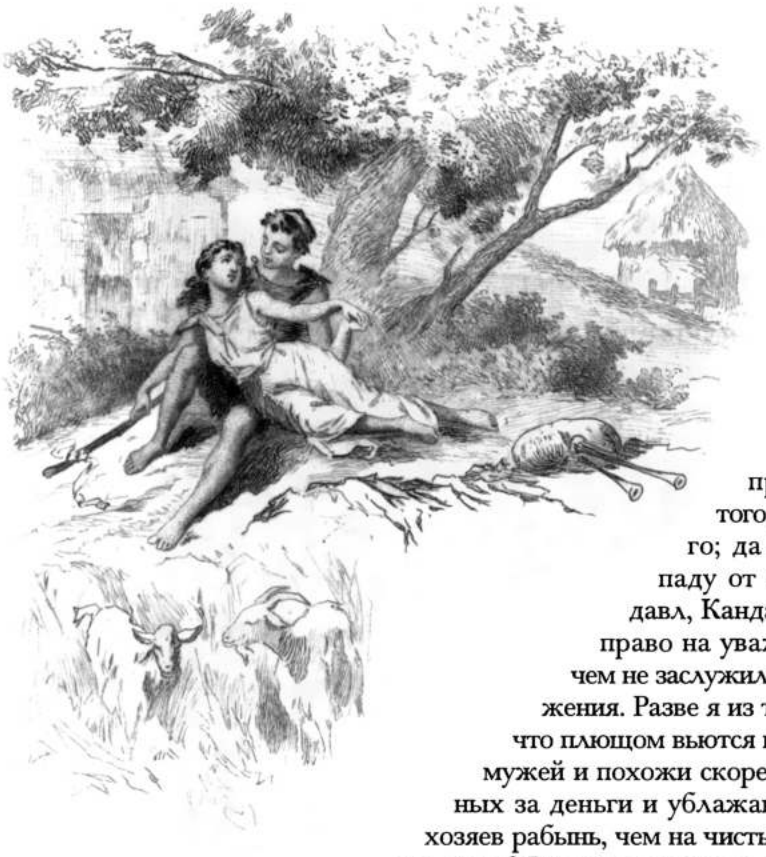
И все это время Ниссия лежала неподвижно, вытянувшись на краю постели и трепеща от страха, что Кандавл коснется ее. Она никогда не испытывала к сыну Мирса пылкой страсти, однако, несмотря на греческую вольность его поведения, часто вызывавшую в Ниссии отвращение, и на то, что их взгляды на целомудрие были полностью противоположны, она относилась к нему чистосердечно и серьезно, как и положено всякой порядочной жене. Но после нанесенной обиды в ее груди осталась лишь холодная ненависть и ледяное презрение: Ниссия предпочла бы принять от царя Лидии скорее смерть, чем ласку. Подобное оскорбление нельзя было простить, поскольку у варваров, и особенно у персов и бактрийцев, считается позором, если кто-то увидел тебя без одежды, будь ты женщина или мужчина.

Наконец Кандавл встал, и Ниссия, «пробудившись» от притворного сна, поспешно покинула осквернённую спальню, точно ее стены стали свидетелями бессонных оргий вакханок и гетер. Дочь Мегабаза не могла больше дышать воздухом опочивальни и, чтобы свободно предаться своему го-

рю, укрылась на женской половине, хлопнула в ладоши, призвав своих рабынь, и заставила их вылить на ее руки, плечи, грудь, на все тело полные кувшины воды, словно с помощью этих очистительных омовений надеялась смыть с себя грязь, оставшуюся на ней от взглядов Гигеса. Царице хотелось содрать с себя кожу, на которой отпечатались следы от его пылающих зениц. Ниссия брала из рук служанок пушистые полотенца и терла себя с такой силой, что ее тело покрылось пурпурными облачками.

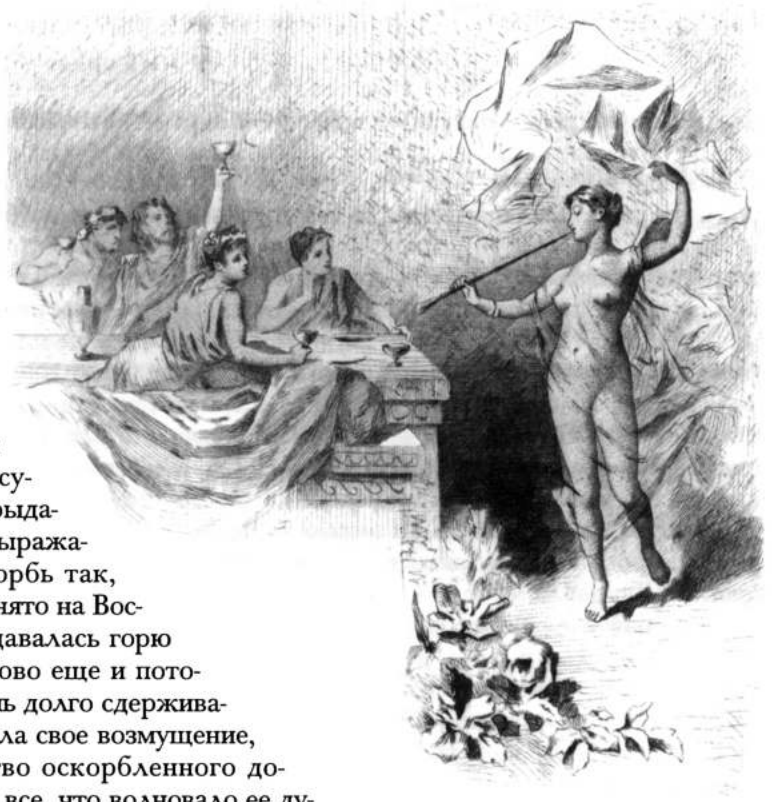
«Если бы я, – она отбросила влажные полотенца и отослала прочь прислужниц, – вылила на себя всю воду из всех источников и рек и даже целый соленый океан, то и тогда не очистилась бы. Такое пятно можно смыть только кровью. О, этот взгляд! Он клеймом лег на мою кожу, он душит меня, обволакивает и сжигает, будто хитон, пропитанный кровью Несса, я чувствую его, как отравленную пелену, которую никто не в силах сорвать. Сколько бы одежд я на себя ни надевала, в какие бы плотные ткани ни заворачивалась – ничто не поможет, все равно ко мне навсегда прилипло гнусное платье прелюбодейского похотливого взгляда. Напрасно с того самого часа, когда я вышла из чистого лона матери, растили меня в уединении, спрятав, точно египетскую богиню Исиду, за завесой, и краешка которой никто не смел приподнять под страхом смерти;[2] напрасно я пребывала вдали от дурных желаний и скверны, недоступная взглядам мужчин, незапятнанная, как снег, на котором даже орел не может оставить отпечатка своих когтей, ибо вершина, покрытая этим снегом, поднялась выше всех птиц в прозрачный ледяной воздух! Одного каприза порочного греко-лидийца хватило, чтобы я погибла, без вины виноватая, и пропал плод долгих лет осмотрительности и предосторожностей. Невинная и обесчещенная, спрятанная ото всех и доступная – вот судьба, которую уготовил мне Кандавл!.. Кто поручится, что в эту самую минуту Гигес на пороге дворца не обсуждает меня с простыми солдатами. О, стыд! О, позор! Двое мужчин видели меня обнаженной, и оба глядят на белый свет! И чем теперь Ниссия лучше бесстыдной гетеры, презренной блудницы? Тело, что я пыталась сделать достойным вместилищем для чистой благородной души, служит темой для пересудов, о нем говорят, точно о каком-нибудь похотливом идоле из Сикиона или Коринфа;[3] его одобряют или порицают: плечо прекрасно, руки хороши, вот только тонковаты, откуда мне знать? При одной лишь мысли об этом вся кровь приливает к моим щекам. О, красота, гибельный дар богов! Почему я не стала женой бедного простодушного козопаса в горах? Он не устроил бы засады у порога собственной хижины, чтобы надругаться над своим тихим счастьем! Мое исхудавшее тело, косматые волосы, обветренная кожа послужили бы мне защитой от такого страшного оскорбления; уродливая, зато чистая, – мне не за что было бы краснеть. Как осмелюсь я теперь пройти мимо этих двоих с гордо поднятой головой, ведь складки моей туники уже





ничего не прячут ни от того, ни от другого; да я замертво паду от стыда! Кандавл, Кандавл, я имела право на уважение, я ничем не заслужила такого унижения. Разве я из тех женщин, что плющом вьются вокруг своих мужей и похожи скорее на купленных за деньги и ублажающих своих хозяев рабынь, чем на чистых благородных жен? Разве я распевала после обеда любовные гимны, играя на лире, с влажными от вина губами, обнаженными плечами и венком из роз на голове, разве я дала своей нескромностью повод обращаться со мной, как с любовницей, которой хвастают перед другими развратниками?»

Пока Ниссия отчаянно предавалась своему горю, ее глаза наполнили огромные слезы, словно капли дождя чашечку лотоса после урагана, они стекали по бледным щекам и падали на прекрасные, беспомощно и бессильно раскрытые ладони, похожие на розы с наполовину опавшими лепестками, ибо ни один приказ не поступал к ее членам от поглощенного размышлениями мозга. Даже Ниоба, видя, как ее четырнадцатое дитя погибает от стрел Аполлона и Дианы[4], не выглядела столь мрачной и отчаявшейся. Но вот Ниссия очнулась, бросилась на пол, разодрала свои одежды, посыпала пеплом разметавшиеся волосы, расцарапала себе ногтями ще-



ки и грудь и забилась в судорожных рыданиях. Она выражала свою скорбь так, как это принято на Востоке, и предавалась горю столь неистово еще и потому, что очень долго сдерживала и скрывала свое возмущение, стыд, чувство оскорбленного достоинства – все, что волновало ее душу; теперь то, чем она всю жизнь гордилась, было растоптано, и хотя она ни в чем не могла себя упрекнуть, это ничуть ее не утешало. По словам поэта, только невинный знает, что такое муки совести. Ниссия раскаивалась в чужом преступлении.

Она собралась с духом, приказала принести прялки и корзины, полные разноцветных клубков шерсти, и задала, как обычно, работу рабыням; при этом ей казалось, что они смотрят на нее по-особенному, без боязливого почтения, не так, как раньше. И голос ее лишился своей твердости, а в походке появилось что-то жалкое и крадущееся: в глубине души она считала себя падшей.

Конечно, страдания Ниссии были чрезмерны, ее добродетель ничуть не пострадала от безумства Кандавла; но идеи, впитанные с молоком матери, имеют неодолимую власть, а стремление спрятать свое тело от посторонних взглядов доходит у восточных народов до крайностей, поч-

ти непостижимых на Западе. Когда в Бактрии во дворце Мегабаза мужчина хотел поговорить с Ниссией, ему полагалось стоять не поднимая глаз, и два евнуха с кинжалами в руках держались рядом, готовые пронзить его сердце, если он осмелится бросить взгляд на ту, чье лицо было тщательно закрыто. Вы легко поймете, каким смертельным оскорблением для воспитанной подобным образом женщины стал совершенный Кандавлом проступок, тогда как другая на ее месте отнеслась бы к нему как к безрассудной шалости. Ею неотвязно владела мысль об отмщении, именно она помогла Ниссии сдержать вопль оскорбленного целомудрия, чуть не сорвавшийся с ее губ, когда она, обернувшись, увидела в темноте сверкающий глаз Гигеса. Она повела себя столь же мужественно, как и воин в засаде, которого поразило случайное копье, но он не испустил ни стона, ни вздоха, чтобы не выдать своего укрытия в листве или тростнике, и молча смотрел, как кровь расчерчивает его плоть длинными красными линиями. Если бы она не подавила тогда возглас, то Кандавл, предупрежденный и встревоженный, насторожился бы, и ей было бы очень трудно или даже невозможно осуществить свое намерение.

Ниссия еще не составила никакого четкого плана, но твердо знала, что ей дорого заплатят за оскорбление. Сначала она хотела сама убить спящего Кандавла мечом, что висел над изголовьем. Но ей претило обагрить свои белые руки кровью и, кроме того, она боялась, что в решающий момент ей не хватит отваги, и, несмотря на клокочущую в груди злость, колебалась, не осмеливаясь пойти на эту крайнюю и не подобающую женщине меру.

Внезапно Ниссия будто решилась и приказала позвать Статиру, свою старую прислужницу из Бактрии, которой она доверяла больше остальных; хотя они были одни, она тихо прошептала старухе что-то на ухо, словно опасалась, что и у стен есть уши.

Статира глубоко поклонилась и тут же вышла.

Как и все, кому угрожает гибель, Кандавл не чувствовал никакой опасности. Он пребывал в полной уверенности, что Гигес ушел незамеченным, и думал только о том, с каким наслаждением он обсудит с фаворитом бесподобные прелести своей жены.

Он призвал Гигеса и отвел его во двор Гераклидов.

— Ну что, Гигес, — сказал он радостно, — я не обманул тебя, когда говорил, что ты не пожалеешь о нескольких часах, проведенных за той благословенной дверью? Я был прав? Есть ли на свете кто-нибудь прекрасней царицы? Если ты знаешь такую женщину, скажи мне честно и отнеси ей от моего имени эту нить жемчуга, символ власти.

— Господин, — дрожащим от волнения голосом ответил Гигес, — ни одно человеческое существо не идет в сравнение с Ниссией; лоб ее достоин не жемчужной нитки цариц, но звездного венца бессмертных.

– Я знал, что в лучах ее солнца твой лед непременно растает! Теперь ты понимаешь мою страсть, мою горячку, мои безумные желания. Ты согласен, что сердце мужчины не способно вместить такую любовь? Она обязательно наполнит его и перельется через край.

Яркий румянец окрасил щеки Гигеса, который теперь слишком хорошо понимал восхищение Кандавла.

Царь заметил, как Гигес изменился в лице, и сказал полушутя-полусерьезно:

– Мой бедный друг, не вздумай влюбиться в Ниссию, не трать понапрасну время. Я показал тебе статую, а не женщину. Я дозволил тебе прочитать несколько строф из прекрасной поэмы, рукопись которой принадлежит мне одному, только чтобы узнать твое мнение.

– Не трудись, господин мой, напоминать о моем ничтожестве. Я знаю, что жалкому рабу просто явилось во сне чудное, лучезарное видение идеальной красоты, с перламутровой плотью и божественными волосами. Я грезил с открытыми глазами, ты бог, пославший мне этот сон.

– Думаю, – продолжил царь, – мне незачем повторять, что ты должен хранить молчание: если ты не наложишь печать на свои уста, то на собственной шкуре узнаешь, что Ниссия далеко не столь добра, сколь прекрасна.

Царь жестом попрощался с наперсником и отправился взглянуть на старинное ложе работы знаменитого мастера Икмалия[5], которое ему предлагали купить.

Едва Кандавл скрылся из виду, как женщина, по варварскому обычаю закутанная до самых глаз в длинное покрывало, вышла из тени колонны, где она пряталась во время разговора царя с фаворитом, направилась прямо к Гигесу, положила руку ему на плечо и знаком велела следовать за ней.





Глава V

Статира подвела Гигеса к маленькой дверце, опустила задвижку, потянув за серебряное кольцо на кожаном ремне, и стала подниматься по крутой лестнице, вырубленной в толще стены. Ступени заканчивались у другой двери, которую старуха открыла ключом из меди и слоновой кости. Как только Гигес вошел, она, не сказав ни слова, исчезла.

К любопытству Гигеса примешивалось беспокойство, он не понимал, зачем явилась эта странная посланница. Ему показалось, что он узнал в молчаливой Ириде[1] одну из прислужниц Ниссии, а дорога, которой он следовал за старухой, вела в покои царицы. Он с ужасом гадал, заметила ли его в укрытии Ниссия или его предал Кандавл – оба предположения представлялись ему равно вероятными.

При мысли, что Ниссия все знает, его пылающий лоб покрылся ледяными каплями пота, Гигес хотел бежать, но Статира заперла дверь и отре-

зала ему путь к отступлению; тогда царский наперсник двинулся в глубь комнаты, затемненной толстыми пурпурными занавесками, и едва не столкнулся с Ниссией. Она была до того бледна, что он принял ее за статую. Все краски жизни покинули лицо царицы, лишь губы слабо розовели да на нежных висках проступила сеточка вен; зеленые очи потускнели, веки почернели, а слезы оставили блестящие полосы на нежных щеках. И от этого она стала еще трогательней и прекрасней[2]. Горе вдохнуло душу в ее мраморную красоту.

Небрежно застегнутые одежды не скрывали обнаженных рук, шеи и верхней части мертвенно-бледной груди Ниссии. Как воин, поверженный в первой битве, ее стыдливость сложила оружие. Разве сослужили свою службу покрывала, скрывающие фигуру, туники с тщательно уложенными складками? И разве Гигес еще не видел ее? К чему защищать то, что уже потеряно?

Она шагнула к Гигесу и, глядя ему в глаза ясным властным взором, сухо и отрывисто произнесла:

— Не лги, не ищи оправданий, имей мужество и достоинство признаться в своем преступлении; я все знаю, я видела тебя! Молчи, я не желаю тебя слушать. Кандавл сам спрятал тебя за дверью. Именно так и было. Думаешь уйти от ответа? К несчастью, я не гречанка, охотно уступающая капризам художников и сластолюбцев. Ниссия не станет ничьей игрушкой. Теперь вас двое, и один из вас лишний на этой земле, он должен исчезнуть! Если он не умрет, я не смогу жить. Ты или Кандавл, выбирай сам. Убей его, отомсти за меня — и ты получишь в награду мою любовь и трон Лидии, или умри — смерть отныне и навсегда закроет твои трусливые услужливые глаза, готовые смотреть на то, что им не принадлежит. Тот, кто приказал, виновен больше того, кто лишь подчинился приказу, но имей в виду: если я стану твоей женой, меня будут видеть только те, кто имеет на это право. Решайся, ибо одна пара глаз из двух, видевших мое тело, должна до заката погаснуть.

Гигес ожидал упреков, угроз, неистовой сцены. Странный выбор, предложенный с ужасающим хладнокровием и непоколебимой уверенностью, столь поразил его, что он молча неподвижно стоял несколько минут, бледный, словно тень на берегу черной реки в преисподней.

— Обагрить руки в крови моего господина! Неужели ты, царица, просишь меня свершить подобное злодеяние? Я понимаю, как ты возмущена, ты права: будь моя воля, я бы никогда не пошел на такое святотатство. Но ты знаешь: цари могущественны, в их жилах течет кровь богов. Наша судьба в их руках, мы, слабые смертные, не можем противиться царским приказам. Их власть сметает наши возражения, точно бурный поток плотину. Припадаю к стопам твоим, умоляю: будь милосердна! Забудь о нанесенном оскорблении, никто о нем не знает, оно навсегда похоронено во

мраке и тишине! Кандавл обожает тебя, восхищается тобою, его ошибка лишь в том, что он тебя слишком любит...

— Если бы ты обратился к гранитному сфинксу в знойных пустынях Египта, у тебя и то оказалось бы больше шансов добиться пощады. И даже если с твоих уст будут целую Олимпиаду беспрестанно слетать крылатые слова, это не изменит моего решения! В моей мраморной груди стучит бронзовое сердце... Умри или убей! Когда луч солнца, что пробился сюда сквозь занавески, достигнет ножки этого стола, ты должен сделать свой выбор... Я жду.

Ниссия скрестила руки на груди и застыла в позе, полной мрачного величия.

При взгляде на нее — неподвижную и бледную, с остановившимся взором, сдвинутыми бровями, растрепанными волосами, твердо стоящую на ногах, — Ниссию можно было принять за Немесиду, спустившуюся со своего грифона и ждущую часа, чтобы покарать виновного[3].

— Никто не отправляется по доброй воле в мрачные глубины Аида[4], — ответил Гигес. — Дневной свет — столь сладкая отрада для глаз, что даже герои охотно променяли бы острова Блаженных на родину[5]. Каждому присуще чувство самосохранения, и если должна пролиться кровь, то пусть она прольется не из моей груди.

К соображениям, в которых Гигес признался с античной прямотой, примешивались и более благородные чувства, о которых он умолчал: он безумно любил Ниссию и ужасно ревновал к Кандавлу. Он согласился на кровавое злодеяние не только из страха смерти. Ему невыносимо было думать, что Ниссия достанется другому, и к тому же его охватило чувство собственной беспомощности. В силу странных и страшных обстоятельств он оказался на пути к осуществлению своей мечты, могучий поток нес его, и даже Ниссия протягивала ему руку, чтобы помочь подняться на царский трон; все это заставило Гигеса забыть о том, что Кандавл — его господин и благодетель, ибо никто не может уйти от судьбы, она преследует вас с гвоздями в одной руке и с кнутом — в другой, чтобы пригвоздить или подстегнуть.

— Хорошо, поступим так. — Ниссия вытащила из-за пазухи бактрийский кинжал с нефритовой рукоятью, украшенной кольцами белого золота. — Этот кинжал сделан не из бронзы, а из самого твердого железа, закаленного в огне и воде, даже эфесцы не сумели бы выковать столь прочного и острого лезвия. Тонкий, как лист папируса, он пронзает металлические доспехи и щиты, покрытые кожей дракона. Все свершится этой ночью, — продолжила она, не дрогнув. — Пусть он уснет и никогда не проснется!

Гигес был потрясен, он никак не ожидал встретить подобную решимость в женщине, которая пуще смерти боялась приоткрыть свое лицо.

— Ты притаишься там же, где спрятал тебя нечестивец, чтобы выставить меня напоказ. С наступлением ночи я заслоню тебя створкой двери, разденусь и лягу, а когда он заснет, подам знак... Никаких сомнений, никакого малодушия, и пусть рука твоя не дрогнет в роковую минуту! Теперь, чтобы ты не передумал, я буду следить за тобой до назначенного часа; и не надейся, что сможешь бежать или предупредить своего господина!

Ниссия как-то по-особенному свистнула, и из-за цветастого персидского ковра тут же появились четыре страшных смуглых раба в платьях из полотна в косую полоску с мускулистыми и узловатыми, точно ветви дуба, руками. Толстые мясистые губы, золотые кольца в ноздрях, острые волчьи зубы, выражение бездушной услужливости на лицах — их вид был отвратителен.

Царица произнесла несколько слов на не знакомом Гигесу языке, очевидно на бактрийском, и четыре раба набросились на лидийца, схватили и унесли, как кормилица уносит младенца в своем подоле.

Что же двигало Ниссией на самом деле? Возможно, она заметила Гигеса во время их встречи под Бактрией и сохранила воспоминание о молодом воине в дальнем уголке своего сердца, там, где даже у самых порядочных женщин всегда припрятаны какие-то секреты? Не крылся ли в ее желании отомстить за свою честь другой тайный мотив, и так ли она стремилась бы покарать Кандавла, не будь Гигес самым красивым мужчиной в Азии? Щекотливый вопрос, особенно теперь, по прошествии почти трех тысяч лет, и хотя мы обращались к Геродоту, Эфестиону, Платону, Досифею, Архилоху Паросскому, Гесихию из Милета, Птолемею, Эвфориону[6] и всем, кто сказал хотя бы два слова о Ниссии, мы не смогли прийти к однозначному выводу. Через столько столетий под развалинами рухнувших империй, под останками исчезнувших народов разобраться в столь тонких нюансах очень трудно, если не сказать невозможно[7].

Ясно, что решение Ниссии было окончательным и бесповоротным, убийство представлялось ей исполнением священного долга. У варварских народов мужчину, увидевшего женщину обнаженной, предавали казни. Царица считала себя вправе казнить виновного, но поскольку об оскорблении никто посторонний не знал, она вершила суд своими силами. Безмолвный соучастник стал палачом автора идеи, наказание родилось из преступления. Рука карала голову.

Оливковые монстры заперли Гигеса в укромном уголке дворца, вырваться оттуда он не мог, а если бы вздумал кричать, никто бы его не услышал.

Он провел там остаток дня, терзаясь жесточайшими сомнениями и кляня время то за медлительность, то за быстротечность. Грядущее преступление, пусть даже он был только орудием в чужих руках и дал согласие против воли, виделось ему в самых мрачных тонах. Вдруг все сорвет-

ся из-за непредвиденных обстоятельств, вдруг народ Сард взбунтуется и захочет отомстить за смерть царя? Таким вполне понятным, хотя и бесполезным, размышлениям предавался Гигес, ожидая, когда его выпустят из заточения и отведут в укрытие, из которого он выйдет только затем, чтобы убить своего господина.

Наконец ночь развернула на небе свое звездное покрывало, мрак окутал город и дворец. Послышались легкие шаги, какая-то женщина с закрытым лицом распахнула дверь, взяла Гигеса за руку и повела по бесчисленным темным коридорам и закоулкам с такой уверенностью, словно впереди нее шел раб с факелом или светильником.

Рука женщины была холодной, хрупкой и маленькой, но тонкие пальцы сжали руку Гигеса с силой чудом ожившей бронзовой статуи; в их жесткости он ощущал несгибаемую волю, они держали его крепко, словно тиски, и никакие тревоги не могли ослабить их хватку. Смирившийся, покорный, уничтоженный Гигес уступил этой властной силе, как если бы его влекла за собой длань неумолимой судьбы.

Увы! Не так хотел бы он впервые коснуться прекрасной царицы, которая вручила ему кинжал и вела на убийство, ибо Ниссия сама пришла за Гигесом, чтобы отвести к дверям опочивальни.

За все время пути зловещая пара не обменялась ни словом.

Царица развязала ремни, подняла засов и приказала Гигесу встать за дверью в точности, как накануне. Повторение тех же действий ради совсем другой цели представлялось страшным и зловещим. На этот раз по следам оскорбления ступала месть; наказание и преступление шли рука об руку. Вчера был Кандавл, сегодня наступила очередь Ниссии, а Гигес — участник преступления — стал участником казни. Его служба царю привела к бесчестью царицы, а теперь, выполняя приказ Ниссии, он станет цареубийцей, беззащитный как перед пороками первого, так и перед добродетелью второй.

Казалось, дочь Мегабаза испытывает дикую радость, жестокое удовлетворение оттого, что прибегла к уловке, придуманной лидийским царем, и использует для убийства те же предосторожности, что и он для своей сластолюбивой фантазии.

— Сегодня ты опять увидишь, как я снимаю одежду, которая так раздражает Кандавла. Тебе будет скучно, — с горечью в голосе сказала царица на пороге опочивальни. — Кончится тем, что ты найдешь меня безобразной.

На секунду бледные губы Ниссии скривились в несвойственной ей сардонической усмешке, затем с прежним хладнокровием и суровостью она добавила:

— И не думай, что сможешь незаметно уйти, как вчера, помни, я вижу тебя насквозь. Если что — разбужу Кандавла, и тебе придется изрядно

потрудиться, чтобы объяснить, что ты делаешь в царских покоях, спрятавшись за дверью с кинжалом в руке. К тому же мои немые рабы, которые заперли тебя сегодня, охраняют все выходы из дворца, им отдан приказ убить тебя, если ты шагнешь за порог. Так что не терзайся понапрасну, забудь о верности и долге. Думай о том, что я сделаю тебя царем... и что я полюблю тебя, когда месть свершится. Его кровь станет твоим пурпуром, смерть Кандавла освободит тебе место на этом ложе.

Как всегда, вскоре пришли рабы, чтобы поменять масло в лампе и угли в треножниках, застелить постель шкурами и коврами. Едва их шаги стихли, Ниссия поспешила войти внутрь.

Через несколько минут явился радостный Кандавл, он купил ложе Икмалия и решил поставить его взамен старой кровати в восточном стиле, которая, по словам царя, всегда его раздражала. Похоже, он был очень доволен, обнаружив Ниссию в супружеской опочивальне.

— Значит, сегодня вышивка, веретено и иголки утратили свою былую привлекательность? Что хорошего в такой однообразной работе? Меня всегда поражало, отчего тебе нравится эта вечная возня с нитками. По правде говоря, я даже опасался, что, увидев, какая ты мастерица, Афина Паллада однажды со злости стукнет тебя челноком по лбу, словно бедную Арахну[8].

— Господин, я сегодня немного устала и потому спустилась пораньше. Не изволишь ли перед сном выпить черного самоса[9] с гиметтским медом?[10] — Ниссия взяла золотой кувшин и наполнила кубок темным напитком, в который она заранее добавила снотворный сок непентеса[11].

Кандавл взял кубок за обе ручки и выпил все до последней капли, но у молодого Гераклида была крепкая голова: приподнявшись на локте, утопавшем в подушках, он смотрел, как Ниссия раздевается, будто не чувствовал сонной пыли на ресницах[12].

Так же, как накануне, Ниссия распустила светлые волосы, упавшие на плечи роскошным потоком. Гигесу из его укрытия почудилось, что они приобрели хищный оттенок, отражая пламя и кровь, а тугие локоны, распрямляясь, извивались подобно змеиным прядям медузы Горгоны.

В преддверии страшного злодеяния простые и грациозные жесты царицы получили в глазах притаившегося убийцы зловещий роковой смысл и заставили Гигеса задрожать от ужаса.

Затем Ниссия торопливо расстегнула браслеты, но пальцы, сведенные нервной судорогой, плохо слушались царицу. Она порвала нитку браслета, и оправленные золотом кусочки янтаря застучали по полу, заставив Кандавла приоткрыть уже слипавшиеся веки.

Как капли расплавленного олова погружаются в холодную воду, так каждая бусина насквозь пронзала душу Гигеса.



Развязав сандалии, царица бросила верхнее одеяние на спинку кресла из слоновой кости. Гигесу мнилось, что это не свисающая небрежными складками туника, а одно из зловещих полотнищ, в которые заворачивают мертвецов перед тем, как нести на костер. Все в этой комнате, вчера казавшейся лидийцу радостной и роскошной, сегодня представлялось мертвенно-бледным, мрачным и угрожающим. Бронзовые статуи щурились и мерзко усмехались. Тусклая лампа мигала, от нее тянулись багровые кровавые лучи, подобные хвосту кометы, в темных углах копошились смутные уродливые ларвы и лемуры[13]. Мантии, развешанные по стенам, оживали, обретая человеческое обличье, а когда Ниссия сняла с себя последнии одежды и обнаженная, белая, словно призрак, подошла к постели, ему почудилось, что это сама Смерть, разорвав алмазные цепи, которыми Геракл приковал ее к вратам Аида ради спасения Алкесты[14], явилась за Кандавлом.

Царь, покорившись чарам непентеса, заснул. Ниссия подала Гигесу знак, чтобы он вышел из укрытия, и, приложив палец к груди жертвы, взглянула на сообщника такими влажными, проникновенными, полными пьянящих обещаний глазами, что завороженный Гигес потерял голову и, как выследивший добычу тигр, одним прыжком пересек спальню и по самую рукоятку вонзил бактрийский кинжал в сердце потомка Геракла. Месть свершилась, мечта Гигеса сбылась.

Так оборвалась династия Гераклидов, правивших в Лидии пятьсот пять лет, и с Гигесом, сыном Даскила, к власти пришла династия Мермнадов. Жители Сард, возмущенные смертью Кандавла, вознегодовали, но Дельфийский оракул высказался в пользу Гигеса, пославшего жрецу Аполлона несметное количество золотых ваз и шесть золотых кратеров весом в тридцать талантов. Новый царь взошел на престол Лидии и занимал его долгие годы[15]. Он был счастлив и никому не показывал свою жену, ибо слишком хорошо знал, чего это стоит.





НЕВИННЫЕ РАСПУТНИКИ





Глава I

Однажды, когда на берегах Бьевры[1] под проливным дождем проходили скачки с препятствиями — так что джентльменам-райдерам[2] понадобились не только хлысты, но и зонтики, — часу в седьмом вечера к подъезду одного из знаменитейших ресторатоpов Пале-Рояля[3] с грохотом и свистом подкатили кареты, до самого верха забрызганные грязью.

Из экипажей вышли несколько совсем не старых мужчин и несколько молодых женщин, которых, с точки зрения тонкого вкуса, стоило упрекнуть лишь в том, что их пышные наряды были слишком *броскими*, если нам дозволят воспользоваться гипаллагой[4], к коей прибегают модистки и портнихи для описания привлекающей внимание вещи или расцветки.

Веселая и шумная компания устремилась к лестнице; пока двери ресторана не закрылись, прохожие, до которых доносились громкие голоса и взрывы смеха, вздыхали и завидовали счастливым смертным, коим предстояло вкусить сказочных удовольствий. Извозчики, радуясь заработанным пяти франкам, в знак благодарности проводили щедрых седоков торжествующими воплями.

В большой красной зале второго этажа гостей ожидал великолепно сервированный стол, и они расселись вокруг него, казалось бы, в случайном порядке, а на самом деле сообразно своим правам, симпатиям и антипатиям. Дамы сняли шляпки и накидки, взбили оборки на юбках, едва заметным движением подправили вырезы лифа и подтянули корсажи, грациозно распрямили плечи и занялись прочими приготовлениями к продолжительной трапезе. Две-три прелестницы с большим трудом стянули со своих маленьких ручек узенькие перчатки и, скомкав их, отправили на дно бокалов для шампанского вместе с букетиками пармских фиалок и кружевными платочками. Остальные, боясь повредить нежные пальчики, не решились снять перчатки и наградили приятельниц снисходительными взглядами, как бы жалея тех за отсутствие утонченных манер.

Официанты, одетые, точно врачи или дипломаты, в черные фраки и белые галстуки, легкими, безмолвными тенями скользили вокруг стола и, учтиво согнувшись, с таинственным видом шептали: «Не желает ли Господин — или Госпожа (в зависимости от пола) — хересу, мадеры, котлет со спаржей, фазана с трюфелями, волованов с тюрбо[5]?» Подражая чопорности английской прислуги, они говорили скорбным, исполненным глубокой печали голосом, который мало соответствовал смыслу их речей. Глядя на степенные кислые физиономии этих «служителей культа Комуса»[6], неискушенные мещане приняли бы их скорее за могильщиков, роющих собственную могилу, чем за распределителей хмеля и веселья.

Тем временем благодаря немногословным, но энергичным стараниям этих призрачных ганимедов[7] тишина, обычно сопутствующая первой перемене, мало-помалу сменилась возбуждением; тут и там завязалась частная беседа, поднялся шум, и вскоре каждому, кто хотел быть услышанным, уже приходилось повышать голос. Свечи жарко пылали, а цветы в корзинках на плато[8], занимавшем всю середину стола, испускали пряные ароматы.

Резкий возмущенный голос барона Рудольфа покрыл общий гомон и звон посуды, и предложение, с которым барон выступил, тут же нашло немало сторонников.

— Почему никто не выбросит за окно эту гадкую латунную башню, которая якобы служит украшением стола, а на самом деле только загораживает от нас Амину и Флорансу!

С этими словами Рудольф потянулся к большому бронзовому плато с засахаренными фруктами и конфетами, точно собирался перейти от слов к делу.

Печальные слуги вмиг подоспели и убрали плато, и из-за нагромождения бронзы и цветов во всем блеске своей красоты, словно две звезды,

воссиявшие из-за туч, перед собранием явились Амина и Флоранса, а барон Рудольф, пожелавший лицезреть два прелестных создания вместо горы сладостей, в очередной раз продемонстрировал отменный вкус.

Амина и Флоранса, между которыми расположился какой-то невзрачный кавалер, представляли собой две полные противоположности; эти две женщины словно были созданы исключительно с одной целью — доказать, что совершенства можно достичь абсолютно разными путями.

Амина — среднего роста, изящная и вместе с тем пухленькая. Цвет ее кожи, изысканно свежий, как от природы, так и от пудры с румянами, изумительно подчеркивал нежность черт, скорее тонких, чем правильных. Крошечный детский ротик, форма которого совсем не соответствовала словам, вылетавшим из него, бархатные глаза, пораженные дерзостью собственных взглядов, и маленький носик с розовыми чуткими ноздрями давали сочетание детской прелести с соблазнительностью и распущенностью. Амина, в ранней юности развращенная поверенным в делах при одном из северных дворов, была коварным демоном в ангельском обличии.

Она недаром слыла опасной женщиной, неотразимой сиреной — кто однажды поддался ее роковым чарам, уже не мог вырваться. В длинном списке любовников Амины не было ни одного, кто расстался бы с нею по своей воле, даже среди тех, кому она открыто изменяла.

Шелковое платье с широкими полосами, словно сшитое из лент, придавало ее облику что-то весеннее и своенравное и потому очень шло своей хозяйке.

Флоранса напоминала заблудившуюся королеву, которая никак не может найти дороги в собственный дворец. В облике этой женщины сочеталось столько достоинства и подлинного благородства, что ее прозвали *императрицей*. Каждый втайне подозревал, что она не такая, как все, что она попала в богему, где чувствует себя чужой, лишь в силу несчастливой случайности или социальной несправедливости, с которой не в силах смириться натура царственной красавицы.

У нее был безупречный греческий овал лица, а гладкую шею словно вырезал из паросского мрамора сам Прадье[9]. Флорансе явно не хватало скипетра, и она довольствовалась тем, что поигрывала позолоченным ножиком с перламутровой ручкой. Светло-оливковая кожа Флорансы вызывала в памяти страстную бледность андалусских и гаванских прелестниц и смотрелась особенно выигрышно при свечах. Черное бархатное платье с высоким лифом и маленьким воротничком, отороченным кружевом англетер[10], один-единственный прекрасный роскошный браслет от Фромен-Мёриса[11], да и то наполовину скрытый манжетой, — вот, пожалуй, и весь простой, строгий наряд Флорансы. Хотя лицо ее не выражало ни-

какого пренебрежения к обществу, пусть не избранному, но блестящему, никто не нарушал ее гордого одиночества. Ее сосед справа ухаживал за другой дамой, а сосед слева, видя, что Амина жарко спорит со своим визави, предпочел не вступать в бурный диалог с Флорансой, а отведать все блюда, которые присылал ему резальщик или, если позволите, *стольник, разрезающий мясо*, – хотя в наш буржуазный век этот термин отдает некоторой высокопарностью.

Однако ж молчаливая и одинокая Флоранса принимала гораздо более живое участие в том, что происходило вокруг, чем можно было предположить по ее блуждающему взору и равнодушному виду.

Амина, несмотря на непрестанную болтовню и громкий хохот, тоже, казалось, была чем-то увлечена: глаза ее часто, с каким-то странным выражением, будто сами собой, обращались на правый конец стола. Что таилось в этих молниеносных взглядах: кокетство, нежные чувства или же коварство, – а также кому они предназначались, определить было сложно. Отметим, что счастливый смертный, который в то время имел полное право на подобные взоры, сидел слева. Правда, такой женщине, как Амина, это лишь придавало смелости.

Маневры Амины не ускользнули от внимания Флорансы, незаметно наблюдавшей за соперницей с превосходно разыгранным безразличием, свойственным кошкам, диким животным и женщинам.

Амина не раз чувствовала на себе взгляд соседки, и ей казалось, что та разгадала ее секрет, но Флоранса, которая маленькими глоточками пила вишневый ликер – трапеза перевалила уже за середину, – молниеносно отводила глаза в сторону и принимала совершенно равнодушный вид. Амина лишь убеждалась в безучастности или недостатке проницательности у *императрицы*, одуревшей от собственной красоты и не способной думать ни о чем, кроме как о своих совершенствах.

Там, куда поглядывала Амина, сидели двое достойных ее внимания мужчин – барон Рудольф, тот самый, что в порыве галантности грозился выбросить плато, и Анри Дальбер, молодой человек, который недавно появился в свете, но уже обещал очень скоро промотать капитал, приносивший ему двадцать пять тысяч франков дохода.

Барону было под сорок, хотя на вид ему не дали бы и тридцати. Черные волосы, коротко остриженные, дабы скрыть намечающиеся залысины; тонкие усики, напомаженные и закрученные; женоподобное и вместе с тем жестокое выражение залитого мертвенной бледностью лица – в общем, он слегка напоминал портреты Жане или Порбуса, изображающие миньонов Генриха III[12]. Не исключено, что сходство это было не только физическим, но и духовным.

Дальберу исполнилось самое большее двадцать два года. Открытое кроткое лицо, добрый взгляд и улыбка никак не соответствовали его нарочито громкой речи и бойкому обращению. Розовый цвет юности еще не совсем покинул щеки, немного побледневшие от некоторых излишеств и частых визитов за кулисы Оперы[13]. По явному удовольствию, с которым Дальбер время от времени проводил черепаховым гребешком по золотисто-каштановой бородке, было видно, что молодой человек отрастил ее совсем недавно.

«Который из двух?» – гадала Флоранса, кивая своему соседу, который после долгих раздумий решился наконец нарушить молчание важным метеорологическим наблюдением:

– Ужасная нынче погода, не правда ли?

«Рудольф? Анри? Рудольф прежде был в милости у Амины, а Амина хвастает тем, что никогда не возвращается к старому. Если она пустилась в нежные воспоминания, значит, дела ее совсем плохи. Скорее, она отчаянно строит глазки Анри. Неужели ее Демарси разорился?»

Флоранса взглянула на счастливца, служившего министром финансов при Амине: он восседал на левом конце стола со спокойствием и самоуверенностью обладателя крупного пакета акций Северной железной дороги[14].

«Если это каприз, то каприз ума или сердца? Посмотрим», – продолжала Флоранса свой внутренний монолог.

– Сколько же она попортила шляп, шарфов и платьев, – плаксивым тоном добавил ее сосед, ибо он вдруг осознал, что сие прискорбное обстоятельство послужит очередной уловкой, чтобы заставить его раскошелиться на новый наряд взамен совершенно целого или чуть-чуть закапанного старого.

«Неужели Дальбер не видит, что стал мишенью для стрел Амины? Неужели не ощущает ее взглядов? Странные все-таки создания эти мужчины. Только Дальбер да Демарси ничего не замечают».

Нет, Дальбер не так глуп: просто он очень занят спором с Рудольфом. Дальбер сегодня проиграл двадцать пять луидоров, поставив не на ту лошадь; сумма незначительная, но пострадало его самолюбие, и он с жаром доказывал выигравшему пари барону, что во всем виноват наездник.

– Дорогой мой, – отвечал ему Рудольф, – на вашем месте каждый мог ошибиться. Ваш фаворит по сути своей – кляча, но с виду у него отличные *данные* (барон произнес это слово по-английски). Вы судили как художник, а не как жокей, но я поспособствую вашему образованию. Я представлю вас Эдвардсу и Робинсону и познакомлю с самым знаменитым берейтором – Томом Хёрстом[15].

Окрыленный надеждой, Дальбер воспрял, тут же заметил ряд тонких бокалов, бесстрастно наполненных хмурыми виночерпиями, и начал одно за другим пробовать Барсак, Грюо-Лароз, Романею, Констанцу[16] и прочие знаменитые белые и красные вина.

Амина улыбнулась, увидев, что Дальбер воздал-таки должное трапезе, и сказала своему соседу:

— Он ведет себя, словно ребенок.

— Если он продолжит в том же духе, то напьется, как гвардеец за королевским столом, — с сожалением отметил тот.

Рудольф пил мало и исключительно холодное шампанское, разбавленное сельтерской водой. Он ссылался на легкий гастрит: якобы во время последней поездки в Англию позволил себе в лондонских притонах так называемые излишества.

Разница в поведении двух приятелей не ускользнула от Флорансы, она повела плечами и этим едва заметным движением выдала свое раздражение.

Наконец до Анри долетели молнии Амины, и он, наклонившись к Рудольфу, прошептал:

— Не подумайте, что я хвастаю, но мне кажется, Амина поглядывает на меня ужасно нежно.

— Черт возьми! Тут и сомневаться нечего, — ответил Рудольф, — боюсь, однако, ваша скромность Неморена не позволит вам воспользоваться благосклонностью этой Эстеллы[17].

Анри стал горячо защищаться, уверяя, что далеко не пастушок, и с чистосердечным видом утверждая, что на свете нет волокиты бессовестнее его, а Ловелас и Дон-Жуан рядом с ним — просто дети.

— Тем лучше, — заключил Рудольф, — а то ведь вас уже подозревают в том, что вы питаете некую чистую страсть, а это, сами знаете, распоследнее дело.

Анри покраснел точно пойманная на шалости девочка и поспешил скрыть свое смущение тостом в честь Амины и Флорансы, которые высоко подняли бокалы в ответ.

Ужин подходил к концу, шум усилился, все говорили разом, и за неимением слушателей каждый беседовал сам с собой. Полдюжины трагедийных наперсников[18], которые так хорошо умеют слушать, пришлись бы как нельзя кстати в этом избранном обществе. Поскольку никто не уделял ей внимания, Амина, зловредная бестия, принялась портить все подряд: фрукты, десерты, ананасы. Она поставила своей целью залезть во все нетронутые блюда, а также обрушить большой ложкой все уцелевшие башенки из безе и взбитых сливок, уверяя, что делает это из филантропических побуждений, дабы сии блюда, запыленные и заплесневев-

шие, не подали во второй раз на свадебном обеде честных людей. Она перебила бы и хрусталь с фарфором и бокалами, если бы Рудольф некогда не убедил ее, что эта мода ушла в прошлое вместе с Империей[19] и Реставрацией[20].

Все двинулись в гостиную. Флоранса, завидев, что Амина направляется к Анри, опередила ее и завладела его рукой. Амина подошла к Рудольфу и шепнула ему:

— Ну, и как я, по-вашему, строила глазки?

— Чистая работа, — ответил Рудольф так же тихо, — взгляд искоса, из-под полуопущенных ресниц, вместе с влажной вспышкой молнии неотразимы. С тобой не сравнится ни андалузка, ни баядерка. В твоих глазах есть какая-то перламутровая поволока, она стоит миллион.

— Она и принесла мне миллион, — засмеялся хорошенький демон, широко раскрыв алый ротик и показав два ряда крепких рисовых зернышек.

— Дальбер должен влюбиться в тебя до безумия, — продолжил Рудольф.

— Я с удовольствием вскружу ему голову: он очень мил и мне нравится его невинная наружность.

— Из любви к противоположному, конечно. Сверх того, по известным мне причинам, нужно скомпрометировать его по всем статьям. Показывайся с ним почаще в открытой ложе в Опере, в партере маленьких театров, в коляске на Елисейских полях, в Булонском лесу и на скачках, — и помни, ты должна блистать. Пусть все таращатся на тебя, едва заприметив на другом конце Марсова поля, и пусть целый театр не сводит взора с тебя одной.

— А если Демарси рассердится? Да, он не очень проницателен, но от того, что вы требуете, у всякого глаза на лоб вылезут.

— Да что с ним церемониться? Он богат, да скуп, а Анри не крепко держится за свои пятьсот тысяч франков: лакомый кусочек.

— Да, но главное, он красив.

— К тому же, если ты потеряешь своего банкира, я достану тебе индийского князька с морем рупий, горой кашемира и алмазами, которые можно грести лопатой.

Анри и Флоранса пересекли гостиную и остановились в нише у приоткрытого окна. В воздухе Пале-Рояля нет ни ароматов альпийских лугов, ни благоухания южных ночей, но даже этот ветерок приятно освежает после трехчасового пребывания в душном зале, нагретом пламенем свечей, пропитанном запахами яств, винными парами и дыханием двадцати человек.

Небо расчистилось, лунное сияние залило липовые аллеи и покрыло серебряными блестками воду в фонтане. На лицо Флорансы с одной стороны падал розовый свет люстр, а с другой — голубоватый лунный луч, и в этом освещении ее красота стала еще удивительней и благородней. Дальбер, отличавшийся кавалеристскими замашками, против воли обращался с собеседницей почтительно, как с порядочной женщиной; он внимательно слушал ее умные, здравые замечания о событиях минувшего дня и совершенно забыл об Амине.

Амина почувствовала угрозу и, не желая сдавать завоеванные позиции, нашла очень простой способ избавить закадычного друга Рудольфа от мудрой Флорансы.

После кофе и ликеров общество вздумало танцевать. В «Провансальских братьях» всегда есть два-три пианиста, готовых по первому зову сесть за инструмент. Полусонные, они начинают механически играть контрдансы[21], галопы[22], вальсы[23] и польки;[24] как все молодые бедные артисты, они мечтают о симфониях Бетховена и операх Мейербера[25], но ради куска хлеба соглашаются на безрадостную работу в ресторане. Ночью эти бесстрастные зрители, подобные рабам-спальникам на фресках Геркуланума[26], любуются сверкающими от украшений прекрасными молодыми женщинами, веселыми и довольными жизнью, а днем, склонившись над испещренными помарками нотами, безвестные музыканты с тоской вспоминают лица недоступных ангелов и демонов.

Амина подошла к Анри и, шутливо поклонившись Флорансе, сказала ей своим тонким, как флейта, голоском:

— Сударыня, простите мою дерзость, но я намерена похитить вашего собеседника: у меня нет кавалера. Пожалуйте, господин Анри, — жеманно продолжила она. — Вы в другой раз наглядитесь на луну. Не подумайте, однако ж, что я питаю к вам особенную страсть, раз я сама приглашаю вас на танец. Женщине, которой хочется танцевать польку, не до приличий, вы для меня — всего лишь две ноги в лакированных сапогах да две руки в белых перчатках, и только.

И Амина оперлась на руку Дальбера с порочной небрежностью, никак не вязавшейся со словами обольстительницы. Анри почувствовал невольное смущение, когда теплый податливый корсет прижался к его рукаву.

Заиграли вальс; Амина, легкая словно перышко колибри, повисла на плече кавалера, едва касаясь пола маленькими ножками; казалось, Дальбер нес ее на руках. Ее хорошенькая головка запрокинулась назад, локоны развевались в вихре танца, полуоткрытый рот, жаркое, частое дыхание и томные влажные глаза — все в ней дышало сладострастием, против которого не устоял бы даже самый холодный мужчина. К счастью, Де-

марси, как человек женатый, обязан был являться домой в приличное время, и потому уже давно сел в карету и уехал.

Флоранса не отходила от окна, и шторы почти полностью скрывали ее; она незаметно наблюдала за Аминой и, не веря глазам, думала: «Неужели она в самом деле влюблена в Дальбера?»

Устав от танцев, Анри сел против Рудольфа за карточный стол. От выпитого вина в голове Дальбера несколько помутилось, к тому же ему не давали покоя чарующие взгляды Амины, в общем, он проиграл около пятидесяти луидоров, которые перекочевали в карман Рудольфа, воссоединившись с теми двадцатью пятью, что барон выиграл на скачках. Удовольствия этого дня обошлись Анри в две тысячи франков и ровно столько же принесли Рудольфу.

Господин метеоролог путем сложных и долгих перемещений опять оказался рядом с Флорансой и поделился с ней третьим выводом, который, следуя высшей логике, сделал из первых двух:

— По-моему, стоит откладывать стипль-чез и вообще все торжества на свежем воздухе, если барометр показывает «дождь» или «переменно».

Ночь была уже в самом разгаре, часовая стрелка приближалась к трем. Дальбер, меньше других гостей — искушенных жуиров[27] и гуляк — привычный к ночным бдениям, присел в уголке на козетку и уснул, как ребенок, которого забыли вовремя уложить.

— Ба! — сказала Амина, подойдя к нему. — Спит, спит один, ровно целый художественный совет. Хоть бы, по примеру балетных героев, назвал во сне имя своей возлюбленной: вот было бы забавно!

Вдруг она склонилась к спящему, словно Диана к Эндимиону[28]. Одна опаловая пуговица его рубашки расстегнулась и открыла золотой медальон на шелковой ленте. В одну секунду Амина достала медальон и перекусила своими мышиными зубками шнурок. Дальбер вздрогнул и провел рукой по груди, будто защищая свою собственность, однако не проснулся.

— Ну вот, мы все-таки посмеемся, — обрадовалась Амина, — пусть мы не узнаем имени, так, по крайней мере, посмотрим, как выглядит возлюбленная Дальбера.

Лукавая похитительница убежала в другой конец залы и спряталась среди приятельниц, опасаясь, как бы у нее не отняли медальон. Она надавила на пружину и открыла крошечный, размером с ноготок, портрет юной девушки.

Все женщины по очереди всматривались в ее лицо, но ни одна не смогла назвать имя.

— Раз никто не знает, кто это, значит, она из порядочных, — сказала Амина со свойственной ей беспардонностью. — Похоже, эта белокурая

девочка красавица... Голубые глаза хороши. Вид благовоспитанный. Но как же пресно и холодно — совершенство, от которого умрешь со скуки!

Когда пришла очередь Рудольфа взглянуть на медальон, бледное лицо барона мгновенно озарилось радостью. Похоже, он с первого взгляда узнал таинственную незнакомку.

— Не отдавай портрета, — шепнул он Амине, заметив, что та направилась к Дальберу.

Флоранса также не смогла удержаться от легкого трепета при виде медальона. Быть может, ее совесть, более щепетильную, чем у подруг, возмутили насмешки над чистым и благородным чувством.

— С добрым утром, пастушок! — сказала Амина, подойдя к пробудившемуся Дальберу. — Поведайте нам ваши розовые сны. Вы видели напудренных барашков на зеленых лугах и, вздыхая, прославляли на свирели вашу красавицу, как и положено прекрасному Селадону?[29]

— Что за глупости? — удивился Дальбер, еще не заметивший пропажи.

— А я-то еще недавно, на скачках, с дрожью слушала страшные истории о похождениях этого сударя, рассказанные им Рудольфу: так и чудилось, из недр земных вот-вот вырвется скипидарное пламя и поглотит великого злодея! А лев-то оказался ягненком, Дон-Жуан носит на груди портрет пансионерки... да еще и прядь волос! Да-да, прядь волос — только этого не хватает для полноты сей сентиментальной картины! Отчаянный волокита мечтает о жирном супе, мясе с капустой, законной жене и семерых ребятишках! Так вот что вам надо для счастья!

Все женщины зло расхохотались.

— Отдайте медальон!.. Это портрет моей матери...

— Полноте! — возразила Амина. — Ведь тут выставлен год. В тысяча восемьсот сорок пятом году вашей матушке явно было больше семнадцати.

— Я оговорился, — пробормотал Дальбер, — я хотел сказать — сестры.

— Что-то вы путаете, мой дорогой, нет у вас никакой сестры. Одно из важнейших ваших преимуществ состоит в том, что вы единственный сын.

— Хватит, пошутили, и довольно. Отдайте медальон...

— Нет уж, извините, я помещу его в мой музей. Не могу отказать себе в счастье обладать добродетелью... пусть даже только намалеванной.

Дальбер с гневом вскочил, чтобы силой вернуть свое, но Амина, предугадав его намерения, быстро переложила медальон из одной руки в другую и, пока Дальбер пытался разжать ее кулачок, незаметно спрятала медальон за корсет.

— Нечего строить из себя лорда Ратвена и герцога де Гиза[30], мне только синяков не хватало, — молвила Амина и показала пустую ладонь.

Резко развернувшись, она бросилась к дверям, накинула протянутое слугой манто и упорхнула как пташка вниз по лестнице.

Дальбер поспешил за ней, но, выбежав на улицу, увидел только искры, вылетавшие из-под копыт лошадей, и сворачивающий за угол экипаж Амины.

Глава II

Площадь перед старинной церковью Сен-Жермен-де-Пре[1] была совершенно безлюдной. Утренний туман, разрешившись мелким дождем, разогнал редких в этих местах прохожих. Глаза окрестных домов только-только начинали открываться, и город казался бы мертвым, если бы в нескольких шагах от паперти не стоял фиакр[2] с опущенными шторками.

В дверях церкви показалась дама в черной шляпке с плотной вуалью, не позволявшей разглядеть черты лица, и в просторном темном манто на меху, скрывавшем все формы незнакомки. Перед выходом она смочила святой водой кончики пальцев, затянутых в перчатку, а затем — то ли ей не хотелось поднимать вуаль, чтобы осенить себя крестным знамением, то ли она не отличалась истовой набожностью — стряхнула капельки и направилась к коляске. Кучер опустил подножку с поспешностью и услужливостью, поразительно редкой для племени честных автомедонов[3].

Случайный наблюдатель, приметив изящную ножку с узкой лодыжкой и безупречные башмачки, непременно вообразил бы какое-нибудь таинственное свидание в испанском духе, тем более что внешность дамы тоже вызывала определенные подозрения. Нет, на незнакомке не было ни бархатного шитья, ни мантильи, ни бауты[4] — просто парижанки, желающие остаться неузнанными, придумали для городских прогулок наряд, напоминающий маскарадное домино[5].

Однако, несмотря на всю свою проницательность, этот наблюдатель оказался бы неправ. Даже если бы он обошел все приделы холодного храма, на стенах которого плесневеют картины, написанные в грубоватой манере прошлого века, добрался до часовни Девы Марии, осквернённой ужасными гризайлями[6], обвел взором сумрачные хоры с лесами, на которых работал Фландрен[7], и заглянул за деревянные коринфские колонны, подпирающие балкон с органом и создающие столь благоприятные для тайных встреч тенистые уголки, — он все равно не нашел бы ничего похожего на интригу романа.

Две-три старухи молились шепотом, согнувшись перед своими любимыми святыми, да сторож в черном шелковом колпаке подметал неф,

волоком перетаскивая стулья. Их ножки издавали отвратительный скрежет, разносившийся эхом под высокими сводами.

Даже самый отъявленный скептик не заподозрил бы в этом старичке переодетого принца, то был самый настоящий метельщик, да к тому же известный всему кварталу вот уже сорок лет.

Правда, в храме была вторая дверь, которая вела на другую улицу, и, кстати сказать, прекрасная дверь, в стиле эпохи Возрождения, но за последний час никто из нее не выходил.

Потому, несмотря на страстную охоту ухватиться за кончик ниточки, ведущей к разгадке одной из тех интриг, которые так любят распутывать любознательные души, приходилось признать простой и лишенный всякой романтики факт, что незнакомка в манто и вуали приехала в коляске с опущенными шторками только затем, чтобы помолиться. Что ж, в наш неверующий век не всякий имеет мужество открыто быть набожным, и многие ходят в церковь тайком.

В ту минуту, когда экипаж тронулся, на углу улицы Аббатства появились две особы — молоденькая девушка и пожилая гувернантка очень почтенной наружности, державшая над головой своей подопечной большой старомодный зонтик.

Одежда девушки, простая и строгая по покрою, тщательностью своей отделки и тонкостью тканей выдавала принадлежность своей обладательницы к зажиточному классу. Свежий цвет лица и румянец свидетельствовали о тихой безмятежной жизни. Балы, театры и пиршества не оставили вокруг глаз девушки фиолетовых теней. Белокурые волосы, уложенные в два незатейливых пучка над ушами — ведь было еще слишком рано для сложной прически, — не скрывали безупречные очертания подернутых бархатистым девичьим пушком щек. Скромный задумчивый вид, опущенные ресницы — все указывало на благочестие юной особы, идущей в церковь, дабы с благословения Божьего начать очередной беспорочный день.

Маленький фиакр с опущенными шторками проехал мимо девушки и гувернантки так близко, что им пришлось посторониться и прижаться к стене. Колесо чуть не задело платья девушки, бледный лоб Каликсты слегка покраснел, вероятно, от испуга, а затем она быстрым шагом продолжила свой путь к церкви Сен-Жермен-де-Пре.

Каликста в сопровождении гувернантки вошла в церковь, добралась до кафедры, рядом с которой находился стул девушки с ее вензелем из медных гвоздиков на спинке. В маленьком ящичке под стулом хранились Библия, молитвослов и другие душеспасительные книги.

Девушка достала одну из них, опустилась на колени и принялась усердно молиться. Однако ж, несмотря на хорошее впечатление, какое должна

производить молодая особа, так рано приходящая в церковь с самой почтенной из гувернанток, надо сказать, что в книжке оказалась записка, весьма напоминавшая любовное послание! И Каликсту ничуть не смутила эта находка, более того, она очень ловко засунула бумажку в перчатку на левой руке.

И еще одно удивительное замечание: если бы кому-нибудь из гостей, весело проводивших прошлую ночь в «Провансальских братьях», пришла в голову немыслимая, шальная идея посетить ранним утром эту старинную церковь в Сен-Жерменском предместье[8], то он был бы поражен странным сходством девушки с миниатюрой, которую Амина похитила у Дальбера.

Те же светлые волосы, голубые глаза, мягкая улыбка. Но как случилось, что портрет столь благочестивой девушки нашла на груди молодого вертопраха нечистая рука куртизанки?

Месса подошла к концу; едва скрывая нетерпение, Каликста торопливо, так что бедная гувернантка едва поспевала за ней, вернулась домой и сразу поднялась в свою комнату.

В этом гнездышке голубки царили идеальный порядок и чистота. Простая, даже строгая, удобная мебель, стены обиты гладкой голубой тканью, на полу белый ковер с букетиками цветов, в алькове за белым пологом кровать пансионерки. В простенках на шелковых шнурах висят несколько гравюр с рафаэлевских картин и два-три рисунка, подаренных на память пансионскими подругами. А на самом видном месте — акварель с букетом васильков и ржаных колосьев и подписью: «Нарисовано с натуры, Каликсте на память от...» Рама почти полностью скрывает имя художницы, видны только верхние части заглавных букв, похожие на литеры Ф и Л. Что это — небрежность мастера или кто-то нарочно спрятал имя автора за багетом, — понять невозможно.

На маленькой палисандровой этажерке стоит дюжина томиков с заломанными корешками и славными названиями — «Раздумья», «Осенние листья», «Поль и Виргиния», «Паломничество Чайльд-Гарольда»[9], которые свидетельствуют о тонком вкусе и образованности владелицы небольшого собрания.

Великолепное пианино Эрара[10] — единственная роскошь в обстановке комнаты — и раскрытые на пюпитре ноты пятнадцатой сонаты Бетховена[11] говорят о выдающихся познаниях Каликсты в сфере музыки, а почти законченная вышивка — о том, что возвышенные штудии не мешают девушке заниматься старым добрым рукоделием.

Каликста отослала гувернантку с каким-то поручением, заперла дверь и достала записку.

Письмо, попавшее в руки девушки столь таинственным образом, произвело на нее необычное для подобного рода посланий действие. Темное облако омрачило ясный лоб Каликсты, прекрасные глаза затуманились, грудь приподнялась от волнения, рука задрожала и уныло опустилась на колени.

Каликста просидела так несколько минут, потом покачала головой, будто отбрасывая дурные мысли, и лицо ее снова прояснилось. Ее душа вновь обрела утраченную было уверенность, Каликста встала с кресла и твердым голосом произнесла:

— Я не дам демону одержать победу!

Потом она засветила свечу, сожгла записку и бросила золу в камин. Гувернантка нашла свою воспитанницу за вышиваньем по канве, Каликста сосредоточенно подсчитывала что-то на расчерченной на квадраты схеме цветка, с которой делала копию.

— Спасибо, няня, — мягко промолвила Каликста с благодарностью. — Вам нравится этот рисунок?

— Превосходный! — ответила старушка, и не подозревавшая, что Каликста посылала ее за мотком шерсти, который был совершенно не нужен девушке. О, как поразилась бы бедная женщина, если бы узнала, что ее воспитанница, с которой гувернантка не спускала глаз, успела получить, прочесть и сжечь в высшей степени подозрительную записку.

Здесь будет уместно дать некоторые общие сведения о нашей героине. Каликста Депре всего полгода жила в Париже, куда переехала вместе со своим отцом, бывшим нотариусом, из маленького провинциального городка, называть который нет никакой необходимости.

В этом же городке родился Анри Дальбер, троюродный брат Каликсты. В провинции даже дальние родственники тесно связаны друг с другом, поэтому дети довольно часто встречались. Они подружились: их сблизили привычка и невинные игры. Все смотрели на брата и сестру лишь как на детей, поэтому никто не заметил, что Дальбер и Каликста повзрослели. Господин Депре, качавший Анри на коленях, считал его ребенком, и только; что до дочери, то она казалась ему младенцем, несмотря на то что ее уже давно отняли от груди кормилицы, он по-прежнему называл ее исключительно малышкой. Подобное заблуждение свойственно пожилым людям, которые не меняются сами и не видят, как вокруг них все растет, а затем в один прекрасный день с изумлением обнаруживают, что их детишки влезают в долги, дерутся на дуэли, заводят любовниц и намереваются жениться. Тем временем Анри превратился в красивого молодого человека на целую голову выше господина Депре, а Каликста, которая рано лишилась матери и, невзирая на строгие правила пансиона, пользовалась отно-

сительной свободой, стала серьезной, вдумчивой девушкой, много превосходившей своих сверстниц.

Дом господина нотариуса не отличался весельем, там собирались за игрой в вист[12] или бостон[13] одни только пятидесятилетние старики, но Анри считал его самым приятным на свете и проводил в нем чуть ли не каждый вечер.

Большая гостиная, обшитая тусклым сероватым деревом, с темными углами, со свечами, горящими на игорном столе, казалась ему радостной, живой и наполненной светом. Конечно, если бы, едва переступив ее порог, он не видел Каликсту, сидящую за фортепиано, комната предстала бы перед ним в совсем ином виде. Они вместе разбирали трудные пассажи, читали какого-нибудь иностранного поэта или переводили его стихи, и очень часто их головы, склоненные над одной страницей, соприкасались, так что светлые пряди Каликсты мешались с волосами Анри цвета спелого каштана, но оба были слишком увлечены, чтобы обращать на это внимание. Впрочем, при них всегда находилась гувернантка, и, хотя ее бдительность часто притуплялась, даже самые строгие ригористы не нашли бы повода упрекнуть молодых людей.

Когда Дальбер собрался в Париж, куда его призывала необходимость завершить образование и позаботиться о будущем, девушка почувствовала себя очень несчастной. Прощание вышло печальным, но Дальбер выпросил у Каликсты ее миниатюрный портрет. Девушка, умевшая рисовать, сама написала его, глядясь в зеркало, для своей подруги по пансиону. Только тогда молодые люди поняли, что любят друг друга. Они никогда не говорили об этом, но души их обручились без слов и обменялись золотыми кольцами в немом поцелуе. В сердце Каликсты невидимый резец начертал слова: «Я не выйду ни за кого, кроме Анри».

Через несколько месяцев после отъезда Дальбера, Депре, дотоле совершенно довольный своей провинцией, нашел, что уже достаточно начитался Горация, что вист — игра скучная и что рыба в местной реке ловится с каждым днем все хуже и хуже. Он вдруг ощутил потребность встретиться с родственниками, с коими не виделся уже двадцать лет и которые могли быть ему полезны в задуманном предприятии. Короче говоря, он решил поехать в Париж и провести там месяца два-три.

Мысль об этой поездке внушила отцу Каликста с макиавеллизмом[14], свойственным даже самым честным женским натурам, и Депре, сам не зная как, вдруг очутился на улице Аббатства, в доме, который по его просьбе заранее снял один из старинных приятелей.

Дальбер, естественно, пришел навестить отца Каликсты, и дела в предместье Сен-Жермен пошли почти так же, как в С***, только вместо се-

рой гостиной здесь была красная. Тихая улица Аббатства понравилась Депре, смеясь, старик уверял, что здесь ему покойно, словно в самой глухой провинции, он продал свой дом в С*** и окончательно обосновался в Париже.

Снисходительность господина Депре по отношению к Дальберу объяснялась очень просто: он не находил ничего дурного в том, что молодые люди полюбят друг друга, поскольку Дальбер был из хорошей семьи и к тому же достаточно богат. Бывший нотариус, уверенный в добродетели собственной дочери и порядочности молодого человека, не видел никаких препятствий к их союзу. Он счел бы его в высшей степени удачной сделкой.

Тому, кто удивится, что Анри обедает с сомнительными красотками, играет и пьет наравне с отчаянными повесами, и при этом сердце его исполнено прекрасных чувств, позволим себе напомнить, что человеческая душа — смесь контрастов и цельные герои встречаются только в трагедиях. Мир полон Грандисонов, которые ведут себя как Ловеласы[15] и с идиллическим спокойствием совершают ужасные поступки; порочное влияние, искушения и дурной пример, присущее молодости тщеславие и воспетый великими поэтами образ соблазнителя портят многих. Чистота и простодушие — свойства, за которые люди краснеют чаще, чем за пороки, и в то время как каторга, по словам ее обитателей, населена невинными людьми, юнцы изображают друг перед другом отчаянных разбойников: каждый хвастает тем, чего ему недостает. И потому Дальбер, созданный для мирной семейной жизни, способный понимать поэзию домашнего очага, вел жизнь диаметрально противоположную. И все из-за того, что, приехав в Париж, он познакомился с Рудольфом, и через него — с двуличным миром, который за играми и развлечениями прячет серьезные дела и тонкий расчет.

Невозможно сменить патриархальный быт провинции на лихорадочную, разнузданную и безумную жизнь столицы, где вас окружают тройным кольцом и пьянят золото, вино и женщины, без некоторого нравственного потрясения. Звонкий смех, призывные взгляды, смелые речи, яркие наряды и, скажем без утайки, выставленные напоказ атласные плечи и обнаженные руки не могли не подействовать на молодого неискушенного Дальбера. К несчастью для добродетели, порок очень часто обладает нежной кожей, белыми зубками и румяными щечками. Сверх того, Анри опасался, что Рудольф посмеется над его провинциальным простодушием, и это побуждало юношу к разным выходкам. Он ужинал без голода и жажды, из одного подражания распутникам эпохи Регентства;[16] играл и проигрывал, лишь бы никто не заподозрил его в мещанской скупости,

и считал себя обязанным ухаживать за женщинами, которые ему вовсе не нравились, но которых Рудольф рекомендовал ему как самых модных. Есть множество людей, и притом из числа самых сильных и умных, которые живут и действуют для того, чтобы заслужить одобрение других, не всегда достойных, особ. Во всех своих поступках Анри руководствовался тем, что подумает и скажет Рудольф. Барон улыбался или хмурил брови, и Анри тут же менял свое мнение. Барон пожимал плечами, презрительно фыркал, и Анри сразу проникался отвращением к понравившейся ему лошади, женщине или коляске. Если Анри давал ужин, то переживал и нервничал, пока Рудольф не соизволит сказать: «Вполне съедобно», и никогда не осмелился бы признаться, что предпочитает самым изысканным кушаньям обыкновенное рагу. У барона была особая, холодная манера подстрекать Анри на величайшие глупости: он давал ему разумные советы и учил не перечить своей кроткой и миролюбивой натуре. После этого Анри готов был перемахнуть через высочайшую стену, поцеловать королеву на балконе и поставить на карту все состояние.

Таким образом Анри уже промотал тысяч пятьдесят своего капитала, но сейчас его беспокоило другое.

Медальон, который уже больше года покоился на его груди и который он привык считать своим талисманом, попал в руки Амины, несомненно, решившей сыграть с хозяином вещицы злую шутку, иначе зачем она ей? Алмазов на медальоне не было, раскрашенный кусочек слоновой кости не представлял собой никакой ценности для любовницы Демарси. Дальбер же очень страдал; лишившись портрета любимой и его защиты, он суеверно чувствовал себя обезоруженным.

С крайним нетерпением Анри дождался положенного часа, чтобы отправиться к Амине, но не застал ее дома: взбалмошной красотке пришло в голову позавтракать в Сен-Жермене, в Павильоне Генриха IV[17], она заявила, что возвращаться домой спать сразу после ужина — вредно для здоровья. Горничная сказала, что сударь конечно же сможет увидеть госпожу вечером в Опере.

Анри поспешил в Оперу, но напрасно наводил лорнет на ложи: он не обнаружил Амины и вышел крайне раздосадованный. Уже было слишком поздно, чтобы пожаловать с визитом к господину Депре, не нарушая приличий, но это не помешало Дальберу направиться на улицу Аббатства, чтобы хотя бы постоять рядом с домом любимой.

Слабый свет проникал сквозь шторы на окне Каликсты. Анри, завернувшись в манто, со слезами на глазах долго смотрел на дрожащий огонек лампы, что подобно звезде любви рассекал сумрак ночи, тогда как другие окна гасли одно за другим.

На него нахлынули воспоминания, он с нежностью одну за другой перебирал тысячи милых подробностей: подаренный и засушенный на память цветок, припев романса, который явно предназначался ему одному, руку, задержавшуюся чуть дольше в его ладони, когда его любимая выходила из экипажа. Сердце Анри переполнилось невыразимой негой, ибо любая мелочь, связанная с Каликстой, имела для него величайшее значение! Такова сила чистой любви, сейчас, следя за тенью в окне, он был несказанно счастливее, чем накануне в обществе красивейших женщин и развеселых приятелей.

— Здесь она живет, — говорил он себе, — молится, рукодельничает, здесь она засыпает под крылом своего ангела-хранителя, и он склоняется к ней, чтобы полюбоваться на ее чистые сны.

В самозабвенном созерцании он провел некоторое время и вдруг воскликнул:

— Ах, если бы Рудольф увидел меня сейчас, он тут же прозвал бы меня трубадуром[18] и предложил надеть абрикосовый рединготс бархатными лентами[19]. В самом деле, мне не хватает только гитары. И добро бы я был в Севилье или Гранаде, под мавританским балконом!

Дальбер ухмыльнулся, но только краешком губ, а его глаза увлажнились.

Что же делала Каликста, пока Дальбер занимался на улице тем, что испанцы называют pelar la pava?*

Сидя за рабочим столиком, она писала или делала вид, что пишет, потому что перо не оставляло на бумаге ни строчки.

Рядом с пюпитром стоял поднос со стаканом и графином, наполненным лимонадом. Каликста обмакивала кончик пера в половинку оставшегося после приготовления напитка лимона.

В этот момент вдалеке послышался звук шарманки, и в комнату вошел господин Депре, который хотел пожелать дочери спокойной ночи.

— Черт бы взял этого шарманщика вместе с его музыкой! — с досадой воскликнул старик. — Нашел время крутить песни про свою любимую Нормандию!

— Эти бедняки тем и берут, что надоедают, — со смехом ответила Каликста, — я брошу ему что-нибудь, он и уйдет.

Она завернула несколько медных монет в бумажку, исчерканную невидимыми письменами, и, приоткрыв окно, кинула к ногам бродячего музыканта.

---

* Букв.: ощипывать курочку (*исп.*), в переносном смысле — уговаривать, соблазнять девушку.

Тот поднял сверточек, и, вынув из него деньги, бережно опустил в карман, потом закинул свой ящик на спину и поспешно ушел. Дальбер успел заметить белую ручку в потоке света, который на несколько секунд пробился в приотворенное окно. Теперь Анри могло хватить счастья на целые сутки, и он покинул свой наблюдательный пост.

Не сомневаясь в чистой добродетели такой девушки, как Каликста, позволим себе все же предположить, что шарманщик унес ответ на записку, найденную утром в церкви Сен-Жермен-де-Пре.

Глава III

В Париже слово «утро» толкуется по-разному: для чиновников, деловых и торговых людей оно соответствует времени с восьми часов до двенадцати, а для светских женщин, актрис и дам полусвета утро начинается в два-три часа пополудни и заканчивается в шесть, к обеду. Дальбер, уже порядочно освоившийся с местными порядками, вышел из дома около трех часов и, побродив какое-то время по Итальянскому бульвару, чтобы не врываться, как дикарь, в приличный дом на рассвете, отправился к Амине, которая занимала роскошные апартаменты на улице Жубер.

Дальбер позвонил. Ему отворил грум, разодетый точно дрессированная обезьяна, спросил имя и удалился, чтобы посовещаться с горничной.

Минуты через две-три грум с любезным видом вернулся вместе с камеристкой[1].

— Хозяйка еще не изволили вставать, — сообщила та Дальберу. — Но если сударь соблаговолит извинить нас за беспорядок в спальне, то госпожа примут его.

Дальбер, разумеется, соблаговолил. В гостиной какой-то менее желанный, чем он, визитер уже давно дожидался приема у Амины, терпеливо листая газеты и брошюры, и потому Анри провели через туалетную комнату, заваленную серебряными булавками, фарфоровыми чашками, щетками, пилочками, губками, массажными рукавицами, в общем, всем тем, что за прошедшие века успели изобрести в разных странах кокетливые, богатые и самовлюбленные женщины.

За ширмой еще поднимался пар от ванны, дно которой устилало голландское полотно, там и сям лежали великолепные камчатные полотенца из Алжира, что так превосходно впитывают пот в мавританских банях и коими горничные осушили последние капли на прекрасном теле своей госпожи.

Может быть, кто-то сочтет, что, допустив мужчину, на коего она имела виды, в эту мастерскую красоты, называемую туалетной комнатой,

столь многоопытная женщина, как Амина, позволила себе бестактность или нарушила приличия? Неужели она не боялась лишить себя ореола загадочности в глазах того, кого стремилась очаровать? Или полагала, что, выставив напоказ все эти изыски, достойные султанши или римской императрицы, продемонстрировав культ собственного тела, она, наоборот, тронет сердце избранника, ибо всякому мужчине льстит, когда ради него прилагают подобные усилия?

Для Амины день только начался. В алебастровой лампе под потолком догорал фитиль, отбрасывая трепещущие блики, что легонько играли на позолоченной резьбе мебели, боках китайских ваз и уголках рам.

Дальбер сделал несколько неуверенных шагов, его глаза после яркого уличного света еще ничего не различали в полумраке спальни.

— Аннета, — раздался голос Амины, — откройте шторы, уберите лампу, наверное, уже светло.

В комнату ворвался поток света, веселый солнечный зайчик запрыгал по стенам, будто обезумевшая от радости левретка[2], которую наконец пустили к хозяйке.

— А! Это вы, господин Дальбер! Говорят, вы и вчера приходили? Как жаль, что меня не было дома! Но кто же мог предвидеть, что я удостоюсь такой чести?.. Вы и теперь застали меня врасплох — я никогда не решилась бы принимать гостей в таком виде, — прибавила она с очаровательной улыбкой, — вот доказательство, что я не кокетничаю с вами.

Амина безбожно лгала; она очень хорошо знала, что никакое, даже самое роскошное, парадное платье не могло произвести более выгодного впечатления, чем небрежный, но тщательно продуманный, утренний наряд и ее соблазнительная поза.

Чепчик с оборками сполз на затылок, блестящие шелковые локоны рассыпались по белой простыне и являли взору маленькое нежное ушко, розовое, как раковина из южных морей. Батистовый пеньюар, отороченный валансьенским кружевом[3], что-то прикрывал, а что-то якобы нечаянно оставлял на виду, одна обнаженная рука томно покоилась на изгибе бедра, другую прелестница закинула за голову, подобно царице Клеопатре[4].

Дальбер не забыл Каликсту, но сейчас ее образ несколько померк в памяти юноши, и он смотрел на Амину если не влюбленно, то по меньшей мере очень ласково. Неравнодушный ко всякому прекрасному произведению искусства, будь то статуя или картина, он конечно же не мог не залюбоваться живым шедевром, созданным природой.

Амина осталась довольна впечатлением, которое произвела, и полусерьезным-полушутливым тоном сказала:

— Будь я хоть чуточку тщеславна, подумала бы, что вы наконец решились отдать дань моим «слабым чарам». Но вас привело другое. Я не настолько хороша, чтобы вы снизошли до меня.

— О! Сударыня, только вам одной позволительна такая несправедливость.

— Вы очень учтивы, господин Дальбер. Но ваши комплименты не стоят и гроша, потому что вы бы не пришли, если бы не известный медальон, который вам не терпится заполучить обратно. Но я вам его не отдам.

— Не старайтесь казаться злее, чем вы есть, Амина. К чему вам этот медальон?

— Чтобы заставить вас прийти. Мне очень приятно видеть вас.

— Пожалуйста, не смейтесь надо мной.

— Я говорю серьезно. И что в этом такого?

— Послушайте, Амина, я подарю вам хорошенький перстень, браслет...

— На что они мне? — Она протянула руку к шкатулке, стоявшей на столике рядом с кроватью, достала горсть драгоценностей, перебрала их пальчиками и кинула обратно. — Вы очень любите эту блондинку? Она красива? Ведь портреты всегда лгут.

— Красива... — смешался Дальбер, — но не это главное... Она свежа и невинна...

— О, значит, чертовски красива... Как все пансионерки — красные руки и локти. — Амина презрительно скривилась, вытянула свою белую пухленькую ручку, на прозрачном опале которой едва проступали тонкие лазоревые линии жилок, с ноготками, похожими на лепестки чайной розы.

— Ах! Какая прелестная рука! — Желая сменить тему, Дальбер сжал руку Амины.

— Да, — ответила она, не отнимая ладони, — знаменитейшие скульпторы делали слепки с моих рук... Но мы говорили о другом. Отвечайте, как вы можете любить блондинку? У блондинок белесые ресницы и вовсе нет бровей.

Амина быстро, точно испанка веером, взмахнула своими длинными бархатными ресницами, что трепетали над ее щеками, как черные бабочки над букетом роз.

Несмотря на всю свою любовь к Каликсте, Дальбер не мог не признать, что ресницы у Амины длинные, шелковистые, восхитительного оттенка и удивительно подчеркивают голубоватый перламутр белков. И Анри с независимым видом произнес:

— Я вовсе не влюблен в нее...

— Как! Не влюблены и носите на груди медальон? Что же вы стали бы делать, если бы были влюблены?

— Да это просто ребячество... подражание вышедшим из моды романам. Сентиментальность в духе Вертера![5]

— От которой вы, похоже, не в силах избавиться.

— Я так привык к этому медальону, что все время забываю снять его.

— А я уверена, что вы, нежный пастушок, каждое утро и каждый вечер набожно подносили сей драгоценный образ к губам, как и полагается на берегах Линьона[6].

— Полноте, Амина; вы преувеличиваете мою чувствительность.

— Знаю, знаю. Вы чудовище... Вы сделали несчастными столько женщин... Вы повеса и злодей, каких мало.

— Вы жестоки... не смейтесь надо мной, отдайте лучше медальон. Я признаю, что это слабость, но я привык к нему...

— В этой спальне никто еще не думал о другой женщине... Увы! Я вижу, что подурнела. — Амина надула губки и отвернулась.

При этом движении пеньюар сполз с ее плеча, и она поправила его, но до того неторопливо, что Дальбер успел понять — взывать к милосердию этого демона с атласной кожей пока бесполезно.

Дальбер не был знаком с Эскобаром и его трактатом о совести[7], однако уже склонялся к тому, чтобы выкупить портрет Каликсты по довольно странной цене, оправдывая себя благими намерениями. Взгляды Амины за обедом в «Провансальских братьях» и то, как она приняла его, — все это имело слишком ясный смысл, чтобы ошибиться. Анри счел бесполезным и даже опасным настаивать на возврате медальона еще и потому, что боялся притворной или настоящей ревности Амины, он слишком хорошо представлял, какую злобу и ненависть демоны питают к ангелам. Он не влюбился в Амину, но она в эту минуту околдовывала его своими чарами и коварством, жаром и холодом, словно ядовитый цветок, который, завидев, невозможно не сорвать, или змея, в чью пасть, трепеща от наслаждения и страха, бросается птичка. Развращенность имеет неизъяснимую власть даже над самыми строгими и чистыми душами. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Анри придвинулся к Амине и оставил разговор о медальоне, как вдруг горничная, приподняв портьеру, доложила, что госпожу желает видеть мадемуазель Флоранса.

— Следовало сказать, что меня нет дома, — с досадой промолвила Амина.

— В гостиной уже давно дожидается один господин, и вы не изволили предупредить меня...

— Решительно, ты начинаешь глупеть, Аннета. Умная субретка[8] понимает без слов. Но раз уж сделала глупость, то проси... Желала бы я знать, кому обязана этим визитом... — Амина пристально посмотрела на Дальбера. — Откуда такая внезапная дружба Флорансы?..

Вошла Флоранса, быстрым взглядом обвела комнату и оценила обстановку. Лицо гостьи прояснилось, и, поздоровавшись с Аминой, она грациозно поклонилась спешно отстранившемуся от Амины Дальберу.

— Флоранса, какой приятный сюрприз, — сказала Амина. — Вы так редко бываете у меня!

— Ах, боже мой! Я просто не хочу вам докучать. Что вы делаете сегодня?

— Ничего... У меня началась было мигрень, я и не строила никаких планов, думала пролежать весь день.

— А я сегодня пробую новую коляску и пару лошадей. Не хотите ли прокатиться со мною по Булонскому лесу?

— С удовольствием. Прошу только дать мне четверть часа, чтобы одеться. Господин Дальбер, потрудитесь пока посмотреть в окно или выйти в другую комнату, — сказала Амина безразличным тоном, соскользнула на горностаевый коврик и обулась в подбитые лебяжьим пухом маленькие туфельки, которые подала ей камеристка.

— Кстати, вы, вероятно, уже возвратили Дальберу медальон, тот, что в шутку сняли с него? — поинтересовалась Флоранса.

— Нет, он мне нужен, я хочу подразнить этого пастушка.

Флоранса слегка наморщила лоб и спросила:

— Вы знаете, чей там портрет?

— Нет еще, но узнаю.

— На что же он вам? — спросила Флоранса, немного покраснев.

— Я склонна ненавидеть людей, которых любит господин Дальбер.

— О! Да ведь это признание...

— Вовсе нет; я ревную без любви... Ну, теперь можете явиться, — крикнула она Дальберу, который вышел в соседнюю комнату, — я одета и уже ничем не оскорблю вашу стыдливость.

— Если господину Дальберу угодно ехать с нами, место для него найдется.

— С удовольствием, благодарю вас. — Дальбер поклонился и последовал за дамами, сам не зная, рад он или досадует, кстати или некстати пришла Флоранса.

Что до господина, обосновавшегося в гостиной, то он как раз закончил читать последнюю газету, когда Аннета сообщила ему, что у Амины разыгралась жесточайшая мигрень и она сегодня не встанет. Гость взял шляпу и с досадой произнес:

— Ничего удивительного, уже третий день дует восточный ветер.

По этому глубокомысленному замечанию сразу можно узнать того самого господина метеоролога, что сидел между Аминой и Флорансой на обеде в Пале-Рояле. И в самом деле, это был он.

Почему же Флоранса именно в этот день и час пришла к Амине, которую посещала раза три-четыре в год? К тому же, хотя Флоранса не считала себя вправе судить других женщин, она никогда не питала особенного расположения к Амине. Что это? Случай? Или она надеялась встретить Дальбера, или по некой причине хотела в самом начале воспрепятствовать интриге, которая пришлась ей не по душе?

Если предположить в ней любовь к Дальберу, то все объяснялось бы ревностью, но Флоранса видела этого молодого человека очень редко, мельком и прежде не искала с ним встреч.

Кроме того, Флоранса была женщиной добродетельной, точнее, относительно добродетельной. Все достоверно знали лишь об одном ее любовнике, и хотя злые языки нашептывали друг другу имя второго, это обстоятельство оставалось недоказанным. Из-за ее положения Флорансу не приняли бы в светском обществе, но она обладала всем необходимым, за исключением законного супруга, чтобы блистать там наравне с женщинами, защищенными именем мужа, ибо мужья очень часто уступают свои супружеские права и сквозь пальцы смотрят на проказы своих благоверных. Вероятно, Флоранса боялась, что с помощью похищенного медальона Амина возмутит спокойствие невинной честной девушки, и потому решила сблизиться с любовницей Демарси.

Коляска катила по Елисейским полям. Пара редкой красоты английских лошадей-полукровок бежала рысью. Амина, закутанная с головы до ног в большую кашемировую шаль, возлежала на голубых бархатных подушках, словно дома на кушетке, и с самодовольным видом кивала встречным знакомым. Она гордилась тем, что сидит в одной коляске с Флорансой, как мещанка гордится выездом на прогулку с дворянкой, а хористка — обществом примадонны. В любом кругу есть своя аристократия, а в кругу Амины Флоранса почиталась настоящей принцессой.

На Мадридской аллее они повстречали Рудольфа, который прогуливался верхом и очень удивился, увидев Амину и Дальбера в коляске Флорансы. Впрочем, как светский человек, он не обнаружил своего удивления и, поехав рысью рядом с коляской, стал отпускать различные едкие замечания насчет наружности и посадки некоторых всадников, скакавших в облаках пыли.

«Что за причина свела столь разных женщин? — спрашивал он себя, продолжая следовать подле коляски, с той стороны, где сидела Амина. — Неужели добродетельная Флоранса заинтересовалась молодцом, которого я поручил Амине? Вот союзница, на которую я вовсе не рассчитывал! Две, разумеется, лучше одной. Не той, так другой удастся. Не понравится одна, так другая очарует, и он уже никуда не денется».

И Рудольф, уверившись в успехе своих планов, заставил лошадь сделать курбет[9].

Дальбер разговорился с Флорансой. Амина высунулась из окна, наклонилась к Рудольфу и тихонько спросила по-английски:

– Как зовут оригинал портрета?.. Живо!

– Каликста Депре, – ответил Рудольф шепотом, подъехав так близко, что колесо едва не задевало бедро его хэка[10].

Лукавое лицо Амины просияло.

– Кто бы мог подумать, что вы способны на столь чистое чувство! – говорила между тем Флоранса Дальберу с нежной улыбкой. – Этот знак истинной любви тронул меня.

– Адрес? – продолжала Амина, притворяясь, будто любуется прекрасным видом.

– Улица Аббатства, номер семь, – сквозь зубы ответил Рудольф, оправляя гриву своей лошади.

– В пьесе Кальдерона «Поклонение кресту» есть один шалопай по имени Эусебио, чья единственная заслуга – глубокая вера в крест как знак искупления[11].

– И этот крест его спасает. Но вы лишились своего талисмана, теперь дьявол волен делать с вами все, что захочет.

– Надеюсь, – произнес Рудольф под стук колес и лошадиное ржание, – ты используешь эти сведения с умом.

– Будьте спокойны, – ответила Амина.

Они заехали довольно далеко, и дамы приказали кучеру повернуть назад. Коляска продвигалась по Елисейским полям неторопливо, как того требовала мода, и, надо признать, мода весьма похвальная для этого движущегося лабиринта из фаэтонов[12], тильбюри[13], американок[14], улиток[15], брогамов[16] и прочих экипажей.

Рудольфу пришлось задержаться, чтобы поприветствовать большую компанию знакомых красоток, набившихся в маленькую двухместную коляску вместе со спаниелем короля Карла[17] и огромным букетом цветов.

Флоранса высадила Дальбера рядом с конями из Марли[18] и отвезла Амину домой. Что до Рудольфа, то он вернулся в свою квартиру на улице Прованса, а после обеда, чтобы чем-нибудь занять себя, четыре часа подряд играл в бульот[19] «на интерес», то есть не на деньги, со своими близкими приятелями, которые, так же как и он, не любили попусту растрачивать средства.

Дальбер намеревался навестить Депре после обеда и потому зашел домой переоблачиться: он понимал, что одет слишком щегольски. Вышитую сорочку с прозрачными вставками надо было сменить на тонкую сорочку попроще, вместо яркого жилета надеть другой, более уместный

в строгом доме бывшего нотариуса, который, само собой, предпочитал платье черного или темного цвета.

Изменив свой облик, Дальбер изменился и внутренне, так что в гостиной у Депре никто не заподозрил бы в скромном, непринужденном и простом молодом человеке того франта, что каждый вечер с залихватским видом прогуливался под руку с Рудольфом по Итальянскому бульвару, бесцеремонно выдыхая сигарный дым в лица встречных женщин.

Однако это не значит, что Дальбер притворялся, напротив, он стал самим собой.

Когда Анри подошел поклониться Каликсте, занятой у окна рукоделием, он невольно смешался, несмотря на дружелюбную улыбку девушки. Его мучила совесть за утраченный медальон, ему казалось, что Каликста благодаря магнетической интуиции[20] знает о пропаже залога их чистой любви и доверия, и Дальбер совсем по-детски, повинуясь чувству, вполне понятному тем, кто не смеется над поэтическими заблуждениями сердца, застегнул фрак на все пуговицы, чтобы понадежнее закрыть грудь от глаз любимой.

— Берегитесь, Анри, — сказала девушка со смехом, — я боюсь, нет ли у вас соперника. Вчера вечером под моим окном стоял какой-то таинственный господин...

— Шарманщик, от музыки которого во всем квартале завыли собаки?

— Нет, закутанный в темный плащ господин, с нахлобученной на глаза шляпой, который сегодня должен мучиться от кашля или насморка, потому что ночью было прохладно. Советую завтра подкараулить его и заколоть вашей острой шпагой.

— Уж извините, но я на это не пойду, — ответил Дальбер.

— Да? А я-то надеялась возбудить вашу ревность. Видимо, мне это никогда не удастся.

— Каликста, я не ревную, потому что бесконечно доверяю вам и люблю вас всей душой.

— Я вам верю. — Каликста спокойно и в то же время пристально посмотрела прямо в глаза Дальберу.

Прелестное от природы лицо Каликсты в эту минуту стало дивно прекрасным; оно озарилось, каждая его черточка будто засияла как солнышко, и сквозь матовую белизну кожи проступила сама душа.

— Я чувствую, что не могу жить без вас, — Анри склонился к теплой влажной руке девушки, — хотите стать моей женой... если ваш отец согласится?

Каликста не ответила, но уронила голову на плечо Дальбера, и ее глаза наполнились слезами.

В этом положении молодых людей и застал господин Депре, тихонько приотворивший дверь, но он не обошелся с ними подобно отцам в комедиях, не вытаращил глаза, не нахмурил по-олимпийски брови, а добродушно ухмыльнулся, потирая руки, потому что давно ожидал подобной развязки.

Анри поднялся ему навстречу, отвел в сторонку и сказал:

— Мне нужно поговорить с вами, господин Депре.

— Извольте, любезнейший. Я догадываюсь, о чем вы собираетесь вести разговор, но вы оба еще молоды, успеем объясниться, — ответил господин Депре.

Прибыли несколько приятелей бывшего нотариуса, они сели за бостон, точно так же как в серой гостиной города С***.

В десять часов Анри откланялся. Душа его пела. Он никогда не проводил время так приятно, как в тот вечер.

Дома привратник вручил ему следующую записку:

> Приходите сегодня вечером и докажите мне, что Вы не любите Каликсту, тогда я возвращу портрет, хотя он уже будет Вам не нужен.

Глава IV

— Который час, Аннета? — спросила Амина, потягиваясь. — Мне отсюда не видно.

— Скоро полночь, сударыня, — ответила горничная, взглянув на черненый циферблат роскошных каминных часов.

«Еще не поздно, он еще может прийти, если только Рудольф не утащил его играть», — подумала Амина.

— Мою записку передали? — поинтересовалась она спустя полчаса.

— Да, сударыня. Тоби отнес.

— Странно, как ожидание действует мне на нервы! Налей стакан воды и добавь три капли флёрдоранжа[1].

Аннета исполнила приказание и поставила перед госпожой поднос с рюмкой и графином из богемского хрусталя с позолотой.

Амина отпила глоток, но вскоре не выдержала, встала, подошла к окну и прижалась лбом к стеклу, чтобы посмотреть на улицу, тускло освещенную фонарями, которые слишком понадеялись на луну, и луной, что слишком понадеялась на фонари. Любая промелькнувшая тень приводила красавицу в трепет, порождала надежду и разочарование.

Стук колес, минутная заминка и звонок, раздавшийся в ночной тишине, привели ее в такое волнение, что она прижала руку к груди, пытаясь унять сердцебиение.

Но нет, то вернулась домой одна из горничных.

Иные, возможно, удивятся подобной живости чувств у столь пресыщенной женщины, как Амина, но все дело в том, что она принадлежала к числу тех, кого препятствия лишь распаляют. Если бы Дальбер пришел, она едва обратила бы на него внимание, но он не спешил явиться на ее зов, и теперь она отдала бы все на свете, чтобы увидеть его. Ничто так не прельщало ее, как невозможное. Дальбер, влюбленный в нее и свободный, не вызвал бы в Амине никаких эмоций, но стоило ему отдать свое сердце другой, как он сразу же превратился для Амины в самый лакомый кусочек. И для нее не существовало более острого наслаждения, чем затмить чистый образ, заставить забыть давнюю мечту, вскружить голову человеку, который пренебрегает ее особой, воздвигнуть собственную статую на пьедестале поверженного кумира, построить свой храм на развалинах чужой страсти.

Чья-то любовь к добродетельной девушке или честной женщине возбуждала бешеную ревность в Амине, то ли потому что тем самым отдавали предпочтение не ей, то ли потому что она угадывала в подобной любви чистейшие наслаждения и восторги, от коих сама вынуждена была раз и навсегда отказаться и о которых смутно сожалела.

Заставить Дальбера изменить Каликсте — вот победа, которая способна была польстить ее самолюбию, и утром Амина почти уверилась в успехе, поскольку молодой человек явно смутился, когда пришел за медальоном. Еще чуть-чуть, и она добилась бы своего, если бы не Флоранса.

Пока Амина томилась в ожидании, Дальбер, со своей стороны, также пребывал в величайшей тревоге. Имя Каликсты, жирно подчеркнутое в записке, не предвещало ничего хорошего, а главное, откуда коварная искусительница могла его узнать?

Каликста очень редко выходила из дома, еще реже посещала театр, кругу Амины она была известна не больше, чем какая-нибудь монахиня или наложница из португальского или турецкого гарема. Порой один парижский квартал отстоит от другого на несколько тысяч миль, и некоторые особы не вращаются вне определенных кругов, подобно тому как рыбы не плавают по трактам. Амина никогда не переступала порога церкви Сен-Жермен-де-Пре, никогда не забредала в Люксембургский сад[2] — единственные места, которые посещала Каликста; и никогда блестящей кокетке не случалось проезжать по улице Аббатства, где она могла бы заметить в окне нежный профиль девушки, склонившейся над рукодельем.

Следовательно, кто-то назвал любовнице Демарси имя Каликсты. Но кто?

Пять-шесть человек, которые бывали в доме у Депре, – люди лет пятидесяти—шестидесяти, бывшие адвокаты и нотариусы, отцы семейств или холостяки, имевшие домоправительниц, одним словом, солидные персоны, – выбирались из своих домов только по торжественным случаям, ничто не связывало их с оперными дивами и театральными актрисами.

Таким образом, тайна оставалась тайной. Ни один из приятелей Дальбера не мог его предать, потому что Анри скрывал свою любовь, словно нечто преступное, более того, нечто смехотворное: ни перед Рудольфом, ни перед Демарси, ни перед Шатовьё он ни за что не стал бы хвастать платонической привязанностью к юной провинциалке. Эти господа, придерживавшиеся весьма свободных взглядов на сей счет, засмеяли и растоптали бы бедолагу, способного на такие мещанские сантименты.

Однако портрет Каликсты находился в чужих руках, и Дальбер, зная Амину, прекрасно понимал, что, оставив ее записку без ответа, он рискует вызвать скандал.

Положение было критическое. Не пойти к Амине означало нанести оскорбление ее самолюбию; пойти – означало изменить Каликсте, этому чистому дитя, чью доверчивую руку он только что пожимал. Что делать?

Дальбер долго колебался. Истинный распутник не сомневался бы ни секунды, в случае надобности он просто разграничил бы душу и тело, любовь и похоть.

«Нет, не пойду! – решил Дальбер и начал раздеваться. – Рудольф, когда узнает об этом, станет смеяться, но я буду думать о Каликсте, и все его насмешки скатятся с меня как с гуся вода. Завтра же выпрошу прощение у Амины, скажу, что всю ночь играл, вернулся только под утро, затем побалую ее несколько дней, развлеку и отвлеку, а когда женюсь, она мне станет уже не страшна. Портрет пропал, но оригинал утешит меня, а если Амина захочет навредить Каликсте, я буду иметь полное право защитить свою жену».

Дальбер немного успокоился, лег и забылся тревожным сном, пронизанным видениями, в которых ему беспрестанно являлся образ Амины. Утопая в кружевных подушках, с глазами полными истомы и нежным румянцем на щеках она протягивала ему медальон Каликсты.

– Как ты меня находишь, Аннета, – допытывалась в это самое время Амина у горничной, – я постарела? Может, у меня появились морщинки, пятна, изъяны, которых я не замечаю? Скажи прямо.

– Вы никогда еще не были столь прекрасны, как сегодня, – с восхищением ответила Аннета, – и глаза у вас блестят по-особенному...

— Это огонь лихорадки, нетерпения, гнева... Два часа! Он не придет... Ничего не понимаю. Утром у него дрожал голос, он краснел, бледнел. Вне всякого сомнения, я ему очень нравилась... О! Какая мысль!.. Что, если этот нежный пастушок, хранитель медальонов, не ночует дома?.. Что, если у меня две соперницы, а не одна?.. Вполне вероятно. Я всегда говорила, что единственная любовь — выдумка, вздор. Фу, этот Дальберишка мне уже противен. Бедная Каликста. Я охотно отстала бы от ее любезного, дабы наказать за подобный выбор. Если б не Рудольф, ни минуты не стала бы заниматься этим жалким молокососом...

Закончив сей монолог, Амина приказала горничной помочь ей лечь в постель и равнодушно начала читать новый роман — верное средство от бессонницы, которое не замедлило оказать свое действие.

Книга упала на ковер. Называть заглавие было бы бессмысленной жестокостью.

Назавтра пришел Рудольф и застал Амину в отвратительном расположении духа: она посылала Тоби навести справки и узнала, что Дальбер в одиннадцатом часу вечера получил ее записку и благополучно проспал всю ночь в собственной постели.

— Так он отдает предпочтение какой-то кукле из пансиона? Варвар! — сказала Амина, вертясь перед огромным зеркалом.

— Настоящий дикарь! — подтвердил Рудольф. — О, надеюсь, он дорого тебе заплатит.

— Он оскорбил меня, и, разумеется, я отомщу. Но вы-то за что его невзлюбили? Вы продаете ему своих загнанных лошадей, обыгрываете его, когда вам нужны деньги, навязываете ему наскучивших вам женщин — а ведь он ваш истинный Пилад![3]

— Я вовсе не питаю к нему неприязни. Но жизнь, которую я веду, утомляет меня; я чувствую, что мне пора остепениться, а мадемуазель Депре, разочаровавшись в Дальбере, могла бы составить счастье человека неглупого...

— Но не имеющего возможности стать депутатом... как вы, например.

— Вы несправедливы ко мне. Я вполне созрел для политики: начинаю толстеть.

— И лысеть. Но вы не говорили мне, что знакомы с Депре и его дочерью.

— Я раз пять или шесть бывал у Депре по делам, но Дальбер не знает об этом. Депре, несмотря на скромный вид, очень богат. У Каликсты полмиллиона франков приданого.

— Ого! Сумма кругленькая. Неудивительно, что Дальбер не является на свидания. Его невинность похитрее вашего распутства. Случалось ли вам когда-нибудь получать портреты от полумиллионных невест?

— Увы, нет! Мне не хватает поэзии, до которой так падки юные наследницы. Я не владею изысканной риторикой, и в этом мой недостаток.

— Вы уже просили ее руки?

— Нет, она возненавидит меня, и точка. Я раскланивался с Каликстой очень холодно и уверен, что она даже не узнает меня. Сначала надо устранить Дальбера.

— Вы очень предусмотрительны, господин Рудольф. Теперь я понимаю, зачем вы просили меня приковать этого молодчика к моей колеснице, как сказал бы щеголь прошлого века. Связью со мной вы хотите опозорить его — мне это очень лестно. Благодарю вас.

— Я хотел устроить какую-нибудь встречу... случайную. Депре и его дочь столкнулись бы нос к носу с Дальбером и мадемуазель Аминой... чудесная вышла бы сцена!

— И весьма располагающая к браку!

— Портрет избавит нас от всяких затрат на ее постановку...

— Да, я отомщу за себя и услужу вам. Теперь я и сама крайне заинтересована в этом деле.

— Если я женюсь на Каликсте Депре, мадемуазель Амина вместо пригласительного билета на свадебный обед получит двадцать пять подписанных Гаратом[4] листочков бумаги с единицей и тремя нулями на каждой.

Амина и Рудольф были созданы для взаимопонимания: сделка состоялась.

Некогда они целых полгода любили друг друга, если только это можно назвать любовью. Но Рудольф понял, что ему суждено стать лишь эпизодом в жизни такой женщины, как Амина, и предусмотрительно отступил перед именитыми особами из финансовых и дипломатических кругов, поочередно или одновременно имевшими счастье снискать расположение молодой актрисы.

Зато Рудольф пережил несколько династий Мондоров[5] и всегда пользовался свободным доступом к местному божку, кто бы ни занимал должность его верховного жреца.

Рудольф пускал в оборот ее деньги и, обладая ценными сведениями, которые она умела вытянуть из увивавшихся за ней нужных людей, проворачивал биржевые спекуляции и получал верные барыши, в которых имел свою долю. Амина ничего не предпринимала, не посоветовавшись с ним. Он, со своей стороны, благодаря необыкновенно тонкому чутью заранее предупреждал об угрожающем ее любовникам разорении, и разрыв всегда предшествовал банкротству. Рудольф пресекал все скандалы, примирял все стороны и заодно наказывал Амину за вредные для их общего дела наклонности и капризы, одним словом, он был ее тайным советником и даже, если можно так выразиться, духовником.

Не стоит, однако, полагать, что Рудольф был мошенником и самозванцем. Он не мог похвастать древней родословной, но баронский титул принадлежал ему по праву. Никто не мог обвинить его в какой-нибудь явной подлости... Он всего-навсего жил как богатый человек, не имея состояния, и добывал деньги там, где другие их теряли. Чужие удовольствия были для него способом зарабатывать средства к существованию. Он не мог себе позволить проигрыш и потому почти всегда выигрывал, не прибегая для управления случаем к обману и низким приемам грубых шулеров: за всю свою жизнь он ни разу не сплутовал, ибо, играя в вист, не уступил бы Дешапелю, а в шахматы – Лабурдонне[6]. Все игры являлись для него предметом глубокого изучения и математических расчетов, перед которыми в ужасе отступил бы астроном, пытающийся вычислить путь кометы. Сверх того, как нам уже известно, под предлогом слабости желудка он соблюдал умеренность в еде и сохранял трезвость на самых шумных обедах и ужинах. По части лошадей он был хорошим наездником и тонким знатоком, способным дать сто очков вперед любому жокею или барышнику[7], и потому всегда выигрывал пари. Он прекрасно владел оружием: мог выбить пулями на белой карте шестерку, семерку или восьмерку, сбивал шарик, пляшущий в струе фонтана, снимал со свечи нагар, не гася ее, и с двадцати пяти шагов разрезал пулю о лезвие ножа. Что касается шпаги, то Гризье, Понс и Гатшер[8] расписывались в собственном бессилии: им нечему было учить барона. Портной с трепетом выслушивал его советы и не просто не брал с него денег, но сам охотно заплатил бы, если б посмел, лишь бы его милость носил сшитые для него платья. Любезности с женщинами никогда не стоили Рудольфу дороже букета, театральной ложи, рекомендации знакомым газетчикам и тому подобных мелочей. И еще одна маленькая деталь к портрету этого господина: в своем бюджете он относил игру к статье дохода, приносящей пятьдесят тысяч в год... И так во всем остальном.

Однако величайшее наслаждение Рудольф испытывал, когда ему удавалось кого-нибудь погубить. Благодаря его усилиям не искушенные в светской жизни молодые люди калечились на дуэлях и падали с лошадей; под видом отеческого участия он внушал неопытным юнцам нелепые и безрассудные идеи: в этом злой гений Гентского бульвара[9] находил изысканное и утонченное удовольствие, достойное его ума. Видели бы вы, как тепло он пожимал руку своей очередной жертве, сопровождая рукопожатия лицемерными сожалениями по поводу постигшего его бедного друга несчастья.

Рудольф уже потопил с дюжину благородных и богатых молодых людей. Между тем он давал превосходные советы: вольно же им было играть, не зная толка в картах; пускаться в спекуляции, ничего не смысля в

ценах на акции и товары, строить из себя джентльменов-райдеров, не научившись ездить, и дуэлистов, не владея ни шпагой, ни пистолетом? Рудольф всегда говаривал, и не без основания, что для того чтобы слыть, как говорится, светским львом, нужно не только иметь природный дар, но и многому учиться, и что истинно великий прожигатель жизни — не меньшая редкость, чем великий поэт.

Рудольф направился к выходу и в гостиной столкнулся с господином метеорологом, который, как всегда, ждал, не соизволит ли Амина его принять. Взгляд гостя отличался еще большей мечтательностью, чем обычно.

— Что с вами, друг мой? — поинтересовался Рудольф, взяв его под руку и увлекая за собой, чтобы избавить Амину от нежеланного посетителя. — У вас сегодня такой меланхоличный вид.

— Разве вы не знаете, что великий Араго[10] предсказал холодное лето и теплую зиму? Решительно правы фурьеристы, когда утверждают, что климат портится...[11]

Амина позвонила горничной и потребовала помочь ей одеться, чтобы отдать, как подобает, визит Флорансе, ибо полусвет дотошно копировал порядки высшего общества.

Флоранса занимала просторную квартиру на улице Сен-Лазар, меблированную со сдержанной роскошью и вкусом истинно знатной дамы: никаких дорогостоящих безделушек, этажерок или громоздких, доверху забитых поставцов: только толстые мягкие ковры, дорогие обои, флорентийская и античная бронза.

Когда Амина вошла, Флоранса поспешно задвинула ящик лакированного секретера с какими-то черными бумагами, встала и с достоинством и грацией пошла навстречу гостье.

После обыкновенных вопросов и ответов, с которых начинаются разговоры, Флоранса безразличным тоном спросила:

— Да, кстати, что вы сделали с Дальбером?

— Я? Ничего.

— А я думала, он один из ваших обожателей.

— Блондинка с медальона, мадемуазель Каликста, безраздельно царит в его сердце.

При этом имени Флоранса вздрогнула и побледнела так сильно, что Амина не смогла этого не заметить:

— Что с вами, Флоранса? Вы изменились в лице!

— Ничего... просто... волнение, от которого не могла удержаться. Так ее зовут Каликста?

— Каликста Депре. Но вам-то что до этого?

— В самом деле... Какое мне дело до них!

– Я написала Дальберу, чтобы он пришел получить портрет на условиях не слишком, кажется, обременительных, но он не явился.

– Стало быть, он очень любит ее! – вздохнула Флоранса.

– Флоранса!.. Уж нет ли у вас к Дальберу... какой-нибудь страстишки?

– Что ж скрывать... да! – ответила Флоранса с чувством, которое, будь оно притворным, сделало бы честь искуснейшей актрисе.

Она закрыла лицо руками, будто желая скрыть краску смущения.

– Да, я люблю его... это сильнее меня! Вчера меня привела к вам ревность.

– А! Холодная Флоранса! Попалась, пташка! Правду говорят, нет саламандры[12], которая в конце концов не сгорела бы в огне.

– Увы! Что я могу сделать с сердцем, которое оспаривают Каликста и Амина!

– Добродетель и порок, – уточнила Амина. – Стоило вам впервые влюбиться, как вы сразу оказались меж двух огней!

– О! Если бы у меня был медальон, я разбила бы его, растоптала бы!

– Так вот вы какая! А я куда спокойнее: я бережно храню его, чтобы научить Дальбера жизни, а вовсе не потому, что сколько-нибудь дорожу этим деревенским молокососом.

– Я думала, вы расположены к Дальберу. Неужели я ошибалась?

– Меня привлекает лишь его любовь к другой. Сам по себе он не в моем вкусе.

– Значит, Каликста очень хороша?

– Да... недурна. Но это строго между нами, никогда не следует вслух превозносить красоту благоразумной девицы или порядочной женщины. Тогда нам ничего не достанется.

– Покажите мне портрет... Он с вами?

– Он всегда со мной. Но теперь, памятуя о ваших нежных чувствах, я покажу его вам... только издали.

Флоранса протянула руку и тут же опустила, поняв, что Амина ни за что не даст ей медальон.

– Какие ясные, пронзительно-синие глаза, какой девственно чистый лоб, – проговорила Флоранса с досадой и восторгом.

– Сегодня же она потеряет покой, а эти глазки покраснеют от слез. Сегодня же мадемуазель Каликста Депре смертельно возненавидит господина Анри Дальбера. Когда же наша соперница будет устранена, на поле битвы останемся только мы с вами, и тогда вам нетрудно будет одержать победу, ибо... я чувствую, что я вам не противница.

С коварно-торжествующим видом Амина поклонилась Флорансе и вышла. Флоранса задумчиво смотрела ей вслед:

«Все не так, как я полагала. Я чую, что за этой интригой стоит Рудольф. Амина лишь орудие в его руках...»

Каликста в тот день была озабочена и печальна, точно предчувствовала недоброе.

Утром в церкви она нашла записку, которую прочитала с обычными предосторожностями и сожгла. Таинственная переписка, казалось, доставляла Каликсте только дурные вести и горькие думы, потому что каждый раз, получив загадочное послание, бедная девушка тосковала до самого вечера. Но никогда еще она не пребывала в таком унынии, как в этот день. И сколько она ни умывалась прохладной водой, по ее прекрасным глазам было видно, что она долго плакала.

Даже появление Дальбера, которого Депре накануне пригласил к обеду, вызвало лишь слабую улыбку на ее побледневших губах. Да и Анри был обеспокоен и, несмотря на притворное веселье, плохо скрывал свою тревогу. Если бы не простодушный беззаботный старик Депре, обед походил бы на поминки. Один глава дома придавал живость и душевность этой грустной компании. Он, впрочем, приписывал молчаливость детей счастливой любви и серьезным размышлениям по поводу скорого вступления в брак, потому что формально Анри уже попросил у Депре руки Каликсты.

После обеда бывший нотариус сел со своими приятелями за традиционный бостон. Близилась ночь. Анри, казалось, приободрился, и Каликста вздохнула полной грудью.

— Может быть, — пробормотала она, когда часы пробили десять, — опасность уже миновала.

В тот же миг дверь с грохотом отворилась, вошел рослый лакей в ливрее, которую Дальбер тотчас узнал. Протянув Депре шкатулку и письмо, незваный гость зычным голосом доложил:

— Приказано отдать господину Депре в собственные руки от мадемуазель Амины де Бовилье.

— Демон побеждает! — ахнула Каликста и, побледнев, откинулась на спинку кресла.

Глава V

Все остолбенели, и только лакей Амины, героически силясь удержать равновесие, направился прямо к выступившему ему навстречу Депре. Потный лоб, мутные глаза и багровый нос яснее ясного говорили, что мóлодец совсем недавно совершал обильные возлияния, однако же он не шатался и лез из кожи вон, чтобы придать почтительность своей наглой физиономии.

– Мадемуазель Амина де Бовилье? – удивленно повторил Депре. – И что ей от меня надобно? Первый раз слышу это имя.

– А оно довольно известно в Париже, – самодовольно усмехнулся лакей.

За этот короткий промежуток времени Дальбер несколько раз изменился в лице; черты его выражали величайшее беспокойство.

Каликста, неподвижная и холодная, словно статуя, казалось, уже не принадлежала этому миру.

Депре заколебался и наконец, отложив шкатулку, решил начать с письма.

Едва он прочитал несколько слов, удивление его переросло в живейшее негодование. Он бросил возмущенный взгляд на дочь, а затем с убийственным презрением вперил взор в Дальбера.

Письмо было написано языком, далеким от изящного слога госпожи де Севинье[1], однако огрехи стиля не повлияли на произведенный эффект:

> Милостивый государь,
>
> у Вас очаровательная дочь, единственный недостаток которой состоит в том, что она охотно раздает свои портреты. В прилагаемой шкатулке Вы найдете медальон, которому следовало бы висеть на груди господина Дальбера. Отдайте вещицу от моего имени мадемуазель Каликсте, чтобы она могла снова повесить его туда, откуда я его сняла. Смею надеяться, этот ничтожный инцидент не разлучит пару, созданную для того, чтобы жить душа в душу.
>
> Примите, милостивый государь, уверения в почтении, Ваша покорнейшая служанка,
>
> *Амина де Бовилье, корифейка[2] и рантье.*

Не веря в подобную дерзость, Депре судорожно нажал на пружину шкатулки и... убедился, что записка – не гнусный розыгрыш.

На алом бархате, которым была выложена шкатулка, покоился портрет его дочери. Она смотрела на него с девственно чистой улыбкой.

– Господа, – глухим и прерывающимся голосом произнес бывший нотариус, – вы мои старинные друзья... я вам доверяю... Позднее вы получите мои объяснения, но теперь... мне нужно разобраться во всем без свидетелей!.. Приходите завтра: я успокоюсь... сегодня я могу наговорить лишнего... Вы, Дальбер, и ты, Каликста, останьтесь.

Смущенные и взволнованные гости удалились, напрасно ломая головы над тем, что заключалось в письме и в шкатулке и что могло до такой сте-

пени разъярить человека, всегда отличавшегося, пожалуй, чрезмерной невозмутимостью и кротостью.

Гости тихо откланялись, лакей Амины тупо проводил каждого глазами и снова обратился к Депре:

— Сударь, так ответ будет али нет?

Старик, не говоря ни слова, гневно и повелительно указал на дверь. Лакей при всей своей наглости и огромном росте скоренько развернулся и выскочил за порог. Ему показалось, что, задержись он на мгновенье, его выбросят в окно.

Депре ходил взад и вперед по комнате, вероятно, для того, чтобы дать улечься буре своего возмущения. Потом, немного успокоившись, он молча подал шкатулку дочери, а письмо Дальберу.

— Каликста, — сказал он, помолчав, — я не стану упрекать тебя, хотя девушка не должна дарить подобных вещей даже жениху. Ты сама видишь, к чему это привело. Твой проступок заслуживает снисхождения, потому что происходит от благородства твоей души... Ты поверила данному слову, положилась на святость любви... Ступай в свою комнату, я не сержусь, но мне тебя жаль. А вы, Дальбер, вы не посовестились передать портрет в нечистые руки куртизанки и сообщить ей имя невинной девушки, отныне, как вы, конечно, понимаете, между нами не может быть ничего общего. Надеюсь, вы избавите нас от своих посещений.

Напрасно Дальбер пытался объясниться: Депре прервал его на первых же словах:

— Не унижайте себя бесполезной ложью. Имейте мужество хотя бы признать собственную вину... Да, от вас я такого не ожидал!

И он оставил Дальбера одного в гостиной.

Бедный молодой человек в полном отчаянии вышел из дома, в который еще недавно входил с надеждой на счастье.

На улице он остановился и с тоской и унынием, словно Адам, изгнанный из рая, устремил взор на освещенное окно Каликсты. Постояв так некоторое время, он отправился на другой берег Сены, обдумывая разные способы мести Амине и тому, кто открыл дерзкой красотке имя и адрес Каликсты, и посылая ко всем чертям упрямого старика Депре, который не пожелал выслушать никаких оправданий. Нетрудно представить себе страдания Дальбера: в глубине души он обожал кузину, да и сердце у него было золотое, несмотря на замашки светского льва.

Верзила-лакей, чью голову все сильнее затуманивали винные пары, еле добрался до улицы Жубер, чтобы отчитаться перед своей хозяйкой.

Жорж, надо признать, был выдающимся пьяницей: он настолько привык пить, что, по крайней мере, с виду никогда не пьянел, но в этот раз он выписывал кренделя и хватался за стены.

Дело в том, что, выйдя из дома со шкатулкой и письмом, он столкнулся с кучером и конюхом Флорансы. Такое событие нельзя было не отметить. Бутылка откупоривалась за бутылкой, красное вино следовало за белым, ром за вином, водка за ромом, а три молодца все пили и пили. Слуги Флорансы без устали подносили, наливали и платили. Жорж заверял, что они друзья до гроба, но едва он приподнимался, чтобы уйти, как появлялась новая бутылка и ему приходилось остаться. Это насилие было сладостно сердцу Жоржа, однако его угощали слишком щедро и усердно, и в конце концов он заподозрил, что его хотят опоить. Подобное намерение насмешило его своей глупостью и наивностью, ибо доказывало, что «друзья до гроба» не знают, с кем связались. Однако ж он стал остерегаться и принудил своих собутыльников пить наравне с ним, а чтобы не вышла какая-нибудь неприятность, застегнулся на все пуговицы, спрятав шкатулку и письмо в нагрудный карман.

Через два часа кучер и лакей Флорансы спали, один на столе, другой под столом, а Жорж благодаря крепости своей головы и желудка, внутренне торжествуя, явился в гостиную господина Депре и довел порученное ему дело до конца. Дома он первым делом направился к насосу и пятнадцать минут обливался холодной водой, пока не почувствовал, что пришел в себя.

— Итак, Жорж, — спросила Амина, — расскажи мне, как все прошло.

— Мадемуазель, там было полдюжины стариков, один-два — нет, три — нет... все с орденами! Да, что там... белые сорочки, черные сюртуки, в общем, *рик-спик... ре-спек-та-бельные* люди! И все вытаращились на меня, будто бараны. Как пить дать, мой вид поразил этих буржуа! Когда я отдал письмо со шкатулкой и сказал, что это от вас, господин Дальбер покраснели будто рак, дочка побелели, и папаша хотели вышвырнуть меня в окно, но я воспротивился. С лакеем из рода гайдуков[3], состоящим на службе госпожи Амины, такие штуки не проходят!

И Жорж горделиво приосанился.

Мертвецки пьяных людей Флорансы доставили в особняк, но строгая хозяйка, вопреки ожиданиям, ни словом не упрекнула их за эту провинность, хотя ей пришлось посылать за фиакром, чтобы вечером выехать из дома.

Для полноты истории этого вечера добавим, что шарманщик сыграл свою неизменную серенаду под окном Каликсты, и к его ногам, как обычно, упали несколько медных монет, завернутых в клочок бумаги.

Кому предназначались эти письма? Почему столь печальные происшествия и глубокие огорчения не смогли даже на время прервать таинственную переписку? С чего она началась и зачем поддерживалась? Каликста писала не к Дальберу, это ясно. Послания к родным или к подругам не тре-

буют таких предосторожностей. Предположить другого возлюбленного тоже невозможно. Чтобы удостовериться в этом, достаточно было только раз увидеть Каликсту рядом с Анри.

Остается признать, что даже в самых бесхитростных душах имеются свои темные уголки, как в самых ясных поэмах — загадочные строфы.

— Какая у вас сегодня похоронная мина, — сказал Рудольф, встретив Дальбера с давно потухшей сигарой под газовым рожком на Итальянском бульваре. — Все вы молодые таковы: пьете без меры, едите что попало, злоупотребляете всем подряд, без разбору. Надо развлекаться, а не убивать себя... Откуда вы в таком виде?

— Дорогой Рудольф, я не позволил себе ничего лишнего, но настроение у меня ужасное.

— Вы проигрались, — предположил Рудольф. — Вам в картах не хватает хладнокровия.

— Я не проиграл... Не проиграл в карты.

— На бирже? Ваши надежды не оправдались?

— Нет. Я ничего и никуда не вкладывал.

— Значит, что-то с душой... вас постигла неудача в любви? Какая-нибудь прелестница точит коготки о вашу грудь?

— Не надо так, Рудольф. Мне действительно плохо. Меня донимают черные мысли, я в отчаянии, сама жизнь мне в тягость.

— Черт! Только не подавайтесь в романтические поэты. От ваших стенаний за версту несет лирикой.

— Вы жестоки. Оставьте хоть на минуту ваши насмешки.

— Ладно, я серьезен, как никогда. Раз у вас настоящее горе, я весь внимание. Так что случилось?

— А вы не посмеетесь надо мной? — с сомнением вопросил Дальбер.

— Ни в коем случае... Ну же, рассказывайте.

— Амина сыграла со мной злую шутку.

— А я думал, она очень расположена к вам.

— Помните, она украла у меня медальон, когда я заснул на ужине. Она послала его вместе с невообразимо злобным письмом отцу девушки...

— Который составил себе самое превратное мнение о вашем поведении и выставил вас за дверь своего патриархального дома.

— И кто только назвал этой бешеной твари имя Каликсты и адрес господина Депре?

— О да! Задача, конечно, неразрешимая! Как вы наивны!.. Со дня скачек Амина питает к вам явное расположение. За столом она строила вам глазки, несмотря на присутствие Демарси, которое должно было охладить ее пыл. Вы отвечали довольно лениво. Портрет доказал, что вы влюблены. Стоило всего два-три дня последить за вами, послать какого-нибудь

уличного мальчишку, чтобы узнать, часто ли вы бываете на улице Аббатства, а уж на этой улице, не в укор ей будь сказано, наверняка нашелся один, а может, и не один, болтливый привратник. Это же ясно, как дважды два. Вы сами себя выдали.

Объяснение, данное Рудольфом, было настолько правдоподобно, что смутные подозрения, едва зародившиеся у Дальбера, бесследно рассеялись.

— Амина, верно, предлагала вам выкупить портрет за непомерную плату?

— Нельзя сказать, чтобы непомерную... Но я не принадлежал себе, мне казалось преступлением...

— Вы опростоволосились, сыграв роль Иосифа[4] в модном пальто.

— Почти.

— Ну, в таком случае Амина права: она мстит вам за пренебрежение. Озлобленность лишь доказывает ее любовь. Если бы вы посоветовались со мной, я не позволил бы вам сделать такую глупость. Женское самолюбие не ведает жалости.

— Депре отказал мне от дома, Каликста ненавидит меня!

— И все это из-за того, что вы спали на козетке, вместо того чтобы танцевать, как следовало.

— Вам смешно, а я очень несчастен.

— Сами виноваты... Зачем было окружать такой тайной самую естественную в мире вещь? Вы ухаживали за девушкой с «честными намерениями», как говорят кухарки. Какого черта вы средь бела дня поступаете дурно, а потом прячетесь, когда ведете себя, точно ангел? Сказали бы, что у вас есть невеста, и наверняка всякий уважительно отнесся бы к вашему простодушию. Женщины приберегли бы свои томные взгляды и нежные улыбки для смертных, не обремененных обязательствами; Амина обратила бы свой взор в другую сторону, и ничего бы не случилось. Человеку почти женатому не следовало прикидываться свободным холостяком.

Дальбер почувствовал справедливость этой отповеди и повесил голову.

— Ну, полноте, не отчаивайтесь! — продолжал Рудольф. — Успеете еще жениться... Найдете другую партию. Погуляйте, покуда не разоритесь, женитьба — прекрасное средство от бедности.

— Никто не заменит мне Каликсту.

— Тут я с вами спорить не стану. Но позвольте вам заметить, что Амина, не считая, разумеется, добродетели, по крайней мере, столь же хороша, как Каликста, а Флоранса еще краше. Та тоже грезит лишь о вас, так что, как сказал мольеровский маркиз Тюрлюпен: «Вам утешение найдется»[5].

— Я никогда не утешусь.

— Да так ли велико ваше несчастье?! Подумайте! Вам не придется каждый вечер возвращаться домой к девяти часам и отчитываться, сколько листов почтовой бумаги вы потратили; в сорок лет вокруг вас не будут толпиться долговязые бородатые повесы, величающие вас папенькой, как шестидесятилетнего старика, и растолстеете вы десятью годами позже. Зато вы сможете менять блондинок на брюнеток и направлять свой лорнет в театре на все ложи, не опасаясь при этом синяков и царапин.

В другое время эти остроумные доводы возбудили бы в Дальбере свойственное ему тщеславие и боязнь показаться смешным; он переломил бы себя и сам потешился бы над забавной картиной, которую набросал Рудольф, и даже добавил бы два-три штриха, но в ту минуту неподдельная глубокая боль заглушила все пустое. Разрыв с прекрасной девушкой, которую он любил с самого детства, терзал его душу. Рудольф понял, что лучше сменить тон, и заодно выпытать у простодушного Дальбера мельчайшие подробности характера Каликсты и господина Депре.

Анри без утайки, от начала до конца рассказал историю своей любви, и Рудольф с видимым интересом выслушал его. Молодой человек развернул перед знаменитым волокитой стыдливую и сокровенную поэму первой любви. Рудольф изумился неведомым сокровищам, огромным богатствам, о существовании которых даже не подозревал. Дальбер подавил его своим подлинным природным красноречием, которое било живым ключом прямо из сердца. Никогда даже в мечтах Рудольф и представить себе не мог подобного эдема, такого волшебного царства и столь ослепительных картин чистой страсти.

Очарованный и ошеломленный сластолюбец почувствовал, что он, пресыщенный, потрепанный и видавший виды распутник, вовсе не жил еще. Он был знаком только с призраками женщин и тенью любви, бессвязные строфы гимна истинному чувству посеяли в холодной душе Рудольфа горечь и тоску.

Он ощутил жгучую зависть к Дальберу. Так евнух завидует султану, критик поэту, старуха девушке, а нищий богачу.

«Как случилось, — думал Рудольф, — что самые очаровательные головки и поистине божественные тела проплывали мимо моих глаз в потоке драгоценностей, золота и цветов и никогда не вызывали подобных ощущений?..»

— Что ж, — сказал он Дальберу, — если вы не можете расстаться с Каликстой, я схожу к Депре, который, судя по вашим рассказам, не зверь, и объясню ему, как обстояло дело. На детали накину газовую вуаль, чтобы седые волосы старика не покраснели, и, может быть, все устроится лучше, нежели вы думаете. Теперь около двух часов утра. Мы с вами уже двести раз прошли от «Кафе де Пари» до улицы Монблана[6] и обратно, а я

не настолько влюблен, как вы, и несколько часов горизонтального положения мне не повредят.

Господин Депре, опасаясь за здоровье дочери, вскоре после ухода Дальбера вошел к ней в комнату. Каликста выглядела спокойной, хотя и немного бледной, и сидела, устремив глаза на букет васильков и ржаных колосьев — картинку с закрытой подписью, о которой мы уже упоминали.

— Не печалься, бедная моя малютка, — ласково сказал Депре, взяв дочь за руку, — постарайся его забыть.

— Я никогда его не забуду и не выйду ни за кого, кроме Анри, — твердо ответила Каликста, обратив на отца взор своих больших голубых глаз.

— Дитя мое, не надо мелодрам. Я не заточу тебя в монастырь, и у меня нет ни малейшего желания наказывать или принуждать тебя, но Дальбер повел себя как ничтожество. Он не достоин тебя.

— Нет, папенька. Анри никогда не переставал быть достойным вашей дочери. Я верю в него, как в Бога. Если бы он разлюбил, я бы почувствовала, и мое сердце разбилось бы, но нет, я точно знаю: он любит меня.

Лицо девушки сияло чистой, непоколебимой верой.

— А медальон?..

— Он потерял его. Или его украли.

— Ты просто слепа! Вспомни, как смутился Дальбер, сразу видно, что он сам виноват. Неужели у тебя есть сомнения?

— Папенька, я ни в чем вас не ослушаюсь. Вы запретили мне видеться с Анри, и я повинуюсь вашей воле; но вы говорите, что он виновен, а я уверена в противном. Целых десять лет вы считали его чистым, честным и порядочным, он и теперь таков, и вы скоро убедитесь в этом. Я ничего не знаю о жизни, знаю только, что люблю Анри, а он любит меня. У меня нет опыта, зато есть вера.

— Милое дитя, я желал бы разделить твое заблуждение, но вы, девушки, живете в ваших беленьких комнатках и видите жениха только в лучшем виде — завитого, с букетом в руках, на коленях у ваших ног, — и составляете себе странные представления о жизни и людях; вы полагаете, что все на свете окрашено розовым и голубым, а волки никогда не заходят в овчарню. Увы! Родная моя, идеалы слишком часто лгут. Если бы ты знала, что Дальбер делает в Париже, если бы ты могла проследить за ним, надев на палец волшебное кольцо и став невидимой, возможно, ты заговорила бы иначе.

При этих словах на губах девушки мелькнула чуть заметная улыбка.

— Ты прекрасно понимаешь, — продолжал старик, поцеловав дочь в лоб, — что я простил бы молодому человеку все: дуэли, долги, разные безумства, — но я не могу простить оскорбление, нанесенное моей дочери.

Сказав это, Депре взял свечу и ушел, проклиная в душе Дальбера и в особенности мадемуазель Амину де Бовилье.

Глава VI

Как ни велико было горе Дальбера в первую минуту, через несколько дней оно стало еще больше. Он не видел Каликсту, его лишили того часа, который он ежедневно проводил рядом с любимой, пока она вышивала и обменивалась с ним десятком-другим слов. В жизни Дальбера образовалась невосполнимая пустота. Каждый день проходил в ожидании минуты свидания с Каликстой и в воспоминаниях об этой минуте, теперь же он чувствовал себя жалким никчемным бездельником. Ему казалось, что вокруг раскинулась огромная мертвая пустыня с черным солнцем в вышине.

Дальбер заставил умолкнуть свою гордость, потому что истинная любовь смиренна. Он употребил все возможные средства, чтобы извиниться перед Депре и вернуть его расположение, но напрасно: письма Анри с самыми убедительными и искренними объяснениями оставались без ответа, ничего не добились и третьи лица, отправленные парламентерами. Депре и слышать не хотел о Дальбере. Старик принадлежал к тому типу очень тихих и не менее упрямых людей, которые, если уж им что-нибудь взбредет в голову, стоят на своем до конца, очевидно, потому что им крайне редко приходится принимать решения. Кроме того, Дальбер затронул его самую чувствительную струну — любовь к дочери. Депре столь безусловно доверял Дальберу, что негодованию бывшего нотариуса не было предела. К тому же, как и все слабохарактерные люди, он боялся обнаружить недостаток твердости и оттого еще упорнее выказывал неумолимость.

Следует добавить, что он потихоньку навел кое-какие справки и узнал весьма нелицеприятные для Дальбера факты. Оказалось, что последний довольно часто наведывался за кулисы, играл, пил и проводил вечера, а то и целые дни в обществе распутных мужчин и сомнительных женщин. Все это выставляло молодого человека в весьма невыгодном свете, и бывший нотариус уже радовался, что произведенный Аминой скандал вовремя расстроил свадьбу.

— Кто бы мог подумать! Такое честное лицо, скромные манеры, кроткий и вежливый тон, — говорил Депре, — ну прямо девица в мужском обличье! Тонкая, стало быть, штучка этот Дальбер: развратник да к тому же лицемер. Он зарился на приданое, чтобы платить за наряды своих любовниц. Хорош расчет! Пусть только сунется сюда, я ему покажу!

Рудольф, сделав вид, что сочувствует горю Дальбера, отправился к Депре хлопотать по делу своего друга, и действительно похлопотал, да так, что еще более утвердил старика в его мнении.

Анри, по словам Рудольфа, не совершил никакого серьезного преступления: он любезный малый, веселый товарищ, правда, немножко играет, любит лошадей и женщин — но все это естественно для его лет. Что ка-

сается медальона, то он, Рудольф, видит здесь скорее проявление ветрености, чем низости: досадное событие случилось после ужина в кабаре, где присутствовало много актрис и фигуранток[1]. Во всем виновато вино, потому что Анри иногда выпивает, а в тот вечер был пьян в стельку. И конечно, он боялся возбудить ревность Амины, женщины очень вспыльчивой, которая считала себя вправе претендовать на его сердце. В общем, юный вертопрах не заслужил порки, а господин Депре явил себя слишком суровым папенькой.

Подобные оправдания нимало не изменили мнения бывшего нотариуса: он продолжал считать Дальбера человеком не достойным ни жалости, ни прощения.

Рудольф, расписывая Дальберу свои старания, уверял, что не все еще потеряно, что старика можно будет переубедить, но нескоро, поскольку тот очень упрям.

Таким образом, хитрец обеспечил себе возможность часто бывать у Депре, нисколько не возбуждая подозрения Анри.

Если бы вы встретили Рудольфа на улице Аббатства, то не узнали бы его. Лицо барона принимало подобающее случаю выражение. Светский лев исчезал бесследно: закрученные усы теряли лихость, ястребиный взгляд смягчался, нервный тик сменялся безмятежностью и простодушием. Свободные и без всяких претензий сапоги, перчатки и платье, а также самая простая трость придавали Рудольфу ту *респектабельность*, что заставляет родственников девиц на выданье говорить: «Сразу видно, человек порядочный, надежный!»

Рудольф уважительно и со знанием дела рассуждал о политической экономии и прочих серьезных предметах. Бывший нотариус признал в нем образованного, правильно мыслящего и практичного человека. Депре удивился только, как может столь зрелый и рассудительный муж находить удовольствие в обществе взбалмошной молодежи, но барон ответил, что у него нет родных и, будучи лишен семейных радостей, он лишь искал других удовольствий. И господин Депре вполне удовлетворился подобным объяснением. Чтобы окончательно заручиться расположением старика, Рудольф подсказал ему несколько сделок, из которых тот извлек большую выгоду. С тех пор Рудольф необыкновенно возвысился в глазах бывшего нотариуса, который стал во всем полагаться на мнение барона. Когда же господину Депре указывали на то, что сей положительный и сдержанный человек имеет любовниц, гуляет и играет, то отец Каликсты заявлял, что тот, кто не связан узами брака, вправе развлекаться как хочет, если, конечно, соблюдает при этом приличия.

Господина Депре, подобно многим добропорядочным людям, ужасал не столько порок, сколько связанные с ним расходы. Сынки, которые все-

гда выигрывают в карты и на скачках, да еще и получают с любовниц доход, снискали бы милость у самых строгих отцов и самых свирепых дядьев.

Рудольф придерживался схожей точки зрения. Он не вел вопиюще беспорядочный образ жизни, не афишировал свои связи, не делал долгов, не участвовал в скандальных дуэлях или в чем-либо еще, что могло бы привлечь к нему всеобщее внимание. С некоторых пор его редко видели за кулисами, в клубе и в «Кафе де Пари». Он потихоньку начал остепеняться и объяснял это тем, что после тридцати некоторые глупости уже непозволительны.

Каликста с того самого дня, как объявила отцу, что считает Дальбера невиновным и не намерена выходить ни за кого другого, казалось, совершенно забыла о случившемся. Она ни разу не произнесла имени Анри, и, хотя господин Депре, любивший поспорить, довольно часто делал разные более или менее ясные намеки, она упорно хранила молчание.

Непоколебимая решимость придавала ее печальному личику нечто величественное и светлое, такое, что поражало даже самый равнодушный глаз. Из хорошенькой она превратилась в красавицу: душевная боль облагородила ее. Яркий румянец пансионерки уступил место розоватой бледности. Губы, прежде алые, как гранат, теперь походили на розовый лепесток, упавший на белый мрамор. Она несколько похудела, и тонкие руки с нежными лазоревыми жилками свидетельствовали о тщательно скрываемом страдании.

В общем, ее печаль и покорность тревожили старика Депре гораздо больше слез и жалоб: волей-неволей он жалел дочь, хотя и называл романическим упрямством и девичьим капризом ее верность этому негодяю. Каликста же никогда не говорила о Дальбере, потому что думала о нем беспрестанно.

Вечером, особенно в те часы, когда раньше приходил Дальбер, ею овладевало глубокое уныние: минуты, прежде такие счастливые, стали горькими, точно полынь. Каликста не плакала, но глаза ее все время были, как говорится, на мокром месте.

Любопытно и даже, возможно, странно, что при этом Каликста отнюдь не избегала встреч с Рудольфом и не покидала гостиную, когда он являлся с визитом. Казалось, она внимательно слушает разговоры барона с ее отцом. Видела ли она в Рудольфе друга Дальбера и надеялась, что он вступится за Анри и заставит старика сменить гнев на милость, или же блестящая речь барона служила Каликсте минутным развлечением — остается только гадать.

В ее обществе Рудольф избегал слишком серьезных тем, он выбирал что-нибудь интересное и увлекательное и всячески демонстрировал свой

незаурядный ум и образованность. При этом он всегда находил повод, чтобы очень ненавязчиво и сдержанно похвалить девушку и сказать ей что-нибудь приятное.

Порой, когда она не смотрела в его сторону, а господин Депре углублялся в пространные рассуждения о сельском хозяйстве, барон бросал на Каликсту мимолетный пламенный взгляд, никак не вязавшийся с его мертвенно-бледным лицом.

Взгляд этот отражал волновавшие Рудольфа чувства и был лишен притворства — он не предназначался для глаз посторонних. Даже пылкий двадцатилетний школяр не смотрел на свою возлюбленную с такой страстью, как сообщник Амины: его магнетический взор излучал подлинную бескорыстную любовь.

Со времени ночной прогулки с Дальбером по Гентскому бульвару в Рудольфе произошел полный переворот: признания молодого человека открыли барону новый мир, райские кущи, которые прежде были ему не доступны. Всю свою жизнь он искал счастья, а находил только удовольствия, да и то редко. Дальбер оказался счастливее его: он сразу обрел глубокое, проникновенное, горькое, мучительное и вместе с тем сладостное чувство, которое составляет мечту всех донжуанов и которое римские сластолюбцы в бессильной ярости искали в своих чудовищных фантазиях.

Барон стал приглядываться к Каликсте, на которую поначалу смотрел только как на олицетворение известного количества банковых билетов, и неожиданно для себя обнаружил, что прямая складка простого платья на скромной невинной девушке обольщает и будоражит его сильнее, чем фривольные наряды кокеток. От малейшего шороха юбки, из-под которой едва выглядывал носок туфельки, вся кровь приливала к сердцу Рудольфа; грудь мадемуазель Депре, прикрытая монашеским воротничком, обжигала, сводила его с ума, а прежде он хладнокровно, куря сигару и толкуя о лошадях, ласкал рукой атласнейшие плечи Парижа. Он, почитавший себя неуязвимым, железным, защищенным от любых сюрпризов, сдался без боя: словно старый генерал он понял, что проиграл, еще до начала сражения, и признал, что борьба бесполезна. Им овладело стремление к новизне и невинности, как это случается в определенный период жизни с людьми, которые испытали все. Он жаждал стыдливости и чистоты; добродетель была единственной усладой, которой он еще не отведал. Несмотря на молодость, Рудольф познал снедающую стариковские души страсть к юным девушкам. Он давно утратил веру, мечты, свежесть чувств и невинность, теперь он желал получить все это в лице Каликсты. Нет, он не забыл о ее любви к Дальберу, но надеялся исподволь уничтожить ее, ибо совершенно полагался на свою хитрость. Он обманывался. Эту ошибку часто до-

пускают самоуверенные люди, недооценивающие своих соперников. На самом деле в любви простодушие стоит самого изощренного ума. Даже утонченный соблазнитель и завзятый распутник может потерпеть поражение от юноши неопытного, но любимого.

Рудольф, вступивший в дом Депре как искатель приданого, уже не вспоминал о деньгах. Даже если бы отец Каликсты все промотал, барон не встревожился бы ни на секунду.

А что же тем временем делала Амина? Она осмотрительно сочла, что нужно подождать, пока ярость Дальбера немного уляжется, но от планов своих не отказалась.

Какое-то время она держалась в стороне, а затем рассудила, что хватит Дальберу страдать и пора нанести ему сокрушительный удар.

Однажды Анри пришел домой и обнаружил в своей гостиной женщину. Он не узнал ее, потому что вуалетка шляпки скрывала верхнюю часть лица, а нижнюю загораживала раскрытая газета, которую гостья читала, опустив голову. Только маленький башмачок, узкие перчатки и гибкая линия стана доказывали, что перед Дальбером молодая хорошенькая женщина.

На мгновение у него мелькнула довольно безумная мысль: он вообразил, что его любимая Каликста получила наконец одно из его страстных посланий и согласилась бежать с ним на другой конец света от отца-варвара. Дальбер уже хотел воскликнуть: «Каликста! Ты здесь?», как незнакомка отбросила газету, подняла вуалетку и обратила к нему свое озабоченное хорошенькое личико.

— Амина! В моем доме? — Ошеломленный такой наглостью, он отшатнулся и попятился.

— Да. Что ж тут удивительного? — нимало не смутившись, ответила гостья.

— После того, что вы со мной сделали?

— Как у вас здесь хорошо! — продолжала Амина. — Ах! Это Диас! Какая прелесть!.. Может, поменяемся? Я отдам вам моего Делакруа... Хотите амура за тигра?[2]

— Вы, верно, очень полагаетесь на то, что вы женщина?

— Разумеется, полагаюсь. — Амина скинула шаль и небрежным жестом жницы, бросающей соломенную шляпу на стог сена, отправила на диван свою шляпку — шедевр, вышедший из волшебных рук госпожи Бодран[3].

И приблизилась к Дальберу, будто храбрец, сложивший оружие.

Солнечный луч, проникавший в щель между занавесками, осветил ее с головы до ног, и тысячи золотых нитей вспыхнули в ее роскошных каштановых волосах. Амина, молодая и цветущая, еще не боялась яркого света.

Она стояла перед ним во всей своей вызывающей красоте, покачиваясь, как приподнявшая голову гадюка. При виде этой залитой солнцем золотой статуэтки Дальбер замер в нерешительности. Его возмущение еще не угасло, но, сам того не желая, он поддался роковому обаянию Амины, против которого не устояло бы даже ледяное сердце.

— Ну же, начинайте вашу обвинительную речь, — кончиком снятой перчатки Амина шлепнула его по губам, — или вам подсказать? Амина — подлая, низкая, коварная, бессердечная... вот, вероятно, эпитеты, которыми вам хочется наградить меня.

— Вы причина несчастья всей моей жизни...

— Это еще не доказано: быть может, вы еще поблагодарите меня.

— Вы разбили сердце бедной невинной девушки...

— Она утешится, если уже не утешилась.

— Зачем вы послали портрет?

— Зачем вы не пришли за ним?

— Злая женщина! Разве я мог?

— Неблагодарный! Разве я внушаю вам неодолимое отвращение?

— В иных обстоятельствах ваша записка могла бы сделать меня счастливейшим из смертных.

— Встаньте на мое место: я подумала, что мной пренебрегают, что меня презирают; я решила, вы находите меня дурнушкой; я усомнилась в своем могуществе: в первый раз я потерпела поражение!

— Мое сердце было занято самой сильной, самой чистой любовью!

— Да, и именно это удручало меня больше всего! О! Как я завидовала любви, которую вам внушила другая! Как ревновала к этой вашей Каликсте! Как желала понаблюдать за ней исподтишка, чтобы перенять у нее то, чем она вас приворожила! Как сожалела о миловидной угловатости, свойственной невинности! Если бы вы знали, как я старалась придать девичью мягкость моим волосам и скромное выражение моему взгляду, лишь бы стать похожей на ее портрет! Сколько белых платьев я примерила, чтобы выглядеть как пансионерка!

Всерьез говорила Амина или хотела посмеяться над доверчивым Дальбером, трудно сказать. Однако ее голос, взгляд, движения — все казалось подлинным.

— Ревность, заставившая меня послать портрет господину Депре, оказалась плохой советчицей: я заслужила вашу ненависть, — прибавила Амина с искусно приглушенным вздохом. — Если бы я знала, что вы до такой степени влюблены, то уж конечно не пыталась бы завладеть сердцем — увы! — защищенным столь толстой броней.

Каликста уже шесть недель не подавала никаких признаков жизни, по вечерам Дальбер не видел даже тени любимой в ее окне, он устал и от

усталости начал верить Амине: любой человек легко прощает самые черные поступки, если они хоть с какой-то стороны льстят его самолюбию.

— Что сделано, Дальбер, то сделано, вам не на что надеяться, Каликста и господин Депре не вернут вам своего расположения. Да и любила ли вас Каликста? Она хоть что-нибудь предприняла, чтобы увидеться с вами? Написала вам хоть два слова? Пожалела вас? Эти набожные девочки дьявольски злопамятны, Каликста никогда вас не простит.

Амина произнесла вслух то, что Дальбер тысячу раз повторял себе сам. Признавая всю законность негодования Каликсты, он находил, что она уж слишком добросовестно исполняет приказания отца.

— И долго вы намерены бродить по городу как убитый? Ваши усы дурно подстрижены, волосы не завиты, вы уже почти два месяца не меняли жилета. Налицо все признаки нравственного разложения. Вы злоупотребляете правом несчастного влюбленного одеваться небрежно. Предупреждаю: еще неделя, и над вами начнут смеяться.

Дальбер посмотрелся в зеркало и действительно обнаружил, что выглядит не лучшим образом.

— Каликста ведет себя разумнее вас: она уже нашла себе утешение.

— Это невозможно! — вскричал Дальбер.

— Как вы самолюбивы и наивны! Можно даже предвидеть, кто будет вашим преемником у этой невинной и мстительной особы. Неужели вы надеетесь, что Депре позволит мадемуазель Каликсте остаться старой девой? Или думаете, что вы единственный жених на свете? Раз вас забыли, забудьте и вы. Вы опять скажете, что я злая, но если вы пойдете со мной в Оперу, то, кроме нового балета, я покажу вам зрелище, которое исцелит вас от несчастной страсти и освободит от клятвы верности, данной вами несравненной Каликсте.

— Что вы хотите сказать? Вы пугаете меня!

— Вот как? Быстро же вы усомнились в любви честной девушки, воспитанной в монастыре, девушки, с которой вы меняетесь портретами и локонами! Вы трепещете от одного слова, отступаете перед трудностями, не смеете испытать золото огнем, опасаясь, что оно окажется фальшивым? Поедете со мной в Оперу?

— Поеду, — ответил Дальбер.

— Вот и хорошо, я переоденусь, причешусь и заеду за вами. Будьте готовы.

Через час грум Тоби доложил, что госпожа ждет в карете у подъезда.

Наряд на Амине отличался феерической легкостью. Стройный и гибкий стан окутывала тарлатановая дымка;[4] вьюнок с алмазными листочками и идеально розовыми цветочками стягивал прозрачные виски. Она была до того обворожительна, что Дальбер удивился, как он мог сердить-

ся на нее. Когда речь идет о том, чтобы уничтожить соперницу, женщины извлекают на свет божий припрятанные для такого случая запасы красоты, а потом снова убирают их до поры до времени.

Едва Дальбер уселся подле Амины в ложе бенуара, которую кокетка выкупила на весь год, дверь противоположной ложи в первом ярусе с шумом отворилась: вошли двое мужчин и девушка — господин Депре, Рудольф и Каликста.

Глава VII

Да, то была она! Вырез ее белого платья был глубже, чем обычно, и частично обнажал ослепительно белую грудь. Наряд Каликсты оставался девичьим, но принес необходимые жертвы требованиям света. Избавленные таким образом от слишком целомудренных покровов, ее прекрасные гармоничные формы только выиграли. Постав ее головы стал вольнее, а чистые античные линии шеи не нарушались ничем, кроме тонкой, точно волосок, венецианской цепочки с бриллиантовым крестиком.

Каликста и Депре сидели впереди, Рудольф сзади. Все лорнеты устремились на Каликсту, и каждый зритель задавал себе один и тот же вопрос:

— Кто эта прекрасная молодая особа? Как она грациозна и скромна! С каким достоинством держится! Будто вовсе не замечает, что на нее смотрит весь зал.

— Как Рудольфу удалось попасть в эту ложу? — прибавляли знакомцы барона. — Когда он выйдет в антракте, спросим у него имя этой восходящей звезды.

Они обманулись в своих ожиданиях, потому что Рудольф весь спектакль ни на шаг не отходил от Каликсты и господина Депре.

Никогда еще Каликста не выглядела столь прекрасной. Дальбер и не подозревал, что она может быть такой очаровательной и печальной. Раньше она казалась ему девочкой, недавно вышедшей из пансиона, а теперь он увидел в ней женщину! Слегка утихшая боль и отчаяние вновь завладели всем его существом, и к ним примешалась бешеная злость на Амину; окажись у него под рукой нож, он, несомненно, заколол бы виновницу своего несчастья.

Амина оглянулась и, увидев, как исказилось и позеленело лицо ее спутника, до смерти перепугалась. Страшась, что Дальбер растерзает ее голыми руками, она быстро подвинулась к барьеру, чтобы оказаться на виду у публики.

Дальбер, за неимением лучшего, терзал перчатку. До сих пор он испытывал только тоску от разлуки с любимой, теперь его сердце разрывалось от ревности.

Амина тоже несколько изменилась в лице. Портрет не дал ей представления, насколько совершенна ее соперница, да к тому же женщины определенного сорта не верят в красоту порядочных девушек и охотно допускают, что все они неуклюжи, неловки, сутулы и безвкусно одеты. Она поняла, почему Дальбер так любил Каликсту и что творится с ним теперь, и, вздохнув, поднесла букет к лицу, дабы скрыть досаду.

«Вперед, — сказала себе Амина, — надо всех затмить или умереть».

И, отчаянно призвав на помощь все свои чары, она так преобразилась, что засияла каким-то фосфорическим светом.

Она нашла неподражаемую позу, неповторимый взгляд, невиданное выражение лица. К несчастью, никто не запечатлел этой дивной поэмы, потому что ни Энгра[1], ни Прадье рядом не оказалось. И чем они только занимаются!

— Что это сегодня с Аминой? — удивлялись и недоумевали светские львы. — Она блистает, словно фейерверк.

— Мужайтесь, Анри, — говорила Амина Дальберу. — Ваша крайняя бледность и уныние доставят им удовольствие, и только. О Каликсте, конечно, нельзя не пожалеть... Я умею признавать красоту другой, когда нужно... но разве можно пренебречь такой женщиной, как я? Неужели вы не видите, что все любуются мною; одного моего взгляда достаточно, чтобы зажечь неугасимый пламень. Самые красивые, знаменитые и богатые бросятся поднимать мой платок, если я оброню его. Посмотрите, все аристократки и банкирши из кожи вон лезут, лишь бы отвлечь от меня внимание своих мужей и любовников: они хорошо знают, что, стоит мне только захотеть, — и все эти господа окажутся у моих ног. Вы здесь, рядом со мной, все завидуют вам, а вы корчитесь, точно инка на раскаленной жаровне[2]. Все мужчины думают: «Счастливец Дальбер!» Все женщины вооружились биноклями и ищут у меня какое-нибудь пятнышко или изъян и, не находя ничего, с яростью обрушиваются на своих мужей.

Дальбер сделал над собой отчаянное усилие, с трудом разгладил черты лица и довольно ласково посмотрел на Амину, надеясь досадить Каликсте.

В антракте мадемуазель Депре рассеянно оглядела зал. Когда она увидела соперницу, как будто молния проскочила между ними, и Амина почувствовала себя поверженной. Светлый, холодный, рассеянный и абсолютно равнодушный взгляд Каликсты уничтожил ее: она сникла, словно демон под пятою архангела.

Дальбер в этот момент склонился к Амине и, по-видимому, говорил что-то очень нежное: губы его почти касались ее щеки.

На лице Каликсты не дрогнул ни один мускул, она не покраснела, не побледнела, глаза ее спокойно закончили осмотр зала, и она обернулась к Рудольфу, чтобы попросить у него программку.

«Ей нет до меня никакого дела, — подумала Амина, — пожалуй, она завтра же выйдет за Дальбера, хотя сегодня видит его со мной. Я для нее левретка, колибри, золотая рыбка, существо особой низшей породы».

Рудольф при всей его прозорливости истолковал спокойствие Каликсты превратнее Амины: он приписал его тому, что девушка охладела к Дальберу и, возможно, даже прониклась благосклонностью к нему, Рудольфу. Старый ловелас потерял остроту зрения, он ослеп, уподобившись всем влюбленным.

— Это, верно, и есть та самая мадемуазель де Бовилье... вон там, напротив, в бенуаре, с негодяем Дальбером? — очень тихо спросил барона господин Депре.

— Да, — ответил Рудольф, — они теперь не расстаются.

— Одолжите мне, пожалуйста, бинокль... я хочу рассмотреть ее.

Через минуту после того, как бывший нотариус уставил на Амину две огромные трубки из слоновой кости, его лицо приняло выражение самого искреннего изумления. Почтенный провинциал не имел ни малейшего понятия об изяществе и благопристойности, в которые рядятся продажность и разврат. Амина показалась ему настоящей маркизой, которая любезничает со своим кузеном. Он нашел Амину такой, какой она была на самом деле, то есть обворожительной. Ее наряд был прелестен и прост, даже скромная Каликста не нашла бы в нем ничего предосудительного. Старик почувствовал, что голова его пошла кругом.

По его мнению, особе подобного сорта следовало носить разноцветные перья, пунцовые или желтые платья, расшитые мишурой и блестками, золотые цепочки в три ряда и огромные серьги со стекляшками. Его познания в сем предмете восходили к дням его молодости, когда он служил простым писцом и имел случай полюбоваться на деревянных галереях Пале-Рояля нарядами тех, кого называл не иначе, как *тварями*. Господин Депре пребывал в уверенности, что с тех пор все осталось без изменений. Эти невежество и отсталость, без сомнения, делали честь нравственности бывшего нотариуса.

Занавес поднялся, и балет продолжился под гром рукоплесканий и стук тростей: танцевала сама Карлотта[3]. Временами Каликста обращалась к Рудольфу за объяснением непонятного ей фрагмента. Рудольф, заядлый театрал, переводил пантомимы легко и остроумно: хореография не имела от него тайн. И в эти минуты девушка напоминала картины старых живописцев, которые так любили рисовать изумительные профили, требующие от художника огромного мастерства.

Того, кто знаком с ревностью, не удивило бы бешенство, в которое пришел Дальбер, глядя, как запросто Каликста общается с Рудольфом. Ему

хотелось ворваться в ложу господина Депре и сказать сопернику какую-нибудь дерзость.

Каликста показалась ему отвратительным чудовищем и воплощенным вероломством. В сравнении с ней Амина, которая никого не обманывала, была сама невинность. Он не понимал, как может такое порочное сердце скрываться под столь простодушной наружностью. Кто бы подумал?

«Она любезничает с Рудольфом, чтобы свести меня с ума! Неужели женщины, будь они порядочными или нет, не знают другого средства отомстить, кроме собственного позора?»

— Ну как? Вы все еще думаете, что без вас мадемуазель Депре умрет от тоски? — насмешливо и звонко спросила Амина бедного Дальбера, чье сердце разрывалось от боли. — Похоже, теперь вы свободны от тяжкого бремени и отныне с чистой совестью можете удостоить некоторого внимания вашу покорную служанку.

При выходе из театра обе компании столкнулись на лестнице, где зрители ожидают экипажи. Каликста, идя об руку с отцом, задела своей кашемировой мантильей белый бурнус Амины. Рудольф шел в нескольких шагах впереди и высматривал своего лакея между разноцветными ливреями, заполнившими вестибюль.

Народу было много, и несколько секунд Амине с Дальбером и господину Депре с дочерью пришлось стоять на одной ступеньке. Эта минута показалась Анри вечностью. Амина воспользовалась случаем, чтобы отомстить Каликсте за ее равнодушный взгляд: коварная кокетка состроила лучезарное выражение лица, со сладострастно-стыдливой лаской оперлась на руку Дальбера, прижалась к нему доверчиво, словно ища защиты от людского потока, и настолько завладела вниманием своего спутника, что у Каликсты, которая все видела, хотя смотрела совсем в другую сторону, зародилось сомнение — сомнение первое и единственное! Оно промелькнуло быстро, как молния, но пронзило ее такой жестокой болью, что девушка в одно мгновение с головы до ног покрылась испариной.

К счастью, вернулся Рудольф. Дальбер бросил на него взгляд, исполненный презрения, ненависти и злобы, а Каликста, испугавшись, как бы не случилось скандала, поскольку такой взгляд равносилен пощечине, испытала сладостное чувство: Анри по-прежнему любил ее!

Понимая, насколько неприличен и смешон был бы вызов в подобном месте, Дальбер сдержался, призвав на помощь все свое самообладание, и спрятал гнев под маской ледяного презрения. Толпа постепенно рассеялась. Рудольф сел в карету с господином Депре и Каликстой, а Дальбер повез Амину к ней домой.

Вбежав в свою комнату, Каликста, не раздеваясь и не заперев двери, тотчас схватила листок бумаги, обмакнула перо в лимон, лежавший рядом

со стаканом воды, который девушка обычно выпивала на ночь, поспешно написала несколько строк и подбежала к часам.

«Слава богу, еще не поздно!» — подумала она.

В самом деле, спектакль, состоявший из одного акта оперы «Клятва»[4] и балета, закончился довольно рано; лошади Рудольфа мчались быстро, и старинные часы на Сен-Жермен-де-Пре только начали медленно и торжественно бить одиннадцать.

Сейчас придет шарманщик!

В конце улицы послышались звуки польки. Шарманка, по обыкновению, фальшивила так, что залаяли все собаки в округе, и вскоре остановилась у дома господина Депре.

Каликста, забыв о своих обнаженных руках и груди, высунулась в окно, за которым уже царила темень и прохлада, и бросила шарманщику монету, завернутую в испещренную таинственными знаками бумажку.

Бедный Дальбер провел ужасную ночь. Он думал только о том, что Каликста, которая, должно быть, воображала жениха убитым горем и раскаянием, увидела его в обществе женщины, открывшей тайну их чистой любви и отдавшей обожаемый образ на посмешище куртизанкам и распутникам. И эти мысли доводили Анри до белого каления.

«Теперь, — повторял он, — она вправе слушать Рудольфа. И я сам дал ей такое право! А этот мерзавец, которому я доверил свою судьбу и поручил заступиться за меня у Депре!.. Я трижды дурак! Как он теперь смеется надо мной! Как потешается над моей глупой доверчивостью! Но я отобью у него охоту смеяться. Я вызову негодяя на дуэль! Или он признается, что грязно оклеветал меня, или будет убит».

Едва настало утро, Дальбер, который совсем не спал и не мог усидеть на месте, уже изо всех сил дергал серебряный колокольчик на двери Рудольфа.

Через полчаса сонный лакей в наспех накинутой ливрее отворил дверь и очень сердито проворчал:

— Кого это черт принес спозаранку! Часу не прошло, как хозяин лег... Приходите позже!

— Мне непременно нужно видеть твоего господина по делу, которое не терпит отлагательства.

— Если вы за деньгами, то напрасно изволите так рано беспокоиться, — продолжал лакей, — хозяин расплачивается только по вечерам.

— Отдай барону эту карточку.

— Не смею, сударь... барон только заснул. Как пить дать, он меня прибьет.

— Довольно рассуждать. Ступай, я пойду следом.

Последние слова прозвучали столь решительно, что слуга перестал возражать.

— Это вы, Анри! — С хрустом потягиваясь и зевая во весь рот, Рудольф накинул алжирский халат. — Вот уж не ожидал, черт меня возьми! Рановато для разговоров о вашей любви... Вчерашний вечер дела не поправил. По правде говоря, теперь у вас нет никаких шансов, а я так старался, так нахваливал вас старику Депре! Каликста и через полгода не забудет эту встречу на лестнице.

— Довольно лжи, барон! Вы обманщик и предатель, именно так, сударь. Покорно вас прошу, сделайте одолжение, перестаньте принимать меня за болвана.

— Какая муха вас укусила, любезнейший? Вы, верно, встали с левой ноги. Впрочем, вам, как отчаявшемуся влюбленному, я прощаю эти вольности, которые не спустил бы никому другому.

— Весьма благодарен за великодушие, барон. Но сделайте одолжение, рассердитесь, прошу вас: это доставит мне удовольствие. Поймите мои слова в том смысле, который оскорбит вас.

— Вы, кажется, хотите дуэли?

— Точно так. Один из нас лишний на этой земле.

— Вы ведете себя как в пятом акте мелодрамы[5], любезнейший. Нам нет смысла драться, ибо у нас нет ни малейшего повода к ссоре. Вас изгнали из дома невесты из-за истории с медальоном, которая задела и отца, и дочь. Разве я виноват в этом? Вы послали меня попросить, похлопотать за вас. Я объяснял, как все случилось, всячески вас расхваливал, но Депре не желал ничего слышать, а только твердил, что вы игрок, распутник и шалопай. Мадемуазель Каликста тоже обижена: она считает вас любовником Амины и в жизни не простит измены. Ну, а я-то тут при чем?

— Я требую, чтобы ноги вашей не было у господина Депре и чтобы вы не смели ухаживать за Каликстой.

— Любезный друг, вы бредите. Уж не воображаетели вы, что Каликста проведет остаток дней своих, оплакивая счастливого любовника Амины? Неужели вы намерены воевать со всеми, кто вздумает приблизиться к вашей бывшей невесте?

— Я хочу помешать именно вам.

— Почему, скажите на милость? Вы вне игры, поле свободно, так отчего я должен оставаться в стороне? Вот если бы вы были вхожи в дом и если бы девушка чувствовала к вам расположение, а я пытался оттеснить вас, тогда я понял бы ваш гнев, но сейчас он, признаюсь, меня поражает.

— Я сумею заставить вас драться со мной.

— Надеюсь, нет... разве только нанесете мне публичное оскорбление... Может, вы думаете, мне не хватает храбрости и я хочу уклониться от по-

единка? Извольте, я уже не раз доказал обратное и докажу еще раз. Джон, принесите пистолеты и поставьте лист железа у стены.

Джон хладнокровно повиновался.

— Пистолет заряжен? — удостоверился Рудольф.

— Да, господин барон.

— Сделаем мишень. — Рудольф прилепил к железному листу крошечную восковую облатку для писем.

Он выстрелил почти не целясь. Облатка исчезла.

Он повторил этот фокус двенадцать раз подряд с неизменным результатом: каждый раз пуля попадала в точку.

Затем он подвесил грузик на кончик нити, и при каждом выстреле грузик падал на пол.

Анри смотрел, не произнося ни слова.

— И на шпагах мне нет равных, — заявил Рудольф.

— Так что ж! Вы убьете меня, и дело с концом! Но я все равно заставлю вас драться. — И, церемонно откланявшись, Дальбер ушел.

Вечером того же дня в «Кафе де Пари» он выплеснул рюмку вина в лицо Рудольфу, сидевшему за соседним столом.

Все знали, сколь силен Рудольф в фехтовании и стрельбе, и потому с той же минуты посчитали Дальбера трупом и начали говорить о нем только в прошедшем времени. Рудольф давно ни с кем не дрался в силу той же щепетильности, что мешает учителям фехтования связываться с неумелыми буржуа.

Оскорбление было публичным, примирение — невозможным. У каждого из противников в ресторане нашлись приятели, которым пришлось согласиться стать секундантами, и свидание назначили на десять часов следующего же утра в Венсеннском лесу, на аллее Минимов[6].

— Погода весьма неустойчива, — заметил человек-барометр, которого наши читатели наверняка помнят и который оказался в числе секундантов Рудольфа, — вполне возможно, завтра будет дождь.

— Что ж! — ухмыльнулся Рудольф. — Значит, придется драться с зонтиком в одной руке и пистолетом в другой. Получится дуэль в духе Робинзона Крузо[7].

Все откланялись, договорившись встретиться утром у Тронной заставы[8].

Дальбер пришел домой, распорядился насчет завещания, написал два или три письма и отправился на улицу Аббатства, чтобы бросить последний взгляд на окно Каликсты Депре.

Он увидел, или ему почудилось, как штора, наглухо закрывавшая окно с того вечера, когда рухнули все надежды Анри, дрогнула и на минуту отодвинулась.

Воображая себя почти помилованным, он ушел с сердцем, исполненным радости и решимости, и думать забыл о предстоящей дуэли. Он верил, что не умрет.

Между тем Рудольф сидел в своем кабинете и держал в руках письмо, которое вертел и так и сяк, будто надеясь отыскать в нем некий тайный знак. Бумага, очевидно, не содержала в себе ничего приятного: Рудольф хмурил брови и кусал губы до крови; мертвенная бледность покрывала его лицо, казалось, его охватила страшная тревога.

— Ничего не поделаешь! — сказал он после долгого размышления. — Придется подчиниться: против таких условий не пойдешь... Но откуда взялось это дьявольское послание?.. Почерк, конечно, поддельный... Джон, кто-нибудь видел, как доставили эту записку?

— Нет, сударь, со вчерашнего дня никто ничего не приносил.

— Странно! — удивился барон и снова глубоко задумался.

На другой день в назначенный час противники сошлись на аллее Минимов.

— Господа, — сказал барон, — если господину Дальберу угодно принести свои извинения, я забуду вчерашнее оскорбление, несмотря на всю его серьезность. Мое искусство в стрельбе и фехтовании и многочисленные дуэли, из которых я вышел победителем, позволяют мне пойти на это, никому не давая повода усомниться в моем мужестве.

Секунданты обеих сторон нашли эту речь исключительно благородной и одобрительно закивали, но Дальбер и слышать не хотел о примирении.

Отмерили расстояние, и противники стали в тридцати шагах друг от друга.

«Что же делать, — думал Рудольф, — если я выстрелю в воздух, этот идиот может случайно меня задеть... Слегка ранить его... Так будет надежнее».

Рудольф прицелился. Как оскорбленная сторона, он имел право стрелять первым. И не успела прозвучать вторая команда, как раздался его выстрел[9].

Он ранил Дальбера в правое плечо.

Дальбер выстрелил в свою очередь, но рука уже не слушалась его и пуля пролетела на три фута выше головы Рудольфа.

Кость осталась невредимой, но Анри страдал от нестерпимой боли, и хотя рана, судя по всему, была неопасна, дуэль пришлось прекратить.

Анри старался удержаться на ногах и дойти до кареты, но не смог: силы изменили ему, он упал без чувств.

Когда он очнулся дома в своей постели, то увидел склоненную над ним прекрасную женскую головку.

Глава VIII

— Флоранса, — прошептал Дальбер дрожащим от слабости и волнения голосом, обратив на молодую женщину исполненный признательности взор, — вы здесь!

— Да, это я. Я вам все объясню потом. Вам нельзя беспокоиться. Доктор велел мне побыть вашей сиделкой, так что вы должны меня слушаться. Спите, а я почитаю.

И молодая женщина приложила тоненький пальчик с блестящим словно агат ноготком к пылающим губам раненого, приказывая ему молчать.

Дальберу не хотелось спать, он прикрыл глаза и, несмотря на боль, с восхищением принялся рассматривать из-под опущенных ресниц идеальный профиль ангела-хранителя, сидевшего у его изголовья.

Тонкий луч света очерчивал контур лица Флорансы, а на щеки и шею, залитые прозрачной тенью, ложились перламутрово-серебристые отблески от книжных страниц и белых простыней. Любой художник пришел бы в восторг от подобного сочетания света и тени. Но ни один не придумал бы такой чистой формы, пленительных красок и целомудренного выражения. Как будто сестра сидела подле больного брата. Молодая женщина, одна в доме у молодого холостяка, держалась столь сдержанно и скромно, что никто не посмел бы дурно истолковать ее присутствие.

Дальбер всегда испытывал к Флорансе некоторое уважение, ему почему-то казалось, что она намного выше тех, кто ее окружает. Теперь он спрашивал себя, что привело к нему это прекрасное благородное создание: они встречались нечасто, случайно и никогда не были близки. Он не мог назвать ее ни другом, ни любовницей и не понимал, чем заслужил подобное участие. Правда, он припомнил, что порой ловил на себе довольно пристальный взгляд Флорансы, но Дальбер не был глуп и тщеславен и потому, отказавшись от мысли, что Флоранса влюблена в него, приписал ее поступок сердечной доброте, хотя любой другой на месте Анри придал бы ему совершенно иное значение.

Он был рад, что Флоранса рядом, и решил принять это счастье безо всяких объяснений. Боль его между тем утихла, веки отяжелели, и он забылся крепким сном.

Дальберу грезились странные бессвязные сны, и один из них поразил его особенно сильно: ему чудилось, будто Каликста из девичьей прихоти и любопытства вздумала посмотреть, как он живет, и воспользовалась его отсутствием. И хотя во сне Анри не было дома, он видел, как она весело и резво порхала по его комнате, смотрела на картины, трогала оружие, наргиле[1], кальяны, трости от Вердье и Томассена, перебирала золотые ве-

щицы и печатки в шкатулке, открывала ящики, копалась в бумагах. Его внезапное появление заставило девушку бежать...

Тут он внезапно вздрогнул и проснулся.

Что-то белое и стройное, напоминавшее девичий стан, мелькнуло в дверях, и они бесшумно затворились за складками платья.

— Что с вами, Анри? — Флоранса склонилась над изголовьем больного. — Болит рука? Или вы хотите пить?

Казалось, Дальбер удивлен, что видит в комнате лишь Флорансу.

«Пустое, — сказал он себе, — это все сон! Каликста здесь... разве такое возможно? Голова идет кругом от горячки, я брежу».

Пришел доктор, сменил повязку и объявил, что самое большее через две недели рана заживет.

В тот же вечер приехала Амина. Она прождала Дальбера целый день, удивляясь, что он все не идет, послала за ним и, узнав о дуэли, поспешила навестить раненого.

Едва переступив порог, она заметила и кашемировую шаль на спинке кресла, и дамскую шляпку на подоконнике. Амина окинула эти вещи тем молниеносным женским взглядом, что далеко превосходит по своей проницательности взор судебного исполнителя или главного оценщика.

Лицо ее исказилось, маленькие розовые ноздри раздулись от досады.

— Меня обскакали, — сказала она, позаимствовав выражение из жаргона наездников, к которому привыкла, общаясь со светскими львами. — Неужели эта маленькая тихоня, которая в театре окатила меня взглядом как ледяной водой... неужели она здесь? Так вот как поступает добродетель!

В это время в комнату вернулась Флоранса, положив конец сомнениям Амины.

Обе женщины молча смерили одна другую взорами, полными величайшего презрения.

Амина первая прервала молчание. Она подошла к постели Дальбера и сказала:

— Любезный друг, я шла предложить вам свои услуги в качестве сиделки, но вижу, меня опередили. Флоранса добрая душа. Я сменю ее, когда она утомится. Вы родились под счастливой звездой! Вы стрелялись с Рудольфом и не убиты: такого еще не случалось! Вы отделались легкой раной и теперь недели четыре будете носить руку на черной перевязи, что лишь прибавит вам интереса в глазах женщин. Амина и Флоранса оспаривают друг у друга честь проводить ночи у вашего изголовья: советую вам не пенять на судьбу.

Амина расположилась в кресле, и, по всей видимости, надолго.

Флоранса заняла прежнее место у изголовья и продолжила читать.

Дальбер рассматривал обеих женщин, таких пленительных и таких разных. К красоте одной примешивалось что-то коварное, жестокое и

опасное — прелесть кошки, чары сирены, притягательность ядовитого цветка. Любить ее было бы страшно и тревожно. Другая выглядела открытой, полной симпатии, благородства и великодушия. Чувствовалось, что ей можно без опасения доверить свою любовь и честь. Именно такую женщину Дальбер избрал бы, если бы не любил Каликсту.

Амина, чувствуя неловкость сложившегося положения, решилась нарушить молчание:

— И долго мы будем прятать глаза? Что мы сидим, будто сфинксы, и точим когти?[2] По-моему, хватит ломать комедию.

— Что вы хотите сказать, Амина? Я не понимаю, — спросил Анри.

— Дело, однако ж, очень просто.

— Так объяснитесь, ради бога!

— Я обрисую ситуацию в трех словах: Каликста ненавидит вас, а мы обе любим. Выбирайте.

— Флоранса любит меня? Возможно ли? — вскричал Дальбер.

С радостным изумлением он обратил к Флорансе свои вопрошающие и полные страсти глаза: она смутилась и покраснела.

— Вижу, яблоко Париса досталось не мне[3], — сказала Амина, вставая. — Я вас покидаю, счастливая чета: поеду петь вам эпиталаму[4] по всему Парижу. Прощайте, Дальбер. Вы никогда не поумнеете. Прощайте, Флоранса, похоже, стоило так долго строить из себя недотрогу!

Когда сообщница Рудольфа ушла, Флоранса в ответ на мольбы Дальбера призналась, что с давних пор питает к нему чувства, которые старалась заглушить, поскольку сердце его занято, и что именно любовь вынудила ее прийти к Амине в тот день, когда они все вместе катались по Булонскому лесу, и она же довела ее до отчаяния при виде медальона и заставила поспешить на место дуэли.

— Я знаю, что ваше сердце принадлежит другой, — прибавила она, — и, несмотря на мое признание, не предлагаю вам ничего, кроме дружбы. Прошу вас, поверьте, — Флоранса горделиво вскинула подбородок, — я не боюсь Амины, дело вовсе не в ней.

Целую неделю Флоранса проводила каждый вечер у изголовья больного.

Дальбер не забыл Каликсту, однако думал о ней уже не с той ядовитой горечью, что прежде, и чары утешительницы значительно убавили его скорбь.

Когда Анри поправился настолько, что смог выйти из дома, он первым делом явился к Флорансе: она приняла его с благородным дружелюбием, ласковой заботливостью и предупредительностью, которыми владела в совершенстве.

Дальбер пришел и на другой день и остался дольше, чем в первый раз. Кроме минут, проведенных с Флорансой, жизнь казалась ему смертельно скучной. Образ оттолкнувшей его Каликсты и сожаление об утраченном счастье повергали его в черную меланхолию. Рядом с Флорансой он обретал веру в возможность забвения, в зарождение новой любви; строил воздушные замки и на развалинах былого счастья уже видел новое здание, позолоченное солнцем. Красота молодой женщины ослепляла его, обещала так много, что, будь он скульптором, изваял бы Флорансу в виде богини, поэтом — воспел бы в стихах, султаном — отдал бы за нее все свои сокровища. Он восхищался ее тонким вкусом и остроумием, и, когда они увлекались беседой — одной из тех, что уносит души на край света, — часы для него летели как минуты.

Рудольф не терял времени и продолжил завоевывать расположение господина Депре. Его сдержанность на дуэли с Дальбером сделала ему честь. Каликста обходилась с ним довольно мягко — оттого ли, что истинная, глубокая страсть барона действительно тронула ее, или оттого, что она хотела отомстить Дальберу. Поговаривали даже о женитьбе Рудольфа на мадемуазель Депре.

Анри, видя, что нет больше никакой надежды тронуть когда-нибудь сердце злопамятной Каликсты, убедил себя, что должен любить Флорансу. Его отчаяние так походило на страсть, что Дальбер обманулся и вообразил, будто в самом деле влюблен... но разве можно любить двух женщин одновременно?

Он почти не отходил от Флорансы, которая, однако ж, постоянно оказывала ему сопротивление, довольно странное после ее собственных признаний. Любовь Дальбера превратилась в горячку, умопомрачение, которое иногда словно передавалось Флорансе, но в то самое мгновение, когда он ожидал, что она упадет в его объятия, она вдруг отскакивала в дальний угол комнаты и, гордо вскинув голову, кричала:

— Оставьте! Оставьте меня! Вы любите Каликсту!

Напрасно бедный Анри бросался к ее ногам, умолял, уверял, изливал душу в пламенных дифирамбах, пышущих жгучим желанием и неодолимой страстью, Флоранса твердила одно:

— Нет, нет! Я чувствую, вы не принадлежите мне, ваши слова неубедительны... Заставьте поверить, что вы любите меня, тогда... я буду ваша.

Эти сцены повторялись довольно часто и заканчивались всегда одним и тем же.

Как-то вечером Дальбер нашел Флорансу необычайно подавленной и спросил ее о причине.

— Этот дом вызывает у меня отвращение, — ответила она, — два года назад я жила здесь с Тургеймом, моим *единственным* любовником. Ужасно

слышать слова любви в стенах, хранящих эхо другого голоса, там, где другой мужчина чувствовал себя хозяином. Не гадко ли это?.. Кто бы сказал мне, что я, Флоранса, приму жениха Каликсты в доме господина Тургейма?

Слова Флорансы стали откровением для Дальбера. Его потрясло, что он мог быть столь бесчувственным и бестактным, и, не говоря ни слова, Анри купил по соседству с Елисейскими полями очаровательный особняк, утопавший в зелени и цветах.

Этот особняк построил какой-то знатный иностранец, владевший похожими домами во всех европейских столицах. Когда лорд У*** умер, его наследники решили, что им это здание ни к чему, и Дальбер отдал за него сто тысяч франков.

Красивый фасад, обращенный на юг, украшала лепнина в ренессансном стиле, своей белизной он ярко выделялся на зеленом фоне окружающих деревьев. Двор был невелик, но благодаря двум симметрично расположенным воротам экипажи свободно подъезжали к дому и выезжали на улицу. Маленький садик со всех сторон обступали тенистые сады соседей, и потому он казался гораздо больше, чем был на самом деле.

Особняк отличался прекрасно продуманной планировкой комнат и удобством, доведенным до совершенства. Это было самое очаровательное гнездышко, какое только может найти для своего счастья любовная пара или молодая чета.

Дальбер призвал на помощь искуснейшего парижского обойщика, обставил свое приобретение изысканной мебелью и сделал из каждой комнаты шедевр элегантности и комфорта. Он знал, что Флоранса не любит кричащей роскоши и излишеств, и сумел превратить деньги в поэзию.

Особенно восхищала своей скромной простотой и покоем спальня — сюда не допустили ни золота, ни ярких тонов, ни раздражающих глаз деталей, — все было свежо и пленительно, словно цветок лилии, и пришлось бы по вкусу даже Титании[5].

За всё про всё Дальбер отдал пятьдесят тысяч, то есть не слишком много.

И вот наступил день, когда Дальбер вручил Флорансе небольшой ключ и сказал:

— Это ключ от дома, который принадлежит вам.

В шкафах и комодах подаренного ей особняка Флоранса нашла запас нарядов, достойный приданого принцессы. На камине в будуаре лежала подписанная Дальбером доверенность, по которой Флоранса могла брать в банке столько денег, сколько ей понадобится.

Прослышав об этом великолепии, Амина сделала глубокомысленный вывод:

— Решительно мне недостает ровно одного порока — лицемерия!

Воспитанница Рудольфа чувствовала, что ее уязвили в самое сердце. Она решила, что Дальбер влюблен до безумия: в некоторых сферах сила любви определяется по сумме затрат. И Амина, которая всегда недолюбливала Флорансу, теперь по-настоящему ее возненавидела.

Но если бы до сведения Амины дошло кое-что еще, то ее изумлению не было бы предела и она наверняка сочла бы это высшей степенью изощренного кокетства. Она не ведала, что, несмотря на всю свою щедрость, Дальбер еще не получил от Флорансы никакого доказательства любви, кроме позволения целовать руку. Между тем, судя по проникновенным пламенным взглядам, какие Флоранса иногда устремляла на Анри, любой бы поклялся, что она любит его, или же никогда нельзя верить ни блеску глаз, ни выражению лиц.

— Ах, как же вы любите ее! — говорила Флоранса Дальберу в ответ на его нежные страстные речи. — В эту минуту вы думали о ней, вот отчего ваши глаза светятся, голос дрожит, а слова так поэтичны. Вы произносите «Флоранса», а думаете «Каликста».

Напрасно Дальбер рассыпался в уверениях, Флоранса оставалась непоколебимой.

В душе он и сам чувствовал, что она права. По малейшему знаку со стороны Каликсты он не раздумывая бросился бы к ее ногам, мгновенно забыв о Флорансе. Да, после Каликсты он больше всех на свете любил Флорансу, но в любви не бывает второго места.

Не в силах убедить Флорансу, он старался ослепить ее, польстить ее тщеславию: каждый день он преподносил ей то браслет, то перстень, то необыкновенный наряд или редкий цветок, то модную карету или пару новых лошадей. Нарушив неприкосновенность своего капитала, он стал черпать из него обеими руками, словно обладал несметными сокровищами. Флоранса не замечала его безрассудной расточительности: то ли она привыкла к царской роскоши, то ли полагала, что Дальбер гораздо богаче, чем он был на самом деле. Анри не допускал мысли, что она алчна или скупа: Флоранса редко надевала наряды, которые свели бы с ума любую другую женщину, да и делала это не из кокетства, а чтобы доставить ему удовольствие. Что до драгоценностей, то она с минуту любовалась ими, а потом прятала в футляр и больше никогда не доставала.

У Флорансы не осталось ни одной булавки, которая напоминала бы ей о прежней связи. Но гораздо легче уничтожить материальные свидетельства, переменить обстановку, стереть все следы прошлого, чем победить сомнение в ревнивой душе, и Дальберу никак не удавалось уверить Флорансу в своей любви. Дальбер совсем потерял голову: сгорая от желания, он разрывался на части и наконец начал проклинать Каликсту, которая сделала его вдвойне несчастным.

Однажды утром Флоранса с самым простодушным и непринужденным видом сообщила Дальберу, что посылала к банкиру за деньгами и получила отказ.

Дальбер растратил весь капитал. У нашего героя оставались только земли, к счастью, не отчуждаемые, да надежда на наследство от дяди, который пребывал в добром здравии.

Дальбер обратился к ростовщикам, и хотя ему не предложили вместо денег живых верблюдов, чучело крокодила и полог из омальской саржи, как наследникам во времена Мольера[6], векселя выдали на очень короткие сроки и под большие проценты, а когда он не заплатил по ним, их опротестовали.

Дальбер не сказал ни слова о своих затруднениях Флорансе, которая ни о чем не догадывалась или делала вид, что не догадывается, и продолжал тратить, как прежде. И в один прекрасный солнечный день четыре господина малоприятной наружности учтиво подхватили Анри Дальбера под руки, усадили в карету и доставили в долговую тюрьму.

К глубокому его сожалению, Дальберу пришлось сообщить Флорансе о том, что с ним случилось. Он написал ей письмо, в котором рассказал о причине ареста и назвал сумму, необходимую для его освобождения. Он ни секунды не сомневался, что Флоранса поспешит ему на выручку.

Часов через пять тюремный надзиратель сообщил ему, что к нему пришла какая-то дама.

Само собой разумеется, бедный арестант ожидал увидеть Флорансу. Вообразите же его удивление, когда к нему в камеру пожаловала... кто бы вы думали? Амина.

Глаза ее сверкали злорадством, маленькие ноздри трепетали, лицо сияло удовлетворением и коварством: красивая и блестящая, — точь-в-точь довольная жизнью змея.

Плавно покачивая бедрами, она приблизилась к Дальберу и с подчеркнутой нежностью проворковала:

— Ну что, мой бедненький Дальбер! Заточили вас, лишили белого света? Амина пришла развлечь вас и утешить. Друзья, как известно, познаются в беде, вот и судите теперь, кто вам предан, а кто — нет.

— Не издевайтесь надо мной, Амина. Время и место совсем неподходящие.

— Я и не думаю шутить. Для полноты и совершенства облика вам недоставало лишь этого отдыха в Клиши[7], настоящий лев просто обязан побывать в сем заведении. Флоранса — тонкая штучка, я восхищаюсь ею, быстро же она вас разорила... Надеюсь, теперь вы исцелились от страсти к добродетельным женщинам: они слишком дорого обходятся. Со мной вы протянули бы, по крайней мере, три года, и за это время я научила бы

вас тысяче каламбуров и забавных шуток, так что вы не остались бы внакладе и до конца жизни слыли бы приятным собеседником.

Дальбер раздраженно поморщился.

– Не хмурьтесь, пожалуйста, зачем вам лишние морщины? Примите как подобает добрую девушку, она привезла сигар, шампанского и фельетонов, чтобы вам не было скучно. Да, кстати, вы знаете, что Каликста выходит замуж за Рудольфа?

Дальбер вскочил и хриплым голосом воскликнул:

– Ложь!

– Нет, правда. Скоро огласят, если уже не огласили. Вы побледнели? Так вы все еще не забыли эту Каликсту? А она любит Рудольфа...

Дальбер обеими руками закрыл лицо и ничего не ответил, но скоро между его пальцев просочились слезы.

– И Рудольф влюблен в нее по уши. Пара голубков, да и только! Они заживут счастливо и заведут кучу ребятишек, как в волшебных сказках... О! Да вы, похоже, плачете!.. – Амина отвела руку Дальбера. – Какая глупость! Но, ничего не поделаешь, придется смириться. Я уведомлю вас о дне свадьбы, потому что пригласительного билета вам сюда, вероятно, не пришлют. Прощайте, кланяйтесь Флорансе.

Глава IX

Когда Амина ушла, Дальбер принялся уверять себя, что она нарочно принесла ложную весть, желая растравить его рану, и свадьба Каликсты и Рудольфа просто выдумка.

Эта мысль несколько успокоила его.

Но что сталось с ним, когда в газете, которую дал ему почитать другой арестант, он своими глазами увидел объявление о свадьбе Каликсты и Рудольфа.

Сомнений не оставалось.

Легко представить себе отчаяние и бешенство, овладевшие Дальбером. Сидеть в тюрьме и знать, что твоя возлюбленная выходит замуж за соперника! Да есть ли на свете что-нибудь ужаснее? От этого впору голову разбить об стену, повеситься на оконной решетке или, если побег – твое призвание, как у Латюда и барона де Тренка[1], булавкой прокопать подземный ход длиной в восемьдесят футов.

Скрепя сердце Дальбер допускал, что оскорбленная приключением с медальоном и встречей в театре Каликста не в силах его простить и готова наказать вечным изгнанием. Но чтобы она разлюбила и забыла все свои клятвы – в это он верить отказывался. Возможно, он и сам согласился бы

никогда не видеть ее, но только при условии, что она не будет принадлежать другому.

Теперь, даже оказавшись на воле, он не мог помешать Рудольфу: дуэль уже состоялась, снова придраться к барону и оскорбить его означало лишь устроить бесполезный скандал и выставить себя на всеобщее посмешище. Согласие Каликсты на замужество делало всякое постороннее вмешательство неуместным и нелепым. Вот если бы несчастную жертву насильно вели к алтарю по воле отца-варвара, тогда другое дело, но, по словам Амины, мадемуазель Депре обожала Рудольфа.

Дальбер не отдавал себе столь ясного отчета в сути происходящего: ему казалось, что если он успеет выйти из тюрьмы, то в последний момент непременно найдет верное решение, небо ниспошлет ему озарение, и жертва будет спасена. В общем, он рассуждал, как смертник, который до конца надеется, что, когда его поведут на эшафот, произойдет революция, землетрясение или какой-нибудь другой катаклизм и принесет ему свободу!

Возможно, кое-кто удивится, почему Каликста, решительно заявлявшая отцу, что не выйдет ни за кого, кроме Дальбера, столь малодушно уступила своему родителю.

Неужели ее стойкая вера в любовь Анри пошатнулась, неужели она, так твердо убежденная в его невиновности, сдалась? Или красота Амины заставила ее удостовериться в измене? Или Каликста узнала о связи Анри с Флорансой? Или она полагала, что Дальбер испугался трудностей и сам отступился от нее?

Одно можно сказать наверняка: господин Депре проникся таким уважением к Рудольфу, что непрестанно надоедал дочери. И в конце концов она сказала, что согласна выйти за барона, но знает наверняка: очень скоро отец сам попросит ее отказаться от этого замужества.

— В таком случае я с нынешнего же дня могу называть тебя госпожой баронессой! — вскричал старик, потирая руки. — Чтобы я переменил свое мнение? Да никогда! Твой Анри теперь влюблен в другую особу... Каков соколик! И подумать только, он едва не стал моим зятем!..

Каликста ничего не ответила и вновь погрузилась в тихую меланхолию. Рудольф не знал, что и подумать: даже полагая себя неотразимым, порой он все же удивлялся, что юная девушка так быстро забыла свою первую любовь. Иногда, правда, ему казалось, будто взгляд Каликсты, останавливаясь на нем, принимает странное выражение, а за ее улыбкой скрывается глубокая ирония. Временами какая-то тайная мысль мгновенной вспышкой молнии озаряла бледную маску покорности на лице девушки, и барон невольно содрогался от страха, словно чуял беду. Но после того, как объявили об их помолвке, Рудольф успокоился.

Для Дальбера день тянулся невыразимо долго: часы казались ему вечностью, минуты — столетиями. Его письмо к Флорансе осталось без ответа. Он ожидал, что Флоранса тут же поможет ему выйти на свободу, и не понимал, почему она медлит. В душу его закрались самые ужасные подозрения: «Неужели Флоранса — та же Амина, только еще более порочная? Она узнала о моем разорении и отвернулась от меня? Стало быть, под личиной ее добродетели скрывалась низкая алчность... Нет, не верю! Она, вероятно, хлопочет о моем освобождении и скоро приедет... Вот, кажется, заскрипели дамские ботинки и зашуршало платье... Это она!»

В коридоре действительно послышалась легкая поступь и шорох шелкового платья, но только эта посетительница была не Флорансой и пришла отнюдь не к Дальберу.

Флоранса не появилась ни в этот день, ни на следующий. Раздраженный Дальбер обрушился на всех женщин с обвинениями, достойными Ювенала[2]. Он проклял разом Каликсту, Амину, Флорансу, всех без исключения, худших и лучших, и принес торжественный обет никогда больше не верить ни в любовь, ни в дружбу, ни в кого и ни во что. Сам того не ведая, Анри повторял тирады, которые Шекспир вложил в уста Тимона Афинского[3]. Мир казался Дальберу разбойничьим вертепом. Его обманули, обокрали, разорили; не успел он отдать последние деньги, как все оставили его, и никто не помянул его добрым словом! Анри поклялся, что если когда-нибудь сколотит новое состояние, то станет безжалостным, хищным и подозрительным, точно скряги Квинтена Массейса, которые жадно тянутся к стопкам золотых монет костлявыми пальцами[4].

Дальбер продолжал свою диатрибу[5], когда в его камеру вошла Флоранса. По его лицу сразу было видно, как он расстроен, и она замерла у порога, будто дожидаясь приглашения.

Дальбер хранил свирепое молчание.

— Что же вы? — печально и нежно улыбнулась Флоранса. — Зачем вы сдерживаетесь? Произнесите вслух то, что, вероятно, уже не раз говорили про себя... назовите меня вероломной, неблагодарной, бездушной... — Она умолкла на мгновение, вздохнула и продолжила: — Так вы решили, что я вас бросила? Ах, как я ошибалась! Я-то воображала, что завоевала ваше доверие... Ладно, будем надеяться, теперь вы поймете и оцените Флорансу. Но прежде всего вам надо освободиться: вот деньги.

И она положила на стол пачку банковых билетов. Дальбер покачал головой, краска возмущения выступила на его благородном лице.

— О! Вы можете принять эти деньги! — прибавила Флоранса. — Они ваши, вы вовсе не разорены.

В глазах Анри отразилось живейшее изумление.

– Напротив, вы богаче, чем прежде, – продолжала Флоранса, – суммы, которые вы расточали, были пущены в оборот через одного старинного приятеля покойного господина Тургейма. Он не утратил своего расположения ко мне, а я полностью ему доверяю. Его стараниями ваши капиталы приносят хороший доход, все бумаги вы найдете в доме, который также переписан на ваше имя. Вот ключ. Я уже не вернусь туда, я сделала все, что могла, и больше вы меня не увидите.

– Флоранса, милая, что вы такое говорите! – вскричал Дальбер, который ничего не понимал ни в неожиданном повороте событий, ни в странной решимости молодой женщины...

– Каликста еще любит вас... Прощайте, Анри, прощайте навсегда!

Флоранса поцеловала молодого человека в лоб и, не успел он опомниться, выскользнула за дверь.

Когда Дальбер подбежал к воротам тюрьмы, он услышал, как застучали по мостовой колеса экипажа, а ему еще надо было вернуться в камеру за деньгами. Не стоило и надеяться догнать Флорансу.

Оказавшись на свободе, Дальбер первым делом бросился домой, чтобы расспросить, как найти Флорансу, но слуги ничего не знали: госпожа уехала утром и больше не возвращалась. Дальбер отправился на улицу Сен-Лазар, на прежнюю ее квартиру, но там никто не открывал. Флоранса не оставила никаких зацепок, и поиски Дальбера оказались тщетны.

Настало время объяснить читателям загадку, ключ к которой Дальбер нашел лишь долгое время спустя.

Флоранса воспитывалась в одном пансионе с Каликстой. Обе девочки привязались друг к другу так сильно и нежно, как это бывает лишь в счастливом детстве: они разлучались только на время уроков, потому что Флоранса была на два года старше. Но все знали, что в часы отдыха их всегда можно найти на липовой аллее в глубине сада. Они изливали друг другу душу и говорили, говорили без конца. Каликста стала упорно учиться, ценой огромных усилий догнала Флорансу, и подруги оказались в одном классе. Флоранса была дочерью морского офицера, умершего на Сан-Доминго от желтой лихорадки, и креолки, которая большую часть жизни провела в колониях и привыкла к их простору и роскоши. В короткое время мать Флорансы растратила все состояние, оставшееся после мужа. Закончив пансион и получив блестящее образование, Флоранса вернулась в Париж и столкнулась с нищетой, зародившейся на развалинах былого богатства, то есть с самой жалкой на свете разновидностью бедности. Вскоре Флоранса лишилась матери и осталась в Париже одна без всяких средств. Она хотела зарабатывать любым честным трудом, но была слишком хороша собой, никто не верил, что она способна всерьез работать; таким белым ручкам не подобало браться за иголку: им следовало сиять бриллиантами на бархате театральной ложи. Предательская внешность сослу-

жила ей недобрую службу: ни одна хозяйка не захотела принять красавицу, боясь превратиться в ее служанку. Флоранса попыталась поступить на сцену, потому что обладала великолепным голосом, но ни в оперу, ни в водевили ее не взяли: она затмила бы собою всех, и потому против нее единодушно и безоговорочно восстала целая армия дурнушек. Наконец девушку встретил и сумел оценить господин Тургейм, атташе прусского посольства. Наделенный недюжинным умом, он не устрашился того, что пугало других, и связь их продолжалась до самой смерти дипломата, случившейся за год до начала нашей повести. И ни один злой язык не мог назвать имени его преемника.

Так сложилась судьба лучшей подруги мадемуазель Депре. Каликста сохраняла к ней те же чувства, что и прежде. Господин Депре строго-настрого приказал дочери забыть имя Флорансы и порвать с ней раз и навсегда, потому что порядочной девушке не пристало знаться с женщинами подобного сорта, но едва ли Каликста послушалась отца.

Возможно, в наивном простодушии Каликста не до конца понимала меру проступка Флорансы, или, как счастливая добродетель, она снисходила к этой падшей, но по-прежнему чистой душе.

Букет васильков и ржаных колосьев, нарисованный Флорансой, навсегда занял свое место над фортепиано, и пусть имя изгнанницы скрывала рамка, зато его не составило бы труда прочесть в сердце верной подруги.

Под видимой детской беспечностью Каликсты скрывался твердый характер, она не поддавалась идеям, которые считала несправедливыми. Флоранса, осужденная обществом, получила отпущение у Каликсты. Она слишком хорошо знала сокровища благородной души своей лучшей подруги и слишком долго была ее наперсницей, чтобы поверить в ее падение.

Она жалела подругу и говорила себе, что несчастье было неизбежно, что ни одна девушка не выдержала бы подобной борьбы.

Когда Каликста переехала в Париж, подруги, конечно, встретились и, не имея возможности ни видеться, ни посылать друг другу письма почтой, условились обмениваться записками так, как мы видели в начале нашего рассказа. Флоранса клала свои записки в ящик для молитвенника в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а Каликста передавала ей свои ответы, написанные симпатическими чернилами, через шарманщика.

С некоторых пор их переписка необычайно оживилась. Каликста узнала от Флорансы, что Анри попал в дурную компанию. В силу своего характера девушка не сомневалась в женихе, потому что если уж сочла кого-то достойным своей любви, то верила ему, несмотря ни на что. Но она опасалась, что другие могут употребить во зло его благородную натуру, а тщеславие исказит его прекрасные естественные черты. И не из мелкой ревности, а из почти материнской заботы она попросила Флорансу присмотреть за ним и в случае необходимости предостеречь. Флоранса легко

следовала за молодым человеком повсюду, куда увлекал его Рудольф, ибо мир актрис, повес и прожигателей жизни был для нее всегда открыт.

Так Флоранса взялась тайно послужить Ментором этому Телемаку, пообещав окунуть его в горькие струи, если он вдруг засидится на острове какой-нибудь Калипсо[6].

В конце каждой недели Флоранса давала краткий, но точный отчет о поведении Дальбера, последнему же и в самом страшном сне не могло присниться, что скромная девушка с улицы Аббатства, выходящая только по воскресеньям и только в церковь, знает все подробности его светской жизни.

Тому, кто сочтет любопытство нашей героини предосудительным, напомним, что ей предстояло стать женой Анри, то есть речь шла о счастье всей их жизни, и, следовательно, благая цель оправдывала средства. Признаться, положение девушек, живущих в отчем доме, точно в тюрьме, довольно прискорбно: они видят многих, но никогда не знают, как живут и что делают те, от кого зависит их дальнейшая судьба.

Приведем здесь две или три записки из тех, что мы заметили в секретере Флорансы. Вы помните, то были бумаги, посыпанные черным порошком, благодаря которому проявлялись буквы, написанные лимонным соком.

Каликста — Флорансе

> Ты говоришь, у него украла мой портрет женщина дурная и дерзкая... Анри заснул, бедняжка, потому что не привык к таким полуночным пирушкам... Ты опасаешься, что меня узнают? Но кто? Это невозможно. Я в Париже ни с кем не знакома, особенно из того круга. Наверное, Анри вне себя, ведь он так дорожил этим портретом, хотя я написала его для тебя. Думаю, скоро Анри отдадут медальон, потому что он никому не нужен. Значит, он по-прежнему часто видится с господином Рудольфом, которого я ненавижу и представляю себе похожим на Мефистофеля с иллюстраций к «Фаусту»? Умоляю, сделай все возможное, чтобы отвлечь Анри. Интересно, что хорошего находят мужчины в том, чтобы курить, пить и играть ночь напролет? Я уверена в Дальбере, но буду очень счастлива, когда мы вернемся в С***.

Каликста — Флорансе

> Случилось то, что ты предвидела: эта дурная женщина прислала моему отцу портрет с оскорбительным письмом из-за того, что Анри пренебрег ею. Видела бы ты гнев господина Депре! Даже Дальбер, мужественный Дальбер, дрожал как осиновый лист. Па-

пенька сказал ему, чтобы он изволил никогда не являться ему на глаза. И надобно же было случиться такому несчастью именно тогда, когда нас хотели уже венчать, когда мы уже обо всем условились! Теперь понадобится много времени, чтобы уговорить и задобрить папеньку. Меня, однако ж, очень утешает то, что Анри по-прежнему меня любит. Иначе эта женщина не сыграла бы со мной такой недостойной шутки.

Теперь, не смея прийти к нам, бедный Анри, верно, очень тоскует. Рудольф заставит его играть, потащит на эти гадкие ужины, с которых расходятся, когда честные люди завтракают. Ты говоришь, что Амина хорошенькая? Но можно ли быть хорошенькой с таким черным сердцем? Следи, пожалуйста, за Анри. Не упускай его из виду, это почти то же, как если бы я сама находилась рядом с ним: ведь мы с тобою были так близки, что почти обменялись душами.

Я прямо объявила отцу, что не выйду замуж ни за кого, кроме Дальбера. Отец ответил, что я рассуждаю как дурочка, которая ничего не смыслит в жизни. Он мне не верит, хотя я знаю гораздо больше, чем он думает.

Каликста — Флорансе

Вчера я была в театре с отцом и господином Рудольфом, который теперь часто заходит к нам, потому что ухаживает за мной и хочет на мне жениться. Думаю, именно он сообщил Амине мое имя и придумал всю эту отвратительную интригу, потому что когда я увидела его, то вспомнила, что он уже бывал прежде у моего отца. Дальбер сидел напротив в ложе бенуара вместе с этой женщиной. Мне очень хотелось убедиться, что она дурна, но ты права, она красива, очень красива и опасна: надо помешать Дальберу встречаться с ней. Если бы ты видела, какими глазами Анри посмотрел на Рудольфа после спектакля! Уверена, они будут драться. Только бы Анри не ранили и не убили! Флоранса, миленькая, придумай что-нибудь, извести полицию, напугай Рудольфа, а главное, уведи Анри от Амины! Пусть он лучше увлечется тобой, я даю тебе полную свободу и доверяю, как самой себе.

Флоранса, как мы видели, исполняла поручения своей подруги с редкой преданностью и самоотверженностью. Именно она пыталась с помощью своих слуг опоить лакея Амины и отнять у него медальон, и она же прислала Рудольфу то таинственное письмо, которому Дальбер был обязан жизнью. Ради Каликсты она вступила в соперничество с Аминой,

вытащила из омута отчаяния Дальбера, не дала ему наделать непоправимых ошибок и запятнать свое имя.

Придя в себя после исчезновения Флорансы, Дальбер вспомнил, что Рудольф женится на Каликсте, и его пронзила такая острая боль, что он понял: этой беды ему не пережить.

Он бросился со всех ног к господину Депре, решившись пройти через любые унижения, на коленях молить, лишь бы добиться прощения. Но господина Депре то ли не было дома, то ли он не захотел его принять, и Дальбер больше часа понапрасну бродил у подъезда в надежде дождаться старика. Раз двести прошел он под окном Каликсты, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь шторы. И ничего, никакого движения.

У Дальбера совсем не оставалось времени: на завтра было назначено подписание брачного договора.

Измученный душевно и физически, Дальбер нанял фиакр, вернулся к себе на Елисейские поля и в совершенном отчаянии бросился на диван.

Никогда он не чувствовал себя столь несчастным: он окончательно терял Каликсту, а Флоранса бесследно исчезла.

Оба ангела-хранителя покинули его. Демон одержал победу.

Дальбер долго сидел без движения, обхватив голову руками, и тысяча замыслов, один безумнее другого, сменялись в его воображении.

Стемнело. Когда принесли свечи, Дальбер увидел на столе довольно большой пакет, которого не заметил в своем смятении.

Распечатав его, он нашел записку от Флорансы и ценное письмо. В записке было сказано:

> Любезный Анри,
>
> завтра Вы должны явиться к господину Депре к часу, на который назначено подписание договора. Будьте в черном фраке и белых перчатках, — словом, в костюме жениха. Каликста знает, что Вы придете, и ждет Вас. Она любит Вас и прощает проступки, которых Вы, впрочем, не совершали... Рудольф не приедет: это я знаю точно. Отдайте Депре приложенное письмо, и Вы увидите, как скоро он переменит мнение о своем дражайшем бароне. Выполните все, что я Вам говорю, доверьтесь мне. В красном комоде Вы найдете бриллианты и украшения, которые дарили мне. Это Ваши свадебные подарки невесте.

Анри казалось, что он видит сон. Ничего не понимая, он смотрел на конверт, посреди которого красовалась огромная восковая печать с иностранным гербом.

В этом сером конверте заключалась вся его судьба.

Глава X

Господин Депре сиял. Еще на рассвете он надел огромный, белый, крепко накрахмаленный галстук, на который румяными складками спускались его слегка обвисшие с годами щеки. От его просторного фрака из великолепного сукна изумительно черного цвета так и веяло кандидатом в депутаты, толстая золотая цепочка протянулась от выреза жилета к карману, а пальцы ласкали золотую табакерку — словом, господин Депре являл собою образчик идеального тестя, мечту самого придирчивого жениха.

Он ходил из угла в угол, подвигал ногой кресла, которые не совсем симметрично стояли на своих местах, посматривал каждую минуту в окно, хотя до назначенного срока было еще далеко, и отстукивал на стеклах триумфальные марши.

Радость сочилась сквозь все его поры, ибо, откроем наконец слабость почтенного нотариуса, ему было очень, очень лестно, что его дочь выходит за барона. Мысль о гербе с жемчужной короной на карете Каликсты наполняла его родительское сердце сладостным удовлетворением! Между тем Депре всегда придерживался либеральных взглядов и уверял, что свободен от устаревших предрассудков. Попади бывший нотариус в палату депутатов, он занял бы место слева от центра. Вот такое противоречие. Даже отчаянные республиканцы неравнодушны к очарованию фамильных гербов, оттого почти во всех романах демократического толка главная героиня — герцогиня, в которую влюблен простолюдин.

Каликста была вовсе не так лучезарна, как ее отец, и даже честь именоваться госпожой баронессой, казалось, не слишком прельщала ее.

Она мало спала, и на лице ее, облагороженном легкой бледностью, сквозь маску равнодушия проступало некоторое беспокойство, будто она ждала чего-то особенного.

Конечно, Каликста полностью полагалась на преданность и ловкость своей подруги. Она для виду подчинилась воле отца только потому, что Флоранса обещала избавить ее от Рудольфа в решающую минуту. Но что, если Флоранса ошиблась, что, если Рудольф отразит роковой удар? Барон отличался такой находчивостью, хитростью и изворотливостью, умел так искусно выпутываться из самых затруднительных обстоятельств! И господин Депре столь слепо доверял ему! Согласитесь, поводов для беспокойства хватало, и Каликста не зря содрогалась от страха.

Стоило Флорансе допустить оплошность, Каликсте пришлось бы сдержать свое слово и выйти замуж за человека, которого она презирала. В общем, на карте стояло счастье и несчастье всей ее жизни.

Подписание договора назначили на полдень. Две стрелки сошлись и образовали одну вертикальную линию; все свидетели были в сборе; недоставало только Рудольфа.

Каликста стояла, положив руку на спинку кресла, прямая, неподвижная, бледная; ее глаза были устремлены на часы, ухо чутко ловило каждый звук, доносившийся с улицы, каждый шорох в передней.

Стрелки показывали уже четверть первого. Каликста вздохнула свободнее, легкий румянец оживил ее щеки.

— Может, наши часы спешат? — Депре взглянул на свой карманный хронометр. — Нет... Рудольфу уже давно следовало быть здесь, а впрочем, пятнадцать минут можно и простить.

Замечание господина Депре на минуту отвлекло присутствующих, затем они снова стали шепотом переговариваться между собой. Господин Депре в нетерпении начал прохаживаться взад и вперед: он находил, что Рудольф все же недостаточно торопится.

— Ничего не поделаешь! Верно, он замешкался за туалетом. Хочет явиться к невесте в лучшем виде, а в такой день обычно все идет наперекосяк!

Маятник однообразно тикал в такт со скрипом новых сапог господина Депре и в конце концов сделал столько движений, что пробило час.

Барон Рудольф, такой блюститель приличий, сама точность и учтивость, опаздывал на шестьдесят минут по всем стенным, напольным и карманным часам.

Свидетели, явно смущенные, не знали, куда деваться; лучезарное лицо Депре потемнело, на лбу его собрались тучи. И на мрачном фоне общего замешательства все ярче разгорались глаза Каликсты.

— Непостижимо! — ворчал сквозь зубы бывший нотариус. — Казалось, он безумно влюблен в Каликсту, искренне рад ее согласию, а между тем опоздал уже на целый час!.. Эти аристократы считают, что им все дозволено. Никакого уважения к честным людям. Такое оскорбление... Нет, это невозможно... Вероятно, с ним что-то случилось... нездоровье... дуэль... Бог знает... Однако ж в таком случае можно было написать или прислать кого-нибудь с извинениями, а не заставлять невесту стоять столбом перед десятком чужих людей... Не подписать такой договор — шедевр, а не договор! Мой коллега господин Деклион доверил мне его составление, все парижские нотариусы пришли бы от него в восторг! Какой позор! Просто ни в какие ворота не лезет!..

В этот момент раздался громкий стук в парадное.

— Наконец-то! — вскричал Депре, к которому тут же вернулось прекрасное настроение.

«Боже! Который из двух?» — взмолилась про себя Каликста, почти задыхаясь от волнения и крепче ухватившись за кресло.

За то время, что прошло между стуком в дверь и звоном колокольчика у входа в квартиру, Каликста поняла, что значит, когда одна минута кажется вечностью.

Дверь отворилась, у Каликсты помутилось в глазах.

Лакей подошел к господину Депре и сказал несколько слов на ухо.

Господин Депре был явно озадачен, он почесал в затылке, что означало у него крайнюю степень замешательства, затем извинился перед гостями и вышел вслед за лакеем.

Кто опишет изумление Депре, когда в соседней комнате он увидел Анри Дальбера? Старик растопырил пальцы, беззвучно разинул рот, а глаза его побелели — в общем, он остолбенел, если верить Шарлю Лебрену и его зарисовкам[1].

— Как!.. Вы!.. Вы изволили пожаловать сюда, милостивый государь? Вы, верно, намерены устроить нам какую-нибудь неприличную сцену? — промолвил наконец бывший нотариус, несколько придя в себя. — Хотите расстроить церемонию?

— Господин Депре, вы ошибаетесь насчет моих намерений, — с величайшей почтительностью ответил Дальбер, — сколь ни велико мое горе, оттого что вы совершенно незаслуженно лишили меня счастья встречаться с вашей дочерью, я слишком уважаю ее, чтобы позволить себе что-нибудь оскорбительное. Ничто и никогда не заставит меня забыть обязанности порядочного человека, каким я всегда оставался, несмотря на ваше предубеждение. Я пришел не с тем. Сделайте одолжение, ознакомьтесь с этим письмом.

Дальбер подал старику конверт, присланный Флорансой.

— Хорошо, я прочту после и сообщу вам ответ. — И Депре вознамерился положить письмо в карман.

Анри покачал головой, ясно показывая, что желает получить ответ немедленно.

— Вы понимаете, — господин Депре двинулся к выходу, чтобы выпроводить молодого человека, — вы понимаете, ваша встреча с Рудольфом была бы крайне нежелательна.

— Вы можете быть совершенно спокойны, — решительно ответил Дальбер, — барон Рудольф не придет, или я очень ошибаюсь.

— Как! Что вы говорите? — вскричал старик. — Рудольф не придет?.. Какие глупости!..

— Отнюдь. Прочитайте письмо, которое я имел честь вручить вам, и вы увидите, что я говорю правду.

Депре дрожащей рукой сломал печать и вынул из конверта две или три бумаги, просмотрел их очень бегло, но при этом несколько раз изменился в лице.

— Какой ужас!.. — бормотал он. — Какая низость!.. Кто бы мог подумать?.. Вот и верьте после этого людям... Усомниться невозможно... О!.. Фи! И я подавал этому негодяю руку!

И бывший нотариус отер руку о фалды своего новенького черного фрака.

— Вы по-прежнему намерены отдать вашу дочь за барона Рудольфа? — Анри подошел поближе к старику.

— Я? Никогда!.. Чтобы я отдал дочь за такого мерзавца... За шпиона... Лучше за вора отдам!

— А за честного, порядочного человека? — Анри легонько подтолкнул Депре к гостиной, где ждали свидетели.

Депре заколебался.

— За человека, который обожает вашу дочь и который не только не разорился, но вместо двадцати пяти тысяч ливров имеет тридцать тысяч верного дохода...

Старик призадумался и медленно потянулся к медной ручке двери.

— Не считая хорошенького особняка с двориком, садом, восхитительной обстановкой и к тому же исключительно удобного для молодых супругов...

Депре повернул ручку и приоткрыл створку.

— Вы ожидали жениха, но он не придет. Позвольте мне занять его место. Несмотря на ранний час, я на всякий случай оделся в черный фрак, то есть подобающе обстоятельствам.

— Да, правда, белый галстук и белый жилет. — Окончательно побежденный, Депре с шумом распахнул дверь.

Анри в нерешительности замер на пороге.

— Господа! — громогласно провозгласил господин Депре. — Честь имею представить вам Анри Дальбера... на бракосочетание которого вы приглашены...

— Я же говорила вам, папенька, что ни за кого, кроме Анри, не выйду, — прошептала Каликста на ухо отцу.

Несколько сбивчивое объяснение замены одного жениха другим было принято без возражений, потому что Анри Дальбера все любили, а на барона Рудольфа друзья бывшего нотариуса смотрели по большей части крайне неодобрительно.

Мы не станем оскорблять наших догадливых читателей многословными объяснениями. Скажем лишь, что Флоранса уже давно узнала от Тургейма о низком ремесле Рудольфа, который предал свое отечество и

служил шпионом тому самому двору, представителем которого был Тургейм. Письменные доказательства тому и получил господин Депре. Рудольф, опасаясь огласки, бежал за границу.

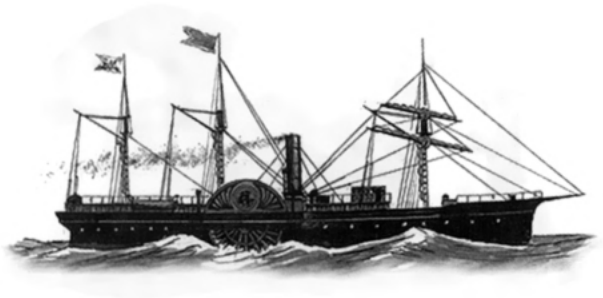
В этот счастливый день Каликста получила письмо на имя госпожи Дальбер. Когда она читала, дыхание ее прерывалось от волнения, а на глаза наворачивались слезы.

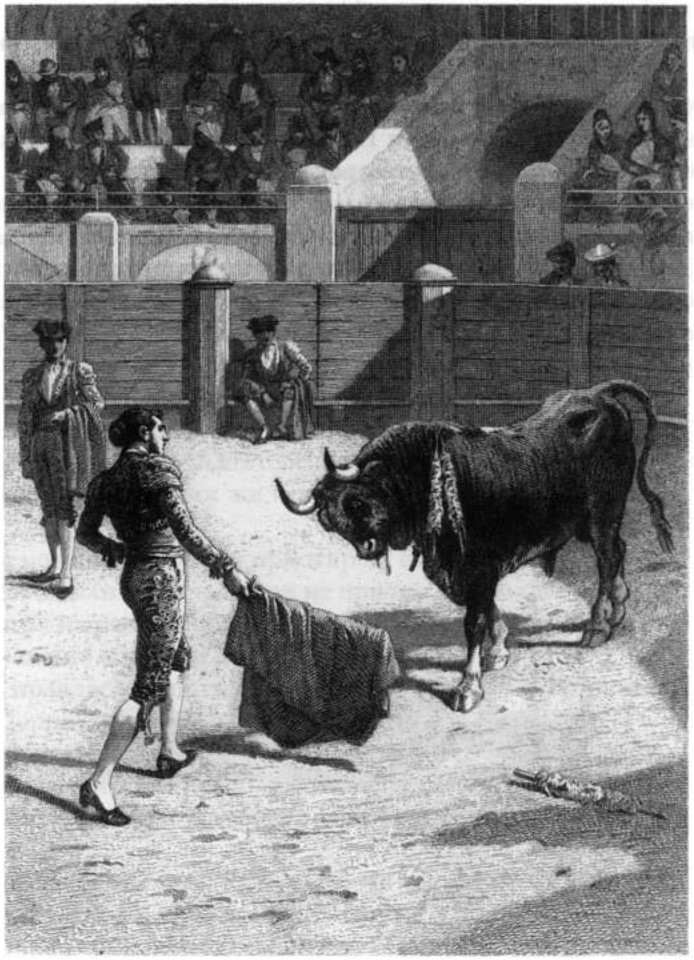
— Бедная Флоранса! — прошептала она и бережно спрятала письмо на груди.

Свадебные церемонии слишком хорошо всем известны, чтобы подробно их описывать. Дальбер и Каликста счастливы, следовательно, мы уже не имеем права интересоваться их дальнейшей судьбой.

Скажем только, что через несколько месяцев Дальбер нечаянно выдвинул не тот ящичек в комоде жены и нашел письмо, написанное почерком, похожим на почерк Флорансы. Анри прочитал в нем только последнюю фразу: «Прощай, Каликста! Я еду в Америку... Я люблю твоего мужа... Пожалей меня!..»

— Поистине, восточные народы гораздо мудрее нас! — Дальбер подавил вздох[2] и положил письмо на место.





МИЛИТОНА





Глава I

В июне 184... года, в понедельник, то есть в día de toros*,[1], как говорят в Испании, молодой человек весьма недурной наружности, но явно в дурном настроении, направлялся к дому по улице Сан-Бернардо[2] достославного и героического города Мадрида[3].

Бурные фортепьянные аккорды, доносившиеся из окна этого дома, чувствительным образом приумножали недовольство, написанное на челе молодого человека. Он остановился перед дверью, как бы сомневаясь, войти или нет, затем решительно совладал с собой и взялся за дверной молоток. На стук ответил топот тяжелых, запинающихся шагов gallego**, спешившего вниз по лестнице, чтобы впустить гостя.

Что же омрачало жизнерадостное от природы лицо дона[4] Андреса де Сальседо? Может, он направлялся к ростовщику, чтобы взять денег под большие проценты? Или с него требовали уплаты долга? Или он шел в гос-

---

* день быков, день корриды (*исп.*).

** галисийца[5] (*исп.*).

ти к старому ворчливому родственнику и готовился выслушать длинную нотацию?

Ничего подобного!

Дон Андрес де Сальседо не имел долгов и не нуждался в займе, а так как все его родственники умерли, он не ждал наследства и мог не бояться попреков сварливой тетушки или своенравного дядюшки.

Дон Андрес собирался всего-навсего нанести визит своей невесте — донье Фелисиане Васкес де лос Риос, весьма миловидной и далеко не бедной юной особе из хорошей семьи.

Конечно, в этом визите не было ничего огорчительного для молодого человека двадцати четырех лет от роду, и перспектива провести час-другой рядом с novia*, «которой едва минуло шестнадцать весен», навряд ли могла страшить его. Или Андрес был недостаточно галантен и не умел ухаживать за девушками?

Отнюдь. Несмотря на плохое настроение, он очевидно хотел произвести хорошее впечатление и потому бросил перед лестницей недокуренную сигару, а шагая по ступенькам, стряхнул белесый пепел с лацканов, подправил локоны, подкрутил кончики усов, поспешно убрал с лица кислое выражение, и на его губах, как по команде, заиграла самая что ни на есть обворожительная улыбка.

«Только бы, — подумал он, переступая порог дома, — ей не взбрело в голову репетировать этот омерзительный, нескончаемый дуэт Беллини[6], что приходится по сто раз начинать сначала! Не то я опоздаю на корриду и не увижу испуганную физиономию альгвасила[7], когда на арену выпустят быка».

Вот какие опасения одолевали дона Андреса, и, по правде сказать, они имели под собой основания.

Фелисиана сидела на табурете и играла по нотам, слегка склонившись к раскрытой на трудном месте партитуре того самого Беллини. Растопырив пальцы и отставив в стороны острые локти, девушка выбивала аккорды, вновь и вновь повторяя сложный пассаж с упорством, достойным лучшего применения.

Она была так поглощена своим занятием, что не заметила появления дона Андреса, которого на правах друга дома и жениха хозяйки горничная впустила без доклада.

Андрес, чьи шаги приглушала циновка из манильской соломки[8], устилавшая каменные плитки пола, дошел до середины комнаты, не привлекая внимания девушки.

Пока донья Фелисиана сражается со своим инструментом, а благородный дон застыл у нее за спиной, не зная, то ли без всякого стеснения

---

* невестой (*исп.*).

прервать эту не предназначенную для чужих ушей какофонию, то ли выдать свое присутствие легким покашливанием, пожалуй, будет не лишним окинуть взглядом место, где разыгралась эта сцена.

Ровный слой тусклой краски покрывал стены; лепные украшения и наличники в стиле гризайль[9] обрамляли окна и двери. Несколько привезенных из Парижа гравюр в «черной манере»:[10] «Воспоминания и сожаления»[11], «Маленькие браконьеры»[12], «Дон-Жуан и Гайдэ»[13], «Минна и Бренда»[14] – строго симметрично висели на зеленых шелковых шнурах. Изысканную мебель: черное канапе из конского волоса, такие же стулья со спинками, изогнутыми в виде лиры, комод и стол красного дерева, украшенные резными сфинксами, – сувениры времен завоевания Египта[15], – дополняли часы, на которых Эсмеральда учила козочку составлять имя Феб[16], а также два подсвечника под стеклянными колпаками.

Оконные рамы украшали затейливо подобранные и накинутые на медные головки шторы из швейцарского узорчатого муслина, которые с прискорбной точностью воспроизводили картинки, публикуемые парижскими обойщиками в журналах мод и тетрадях с литографиями[17].

Эти шторы, надо заметить, вызывали всеобщее восхищение и зависть.

Было бы несправедливо обойти молчанием свору собачек из дымчатого стекла, группу современных фарфоровых статуэток, филигранные корзинки с эмалевыми цветочками, алебастровые пресс-папье и расписные шкатулки из Спа, теснившиеся на этажерках[18], – все эти блестящие безделушки выдавали страсть Фелисианы к изящным искусствам.

Донья Фелисиана воспитывалась на французский лад и питала самое глубокое благоговение к новейшим веяниям моды; именно по ее настоянию всю старинную мебель отправили на чердак – к великому сожалению отца, почтенного дона Херонимо Васкеса, человека вполне здравомыслящего, но слабохарактерного.

Люстрам с десятью свечами, лампам о четырех рожках, обитым юфтью[19] креслам, занавескам из дамасского шелка, персидским коврам, китайским ширмам, часам на подставках, мягкой мебели, обтянутой красным бархатом, инкрустированным поставцам, мрачным картинам Орренте[20] и Менендеса[21], просторным кроватям, массивным ореховым столам, четырехстворчатым буфетам, комодам с дюжиной выдвижных ящиков, огромным цветочным вазам – всей этой старой кастильской роскоши пришлось отступить перед низкосортной заграничной модой, которая приводит в восторг простодушных испанцев, стремящихся идти в ногу с цивилизацией, но которую английская горничная не пустит даже на порог.

Донья Фелисиана одевалась по заграничной моде двухлетней давности[22]. Само собой, в ее туалете не осталось ничего испанского: как и подобает женщине «комильфо»[23], она испытывала необоримый ужас перед

всем национальным и самобытным: на ней было платье из той самой неопределенного цвета, усеянной крошечными, почти невидимыми букетиками, ткани, что тайком доставляют из Англии дерзкие гибралтарские контрабандисты[24]. Самая придирчивая краснощекая мещанка не выбрала бы для своей дочери другой материи. Пелерина с валансьенскими кружевами[25] целомудренно прикрывала робкие девичьи прелести, которые рекомендованный журналом мод вырез корсажа позволял выставить напоказ. Узкий полусапожок плотно облегал ножку, миниатюрностью и высоким подъемом выдававшую истинно испанское происхождение их обладательницы.

Впрочем, то была единственная национальная черта, которую сохранила донья Фелисиана. Ее вполне можно было принять за немку или француженку из северных провинций: голубые глаза, светлые волосы, ровный розовый цвет лица весьма отдаленно отвечали расхожему представлению об испанских женщинах, созданному романсами[26] и кипсеками[27]. Она никогда не носила мантильи[28] и не прятала даже самого крохотного кинжала за чулочной подвязкой. Фанданго и качуча[29] не были знакомы девушке, в совершенстве владевшей искусством контрданса[30], ригодона[31] и медленного вальса; она никогда не ходила на корриду, считая эту забаву «варварской», зато не пропускала ни одной премьеры переводных водевилей Скриба[32] в театре Принсипе[33] и неизменно посещала представления итальянских певцов в театре Сирко[34]. Вечером юная донья каталась в коляске по Прадо, демонстрируя шляпку, выписанную прямо из Парижа.

Как видите, донья Фелисиана была во всех отношениях весьма приличной молодой особой.

Именно так отзывался о ней и дон Андрес; вот только даже наедине с самим собой он не решался сказать всей правды: приличная особа и приличная зануда!

Вы спросите, почему же юноша ухаживал, и притом с самыми серьезными намерениями, за не очень-то нравившейся ему девушкой? Из алчности? Нет; приданое Фелисианы, хотя и составляло кругленькую сумму, не могло соблазнить дона Андреса де Сальседо, чье состояние было по меньшей мере столь же внушительным. Просто этот брак давно благословили родители молодых, а те беспрекословно повиновались; здесь соединилось все — происхождение, достаток, возраст, детская дружба. Андрес уже привык считать Фелисиану своей женой. Входя к ней, он словно возвращался домой; а что еще делать мужу в собственном доме, как не стремиться покинуть его? Впрочем, он признавал за доньей Фелисианой неоспоримые достоинства: мила, стройна, белокура, свободно изъясняется на французском и английском, прекрасно заваривает чай. Правда, дон Андрес терпеть не мог это ужасающее пойло. Она танцует, довольно умело пишет аква-

рели и — увы! — играет на фортепьяно. Определенно, даже самый привередливый мужчина не смеет требовать большего.

— Ах, это вы, Андрес, — не оборачиваясь, приветствовала жениха Фелисиана, догадавшись о его присутствии по характерному поскрипыванию ботинок.

Не удивляйтесь, что столь благовоспитанная особа, как донья Фелисиана, так запросто обращается к молодому человеку; в Испании принято называть друг друга по имени, данному при крещении, уже после непродолжительного периода знакомства, и, в отличие от нас, в этом нет никакого интимного или двусмысленного подтекста[35].

— Вы пришли весьма кстати. Я как раз повторяю дуэт, который мы с вами должны исполнить сегодня вечером на tertulia* у маркизы де Бенавидес.

— Кажется, я слегка простужен.

В подтверждение своих слов Андрес кашлянул, но до того неубедительно, что донья Фелисиана, нисколько не тронутая его уловкой, довольнотаки бесчеловечным тоном заметила:

— Ничего страшного. Мы сейчас споем вместе еще раз, и успех нам обеспечен. Окажите любезность, садитесь на мое место и играйте.

Несчастный юноша грустно взглянул на часы: было уже четыре. С трудом подавив вздох, он обреченно положил руки на клавиши.

Когда дуэт был наконец осилен, Андрес снова покосился на часы, на которых Эсмеральда без устали наставляла козочку уму-разуму, но этот мимолетный взгляд не ускользнул от внимания Фелисианы.

— Вы сегодня весьма интересуетесь временем, — заметила она, — просто глаз с циферблата не сводите.

— Это я так, машинально... Какая мне разница, который час, когда я рядом с вами?

И он галантно склонился к руке Фелисианы, дабы запечатлеть почтительный поцелуй.

— В любой другой день недели — да, охотно верю, ход стрелок вам глубоко безразличен, но в понедельник — совсем иное дело...

— Отчего же, душа моя? Разве время не всегда бежит одинаково быстро, тем более когда имеешь удовольствие петь с вами?

— Понедельник — день корриды, милый Андрес. Не пытайтесь отрицать, вы охотнее оказались бы сейчас у ворот Алкала[36], чем за моим фортепьяно. Выходит, ваша страсть к этой чудовищной забаве неискоренима? О, когда мы поженимся, я сумею научить вас чувствам более культурным и человеческим...

---

* светской вечеринке (*исп.*).

— Да нет же, я и не собирался... однако, признаюсь, если это вас не сильно расстроит... ходил я вчера на Арройо Абрунигал[37], и там среди прочих было четыре потрясающих быка Гавирии...[38] Ну и звери, доложу я вам... мощнейший подгрудок, рога полумесяцем, ноги точеные, сухие! Такие дикие и злобные, что покалечили одного из волов-вожаков! О! Какое великолепное сегодня будет зрелище! Хватило бы только тореро[39] мужества и силы! — разошелся Андрес, охваченный страстью истинного aficionado*.

Во время этой тирады лицо Фелисианы исполнилось величайшего презрения:

— Ах, вы всего-навсего отлакированный варвар, и притом неисправимый. Мне дурно от ваших «зверей» и живодерских историй. К тому же вы расписываете все эти ужасы с таким восторгом, словно говорите о чем-то прекрасном и возвышенном.

Бедный Андрес повесил голову. Ему, как и другим испанцам, не раз приходилось читать глупые филантропические тирады, которыми трусы и мямли осыпают корриду, одно из самых благородных увеселений, дарованных настоящему мужчине, поэтому он чувствовал себя и римлянином времен заката Империи, и скотобойцем, и гладиатором, и даже людоедом, но в то же время не глядя отдал бы все содержимое своего кошелька за одну маленькую подсказку — каким образом, не нарушив приличий, побыстрее ретироваться и успеть к началу представления.

— И все-таки, дорогой Андрес, — с легкой иронией улыбнулась Фелисиана, — я не возьму на себя смелость соперничать с быками Гавирии и не лишу вас любимого зрелища; ваше тело здесь, но душой вы там, на арене. Идите же. Я великодушна и дарю вам свободу при условии, что в назначенный час вы будете у маркизы де Бенавидес.

Из сердечной чуткости, свидетельствовавшей о его доброте, Андрес не позволил себе немедленно воспользоваться пожалованной свободой. Поговорив еще несколько минут, он неторопливо вышел, словно был вынужден вопреки собственной воле прервать пленительную беседу.

Размеренным шагом дошел он до поворота с широкой улицы Сан-Бернардо на улицу Луны; и только здесь, зная, что невеста уже не видит его с балкона, припустил во весь опор и скоро достиг улицы Десенганьо[40].

Какой-нибудь иностранец с удивлением заметил бы, что все прохожие двигались по этой улице в одном направлении. Этот феномен в уличном движении города случался каждый понедельник с четырех до пяти часов пополудни.

---

* любителя, поклонника (*исп.*).

Уже через несколько минут Андрес оказался у фонтана, что высится на Ред-де-Сан-Луис в том месте, где на эту площадь выходят улицы Фуэнкарраль и Орталеса.

Он приближался к цели.

Миновав улицу Кабальеро-де-Грасия[41], он вышел на простор великолепной Алкала, которая расширяется по мере спуска к городским воротам подобно реке, что на пути к морю вбирает в себя воды притоков.

Прекрасная, на зависть Парижу и Лондону, улица, окаймленная сверкающими белизной зданиями, за которыми открывается небесная синь, несмотря на необыкновенную ширину, была до краев заполнена пестрой бурлящей толпой, и эта толпа становилась все более многолюдной и плотной.

Пешеходы, всадники и экипажи тянулись друг за другом, сталкивались и путались в облаках пыли, радостных возгласов и густой брани. Caleseros* ругались как одержимые; спины норовистых кляч отзывались гулким эхом на палочные удары; грозди бубенчиков, подвешенных на оголовьях мулов, оглушительно трезвонили; два любимых испанцами слова то и дело перелетали от одной группы к другой словно воланы, посланные ракетками[42].

В этом человеческом океане изредка показывались запряженные четверкой допотопных кляч, похожие на кашалотов кареты времен Филиппа IV[43] с потускневшей позолотой и полинявшей краской; берлинготы[44], должно быть очень элегантно смотревшиеся в эпоху Мануэля Годоя[45], проседали на скрипучих рессорах, разболтанных так же постыдно, как у «кукушек» из парижских окрестностей, вытесненных на свалку железной дорогой[46].

И наоборот, словно представляя современную эпоху, омнибусы[47], запряженные шестью, а то и восемью мулами, под залпы кнута тройным галопом прорезали толпу, в страхе жавшуюся к приземистым стриженым деревьям, что окаймляют улицу Алкала от фонтана Сибелис[48] до Триумфальной арки[49], возведенной в честь Карла III[50].

С самого начала почтового сообщения ни одна карета, стоимостью пять франков за прогон, не летала с подобной скоростью. Феноменальная резвость мадридских омнибусов объясняется тем, что они курсируют только два часа в неделю: один час до корриды и один — после. Стремление совершить наибольшее число поездок за короткий отрезок времени вынуждает выколачивать из мулов все, на что они способны; и, надо сказать, это занятие вполне согласуется с нравом мадридских возниц.

---

* Кучера, извозчики (*исп.*).

Андрес продвигался легким и быстрым шагом, свойственным испанцам, первейшим ходокам в мире. В его весело звеневшем мелочью и несколькими дуро[51] кармане лежал билет в sombra (место в тени), рядом с барьером. Дело в том, что Андрес с глубоким презрением относился к модным ложам, предпочитая опираться на канаты, натянутые для того, чтобы бык не врезался в зрителей. Правда, там он рисковал очутиться бок о бок с крестьянином в грубой куртке и пропитаться запахом дешевых сигарет manolo*, зато не упускал ни малейшей детали боя и мог по достоинству оценить силу и точность ударов[52].

Несмотря на грядущую женитьбу, Андрес и не думал лишать себя удовольствия любоваться хорошенькими личиками, в большей или меньшей степени прикрытыми мантильями из кружева, бархата или тафты. Едва завидев красотку с развернутым у щечки веером, наподобие зонтика защищавшим гладкую, нежную кожу от жарких поцелуев солнца, он обгонял ее, а затем оборачивался и безо всякого смущения разглядывал черты, открытые для всеобщего обозрения.

В тот день Андрес всматривался в толпу тщательнее, чем обычно; он не позволял себе пропустить ни одной сколько-нибудь привлекательной мордашки, не бросив на нее пристального взгляда. Можно было подумать, что он кого-то ищет.

Конечно, по строгим правилам морали, жених не должен замечать, что на свете помимо его невесты существуют другие женщины; но столь щепетильная верность встречается разве что в романах, и дона Андреса, хотя он и не вел свою родословную от дона Хуана Тенорио или дона Хуана де Маранья[53], тянуло на Площадь Быков[54] не одно только желание лицезреть искусные выпады Лукаса Бланко[55] и племянника Монтеса[56].

В предыдущий понедельник во время корриды он увидел на скамьях в tendido** редкой красоты девушку со странным выражением лица. Черты ее запечатлелись в памяти юноши с удивительной четкостью. Эта случайная встреча должна была бы оставить такой же слабый след, как увиденная мимоходом картина, ибо разделенные несколькими рядами скамеек Андрес и юная manola*** (похоже, именно к этому слою общества принадлежала девушка)[57] не могли обменяться ни словом, ни знаком. У Андреса не было ни малейшего повода считать, что красавица обратила на него внимание и заметила его восхищение. Ее взгляд, устремленный на арену, ни на мгновение не отрывался от зрелища, к которому, по всей видимости, она испытывала исключительный интерес.

---

* работников (*исп.*); далее используется русская транскрипция – «маноло»[58].

** рядах, расположенных сразу за местами у барьера (*исп.*).

*** работница (*исп.*); далее используется русская транскрипция – «манола».

В общем, это малозначительное событие следовало сразу же выкинуть из головы; однако образ девушки снова и снова являлся воображению Андреса с непозволительной живостью и настойчивостью.

Вечерами, вместо того чтобы закончить прогулку у Салона Прадо[59], где на рядах стульев красуются мадридские щеголи, он, конечно совершенно безотчетно, забредал далеко за фонтан Алькачофа[60], на тенистые аллеи, по которым прохаживаются манолы с площади Лавапьес[61]. Зыбкая надежда встретить прекрасную незнакомку заставляла его изменить своим привычкам.

Более того, Андрес вдруг обнаружил (весьма показательный симптом), что белокурые волосы Фелисианы против света принимают сомнительный оттенок, видимо, с большим трудом подправляемый косметическими средствами (никогда прежде он ничего подобного не замечал), что ее глаза под блеклыми ресницами выражают только притворную скуку, подобающую хорошо воспитанной юной особе, и что при мысли об утехах, которые уготовил ему Гименей, его одолевает невольная зевота.

В ту минуту, когда Андрес проходил под одной из трех арок ворот Алкала[62], он заметил, что сквозь толпу пробивается таратайка[63], вслед которой несся хор проклятий и негодующий свист, ибо только так испанцы относятся ко всему, что им мешает и посягает, по их мнению, на права пешеходов.

Сей причудливый экипаж необычайно радовал глаз: его кузов, взгроможденный на два огромных ярко-красных колеса, исчезал под сонмом амуров и прочих анакреонтических атрибутов: лир, тамбуринов, волынок, пронзенных стрелами сердечек и целующихся голубков, что в стародавние времена изобразила кисть[64], скорее смелая, чем достоверная.

Выстриженный до середины крупа мул с украшенной султаном головой нес на себе целую звонницу бубенцов и колокольчиков. Шорник, мастеривший его сбрую, устроил оргию из самых невообразимых излишеств в виде позументов, бляшек, помпончиков, кисточек и прочих разноцветных побрякушек. Если бы не длинные уши, торчавшие из этого сверкающего нагромождения, то издалека голову мула можно было принять за ходячий букет.

Кучер, в рубахе и мерлушковой куртке, наброшенной на одно плечо, сидя боком на оглобле, со свирепой миной лупил кнутовищем по костлявому крупу животного, и то приседало от ударов и с удвоенным рвением бросалось вперед.

Ни одна коляска из тех, что можно встретить по понедельникам у ворот Алкала, не отличается ничем, заслуживающим отдельного описания и притягивающим внимание, и если данный экипаж удостоился здесь

особого упоминания, то лишь по той причине, что при виде его лицо дона Андреса засияло радостным удивлением.

Конечно же, нет такой коляски, которая отправлялась бы на Площадь Быков пустой, вот и в нашем экипаже восседали две особы.

Первая — приземистая толстушка преклонных лет — была одета во все черное, по моде давно минувших дней; из-под платья чуть выглядывал край желтой драповой юбки, как принято у кастильских крестьянок. Сие почтенное создание принадлежало к тому типу женщин, которых в Испании в зависимости от их имени называют tía* Пелона или tía Бласия, так же, как у нас в кругах, столь хорошо описанных Полем де Коком, говорят матушка Мишель или матушка Годишон[65]. Ее широкое, мертвенно-бледное лицо с приплюснутым носом казалось бы совсем простым, если бы не угольно-черные глаза с желто-коричневыми кругами и не две темные щеточки усов в уголках губ, придававшие этой простоте некоторую дикость и хищность, достойную дуэний[66] старых добрых времен. Гойя, неподражаемый автор «Капричос», двумя штрихами нарисовал бы вам ее портрет[67]. И, несмотря на то, что толстуха давно вышла из возраста любви, если только когда-либо знавала ее, она не без кокетства выставляла локти из-под саржевой мантильи, окаймленной бархатом, и картинно обмахивалась зеленым бумажным веером огромных размеров.

Маловероятно, что чело дона Андреса озарилось радостью при виде милой наружности сей любезной матроны.

Второй в коляске была девушка лет шестнадцати—восемнадцати, нет, скорее шестнадцати, чем восемнадцати. Легкая мантилья из тафты, наброшенная на высокий черепаховый гребень и уложенные кольцами косы, обрамляла хорошенькое матовое личико нежно-оливкового оттенка. Вытянув на передок миниатюрную, как у китаянки, ножку, она демонстрировала атласную туфельку, завязанную сзади на ленточки, и полосочку туго натянутого шелкового чулка с цветной стрелкой. Одной рукой, изящной и тонкой, хотя и слегка загорелой, она теребила краешки мантильи, а другой, на которой поблескивали серебряные колечки — самые ценные украшения из шкатулки скромной манолы, — сжимала батистовый платочек. Сверкавшие на рукавах гагатовые[68] пуговицы дополняли ее истинно испанский наряд.

Андрес сразу узнал прелестное личико, что целую неделю не давало ему покоя.

Он ускорил шаг и подошел к Площади Быков одновременно с таратайкой. Кучер опустился на одно колено, чтобы подставить другое юной ма-

---

* тетушка (*исп.*).



ноле, и она сошла, лишь слегка коснувшись его плеча кончиками пальцев. Извлечь из экипажа матрону, напротив, оказалось куда сложнее. Наконец сия трудоемкая процедура счастливо завершилась, и женщины направились к деревянной лестнице, ведущей к скамейкам амфитеатра. Андрес последовал за ними.

Случай благоволил дону Андресу, распределив билеты так, что юноша оказался бок о бок с юной манолой.

Глава II

В то время как публика с шумом рассаживалась по местам и воронка амфитеатра, заполняясь зрителями, мало-помалу окрашивалась черным, через заднюю дверь один за другим прибывали тореро, которые собирались в неком подобии артистического фойе, где они обычно ожидают начала función*.

То был просторный зал, выбеленный известью, голый и унылый. Несколько тонких свечек трепетали желтыми звездочками перед закоптелым изображением Пресвятой Девы, висевшим на стене, — ибо, как и все люди, подвергающие свою жизнь смертельной опасности, тореро набожны или по меньшей мере суеверны; у каждого из них есть амулет, с которым они никогда не расстаются; одни приметы способны поднять им дух, а другие — выбить из колеи. Они утверждают, что знают свои черные дни. Меж тем вовремя зажженная восковая свечка может задобрить рок и отвратить беду. В тот день горела добрая дюжина свечей, чем вполне подтверждалась справедливость замечаний дона Андреса о силе и злобе быков Гавирии, которых он видел накануне на Арройо и которых с таким жаром расписывал своей невесте Фелисиане, едва ли способной оценить достоинства подобного рода.

Собралось уже человек двенадцать тореро: чуло[1], бандерильеро[2] и матадоров[3], закутанных в плащи из лощеного перкаля[4]. Проходя мимо Мадонны, каждый украдкой или подчеркнуто склонял голову. Выполнив сей долг, они прикуривали от cora de fuego — небольшого заполненного углем кубка с деревянной ручкой, который стоял на столе для вящего удобства любителей сигарет и puros**, и тонули в клубах дыма, прохаживаясь или сидя на деревянных скамьях вдоль стен.

Только один прошел мимо чудотворной иконы, не оказав ей должного внимания, и уселся поодаль от остальных, скрестив мускулистые ноги,

---

* представления (*исп.*).

** сигар «настоящих»[5] (*исп.*).

которые из-за блестящих шелковых чулок казались мраморными. Просунув желтые, будто из золота, большой и указательный пальцы между полами плаща, он сжимал на три четверти сгоревшую papelito*. Огонь уже вплотную приблизился к коже, иной неженка давно взвыл бы от боли, но поглощенный какими-то мрачными думами тореро ничего не замечал.

На вид ему было лет двадцать пять — двадцать восемь. Загорелое лицо, гагатовые глаза и вьющиеся волосы выдавали его андалусское происхождение. Должно быть, он родился в Севилье[6] — этой черной зенице Испании, родине отчаянных и красивых парней, крепко стоящих на ногах жизнелюбов, гитаристов, укротителей лошадей, победителей быков и виртуозов навахи[7], скорых на расправу и не знающих промаха.

Редко можно увидеть столь мощное и при этом столь стройное тело. Его мышцы остановили свой рост как раз в той точке, перейдя которую фигура стала бы тяжеловесной. Он был скроен одинаково ладно как для борьбы, так и для бега, и если бы природа задалась целью создать тореро, то навряд ли ей удалось бы лучшее творение, чем этот Геркулес с идеальными пропорциями.

Сквозь приоткрытые полы его плаща поблескивала серебряно-алая куртка и оправа sortija — кольца, скреплявшего концы шейного платка; камень в этом кольце стоил, по всей видимости, немало и, так же, как и остальные детали наряда, свидетельствовал о принадлежности своего владельца к лучшим из лучших в его ремесле. На затылке красовался роскошный moño** из новых лент, стягивавший в «хвост» длинную прядь волос, которую матадоры отращивают нарочно; иссиня-черная montera*** полностью пряталась под шелковой вышивкой того же цвета, а по бокам с нее свисали ремешки, которые обычно никто не завязывает. На удивление миниатюрные туфли-лодочки сделали бы честь самому искусному парижскому башмачнику и могли бы послужить балерине из Оперы[8].

Однако Хуанчо[9] — этот роскошно одетый красавец, чьего выхода на арену с нетерпением ждали все женщины, — был так мрачен и замкнут, словно страх перед предстоящей схваткой лишил его покоя. Нет, опасности, угрожающие участникам корриды, сильно преувеличены, и они вряд ли могли пугать такого опытного мастера, как Хуанчо. Или он увидел во сне огромного быка из преисподней, несущего на своих раскаленных стальных рогах пронзенного насквозь матадора?

Ничего подобного! Хуанчо всегда был таким, и особенно в последний год. Он ни с кем не враждовал, но между ним и его товарищами не воз-

---

* Здесь: папиросу (*исп.*).

** бант, пучок[10] (*исп.*).

*** шляпа тореадора, монтера[11] (*исп.*).

никало того душевного и веселого панибратства, что свойственно людям, вместе испытывающим судьбу; он никого не отталкивал и ни с кем не сближался и, благо что родился в Андалусии, предпочитал держать язык за зубами. Порой он будто бы пытался развеять свою меланхолию в безудержном нарочитом веселье. Тогда, обычно воздержанный, тореро пил сверх всякой меры, буянил, отплясывал дьявольскую качучу и в конце концов из-за какого-нибудь пустяка ввязывался в ссору и хватался за нож. Потом его порыв угасал, и он опять становился задумчивым и молчаливым.

Между тем тореадоры оживленно болтали о всякой всячине: о женщинах, о политике и конечно же о быках.

— Что скажет ваша милость, — обратился один тореро к другому с очаровательной высокопарностью, свойственной испанскому языку, — о черном быке Маспуле[12]? У него и в самом деле плохое зрение, как утверждает Архона[13]?

— Он на один глаз близорук, а на другой дальнозорок; от такого всего можно ожидать.

— А этот черно-белый из Лисасо[14], как думаете, каким рогом он предпочитает бить, правым или левым?

— Даже не знаю, я не видел его в деле; а как вы считаете, Хуанчо?

— Правым, — не поднимая глаз, буркнул тот, словно пробудившись ото сна.

— Почему ж правым?

— Потому что он то и дело поводит правым ухом, а это верный признак[15].

Договорив, Хуанчо поднес к губам почти истлевшую papelito, но та рассыпалась белесым пеплом.

Приближался час открытия корриды. Все тореро, за исключением Хуанчо, поднялись; разговоры поутихли, и послышались глухие удары копий о стену во внутреннем дворе — то пикадоры[16] набивали руку и разогревали лошадей. Те, кто не успел докурить, бросили сигареты; чуло не без кокетства обернули предплечья складками вызывающе ярких плащей и выстроились в ряд. Воцарилась тишина, ибо выход на арену — момент всегда немного торжественный, навевающий серьезность даже на самых смешливых.

Хуанчо наконец тоже встал, бросил на лавку плащ, взял в руки шпагу и мулету[17] и присоединился к пестрой группе тореадоров[18].

Лицо его прояснилось. Глаза загорелись, ноздри расширились, с силой втягивая воздух. Выражение необычайной отваги внезапно оживило его черты. Он свел, а затем расправил плечи, будто разминаясь перед схваткой, с силой уперся пятками в землю, и на икрах из-под шелковых кружев проступили жилы, задрожавшие как гитарные струны на грифе. Торе-

ро поигрывал всеми мускулами, словно убеждаясь, что они не подведут его в нужный момент, подобно солдату, проверяющему перед боем свое оружие.

Он и в самом деле восхитительно выглядел, этот Хуанчо, и костюм чудеснейшим образом подчеркивал его красоту: широкий faja* кроваво-красного шелка перетягивал его тонкую талию; серебряные вышивки струились по всей куртке, застывая на воротнике, карманах и обшлагах рукавов, где орнамент до того усложнялся и уплотнялся, что почти скрывал под собою ткань. Алая куртка, шитая серебром, казалась серебряной с алым узором. На плечах порхало столько витых шнурков, шариков, филиграней, узелков и разнообразных украшений, что руки будто бы выглядывали из двух драгоценных венков. Атласные рейтузы, с сутажом[19] и крупными блестками по швам, обтягивали, не стесняя, стальные мускулы и изящные, но крепкие формы. Этот костюм был шедевром Сапаты[20], самого Сапаты из Гранады, этого Кардильяка[21] одежды для махо[22], который плачет всякий раз, когда приносит вам платье, и предлагает куда больше денег, чем запросил за работу, лишь бы оставить его себе. Знатоки уверяют, что такой костюм стоит не меньше десяти тысяч реалов[23]. А на Хуанчо он смотрелся на все двадцать!

Отзвенели фанфары; арену освободили от собак и muchachos**. Час пробил. Пикадоры, закрыв правый глаз лошадей специальным платком, чтобы те раньше времени не заметили быка, присоединились к процессии, и все в строгом порядке двинулись на арену.

Рокот восхищения пробежал по рядам, когда Хуанчо остановился для приветствия перед ложей королевы[24]. Тореро смиренно, но в то же время с достоинством преклонил колено и столь изящно и легко поднялся, что даже старые, видавшие виды aficionados одобрительно цокнули: «Да, так не умели даже Пепе-Ильо[25], Ромеро[26] и Хосе Кандидо[27]!»

Альгвасил в черном одеянии Святой Эрмандады[28] выехал на площадь под рев трибун, а затем, согласно обычаю, отдал ключи от загона с быками служителю. Выполнив эту формальность, он пришпорил лошадь и помчался прочь в стремительном галопе, еле удерживаясь в седле, теряя стремена и цепляясь за гриву, — в общем, разыгрывал неизменно уморительную для зрителей комедию ужаса, будучи при этом в полной безопасности.

Дон Андрес, обрадованный встречей, не обращал никакого внимания на арену и даже не увидел, как первый бык[29] вспорол брюхо одной из лошадей.

---

* кушак[30] (*исп.*).

** мальчиков (*исп.*).

Он пристально вглядывался в сидевшую рядом девушку, которая, конечно, смутилась бы, если бы только заметила его. Она показалась ему еще очаровательней, чем в первый раз. В глубине души он опасался, что, как это обычно бывает, несколько идеализирует незнакомку в своих мечтах и испытает разочарование, встретив ее наяву, однако теперь не сомневался: воображение его не подвело. И был прав: никогда еще на голубом граните трибун мадридского цирка не сидела столь прекрасная дочь Испании.

Юноша восторженно рассматривал восхитительный профиль, чистые линии благородного тонкого носа с розоватыми, подобно внутренним створкам раковины, ноздрями; гладкий висок, сквозь который, словно из-под легкого слоя янтаря, просвечивала едва различимая сеточка голубых прожилок; чуть улыбающиеся уста, яркие, как цветок, и манящие, как плод; перламутровые зубы и особенно глаза с неотразимым, будто поток света, взглядом из-под густой бахромы черных ресниц.

Она являла собой чистейший образец греческой красоты, но слегка подправленной арабской кровью: то же совершенство, но с примесью дикости, то же изящество, но с оттенком суровости. Природа нанесла на золотистый мрамор ее лица эбеновую[31] арку бровей столь смелым взмахом кисти и подарила ей столь беспощадно-черные глаза и столь сочно-алые губы, что ее красота вызвала бы испуг в парижских или лондонских гостиных, и при этом она была более чем уместна здесь, на корриде, под знойным испанским небом.

Старуха, уделявшая зрелищу куда меньше внимания, нежели ее юная спутница, подозрительно косилась на дона Андреса, словно сторожевой пес, почуявший приближение злоумышленника. Стоило дуэнье улыбнуться, ее лицо становилось безобразным, когда же она хмурилась, оно делалось и вовсе отталкивающим: морщины выделялись еще резче, коричневые тени на веках расползались, напоминая об окруженных перьями совиных глазах; резцы, подобные клыкам вепря, еще сильнее впивались в обветренные губы, а по щекам пробегал нервный тик.

Поскольку Андрес не сводил с девушки взгляда, подспудное возмущение старухи возрастало с каждым мгновением; она ерзала на скамейке, шумно обмахивалась веером, то и дело толкая локтем прекрасную спутницу и задавая ей наиглупейшие вопросы, лишь бы та повернулась в ее сторону; но девушка либо ее не понимала, либо не желала понимать, отчего отвечала односложно, не отрываясь от происходившего на арене.

«Старая ведьма, чума ее забери! — бранился про себя дон Андрес. — И зачем, спрашивается, отменили инквизицию? С подобной рожей ее без

всякого допроса усадили бы верхом на осла и провезли по городу в рубахе, обкуренной серой, и в колпаке санбенито![32] Сразу видно, что она вышла из Бараонской семинарии[33] и моет девушек перед шабашем![34]»

Хуанчо, чей черед вступить в бой еще не настал, беззаботно прохаживался по арене, словно на площадь выпустили не быков, а кротких овечек; лишь иногда, когда разъяренный зверь проявлял слишком уж большой интерес к его персоне, тореро непринужденно отступал на два-три шага в сторону.

Его сверкающие черные глаза скользили по ложам, галереям и ступеням амфитеатра, где, подобно крыльям бабочек, трепетали веера самых разных форм и расцветок. Можно было подумать, что он выискивал кого-то среди зрителей. Когда его взгляд, пробежав по кругу, нашел то место, где сидели девушка и ее пожилая спутница, свет радости озарил его смуглое лицо, и в знак приветствия он чуть заметно кивнул головой, как это позволяют себе иногда актеры на сцене.

— Милитона, — негромко проскрипела старуха, — Хуанчо нас видит; смотри, веди себя хорошо — сосед строит тебе глазки, а Хуанчо ревнив.

— Ну и что? — так же тихо ответила Милитона.

— Ты же знаешь, он прикончит всякого, кто ему не понравится.

— Да я и не взглянула на этого господина, и потом, разве я сама себе не хозяйка?

Сказав, что не взглянула на Андреса, Милитона немного покривила душой. Она и в самом деле ни разу не обернулась к соседу, но смогла бы детально описать его внешность — женщины умеют видеть не глядя.

Как правдивый летописец, я должен отметить, что девушка находила дона Андреса де Сальседо таковым, каковым он и был в действительности, то есть очень милым кавалером.

Дабы найти предлог для беседы, Андрес подал знак торговцу апельсинами, засахаренными фруктами, леденцами и прочими сладостями. Тот прогуливался между рядами, протягивая на конце шеста лакомства зрителям, особенно тем, кто сидел рядом с дамой. Соседка же дона Андреса была так хороша, что один из продавцов постоянно крутился неподалеку, рассчитывая на немалые барыши.

— Сеньорита, не угодно ли вам леденцов? — Обворожительно улыбаясь, Андрес протянул соседке открытую коробку со сладостями.

Девушка резко обернулась и с тревожным удивлением глянула на Андреса.

— Лимонные и мятные, — добавил Андрес, мягко уговаривая соседку.

Милитона, вдруг решившись, запустила изящные пальчики в коробку и достала горстку леденцов.

— Ваше счастье, что Хуанчо стоит к нам спиной, — пробормотал у них за спиной какой-то простолюдин, — не то сегодня вечером было бы море крови.

— А вы, сударыня, не желаете ли? — галантно предложил Андрес, протягивая конфетницу уродливой старухе. Почтенная донья до того растерялась от столь неслыханной дерзости, что загребла сразу все содержимое коробки, не оставив ни одного леденца.

Только когда сладости исчезли в ее темных, как у мумии, ладонях, она украдкой взглянула на арену и шумно выдохнула.

В этот момент оркестр подал сигнал к финалу боя: настал черед Хуанчо. Он направился к ложе ayuntamiento*, поклонился, испрашивая дозволения на кровопролитие, а затем самым залихватским образом подбросил в воздух свою шапочку. На площади, обычно столь шумной, вдруг воцарилась тишина; сердца зрителей сжались в ожидании.

Бык, которого предстояло убить Хуанчо, внушал ужас. Да простится нам, что, увлекшись Андресом и Милитоной, мы не описали в деталях подвиги этого животного: свидетельствуя о его силе и свирепости, останки семи лошадей с выпотрошенными внутренностями и поломанными конечностями валялись там, где их застала смерть. Два пикадора, пострадавших при падении и едва не искалеченных, уковыляли за кулисы, где sobresalientes (дублеры), уже в седле и с пиками в руках, готовились заменить выбывших товарищей.

Чуло предусмотрительно жались к барьеру, стоя одной ногой на деревянной приступке, чтобы в случае чего одним махом перескочить на безопасную сторону. Бык с победным видом беспрепятственно носился по арене, залитой тут и там лужами крови, не засыпанными служителями из вполне понятной осторожности, бодал рогами ворота, топтал и подкидывал вверх попадавшиеся на пути трупы лошадей.

— Гуляй, гуляй, приятель, — приговаривал болельщик из простонародья, обращаясь к быку, — бузи напоследок! Скачи, резвись, покуда можно, — Хуанчо враз тебя укоротит.

Действительно, Хуанчо шел навстречу чудовищу тем твердым и решительным шагом, какой заставит дрогнуть даже льва.

Бык, оторопев от появления нового противника, глухо взревел, взрыл копытом землю, два-три раза мотнул головой, стряхнув с морды пенные потеки слюны, и попятился.

Хуанчо был великолепен: лицо выражало неколебимую решимость; неподвижные зрачки казались гагатовыми звездами на фоне белков, его глаза словно испускали невидимые лучи, которые пронзали быка, как

---

* муниципалитета (*исп.*).

стальные стрелы; молодой тореро подсознательно использовал тот же магнетизм[35], что и укротитель хищников Ван Амбург[36], от взгляда которого тигры трепещут и забиваются в угол клетки.

Всякий раз, что человек делал шаг вперед, бык делал шаг назад.

Видя это торжество духа над грубой животной силой, народ взревел в едином порыве сопереживания и восторга; площадь утонула в рукоплесканиях, криках и топоте; любители потрезвонить трясли какими-то тамбуринами и колокольчиками, специально привязанными к рукам, чтобы производить как можно больше шума. Из-за бури, поднявшейся на верхнем ярусе, потолки нижних трибун заходили ходуном, их побелка не выдержала, и в воздухе повисло облако пыли.

Почувствовав горячее одобрение зрителей, тореро, с блеском в глазах и радостью в сердце, оглянулся туда, где находилась Милитона, словно желая поделиться с ней криками «браво», что неслись к нему со всех сторон.

Как назло, ровно за мгновение до этого Милитона уронила веер, и дон Андрес с поспешностью, характерной для того, кто готов использовать любую возможность, лишь бы укрепить еще хрупкие отношения, бросился поднимать его, а теперь любезно возвращал, сияя от счастья.

Девушка не могла не поблагодарить дона Андреса, она вежливо кивнула и мило улыбнулась.

Хуанчо успел перехватить ее улыбку; губы его побелели, лицо позеленело, глаза налились кровью, рука судорожно сжала рукоятку мулеты, и острие опущенной шпаги три или четыре раза вонзилось в песок.

Бык, избавившись от магнетических чар его глаз, немедленно воспрял и начал приближаться к забывшему об опасности тореро. Расстояние между зверем и человеком сокращалось ужасающе быстро.

— Этот парень даже не чешется! — воскликнули зрители из числа самых толстокожих.

— Хуанчо, берегись, — закричали те, что помягче, — Хуанчо, миленький, родненький, оглянись, бык уже совсем рядом!

Что касается Милитоны, то она либо привыкла к корриде настолько, что ее чувствительность притупилась, либо безгранично верила в непревзойденную ловкость Хуанчо, либо была безучастна к тому, кто столь сильно переживал из-за нее, — в общем, как бы там ни было, лицо ее оставалось спокойным и ясным, разве что скулы слегка порозовели да кружева мантильи чуть заволновались от участившегося дыхания.

Крики зрителей вывели Хуанчо из оцепенения: он резко отступил и взмахнул алыми складками мулеты перед носом быка.

Инстинкт самосохранения и честолюбие гладиатора боролись в душе Хуанчо с желанием посмотреть на Милитону, но в этот роковой миг один взгляд в сторону, малейшая невнимательность могли стоить ему жизни.

Дьявольское положение! Ревновать, видеть рядом с любимой женщиной обходительного красивого мужчину, находясь при этом посреди арены, на глазах двенадцати тысяч зрителей и чувствуя в двух дюймах от груди пышущие жаром рога разъяренной скотины, которую надо во что бы то ни стало определенным манером поразить в одно определенное место, иначе — позор![37]

Матадор, вновь завладев юрисдикцией[38], как говорят на жаргоне тавромахии, крепко уперся в землю ногами и сделал несколько пассов мулетой, чтобы заставить быка опустить голову.

«Что такого сказал ей этот красавчик? Почему она так ласково улыбается?» — подумал Хуанчо и, на мгновение забыв, что перед ним грозный противник, невольно поднял глаза на трибуну.

Бык немедля ринулся на тореро. Застигнутый врасплох, Хуанчо отпрянул и почти машинально вонзил шпагу куда попало; сталь вошла в тело быка на несколько дюймов, но, к несчастью, уперлась в кость. Бык встряхнулся всем телом, и шпага, вырвавшись из раны с фонтаном крови, упала в нескольких шагах от матадора. Хуанчо был обезоружен, а животное полно сил и ярости, ибо этот неловкий удар еще больше распалил его. К быку тут же сбежались чуло и отвлекли его на себя своими розовыми и голубыми плащами.

Милитона слегка побледнела, а ее пожилая спутница, ахая да охая, стонала, точно выброшенный на берег кашалот.

На столь чудовищную неловкость Хуанчо публика отреагировала осуждающим ревом: то был ураган проклятий и ругательств, на которые так богат испанский язык. «Fuera*, вон, — неслось со всех сторон, — пес, ворюга, душегуб! На каторгу его, в Сеуту![39] Попортить такого красавца! Мясник безрукий, палач!» И это только часть оскорблений, что обрушили на голову Хуанчо зрители, которые из-за своего безудержного южного темперамента в любую минуту готовы впасть в крайность.

Хуанчо стоял под потоком брани, кусая губы и терзая обезоруженной рукой кружевное жабо. Сквозь рукав, распоротый бычьими рогами, виднелась длинная лиловая царапина. Юноша пошатнулся, и на мгновение показалось, что сейчас он задохнется от переживаний и рухнет, но, словно решившись на что-то, тореро взял себя в руки, быстро подбежал к шпаге, подобрал ее, выправил погнутое лезвие, наступив на него ногой, и встал в боевую стойку спиной к трибуне Милитоны.

Хуанчо подал знак, и чуло подвели быка, заманивая его своими пестрыми плащами. На этот раз, отбросив всякие посторонние мысли, тореро

---

* Прочь, вон (*исп.*).

нанес искусный, по всем правилам, удар сверху вниз, к которому не придрался бы и великий Монтес из Чикланы.

Крестообразный эфес шпаги, вошедшей точно над лопатками, торчал между бычьими рогами подобно распятию на голове оленя со старинных гравюр о видении святого Губерта[40].

Бык грузно опустился на колени перед Хуанчо, словно признавая его превосходство, несколько раз содрогнулся и повалился на бок, задрав копыта.

— Блестящий реванш! Такому удару мог бы позавидовать Архона или даже сам Чикланеро[41], не правда ли, сеньорита? — в совершенном восторге сказал дон Андрес соседке.

— Бога ради, сударь, ни слова больше, — не оборачиваясь и почти не разжимая губ, скороговоркой ответила Милитона.

Ее тон был столь повелительным и в то же время столь умоляющим, что Андресу сразу стало ясно: это не заурядное «отстаньте» девицы, умирающей от желания, чтобы с ней продолжали заигрывать.

Отнюдь не девичья стыдливость продиктовала эти слова. В попытках Андреса завязать беседу не было ничего, что заслуживало бы столь сурового отпора, к тому же ни для кого не секрет, что манолы, эти мадридские гризетки, не в обиду им будет сказано, обычно весьма сговорчивы.

Неподдельный страх и непонятное Андресу предчувствие беды ощущались в этой короткой, брошенной украдкой фразе, которая сама, казалось, таила в себе угрозу.

«А вдруг это переодетая принцесса? — растерялся заинтригованный Андрес. — Если промолчу, то сойду за дурака или неловкого донжуана, а буду упорствовать, не ровен час, навлеку на прелестное дитя какую-нибудь неприятность... Или она побаивается дуэньи? Нет, съев столько конфет, эта разлюбезная тетушка уже немного сообщница, и не ее опасается моя инфанта[42]. Может, где-то рядом отец, брат, муж или ревнивый любовник?»

Но соседей Милитоны нельзя было причислить ни к одной из этих категорий; все они выглядели слишком безучастными и безликими — очевидно, никто из них не имел отношения к прекрасной маноле.

Вплоть до окончания боев Хуанчо больше ни разу не взглянул на трибуны и с холодной расчетливостью настоящего мастера отправил на тот свет еще двух быков. Публика, которая только что жестоко освистала его, приветствовала эти победы оглушительным громом рукоплесканий.

Андрес благоразумно решил больше не заговаривать с Милитоной, тронувшей его своей тревогой и мольбой, а может, просто не нашел удачного предлога, чтобы продолжить разговор. Так и не проронив ни слова,

он даже поднялся со своего места за несколько минут до окончания корриды.

Шагая по рядам, он что-то тихо шепнул мальчишке с живой смышленой физиономией и скрылся.

Когда публика потянулась к выходу, юный пройдоха с самым независимым видом незаметно последовал за Милитоной и дуэньей. Когда дамы уселись в коляску, закачавшуюся на огромных ярко-красных колесах, он, словно из обычного мальчишеского озорства, уцепился ногами и руками за кузов, распевая во все горло популярную песенку о быках из Пуэрто[43].

И они покатили в клубах пыли и шума.

«Отлично, — обрадовался Андрес, завидев с одной из аллей Прадо, до которой он уже добрался, мчавшийся на всей скорости экипаж с мучачо на задке, — сегодня вечером я буду знать адрес этого очаровательного создания, и да поможет мне Бог пережить дуэт Беллини!»

Глава III

Дон Андрес прогуливался с сигарой во рту по Прадо, неподалеку от памятника жертвам Второго мая[1], поджидая мальчишку, который должен был доложить ему о своих успехах.

Пуская голубоватые спирали табачного дыма, которые медленно рассеивались в воздухе, Андрес пытался разобраться в себе и не мог не признать, что, похоже, влюблен или по меньшей мере крайне увлечен прекрасной манолой. И даже если бы сыскалось такое ледяное сердце, которое не растопила бы ее красота, таинственность и страх в ее голосе после происшествия с Хуанчо заинтриговали бы любого мало-мальски отважного молодого человека: в двадцать пять лет, даже не будучи Дон-Кихотом Ламанчским, каждый готов безоглядно броситься на защиту прекрасной принцессы[2] от воображаемых притеснений.

Но как быть с Фелисианой, этой благовоспитанной барышней? Андреса несколько смущал сей вопрос, но он сказал себе, что свадьба состоится не раньше, чем через полгода, а за это время он успеет и довести свою небольшую интрижку до благополучного конца, и порвать с красоткой, и забыть ее. К тому же нет ничего проще, чем скрыть подобного рода приключение, поскольку Фелисиана и юная манола вращаются в разных кругах и никогда не встретятся. Это будет его последнее холостяцкое безрассудство: именно так, ведь общество находит безрассудным любить юную очаровательную грацию и разумным — жениться на вздорной дурнушке, которая вам глубоко противна; ну, а потом... потом он готов жить в муд-

рости и воздержании, как истинный отшельник, как мученик и узник Гименея.

Разложив все по полочкам, Андрес предался самым сладким грезам. Донья Фелисиана Васкес де лос Риос требовала от него приличных манер и заставляла участвовать в великосветских увеселениях, от которых его тошнило. Он не решался протестовать и волей-неволей приспособился к английским обычаям: к чаю, фортепьяно, желтым перчаткам и белым галстукам, к безукоризненному, без каких-либо смягчающих обстоятельств, лоску, к степенным танцам, итальянским ариям и разговорам о последних модах — в общем, к тому, что претило его от природы свободолюбивому и веселому нраву. Однако, как он ни старался, его древняя испанская кровь восставала против засилья холодной северной культуры.

Он уже мнил себя счастливым возлюбленным девушки из цирка — в глубине души каждый мужчина считает себя неотразимым — и видел, как сидит в ее маленькой комнатке, без фрака, за легким ужином из пирожных, апельсинов и засахаренных фруктов, сдобренным вполне приличной «Перальтой»[3] или «Педро Хименесом»[4], которые добрая тетушка раздобыла в ближайшем погребке.

Прелестное дитя завертывает в papel de hilo*, выдержанную в лакричном соке, несколько щепоток trabuco**,[5] и подает ему скрученную по всем правилам папиросу.

Затем она отодвигает ногой стол, снимает со стены гитару и передает ее своему поклоннику, берет пару кастаньет гранатового дерева, прилаживает их к большим пальцам, затянув петельку миниатюрными перламутровыми зубками, и, напевая прерывистым голосом старинный куплет сегидильи[6], бессвязный и странный, но полный проникновенной поэзии, начинает танцевать с изумительной гибкостью и выразительностью один из тех старинных испанских танцев, которым Аравия[7] подарила пылкое томление и тайну страсти.

Пока Андрес предавался сладостным мечтаниям, настолько погрузившись в них, что начал наяву щелкать пальцами, как кастаньетами, солнце почти склонилось к горизонту, а тени удлинились. Приближалось время ужина, ибо в наше время благовоспитанные люди Мадрида садятся за стол в тот же час, что в Париже или Лондоне[8], но посланец Андреса все не появлялся. Даже если бы девушка жила на противоположном конце города, у ворот Сан-Хоаким или Сан-Херимон[9], юркий бездельник уже дважды, а то и трижды мог обернуться, особенно учитывая, что первую часть пути он проделал на задке коляски.

---

* тонкую папиросную бумагу (*исп.*).

** дешевого кубинского табака (*исп.*).

Затянувшееся ожидание удивляло и расстраивало Андреса; он не знал, где теперь искать своего эмиссара, и предчувствовал конец обещавшего стать пикантным приключения. Как снова ухватиться за утерянную ниточку, не располагая ни малейшей зацепкой, ни одной деталью, способной вывести на правильный путь, не зная даже имени незнакомки? Или опять надеяться на обманщицу удачу и нечаянную встречу?

«Может, случилось что-то непредвиденное, — все сомневался Андрес, — подожду еще несколько минут...»

Пользуясь вполне дозволительной повествователю вездесущностью, последуем за быстрым экипажем Милитоны. Сначала он проследовал по Прадо, затем свернул на площадь Сан-Хуан и выехал на улицу Десампарадос[10]. Эмиссар дона Андреса по-прежнему цеплялся за него руками и ногами, но примерно на середине этой улицы возница наконец почувствовал лишний груз и огрел беднягу Перико страшным по силе и ловкости ударом кнута, отчего непрошеному попутчику пришлось спрыгнуть на мостовую.

Когда мучачо, протерев заслезившиеся от боли глаза, вновь обрел способность видеть, грохот колес таратайки по неровной мостовой затихал уже в конце улицы Фэ. Отличный бегун, как и все молодые испанцы, Перико, сознавая всю важность возложенной на него миссии, со всех ног полетел за экипажем и, конечно, нагнал бы его, если бы двуколка двигалась по прямой; но в конце улицы она свернула за угол, и Перико на какое-то время потерял ее из виду. Когда же он добежал до поворота, коляска уже исчезла в лабиринте улочек и переулков, прилегающих к площади Лавапьес. По какой из улиц она направилась — Повар или Санта-Инес, Дамас или Сан-Лоренсо? Этого Перико не знал и потому проверил каждую, надеясь увидеть остановившийся перед каким-нибудь домом экипаж; но его надежды не оправдались. Все, что ему удалось увидеть, так это пустую таратайку, ехавшую в обратном направлении; возница, торопясь найти нового седока, с шутливой угрозой щелкал кнутом, словно постреливал из пистолета.

Раздосадованный тем, что не справился с поручением, Перико еще какое-то время походил по улицам, на которых кучер мог высадить своих пассажирок. С преждевременной смышленостью в амурных вопросах, свойственной детям полуденных стран, он справедливо рассудил, что у такой миловидной девушки обязательно должен быть ухажер, а значит, есть вероятность, что она прильнет к окну, высматривая его, или даже выбежит на свидание, ведь день быков в Мадриде — это день прогулок, изысканных увеселений и развлечений. Расчет мальчишки был вполне верен: в самом деле, то над перилами балкона, то в окошке, как на портрете в раме, вырисовывалась очаровательная девичья головка. К сожале-

нию, ни одна из них не принадлежала маноле, за которой ему велели проследить. Выбившись из сил, он ополоснул лицо в фонтане на площади Лавапьес и спустился к Прадо, чтобы отчитаться перед доном Андресом. Хотя ему и не удалось раздобыть точного адреса, он был убежден, что красотка обитает на одной из четырех названных выше улиц, к тому же не очень длинных, а это уже неплохо, так как не придется разыскивать ее по всему Мадриду.

Если бы он продержался еще несколько минут, то увидел бы, как на улице Повар остановился другой экипаж и седок, закутанный в плащ до самых глаз, легко соскочил на землю. В этот момент из-под распахнувшихся складок его плаща сверкнули блестки и показались обтягивающие мускулистые ноги шелковые чулки в пятнышках крови.

Вы наверняка уже узнали Хуанчо. Это и в самом деле был он. Впрочем, Перико все равно не подозревал, что между Хуанчо и Милитоной есть какая-то связь, и появление тореро никак не подсказало бы мальчугану, где живет девушка. К тому же Хуанчо вполне мог возвращаться и к себе домой. Эта версия была даже более чем правдоподобной. После столь драматичной схватки он нуждался в отдыхе и какой-нибудь примочке на ссадину — ведь раны, нанесенные грязными бычьими рогами, заживают очень долго.

Перико быстрым шагом направился к обелиску Второго мая, где дон Андрес назначил ему свидание. И опять неудача — Андрес был не один. Донья Фелисиана, выехавшая сделать покупки и проводить подругу, заметила своего нервно прохаживавшегося жениха. Обе дамы вышли из экипажа и, приблизившись к Андресу, осведомились, уж не сочиняет ли он какой-нибудь сонет или мадригал, блуждая под сенью густых ветвей в час, когда менее поэтичные смертные уже сидят за столом. Бедняга Андрес, нежданно-негаданно застигнутый в самом начале многообещающей интриги, вспыхнул и пробормотал несколько дежурных любезностей; губы его улыбались, но в душе бушевала ярость. Перико нерешительно закружил вокруг компании: несмотря на юный возраст, мальчишка уже отлично понимал, что не стоит сообщать молодому человеку сведения о посторонней девушке в присутствии юных особ, одетых на французский манер. Вот только он никак не мог уразуметь, с какой стати столь блестящий кавалер, который общается с такими прекрасными дамами в модных шляпках, интересуется манолой в простой мантилье.

— Что надо этому мальчугану? — заметила донья Фелисиана. — Смотрит на вас большущими черными глазами, словно проглотить хочет!

— Окурок ждет, не иначе. — Андрес протянул мальчику погасшую сигару и подал незаметный знак, означавший: «Исчезни и возвращайся, когда я освобожусь».

Мальчишка отошел в сторону, а затем, вытянув из кармана огниво, высек огонь и задымил гаванской сигарой с видом заправского курильщика.

Но не все злоключения Андреса остались позади. Фелисиана, словно очнувшись, вдруг хлопнула себя по лбу ручкой в узкой перчатке:

— Боже, я сегодня так увлеклась дуэтом Беллини, что совсем забыла сказать: мой отец, дон Херонимо, ждет вас на ужин. Он собирался написать вам утром, но, поскольку мы должны были увидеться после полудня, я сказала, что мне не составит труда передать приглашение. Уже довольно поздно, — деловито добавила она, взглянув на часики размером с ноготок, — садитесь в наш экипаж, мы проводим Розу, а затем вернемся домой.

Не удивляйтесь, что столь хорошо воспитанная юная особа приглашает юношу в экипаж — на передке коляски восседала гувернантка из Англии, прямая как жердь, красная как рак, затянутая в самый строгий и длинный из корсетов; одним своим видом она обращала в бегство всяческих амуров и любые кривотолки.

Отступать было некуда. Андрес подал руку Фелисиане, а затем ее подруге, помогая им сесть в экипаж, а сам устроился рядом с мисс Сарой, в бешенстве от того, что не может выслушать Перико, которого считал более осведомленным, чем тот был на самом деле, и от перспективы провести весь вечер в нескончаемом музицировании.

Не думаю, что описание рядового буржуазного ужина представляет для читателя какой-либо интерес, а потому отправимся-ка мы на поиски Милитоны, в надежде, что нам повезет больше, чем Перико.

Милитона и в самом деле обитала на одной из тех улиц, что подпали под подозрение юного сыщика. Определить архитектурный стиль дома, в котором она жила вместе со множеством соседей, было бы крайне затруднительно, если только не отнести его к заведомому смешению всех ордеров[11]. Самая изощренная фантазия, должно быть, руководила прорубкой оконных проемов, из которых ни один не походил на другой. Строители, видимо, задались целью забыть о всякой симметрии, ибо уж очень нелепо выглядел этот беспорядочный фасад. Пузатые стены, казалось, отродясь не знавали отвеса и грозили вот-вот рухнуть под собственной тяжестью; железные подпорки, крестообразные или в виде буквы S, с трудом удерживали их от падения, и, если бы не плечи двух соседних домов, выглядевших чуть покрепче, они неминуемо рухнули бы прямо на улицу. Внизу обвалившаяся широкими пластинами штукатурка обнажала глинобитный фундамент; верх сохранился лучше, остатки былой розовой краски проступали там и сям, будто дом краснел от стыда за собственную нищету.

Неряшливая черепичная крыша вырисовывалась на лазурном небе бурым, местами беззубым коньком, а под ней прохожим улыбалось свежевыбеленное окошко. Справа от него висела клетка с перепелом, а слева покачивалась еще одна крохотная клеточка, украшенная красными и желтыми бусинками, которая явно служила дворцом и кельей для сверчка, ибо испанцы, перенявшие у арабов любовь к четким ритмам, обожают монотонные, размеренные песни перепелов и сверчков. В покрытом жемчужинами влаги кувшине из пористой глины, подвешенном за ручки, под нарождающимся вечерним ветерком охлаждалась вода, капельки стекали с него в два стоявших под ним горшочка с базиликом. То было окно Милитоны. Наблюдательный прохожий немедленно догадался бы, что в этом гнездышке живет юная пташка: молодость и красота распространяют свою власть и на неодушевленные предметы, вольно или невольно оставляя на них собственный отпечаток.

Если вы не боитесь подняться вместе с нами по каменной лестнице с потертыми до блеска ступенями, то мы попробуем поспеть за Милитоной, весело скачущей вверх на упругих девичьих ногах. Вот она уже купается в свете верхних этажей, а тетушка Альдонса все еще кряхтит внизу, во мраке и, призывая на помощь святого Иосифа[12], обеими руками виснет на засаленной веревке, заменяющей в этом доме перила.

Меж тем девушка, приподняв краешек циновки, брошенной перед дверью из еловых дощечек, столь обыкновенной для Мадрида, достала ключ и отперла замок.

Более чем скромное жилище вряд ли могло ввести в искушение воришек и не нуждалось в надежных засовах; уходя, Милитона иногда даже оставляла его незапертым, но по возвращении всегда тщательно закрывала дверь на ключ. Дело в том, что в этой лачуге имелось-таки одно сокровище, вот только привлекало оно не злодеев, а влюбленных.

Незатейливая побелка на стенах вместо обоев или обивки, зеркало с почерневшей амальгамой, весьма приблизительно передававшее прелесть той, которая в него смотрелась; гипсовая статуэтка святого Антония[13] и две голубые стеклянные вазочки с искусственными цветами; еловый стол, два стула и узкая кровать, застланная стеганым муслиновым покрывалом с резной оборкой, — вот и вся обстановка. Стоит еще упомянуть несколько икон Богоматери и святых, раскрашенных и позолоченных с чисто византийской или русской наивностью, а также гравюры, изображавшие Второе мая[14], погребение Даоиса и Веларде[15] и пикадора на лошади — копию с картины Гойи[16], да бубен — подходящую пару для висевшей тут же гитары. Образуя причудливую смесь мирского и сакрального, что в истинно католических странах ничуть не смущает даже самых пылких верующих, между

этими двумя инструментами, созданными для веселья и услады, стояла сухая пальмовая ветвь, освященная в церкви в Цветоносное воскресенье[17].

Так выглядела комната Милитоны, и, хотя в ней находились только самые необходимые для жизни предметы, от нее не веяло холодом и нищетой; кругом весело играли солнечные лучи; ярко-красный плиточный пол радовал глаз; ни одна уродливая тень не пыталась вцепиться когтями летучей мыши в сверкающие белизной углы, ни один паук не смел растянуть свою сеть между балками потолка — все было свежо, светло и улыбчиво в этой каморке, меблированной четырьмя стенами. В Англии так выглядит самая глубокая нужда, но в Испании это почти достаток: чего еще желать человеку, чтобы чувствовать себя счастливым, словно в раю?

Старушке наконец удалось вскарабкаться по лестнице; она вошла в прелестное гнездышко и грузно опустилась на жалобно скрипнувший стул.

— Ох, Милитона, умоляю, дай кувшин, я глотну разочек. Задыхаюсь — душно, сил нет, в горле першит, и все нутро горит от пыли да еще от этих проклятых мятных конфет.

— Не надо было заглатывать их горстями, tía, — улыбнулась девушка, протягивая ей воду.

Альдонса, сделав три-четыре глотка, отерла губы тыльной стороной ладони и быстро заработала веером.

— Кстати, о конфетах, — отдышавшись, сказала она. — С какой яростью смотрел в нашу сторону Хуанчо! Уверена, он пропустил удар быка оттого, что тот красавчик разговаривал с тобой. Он же ревнив, как тигр, наш Хуанчо, не ровен час, разыщет того господина и покажет ему, где раки зимуют. Гроша ломаного не дам за шкуру бедного юноши — боюсь, наш матадор разукрасит ее от души. Помнишь, как он отделал своей славной навахой Луку? А ведь бедняга всего-навсего хотел подарить тебе букет на ромерии[18] святого Исидора[19].

— Надеюсь, Хуанчо не дойдет до столь отвратительных крайностей. Я так жалобно и убедительно попросила того юношу не говорить со мной, что он не произнес больше ни слова; он понял, что я боюсь, и оставил меня в покое. Что за страшная мука быть жертвой свирепой ревности!

— Сама виновата, — улыбнулась старая женщина, — зачем ты такая красивая?

Резкий удар в дверь, словно нанесенный стальным кулаком, прервал разговор женщин.

Старуха поднялась, чтобы взглянуть в зарешеченное окошко, прикрытое маленьким ставнем и проделанное, как это принято в Испании, на высоте человеческого роста.

В отверстии показалось бледное, несмотря на бронзовый от солнца арены загар, лицо Хуанчо.

Альдонса открыла дверь, и Хуанчо вошел в комнату. В его чертах по-прежнему читалось сильное волнение, охватившее его еще на арене, он был в ярости, ибо для матадора, неравнодушного к вопросу чести, крики «браво» не заглушают свист; он считал, что покрыл себя позором и теперь должен совершить самые безрассудные подвиги, чтобы смыть пятно и обелить себя перед публикой и самим собой.

Больше всего Хуанчо бесило, доводя гнев до предела, что он не смог сразу же покинуть арену и настигнуть красавчика, посмевшего любезничать с Милитоной. Где теперь его искать? Наверняка наглец последовал за девушкой и говорил с ней!

При этой мысли рука Хуанчо машинально тянулась к висевшему на поясе ножу.

Он опустился на стул. Милитона, подойдя к окну, обрывала лепестки увядшей красной гвоздики; донья Альдонса делала вид, что очень занята своим веером, но все-таки именно она первая прервала воцарившееся неловкое молчание:

— Хуанчо, как ваша рука? Сильно болит?

— Ничуть, — обронил матадор, не сводя с Милитоны испытующего взгляда.

— Нужно приложить к ране примочку с солью, — запричитала пожилая женщина, лишь бы поддержать разговор.

Но Хуанчо даже не посмотрел в ее сторону, словно его преследовала некая навязчивая мысль, и обратился к Милитоне:

— Что за молодчик сидел рядом с вами на корриде?

— Первый раз его видела; я с ним не знакома.

— Но хотели бы познакомиться?

— Весьма учтивое допущение. А что, если и так?

— Если так, то я отправлю красавчика на тот свет, прямо во фраке, в лакированных сапогах и белых перчатках!

— Хуанчо, вы с ума сошли, разве я давала вам право ревновать? Вы говорите, что любите меня, но разве в том моя вина? Если вам вздумалось считать девушку красивой, то что же, она должна немедля броситься вам на шею?

— Истинная правда, — вставила словечко старуха, — никто тебя не заставляет, но все-таки из вас получилась бы прекрасная пара! Никогда еще столь изящная ручка не соединялась со столь мощной дланью, и, если бы вы станцевали качучу в саду Лас-Делисиас[20], то, скажу вам, это было бы зрелище!

— Разве я когда-нибудь заигрывала с вами, Хуанчо? — продолжала Милитона. — Разве я пыталась как-нибудь вас увлечь? Жеманилась, строила глазки, зазывно улыбалась?

— Нет, — сдавленным голосом ответил тореро.

— Я вам ничего не обещала, не подавала никакой надежды; я всегда говорила: «Забудьте меня». Так почему вы изводите и оскорбляете меня жестокими и ничем не оправданными выходками? Значит, из-за того, что я имела неосторожность вам понравиться, каждый мой взгляд становится смертным приговором? Или вы хотите, чтобы я жила в пустыне? Вы изувечили бедняжку Луку, славного малого, который забавлял и смешил меня, тяжело ранили вашего лучшего друга Хинеса только за то, что он коснулся моей руки; неужели вы думаете, что это вам поможет? А сегодняшняя глупость в цирке! Вы шпионили за мной и прозевали быка, а потом сделали тот нелепый выпад!

— Но все это только потому, что я люблю тебя, Милитона, люблю всеми силами души и сгораю от страсти! На всем белом свете я не вижу ничего и никого, кроме тебя, и пусть бычьи рога пронзят мою грудь, они не заставят меня отвернуться, когда ты улыбаешься другому! Я не обучен изящным манерам, что верно, то верно, ведь вся моя жизнь прошла в схватках со свирепыми животными; каждый божий день я убивал и мог быть убитым. Мне не до нежностей — не то что этим безусым сударикам, жеманным и хрупким, как женщины, растрачивающим время за чтением газет и завивающим локоны у цирюльника! И знай: или ты будешь моей, или не достанешься никому! — Хуанчо умолк, а потом грохнул кулаком по столу, как бы подводя черту под разговором.

Затем он резко поднялся и вышел, ворча на ходу:

— Я разыщу его во что бы то ни стало и всажу ему в брюхо клинок дюйма на три...

Вернемся теперь к несчастному Андресу. Понурившись у фортепиано, он исполняет свою партию в дуэте Беллини так фальшиво, что доводит до отчаяния красную от стыда Фелисиану. Никогда еще светская вечеринка не казалась ему столь тоскливой; в душе он послал бы ко всем чертям маркизу де Бенавидес вместе с ее tertulia.

После чистого и тонкого профиля юной манолы, ее гагатовых волос, арабского взора, дикой грации и живописного наряда он безо всякого удовольствия взирал на сомнительные прелести заполнивших салон богатых вдовушек в тюрбанах[21], невеста уже казалась ему совершеннейшей дурнушкой, и он ушел с вечеринки по уши влюбленным в Милитону.

Когда Андрес возвращался домой по улице Алкала, кто-то мягко дотронулся до полы его фрака. То был Перико, который не терял времени

даром и открыл кое-что новое; теперь он спешил доложить о своих успехах и, конечно, получить обещанный дуро.

— Сеньор, — сказал сорванец, — она живет на улице Повар, третий дом по правой стороне. Я только что видел ее в окне, она доставала кувшин с водой.

Глава IV

«Знать, где гнездо голубки, — лишь полдела, — думал дон Андрес, пробуждаясь от сладких сновидений, в которых ему то и дело являлся прекрасный образ Милитоны, — нужно еще как-то подобраться к ней. С чего ж начать? Пока я не вижу другого пути, кроме как стать на перекрестке возле ее дома и выяснить, что там к чему. Однако если я появлюсь в том квартале разодетый, как обычно, то есть словно с картинки в последнем парижском журнале, то неизбежно привлеку к себе внимание, что весьма затруднит мою разведку. Рано или поздно она обязательно войдет в дом или выйдет; ведь не держит же птичка в своей клетке полугодовой запас орешков и драже. Я заговорю с ней, придумаю что-нибудь любезное, и тогда посмотрим, будет ли она столь же нелюдима и пуглива, как на Площади Быков. Отправлюсь-ка я на Растро[1], куплю все, что есть самого модного для маноло, потом переоденусь, и тогда я точно не вызову подозрений ни ревнивого поклонника, ни свирепого братца и смогу спокойно разузнать побольше о моей красавице».

Остановившись на этом плане, Андрес поднялся, наспех проглотил чашку шоколада на воде и отправился на Растро, в своего рода мадридский Тампль[2], где можно купить все, кроме новых вещей. Сердце юноши переполняли задор и счастье; мысль, что девушка может не полюбить его или любить другого, даже не приходила ему в голову; в нем возобладала уверенность, которая редко обманывает, ибо возникает от предчувствия взаимности. В душе испанца проснулась жажда приключений. Маскарад забавлял его; и пусть желанной инфантой, которую предстояло завоевать, была простая манола, прогулки под ее окном в сером плаще обещали быть приятными, а опасность, что почудилась ему во вчерашних словах девушки, лишала будущую победу всякого привкуса пошлости.

Придумывая на ходу тысячи военных хитростей, что разбивают одна другую в пух и прах и на самом деле никуда не годны, Андрес вышел на Растро.

Прелюбопытное местечко этот Растро. Представьте себе холмистое плато или что-то вроде пригорка, окруженного грязными жалкими домишками, в которых проворачиваются разные подозрительные делишки.

На этом бугорке и прилежащих к нему улочках ютятся барахольщики и старьевщики, торгующие подержанными вещами, разнообразным хламом и ломом, тряпками и битой посудой, — в общем, всем ветхим, грязным, рваным и вышедшим из употребления. Пятна и дыры, загадочные обрывки и осколки предметов, обломки межевых столбов и ржавые гвозди находят здесь своих покупателей. Это причудливая смесь, где философски сосуществуют обноски всех сословий: старенькое придворное платье с отпоротыми позументами соседствует с грубой крестьянской курткой; принадлежавшая когда-то танцовщице юбка с потускневшими серебряными блестками висит рядом с изношенной и залатанной сутаной. Здесь свалены в одну кучу стремена пикадора, искусственные цветы, изодранные книги, почерневшие и пожелтевшие картины, давно никого не интересующие портреты. У Рабле или Бальзака описание этого мусора заняло бы по меньшей мере четыре страницы[3].

Однако ближе к площади есть несколько лавочек поприличнее, где можно купить хотя и не новую, но все же чистую одежду, которую не стыдно носить не только подданным царства нищих.

В одну из этих лавочек и зашел дон Андрес.

Он выбрал относительно свежий костюм, который в своей прежней жизни, должно быть, обеспечил счастливому обладателю немало славных побед на улицах Сан-Луис и Баркильо и площади Санта-Ана. Состоял этот костюм из шляпы с низкой тульей, лихо закрученными полями и бархатной отделкой, куртки цвета испанского табака с маленькими пуговицами, просторных панталон, широкого шелкового пояса и темного плаща. Все вещи хотя и потеряли былой блеск, но еще хранили определенный изыск.

Рассмотрев себя в неведомо каким ветром занесенном в эту лавчонку большом венецианском зеркале с великолепной оправой, Андрес остался доволен. Новый наряд придал ему стройности и непринужденности, сделав его абсолютно неотразимым для чувствительных сердец с площади Лавапьес.

Оплатив покупку, он попросил торговца отложить ее до вечера. Андресу не хотелось, чтобы кто-то заметил при свете дня, как он выходит переодетым.

Возвращался Андрес по улице Повар. По описанию Перико он легко опознал белое окошко с подвешенным кувшином, но ему показалось, что в комнате никого нет: наглухо задернутая муслиновая занавеска не позволяла любопытному взгляду проникнуть сквозь стекло.

«По всей видимости, она на работе и вернется только в конце дня; скорее всего, она шьет, крутит сигары, вышивает или что-нибудь в этом роде», — рассудил Андрес и прошел мимо не останавливаясь.

В это время Милитона сидела у себя в комнате, за столом, склонившись над разложенными перед ней деталями корсажа, которые она сшивала. И хотя ей незачем было прятать свою работу, дверь была заперта на задвижку: видимо, девушка побаивалась внезапного вторжения Хуанчо, так как тетушка Альдонса ушла и оставила ее одну.

Не отрываясь от работы, она думала о юноше, столь пылко и нежно смотревшем на нее в цирке. Его мягкий голос до сих пор звучал в ее ушах.

«Только бы он не искал встречи со мной! Хотя, если честно, мне было бы приятно... Хуанчо затеет с ним ссору и наверняка убьет или искалечит, как всех, кто пытался мне понравиться. Но даже если бы я могла избавиться от тирана Хуанчо, который преследовал меня от Гранады[4] до Севильи, от Севильи до Мадрида и будет преследовать даже на краю света, лишь бы я не отдала другому сердце, в котором ему отказано, — что с того? Этот юноша совсем не моего круга; по его одежде видно, что он знатен и богат, я для него не более, чем мимолетный каприз. Он наверняка уже и думать забыл обо мне».

Здесь стремление к истине вынуждает нас признать, что легкое облачко омрачило чело девушки, и глубокий вдох, который можно было принять и за вздох, расправил ее стесненную грудь.

«Конечно же у него есть возлюбленная, а то и невеста, молодая, красивая, модно одетая, в изящной шляпке и необъятной шали. А как хорошо он смотрелся бы в расшитой цветным шелком куртке с серебряными филигранными пуговицами, в простроченных рондийских сапогах[5] и маленькой андалусской шляпе! Как тонка была бы его талия, если стянуть ее шелковым гибралтарским кушаком[6]!» — продолжала Милитона свой внутренний монолог. Невинно обманывая собственное сердце, она мысленно одевала Андреса в костюм, который мог бы приблизить их друг к другу.

Так она грезила, когда Альдонса, жившая в том же доме, постучала в дверь.

— Ты ничего не знаешь, милая? — затараторила она. — Этот бешеный Хуанчо, вместо того чтобы залечивать рану, бродил всю ночь под твоим окном, поджидая, видимо, того молодого человека из цирка; он вбил себе в голову, что ты назначила юноше свидание! А будь это правдой? Вот бы бедняге повезло! И отчего тебе не полюбить несчастного Хуанчо? Тогда б он оставил тебя в покое.

— Нечего тут обсуждать; я не в ответе за любовь, которую ничем не поощряла.

— Не то чтоб тот молодой человек с Площади Быков нехорош собою или невежлив, — гнула свое старушка, — он преподнес мне коробку с конфетами со всей любезностью, со всеми подобающими моему положению

знаками уважения, но Хуанчо! Я боюсь его как тысячи чертей! Ведь он почитает меня чуть ли не за твою наставницу и вполне способен призвать меня к ответу, если ты предпочтешь другого. Он глаз с тебя не спускает, от него ничто не ускользнет!

— Вас послушать, так можно подумать, что у меня уже все слажено с тем господином, а я и лица-то его толком не помню, — слегка покраснев, возразила Милитона.

— Ты-то, может, и не помнишь, зато он тебя не забыл, могу поклясться! Да он твой портрет по памяти нарисует! Всю корриду глазел на тебя, будто Пресвятой Деве молился!

Услышав эти слова, подтверждавшие любовь Андреса, Милитона ничего не ответила и склонилась над работой — неведомое счастье переполнило ее сердце.

Хуанчо же было не до нежных чувств; затворившись в своей комнате, обвешанной шпагами и девизами[7], которые он завоевал с риском для жизни, дабы вручить Милитоне, не желавшей их принимать, он предался свойственному несчастным влюбленным мысленному переливанию из пустого в порожнее: в его голове никак не укладывалось, что Милитона его не любит; ее сопротивление казалось ему неразрешимой задачей, в которой он тщетно старался найти неизвестную величину. Или он не красив, не молод, не силен, не полон огня и отваги? Или не ему рукоплещут самые что ни на есть изящные ладошки Испании? Или на его костюмах золотых вышивок и всяких украшений меньше, чем у самых прославленных тореро? Или не его портреты, отпечатанные на шейных платках в ореоле хвалебных стихов, продаются на каждом углу, словно литографии с картин великих художников? Кто, кроме разве что Монтеса, может сравниться с ним в ловкости удара и так же быстро поставить на колени самого грозного быка? Никто. Деньги? За кровь платят золотом, и оно текло сквозь его пальцы словно ртуть. Что же в нем не так? Не находя у себя, несмотря на совершенно искренние поиски, ни одного изъяна, он ничем не мог объяснить неприязнь или по меньшей мере холодность Милитоны, кроме как любовью к другому. Этого соперника Хуанчо выискивал повсюду, малейший повод пробуждал в нем дикую ревность и злобу. Он, Хуанчо, который покорял бешеных животных, разбился о ледяную неприступность девушки. Не один раз ему приходила мысль убить несговорчивую красавицу, дабы разрушить наконец ее чары. Это безумие длилось уже больше года. С того самого дня, как он увидел Милитону, его любовь, подобно всем истинным страстям, тут же стала безмерной: любить сильнее было уже невозможно.

Хуанчо решил, что Андрес должен бывать в салоне Прадо, театрах Сирко и Принсипе, модных кафе и других местах, облюбованных свет-

скими людьми. И хотя он испытывал глубокое презрение к мещанскому гардеробу и одевался как все махо, сюртук, черные панталоны и круглая шляпа уже висели на его стуле — он приобрел их утром под арками улицы Майор[8], ровно в то же время, когда Андрес делал покупки на Растро. Итак, оба соперника прибегли к одному и тому же средству, но один хотел найти того, кого ненавидел, а другой — ту, которую любил.

Фелисиана — дон Андрес с пунктуальностью неверного возлюбленного не преминул нанести визит в урочный час — обрушила на жениха град упреков за фальшивое пение и непростительную рассеянность на вчерашнем собрании у маркизы де Бенавидес. Надо же было столько дней потратить на репетиции, столько раз пропеть этот несчастный дуэт, чтобы на званом вечере потерпеть фиаско! Андрес, как мог, просил прощения. Ведь его ошибки только подчеркнули блестящий и неоспоримый талант Фелисианы, которая была как никогда в голосе и которой могла позавидовать сама Ронкони[9] из театра Сирко. В общем, ему не составило большого труда успокоить невесту, и они расстались добрыми друзьями.

Наступил вечер. Хуанчо в модном костюме, сделавшем его неузнаваемым, нервным и резким шагом метался по проспекту Прадо, пристально разглядывая каждого встречного и стараясь быть одновременно повсюду. Он заскочил в несколько театров, где обшарил орлиным взором партер и ложи, перепробовал в разных кафе мороженое всех сортов, пристроился едва ли не к каждой группе политиканов и поэтов, споривших о последних событиях и пьесах, но так и не нашел никого похожего на того молодого человека, что так нежно любезничал с Милитоной в день быков. По иронии судьбы в тот же самый час дон Андрес, переодевшись у торговца на Растро, степенно потягивал из стакана ледяной лимонад в расположенной почти напротив окон Милитоны horchatería de chufas (орчатерии)[10], где, используя Перико в качестве дозорного, он разместил свой наблюдательный пункт. Хуанчо прошел мимо, даже не взглянув в его сторону: тореро и в голову не приходило искать соперника под простой курткой и дешевым сомбреро. Милитона же, прятавшаяся за занавеской, узнала Андреса сразу — любовь куда проницательнее ненависти. В невыносимой тревоге она гадала, что же замыслил юноша, обосновавшись таким образом напротив ее дома, и ужасалась, представляя последствия его неминуемой встречи с Хуанчо.

Андрес, облокотясь на столик, с видом сыщика, напавшего на след заговора, пристально изучал людей, входивших в дом. Мимо него сновали мужчины и женщины, старики и дети — сначала их было много, так как в доме обитало несколько семей, потом все меньше и меньше. Малопомалу подкралась темнота, оставались лишь те, кто припозднился. Милитона так и не появилась.

Андрес уже начал было сомневаться в достоверности сведений, добытых Перико, когда темное окошко осветилось и он ясно увидел, что в комнате кто-то есть.

Он был уверен, что это Милитона, хотя сей факт ни на шаг не приближал его к цели. Тогда он написал карандашом несколько слов, подозвал Перико, крутившегося неподалеку, и попросил отнести записку прекрасной маноле.

Сорванец, проскочив вслед за входившим в подъезд жильцом, ощупью пробрался по темной лестнице на верхнюю площадку. Пробивавшийся сквозь щели свет помог найти ему дверь, что вела к Милитоне. Он тихонько стукнул два раза, и крохотное окошко приоткрылось; девушка взяла письмо и захлопнула ставень.

«Хоть бы она умела читать», — подумал Андрес, допил ледяной напиток и заплатил за него Валенсьену, хозяину орчатерии.

Юноша поднялся и медленно прошелся под окнами. Вот содержание записки:

> Человек, который не может и не хочет Вас забыть, желает увидеться с Вами; но он ничего не знает о Вашей жизни и после того, что Вы сказали в цирке, опасается причинить зло. Если опасность угрожает только ему, она его не остановит. Потушите лампу и бросьте ответ в окно.

Через несколько минут свет погас, окно открылось, и Милитона, доставая кувшин, уронила один из горшков с базиликом, который вдребезги разбился неподалеку от Андреса.

Среди осколков и бурой земли, разлетевшейся по мостовой, что-то белело — то был ответ Милитоны.

Андрес подозвал sereno (ночного сторожа) с фонарем на длинном шесте, попросил его посветить и прочел нижеследующий текст, написанный дрожащей рукой большими неровными буквами:

> Уходите... Нет времени на объяснения. Завтра в десять я буду в церкви Святого Исидора. Но, ради бога, уходите: речь идет о Вашей жизни.

— Благодарю, вы славный малый, — Андрес вложил реал в ладонь серено, — можете идти.

Андрес неторопливо зашагал прочь по совершенно обезлюдевшей улице, но тут его внимание привлекло появление мужчины в плаще, из-

под которого острым углом выступал гриф гитары; юноша притаился в темном закоулке.

Незнакомец отбросил за плечи полы плаща, перекинул гитару вперед и ударил по струнам, извлекая из них тот характерный бурный ритм, что служит аккомпанементом серенадам и сегидильям.

Судя по всему, эта шумная прелюдия должна была разбудить красавицу, ради которой она, собственно, и затевалась. Однако вопреки испанской поговорке, гласящей, что, как бы крепко ни спала женщина, стон гитары заставит ее выглянуть в окно, окно Милитоны оставалось закрытым, и мужчине пришлось довольствоваться невидимой аудиторией. Он дважды громко откашлялся и запел с сильным андалусским акцентом:

Дитя с повадками царицы,
Чей кроткий взор сулит беду,
Ты можешь сколько хочешь злиться,
Но я отсюда не уйду.

Я встану под твоим балконом,
Струну тревожа за струной,
Чтоб вспыхнул за стеклом оконным
Ланит и лампы свет двойной.

Пусть лучше для своих прогулок
И менестрель и паладин
Другой отыщут переулок:
Здесь я пою тебе один,

И здесь ушей оставит пару
Любой, кто, мой презрев совет,
Испробует свою гитару
Иль прочирикает сонет.

Кинжал подрагивает в ножнах;
А ну, кто краске алой рад?
Она оттенков всевозможных:
Кому рубин? Кому гранат?

Кто хочет запонки? Кто бусы?
Чья кровь соскучилась в груди?
Гром грянул! Разбегайтесь, трусы!
Кто похрабрее – выходи!

Вперед, не знающие страха!
Всех по заслугам угощу!
В иную веру вертопраха
Клинком своим перекрещу.

И нос укорочу любому
Из неуемных волокит,
Стремящихся пробиться к дому,
В который мною путь закрыт.

Из ребер их, тебе во славу,
Мост за ночь возвести бы мог,
Чтоб, прыгая через канаву,
Ты не забрызгала чулок...

Готов, с нечистым на дуэли
Сразившись, голову сложить,
Чтоб простыню с твоей постели
Себе на саван заслужить...

Глухая дверь! Окно слепое!
Жестокая, подай мне знак!
Давно уж не пою, а вою,
Окрестных всполошив собак...

Хотя бы гвоздь в заветной дверце
Торчал, чтоб на него со зла
Повесить пламенное сердце,
Которым ты пренебрегла![11]

«Черт возьми, сколько ярости! — думал Андрес. — Подобные вирши не упрекнешь в пресности. Посмотрим, насколько Милитону — ведь именно в ее честь затеяна вся эта ночная шумиха — тронет подобного рода элегия[12], сочиненная, верно, Матамором, доном Спавенто, Фракассом или Траншмонтанем[13]. Должно быть, это и есть тот грозный воздыхатель, что внушает ей такой страх. Да уж, такого испугаешься!»

Андрес выглянул из спасительной тени, луна осветила его, и бдительный Хуанчо немедленно заметил постороннего.

«Похоже, я попался, — подумал Андрес. — Ну, ничего, я сумею за себя постоять».

Хуанчо швырнул на землю гитару, всхлипнувшую на каменной мостовой, и бросился к Андресу, которого сразу узнал.

– Что вы здесь делаете в такой час? – дрожащим от гнева голосом спросил он.

– Музыку слушаю. Признаться, ей не откажешь в определенной изысканности.

– Но если вы внимательно слушали, то должны были понять, что я запрещаю кому бы то ни было находиться на этой улице, когда исполняю серенаду.

– Я по природе непослушен, – с отменным хладнокровием ответил Андрес.

– Сегодня ты изменишь свою природу.

– Вряд ли. Я верен моим привычкам.

– Что ж, защищайся, не то подохнешь как собака! – Хуанчо выхватил наваху и обмотал плащом левую руку.

Те же движения повторил Андрес, который встал в позицию с ловкостью, говорившей о хорошей школе и немного удивившей тореро. Дело в том, что Андрес довольно долго брал уроки у одного из самых искусных мэтров Севильи – так в Париже юные щеголи частенько обучаются приемам фехтования палкой и тростью, равно как французскому боксу, доведенному до математического совершенства Лекуром и Буше[14].

Хуанчо пошел в обход противника, выставив в качестве щита левую руку, защищенную несколькими слоями ткани, а правую отставив назад, дабы нанести как можно более резкий и сильный удар. Круг за кругом он то приподнимался, то приседал на своих пружинистых ногах, превращаясь то в великана, то в карлика, но острие его клинка неизменно натыкалось на сложенный плащ Андреса, мастерски отражавшего каждый удар.

Хуанчо резко отступал и стремительно нападал; он прыгал вправо и влево, взмахивал ножом, будто дротиком, делая вид, что хочет метнуть его в противника.

Андрес ответил несколько раз столь неожиданными и меткими выпадами, что никто другой, кроме Хуанчо, не смог бы устоять. Поистине, то была великолепная схватка, достойная целой толпы искушенных зрителей, но, как назло, все окна погрузились в сон, а улица была совершенно пустынной. Эх, знатоки-академики из мадридского Сан-Лукара, кордовского Потро, гранадского Альбайсина и севильской Трианы[15], как же вас не хватало, чтобы оценить красоту боя!

Оба противника, несмотря на всю свою выносливость, начали уставать; пот стекал по их лицам, легкие, задыхаясь, свистели, словно кузнечные мехи, ноги все тяжелее и тяжелее ступали по земле, прыжки теряли уверенность и упругость.

Хуанчо вдруг почувствовал, как кончик клинка Андреса пропорол его рукав, и ярость его удвоилась. В нечеловеческом усилии, с риском напороться на нож противника, он бросился на врага, словно тигр.

Тореро поразил Андреса, тот опрокинулся от удара навзничь и при падении выбил хлипкую дверь, к которой постепенно сместилась схватка. Хуанчо спокойным шагом пошел прочь. Сторож, проходивший в конце улицы, прокричал: «Все спокойно, половина двенадцатого ночи, погода ясная и тихая!»

Глава V

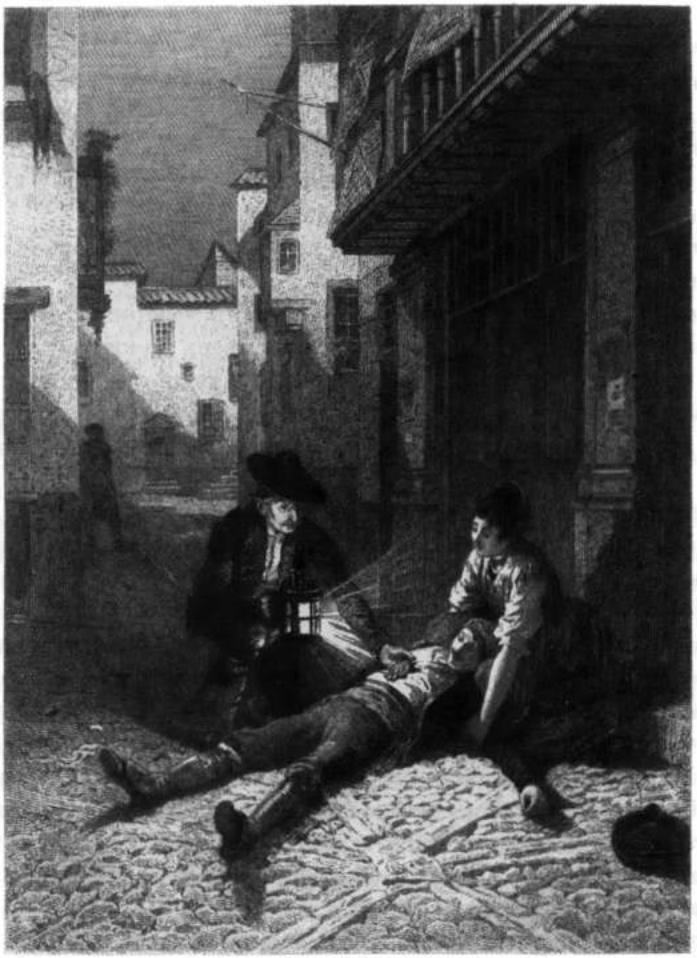
Заслышав голос сторожа, Хуанчо поспешно удалился, не убедившись, умер Андрес или только ранен. Впрочем, он был настолько уверен в надежности, если можно так сказать, своего удара, что уже видел противника на том свете. Поединок был честным, и тореро не чувствовал никаких угрызений совести; мрачное удовлетворение от того, что он избавился от соперника, заглушало голос рассудка.

Тревога Милитоны во время схватки, шум которой заставил ее поспешить к окну, не поддается никакому описанию. Она закричала бы, но язык прикипел к нёбу, а горло сдавила железная рука ужаса; почти потеряв голову, сама не зная зачем, она на неверных ногах сошла по лестнице вниз, вернее, позволила непослушному телу соскользнуть вдоль перил. Девушка спустилась как раз в тот момент, когда Андрес, падая, проломил плохо прикрытую створку двери.

По счастью, Хуанчо не видел, с каким отчаянием и страстью девушка бросилась к Андресу, иначе вслед за первым он совершил бы и второе убийство.

Милитона приложила руку к сердцу юноши, и ей показалось, что оно хоть и слабо, но бьется. Сторож, все повторявший свой монотонный припев, подошел к дому, и она позвала его на помощь. Почтенный служитель, осветив раненого, воскликнул: «Ну и ну! Да это же тот самый молодец, что при свете моего фонаря читал записку!» — и наклонился, чтобы разобрать, жив тот или мертв.

Ночной сторож с весьма характерными грубоватыми чертами добродушного лица, белая, как воск, девушка с черными бровями, подчеркивавшими ее бледность, и безжизненное тело юноши, чью голову она держала на коленях, словно сошли с картины Рембрандта[1]. Фонарь освещал всю троицу странным желтым светом, образовывая ту мерцающую звезду, которую голландский живописец любил помещать в центре своих компо-



зиций, погруженных по краям в темно-коричневый полумрак, но, возможно, даже ему не хватило бы безупречности и чистоты линий, чтобы передать несказанную красоту Милитоны. В ту минуту девушка напоминала статую Скорби, преклонившую колени у гробницы[2].

— Он дышит, — заключил сторож после минутного осмотра. — Ну-ка, глянем на рану. — Он разорвал одежду на груди Андреса, который по-прежнему лежал без чувств. — Ого! Вот так удар! — воскликнул он с каким-то почтительным удивлением. — Снизу вверх, по всем правилам! Неплохо сработано. Если не ошибаюсь, то, должно быть, рукой севильца. Уж я-то понимаю в ножевых ранениях — столько их перевидал! Но что мы будем делать с этим юношей? Его нельзя беспокоить, и к тому же — куда его нести? Ведь он не может подсказать нам свой адрес...

— Отнесем его ко мне, — решила девушка, — раз я первая прибежала на помощь... он мой.

Громким криком сторож подозвал своего товарища; они осторожно подняли несчастного и с трудом потащили вверх по крутой лестнице. Милитона шла вместе с ними, маленькими ручками она поддерживала тело, стараясь избавить от толчков бедного раненого, которого бережно уложили в узкую девичью постель на муслиновое покрывало с резными оборками.

Один из ночных стражей отправился за врачом, а другой, пока Милитона рвала какое-то белье, чтобы приготовить повязки и корпию, ощупал карманы Андреса в поисках визитной карточки или писем, которые могли бы помочь установить его личность, — но тщетно. Клочок бумаги, в котором Милитона предупреждала Андреса об опасности, выпал из кармана во время драки, и, видимо, его отнесло ветром; таким образом, пока раненый не придет в себя, ничто не наведет полицию на след злодея.

Милитона рассказала, что она слышала шум драки, грохот падения — и больше ничего. Пусть она и не любит Хуанчо, но не доносить же на него, тем более за проступок, невольной причиной которого была она сама. Кроме того, выходки тореро хотя и пугали ее, но свидетельствовали о безграничной страсти, а женщинам всегда льстит подобное чувство, даже если они не разделяют его.

Врач наконец прибыл и обследовал рану, оказавшуюся не очень серьезной: лезвие ножа скользнуло по ребрам. Андрес потерял сознание от сильного удара и резкого падения, да еще ослабел от потери крови; но, как только зонд коснулся краев раны, он пришел в себя. Открыв глаза, юноша первым делом увидел прекрасное лицо Милитоны, которая подавала хирургу бинты. Тетушка Альдонса, прибежавшая на шум, стояла с другой стороны его изголовья и жалобно, вполголоса причитала.

Хирург перевязал рану и удалился, обещав прийти на следующий день.

Андрес, чьи мысли начинали проясняться, смотрел на окружающее все еще затуманенным взором; он не понимал, как оказался в этой чистой комнатушке, на узкой девичьей постели между ангелом и ведьмой. Из-за провала в памяти, вызванного потерей сознания, он никак не мог сообразить, каким образом перенесся с улицы, где только что защищался от бешеных наскоков Хуанчо, в прохладную райскую обитель Милитоны.

— Говорила я, от Хуанчо жди беды, — ворчала Альдонса. — Как он смотрел на нас, ты же помнишь! Такое добром не кончается. В хорошенькое положеньице мы попали! А когда он узнает, что ты приютила этого молодца в своей комнате...

— Не могла же я оставить его умирать под дверью, — возражала Милитона, — тем более что пострадал он из-за меня. Да и не скажет Хуанчо ничего; ему теперь лучше поостеречься, а то как бы его самого не наказали.

— Ой, кажется, наш больной приходит в себя, — заметила старушка. — Смотри-ка, глаза приоткрыл, и щеки порозовели.

— Не вздумайте говорить, врач запретил, — приказала девушка, увидев, что Андрес пытается что-то вымолвить, и со слегка властным видом, свойственным всем сиделкам, приложила пальцы к бледным губам юноши.

Когда заря, воспетая трелями сверчка и перепела, проникла розовыми лучами в каморку, она осветила картину, которая заставила бы Хуанчо взреветь от бешенства: Милитона, до утра бодрствовавшая у изголовья раненого, разбитая усталостью и переживаниями минувшей ночи, задремала, и ее головка в поисках опоры уткнулась в уголок подушки, на которой покоилась голова Андреса. Прекрасные волосы манолы растрепались и рассыпались черными волнами по белым простыням, а проснувшийся Андрес накручивал ее локон на свой палец.

Правда, ранение юноши и присутствие тетушки Альдонсы, храпевшей в другом конце комнаты на зависть педалям органа собора Севильской Богоматери[3], исключали любые кривотолки.

Если бы Хуанчо лишь заподозрил, что, вместо того чтобы убить соперника, он предоставил ему возможность попасть не только в дом Милитоны, но и на постель, при одном взгляде на которую он, мужчина со стальным сердцем и железными руками, трепетал и бледнел, что он помог наглецу провести ночь в комнате, на порог которой его едва пускали даже днем, в доме, перед дверью которого он бродил во мраке, проклиная все на свете и сходя с ума, то он в бешенстве бросился бы на землю и разодрал ногтями собственную грудь.

Что до Андреса, то в самых смелых своих планах он и помыслить не мог о таком способе сблизиться с Милитоной.

Девушка очнулась ото сна, пристыженно убрала волосы и спросила раненого, как он себя чувствует.

— Лучше не бывает, — ответил больной, не сводя с прелестного создания исполненных любви и признательности глаз.

Слуги Андреса, не дождавшись его возвращения, сочли, что он задержался на какой-нибудь веселой вечеринке или внезапно уехал на лоно природы, и нисколько не обеспокоились его отсутствием.

Фелисиана напрасно ожидала обычного визита. Дон Андрес не появился. Бедное фортепьяно! Расстроенная девушка нервно и отрывисто колотила по клавишам, ибо в Испании не прийти в условленный час на свидание с невестой считается серьезным проступком, а провинившийся жених — неблагодарным и вероломным. Не сказать чтобы Фелисиана пылала любовью — страсть была противна ее природе и даже казалась ей чем-то неприличным, — но девушка привыкла к Андресу и, как будущая супруга, давно считала его своей собственностью. Двадцать раз она вскакивала из-за фортепьяно, выбегала на балкон и, противореча английским правилам хорошего тона, не рекомендующим женщине выглядывать на улицу, перегибалась через перила, надеясь увидеть спешащего к ней юношу.

«Встречу его сегодня вечером на Прадо, — подумала она, как бы утешая себя, — устрою ему хороший нагоняй!»

Летним вечером, часов около семи, Прадо, без всякого сомнения, являет собой лучшее на свете место для прогулок. Не то чтобы где-нибудь еще нельзя было найти таких живописных тенистых аллей, но нигде не увидишь такой оживленной и веселой толпы.

Прадо простирается от ворот Реколетос до ворот Аточа, но многолюден он только в той части, что заключена между улицами Алкала и Сан-Херонимо. Это место зовется Салоном, то есть именем, ничуть не обещающим прогулку. Ряды приземистых стриженых деревьев — их обрезают, чтобы они не вытягивались вверх, а разрастались вширь, — отбрасывают скупую тень на фланирующий люд.

Вдоль центральной части, предоставленной экипажам, тянутся ряды скамеек, как на Гентском бульваре[4], и фонарей-канделябров в стиле их собратьев с площади Согласия, заменивших живописные железные столбы с изящно закрученными завитками[5], что еще совсем недавно исправно несли свою службу.

Мимо них важно катят экипажи, изготовленные в Лондоне и Брюсселе, тильбюри[6], коляски и ландо[7] с гербами на дверцах, а иной раз вальяжно следует старинная испанская карета, запряженная четверкой дородных, холеных мулов.

Щеголи гарцуют на английских рысаках или же на бьющих копытом прелестных андалусских лошадках с вплетенными в гривы красными лентами и округлыми, будто голубиными, шеями. Их плавные движения напоминают поступь арабских танцовщиц. Время от времени пролетает в галопе эбеново-черный берберский скакун[8], достойный вкушать лучший ячмень из алебастровых кормушек в конюшне халифа, или проплывает этакое чудо красоты, Пресвятая Дева в шляпке от госпожи Бодран[9] вместо нимба, сошедшая с картины Мурильо[10] и теперь восседающая на подушках экипажа, как на троне.

В самом Салоне бурлит постоянно обновляющаяся толпа, эта живая река со встречными течениями, омутами и водоворотами, стиснутая двумя набережными с отдыхающими на скамейках людьми.

Белые либо черные кружева мантилий легкими складками обрамляют самую небесную красоту, какую только можно увидеть на свете. Уродство здесь — большая редкость. На Прадо и дурнушки выглядят прехорошенькими. Со свистом открываются и закрываются веера, agurs (приветствия)[11], брошенные на ходу, сопровождаются грациозной улыбкой или мимолетным взмахом руки, и все напоминает фойе Оперы во время карнавала или бал-маскарад без масок.

Чуть в стороне, на аллеях, тянущихся между артиллерийским парком[12] и музеем живописи[13], лениво прохаживаются несколько одиноких курильщиков-мизантропов, предпочитающих жаркой и шумной толпе вечернюю прохладу и тихие грезы.

Фелисиана, выехавшая на прогулку в открытой коляске вместе со своим отцом, тщетно высматривала жениха в компаниях молодых всадников, ведь, вопреки обыкновению, он не пристроился, гарцуя, к экипажу. Досужие наблюдатели удивлялись, что коляска доньи Фелисианы Васкес де лос Риос четыре раза продефилировала туда-сюда по всему Прадо без своего непременного эскорта.

Через некоторое время, не обнаружив Андреса среди наездников, Фелисиана решила, что он, видимо, прогуливается по Салону пешком, и сказала отцу, что хочет пройтись.

Три или четыре круга по Салону и боковой аллее убедили ее, что Андреса нигде нет.

Один молодой англичанин, недавно представленный дону Херонимо, подошел к нему с поклоном и завязал утомительную беседу, на которую хватает терпения только у жителей Великобритании. Он говорил с тем типичным кудахтаньем и презабавными интонациями, что появляются у англичан при разговоре на малознакомом языке.

Фелисиана, бегло читавшая «Векфилдского священника»[14], с прелестной предупредительностью пришла на помощь юному островитянину,

обворожительно улыбаясь в ответ на его ужасные ошибки. В театре Сирко, куда они затем отправились, она разъясняла ему содержание балета и перечисляла зрителей в ложах... Андрес так и не объявился.

Возвращаясь домой, Фелисиана заметила отцу:

– Что-то Андреса сегодня не видно.

– И правда, – согласился дон Херонимо, – я пошлю к нему. Он, должно быть, занемог.

Вернувшийся через полчаса слуга доложил:

– Дона Андреса де Сальседо не видели со вчерашнего вечера.

Глава VI

Следующий день не принес никаких известий об Андресе. Опросили всех его друзей – никто не видел его уже два дня.

Все это выглядело очень странно. Может, он неожиданно уехал по какому-то важному делу? На вопросы дона Херонимо слуги отвечали, что позавчера их молодой хозяин пообедал, как обычно, и в шесть часов пополудни вышел, не дав никаких указаний и ни словом не обмолвившись о возможном отъезде. Был он в черном рединготе[1], пикейном английском жилете желтого цвета и белых панталонах, словом, похоже, собирался на Прадо.

Дон Херонимо, не на шутку озадаченный, сказал, что нужно посмотреть в комнате Андреса, не оставил ли он какой записки, объясняющей его отлучку.

Однако там не нашлось никакой бумаги, кроме папиросной.

Так как же понимать это непостижимое исчезновение?

Самоубийство?

Но Андрес не страдал от неразделенной любви и не печалился о деньгах, ибо собирался вскоре жениться на желанной девушке и получал в год сто тысяч реалов чистого дохода. Да и как утопиться посреди июня в Мансанаресе?[2] Разве что вырыть колодец?

Не попал ли он в какую-нибудь западню?

Но у Андреса не было врагов, по крайней мере, явных. Его сдержанность и мягкость исключали мысль о неожиданной дуэли или ссоре, в которой он мог погибнуть; и потом, о подобном событии сразу же стало бы известно, и живым или мертвым Андреса привезли бы домой.

Нет, такая загадка под силу только полиции.

Дон Херонимо, простодушный, как и большинство порядочных людей, свято верил во всеведение и непогрешимость полиции – он обратился в участок.

Полиция, в лице окружного алькальда[3], водрузившего на нос очки и просмотревшего учетные записи начиная с вечера исчезновения, не нашла ничего, что могло бы относиться к Андресу. Та ночь была одной из самых спокойных в достославном и героическом городе Мадриде: не считая нескольких краж со взломом, ограблений, мелкого хулиганства в дурных кварталах и незначительных пьяных драк в тавернах, все было тихо и прекрасно, как никогда.

— Правда, имело место небольшое происшествие, — сурово отметило должностное лицо, перед тем как закрыть книгу, — попытка убийства в квартале возле площади Лавапьес.

— Ох, сударь! — забеспокоился дон Херонимо. — Вы не могли бы посвятить меня в детали?

— Во что был одет дон Андрес де Сальседо в тот момент, когда его видели в последний раз? — с глубокомысленным видом спросил офицер.

— В черный редингот, — дрожащим от тревоги голосом ответил дон Херонимо.

— Можете ли вы со всей уверенностью утверждать, — продолжал полицейский, — что он был именно черным? А не темно-коричневым? Или каштановым? И без бронзового или бриллиантового оттенка? Здесь важна каждая мелочь.

— Он был черным, я абсолютно уверен, клянусь честью. Да-да, перед Богом и людьми могу подтвердить, что редингот моего будущего зятя был этого... изысканного цвета, как сказала бы моя дочь Фелисиана.

— Судя по вашим словам, вы позаботились о ее воспитании, — как бы между прочим заметил офицер. — Итак, вы уверены, что редингот дона Андреса был черным?

— Да, ваша честь, черным; я убежден, что черным, и никто меня в этом не переубедит.

— А потерпевший был одет в так называемую марсельскую куртку табачного цвета. Строго говоря, среди ночи черный редингот может сойти за коричневую куртку, — размышлял вслух полицейский. — Дон Херонимо, не соизволите ли вы припомнить, был ли на доне Андресе какой-нибудь жилет?

— Да, пикейный английский жилет желтого цвета.

— На раненом был голубой жилет с филигранными пуговицами. Желтый с голубым трудно перепутать... Что-то тут не вяжется. Будьте добры, сударь, а панталоны?

— Белые, ваша честь, тиковой ткани, со штрипками поверх сапог. Я выяснил все эти детали у лакея, помогавшего дону Андресу одеваться в тот роковой день.

— В протоколе значится: широкие панталоны серого драпа, белые туфли из телячьей кожи. Нет, совсем не то. Это костюм махо, щеголя-простолюдина, и он пропустил сильный удар ножом в драке из-за какой-нибудь крали в короткой юбчонке. Нет, как бы мы того ни желали, подобного типа никак не примешь за господина де Сальседо. А вот, пожалуйста, словесный портрет, со всем тщанием составленный нашим сотрудником: лицо овальное, подбородок круглый, лоб обычный, нос средний, особых примет нет. Узнаете? Это господин де Сальседо?

— Ничего общего, — убежденно ответил дон Херонимо. — Но как же нам выйти на след Андреса?

— О, не беспокойтесь, полиция охраняет граждан; она все видит и слышит, она — повсюду; никто и ничто не может ускользнуть от ее внимания. Аргус смотрел во сто глаз, а у полиции их тысячи, ее не усыпишь звуками свирели[4]. Мы разыщем дона Андреса даже на дне преисподней. Я поручу это дело двум хитроумнейшим сыщикам, лучшим ищейкам всех времен и народов, Аргамасилье и Ковачуэло, и по прошествии суток мы будем на верном пути.

Дон Херонимо поблагодарил стража закона, попрощался и вышел, полный надежд. Вернувшись домой, он рассказал о своей беседе в полиции дочери, которой и в голову не пришло, что раненый на улице Повар маноло и есть ее жених.

Фелисиана оплакивала исчезновение своего суженого со сдержанностью благородной барышни, ведь воспитанной девушке не подобает слишком явно горевать о мужчине. Время от времени она подносила к глазам кружевной платок, дабы утереть набежавшую слезинку. Позабытые дуэты валялись в беспорядке на закрытом фортепьяно, что являлось верным признаком крайне подавленного душевного состояния его хозяйки. Дон Херонимо с нетерпением ждал, когда пройдут обещанные сутки и он услышит победный рапорт Ковачуэло и Аргамасильи.

Хитроумные сыщики, навестив для начала дом Андреса, с большим искусством опросили лакеев и слуг о привычках хозяина. Они узнали, что дон Андрес выпивал утром чашку шоколада, после полудня почивал, одевался к трем часам, чтобы направить стопы к донье Фелисиане де лос Риос, обедал в шесть, возвращался к полуночи после прогулки или спектакля и ложился спать. Все это дало агентам богатейшую пищу для размышлений. Они разведали также, что, выйдя из дома, Андрес спустился по Алкала до улицы Пелигрос:[5] эти бесценные сведения предоставил им носильщик-астуриец, стоявший у ворот особняка.

На улице Пелигрос им удалось выяснить, что Андрес действительно проходил по ней позавчера в шесть часов вечера с минутами. Основа-

тельно поразмыслив, сыщики сделали вывод, что затем он направился по улице Крус.

Притомившись от непосильного умственного напряжения, которое потребовалось для достижения столь значительного результата, они заглянули в один эрмитаж — так называют в Мадриде питейные заведения, — где, смочив глотки бутылкой мансанильи[6], сели за карты. Партия затянулась до утра.

Немного поспав, они продолжили поиски, и им удалось задним числом проследить путь Андреса до Растро: здесь дело застопорилось — никто не сообщил им ничего нового о молодом человеке в черном рединготе, желтом пикейном жилете и белых панталонах. Ну будто сквозь землю провалился! Все видели, как он шел туда, но никто не заметил, чтобы он возвращался... Сыщики не знали, что и думать. Не мог же Андрес пропасть среди бела дня в одном из самых людных кварталов Мадрида! Разве что у него под ногами вдруг разверзся и тут же захлопнулся люк — другого объяснения исчезновения живого человека с этого света не находилось.

Они еще довольно долго слонялись по окрестностям Растро, опрашивая торговцев. Обратились они и в ту лавочку, где Андрес переодевался; но одежду Андресу продавал хозяин, а говорили они с его женой, и она не сообщила им ничего ценного. К тому же каверзные вопросы и хитрые рожи посетителей ей крайне не понравились; женщина приняла доблестных блюстителей порядка за воров, раздраженно захлопнула за ними дверь и проверила, все ли на месте.

Таков был итог дня. Дон Херонимо, наведавшись в участок, выслушал суровую отповедь от алькальда: полиция-де напала на след злоумышленников, но торопить ее не положено, ибо поспешность до добра не доводит. Пристыженный дон передал эти слова Фелисиане. Девушка подняла глаза к небу, тяжко вздохнула и воскликнула: «Бедный Андрес!», сочтя, что в подобных обстоятельствах может себе позволить столь сильное проявление чувств.

Странное событие еще больше запутало это темное дело. Некий пострелёнок лет пятнадцати от роду оставил перед домом Андреса довольно объемистый пакет и умчался, бросив уже на бегу: «Для господина де Сальседо!»

Когда пакет был вскрыт, эта вроде простенькая фраза показалась дьявольской издевкой.

Угадайте, что обнаружили в пакете? Черный редингот, желтый пикейный жилет и белые панталоны несчастного Андреса, а также его изящные лакированные сапожки с красными сафьяновыми голенищами. И,

словно для пущего сарказма, его парижские перчатки были аккуратненько вложены одна в другую.

Сей странный факт, не имевший прецедентов в криминальных анналах, поразил Аргамасилью и Ковачуэло до глубины души: один воздел руки к небу, другой обескураженно развел их в стороны; первый промолвил: «О, tempora!», второй откликнулся: «О, mores!»*

Не удивляйтесь, что рядовые сыщики изъяснялись на латыни: Аргамасилья когда-то изучал теологию, а Ковачуэло — право, но обоих не обошли невзгоды. А кого они минуют в наши дни?

Отправить одежду потерпевшего к нему на дом, да к тому же аккуратно ее сложить и перевязать, — это ли не свидетельство редчайшей, утонченнейшей извращенности! Добавить к преступлению еще и издевку — какая превосходная тема для обвинительной речи!

Меж тем изучение присланной одежды крайне озадачило доблестных сыщиков.

Суконная поверхность редингота оказалась совершенно невредимой: ни треугольного, ни круглого отверстия, которое должно было бы образоваться от шпаги или пули. Может быть, беднягу задушили? Но тогда завязалась бы борьба, жилет и панталоны неминуемо утратили бы свежесть, помялись, порвались или скрутились. Никто не смел предположить, что дон Андрес де Сальседо заблаговременно разделся, аккуратно сложил вещи и предстал перед злодеями в голом виде, дабы уберечь свое имущество от порчи, — какая пошлость!

Да, здесь можно было сломать головы и покрепче, чем у Аргамасильи и Ковачуэло.

Ковачуэло, который из них двоих был сильнее в логике, просидел добрую четверть часа, прижав пальцы к вискам, словно боялся, что его мудрая голова разорвется под напором гениальных мыслей. Наконец он победоносно изрек:

— Если сеньор Андрес де Сальседо не умер, то он должен быть жив, ибо есть только эти два состояния человека; по крайней мере, я третьего не знаю.

Аргамасилья кивнул в знак согласия.

— А раз он жив, в чем я уже почти убежден, то не может разгуливать в чем мать родила, more ferarum**. Когда он выходил из дома, у него в руках не было никакого свертка, а поскольку его одежда перед нами, то он обязательно должен был приобрести другую, ибо в наше цивилизованное время человек не может довольствоваться нарядом Адама.

---

* «О, времена! О, нравы!»[7] (*лат.*).

** как дикий зверь (*лат.*).

Глаза Аргамасильи чуть не вылезли из орбит — с таким благоговением он внимал доводам коллеги.

— Не думаю, однако, что дон Андрес заранее припас во что переодеться в одном из домов того квартала, где мы потеряли его след; он должен был купить хоть что-то у какого-нибудь тряпичника, отослав собственную одежду домой.

— Ты гений, ты бог. — Аргамасилья с чувством прижал Ковачуэло к сердцу. — Дай мне тебя обнять: отныне я не только твой друг до гроба, но твой сеид, твой верный пес и преданный мамлюк[8]. Повелевай, о великий, я всегда и повсюду с тобой! Эх! Когда б правительству хватило справедливости, вместо того чтобы быть простым сыщиком, ты получил бы какой-нибудь высокий пост в одном из самых крупных городов королевства! Но где ж найти справедливое правительство?!

— Итак, мы опросим городских старьевщиков и торговцев готовым платьем, изучим все их записи и наверняка получим новые сведения о сеньоре Сальседо. Если бы привратник догадался задержать паренька, передавшего пакет, мы бы уже знали, кто его послал и откуда. Да где уж, его дело — сторона, тем более никто не ожидал ничего подобного и не предупредил его. Итак, вперед, Аргамасилья: ты опросишь портных на улице Майор, а я исповедую старьевщиков Растро.

Через несколько часов два друга доложили алькальду об успехах.

Аргамасилья кратко, но четко отрапортовал о следующих розыскных достижениях: некий субъект в костюме махо, казавшийся сильно возбужденным, приобрел и оплатил, не обращая внимания на цену (явный признак крайней душевной озабоченности), фрак и панталоны черного цвета у одного из лучших портных, обосновавшихся под арками на улице Майор.

Ковачуэло же рассказал, что один из торговцев Растро продал куртку, жилет и кушак маноло молодому человеку в черном рединготе и белых панталонах, который, судя по всему, был не кем иным, как доном Андресом де Сальседо собственной персоной.

Оба покупателя переоделись прямо в лавках и вышли на улицу в свежеприобретенных костюмах, которые, учитывая сословную принадлежность их покупателей, являлись не иначе как маскировкой. С какой целью в один и тот же день, почти в один и тот же час юноша из высшего общества меняет редингот на куртку махо, а махо напяливает великосветский фрак? Вопрос этот казался младшим агентам Ковачуэло и Аргамасилье явно не по чину, но конечно же он будет неминуемо разрешен его высокопроницательностью господином алькальдом, которому они имели честь обо всем доложить.

Сами же сыщики не придумали ничего лучшего, как связать все эти не поддающиеся разумному объяснению странности — таинственное исчезновение, поражающие одновременностью переодевания, словно в насмешку присланная одежда — с величайшим заговором, имеющим целью возведение на трон Эспартеро[9] или графа де Монтемолин[10]. Под чужим обличьем злоумышленники наверняка отправились в Арагон или Каталонию, дабы присоединиться к какому-нибудь уцелевшему логову карлистов или недобитой банде герильеро[11], желающей восстановить свои ряды. Испания танцует на вулкане![12] Но за соответствующую награду они, то есть Аргамасилья и Ковачуэло, берутся загасить этот вулкан, помешать злодеям добраться до сообщников и обязуются в недельный срок составить список заговорщиков и выяснить их планы.

Алькальд, выслушав сей замечательный рапорт со всем вниманием, которого он заслуживал, спросил агентов:

— Располагаете ли вы какими-либо сведениями о шагах, предпринятых этими субъектами, после того как они переоделись?

— Махо, одетый как человек из высшего общества, отправился гулять по салону Прадо, зашел в театр Сирко, а затем поглощал мороженое в «Биржевом кафе»[13], — отрапортовал Аргамасилья.

— Человек из высшего общества, одетый как махо, сделал несколько кругов по площади Лавапьес и прилегающим улицам, нахально рассматривая девушек во всех окнах, а затем поглощал лимонад со льдом в horchatería de chufas, — выложил Ковачуэло.

— Каждый сменил не только одежду, но и привычки, — удовлетворенно крякнул алькальд, — глубочайшее притворство, дьявольская ловкость! Один решил проникнуть в народ, прощупать настроения низов; другой хотел убедить высшие слои в благожелательности низших и предложить сотрудничество. Но мы всегда на страже, мы зрим в корень! Мы схватим вас за руку, господа заговорщики, кто бы вы ни были — карлисты или аякучос[14], ретрограды или прогрессисты! Ха-ха-ха! Аргус имел сто глаз, у полиции тысяча недремлющих очей!

Эти слова были коронной фразой, коньком и лилла бурелло[15] почтеннейшего алькальда. Он справедливо полагал, что они чудесным образом заменяют мысль, когда таковая отсутствует.

— Аргамасилья и Ковачуэло, вы, конечно, достойны награды. Но знаете ли вы, чем занимались преступники (именно преступники) после всех этих столь искусно спланированных и зловещих перемещений?

— Сие нам не известно. Уже вечерело, и мы собрали лишь весьма приблизительные свидетельства очевидцев о перемещениях негодяев по городу, совершенных ими два дня назад, а когда стемнело, и вовсе потеряли их след.

– Дьявол! Досадно, – насупился алькальд.

– О! Мы их отыщем, не сомневайтесь! – горячо заверили его два друга.

Днем за новостями явился дон Херонимо. Судья принял его довольно холодно, но, после того как сеньор Васкес принес тысячу извинений и попросил прощения за несомненную назойливость, снизошел:

– Лучше бы вам не проявлять столь живого интереса к дону Андресу де Сальседо – ведь он замешан в крупном заговоре, все нити которого уже почти у нас в руках.

– Заговорщик?! – вскричал дон Херонимо. – Андрес?

– Он самый, – тоном, не допускающим возражений, подтвердил полицейский чин.

– Этот добрый, спокойный мальчик? Такой веселый и безобидный?

– Он прикидывался добрым, как Брут – безумным[16]. Прекрасный способ скрыть двойную игру и отвлечь от себя внимание. Но мы, в полиции, старые лисы, нас не проведешь. Самое лучшее для него сейчас, так это не попадаться. Молитесь, чтобы мы его не нашли!

Бедный дон Херонимо удалился, крайне озадаченный и сконфуженный собственной близорукостью. Он, знавший Андреса с детства, качавший его, еще совсем малыша, на руках, нимало не усомнился, что принимал в своем доме опаснейшего заговорщика. Отец семейства восхищался прозорливостью полиции, в кратчайший срок раскрывшей тайну, о которой он даже не и думать не думал, хотя видел злоумышленника чуть ли не каждый божий день, и был до того слеп, что чуть не сделал его своим зятем.

Когда Фелисиана узнала, что за ней с таким усердием ухаживал не кто иной, как предводитель крайне разветвленного тайного общества карлистов, ее изумлению не было предела. Какой же душевной силой нужно обладать, чтобы, ничуть не проявляя своих тайных политических устремлений, спокойно разучивать дуэты Беллини! Вот и верь после этого беззаботному виду, безмятежному лицу, ясным глазам и улыбкам! Кто мог подумать, что Андрес, загоравшийся только на корриде и не имевший, казалось, никаких собственных мнений, кроме того, что Севилья искуснее Родригеса[17], а Чикланеро сильнее Архоны, скрывал под маской легкомыслия столь широкие взгляды?

Меж тем сыщики продолжали расследование и выяснили, что раненый, нашедший приют у Милитоны, и юноша, покупавший одежду на Растро, – одно и то же лицо. Отчет ночного сторожа и свидетельство лавочника полностью совпадали: куртка табачного цвета, голубой жилет, красный кушак – ошибки быть не могло.

Сие обстоятельство расстроило надежды Ковачуэло и Аргамасильи на раскрытие заговора. Исчезновение Андреса устроило бы их гораздо

больше. Дело, похоже, свелось к незамысловатой любовной интрижке, к невинной драке двух соперников, к обычному убийству — что может быть ничтожнее? Соседи Милитоны слышали ночную серенаду — все разъяснилось.

— Эх, не везет мне в этой жизни, — вздохнул Ковачуэло.

— Не под той звездой я родился, — чуть не всплакнул Аргамасилья.

Бедные друзья! Унюхать заговор и выйти на заурядную дуэль, искать трупы, а найти одного раненого! Какая досада!

Вернемся к Хуанчо, которого мы оставили сразу после схватки с Андресом. Час спустя крадучись тореро вернулся на поле боя и, к великому своему удивлению, не нашел тела. Но он же видел собственными глазами, как упал его противник! Поднялся ли раненый сам и уполз куда-то в предсмертных судорогах, или его подобрали сторожа? Этого Хуанчо не знал. И что теперь делать: бежать или оставаться? Бегство выдаст его, да к тому же сама мысль о том, чтобы покинуть Милитону и предоставить ей полную свободу, была невыносима для ревнивого тореро. Ночь была темной, улица — пустынной, никто его не видел. Кого ему бояться?

Однако бой длился достаточно долго, чтобы противник узнал Хуанчо. Ведь тореро, как артист, — фигура приметная, и если этот наглец не умер на месте, то, вероятно, выдаст его. Хуанчо и без того имел натянутые отношения с полицией из-за своих прежних художеств с ножом и сильно рисковал, если его схватят, провести несколько жарких лет в африканских владениях Испании — Сеуте или Мелилье[18]. И потому несчастный тореро отправился домой, вывел во двор своего кордовского жеребца, набросил на него пеструю попону и пустил его галопом.

Если бы живописец увидел, как скачет по улицам могучий всадник, крепко сжимая ногами огромного вороного коня с развевавшимися подобно языкам пламени гривой и хвостом, высекая фонтаны искр из неровной мостовой, как он мчится вдоль белесых стен и отбрасываемая им тень с трудом поспевает за ним, то создал бы поистине потрясающее полотно, ибо громкий топот копыт по затихшему городу, быстрый полет сквозь ясную ночь были необычайно драматичны, — но все художники уже спали.

Вскоре Хуанчо пересек улицу Каранчель, проскочил Сеговийский мост и во весь опор помчался по мрачной, темной равнине.

Уже в четырех лье от Мадрида образ Милитоны предстал перед его мысленным взором, и он понял, что не в силах двигаться дальше. Вдруг его удар был не совсем точен, вдруг соперник лишь легко ранен и теперь выздоравливает у ног улыбающейся Милитоны?

Лоб Хуанчо покрылся холодным потом, челюсти свело так, что он не мог их разжать, а ноги судорожно стиснули бока лошади, и бедное живот-

ное, чуть не задохнувшись, застыло на месте. Хуанчо застонал, будто его сердце пронзила тысяча раскаленных игл.

Он натянул поводья и ураганом понесся обратно к городу. Когда он подъехал к дому, его вороной был белым от пены. Пробило три часа ночи. Хуанчо ринулся на улицу Повар. Свет в окне Милитоны еще мерцал целомудренной звездочкой в углу старого фасада. Тореро навалился на входную дверь, но, несмотря на всю его неуемную силищу, ему не удалось ее высадить — Милитона тщательно заперлась на все задвижки. Хуанчо вернулся к себе, разбитый, несчастный, терзаемый самыми ужасными подозрениями, ибо приметил за занавесками в окне Милитоны две тени, и в одной из них ему почудился его ночной противник.

Наступило утро. Тореро, закутавшись в плащ и надвинув на глаза шляпу, вернулся послушать, что говорят в округе о ночном происшествии. Так он узнал, что юноша всего лишь ранен и, поскольку его нельзя никуда везти, находится в комнате Милитоны, давшей ему приют; соседки от души хвалили девушку за этот милосердный поступок. Ноги матадора подкосились, и, несмотря на всю его природную мощь, он был вынужден прислониться к стене — соперник в комнате Милитоны, в ее постели! И в девятом круге ада не придумать более страшной пытки![19]

Приняв роковое решение, он вошел в дом и начал подниматься по лестнице тяжелыми шагами, звучавшими более зловеще, чем поступь статуи Командора[20].

Глава VII

Обезумевший Хуанчо, пошатываясь, добрался до площадки второго этажа и здесь застыл, словно каменное изваяние. Он боялся самого себя и того, что ожидало его впереди. Сто тысяч мыслей пронеслись в его голове за одну минуту. Добить ненавистного соперника, услышать его последний вздох и на этом успокоиться? Заколоть Милитону или сжечь весь дом? Он плавал в океане бессмысленных, страшных, беспорядочных фантазий. Краткая вспышка разума чуть было не заставила его повернуть вспять, и он уже почти оборотился, но ревность снова вонзила ему в сердце отравленное жало, и он продолжил подъем по крутым ступенькам.

Наверное, трудно найти человека с таким могучим, как у Хуанчо, телосложением: округлая, как колонна, и крепкая, как башня, шея соединяла крупную голову с плечами атлета, стальные жилы переплетались на непобедимых руках, способных вырвать бычий рог, грудь ничем не уступала мраморным мышцам античных гладиаторов. Однако душевные стра-

дания сломили тореро. Пот струился по его лбу, ноги подкашивались, кровь волнами безумия ударяла в голову, а перед глазами плясали огненные круги. Несколько раз ему приходилось вцепляться в перила, дабы не рухнуть замертво и не скатиться по лестнице — так нестерпимо болело сердце.

На каждой ступени Хуанчо повторял, скрежеща зубами, будто дикий зверь:

— В ее комнате... В ее комнате!

И он машинально раскладывал и складывал свой длинный альбасетский нож[1], который уже достал из-за пояса.

Приблизившись наконец к двери, он задержал дыхание и прислушался.

В комнате Милитоны было тихо и спокойно; Хуанчо слышал только, как бурлит в венах его кровь и глухо стучит сердце.

Что же происходит там, в безмолвии, за дверью — этим хрупким препятствием на пути к врагу? Конечно, Милитона с нежным беспокойством и сочувствием присматривает за его сном или пытается облегчить его страдания.

«Эх, — вздохнул он про себя, — если б я только знал, что можно понравиться тебе и смягчить твое сердце, получив удар в грудь, то не его, а себя проткнул бы ножом, я бы нарочно раскрылся в той роковой схватке, чтобы упасть бездыханным у твоего дома. Но ты не пришла бы на помощь, ты бросила бы меня подыхать на мостовой — я же не красавец господин в белых перчатках и модном фраке!»

Последняя мысль вновь распалила его, и он громко и властно постучал в дверь.

Андрес на своем ложе вздрогнул и поморщился от боли; Милитона, сидевшая рядом, побледнела и вскочила, распрямившись точно лопнувшая пружина; тетушка Альдонса позеленела от страха и, перекрестившись, поцеловала большой палец.

Делать было нечего: еще один удар, и дверь рухнет.

Так стучат только каменные гости, призраки, которых невозможно прогнать, и прочие вестники рока, являющиеся к развязке: Месть с кинжалом или Справедливость с мечом.

Тетушка Альдонса дрожащей рукой открыла дверное окошечко и в квадратном отверстии увидела голову Хуанчо.

Даже мертвенно-бледная маска Медузы Горгоны[2] с зеленоватой шевелюрой из змей не произвела бы более устрашающего впечатления на бедную старушку; она хотела позвать на помощь, но ни один звук не вырвался из пересохшего горла; словно обратившись в камень, она обмер-

ла, растопырив пальцы, с застывшими от ужаса глазами и разинутым ртом.

И правда, голова тореро, видневшаяся в рамке окошка, не обещала ничего хорошего: под посиневшим лбом белели обескровленные щеки, раздутые ноздри трепетали, как у бешеного хищника, учуявшего добычу, а зубы впивались в распухшие губы. Ревность, ярость и жажда мщения боролись на перекошенной физиономии Хуанчо.

«О Пресвятая Дева Альмудена[3], — пробормотала старуха, — спаси и помоги! Избави нас от погибели, я посвящу тебе новенну[4], поставлю свечку с кружевами и бархатом».

Андреса, несмотря на всю его отвагу, охватило то чувство тревоги, которое испытывает даже самый смелый мужчина перед лицом опасности, когда он не в состоянии защититься, и юноша машинально вытянул руку, словно ища оружие.

Увидев, что ему не открывают, Хуанчо надавил плечом на дверь — затрещали доски, вокруг петель и запоров посыпалась штукатурка.

Заслонив собой Андреса, Милитона твердым и спокойным голосом приказала старухе, обезумевшей от страха:

— Альдонса, отоприте; я хочу, чтобы он вошел.

Альдонса отодвинула засов и, прижавшись к стене, прикрылась створкой двери, будто укротитель, выпускающий тигра на арену, или служитель торила[5], дающий свободу быку Гавирии или Колменара[6].

Хуанчо, ожидавший большего сопротивления, неторопливо вошел, немного выбитый из колеи тем, что его сразу впустили. Но всего один взгляд на Андреса, лежавшего на кровати Милитоны, и он снова впал в бешенство.

Нащупав створку, за которую изо всех сил цеплялась тетушка Альдонса, решившая, что пробил ее последний час, Хуанчо, несмотря на все усилия несчастной старушки, закрыл дверь и, прислонившись к ней спиной, скрестил руки на груди.

— Боже милосердный! — клацая зубами, прошептала пожилая женщина. — Он же нас искромсает на кусочки, всех троих. Может, позвать на помощь?

Только она двинулась к окну, как Хуанчо, предугадав намерение Альдонсы, ухватил ее за подол и резко припечатал обратно к стене, оторвав от юбки приличный лоскут.

— Только пикни, старая ведьма, сверну тебе шею, как цыпленку, и отправлю к дьяволу твою дряхлую душонку. Попробуй встать между мною и моим врагом, раздавлю и не замечу.

С этими словами он указал на Андреса, немощного и бледного, тщетно пытавшегося оторвать голову от подушки.

Положение было не из завидных: все происходило почти бесшумно, ничто не привлекло внимания соседей. Впрочем, Хуанчо внушал окружающим такой страх, что соседи скорее позапирались бы на все запоры, чем решились ввязаться в подобную распрю; на поиски полиции или солдат ушло бы слишком много времени, да и кто станет их искать? Ведь нечего было и думать о том, чтобы вырваться из злополучной комнаты.

Да, Андрес попал в серьезный переплет: раненый, ослабевший от потери крови, без оружия, которым он, впрочем, не смог бы воспользоваться, даже если бы оно у него было, стесненный одеялом и повязками, он оказался во власти обезумевшего от ревности и ярости противника без малейшей надежды на спасение — и все из-за того, что всего один разок загляделся на профиль юной манолы. Вполне вероятно, что в это мгновение он с сожалением вспомнил фортепьяно, чай и прочие тихие радости цивилизованного общества. Но тут Андрес бросил умоляющий взгляд на Милитону, словно прося ее не оказывать бесполезного сопротивления. Испуг и бледность придавали девушке столь ослепительную прелесть, что цена, которую он заплатил за знакомство с нею, перестала казаться слишком высокой.

Она стояла, держась одной рукой за спинку кровати Андреса, будто желая во что бы то ни стало защитить его, а другой — с королевским величием указывая на дверь.

— Что вам здесь нужно, душегуб? — чуть дрожащим голосом промолвила она. — В этой комнате нет любовника, здесь всего лишь раненый! Убирайтесь вон, и немедленно! Неужто вас не пугает, что рана может опять раскрыться? Может, хватит крови? Или вы не только убийца, но еще и *палач*?

Девушка произнесла это слово столь выразительно и сопроводила его столь красноречивым взглядом, что Хуанчо смешался, покраснел, побелел, и на его перекошенном от бешенства лице отразилось смятение. Помолчав, он прерывистым голосом ответил:

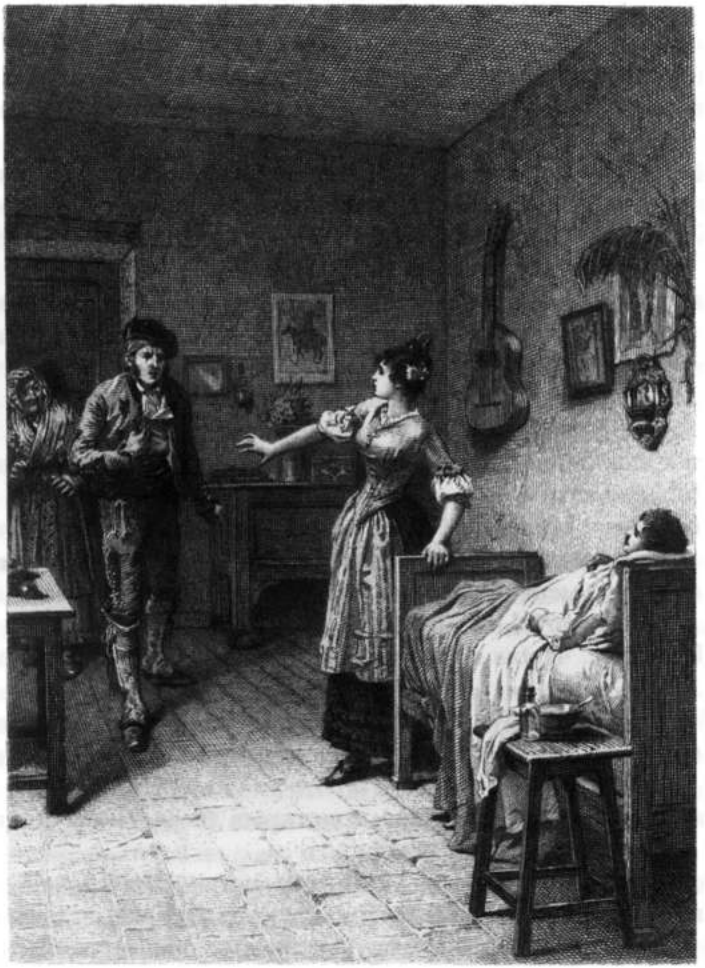
— Поклянись мощами Монте-Саградо[7], образом Пресвятой Девы дель Пилар[8], поклянись отцом-героем и матерью — святой женщиной, что не любишь этого молодчика, и я уйду, уйду немедленно.

Андрес с беспокойством ждал, что ответит Милитона.

Она молчала.

Ее длинные черные ресницы опустились, коснувшись слегка покрасневших щек.

Хотя это молчание могло стать для Андреса смертным приговором, он в тревожном ожидании почувствовал, как его сердце переполняется несказанной радостью.



— Ладно, не хочешь клясться, — продолжал Хуанчо, — просто скажи, что не любишь его. Я поверю тебе, ты никогда не лгала... Молчишь? Что ж, придется его добить. — И он шагнул вперед, обнажив клинок. — Ты любишь его!

— Да! Да! — вскрикнула девушка; голос ее задрожал от величественного гнева, а глаза засверкали. — Если уж он умрет из-за меня, то пусть хоть знает, что был любим; пусть возьмет с собой в могилу это слово, ему оно будет наградой, а тебе — вечной пыткой.

Хуанчо в один прыжок оказался рядом с Милитоной и схватил ее за руку:

— Не говори так, или я за себя не отвечаю и брошу тебя здесь с навахой в сердце, брошу поверх трупа этого сударика.

— Какая мне разница? — ответила отважная девушка. — Или ты думаешь, я буду жить, если он умрет?

Андрес из последних сил попытался приподняться со своего ложа, хотел закричать, но только розовая пена проступила на губах. Рана открылась вновь, и, потеряв сознание, он упал на подушку.

— Если ты сейчас же не уйдешь, — сказала Милитона, видя состояние Андреса, — я буду считать тебя презренным подлым трусом. Я поверю, что ты мог спасти Домингеса, когда бык сбил его с ног, но не сделал этого из низкой ревности.

— Милитона! Милитона! Ваше право — можете ненавидеть меня, хотя на свете нет женщины, которую кто-нибудь любит так, как я люблю вас, но вам не за что меня презирать. Никто тогда не мог вырвать Домингеса из цепких лап смерти!

— Не хотите, чтобы я считала вас подлым убийцей? Так убирайтесь отсюда.

— Что ж, я подожду... Пусть поправляется, — мрачно произнес Хуанчо. — Лечите его как следует! И помните, пока я жив, вы никому не достанетесь!

Пока они спорили, старушка, приоткрыв дверь, растревожила криками всю округу и позвала на помощь.

Когда Хуанчо выходил от Милитоны, пять или шесть мужчин набросились на тореро и повисли на нем как грозди. Он разметал и отбросил к стене всю компанию, подобно быку, который пробивается сквозь свору собак, тщетно пытающихся укусить или остановить его. Затем спокойным шагом удалился, растворившись в лабиринте улочек, окружающих площадь Лавапьес.

Андресу стало хуже, его одолела сильнейшая горячка, и он бредил до вечера, а затем всю ночь и следующий день. Милитона ухаживала за ним с самой нежной и трогательной заботой.

Как уже известно читателю, в это время Аргамасилья и Ковачуэло благодаря своим искусным действиям установили, что человек, раненный на улице Повар, есть не кто иной, как дон Андрес де Сальседо, и квартальный алькальд отписал дону Херонимо, что интересующий его юноша найден у манолы, проживающей возле площади Лавапьес, что девушка обнаружила его полумертвым и, неизвестно по какой причине, переодетым в костюм махо. Фелисиана, получив это известие, задалась вопросами: прилично ли юной невесте в сопровождении отца или какой-нибудь почтенной родственницы навестить опасно раненного жениха? Позволительно ли благовоспитанной барышне раньше времени увидеть мужчину в постели? Не относится ли это зрелище, пусть и целомудренное ввиду святости болезни, к разряду запретных для стыдливой девы? С другой стороны, Андрес может почувствовать себя позабытым-позаброшенным и умереть от тоски! Это было бы весьма печально.

— Папенька, — решилась Фелисиана, — нам следует навестить бедного Андреса.

— Охотно, доченька, — согласился славный добряк, — я как раз собирался предложить тебе то же самое.

Глава VIII

Благодаря крепкому от природы здоровью и заботам Милитоны Андрес вскоре начал выздоравливать: он уже мог говорить и садиться в кровати; когда же он осознал происходящее, то понял, что попал в весьма двусмысленное положение.

Он беспокоился, что его исчезновение сильно встревожит Фелисиану, дона Херонимо и многочисленных друзей, и упрекал себя за то, что никак не положит конец их волнениям; однако у него не было ни малейшего желания сообщать своей невесте, что он находится в доме юной и прекрасной девушки, из-за которой ввязался в драку. Юноша понимал, что признание будет непростым, но рано или поздно его не избежать.

Приключение неожиданно приняло совсем не тот оборот, на который Андрес поначалу рассчитывал: речь более не шла о легкой и ни к чему не обязывающей интрижке. Мужество и преданность Милитоны настроили юношу на иной лад. Каково ей будет, когда она узнает, что он помолвлен? Мысль о недовольстве Фелисианы трогала раненого куда меньше, чем страдания Милитоны. Ведь для первой случившееся грозило обернуться всего-навсего *нарушением приличий*[1], а для второй — отчаянием. Разве не заслуживает награды признание в любви, сделанное в минуту смертельной опасности? Разве не обязан он отныне защищать девушку от безум-

ных выходок Хуанчо, который непременно возобновит свои попытки силой добиться желаемого?

Андрес приводил себе эти и многие другие доводы. Размышляя, он любовался Милитоной, устроившейся поближе к окну, – как только улеглись первые волнения, она тут же снова взялась за работу.

Ясный теплый свет будто ласкал девушку и голубоватыми бликами скользил по ее гладко зачесанным великолепным волосам, по косе на затылке и ярко-красной гвоздике, пламеневшей возле виска. Фоном прелестному профилю манолы служил уголок синего неба, на котором вырисовывались листья базилика, овдовевшего, после того как второй цветок полетел вниз вместе с запиской.

Сверчок и перепел обменивались своими песнями, и вялый ветерок, пропитанный ароматом цветка, наполнял комнату мягким и нежным благоуханием.

Простенькая комната с белыми стенами и несколькими дешевыми, грубо раскрашенными гравюрами благодаря Милитоне наполнялась особым очарованием, перед которым Андрес не мог устоять. Простота и скромность обстановки трогали его душу: в невинной и горделивой бедности есть своя поэзия. Как мало на самом деле нужно для жизни прелестного создания!

Андрес сравнивал эту скромную каморку с вычурными и безвкусными апартаментами доньи Фелисианы, со смехом вспоминал часы и гардины, статуэтки и свору фаянсовых собачек.

С улицы послышался серебристый звон.

То проходило стадо коз, радостно позвякивавших колокольчиками.

– А вот и мой завтрак, – весело сказала Милитона, положив работу на стол. – Мне нужно спуститься, козы ждать не будут. Сегодня возьму кувшин побольше, ведь нас теперь двое – врач разрешил вам что-нибудь поесть.

– Такого гостя, как я, вам будет нетрудно прокормить, – улыбнулся Андрес.

– Посмотрим! Аппетит приходит во время еды, особенно если хлебушек белый и молочко парное! А мой молочник никогда не подводит.

Девушка упорхнула, напевая вполголоса куплет из старинной песенки. Через несколько минут она вернулась с полным пенистого молока кувшином, раскрасневшись и слегка запыхавшись от быстрого подъема по крутой лестнице.

– Надеюсь, сударь, вы не успели соскучиться. Восемьдесят ступенек вниз и столько же вверх!

– Вы резвы и проворны, как птичка, а ваш мрачный подъезд подобен лестнице Иакова[2].

— Почему? — простодушно удивилась Милитона, не подозревая, что ей только что преподнесли мадригал[3].

— Потому что по ней спускался ангел. — Андрес поднес к губам руку Милитоны, разделившей молоко на две части.

— Ну вот что, льстец, ешьте и пейте, что дают, и назовите меня хоть архангелом, а ничего другого не получите.

Она протянула ему коричневую чашку, наполненную до половины, и кусок восхитительного испанского хлеба, тяжелого, плотного и ослепительно-белого.

— Стол скудноват, бедный мой друг, но раз уж вы решились однажды облачиться в простое платье, то должны попробовать и завтрак тех, в чью одежду нарядились. Будете знать, как переодеваться!

С этими словами она сдула легкую пенку, венчавшую ее чашку, и сделала несколько маленьких глотков. Поверх алых губ, там, где их коснулось молоко, осталась очаровательная белая каемка.

— Кстати, — продолжала она, — объясните мне теперь, когда вы можете говорить, почему на Площади Быков я видела вас в отменном, плотно облегающем рединготе по последней парижской моде, а потом обнаружила под собственной дверью в костюме махо? Когда вы влезли в чужую шкуру? Здесь или там? Сдается мне, хоть я и далека от светской жизни, что в первом случае ваш наряд был настоящим. Это подтверждают и ваши маленькие белые ручки, явно никогда не знавшие работы.

— Вы правы, Милитона, я хотел увидеть вас, но боялся вам навредить — вот что заставило меня купить эту куртку, шапку и пояс; в своем обычном платье я слишком быстро привлек бы к себе внимание в этом квартале. А в новой одежде я, словно неразличимая тень, растворялся в толпе, и распознать меня могло только неусыпное око ревности.

— Или любви, — вспыхнула Милитона. — Ваш маскарад ни на минуту не ввел меня в заблуждение. Я надеялась, что мои слова в цирке остановят вас, я всей душой этого желала, ибо предвидела то, что все-таки случилось, но, честное слово, мне было бы очень обидно, если бы вы меня послушались.

— А этот ужасный Хуанчо, не позволите ли мне задать несколько вопросов на его счет?

— Разве я не сказала под угрозой смерти, что люблю вас? Разве тем самым не ответила заранее на все вопросы? — И девушка подняла на Андреса свои лучистые глаза, светившиеся искренностью и невинностью.

Все подозрения, которые порой возникали в его голове касательно отношений тореро и девушки, тут же развеялись как дым.

— Впрочем, если это доставит вам удовольствие, мой дорогой пациент, то я расскажу о себе и о нем в двух словах. Начнем с меня. Мой отец,

простой неграмотный солдат, погиб как герой во время гражданской войны[4] за дело, которое считал правым. Его беззаветные подвиги воспели бы поэты, если б он совершил их не в узком горном ущелье на арагонском плоскогорье, а в каком-нибудь крупном сражении. Почтенная моя матушка не смогла пережить потери обожаемого супруга, и в тринадцать лет я осталась сиротой, без родственников, если не считать отнюдь не богатой Альдонсы, которая не могла оказать мне серьезной поддержки.

Тем не менее, поскольку я привыкла довольствоваться малым, я жила трудом собственных рук под милостивым небом нашей Испании, которое щедро дарит своим детям свет и тепло. Самой расточительной моей забавой были поездки по понедельникам на корриду, так как для нас, простых девушек, не имеющих возможности, подобно благородным барышням, читать книги, играть на фортепьяно, ходить в театры и на балы, нет большего развлечения, чем это простое и величественное зрелище, когда ловкость и отвага человека берут верх над грубым натиском и слепой силой. Там меня заметил Хуанчо, там воспылал ко мне безумной, безудержной страстью. Но, несмотря на всю его мужественную красоту, блестящие костюмы и сверхчеловеческие подвиги, сердце мое молчало... Все, что он делал, не трогало меня, а только еще сильнее отвращало.

Правда, порой я чувствовала себя неблагодарной из-за того, что не отвечаю взаимностью на столь пылкую страсть, но любовь не зависит от нашего желания — Бог посылает нам ее по своей воле. Хуанчо понял, что я не люблю его, стал подозрительным, ревнивым, начал неотступно меня преследовать, вынюхивать и шпионить, искать повсюду воображаемых соперников. Мне пришлось стать очень сдержанной и осмотрительной; один взгляд, один полунамек становились для Хуанчо поводом к самой ужасной ссоре. Вскоре я оказалась в сотворенной им пустыне, за чертой страха, которую никто не смел пересечь.

— И которую я, надеюсь, уничтожил навсегда, ибо теперь, как мне кажется, Хуанчо не вернется.

— По меньшей мере не скоро; он должен скрываться, пока вы не поправитесь, иначе это плохо для него закончится... Но кто вы? Кажется, пришло время спросить, не так ли?

— Мое имя — Андрес де Сальседо. Состояния моего вполне достаточно, чтобы заниматься только тем, что, на мой взгляд, того достойно, и не зависеть ни от кого на этом свете.

— И у вас нет какой-нибудь невесты, красивой, хорошо одетой и богатой? — не без тревоги в голосе полюбопытствовала Милитона.

Андресу очень не хотелось лгать, но и правду сказать было нелегко. Он отделался туманным ответом.

Милитона не стала настаивать, но немного побледнела и призадумалась.

— Вы не могли бы дать мне перо и листок бумаги? Мне хотелось бы написать друзьям; они, наверное, встревожены моим исчезновением, и я должен их успокоить.

После нелегких поисков девушка наконец разыскала на дне выдвижного ящика пожелтевший лист почтовой бумаги, кривое перо и письменный прибор с высохшими чернилами, покрывшими чернильницу лаковым налетом.

Несколько капель воды вернули черной и липкой массе первоначальное жидкое состояние, и Андрес, положив бумагу на колено, смог нацарапать дону Херонимо де лос Риос письмо следующего содержания:

> Мой будущий тесть!
>
> Не извольте беспокоиться из-за моего отсутствия. Несчастный, но не имевший серьезных последствий случай вынуждает меня задержаться на некоторое время в приютившей меня семье... Надеюсь, через несколько дней я смогу засвидетельствовать мое почтение донье Фелисиане.
>
> *Андрес де Сальседо*

Записка, довольно макиавеллиевская, без обратного адреса и подробностей, оставляла ее автору немалую свободу, дабы впоследствии раскрасить обстоятельства в нужные тона. Ее было достаточно, чтобы унять тревогу славного дона и его дочери и выиграть время, столь необходимое Андресу, не подозревавшему, что благодаря проницательности Аргамасильи и Ковачуэло дон Херонимо уже прекрасно обо всем осведомлен.

Тетушка Альдонса отнесла послание на почту, и Андрес, успокоившись на сей счет, отдался нежным поэтическим чувствам, которые навевала бедно обставленная комнатушка, казавшаяся ему роскошной благодаря присутствию Милитоны.

Он испытывал безграничную радость той настоящей, чистой любви, которая не подвластна никаким общественным условностям, к которой не примешиваются ни сладкий шепот самолюбия, ни торжество от победы, ни дерзкие фантазии, любви, рожденной в счастливом согласии великой троицы: юности, красоты и невинности.

Знатоки, вкушающие любовь, как мороженое маленькими ложечками, не торопясь, чтобы лучше насладиться им, пока оно не растает, сочли бы, что признание Милитоны своей порывистостью и непосредственностью лишило Андреса множества тонких нюансов и чарующих переходов. Жен-

щина светская добрых полгода подготовляла бы сей волнующий момент, но Милитона не принадлежала к высшему обществу.

Дон Херонимо, получив письмо Андреса, с ликующим видом отнес его дочери:

— Вот, Фелисиана, послание от твоего суженого.

Глава IX

Фелисиана довольно брезгливо взяла в руки записку, которую протягивал ей отец, так как сразу заметила, что бумага отнюдь не глянцевая:

— Письмо без конверта, запечатанное облаткой из теста! Что за манеры! Правда, ситуация сложная, отчасти его можно понять... Бедняжка Андрес! Каково! У него нет даже почтовой бумаги «Виктория»![1] Даже сургуча от Олкрофта с Ридженте-квадрант![2] Как он несчастен, должно быть... Что вы думаете об этой ужасной бумаге, сэр Эдвардс? — добавила она, прочитав записку и передав ее юному джентльмену с Прадо, усердно посещавшему ее со времени исчезновения Андреса.

— О да! Австралийские дикари делают лучше! — прокурлыкал любезный островитянин. — Это есть детство промышленности; в Лондоне не взять такую, чтобы заворачивать сальные свечи!

— Говорите по-английски, сэр Эдвардс, — попросила Фелисиана. — Вы же знаете, я понимаю вашу речь.

— Ноу! Лучше я совершенствоваться мой испанский — язык, который есть ваш.

В ответ на эту любезность Фелисиана улыбнулась. Сэр Эдвардс ей нравился. Он стоял гораздо ближе к ее идеалу элегантности и комфортабельности[3], чем Андрес. И пусть он не был верхом совершенства, зато мог по праву считаться самым цивилизованным из мужчин. Все, что он носил, было изготовлено по последним, самым совершенным технологиям. Каждая частичка его одежды вела свою родословную от какого-либо патента и потому не боялась ни воды, ни огня. Его перочинный ножик служил бритвой, штопором, ложкой, вилкой и стаканчиком; огниво являлось лишь частью сложного прибора, состоявшего из свечи, чернильницы, печатки и сургучной палочки; трость легко превращалась в стульчик, зонт, кол для палатки и даже, в случае необходимости, в пирогу. Тысяча других изобретений того же рода заключалась в бесчисленном множестве футляров с отделениями, какие таскают с собой повсюду, от Арктики до экватора, сыны коварного Альбиона, светские люди, которым для жизни необходимо огромное количество вещей.

Но окончательно покорил бы Фелисиану, случись ей увидеть туалетный столик юного лорда: во всех вместе взятых укладках с инструментами хирурга, дантиста и маникюрши не наберется такого количества стальных изделий самых причудливых и устрашающих форм. Андресу, несмотря на все его потуги в области high life*,[4], было куда как далеко до подобных высот.

– Папенька, если мы соберемся с визитом к нашему дорогому Андресу, сэр Эдвардс пойдет с нами; так будет лучше: пусть я невеста, но явиться к молодому человеку одной – это поступок, идущий вразрез с правилами хорошего тона.

– И в самом деле, если там буду я и сэр Эдвардс, что плохого может случиться? – согласился дон Херонимо, подумав про себя, что дочка его отчасти ханжа. – Впрочем, если ты считаешь для себя не совсем приличным навестить Андреса, я пойду сам и доложу тебе обо всем самым исчерпывающим образом.

– Нет, папенька; надо же иногда чем-то жертвовать ради тех, кого любишь, – возразила Фелисиана, которой было любопытно взглянуть на все собственными глазами.

Сеньорита Васкес, несмотря на отменное воспитание, не перестала быть женщиной, и мысль о том, что ее суженый находится в доме хорошенькой, как говорили, манолы, беспокоила ее гораздо больше, чем хотелось, хотя она испытывала к жениху весьма сдержанные чувства. Во всякой, даже самой черствой и холодной, женской душе всегда найдется струнка, которая дрожит, едва ее заденет самолюбие или ревность.

Сама не зная зачем, Фелисиана совершенно не к месту разоделась в пух и прах. Предчувствуя битву, она облачилась с головы до ног в самые неотразимые доспехи, что нашлись в арсенале ее роскошного гардероба. Богатая донья, глядевшая на всех сверху вниз, не боялась, что какая-то простушка может ее превзойти, нет, но она инстинктивно хотела подавить ее своим великолепием, а заодно заставить Андреса умереть от восхищения. Фелисиана выбрала неаполитанскую шляпу[5] соломенного цвета, сделавшую ее светлые волосы еще более тусклыми, а лицо – блеклым, короткую бледно-зеленую накидку с белыми кружевами поверх небесно-голубого платья, сиреневые туфли и черные сетчатые перчатки с синей вышивкой. Дополняли экипировку розовый зонтик с кружевами и сумочка, отделанная тяжелым стальным бисером.

Любой дамский портной, любая горничная из приличного дома сказали бы ей: «Сеньорита, ваш наряд великолепен!»

---

* великосветской жизни (*англ.*).

Наконец, бросив последний взгляд на свое отражение в зеркале-псише[6], Фелисиана удовлетворенно улыбнулась: никогда еще она не была так похожа на картинку из самого дорогого журнала мод.

Сэр Эдвардс, подавший ей руку, был одет не менее безупречно: шляпа почти без полей, сюртук с укороченной баской, жилет в причудливую клетку, сорочка с маленьким воротничком и атласный галстук improved Moreen foundation* достойнейшим образом дополняли великолепие, которое демонстрировала дочь дона Херонимо.

Никогда еще столь гармоничная пара не появлялась на улицах Мадрида; они были созданы друг для друга и испытывали взаимное восхищение.

Гости прибыли на улицу Повар под бесконечное брюзжание Фелисианы, сетовавшей на плохое состояние мостовых, узость улиц и унылый вид зданий. Ей вторил юный англичанин, прославлявший широкие тротуары из каменных плит или асфальта[7], просторные улицы и строгие фасады родной столицы.

— Подумать только! Перед этой самой развалюхой нашли раненого и переодетого господина де Сальседо? Да что он мог делать в таком ужасном месте? — с отвращением вопросила Фелисиана.

— Изучать философски народные нравы или испытывать свою силу в ножевых ударах, как я у себя в Лондоне затевать ссоры, чтобы испробовать новые удары кулаком в Тампле или Чипсайде[8], — ответил лорд на своем испано-британском жаргоне.

— Скоро мы все узнаем, — добавил дон Херонимо.

Вся троица вошла в подъезд столь презираемого великолепной Фелисианой дома, скрывавшего, однако, за своими стенами сокровище, которое не найти даже в самых роскошных особняках.

Переступая порог, Фелисиана испуганно подобрала юбку. Если б ей было ведомо, что у парижских модниц уже в ходу специальная прищепка для юбок, она по достоинству оценила бы сие великое изобретение.

Когда же она узрела засаленную веревку, заменявшую перила, то содрогнулась от мысли, что ей придется дотронуться до нее своей идеально свежей перчаткой, и попросила сэра Эдвардса снова взять ее под руку.

Услужливая соседка подсказала, как пройти к Милитоне. Опасное восхождение началось.

В ответ на испуганное «Кто там?» тетушки Альдонсы, которая до сих пор не пришла в себя после безобразной выходки Хуанчо, дон Херонимо произнес: «Gente de paz» (мирные люди), дверь открылась, и взволнованный Андрес, узнавший голос старика, увидел сначала сэра Эдвардса, вы-

---

* с усовершенствованной муаровой подкладкой (*искаж. англ.*).

ступавшего в авангарде, затем дона Херонимо и, наконец, Фелисиану в ее сногсшибательном наряде[9].

Она приберегла себя напоследок, подобно ослепительному букету фейерверка, которого зрители ждут с замиранием сердца. Что двигало ею? Желание подогреть интерес публики? Боязнь внезапно переполнить сердце Андреса счастьем, столь безграничным, что оно будет не в силах его вместить? Или все-таки смущение, не позволявшее нарушить приличия и войти первой в комнату, где в постели лежит мужчина.

Как бы там ни было, ее выход не произвел ожидаемого сценического эффекта. Андрес не был ослеплен, не исполнился высшего блаженства и не пролил ни единой слезинки умиления при мысли о нечеловеческой жертве, принесенной ради него юной особой, — подняться на четвертый этаж по грязной лестнице в таком наряде! — напротив, на его лице нарисовалось нескрываемое раздражение.

Провал был полным, хуже некуда.

Увидев гостей, Милитона поднялась и с подобающим простой девушке почтением к пожилым людям предложила один из стульев дону Херонимо, одновременно сделав знак Альдонсе подать даме другой стул.

Сеньорита Васкес, бережно, будто опасаясь запачкать, подобрала юбку своего шикарного небесно-голубого платья, плюхнулась на плетеное сиденье и, обмахиваясь платком, испустила тяжкий прерывистый вздох:

— Боже, как высоко! Я думала, задохнусь, пока поднимусь по этой бесконечной лестнице.

— Сеньора, видимо, слишком туго затянута, — простодушно заметила Милитона.

Худосочная Фелисиана действительно затягивала шнуровку корсета не иначе, как с помощью ворота[10], однако кисло-сладким голосом, которым в подобных ситуациях умеют говорить женщины, возразила:

— Ошибаетесь, милочка.

Решительно, ее дела шли плохо. Светская барышня не имела никаких преимуществ.

Рядом с Милитоной в черном шелковом платье, сшитом по испанской моде, с ее красивыми обнаженными руками и гвоздикой над ухом претенциозность и безвкусная роскошь туалета Фелисианы казались просто смешными[11].

Донья Фелисиана Васкес де Лос Риос походила на английскую горничную в воскресном наряде, а Милитона — на желающую сохранить инкогнито герцогиню.

Дабы хоть как-то исправить положение, высокородная сеньора попыталась смутить простую манолу и уперлась в нее в высшей степени презрительным взглядом, но и тут осталась ни с чем, ибо вскоре ей пришлось потупить глаза перед ясным и спокойным взором девушки.

«Кто эта женщина? – недоумевала Милитона. – Сестра Андреса? Нет, она ни капельки на него не похожа – слишком много спеси».

– Ну что, Андрес? – ласково начал дон Херонимо, приближаясь к постели. – Вы счастливо отделались! Как вы теперь себя чувствуете?

– Неплохо. Заботами этой барышни...

– Которую мы конечно же отблагодарим за труды, – торопливо вставила Фелисиана, – каким-нибудь подарком, золотыми часами, или перстнем, или чем-то еще – на выбор...

Безобидная на вид фраза имела целью скинуть очаровательное создание с пьедестала, на который оно вознеслось благодаря своей красоте.

В ответ на этот выпад Милитона, как настоящая королева, ответила лишь блеском величия в глазах, и озадаченная мадемуазель Васкес умолкла на полуслове.

Сэр Эдвардс не удержался и пробормотал: «It is a very pretty girl (какая красивая девушка)», забыв, что Фелисиана понимает по-английски.

Андрес же сухо возразил:

– За подобные услуги не платят.

– О да, конечно, – подхватил дон Херонимо. – Но кто говорит об оплате? Всего лишь скромное свидетельство благодарности, сувенир в знак нашей глубокой признательности, и только.

– Вам, должно быть, плохо здесь, бедный Андрес, – продолжала Фелисиана, внимательно разглядывая скромное жилище.

– Господин так добр, что не жаловался. – Милитона отступила к окну, как бы освобождая Фелисиане пространство для дальнейших оскорблений и говоря всем своим видом: «Вы в моем доме, я вас не прогоняю – не могу, но провожу границу между вашей наглостью и моим гостеприимством».

Фелисиана, не зная куда деваться и как дальше себя вести, начала машинально тыкать в носки своих туфель костяным кончиком зонта.

Все замолчали.

Дон Херонимо, нащупав в уголке табакерки щепотку polvo sevillano (желтого табака), поднес ее к своему почтенному носу легким движением, напоминавшим о добрых старых временах.

Сэр Эдвардс, дабы не компрометировать себя, так искусно скорчил глупую рожу, что его и вправду можно было принять за дурака.

Тетушка Альдонса, оттопырив губу и вытаращив глаза, с благоговением взирала на туалет Фелисианы: буйное цветение небесно-голубого, желтого, розового, салатового и лилового повергло ее в остолбенение. Никогда еще ей не доводилось находиться так близко от подобного великолепия.

Что до Андреса, то он не сводил глаз с Милитоны, будто желая окружить и защитить ее своей любовью, а она стояла в другом углу комнаты и, казалось, светилась от собственной красоты. Юноша недоумевал, как это ему вообще пришло в голову жениться на Фелисиане, ибо теперь он наконец понял, чем она была в действительности: куклой, изготовленной руками воспитательницы пансиона и модистки.

Милитона же думала:

«Как странно! Мне незнакомо чувство ненависти, но, как только эта женщина переступила порог, я вздрогнула, словно почуяла неведомого врага. Чего мне бояться? Андрес не любит ее, я уверена, — это видно по его глазам. Она некрасива и глупа — в противном случае разве заявилась бы в бедный дом, к больному в таком виде? Небесно-голубое платье и салатовая накидка — какая безвкусица! Ненавижу эту дылду... Зачем она пришла? Не дать жениху сорваться с крючка — не иначе; и как я только сразу не догадалась... А Андрес мне ни слова не сказал... О! Если он на ней женится, то разобьет мне сердце! Но он не женится, это никак невозможно. У нее противные светлые локоны и веснушки, а Андрес говорил, что любит только черные волосы и гладкую кожу».

Тем временем Фелисиана произносила свой внутренний монолог. Она анализировала внешность Милитоны, всеми силами пытаясь найти в ней хоть какой-нибудь изъян, но, к великому своему сожалению, ей это никак не удавалось. Женщины, как и поэты, прекрасно знают цену себе и другим, только никогда не говорят об этом вслух. И без того скверное настроение Фелисианы совсем испортилось, и с плохо скрываемой язвительностью она сказала Андресу:

— Если врач не запрещает вам говорить, то расскажите вкратце о вашем приключении, ибо мы имеем о нем самое смутное представление.

— Оу! Рассказать что-то романтичное, — присоединился к ее просьбе англичанин.

— Тебе охота поболтать, а он еще очень слаб, — по-отечески простодушно вмешался дон Херонимо.

— Ничего, если он устанет, барышня поможет — она, верно, знает все обстоятельства дела, — настаивала Фелисиана.

Услышав это обращение, Милитона приблизилась к гостям.

— Мне взбрело в голову, — заговорил Андрес, — одеться как маноло, чтобы пройтись по старым кварталам и насладиться живыми народными танцами и веселыми кабачками — вы знаете, Фелисиана, как я люблю, при всем уважении к современной цивилизации, старые испанские обычаи. Проходя по этой улице, я столкнулся с отчаянным певцом серенад, навязавшим мне ссору; он ранил меня ножом в честной схватке по всем

правилам. Я упал, а сеньорита подобрала меня, полумертвого, на пороге собственного дома.

— Как романтично, Андрес! Чудный сюжет для жалостливой народной песенки, надо только немного приукрасить события. Непримиримые соперники встречаются под балконом красавицы... — злобно поглядывая на Милитону, натянуто улыбалась Фелисиана, — сначала они разбивают гитары о голову противника, потом ножами разрисовывают друг дружке физиономии. Если вырезать эту сцену на дереве и поместить над заголовком романса, успех будет потрясающим. Какой-нибудь нищий слепец наживет целое состояние[12].

— Сеньора, — укоризненным тоном проговорила Милитона, — на два пальца ниже — и клинок вонзился бы прямо в сердце.

— Конечно, конечно, но, как всегда, он скользнул мимо, оставив только очень интересную рану...

— Которая вас, во всяком случае, ничуть не интересует.

— Она получена не в мою честь и не может тревожить меня так же сильно, как вас; однако я все же пришла навестить вашего раненого. Если хотите, можем дежурить по очереди — это будет просто прелестно.

— До сих пор я вполне справлялась одна, справлюсь и впредь.

— Возможно, по сравнению с вами я выгляжу равнодушной, но не в моих привычках принимать у себя молодых людей, даже из-за легкой царапины на груди.

— Вы бросили бы его умирать на улице из боязни скомпрометировать себя?

— Не все в этом мире так свободны, как вы; существуют, к вашему сведению, некоторые приличия. Тем, у кого есть репутация, не слишком-то приятно ее терять.

— Ну, ну, Фелисиана, куда тебя занесло, — примирительно начал дон Херонимо. — Что за глупости! Все получилось нечаянно, Андрес никогда не видел барышню до несчастного случая, нет никакого повода для ревности — выкинь из головы эту глупость.

— Невеста — не любовница, — высокомерно скривилась Фелисиана, не обратив внимания на реплику отца.

От оскорбления Милитона побледнела, в глазах заблестели слезы, губы набухли, дыхание прервалось, а из груди едва не вырвалось рыдание, но она сдержалась, ответив только уничижительным взглядом.

— Пойдем отсюда, отец, нам здесь не место; нельзя задерживаться долее в доме падшей женщины.

— Если это единственная причина вашего ухода, останьтесь, — сказал Андрес, взяв Милитону за руку. — Донья Фелисиана Васкес де лос Риос может продлить визит к госпоже Андрес де Сальседо, которую я имею



честь вам представить. Был бы крайне огорчен, если бы вынудил вас нарушить приличия.

— Как! — вскричал дон Херонимо. — Что такое, Андрес? Мы сговорились десять лет назад! Ты сошел с ума!

— Напротив, взялся за ум, — ответил юноша. — Я понял, что не смогу составить счастье вашей дочери.

— Безрассудная фантазия, бред, чушь! — распалился почтенный дон, давно привыкший к мысли, что Андрес — его зять. — Ты болен, у тебя жар!

— О! Не беспокойтесь, — англичанин схватил дона Херонимо за рукав, — на руку вашей дочери найдутся охотники! Она прекрасна и одевается великолепно!

— Ваши состояния так хорошо подходили друг другу, — никак не мог успокоиться дон Херонимо.

— Лучше, чем сердца, — заметил Андрес. — Не думаю, что донья Васкес будет сильно расстроена потерей такого жениха.

— Вы слишком скромны, — возразила Фелисиана, — но, дабы избавить вас от каких-либо угрызений, не стану вас разуверять. Прощайте, счастья вам и согласия. Сударыня, разрешите откланяться.

Милитона полным достоинства реверансом ответила на ироничный полупоклон Фелисианы.

— Идемте, отец. Вашу руку, сэр Эдвардс.

Англичанин живо отозвался на просьбу, изящно, наподобие ручки амфоры, согнул руку, подал ее Фелисиане, и они величественно покинули комнату.

Юный островитянин сиял. Эта сцена пробудила в его душе надежды, до того не смевшие расправить крылья. Фелисиана, по которой он сгорал тайным пламенем, теперь свободна! Давно задуманный брак развалился на глазах! «О! — восклицал он про себя, чувствуя на рукаве узкую перчатку девушки. — Жениться на испанке — это же моя мечта! Испанка со страстной душой и пылким сердцем, которая к тому же готовит чай так, как я люблю... Лорд Байрон прав — долой бледных северных красавиц![13] Я поклялся жениться только на индианке, итальянке или испанке. Но испанки все-таки лучше — я это точно знаю. Благодаря романсеро и войне за независимость я повидал их немало[14], горячих и страстных, но они не умели заваривать чай по всем правилам и порой допускали ужасающие промахи, а Фелисиана хорошо воспитана! Какой успех ожидает ее в Лондоне в ассамблее Олмэка[15] и на модных раутах! Никто не поверит, что она из Мадрида. О! Как я буду счастлив! Летом всей нашей маленькой семьей мы будем уезжать в Калькутту или на мыс Доброй Надежды[16], в мое имение! Какое блаженство!»

Вот такие золотые сны грезились наяву сэру Эдвардсу, когда он провожал сеньориту Васкес домой.

Между тем Фелисиана предавалась схожим мечтаниям. Конечно, она испытывала острую досаду, но не потому, что сильно сожалела об Андресе, а от обиды, что ее бросили. Женщине всегда неприятно, если ее покидает мужчина, пусть даже нежеланный, а Фелисиана, познакомившись с сэром Эдвардсом, смотрела на обязательства, связывавшие ее с Андресом, уже не так восторженно, как раньше.

После встречи со своим идеалом, воплощенным в сэре Эдвардсе, она поняла, что никогда не любила Андреса!

Сэр Эдвардс — о, вот мужчина ее мечты! Англичанин — всегда свежевыбритый, румяный, блистательный, лощеный, гладко причесанный и в белом галстуке от зари до зари, англичанин в ватерпруфе и макинтоше![17] Высшее достижение цивилизации!

К тому же как пунктуально, аккуратно, с поистине математической точностью, он является на свидания! По нему можно сверять самые точные хронометры! «Какая счастливая жизнь ждет супругу подобного создания! — мечтала мадемуазель Фелисиана Васкес де лос Риос. — У меня будет английское столовое серебро, посуда от Веджвуда[18], ковры по всему дому и лакеи в напудренных париках. Меня ждут прогулки по Гайд-парку[19] рядом с мужем, правящим four in hand!* Вечерами, в театре Ее Величества[20], я буду слушать итальянскую музыку в собственной ложе, обитой золотистым дамасским шелком. На зеленом газоне перед нашим замком будут резвиться ручные лани и, может статься, несколько детишек, розовощеких и белокурых: ребятишки так хорошо смотрятся на передке коляски рядом с чистокровным спаниелем короля Карла!»[21]

Оставим этих голубков, словно специально созданных друг для друга, на их продолжительном совместном пути и вернемся к другой паре, на улицу Повар.

После ухода Фелисианы, дона Херонимо и сэра Эдвардса девушка с плачем бросилась Андресу на шею, но то были слезы радости и счастья, которые тихо стекали прозрачными жемчужинами на милый пушок ее щек, не заставляя краснеть дивные веки.

День клонился к закату, прелестные розовые облачка затянули небо. Вдали слышались звуки гитар, перестук и медный перезвон бубен, дробь кастаньет. Временами дружные «эй!» и «ола!» куплетов фанданго[22] взмывали в воздух над дворами и перекрестками, и этот веселый шум народного гулянья звучал отдаленным свадебным гимном двум счастливым влюбленным. Наступила глубокая ночь, а голова Милитоны по-прежнему покоилась на плече Андреса.

---

* четверкой лошадей (*англ.*).

Глава X

Мы на некоторое время потеряли из виду нашего доброго приятеля Хуанчо. Стоило бы последить за ним, ибо он выбежал от Милитоны в отчаянии, граничащем с безумием. Ругаясь на чем свет стоит и размахивая руками, он побрел куда глаза глядят, дошел до ворот Йерро[1], и ноги понесли его прочь от города.

Унылы и безводны окрестности Мадрида. Вдоль дорог тянутся бурые стены невзрачных сооружений, приютивших все те грязные и опасные мастерские, которые большие города исторгают из своего лона. Тощая почва усеяна голубоватыми камнями, которые становятся все крупнее по мере приближения к подножию Сьерра-Гуадаррамы[2], вершины которой, заснеженные вплоть до начала лета, белеют на горизонте грядой мелких кучевых облаков. Тут и там изредка проглядывают чахлые растения. Поверхность земли изрезана страшными рубцами от пересохших потоков, а склоны холмов не радуют зеленью, образуя пейзаж, навевающий самую глубокую печаль. Здесь стихает смех, а отчаяние никого не удивляет.

Прошагав час или два, Хуанчо, который не согнулся бы и под тяжестью ворот Газы, унесенных Самсоном[3], не выдержал бремени собственных мыслей, рухнул ничком на обочину, подпер руками подбородок, обхватив щеки, и застыл в полном оцепенении.

Он смотрел и ничего не видел — ни повозок, запряженных волами, которые испуганно шарахались от него в сторону, получая за это от погонщиков удар острой палкой, ни ослов, груженных тюками рубленой и перевязанной веревками соломы, ни разбойничьего вида крестьянина, гордо восседавшего на лошади с рукой на бедре и карабином, подвешенным к луке, ни крестьянку, свирепо тащившую за собой зареванного мальчугана, ни старика кастильца в волчьей шапке, ни уроженца Ламанчи[4] в черных коротких штанах и суконных чулках, ни прочего кочевого люда, готового тащиться добрый десяток лье, чтобы продать на рынке три неспелых яблока или связку красных перцев.

Хуанчо жестоко страдал, и слезы, пролитые им впервые в жизни, стекали с его смуглых щек на сухую почву, равнодушно впитывавшую их, словно обыкновенные капли дождя. Его могучая грудь то и дело вздымалась от глубоких вздохов. Никогда еще он не был так несчастен; для него настал конец света — жизнь потеряла смысл. Ну что ему теперь делать?

«Она не любит меня, она любит другого, — твердил Хуанчо, чтобы внушить себе роковую истину, которую сердце его отказывалось принять. — Невероятно, непостижимо! Она, столь гордая и независимая, вдруг ни с того ни с сего воспылала страстью к первому встречному, в то время как я, живший только ради нее и два года следовавший за нею как тень, не

добился ни слова сочувствия, ни улыбки снисхождения! И я еще сетовал тогда! То был рай по сравнению с моей нынешней болью! Пусть она не любила меня, зато не любила и никого другого!

Я мог видеть ее; она приказывала мне уйти и не возвращаться, говорила, что я ей надоедаю, досаждаю, что она не в силах долее выносить мою тиранию; но, по крайней мере, когда я уходил, она оставалась одна. Ночью я бродил под ее окном, без ума от любви, хмельной от желаний; я знал, что она невинно отдыхает в своей узкой девичьей постели, и не боялся увидеть за ее занавесками две тени; несчастный, я упивался сладким ядом, радуясь, что не делю ее ни с кем. Сокровище не было моим, но ключ от него не принадлежал никому.

Отныне все кончено, никакой надежды! Милитона отвергала меня, когда никого не любила, что же будет теперь, когда она узнала любовь! Она возненавидит меня еще сильнее! О! Это ясно как день! Я гнал от нее всех, кого привлекала ее красота! Как я ее охранял! Бедняга Лукас[5], злосчастный Хинес[6], что я с вами сделал, и все зря! А другого, настоящего, опасного, того, кого должен был убить, я проворонил! Так получай же, косая длань, бестолковая рабыня, не сумевшая сделать свое дело!»

И Хуанчо впился зубами в правую руку, да так сильно, что чуть не брызнула кровь.

«Когда он поправится, я снова заставлю его драться и на этот раз не промахнусь. Но если я его убью, Милитона никогда не захочет меня видеть. Как ни крути, я все равно потерял ее. Я сойду с ума — неужели нет выхода? Господи, пошли на его голову пожар, обвал, землетрясение, чуму, и я не буду виноват в его смерти! Ох, не видать мне такого счастья... Демоны и фурии! Подумать только, ее прекрасная душа, совершенное тело, чарующие глаза, дивная улыбка, нежная, округлая шея, тонкая талия и детские ножки — все, все принадлежит ему! Он прикасается к ее руке, и она не отнимает ее, прижимает к груди ее прелестную головку, и она не отталкивает его с презрением. За какие грехи я так наказан? Сколько в Испании красавиц, мечтающих увидеть меня у своих ног! Сколько сердец трепещет, когда я выхожу на арену, сколько белоснежных рук дружески приветствует меня! Девушки Севильи, Мадрида и Гранады бросали мне веера, платки, цветы, украшавшие их волосы и сорванные с шеи золотые цепочки — в порыве восхищения, в благодарность за мою отвагу и красоту. И что ж? Я всех отверг; я желал только ту, что не желала меня; из тысяч страстей я выбрал ненависть! Неодолимое влечение, всесильный рок! Бедная Росаура[7], на твою простодушную нежность я, бесчувственный, не ответил взаимностью; как ты, должно быть, страдала! Вот я и наказан за причиненное тебе горе. Неправильно устроен мир: любовь должна порождать любовь, тогда на земле не будет страданий. О, сколь

несправедлив Господь! Или мне надо было поставить тысячу свечей перед иконой Пресвятой Девы, чтоб избавиться от этой напасти? Ах, Боже, Боже мой, что же мне делать? Не будет мне теперь ни минуты покоя на этом свете! Домингес тоже любил Милитону; счастливчик, он погиб на арене! Я сделал все, чтобы спасти его, а она утверждает, что я бросил его в опасности! Она не только ненавидит меня, но еще и презирает. О Небо! Как тут не помешаться от бешенства!»

Хуанчо резко вскочил и снова устремился в безумный бег по полям.

Так он скитался целый день, с поникшей головой, блуждающим взором и стиснутыми кулаками. В беспощадных видениях ему мерещилось, как Андрес и Милитона прогуливаются под ручку, целуются, томно взирают друг на друга – душераздирающие картины для ревнивого сердца! Воображение живописало ему эти сцены столь яркими красками, с достоверностью столь разительной, что он не раз бросался вперед, словно желая разорвать Андреса, но руки его хватали воздух, и он приходил в себя, удивляясь собственному бреду.

Очертания окружающих предметов стали расплываться у него перед глазами. Он почувствовал, как кровь стучит в висках, как сжимает голову железный обруч и горят воспаленные глаза; его знобило, несмотря на июньское солнце, и пот струился по его лицу.

Погонщик, чья телега перевернулась, наскочив колесом на крупный камень, тронул Хуанчо за плечо:

– Эй, малый, ты с виду силен... Не поможешь поставить на колеса мою колымагу? А то бедные животинки только зря из сил выбиваются.

Хуанчо подошел к телеге и, ни слова не говоря, попытался ее приподнять, но руки его дрожали, ноги подкашивались, а безотказные прежде мускулы не слушались. Он лишь немного оторвал ее от земли и тут же, задыхаясь, уронил.

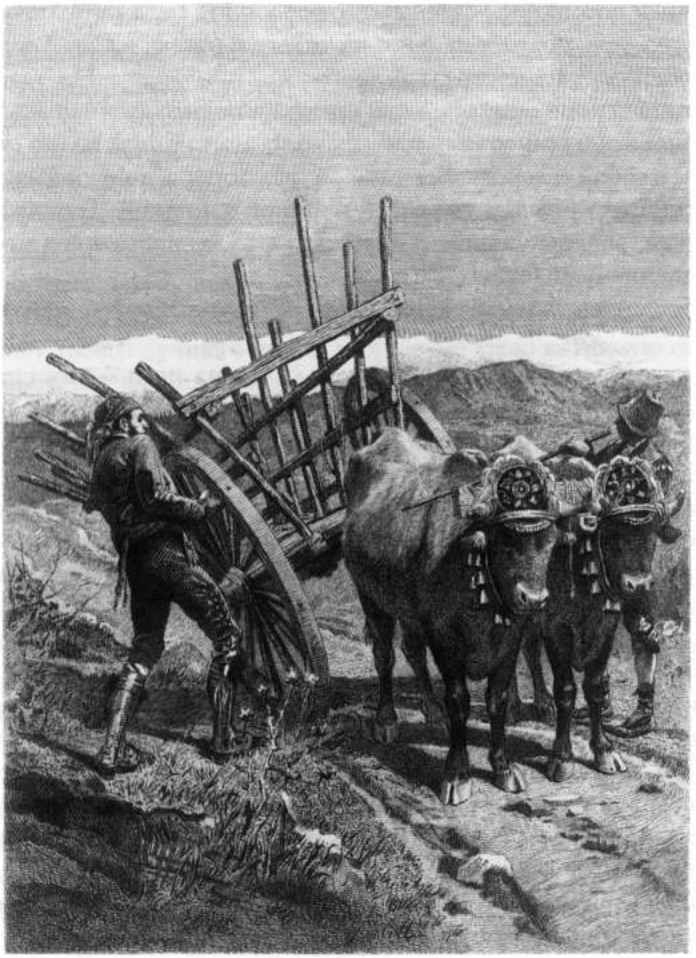
– Я-то думал, ты крепкий парень, – саркастически присвистнул погонщик, удивленный тем, что попытка незнакомца завершилась столь безуспешно.

Силы оставили Хуанчо, он был болен.

Однако замечание погонщика задело честь тореро, гладиатор так гордился мощью своих мускулов, что страшным усилием воли собрался с духом и яростно рванул.

Погонщик не успел и глазом моргнуть, как телега, словно по волшебству, встала на колеса и от мощного рывка чуть было не опрокинулась на другой бок.

– Вот это да! – восхитился крестьянин. – Ну, хозяин, со времен силача из Оканьи[8], вырывавшего решетки из окон, и Бернардо дель Карпио[9],



который одним пальцем останавливал мельничные жернова, свет не видал такого богатыря!

Но Хуанчо ничего не ответил. Потеряв сознание, он рухнул наземь — упал, как падает мертвец, если воспользоваться словами Данте[10].

«Может, у него лопнула какая-нибудь жила? — подумал до смерти перепуганный погонщик. — Не важно; раз уж эта беда приключилась, когда он помогал мне, положу-ка я его на телегу и отвезу в Сан-Агустин[11], а то и в Алькобендас[12], на постоялый двор».

Хуанчо вскоре очнулся, хотя никто не поднес ему нашатырного спирта или нюхательной соли — как правило, погонщики волов почему-то не берут их с собой в дорогу. Все-таки он был тореро, а не кисейная барышня.

Погонщик прикрыл его своей длинной накидкой. Тореадора одолевала горячка, впервые в жизни он испытывал неведомое его железному телу ощущение — болезнь!

Добравшись до постоялого двора в Сан-Агустине, он попросил койку и лег.

Тяжелый, неодолимый сон навалился на него — так спят пленные индейцы во время изощренных пыток, которым подвергают их жестокие завоеватели, или осужденные на смерть утром перед казнью.

Когда тело разбито, душе не до страданий.

Хуанчо проспал двенадцать часов, и это спасло его от безумия. Горячка стихла, голова не болела, но слабость была такая, будто он проболел полгода. Почва уходила из-под его ног, свет резал глаза, малейший шум оглушал; в голове и на сердце было пусто. Что-то обрушилось в его душе: на том месте, где прежде возвышалась любовь, образовалась пропасть, которую отныне нечем было заполнить...

Юноша провел на постоялом дворе еще день и, почувствовав себя лучше — могучий организм брал свое, сел на лошадь и отправился в Мадрид, повинуясь тому странному инстинкту, что заставляет человека вновь и вновь возвращаться к мучительному зрелищу: он испытывал потребность посыпать раны солью, разбередить болячки и собственной рукой повернуть нож в своем сердце. Бежав от виновницы своего несчастья, он опять стремился к ней навстречу и, едва претерпев нечеловеческие муки, желал испить горькую чашу до дна и избыть свое горе.

Пока Хуанчо предавался страданиям, альгвасилы[13] начали разыскивать его, так как, по общему мнению, именно он ранил сеньора Андреса де Сальседо. Последний, как вы прекрасно понимаете, не подавал жалобы: отняв у несчастного тореро любимую девушку, он даже не помышлял лишить его еще и свободы. Андрес знать не знал, что его соперника преследует полиция.

Аргамасилья и Ковачуэло, эти Орест и Пилад сыскного дела[14], прилагали все усилия, чтобы найти и арестовать Хуанчо. Действовали они, как всегда, искусно, но с большой осторожностью, зная о крутом нраве подозреваемого. Создавалось даже впечатление — и завистники двух друзей прямо на это указывали, — что Ковачуэло и Аргамасилья собирали информацию с одной целью — ни в коем случае не встретиться с тем, кого им следовало задержать. И вдруг один не слишком сообразительный филер донес, что видел, как Хуанчо заявился на Площадь Быков с таким спокойным видом, будто совесть его совершенно чиста.

Деваться было некуда. Неторопливо поспешая к указанному месту, Аргамасилья твердил другу:

— Сделай милость, Ковачуэло, будь осторожнее, не строй из себя героя, ты же знаешь, как здорово дерется этот тип, не лезь на рожон, не дай ему попортить шкуру величайшего сыщика всех времен.

— Успокойся, — отвечал Ковачуэло, — я приложу все усилия, чтобы уберечь голову твоего лучшего друга, и проявлю свою истинную смелость лишь в крайнем случае, когда исчерпаю все парламентские методы.

Хуанчо, желая осмотреть быков, только что пригнанных для завтрашнего боя, и в самом деле появился в цирке — скорее по привычке, чем в силу какого-то определенного умысла.

Когда прибыли Аргамасилья и Ковачуэло в сопровождении небольшой группы полицейских, он как раз пересекал арену.

Ковачуэло в самых учтивых и церемониальных выражениях уведомил Хуанчо, что имеет честь сопроводить его в тюрьму.

Хуанчо пренебрежительно пожал плечами и пошел дальше как ни в чем не бывало.

По знаку альгвасила два агента попытались схватить матадора за руки, но тот стряхнул их, будто пылинки с рукавов.

Тогда на Хуанчо набросились всем скопом — трое или четверо тут же откатились в разные стороны на добрых полтора десятка шагов, еще четверо отлетели, кувыркаясь в воздухе. Но числом почти всегда можно одолеть одиночку, сотня пигмеев одержит верх и над великаном. Хуанчо, весь красный, понемногу отступил к торилу, затем резким рывком вырвавшись из вцепившихся в его одежду лап правосудия, приоткрыл ворота и проскользнул в опасное убежище, подобно тому укротителю, который, убегая от долговых приставов[15], заперся в клетке с тиграми.

Нападающие попытались взять приступом неожиданную преграду, но, когда они начали ломать ворота, створки вдруг распахнулись, и разъяренный бык, выпущенный Хуанчо из загона, пригнув голову, бросился на перепуганных служителей закона.

Бедолагам остались считанные секунды, чтобы перепрыгнуть через барьеры, и один из них не обошелся-таки без потерь в виде широкой прорехи на штанах.

– Дьявол! – выругался Аргамасилья. – Похоже, нам предстоит настоящая осада.

– Попробуем еще один штурм.

На этот раз уже два быка бок о бок выскочили из ворот и ринулись на доблестных стражей порядка, но, поскольку последние кинулись врассыпную с той прытью, что придает нам страх, взбешенные животные, не видя больше перед собой двуногого противника, повернулись друг к другу, сцепились рогами и уперлись мордами в песок, с чудовищной силой стараясь опрокинуть врага наземь.

Ковачуэло, придерживая створку ворот, прокричал Хуанчо:

– Дружище, вы можете спустить на нас еще пять зверюг – ровно столько зарядов, как нам известно, осталось в вашем арсенале. Затем вам придется сдаться, и сдаться безоговорочно. Выходите по доброй воле, и я провожу вас в тюрьму со всеми возможными знаками почтения, без наручников и цепей, в коляске за ваш счет; плюс к этому я и не подумаю упомянуть в рапорте о сопротивлении, оказанном вами представителям власти, что усугубляет вашу вину. Ответьте согласием на мою доброту!

Хуанчо, не желая больше бороться за безразличную ему свободу, сдался на милость Аргамасильи и Ковачуэло, которые сопроводили пленного в городскую кутузку с подобающими воинскими почестями.

Когда стих грохот ключей в замочных скважинах, он вытянулся на койке и тут же забыл, что находится в каменном мешке: «Эх, если бы я убил ее! Да, именно так мне следовало поступить в тот самый день, когда я застал у нее Андреса. Вот когда я отомстил бы сполна; какие дикие муки пришлось бы ему претерпеть, если бы прямо у него на глазах я зарезал его голубку! Обессиленный, прикованный к постели, без всякой возможности ее защитить! Ибо его-то я не стал бы убивать, нет, я не совершил бы такой ошибки! А потом я скрылся бы в горах или сдался правосудию. Так или иначе, я нашел бы успокоение. Чтобы мне жить, ей надо умереть; чтобы ей жить, умереть надо мне. Я держал наваху в руке – один удар, и все было бы кончено. Но до чего ярко пламенели ее глаза! Она была так прекрасна, что я потерял и силу, и волю, и отвагу, а ведь я умею одним взглядом заставить льва в клетке отвести глаза, а любого быка – ползать на брюхе, будто побитую собаку.

Но нет! Пронзить ее прелестную грудь? Холодной сталью коснуться ее сердца и расплескать алым по белому ее неверную кровь? Нет, такое варварство не по мне. Лучше я задушил бы ее подушкой, как тот негр – юную даму из Венеции, в пьесе[16], что я видел в театре Сирко. Впрочем,

она же не обманывала меня, не давала лживых клятв; она всегда относилась ко мне с безнадежным равнодушием. И все же моя любовь дает мне право казнить!»

Примерно такие мысли в различных вариациях не давали Хуанчо скучать в камере.

Тем временем к Андресу буквально на глазах возвращалось здоровье. Он начал вставать и, опираясь на руку Милитоны, прохаживался по комнате и дышал свежим воздухом у окна, а вскоре окреп настолько, что спустился на улицу и дошел до своего дома, чтобы отдать необходимые распоряжения насчет будущей свадьбы.

Сэр Эдвардс, со своей стороны, признался в любви донье Фелисиане Васкес де лос Риос и испросил по всем правилам ее руки у дона Херонимо. Тот с готовностью дал согласие. Новоиспеченный жених занялся свадебными подарками, заказав в Лондоне сказочно роскошные и непостижимо безвкусные платья и украшения. Кашемировые шали[17] от лимонно-желтых до ярко-красных и светло-зеленых не побоялись бы самого господина Бьетри[18]. Сэр Эдвардс когда-то самолично привез из Лахора[19], столицы шалей, в окрестностях которой он владел одной или двумя фермами, эти великолепные изделия, произведенные из нежного пуха его собственных коз. В общем, душа Фелисианы вкушала самые чистые радости.

Милитона, хоть и была не менее счастлива, все же испытывала некоторое беспокойство. Ее пугало светское общество, в которое ей предстояло войти после брака с Андресом. Над ее воспитанием не трудились в поте лица наставницы из пансиона, а потому в ней уцелели искра божья и врожденные инстинкты. Чувство доброго, прекрасного, поэтичного в искусстве и природе было ей не чуждо, но и только. Ее прелестные руки никогда не касались клавиш слоновой кости, она не знала нотной грамоты, хотя пела чисто и правильно, литературные познания ее ограничивались несколькими романсами, и если она писала без ошибок, то лишь потому, что орфография испанского языка очень проста.

«Ах! — думала она. — Как не хочется, чтобы Андрес краснел из-за меня. Я всему выучусь, все узнаю: я буду достойна своего супруга. Я верю, что красива, — его глаза ясно говорят об этом, а что касается туалетов, то я столько их сшила, что сумею и носить с блеском, как настоящая светская дама. Мы уедем в какое-нибудь укромное местечко и останемся там, пока бедная куколка не расправит крылья и не превратится в бабочку. Лишь бы не было беды! Меня пугает эта безоблачность! Что сталось с Хуанчо? Только бы он опять не натворил каких-нибудь глупостей!»

— О! На этот счет можешь не беспокоиться, — ответила тетушка Альдонса на последний вопрос Милитоны, нечаянно произнесенный вслух. —

Хуанчо в каталажке, по обвинению в попытке убийства господина де Сальседо. А принимая во внимание его прежние художества, дело может обернуться совсем плохо.

— Бедный Хуанчо! Теперь мне его даже жалко. Если бы не любовь Андреса, я была бы так несчастна!

Процесс по делу Хуанчо принимал дурной оборот. Обвинитель представлял ночную схватку как внезапное нападение и покушение на убийство, не повлекшее смерть потерпевшего только по не зависящим от воли преступника обстоятельствам. Приговор обещал быть суровым.

Однако Андрес начал хлопотать за Хуанчо и дал показания, на основании которых убийство удалось свести к рядовой дуэли. Да, соперники дрались на не принятом в светском обществе оружии, но по взаимному согласию, так как владели им в совершенстве. Ко всему прочему, рана оказалась несерьезной, он уже совершенно поправился, да и в той ссоре есть доля его вины. Дуэль закончилась для него так удачно, что не стоило считать пустячную царапину дорогой ценой за обретенное счастье.

Обвинение в убийстве, когда потерпевший жив-здоров и сам ходатайствует за преступника, не может рано или поздно не развалиться, даже если на нем настаивает самый ярый общественный обвинитель.

Таким образом, по прошествии некоторого времени Хуанчо отпустили. К его великому сожалению, он был обязан свободой тому, кого ненавидел всеми фибрами души и от кого ни за что на свете не принял бы даже малейшей услуги.

Выходя на волю, Хуанчо мрачно проронил:

— Его благодеяние связало меня по рукам и ногам. Я буду трусом и негодяем, если хоть один волос упадет с головы этого человека. Эх, лучше бы меня отправили на галеры! Через десяток лет я вернулся бы и отомстил сполна!

С того дня Хуанчо пропал. Говорили, правда, что вроде видели его где-то в Андалусии на огромном вороном коне. Как бы то ни было, в Мадриде он больше не объявлялся.

Милитона вздохнула с облегчением; она хорошо знала Хуанчо и поняла, что теперь о нем можно забыть.

Обе пары венчались в одно время и в одной церкви. Милитона пожелала изготовить свадебное платье собственными руками; получилось настоящее произведение искусства, сшитое, как казалось, из лепестков лилии, и настолько умело, что никто его не замечал.

Туалеты же Фелисианы бросались в глаза из-за их вычурности и роскоши.

По выходе из церкви все говорили о Фелисиане: «Какое платье!», а о Милитоне: «Какая красавица!»

Глава XI

В Гранаде[1], в квартале Антекерула[2], неподалеку от древнего монастыря Санто-Доминго[3], возвышается на склоне холма дом, сияющий белизной и сверкающий словно серебряный слиток на темно-зеленом фоне деревьев.

С каменной ограды сада, как из переполненной вазы, свешиваются буйные гирлянды винограда и других вьющихся растений, чьи широкие косы вырываются на улицу и покрывают всю стену.

Сквозь решетку ворот виднеется сначала своего рода перистиль[4], украшенный мозаикой из разноцветных камней, а затем внутренний дворик или, как говорят в Испании, *патио*, оформленный по канонам мавританской архитектуры[5].

Это патио окружено стройными колоннами самых изысканных пропорций из цельного куска белого мрамора с причудливыми коринфскими капителями[6], несущими на волютах[7] затейливые арабские надписи, на которых еще просматриваются остатки былой позолоты. На капители опираются изогнутые в виде сердца арки, похожие на арки Альгамбры[8] и образующие по всем четырем сторонам дворика крытую галерею. Посередине, в бассейне, окаймленном цветочными вазами и кадками с кустами, тонкой струйкой бьет небольшой фонтан; он покрывает жемчужными капельками глянцевые листья и тихим хрустальным голоском делится своими любовными тайнами с миртами и олеандрами.

Полотняный навес накрывает дворик, превращая его в подобие гостиной на открытом воздухе, где царят прозрачная полутень и дивная прохлада.

На стене висит гитара, а на диване из конского волоса лежит широкополая соломенная шляпа с зелеными лентами.

Всякий, даже самый ненаблюдательный, прохожий, бросив один только взгляд на эту картину, подумал бы: «Да, здесь живут счастливые люди». Счастье украшает дома, придавая им особое выражение. Стены умеют улыбаться и плакать, веселиться и скучать; они неприветливы или гостеприимны согласно характеру их обитателей, отдающих им часть своей души: так вот, в этих стенах жили не иначе как влюбленные или новобрачные.

Поскольку калитка не заперта, толкнем ее и войдем внутрь.

В глубине патио есть еще одна, тоже незакрытая дверь, позволяющая попасть в сад, который не назовешь ни французским, ни английским, — такие бывают только в Гранаде: настоящая нетронутая роща апельсиновых, фисташковых, хвойных и гранатовых деревьев, мирт, смоковниц,

олеандров, испанского жасмина; над этим буйством зелени и цветов высятся в безмолвии вековые кипарисы — они нарушают голубизну неба, как грустные мысли, возникшие посреди безудержного веселья[9].

По благоухающим цветущим зарослям струятся серебристые воды Дарро, поднятые чуть ли не на вершину горы несравненными арабскими мастерами гидравлики[10].

Редкие растения пышно цветут в старинных мавританских вазах с ажурными краями и изящными боками, расписанными цитатами из Корана.

Но особенно изумительна аллея лавровых деревьев с гладкими стволами и глянцевыми листьями, вдоль которой тянутся две длинные скамьи с мраморными спинками и сиденьями, а за ними по алебастровым ложам бегут два ручейка бриллиантово-чистой воды.

Щедрое андалусское солнце просыпало сквозь густое переплетение листвы на мощеную дорожку от силы горстку золотых дукатов[11]. В конце аллеи возвышается небольшое строение изысканной формы, своего рода павильон, что зовется в Гранаде tocador или mirador и откуда, как правило, открываются услаждающие глаз виды испанских просторов.

Внутренняя отделка мирадора — настоящая жемчужина мавританской резьбы. Свод, из тех, что испанцы называют media-naranja (пол-апельсина), чудесной путаницей арабесок[12] и орнаментов походит скорее на звездчатый коралл или пчелиные соты, чем на творение рук человеческих; только карстовые пещеры могут похвастаться подобным изобилием скульптурных сталактитов.

В глубине, в мраморной рамке распахнутого над пропастью окна, светится самое восхитительное полотно, которое только дано лицезреть человеческому глазу.

На первом плане сквозь заросли гигантских лавров, среди мраморных и порфировых скал с уступов Сьерры вприпрыжку сбегает река Хениль, торопясь навстречу Гранаде и Дарро. Чуть дальше простирается богатая пышной растительностью долина Вега, а в самой дали, но словно рядом, так что, кажется, можно рукой дотянуться, возвышаются пики Сьерра-Невады[13].

Заходящее солнце румянит заснеженные вершины ни с чем не сравнимым розовым цветом: нежным и свежим, идеальным и божественным, того оттенка, что увидишь только в раю, в Гранаде или на залитых румянцем щеках юной девы, услышавшей первое признание в любви.

Молодая женщина и молодой мужчина, облокотившись друг подле друга на подоконник, любуются этим величественным зрелищем; мужчина обнимает талию женщины ласково и непринужденно, как человек, уверенный в ответном чувстве.

После долгих минут безмолвного созерцания женщина оборачивается, и мы видим прелестное личико, принадлежащее, как читатели уже, конечно, догадались, госпоже Андрес де Сальседо, или Милитоне, если это имя больше нравится тем, кто уже успел к нему привыкнуть.

Нет нужды уточнять, что рядом с нею Андрес.

Вскоре после свадебных торжеств дон Андрес с женой отправился в Гранаду, в дом, полученный им в наследство от одного из дядюшек. Фелисиана же последовала за сэром Эдвардсом в Лондон. Для каждой пары сбылась таким образом ее заветная мечта: первая тянулась к солнцу и поэзии, вторая — к туманам и благам цивилизации.

Милитона, как и говорила, не захотела немедленно выходить в свет. Хотя брак с Андресом давал ей право на определенное положение, она боялась, что мужу придется краснеть из-за ее, пусть и милого, невежества, и отправилась в блаженное изгнание, чтобы забыть о бедности и привыкнуть к достатку.

Она необычайно выиграла как физически, так и духовно. Милитона, чью красоту можно было счесть безукоризненной, стала еще прекраснее. Так порой в мастерской великого скульптора вы видите восхитительную статую и думаете, что перед вами законченное творение, но художник снова и снова улучшает то, что казалось совершенным.

То же произошло и с Милитоной — от счастья она расцвела и заблистала; все, даже самые мелкие, ее черты приобрели исключительную утонченность благодаря позволительным в ее положении покою и уходу. Точеные руки побелели; худощавость, следствие неустанных трудов и тревоги о завтрашнем дне, исчезла. Линии ее прекрасного тела стали плавными и мягкими, излучая благополучие и уверенность замужней и к тому же богатой женщины. На воле ее жизнерадостная натура распустилась, даря цветы, ароматы и плоды, а светлый ум воспринимал и впитывал знания с поразительной легкостью. Андрес с наслаждением наблюдал, как в его любимой рождается, если можно так выразиться, другая женщина, еще лучше прежней.

Вместо разочарования, порождаемого привычкой, он каждый день находил в госпоже де Сальседо новые достоинства, неизведанные прелести и мысленно хвалил себя за смелый и, как считается в обществе, глупый поступок, а именно, за то, что при всем своем богатстве женился на разумной, восхитительно прекрасной и страстно влюбленной в него бедной девушке.

Не стоит ли вменить в обязанность состоятельным людям — вытаскивать из мрака и нищеты целомудренных девушек, этих королев красоты без королевства, и возводить их на подобающий им золотой трон?

Ничто не омрачало блаженства супругов. Лишь иногда Милитоне вспоминался пропавший без вести бедняга Хуанчо; она очень не хотела, чтобы ее счастье служило причиной его горя, и мысль о страданиях тореро смущала ее радостный настрой. «Он конечно же забыл обо мне, — повторяла она про себя, словно стремясь заглушить собственные опасения, — и уехал куда-нибудь далеко-далеко, в другую страну».

Неужели Хуанчо в самом деле забыл Милитону? Нет, и он был совсем не так далеко, как надеялась молодая женщина, ибо, если бы в тот момент, когда она предавалась этим мыслям, она взглянула поверх каменной ограды, идущей вдоль пропасти, то, возможно, разглядела бы в густой листве фосфоресцирующие, точно у тигра, неподвижные глаза, которые сразу узнала бы по характерному блеску.

— Не пора ли нам пройтись, как обычно, к садам Хенералифе[14]? — предложил Андрес супруге. — Подышим горьким ароматом олеандров, послушаем крики павлинов под кипарисами Зораиды и Сердечных уз?[15]

— Еще слишком жарко, милый, и я не одета, — возразила Милитона.

— Не одета? Ты очаровательна в этом белом платье, с твоим коралловым браслетом и цветком граната, пылающим у виска! Накинь еще мантилью, и, когда ты появишься в Альгамбре, все мавританские цари восстанут из гробниц.

Улыбнувшись, Милитона расправила складки мантильи, взяла веер — этот поистине неотлучный спутник каждой испанской женщины, и новобрачные направились в сторону Хенералифе, который, как всем известно, расположен на вершине, соединенной с той, что венчают красные башни Альгамбры[16], самой живописной долиной на свете. Здесь среди роскошной растительности тянется извилистая дорожка, мы ступим на нее несколько раньше Андреса и Милитоны, которые неторопливо идут под сводом листвы, сплетя кончики пальцев и раскачивая руками, будто шаловливые дети.

Что это там за стволом смоковницы, которая своими угрюмо-зелеными листьями погружает в сумрак сужающуюся дорожку? Или показалось? Как будто блеснул ружейный ствол, сверкнуло медное дуло мушкетона! Там, в зарослях испанского боярышника и мастиковых деревьев, припал к земле человек. Словно ягуар, он подстерегает добычу и мысленно рассчитывает силу прыжка, чтобы вцепиться ей в холку. То был Хуанчо; вот уже два месяца он обретался в Гранаде, скрываясь в цыганских пещерах, вырытых в откосах Сакромонте рядом с подземельями изгнанников[17]. За это время он состарился лет на десять; запавшие щеки, воспаленные глаза и почерневшее лицо выдавали в нем человека, снедаемого одним-единственным желанием: убить Милитону.



Раз сто — не меньше, ибо, уже давно дожидаясь удобного случая, никем не узнанный и не замеченный бродил он вокруг жертвы, — Хуанчо мог привести в исполнение свой замысел, но всякий раз ему не хватало духа.

Тореро знал, что каждый день, примерно в одно и то же время, Андрес и Милитона проходят этой дорогой, и, устраиваясь в засаде, давал себе самые страшные клятвы исполнить роковое намерение и покончить с изменницей раз и навсегда.

И вот он ждет. Заряженное ружье лежит рядом, и, прислушиваясь к отдаленному шуму шагов, Хуанчо повторяет про себя последний, решающий довод:

«Она погубила мою душу, я вправе погубить ее тело!»

В начале дорожки послышались беззаботные смеющиеся голоса.

Тореро вздрогнул, помертвел лицом и взвел курок мушкетона.

— Не правда ли, — щебетала Милитона, — можно сказать, что этот путь ведет в рай земной, — вокруг только цветы и благоухание, пение птиц и солнечные зайчики... Эта дорога прекрасна, и, что бы ни ждало нас впереди, будет жаль, когда она кончится!

С этими словами она поравнялась с роковой смоковницей.

— Как здесь хорошо, как прохладно! Какое счастье на душе, какая легкость в теле!

Невидимый зрачок мушкетона целился ей прямо в лицо, лучезарное и улыбчивое, как никогда.

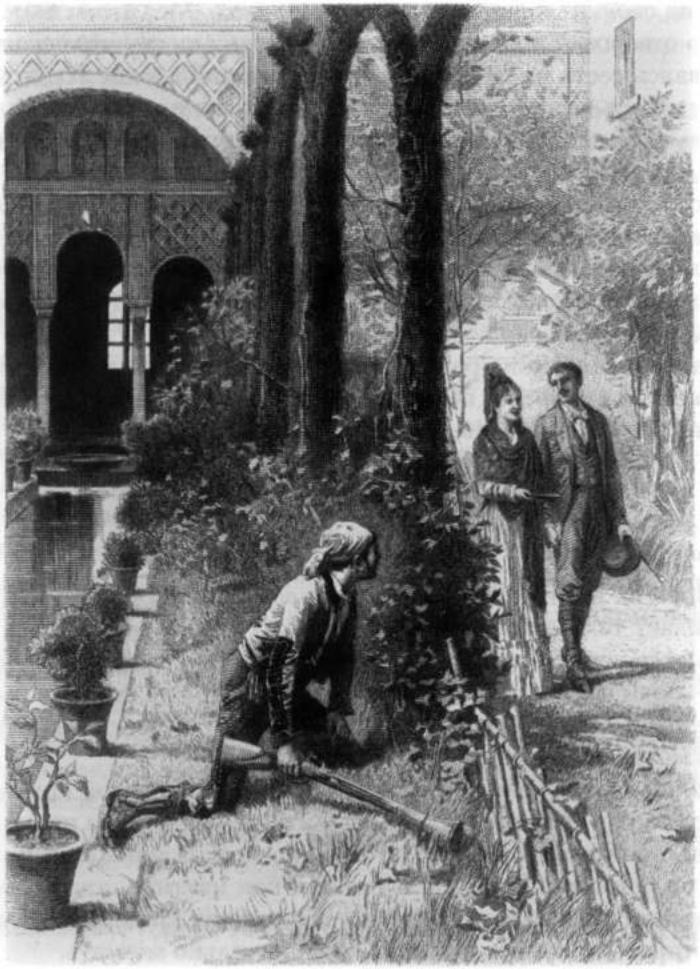
«Ну давай, смелее, — прошептал Хуанчо, положив палец на курок. — Лучшего момента не было и не будет. Она говорит, что счастлива, так пусть умрет с этими словами!»

Еще немного, и все будет кончено: дуло мушкетона, скрытое листвой, почти касалось уха Милитоны. Одно мгновение, и ее очаровательная головка разлетится на куски, одна секунда — и ее красота превратится в кровавое месиво из мяса и костей.

Прощай, божество... Но тут сердце Хуанчо чуть не разорвалось, туманная пелена упала на глаза; и, хотя эта заминка длилась не долее вспышки молнии, она спасла жизнь госпоже де Сальседо, так и не узнавшей, какая опасность ей угрожала; она закончила прогулку к Хенералифе в полной безмятежности.

«Ну и дела, — думал Хуанчо, удаляясь окольными тропками, — решительно, я самый распоследний трус. Моей храбрости хватает только на быков да на мужчин».

Некоторое время спустя распространилась молва о тореро, который являл на арене чудеса ловкости и бесстрашия; никогда еще не видели по-



добного безрассудства; поговаривали, что он приехал из Америки, из Лимы[18], и в те дни начал выступать в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария[19].

Андрес, прибывший вместе с женой в Кадис[20], чтобы попрощаться с другом, уезжавшим в Манилу, загорелся естественным для такого страстного, как он, aficionado желанием увидеть этого героя тавромахии. Несмотря на свою нежность и чувствительность, Милитона была не из тех жен, что отвергают подобные предложения, и они спустились на пристань, намереваясь сесть на пароход, курсировавший между Кадисом и Пуэрто[21], или нанять одну из лодок с нарисованными по обе стороны форштевня глазами, придающими их носовой части странную схожесть с человеческим лицом.

В порту стояли шум, гам и суета. Хозяева лодок отбивали друг у друга клиентов, чередуя заискивания и угрозы; крики, ругань, веселые шутки походили на беглый огонь, и ежеминутно какой-нибудь челнок, подставив ветру свой латинский парус[22], гусиным перышком выпархивал на хрустальную синь рейда.

Андрес и Милитона разместились на корме одного из таких суденышек, капитан которого, помогая молодой женщине забраться на борт, весело пропел фразу из песенки про быков из Пуэрто:[23]

Подними немножко
Маленькую ножку!

С моря на Кадис открывается потрясающий вид, порт действительно заслуживает тех похвал, что расточал ему лорд Байрон[24]. Так и хочется сказать, что серебряный город лежит меж двух сапфировых куполов. Кадис — край прекрасных женщин, но, несмотря на это, — сделаем нашей героине комплимент, — мужчины на Аламеде[25], завидев Милитону, восхищенно смотрели ей вслед.

Она и в самом деле выглядела неотразимо: в белой кружевной мантилье, с розой в волосах и шейным платком, заколотым на плечах двумя камеями, в корсаже с басонами[26] и бахромой на манжетах и проймах, в юбке с широкими оборками, в тонких, как паутина, ажурных чулках и хорошеньких атласных туфельках, облегавших крохотные точеные ножки, о которых, как поют испанцы, можно только мечтать.

Став состоятельной, Милитона по-прежнему любила испанскую моду и традиции, она не корчила из себя француженку или англичанку и, несмотря на то, что могла бы раздобыть самую лимонно-желтую шляпку на всем полуострове, ничуть не стремилась воспользоваться этой возможностью. Наряд, описанный нами выше, отлично доказывает, как мало ее интересовали парижские новинки.

Площадь в Пуэрто являла самое радостное и оживленное зрелище: ожидая начала корриды, испанцы в ярких разноцветных одеждах, ибо черный цвет тогда еще не заполонил всю Андалусию, прогуливались или сидели за столиками на постоялом дворе «Виста-Алегре»[27] и в соседних кабачках.

Среди мантилий мелькали головки в прекрасных пунцовых шалях, которые необычайно идут к матовой коже жительниц Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и Херес-де-ла-Фронтера[28].

Махо со свисающими из каждого нагрудного кармана куртки платками расхаживали гоголем, картинно опираясь на вару[29], некое подобие раздвоенной палки, или обменивались андалусадами[30] на своем певучем наречии, почти целиком состоящем из гласных.

Близился час корриды, и народ потянулся к площади, возбужденно обсуждая на ходу достоинства новоявленного тореро, который, если будет продолжать в том же духе и не напорется на рога, очень скоро превзойдет самого Монтеса, ибо он, как пить дать, одержим тысячью чертей!

Андрес и Милитона заняли места в ложе, и бой начался.

Знаменитый тореро был одет во все черное. Куртка, отделанная гагатом и шелковой вышивкой, своим мрачным великолепием гармонировала со свирепой, почти зловещей, физиономией; желтый кушак стягивал тонкую талию — тело гладиатора состояло сплошь из мускулов и костей.

Две-три морщины рассекали его смуглый лоб, их прорéзал скорее острый коготь забот, нежели лемех прошедших лет; ибо, хотя молодость и покинула это лицо, зрелость еще не оставила на нем своего отпечатка.

Внешность и осанка тореро показались Андресу знакомыми, но он никак не мог вспомнить, где и когда его видел.

Милитона же не колебалась ни секунды. Тореро мало напоминал прежнего Хуанчо, но она сразу же узнала его.

Разительная перемена, произошедшая с ним за столь короткий срок, напугала ее, наглядно доказав, сколь сильной должна быть страсть, раз она смогла испепелить этого человека из бронзы и стали.

Она быстро раскрыла веер, чтобы спрятать за ним лицо, и откинулась назад, коротко бросив Андресу:

— Это Хуанчо!

Но было поздно, тореро заметил ее и даже махнул рукой в знак приветствия.

— В самом деле Хуанчо! — воскликнул Андрес. — Бедняга сильно изменился, будто на десять лет постарел. Ага, так он и есть тот новый матадор, о котором столько разговоров: он снова взялся за свое ремесло!

— Милый, уйдем отсюда! — взмолилась Милитона. — Не знаю почему, но на душе у меня нехорошо; я боюсь: мне кажется, произойдет нечто ужасное.

— Да что страшного может случиться, — ну, кто-то из пикадоров не устоит на ногах или нескольким лошадям выпустят кишки?

— Боюсь, как бы Хуанчо не натворил беды — вдруг он опять впадет в бешенство?

— У тебя все не выходит из головы тот злосчастный удар навахой. Если бы ты знала латынь, — но, к счастью, она тебе неведома, — я бы тебе доказал, что этого не может быть, ибо закон гласит: non bis in idem*. К тому же у славного малого было время, чтобы успокоиться.

Меж тем Хуанчо творил чудеса; он словно считал себя неуязвимым подобно Ахиллу или Роланду:[31] хватал быков за хвост, заставляя их кружиться в бешеном танце; уперевшись ногой между рогов, прыгал и в мгновенье ока оказывался позади животного, срывал девизы, дразнил, вставал прямо перед бычьей мордой и с беспримерной дерзостью проделывал самые рискованные пассы мулетой.

Зрители исступленно ревели, восторженно аплодируя и в один голос повторяя, что подобной корриды не было со времен Сида Кампеадора[32].

Квадрилья[33], воодушевленная примером тореро, будто позабыла о всякой опасности. Пикадоры выезжали на самую середину арены, бандерильеро метали бандерильи с бумажными лентами без единого промаха. Хуанчо поспевал везде и всюду, искусно отвлекая внимание рассвирепевшего животного на себя. Один из чуло поскользнулся, и бык неминуемо распорол бы ему живот, если бы Хуанчо, рискуя собственной жизнью, не поспешил на помощь.

Он наносил удары сверху вниз, между лопаток, вонзая шпагу по самую рукоятку; быки, словно громом пораженные, падали к его ногам, и качетеро[34] даже не приходилось прерывать кинжалом агонию животного.

— Бог ты мой! — восклицал Андрес. — Монтес, Чикланеро, Архона, Лаби[35] и все прочие, держитесь крепче! Хуанчо всех вас превзойдет, если уже не превзошел!

Да, такое можно увидеть только раз в жизни: Хуанчо достиг всех мыслимых вершин мастерства, вытворяя нечто невообразимое. Андрес восторженно топал ногами, и даже Милитона не могла удержаться от рукоплесканий. Исступление публики достигло предела, каждое движение матадора приветствовалось неистовыми криками.

На арену выпустили последнего, шестого быка.

И тут произошло нечто неслыханное и невиданное: Хуанчо, умело обыграв быка неподражаемыми пассами мулеты, взял шпагу, но не вон-

---

* одно и то же не повторяется; за одно и то же не наказывают дважды (*лат.*).

зил ее в шею летевшего во весь опор животного, а размахнулся и с силой подбросил клинок в воздух. Сделав несколько оборотов, шпага воткнулась в песок шагах в двадцати от застывшего на месте тореро.

— Что он творит? — Зрители повскакивали с мест. — Это уже не смелость, это безумие! Что он задумал? Убить быка щелчком по носу?

Хуанчо, устремив к ложе Милитоны красноречивый взгляд, в котором сосредоточились вся любовь, все страдание и боль его души, неподвижно стоял на пути быка.

Зверь нагнул голову. Рог погрузился в грудь матадора и вышел обагренный до основания.

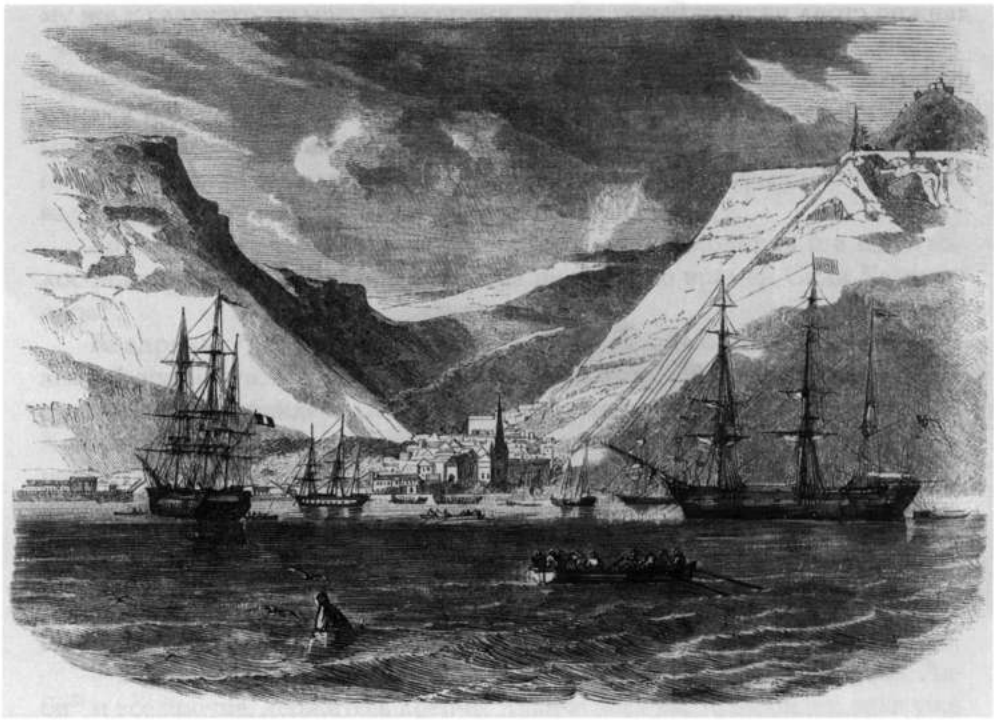
Тысячеголосый крик ужаса потряс небо.

Милитона, бледная как смерть, откинулась на кресла.

В это роковое мгновенье она

полюбила Хуанчо!





ДВОЕ НА ДВОЕ





Глава I

Тусклый ноябрьский рассвет еще только пробуждался, протирая заспанные глаза от сероватых облаков, а дядюшка Джорди уже вышел на порог своего постоялого двора и скрестил руки на толстом животе — красноречивом свидетельстве в пользу кухни «Рыжего льва».

Он стоял спокойно и уверенно, как человек, чувствующий себя хозяином положения и не опасающийся заскучать без работы, ибо «Рыжий лев» являлся на ту пору единственным постоялым двором на весь Фолкстон[1].

Во времена, к коим относится начало нашей повести, Фолкстон представлял собой небольшую деревушку со строениями из желтого кирпича или просмоленных досок, которая беспорядочно громоздилась на склоне прибрежного холма.

Дом Джорди был едва ли не самым красивым в округе. На углу здания на кончике изящного железного завитка покачивался от океанского бриза жестяной лев: из-за соленого морского дыхания вывеска быстро ржавела, и ее приходилось часто подкрашивать. Вот и сейчас она пламенела так же ярко и гордо, как лев с разинутой пастью на золотом поле старинного герба.

Джорди замечтался, но его мечты никак нельзя было назвать поэтичными. Он мысленно подсчитывал барыши за последний месяц, и, поскольку они на несколько гиней[2] превосходили обычную выручку, Джорди думал, что если так пойдет и дальше, то он сможет купить наконец соседний участок, безобразным клином врезавшийся в его владения.

Погруженный в сладкие грезы, он не замечал человека довольно свирепой наружности, который уже несколько минут стоял прямо перед ним. Не найдя, видимо, другого способа привлечь к себе внимание, незнакомец не выдержал и ткнул Джорди в живот, как это любят делать тощие, костлявые люди то ли в шутку, то ли из зависти к толстякам.

Джорди возмутился: он терпеть не мог фамильярности, тем более столь грубой и низкопробной, и не позволял ничего подобного даже близким друзьям и состоятельным клиентам. С удивительной для человека его телосложения ловкостью он отскочил от своего обидчика, а разглядев его одежду, никак не говорившую о достатке, мгновенно сделал мысленный подсчет: «Самое большее, что нужно этому проходимцу, так это кусок говядины, кружка пива и стаканчик виски, а дерзости набрался, будто знатный вельможа, который заказывает отменный ужин с пуляркой, кларетом[3] и шампанским. Пусть я недосчитаюсь шиллинга с мелочью, но я поставлю наглеца на место».

— Что это ты себе позволяешь, свинья, невежа, грубиян неотесанный? — рявкнул Джорди, а когда исчерпал все эпитеты, продолжил: — И кто только научил тебя так вести себя с приличными людьми? Я бы его не поздравил!

— Тише, тише, толстяк! Я тут торчал как вкопанный, словно грешник на Страшном суде! Раза три кашлянул, потом дважды назвал вас по имени, дядюшка Джорди, а толку что от винной бочки! Пришлось как-то обозначить свое присутствие, — насмешливо и безо всякой опаски или раскаяния ответил незнакомец, посмевший коснуться огромной утробы почтенного Фальстафа[4].

— Могли бы дать о себе знать более деликатным способом. — Возмущение Джорди еще не улеглось, но пыл уже поубавился от уверенного тона и жесткого взгляда незнакомца.

— Давай, гостеприимный слон, раскупоривай проход, если, конечно, хочешь, чтобы я проник внутрь «Рыжего льва» — лучшего и единственного постоялого двора в Фолкстоне.

Джорди неплохо разбирался в людях и прекрасно знал то жалкое выражение, что украшает лица обладателей пустых карманов. По независимым и спокойным манерам гостя он заключил, что, несмотря на скромную одежду, тот должен располагать кое-какими средствами и, пожалуй, закажет жаркое с французским или хотя бы канарским вином, а потому,

временно пожертвовав самолюбием, толстяк счел за лучшее посторониться и пропустить обидчика.

Обеденный зал «Рыжего льва» освещался четырьмя окнами с опускающимися рамами, которые после изобретения гильотины неизбежно вызывают в памяти этот гуманный инструмент, и был разделен несколькими деревянными перегородками на кабинеты, по форме и расположению походившие на денники в конюшнях. Дело в том, что англичане настолько любят уединение, что от взглядов посторонних им становится не по себе, и потому приходится создавать для них укромные места, чтобы они чувствовали себя как дома даже в трактире.

Между двумя рядами кабинетов пролегал присыпанный мелким желтым песком проход, упиравшийся в парадную стойку из экзотического дерева с медной инкрустацией; на гладкой поверхности стойки сияли шеренги оловянных стопок и кружек с крышками из полированного металла, сверкавшего точно серебро.

За стойкой поблескивало узкое зеркало в деревянной раме, и в нем отражалось множество расположенных под рукой у хозяйки краников, от которых тянулись шланги к выстроившимся в просторном погребе бочкам с пивом и другим спиртным.

Несколько гравюр в черных рамках по рисункам Хогарта, изобличающим разные пороки[5] (за исключением пьянства), довершали убранство этой части зала, похожей на алтарь.

Джорди и его гость, нимало не смущенный таким великолепием, направились к стойке, и трактирщик, в силу привычки угождать клиентам, но несколько более льстиво, чем хотелось ему самому, задал вполне обычный вопрос:

— Чего изволите, ваша честь?

— Карету и четверку лошадей, — как нечто само собой разумеющееся молвил незнакомец.

Пораженный столь несообразным требованием, хозяин «Рыжего льва» приосанился и с царственным презрением произнес:

— Сударь, я не люблю дурацких шуток, а тем паче злых шутников; вы уже посмели ударить меня по животу, и я даже не знаю, как расценить такую манеру, но иначе как фамильярной и неприличной ее не назовешь. Невзирая на столь вопиющую неучтивость, я позволил вам пройти в гостиницу «Рыжий лев», известную, осмелюсь заметить, во всем мире; я провел вас к этой стойке, где можно угоститься любыми прохладительными и горячительными напитками; я вежливо спросил вашу честь, чем могу услужить, а вы в ответ несете сущий вздор, полную околесицу. «Карету и четверку лошадей» — этот ответ никак не вяжется с моим вопросом и определенно доказывает, что вы намерены меня оскорбить!

— Ну и ну, дядюшка Джорди, эк вас понесло, смотрите не лопните! Сначала побагровели, потом позеленели, теперь посинели! Успокойтесь, у меня и в мыслях не было оскорблять столь почтенную особу, как вы. Я совершенно серьезен. Мне в самом деле нужен экипаж: карета, почтовая коляска, ландо[6], берлина[7] — не важно что, лишь бы в надежном состоянии. Сверх того мне требуются лошади, а поскольку я люблю ездить быстро, то прошу четырех, и непременно лучших, которым овса в вашей конюшне не жалели. И что тут несуразного?

Эти доводы показались Джорди вполне убедительными; и все-таки ему внушали недоверие одежда и внешность собеседника, о чем тот, видимо, догадался и потому достал из кармана увесистый кошель и слегка подбросил его на ладони. Чуткие уши Джорди сразу уловили в металлическом перезвоне чистый аккорд гиней, соверенов и полсоверенов без всякой режущий слух нотки серебра или меди.

Трактирщик, который все еще красовался в ночном колпаке, снял его и начал комкать в руках, пытаясь оправиться от смущения, — неужели он пытался поставить на место обладателя такого прекрасного толстого кошелька? Впрочем, глядя на дешевое платье скромного покроя, любой на его месте попал бы впросак.

— Ну-с, и за сколько этих желтых кругляшей вы отдадите мне одну из ваших карет? — спросил незнакомец, которого мы, дабы не усложнять повествование, назовем Джеком или Джоном, ибо как англичанин он просто обязан был носить одно из этих имен.

И наш Джек неторопливо выложил на стойке полукруг из золотых монет.

— Я бы уступил вам недорого двухместную коляску... но у нее лопнул обод и потребуется некоторое время на ремонт; еще есть ландо, но у него поломалась задняя рессора... — Трактирщик говорил, потирая одной рукой переносицу, а другой — поддерживая первую под локоть; такую позу художники и скульпторы всех времен относят на счет растерянной задумчивости.

— Почему вы не хотите, — прервал его Джек, — вместо всех этих допотопных рыдванов сразу предложить мне берлину оливкового цвета, обитую линкольном[8], с прекрасными шелковыми шторами на окнах?

— Мою оливковую берлину?! Но она мне так дорого обошлась! — воскликнул трактирщик, будто испугавшись грандиозности предложения. — Вы уверены, что вам нужна именно она?

— Да, уверен. Цена — не вопрос. Вы же согласитесь расстаться с ней, если получите больше, чем заплатили?

Обронив эти слова, Джек с видом знатного господина небрежно выложил на стойку еще десяток гиней и почти замкнул начатый золотой круг.

«Это переодетый вельможа», – сказал себе трактирщик, кивая в знак согласия на не допускающее возражений предложение Джека.

– Конечно, на таких условиях я уступлю, – произнес он вслух. – И когда, ваша честь, прикажете подать берлину?

– Немедленно. Велите форейтору одеваться и запрягать как можно быстрее.

– Две минуты, чтобы вывести карету из сарая, да еще десять – запрячь лошадей, – это будет двенадцать, плюс три минуты Джону-Коротышке, чтобы напялить куртку, прыгнуть в сапоги и навязать новый веревочный конец на кнутовище – итого, через четверть часа самый роскошный выезд в вашем распоряжении.

– Четверть часа, и ни минутой больше. – Джек вынул из кармана тяжелые серебряные часы. – Предупреждаю, за каждую минуту задержки ваше драгоценное брюхо получит по одному тумаку из тех, что так скверно влияют на ваше настроение.

Дабы избежать подобной неприятности, Джорди поспешил отдать необходимые распоряжения, а затем, следуя многолетней привычке, поинтересовался, не соблаговолит ли его честь чего-нибудь выпить.

– Стаканчик шерри или портвейна? А может, пунша из араки?[9]

– Ничего, дядюшка Джорди. Только не подумайте, что я не доверяю качеству ваших вин или вашей кухне.

– Вы случайно не из общества трезвости?[10] – удивился такой умеренности трактирщик.

– Ну, нет, до этого я еще не допился, – рассмеялся Джек. – Мне не нужен ни патер Мэтью[11], ни его проповеди. Но сегодня я дал обет воздержания.

«Какой-то папист, не иначе» – огорченно проворчал про себя трактирщик, которому подобный обет казался еще более опрометчивым, чем обет Иеффая[12].

– Что ж, тогда я, пожалуй, пропущу стаканчик за вас, – решил утешить себя Джорди.

– На здоровье. Я могу смотреть, как другие пьют, и не бояться нарушить слово. Чем сильнее искушение, тем почетнее устоять перед ним. Какой приятный цвет у вашего вина!

– Чистой воды рубин, сударь, а какой букет! Фиалки весной и те так не пахнут, – воодушевился трактирщик и поднес стакан к носу Джека.

Джек глубоко вдохнул в себя винный аромат и выдохнул со стоном.

Казалось, он вот-вот сдастся, и вино, достоинства которого он вполне оценил, одержит победу; Джорди уже поднес горлышко бутылки ко второму стакану, но Джек показал твердый характер и закаленную волю. В мгновение ока он взял себя в руки и, поднеся к лицу трактирщика часы,

уже отсчитавшие четырнадцать с половиной минут, с шутливой угрозой занес свой здоровенный кулак.

— Еще тридцать секунд, — запротестовал Джорди сдавленным голосом, съеживаясь и изо всех сил втягивая живот, что было для трактирщика трудной задачей, если не сказать невыполнимой.

Минутная стрелка наползала на пятнадцатую отметку; безжалостный Джек уже замахнулся, и Джорди, дабы защитить свои накопления, переплел руки похитрее, чем стыдливая Венера[13].

К счастью, донесшийся со двора стук колес оливковой берлины и щелчок кнута Джона-Коротышки положили конец сей тягостной и полной патетики сцене. Джек опустил кулак, а Джорди облегченно перевел дух.

— Я же обещал — ровно через пятнадцать минут! — вскричал он в горделивом упоении собственной пунктуальностью.

— Повезло же твоей требухе, толстяк, — бросил Джек, поднимаясь в карету и без малейшего почтения плюхаясь на зеленый линкольн.

— Куда прикажете, хозяин? — спросил форейтор.

— Сначала выедем за околицу, а потом я скажу, куда дальше, — ответил Джек, не желая, видимо, раскрывать истинную цель своей поездки дядюшке Джорди и нескольким зевакам, глазевшим на отправление берлины.

Миновав деревню, Джон-Коротышка обернулся к Джеку:

— Так что, хозяин, в Лондон?

— Отнюдь, приятель. Будь любезен — поезжай вдоль берега, пока я не прикажу остановиться.

Форейтор удивился, но послушался, ибо мистер Джек, даже когда шутил, имел весьма суровый и не терпящий возражений вид.

«Похоже, — решил Джон-Коротышка, — скоро мы подберем какую-нибудь юную мисс из соседнего загородного домика или поместья. Наверняка она где-нибудь притворяется, что любуется морем и рисует дальние дали, а на самом деле ждет не дождется, как бы поскорей запрыгнуть в экипаж. Похищение — это по мне; ведь влюбленные, боясь погони родственников или опекунов, хорошо платят, уж это как пить дать. Хотя нет, этот тип ничуть не похож на соблазнителя».

Несколько миль они следовали вдоль линии прибоя, на которую однообразными бесконечными волнами накатывало море, с глухим рокотом перемешивая отполированную его изнурительной работой гальку.

Неподалеку от довольно крутого белесого утеса, возвышавшегося над океаном, Джек крикнул: «Стой!», но Джон-Коротышка не заметил ничего, что могло послужить причиной остановки: вокруг, насколько хватало

глаз, не было видно ни домика, ни фермы, ни усадьбы, ни даже намека на дорогу.

Джек вышел из кареты, направился к обрыву и вскарабкался по нему с кошачьей ловкостью моряка или контрабандиста, используя малейшие неровности, цепляясь за кустики можжевельника и фенхеля, свисавшие с шероховатых скул утеса наподобие бородок; под изумленным взглядом Джона-Коротышки, не представлявшего, как можно проделать этакое без лестницы и веревок, он вскоре забрался на самый верх.

Услышав шорох, человек, лежавший ничком на голой скале так, что его нельзя было заметить снизу, оторвался от подзорной трубы, направленной в открытое море, и приподнял голову:

— А, это вы, Джек! Карета подана?

— Да, и запряжена четверкой прекрасных лошадей.

— Отлично. Корабль уже показался, все, как мы и договаривались: я опознал его по красному и желтому огням.

В самом деле, у горизонта, в том месте, где Ла-Манш расширяется к океану, на лазурной водной глади даже невооруженным глазом можно было различить маленькое пятно белого паруса, похожее на оброненное лебединое перышко.

— Ему пока мешает встречный бриз, но, когда корабль поймает попутный ветер, полетит словно птица, — добавил лежавший на скале человек, вновь приложив к глазу подзорную трубу. — Здесь зюйд-вест всегда как по заказу, будто покупаешь прямо у ведьмы бурдюк с ветром и в нужном месте опорожняешь.

Устроившись рядом с товарищем, Джек прильнул глазом к окуляру и начал разглядывать постепенно поднимавшийся над водой корпус корабля.

Наконец судно попало в полосу ветра, и тут же паруса, словно белые облака, заклубились вокруг мачт.

— Ух ты, да он за минуту разворачивает больше парусины, чем за год ткут десять ткачей Спитфилда[14], — восхитился Джек.

Ветер набрал силу, корабль накренился на один борт, как бы изящно кланяясь рангоутом[15] в знак приветствия, вздрогнул два-три раза, а затем, повинуясь приказам руля, обрел равновесие, и двойная бахрома пены заструилась вдоль его черных бортов.

— Красавец, ничего не скажешь! — с восторгом воскликнул Джек. — Лихо летит!

По-видимому, люди на борту не разделяли мнения Джека и были недовольны скоростью брига[16], так как вскоре они развернули еще и брамселя[17], а перед двумя наполненными бризом парусами фок-мачты[18] нарисовался треугольник кливера[19].

– Смотрите, Макгилл, – Джек передал подзорную трубу, – похоже, они вывесили все свои тряпки, лишь бы не потерять ни одного дуновения; черт меня побери, если они не делают сейчас пятнадцать узлов.

Под усиливающимся напором ветра корабль приближался так быстро, что через несколько минут уже без всяких оптических приборов стали видны все его детали.

– Ну и ну! Они с ума сошли? Или капитан осушил целый бочонок пунша? – вскричали разом Макгилл и Джек, увидев, как, словно крылья чайки, по бокам от прямых парусов раскрылись, касаясь воды, нижние лиселя[20].

– Если они продолжат в том же духе, – восхищенно произнес Макгилл, – то либо взлетят над водой и понесутся по воздуху, либо перевернутся. Ну и удалец! Хорошо идет! Ни одна мачта не гнется, ни одна снасть не трещит. Такого хода не покажет ни контрабандист, удирающий от сторожевиков, ни купец с грузом золота и кошенили[21], спасающийся от пиратов! Можно подумать, речь идет об их жизни – однако я не вижу на горизонте никакого другого паруса.

– Капитан Пепперкул знает свое дело; и если он пришпоривает свой бриг, значит, торопится или же эта скорость очень щедро оплачена; не стал бы он задаром рисковать потерей всего снаряжения в соленой водичке. Он, конечно, любит море, но не настолько, чтобы пробовать его на вкус, – изрек Джек. – И не зря же мы здесь торчим, не зря же мне велели купить берлину у этого юродивого харчевника.

– Да простит меня Господь, Джек, – крикнул Макгилл, – но они ставят клотики[22] с флажками на всех мачтах!

– Да, на «Красотке Дженни» теперь не осталось и носового платка. Все, что можно, подняли!

– Я, хвала Всевышнему, не боюсь воды, но мне греет душу, что я сейчас здесь, на твердой скале, а не на капитанском мостике!

От избытка парусов мачты изогнулись как луки, а нос брига почти зарылся в волны и на палубу обрушились высокие пенистые буруны, похожие на стружку из-под рубанка сильного и искусного плотника.

– Сейчас мачты рухнут, – охнул в высшей степени взволнованный Макгилл.

Но мачты устояли, и бриг, будто оседлав вихрь, вскоре оказался недалеко от берега; в мгновение ока паруса опустились, обнажив изящный такелаж[23], и судно потеряло ход.

От борта «Красотки Дженни» тут же отделилась шлюпка и в несколько гребков доставила на сушу человека, пребывавшего, казалось, в полной ярости и сильнейшем нетерпении.

– Полчаса опоздания, – негодовал он, ступив на землю и посмотрев на часы. – Где коляска?

Джек и Макгилл, спустившиеся к тому времени со скалы, проводили его к берлине.

Как только он устроился внутри, Джон-Коротышка задал свой обычный вопрос:

– Куда едем, мистер?

– В Лондон, и пулей! Получишь три гинеи, только гони!

Карета молниеносно сорвалась с места, и ее колеса заискрились, будто у огненной колесницы Ильи Пророка[24].

Глядя вслед удалявшейся берлине, Джек не удержался от мудрого изречения:

– Уродись этот торопыга черепахой, удавился бы от горя.

Глава II

Слов нет, чтобы выразить, до чего возрадовался Джон-Коротышка столь щедрому обещанию: три гинеи! Он вдохновенно исполнил кнутом серию щелчков, хлопков и ударов, звучавшую точно перестрелка между двумя войсками, и, надо отметить, форейтор из Фолкстона был настоящим виртуозом по части подобной музыки.

От этой ужасной пальбы и ударов кнута, выжигавшего причудливые арабески[1] на их спинах, перепуганные лошади рванули во весь опор и помчались неистовым аллюром. Колеса бешено закрутились, и их спицы слились в сплошные сверкающие диски.

Незнакомец застыл в углу кареты, как сильный духом человек, укротивший свою ярость и нетерпение ввиду естественных и непреодолимых обстоятельств, каковыми являются время и пространство; его ладонь, лежавшая на колене, сжимала часы, и он с беспокойством следил за их стрелкой, то и дело поглядывая в окошко и вычисляя скорость, с которой исчезали в узком проеме деревья.

«Возможно, мы наверстаем потерянные полчаса, если только лошади хоть какое-то время выдержат этот темп», – со вздохом и надеждой пробормотал таинственный персонаж.

Пусть наш герой очень спешит, но он вполне заслуживает, чтобы мы обрисовали его хотя бы несколькими штрихами.

По его холодному правильному лицу, на котором лежал отпечаток ума и воли, было видно, что он еще молод и ему не больше двадцати шести – двадцати семи лет. Нижняя часть лица, покрытая несколькими слоями загара, говорила о продолжительных путешествиях по Востоку и

жарким тропикам, так как родился чужестранец явно не смуглолицым: едва заметная под тонкими светлыми кудрями полоска лба, защищенная шляпой от палящих лучей полуденного солнца, сохранила и атласную белизну, и свежесть цвета, присущую лицам северян.

Этот легкий набросок не дает возможности определить, какое положение занимает в обществе господин, восседающий на подушках оливковой кареты дядюшки Джорди, а сей почтенный трактирщик, наверное, горестно застонал бы, если бы только увидел, как обращается Джон-Коротышка с его лошадьми и любимой берлиной.

Военным этот спешащий седок явно не был, ибо не обладал той чопорной выправкой, поставом головы и характерным разворотом плеч, по которым даже под гражданским платьем можно безошибочно распознать сыновей Марса. Священником — тем более. Его лицо, достаточно серьезное и задумчивое, не носило отпечатка кротости и слащавой обходительности, присущего служителям церкви. А на купца он и вовсе не походил. Ясный лоб его не пересекала ни одна из тех морщин, что появляются от мучительных раздумий над вероятностью повышения или понижения цен на сахар. И хотя было видно, что это не денди, одного взгляда хватало, чтобы понять: перед вами истинный *джентльмен*.

Какие неотложные дела заставили его лететь галопом в Лондон так, будто от каждой минуты зависело спасение мира? Убегал он или преследовал? Этот вопрос мы пока оставим без ответа.

Лошади начали уставать. С упряжи полетели клочья белой пены, а груди покрылись серебристой испариной, как у морских коней в триумфах Нептуна и Галатеи[2]. Струи обжигающего воздуха вырывались из ноздрей и под напором ветра смешивались с паром, валившим от разгоряченных тел. Экипаж летел в облаке пыли, будто колесница мифического божества.

Несмотря на страстное желание заработать три гинеи, Джон-Коротышка терзался сомнениями: что будет, если он загонит лошадей? Страх перед дядюшкой Джорди на несколько мгновений победил вполне простительную корысть. Кроме того, сердце Джона-Коротышки, сердце настоящего англичанина и лошадника, обливалось кровью, он страдал, видя, как задыхается и истекает потом его любимец Блэк. Кучер-француз посмеялся бы над подобной слабостью.

Для очистки совести Джон-Коротышка немного приподнялся в седле, обернулся, придерживаясь одной рукой за круп лошади, и крикнул:

— Ваша милость желает загнать лошадей и потом заплатить за них?

— Да, — отозвался незнакомец, прервав свои размышления.

— Отлично! Как вам угодно.

И, вжавшись в седло, форейтор нанес своей подседельной страшный удар кнутовищем; взвившись от боли, лошадь понесла из последних сил, увлекая за собой всю упряжку. Отчаянная скачка продолжалась под непрестанные щелчки кнута, который давно вывалился бы из рук менее искусных, чем у Джона-Коротышки.

Незнакомец не отрывал взгляда от циферблата часов; он не обращал ни малейшего внимания на слегка позолоченные осенью чудные пейзажи, на миловидные домики и деревья, освещенные ласковым рассветом, в общем, выказывал полное равнодушие к изящной прелести английской природы. Окружающие красоты ничтожно мало занимали его в тот момент, хотя седок явно не принадлежал к классу толстокожих обывателей и буржуа. Им владела одна-единственная неотвязная мысль: успеть, не опоздать.

Почувствовав, что Джону-Коротышке, забывшему о страхе и угрызениях совести, удалось придать упряжке новое ускорение, наш нетерпеливый путешественник с облегчением вздохнул, перестал морщить лоб и спрятал часы в карман.

«Что ж, — пробормотал он вполголоса, — похоже, я прибуду вовремя, несмотря на козни случая, который во всем этом деле будто забавы ради беспрестанно встает на моем пути. Не скажу, что я безвольно отступал перед препятствиями, созданными людьми, но мной играла сама судьба. Она делала все, чтобы помешать: корабль с письмом об интересующих меня событиях, с письмом, получив которое я должен немедленно покинуть Индию, около Мальдивских островов грабят яванские пираты! И долгожданные сведения я получаю только со второй почтой. Фрахтую самый быстроходный парусник, какой только можно отыскать в Калькутте, но страшная буря на целую неделю задерживает нас в Баб-эль-Мандебском проливе.

Половина моего экипажа в ужасных мучениях погибает от синей холеры, подхваченной в устье Ганга, а в Красном море свирепствует чума и Суэцкий перешеек перегораживают все мыслимые карантины. Прямо на верблюжьем горбу я пишу бравому Макгиллу письмо, которое, должно быть, дошло до адресата истрепанным, будто старая мочалка, провонявшим уксусом и хлоркой, сплошь покрытым разноцветными штампами и надписями. Санитары всех кордонов, наверное, в почтительном ужасе и исключительно пинцетами передавали его друг другу, боясь лишний раз притронуться к «чумному» конверту.

Рискуя получить ружейную пулю, я преодолеваю карантинные барьеры, ибо чума опасалась холеры. Странная мнительность! К счастью, мне удается разыскать на дрейфе неподалеку от Александрии корабль отважного капитана Пепперкула, не боящегося никакой заразы. Не устояв пе-

ред огромной суммой денег, он любезно соглашается взять меня на борт и довезти до Англии, а затем старательно обходит порты, закрытые на карантин.

В жизни мне не доводилось так волноваться, как в этом проклятом путешествии. Обычно невозмутимый, сейчас я веду себя словно истеричка, бьющаяся в припадке из-за того, что муж отказывается потакать ее безумным капризам. Но вот я уже близок к цели. Мое послание опередило меня, надеюсь, на сутки, и всё должно быть готово. Сейчас уже девять; через два часа, в условленное время, я буду в Лондоне».

— Эй, приятель, — будто в заключение своего монолога крикнул он, опуская стекло, — мы что, сбавляем ход?

— Милорд, можно мчаться быстрее, если впрячь библейских грифонов[3] или пересесть в огненную колесницу Ильи Пророка, но из этих бедных животных ни один человек, пообещайте ему хоть золотые горы, не смог бы выбить большего, чем я, — слегка обернувшись, горделиво и даже с некоторой обидой ответил славный малый.

Из вежливости Джон-Коротышка, знавший, как следует вести себя со знатными особами, решил пойти навстречу необыкновенному путешественнику и два-три раза щелкнул кнутом; но, как он и предвидел, этот прием потерял свою действенную силу: обессилевшие животные уже ничего не чувствовали и даже не вздрогнули от боли или возмущения.

Вскоре лошадь, бежавшая рядом с той, на которой восседал Джон-Коротышка, и хрипевшая, точно кузнечные мехи, покрылась пеной; шерсть ее вздыбилась, голова поникла, а ноги сбились с галопа; она неуверенно пошатнулась, споткнулась, навалилась на своего товарища по хомуту плечом, а затем, не выдержав, и всем боком; упряжка неслась во весь опор, и загнанное животное еще довольно долго волочилось за ней, вспахивая дорожную пыль. Джон-Коротышка приостановил упряжку, дернул поводья и нанес Блэку несколько сильных ударов кнутовищем, еще надеясь поднять коня; но в этой жизни Блэку уже не суждено было никого возить. Его бока, мокрые, будто омытые небесными или морскими водами, затрепетали в последней судороге; нестерпимая боль приподняла его, и он сделал несколько шагов в сторону от дороги, увлекая за собой экипаж. Он походил на фантомов понурых и израненных боевых коней, что выбираются из груды мертвых тел, оставшихся на поле битвы.

Почуяв смерть, лошади, несмотря на все усилия Джона-Коротышки, до крови раздиравшего им губы, в ужасе потянулись за Блэком.

В тот момент, когда сошедший с курса экипаж уже накренился, Блэк рухнул как подкошенный, будто невидимые ножи разом перерезали ему сухожилия на всех четырех ногах; его дикие глаза затуманились и покры-

лись голубоватыми бельмами; из окровавленных ноздрей хлынул поток пены, ноги вытянулись и одеревенели, словно палки.

Блэку пришел конец! Добрый был конь, достойный лучшей участи!

На это событие ушло гораздо меньше времени, чем на его описание.

Седок мгновенно выскочил из кареты, лицо его не обещало ничего хорошего.

— Этого только не хватало! — воскликнул он, в ярости пнув ногой труп Блэка. — Жалкая кляча! Лежит пластом, как газетная вырезка! Не могла околеть десятью минутами позже? Давай снимем быстренько с этой падали постромки — я вижу вон там почтовую станцию, скорее туда!

Чужестранец ободряюще хлопнул по плечу спешившегося Джона-Коротышку и недолго думая начал развязывать петли и ремни, ловко управляясь с хитросплетениями конской сбруи, запутанной отчаянными судорогами бедняги Блэка. Форейтор, поначалу обиженный столь черствым отношением незнакомца к погибшей лошади, проникся к нему неподдельным восхищением и уважением, хотя был крайне скуп на подобные чувства.

— Какая жалость, что вы лорд! — сказал он иностранцу. — Вы неплохо зарабатывали бы в нашем ремесле; но для вас, наверное, лучше быть лордом. Бедный Блэк! — продолжал он, снимая уздечку. — Кто бы знал еще сегодня утром, что ты жуешь последнюю горсть овса... Что ж, все там будем!

Последние слова прозвучали не особо красноречиво, зато от сердца; глаза Джона-Коротышки влажно блестели, и если бы он время от времени не прикладывал к векам потертый отворот рукава, то между выдубленной холодом и ветром щекой и красным от вина носом наверняка просочилась бы слеза.

Душа Блэка, если таковая, конечно, имеется у животных, должна была умиротвориться и простить Джону-Коротышке удары, которые он порой несправедливо наносил телу, служившему ей вместилищем, ибо этот форейтор, не умевший расточать всякие нежности, являлся самым нечувствительным из всех, кто когда-либо протирал лосины о заднюю луку седла.

— Вперед! — резко бросил иностранец.

Джон-Коротышка вспрыгнул на свое место, и экипаж помчался, возможно, не так стремительно, как раньше, но на вполне приемлемой скорости.

Через несколько минут они были на станции, и незнакомец, вынув из кармана полную горсть золотых, торопливо высыпал ее в мозолистую ладонь форейтора.

— Держи, — сказал он, — это тебе и за труды, и за коня.

Ошарашенный Джон-Коротышка начал было благодарственный монолог сложнейшей конструкции, но вдруг прервал его, резко вскрикнув на полуслове, словно на него снизошло нежданное озарение, и обратился к конюху, отиравшемуся подле экипажа:

— Эй, Смит! Окати-ка колеса водой; видишь, как разогрелись, вот-вот запылают.

И в самом деле, оси курились легким дымком, будто в доказательство того, что опасения Джона-Коротышки не так уж беспочвенны.

Смит, посмотрев на пар, валивший от ступиц, почесал в затылке:

— Ты глянь, и впрямь. Не иначе, Джон-Коротышка, важную шишку ты сегодня везешь. Правду сказать, если без обид, давненько у тебя колеса не горели. Он хоть щедрый, твой седок?

— Как лорд-мэр, вступающий в должность. Щедрый-то щедрый, зато очень нетерпеливый. Так что шевелись.

Смит во всю прыть помчался за ведром, зачерпнул воды из каменного корыта и обильно полил колеса. В это время остальные конюхи быстро и сноровисто впрягли в экипаж четверку полных задора сильных лошадей. Новый форейтор прыгнул в седло, а нарочный на резвом скакуне отправился вперед, дабы загодя приготовить подставу; Джек, более сведущий в морском деле, нежели в путешествиях по суше, не додумался позаботиться об этом заранее.

Берлина дядюшки Джорди вновь полетела по дороге, как будто ее уносили гиппогрифы[4].

Возвращаясь с тремя лошадьми домой, Джон-Коротышка на несколько минут задержался у брошенных на обочине останков Блэка.

— Увы, — вздохнул он, — излишнее рвение — вот что его сгубило. Тянул в одиночку. Вам, остальным, такая смерть не грозит; ух, стадо бездельников, ленивый сброд! — Он выругался, и его кнут заплясал по серым в яблоках дородным крупам троих выживших, но еле вздрогнувших в ответ на это нравоучение коней. — Уж вы-то, будьте покойны, от усердия не сдохнете.

Чтобы не возвращаться более к этому интересному малому и поспеть за бешено скачущим в Лондон незнакомцем, отметим лишь, что прямодушный Джон-Коротышка отдал дядюшке Джорди половину суммы, полученной от иностранца за Блэка. Менее добропорядочные форейторы, скорее всего, без зазрения совести оставили бы себе две трети.

На следующих станциях ничего особенного не случилось. Оливковая берлина катила на предельной скорости по великолепным английским дорогам, ровным, как стол, и ухоженным лучше, чем аллеи в наших королевских парках.

На горизонте уже висела обычная для Лондона дымка, которая радовала нашего путника куда больше, чем роскошь венецианской лазури.

– Вот он наконец-то, старый адский котел, – удовлетворенно заметил незнакомец, потирая руки, – мы почти на месте!

Коттеджи и дома, поначалу разрозненные, постепенно сбивались в плотную массу, и вдоль дороги возникали наброски улиц. Высокие кирпичные заводские трубы, похожие на египетские обелиски, уходили в серое от тумана небо, извергая черные клубы дыма. Над лесом труб, как мысли о Боге над земной суетой, возвышались четыре шпиля мрачной башни Спасителя, остроконечная игла церкви Святой Троицы и приземистая колокольня Святого Олафа.

За передним планом, занятым треугольными крышами и похожим на зубчатый край пилы, и за причудливо запутанными корабельными мачтами сквозь синеватую дымку, стелившуюся над рекой, различался смутный силуэт лондонского Тауэра и гигантский собор Святого Павла – британское подобие римского собора Святого Петра, которое благодаря туману, слегка затушевавшему его контуры, выглядело довольно сносно.

То ли пейзаж был слишком хорошо и давно знаком нашему герою, то ли заботы подавили в нем всякое любопытство, но он обращал внимание на мелькавшие за окошком здания лишь затем, чтобы понять, сколько еще осталось до конца пути.

Экипаж промчался по мосту Саусворк, громыхая, будто колесница Салмонея на бронзовом мосту[5], поднялся по другому берегу реки к Стрэнду, затем углубился в лабиринт маленьких улочек, что тянутся вдоль Темзы, и неподалеку от церкви Святой Маргариты[6] остановился на углу одного из тех узких проулков, что называются в Лондоне lane.

Иностранец взглянул на часы, и будто тяжкий груз свалился с его плеч.

Стрелка указывала на одиннадцать.

Он проехал двадцать лье за три часа.

С облегчением взглянув на Святую Маргариту, он решительно направился в мрачный и неприветливый проулок, погруженный в тень от церкви и прилегающих домов.

Едва он сделал несколько шагов, как от стены отделился мужчина, чья выцветшая одежда почти сливалась с каменной кладкой. Догнав нашего путешественника, он еле слышно спросил:

– Вы прибыли по интересующему нас вопросу?

– Да, у меня есть рекомендации от Макгилла, Джека и капитана Пепперкула, – шепотом ответил незнакомец.

– Следуйте за мной. Все готово.

Вдвоем они подошли к невзрачному на вид дому, где их явно ждали, поскольку дверь сразу бесшумно распахнулась и так же тихо закрылась.

Пока оливковая берлина дядюшки Джорди со скоростью молнии мчалась по дороге на Лондон, «Красотка Дженни» не болталась без дела. Приняв на борт Макгилла и его товарища Джека, корабль поймал легкий бриз и продолжил свой путь на север; обогнув мыс Шекспира, он прошел мимо Дила и Доконса и, следуя вдоль белесой линии отвесных скал, поднялся до Рамсгита;[7] затем, войдя в устье Темзы, остановился на траверзе[8] Грейвсенда и на закате бросил якорь позади флотилии угольщиков из Халла[9] — увидев их черные паруса, отец Тесея умер бы от горя[10]. Благодаря своему тихому и безмятежному виду бриг казался здесь самым законопослушным судном, ожидающим прилива, чтобы подняться к Лондонскому мосту и спокойно предъявить на таможне свой легальный груз.

Однако высота мачт, размах рей, точеный профиль корпуса, явно жертвовавшего вместительностью в пользу быстроходности, несмотря на ухищрения, выдавали в «Красотке Дженни» легкость и маневренность, которых и в помине нет у судов, предназначенных единственно для перевозки мелассы[11]. Зато ни один капитан не мог, как капитан Пепперкул, предъявить столь правильно оформленных документов.

Глава III

Хотя мы привели читателя к зданию, которое выглядит не слишком привлекательно, надеемся, он соблаговолит под нашим руководством опередить на несколько шагов незнакомца и его проводника и проникнуть внутрь.

На первый взгляд в этом доме не было ничего особенно отталкивающего и он казался похожим на все остальные строения по той же улице. Однако его узкий, сдавленный крупными соседями фасад чувствовал себя как будто неловко и стесненно, точно прохвост, попавший в приличное общество. Стены здания из грязно-желтого кирпича выглядели словно мертвенно-бледный ночной гуляка рядом с румяными и выспавшимися домочадцами. Из боязни окриветь или окосеть сие жилище предпочло ослепнуть. Все окна были закрыты, никто не выглядывал из них наружу, и никто не мог заглянуть внутрь.

По лондонскому обыкновению, небольшая канава, прикрытая решеткой, отделяла дом от мостовой; эта решетка, сплошь покрытая той неуловимой угольной пылью, что постоянно сеет с английского неба, была черной, как могильная ограда, и свидетельствовала о глубоком небрежении к комфорту или хотя бы чистоте со стороны хозяев либо съемщиков, если,

конечно, в этом доме кто-нибудь жил, поскольку ничто в нем не говорило о присутствии людей. Из трубы не валил дым, а медной кнопки звонка, покрытой пылью и зеленым налетом, похоже, давным-давно никто не касался; эти дремлющие и омытые дождями угрюмые стены не подавали ни малейших признаков жизни.

Внимательный наблюдатель, приглядевшись, заметил бы, что на каждом этаже находятся всего два окна, а значит, за ними, скорее всего, скрывается только одна комната или лестничная клетка. В то же время сильно стоптанные угловатые каменные ступеньки крыльца свидетельствовали о том, что ими пользуются гораздо чаще, чем можно было предположить, судя по скромным размерам этой развалюхи. В общем, становилось понятно, что сей молчаливый и небогатый фасад служит маскировкой для какого-то другого здания, расположенного в глубине, а сам дом является, так сказать, проходной.

В самом деле, дверь вела в длинный, мрачный и затхлый коридор, который едва ли когда-нибудь проветривали; там царили зловоние и холод — могильная атмосфера подземелья или тюрьмы; стены этого узкого прохода на высоте человеческого роста отсвечивали сальными следами множества рук, нащупывавших дорогу в полутьме. Под ногами хлюпала грязь, местами вязкая, местами затвердевшая, ясно было, что здесь прошло немало испачканных дорожной глиной подошв. Свет, сочившийся сквозь желтые стекла витража над дверью, постепенно затухал, и далее приходилось продвигаться в полной темноте. Возможно, коридор тянулся вдоль толстых кирпичных стен соседних зданий и потому в нем не было ни одного бокового окна; вполне вероятно также, что кое-где он уходил под землю, ибо то слева, то справа по камням сочилась вода.

Человек, впервые попавший в эти катакомбы, из-за частых поворотов очень скоро терял представление о том, куда он идет и откуда.

Уверенно, но осторожно незнакомец следовал за своим молчаливым и серым, как стены, проводником. Не торопясь, шаг за шагом, иностранец переступал с одной ноги на другую, только убедившись, что нащупал надежную опору. Нет, он не опасался ловушек вроде потайного люка, поскольку шел вторым, но его пронимал тот смутный страх, что охватывает даже самых отважных в темноте и холоде под низким сводом тесных стен.

Время от времени невольным движением руки он проверял, удобно ли висят под плащом два небольших пистолета.

И вот вдалеке постепенно проступило несколько красноватых полос: сквозь щели плохо подогнанной двери в темный коридор просачивался свет.

Проводник пискнул по-крысиному, очевидно подавая условный сигнал.

Послышался металлический лязг засова, и через приоткрытую дверь хлынул поток света.

На правах повествователя мы проникнем за эту дверь раньше нашего героя. Его там явно поджидали, хотя, честно говоря, очень трудно понять, какого рода отношения могли связывать молодого человека благородного вида с подозрительными хозяевами странного притона.

В этом довольно обширном помещении первым бросался в глаза старинный камин, в котором, озаряя комнату яркими языками пламени, трещал каменный уголь, и, если бы не горящий в очаге огонь, разглядеть здесь что-либо было бы почти невозможно. Свет, точнее тусклый сумрак, поступал через единственное полуподвальное окошко, нижнюю часть которого кто-то тщательно замазал мелом. К тому же окно это выходило в один из тех мрачных колодцев, которые в больших городах почему-то называются дворами; сквозь оставшиеся незакрашенными стекла виднелись только козырьки и черепичные крыши крикливых цветов, беспорядочные дымоходы и черные лестницы — в общем, вся изнанка нищих и гнусных трущоб.

Обшарпанные стены в верхней своей части кое-где еще сохранили следы темно-красной, цвета свернувшейся крови, краски, а весь низ обитатели этого места в минуты ожидания или досуга исчертили гвоздями или ножиками так, что получилось целое собрание рисунков и арабесок самого причудливого толка, их белые линии выделялись подобно изображениям на этрусских вазах, демонстрируя искусство столь же подлинное, сколь и примитивное.

Излюбленной темой неизвестных художников, чаще всего повторявшейся среди прочих фантазий, являлась, следует признать, виселица с покачивающимся на ней плодом. Что стояло за этим выбором: хорошо знакомое зрелище или же то, что английская виселица — три столба под треугольником перекладин — столь живописна, что не оставляет равнодушными даже неумелых рисовальщиков, — вопрос спорный. Точно одно: при всей своей грубости рисунки отличались отменной достоверностью и точностью деталей. Несмотря на чудовищные анатомические вольности, выражения лиц и позы вздернутых фигурок поражали ощутимым правдоподобием, недоступным даже самому передовому искусству, а скользящие петли сидели там, где положено, выдавая в авторах завсегдатаев театра Тайберна[1].

Эти гротески, набросанные с какой-то жуткой жизнерадостностью, вызывали и смех, и дрожь. Виселицы перемежались чертежами, планами и продольными разрезами Ньюгейтской тюрьмы[2], которые при всей их архитектурной приблизительности говорили о доскональном знании этих не столь отдаленных и незабываемых мест. Рядом с чертежами в глаза ко-

ронованным львам и прочему апокалипсическому зверью ухмылялись мужчины с причудливыми профилями и трубками в зубах; фантастические, как у делла Беллы, корабли[3] переваливались с боку на бок на волнах буных морей. Все рисунки отличались крупными штрихами и отсутствием всякого почтения к соседним бессмертным творениям; даты, цифры и буквы самого легкомысленного начертания дополняли эту невообразимую тарабарщину, где единственными удобочитаемыми словами были «лень», «грех» и «преступление».

Не одни лишь фантазеры-любители украшали это странное логово; поистине искусные руки чувствовались в раскрашенных деревянных гравюрах, представлявших золотой подсвечник с семью символическими ветвями[4], целомудренную Сусанну и старцев[5], портрет Георга III[6], возвращение блудного сына, основные боксерские стойки, подвиги Джека Шеппарда и Джонатана Уайлда[7] – этих Сида[8] и Бернардо де Карпио[9] из плутовских романов, петушиные бои и схватки знаменитых бульдогов, скачки в Эпсоме и Ньюмаркете[10] и т. д. и т. п.

Убийственно жаркий воздух, насыщенный миазмами горящего угля, табачным дымом и едким запахом виски, душил все живое в помещении, требуя от тех, кто в нем находился, необыкновенно выносливых органов обоняния.

Меж тем все собравшиеся, казалось, вовсе не страдали от духоты и вони. Напротив, их заурядные физиономии свинцового оттенка лучились явным самодовольством.

Трое из них щеголяли черными фраками, атласными жилетами и цилиндрами; прежде чем попасть к ним, эти одеяния, пошитые, вероятно, еще при красавчике Браммеле[11], побывали, должно быть, во многих странствиях и переделках. Потрепанные, но в прошлом модные, обноски, скроенные когда-то из дорогого шелковистого сукна, при всей своей ветхости, еще хранили очертания их первых владельцев-денди и выглядели нелепой и грустной карикатурой, безмолвной сатирической поэмой, полной насмешки и укоризны.

Зато четвертый вовсе не походил на обнищавшего светского льва. Красная льняная рубашка, куртка из просмоленной парусины, кожаная фуражка со шнурком, заменявшим подбородный ремешок, – в общем, он был одет как простой моряк.

Выражение возвышенной отваги заставляло забыть о грубости и простоватости его черт, а светло-голубые, ледяные, словно полярные моря, глаза светились недюжинным умом.

Собеседники, надо сказать, обращались к нему не без почтения, хотя все сидели за одним столом и дружно поглощали крепкое пиво из бочонка.

– Ну что, Сондерс, – сказал один из людей в черном матросу в красной рубахе, – час близок; ваш джентльмен, на которого мы будем работать, должен вот-вот появиться.

– Да, – лаконично подтвердил Сондерс. Не забывая про пиво, он разминал в ладонях какую-то черноватую массу, зажатую между двумя тряпками.

– Вы его знаете, этого джентльмена?

– Нет, – коротко ответил Сондерс, явный приверженец односложного стиля.

– Ясно, – как бы завершая беседу, заключил персонаж в черном и задумчиво облокотился на стол.

Сондерс поднялся, подошел к камину и поднес к огню темную субстанцию, разложенную им на материи в форме маски.

– Это что, маскарадный костюм? Мы идем на бал к красавице Нэнси? – спросил все тот же любопытный говорун.

– Это, Нолл, кляп для твоей глотки. Руки так и чешутся заткнуть ее, а то чересчур много болтаешь, – проворчал Сондерс с добродушием белого медведя, задетого багром китобоя. – Чем языком чесать, иди лучше открой люк, крикни, может, остальные уже подошли.

Нолл направился в угол, сдвинул сундук и несколько свертков, нашел кольцо, вмурованное в пол, и с помощью своего товарища Боба поднял тяжеленную крышку люка.

В комнату ворвался поток сырого холодного воздуха.

Боб придерживал крышку, ухватившись за нее тощими и кривыми, но сильными руками.

Встав на колени, Нолл сунул голову в подпол. Внизу царила кромешная тьма, однако сила холодного воздушного потока говорила о том, что это не просто подвал, и, кроме того, прислушавшись, можно было различить отдаленный плеск воды.

– Тишина, – сказал Нолл через какое-то время, – надо подать сигнал.

Его певучий гортанный голос разлетелся по глубинам подземелья, но в ответ доносилось только эхо.

– Ну и ладно, – сказал Сондерс, – они нам пока не нужны, а долго торчать в этой душегубке приятного мало.

«Сегодня рано стемнеет, – добавил он про себя, взглянув на две решетки, через которые вместо неба виднелся лишь густеющий на глазах туман. – Это нам на руку, легче будет провернуть дело».

– Боб, готова ли телега с товарами, которая должна загородить выезд из проулка, чтобы нас не тревожили во время работы?

– Да, папаша Сондерс. Лошадьми правит Кадди; он устроит такой затор, что ни одна мышь не проскочит! Уж он-то ловкий плут! Посмотреть, как он вырядился, так можно подумать, что он всю жизнь только и делал, что кобылам хвосты крутил! А у него ведь совсем другое ремесло, – рассмеялся Боб, словно восхищаясь находчивостью товарища. – Будьте покойны, все пройдет тихо, как в лесу или на пустынном берегу.

– Головастый ты, Боб, как я посмотрю, – хмыкнул Сондерс, – но учти, больно умные долго не живут!

Во время этой сцены в комнате, расписанной необыкновенными каракулями, по Темзе, нимало не заботясь о волнах и приливных водоворотах, поднимался юркий и вытянутый точно рыба ялик с четырьмя гребцами, работавшими так, будто ими управлял некий механизм – настолько четкими и выверенными были их движения. Весла погружались в воду и взмывали вверх, не роняя ни капли, с легкостью веера в руках светской красотки.

Туман все густел. По узким улочкам флотилии, образующей город на воде в районе Лондонского моста, ползли, с трудом избегая столкновений, суда, и только шустрый ялик с небывалым проворством обходил все препятствия. Складывалось впечатление, что у него на носу есть щупальца вроде тех, что помогают ориентироваться в пространстве многим видам насекомых, заменивших зрение осязанием.

Ялик прошел под Лондонским мостом, огромные черные арки коего, вырисовываясь на сероватом небе, создавали эффект в духе Мартина[12], который англичане называют babylonian*, и, выйдя на относительно открытую воду, заскользил с удвоенной скоростью. Казалось, если понадобится, он проплывет подобно форели даже через мельничный шлюз и поднимется по водопаду.

Вскоре шлюпка миновала один за другим мосты Саусворк и Блэкфрайерз и, держась поближе к набережным, помчалась вдоль Темпл-Холл и Темпл-Гарденс; проскочив крайний пролет моста Ватерлоо, она подрулила к берегу и устремилась под низкую аркаду, наполовину замаскированную выступающими опорами. Рядом стояли на приколе несколько грузовых суденышек, и все строение, насколько можно было разглядеть сквозь сплошной туман, походило на товарный склад.

Судно проникло под низкий свод арки. За нею начинался тоннель, который оказался куда длиннее, чем можно было подумать, ибо сразу за аркой резко уходил в сторону.

Через несколько минут осторожного плавания гребцы убрали весла. Один из них, отыскав на ощупь кольцо, закрепленное в стене, продел в не-

---

* вавилонским (*англ.*).

го веревку и привязал ялик; затем все по очереди спрыгнули на первую, еще скрытую водой, ступеньку лестницы, которую они нашли сразу, несмотря на темноту, поскольку хорошо знали местность.

Один из моряков открыл решетку, преграждавшую проход.

Через тридцать ступенек лестница уперлась в крышку люка, и тот, кто поднимался первым, врезался в нее головой.

— Чертов ротозей! Считать разучился, ошибся на одну ступеньку. Носи теперь на лбу шишку в награду; мое счастье, что череп у меня пожестче, чем бифштекс в трактире «Коронованный артишок».

— Эй, Снафф, в чем дело? Что ты там причитаешь сквозь зубы, будто старая папистка с четками, вместо того чтобы постучать и подать голос? Или ты думаешь, мы тут резвимся и танцуем на этой лестнице, веселой, точно подъем на эшафот?

— Потерпи чуток, сейчас и стукну, и крикну.

Раздался глухой удар, и тут же протяжный и пронзительный вопль разлетелся по всему подземелью.

— Что за голос из преисподней? — Сондерс вздрогнул от хорошо знакомого крика и ударил каблуком по люку: — Мир, мир, старый крот! Мы идем! — добавил он, пародируя на свой лад слова Гамлета, обращенные к Призраку[13]. Сондерс недавно побывал в театре Друри-Лейн[14], где давали эту пьесу старого доброго Шекспира, и она произвела яркое впечатление на грубую, но поэтичную душу матроса.

Крышка люка откинулась, и из промозглого подземелья один за другим выскочили на поверхность четверо молодцов, не совсем *подобающего* вида, ибо на их раскрасневшихся от непогоды лицах играли отвага и плутовство, свидетельствовавшие об избытке энергии, который явно направлялся не только на дозволенные удовольствия.

— Где джин? Где виски? — вскричал первый из них и ринулся к стоявшей на столе бутылке проверить, плещется ли там хоть капля драгоценной жидкости.

— Ха, — хмыкнул второй, — если уж Нолл и Боб останутся на четверть часа в обществе бутылки, то, будь уверен, бедняжка скончается от истощения.

— Ладно, ладно, не плачь, Снафф! — Нолл достал полную бутыль. — Сам Вельзевул облизнется, если пригубит это — настоящий напиток, чистый огонь без всяких пошлых примесей. Ты ж меня уважаешь? А я чем дольше живу, тем слабее мне кажется джин!

— Такова жизнь, старик. Чем дальше, тем меньше иллюзий. Все мы когда-то наивно верили в крепость джина. Молодость доверчива! — меланхолично произнес Снафф, опрокидывая знатную порцию синей отравы[15].

Итак, все были в сборе, когда в помещении после условного сигнала появились иностранец и его проводник.

Вошедший ясным взором окинул честну́ю компанию; все невольно опустили глаза, за исключением Сондерса — вепря среди свиней, волка среди гиен. Он один обладал преступной сутью, все прочие не годились ему в подметки. То был пират, а его дружки — от силы мелкие воришки.

Чужеземец — человек опытный и наделенный тонким чутьем — мгновенно раскусил Сондерса. Он понял, что перед ним главарь, и обратился к нему повелительно и спокойно:

— Все идет, как условились?

— Да, милорд; мы начнем, когда соблаговолит приказать ваша милость, — вежливо, но без низкого подобострастия ответил Сондерс.

— Отлично. Что ж, час настал.

— Боб, — сказал Нолл, — ступай первым, скажи Кадди, пусть катит на своей телеге в проулок.

Боб удалился, попытавшись прежде с помощью рукава придать своей потертой шляпе немного блеска, ибо, говаривал он, всегда полезно иметь вид приличного человека.

Сондерс сжал в могучей руке маску из смолы и тоже приготовился на выход.

— Того, с кем я появлюсь в переулке, и нужно похитить, — сказал неизвестный. — Но учтите: никакого насилия, ни малейшей грубости.

— Будьте покойны, милорд; упакуем клиента нежно, точно ящик с надписью «Не бросать!», — захохотал Нолл с самодовольством бывалого контрабандиста.

Все члены шайки вышли по одному, чтобы не вызвать подозрений, и с самым непринужденным видом принялись разгуливать по пустынному проулку.

А иностранец в одиночестве направился к церкви Святой Маргариты.

Глава IV

На правах повествователя перенесемся без лишних слов из описанного выше мрачного притона в роскошный дом Вест-Энда[1]. Мы ненадолго прервем нить нашего повествования и обратимся к сцене, которая, хотя мы не стремились к контрасту, весьма отличается от предыдущей.

Горничные мисс Амабел Вивиан только что закончили ее подвенечный наряд, и Фанни для пущей надежности еще одной заколкой пришпилила к толстой витой колонне темных волос, возведенной на голове Ама-

бел, длинную фату из кружев англетер[2], которая прозрачными складками ниспадала на белое платье новобрачной.

Две другие камеристки, Мэри и Сьюзен, увидев, что фата наконец закреплена, взяли со стола зажженные канделябры и подняли их повыше, чтобы юной хозяйке было удобнее любоваться собою в зеркале. Время близилось к одиннадцати утра, но через стекла и занавески пробивался лишь мертвенно-бледный свет; густой, желтый, удушающий туман, столь привычный для Лондона, висел над городом, продлевая ночные сумерки.

Амабел, окруженная ореолом света, отразилась в темном зеркале, и, надо признать, по красоте своей девушка не уступала самым совершенным образцам греческого искусства.

Что особенно впечатляло в ее божественном личике, так это белизна – молочная, мраморная, ослепительная и, так сказать, светящаяся, ибо его черты обладали прозрачностью и тонкостью статуй из восточного алебастра. Хотя обычно лица юных новобрачных перед походом к алтарю покрыты целомудренной бледностью, щеки Амабел окрашивал легкий румянец того едва уловимого оттенка, которым отливают лепестки белых роз. Голубая кровь аристократов пронизывала ее нежную плоть, которая, как тепличный цветок, никогда не ведала ни солнца, ни дождя, состояла из чистейших атомов и поилась отборными соками без единой капли плебейской примеси.

Незнание житейских забот, изысканная роскошь, передающаяся по наследству, жизнь в окружении всевозможных удобств, в просторных особняках, апартаментах и замках с обширными тенистыми парками и родниковой водой, помноженные на чистоту крови, порой доводят английскую красоту до невообразимого совершенства. Нигде в мире больше нет блестящего, гладкого и прозрачного живого мрамора, из которого выточены прекрасные тела англичанок. Его паросские и пентелийские карьеры[3] находились в античном Альбионе[4], названном так скорее из-за его женщин, чем из-за скалистых утесов.

Амабел была самым белым птенцом этого плавающего посреди океана лебяжьего гнезда[5].

Легкий орлиный бугорок придавал ее носу, ничуть не нарушая его правильности, благородство греческих профилей, дуги тонких темных бровей соединялись у переносицы и словно короной венчали глаза с глубокими черными зрачками, утопающими в ясно-голубом хрустале; темно-пурпурные губы взрывались красной гвоздикой на фоне бледной кожи, еще зримей и разительней подчеркивая ее белизну.

Вдоль прекрасных щек Амабел ниспадали две мягкие волны шелковистых блестящих волос, и она подкрутила их кончиком пальца. Поправив

свой туалет, девушка выставила напоказ кисть очаровательной формы, тонкую и удлиненную, и изящные пальцы с аристократически безупречными полированными ноготками, блестящими, словно нефрит. Такие руки, к отчаянию банкирш, можно получить только после многовековой жизни в высшем обществе, и передаются они, как бриллианты, от одного поколения к другому.

По всей видимости, Амабел осталась довольна, и легкая улыбка оживила уголки ее плотно сжатых губ. Обернувшись к Фанни, она сказала приятным мелодичным голосом:

– Фанни, сегодня вы превзошли самое себя. Я, право, недурно выгляжу.

– С вами, мисс, ведь я могу еще вас так называть, все просто. Вы хороши в любом наряде.

– Вы мне льстите! А который час?

– Одиннадцать пробило, – ответила Фанни, взглянув на часы, что стояли на низкой тумбе, инкрустированной перламутром.

– Уже одиннадцать! А моей тетушки, леди Элинор Брейбрук, еще нет!

– Слышите, – воскликнула Фанни, – кажется, экипаж остановился у дверей. Должно быть, это она.

Громкий требовательный стук дверного молотка, предвещавший появление важной персоны, прервал Фанни на полуслове.

И в самом деле, вскоре напудренный лакей в шелковых чулках возвестил, приподняв портьеру:

– Леди Элинор Брейбрук!

Величественная женщина с гордой осанкой, достигшая того возраста, что вежливо называют неопределенным, вошла в комнату с прирожденной чопорностью, так что на пышном шелковом платье гостьи не колыхнулась ни единая складочка. Создавалось впечатление, будто, подобно заводной кукле, она скользит на медных роликах с помощью некоего скрытого механизма.

Корсет, что плотно обтягивал ее дородные прелести, переживавшие четвертую молодость, защитил бы от удара копья не хуже миланских доспехов[6] – столько в нем было китовых усов, стальных полос и других приспособлений. Каким образом отважная дама сумела вместиться в такой футляр – сие есть великая тайна искусства облачения, которую мы чтим; но, чтобы достичь подобного результата, женщине, вероятно, приходилось выдерживать давление в сорок атмосфер.

Ее широкое квадратное лицо сплошь покрывала красноватая сосудистая сетка. Щеки пылали, нос горел, точно головня, и даже лоб напоминал поджаренный миндаль. Эту раскаленную физиономию обрамляли по-британски рыжие жесткие кудри, похожие скорее на копну раститель-

ного пуха, чем на человеческие волосы. Жесткий и холодный как сталь взгляд серых глаз придавал горделивое и властное выражение в общем-то заурядному лицу. Этот взгляд, словно печать, удостоверял знатность и принадлежность к high life*, несмотря на мещанскую краснощекость и пышные формы его обладательницы.

Леди Элинор Брейбрук была вдовой и наставницей мисс Амабел Вивиан, юной сироты и единоличной владелицы весьма солидного состояния.

В свадебной церемонии леди Брейбрук предстояло исполнить для своей племянницы роль посаженой матери.

Сколь ни печально для нашего романа, но мисс Амабел без малейших препон выходила замуж за очаровательного и любящего ее всем сердцем молодого человека, сэра Бенедикта Аранделла, которого она тоже любила уже около двух лет.

Сэр Бенедикт Аранделл был молод и красив, знатен и богат; все благоволило этому союзу, поскольку невеста обладала теми же достоинствами.

— Только посмотрите, тетушка, какой ужасный туман! — сказала Амабел, устремив взор своих прекрасных глаз в окно.

— В начале ноября в старой доброй Англии это не в диковинку, — ответила старая леди.

— Да, правда, но в такой день, самый радостный день моей жизни, так хотелось бы лазурного неба, веселого солнышка, благоухания цветов и пения птиц.

— Малышка, комната с уютными обоями, свечи и жаркий огонь в камине, флакон духов с запахом тысячи цветов и пианино Эрара[7] легко заменят все это... Подумаешь, туман!

— Как всегда, вы во всем находите положительные стороны, тетушка!

— Как всегда, ты во всем поэтична, племянница!

— Хотелось бы, чтобы природа больше соответствовала настроению — это грустное небо угнетает меня.

— Дитя мое, если бы Господь внял твоей просьбе и разорвал пелену тумана, то роскошью солнца, возможно, обидел бы, будто неуместной иронией, чье-то раненое сердце.

— Вы правы, тетушка, но этим утром я сама не своя.

— Ничего! Сэр Бенедикт Аранделл быстро справится с вашей меланхолией, — поджав губы, ответила леди Элинор Брейбрук с той двусмысленной улыбкой, от которой подчас не могут удержаться пожилые люди.

За окном послышался стук колес, и почти тут же появился сэр Бенедикт Аранделл.

---

* великосветской жизни[8] (*англ.*).

Он был одет с той безупречной простотой и исключительным совершенством, что не бросаются в глаза и отличают истинного джентльмена. Этим секретом владеют только англичане; Бенедикт избежал несносной нелепости, свойственной свадебному костюму, и в то же время в одеянии молодого человека не чувствовалось никакого несоответствия торжественности момента.

В соответствии с модой, сэр Бенедикт Аранделл не носил ни бороды, ни усов, ни эспаньолки — никаких излишеств, что так любят на континенте; его гладкое лицо обрамляли тщательно уложенные каштановые бакенбарды, которые художник, любящий все колоритное, возможно, нашел бы слишком правильными, зато они наверняка заслужили бы одобрение покойного Браммела и графа д'Орсэ[9].

Он обладал чертами Антиноя[10], только несколько вытянутыми и холодными, что характерно для многих прекрасных сынов Англии, и потому его лицо напоминало копию какого-нибудь греческого божества работы Вестмакотта или Чантри[11].

О более подходящей паре нельзя было и мечтать.

Облачко, омрачавшее чело Амабел, при виде суженого тут же рассеялось. Голубые глаза Бенедикта своей лазурью вполне заменили ясное небо. Лицо девушки, когда она протянула руку для поцелуя, просияло светлой и чистой радостью.

Серые глаза леди Элинор Брейбрук заблестели: видимо, сия картина напомнила ей аналогичную сцену, в которой главную роль исполняла она сама: правда, сцена эта разыгралась в таком далеком прошлом, что для того, чтобы не забыть ее, нужна была поистине исключительная память.

— Ну, точь-в-точь как мы, — прошептала леди Элинор, — мой бравый Джордж Алан Брейбрук и я двадцать лет назад или около того!

Это «около того» прозвучало весьма загадочно, но леди Элинор не любила, даже про себя, называть точные даты, которые могли дать представление о ее возрасте. И вообще, сравнение вышло неудачным: наша славная дама в юности была страшнее черта, а сэр Джордж Алан Брейбрук, длинный, сухой, прямой и костлявый, с квадратным подбородком, носом а-ля Веллингтон[12] и ртом, походившим на глубокий шрам, даже в лучшие свои годы ничуть не напоминал элегантного Бенедикта Аранделла.

— Что ж, дети мои, пора, — вздохнула леди Элинор, — капеллан, должно быть, давно готов, да и гости уже заждались.

Она села в экипаж рядом с Амабел, а Бенедикт занял место в другой карете вместе с одним из своих друзей, Уильямом Ботри.

Кучера в напудренных париках, с лентами и огромными букетами, красные как раки от предварительных тостов за здоровье молодых, с не-

подражаемым видом настоящих maestro* натянули вожжи, цокнули языком, тронули лошадей кончиком кнута, и кортеж двинулся к церкви.

Солнце тщетно пыталось развеять обрушенные на Лондон западным ветром волны тумана: бледный диск без лучей выглядел на сером граните неба мокрым пятном, больше похожим на чахоточный лик луны, чем на ослепительное дневное светило. Фонари выбрасывали вверх последние остатки газа, и их тощие стрелы почти тут же затухали.

На расстоянии нескольких шагов предметы обволакивались дымкой и принимали фантастическую форму: экипажи превращались в левиафанов и бегемотов[13], едва заметные прохожие — в привидений и великанов, а темные стены зданий выглядели словно древние руины. Кучерам понадобился весь их опыт, чтобы не сбиться с пути в мутном воздухе, который, точно облачная перина, поглощал любые звуки.

Венчание должно было состояться в церкви Святой Маргариты — здании нормандского готического стиля с квадратной башней, мощными контрфорсами и огромным окном в виде цветка с четырьмя лепестками. Картина открывалась невеселая: церковь с черными, будто эбеновыми, стенами и омытыми дождями нервюрами, которые в любую погоду казались покрытыми снегом, погост, усеянный зловещими и уродливыми надгробиями, по форме смутно напоминавшими мертвецов; ограда с толстым слоем сажи, извергаемой сотней тысяч каминных труб Лондона, и черная, точно адские отдушники. Эта решетка отделяла тишину последнего пристанища от городской суеты, близкое соседство коей делало его еще более мрачным.

Высокая башня прятала в низких облаках свой венец из невидимых колоколов и стояла как обезглавленная; портик, черный от копоти, будто печной свод, широко разинул свои створки и походил на пасть косатки или какого-то другого огромного зверя. Из-за тумана казалось, что этот архитектурный монстр дышит и из его легких вырываются клубы дыма.

Безусловно, даже не будучи суеверными, перед этим мрачным храмом молодые вполне могли ощутить некоторые опасения за свое будущее счастье. Непреодолимая дрожь охватывала всякого, кто ступал под этот темный свод Эреба[14], в глубине которого нет места ни слабому лучику дневного света, ни звездочке надежды.

Конечно, в туманный день конца ноября несправедливо требовать от суровой старинной протестантской церкви Лондона светлой радости античного храма, устремляющего вереницу белых колонн в лазурь афинского неба, но в то утро Святая Маргарита действительно больше походи-

* знатоков, мастеров (*ит.*).

ла на могильный склеп, готовый принять очередного покойника, чем на храм, благословляющий двух молодых влюбленных.

— Неужели это правда, — обратился сэр Уильям Ботри к своему другу, когда они ехали в экипаже, — и ты женишься в двадцать четыре года, в расцвете лет, когда впереди еще столько удовольствий и неведомых фантазий!

— Ты сам сказал, что мне двадцать четыре, дорогой Уильям: жениться как раз из тех безумств, на которые мужчина способен только в молодости.

— Вполне согласен с тобой, и к тому же Амабел заслуживает того, чтобы поспешить; но, помнится, в Кембридже никак нельзя было подумать, что ты станешь первым из нашей лихой компании, кто попадется в сети Гименея.

Пока сэр Уильям Ботри и сэр Бенедикт Аранделл предавались беседе по дороге к Святой Маргарите, некий человек вышел из прилегающего к церкви проулка, скользнул под сень ее темного портика, и, прислонившись к стене между двумя маленькими колоннами, застыл, будто статуя святого.

Человек надвинул шляпу с широкими полями на самые глаза и закинул одну полу дорожного плаща на плечо, прикрыв нижнюю часть лица. На виду остался лишь правильной формы нос, потемневший под солнцем других широт.

Через несколько минут он очнулся от задумчивости, высвободил руку из-под складок плаща, достал большие плоские часы и тихо сказал:

— Час пробил; они скоро будут!

И спрятал часы в карман жилета.

К кому относился этот шепот со странным акцентом?

Экипажи, вынырнув из-за угла, подкатили к церкви.

В ту же секунду человек, которого читатели уже опознали как очень спешившего незнакомца, отбросил полы плаща назад и, казалось, встал в стойку, словно готовился к решающему броску.

Подножка опустилась. Амабел, подав руку Бенедикту, собиралась спуститься и пройти в портик, как вдруг незнакомец, почтительно поклонившись невесте, тронул Аранделла за плечо. Жених резко обернулся, крайне удивленный, что кто-то осмелился помешать ему в такое время, ибо, стоя спиной к церкви, не заметил приближения человека в плаще.

— Сидни! — воскликнул Бенедикт, придя в себя.

— Он самый! — суровым тоном ответил человек.

— А я-то обвинял вас в безразличии. Приехать из Индии на мою свадьбу! Вот почему вы не отвечали на письма — вам хотелось устроить мне сюрприз.

— Бенедикт, вы нужны мне на два слова, я здесь ради этого.

— Расскажете все позже. А сейчас я представлю вас моей невесте, хотя, право, вы уже наслышаны друг о друге. Леди Аранделл. Артур Сидни.

— Нет, мы должны поговорить немедленно, с глазу на глаз, это не займет и минуты.

Взгляд Сидни был столь жестким, а слова — столь непреклонными, что Бенедикт, поколебавшись, отпустил руку Амабел и сделал шаг в сторону друга.

— Да простит сударыня мою настойчивость, — Сидни взял Бенедикта под локоть, улыбаясь с напускной любезностью, — но мне необходимо сказать вашему жениху всего одну фразу.

И он повел Бенедикта за угол церкви, к началу проулка, что тянулся вдоль одного из церковных приделов.

Амабел осталась в карете рядом с тетушкой; леди Брейбрук ворчала сквозь зубы, возмущаясь столь бесцеремонным вмешательством:

— Вы только посмотрите, ну разве так принято! Прискакать сюда из Индии только для того, чтобы перехватить новобрачного на пороге церкви! Хорошенькое время выбрал, чтобы сказки рассказывать!

— Сэр Артур Сидни большой оригинал: он многое делает не так, как другие. Бенедикт часто рассказывал мне о его странностях.

— У благородного человека оригиналы в друзьях не водятся! — возразила леди Брейбрук с величественным и полным презрения негодованием.

Тетушка в своем возмущении была столь великолепна, что Амабел не удержалась от улыбки.

— Уж я бы, — багровая волна гнева залила и без того красное лицо вдовы, — ни за что на свете не позволила сэру Джорджу Алану Брейбруку бросить меня одну в карете, вместо того чтобы вести к алтарю... Что-то уж очень длинные фразы у этого Сидни, порази его Бог!

Та же мысль пришла и в увенчанную флёрдоранжем[15] голову Амабел. Она выглянула на улицу, чтобы посмотреть, не возвращается ли Бенедикт.

У церкви не было ни души, а дальше из-за тумана она вообще ничего не могла разглядеть.

Положение становилось странным и даже смехотворным. Амабел и леди Брейбрук с помощью сэра Уильяма Ботри вышли из экипажа и укрылись под портиком. Сэр Уильям вызвался разыскать Бенедикта и Сидни и указать им на неуместность столь продолжительной беседы в подобный час.

Гости, недоумевая, окружили мисс Амабел Вивиан, а затем увлекли ее внутрь церкви. Случайные прохожие уже с удивлением поглядывали на юную девушку в белом, новобрачную без жениха, одиноко застывшую под сводом мрачного портика.

Амабел почувствовала, как ей на плечи, едва прикрытые легкой кружевной фатой, опустилась промозглая сырость; девушке почудилось, что теперь ее всегда будет обволакивать холод монастыря и склепа, что она ступила из света в темень, из суеты в безмолвие, из жизни в смерть. Она словно услышала, как в похолодевшей груди лопнула пружина ее судьбы.

Уильям Ботри вернулся бледный, потрясенный и крайне растерянный.

Он пробежал весь проулок, в котором скрылись Бенедикт и Сидни, от начала до конца, обогнул церковь, осмотрел окрестности...

Бенедикт и Сидни исчезли!

Глава V

Почти в тот же самый час, когда Амабел вносила последние штрихи в свой подвенечный наряд, в другом лондонском доме другая девушка также одевалась, но не спеша и словно неохотно в белые свадебные одежды.

Она была хороша собой, но ужасно бледна; еле заметные фиолетовые прожилки пронизывали ее веки, как мрамор, и выдавали недавно пролитые слезы, следы которых не исчезли, несмотря на примочки и умывания; сжатые губы тщетно пытались изобразить улыбку: девушка старательно приподнимала их уголки, но вскоре рот опять болезненно кривился. Корсаж прерывисто вздымался от затрудненного дыхания, а когда горничная подошла к ней, чтобы прикрепить к волосам венок флёрдоранжа, ее бесцветные щеки окрасились легким румянцем.

Мисс Эдит Харли скорее походила на жертву, которую готовят на заклание, чем на юную деву, идущую к алтарю, чтобы дать желанный обет любви и верности. Меж тем Эдит вовсе не подчинялась жестокой родительской воле. Не самодурство отца и не сварливость матери заставили ее сделать выбор. Никто не принуждал ее вложить свою белую изящную ручку в скрюченную подагрой клешню страшного мерзкого старикашки. Она собиралась замуж за молодого красивого господина де Вольмеранжа из блестящей семьи, обладавшего всеми достоинствами, чтобы нравиться как самым строгим родителям, так и самым романтичным девицам.

Казалось, она охотно принимала ухаживания господина де Вольмеранжа и на свиданиях, которые предшествовали предложению, ее глаза подчас смотрели на молодого графа с невыразимой нежностью и любовью. Но по большей части присутствие господина де Вольмеранжа вызывало у Эдит едва заметные чувства тревоги и беспокойства, которые никоим

образом не сочетались с пылкостью взглядов, странных для столь скромной на вид девушки.

Любила она жениха или ненавидела? Разгадать эту тайну непросто. Если не любила, то зачем выходила за него замуж? Если любила, то откуда эта бледность и слезы и отчего такое уныние?

Эдит, единственному и обожаемому чаду, хватило бы одного слова, чтобы отказаться от нежеланного брака. Кто мешал ей сказать «нет»? Лорд Харли и его жена стремились к одной цели: они хотели, чтобы их любимая дочь обрела счастье, и одобрили бы любого ее избранника, никакие предрассудки не заставили бы их препятствовать ее сердечной склонности. Они согласились бы даже на поэта.

Когда горничные справились со своей работой, немного затянувшейся из-за безучастности и рассеянности девушки, Эдит сказала, что устала и хотела бы остаться одна, после чего откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза.

Как только все удалились, в углу комнаты, в том месте, где находилась заколоченная дверь, послышался тихий стук, похожий на размеренные звуки, что издает за обоями, ощупывая дерево своими усиками и призывая самку, жук-точильщик, именуемый в народе «часами смерти».

Услышав этот стук, который, видимо, служил условным сигналом, Эдит вздрогнула от неожиданности и в испуге резко вскочила с кресла.

Через некоторое время в дверь стукнули еще раз, уже чуть громче.

Девушка, пошатываясь, сделала несколько шагов, прижимая руку к сердцу.

Таинственный посетитель, казалось, забыл, что его может услышать не только Эдит, и, потеряв терпение, застучал в дверь отрывисто и повелительно.

Испуганная Эдит убрала в сторону шкафчик, наполовину закрывавший потайную дверь, и трясущимися руками отодвинула засов.

В замке заскрежетал ключ, створка двери приоткрылась и пропустила внутрь мужчину, ничуть не похожего на господина де Вольмеранжа.

Человек, что столь необычным способом тайно проник к девушке, готовившейся через несколько часов стать женой другого, обладал внешностью, по которой трудно сразу распознать характер. На его слегка смуглом и тусклом лице выделялись странно бегающие и намеренно лишенные всякого выражения глаза и красиво очерченный рот с тонкими, крепко сжатыми губами, явно хранящими какую-то тайну. Очевидно, он часто закусывал нижнюю губу, что свидетельствовало о подавляемых им желаниях и подчиненном положении, которое ему приходилось занимать против воли. Правильный, но слишком тонкий и чересчур острый нос придавал его облику нечто коварное. В целом, если не придираться, кому-то это

лицо могло даже понравиться, но, наверное, многие сочли бы его неприятным. Оно и привлекало, и отталкивало, в нем чувствовались опасная притягательность и страшное очарование. Точно так же краски, радостно блестящие на крыльях птицы, на пятнистой коже змеи принимают, ничуть не теряя в яркости, тот жуткий ядовитый оттенок, который восхищает и бросает в дрожь. Человек, которому мисс Эдит открыла потайную дверь, был красив, как гадюка, и обворожителен, как тигр. И никто с первого взгляда не смог бы угадать его возраст. Гладкий лоб не портила ни одна морщинка, ни одна складка, с помощью которых на человеческом лице отражается ход времени, и, если бы не ледяная холодность и бесстрастность, выдававшие давнюю привычку скрывать свои помыслы, многие подумали бы, что незнакомец лишь вчера вышел из подросткового возраста. В общем, то было не лицо, а личина.

Одежда нейтральных тонов, черная и коричневая, тщательно ухоженная и в некотором роде даже изысканная, не отличалась ни одной приметной деталью и не оставляла в памяти ни малейшего следа.

На какое-то время воцарилось тягостное молчание; смущенная Эдит ждала, что гость заговорит первым, но тот, похоже, не собирался облегчать ее положение. Держался он уважительно, но скорее по привычке, чем из подлинного почтения, и смотрел на девушку сверху вниз, точно хозяин.

— Вы все-таки настаиваете, — заговорила Эдит, сделав над собой усилие, — чтобы я вышла замуж за господина де Вольмеранжа?

— Сейчас я не намерен это обсуждать; свадьба необходима, как никогда.

— Но вы же знаете, что она невозможна.

— Настолько невозможна, что состоится через два часа.

— Послушайте, Ксавье, еще не поздно; не заставляйте меня лгать перед Богом и людьми; я могу броситься к ногам моих родителей, признаться во всем, добиться прощения себе... и вам тоже; мой грех велик, но их доброта не знает границ.

— Не стоит. Я буду отрицать каждое ваше слово.

— А если я возьму наш грех на себя?

— Скажу, что никогда не знал вас.

— Но у меня есть доказательства обратного, они разоблачат вас, — возмутилась Эдит. Она подбежала к шкатулке и вскрыла ее двойное дно.

— А, ну-ну! — Ксавье насмешливо скривил тонкие губы.

Дрожащими руками Эдит торопливо вытащила стопку бумаг, сложенных так, как обычно складывают письма.

Она развернула первый лист и тут же бросила его на пол — он был чист. Следующие два письма тоже оказались пустыми.

Она выронила стопку и в отчаянии бессильно опустила руки.

Всякий след написанного исчез! Письма превратились в простую бумагу.

— К счастью, мисс Эдит, ваши чернила куда лучшего качества, чем мои. Мелкие буквы, начертанные вашими милыми ручками, отлично видны на записках, которые вы соблаговолили послать мне.

— Ксавье, во всем этом есть тайна, которую мне не понять... Я молода, красива; вы мне повторяли это тысячу раз на все лады, точно змей-искуситель, соблазнивший Еву; единственную ошибку в моей жизни я совершила ради вас, и лишь вы имеет право считать меня невинной. Состояние мое весьма значительно; моя фамилия — одна из самых уважаемых в Англии и запятнана разве что мной. Позор этот никому не ведом; одним словом, вы можете смыть его. У вас нет ничего, кроме образования, но оно вполне позволит вам занять достойное место в обществе. Если вы женитесь на мне, перед вами откроется новый мир, вы выйдете из тени, ваша жизнь станет богаче и ярче, вы сможете употребить и развить ваши таланты. Самые безумные мечты превратятся в осуществимые желания. В политике и дипломатии для вас будут открыты все двери!

Чем дольше говорила Эдит, тем больше распалялось бледное лицо Ксавье, чьи глаза раскрылись и заблестели. Он мысленно следовал к заманчивым горизонтам, что рисовала ему несчастная девушка, пытаясь разбудить самолюбие там, где спала любовь. В какой-то момент он даже взял руку Эдит и горячо пожал ее; но его порыв тут же угас, молнии в глазах потухли, лицо вновь скрылось за мрачной завесой, прятавшей истинные движения души, и он сказал ледяным голосом:

— Вы выйдете замуж за господина де Вольмеранжа, и безо всякого промедления.

— Ваш непостижимый отказ может иметь лишь одну причину, и в таком случае моя беда непоправима. У вас есть жена во Франции, не так ли?

— Нет... — странным голосом ответил Ксавье, — ни во Франции, ни где-либо еще. Я не женат.

До сих пор Эдит умоляла, теперь она выпрямилась и тоном, полным достоинства и величия, произнесла:

— Признаюсь, я молила и уговаривала вас вовсе не из любви к вам. Вы заворожили меня, но не покорили; вы были чем-то вроде яда или приворотного зелья, и я не чувствую за собой никакой вины, словно меня лишил рассудка любовный напиток. Слава богу, я никогда не любила вас! Я горжусь и утешаюсь этим. Мои глаза ослепли на время, теперь они снова прозрели. Когда я узнала господина де Вольмеранжа, услышала слова, идущие от самого сердца, увидела огонь небесный в его чистом

взгляде, то сразу поняла, что была жертвой, игрушкой в руках демона, и полюбила графа столь же сильно, сколь возненавидела вас. Уважение к нему росло вместе с презрением к вам; да, я люблю его без памяти, со всей страстью моего тела и души. — Мисс Эдит Харли с жестоким удовлетворением наблюдала, как зеленеет тусклое лицо Ксавье. — Я лишь хотела избавить его от стыда — жениться на обесчещенной вами женщине, но я расскажу ему все — он простит меня и отомстит. А теперь, сударь, пожалуйте вон, иначе я позвоню и вас спустят с лестницы! — заключила она грозным голосом, в котором слышался бунт ее благородной крови.

С каждым словом девушка делала шаг вперед, и Ксавье, будто испепеленный молниями негодования, сверкавшими в ее глазах, пошатываясь, отступал к двери. Последний взгляд, который он бросил на Эдит, был взглядом змея, попавшегося в когти львицы.

Она с силой захлопнула дверь, задвинула засов, поставила обратно мебель, и не успели шаги Ксавье стихнуть, как в комнату вошли лорд и леди Харли.

От ярости на щеках мисс Эдит заиграли краски жизни, порыв негодования высушил следы слез в горящих глазах, а решимость разгладила чело.

Леди Харли, прижав дочь к груди, проговорила ласково:

— Эдит, дитя мое, как я рада! Вижу, ты перестала убиваться. Я опасалась, что этот брак тебе не по нутру, что ты соглашаешься на него только потому, что боишься изменить своему слову. Мне вовсе не хотелось, чтобы светские условности сломали тебе жизнь. Лорд Харли, хотя и находит господина де Вольмеранжа идеальным зятем, пришел сюда вместе со мной, дабы уговорить тебя отказаться от этого союза, раз он так пугает и расстраивает тебя. Когда я выходила замуж за твоего многоуважаемого отца, я не испытывала ничего подобного: мою душу переполняли только безграничное доверие, райская безмятежность и тихая проникновенная радость. Именно этими чувствами и должна жить девушка, когда решается на союз с тем, с кем будет неразлучна до гроба и вновь соединится в ином мире.

— Маменька, — Эдит обняла леди Харли, — и вы, мой дорогой и любимый отец, я столь благодарна, столь признательна вам за эти слова, что не могу выразить, до какой степени тронута. Но, поверьте, вам не о чем беспокоиться. Не волнуйтесь, ваш выбор совпадает с моим. Я тоже считаю господина де Вольмеранжа исключительно благородным человеком, полным самых искренних и чистых чувств, по-моему, он само совершенство. Я твердо убеждена, что если есть на земле мужчина, способный сделать женщину счастливой, то это именно он...

Здесь Эдит не смогла удержаться от вздоха, который несколько противоречил смыслу ее слов и выдавал скорее сожаление, чем надежду.

— Я люблю господина де Вольмеранжа — продолжала Эдит, — и, перед тем как идти к алтарю, признаюсь, что причиной моих слез и уныния были лишь детские страхи. И больше всего меня страшила разлука с вами.

— Что ж, хорошо, коли так, милая Эдит; а то мы думали, что за внешней покорностью нашей воле скрывается тайное нежелание...

— Поцелуйте меня, отец! — С этими словами девушка подставила лоб лорду Харли, прижавшего ее к груди.

Затем она взяла руку леди Харли и порывисто склонилась к ней. Она вздрогнула от приглушенных рыданий, но, когда выпрямилась, взгляд ее был ясен и спокоен.

Доложили о господине де Вольмеранже.

То был молодой человек лет двадцати семи, чье лицо поражало необыкновенной красотой. Он родился в Шандернагоре[1] от отца-француза и матери-индианки, и в нем соединились достоинства двух народов. Его чистейшей голубизны глаза обрамляли черные ресницы необыкновенной длины, а над ними, на матово-бледном лбу, четко вырисовывались эбеновые брови. Этот контраст придавал его лицу особую выразительность. Взгляд грустных нежных глаз графа, окруженных черной бахромой, мог бы показаться женственным, если бы не жесткость прочих черт лица. Когда господина де Вольмеранжа волновали сильные чувства, его глаза, обрамленные смуглыми веками, будто зажигались и из сапфировых становились бирюзовыми. Художник-колорист, несомненно, с удовольствием изучил бы эту приятную дисгармонию красок, но она придавала лицу жениха Эдит нечто фатальное, таинственное, если не сказать сверхъестественное. У некоторых мечтательных и зловещих ангелов Альбрехта Дюрера[2] именно такой — необъятный, как небо, и глубокий, как море, — взгляд, в котором, словно в лазурной капле воды, слились все печали. Хотя лицо молодого человека дышало душевной умиротворенностью, прямотой и добротой, ни один художник, решивший изобразить счастье, не взял бы его в качестве модели.

Господин де Вольмеранж был высок ростом, строен и при этом явно силен. Несмотря на патрицианскую тонкость его талии, широкая грудь и могучие мускулы, проступавшие даже сквозь одежду, говорили об атлетической мощи.

Физическое совершенство в сочетании с изяществом и безупречной осанкой истинного джентльмена обладало высшей грацией — грацией силы.

Скоро все отправились в церковь...

В ту самую церковь Святой Маргариты на Пэлас-Ярд, у входа в которую мисс Амабел Вивиан, бледная, будто надгробная статуя из алебастра, ждала своего жениха.

Проходя мимо, Эдит слегка задела фатой плечо Амабел. Господин де Вольмеранж, поглощенный собственными чувствами, даже не взглянул на девушку, которая стояла на пороге храма и с тревогой высматривала что-то в туманной мгле.

Амабел не обратила никакого внимания на эту встречу. Она думала только о Бенедикте, тревожилась, терзалась и, не заметив ни Эдит, ни Вольмеранжа, ничем не выдала своего присутствия.

Так пересеклись и прошли одна мимо другой две судьбы.

Новобрачные проследовали в мрачную церковь. Церемония началась под завывание ветра, который стучался в двери и, врываясь в неф, стенал, как толпа привидений; затем туман разрешился дождем, и гонимые шквалами потоки воды захлестали по желтым стеклам больших протестантских витражей.

Тусклый свет то и дело вздрагивал от порывов бури и зловещими отблесками ложился на лица жениха и невесты, священника и свидетелей. Белый стихарь[3] казался саваном, а пастор — мертвенно-бледным призраком или некромантом, произносящим заклинание. Ритуальные жесты походили на каббалистические знаки; склоненные новобрачные напоминали скорее молящихся у могилы, чем ждущих благословения счастливых молодоженов.

Вдалеке, у входа, белела тоненькая фигурка в окружении черных фраков, будто потусторонние силы, как ангелы у райских врат, остановили грешную душу на пороге церкви и не пускают ее внутрь.

Неодолимая печаль овладела всеми присутствующими, и каждого крылом летучей мыши задело смутное предчувствие беды; холод пронизывал до мозга костей, и леденящая сырость подземелья, склепа или темницы усиливала гнетущую атмосферу. Даже самые несуеверные из числа гостей, несмотря на присущее им здравомыслие, не могли не подумать: «Да, этот брак не обещает быть удачным, если только не верить, что дурные приметы — к счастью».

Один Вольмеранж не замечал ничего вокруг; он обожал Эдит, и невзирая на гром, молнию, ураган и смерч, счел бы день, когда он стал бы обладателем ее руки, самым чистым и светлым. Подумаешь — тучи на небе и непроглядный туман, зато на сердце солнце, в душе лазурь!

Когда молодые выходили из церкви, к ним приблизился незнакомец в поношенной одежде, со смиренным выражением лица, напоминавший стыдливого бедняка или попрошайку, который рассчитывает на то, что человек, переполненный счастьем, охотно поделится им с другими. Он про-

тянул господину де Вольмеранжу запечатанный конверт, по всей видимости, с какими-то документами или прошением о помощи.

Вольмеранж рассеянно принял пакет и сунул его в карман, даже не взглянув на беднягу.

Незначительное происшествие не ускользнуло от внимания Эдит, она вздрогнула, но промолчала.

Выше мы говорили, что в этот день в церкви Святой Маргариты венчание сулило беду.

Бенедикт Аранделл исчез.

А ближе к полуночи в спальне Эдит и Вольмеранжа раздался протяжный и горестный стон, нарушивший тишину дома. Несколько слуг слышали его, но ни у кого не хватило смелости проникнуть без спроса в тайны таламуса[4]. Кто знает, может, то был крик испуганного целомудрия, последний протест девственницы на брачном ложе?

Только утром, поскольку из комнаты не доносилось никаких звуков и ни разу, вплоть до полудня, никто не позвонил, горничная осмелилась заглянуть внутрь.

Комната была пуста!

Глава VI

Лицо леди Элинор Брейбрук от бешенства приобрело апоплексический оттенок, к вящей надежде ее наследников и домочадцев, окажись таковые рядом. Она дергалась и шелестела юбками, являя полную противоположность бледной и неподвижной Амабел: словно яркий уголек пылал рядом со снежинкой, и оставалось только удивляться, каким чудом белое лицо девушки еще не растаяло от соседства с горящей физиономией ее опекунши.

— Непостижимо, — говорил сэр Уильям Ботри, — ума не приложу, куда он исчез.

— Зато я знаю! — гневно ответила леди Брейбрук. — Бенедикт Аранделл — последний негодяй. Но мы не можем вечно торчать тут как истуканы. Поедем домой.

Она взяла племянницу за руку и потянула к экипажу.

Оставшись наедине с тетушкой, Амабел не выдержала: немое оцепенение сменилось бурей чувств; миловидные черты девушки исказились, страшные рыдания вырвались из груди, и, она, наверное, задохнулась бы от горя, если бы из глаз ее не хлынули слезы.

— Бедное дитя, даже пятьдесят тысяч пропавших Аранделлов не стоят одной-единственной жемчужины из тех, что катятся по вашим прекрас-

ным щечкам! – пыталась утешить племянницу леди Элинор. – Говорила я вам: истинный джентльмен не бросает суженую на пороге церкви ради разговора с другом. Сэр Алан Брейбрук никогда не позволил бы себе подобной несуразности. Кто такой этот Сидни? Не иначе как брат какой-нибудь соблазненной этим прощелыгой Аранделлом пустышки, которая поджидала в соседнем трактире со своим отродьем на руках.

– Тетушка, у Сидни нет никакой сестры; сэр Бенедикт не раз говорил мне об этом, – сквозь слезы промолвила Амабел, – ваше предположение отпадает само собой. И потом, сэр Бенедикт Аранделл не способен...

– Знакомая песня! Ох уж эти юные девицы, всегда готовы найти оправдание для красавчиков с пышными бакенбардами, гораздых на вечерние сказки при луне. Ваш Бенедикт был поэтом из поэтов. Всегда презирала эту породу. Никогда не поймешь, с какого боку к ним подступиться: они непостижимы, и логика у них не такая, как у всех, а потому их решения и поступки невозможно предугадать; они мечтают о несбыточном счастье и горюют по пустякам. Что нужно в браке, так это здравомыслие... Сэр Алан Брейбрук...

– Но, тетушка, а вдруг он попал в какую-то ловушку или его похитили...

– Ну вот еще! Похитили! В центре Лондона, среди бела дня, в пяти шагах от вереницы экипажей, от целой толпы лакеев и полицейских!

– Раз сэр Бенедикт не вернулся, значит, он мертв. – Амабел всхлипнула, прижала к губам уже насквозь мокрый платок и снова заплакала навзрыд.

– Скажешь тоже! – забеспокоилась Элинор, увидев ее отчаяние. – Если жених заставляет себя ждать по некой таинственной причине, отсюда никак не следует, что он уже на том свете.

– О нет! Я знаю, я уверена: я не увижу его больше. Я чувствую: он навсегда потерян для меня.

– Вздор и выдумки! Она чувствует! Как это? Я, например, ничего не чувствую. Мы же не в Шотландии, этой стране провидцев... В Лондоне, в Вест-Энде, будущее не предвидят.

– Эта церковь, она такая мрачная! Меня еще на подъезде бросило в дрожь.

– Отвратительная погода, готика, вековая сажа и больше ничего. Если бы, как все светские люди, вы выбрали новую белую церковь на Ганновер-сквер, точь-в-точь похожую на Парфенон, не было бы у вас никаких дурных предчувствий, а вот насчет слез – не уверена.

– Ах, тетушка, ваша правда столь жестока! Поймите, я сердцем чую: всесильная рука стерла в книге судеб страницу, куда была вписана наша с ним жизнь.

– Ох, к чему искать сверхъестественные причины? Пусть я еще сильнее расстрою тебя, но есть более правдоподобные объяснения, например, другая женщина...

– Вы так думаете? О, в таком случае лучше бы он умер! Но нет, сэр Бенедикт Аранделл не способен на обман и предательство, его губы и глаза не могут лгать. Да и зачем ему этот обман? Он знатен, богат и молод, как я...

– И хорош собой, надо признать; вы были бы идеальной парой, – вздохнула леди Элинор Брейбрук, которая не могла не согласиться с доводами Амабел, и ее гнев постепенно начал уступать место глубокому беспокойству.

Она поняла, что, возможно, произошло что-то страшное и дело вовсе не в нарушении приличий. Цвет ее лица из лилового сделался багровым, потом пурпурным и, наконец, просто красным, что в ее случае было равносильно бледности.

Спустя несколько минут экипаж остановился, и мисс Амабел в глубоком отчаянии поднялась по той самой лестнице, по которой часом ранее спускалась с радостью в сердце и улыбкой на устах, опираясь кончиками пальцев в белых перчатках на руку любимого.

Горничные, увидев невесту, вернувшуюся без жениха, крайне удивились, но по возгласам леди Брейбрук быстро обо всем догадались. Английская прислуга славится своей сдержанностью, поэтому никто не позволил себе никаких вопросов и тем более пересудов, но по изменившимся лицам служанок, по тому, как осторожно они передвигались по комнатам из боязни обеспокоить мисс Амабел или помешать ей своими мелкими заботами, было видно, что они искренне сочувствуют горю молодой хозяйки.

Амабел в изнеможении рухнула на диван напротив зеркала, перед которым утром наряжалась в подвенечное платье. Если бы равнодушные зеркала испытывали хоть какие-то чувства к тем, кого отражают, но не хранят в своей памяти, то зеркало Амабел поразилось бы и растрогалось при виде бледного, поникшего и отчаявшегося создания вместо той прекрасной, дышащей свежестью девушки, что красовалась совсем недавно в его глубине, лучась счастьем и надеждой.

Увы! Очаровательные чайные розы поблекли, даже губы почти утратили перламутровый блеск. Живая красавица превратилась в мертвую, а статуя, воплощавшая радость, – в печального ангела, плачущего над могилой.

Свадебный букет и наряд новобрачной, которые Амабел увидела в зеркале затуманенным взглядом, показались ей в их нетронутой белизне и блеске невинности оскорбительной насмешкой, злой шуткой.

— Переоденьте меня, — приказала она горничным. — К чему эти лживые наряды? Теперь я не невеста, а вдова. Подайте черное платье.

— Ну и ну! — воскликнула леди Элинор. — Еще одна идея из романа. Вырядиться в черное — это уж совсем из ряда вон. Достаточно и коричневого, ведь, в конце концов, вы еще не поженились. Подумайте о своей репутации, мисс Амабел, такое поведение может повредить вам. Бенедикт не единственный жених на белом свете.

— Нет, тетушка. Для меня он единственный.

— Ох уж эти влюбленные девицы! Все поправимо, незаменимых людей нет; один мужчина стоит другого, поверьте опыту пожилой женщины, — важно произнесла леди Элинор, которая, поскольку в подобном деле слово «опыт» ей скорее льстило, рискнула прибегнуть к эпитету «пожилая», дабы придать фразе звучность и весомость.

В это время бедняга Уильям Ботри, не зная, как истолковать столь странное происшествие, двадцатый раз пробегал по проулку с тем тупым упрямством, что происходит от непонимания. Он думал, что непременно найдет сэра Бенедикта, если не отступится и не прекратит поисков; вновь и вновь он заходил в редкие лавчонки на улочке и досыта наслушался от почтенных бакалейщиков из Западной и Восточной Индий, от радушных торговцев морепродуктами, а также от хозяев винных погребков, находящихся обычно по соседству с рыбными лавками, уверений в том, что ни один из них не видел никого даже отдаленно похожего на двух описываемых им джентльменов.

Полицейские, к которым он обратился с расспросами, отвечали, что не приметили ничего подозрительного в тот час, когда пропал сэр Аранделл, а впрочем, добавили они, в таком тумане и в четырех шагах разглядеть что-либо было невозможно; они не слышали ни шума, ни крика, ни топота, ничего, что напоминало бы борьбу или драку, и, по их разумению, скорее всего, пропавший джентльмен ушел на своих двоих и по своей воле.

Отыскать в столь огромном городе, как Лондон, человека, не оставившего никаких следов, почти невозможно. И даже если бы розыски привели к какому-нибудь дому, как войти внутрь, не нарушив его британской неприкосновенности? С ума сойти... Сэр Уильям Ботри обратился-таки в полицию, и там пообещали заняться этим делом и даже направили в город полсотни сыщиков, которые обшарили все темные закоулки и вернулись к вечеру с основательно стертыми подошвами и по уши в грязи, но не принесли никаких сведений об Аранделле и Сидни.

Сэр Уильям направился к дому мисс Амабел Вивиан пешком, потому что от перевозбуждения предпочел экипажу собственные ноги, и по пути вел сам с собой непрерывный диалог. Несмотря на присущую сэру Ботри английскую сдержанность, он перемежал реплики жестами, что могло бы

показаться чудачеством, если бы в Лондоне кто-то умел обращать внимание на поведение других, и без конца задавал себе неразрешимые вопросы.

«Какого черта! – ругался он про себя. – Мы, конечно, отчасти заслуживаем репутацию людей эксцентричных, как считают на континенте, но поступок моего друга Бенедикта перешел все границы. Бросить на пороге церкви первую красавицу трех королевств – просто дико и отвратительно. Вне всяких сомнений, Бенедикт влюблен в нее до безумия; целый год он встречался с ней почти каждый день, это был не сиюминутный каприз, не легкая интрижка. Мисс Амабел прекрасна и душой, и телом; она прелестна, как ни посмотри. Что могло внезапно разочаровать Бенедикта? Или в самое последнее мгновение ему открылся некий тайный порок, который, говоря языком барышников, послужил основанием для расторжения сделки?

Однако, когда мы ехали в церковь, он вроде бы лучился от счастья, лелеял мечты о будущем и не помышлял ни о каком бегстве. Он явно охотно и с благодарностью судьбе подставлял шею под ярмо Гименея. Кто мог подумать, что он вдруг взбрыкнет и с пугливым ржанием жеребенка унесется в неизвестном направлении? Следовательно, до встречи с Сидни будущее рисовалось ему в самых привлекательных тонах, и именно Сидни преподнес ему одно из тех ужасных известий, что клеймят, точно каленое железо, и рубят, как топор. Но что могла скрывать непорочная, прозрачная жизнь Амабел, жизнь, которая прошла в доме с кристально чистой репутацией и каждый час которой при желании можно проверить? Даже самый заядлый клеветник или сплетник не нашел бы в ней ни одного изъяна. Или Сидни увлек Бенедикта какой-то экстравагантной блажью? Путешествием к Северному полюсу, охотой на тигра или черную пантеру в его владениях на Яве? Нет, это безумие, а Бенедикт в своем уме; остается или предположить, что Сидни спрятал его в свой карман с помощью неведомого фокуса, или я ничего не понимаю».

Тут голову сэра Уильяма Ботри посетила светлая идея.

«А что, если проверить особняк Сидни на Пэлл-Мэлл, в котором он жил до отъезда в Индию?»

Окна особняка были закрыты, и все говорило о том, что в нем давно никто не появлялся.

Уильям яростно застучал молотком, и после продолжительного ожидания дверь наконец приоткрылась.

Слуга, которому пришлось тащиться из самой отдаленной части дома, явно удивился, увидев сэра Уильяма. Не оставалось ни малейших сомнений: гости здесь бывают крайне редко.

– Сэр Артур Сидни у себя? – на всякий случай спросил Уильям Ботри.

– Вполне возможно, милорд.

– В таком случае, любезный, проводите меня к нему; вот моя визитная карточка, – сказал сэр Уильям, ступив одной ногой за порог.

– Он, конечно, у себя, милорд, но в Калькутте, на улице Голубого Слона, двадцать пять; в этот час он обычно возвращается домой. Сэр Артур Сидни вот уже два года как живет в Индии.

– И он не возвращался?

– Мне об этом ничего не известно. – Слуга крепко держал дверь, не пропуская Уильяма в дом.

– Однако я видел его сегодня у церкви Святой Маргариты...

– Милорд обознался, ибо сэр Артур, будучи в Лондоне, уведомил бы нас и, что совершенно очевидно, остановился бы именно здесь, – с насмешливой вежливостью ответил слуга и, приняв сэра Уильяма за проходимца, захлопнул перед его носом дверь, ручку которой не выпускал ни на мгновенье.

Снова отправившись в путь, сэр Уильям подумал:

«Либо Сидни действительно нет в Лондоне, либо этот плут хорошо выучил данный ему урок. Однако я узнал Сидни и Бенедикт назвал его по имени. Если бы у Аранделла были долги, то я решил бы, что какой-то ловкий сыщик искусно загримировался под сэра Артура, чтобы упечь Бенедикта в долговую тюрьму. В общем, скорее всего, он уже у мисс Амабел и пытается объяснить свою выходку самым правдоподобным образом».

Но сэр Бенедикт у своей невесты не появлялся, а леди Брейбрук, глядя на смертельное отчаяние племянницы, теперь пыталась убедить ее, что нет ничего естественнее, чем исчезновение жениха перед свадьбой, и что даже сэр Алан Брейбрук, самый любезный на свете человек, при необходимости мог бы сыграть подобную шутку не столь уж дурного тона.

Если Бенедикт не вернулся, то должен был написать, но ни письма, ни записки – ничего, что объяснило бы столь странное поведение!

Поиски полиции также не принесли результатов; участь Бенедикта Аранделла по-прежнему оставалась окутанной завесой тайны. Предположить убийство казалось немыслимым, ведь Сидни учился вместе с Бенедиктом в колледже Харроу, считался его закадычным другом и у них не было никаких причин для вражды. Похищение? Но зачем, с какой целью? Ревность отвергнутого любовника? Но Сидни никогда раньше не видел мисс Амабел, и речи не могло быть о соперничестве между ним и Бенедиктом.

Вечером несчастная невеста вернулась в свою девичью спальню, а ведь еще утром она думала, что переступает ее порог в последний раз. Горничные раздели ее и уложили, будто неодушевленный предмет, в милое белоснежное гнездышко, где раньше счастливые грезы, покачивая розовыми крыльями, витали над молочным, как слоновая кость, челом юной красавицы.

Она застыла в одном положении, голова ее утопала в волосах, струящихся будто вода из фонтана, а ладонь покоилась под бледной щекой. Амабел можно было принять за мертвую, если бы время от времени из ее глаз, словно жемчужина на мрамор, не скатывалась слезинка.

— Спокойной ночи, дитя мое, — сказала леди Брейбрук и, поскольку племянница хранила молчание, добавила: — Будем надеяться на лучшее!

Плечи Амабел, теперь бесповоротно убежденной в том, что если Бенедикт не вернулся сразу, то не вернется уже никогда, еле заметно, как бы в знак протеста, дрогнули.

Амабел ни на мгновение не заподозрила Бенедикта в измене; она чувствовала его любовь, где бы он ни был, рядом или далеко, на этом свете или на том; ее вера в него не пошатнулась ни на мгновенье.

Она тихонько проплакала всю ночь, пока тяжелый предутренний сон не заставил ее смежить помертвевшие веки; но сны девушки были столь же тяжкими, как и мысли, и слезы не раз просачивались даже сквозь сомкнутые ресницы.

Так прошла первая брачная ночь юной невесты, которой не посчастливилось стать леди Аранделл.

Утром лорд Харли и его супруга, убитые горем, также занялись поисками пропавшей дочери и зятя.

Постель казалась почти нетронутой. Свечи в канделябрах спокойно прогорели до розеток.

На круглом столике лежал почерневший от пламени свечи лист бумаги.

На полу валялся конверт на имя господина де Вольмеранжа, без почтового штемпеля и надписанный явно измененным почерком.

Лорд Харли жадно исследовал остатки письма, трепетавшие от малейшего дуновенья. Он надеялся, что именно в нем кроется волнующая тайна, секрет исчезновения Эдит и Вольмеранжа.

Безутешный отец тщетно пытался прочесть буквы на потемневшей от огня бумаге; с тем же успехом можно было попробовать расшифровать иероглифы, да к тому же стертые.

Хрупкий листок не дал никаких сведений, и все-таки он наверняка сыграл важную и решающую роль в событиях этой роковой ночи; тщательность, с которой его уничтожили, говорила о его ценности.

Большая застекленная дверь, выходившая в сад, оказалась открытой, на аллеях нашли несколько легких следов женских ног, маленьких и изящных: только носок и пятка отпечатались на влажном песке. С ними пересекались другие следы, побольше и поглубже. Они вели к террасе с оградой, за которой находился ров, отделявший сад от улицы.

Эдит и Вольмеранж ушли этим путем. От балкона до земли было целых шесть или семь футов. Как они спрыгнули, что заставило их пуститься в непостижимое бегство? Молодожены внезапно, безо всяких объяснений, будто преступники, покинули брачное ложе в первую же ночь, заставив смертельно горевать отца и мать. Ужас!

Леди Харли вспоминала грустный и задумчивый вид Эдит в дни перед свадьбой и подозревала какую-то тайную страсть, но разве сама Эдит не объявила, что сердце ее свободно и она выбирает Вольмеранжа по собственной воле?

Версия о похищении или другом преступлении отпадала сама собой. Ни один след не вел от террасы к застекленной двери, а ведь только таким путем могли пробраться злодеи.

Мокрая от ночной бури земля сохранила бы отпечатки их ног, как сохранила следы Эдит и Вольмеранжа.

Маленький клочок муслина, зацепившийся за один из железных шипов, защищавших садовую стену, указывал место, где девушка вырвалась на улицу.

К несчастью, мостовая, вся в грязи и дождевых лужах, не давала никаких сведений о том, куда направились беглецы.

Ночная непогода распугала прохожих: никто ничего не видел.

— Возможно, — предположил лорд Харли, — они поехали в свое имение в Твикенхеме, несмотря на то что Вольмеранж, по его словам, не разделяет этой новой моды запираться вместе со своим счастьем в почтовой коляске и делать из форейтора наперсника чистой любви. И все-таки надо послать кого-нибудь в Твикенхем.

Граф де Вольмеранж и его молодая жена не появлялись в замке, и дворецкий не получал на сей счет никаких указаний.

Эти известия крайне огорчили лорда и леди Харли; пока посланец был в пути, они привели друг другу множество самых разумных доводов в пользу того, что их дочь непременно должна оказаться в Твикенхеме! В отчаянии они так уцепились за эту последнюю соломинку, что, когда та переломилась, погрузились в бездну отчаяния и почувствовали, что потеряли дочь во второй раз.

Несмотря ни на что, они продолжили поиски, но все напрасно: исчезновение новобрачных осталось тайной, покрытой мраком.

Черная церковь Святой Маргариты оправдала все грустные предчувствия, внушенные ее жутким, леденящим кровь видом, и подтвердила правоту леди Брейбрук, которая отдавала предпочтение новому храму на Ганновер-сквер. Достопочтенная дама совершенно справедливо полагала, что старые готические церкви годятся лишь для похорон.

Глава VII

— Итак, Сидни, что же такого важного вы хотели мне сообщить? — сказал Бенедикт Аранделл своему другу, едва они завернули в проулок, который из-за тумана стал черным, как преддверие ада.

— Это не займет много времени. — Сидни взял Бенедикта под руку и повел к описанному в одной из предыдущих глав дому, делая вид, будто они еще недостаточно далеко отошли от толпы, чтобы он мог сообщить свой секрет.

В ту же минуту огромный воз, запряженный четырьмя битюгами из тех, что можно увидеть только в Лондоне и которые своим сероватым окрасом и колоссальными размерами смахивают на молодых слонов, въехал в проулок и полностью перегородил его. Впереди телеги шел небезызвестный изобретательный Кадди.

Его повозка образовала подвижную баррикаду, которая не позволяла ни отступить Бенедикту, ни прийти кому-либо ему на помощь.

Тяжелогруженый воз передвигался очень медленно и постепенно приблизился к третьему дому проулка.

Сондерс крался вдоль стены навстречу Бенедикту, пряча за спиной ту самую маску, о которой размечтавшийся Нолл сказал, что она предназначена для милого личика красавицы Нэнси.

Этот самый Нолл считал себя человеком светским, что, по его мнению, подтверждали серебряная булавка в виде арфы зеленого Эрина, усыпанная фальшивой бирюзой[1] и приколотая к потрепанному галстуку из черного атласа, и в особенности пара когда-то белых перчаток с обрезанными пальцами, из которых торчали красноватые фаланги с синими ногтями. Он шел вразвалочку, лениво переставляя свои длинные, как у цапли, ноги, небрежно пожевывая кончик потухшей сигары и почесывая, словно стеком, острую коленку небольшой палкой вроде тех, что служат для выколачивания пыли.

Верный своим привычкам Боб читал по слогам висевший на фасаде трактира выспренний и далекий от истины список французских вин и заморских ликеров; подобного рода литературу он ставил превыше любой поэзии на свете. Шекспир и Милтон для него были всего лишь никудышными писаками рядом с мастером художественного слога, начертавшим сей возвышенный перечень, в сто раз более лиричный, чем оды Пиндара. Боб до глубины души презирал этого бездарного греческого стихоплета за строфу, которую тот додумался начать словами: «Прекраснее всего вода»[2].

Когда джентльмены поравнялись с Сондерсом, Сидни незаметно подмигнул ему.

Сондерс мгновенно приблизился к Бенедикту; Нолл уронил клюку и наклонился, шаря по земле. Боб, витавший в облаках бренди, портвейна, водки и рома, со вздохом оторвался от упоительного чтения. Кадди бросил лошадей и направился к остальным.

Мягкий шлепок, и Бенедикт ощутил на лице плотную, теплую и удушливую маску, которая закрыла ему сразу глаза, нос и рот.

Крепкая рука железным обручем обхватила его поясницу: мощные пальцы, цепкие, точно клешни краба, стиснули ноги и оторвали от земли.

Все произошло в мгновение ока, и Бенедикт, чьи руки были скованы живыми наручниками, дабы он не пытался сорвать маску, почувствовал, как таинственная сила тащит его неизвестно куда, подобно Смарре[3], что в кошмарных снах уносит вас в своих чудовищных объятьях.

Дверь пустующего дома распахнулась словно по волшебству, и вся шайка быстро юркнула в темный коридор. Последним вошел сэр Артур Сидни.

Когда они углубились в узкий проход настолько, что туда уже не проникал свет с улицы, Сондерс справедливо рассудил, что душить пленного джентльмена ему не приказывали, и ловко сорвал с лица Бенедикта смоляную маску.

Сэр Аранделл уже начал терять сознание, силы его иссякли, он почти перестал сопротивляться. Невыразимый ужас сдавил его грудь. В висках стучало, горло разрывалось от тщетных попыток сделать вдох, в ушах гудело, а перед ослепшими глазами мелькали в безумной пляске голубые, зеленые и красные пятна.

Конечно, в любых других обстоятельствах его затошнило бы от сырого зловония темного подвала, но сейчас Бенедикт жадно поглощал его ядовитые миазмы, вдыхая их раздувшимися ноздрями и ненасытными легкими. Эта вонь казалась ему слаще чистого альпийского ветерка, насыщенного ароматами безлюдных цветущих пространств.

Отравленный воздух был жизнью, и Бенедикт упивался им. Он испытал такое невероятное блаженство, что даже простонал:

— Ах, Боже мой!

«Похоже, — подумал Нолл, — клиент всей душой желал проветриться, и, хотя Боб утверждает, что если нет двух глотков водки, то их могут заменить только два глотка бренди, наш джентльмен явно отдает предпочтение глотку воздуха».

Бенедикт, немного придя в себя, попробовал вырваться, но куда там! Восемь крепких рук втолкнули его в описанное выше помещение, которое гребцы уже покинули, удалившись обратно через подземный ход на свое суденышко.

Дверь захлопнулась, ключ с резким скрежетом повернулся в замке. Бенедикт остался один.

Еще покачиваясь, он сел на ящик и облокотился о стол, заставленный кружками и котелками — остатками пиршества Нолла и Сондерса.

Какой потрясающий поворот! Какой внезапный удар судьбы!

Всего несколько минут назад сэр Бенедикт Аранделл находился в роскошном экипаже, рядом с любимой девушкой, чистым ангелом, снизошедшим к нему с небес, в окружении друзей и знакомых, посреди блеска настолько высокого аристократического собрания, что, казалось, никакая удача не в силах вознести человека на такую вершину; и вдруг — небывало коварное, жестокое похищение и заточение в омерзительном вертепе, где его конечно же ждет страшная смерть.

Бенедикт хмуро осмотрелся. В неверных отблесках угасающего камина чудилось, будто стены кровоточат, сочатся преступлением и пороками, а виселицы, портреты душегубов и воров, сцены убийств и злодейств, накорябанные не без любви к искусству, вместе с непристойными надписями, загадочными или грозными, извиваются в зловещей сарабанде[4].

Праздничный наряд лишь подчеркивал ужас положения Бенедикта. Надушенные белоснежные перчатки на грубо сколоченном столе, исполосованном ножом и лоснящемся от жира, производили жуткое впечатление; разве мог такой человек, как он, оказаться в столь мерзких трущобах, пусть даже в результате подлейшей и чудовищной проделки?

Немного оправившись, Бенедикт наконец задумался о причине своего странного похищения. Неужели сэр Сидни отдал его в руки злодеев, а возможно, убийц? Неужели сэр Артур хотел столь оригинальным способом наказать старого друга за то, что тот собрался жениться, не дождавшись его приезда? Или же Артур, как случайный свидетель, ни в чем не виноват и побежал за помощью, увидев, что силы неравные? Разного рода предположения роились в голове Бенедикта, но ни на одном из них он так и не остановился. Затем молодой человек вспомнил о мисс Амабел. Что с ней? Что она подумала, когда не дождалась возвращения суженого? Чем объяснила его исчезновение? Какие ужасные догадки терзают ее нежную душу? От этих мыслей он пришел в ярость; проклиная Сидни, он как заведенный закружил по комнате, подобно дикому зверю, ищущему выход из клетки.

Несколько раз Бенедикт испытал дверь на прочность, но та крепко держалась на своих старых, ржавых петлях, и самые мощные удары ничуть не вредили ее толстым доскам.

Окно на недостижимой высоте было зарешечено железными прутьями, такими частыми, что, проскочив между ними, даже сильф[5] оборвал бы себе крылья.

В надежде, что его услышат в соседних домах, причудливые крыши которых смутно проглядывались в верхней части окна, сэр Бенедикт Аранделл принялся кричать изо всех сил. Он попытался даже подражать морякам, заглушающим надрывными криками шум ветра, и голосистым горцам, зовущим друг друга через пропасть, по дну которой течет грохочущий поток. Но комната была глухой, будто ее обили матрасами. Вопли Бенедикта не пробудили даже эха, словно он стоял на высочайшей вершине, где разреженный воздух лишает звучности человеческий голос.

В отчаянии Бенедикт завыл, да так, что на углах губ выступила кровавая пена, затем от стыда и бессилия он снова рухнул на ящик.

Почти полностью выгоревший камин лишь робко вспыхивал мелкими фиолетовыми искорками, пробегавшими, прежде чем вылететь в дымоход, по груде угольков; вечерние сумерки заволокли окно, призрачные тени начали скапливаться по углам: трусливый глаз усмотрел бы там разных чудовищ.

По большому счету Бенедикт был отважным человеком, но ярость и горе от разлуки с мисс Амабел сейчас заглушили вполне естественное стремление выжить. Впрочем, столь дикое и непонятное злоключение внушило бы опасения даже самым отважным храбрецам.

В полном одиночестве, без оружия, без защиты, запертый в душной, глухой темнице, дверь в которую в любую минуту могла распахнуться и впустить убийц, Бенедикт совсем пал духом. И тут еще одна страшная мысль пронзила его мозг: а что, если злодеи не придут никогда? Что, если его бросят умирать в этой отвратительной камере, в этом каменном мешке?

Жуткая картина — он умирает от голода или, как бешеная собака, от жажды, вдали от неба и людей — столь живо возникла в его воображении, что на висках сэра Аранделла проступил холодный пот. Даже отпетый душегуб, возникни он сейчас на пороге, показался бы узнику ангелом-освободителем, ведь он, может статься, принес бы быструю и легкую смерть вместо долгой мучительной агонии, еще более страшной, чем последние терзания Уголино[6]. Правда, у Уголино оставалась еще возможность съесть своих сыновей.

В поисках выхода Бенедикт начал бегать по комнате и ощупывать стены, но другой двери, кроме той, что он тщетно пытался выбить, не нашел: таковой либо вовсе не было, либо ее очень ловко спрятали. Но даже если он найдет ее, что это даст? Она наверняка заперта, так что, не зная секрета или без ключа, ее все равно не откроешь.

В новом приступе отчаяния Бенедикт начал проклинать Бога и людей; за неимением свода небесного, он поднял кулак к невидимому потолку и,

в отсутствие другого способа достать мачеху Кибелу[7], яростно ударил ногой в пол.

Пол отозвался звонким эхом, ибо Бенедикт топнул ровно в том месте, где находился уже упомянутый люк.

Бурная радость охватила его душу, когда он понял, что под ним пустота; надежда на побег тут же вернула ему силы и хладнокровие. Он опустился на колени и, ощупывая доски руками, принялся шарить по полу в поисках какого-нибудь кольца, рычага или пружины, которые помогли бы ему проникнуть в подпол.

Вскоре он нашел кольцо и неимоверным усилием приподнял тяжелую крышку люка.

На Бенедикта дохнуло сыростью, и внизу открылся колодец темнее тьмы и чернее ночи.

Что это? Начало подземного хода или яма, куда сбрасывают тела жертв? А вдруг это могила, в которой хоронит трупы банда беркеров?[8] Вдруг он свалится на кучу изувеченных останков или попадет прямо на стол подпольного морга?

Может, у какого-нибудь чудака доктора возникла анатомическая фантазия — препарировать тело джентльмена, проверить скальпелем, как устроена аристократическая порода, а его поставщики сочли Бенедикта подходящим экспонатом и похитили, чтобы передать в руки сего почтенного исследователя за кругленькую сумму в гинеях.

Но чем тогда объяснить поведение Сидни, его друга детства, лучшего товарища по колледжу Харроу? Какую роль играл он в этой страшной махинации? Гнусную роль коровы, завлекающей дикого быка на арену или на бойню?

Протянув руку, Бенедикт нащупал лестницу, и подобно всем отважным людям, предпочитающим встретить смерть лицом к лицу, а не ждать ее в тупом ужасе, свесил ноги в отверстие и начал сползать вниз по ступенькам, с трудом поддерживая дрожащей рукой приоткрытый люк, ибо последний был столь тяжел, что у юноши не хватило сил откинуть его и положить на пол; затем, посчитав, что спустился уже достаточно, чтобы люк при падении не свалился ему на голову, он убрал руку и пригнулся.

Люк захлопнулся с грохотом, точно крышка гроба.

Зловещее эхо раскатилось по мрачному сырому подземелью.

Несмотря на всю свою отвагу, Бенедикт почувствовал, как холод пробрал его до мозга костей.

«Если бы, — подумал сэр Аранделл, — закутанное в саван тело могло слышать, то шум падающей на гроб земли показался бы ему таким же скорбным и страшным. Вероятно, я похоронен заживо и эта темная дыра станет моим склепом!»

И он продолжил спуск, осторожно ступая и вытянув руки перед собой.

«Если у этого подземелья есть выход, то наверняка он ведет прямо в разбойничье логово или к ведьмам на шабаш!» — мрачно шутил про себя бедный Бенедикт, почти сожалея о покинутой им красной комнате.

К тому же в непроглядной тьме не было ничего — ни тусклого огонька, ни кровавой звездочки, ни лучика света в щели между камнями. Ничего, кроме безнадежной, мрачной и холодной ночи.

Похоже, несчастный из первой камеры своей гробницы попал во вторую.

Ветер врывался в подземный свод со стенаниями, похожими на человеческие голоса, — так природа в ураганные ночи плачет по погибшим: смутные стоны, сдавленные вздохи, рыдания, словно исторгнутые из раненой груди, вопли жертвы в руках убийцы. Оркестр бури исполнял для нашего бледного слушателя, плутавшего во тьме, целую симфонию тоски и ужаса.

Чем ниже он спускался, тем более скользкими и мокрыми становились ступеньки и сильнее дышал ему в лицо влажными струями мороси ветер.

Наконец сквозь шум ветра донесся тяжелый плеск воды, и вскоре брызги от высокой волны долетели до ног Бенедикта. Он понял, что подземелье выходит на Темзу, а поскольку в плавании он мог поспорить с лордом Байроном или Энкхедом[9], то, значит, его побег удался!

И в самом деле, такому пловцу, как он, не составляло никакого труда доплыть по подземному ходу до реки и там уже выбраться на берег.

Надежда, радость, счастье охватили Бенедикта, он уже представлял, как рассказывает Амабел о своем странном приключении, как просит прощения за невольно причиненное ей беспокойство, и с быстротой, свойственной мысли — этому флюиду, равному или даже превосходящему по скорости электричество, тысяча картин, одна очаровательнее другой, промелькнула в воображении беглеца за тот короткий промежуток времени, что ушел у него на преодоление трех последних ступенек. Он стоял перед алтарем, его рука сжимала нежные пальчики Амабел, он вел ее к порогу спальни, а потом перенесся в отдаленное будущее: он и Амабел на мраморном крыльце ричмондского дома любуются, как на зеленом бархате лужайки играет с ручной ланью миловидный белокурый малыш.

Все эти прекрасные грезы мгновенно испарились, сменившись самыми безысходными видениями.

Рука Бенедикта наткнулась на железную решетку.

Путь оказался закрыт, обратно дороги не было. Снова поднять тяжелый люк не хватило бы сил.

— Что я такого сделал, о Боже, — с болью в голосе взмолился Аранделл, — за что я проклят, какой страшный грех я должен здесь искупить?

О Амабел! Что бы вы ни думали о моей участи, самые ужасные ваши предположения — ничто в сравнении с действительностью.

В последней надежде, никогда не оставляющей человека и тлеющей даже у приговоренного, на шею которого вот-вот рухнет нож гильотины, Бенедикт начал трясти один за другим прутья решетки, пробуя их расшатать или вытащить, но они были вмурованы на совесть, а ржавчина лишь закрепила их в гнездах.

В сотый раз наткнувшись на замок, бедняга Бенедикт попытался, раздирая пальцы в кровь, раскрутить какой-нибудь винт и заставить сработать его механизм.

Пока он самозабвенно предавался этой неблагодарной работе, ибо массивный и сложный замок с честью послужил бы и темницам Ньюгейта, набежавшая волна ласково окатила беглеца ледяной водой.

Костюм новобрачного тут же промок насквозь, и Бенедикта затрясло от холода; стуча зубами, он забрался по лестнице подальше от воды и скорчился на ступеньке, напоминая своим видом одну из согбенных фигур, которыми Данте Алигъери заполнил ступени своего ада.

Аранделл погрузился в мрачное, глубокое оцепенение, как запертый в клетке зверь. Сколько он так просидел? То ли вечность, то ли час. Утратив ощущение реальности, он впал в забытье, граничащее с безумием.

Он очнулся, вспомнив, что у него в жилете были карманные часы с боем, и захотел посмотреть, который час, но онемевшая от холода рука нажала на защелку слишком сильно или неловко, и пружина, пронзительно пискнув в золотом корпусе, лопнула.

Бедный Бенедикт оказался в положении каторжников в сибирском руднике, которым чередуют двухчасовые отрезки сна и работы, чтобы эти несчастные потеряли представление о времени, ибо, хотя они никогда не видят солнца, нормальное разделение труда и отдыха позволило бы им вести счет дням.

В темноте, не зная времени, ждать смерти... Какая пытка! Зря Сатана ею пренебрег...

И только глухой стук ялика, который покачивался невдалеке на волнах Темзы, разносился под сводом подземного коридора.

Глава VIII

Отчаяние и скука могут превратить минуту в столетие. Не прошло и часу, а сэру Аранделлу уже казалось, что миновала целая вечность, как вдруг над его головой послышались глухие шаги и сквозь щели вокруг люка проступили полоски света.

Вскоре крышка тяжело и медленно поднялась; мертвенно-бледный свет упал в сырую темень, и в отверстии показался озаренный свечой силуэт головы Сондерса, будто сошедшего с картины Шалкена[1], насыщенной красноватыми и желтоватыми оттенками.

Аранделл, хотя и не уступал в храбрости своим предкам, доблестным рыцарям, бросился вверх по лестнице, не в силах скрыть непередаваемую радость, которую испытал при виде своего тюремщика. Крылатый херувим и тот не вызвал бы у него подобных чувств. Сондерс ничуть не походил на небожителя, но Аранделл возликовал, словно заживо похороненный, который видит, как над ним сдвигается плита, и готов принять отвратительную рожу шекспировского могильщика за лучезарный ангельский лик. Конечно, настоящий герой романа не должен поддаваться никакой человеческой слабости, за исключением разве что любви, однако что ни говори, а крайне неприятно околевать от голода и холода в ледяном подвале, во фраке с иголочки, белых перчатках и лакированных туфлях, на лестнице, заливаемой волной, — и все это вместо женитьбы на самой красивой лондонской наследнице.

— Куда, к черту, он делся? — бормотал Сондерс, пока Аранделл не вынырнул из темноты. — Я же запер решетку на два оборота, а просветы между прутьями узковаты и для самого изящного джентльмена — не пролезет, даже если втиснется в женский корсет. Значит, он либо здесь, либо в подполе. Что ж, придется спуститься и нанести визит по всей форме.

Не успел Сондерс поставить ногу на первую ступеньку, как оказался лицом к лицу с Аранделлом, быстро поднимавшимся ему навстречу.

— А! Вот вы где, милорд! — с грубоватым радушием и явным удовлетворением воскликнул матрос. — Что, нашли вторую половину ваших апартаментов сыроватой и слегка прохладной? Пожалели о первой?

Мускулистой рукой он поддержал за локоть пошатнувшегося на краю люка сэра Аранделла.

Бенедикт рухнул на ящик у стола. Сондерс разворошил почти угасший уголь, и тот разгорелся фиолетовым пламенем. Аранделл, немного отогревшись и уверившись, что немедленная смерть без объяснения причин ему не грозит, нашел даже уютным мерзкий вертеп, размалеванный зловещими рисунками, и слегка приободрился. Лицо Сондерса, пусть и суровое, показалось ему не столь уж отвратительным, и он попытался завязать разговор.

— Что все это значит? К чему это дикое похищение? Вы хотите получить выкуп, заставить меня подписать какие-нибудь векселя или убить?

Сондерс пренебрежительно отмахнулся:

— Я так думаю, что ежели бы вашей милости потребовались деньги, то вам бы их дали.

— Тогда чего же от меня хотят?

— Не знаю, но ничего особо вредного для здоровья вашей милости. Напротив, нам велено крайне любезно вести себя с вами, и мы будем обращаться с вами нежно, как с ящиком богемского фарфора или золотыми часами.

— Знаком ли вам человек, с которым я шел по переулку, сэр Артур Сидни?

— Первый раз его видел. — Глаза Сондерса цвета голубой стали невозмутимо выдержали пронзительный взгляд Бенедикта.

«Так Сидни ни при чем? Он не замешан в этот дьявольский заговор? — подумал было Бенедикт, который с удовольствием отбросил бы подозрение, тяжким грузом лежавшее на душе. — Но почему тогда он не пришел на помощь, не закричал, наконец?» — зашевелились опять сомнения. И он продолжил вслух:

— Но что заставило вас пойти на это? Ведь вас ожидает суровое наказание, если о моем похищении станет известно властям!

— Я выполняю распоряжения тех, кому обязан подчиняться, а на правосудие мне...

Здесь Сондерс пожал плечами в знак глубокого сомнения в могуществе и проницательности полиции.

— А те, кому вы подчиняетесь в столь рискованных делах... Кто они?

— Их имена не скажут вам ничего, даже если бы я их назвал. Между ними и вами нет и не было никакой связи.

— Э! Да вы знаете, кто я?

— Нет. Знать не знаю ни имени, ни звания. Но по благородным чертам лица, тонким рукам и добротному сукну, из которого скроена ваша одежда, легко понять, что вы человек не простой.

— Откройте дверь и выпустите меня... — проговорил Аранделл. — Смею вас уверить, я достаточно богат, чтобы обеспечить вам безбедную жизнь в любой стране...

Сондерс покраснел; его загорелые щеки приобрели кирпичный оттенок, тускло-голубые, как северное море, глаза сверкнули огнем, а выражение лица стало еще более суровым; однако он быстро взял себя в руки и спокойно ответил:

— Пусть мое ремесло и не из самых деликатных, но у меня нет привычки предавать тех, кто доверяет мне, хотя бы и в темных делах. Впрочем, даже если б я польстился на ваше золото, то не смог бы отпустить вас на свободу. Дверь заперта снаружи, я такой же пленник, как и вы.

Оба замолчали.

Щеки Сондерса мало-помалу вернули себе естественный цвет. Он подошел к шкафу, встроенному в стену, достал оттуда большой кусок вяленого мяса, ломоть хлеба и оловянную кружку с пивом, поставил все это на стол перед Аранделлом и весело, но с почтением проговорил:

— Милорд, вы, должно быть, завтракали сегодня рано; думаю, вам пришлось обойтись и без ланча, а время ужина давно прошло. Вам сейчас, наверное, досадно и обидно, но природа требует своего, и, несмотря на горечь в душе, ваш желудок шибко не осерчает на кусок чего-нибудь съестного.

Невзирая на безысходность и гнев, Аранделл, или, скорее, наименее достойная его часть — животная, как говорил де Местр[2], признал справедливость этих аргументов. Он придвинул к себе поближе все, что подал Сондерс, и обреченно начал есть.

— Мясцо, может, и жестковато, — заметил Сондерс, — зато вырезано из туши с одной из лучших ферм Ланкашира, а пиво чернее смолы, но какой золотистой пеной играет! Это настоящий двойной портер из Дублина, сваренный из ячменя и хмеля. Такого не найдешь и в самой знаменитой лондонской пивной.

Внутренне согласившись с Сондерсом, Бенедикт один за другим съел почти все куски хваленого мяса и до последней капли осушил кружку.

Глава IX

Едва сэр Аранделл закончил свою скромную трапезу, как люк открылся и из подземелья один за другим молча вылезли уже знакомые нам четверо гребцов.

Один из них обменялся с Сондерсом несколькими фразами на каком-то диком наречии, совершенно непонятном для Бенедикта. Подобно всякому, кто не владеет языком, эти фразы показались ему нечленораздельным набором звуков. То был гэльский диалект[1], для пущего тумана густо пересыпанный воровскими словечками.

Двое из вновь прибывших остались у люка, а Сондерс, подойдя к Аранделлу, проговорил:

— Будьте любезны, ваша милость, следуйте за нами. Похоже, нам пора в путь.

— В путь? — воскликнул Аранделл, инстинктивно отступая от люка.

— Надеюсь, — вежливо продолжал настаивать Сондерс, — милорд понимает, что лучше не оказывать сопротивления. Нас пятеро, мы сильны и

хорошо вооружены, борьба бесполезна. Нам нужно выполнить приказ; при необходимости мы применим силу, правда, со всеми предосторожностями, ибо мы не хотим причинить вам вреда.

— Хорошо, — согласился Аранделл, понимая, что выбор у него невелик, и надеясь, что ему еще представится возможность вырваться на свободу.

Черная дыра подземелья поглотила всех членов шайки и последним — Сондерса, который поддерживал временно присмиревшего Бенедикта.

Спустившись на двадцать ступенек, они подошли к решетке, помешавшей Аранделлу бежать.

Здесь Сондерс сказал лорду:

— Мне будет крайне неприятно, но придется воспользоваться кляпом, если только вы не дадите слово чести, что не приметесь звать на помощь, — очень уж не хочется надевать на вас намордник, как на ревущего от голода теленка.

В конце концов, было все равно, онеметь из-за кляпа или молчать, дав слово, и Аранделл пообещал не кричать.

— Я не прошу вас воздержаться от попыток сбежать — это уж моя забота, — сказал Сондерс, убирая кляп в карман и доставая ключ от решетки.

Один из моряков поднес фонарь поближе, и ключ, вставленный в проржавевший от вечной сырости замок, едва ли справился бы со своей задачей, не будь Сондерс столь силен.

Три тяжелых оборота — и массивная решетка, подталкиваемая двумя матросами, заскрипела на петлях и со скрежетом распахнулась.

Гребцы дружно заняли свои места и в ожидании сигнала к отплытию аккуратно, словно по линейке, уложили весла на борта лодки. Сондерс, устроив Бенедикта рядом с собой, сел у руля.

В тот момент, когда ялик, повинуясь веслам, тронулся в путь, случайный блик от фонаря высветил на носу шлюпки темную фигуру человека, закутанного в плащ с высоким воротником и в надвинутой на глаза шляпе, но тут Сондерс погасил огонь, и все погрузилось в сумерки.

Через несколько минут суденышко миновало подземный тоннель и оказалось на просторах Темзы.

Разорванный бурей туман клочьями ткани, летящими по ветру, рассеивался по низкому, давящему небу, похожему на почерневший от копоти свод склепа; этот зловещий купол, пронизанный, словно трещинами, светлыми полосками, казалось, вот-вот пластами обрушится на спящий город с темным зубчатым профилем, тянувшийся по обеим сторонам реки и озарявшийся редкими искорками света.

Эта ночь была поистине ужасающей.

Темзу штормило, будто море; судовые якорные цепи ходили ходуном и страшно хрустели, точно кости страдальца на дыбе. Корабли терлись друг о друга с заунывными стонами, а массы воды перекатывались с тяжким вздохом, подобным тому, что испускает грудь, сдавленная кошмаром. Ветер стенал и плакал, как ребенок, которого режут ведьмы ради никому не понятных целей; и над всеми этими заунывными, зловещими и нескончаемыми звуками висел, словно далекая гроза, глухой рокот волн, ищущих в прибое свое последнее пристанище.

Здания вдоль реки, хранилища, доки и заводы с султанами дыма над высокими трубами, пристани с широкими сходнями, церкви, возносившие над домами нормандские шпили или колоколенки, имитировавшие классический стиль, — все теряло в сумраке то, что при свете дня показалось бы жалким, и обретало циклопические, колоссальные пропорции. Крыши превращались в восточные галереи, трубы — в обелиски и маяки; гигантская ажурная вывеска — в балюстраду сказочного балкона; и все вместе, огромное, мрачное и подавляющее, напоминало Ниневию, на которую надвигается туча гнева Господня[2]. На гравюре в «черной манере»[3] с помощью нескольких мертвенно-бледных штрихов из этой картины получился бы устрашающий библейский эстамп, в изготовлении которых англичане — непревзойденные мастера.

Сэр Бенедикт, заметив, что шлюпка плывет вдоль береговой линии, а железная хватка Сондерса, сжимавшего его руки, вроде бы ослабла, решил обмануть бдительного стража и так резко прыгнул за борт, что ялик едва не перевернулся; беглец уже почти коснулся ногами воды и всего несколько гребков отделяли его от суши, но Сондерс схватил его за запястья, будто стальными клешнями, и, навалившись всем своим весом, вернул на место.

Этот эпизод длился не долее мгновения, однако человек, недвижно и молчаливо восседавший на носу, успел вскочить и вскинуть руки, словно желая помочь Сондерсу, ибо ждать помощи от гребцов не приходилось: они без устали боролись с волнами и удерживали лодку в равновесии.

Складки его плаща распахнулись, и Бенедикту почудилось, что это не кто иной, как Сидни. Но неизвестный быстро сел на место, закинул на плечо одну полу плаща и закрылся им до самого носа. Глаза таинственного человека спрятались в тени широкополой шляпы, и разглядеть его черты снова стало невозможно.

Тем временем буря набирала силу, безумные шквалы словно накапливали струи дождя и со свистом выпускали, как из лука, ледяные стрелы; туча брызг реяла в воздухе, а пена, срываясь с гребней волн, блестящей пылью разлеталась в темноте. Вода то и дело заливала шлюпку, и греб-

цы, упираясь ногами и откидываясь всем телом назад, изо всех сил налегали на весла, с великим трудом удерживая утлое суденышко на курсе.

Спрятавшись между двумя огромными валами, шлюпка незаметно проскочила мимо полицейского судна, красный сигнальный фонарь которого, казалось, наполовину дремал, будто глаз старого пьяницы.

— От такого ветра у самого черта рога снесет! — проворчал Сондерс.

Увидев, что Бенедикт дрожит в своем тоненьком фраке, он набросил пленнику на плечи куртку, которую нащупал ногой на дне шлюпки.

— Одно точно, — рассмеялся он, — в такую милую погодку мы не встретим на Темзе никаких лодок. Стихия нам благоволит... и даже чересчур, — добавил он, получив в лицо полный ушат воды.

Особенно ужасали пролеты под мостами. Бурные потоки с оглушающим ревом врывались под арки, образуя черные воронки и страшные стоячие волны; шквальный ветер дул против течения, но был не в силах остановить яростный напор стихии в сужающихся под мостом проходах; волны, наталкиваясь на опоры, обрушивались назад и закручивались в бешеные буруны. Ветер завывал, Темза рокотала, а сырое эхо под арками многократно усиливало грохот и делало его невыносимым.

Шлюпка, управляемая в непроглядной ночи с непостижимым мастерством, выбирала самый надежный проход и ровно по середине его устремлялась в пучину, точно соломинка, падающая в Ниагару или водовороты Мальстрёма[4], а затем, как ни в чем не бывало, кокетливо и горделиво выскакивала с другой стороны моста, — и, право, ей было чем гордиться.

Шлюпка уже приближалась к мосту Блэкфрайерз, как вдруг что-то белое упало сверху по центру пролета и, словно лебяжье перышко, опустилось на воду.

Белая масса забарахталась, и поверх раздувшейся при падении юбки взметнулись две руки. Когда шлюпка, двигаясь по инерции, подошла вплотную к бледному фантому, который держался на поверхности, будто эльф или русалка из германских легенд, слабые нежные руки уцепились за борт с такой отчаянной силой, что агатовые ногти врезались в дерево, как железные крючья.

Если бы в этот момент кто-нибудь посмотрел наверх, а ночь была хоть чуточку светлее, то сторонний наблюдатель заметил бы неясный силуэт человека, перегнувшегося через перила моста.

Шлюпка резко накренилась, зачерпнув воду, и перевернулась бы, если бы гребцы мгновенно не навалились на противоположный борт.

Над водой показалось обезумевшее от страха лицо, столь бледное, что его было видно, несмотря на ночную темень и облепившие его волосы; расширенные зрачки сверкали серебром, а синие губы с непередаваемой мольбой проронили только:

— Спасите! Спасите меня!

— Что же делать? — забеспокоился Сондерс. — Если она продолжит в том же духе, то перевернет нас или будет здорово тормозить. Однако рубить ей руки как-то не слишком любезно, хотя другого способа заставить ее отцепиться я не вижу. Может, сжалиться и стукнуть ее по голове, чтобы бедняжка больше не боялась черной водицы?

— Это отвратительно и преступно, — решительно возразил Бенедикт, хватая несчастную за руки и пытаясь втянуть ее в лодку.

Все гребцы бросились к другому борту, и, поскольку таинственный человек, сидевший на носу, не промолвил ни слова, Сондерс принялся помогать Бенедикту, и вскоре им удалось втянуть утопающую в суденышко, и она села, а вернее рухнула, у ног Бенедикта.

Ялик прибавил ходу, чтобы наверстать упущенное время, оставил позади Лондонский мост и с быстротой стрелы проскочил между рядами кораблей, мачты и снасти коих заунывно скрипели и жалобно, словно ночные птицы, пищали на ветру.

В шлюпке стояла мертвая тишина; гребцы, казалось, берегли дыхание, весла, обмотанные тряпками, тихо входили в воду, будто окунаясь в туман, и только насквозь промокшая и замерзшая женщина стучала зубами.

Наконец они пробрались сквозь кварталы кораблей, что тянутся от Лондонского моста до Собачьего острова, и гребцы налегли на весла, уже не слишком осторожничая, так как шторм немного смирил свою ярость и волнение слегка улеглось.

Бенедикт, накинув полу куртки, которая досталась ему от Сондерса, на плечи несчастной женщины, одетой только в белый муслин, не догадывался, что уже чуть не повстречался с ней сегодня утром у входа в церковь Святой Маргариты; и конечно же бедняжка Эдит Харли, ибо это была она, ни за что не поверила бы, что человек, у ног которого она скорчилась в эту промозглую ночь, — счастливый жених Бенедикт Аранделл.

Причуды судьбы соединили в утлом суденышке посреди бури мужа без жены и жену без мужа. Капризное стечение обстоятельств, разлучив две пары, казалось, во всем подходившие друг другу, составило новую пару из их разрозненных частей.

Глава X

Шлюпка дошла почти до Грейвсенда. Шторм поутих, и на сине-черном ночном небе, по-прежнему грозном, в разрывах между тучами появились первые звезды. Взволнованное до самых глубин море, грузно перека-

тываясь, усталыми валами наползало на устье реки и обрушивалось на ее берега, а ветер рычал, удаляясь, как злобный и трусливый пес после хорошего пинка.

За излучиной реки показался черный силуэт корабельного корпуса, опутанного поверху паутиной такелажа.

То была «Красотка Дженни», стоявшая на якоре. Казалось, она крепко спит: все люки задраены, ни огонька, ни движения, только снасти свистят от последних порывов стихающего шторма. Слишком глубокий сон, чтобы быть непритворным. И в самом деле, «Дженни» если и дремала, то вполглаза, ибо не успела шлюпка приблизиться, как над бортом возникла чья-то голова и раздался негромкий, но отчетливый голос:

— Эй, на шлюпке! Свои?

— Свои, — тихо отозвался Сондерс. — Пароль: «Краб ходит боком, но доходит».

— Мудрое изречение, — отметил появившийся у трапа Макгилл.

Шлюпка пришвартовалась к борту «Красотки Дженни», и Сондерс, ни на миг не выпуская руку Аранделла и цепляясь за трос, полез вверх по крутому трапу. Аранделлу очень хотелось вырваться и броситься в воду, но Сондерс держал его, как в тисках, к тому же сообщники матроса не отставали и, скорее всего, успели бы схватить беглеца за ноги. Да и шлюпка болталась внизу, он мог бы угодить прямо в нее.

Поняв, что бежать бесполезно, Бенедикт поднимался по трапу медленно, словно на эшафот, и чувствовал, что каждый шаг бесконечно отдаляет его от мисс Амабел. Секретность и осторожность, с которой его доставили на судно, похоже, поджидавшее его, говорили о заранее спланированном похищении, и, судя по всему, немногословные исполнители повиновались воле одного человека, чья цель была Бенедикту пока не ясна. Как с ним поступят? Увезут куда-нибудь подальше, возьмут в заложники, начнут требовать выкуп у друзей и родственников? Или он умудрился в Лондоне стать жертвой банды трабукеров[1], которые увозят пленника в горы, не забыв отослать в город отрезанное ухо в качестве последнего предупреждения?

— Что делать с женщиной? — спросил у человека в плаще Сондерс, вернувшись в лодку, после того как передал Бенедикта в надежные руки Макгилла и Джека. — Спасти, а потом бросить обратно в море — не очень-то вежливо.

— Поднимайте ее на борт, — коротко приказал закутанный по уши человек.

Эдит будто не слышала разговора, в котором решалась ее судьба; ее трясло, голова гудела от возбуждения, звуки не доходили до помрачившегося сознания; ее взяли на руки и понесли, словно больного ребенка.

Сондерс, привыкший таскать тяжести, взлетел по шаткому трапу с легкостью кошки и поставил мисс Эдит на палубу, прислонив к мачте, ибо от слабости девушка едва держалась на ногах, а руки ее болтались как бы сами по себе. Человек в плаще приказал отвести незваную гостью в твиндек[2], где ее никто не увидит да и она не высмотрит ничего лишнего.

Приказ был тут же исполнен. На опустевшей верхней палубе «Красотки Дженни» слышались только шаги человека в плаще, определявшего направление ветра. Макгилл и Джек проводили Аранделла в каюту на корме и заперли его.

Каюта Бенедикта выглядела неплохо: койка с прочным каркасом из экзотического дерева, прикрытая коротким шелковым пологом, диван, набитый конским волосом, столик, подвешенный таким образом, чтобы он не наклонялся при качке, небольшая лампа, вмонтированная в потолок, — вот и вся обстановка. Окно, к которому Бенедикт бросился в первую очередь, представляло собой круглый матовый иллюминатор, задраенный на совесть. Стекло оказалось достаточно толстым, чтобы не оставить никаких надежд на бегство. Дверь также была тщательно заперта.

Аранделл убедился, что побег невозможен, присел на краешек дивана и застыл, смирившись с участью, как пленный дикарь или зверь в клетке; от предположений он уже устал, а строить планы не имело никакого смысла. Проницательность, ум, решительность — все было бесполезно. Неведомый враг опутал его, точно таинственный паук несчастную мушку; трепыхаясь, Бенедикт мог лишь повредить крылья и еще больше запутаться. Что бы за всем этим ни стояло — похищение или подлое предательство, но он попал в жестокую западню, и оставалось только молча ждать исхода. Утомленный событиями и переживаниями этого страшного дня, Аранделл, несмотря на желание следить за происходящим, почувствовал, как тяжелеют его веки. Сознание еще бодрствовало, но тело засыпало.

Меж тем бриз усилился, и капитан Пепперкул, который, дабы не простудиться, с наслаждением отхлебывал маленькими глоточками ром из галлонной бутыли, прервал столь милое его сердцу занятие и по зову незнакомца в черном плаще, отслеживавшего розу ветров с видом сведущего в морском деле человека, поднялся, слегка пошатываясь, на мостик. Поскольку погодка в ту ночь стояла весьма влажная, капитан, проявив исключительное благоразумие, основательно позаботился о своем здоровье. Но славный Пепперкул был не из тех молодцов, что падают от чарки-другой спиртного, и, глубоко вдохнув свежий воздух, он мигом вернул себе трезвое восприятие окружающего.

— Капитан, прилив нам благоприятствует, ветер меняется, берем курс в открытое море. В Англии наши дела закончены, — сказал человек в плаще.

— Слушаю и повинуюсь. — Против воли моряк использовал формулу для выражения преданности, принятую на Востоке, ибо человек в плаще внушал ему уважение, смешанное со страхом, хотя обычно капитан Пеперкул не имел привычки пресмыкаться или трусить.

Он отдал приказ сниматься с якоря. Матросы вставили ворот в кабестан[3] и, налегая изо всех сил, что накопились в руках и легких, закрутили его под протяжную жалобную песню, в которой слышались завывания ветра, всхлипы морской волны и крики чаек. Казалось, сама природа сочувствует человеку в его нелегком труде. Якорь высвободился из грунта, и мокрая цепь, забрызгав палубу, несколько раз обернулась вокруг барабана.

По этим своеобразным звукам и характерному топоту Бенедикт, который уже проваливался в полный зловещих видений сон, понял, что корабль снимается с якоря. Хотя это не слишком усугубляло его положение и молодому человеку было почти безразлично, где томиться узником — в плавучей или стоящей на суше тюрьме, он почувствовал неизмеримую грусть. Плен в Англии, на родной земле, среди ищущих тебя друзей, все же не так безотраден; здесь он дышит тем же воздухом, что и Амабел, а когда он будет вдали от нее, не останется почти никакой надежды на то, что его разыщут. Как отследить его по кильватерной струе, которая тут же тает в водоворотах? О Амабел! Он для нее навсегда пропал!

Якорь подняли и закрепили, матросы, взлетев на марсы[4] и реи, отвязали паруса, которые с шумом развернулись на свежем бризе, подобно крыльям морской птицы, затем раздулись, наполнились ветром и повлекли «Красотку Дженни». Изящно поклонившись, парусник начал набирать ход.

Макгилл крутил штурвал, управляя послушной «Дженни», будто лошадью с чувствительным ртом, которая повинуется удилам и уздечке, выравнивал крен и курс, уклоняясь от встречных кораблей и лодок, разбуженных приближением рассвета и засновавших в разных направлениях по всей реке.

Наступило утро; первые бледные лучи солнца прорезали густые слои облаков. Красные корабельные огни тускнели на глазах в свете нарождающегося дня; едва видимые берега отступали к горизонту, бурлящие желтые воды растекались все шире и шире. Сказывалась близость открытого моря, и «Красотка Дженни», покачиваясь, все глубже зарывалась носом в пенистые волны.

Бенедикт дремал, когда его разбудил шум открывавшейся двери.

Раздвижная панель скользнула по желобу, и на пороге появился человек в черном плаще.

В каюте стоял полумрак, и Бенедикт не сразу различил черты того, кто нарушил его одиночество: лицо затеняли широкие поля шляпы, а фигура терялась в складках плаща.

Однако в намерения вошедшего не входило и дальше хранить инкогнито: ступив за порог, он скинул плащ и шляпу, и перед изумленным Аранделлом предстал сэр Артур Сидни.

Бенедикт не удержался от удивленного возгласа.

Сэр Артур как ни в чем не бывало смотрел на друга. Лучи света, играя на атласном глянце лба Сидни, создавали подобие ореола. В глазах царила сама безмятежность, а лицо выражало полнейшую уверенность и хладнокровие.

— Как! Это вы, сэр Артур!

— Да, я. Вернулся вчера утром из Индии.

— И что все это значит, Артур? — вскричал Бенедикт, отбросивший всякие сомнения в личности Сидни.

— Это значит, — твердо сказал Сидни, — что я не давал согласия на ваш брак, и ему нужно было воспрепятствовать. Вот и все. Прошу прощения за способ. Другого не нашлось, и я прибегнул к этому.

— Что за странная фантазия! — растерялся Бенедикт. — Вы кто: отец, дядя, опекун? По какому праву вы мною распоряжаетесь?

— По праву вашего друга, — сурово ответил Сидни.

— Оригинальная у вас дружба! Разрушить счастье моей жизни, ввергнуть в самое страшное отчаяние...

— Перемелется. Страдания влюбленных недолговечны, ветром развеет, словно перья чайки по морю. Вы забыли, что не принадлежите себе. — Артур достал из кармана какой-то листок и осторожно развернул его.

Пожелтевшая и потертая на сгибах бумага говорила о давности документа. Его строчки, казалось, изменили цвет, став рыжеватыми, будто были написаны не чернилами, а кровью.

Увидев эти каббалистические письмена[5], которые вполне сошли бы и за договор с дьяволом, сэр Бенедикт смешался и притих.

— Это ваша подпись? — Сидни поднес бумагу к глазам Бенедикта.

— Да, это мое имя и моя рука, — тихо и покорно произнес сэр Аранделл.

— И вы поставили ваше имя по своей воле?

— Не могу сказать, что меня вынудили... — ответил Бенедикт. — Да, когда я подписывал бумагу, я был полон веры и энтузиазма.

— А ведь в ней содержится величайшая клятва. Вы поклялись всем, что связывает нас с землей, на которой мы живем, Богом, сотворившим

этот мир, дьяволом, желающим его разрушить, небесами и преисподней, честью отца и добродетелью матери, кровью дворянина, душой христианина, словом свободного человека, памятью павших героев и святых мучеников, на Евангелии и на шпаге, а на случай, если наша религия — заблуждение, вы клялись также огнем и водой — источниками жизни, тайными силами природы, звездами, высшими вершителями судеб, Хроносом и Юпитером, Ахероном и Стиксом, некогда объединявшим богов[6]. Если и существует более страшная клятва, то я ее не знаю. Но, выводя эти строки, вы думали о самом святом, дабы придать силу своему обету.

— Да, это правда, — согласился Аранделл.

— Вы нужны мне, — продолжал Сидни, — и по праву, которое дает мне сей документ, я сам пришел за вами.

Бенедикт подавленно молчал, опустив голову.

— Когда вы успокоитесь, — добавил Сидни, — я скажу, что мне от вас нужно и что вам надлежит сделать.

Сэр Артур удалился, задвинув за собой дверь, а «Красотка Дженни» со свежим попутным ветром вышла в открытое море.

Глава XI

Пока подгоняемая бризом «Красотка Дженни» продвигается вперед со скоростью в десять узлов, мы успеем сделать небольшое, но необходимое отступление от нашего рассказа. Нам следует объяснить, каким образом мисс Эдит в ту бурную ночь чуть не утонула в Темзе, вместо того чтобы трепетать от поцелуев любящего мужа в мягком полумраке благоухающей спальни.

Здесь нужно вспомнить, конечно, человека в потрепанной одежде, который у входа в церковь вручил графу де Вольмеранжу запечатанный конверт.

Поглощенный другими заботами, граф решил ознакомиться с его содержимым позднее. Положив пакет в карман, он забыл о нем в столь богатый впечатлениями день. Только вечером, пока горничные переодевали Эдит в ночной пеньюар, Вольмеранж, оставшись на минуту в одиночестве, нащупал в кармане конверт, вскрыл его и прочитал записку.

В тот же момент ему доложили, что он может войти к Эдит. Окаменевший граф поднялся, но, казалось, это уже не он, а статуя Командора, приглашенного Лепорелло на ужин к Дон-Жуану[1]. Лицо Вольмеранжа покрыла мертвенная бледность, в налившихся кровью глазах сверкали стальные зрачки. Раздавленный непоправимым горем, он сжал в кулаке роко-

вой листок и двинулся к спальне, с трудом переставляя отяжелевшие, будто мраморные, ноги и печатая каждый шаг, словно каменный призрак.

Скрываясь за прозрачной тенью полога, Эдит утопала головой в подушках с кружевами. Стыдливый румянец девственницы, ожидающей суженого, покинул ее обескровленные щеки, побелевшие настолько, что их едва можно было различить на фоне батистовой наволочки.

Эдит терзалась сомнениями; сознание совершенного греха не давало ей покоя, и она не знала, на что решиться. Сто раз тайна чуть не сорвалась с ее губ, но язык так и не повернулся сделать столь неожиданное признание. Ее невероятную связь породило почти сверхъестественное ослепление; никто вокруг и вообразить не мог ничего подобного — все были настолько уверены в ее кристальной чистоте, что Эдит порой сама сомневалась, что потеряла ее. К тому же повод никак не представлялся: то и дело Эдит замолкала в смущении, румянец сменялся бледностью, но все принимали ее состояние за обычные девичьи страхи, что кружат голову невинного создания на пути к алтарю; опасения и слезы для юных невест вполне в порядке вещей.

Каждый день она повторяла себе: «Нужно сказать», — но наступал вечер, а она молчала; приготовления к свадьбе продолжались, она не смела им противиться, и чем дольше, тем невозможнее становилось саморазоблачение. Эдит обожала Вольмеранжа, и, хотя по натуре была совершенно искренней и даже тень лицемерия ей претила, девушке недоставало решимости собственноручно, как топором, уничтожить счастье любимого. Она поняла, что не способна нанести графу такой удар. Подобно многим из тех, кто согрешил, Эдит надеялась на слепой случай и предоставила событиям идти своим чередом; и вот ужасный миг настал, она съежилась, словно голубка, которая слышит свист падающего на нее ястреба и трепещет от страха и тревоги. Теперь она жалела, что не призналась, не отказала Вольмеранжу, не отвернулась от любви, которой недостойна. Но было поздно.

Нужно сказать все-таки в оправдание Эдит, что, несмотря на падение, душа ее осталась чистой; она принадлежала к тем натурам, в сердце которых зло не способно проникнуть. Грязь пачкает мрамор, но первый же дождичек смывает ее, и камень предстает еще чище и белее, чем прежде. Эдит согрешила, но побуждения ее были благородны. Ксавье разыграл перед ней комедию, изобразив бедного, несчастного, непризнанного и угнетенного человека, вынужденного прозябать в незаслуженно низком положении из-за непреодолимых предрассудков аристократии, намекая в то же время, что и она, дочь лорда Харли, полюбит только лорда, пэра Англии, светского щеголя с огромным состоянием. Такого рода речи, произносимые как бы между прочим, покорно-холодным тоном, но с горящи-

ми от сдерживаемой страсти глазами, разжигали возвышенные и романтичные чувства девушки, толкали ее на безрассудство и самоотверженность.

Эдит решилась взять на себя роль Провидения для непризнанного гения, для падшего ангела, а на самом деле всего лишь демона, и отдалась ему, приняв собственную жалость за любовь. Благородные чувства Вольмеранжа вскоре открыли несчастной глаза, дав понять, что такое любовь и до какой степени она ошибалась. К тому же Ксавье, уверенный в своей победе, не замедлил снять маску, но не стал, вопреки ожиданиям, противиться союзу Эдит и Вольмеранжа, а, наоборот, даже требовал его, замыслив что-то непонятное, темное и подлое. Кроме того, Вольмеранж был настолько одержим страстью к ней, что признание Эдит могло свести его с ума. Она верила и надеялась, что все-таки достойна союза с человеком чести, и ее молчание объяснялось этой надеждой, а не коварством.

Увидев Вольмеранжа, Эдит поняла, что погибла. Граф шел к постели с механической неторопливостью, протягивая лист бумаги перепуганной девушке.

— Скажите, — сдавленно прохрипел граф, — скажите, что в этом письме ложь, пустой навет, и пусть ослепнут мои глаза, если я не поверю вам!

Бедная Эдит, обезумев от ужаса, привстала; ее губы дрожали, щеки побледнели, а остекленевшие глаза уставились на бумагу, на которой пылал ее приговор, так, словно увидели голову Медузы[2].

От резкого движения лента на волосах порвалась, и черные кудри рассыпались по плечам и груди, подчеркнув их мертвенную белизну.

Должно быть, даже Дездемона и та испугалась и побледнела меньше, услышав зловещий вопрос венецианского мавра; не столь черен, как Отелло, был и Вольмеранж, но выглядел он устрашающе.

На какой-то миг установилась тишина, полная тоски и жуткого ожидания.

Ревела буря, струи дождя хлестали в окно. Ветер стучал по стеклам, словно пытаясь разбить их и ворваться в дом, чтобы принять участие в столь любопытной ночной сцене. Под штормовым натиском здание содрогалось от фундамента до крыши и скрипело дверными косяками; заунывные стоны разлетались по его коридорам, а лампа, наполовину притушенная ради таинств первой брачной ночи, вдруг разгоралась и освещала комнату тусклым светом. Ужас нарастал.

Часы пробили два пополуночи. Колокольчик, обычно чистый и серебристый, скорбно звякнул и умолк.

Вольмеранж скрипел зубами, глаза его метали молнии; он склонился над постелью, грубо схватил Эдит за руку и повторил свой вопрос, корот-

ко и повелительно. Пена пузырилась на его губах, за минуту искусанных до крови.

Когда это восхитительное лицо, которое даже в бешеной судороге напоминало лик разгневанного ангела, приблизилось к Эдит, силы покинули ее, темной волной накатило забытье, и она потеряла бы сознание, если бы сильный рывок не заставил ее прийти в себя.

Эдит показалось, что рука ее оторвалась. Вольмеранж сбросил девушку на пол, и она очнулась посередине спальни. Второй рывок заставил ее встать на колени.

— Что ж! — прорычал граф. — Тогда вы умрете.

И он как одержимый заметался по комнате в поисках какого-нибудь оружия.

— Ах, сударь, сжальтесь... — еле слышно прошептала Эдит.

Вольмеранж продолжал искать, но в комнате новобрачных почему-то не принято держать кинжалы, пистолеты, дубины и прочие орудия убийства.

— Гром и молния! — скрежетал он зубами, кружась, точно дикий зверь. — Что ж мне, разбить ей голову? Или удавить голыми руками? Вскрыть вены ногтями? Задавить матрасом от собственного брачного ложа? Ха! Какая прелесть! — Он чуть не задохнулся от безудержного хохота. — Какая милая сцена! Драматично, прямо в духе Шекспира, честное слово!

Он направился к девушке, которая по-прежнему стояла на коленях, безвольно опустив руки и свесив голову на грудь. Волосы струились по ее плечам, словно у кающейся Марии Магдалины работы Кановы[3]. Бедное дитя! Увидев, как на нее надвигается это обезумевшее чудовище, она, повинуясь чувству самосохранения, вскочила, будто ее подбросило пружиной, подбежала к стеклянной двери, выходившей в сад, открыла ее с ловкостью лунатика или человека, которому нечего терять, и полетела на крыльях страха по черным аллеям сада. Вольмеранж бросился в погоню.

Босые нежные ножки, не чувствуя боли, мчались по песку, смешанному с ракушками; отяжелевшие от дождя ветки хлестали Эдит по лицу и голым плечам, цеплялись за складки пеньюара, будто пытаясь остановить; Вольмеранж жарко дышал в затылок и несколько раз едва не настиг.

Так она добежала до парапета террасы и перебралась через него, оставив на железном зубце маленький обрывок муслина — единственную улику, которую нашли потом лорд и леди Харли.

Граф не заставил себя ждать, и погоня продолжилась.

Силы покидали бедную Эдит. Ноги заплетались, кровь стучала в висках, дыхания не хватало. Со скоростью затравленной лани она пробежа-

ла улицу, а то и две. Из-за непогоды и позднего часа ей никто не повстречался; и даже если бы некий припозднившийся прохожий увидел ее, то навряд ли захотел ей помочь, приняв за гулящую девку, что-нибудь укравшую или поссорившуюся с ухажером во время ночного кутежа.

Она оказалась на набережной Темзы, у моста Блэкфрайерз, и бросилась к нему, уже изнемогая от усталости и замедляя бег.

Почти на середине моста Эдит совсем обессилела и задохнулась, ноги ее подкосились; ночной пеньюар насквозь промок и прилип к разгоряченному телу, обдуваемому сильными порывами ветра; она остановилась и прислонилась к парапету, решив прекратить сопротивление. В конце концов, раз граф не хочет, чтобы она жила ради него, то смерть ей будет только в радость.

Вольмеранж мгновенно нагнал девушку и схватил ее за обе руки:

— Поклянитесь, что в письме ложь!

Эдит, справившись с приступом страха, призвала на помощь всю свою гордость и ответила:

— В письме правда. Я не стану обманом цепляться за жизнь.

Вольмеранж поднял ее, как перышко, и, перенеся через парапет, покачал несколько мгновений над темной бездной.

Под аркой моста ревела в водоворотах невидимая река. Никогда еще над Темзой не нависала столь непроглядная ночь.

— Храни вечно тайну Вольмеранжа, темная пучина!

С этими словами граф разомкнул объятия...

Слабый стон, будто последний вздох придушенной голубки, стал предсмертной мольбой Эдит. Ветер в отчаянии зарыдал, и белая фигурка погрузилась в густой туман, словно потерянное лебединое перышко; с высоты моста Вольмеранж не слышал, как тело упало в воду, ибо все перекрывал шум воды, горький плач бури и тысяча других заунывных звуков, которые издает природа в штормовую ночь.

— Теперь он! — произнес Вольмеранж и устремился в обратный путь. — Нужно его разыскать, даже если он укроется в последнем кругу ада!

И, полный решимости, быстрым шагом он углубился в лабиринт улиц.

Увлекшись рассказом, мы не упомянули о человеке, похожем на бесплотную тень, который все это время не отходил от дома графа де Вольмеранжа. Следил ли он? За кем? По своей воле или по чьему-то приказу? Кто он? Чей-то любовник, воришка или шпион? Друг или враг? Предчувствовал скорую беду и хотел стать тайным свидетелем? На все эти вопросы мы не вправе пока дать ответ. Но мы знаем, что ночной соглядатай наблюдал, как Эдит спрыгнула с террасы сада, как Вольмеранж преследовал ее и бросил в Темзу, и не вмешался в эти страшные события,

сыграв роль молчаливого зрителя. Когда граф, отомстив неверной супруге, возвращался в сплетение городских улиц, тень поспешила за ним, стараясь не терять его из виду и не попадаться ему на глаза.

Сердце Вольмеранжа разрывалось от гнева и сожалений, разум кипел; он еле добрел до Риджентс-парка, опустился на скамейку у дерева и оцепенел от усталости, боли и отчаяния. Мысли покинули его, голова упала на грудь, мускулистые плечи сгорбились; им овладела та неодолимая дремота, с помощью которой человеческий организм, устав от страданий, спасается от физических и душевных мук.

Пока Вольмеранж пребывал в забытьи, неизвестный подкрался к нему легким и неслышным шагом, не сдвинув ни песчинки, не примяв ни травинки, и положил на колени графа документ необычной формы и связку писем, затем тихо удалился и, скрывшись за деревьями, растворился в темноте.

Каким бы незаметным ни было его движение, Вольмеранж очнулся, схватил бумаги, таинственным образом оказавшиеся у него на коленях, и бросился к ближайшему фонарю.

В связке были письма Эдит — доказательства ее вины. В документе же содержался следующий текст:

> Клянусь не распоряжаться своей судьбой, не связывать себя никакими узами, включая брачные, клянусь, что отныне и навеки принадлежу только верховной хунте. Клянусь Богом-Творцом, дьяволом-разрушителем, небесами и преисподней, честью отца и добродетелью матери, кровью дворянина, душой христианина, словом свободного человека, памятью павших героев и святых мучеников, на шпаге и на Святом Евангелии, а на случай, если наша религия — заблуждение, клянусь также огнем и водой, источниками жизни, тайными силами природы, звездами, высшими вершителями судеб, Хроносом и Юпитером, Ахероном и Стиксом, когда-то объединявшим богов.
>
> Подписано моей кровью,
>
> *Вольмеранж*

Глава XII

Граф, обезумев от боли и ярости, вскочил, машинально положил бумаги в карман и заметался по парку в поисках того, кто подбросил ему письма Эдит и текст договора, который связывал его по рукам и ногам.

Он обыскал все аллеи и тропинки, осмотрел кусты, но напрасно. Правда, ночь выдалась темной, лишь тусклый свет отдаленных и редких фонарей помогал ему кое-как ориентироваться в безлюдном парке.

Устав от бессмысленной погони, Вольмеранж вышел на улицу и, сам не зная зачем, направился в сторону Примроуз-Хилл[1].

Дома встречались все реже, город постепенно уступил место полям, и вскоре Вольмеранж приблизился к первым отрогам холма.

Время шло, и припозднившаяся ноябрьская Аврора уже осветила мутными лучами небо, покрытое большими пузатыми тучами — гигантскими трупами на бранном поле бури. И никто не обнаружил бы сходства между хмурым британским солнцем и гомеровской розовоперстой богиней утренней зари.

Граф сел у подножия дерева, дрожавшего на холодном ветру и потерявшего уже бóльшую часть своих листьев, и вытащил помятые, рваные письма Эдит. Их достоверность не вызывала сомнений, хотя они носили очень сдержанный характер и весьма скупо говорили о любви. Создавалось впечатление, что девушкой двигала не страсть, а ослепление.

Чтение растравило раны Вольмеранжа, но он читал и читал, ища оправдания себе самому. Он усомнился, нет, не в виновности своей жертвы, а в правомерности наказания: перед его глазами зримым упреком неотвязно возникала белая фигурка, летящая в черную пучину реки. Его мучил один вопрос: не превысил ли он полномочия мужа и дворянина, когда обрек на мучительную смерть юное очаровательное создание, едва ступившее на порог жизни. Сколь ни велика была вина Эдит, а понесенное наказание искупало ее.

Если бы кто-нибудь вчера утром сказал, что вечером он станет убийцей, граф счел бы это бредом умалишенного; и, однако, он безжалостно умертвил слабую женщину, которую перед Богом и людьми поклялся беречь. Деяние, справедливое с точки зрения законов чести, ужаснуло Вольмеранжа и предстало в своем истинном свете. И разве ему не следовало сначала покарать сообщника Эдит? Уступив слепой ярости, он лишил себя возможности добраться до главного преступника. Ему следовало вырвать у Эдит имя подлого соблазнителя и, подвергнув его самой дикой, жестокой и нескончаемой пытке, утолить свою жажду мести.

Затем он задумался над действиями таинственного союза, верность которому он обязан был хранить из-за своей давней клятвы. Хотя Вольмеранж принес клятву от души, его возмутило, что ему напомнили о ней после стольких лет молчания, что кто-то предъявляет на него права. Да, повинуясь юношескому увлечению, он обещал отдать все силы на благо общего дела, но почему он должен отречься от своих чувств, забыть о том, что он человек, и стать орудием в чьих-то руках?

Казалось, он уловил связь между позором Эдит и напоминанием о клятве. Может, этот страшный удар понадобился для того, чтобы отдалить его от людей и воспользоваться его отчаянием ради неведомых целей?

Он вспомнил фразу, которую когда-то произнес один из влиятельных членов их союза: «Господь послал женщину на землю, чтобы мужчина не совершил великих дел». Опорочив его любимую, они конечно же хотели безоговорочно убедить его в справедливости шекспировских слов «Ничтожность, женщина, твое названье!»[2] и заставить навсегда отказаться от ложных соблазнов.

«О! — думал Вольмеранж. — Кому отныне верить, если глаза лгут так же, как язык, если наивность — обман, стыдливость — маска, искра небесная — лишь отражение адского огня, если сердце розы исполнено ядом, а венец новобрачной стягивает волосы распутницы... Эдит! Эдит! О! Я доверил тебе без опаски и колебаний честь моего древнего рода, я был убежден, ты сохранишь в чистоте кровь моих предков, франкских рыцарей и индийских царей».

— И все же она любила меня, я это точно знаю! — вскричал он, с силой стукнув кулаком по колену. — Ее нежный взгляд не лгал, в ее голосе звучала искренняя любовь, за всем этим стоит какая-то грязная интрига. Но ведь она не отрицала свою вину! Она ни слова не произнесла в свою защиту! Она виновна... виновна... виновна...

Вольмеранж, чувствуя, что разум его погружается на дно безумия, настойчиво и монотонно твердил это слово, ухватившись за него, как утопающий за соломинку.

Слезы стекали одна за другой по щекам графа, тихо и беспрерывно, он даже не пытался вытереть их, с отрешенным видом повторяя, словно рефрен какой-то баллады:

— Она виновна, виновна, виновна!

Тем временем день разгорался, и с высоты Примроуз-Хилл открылся вид на Лондон: город начал куриться, будто кипящий котел, — величественное и великолепное зрелище. Широкие шлейфы синеватого тумана указывали на русло Темзы, над городским маревом вздымались ввысь острые шпили церквей, освещенные косыми лучами солнца.

Почти прямо перед Вольмеранжем виднелись две башни Вестминстера, едва заметная фигурка герцога Йоркского стояла на стройной колонне, левее вздымались к небу языки золотистого пламени на Лондонском монументе[3], теснились башни Тауэра, высился круглый купол Святого Павла с двумя колокольнями по бокам; свет и тени играли на волнах крыш, кое-где перемежавшихся, как на великих океанских просторах, зелеными островками парков и скверов. Неподвижные глаза Вольмеранжа, каза-

лось, с большим вниманием рассматривали эту чудесную панораму, но на самом деле не замечали ничего: бледная тень Эдит заслоняла все.

Ярость его улеглась, на смену ей пришла такая слабость, что с ним справился бы даже ребенок; в неистовом порыве мести он исчерпал все свои жизненные силы, преступление опустошило его. Граф попытался подняться, но ноги его подкосились, виски покрылись холодным потом, и он снова осел на землю.

В этот момент на дороге появился человек весьма почтенной наружности в простой, но удобной одежде, один из тех, кого не узнаешь, даже если видел тысячу раз, из тех, кто прекрасно умеет раствориться в безликой толпе.

Человек приблизился к Вольмеранжу; от переживаний и усталости граф уже почти потерял сознание.

— Что с вами, сударь? — участливо поинтересовался прохожий. — Вы очень бледны, похоже, вам нездоровится.

— Нет, ничего, просто слабость, легкое головокружение, — ответил граф еле слышным голосом.

— Благодарите Бога, что я проходил мимо. Я врач, навещал больную недалеко от Примроуз-Хилл, и у меня есть подходящее снадобье. — Человек вытащил из кармана футляр, похожий на чехол для инструментов хирурга, и достал из него флакон.

— Мне в самом деле что-то нехорошо, — пробормотал Вольмеранж, и голова его поникла.

Услужливый прохожий открыл флакон и поднес его к носу больного. Сильный запах не произвел, однако, ожидаемого действия; вместо того чтобы прийти в себя, Вольмеранж все глубже погружался в обморок, словно последние силы графа ушли на то, чтобы вдохнуть живительный аромат.

Прохожий, назвавшийся доктором, видел, что лекарство не помогает, но, вместо того чтобы убрать флакон, продолжал держать его под носом больного.

Обморок сменило полное забытье. Руки Вольмеранжа безжизненно повисли, тело обмякло, голова упала на грудь. Он превратился в неподвижную статую.

— Какая ценная вещь! — удовлетворенно пробормотал странный медик. — Теперь он в подходящем состоянии, не знает, где находится — на небе, на земле или под землей; его можно взять и унести, как мешок или труп, он ничего не заметит, вези его хоть на край света. Но посмотрим, нет ли какой-нибудь коляски, в которую его можно погрузить.

Он бросился на середину дороги и стал вглядываться в даль.

Ему не пришлось долго томиться на своем наблюдательном посту. Вскоре загрохотали колеса, засверкали спицы и показалась почтовая карета, следующая в Лондон с не виданной на континенте скоростью.

Так называемый врач подал знак кучеру. Карета была пуста, и автомедон[4] подъехал на своей колеснице прямо к тому месту, где лежал Вольмеранж.

— Помогите мне, — попросил мнимый врач, — усадить этого джентльмена в вашу карету. Он слишком много выпил за ужином, перебрал испанских и французских вин и заснул под деревом во время своей маленькой утренней прогулки. Я его знаю и отвезу домой.

Кучер помог поднять Вольмеранжа в кэб, не задавая лишних вопросов, ибо пьяный джентльмен — не такая уж редкость, чтобы кого-то удивить. И, лишь садясь на козлы, кучер печально вздохнул, подумав: «Счастливчик этот лорд! С раннего утра — и уже так пьян!»

Сформулировав сию аксиому, он пустил свою лошадь в указанном ему направлении.

Через несколько минут карета остановилась у дома, расположенного на одной из дорог в окрестностях Лондона. В ограде была маленькая зеленая дверь с блестевшей, как золото, кнопкой. Верхушки почти голых деревьев, выглядывавших из-за стены, говорили о том, что между домом и дорогой простирается довольно обширный сад.

Человек, предложивший Вольмеранжу поразительное по своему действию снадобье, несколько раз позвонил. Между звонками он делал паузы, и эти паузы, казалось, были не случайны, а имели заранее оговоренное значение.

Дверь отворил привратник; после того как незнакомец прошептал ему что-то на ухо, он ушел в дом и вернулся в сопровождении двух мужчин со странными смуглыми лицами. Они взяли Вольмеранжа на руки и перенесли в круглую башенку на углу дома, из тех, что довольно часто встречаются в английской архитектуре.

Кучер получил щедрое вознаграждение и уехал, не усмотрев в происшествии ничего необычайного. За минувшую ночь он развез по домам четырех то ли герцогов, то ли маркизов, очутившихся в таком же затруднительном положении, как Вольмеранж.

Человек с флаконом, завершив свою миссию, также удалился, но перед уходом начеркал несколько слов на иностранном языке вперемежку с цифрами на листке бумаги, который вытащил из своего футляра, а затем передал привратнику.

Дом, куда доставили Вольмеранжа, отличался такой роскошью и вкусом, что всякая мысль о западне, похищении и выкупе отпадала сама собой. Бело-розовый навес отбрасывал ажурную тень на парадную беломра-

морную лестницу; в зеркалах из цельного стекла без амальгамы, висевших над каминами, отражались огромные китайские вазы, наполненные цветами. Продолжением гостиной служила оранжерея, и под ее стеклянным куполом зеленел настоящий девственный лес; веерные пальмы, бамбук, тюльпанные и гвоздичные деревья, лианы, страстоцветы, грейпфруты, опунции росли с тропической пышностью под лондонским солнцем, протягивая к нему стрелы, мечи и когти своих чудовищных, диких листьев, распуская с хлопком, подобно ароматным бомбам, красочные бутоны и трепеща лепестками цветов, словно кашмирские бабочки — крылышками.

Два смуглых лакея уложили спящего Вольмеранжа на диван и молча удалились, ничем не выдав своего удивления по поводу странного появления в доме человека, которого они, без всякого сомнения, видели впервые в жизни.

На какое-то время граф остался один, не двигаясь и не просыпаясь.

Если бы он пришел в себя и огляделся вокруг, то заметил бы в обстановке диковинной комнаты много необычных вещей, которые сразу натолкнули бы его на определенные умозаключения. Тонкая индийская циновка устилала пол, на камине вырисовывался идол мистической Тримурти, изображавший Брахму, Вишну и Шиву;[5] собрание оружия на стене состояло из щита, обтянутого слоновой кожей, кривого меча, малайского криса[6] и двух дротиков. Столь характерные, хотя и не слишком редкие для Лондона, детали указывали на то, что здесь обитает какой-нибудь набоб, разбогатевший в Калькутте, или высокопоставленный чин из Ост-Индской компании[7].

Наконец парчовая портьера отодвинулась, и в комнату вошел очень странный персонаж: это был высокий сутуловатый старец, опиравшийся на белую, как слоновая кость, палку. Цвет его худого, высохшего, можно даже сказать мумифицировавшегося, лица напоминал кордовскую кожу[8] или гаванский табак; под ввалившимися глазами, которые, несмотря на почтенный возраст вошедшего, сверкали, словно у дикого зверя, лежали огромные темно-коричневые круги; орлиный нос был таким костлявым, что затвердевшие от времени хрящи блестели, точно отполированные, впалые щеки с глубокими морщинами обтягивали челюсти, а зубы из-за привычки жевать бетель[9] отливали золотом; кожа похожих на лапы орангутана рук на локтях и запястьях собиралась в поперечные складки, вызывавшие в памяти гусарские сапоги.

Маленькая рыжая накладка прикрывала его иссушенный, сожженный и прокаленный солнцем череп, в котором кипели страсти и горел огонь одной всепоглощающей идеи; из-под парика выглядывали два блестящих золотых кольца, продетых в похожие на кожаные мешочки мочки.

При виде этого желтого призрака, морщинистого и потрепанного, будто старая книга, и такого высушенного, что его колени хрустели при ходьбе, как у дона Педро[10], можно было поверить, что ему не сто лет, а целая тысяча. Каждая его черточка говорила о немыслимо глубокой старости, но при этом его зрачки — единственные живые точки на мертвом лице — лучились, точно у юноши. Вся энергия этого старца, оставшегося на земле исключительно благодаря его необыкновенной воле, сосредоточилась в глазах.

Неодолимое, тупое оцепенение по-прежнему владело Вольмеранжем, а если бы он вдруг очнулся и увидел, как это фантастическое существо тихо подкрадывается к нему, скользя, словно призрак, то содрогнулся бы и решил, что находится во власти ночного кошмара; и, несмотря на то что старик облачился совсем не так, как положено привидениям, — ведь на нем был черный редингот, панталоны и шелковые чулки, достойные пастора, читающего проповедь, — он всё равно казался выходцем с того света.

Однако, судя по всему, недобрых чувств к гостю хозяин дома не испытывал. На его ветхозаветном лице играла довольная улыбка, если, конечно, позволительно назвать улыбкой малоприятную гримасу на сморщенном черепе чучела фараона.

Он держал в руке бумажку с таинственными знаками, которую мнимый врач передал привратнику. Ее содержание порадовало его, ибо, перечитав записку еще раз, прежде чем бросить ее в огонь, старик пробормотал:

— Воистину этот парень очень умен, надо будет вознаградить его за усердие.

С этими словами он сел рядом с Вольмеранжем и стал ждать, когда пройдет действие снотворного, но, заметив, что сон графа еще слишком глубок, позвал слуг и приказал им переложить гостя на ложе в соседней комнате.

Это блестящее и роскошное помещение выглядело так, будто его перенесли сюда прямо из восточной сказки. Столь богатых и пышных покоев наверняка не найдется даже во дворцах Хайдарабада[11] и Бенареса[12].

Легкие беломраморные колонны, увитые виноградными лозами с листьями из мелких изумрудов и гроздьями из рубинов, поддерживали резной, точеный, узорный, разбитый на тысячу кессонов[13] потолок, который был сплошь усыпан цветами, звездами и фантастическими орнаментами, густыми, как лесная чаща.

Скульптурный фриз, проходивший по всем стенам зала, состоял из основных мистерий индийской теогонии; на нем был высечен целый сонм богов: бог с хоботом слона, бог с щупальцами спрута, боги, сжимавшие в

руках цветки лотоса, скипетры, цепы; чудовища — полуживотные-полулюди — с покрытыми листьями и изогнутыми, как арабески, телами, а также таинственные символы древних космогонических представлений. Несмотря на иератическую строгость и детскую наивность, изваяния, как ни странно, казались живыми: они переплетались, наслаивались друг на друга, копошились и двигались, оставаясь неподвижными.

Промежутки между колоннами занимали широкие портьеры из шитого золотом шелка, ниспадавшие пышными складками.

На полу лежал мягкий толстый ковер с такими сложными рисунками и разноцветными пальметтами[14], что он походил на кашемировую шаль, предназначенную для великанши.

У стен располагались низкие круглые диваны, покрытые одной из тех чудесных тканей, на которые будто перенесены в шелке все ослепительные оттенки неба и цветов Индии.

Мягкий молочный свет проникал сквозь матовые окна и освещал эту азиатскую роскошь тусклыми лучами, которые вдобавок рассеивались из-за едва заметного голубоватого дымка́, что исходил от четырех курильниц, расставленных по углам этого поразительного зала, и придавал ему совершенно необыкновенный, феерический вид. Золото, рубины, хрусталь, все выпуклости настенных изваяний внезапно вспыхивали и переливались, создавая удивительный эффект. Луч света касался кусочка барельефа, и он словно оживал, колонна начинала поворачиваться и закручиваться спиралью, и через несколько минут из-за того ли, что в аромате экзотических цветов, наполнявших большие вазы, было что-то дурманящее, или из-за того, что курения содержали какие-то опьяняющие вещества, секретом приготовления которых владеют индусы, все в этом подобии пагоды становилось расплывчатым, как во сне.

После непродолжительного отсутствия персонаж, чьи черты мы недавно набросали, вошел в комнату, где спал Вольмеранж, но теперь уже без черных европейских обносков. На его бритом черепе вместо рыжего парика белел изысканный тюрбан; две белые линии, нанесенные священной краской, украсили смуглый лоб; в носу висело колечко с бриллиантом; муслиновое платье закрывало тело старика с головы до пят и, поскольку он был крайне худым, ниспадало прямыми, без малейшего изгиба, складками.

Медно-красная голова старца резко выделялась на фоне белого тюрбана и платья. Их белизна вернула темному лицу хозяина зала подлинно индийскую смуглость.

Он выглядел так, будто только что вышел из священной пещеры Элефанты[15] или пагоды Джаггернаута[16], чтобы присутствовать на торжественной процессии колесниц с окровавленными колесами.

Старец встал сбоку от ложа в ожидании момента, когда действие сноворного закончится и Вольмеранж наконец пробудится.

Граф чуть приподнял тяжелые веки и сквозь ресницы увидел воздушные колонны, головокружительный потолок, напоминающего призрак старого индуса и его пронзительный взгляд; все вокруг было слишком похоже на сон, и Вольмеранж, разумеется, не поверил, что вернулся к реальной жизни. Потерять сознание на холме Примроуз-Хилл и прийти в себя на кашемировом ложе в зале дворца Аурангзеба[17], в самом сердце Индии, в трех тысячах лье от того места, где он упал в обморок, — от такого помутился бы даже самый здравый рассудок. Вольмеранж лежал, боясь пошевелиться, не зная, спит он или уже бодрствует, и пытаясь связать воедино порванную нить своих мыслей. Наконец он решился, полностью открыл глаза, огляделся вокруг изумленным взглядом и на этот раз признал очевидное.

Хотя место, в котором он очнулся, выглядело фантастически, в нем не было ничего от страны грез: не руки духов, наполняющих сон неосязаемыми чудесами, а человеческие руки изваяли эти колонны, расписали потолок, вырезали барельефы. И лежал он не на ложе из облаков, а на настоящем диване. Глаза на самом деле видели огромный куст китайского пиона в горшке из японского фарфора, а ноздри щекотал запах пунцовых цветов. Лицо индуса, несомненно, заинтересовало бы любителей живописать ночные видения, однако черты его были четкими и на них лежали вполне заметные тени.

Вольмеранж приподнялся на локте и, как герой трагедии, вышедший из забытья, задал высокому белому призраку классический для таких случаев вопрос:

— Где я?

— Там, где все принадлежит вам, — с почтительным поклоном ответил индус.

В этот момент за портьерой послышался звон колокольчиков, забренчали кольца на карнизе, и в зал вошел третий персонаж.

Глава XIII

Явилась девушка невиданной красоты в богатом индийском наряде; именно явилась, потому что она походила скорее на апсару[1], спустившуюся с высот Индры[2], чем на простую смертную.

Ее смуглое лицо непривычного для европейцев цвета отливало золотом. Несмотря на янтарный оттенок кожи, напоминавший тот, что время придало обнаженным телам, написанным Тицианом, на щечках юного со-

здания цвели нежные розы. Четкие, будто нарисованные китайской тушью брови, и густые иссиня-черные ресницы обрамляли подведенные сурьмой миндалевидные глаза, которые, казалось, вытянулись до самых висков и сияли подобно двум черным звездам на серебристом небосводе. На переносице красовалось легкое пятнышко, нанесенное горочаной[3], а в тонком, изящном носике с розоватыми ноздрями сверкало золотое кольцо с бриллиантами. Сквозь это колечко виднелись белые зубки — настоящие восточные жемчужины в створках сочных, словно плоды унаби[4], губ. Блеск алмазов и жемчугов весьма красил и оживлял смуглое, матовое личико девушки. Ее гладкие, глянцевые, как слоновая кость, щеки соединялись с подбородком идеально чистой линией. Сам царь Духшанта[5], индийский Рафаэль, своей тонкой кистью не смог бы передать этот нежнейший овал. В маленьких ушах, похожих по форме на цейлонские раковины, на тонкой филигранной петельке висели хрупкие веточки акации, их шелковые ароматные кисти нежно касались девичьих щек. Пробор, подкрашенный кармином, разделял волосы надвое[6], и они соединялись на затылке в косички, переплетенные золотыми нитями со сверкавшими на фоне иссиня-черных прядей драгоценными камнями.

Грудь юной незнакомки облегал темно-красный корсаж, так густо покрытый орнаментом и украшениями, что ткани почти не было видно. Его стягивала лента из волокон лотоса, сиявших подобно серебристым лунным лучам. На тонких, округлых ручках, гибких, как лианы, повыше локтей красовались браслеты в форме змеек, похожих на змей бога Махадевы[7], а на запястьях — жемчуга в пять рядов. Крохотные, совсем детские, ладошки и ноготки покрывала красная краска;[8] на пальцах блистали алмазные кольца. Золотой поясок, усыпанный аметистами и гранатами, обхватывал ее талию, обнаженную по восточной моде от корсажа до бедер, и поддерживал складки пестрых шаровар, доходивших до щиколоток. Там, из-под нескольких рядов жемчужных и золотых колец с золотыми колокольчиками, выглядывали крохотные ножки с розовыми, как щеки застенчивой девы, и блестящими пятками и пальчиками в перстнях. Концы шарфа, переливавшегося всеми цветами радуги, словно хвост павлина, на котором восседает Сарасвати[9], были заправлены за золотой пояс и ласковыми волнами облегали подвижный девичий стан, гибкий, точно пальмовый росток. По шее с металлическим звоном струился каскад бус из разноцветного жемчуга, цепочек из золотых шариков и цветов лотоса, в общем, из всего самого великолепного и соблазнительного, что придумали индийские красавицы; сквозь ослепительный блеск ожерелий просматривались священные знаки, нанесенные на кожу сандаловым порошком; и, как бы довершая индийский колорит, вокруг девушки распространялся слабый ненавязчивый аромат орхидей.

Ни Парвати[10], супруга Махадевы, ни Мишракеши, ни Менака[11] не шли ни в какое сравнение с индийской красавицей, которая приблизилась к ошеломленному Вольмеранжу, звеня ожерельями, браслетами и колокольчиками.

Казалось, девушка олицетворяла полную тайн поэзию Индии: блистательная и темнокожая, нежная и дикая, роскошно одетая и полуобнаженная, она возбуждала и чувства, и мысли. Чувства – красотой, блеском и благоуханием, мысли – символическими знаками и украшениями; золото, алмазы, жемчуга, цветы превращали ее в источник света, но ярче всего сияли лучи ее глаз.

Она подошла к дивану волнующей походкой, полной невинного сладострастия, почти не наступая на пятки, словно Шакунтала, срывающая цветы вдоль тропинки[12], затем опустилась перед Вольмеранжем на колени и застыла в позе почтительного созерцания, подобно Лакшми[13], что глядит на Вишну, лежащего на лепестках лотоса и парящего в бесконечности под сенью балдахина из змей.

Вопреки доводам, которые не могли не убедить Вольмеранжа в том, что он уже бодрствует, он опять счел себя жертвой упоительной галлюцинации. Между событиями прошедшей ночи и настоящим было так мало общего, что он предпочел усомниться в собственном рассудке, нежели поверить в реальность чудного создания, склонившегося к его ногам.

Эта сцена глубоко взволновала Вольмеранжа. Его мать была индианкой и принадлежала к одной из царских династий, свергнутых британцами. В его венах текла смесь азиатской и европейской крови, и сейчас горячая южная половина ускорила свой бег и увлекла за собой половину северную. На него нахлынули воспоминания детства: как мираж, возникли на горизонте заснеженные вершины Гималаев, округлые крыши пагод, распустились рыжие листья ашоки[14], закачались на голубых волнах Малини[15] пары влюбленных лебедей. Вся поэзия прошлого возродилась в этих ярких видениях.

Архитектура зала, сладкий запах мадхави[16], наряд старого индуса, ослепительная красота юной девушки пробудили в его душе давно уснувшие образы и картины. Графу казалось, что ему знакомо лицо пленительного создания, стоявшего перед ним на коленях, лицо, на котором читались любовь и восхищение, и при этом он был уверен, что это не так. Да и где он мог встречаться с этой красавицей? В мире сновидений, в какой-то прошлой инкарнации? Он не знал ответа на этот вопрос. Рой смутных мыслей кружился в его голове, и ему чудилось, что он много лет прожил рядом с девушкой, которую впервые увидел всего лишь несколько минут назад.

Старый, закутанный в белое платье призрак с желтым лицом как будто ожидал чего-то подобного: со странным упорством он глядел на Вольмеранжа своим пылающим взором и ловил малейшее движение его души.

По всей видимости, Дакша[17] (так звали индуса) счел, что молчание затянулось, и подал знак девушке.

— Повелитель, — спросила она на одном из индийских наречий, полном гласных и нежном, словно музыка, — неужели вы забыли Приямваду?[18]

Звуки языка, на котором граф ребенком говорил в Индии и которым не пользовался, с тех пор как переселился в Европу, вначале показались графу мелодичным бормотанием, ему понадобилось некоторое время, чтобы понять смысл вопроса: он расслышал сначала мотив, а потом слова.

— Приямвада? — медленно повторил он, припоминая что-то. — Приямвада? Та, чьи речи слаще меда?.. Нет, не помню... Но мне кажется... Да, точно, я знал ребенка, девочку...

— Десять лет превратили в девушку дочь сестры вашей матери.

— А, так это тебе я давал поиграть маленькими костяными слониками, резными деревянными тиграми и разноцветными глиняными павлинами... Приямвада, моя сестренка с золотистой кожей, я забыл о нашем родстве!

— Зато я всегда помнила о нем. И в вашем лице я почитаю последнего из династии царей, чьи предки были богами и восседали на облаках, прежде чем взойти на трон...

— Хотя ваш отец — европеец, — добавил Дакша, — капля божественной крови, доставшаяся вам от матери, делает вас наследником тех, кто веками жил и процветал тогда, когда Европа еще не вышла из хаоса или из вод, покрывших землю во времена Потопа.

— Вы надежда целого народа, — продолжила Приямвада своим ласковым голосом, в котором звучали еле заметные нотки лести.

— Я надежда целого народа? Что за ерунда! — изумился Вольмеранж.

— Приямвада говорит правду. — Дакша поклонился и скрестил на своей костлявой груди черные худые руки, напоминавшие обезьяньи лапы. — Ты избранник неба, оно уготовило тебе великую судьбу. Глядя на страдания моего народа, я тридцать лет терпел самые ужасные лишения, чтобы добиться милости у богов; я жил хуже самого бедного парии, хотя от рождения был богат; я истязал свое бедное тело так, что оно стало похоже на высохшую мумию, пролежавшую сорок веков в египетских сирингах[19], ибо мне хотелось разрушить эту немощную плоть, чтобы освобожденная душа смогла вознестись к истокам всего сущего и постичь промысел богов. О! Я много страдал, — продолжал он со всевозрастающим воодушевлением, — я дорого заплатил за дар предвидения. Дождь низвергал на мое тело ледяные потоки, а солнце — огненные, но я не двигаясь сидел в

самой неудобной позе. Мои ногти росли и вонзались в ладони, я умирал от жажды, изнемогал от голода, ужасный, покрытый пылью. Во мне не осталось ничего человеческого, но я, вызывая страх и жалость, оставался на одном месте много лет и много зим. По соседству со мной возводили свои замки термиты, небесные птахи вили гнезда в моих волосах, превратившихся в заросли, бегемоты, покрытые коркой грязи, терлись о мою спину, будто о ствол дерева, тигр принимал меня за камень и точил когти о мои ребра, мальчишки пытались выковырять мои глаза, потому что они сверкали как кусочки хрусталя посреди кучи грязи. Однажды в меня ударила молния, но и она не прервала моих молитв. Наконец Брахма, Вишну и Шива вняли моим мольбам, и, когда вышел срок, я отправился в священные пещеры Элефанты; почтенная Тримурти удостоила меня честью: трижды тремя устами всех своих трех голов повторила она имя спасителя.

Пока Дакша произносил свою странную речь, он словно преобразился. Его согбенная спина распрямилась, глаза загорелись вдохновенным пламенем, темное лицо просветлело, морщины почти исчезли, и молодость его души, вырвавшись наружу, на мгновенье затмила ветхость тела.

Вольмеранж слушал с почтением и дрожью, а Приямвада в порыве восхищения прижалась губами к подолу старца. Для нее Дакша был *гуру*[20], почти божеством. Когда она поднялась с колен, ее глаза наполнились слезами, как две чашечки лотоса — жемчужной росой.

Эта пара поражала и очаровывала. Юное, полное жизни и грации создание в роскошном наряде и тощий, угловатый и одичалый старец образовывали разительный, будто нарочно задуманный, контраст. Можно сказать, воплощенная поэзия стояла бок о бок с воплощенным фанатизмом.

Чудесное зрелище заставило графа ненадолго забыть о событиях прошлой ночи; все, что произошло в спальне и на мосту Блэкфрайерз, казалось ему горячечным кошмаром, который развеялся при мягком свете утра; ему уже не верилось, что он, Вольмеранж, в самом деле накануне женился и бросил молодую супругу в Темзу. Письма, откровения, разрушившие его счастье, и ужасная катастрофа[21] смешали все его представления, и он растерянно взирал на Дакшу и Приямваду.

Дакша опомнился от восторга и постепенно возвращался к реальности; вдохновение покинуло его, он опять превратился в старика с пергаментным лицом, чей портрет мы набросали выше. Пророк исчез, остался человек, и этот человек обратился к графу с заискивающей улыбкой:

— Теперь ваша милость знает, что находится в гостях у муни[22] из секты брахманов[23] по имени Дакша, и мне можно удалиться. Пора совершить омовения, дабы очиститься от грязи, — в этих неверных городах даже святой не в силах ее избежать. Приямвада побудет здесь, беседа с ней до-

ставит вам, несомненно, больше удовольствия, чем общество старого брахмана, изнуренного постом и покаянием.

С этими словами Дакша опустил за собой толстую портьеру и исчез.

С грацией ручной газели Приямвада устроилась у ног Вольмеранжа, взяла его за руку и, подняв очи, блестевшие под сурьмяными линиями, произнесла полным мелодичных переливов голосом:

— Что с тобой, повелитель? Ты грустен и озабочен, ты несчастен?

Вместо ответа Вольмеранж протяжно вздохнул.

— О! В ужасном северном климате, — продолжила Приямвада, — на неблагодарной земле, где цветы цветут только в стеклянной тюрьме с печкой вместо солнца, а женщины бледны, словно снег на вершинах гор, и совсем не умеют любить, — здесь все несчастны.

От этих слов, растравивших его раны, Вольмеранж дернулся, как от боли, а глаза его запылали огнем.

Юная индианка, на лету перехватив эту вспышку ярости, поняла, что попала в точку, и ласково продолжила:

— Какая-то европейская женщина опечалила потомка лунной династии царей?

Вольмеранж не ответил, но грудь его содрогнулась от глухих рыданий.

Мягким, полным сочувствия голосом Приямвада задала новый вопрос:

— Неужели мой повелитель, чья красота затмевает красоту самого Чандры[24], объезжающего небо в серебряной колеснице, удостоил своим взглядом простую девушку, а она не полюбила его, хотя даже апсары были бы счастливы преклонить перед ним колени? Неужели такое возможно?

Юная индианка обвила своими руками Вольмеранжа, как цветущий жасмин — ствол дерева; влажный блеск ее глаз и полная сочувствия улыбка, казалось, говорили, что с ней ее европейский кузен никогда не попал бы в такую беду.

Вместо ответа Вольмеранж положил голову на плечо Приямвады, и горькие слезы покатились из его глаз.

— Так вот оно что! — Невинным поцелуем Приямвада осушила веки Вольмеранжа. — Одна из капризных северянок, изменчивых, точно блеск опала и кожа хамелеона, обманула милого повелителя, хотя на всей земле ему нет равных? Только предательство может вызвать слезы у мужчины из рода богов.

— Да, Приямвада, меня предали, низко предали!

— Надеюсь, — сказала Приямвада самым спокойным и музыкальным тоном, — мой дорогой повелитель убил неверную?

— Темза поглотила ее и покарала.

— Это слишком мягкое наказание. У нас на родине слон поставил бы свою ногу на лживое сердце и медленно раздавил грудь вероломной, или тигр разорвал бы, как газовую вуаль, ее тело, замаранное чужой любовью, — конечно, если господин не пожелал бы посадить преступницу в мешок с кобрами. Пусть память о ней развеется, будто маленькое облачко, растворится, как клочок соленой пены в морской пучине; забудь Европу, возвращайся в Индию, там тебя ждет только любовь. Там, в жарком климате, мы дышим ветром, полным благоуханий, томный лотос цветет у священных вод, в лесах и на лугах растут пять цветов, из которых Кама, бог любви, делает свои стрелы;[25] чампака, амра, кесара, кетака и бильва[26] — каждый из них зажигает в сердце особый, но одинаково яркий огонь; с берега на берег перелетают жалобные песни кокилы и чаватраки;[27] там один взгляд связывает на всю жизнь, там женщина любит и после смерти, а пламя ее любви угасает вместе с пеплом погребального костра, там победа сладка, там надо умирать ради единственной любви. О! Вернись туда, повелитель, в объятиях Приямвады, очень скоро, как сон, приснившийся в зимнюю ночь, рассеется этот долгий северный кошмар, который ты принимал за жизнь!

Индианка, мысленно представляя себя уже на родине, привлекла Вольмеранжа к груди, от прерывистого дыхания Приямвады задрожали золотые колечки и застучали жемчужины ее ожерелий. От смелой девичьей ласки, от ее страсти, наивной и чистой, как в первый день творения, Вольмеранж почувствовал глубокое волнение и ощутил пламя на своих щеках; сам того не сознавая, он обнял гибкую талию девушки.

Складка портьеры чуть шевельнулась, и за ней металлом блеснули глаза старого брахмана.

Вольмеранж и Приямвада были слишком увлечены друг другом, чтобы заметить его.

«Хорошо! — думал Дакша, любуясь ими. — Похоже, Европа и Индия примирились друг с другом, а Вольмеранж и Приямвада хотят соединиться по всеми почитаемому обряду гандхарвов[28]. Даже Законы Ману[29] допускают его. Ничего лучше и придумать нельзя для осуществления моих планов».

И он удалился, стараясь ступать как можно тише.

— Ты поедешь со мной в Пенджаб? — спросила Приямвада, когда губы графа коснулись ее лба.

— Да, но я должен еще покарать виновного, — дрожащим от ярости голосом произнес Вольмеранж.

— Правильно, — согласилась девушка. — Позволь только твоей рабыне удивиться, что ты до сих пор не отомстил тому, кто оскорбил тебя, и что он еще жив.

— Я не знаю, кто он. Я получил доказательство измены, но не знаю имени виновника. Эта сеть была сплетена с дьявольским искусством. Никаких следов, никаких намеков, я понятия не имею, где его искать.

— Послушай, — задумчиво молвила девушка. — Вы, европейцы, доверяете вашим наукам, придуманным совсем недавно, вы забыли природу, разорвали нити, что связывают человека с оккультными силами творения. Индия — страна традиций и тайн, там еще помнят секреты, когда-то открытые людям богами, и эти секреты приведут в изумление ваших недоверчивых мудрецов. Приямвада — всего лишь простая девушка, для ваших гордых леди она не более чем дикарка, способная на один вечер отвлечь их от скуки, но мне приходилось слышать, как брахманы, сидя на шкурах газели между четырьмя ритуальными курильницами, говорят о том, что возможно, и о том, что невозможно. Так и быть, я помогу тебе узнать имя твоего врага, даже если он укрылся на другом краю земли.

Глава XIV

Приямвада поднялась, принесла из другого угла зала лакированный китайский столик и поставила его перед Вольмеранжем, следившим за ее действиями с тревогой и любопытством.

В большой хрустальной чаше с водой плавал недавно распустившийся цветок розового лотоса. Приямвада убрала цветок и вылила воду в цветочный горшок с пионом; затем она снова наполнила чашу водой из тщательно закупоренного кувшина причудливой формы и поместила ее на столик.

— Это, — пояснила она, — не простая вода, а та, что льется с неба на вершину горы Химавата[1] и вытекает из глотки священной коровы, которую пасет на склонах великий Бхагиратха; это вода священной реки, которая именуется Гангой[2]. Спустившись по ступеням мраморной лестницы Бенареса[3], я набрала ее, соблюдая предписанный обряд, поэтому она обладает волшебными свойствами и наша попытка непременно увенчается успехом.

Граф слушал, затаив дыхание, хотя не до конца понимал, чего Приямвада хочет добиться.

Она расставила по углам стола фарфоровые курильницы, открыла несколько шкатулок, достала из них разные порошки, которые разложила по чашкам; легкий голубоватый дымок закружился над ними и наполнил зал резкими запахами.

— Теперь, — приказала девушка, — склонись к воде и посмотри в нее как можно пристальнее, а я произнесу волшебные заклинания и призову на помощь тайные силы.

Эта сцена ничуть не напоминала привычную магию; не было ни пещеры, ни грязных трущоб, ни ручной жабы, ни черной кошки, ни засаленных колдовских книг: просторный, роскошный зал, чаша с чистой водой, запах благовоний и очаровательное юное создание — ничего страшного не происходило, однако, когда Вольмеранж склонился над чашей, сердце его тревожно забилось. Неизвестность всегда немного пугает, в какие бы одежды она ни рядилась.

Стоя рядом со столиком, Приямвада на незнакомом Вольмеранжу языке вполголоса произносила заклинания. Казалось, девушку охватило лихорадочное возбуждение, глаза ее закатились так, что остался виден лишь хрустальный белок. Грудь вздымалась от частых вздохов, жар молитвы окрасил пурпурным румянцем щеки цвета янтаря. Через какое-то время Приямвада, как бы обращаясь к тем, кого видела только она, сказала на понятном языке:

— Красное и Золотое, сделайте, что до́лжно.

Вольмеранж сначала не видел в чаше ничего, кроме чистой воды. Затем в прозрачной среде начало распространяться молочное облачко, словно со дна поднимался дымок.

— Облачко появилось? — спросила юная индианка.

— Да, как будто невидимая рука капнула масло, и вода тут же побелела.

— Это рука Духа мутит воду, — спокойно и просто пояснила Приямвада.

Граф не удержался и приподнял голову.

— Не отвлекайся, смотри только в чашу, — умоляюще воскликнула Приямвада, — ты разрушишь чары.

Не смея перечить просьбе своей смуглой кузины, Вольмеранж снова опустил глаза.

— А теперь что ты видишь?

— На дне вырисовывается яркий круг.

— Только один?

— О, вот он раздвоился и засверкал всеми цветами радуги!

— Два круга — этого мало, надо три: один для Брахмы, другой для Вишну, третий для Шивы. Смотри внимательно, я повторю заклинание. — И Приямвада снова возвела очи горе́.

Появился третий круг; сначала нечеткий и бледный, похожий на смутную радугу, что появляется сбоку от радуги настоящей, он постепенно обрел контуры и засиял рядом с двумя первыми.

— Вижу три круга! — вскричал граф. Несмотря на свою европейскую недоверчивость, он невольно поразился этим трем пламенным линиям, появление которых невозможно было объяснить с точки зрения физики.

— Три кольца на месте, — произнесла Приямвада. — Рамка готова. Духи, приведите того, кого мы хотим увидеть. В какой бы части света он ни находился и в какое бы время он ни жил, пусть даже до Адама, что похоронен на острове Серендиб[4], заставьте его явиться и выдать себя. Если он мертв, пусть явится его призрак, если жив, покажите его лицо.

Услышав эти торжественные слова, Вольмеранж еще ниже нагнулся к чаше. Верил ли он в магические заклинания Приямвады? Предрассудки цивилизованного человека заставляли бунтовать его разум, однако то, что граф уже видел, не позволяло ему упорствовать в неверии. Впрочем, любым сомнениям скоро должен был прийти конец.

И вот в глубине чаши, в области, очерченной тремя светящимися окружностями, в необозримой дали появилась точка, она стремительно приближалась и становилась все отчетливее.

— Ты что-нибудь видишь? — спросила Приямвада.

— Мужчина, чьих черт я пока не различаю, приближается ко мне.

— Когда разглядишь его, постарайся запечатлеть его облик в своей памяти, потому что я не могу дважды вызывать призрак одного и того же человека, — строгим тоном добавила Приямвада.

Лицо, нарисованное в воде таинственной кистью, приобрело четкие очертания; молния осветила чашу, и у Вольмеранжа не осталось никаких сомнений: он узнал бледное тонкое лицо Ксавье.

Крик удивления и ярости вырвался из груди графа; тут в чаше вновь возникло молочное облачко, картинка разрушилась, и все исчезло.

— Долфос! Один из членов нашего союза... — с ужасом промолвил Вольмеранж.

Долфос — так звали Ксавье на самом деле, но Эдит не знала его настоящего имени. Ксавье, или, лучше сказать, Долфос, не мог предвидеть гадания на воде, он был уверен, что псевдоним сохранит его грязную интригу в секрете.

Приямвада, ничуть не удивленная чудом, которого добилась, вылила воду Ганги обратно в кувшин.

— Теперь мой повелитель сможет отомстить за себя, если пожелает, — сказала девушка, — я дала ему приметы преступника.

— Послушай, Приямвада! — Граф выпрямился во весь рост. — Я поеду с тобой в Индию, я сделаю все, что захочешь; за то, что ты сделала для меня, мое сердце и рука принадлежат тебе навеки. Теперь выведи меня отсюда; прежде всего я должен отомстить.

— Иди! — ответила Приямвада. — И будь страшен, как Дурга[5], вонзающая трезубец в сердце порока, и жесток, как Нарасинха, человек-лев, раздирающий чрево Хираньякашипу[6].

Она взяла графа за руку и, миновав извилистые коридоры, проводила его к выходу.

Когда она вернулась, Дакша, который все время подслушивал, прячась за портьерой, задумчиво стоял посреди зала, подперев локоть одной рукой и положив голову на ладонь другой. Спустя несколько секунд он сказал Приямваде:

— По-моему, юная дева, ты напрасно отпустила повелителя... Что, если он не вернется?

— Вернется, — ответила индианка, и за алмазным колечком на ее носике блеснула лукавая улыбка, полная наивного кокетства.

Когда Вольмеранж очутился на улице, все случившееся показалось ему лишь сном. Стоит ли веры эта фантасмагория, и виновен ли Долфос на самом деле? Сердце говорило ему «да», хотя эта уверенность ни на чем не основывалась.

И даже если Долфос действительно виновен, как это доказать? Единственного свидетеля, который знал правду, унесли, думал Вольмеранж, мутные воды Темзы, да и где отыскать Долфоса, которого он не видел два или даже три года? Он понятия не имел, какой образ жизни ведет этот холодный скрытный человек, всегда вызывавший у него неприязнь. Они встречались когда-то, и их отношения отличались исключительной вежливостью, граничившей с оскорблением. Да, были какие-то женщины, из-за которых они соперничали, но Долфос никогда не брал верх над Вольмеранжем. Возможно, по этой причине Долфос затаил злобу, которую тщательно скрывал, и его гнилое сердце истекало ядовитой жаждой мести.

И еще одно сомнение терзало Вольмеранжа. Что, если Долфос действовал по приказу союза? Тогда, пользуясь его могущественной поддержкой, негодяй избежит заслуженной кары; наверняка какой-нибудь корабль уже увез его в неведомую страну, где его никогда не найдут.

Так он думал, когда внезапно, благодаря одной из тех случайностей, что бывают в жизни, но кажутся совершенно неправдоподобными в романах, Долфос вышел из-за угла и столкнулся нос к носу с мертвенно-бледным Вольмеранжем.

Едва взглянув на графа, Долфос все понял и резко отшатнулся, но Вольмеранж железной хваткой вцепился в его руку.

— Долфос, — сказал граф, — не отпирайся, я все знаю. Ты принадлежишь мне, следуй за мной.

Несчастный попытался вырваться, но все было напрасно.

— Подлец! Я должен отхлестать тебя посреди улицы, чтобы заставить драться? — сурово продолжил Вольмеранж. — У меня есть полное

право просто убить тебя, и, однако, я поставлю свою жизнь против твоей, как если бы ты был человеком чести. Соблазнить женщину — это понятно: любви дозволено все, но погубить ее из расчета и ненависти — сама преисподняя не знает ничего чудовищнее и омерзительнее. Ты вынудил меня послать ее на смерть, теперь я расквитаюсь с тобой. Твоя жизнь — мой долг Эдит.

— Ладно, я пойду с вами, — ответил Долфос, — только отпустите, не то сломаете мне руку.

— Нет, — возразил Вольмеранж. — Ты сбежишь.

Граф остановил экипаж, усадил в него бледного и дрожащего Долфоса, а затем сел сам.

— Отвезите нас в ***.

То был загородный домик, коттедж, который принадлежал графу и находился неподалеку от Ричмонда[7].

Хотя путь был недолог, двум врагам он показался бесконечным: забившийся в угол Долфос походил на загнанную львом гиену. Вольмеранж сверлил его зловещим пылающим взором, а Долфос терзался страхом.

Наконец они остановились у ворот коттеджа, который охранял старый слуга. Вольмеранж лишь изредка приезжал сюда, чтобы провести время с друзьями.

Этот коттедж, точнее, своего рода маленькое имение Вольмеранжа, был надежно укрыт от посторонних глаз. Нелюбопытные соседи, высокий забор вокруг парка, в который не заглядывал никто посторонний, давали возможность спокойно, не привлекая ничье внимание, пошептаться о любви, устроить шумную оргию и, кстати сказать, перерезать друг другу горло. Да простят нам мифологические аллюзии, для сладострастия коттедж превращался в грот Калипсо, для злодеяний — в пещеру Кака[8]. Сейчас в намерения Вольмеранжа развлечения не входили, и его особняк стал опасной западней.

День клонился к вечеру. Комната, в которую Вольмеранж втолкнул Долфоса, напоминала склеп, ибо ее давно не открывали и она пропиталась сыростью и холодом.

Долфос упал в кресло и обреченно обхватил голову руками. В мыслях и воображении он был смел, но на деле мужеством не отличался. Он раскаивался так, как раскаиваются трусы, когда их ловят с поличным. Он действительно получил приказ союза разлучить Вольмеранжа с Эдит, но превысил свои полномочия самым гнусным образом: слишком много личной ненависти он вложил в эту интригу и теперь терзался и мучился, будто проигравший подлец.

— Дэниэл, отправляйтесь в город и отвезите вот это письмо. — Вольмеранж протянул старому слуге сложенный вчетверо лист бумаги. — И поторопитесь.

Слуга уехал, и Вольмеранж, услышав, что ворота закрылись, сказал Долфосу:

— Что ж, теперь — кто кого!

Он снял со стены две шпаги одинаковой длины, сунул их под мышку и направился в сад. Стиснув зубы, бледный, словно привидение, с налитыми кровью глазами Долфос машинально следовал за ним, как осужденный на казнь за своим палачом. Он закричал бы, но голос застревал в пересохшем горле, и к тому же никто не услышал бы его. Ему хотелось упасть на землю и тем самым отказаться от участия в затеянном Вольмеранжем поединке, но граф безжалостно, будто багром, которым волокут отданный на поругание труп, тащил его за собой. Изворотливый и красноречивый Долфос шел безропотно и молча, ибо чувствовал, что умолять или лгать бесполезно.

Проходя мимо сарайчика, Вольмеранж на секунду задержался и достал из-за его двери лопату.

Кровь застыла в жилах у Долфоса.

Они прошли в глубь парка, Вольмеранж остановился и заметил:

— Подходящее местечко...

Место и в самом деле было подходящим: на фоне кровавых вечерних облаков вырисовывались скелеты полуголых деревьев, которые образовывали своего рода арену, будто специально созданную для дуэли.

Граф положил шпаги подальше от Долфоса и начертил лопатой на песке четырехугольник длиной в человеческий рост; затем он начал копать, отбрасывая землю в стороны.

Похолодев от ужаса, Долфос прислонился к дереву и слабым голосом спросил:

— Ради бога, что вы задумали?

— Что я задумал? — не прерывая работы, ответил Вольмеранж. — Я копаю могилу для себя или для вас, кому повезет, тот и закопает труп.

— Но это ужасно... — прохрипел Долфос.

— Я так не считаю, — с жестокой иронией возразил Вольмеранж. — Не думаю, что мы собираемся ограничиться несколькими царапинами. Очень удобный и пристойный способ. Копайте, теперь ваша очередь, — добавил он, выглянув из наполовину готовой могилы. — Это нечестно, что я один работаю и трачу силы, давайте вместе приготовим ложе, где упокоится один из нас.

И он протянул лопату Долфосу.

Тот дрожащими руками кое-как копнул несколько раз и вытащил на поверхность горстку земли.

— Нет, дайте мне. — Вольмеранж снова забрал инструмент. — Вы прекрасный комедиант, но роль могильщика в «Гамлете» вам не сыграть. Плохо копаете, сударь.

Стало совсем темно, когда граф закончил свой скорбный труд.

— Ну вот, достаточно! Теперь за шпаги! — скомандовал Вольмеранж, протянув одну шпагу Долфосу, а вторую забрав себе.

— Уже ночь, ничего не видно, — вскричал несчастный. — Мы что, будем драться на ощупь?

— Тут достаточно светло, чтобы прикончить друг друга. К тому же переход от мрака ночи к мраку смерти будет легким; и как бы ни было темно, мы почувствуем, если шпага вонзится в тело. — И граф безо всякого предупреждения нанес противнику страшный удар.

Долфос вскрикнул.

— Я попал! — воскликнул Вольмеранж. — Кончик моей шпаги стал мокрым.

В полном отчаянии Долфос бросился на графа.

Вольмеранж быстро отскочил и отразил атаку, а затем, скрестив свою шпагу со шпагой противника, выбил оружие из его рук.

Поняв, что пропал, Долфос бросился на землю и, распластавшись подобно тигру, схватил Вольмеранжа за ноги и повалил его.

Они начали бороться. Страх и трусость превратили Долфоса в бешеного зверя, он так крепко стиснул Вольмеранжа, что тот не мог воспользоваться шпагой. Граф попытался вонзить ее в спину противника, несмотря на то, что если бы он поразил Долфоса, то проткнул бы и собственное сердце. Но попытка сорвалась, и он выронил шпагу. Тогда освободившейся рукой он вцепился в горло врага.

Противники упали рядом с вырытой ямой. Они катались по земле, будто два людоеда, пытаясь побороть один другого, и, наконец, не разжимая хватки, скатились в могилу, захватив с собой кучу земли.

Долфос оказался сверху. Пальцы Вольмеранжа впились в его шею и сжали ее с силой испанской гарроты[9]. Изо рта несчастного пошла пена, он глухо захрипел, члены его напряглись... Но вскоре он перестал дергаться, и граф, вырвавшись из объятий трупа, вылез на край ямы со словами:

— Мертвец сам улегся в могилу, как это любезно с его стороны!

Взяв лопату, Вольмеранж торопливо забросал землей тело убитого, старательно разровнял грунт и еще долго топтался по нему, чтобы получше утрамбовать.

— Счет оплачен, теперь к Приямваде, и в путь! Прощай, старушка-Европа, прими на память от меня два трупа!

Глава XV

Мы расстались с «Красоткой Дженни» в тот момент, когда она достигла устья Темзы и вышла в открытое море. Разумеется, капитан понятия не имел, куда они направляются, и потому, увидев морской простор, почтительно поинтересовался у погруженного в мечты Сидни:

— Хозяин, куда мы идем?

— Узнаете, когда прибудем на место, дорогой капитан Пепперкул.

— Я спрашиваю не из праздного любопытства, — не отставал капитан. — Просто рулевой должен знать, куда поворачивать — налево или направо.

— Верно, — улыбнулся сэр Артур Сидни, так и не ответив на вопрос.

— Сегодня ветер поменялся, и сейчас есть отличная возможность выйти из Ла-Манша в океан. Но если у вас дела в Балтике или Приполярье, то, лавируя, меняя галсы[1], мы постараемся добраться и туда.

— Раз ветер несет нас к Ла-Маншу, — с восхитительно сыгранной, а может и подлинной, беззаботностью ответил Сидни, — отдадимся его воле!

Капитан отдал приказ, и «Красотка Дженни» повернула на юг. В один миг паруса раздулись, и корабль, подчиняясь сильному и устойчивому ветру, устремился вперед, рассекая волны.

Сидни молчал, капитан Пепперкул счел, что дальнейшие его усилия по поддержанию разговора, наверное, будут некстати, и тихо отошел в сторону.

Джек, приятель Макгилла, в это время скручивал снасти; именно к нему обратился Сидни:

— Проводите в мою каюту женщину, которую мы подобрали сегодня ночью.

— Одну секундочку, ваша милость, сейчас доставим, — ответил Джек и нырнул в люк, будто оперный дьявол, проваливающийся под сцену.

Пока Джек ходил за Эдит, отдыхавшей на подвесной койке, Сидни, нахмурившись, также направился к своей каюте.

Наконец в ее дверях вместо белого призрака, барахтавшегося в темной воде, появился худенький невысокий отрок, одетый в штаны и льняную рубаху юнги: его тонкие и нежные черты резко выделялись на фоне необычайно бледного лица, светлые глаза лихорадочно блестели, а губы были лишены всех красок жизни. К его печали примешивалось явное смущение, и он слегка покраснел, когда сэр Артур взглянул на него.

В глазах Сидни отразилось некоторое удивление, он ждал женщину, а ему привели юнгу. Но Джек, стоявший позади мнимого молодого человека, все понял и тут же пояснил:

— Когда мы вытащили сударыню из воды, на ней не было ничего, кроме тонкой сорочки, а поскольку у нас тут женский гардероб не предусмотрен, я положил рядом с ее койкой эту красную рубаху и эти непромокаемые штаны.

— Хорошо, Джек, идите, — махнув рукой, приказал Сидни.

Оставшись наедине с Эдит, Сидни пристально посмотрел ей в глаза: то был взгляд, подобный яркому лучу, проникающему в череп и грудь, чтобы изучить мысли и чувства.

Эдит бесстрастно выдержала этот экзамен, который, видимо, закончился в ее пользу. Сидни встал и почтительно приблизился к ней так, как будто они находились в светской гостиной. Он взял ее за кончики пальцев и подвел к дивану с подушками, стоявшему в углу каюты:

— Сударыня, соблаговолите присесть; мне кажется, вы нездоровы и слабы, а для тех, кто не привык к морю, устоять на ногах в такую качку довольно трудно.

В самом деле, «Красотка Дженни», пользуясь свободой, скакала по волнам, точно необузданная лошадка, и пол каюты то и дело уходил из-под ног.

И хотя Сидни поддерживал Эдит под руку, она чуть не упала, прежде чем сесть на диван.

Воцарилось недолгое молчание, которое прервал Сидни. Он заговорил спокойным мелодичным голосом, смягченным, несомненно, жалостью:

— Не стану спрашивать, сударыня, преступление или отчаяние толкнуло вас в Темзу той ужасной бурной ночью; чудо, что рядом оказалась наша лодка, полная людей, торопившихся к своей, не ведомой посторонним цели. Вы упали с неба, как в театре, и самым неожиданным способом разрушили тщательные предосторожности и увидели то, что никто не должен видеть, дабы никогда ни о чем не рассказать. Одного удара весла хватило бы, чтобы отправить вас на дно. Мои люди ждали лишь знака.

— О, почему вы не подали его? — Полупрозрачными руками Эдит закрыла свои покрасневшие глаза.

— Меня что-то остановило. Я подумал, что послать на смерть человека, которому чудесный случай помог выжить, было бы настоящим варварством, можно сказать, кощунством по отношению к Провидению. Но не стану скрывать: сохранив вам жизнь, я не могу дать вам свободу, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута великая цель, к которой я стремлюсь. Корабль, на котором мы находимся, плывет к далеким морям. И для всего света вы будете мертвы.

— Не бойтесь, милорд, у меня нет ни малейшего желания воскреснуть.

— Какое-то время вам придется походить в этом наряде, — продолжил Сидни, — я скажу, когда надо будет с ним расстаться. И ничего не бойтесь. Несмотря на наш зловещий и угрюмый вид, мы люди честные и наша цель благородна.

При этих словах глаза Сидни засверкали, лицо прояснилось, но очень скоро, словно устыдившись собственной горячности, он успокоился и холодным тоном продолжил:

— Доверьтесь мне, сударыня. Я избавил вас от смерти не для того, чтобы надругаться. И что бы ни привело вас в Темзу — убийство или самоубийство, — вы должны вернуться к жизни со спокойной и радостной душой. Опасности, которые я вам уготовил, ведут к славе, и, даже если вы погибнете, история вас не забудет.

— О да! — воскликнула Эдит. — Теперь, когда все, что связывало меня с жизнью, разбито, я чувствую, что могу жить только из преданности. Я сама, мои дни — все кончено, у меня не осталось ни желаний, ни надежд, мне заказаны все пути, даже смерть, ибо Бог поднял меня над пучиной, не дав уйти на дно. Располагайте мною как служанкой, пусть ваша воля станет моей, вложите вашу душу в мое пустое сердце и ваши мысли в мой мозг, ибо отныне я отрекаюсь от себя. Я забуду, кто я есть, кем была и как меня зовут; дайте мне новое имя, я буду носить его, потому что я призрак, а призраки могут зваться как угодно; и я буду жить, стоять и двигаться до тех пор, пока вы не скажете: «Призрак, ты мне больше не нужен, возвращайся в свою могилу».

— Я принимаю тебя, — произнес Артур Сидни торжественным и почти благоговейным тоном. — Ты отдаешься без оглядки и посвящаешь себя неизвестной цели со страстью и верой, о бедная разбитая душа! Обещаю тебе, нет, не счастье, но, по крайней мере, покой. Вы будете жить в этой каморке рядом с моей каютой, и для всего экипажа, для тех, кто не видел вас в женском платье, вы станете моим юнгой.

Эдит устроилась в узенькой каморке. Ее обязанности сводились к тому, чтобы подать Сидни книгу или подзорную трубу. Все остальное время она стояла на палубе, устремив глаза к бескрайним облакам или созерцая океан, казавшийся девушке меньше ее горя.

Судно продолжало свой бег в бронзовом круге, который очерчивает вокруг кораблей морской горизонт. Солнце вставало и садилось; белые лошади трясли своими лохматыми гривами;[2] в струе за кормой играли в тритонов и сирен дельфины; время от времени далеко, очень далеко по левому борту от «Красотки Дженни» узкой полоской в пене прибоя выныривал похожий на слой облаков сероватый берег, подсвеченный сол-

нечным лучом; альбатросы, баюкая себя в полете, боком парили над мачтами или чиркали по волнам одним крылом; и чем дальше, тем светлее становился небосвод, а северные туманы отставали, словно запыхавшиеся бегуны.

Но вскоре все исчезло, не стало ни птиц, ни силуэтов далеких земель — только море и небо в их однообразном величии и бесплодном движении. В одной восхитительно печальной венецианской песне поется о том, что грустно выходить в море без любви. Как это верно и прекрасно, что только любовь может заполнить бесконечность! Но, вне всяких сомнений, баркарола[3] не подразумевала такую безнадежную погубленную любовь, как та, что испытывала Эдит к Вольмеранжу. Великая тоска завладела молодой женщиной, она все время думала о том, сколь счастливой могла бы стать ее жизнь, жизнь, которую уготовили ей Господь и общество и которую сломала коварная интрига. Она думала также о леди и лорде Харли, об ужасном отчаянии ее благородного отца и почтенной матери, и слезы, горькие, точно океанская вода, тихо лились по прекрасному, бледному лицу.

Странное противоречие, хотя женщин оно, наверное, не удивит: Эдит еще сильнее полюбила Вольмеранжа после той ужасной ночи. Невероятная жестокость доказывала невероятную страсть! Ей льстила его неумолимая суровость, а снисходительность послужила бы свидетельством холодности: должно быть, он безмерно любил ее, раз посчитал себя вправе казнить! Какие же надежды он возлагал на нее, если не смог пережить их крушения? Что он делает сейчас: терзается угрызениями совести, страдает в отчаянии, бежит от преследования? Как отозвался свет на ее таинственное исчезновение? Одни и те же вопросы и тысяча разных ответов неотвязно вертелись в голове Эдит, пока «Красотка Дженни», неуклонно стремясь к неведомой цели, то летела на всех парусах, подгоняемая неистовым ветром, то еле двигалась, попав в затишье.

Бенедикт, со своей стороны, все время думал о мисс Амабел, и всякий раз, когда он проходил по палубе мимо Эдит, они с грустью смотрели друг на друга и чувствовали, что в их печали есть нечто общее.

Наконец корабль достиг острова Мадейра[4], и Сидни послал в город шлюпку, чтобы пополнить запас продовольствия и купить одежду для Эдит. Платья, белье, шали, шляпки — он не забыл ни одной мелочи, и на борт доставили, можно сказать, настоящее приданое для невесты. Однако Эдит по-прежнему оставалась в костюме юнги.

Бенедикт больше не протестовал против своего странного похищения: то ли он решил, что обязан держать данное когда-то слово, то ли Сидни увлек его своими идеями. И, несмотря на внезапно разрушенное счастье, казалось, он не затаил на друга никакой обиды.

Целыми днями они сидели в каюте за подвесным столиком, заваленным бумагами и измерительными инструментами. Сэр Артур Сидни после продолжительных раздумий рисовал на грифельной доске сложные чертежи вперемежку с цифрами, расчетами и заметками. Бенедикт начисто перерисовывал их сепией[5], учитывая все необходимые уточнения; иногда, прежде чем перенести чертеж на бумагу, он делал свои замечания. Сидни внимательно выслушивал его и добавлял изменения к первоначальной схеме.

Вскоре два друга перешли от чертежей к изготовлению макета. С серьезными лицами они вырезали деревянные детали величиной с палец, о предназначении которых было трудно догадаться. Когда они закончили, Сидни ловко соединил пронумерованные части, которые подавал ему Бенедикт, с живым интересом наблюдавший за ходом сборки. Работа заняла целый месяц, и в результате получилась лодочка длиной в один фут, как две капли воды похожая снаружи на те игрушечные кораблики, что пускают детишки в прудах парков и королевских садов. Вот только внутри у нее находились какие-то колесики, трубки и перегородки.

Работа над детской игрушкой, похоже, захватила обоих друзей, и Сидни удовлетворенно вздохнул, прикрепив последнюю досочку.

— По-моему, получилось, — сказал он, — если, конечно, наши теории и расчеты верны.

— Надо ее испытать, — предложил сэр Бенедикт Аранделл.

— Нет ничего проще. — И Сидни ударил в колокольчик, висевший у него под рукой.

Джек, вызванный из глубин камбуза, где он с приятелем занимался сравнительным анализом особенностей водки и рома, возник на пороге каюты и, комкая в руках шляпу, стал ждать указаний сэра Артура Сидни.

— Принеси нам лохань, полную воды.

Джек так удивился странному приказу, что не удержался и переспросил:

— Ваша честь сказали принести лохань с водой?

— Да, и что тут странного?

— Ничего. Просто я подумал, что ослышался, — ответил Джек. — Подождите, я мигом.

Через несколько минут Джек вместе с Макгиллом втащили в каюту корыто с водой и аккуратно разместили его рядом с дверью.

Когда матросы вышли, Сидни осторожно взял лодочку и опустил ее на воду так же серьезно, как мальчик, который верит, что в тазу у него плавает настоящий военный корабль.

Странное дело — лодка, вместо того чтобы закачаться на воде, постепенно погрузилась в нее. Суденышко тонуло на глазах, но это привело в

восторг и Сидни, и Бенедикта. Заметив, что лодка не достигла дна корыта, Сидни торжествующе воскликнул:

— Смотрите, Бенедикт, она держится на одной глубине; я все правильно рассчитал! О! Теперь я во всем уверен.

Глаза его засверкали благородной гордостью, ноздри раздулись, но он в мгновение ока справился со своими чувствами, хладнокровно засучил рукав и, сунув руку в корыто, достал лодочку, а затем бережно спрятал ее, предварительно вылив из нее всю воду.

Успешное испытание, похоже, порадовало и Бенедикта, будто луч надежды озарил его печаль. Что до Эдит, которая не была посвящена в тайну маленькой лодки, то ее грусть перешла в мрачную отрешенность. Как мы уже говорили, единственным развлечением девушке служило созерцание необъятных океанских просторов.

Путешествие продолжалось уже около трех месяцев, и конца ему не было видно. Канары[6] и острова Зеленого Мыса[7] мелькнули на горизонте и пропали, а когда корабль проходил мимо острова Вознесения[8], Макгилл и Джек приблизились к нему на шлюпке, проникли в грот, разыскали там бутылку, подвешенную к своду, и, вытащив из нее бумагу, покрытую загадочными символами, передали сэру Артуру Сидни.

Сэр Артур вынул из бумажника лист бумаги с вырезанными на нем клеточками, положил его на полученный текст и быстро прочитал ужасные каракули. Казалось, он остался доволен полученными сведениями, потому что сказал Бенедикту:

— Порядок. Все идет как надо.

Они миновали остров Вознесения и двинулись дальше, а через несколько дней над морем повисло что-то вроде сероватого облачка, похожего на клочок тумана, поднявшегося под воздействием солнечного тепла.

Затем туман начал сгущаться и обрел более четкие очертания, которые можно было рассмотреть в подзорную трубу.

Конечно, то было не облако, а земля, остров.

Он постепенно поднимался из отлогих морских далей, показывая сначала лишь гребни гор. Но вскоре, опоясанный бледной пеной, он вынырнул на поверхность целиком, неподвижный и темный посреди необъятных просторов.

Огромные вулканические скалы высотой в две тысячи футов нависали над морем. Оно ударялось об их подножия и, неистовое, бешеное от ярости, врывалось во все расщелины, пробитые его атаками: море словно сознавало, что делает, с таким исступлением оно обрушивало на камни все новые и новые валы.

Подножия гранитных громад прятались в брызгах и пене, а макушки купались в смеси облаков и солнечных лучей. Гигантские уступы скал, ис-

сушенные откосы, на которых остывшая лава оставила борозды, похожие на старые шрамы, вершины, размытые ливнями, являли картину, полную дикого и зловещего величия: они выглядели грандиозно и ужасающе.

Казалось, эти скалы упали с неба в тот день, когда титаны решили взять штурмом Олимп. Каменные громады были разломаны и сожжены ударами молний, словно там произошло что-то сверхчеловеческое — неслыханная месть, пытка, подобная кавказскому распятию, и каждый невольно искал колоссальный силуэт прикованного к скале Прометея[9].

Стоило дать волю фантазии, и похожее на развернутые крылья облачко, которое мерцало над вершиной, смутно напоминавшей человеческое тело, вполне могло сойти за орла.

На самом деле, вот уже целых пять лет здесь глухо ревел другой, не менее великий, чем древний титан, Прометей, которого, как в трагедии Эсхила, приковали к этой земле Власть и Сила[10].

Весь экипаж высыпал на палубу. Сэр Артур Сидни смотрел на остров непередаваемым взглядом, в котором смешались стыд, боль и надежда. Молча он сжимал руку Бенедикта, а тот стоял рядом, ничего не говоря, и, казалось, тоже был крайне взволнован. Капитан Пепперкул лишь наполовину опустошил галлонную бутыль с ромом, что являлось для него верным признаком душевного потрясения.

Он получил приказ бросить якорь напротив города, сероватые дома которого вырисовывались в глубине единственного большого разрыва гор, окружавших остров подобно крепостной стене с башнями и бастионами.

Эдит, которая жила на борту «Красотки Дженни» в полной изоляции, не имела ни малейшего представления о том, куда они направляются. Вид суши взволновал ее, разбудив естественное любопытство, и она робко приблизилась к сэру Артуру Сидни, который неотрывно смотрел на берег, тихонько дотронулась до его руки и спросила дрожащим голосом, поскольку никогда не обращалась к нему первой:

— Милорд, как называется этот остров?

— Этот остров... — Сэр Артур очнулся от своих грез и со странным выражением продолжил: — Этот остров называется Святая Елена[11].

Глава XVI

— Святая Елена! — вздохнула Эдит, и глаза ее наполнились слезами.

— Да... — Сэр Артур внимательно посмотрел на Эдит, желая понять, какое впечатление произвели на нее эти магические слова.

— О, это ужасно! — стиснула руки Эдит.

— Что именно? — по-прежнему не сводя глаз с Эдит, переспросил сэр Артур.

— Жестоко было сослать сюда преступника!

— Сюда сослали гения! — вмешался в разговор сэр Бенедикт Аранделл.

— Какой позор для нации! — Сэр Артур произнес эти слова как бы про себя, снова погрузившись в глубокую задумчивость. — Но... терпение!..

Словно боясь сказать лишнее, он умолк, и к нему вернулась его обычная невозмутимость.

Через несколько минут он приказал капитану Пепперкулу спустить на воду шлюпку, а сам вместе с Эдит и сэром Бенедиктом направился в каюту.

Здесь Сидни взял за руку Эдит и сказал:

— Вы дали мне право воспользоваться вашей преданностью и умом ради цели, которую я преследую. Вы обещали слепо доверять мне и пойти туда, куда я укажу, даже если в конце пути вас будет ждать пропасть.

— Да, моя жизнь принадлежит вам, — ответила Эдит.

— Хорошо! — продолжил сэр Артур. — И не бойтесь, сейчас вам ничто не угрожает. Но настал момент расстаться с платьем юнги, ступайте в вашу каморку и переоденьтесь, там все готово.

Эдит вышла.

Сэр Артур Сидни, оставшись вдвоем с Бенедиктом, обхватил свою грудь руками, словно хотел сдержать биение собственного сердца, затем распахнул их навстречу другу и воскликнул:

— Брат, обнимемся на тот случай, если нам не суждено будет свидеться на этом свете!

Они обнялись и застыли, прижавшись друг к другу.

— Когда все будет готово, — Сидни подвел Бенедикта к двери и показал на берег, — ты срубишь вон то деревце, что качается на вершине черной скалы, его хорошо видно издалека. Я уйду к островам Тристан-да-Кунья[1] или к берегу Африки, в устье реки Кванза[2], что гораздо ближе, и займусь там строительством лодки. Мне нужно два месяца. Через два месяца «Красотка Дженни» вновь вернется в эти края, и мы нанесем решающий удар.

— Да, человечество будет потрясено, и никогда... — начал Бенедикт, но умолк, потому что в каюту вошла Эдит.

Бенедикт и Сидни застыли, пораженные ее красотой. До сих пор мужское платье мешало двум друзьям, один из которых был поглощен своей идеей, а другой — своей печалью, заметить, насколько мисс Эдит мила и привлекательна.

Время не утешило ее, но немного смягчило боль; о страшной катастрофе говорили только голубоватые виски и бледность, но это лишь добавляло изысканности и душевности очаровательному личику девушки.

Она была одета очень просто: белое платье из индийского муслина, усыпанное мелкими, почти невидимыми цветочками, обтягивало гибкий юный стан, шляпка из манильской соломки[3] с розовыми лентами подчеркивала нежный овал лица, а на плечах лежал шелковый китайский шарф.

Под восхищенными взглядами Сидни и Бенедикта она почувствовала, как кровь прилила к ее щекам: в ней вновь заговорила женщина.

— Вы прекрасно выглядите, — не удержался Сидни. — И теперь вы вместе с Бенедиктом отправитесь на остров. Вы будете его сестрой или женой, нет, лучше женой, именно так. Вы снимете один домик в Джеймстауне, а второй — за городом, прямо по соседству с Лонгвудом. Позднее Бенедикт объяснит вам, что надо делать.

— Хорошо, — промолвила Эдит, которую очень смутило, что ей придется выступать в роли супруги Бенедикта и жить под одной крышей вдвоем с молодым мужчиной.

Затем, из самоуничижения, присущего чистым натурам, всегда несправедливым по отношению к самим себе, она решила, что не имеет права находить ситуацию двусмысленной, ибо, в конце концов, бывшей любовнице Ксавье не пристало быть столь щепетильной.

— Пора... — Сидни взял Эдит за руку и подвел ее к сэру Бенедикту. — Пора в путь, молодожены. Шлюпка ждет.

И, улыбнувшись присущей ему ясной улыбкой, он сказал другу:

— Согласись: я отнял у тебя одну женщину, а взамен даю другую, ничуть не хуже.

Бенедикт побледнел. Фраза Сидни покоробила его, но он сдержался, понимая, что друг вовсе не хотел его обидеть, а бросив взгляд на Эдит, нашел, что она действительно ни в чем не уступает мисс Амабел Вивиан.

Эдит испытывала невольное удовольствие оттого, что снова оказалась в женском платье. Белая ткань, легкая соломенная шляпка, шелковые ленты — все заставляло радостно биться ее сердце. К тому же ей не терпелось оказаться на суше. Долгое плавание так надоедает, что даже самая бесплодная и негостеприимная земля кажется лучше, чем палуба корабля, а Эдит целых три месяца не видела ничего, кроме воды и неба.

Когда ее посадили на корму рядом с сэром Бенедиктом, она почувствовала себя счастливой и свободной, и светлый лучик озарил ее печальное лицо.

Море было довольно спокойно, и лодка с шестью гребцами быстро помчалась в сторону острова.

Они причалили. Бенедикт подал Эдит руку и помог ей сойти на берег. Джек и Сондерс водрузили на плечи двух темнокожих бедняков сундуки, которые сэр Артур Сидни наполнил всем необходимым для устройства новобрачных на новом месте.

Сондерс быстро отыскал в городе подходящий дом, и молодая пара, предъявив властям бумаги, тщательно подготовленные предусмотрительным Сидни, поселилась там под именем мистера и миссис Смит.

По слухам, распространенным Джеком, миссис Смит направлялась вместе с мужем в Индию, на принадлежащие им плантации индигоферы[4] и опийного мака, но путешествие так утомило ее, что она решила отдохнуть месяц-другой на первом попавшемся клочке земли, а потом продолжить путь, каким бы тяжелым он ни был.

Тем же вечером сэр Артур Сидни приказал поднять паруса, и «Красотка Дженни» вскоре затерялась в голубых просторах. Из окна своего нового жилища Бенедикт провожал ее взглядом, пока она не стала меньше крыла чайки.

Дом, где начали новую жизнь так называемые супруги, воспроизводил внешний облик зданий Рамсгита или Челси[5] с присущей англичанам дотошностью, которую не могут побороть ни климат, ни расстояния; стены его были сложены из того желтого кирпича, что в Лондоне режет глаз каждому иностранцу. Назначение комнат было точно таким же, как если бы дом находился в районе Тэмпл-Бар[6] или по соседству с церковью Святой Троицы. Единственная уступка местным особенностям климата состояла в полосатом бело-голубом навесе, затенявшем входную дверь, и в том, что вместо шерстяных ковров на полу лежали легкие филиппинские циновки.

Через сухой пыльный сад тянулась аллея тамариксов, их тонкие ажурные веточки с серо-зелеными листочками качались на ветру и отбрасывали скудную тень на мелкий песок, где томились от жажды чахлые цветы, за которыми худо-бедно ухаживал садовник-малаец.

Странные чувства овладели сэром Бенедиктом Аранделлом и мисс Эдит, когда они очутились друг против друга за одним столом, как настоящие муж и жена. Эта внезапная близость, возникшая из-за мнимого супружества и потому вполне естественная, их и удивляла, и пугала, но в то же время была приятна, хотя они не осмеливались себе в этом признаться.

Их свело необычайное стечение обстоятельств; возможно, такое случилось впервые с тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца, но ни сэр Аранделл, ни мисс Эдит не осознавали всей странности этих обстоятельств, поскольку ведать не ведали, что один из них был мужем без жены, а другая — женой без мужа. Бенедикт, которого увел сэр Сидни, так и не вошел

в церковь Святой Маргариты, только две невесты в белом встретились под ее портиком, да и то не заметили друг друга.

Эдит и Бенедикт знали лишь, что оказались в двух тысячах лье от родины, на печальном острове Святой Елены вследствие холодной симметрии некоего таинственного плана, и теперь вынуждены день и ночь проводить под одной крышей — молодые, красивые и лишенные любви.

Обед подошел к концу, они отправились осматривать дом и обнаружили, что в нем только одна спальня. Эдит покраснела в силу английской стыдливости, а Бенедикт остановился на пороге и, без слов поняв свою мнимую жену, сказал:

— Я попрошу повесить гамак в комнате наверху и буду спать там.

Эдит, облегченно вздохнув, улыбнулась и бросила свой шарф на постель словно в знак того, что теперь эта территория принадлежит ей.

Затем они спустились в сад и с несказанным удовольствием прошлись по длинной аллее тамариксов, что вполне естественно для тех, кто три месяца не знал ничего, кроме узкой корабельной палубы. Эдит опиралась на руку сэра Бенедикта, ибо она отвыкла от ходьбы за время их плавания, и, разумеется, если бы Амабел или Вольмеранж увидели эту пару, что прогуливалась по уединенной аллее, подобно мужу и жене, их удивлению и непониманию не было бы предела.

Так прошло несколько дней. Эдит решила про себя, что будет относиться к Бенедикту как к брату; Бенедикт, со своей стороны, старался принять ее как сестру. Тем не менее их влекло друг к другу гораздо сильнее, чем они думали, и они почти все время проводили вместе.

Кончилось тем, что они поверили друг другу свои тайны. Бенедикт рассказал Эдит о своей любви к Амабел и о том, как их разлучили; а Эдит поведала ему, что венчалась в церкви Святой Маргариты.

— Как? Неужели это ваша карета подъехала к моей у входа в церковь?

— Да, — ответила молодая женщина.

— Странное совпадение: свадьбы, к которым все было готово, расстроились; те, кто намеревался соединиться, расстались, а те, кто не должен был встретиться, встретились; пары разбиваются и складываются вопреки нашему выбору и воле: мы с вами не любим друг друга, потому что наши сердца нам не принадлежат, но оказались вдвоем под одной крышей, вокруг никого, мы свободны и в то же время в тысячах лье от тех, кого любим и кого, возможно, не увидим больше никогда.

— Да, правда, — задумчиво произнесла молодая женщина, — судьба бывает поразительно капризна.

Так мнимые супруги обрели неисчерпаемую тему для разговоров. Благодаря ей они получили возможность косвенно признаваться в своих за-

рождающихся чувствах, и в зависимости от ситуации каждый мог продвинуться чуть дальше или, наоборот, отступить. Бенедикт рассказывал об Амабел и ее красоте такими словами, что при желании их можно было отнести и к Эдит. Он бурно изливал свои сожаления и яркими красками расписывал свою любовь. Молодая женщина с большим интересом слушала его красноречивые откровения, не испытывая ни малейшего смущения, поскольку речь шла не о ней.

В ответ она уверяла его в своей любви к Вольмеранжу, признавала, что заслужила гнев мужа, ибо скрыла от него правду. В этих двусмысленных беседах каждый демонстрировал свою чувственность, нежность, верность и безбоязненно дарил другому сокровища своей души. Под защитой имен Амабел и Вольмеранжа они предавались тонкостям любовной метафизики. Их любовь, о которой они не подозревали, пряталась под маской и пользовалась свободой бала-маскарада. Исподволь Эдит занимала место Амабел, а Бенедикт — место Вольмеранжа.

Справедливости ради надо подчеркнуть, что они не сознавали этой подмены, и оба охотно отдавались чувству, которое влекло их друг к другу, ибо считали его безопасным. Они были уверены, что им далеко до любви: если бы вы спросили Бенедикта, любит ли он по-прежнему мисс Амабел, он с чистым сердцем ответил бы «Да!», а Эдит, со своей стороны, поклялась бы, что ее страсть к Вольмеранжу ни чуточки не угасла.

Несколько недель пролетели как по волшебству. Вечером, прежде чем разойтись, Бенедикт и Эдит дружески пожимали друг другу руки, и каждый вздыхая шел в свою комнату с чувством несказанной грусти. Однажды Бенедикт сказал со смехом Эдит:

— Миссис Смит, по праву вашего супруга, я желаю и требую дозволения поцеловать вас в лоб.

Эдит молча склонила голову, и Бенедикт поцеловал ее, коснувшись атласной кожи и шелковых душистых волос.

Она, точно испуганная серна, бросилась в спальню и заперла дверь.

В ту ночь Бенедикт почти не спал.

Однако ничто не мешало точному исполнению указаний сэра Артура Сидни. Они сняли загородный домик настолько близко к месту пребывания знаменитого пленника, насколько позволяла британская охрана, и так называемая миссис Смит переехала туда, заявив, что в тесном жилище Джеймстауна ей не хватает воздуха.

Бенедикт какое-то время оставался в городе, делая вид, что занимается коммерцией.

Эдит, по настоянию Бенедикта, каждый день в сопровождении служанки-мулатки в один и тот же час совершала прогулку, стараясь подойти поближе к Лонгвуду.

– И не забудьте, у вас в руках или на соломенной шляпке должен быть букетик фиалок[7], – сказал ей перед отъездом Бенедикт.

К счастью, в их саду была целая клумба фиалок, и потому исполнить указание Бенедикта не составляло никакого труда.

Прошло несколько дней, а прогулки Эдит ни к чему не привели. Пленник был так болен и слаб, что ни разу не вышел.

Сэру Бенедикту Аранделлу не терпелось узнать, чем закончились походы Эдит, а может быть, им двигало какое-то другое чувство, но он тоже переехал в деревню и каждый раз, когда Эдит возвращалась с прогулки, бросался ей навстречу, но слышал одни и те же слова:

– Ничего, только орлы парят в небе да альбатросы чиркают крылом по воде.

Наконец однажды на повороте дороги Эдит нос к носу столкнулась с пленным императором. Он шел медленно, с трудом, за ним следовали его верные люди, а чуть поодаль – часовые в красной форме. Его осунувшиеся черты покрывала мраморная бледность, боль и страдания вернули им былую красоту.

Он посмотрел на Эдит, улыбнулся своей непередаваемо чарующей улыбкой, перед которой никто не мог устоять, подошел поближе к молодой женщине и поклонился.

Будь перед ней император во всем блеске своей власти и славы, Эдит, наверное, не утратила бы присутствия духа, но при виде поверженного бога она смутилась и побледнела. Еще немного, и она упала бы в обморок.

Он склонился к ней и сказал сурово и ласково, словно бог-олимпиец простому смертному:

– Сударыня, успокойтесь.

Тут он заметил букет в ее руках.

– Давно я не видел таких свежих фиалок.

Эдит машинально поклонилась и протянула ему цветы.

– Они прекрасно пахнут, но не так, как во Франции. – Бонапарт понюхал фиалки и вернул букет Эдит.

Затем пленник величественно простился с ней и продолжил свой путь.

Ослепленная этим царственным видением, Эдит поспешила домой и уже издали крикнула Бенедикту:

– Я видела его!

– Что он сказал? Повторите слово в слово.

– Сказал, что фиалки пахнут хорошо, но не так, как во Франции. Это все.

Бенедикт побледнел, настолько сильно взволновала его эта простая и ничего не значащая фраза.

Молча он взял бинокль и топор и отправился на скалу, где росло кривое дерево, указанное сэром Артуром Сидни.

Он посмотрел в бинокль.

Маленькая, едва заметная точка, то ли чайка, то ли пена морская, одиноко белела в бескрайнем голубом океане.

– За дело, – сказал Бенедикт.

Он поднес топор к стволу, в два-три взмаха перерубил его, и дерево покатилось в море, мрачно и глухо ударяясь о камни.

Глава XVII

Приблизительно в то же самое время в Индии неподалеку от Аурангабада[1] безлунной ночью молчаливые тени скользили сквозь джунгли вдоль Годавари[2] к старой полуразрушенной пагоде.

Это был храм Шивы, заброшенный после победы англичан. Осмелевшая на свободе природа начала отвоевывать свои права у творения рук человеческих; забившаяся в углубления на скульптурах пыль, промокнув под дождями, подготовила почву для всевозможных семян, которые разносит ветер; вьющиеся растения уцепились за шероховатые стены своими волосками, усиками, шипами, а их корни, проникнув в щели между камнями, медленно разрушали кладку. Мангровые деревья, благодаря высокой влажности, образовали вокруг пагоды целый лес. Мало-помалу храм утонул в живучей, густой и буйной индийской растительности, и его пирамида превратилась в зеленый холм.

Почти невидимое в ночи строение с выщербленным профилем и кустистой шевелюрой выглядело грозным и чудовищным: руины храма бога разрушения своим молчанием красноречиво говорили о чем-то зловещем и ужасном.

Главный вход, забитый досками и опутанный непроходимыми лианами, наводил на мысль, что храм пустует. Тем не менее в полуобвалившихся проемах изредка мелькали блуждающие огоньки: там что-то происходило. Тени, о которых мы упомянули, приближались к храму и, пригнувшись, исчезали. Сдвинутый в сторону камень служил им дверью, и, пользуясь проделанными в толще стен проходами, они попадали в центр пагоды.

В глубине обширной залы с приземистыми колоннами, опоясанными гранитными кольцами и украшенными словно женщины тремя рядами лепных жемчужин и капителями в виде четырех слоновьих голов, в нише, обрамленной богатым узорным бордюром, возвышалась статуя бога Шивы, древнего идола, чьи архаичные формы выглядели устрашающе. Его

лицо дышало гневом и жаждой мести. У него было четыре руки, в двух из них он держал бич и трезубец. На груди висело ожерелье из черепов. Рядом с Шивой Дурга, его безобразная супруга, вращала косыми глазами, скрипела огромными, как у гиппопотама, зубами, судорожно размахивала когтистыми пальцами и, изогнувшись всем телом, увитым змеями, давила чудище по имени Махиша[3], а то пыталось опутать ее своими отвратительными внутренностями.

Целая толпа безобразных фигур, символизирующих борьбу и разрушение, корчилась по стенам залы. Здесь чудовище Мана-Пралая[4] с головой зверя заглатывает в огромную пасть целый город; там Ардханари[5] с четками из черепов и колец яростно потрясает своим мечом; чуть дальше Маха-Кали[6] держит по отрубленной голове в каждой из четырех рук; Махадева, из головы которого вытекает река, а на руках вместо браслетов извиваются гадюки, борется с безобразным Трипурасурой;[7] Гаруда[8] взмахивает крыльями и точит страшный клюв и ястребиные когти.

Вот и все, что позволял разглядеть светильник, висевший перед статуей Шивы. Остальное пространство заливала красноватая тень, и за границами освещенного круга глаз различал лишь смутные очертания, немыслимые переплетения, ужасное смешение рук, ног, драконьих голов и разнообразных чудищ.

В круге света на шкурах газелей и тигров сидели странные, фантастические существа: белые брови и бороды подчеркивали темный цвет их кожи. Шнурок на шее указывал на их принадлежность к касте брахманов, у самых суровых этот шнурок был сделан из змеиной кожи; все отличались аскетической худобой: в прорезях одеяний виднелись тощие груди и торчащие, как у скелета, ребра. Не двигаясь, они бормотали молитвы и, казалось, с присущей индусам невозмутимостью поджидали какого-то важного гостя.

За их спинами сгрудилась толпа, в которой различимы были лишь первые ряды, слабо освещенные красноватыми лучами светильника; уже в нескольких шагах все прочее терялось во мраке; время от времени новая тень тихо возникала из темноты и сливалась с безликой массой.

Наконец толпа пришла в движение: ряды разомкнулись, и вскоре на самом освещенном месте появились трое. Присутствующие глухо забормотали, радуясь их долгожданному прибытию.

Один из них был сухим и желтым, будто мумия, стариком с вдохновенным лицом и горящими глазами в длинном муслиновом платье до пят.

Второй была девушка, прекрасная, как Шакунтала или Васантасена[9]. Сквозь прозрачную вуаль, которая наполовину скрывала ее роскошный наряд, сверкали блестки и узоры. Когда она двигалась, ожерелья и браслеты на руках и ногах издавали мелодичный звон.

Что до третьего, то им оказался красивый молодой мужчина, более светлокожий, чем девушка, и с необыкновенно синими глазами.

Он был одет в военную форму магараттов[10], но гораздо более богатую и нарядную, стальная кольчуга покрывала его грудь и доходила до края желтой туники, широкие красные шаровары, собранные на щиколотках, и муслиновый тюрбан, закрученный вокруг железной каски, дополняли его костюм.

Несколько золотых колец украшали его запястья, кривая сабля в бархатных ножнах, усыпанных золотом и каменьями, висела на боку. Левую руку защищал щит из кожи гиппопотама с металлическими заклепками, а правой он опирался на длинное ружье, инкрустированное серебром, раковинами и перламутром.

Вы уже догадались, что старый брахман был не кем иным, как Дакшей, с которым мы познакомились в Лондоне.

Юная девушка поразительно напоминала Приямваду, а что до воина-магаратта, то его черты и синие глаза выдавали, несмотря на необычную одежду, графа Вольмеранжа — члена нескольких клубов в Европе и наследника лунной династии царей в Индии.

Дакша взял за руку Вольмеранжа, подвел его к светильнику, отблески которого образовали вокруг головы графа своего рода нимб, и представил трем самым тощим, высушенным и, по всей видимости, самым влиятельным брахманам.

— Он похож на Праджати[11], — заговорили старцы, восхищенно рассматривая Вольмеранжа, — на одного из первых десяти созданий, вышедших из рук Брахмы[12].

Вольмеранж в самом деле был прекрасен в своем странном живописном наряде.

— Шарангавара, Шарадвата и ты, Канва, — торжественно произнес Дакша, обратившись к троице старцев, — я привел вам того, о ком говорил, потомка Духшанты и Бхараты;[13] только его имя открыли мне боги, тронутые моим бесконечным подвижничеством, и только ему дано возродить былое величие нашей родины. Он изгонит англичан, этих грубых варваров, что оскорбляют воды Ганги, вступают в разговоры с париями, вопреки всем традициям мешают вдовам взойти на костер, превращают свои утробы в могильники всего живого и — вопиющая гнусность, чудовищное святотатство! — осмеливаются поедать священную плоть быков и коров.

При последних словах все затрепетали от ужаса. Брахманы воздели очи горé, и глухой рокот проклятий огласил черные своды. Казалось, даже гранитные боги, едва освещенные неверным пламенем светильника, нахмурили брови и задвигались на своих пьедесталах.

— Все ли готово к восстанию? — вопросил Дакша. — Готово ли оружие, слоны, кони?

— Подземные залы пагоды, о существовании которых не знает никто, кроме нашей священной коллегии, полны ружей, копий и стрел. Вожди магараттов не покорились, вопреки чаяньям европейских варваров, и снабдили нас лошадьми; пятьдесят погонщиков и пятьдесят боевых слонов с башнями на спинах стоят посреди джунглей, непроходимых для непосвященных, и ждут лишь сигнала, — ответил Шарангавара. — Провинция восстанет, как один человек.

— О, будь благословенна почтенная Тримурти — Вишну, Брахма, Шива! Ты позволила мне дожить до этого дня, мне, старому и разбитому! — Руки Дакши затряслись от радости. — Сомнений нет, мы победим, силы небесные помогут нам. Брахма указывает мне будущее: бог войны в своей последней аватаре принял человеческое обличье, и он грядет нам на помощь с Запада верхом на небесном орле, огромном и могучем, как птица Гаруда. В когтях орел сжимает молнии, ветер его крыльев опрокидывает вражеские отряды, и своим стальным клювом он добивает каждого, кто остался в живых. Этот бог выпустит семь стрел в англичан, они разбегутся в страхе, а мы станем хозяевами семи островов, составляющих этот мир, как гласят священные книги Пураны[14].

Эта странная и страстная речь глубоко тронула собравшихся. Особенно была очарована Приямвада, казалось, она уже видит чудесную птицу и восседающего меж ее крыльев героя.

— Бхарата, мы вернем тебе престол твоих предков, — молвил Шарадвата. — Клянись, что будешь биться вместе с нами не на жизнь, а на смерть, и если победишь, то запретишь убийство священных животных!

— Клянусь, — ответил Вольмеранж на хинди.

— Хорошо, — вмешался брахман Шарангавара. — Народ, слушай! Это Бхарата, потомок Духшанты, славного и знаменитого царя, властелина и покорителя, того, кто запросто говорил с Адити[15] и Кашьяпой;[16] доверьтесь ему, следуйте за ним и слушайтесь до последнего вздоха. Если вы погибнете, исполняя его приказы, то тихо перенесетесь в Панчатвам[17]. Стихии, не причиняя боли, разберут частицы, из которых вы состоите, и после очищения ваша душа, признанная достойной мукти[18], растворится в Божестве. А теперь разойдитесь и в назначенный час будьте в условном месте.

Толпа рассеялась как по волшебству. Брахманы исчезли, уйдя сквозь потайные ходы в стенах, и в зале остались только Дакша, Приямвада и Вольмеранж.

— Желаешь провести остаток ночи здесь? — спросил старый брахман у Вольмеранжа. — Или соизволишь отправиться в лесной лагерь?

— Нет, едем, — ответил Вольмеранж. — Мне неуютно в этом старом подвале в компании кривых монстров. Дай мне руку, Приямвада, ибо черт меня побери, если я смогу сделать хоть шаг в этих слепых лабиринтах.

Они двинулись на ощупь по темным проходам и закоулкам, которые старый брахман и Приямвада почему-то знали как свои пять пальцев, и вышли на свежий воздух, к тайной радости Вольмеранжа. Графу наскучила только что сыгранная пьеса, она казалась ему смехотворной: он с трудом воспринимал себя принцем лунной династии и, не будь рядом Приямвады, его прекрасной подруги с золотистой кожей, охотно отказался бы от притязаний на трон.

Слон, на котором прибыли наши герои, терпеливо ждал под присмотром погонщика и, срывая хоботом ближайшие ветки, лениво отправлял их себе в рот, скорее от скуки, чем от голода.

Услышав шаги хозяина, умное животное согнуло свои колонноподобные ноги и любезно опустилось на колени.

Приямвада и Дакша с привычной легкостью вскарабкались на плечи серого колосса, Вольмеранж замешкался внизу, и девушка протянула руку, чтобы помочь растерявшемуся европейцу. Почему-то этот вид верховой езды не входил в разностороннюю подготовку такого великолепного спортсмена[19], как граф Вольмеранж.

Погонщик, сидевший на шее у слона, ткнул его железной пикой, и громадное животное пустилось в путь ритмичной тяжелой иноходью, которую долго не выдержит даже самая быстрая лошадь.

Иногда он на ходу обрывал хоботом мешавшую ему лиану или ветку либо наваливался плечом на дерево, преградившее ему путь, и освобождал проход. Порой он топтал бамбуковые заросли, и они с сухим треском ломались под его тяжелыми стопами или сгибались, точно трава.

Приямвада, лежавшая в паланкине, установленном на спине слона, прижалась к мощной груди Вольмеранжа, подобно тем крохотным статуэткам богинь, что держат в своих объятиях боги: так Парвати льнет к Махадеве, Лакшми — к Вишну, а Сарасвати — к сердцу Брахмы. Вольмеранж сидел неподвижно, боясь потревожить прекрасное дитя, и смотрел на проплывавшие мимо странные пейзажи, которые в темноте принимали фантастические очертания. Баньяны, фикусы, смоковницы и баобабы, ровесники творения, мангровые деревья и пальмы переплетались ветками и листьями, и сквозь них, словно сквозь черное кружево, внезапно проглядывали то звездочка, то кусочек ночного неба.

Дакша, сидя рядом с погонщиком, непрерывно бормотал, молясь за успех их великого дела.

Через два часа в промежутках между стволами замелькали красноватые огоньки.

Они приближались к месту, где уже начали собираться повстанцы; часовые, услышав шорох листьев и ветвей, раздвигаемых слоном с нашей троицей на спине, вышли навстречу, узнали Дакшу и пропустили всех в центр стана.

Здесь открывалось одно из самых удивительных зрелищ, и Вольмеранжу почудилось, что он перенесся во времена Дария и Александра[20].

Огромный костер, сложенный из сломанных веток, кустов и деревьев, озарял густые своды леса фантасмагорическим светом.

Вокруг костра застыли пятьдесят слонов, живописно подсвеченных снизу. Серьезные и задумчивые, они напоминали Ганешу[21], бога мудрости. Если бы время от времени они, заслышав вдалеке крадущегося тигра или иного хищника, пытающегося проникнуть в джунгли, не встряхивали своими огромными ушами и не поднимали к звездам хоботы, их можно было бы принять за гранитные статуи вроде тех, что украшают индийские храмы. На их спинах высились башни, а бивни были окованы железными кольцами.

Позади слонов расположились магаратты и другие индусы. Они лежали у ног своих лошадей, повесив оружие на ближайшие деревья.

Не успели Вольмеранж и его друзья спешиться, как послышался жалобный возглас, а вслед за ним раздался страшный крик. Слоны немедленно опустились на колени, чтобы принять своих хозяев, а магаратты вскочили на коней. Все ринулись к оружию, похватав мушкеты, копья, луки.

Справа и слева началась пальба; аванпосты в страхе отступили и слились с повстанцами, и тут же появились сипаи[22], а за ними и солдаты в красной форме. Они перебегали от дерева к дереву, прячась за ними и останавливаясь, чтобы прицелиться.

Слоны бросились в разные стороны, ломая деревья и топча кого ни попадя. Англичане (а это были они), которым некий предатель раскрыл план Дакши и местонахождение бунтовщиков, наступали, заключая лагерь в кольцо.

Вскоре бой сосредоточился вокруг того места, где пылал костер. Вольмеранж, Дакша и Приямвада оказались в гуще схватки. По ожесточению, с которым повстанцы защищались, нападавшие поняли, что здесь должны находиться главари. Восемь или десять магараттов, забравшись на слона Вольмеранжа, вели непрерывный огонь. Граф каждым выстрелом поражал англичанина, а Приямвада перезаряжала ружья Вольмеранжа. Его бесстрашный слон также принимал участие в бою: он гневно трубил, хватал хоботом то человека, то лошадь и высоко подбрасывал их, а иногда, чуть завалившись набок, давил целую группу врагов. Пули жужжали вокруг его толстой кожи, досаждая ему будто мухи.

Дакша, теребя пальцами пучок священной травы куша[23], беспрестанно бормотал непереводимый слог «Ом»[24].

Все смешалось: мушкеты палили, стрелы свистели, лошади ржали, слоны ревели, раненые стонали; дым собирался под кронами деревьев и тяжелыми облаками накрывал сражавшихся в ночи людей.

Самые смелые и решительные из англичан упорно осаждали слона Вольмеранжа, но умное животное, отступив к мощному баобабу, использовало хобот как бич и наносило такие ужасающие удары, что нападавшие замертво падали к его ногам, а тех, кто увертывался от хобота, сражали пули Вольмеранжа или магараттов.

Но неравный бой не мог длиться вечно. Приямвада, получив пулю в грудь, не издала ни звука, только розовая пена выступила в уголках ее рта. Она отдала Вольмеранжу заряженный мушкет, взяла его руку, из последних сил поднесла к губам и поцеловала, оставив на коже кровавый отпечаток.

Вольмеранж первым же выстрелом повалил англичанина, чья пуля попала в бедную Приямваду.

Трое из пяти магараттов, стоявших плечом к плечу с молодым наследником Духшанты, убитые или смертельно раненные, сползли на землю со своей передвижной крепости.

Порох закончился, и Вольмеранж принялся рубить саблей головы солдат и сипаев, которые цеплялись за уши слона или пытались взобраться по бивням и взять приступом его башенку.

Наконец один сипай подполз к задним ногам отважного животного и саблей, острой как дамасский нож, перерезал ему подколенки; слон взревел и, осев на задние ноги, одним взмахом хвоста переломил сипаю бедра, а затем, попытавшись привстать, рухнул на землю.

Тело Приямвады соскользнуло на гору трупов, туда же слетел Дакша, каким-то чудом не получивший ни одной царапины. Вольмеранж ухватился за ветку и, спустившись по ней, спрятался за дерево.

Затем он вскочил на коня, метавшегося поблизости, и со всей силы ударил его пятками. Неджданский скакун[25] понесся как стрела.

Дакша, не выпустивший из рук пучок священной травы, с привычной невозмутимостью произнес:

— Мы проиграли из-за моей слабости; надо было вонзить себе в спину не три железных крюка, а пять. Пять — число гораздо более таинственное.

Слон не умер, хотя и свалился на бок. Он вытянул хобот, отыскал тело юной хозяйки, бережно положил его на свой бархатный чепрак и навсегда закрыл глаза, потому что солдат Ост-Индской компании с силой вонзил штык ему в мозжечок.

Глава XVIII

Маленькая белая точка, за которой наблюдал Бенедикт и которая серебристой блесткой мелькала на бескрайнем зеленом покрывале океана, в самом деле была «Красоткой Дженни», явившейся на свидание с восхитительной пунктуальностью.

Вот уже два или три дня она лавировала, держась на расстоянии от острова, чтобы не привлекать к себе нежелательное внимание, и в то же время достаточно близко, чтобы тот, кто ждал корабль в водах Святой Елены, смог его разглядеть.

По сто раз в час сэр Артур Сидни поднимался на мостик и смотрел на черную скалу. Тощий остов корявого дерева неизменно вырисовывался на светлом фоне неба.

— Все еще стоит, — тихо шептал Сидни и обреченно опускал подзорную трубу.

Но не проходило и нескольких минут, как он снова с надеждой прикладывал ее к глазам.

На вершине скалы по-прежнему упрямо торчал все тот же силуэт.

— Увы! — вздыхал Сидни. — Они так и не смогли обменяться условленными фразами, и все наше дело, подготовленное с таким тщанием и осторожностью, рушится в последний момент.

И, дрожа от лихорадочного нетерпения, он широким шагом мерил верхнюю палубу.

Затем он поднялся на полуют, снова взглянул на скалу и увидел синее небо и голый хребет: дерево исчезло!

Этот простой факт, возродивший многочисленные дерзкие планы, так потряс Сидни, что, несмотря на хладнокровие и выдержку, он вынужден был прислониться к бортику: смертельная бледность залила его прекрасные черты. Но вскоре он совладал с собой и решительно направился в каюту.

Там он написал на толстом листе пергамента что-то вроде завещания, спрятал его в бутылку из толстого стекла, залил горлышко свинцом и отнес в лодку, построенную у берегов Африки плотником-корабелом по модели, о которой мы рассказывали.

Когда сгустились сумерки, он приказал спустить лодку на воду.

Сондерс и Джек сели на весла, Сидни — к рулю, и они направились в сторону Святой Елены.

Приблизившись к острову настолько, что часовые уже могли бы заметить лодку, Сидни, Сондерс и Джек скрылись в помещении под палубой. Да, у этой особенной, непростой лодки имелась даже палуба.

Тщательно задраив люк, Сидни нажал на кнопку, и суденышко начало погружаться и опускалось до тех пор, пока волны не накрыли его це-

ликом. Своего рода плавники, управляемые изнутри, заменяли весла, придававшие субмарине[1] ускорение. Около ее носа располагались стеклянные вставки, позволявшие ориентироваться под водой.

По кожаной трубе, прикрепленной к плавучему бакену, похожему на один из тех обломков, что качаются на океанских волнах, в тесную каюту поступал свежий воздух; отсек, который наполнялся водой или опустошался с помощью насоса, играл ту же роль, что плавательные пузыри у рыб, и позволял лодке не только опускаться под воду и снова подниматься на ее поверхность, но и держаться на определенной глубине.

Когда наши герои оказались в тени высоких, обрывистых скал, окружавших остров, они заставили судно чуть всплыть: любой, кто увидел бы эту полузатопленную лодку, палубу которой омывали волны, принял бы ее за молодого кита или резвящуюся в прибое акулу.

Они приблизились к скале, у подножия которой волны еще играли срубленным Бенедиктом деревом. Его голый остов то отплывал от берега, то снова ударялся о камни в туче брызг и пены.

Сидни осторожно вылез через люк, спрыгнул на тонкую песчаную полосу, потом, цепляясь за выступы и шероховатости, вскарабкался на плоский уступ, до которого не доставали даже самые высокие волны, и сел, обратившись в слух.

Несколько минут он не слышал ничего, кроме печальных вздохов океана и шума крыльев морских птиц, растревоженных вторгшимся в их суровые владения человеком. Но вскоре несколько камешков, сорвавшись с вершины скалы, застучали по отвесному склону и с плеском упали в воду.

Черная тень, цепляясь за редкие кустики и неровности гранита, осторожно продвигалась вниз, прямо к Сидни.

— Краб ходит боком, но доходит, — тихо, но отчетливо сказал тот, кто спустился.

— Бенедикт, это вы? — так же тихо отозвался сэр Артур.

— Да, я. — И Бенедикт сел рядом с Сидни.

— Ну что? — В голосе Сидни дрожала тысяча вопросов.

— Он заметил фиалки и произнес условленную фразу.

— Хорошо, значит, нам пора действовать.

— Это не все: в тот же вечер кто-то подбросил в комнату Эдит послание, написанное шифром, ключ к которому известен только нам и ему. Там было сказано: «Государь слишком болен, чтобы отважиться на это дело, и откладывает его до начала следующего месяца. Ждите ночи с четвертого на пятое».

— Двадцать дней промедления! — вскричал сэр Артур Сидни. — Неужели он не знает, что здешний воздух смертелен, что здесь и Прометей ли-

шился бы печени даже без помощи орла? Вы уверены в записке? Нас подстерегает столько ловушек!

— Я принес ее с собой. Судите сами. — И сэр Бенедикт протянул другу сложенную вчетверо бумагу.

— Прощай, Бенедикт! Через двадцать дней я снова буду здесь, — решил Сидни, — а сейчас вернусь на нашу «Красотку Дженни» и буду лавировать в окрестностях. Через двадцать дней Англия смоет с себя позор Хадсона Лоу![2]

Бенедикт поднялся на вершину обрыва, Сидни спустился к морю, где его ждала лодка, и на опустевшем берегу остались лишь волны, игравшие обрубком дерева.

В назначенный день «Красотка Дженни» вновь показалась на горизонте, но в этот раз небо было пасмурным и предгрозовым. Громадные черные валы разворачивались, подобно траурным знаменам; океан, разбушевавшийся до самых глубин, вздымался и рыдал, ветер стонал, и в его завываниях слышались скорбные строфы невидимого хора; казалось, три тысячи океанид оплакивали титана![3]

Святая Елена, окутанная пеной, которая клубилась вокруг нее, словно дым от расставленных вокруг катафалка треножников, выглядела еще мрачнее, чем обычно. Буря наложила на ее чело зловещую корону из молний.

Небо посылало знамения, точно в дни смерти Юлия Цезаря и Иисуса Христа[4]. Кровавая комета протянула свой хвост над проклятым островом, тучи, освещенные горнилом заката, превращались в огромных орлов, распростерших в пламени свои огромные крылья. И еще никогда природа, обычно бесстрастная, не выглядела столь трепещущей, испуганной, столь выбитой из равновесия, как в тот вечер.

Океан орошал небо горькими слезами, небеса рыдали, буря вобрала в свой оглушительный вой крики отчаяния всего человечества.

Даже неустрашимый сэр Артур Сидни почувствовал неуверенность и тревогу перед этой чудовищной тоской всех стихий. Что произошло, что погрузило природу в траур? Чья великая душа приготовилась отлететь, унося с собой высочайший замысел? Какой Бог, возопивший в предсмертных муках на кресте: «Лама́ савахфани́?»[5], вызвал такое неслыханное завывание ветра и волн? Садясь в лодку, Артур был мертвенно-бледен, по вискам его струился холодный пот, зубы стучали от страха — он боялся узнать ответ.

Герметично задраенная лодка зарывалась в пучину волн, поднималась на их гребни и продвигалась, то погружаясь, то всплывая, к скале, на которой Сидни встречался с Бенедиктом. Обычное судно непременно пошло бы ко дну.

Главное было — не разбиться о гранитную стену и попасть точно на узкую прибрежную полосу: Сидни и два его матроса творили чудеса. Воздуховод работал, но их легкие разрывались от нехватки животворящего флюида. Лампа подрагивала и едва чадила. Джек и Сондерс из последних сил ворочали рукоятками лопастей, а Сидни отчаянно работал насосом, чтобы вывести лодку на поверхность.

Волны с ужасающим грохотом обрушивались на каменную стену острова и с неумолимой силой увлекали за собой судно.

«Все, — подумал Сидни, — мы погибли!»

Он посмотрел на своих товарищей и прочел ту же мысль на их мужественных лицах, озаренных последней вспышкой догорающей лампы.

— Милорд, — проговорил Джек, — оно конечно, мало приятного пропасть, будто крыса в мышеловке, но, как говорится, коли откупорил бутылку, так пей до дна.

Сондерс кивнул в знак согласия с этим глубокомысленным замечанием.

Бешенство овладело сэром Артуром. Погибнуть так глупо из-за слепой бури в тот самый миг, когда решается дело его жизни! Разум Сидни неистово взбунтовался против грубой силы, душа восстала против стихии, и он произнес про себя одно из тех страшных проклятий, что, наверное, посылали небу титаны, когда Юпитер разил их молниями.

Лампа погасла.

Джек и Сондерс сказали хором:

— Свечку задули. Спокойной ночи!

Лодка сильно стукнулась кормой о камни, Сидни бросился к люку, приоткрыл его, и вместе с потоком воды в каюту хлынул воздух. Киль зарылся в песок; прибой здесь был чуть тише, потому что волны разбивались о скальные выступы. Сидни удалось выпрыгнуть на берег с тросом в руках, и он привязал лодку к гранитной глыбе, некогда упавшей сюда во время обвала. Джек и Сондерс поторопились последовать его примеру, и все трое поднялись на тот самый уступ, где в прошлый раз встречались Бенедикт и сэр Артур.

Здесь они уже не боялись, что их унесет в море отбойной волной, и буря напрасно бранилась, окатывая их с ног до головы брызгами и шипучей пеной.

Они просидели на скале под дождем и ветром два часа, промерзли, ослепли от молний, пропитались соленым туманом: Джек и Сондерс — с преданным безразличием догов, ожидающих приказов хозяина, а сэр Артур Сидни — нервничая, дрожа, считая минуты, которые казались ему вечностью, и раздирая собственную грудь, чтобы заставить себя набраться терпения.

Приближалось утро, буря понемногу стихала. Утомленное море роняло последние слезы.

— Ну что же они? — пробормотал Сидни. — Уже светает, а их все нет и нет.

В самом деле, Аврора прочертила по краю неба бледную полосу, а затем над еще подрагивающим после ночного безумия морем показался неровный диск кровавого солнца.

Вдали покачивалась «Красотка Дженни».

Наступил день. Император так и не появился.

Глава XIX

— И никаких известий от Бенедикта! Что могло случиться? Какое непредвиденное препятствие нарушило наш великолепный план? — шагая взад-вперед по уступу, чтобы как-то согреться, повторял про себя сэр Артур. — О, Боже! Столько лет жить одной идеей, одним упованием, посвятить им себя полностью и без остатка, отказаться от любви, семьи, дружбы! Сжечь в этом пламени все человеческие чувства, принести ему в жертву свой гений, поставить на службу мощь несгибаемой воли, силы, способные перевернуть мир, и в последний момент остановиться из-за дурацких обстоятельств! Ночью тупая буря, утром — не знаю что — нелепая случайность вроде ключа, застрявшего в скважине, или подкупленного солдата, который захотел получить вдвое больше, или еще что-то, столь же ничтожное, ибо никто не в силах предугадать тысячи разных способов, к которым прибегают вещи, чтобы воспрепятствовать идеям, и материя, чтобы помешать духу».

Он судорожно жестикулировал, продолжая свой внутренний монолог. Внезапно Сидни застыл, скрестил руки на груди и глубоко задумался.

— А что, если у случая есть воля! — Он умолк на мгновение, а затем воскликнул: — Все равно моя воля сильнее!

Пока Сидни предавался размышлениям, Джек и Сондерс, не привыкшие рассуждать, медленно жевали табак, перекатывая комок слева направо и обратно, и внимательно следили за морем тем с виду безразличным взглядом, что всегда, даже на суше, присущ морякам, как людям, чья жизнь зависит от этой стихии.

Буря улеглась. Привязанная тросом лодка, нос которой увяз в песке, почти полностью скрылась под водой, лишь изредка корма приподнималась над слабой волной.

— Ты, Сондерс, ползи наверх и сторожи нас. Ты, Джек, иди на лодку и откачай воду, которая попала в каюту.

Матросы разделились, чтобы исполнить приказы Сидни. Один поднялся, другой спустился.

На первый взгляд казалось невероятным, что человек может забраться по этому крутому обрыву, но при ближайшем рассмотрении выяснялось, что склон не совсем отвесный, а образует подобие лестницы. На нем были уступы, площадки, ступеньки, будто нарочно сделанные искусными руками природы. В труднодоступных местах росли кустики, их ветки и листья тоже создавали точки опоры. Поэтому Сондерс довольно быстро справился с подъемом, но наверху было пусто, и он знаками дал понять Сидни, что никого не видит.

Джек быстро осушил лодку, которая, несмотря на бурную ночь, осталась невредимой.

Значит, еще не все потеряно, надо только дождаться императора.

Время шло, никто не появлялся. Что пережил Сидни за эти томительные часы неизвестности, передать невозможно. Около полудня он сказал:

— Они будут здесь вечером. Конечно, вчера из-за бури они решили, что я не приду. Ветер был ураганный, волны — ужасны. Конечно! Какой же я болван, что не подумал об этом сразу! В самом деле, только одержимый вроде меня мог отважиться выйти в море при такой погоде.

Эта мысль помогла ему продержаться до заката. Он настолько успокоился, что даже поел немного печенья и отхлебнул рома, который Джек принес с лодки.

Сондерс с высоты своего наблюдательного пункта не заметил ничего нового. «Красотка Дженни», не дождавшись возвращения лодки, подошла к острову несколько ближе, чем позволяла осторожность, и, лавируя, подавала сигналы.

«Пусть я терплю страшные мучения, — думал Сидни, — но Бенедикт правильно сделал, что не пришел предупредить меня о причинах задержки. Хождения туда-сюда могли вызвать подозрения, на этом проклятом острове следят за каждым шагом! Малейшая оплошность, и все рухнет!»

Час за часом Сидни метался от одного предположения к другому, от надежды к отчаянию, и к исходу дня виски его поседели.

Наступил вечер, солнце постепенно закатилось за край моря, пройдя сквозь несколько этажей облаков, будто пушечное ядро, пробивающее одно за другим перекрытия здания. По дрожащим, отливающим перламутром волнам протянулись кровавые дорожки, затем светило угасло, и со свойственной тропикам стремительностью день сменился ночью.

Эти черные часы показались Сидни длиннее тысячи вечностей, и, наверное, не стоит даже пытаться описать подобную ночь. Ожидание, тревога, гнев, отчаяние — самые противоречивые предположения избрали

полем боя душу бедного Сидни и, борясь друг с другом, топтались по ней до самого утра.

Страшная догадка пронзила сердце Сидни. Он почувствовал в груди холод кинжала.

— Император усомнился во мне? Да, конечно, ведь я англичанин! — горько усмехнулся сэр Артур и засмеялся, почти как безумный. — Или он серьезно болен?

Забыв о всякой осторожности, рискуя скатиться в море, хватаясь руками и ногами за выступы и кустики, вонзая ногти в скользкие камни, он в мгновение ока взлетел на вершину скалы и ринулся к Лонгвуду.

Окрестности виллы выглядели не так, как обычно. Ночной ураган вырвал или поломал все деревья, они лежали вверх корнями, а кроны утопали в грязи. Что-то темное, торжественное и непоправимое витало в воздухе над жалким домиком, а вокруг него тихо и молчаливо суетились люди.

Часовые, опустив мушкеты, не спрашивали «Кто идет?», словно решили дать себе послабление. Они стояли неподвижно и безучастно, небрежно выполняя никому не нужную обязанность, скорее из повиновения воинскому долгу, чем по необходимости.

Офицеры проходили мимо скучающих часовых, но не делали им никаких замечаний. Мирные жители беспрепятственно передвигались по острову, и, когда Сидни пересек границу охраняемой территории, никто его не остановил.

Он приблизился к Лонгвуду. Мужчины и женщины, тихо переговариваясь, сдержанно входили в дом и через несколько минут выходили с бледными лицами и покрасневшими глазами.

Сэр Артур Сидни, чье сердце сжималось от страшных предчувствий, а ноги подкашивались, шатался от горя, как пьяный. Опираясь рукой на стену, он проследовал за людским потоком, не сознавая, что делает и зачем.

И после нескольких поворотов его глазам открылась величественная и душераздирающая картина.

Наполеон спал вечным сном на своем парадном ложе. Он лежал в шинели, и можно было подумать, что это не безжизненное тело, а солдат, отдыхающий перед завтрашней битвой. На нем была форма гвардейского стрелка, грудь блестела от орденов и планок, а под боком, как верная подруга, вытянулась любимая шпага. Странное выражение — спокойное и благожелательное — застыло на его бледном мраморном лике, предсмертные судороги почтительно обошли его стороной. Все, что оставляет видимые и вызывающие жалость следы — опьянение победой и боль поражений, тяжкие мысли и страдания, — все рассеялось.

Казалось, это не бездыханный труп человека, а статуя бога: сквозь земную оболочку, тронутую смертью, просвечивала небесная суть; темница превратилась в храм, траурная комната — в Олимп. Ни Христос на кресте, ни Прометей на скале не были столь благородны и прекрасны.

О великая державная душа! Что видела ты в эти первые часы бессмертия? Кто осмелился выйти тебе навстречу, чтобы препроводить к престолу Господню? Александр, Карл Великий, Юлий Цезарь, твой любимец Ланн[1], что взывал только к тебе на смертном одре, или твой дорогой Дюрок[2], или верный гренадер, который счел, что раз ты помнишь его имя, то кровь его оплачена сполна?

Сидни был ошеломлен, в ушах у него зашумело, голова пошла кругом. Он сделал несколько шагов, но ноги не слушались его. Он упал на колени у парадного ложа и прижался губами к холодной руке, некогда правившей целым миром. Ему никто не мешал — поцелуи не воскрешают, — и он долго и недвижно предавался горю, пока его слегка не подтолкнули прикладом, освобождая место другим.

Он безропотно побрел наружу, едва волоча ноги, бледный и опустошенный, похожий скорее на привидение, чем на человека. За одну минуту он постарел на двадцать лет. Растерянными глазами он осматривался вокруг, то ничего не видя, то с детским упрямством останавливаясь на какой-нибудь мелочи. Его удивляло, что император мертв, а он, Сидни, еще дышит, и солнце не погасло, горы не сдвинулись, природа живет, как жила! Что до него, то он чувствовал слабость, словно после долгой болезни, свет слепил его, воздух оглушал. Силы, столь долго устремленные к одной-единственной цели, вдруг иссякли, а твердая, несгибаемая воля потеряла направление и дергалась, будто стрелка сломавшегося компаса. Крушение — вот что произошло с душой сэра Сидни.

Ноги сами привели его к загородному домику Эдит. Он толкнул садовую калитку, вошел в гостиную и, не говоря ни слова, опустился на стул. Эдит в черном платье, подчеркивавшем ее бледность, молча приблизилась к Сидни и в знак сочувствия взяла за руку.

Сидни закрыл глаза свободной рукой, и слезы, давно уже просившиеся наружу, неудержимо полились между его пальцами. Тут появился Бенедикт и объяснил, почему не пришел на место встречи: он попал под подозрение, его взяли под стражу и только сегодня отпустили ввиду смерти императора и отсутствия доказательств.

Сидни почти не слушал. Объяснения были уже ни к чему.

Он пробыл на острове еще два дня и, чтобы испить до дна чашу своей скорби, проводил траурный кортеж до Долины гераней, куда стекает с пика Дианы любимый ручей императора, ручей, окруженный плакучими ивами, священные листья которых разбросало потом по всей вселенной[3].

Он смотрел, как английские солдаты несут гроб на плечах, затем опускают его в обложенную кирпичом могилу, и ушел, только когда черный зев накрыли узкой и длинной каменной плитой.

Сидни внимательно следил за погребением, пытаясь убедить себя в реальности случившегося, он боялся, что через какое-то время начнет сомневаться, думать, будто император не умер, и уже чувствовал, как эта химера рождается в его голове, хотя собственными глазами видел тело покойного на парадном ложе и прикоснулся к хладной руке. Он хотел запомнить похороны и могилу, дабы уничтожить на корню безумную мечту.

Он поднялся на холм по соседству с Хатсгейтом[4], в последний раз оглянулся на новый белый камень под бледной сенью ив и произнес:

— Вместе с этим телом здесь похоронена моя душа.

В тот же миг человек в трауре протянул ему пакет и сказал по-английски с французским акцентом:

— Возьмите, это вам от того, кто ушел.

Сидни сломал черную печать и вскрыл конверт.

В нем лежала прядь тонких шелковистых волос и записка со словами:

Утешьтесь, на все воля Божья.

Н.

Когда Сидни поднял глаза, человек, передавший письмо, уже исчез.

Сэр Артур Сидни сел на землю и глубоко задумался. Когда он поднялся, лицо его прояснилось, ибо он многое переосмыслил. Сидни направился к Бенедикту и сказал:

— Прости, друг, за то, что я разрушил твое счастье ради моей несбыточной мечты! Я освобождаю тебя от клятвы.

Он вытащил из бумажника пожелтевший лист, порвал его и бросил к ногам Бенедикта.

— Возвращайся в Европу, ты свободен, больше тебя ничто не связывает с нашей тайной организацией. Слушайся своего сердца, будь счастлив! Не пытайся переписать книгу судеб, не наши руки держат нити событий, и, может быть, то, что нам кажется неправильным, на самом деле есть высшая справедливость! Что до меня, то я выбит из колеи, мое дело погибло, и больше я ни на что не годен. Я проиграл, все кончено, и не важно, когда меня похоронят — сегодня, завтра или когда-нибудь еще, — я умер. Идея, чувства, воля — все ушло, ничего не осталось. И вы, дорогая Эдит, постарайтесь найти смысл жизни... Или вы уже нашли его?

И сэр Артур Сидни столь пристально взглянул на Эдит, что та покраснела до корней волос.

— Постарайтесь полюбить кого-нибудь или что-нибудь: мужчину, ребенка, собаку, цветы, но никогда не отдавайтесь одной идее, это слишком опасно.

С этими словами Сидни крепко пожал Бенедикту руку и отправился к черной скале, где Сондерс и Джек маялись от скуки, исчерпав весь запас табака.

Сэр Бенедикт и мисс Эдит остались одни, однако не торопились с отъездом, несмотря на то, что жизнь на Святой Елене была довольно тоскливой. Эдит не спешила вернуться к мужу, который хотел ее утопить, а Бенедикт, по-прежнему уверявший ее и себя в том, что безумно любит Амабел, вовсе не скучал в их скромном, по понятиям любого торговца из Сити, домике, освещенном присутствием Эдит. Молодая женщина со своей стороны удивлялась, что редко вспоминает Вольмеранжа, и оба делали огромные усилия, чтобы удержать в сердце ускользающую любовь.

Бенедикт напрасно пытался вспомнить милые черты своей прекрасной невесты, как он ни старался, к ним все время примешивались черты Эдит — то ее мягкий рассеянный взгляд, то нежная печальная улыбка, — и в конце концов образы Амабел и Эдит слились в одно целое. Подобные же чувства испытывала и Эдит. Очень часто, когда она пыталась подумать о Вольмеранже, ей являлся Бенедикт. Прошло некоторое время, и Вольмеранж вовсе перестал откликаться на ее зов: Эдит начала осознавать, что мужа, который так поспешно убивает жену, наверное, нельзя считать идеальным.

Все это не мешало молодым людям вести беседы о том, как прекрасно будет вернуться в Лондон, где Бенедикт женится наконец на Амабел, а мисс Эдит, уже достаточно наказанная, помирится со своим грозным мужем.

Подобные разговоры начинались весело, а заканчивались, как правило, на грустной ноте. Бенедикту крайне неприятно было думать, что Эдит вернется к Вольмеранжу, а Эдит вовсе не радовалась, представляя себе счастье, которое ожидает ее друга в объятиях мисс Вивиан.

Вот что беспокоило молодую пару на Святой Елене, когда в двух шагах от их дома плакучая ива роняла слезы на величайшую в мире могилу, если только между могилами существует какая-то разница.

Собственные чувства волновали Бенедикта и Эдит куда сильнее, чем влияние этой смерти на судьбу человечества, и, даже если вечером они шли в долину Гераней, чтобы навестить титана, послушать, как журчит ручей у надгробной плиты, посмотреть, как ветер срывает с печального дерева серебристые листья, они думали о себе. Темно-каштановая прядь и бледно-розовая щечка Эдит отвлекали Бенедикта от глубоких мыслей,

которые должна навевать могила самого знаменитого из полководцев, а ласковый взгляд Бенедикта быстро осушал слезу, набегавшую на глаза Эдит при воспоминании о великом пленнике.

Сначала они хотели написать в Англию, чтобы предупредить о своем приезде, но потом передумали, решив внезапно свалиться на головы тех, кто уже отчаялся дождаться их возвращения. Они отважились на философский эксперимент, чтобы понять, насколько велико и искренне горе близких. Таким образом они бы узнали, занято ли освободившееся место или в Европе хранят верность так же, как на Святой Елене, и Амабел утопает в слезах, а Вольмеранж погибает от угрызений совести. А вдруг все иначе! Вдруг мисс Вивиан, оскорбленная необъяснимым исчезновением Бенедикта, разлюбила его! Вдруг Вольмеранж ни минуты не сожалел о том, что бросил в Темзу свою жену! Что тогда? Наши невинные Тартюфы[5] и мысли не допускали, что тогда они будут счастливы и что им придется просто признаться себе самим в своих чувствах и любить друг друга без оглядки, еще сильнее, чем в последние два месяца, когда они отказывались дать себе волю.

Они пропустили одно судно, следовавшее из Калькутты в Лондон, потом другое и наконец решились подняться на борт третьего. Легкий парусник из тикового дерева, сверкавший медью от носа до кормы, через шесть недель доставил их в Кадис. Далее они, воспользовавшись удобными именами мистера и миссис Смит, продолжили свой путь по суше и посетили Андалусию, Севилью, Гранаду и Кордову. Все думали, что они женаты, а завистливые языки, глядя на неразлучную пару, уверяли, что это счастливые молодожены проводят так медовый месяц. Только их подушки знали правду, и, хотя Бенедикт с Эдит были безумно влюблены друг в друга, ангел целомудрия мог без стыда стать свидетелем их союза. Вот только они совсем не торопились и от мечети к храму, от крепости ко дворцу, от тертулии* к бою быков пересекли Испанию за три месяца, а к началу зимы добрались и до Парижа. Благовидных предлогов для дальнейшей задержки больше не осталось, и однажды вечером, прислушавшись к голосу совести, они сказали: «Не пора ли появиться в Лондоне и посмотреть, любят ли нас и простили или забыли и прокляли?»

Скорая встреча с теми, кого, по их заверениям, они любили больше всего на свете, повергла их в такую печаль, что они чуть не разрыдались и не бросились друг другу в объятия, чтобы больше никогда не расставаться. Однако сложившееся положение создавало слишком много неудобств: сэр Бенедикт Аранделл не мог вечно скрываться под именем ми-

---

* светской вечеринки (*исп.*).

стера Смита, а леди Эдит Харли, графине де Вольмеранж, не пристало носить прозаичное и ничем не примечательное имя миссис Смит.

На следующее же утро они сели в почтовую карету и через несколько часов стояли на набережной Кале, ожидая отправления пакетбота.

Глава XX

Породистый неджский скакун, на которого вскочил Вольмеранж, помчался, словно ветер, и в мгновенье ока вынес своего всадника с поля брани или, лучше сказать, с бойни, ибо сражение превратилось в беспорядочное убийство слонов, лошадей и людей. Поражение повстанцев было полным.

Какое-то время Вольмеранж слышал рев слонов и видел впереди, на земле, покрытой красноватыми отсветами лесного пожара, скачущую галопом тень лошади, похожую на жуткое чудовище из ночного кошмара. Обезумевший от страха конь графа неистово гнался за призраком и, наклоняя голову, пытался ухватить его зубами.

Мало-помалу другие беглецы, устремившиеся вслед за Вольмеранжем, отстали, стихли все крики и рев слонов, ночь окружила его своим синеватым светом. Вольмеранж по-прежнему мчался во весь опор вдоль Годавари. Его конь, повинуясь чудесному инстинкту, обходил рытвины, перелетал через упавшие деревья, угадывал топкие места и при этом ни на секунду не сбавлял скорости.

Проскакав пять или шесть лье, Вольмеранж придержал коня и, заметив свет на берегу реки, направился к нему и выехал к хижине. Рыбак, чинивший сети, помог гостю спешиться и тут же распростерся у его ног.

Вольмеранж сел на лавку у стены хижины, прятавшейся под саптапарной[1], и спросил у рыбака, не может ли тот дать ему другую одежду и лодку, чтобы спуститься вниз по реке.

— Могу... — Рыбак сразу понял, что перед ним не простой человек. — Но ваша милость вряд ли захочет надеть жалкие лохмотья бедного индуса низшей касты, презренного шудры[2], недостойного вылизывать пыль под вашими стопами.

— Чем хуже будут лохмотья, тем лучше, — сказал Вольмеранж и вошел в дом.

Рыбак помог графу освободиться от военной формы и надеть широкий скромный плащ, под которым трудно было разглядеть блестящего предводителя повстанцев. Шудра для пущей надежности посоветовал ему вымазать лицо и руки бурым соком дикой тыквы, иначе белая кожа Вольмеранжа выдала бы его.

Сделав все, что можно, рыбак отвязал свою лодку, а конь, подойдя к самой воде, будто понял, что в нем больше нет нужды, громко заржал и помчался в сторону холмов, где, по всей видимости, находилось его пастбище.

Мы не последуем за Вольмеранжем, чтобы описать его долгое плавание, скажем лишь, что он благополучно добрался до берега моря. Здесь он отблагодарил рыбака, вручив ему один из драгоценных камней, что украшали рукоять его сабли, а затем сел на французский корабль, который, курсируя по Бенгальскому заливу, зашел в устье реки, чтобы пополнить запасы питьевой воды.

Поскольку граф возвращался один, унося в своем сердце лишь память о двух погибших женщинах — о бедной жене, которую он утопил в Темзе, и о прекрасной Приямваде, застреленной подле него, — то, несмотря на огромное расстояние, что отделяло его от Европы, он прибыл в Англию гораздо раньше Эдит и Бенедикта.

Таинственная сила влекла Вольмеранжа в Лондон, хотя по многим причинам ему не следовало там появляться. Возможно, он повиновался странной магнетической тяге, которой подвластны и люди, и животные и которая заставляет их стремиться туда, откуда их изгнали жестокие удары судьбы.

В буре событий ему не удалось оплакать Приямваду так, как она того заслуживала, но ее трагическая гибель глубоко ранила графа. Он решил, что его преследует злой рок и что ему надо жить одному, дабы не подвергать опасности тех, кого он любит.

Вольмеранж удалился от общества и выходил лишь вечерами в малолюдные места, хотя его никто не преследовал, поскольку еще до отъезда в Индию он отослал письма Эдит ее отцу с припиской: «Месть свершилась». Лорд и леди Харли распространили слух, согласно коему молодая женщина, которую граф инкогнито увез в Италию, чтобы насладиться радостями медового месяца, умерла в Неаполе от лихорадки, подхваченной на Понтийских болотах[3].

Легенда получилась вполне правдоподобной, и свет, мало интересующийся теми, кто выпадает из его поля зрения, удовлетворился этим убедительным объяснением, которое не вызывало сомнений из-за неподдельного горя лорда и леди Харли.

Однажды вечером граф Вольмеранж прогуливался в самом отдаленном уголке Гайд-парка.

Молодая, прекрасно одетая женщина, чей наряд явно говорил о ее принадлежности к высшему обществу, со слугой, сопровождавшим ее на некотором расстоянии, неторопливо прогуливалась вдоль уединенного

пруда, к которому обычно ходят лишь влюбленные, поэты, меланхолики, а также, как оказалось, воры. Дело в том, что из кустов неожиданно выскочил мужчина весьма дикой наружности и, ухватившись за шаль женщины, заколотую надежной и очень дорогой булавкой, попытался сорвать эту шаль.

Слуга тут же поспешил на помощь госпоже, но, получив прямой удар по всем правилам бокса, отлетел на четыре шага с разбитыми в кровь губами и носом.

Вольмеранж, только что свернувший на эту аллею, увидел драку, одним прыжком оказался в самой гуще и сравнял счет боковым ударом трости, который рассек голову грабителя, точно сабля. Нападавший убежал, громко рыча от боли, хотя в его интересах было бы убраться как можно бесшумнее.

Молодая женщина до того перепугалась, что едва стояла на ногах, и Вольмеранжу пришлось оставить преследование негодяя, чтобы поддержать несчастную жертву.

Когда она пришла в себя, Вольмеранж холодно откланялся, но незнакомка, протянув руку, остановила его и молвила робко и умоляюще:

— О сударь, прошу вас, побудьте еще моим рыцарем и проводите меня до кареты. Видите, в каком жалком состоянии мой бедный телохранитель Дэниэл, боюсь, злоумышленники увидят, что я одна, и снова вернутся.

Ответить отказом на призыв о помощи, высказанный в подобном тоне и такими словами, Вольмеранж никак не мог, хотя и поклялся больше не иметь дела с женщинами, и потому он весьма галантно для человека, поставившего своей целью превзойти по части мизантропии самого Тимона Афинского[4], подал руку даме, чья настоятельная просьба от страха звучала почти нежно.

Карета ждала довольно далеко, таким образом пара внезапно сблизившихся людей получила возможность немного узнать друг друга.

Женщину, рядом с которой вы прошли сто шагов, чувствуя, как она дрожит от сильного волнения и с силой сжимает вашу руку, потому что ноги не слушаются ее, уже нельзя назвать незнакомкой.

Вольмеранжу хватило времени, чтобы разглядеть красоту девушки и по фразам, которыми они обменялись, понять, как она умна. Поэтому, заметив у ворот парка сверкающий лаком экипаж с фамильными гербами, у подножки которого им следовало расстаться, граф невольно замедлил шаг.

— Не откажите в любезности, — сказала дама, после того как села в обитую атласом карету и выездной лакей захлопнул дверцу, — откройте мне имя моего освободителя. Я мисс Амабел Вивиан.

— А я граф де Вольмеранж, — ответил он с глубоким поклоном.

Мисс Амабел Вивиан, следуя моде, подобно всем молодым англичанкам, гуляла каждый день, и, хотя неприятное происшествие должно было отвратить ее от пеших прогулок, на следующий же вечер в обычное время она снова приехала в Гайд-парк.

Возможно, она предчувствовала, что, случись опять какое-нибудь несчастье, защитник у нее найдется, и поэтому направилась на ту же аллею и пошла вдоль пруда Серпентайн. Не отдавая себе отчета, она хотела деликатно вознаградить отважного Вольмеранжа и в качестве награды предоставить ему возможность еще раз увидеть ее.

В том же месте и в тот же час на прогулку вышел Вольмеранж. Возможно, он, со своей стороны, подумал, что, несмотря на присутствие лакея, мисс Амабел Вивиан в этой части парка угрожает опасность.

Никто из них при встрече не выразил удивления. Они побеседовали немного, может быть, на несколько минут дольше, чем предписывают строгие правила приличия, а затем Вольмеранж, тревожась за мисс Вивиан, проводил ее до кареты.

Спустя некоторое время граф подобающим образом был представлен леди Элинор Брейбрук, та нашла его очаровательным и нимало не возражала против его частых и продолжительных визитов, ибо трезвомыслящая леди находила, что мисс Амабел слишком далеко заходит в своем воображаемом вдовстве.

То, о чем мы вынуждены рассказать далее, наносит страшный удар поэтике романов, которая, как известно, не допускает ничего, кроме единственной любви до гроба, но у нас не роман, а быль, и мисс Амабел Вивиан, которая искренне верила, что после исчезновения или гибели Бенедикта она никогда никого не полюбит, очень удивилась, почувствовав, как вновь забилось ее сердце, похороненное под пеплом первого разочарования. Имя графа де Вольмеранжа, звучащее из уст дворецкого, неизменно вызывало нежный румянец на гладких щечках мисс Амабел.

Вечером, после двух- или трехчасовой беседы с Вольмеранжем, она лежала, утопая головой в подушке, расшитой кружевом англетер, и, как всякая хорошенькая женщина, перебирала перед сном в памяти волнующие подробности прошедшего дня. Она находила, что ответила чересчур снисходительно на пылкий взгляд, слишком долго рассуждала на тему любовной метафизики и недостаточно быстро отняла свою ладонь после прощального рукопожатия. Во сне образ Вольмеранжа являлся ей чаще, чем образ Бенедикта.

Итак, две пары из церкви Святой Маргариты поменялись местами будто в танце. Поменялись не только физически, но и духовно, и в силу странной симметрии Бенедикт полюбил Эдит, мисс Амабел полюбила

Вольмеранжа, и тот отвечал ей взаимностью. Игривый случай словно задался целью воспрепятствовать воле людей. Он показал, что ради этого способен на такие ухищрения, какие человек не в силах даже вообразить, и добился своего: намеченные союзы распались, каждый нарушил свою клятву.

Казалось, по характеру они были созданы друг для друга, но в итоге отдали сердце своим противоположностям. Неведомая сила подменила их разумные планы фантастическими, вычурными, бессвязными сценариями; единство времени и места было грубо нарушено великим романтиком и постановщиком человеческих драм, имя которому случай.

Леди Брейбрук лелеяла надежду выдать мисс Амабел замуж и после того, что она называла «афронтом» Бенедикта, без устали превозносила Вольмеранжа; естественно, ее похвалы в адрес нового претендента сопровождались проклятиями в адрес пропавшего жениха. Формально Амабел и Вольмеранж еще не объяснились, но сердцем договорились обо всем. Граф стал признанным поклонником мисс Вивиан: он подавал руку леди Элинор Брейбрук, в театре ему всегда находилось место в ложе за креслом ее племянницы. Правда, надо сказать, даже самые красивые декорации и самые патетичные сцены не могли отвлечь его от плавных линий шеи и плеч Амабел, и потому никто не знал репертуара так плохо, как он. Леди Элинор Брейбрук искренне изумлялась, почему такой умный молодой человек совсем ничего не извлекает из тех прекрасных произведений, которые он вроде бы слушает с неподдельным вниманием.

Амабел порой опасалась, что внезапно явится Бенедикт и упрекнет ее за неверность. Она и мысли не допускала, что Бенедикт мог ее предать, как, впрочем, все женщины, у которых всегда наготове тысяча превосходных доводов, оправдывающих их собственные измены. Но месяц проходил за месяцем, а непостижимое исчезновение Бенедикта по-прежнему оставалось тайной за семью печатями. Молодая женщина постепенно успокоилась, перестала ждать чего бы то ни было и бесстрашно отдалась своему чувству к Вольмеранжу. Граф вычеркнул из своей памяти Эдит и даже Приямваду.

Приключения с юной индианкой представлялись ему теперь галлюцинацией, вызванной опиумом. Золотистая кожа Приямвады, ее подведенные глаза, жемчужные ожерелья, экзотические благовония, поездки верхом на слоне, встреча в пагоде, сражение в заросшем лианами лесу — все эти странные сцены казались графу воспоминаниями, не имеющими ничего общего с реальностью.

Если бы Приямвада не умерла, она конечно же сильно стеснила бы Вольмеранжа. Что сказали бы на балу в Олмэке о женщине с серьгой в носу и пятном горочаны на лбу?

Правда, граф не мог не грустить, воспоминая о совершенной красоте, пылкой страсти и безграничной преданности своей бедной сестры: эти достоинства, пусть даже несколько эксцентричные и шокирующие, стоили сожалений.

Тем временем мисс Эдит и сэр Бенедикт, с которыми мы расстались на набережной Кале, сели на корабль и прибыли в Англию.

Прежде чем появиться в Лондоне, они разделились, и каждый снял домик в малолюдном и тихом городском квартале. Фиктивный брак мистера и миссис Смит был расторгнут, ведь мисс Эдит Харли была графиней де Вольмеранж, а сэр Бенедикт Аранделл — мужем, точнее, почти мужем, мисс Амабел Вивиан. И разве они приехали со Святой Елены не для того, чтобы вернуться в лоно семьи? И разве они не хотели довести до конца свой философский эксперимент?

Вольмеранж получил записку от Амабел, которая просила его заехать за ней и тетей, чтобы вместе отправиться на концерт к принцессе ***. Граф был уже полностью одет, когда дворецкий доложил, что какая-то женщина желает поговорить с его милостью.

— Дама в вуали! Странный визит в странный час! Я уже давно не бываю за кулисами Друри-Лейн, а в Опере сезон еще не начинался. Что за черт, кто бы это мог быть? Принципиальная мамаша, которая хочет предложить мне свою дочь в подружки?

— Милорд, что передать даме? — настойчиво повторил дворецкий.

— Скажите, чтобы написала на визитке свое имя и что ей нужно.

— Я осмелился предложить ей то же самое, — возразил слуга, — но она сказала, что не хочет называть свое имя и будет говорить только с вами.

— Она молода, красива или стара и уродлива? — на всякий случай уточнил граф.

— Милорд, вуаль скрывает ее черты, но, насколько я могу судить, она хороша собой, а легкость ее походки говорит о том, что она молода.

Граф бросил взгляд на часы, понял, что у него в запасе есть еще полчаса, и приказал проводить таинственную даму в гостиную.

Неожиданный визит, неизвестность, старательно опущенная вуаль — во всем этом было что-то романтичное. Вольмеранж с его живым воображением не мог не заинтересоваться и в то же время ощутил смутный страх и невольную дрожь. Случайно взглянув на себя в зеркало, он заметил, как побледнело его лицо.

Комната, в которой находился граф, была просторной, строгой и роскошной одновременно. Свет единственной лампы озарял лишь часть помещения, остальное пространство было погружено в тень. Шел дождь, ветер стучал в окна, и они звенели, напоминая о другой бурной ночи...

Сердце Вольмеранжа, только что легкомысленно отвечавшего на вопросы дворецкого, сжалось в тревожном ожидании; дверь открылась, петли скрипнули, и граф нервно вздрогнул.

Дверь находилась в тени, и сначала граф не разглядел вошедшую.

С присущей ему вежливостью истинного джентльмена он сделал три шага навстречу незнакомке.

Она вышла на свет.

Дворецкий оказался прав: вуаль скрывала не уродство, а тайну или целомудрие.

Красота незнакомки смутно просвечивала сквозь ткань, как огонь сквозь металлическую сетку. Граф не видел лица гостьи, но чувствовал, что оно прекрасно.

На ней было похожее на туники Фидия[5] длинное белое платье с небольшими складками, и на его белом фоне кокетливо и зловеще выделялись черные кружева накидки.

— Сударыня, — промолвил Вольмеранж, — соблаговолите поднять вуаль. Вы не побоялись явиться ко мне в столь поздний час, к чему же эти предосторожности? Вам здесь ничто не угрожает, вы не назвали ваше имя, так позвольте хотя бы взглянуть на вас.

— Вы настаиваете? — ответила незнакомка мягким проникновенным голосом.

От этого *знакомого* голоса волосы на голове Вольмеранжа встали дыбом.

Дама тонкой белой рукой, форма которой всколыхнула в графе тысячу воспоминаний, начала медленно приподнимать черные складки кружева.

Сначала показался прелестный подбородок с маленькой родинкой, которая вызвала у Вольмеранжа трепет, затем ярко-розовые губы, повергшие графа в крайний ужас, и, наконец, греческий носик и восхитительные карие глаза. Рассудок графа помутился.

Она стояла перед ним, держа вуаль над головой своей прекрасной мраморной рукой, в позе, достойной античных статуй, и невозмутимо смотрела на обезумевшего от страха Вольмеранжа, который отшатнулся от нее и задрожал как осиновый лист.

— Кто вы? — прохрипел он, запинаясь.

— Я леди Эдит, графиня де Вольмеранж.

— Нет, ты лжешь, ты призрак! Твое платье промокло, ты вышла из Темзы, прочь, прочь! Я утопил тебя, ты знаешь почему, я имел на это право. О! Что за бред? Может, и Долфос вернется? Вот будет забавно! — И граф расхохотался.

Он сошел с ума.

Глава XXI

Мисс Амабел в вечернем платье вглядывалась в зеркало, чтобы оценить, хорошо ли смотрится цветущая веточка эрики, кокетливо закрепленная в ее прекрасных волосах. Никогда еще она не находила себя столь прелестной.

Камеристка, закончив работу, тихо удалилась.

Амабел осталась одна, ибо леди Элинор Брейбрук, которой требовалось вносить множество поправок в здание своих прелестей, находилась в руках горничных гораздо дольше племянницы. Амабел заскучала от безделья подобно всякому, кто слишком рано собрался на праздник.

Она просила Вольмеранжа прийти к девяти часам, а сейчас не пробило еще и восьми, значит, впереди оставался целый час, и ей совершенно нечем было заняться.

Чтобы как-то провести время, она взяла книгу и рассеянно прочла несколько страниц; затем подошла к фортепьяно и быстро сыграла несколько гамм, но звуки музыки и вибрация струн лишь испортили ей настроение. Она закрыла крышку инструмента и встала.

Один из браслетов оказался велик, он все время сползал и мешал ей. Амабел взяла шкатулку с драгоценностями, чтобы выбрать другое украшение, и взгляд девушки упал на ящик, в котором были заперты письма, написанные Бенедиктом в пору их страстного увлечения друг другом.

Сегодня исполнялся ровно год со дня столь странно сорвавшегося венчания в церкви Святой Маргариты.

Увидев ящик с письмами, Амабел вспомнила об этой дате, вздохнула, в порыве печальной фантазии достала одно из писем, подошла поближе к камину — ее обнаженные плечи и руки уже озябли — и стала читать.

«Дорогая Амабел, — говорилось в послании, написанном во время их краткой разлуки, — мне надо прожить три дня вдали от вас, и я не знаю, что делать. Ведь я привык, что вы всегда рядом, что каждый вечер я вижу, как душа сияет в ваших глазах, а ум отражается в улыбке. Только сознание того, что скоро мы навсегда будем вместе, что наши жизни сольются воедино, точно два потока, позволяет мне вынести эту муку».

Чтение погрузило мисс Амабел в глубокие раздумья.

«К чему, — подумала она, — хранить свидетельства мнимой страсти?»

И она бросила письмо в огонь.

Затем взяла второе письмо, прочла и отправила вслед за первым в ярко пылавший очаг; таким образом девушка восстановила в памяти все подробности былой любви. Она вдыхала смутный аромат воспоминаний, заключенных в сложенных листах веленя[1], и предавала пламени останки прошлого.

— Уже девять часов, — молвила бывшая невеста сэра Аранделла, бросив последнее письмо, — а Вольмеранжа все нет!

Бумага загорелась, но угли затрещали и распались, и письмо выпало из камина на пол.

Вдруг потянуло сквозняком, и из почти догоревшего письма вырвался голубоватый язычок пламени. Он лизнул газовое платье Амабел и змейкой поднялся по складкам легкой ткани.

Амабел, увидев огонь и дым, ринулась к звонку, но, обезумев от страха и боли, стала искать шнур слева, тогда как он находился справа, и пламя, разгоревшись от ее метаний, торжествующе охватило ее целиком.

Бедная девушка упала на ковер. Крича и срывая с себя одежду, она стала кататься по полу в надежде потушить огонь.

В этот момент дверь распахнулась, и слуга объявил:

— Сэр Бенедикт Аранделл!

— Спасите! Помогите! — кричала объятая пламенем несчастная Амабел.

Бенедикт вместе со слугой бросились к ней, но было слишком поздно. В безумной агонии Амабел устремила полные ужаса глаза на своего бывшего жениха и хрипло пробормотала:

— Бенедикт! О, как я наказана!

Слуга, потеряв голову, помчался звать на помощь, искать врача, воды, а Бенедикт попытался потушить огонь, который пожирал Амабел, накинув на нее скатерть со стола.

Когда подоспела помощь, Амабел уже скончалась.

Бенедикт бежал прочь, не в силах вынести этот кошмар, а в доме начался такой ад кромешный, что никто даже не заметил, как пришел и ушел сэр Аранделл.

Несколько дней спустя леди Элинор Брейбрук передали подобранные у камина клочки сожженных писем; стало ясно, почему загорелось платье Амабел. Леди Брейбрук сквозь слезы разобрала несколько слов и поняла, что причиной несчастья послужили любовные послания Бенедикта. Это открытие привело к тому, что осиротевшая дама возненавидела сэра Аранделла сильнее прежнего.

Странное совпадение, необъяснимый рок! Любовные письма Бенедикта погубили Амабел в тот момент, когда она ждала другого. Суеверные души усмотрят в этом возмездие. Но за что? Вероятно, за то, что она была ни в чем не виновата. Или же невинные искупают чужие преступления по некоему закону обратимости, смысл которого выше всякого разумения.

Бенедикт и мисс Эдит своими визитами причинили горе, их эксперимент закончился так же неудачно, как и большинство философских экспериментов.

Завершая эту историю, точнее часть истории, о которой мы могли поведать, хочется разъяснить хотя бы в общих чертах эпизоды, которые в противном случае, возможно, останутся не совсем понятными.

В последние годы Империи в Англии сложилось сообщество людей из разных стран и сословий: их объединили дружба, зародившаяся в колледжах, связи, возникшие в свете или где-то еще, одинаковые вкусы и интересы, смелость и сходство образа мыслей, а также странные повороты судьбы. Каждый из них был в своем роде неординарной личностью, и каждый обладал выдающимся умом и закаленной волей.

Вскоре между ними установилось своего рода невольное франкмасонство: они узнавали друг друга в свете, обменивались улыбками, отражавшими целую философию, и одной-двумя фразами, которыми ставили все точки над i. Кто-то из них пользовался богатством, кто-то — властью, одни отличались бесстрашием, другие — ловкостью, некоторые были большими поэтами или дальновидными политиками.

Обычных развлечений, таких как клуб, вино, карты, лошади и женщины, подобным людям не хватало, им наскучили игры и оргии, хотя многие из них могли похвастаться такими длинными списками блестящих побед, что впору позавидовать самому Дон-Жуану[2]. Они искали цель в жизни, и они ее нашли: победа Воли над Роком.

Образовав нечто вроде тайного трибунала, они пересмотрели современную историю и поставили перед собой задачу оспорить те ее приговоры, которые показались им несправедливыми. Одним словом, они хотели изменить ход событий и бросить вызов Провидению.

Эти отчаянные игроки были смелее легендарных гигантов и титанов, на зеленом сукне мира они хотели отыграть у Бога проигранные партии и поклялись самыми страшными клятвами помогать друг другу.

В их планы входило восстание в Индии, возведение Наполеона на другой, более высокий престол, предоставление независимости Испании и освобождение Греции, в которой позднее Байрон, состоявший в этом союзе, нашел свою смерть[3].

Разные освободительные движения и волнения той эпохи были делом их рук. Члены сообщества вели магараттов в их борьбе против англичан, сеяли смуту на Пиренейском полуострове, готовили восстание в Греции и похищение Наполеона. Они хотели создать для него в Индии восточную империю, о которой он мечтал еще в юности, и предоставить ему возможность вернуться в Европу, повторив в обратном направлении путь Александра.

Эти великие умы и несгибаемые характеры, которые перекраивали карту мира и мечтали подчинить себе случай, не преуспели в своих начинаниях. Дойдя до конца по избранным ими тропам, они были опрокинуты

легким дуновением, которое, возможно, есть не что иное, как Божий Промысел.

По непонятным причинам их неимоверные усилия оказались напрасны. Непостижимый рок продолжал слепо идти своим путем, а жизнь поддерживала его решения.

То, что им казалось правомерным, всегда терпело поражение, то, что они считали несправедливым, торжествовало: гений испытывал крестные муки, а посредственность процветала, увенчанная золотым венцом. Неожиданное препятствие, предательство, внезапная смерть и другие превратности в последний момент расстраивали их замыслы. Они старались изменить ход вещей, но, несмотря на нечеловеческие жертвы, их нес неодолимый поток.

Многие из них упорствовали, подобно невезучему игроку, в безумии гордыни вступающему в схватку с невозможным. Потеряв рассудок, они бросали вызов небесам горстью пыли[4] и, подобно Ксерксу, охотно высекли бы море[5]. Те, кто поумнее, в конце концов начали подозревать, что существует то, что за неимением другого слова мы назовем «математикой случая»; они чувствовали, что все события подчинены некой силе тяготения, законы которой еще ждут своего Ньютона, но нарушали их из любопытства, присущего всякому ученому-экспериментатору; они будоражили мир, подобно физику, что взбалтывает разные жидкости в колбе, а потом смотрит, как они распределяются по своим местам в зависимости от их удельного веса.

Сэр Артур Сидни, Бенедикт Аранделл, граф де Вольмеранж, Долфос и Дакша, будучи членами высшего круга, имели право выбирать среди своих собратьев тех, кого считали необходимыми для осуществления собственных планов. Бенедикту и Вольмеранжу, которые, нарушив клятву, распорядились своей судьбой, напомнили о долге так, как было описано в этой повести. Но ни разрушенные или погубленные жизни, ни отвага, ни гений, ни деньги — никакие жертвы не дали результата: невидимый игрок всегда одерживал победу.

Из того немногого, что мы рассказали, уже понятны цель и средства этого сообщества — философской разновидности Священных Фем[6], — которое с неслыханной энергией и ценой огромных затрат стремилось подменить в истории волю Божью волей человеческой.

Эти далекие от религии люди, которые верили исключительно в силу и разум, приняли Провидение за случай и, вынув перо из рук Господа, попытались переписать за Него книгу вечности.

Теперь, как и принято, мы завершим нашу историю, поведав вам о дальнейшей судьбе тех немногих персонажей, что пережили эти страшные события.

Потерявшего рассудок Вольмеранжа преследует белая тень Эдит. Охваченный ужасом, он сидит скорчившись в углу своей палаты, чтобы держаться как можно дальше от призрака, который чудится его больному воображению у противоположной стены.

Что до мисс Эдит и сэра Бенедикта Аранделла, то английские путешественники, направлявшиеся в Смирну и посещавшие по пути острова Ионического моря, уверяли, будто видели на острове Родос, в прелестном мраморном дворце, построенном в эпоху рыцарей[7] и украшенном античными предметами искусства, молодую пару, мягкая и спокойная безмятежность которой наводила на мысль о том, что, несмотря на молодость, супруги успели многое испытать. Хотя они были известны как мистер и миссис Смит, сразу чувствовалось, что это простое имя не соответствует их высокому происхождению. Они не избегали своих соотечественников, но и не искали встреч с ними. Все говорило о том, что им хорошо вдвоем, а это значит, они были счастливы.

Сидни в их жизни больше никогда не появлялся. Умер он или с отчаяния похоронил себя в какой-нибудь глуши, потерпев неудачу в деле, которому посвятил пять лет жизни? Никто этого так и не узнал.

Несколько лет спустя в сторону архипелага Тристан-да-Кунья отнесло штормом по пути из Индии некий парусник. Он высадил на берег несколько матросов, которые надеялись разжиться черепашьим мясом и птичьими яйцами и немного скрасить однообразный рацион. Один из моряков наткнулся на песчаном берегу на поросший ракушками предмет, который своей формой явно напоминал бутылку.

Обрадованный находкой матрос, думая, что в бутылке окажется ром, соскоблил нарост, вскрыл свинцовую пробку, но вместо вожделенного напитка обнаружил лишь кусок пергамента. Он честно отнес его капитану, чего не сделал бы, если бы нашел спиртное. Капитан развернул сложенный вчетверо листок и с великим изумлением прочитал следующее:

> Перед тем как пойти на самое смелое и невиданное деяние из всех, что когда-либо совершал человек, я, сэр Артур Сидни, находясь в трезвом уме и твердой памяти и сознавая, что волны, в которые я погружаюсь, могут меня поглотить, пишу эти строки в надежде, что благодаря им моя тайна не умрет вместе со мной.
>
> Англичанин по крови, я испытал страшное унижение из-за предательства моей отчизны по отношению к великому императору. Подобно сыну, почитающему свою мать, я хочу смыть с имени родины пятно позора и избавить ее в будущем от стыда за убийство своего гостя; мной руководит стремление вырвать эту страницу из истории моей страны; я хочу, чтобы все говорили: «Англия сде-

лала его пленником, и англичанин же вернул ему свободу и отстоял честь своей нации».

Я пытаюсь помешать моей горячо любимой родине опуститься до злодеяния, за которое весь мир возненавидит ее, как евреев за распятие Христа. Этой идее я посвятил свою жизнь, ибо нет более великой и святой цели, чем слава народа, частью которого ты являешься. Завтра Прометей, освобожденный от своих оков, уплывет на поджидающем его судне, и оно перенесет его к новой империи и к свершениям еще более значительным, чем те, которыми он уже удивил мир, или же Господь осудит меня за то, что я вторгся в дела Провидения.

4 мая 1821 года, в виду острова Святой Елены

Капитан задумался, глядя на пергамент с пожелтевшими чернилами. Он несколько раз перечитал письмо, которое сначала долго носилось по волнам в своей зеленой темнице, затем очутилось на необитаемом острове и все-таки сохранило, может быть, единственный след благородной идеи, беспредельной самоотверженности и безмерного мужества; порывшись в памяти, он вспомнил, что встречал сэра Артура Сидни то ли в Лондоне, то ли в Калькутте.

Когда корабль проходил мимо Святой Елены, капитан издали отдал честь могиле великого полководца и подумал:

«Господь не дал Сидни своего благословения, ведь император спит под ивой, а письмо лежит в моем бумажнике. Должно быть, сэр Артур утонул; обидно, я бы крепко пожал ему руку, и мне бы очень хотелось, чтобы он сидел напротив меня в каюте “Красотки Дженни”».

Да, это была «Красотка Дженни», которую продал торговцу в Калькутте капитан Пепперкул, поскольку Сидни велел ему распорядиться кораблем по своему усмотрению, если сам он не вернется через пять дней. И именно она, по воле случая, подобрала завещание своего бывшего владельца.

Теперь расскажем то, что нам удалось узнать о Дакше. Он отыскал тело Приямвады и похоронил, свято соблюдая положенные обряды. Как и прежде, Дакша предается самоистязанию: он нашел потрясающе неудобную позу, которая должна ублажить все троицы, четверицы и пятерицы индийского Олимпа. Он еще не отчаялся восстановить лунную династию и верит, что Вольмеранж вернется. Его иссохшие пальцы с еще большим усердием мнут священную траву куша, черные губы исступленно и вдохновенно бормочут таинственный слог из двух букв, заключающий в себе всё и даже больше, чем всё.

Во время лесного сражения ему пришла в голову мысль, что отныне он должен истязать себя не тремя крюками, вонзенными в спину, а пятью. Благодаря такому изощренному покаянию, надеется он, англичане будут изгнаны из Индии, а ему самому милосердное небо пошлет смерть, и он умрет, держась за хвост коровы. Все это не мешает Дакше оставаться мудрым философом, осторожным дипломатом и тонким политиком, он продолжает поднимать народы провинций и плести хитроумные заговоры – и делает все это, сидя на шкуре газели между четырьмя курильницами и не забывая регулярно подавать условные знаки управлению Ост-Индской компании.



ПРИЛОЖЕНИЯ



Н.Т. Пахсарьян

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ: МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И ВООБРАЖЕНИЕМ

Теофиль Готье (1811–1872) – весьма заметная фигура в литературной жизни XIX века: писатель, журналист, историк романтизма. Его наследие отличается несомненным жанровым разнообразием и безусловными стилистическими достоинствами. Он дебютировал как поэт (сборник «Стихотворения», 1830) и прозаик (новелла «Кофейник», 1831), а со второй половины 1830-х годов и до самой смерти работал театральным и художественным критиком: его наследие в этой области, сохранившееся в газетных фельетонах, полностью еще не изучено. Но русский читатель знает, прежде всего, творчество Готье-поэта: отдельные переводы его стихотворений и поэм публиковались еще в XIX веке, в начале 20-го столетия появились переводы М. Волошина и В. Брюсова, а в 1914 году вышел полный текст сборника «Эмали и камеи» в переводах Н. Гумилева. Готье сыграл очень важную роль для творческого становления Н. Гумилева и А. Ахматовой*, в нем оба поэта обнаруживали близость к собственному акмеизму, через призму его творчества формировалось их восприятие Испании и т. п. Н. Гумилев посвятил французскому поэту вдохновенное эссе «Теофиль Готье» (1911), упоминал его в своих заметках об акмеизме («Наследие символизма и акмеизм», 1913). А. Ахматова, черпавшая в творчестве Т. Готье многие мотивы собственного «мифа о поэте»**, на всю жизнь сохранила привязанность к французскому писателю, и ее авторитет не в последнюю очередь определил постоянное внимание многих значительных русских поэтов-переводчиков к творчеству автора «Эмалей и камей». К сегодняшнему дню мы располагаем широким спектром публикаций поэтических сочинений Т. Готье, переведенных А. Ге-

---

* Об этом см.: *Косиков Г.К.* Готье и Гумилев // Готье Т. Эмали и камеи. М.: Радуга, 1989. С. 304–321; *Лукницкий П.Н.* Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой: В 2-х т. Париж: YMCA-Press, 1991. Т. 1: 1924–1925; *Тименчик Р.Д.* Портрет владыки мрака в «Поэме без героя» // НЛО. 2001. № 52. С. 200–204; *Рубинчик О.Е.* Об испанской составляющей в «Поэме без героя» // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Симферополь, 2006. Вып. 4. С. 56–85.

** См.: *Михайлова Г.П.* «Миф о поэте». Анна Ахматова в западноевропейском контексте: интертекстуальный анализ. URL: http://www.akhmatova.org/articles/mikhailoval.htm (дата обращения: 19.07.2010).

лескулом и В. Микушевичем, А. Эфрон и М. Донским, М. Квятковской, Г. Кружковым, Б. Дубиным и др.

Нельзя сказать, что и проза Готье совершенно неизвестна в России: в середине 19-го столетия вышли первые переводы двух прозаических сочинений писателя — «Милитоны» и «Без вины виноват»; в 1906 году Ф. Сологуб издал перевод новеллы «Двойственный рыцарь» под названием «Двойная звезда»; в XX веке был переведен и приобрел большую популярность роман «Капитан Фракасс», неоднократно переиздававшийся*, новелла «Золотое руно» вошла в книгу «Французская новелла XIX века» (1959), в начале 1970-х годов появился двухтомник избранных сочинений Т. Готье, включающий некоторые новеллы и «Историю романтизма»**, а начиная с 1990-х годов в довольно многочисленные сборники фантастических произведений издатели стали включать те или иные новеллы и повести писателя***. Были изданы также перевод романа «Мадемуазель де Мопен», авторское предисловие к которому справедливо считают программным, и книги путешествий[4*].

В то же время можно констатировать не только лакуны в возможностях русского читателя познакомиться с Готье-прозаиком в полном объеме (например, в т. I наст. изд. представлены как заново переведенные произведения писателя — «Невинные распутники», «Милитона», «Роман о мумии», так и никогда ранее не переводившиеся — «Фортунио», «Царь Кандавл», «Двое на двое», «Жан и Жанетта», «Аватара», «Спирита»), но и некоторую смутность, размытость наших представлений о масштабах и роли Готье-прозаика, о жанровом своеобразии его прозаических сочинений, об их соотношении с романтической традицией, о специфике реализации в них принципа «искусства для искусства», об особенностях фантастического и т. п. Практически никак не учитывается, что значительная часть прозы (в частности, все повести, вошедшие в указанные издания) была опубликована изначально в периодической печати, что Т. Готье тем самым участвовал в развитии «фельетонной» формы романа.

В результате Т. Готье предстает в расхожем читательском сознании как личность, составленная из двух ярких, но логически плохо связанных фрагментов. Вначале это — активный, страстный участник «битвы за романтизм», правда, больше прославившийся эпатажным красным жилетом на премьере пьесы В. Гюго «Эрнани», чем ученически романтическими стихами. Затем — автор идеи «искус-

---

* Назову только отдельные издания: *Готье Т.* Капитан Фракасс / Пер. И.И. Ясинского. СПб.: [б. и.], 1895; Указ. соч. / Сокр. пер. Н. Касаткиной. М.: Детгиз, 1957; Указ. соч. / Пер. Н. Касаткиной. М.: Худож. лит., 1982; М.: Правда, 1983; М.: Дет. лит., 1990; М.: ГПИ «Искона», 1992; М.: Ассоц. предприятий, об-ний и орг. полигр. пром-ти «АСПОЛ»: ПКФ «Печ. дело», 1993; Новосибирск: Мангазея: Дет. лит., 1998; СПб.: Вита Нова, 2007.

** См.: *Готье Т.* Избранные произведения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1972.

*** См.: *Готье Т.* Два актера на одну роль. М.: Правда, 1991; *Он же.* Роман о мумии; *Шюре Э.* Жрица Изиды. СПб.: Алетейя, 1993; Infernaliana: Французская готическая проза XVIII—XIX веков. М.: Ладомир, 1999; *Готье Т.* Тысяча вторая ночь. М.: Эксмо, 2007; Страх: Французская готическая проза. СПб.: Азбука-классика, 2008.

4* См.: *Готье Т.* Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988; *Он же.* Путешествие на Восток. М.: Изд-во Сабашниковых, 2000.

ства для искусства», возглавивший движение парнасцев, знаменитый создатель поэтического сборника «Эмали и камеи» (1852), воплотившего не философскую глубину*, но холодное совершенство формы, и человек, отстранившийся от кипения социально-политических страстей и от романтизма в его хрестоматийном обличье**. А проза писателя воспринимается как любопытный, но недостаточно оригинальный пример фантастической или готической беллетристики 19-го столетия, ориентирующейся на гофмановские традиции, но скорее декоративной, «красивой», чем глубокой по мысли. Разрушить подобное стереотипное представление и призвана данная публикация.

Т. Готье в истории французской прозы романтизма

Надо признать, что не только в России, но и во Франции Готье занимает отнюдь не центральное место в литературоведческих трудах по истории романтической литературы. Происходит это не в силу пренебрежения творчеством Готье или забвения его наследия, а по причине того, что, как считают историки литературы, писатель явно выходит за привычные рамки романтизма, что он оказывается и тесно связан с романтическим движением, и во многом не совпадает с ним, во всяком случае, с традиционным представлением о нем. Впрочем, некоторые современники Т. Готье расценивали его творчество как проявление сугубо романтического духа. «Господин Т. Готье был одним из старых представителей чистого романтизма: в этом, и только в этом, пункте он был столь же радикален, как и любой депутат из крайне левых»***, – писал Даниэль Бернар 28 октября 1872 г., подводя итоги творчества ушедшего писателя. Романтика видели в Т. Готье и Ш. Бодлер, и М. Дю Кан. Однако большинство критиков уже в тот период склонялись к мысли, что, в отличие от эмоциональной манеры романтического письма, стилистика сочинений Готье отличается холодностью, рациональностью4*. О «литературном материализме» писателя, о том, что он предпочитает внимание к форме до такой сте-

---

* По мнению А.В. Карельского, «философский, идейный мир его (Готье. – *Н.П.*) поэзии неширок» (История всемирной литературы. М.: Наука, 1989. Т. 6. С. 174).

** Ср., напр.: «<...> мировосприятие Готье решительно расходится с традициями романтизма. Романтический индивид, сколь бы безысходен ни был его конфликт с обществом, всегда может найти отдохновение в общении с миром природы» (Зенкин 1999: 194). Замечу попутно, что при такой трактовке даже Рене Шатобриана не является романтическим персонажем, поскольку его конфликт с обществом, самим собой, с миром в целом не находит разрешения даже тогда, когда Рене поселяется в девственных лесах Америки и живет среди индейцев. Ни экзотическая природа, ни общение с «естественными людьми» не приносят ему отдохновения.

*** *Bernard D.* Théophile Gautier // Feuilleton de l'union. 1872. 28 octobre.

4* См. отзыв Барбе д'Оревийи: «У него (Готье. – *Н.П.*) нет ни глубокой концепции, ни разнообразия характеров, ни интуиции в оценке ситуаций, ни жизненной и эмоциональной силы» (*Barbey d'Aurevilly J.A.* Le capitaine Fracasse de M. Théophile Gautier. URL: http://www.theophilegautier.fr/up-content/uploads/2010/06/Barbey-d'Aurevilly-sur-Capitaine-Fracasse.pdf. P. 3 (дата обращения: 15.12.2010).

пени, что «человек исчезает в художнике», а чувство становится «вассалом стиля», не раз писали рецензенты – современники Т. Готье*.

Разнобой в оценке принадлежности Т. Готье к романтизму, таким образом, начался уже в XIX веке и не преодолен до сих пор. В различных литературоведческих источниках мы обнаруживаем стремление подчеркнуть расхождение Готье с романтизмом в концепции художника, в трактовке целей и задач литературы, в самóй чрезмерно «материальной» образности его произведений**. Порой исследователи даже предпочитают подыскать для поэтики Т. Готье особое название – например, «пластический реализм» (Lagarde, Michard 1970: 500). Очевидно, для определения места Т. Готье в истории французского романтизма следует пересмотреть некоторые общие оценки его феномена.

Необходимо заметить, что, когда историки литературы размышляют о романтизме как общеевропейском явлении, о его теории и эстетике, французская литература вообще остается более или менее в тени. Ученые указывают, что французские романтики позднее, чем немецкие и английские, приняли на себя само название нового направления, что романтическое движение возникает во Франции позже, чем в Германии и Англии, в значительной степени под влиянием литератур этих стран, поэтому и сам французский романтизм они рассматривают как явление особое, более социально открытое, более «посюстороннее», связанное скорее с политическими, чем с эстетическими коллизиями эпохи. В свете такой концепции Теофиль Готье оказывается дважды маргинальным явлением: во-первых, как *французский* романтик, а во-вторых, как фигура, *не вполне типичная* для французского романтизма в целом, сторонник концепции «искусства для искусства», то есть некоего ответвления от магистрального пути романтизма во Франции. Это особенно касается прозаического наследия писателя***, его романов и новелл, явно не укладывающихся в привычную классификацию прозы 19-го столетия, тем более прозы конца 1830-х – 1860-х годов.

Господствующая в литературоведении вплоть до последнего времени модель французского романтизма как наиболее социального и «земного» (хотя, как верно было замечено известной отечественной исследовательницей, «земное начало» – неотъемлемый компонент любого романтизма, в том числе и немецкого (см.: Чавчанидзе 1971)) порой заслоняет важное свойство всякого романтического сознания – его контрастность, то, что «двоемирие» романтизма строится на непрестанном

---

* См. отзывы Ш. Лабитта (1844 г.), Ф. Дориака (1866 г.) и др., приведенные в изд.: Laubriet 2002: XI–XII.

** Так, по мнению одного из ученых, если у Новалиса «дорога таинственного ведет в глубину», то Готье делает упор на очаровании материальных предметов (см.: Friedrich 1983: 168).

*** Автор предисловия к недавнему изданию прозы Т. Готье, Пьер Лобрийе, сетует, что до последнего времени прозе писателя отказывали в высоких эстетических качествах или признавали их с оговорками (см.: Laubriet 2002: XI). Действительно, оценки Готье-прозаика долго так или иначе повторяли известного историка литературы Г. Лансона, назвавшего писателя «ограниченным гением» («génie limité») с «коротким дыханием», «философский ум и способность к абстракции» которого «недостаточны», а «ужас перед банальностью <...> ведет ко всевозможной эксцентричности» (Lanson 1923: 275, 277).

взаимодействии-борении земного и духовного, социального и мифологического или мистического*, реального и фантастического. В силу недооценки внутренней потребности французской литературы в обращении к фантастике, а также по причине действительно существовавшей открытости французского романтизма иноземным влияниям, историки литературы склонны в меньшей мере рассматривать фантастическую прозу французских романтиков как самостоятельное, своеобразное и центральное явление развивающегося художественного направления. Хрестоматийный ряд крупных французских романтиков (ранних – Шатобриан, Сталь, Констан, зрелых – Ламартин, Гюго, Виньи, Мюссе) не включает ни Ш. Нодье, ни Ж. де Нерваля, ни Т. Готье. Эти писатели расцениваются как маргинальные для характеристики направления и изучаются отдельно, в тех исследованиях, которые специально обращены к анализу фантастической литературы (см.: Castex 1951; Schneider 1964; Baronian 2000). В результате достаточно большая и популярная у читателей часть литературной продукции французских романтиков не принимается в расчет при анализе явления в целом.

Правда, эту несогласованность хрестоматийной картины литературного процесса XIX века и его реальной динамики уже пытался разрешить П. Бенишу, выделив своего рода «потерянное поколение» французских писателей эпохи романтизма, школу «разочарованных» – Ш. Сент-Бёва, Ш. Нодье, А. де Мюссе, Ж. де Нерваля и Т. Готье (см.: Bénichou 1992). Однако разочарование не было присуще только их мироощущению, это общеромантическое свойство, что признает и сам П. Бенишу (см.: Ibid: 500). А главное, перечисленные авторы на самом деле не составляют одного поколения, не характеризуют какой-либо один этап развития романтизма: признаки «разочарования» встречаются в разной форме** на различных стадиях этого движения. Кроме того, варианты и виды романтизма, по верному суждению К. Милле, бесконечно разнообразны (см.: Millet 2007). Уже романтическая концепция творчества не сводится к одной позиции, исследователи выделяют в ней, по крайней мере, два варианта – «мессианство» и «эстетизм» (см.: Lacoste 1995), причем, отличаясь друг от друга, эти варианты не только существуют параллельно, но и порой включаются один в другой. Так, даже в творчестве столь безусловно политизированного писателя***, как В. Гюго, возникает момент «искусства

---

* В недавней монографии К. Милле справедливо подчеркивает одновременное противостояние и *контаминацию* социального и спиритуального в романтической концепции творчества во Франции (см.: Millet 2007: 57).

** Разочарование может выразиться и в байронической «мировой скорби» Шатобрианова Рене, и в скептической меланхолии Адольфа Б. Констана, и в гордом внутреннем одиночестве Коринны Ж. де Сталь, и т. д. Одним из очевидных признаков разочарования второго поколения романтиков оказывается, например, «обращение к ироническому письму» (Thérenty 2007: 79).

*** Следует заметить, попутно, что современные ученые-историки полагают, что романтизм – как во Франции, так и в Европе в целом – существовал не только в сугубо художественной сфере, но и являлся типом политической культуры. Подробно об особенностях «политического романтизма» в Англии, Германии и Франции см.: Nouvelle histoire des idées politiques / Éd. P. Ory. P.: Hachette, 1987; Les cultures politiques en France / Éd. S. Berstein. P.: Seuil, 1999.

для искусства», когда он создает предисловие к сборнику «Осенние листья» (1831), где находит нужным провозгласить отказ от «низких истин» общественной жизни во имя поисков эстетического совершенства поэзии. Очевидно, что так или иначе романтическое воображение устремлялось к сфере идеального, мечты, фантазии.

В самом деле, при том что французский романтизм родился в эпицентре политических и социальных преобразований 19-го столетия, основу его мироощущения составляло общеромантическое представление о том, что чаяния и идеалы личности, ее потенциальные возможности противоречат современному обществу, его отношению к этой личности, его «предложениям» этой личности. Такое мироощущение было своеобразным нравственно-психологическим итогом послереволюционной эпохи. Отсюда неизбежное отталкивание романтика от наличного, повседневного, обывательского существования, порыв за его пределы – в иную эпоху, страну или в область фантастического, театрального, иллюзии и сна. На первый взгляд интерес к истории, то есть к сфере действительного, противостоит тяге в область свободного фантазирования, к игре воображения. Однако даже тогда, когда произведения французских романтиков создавались на основе исторических легенд или современных социально-психологических коллизий, они несли в себе значительный элемент иррационального, символико-мифологического, фантастического. Вот почему кажется несправедливым связывать рождение фантастической прозы романтизма во Франции лишь с иноземным влиянием*. Имманентная сущность романтического видения действительности строится на контрасте – как онтологическом, так и поэтологическом. И потребность в выходе воображения за рамки реальности, во-первых, живет в любом национальном варианте романтизма, а во-вторых, дает о себе знать на всех этапах его развития. Диалектическое отталкивание-притяжение фантастического и реального происходит в романтической поэтике постоянно и неизменно, поскольку романтик одновременно «жаждет охватить и всю реальность, и все воображение» (Lagarde, Michard 1970: 217).

Фантастика вообще тем и отличается от литературы «чудесного» (merveilleux), что она предполагает некое «правдоподобие» невероятного, естественность сверхъестественного, обусловленные особым типом взаимодействия воображаемого и действительного. Это различие между «fantastique» и «merveilleux», еще не формулируя его прямо, ощущал уже Ш. Нодье в знаменитой статье 1830 года «О фантастическом в литературе», опубликованной в «Ревю де Пари»: не случайно он разделял «contes de fées» («волшебные сказки») и «histoires fantastiques» («фантастические истории»). Современные историки фантастической литературы подчеркивают, что область «чудесного» – это «мир мифов и сказок» (Millet, Labbé 2005: 29), языческого и христианского чудесного в их синкретической нетронутости, целостности, разрушенной только в конце 18-го столетия, когда и становится возможным говорить о рождении собственно фантастики. «Чтобы фантастическое возникло и впитало в себя чудесное, необходимо было провести это чудесное через фазу радикально-

* Можно согласиться с Р. Кайуа, обнаруживающим синхронность возникновения фантастических произведений в Германии, Англии и Франции (см.: *Caillois R.* De la féerie à la science-fiction // Anthologie du fantastique. P.: Gallimard, 1958. P. 18).

го отрицания его существования, через повсеместное распространение в обществе разума и религиозного скептицизма, а то и атеизма» (Ibid.: 50). Можно сказать, что фантастическая литература родилась в той тени, которую отбрасывал свет Просвещения*, или, точнее, сама была этой тенью, для возникновения которой понадобился «свет разума».

Рождение фантастического в 1770-е годы связывают, таким образом, с реакцией на Просвещение и с началом романтического движения, когда все отчетливее начинает обозначаться та область мира, которую трудно объяснить до конца с рациональной позиции, но при этом рациональное объяснение полагается естественно необходимым. Как точно пишет А. Паган Лопес, «действие "чудесного" (т. е. сказочного. – *Н.П.*) повествования происходит в химерическом, неправдоподобном мире, тогда как фантастическое повествование развертывается в реальной действительности и лишь потом незаметно соскальзывает к тому тревожному и странному в самой реальности, что порождает удивление» (Pagán López 2005–2006: 200). Но одновременно важная характеристика романтической фантастики, по словам А. Желевой, – «введение интеллектуального критерия при восприятии произведения» (Jeleva 2008: 239). В силу этого в фантастической литературе, на смену недатированности событий и топографической неопределенности, свойственных сказочному повествованию, приходит стремление к по возможности точному указанию, где и когда происходит сюжетное действие.

Кроме того, в проблематику фантастической прозы входят всякого рода научные и околонаучные теории – от давней алхимии до современного спиритизма, в нее вторгаются эзотерика и мистика**. Эти мотивы позволяют писателям представить повседневный мир в необычном ракурсе, показать тревожное, пугающее вторжение необъяснимого, незнакомого в привычную и знакомую действительность. «Фантастика позволяет ощутить самые первичные эмоции – страх и любовь, играя с жизнью и смертью, чтобы писатель и читатель яснее почувствовали свою связь с миром. Это проекция наших тревог и сомнений» (Millet, Labbé 2005: 10).

Разумеется, на практике между сказочным и фантастическим не было резкого и мгновенного разрыва. Первые фантастические сочинения обильно черпают сюжеты из литературных волшебных сказок XVIII века, а также из фольклорных сказок, мифов и легенд. Это касается, в частности, ранних немецких романтиков – Л. Тика, использовавшего арсенал волшебных сказок «о феях» для полемики с Виландом (см.: Морозов 1972: 155), А. Брентано и А. фон Арнима, увлеченных лите-

---

* Показательно название одной из недавних работ о Просвещении – «В тени Просвещения» (см.: À l'ombre des Lumières. Littérature et pensée françaises / Sous la dir. de T. Kolderup et S.-E. Fauskevag. Oslo: Solum Forlag, 2009).

** Об источниках оккультизма в прозе Готье см.: *Richer J.* Études et recherches sur Théophile Gautier prosateur. P.: Nizet, 1981. О присутствии Гюго, Дюма, Нодье, Ж. Санд и Готье на сеансах «магнетизма» см.: *Delic E.* Scepticisme et occultisme: le paranormal à l'oeuvre dans «Spirite» de Théophile Gautier // @nalyses. Revue de critique et de théorie littéraire. Dossiers. Littérature et paranormal. 2008. 12.01. URL: http://www.revue-analyses.org/document.php?id=1245 (дата обращения: 26.05.2010).

ратурной обработкой фольклорных сказочных мотивов и их стилизацией. Более «правдоподобное» фантастическое, произрастающее из обыденного, будет ярче представлено в творчестве Э.-Т.-А. Гофмана. Уже в начале творческого пути Гофман писал одному из друзей:

> Меня чрезвычайно занимает продолжение «фантазий в манере Калло» <...>. Только не думайте <...> о Шехерезаде и «Тысяче и одной ночи». Чалма и турецкие штаны совершенно изгнаны, все должно развернуться в атмосфере фей и чудесного, но вместе с тем дерзко вторгаясь в обычную будничную жизнь и черпая из нее свои образы (Hoffmann 1967: 408).

Историки фантастической литературы, отмечая, что аналога Гофмана во Франции не случилось, одновременно подчеркивают: «Как и в Германии, во Франции романтизм сопровождался расцветом фантастического» (Millet, Labbé 2005: 69), при этом тип фантастического, распространившегося во французской литературе, был очень близок именно к гофмановскому.

Уже первые шаги французской фантастической прозы, которые были сделаны Ш. Нодье, возникли не без влияния Гофмана, с которым писатель познакомился еще до того, как во Франции возникла мода на немецкого романтика. И именно благодаря творчеству Ш. Нодье наметилась «линия раздела» между «чудесным» (воплощенным в «Трильби») и «фантастическим» («Смарра»). Известнейший критик романтической эпохи Ш. Сент-Бёв так определял роль Гофмана в развитии фантастического:

> В то самое время, когда мы устали от сенсаций, когда мы, казалось бы, исчерпали самые обычные способы изображать и волновать <...>, нам предоставилась полная возможность поверить, что движение мира завершилось в искусстве и остается лишь бесконечно трансформировать и варьировать, не открывая ничего нового. Но пришел Гофман и нашел на границах видимого, на горизонте реального универсума некий темный, таинственный и до сих пор не замеченный уголок, в котором помог нам разглядеть особые отблески потустороннего света, странные тени, хрупкие пружины и всю оборотную сторону окружающей природы и человеческих судеб, неожиданную по отношению к тому, к чему мы привыкли. <...> В этом удачном смешении, в этой точной мере чудесного и реального состоит главный секрет Гофмана, заставляющий нас трепетать и волноваться (Sainte-Beuve 1966: 382–383).

Не случайно именно в связи с осмыслением творчества этого немецкого писателя во Франции стало употребляться слово «фантастический»*, а самого Гофмана воспринимали как мифологическую фигуру, «отца фантастики»**.

---

* Подробнее см.: *Bozzetto R.* A contre temps: retour sur quelques «évidences» de la critique en «fantastique» // EREA. 2007. Automne. № 5.2. P. 8–16.

** См.: *Backès J.-L.* Le mot «fantastique» // Vox Poetica. 15.09.2005. URL: http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/fantastique.htm (дата обращения: 20.10.2009).



Ил. 1. Теофиль Готье в возрасте 28 лет



Ил. 2. Теофиль Готье в греческом костюме (1840-е годы)



Ил. 3. Теофиль Готье (*в левом нижнем углу*) в знаменитом красном жилете на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани» (1830)



Ил. 4. Оноре де Бальзак с актером Фредериком Леметром и Теофилем Готье (*слева направо*)



Ил. 5
Один из «литературных обедов» у ресторатора Маньи (ок. 1866 г.): Теофиль Готье, Гюстав Флобер, Сент-Бёв, Александр Дюма-сын, Шарль Эдмон, Жорж Санд (*слева направо*)



Ил. 6. Теофиль Готье времен «битвы за "Эрнани"» носил длинные волосы и красный жилет



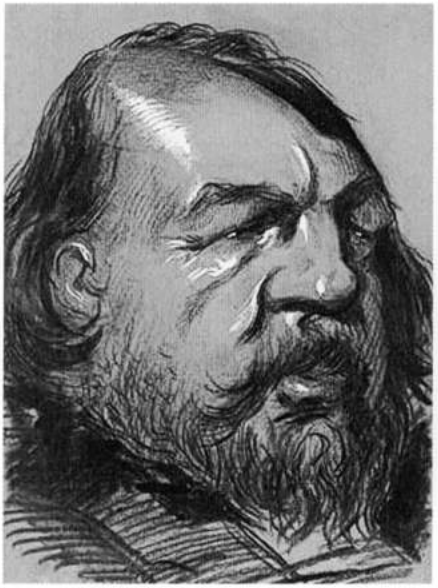
Ил. 7. Портрет Теофиля Готье, выполненный знаменитым скульптором и живописцем Огюстом Клезенже



Ил. 8. Портрет-шарж Теофиля Готье в виде набоба



Ил. 9. Карикатура на Готье с повестью «Спирита»





Ил. 10–11. Портретные зарисовки-шаржи Теофиля Готье, выполненные Надаром



Ил. 12. Карикатура на Теофиля Готье, выполненная Надаром



Ил. 13. Карикатура на Готье — несостоявшегося академика (надпись вверху: «Вечные сожаления»; внизу: «Табак Леванта»)



Ил. 14
Теофиль Готье (ок. 1856 г.)



Ил. 15
Теофиль Готье в русской шубе и шапке (1859 г.)



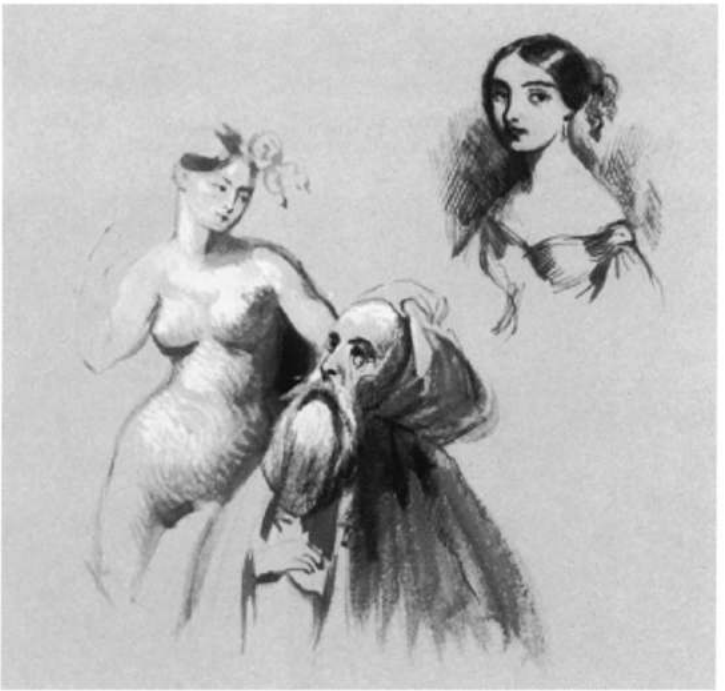
Ил. 16. Портрет Теофиля Готье, выполненный с фотографии Берталя (1867 г.)



Ил. 17. Предположительно портрет Карлотты Гризи в итальянском костюме. Рисунок Теофиля Готье



Ил. 18. Портрет Эрнесты Гризи кисти Теофиля Готье



Ил. 19. Рисунок Теофиля Готье предположительно на сюжет «искушение святого Антония»



Ил. 20. Карлотта Гризи в роли Жизели



Ил. 21. Карлотта Гризи и Жюль Перро. Полька



Ил. 22. Карлотта Гризи в балете «Пери»



Ил. 23. Теофиль Готье с Эрнестой Гризи и дочерьми Жюдит и Эстеллой в Нейи-сюр-Сен (1857 г.)



Ил. 24. Эстелла Готье (1848–1914), младшая дочь Готье



Ил. 25. Жюдит Готье (1845–1917), старшая дочь Готье



Ил. 26. Теофиль Готье на смертном одре



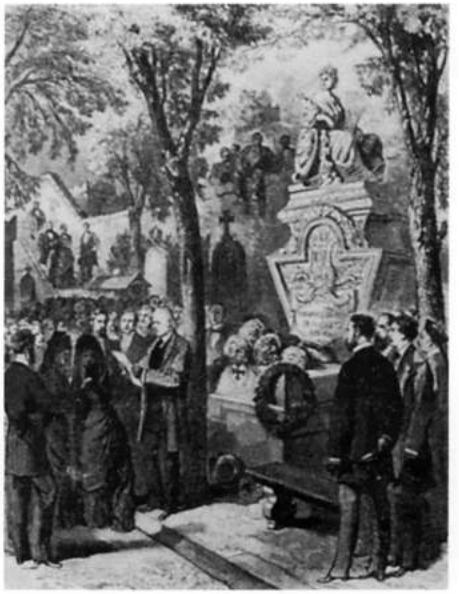
Ил. 27. Кабинет Теофиля Готье, в котором писатель окончил свои дни



Ил. 28. Дом в Нейи-сюр-Сен, где скончался Теофиль Готье



Ил. 29. Две вдовы: Карлотта и Эрнеста Гризи (1870-е годы)



Ил. 30. Открытие надгробного памятника Теофилю Готье 17 июля 1875 г., кладбище Монмартр



Ил. 31. Центральная фигура памятника Теофилю Готье (муза Каллиопа)



Ил. 32. Дочь Теофиля Готье Жюдит Готье, известная французская писательница, первая женщина-академик Гонкуровской академии. 1920-е годы

Меньшая зависимость от фольклорного сказочного, ироничность повествования делает Гофмана весьма близким Т. Готье*. Не случайно еще в 19-летнем возрасте французский писатель восторженно отзывался о Гофмане в своем эссе, фактически первым обратив внимание на автора, до той поры во Франции мало известного. Одну из своих ранних фантастических новелл Т. Готье назвал «Онюфриус, или Удивительные приключения, происшедшие с одним поклонником Гофмана» (1832). В статье «Сказки Гофмана» (1836), констатируя большую, чем в Германии, популярность немецкого писателя во Франции, Готье уточнял, что «чудесное Гофмана – это не чудесное волшебных сказок: он всегда одной ногой стоит в реальном мире <...>»**.

Обращение к фантастической прозе и восхищение Гофманом Т. Готье разделял со многими другими, если не со всеми, французскими романтиками. Подобно романтикам, он испытывал отвращение к обыденному, обывательскому, пошлому буржуазному видению действительности. В его прозе можно обнаружить привычные романтические темы, мотивы, типы героев: роковая случайность, меняющая судьбы людей; жизнь после смерти; мечта как вторая жизнь; ностальгия по прошлому и детству; меланхолические настроения; стремление к поиску идеала; жажда абсолюта; двойничество; любовь и смерть и т. д. Все они на первый взгляд даже позволяют говорить о похожести автора если не на конкретного современника, то на хрестоматийного, канонического «романтика вообще» (другое дело, что такой хрестоматийный «чистый» романтизм на практике никогда не существовал).

Очевидно, однако, что писатель не только воспринимался и воспринимается как особое и в целом отдельное явление литературного «поля» своего времени, но и сам позиционировал себя как «другого», отстоящего от общего потока, движения, школы и т. п., уже потому что не жаждал посредством литературы критиковать политико-социальную реальность, выносить этические суждения, ощущать свое писательство как общественную миссию.

В самом деле, «первые лица» французского романтизма – Шатобриан и Сталь, Ламартин и Гюго, – при всем различии их конкретных политических симпатий, известны как своим прямым участием в социально-политической жизни, так и своим стремлением объединить усилия по эстетическому преобразованию мира. В своем творчестве, даже уходя тематически в прошлое, экзотику, мечты, они поднимали актуальные социально-политические проблемы, хотя формы воплощения и интенсивность политико-социального начала, бесспорно, менялись на разных этапах романтизма.

Аполитичность Т. Готье во многом обусловлена его принадлежностью ко второму поколению романтиков, чье разочарование в общественной жизни усилилось неоднозначными итогами июльской революции 1830 года, победившей Бурбонов, но приведшей на трон буржуазного монарха Луи-Филиппа и тем самым как бы утвердившей прозаическую и пошлую власть денег. Как пишет К. Тома,

---

* Сравнительный анализ новелл Готье и Гофмана см. в изд.: *Fortin J.* Brides of the Fantastic: Gautier's «Le pied de Momie» and Hoffman's «Der Sandmann» // Comparative literature studies. 2004. Vol. 41. № 2. P. 257–275.

** *Gautier T.* Les Contes d'Hoffmann // Chronique de Paris. 1836. 14 août. URL: http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Contes_d'Hoffmann (дата обращения: 15.12.2010).

> <...> писатели, родившиеся в 1810-е годы, такие как Теофиль Готье, Альфред де Мюссе или Жерар де Нерваль <...>, переориентируют представления современной им литературы, разочаровавшись в буржуазном направлении (развития культуры. – *Н.П.*), сразу же взятом новым режимом, противопоставляют посредственности и утилитаризму экстравагантность в одежде и художественную эксцентричность, чтобы обозначить свои особенности и поднять их над прозаической реальностью (Thomas 2004: 27).

М. Крузе, называя «Молодую Францию» первой артистической богемой, подчеркивает ее желание не только творить по-новому, но «сделать из самих себя и собственного существования произведение искусства» (Crouzet 1995: 11). Однако выбор Т. Готье имел, безусловно, и более личные, не только «поколенческие» или социальные*, но и психологические причины.

В 1851 году писатель Арман Баше обратился к Теофилю Готье с просьбой снабдить его некоторыми данными о своей биографии, поскольку задумал написать исследование творчества писателя, к тому времени уже завоевавшего популярность. Откликнувшись на эту просьбу, Т. Готье оставил весьма примечательный документ – собственный «Портрет», впоследствии вошедший в серию «Современных портретов»**, в котором есть важные самооценки, позволяющие понять особенности становления художественных пристрастий писателя. Перед читателем представал молодой человек, личность которого была сформирована книгами, который еще в раннем детстве, на удивление окружающим, уже умел читать и жил в первую очередь чтением, воображением, фантазиями, вплоть до того, что каждой жизненной ситуации, каждому реальному действию стремился найти литературный аналог и придать эстетическую форму – но обязательно оригинальную, как бы «сдвинутую» по отношению к уже известной. Этот юный романтик – и по складу характера, и по своим художественным пристрастиям – осознавал себя не только участником истории романтизма, которую примется писать он сам, но и персонажем этой истории, совершающим демонстративные поступки и комментирующим эти поступки. Такая позиция порождала внутреннюю потребность Т. Готье в иронии, дающей возможность посмеяться не только над своими соратниками, но и над собой.

Ироничность Т. Готье между тем порой рассматривается как синоним некоторой холодности восприятия, столь не свойственной романтизму. Эта холодность, как полагают иные критики и литературоведы, порождает предпочтение писателем поверхностного, предметного, материального внутреннему, духовному, человеческому, создает в его текстах некий дефицит индивидуального переживания, который более всего разводит его с романтизмом. Однако можно обнаружить, что сам Т. Готье дал вполне ясное, хотя и не прямое, опосредованное художественным вымыслом, объяснение особенностей своей манеры в последней романической

---

* М. Вуазен, называя Готье «жертвой революции» 1789 г. (поскольку писатель был из семьи легитимистов), подчеркивает, что 1830 год принес семье писателя окончательное разорение (см.: Voisin 1998: 74).

** См.: Illustration. 1867. 9 mars.

повести «Спирита», которую считают его шедевром и своего рода аллегорией творческого процесса (см.: Chambers 1974: 97). В этой повести, обращаясь к своему возлюбленному-писателю, девушка-дух говорит о его произведениях:

> С первого взгляда Вас можно было бы обвинить в некоторой высокомерной отстраненности, в том, что Вы не видите большой разницы между ящерицей и человеком, между заревом заката и городского пожара; но, приглядевшись, по мимолетным вспышкам, которые Вы тут же гасите, по внезапным отступлениям, которые Вы тут же прерываете, можно угадать глубокую ранимость, сдерживаемую высоким целомудрием, которое не любит выставлять напоказ свои чувства (т. II, с. 493 наст. изд.).

Это сочетание сдержанности и ранимости, как кажется, составляет уникальное свойство поэтики Т. Готье.

Автора «Фортунио», «Милитоны», «Аватары» поэтому особенно трудно вписать в какую-либо классификацию. Он как бы недостаточно однозначно мистичен и откровенно трагичен, чтобы слиться в одном эмоциональном поле с Нервалем, например;* недостаточно патетически страстен и совсем не политизирован, чтобы в нем можно было бы обнаружить верного последователя В. Гюго**, и т. д. При всей энергичности и яркости деятельности Т. Готье в защиту романтиков он никогда не разделял пафосности «больших» романтических писателей в выражении чувств. Он предпочел, вместе с «Молодой Францией», эксцентричную богемность, но в то же время достаточно рано дистанцировался от этой литературной группы, создав пародийно-ироническое описание «младоромантиков» в новеллистическом цикле «Молодая Франция» («Les Jeunes-France», 1833)***. Его признавали своим парнасцы, включавшие стихотворения Т. Готье в собственные антологии, но это свидетельствует не столько о желании *самого писателя* слиться с группой «Парнас», сколько об *их восхищении* его творчеством.

---

* Патрик Не, называя Нерваля и Готье «братьями во романтизме», отмечает у Нерваля гораздо большую степень печали, которую автор способен передать читателю (см.: *Née P.* De Nerval à Gautier, l'empiègement romantique du trajet de l'âme // Romantisme. 2008. № 142. P. 107–123). А К. Дюбуа подчеркивает, что когда Т. Готье хвалил «шизографию» стиля в нервалевской «Аурелии», то одобрял прежде всего умение автора «даже в галлюцинаторных видениях сохранять хладнокровие» (*Dubois C.-G.* Une «sémiophantasie» romantique: Géragrd de Nerval à la recherché du sens perdu // Romantisme. 1979. Vol. 9. № 24. P. 119).

** Разгадке того, как объяснить преданность Готье и Гюго друг другу, вплоть до самой смерти, если один из них, Гюго, – отважный сторонник прогресса, политический изгнанник, а другой, Готье, – эстет, аполитичный созерцатель, посвящена целая монография А. Юберфельд, но нельзя сказать, что решение найдено. См.: *Chamarat-Malandain G.* [Ubersfeld A. Théophile Gautier. P.: Stock, 1992] // Romantisme. 1994. Vol. 24. № 84. P. 118.

*** В уже упоминавшемся «автопортрете» в «Иллюстрасьон» Т. Готье назвал своих соратников по «Молодой Франции» «смешными прециозницами романтизма» (см.: Théophile Gautier par lui-même. L'Illustration. 1867. 9 mars. URL: http://www.theophilegautier.fr/biographie-theophile-gautier-par-lui-meme (дата обращения: 20.12.2010)). Одновременно автор «Молодой Франции» насмешливо дистанцируется не только от героев, но и от читателей книги, на что обращает внимание К. Роле (см.: Raulet 2001: 99).

Рассматривать Т. Готье как каноническую фигуру течения «искусства для искусства» также оказывается затруднительно. Известно, что знаменитая формула «l'art pour l'art» родилась еще в 1818 году в лекции Виктора Кузена, прочитанной в Сорбонне*. В 1835 году, когда автор «Мадемуазель де Мопен» опубликовал знаменитое предисловие, он не использовал это выражение, но отражал нападки критики, обвинявшей романтическую литературу в отсутствии нравственной пользы – причем нападкам этим подвергались также В. Гюго, А. Дюма и др. (см.: Harvey 2007: 58–65). Обращаясь к анализу этого предисловия Т. Готье (которое литературоведы обычно считают манифестом «искусства для искусства»), П. Тортонезе совершенно справедливо указывает на то, что оно было написано как полемический ответ обвинителям писателя (критикам, осудившим его эссе о Ф. Вийоне за безнравственность) и тем самым взяло на себя задачи памфлета**, функция которого не столько излагать художественную стратегию писателя, сколько высмеивать эстетические идеи противников. Именно тогда для Готье было важно подчеркнуть оппозицию пользы и красоты («все, что полезно, – уродливо»)***, отказаться не только от морализма, но и от социальной миссии художника. Но уже 27 декабря 1836 года в «Пресс» он заявлял:

> Лучше иметь красивые ходики, которые чему-то служат, чем плохую статую, которая не служит ничему. Боясь прослыть ремесленниками, художники ничем не занимаются; и я спрашиваю, для чего нужны скульпторы и художники, если не для того, чтобы обустраивать наши жилища, делать нам столовое серебро, мебель, писать наши портреты и расписывать наши дома. Конечно, я бы предпочел свободное и одинокое искусство, искусство, подобно Нарциссу, влюбленное в себя самого. Но как бы ни был очарователен Нарцисс, он умер, склонившись в печали над своим отражением в источнике, изойдя слезами, напрасно простирая к нему свои исхудавшие беломраморные руки. И если искусство будет продолжать изолировать себя от всего подобно печальному подростку, боюсь, его постигнет та же участь (цит. по: Harvey 2007: 200).

И дело не только в этом, далеко не единичном, высказывании писателя, а в общей парадоксальности его «эластичного метода» (Smith 1917: 663), в принципиальной эстетической неслиянности Т. Готье ни с какой последовательной общей линией – даже линией «искусства для искусства». Ведь если буквальная, в духе буржуазного морализма и прагматизма, полезность искусства писателю, безусловно, претит, то он тем не менее мог бы, подобно своему герою Фортунио, сказать, что «от роз больше пользы, чем от капусты» (т. I, с. 92 наст. изд.), защищая парадоксальную с точки зрения здравого смысла необходимость «бесполезной» красоты.

---

* В. Кузен был в тот период близок романтикам, до 1830 г. входил в редакцию журнала «Глоб», но гораздо последовательнее отстаивал позицию эстета. В статье в «Обозрении Старого и Нового Света» 1845 г. он снова напишет: «Нужно понимать и любить мораль для морали, религию для религии, искусство для искусства» (цит. по: Cassagne, Oster 1997: 69).

** См.: *Tortonese P.* La préface de Mademoiselle de Maupin, entre manifeste et pamphlet // Préfaces et manifestes 2009: 116–118.

*** *Gautier T.* Mademoiselle de Maupin. P.: Charpentier, 1880. P. 22.

По-видимому, следует согласиться с Р. Буржуа, предлагающим заменить по отношению к Готье выражение «искусства *для* искусства» другим – «искусство *как* (курсив мой. – *Н.П.*) искусство» (Bourgeois 1974: 21): для писателя искусство – это одновременно и материал, и способ воплощения красоты, это главный предмет восхищения и уважения, не способный предать или разочаровать, как это случается с созданиями природы, с реальностью, и Готье надеется передать свое восхищение не узкому кругу «the happy few»* (как о том мечтал Стендаль), а многим читателям («да, такое вот амбициозное множественное число» (т. I, с. 9 наст. изд.), – не без иронии по отношению к себе замечает он в предисловии к «Фортунио»). Уточнить эту формулу особенно важно для понимания его прозы, поскольку, как верно указала Ц. Харви, «герметизм, ассоциирующийся со знаменитой формулой <...> препятствует пониманию романического творчества Готье. Если она (формула. – *Н.П.*) соответствует поэзии "Эмалей и камей" и парнасцев, то богатство романов Готье, более одухотворенных и критических, она уничтожает <...>» (Harvey 2007: 65).

Таким образом, Готье – фигура парадоксальная, он до самого конца был поклонником Гюго, видевшим в романтизме «либерализм в литературе», и писателем, мало озабоченным политическими коллизиями эпохи; он был ветераном романтического движения, историком «битв за романтизм» – и предшественником, даже духовным вдохновителем поколения писателей 1850-х годов – Бодлера, Банвиля, Флобера, Леконта де Лиля (см.: Bénichou 1992: 495). Парадоксы эстетической позиции Т. Готье проступают и в том, что, ощущая себя чуждым всякой социальной ангажированности, он стал одним из первых, кто поддержал художественную практику Г. Курбе и начал серьезный и заинтересованный разговор о реализме (подробнее см.: Stocks 2006). К тому же Готье – тот романтик, ирония которого распространяется и на самого себя, и на романтизм как таковой**.

Вопрос о мере причастности французского романтизма к феномену романтической иронии достаточно широко дискутировался в литературоведении. Далеко не сразу ученые пришли к выводу, наиболее четко выраженному Р. Буржуа: романтическая ирония не имеет ни пространственных, ни национальных границ, она проявляет себя и во французской литературе, хотя и не является постоянным предметом теоретического осмысления, как в немецком романтизме (см.: Bourgeois 1974). В той или иной степени к романтической иронии, с точки зрения французского исследователя, причастны А. де Мюссе и А. де Виньи, Ж. Жанен и П. Борель, но к последовательным писателям-«ироникам» исследователь относит прежде всего четырех авторов: Ж. де Нерваля, Ш. Нодье, Э. Кине и Т. Готье***.

---

* «немногих счастливцев» (*англ.*).

** О насмешке над романтическими стереотипами и над собственной манерой письма в пародийных предисловиях Т. Готье к «Молодой Франции» и «Фортунио» см.: *Sangsue D.* Préfaces parodiques // Préfaces et manifestes 2009: 19–35.

*** Однако Р. Буржуа принимал во внимание только ранние сочинения Т. Готье. Особенности иронии писателя исследовала также в своей монографии Ф. Кур-Перез (см.: Court-Perez 1998), но, как верно заметила Ц. Харви, эту исследовательницу интересовали прежде всего стилистические приемы иронии.

Иронизируя, Т. Готье воплощает поэтику сдержанного в передаче аффектов письма — но письма, отнюдь не бесстрастного, бесчувственного* или чересчур «материального», погруженного в «чистое», лишенное переживаний описание. Его романические повести лишний раз демонстрируют, что романтизм рождается не только из чувствительного сентиментализма, готической аффектации, но и из эротизма, изящной фривольности и свободы иронико-меланхолического рококо, и из классицистических «поисков абсолюта» — идеала совершенного искусства, воплощающего Прекрасное. Все эти тенденции, накладываясь друг на друга и противоборствуя, сливаясь и расходясь, порождают новое качество, открывают новые художественные горизонты романтической литературы в ее многообразии и динамике.

Жанр романической повести в творчестве Т. Готье

Жанровая специфика прозы Т. Готье представляет собой довольно трудную проблему, по-разному решавшуюся как самим автором, так и литературоведами различных поколений.

Нельзя не заметить, что в целом проза писателя большей частью оценивается литературоведами достаточно сдержанно. Его считают неглубоким мыслителем, путая отсутствие пафоса с отсутствием глубины;** в нем видят приверженца только формальной красоты, доставляющей не пользу, а эстетическое удовольствие; наконец, его воспринимают как художника слова, занимающегося публикацией литературно-критических и художественных «фельетонов» только по финансовым причинам. Еще у современников оценки одаренности Готье-прозаика резко различались. С точки зрения Ш. Бодлера, Готье был просто создан для романа: «<...> постоянная, невольная, поскольку естественная, забота о красоте и живописности должна была подталкивать автора к жанру романа, подходящего *его* темпераменту»***. А Барбе д'Оревийи, напротив, был убежден, что Готье, будучи талантливым поэтом, не обладает даром романиста: Готье радикально не способен на роман идеи, роман сердца, роман человеческой натуры и нравов[4*].

Предлагаемые в данном двухтомнике романические повести Т. Готье, как кажется, дают представление о художественной оригинальности, единстве и эволюции его прозы от конца 1830-х до середины 1860-х годов — то есть о том периоде творчества писателя, который изучен очень мало (см.: Harvey 2007: 16). Из всех

---

* По мнению М. Вуазена, впечатление бесстрастности в большой степени возникает из-за своего рода стилистической «стыдливости» Т. Готье, выполняющей функцию самоцензуры (см.: Voisin 1998: 163).

** См., напр., суждение Г. Брюне о том, что Готье стремится превратить литературу в «искусство поверхности, по собственной воле отказавшееся от погружения в глубину реальности, чтобы удовлетвориться фиксацией внешней стороны мира» (*Brunet G.* Théophile Gautier // Mercure de France. 1922. 15 octobre. P. 317).

*** *Baudelaire Ch.* L'Art romantique. VIII. Théophile Gautier // La bibliothèque libre. URL: http://fr.wikisource.org/wiki/Theophile_Gautier_(L'Art_romantique) (дата обращения: 09.06.2010).

4* См.: *Barbey d'Aurevilly J.A.* Op. cit.

прозаических сочинений Готье до сих пор наибольшей популярностью пользуются два его романа – «Мадемуазель де Мопен» и «Капитан Фракасс». Причем популярность их имеет достаточно разную природу. Первое произведение обычно фигурирует в теоретических исследованиях, поскольку предисловие к «Мадемуазель де Мопен», которое обычно считают (и, как говорилось выше, считают слишком прямолинейно) манифестом «искусства для искусства», обязательно учитывается в рефлексии о парнасской эстетике, в размышлениях об эстетической эволюции принципов романтизма в поздний период его истории и т. п. Что же касается «Капитана Фракасса», то этот историко-приключенческий роман привлекает как раз не теоретиков, а историков жанра, исследующих его эволюцию на протяжении 19-го столетия, интересующихся сравнением поэтики барочного и романтического романов (поскольку Т. Готье использует в своем произведении фабулу «Комического романа» П. Скаррона), и просто читателей, увлекающихся приключенческой литературой. Если же обратиться к довольно многочисленному кругу произведений, которые сам автор определял то как «conte» (повесть), то как «nouvelle» (новелла), то как «roman» (роман), можно убедиться, что они больше включены в анализ французской фантастической или экзотической прозы в целом, чем в исследование жанровых модификаций этой прозы внутри творчества Т. Готье. И тому есть определенные причины.

Они заключаются не только в расплывчатости терминологии, зыбкости границ между «roman», «conte» и «nouvelle», даже не в изменчивости и вариативности авторских жанровых определений*. Дело в том, что именно произведения, которые мы сочли нужным обозначить как «романические повести», оказываются наиболее тесно связанными с внутренним конфликтом самой эстетики Т. Готье на фоне развития романтической прозы.

Романтическая проза во Франции – едва ли не самое яркое проявление поэтики этого национального варианта романтизма в литературе. При всем значении, которое имели романтическая поэзия и драматургия (особенно в период «битвы за романтизм»), именно проза оказалась в центре важных новаторских изменений и потеснила другие виды литературной деятельности писателей-романтиков**.

Проза романтиков, безусловно, была чрезвычайно разнообразна в своих жанровых модификациях, однако литературоведы справедливо выделяют в этом разнообразии две доминирующие линии: одна из них связана с развитием исторического романа, и шире – романа, обращенного к реальности – прошлой или совре-

---

* Например, в 1863 г., готовя к выходу сборник своих «Romans et contes», Т. Готье включает в него некоторые произведения, которые раньше назвал «nouvelles» – в частности, «Омфалу» и «Арию Марселлу». «Аватара» и «Джеттатура» первоначально были названы «contes», а затем – «romans». В своем «Портрете» 1867 г. писатель перечисляет «дюжину романов», которые он создал, а именно «Молодую Францию», «Мадемуазель де Мопен», «Фортунио», «Невинных распутников», «Милитону», «Красотку Дженни», «Жана и Жанетту», «Аватару», «Джеттатуру», «Роман о мумии», «Спириту» и «Капитана Фракасса».

** По наблюдению М. Конде, даже у Нерваля и Готье «поэтическая деятельность была второстепенной и уступила место литературе путешествий или повестям, охотно печатавшимся в журналах» (Condé 1986: 33).

менной, не копирующего или повторяющего ее, но опирающегося на нее в своем воображении; другая – с развитием прозы, демонстративно отворачивающейся от реальности, сублимирующей ее.

Образцом второго вида прозы признана фантастическая новелла или повесть (conte). Впрочем, фантастическую литературу некоторые литературоведы склонны считать не просто жанром или группой жанров, а особым литературным родом или даже типом повествования (см.: Bellemin-Noël 1973: 38). Это в значительной мере справедливо, если учесть широкий спектр фантастических произведений, написанных в стихах и прозе, нарративных и драматических. Но все же если речь идет о романтизме, то здесь наибольшее развитие получила фантастическая новелла, хотя в ней выразилась, как полагает К. Милле, «опора романтиков на романный жанр» (Millet 2007: 69).

Действительно, роман – и в качестве «ключевого слова» для эстетического самоопределения романтиков (вспомним, что Новалис трактовал понятие «романтизм» как производное от романа, который «должен стать сплошной поэзией» (Новалис 1980: 100), а Ф. Шлегель определял роман как «романтическую книгу» (Шлегель 1983: 404)), и в силу внутренних свойств своей поэтики (антидогматизм, свобода, способность вбирать в себя различные другие, в том числе и внехудожественные, жанровые формы) – абсолютно отвечал внутренней потребности романтизма запечатлеть «жизнь, принявшую форму книги» (Новалис 1980: 137), однако эта «творимая жизнь» (Н.Я. Берковский) не отождествлялась у них с реалистической «действительностью»*. Тем самым романтический роман выступал не в качестве «буржуазной эпопеи» (по Гегелю), а в виде мощного источника творческой свободы, что и послужило процессу романизации других жанров романтизма, о чем писал еще М.М. Бахтин (см.: Бахтин 1975: 450, 451). Именно роман рассматривался романтиками как главный жанр не только современной, но и будущей литературы (см.: Vaillant 2005: 38).

Вот почему романтический роман – как «личный» (*фр.* «roman personnel» или Ich-Roman, в терминологии немецкого литературоведения), так и исторический – весьма дифференцированно подходил к предшествующей романной традиции, в первую очередь впитывая опыт готической прозы, одобрительно отзываясь о тех или иных образах и мотивах психологической романистики (например, о «Манон Леско» Прево), но отталкиваясь от тех произведений, которые ставили своей целью описание нравов, социального быта, того, что воспринималось романтиками как проза жизни, между тем как, с их точки зрения, этому жанру предназначено быть не менее поэтическим, чем собственно поэзия. И в основе романного конфликта у романтиков лежало не этико-психологическое столкновение индивидуализированных социальных типов, как в реализме, а некая глубинная философско-символическая коллизия между человеком и миром, человеком и Богом, личностью и человечеством. С этой точки зрения для поэтики романтического романа был важен не объем текста, а его напряженность и глубина. Так, «Рене», не слишком

---

* О возникновении и значении этого понятия в XIX в. см.: *Макушинский А.* Современный «образ мира»: «действительность» // Вопросы философии. 2002. № 6.

пространное произведение Шатобриана, «сахема французского романтизма»*, по словам Т. Готье, являет собой пример если не романа, то романической повести, а не новеллы в строгом жанровом смысле. И в этом прослеживается определенное сходство между «Рене» и романическими повестями Т. Готье.

Основной сюжетный конфликт в них связан с драматическим столкновением человеческих возможностей, желаний и — случая, выступающего проявлением рока. Даже тогда, когда в основу положен по видимости «легкий», новеллистически-анекдотический сюжет (как в «Жане и Жанетте», где обоюдная игра героев-аристократов в простых смертных обернулась, по существу, встречей предназначенных друг другу людей, чья душевная близость прошла бы незамеченной в водовороте светских развлечений), он воссоздает не тот или иной эпизод, а концентрированный сгусток судьбы персонажей, их существования от рождения до смерти (как в «Романе о мумии», где внешне случайное, эпизодическое участие в раскопках и последующая влюбленность Ивендэйла в мумию — естественное следствие его романтической натуры, не способной найти идеала в современной действительности), — который таким образом оборачивается подлинно романным конфликтом.

Мастер романтической новеллы во Франции, безусловно, Ш. Нодье. Его заслуга в развитии новеллистической поэтики связана не в последнюю очередь с тем, что он сохранял в своем творчестве некую «чистоту» жанра. В этом аспекте даже Т. Готье-новеллист** был «неверным последователем» Ш. Нодье, поскольку, придя вслед за ним в романтическую новеллистическую прозу, постарался стать не вторым, а иным. Инаковость писателя связана с несколькими факторами.

Во-первых, он поэтологически объединил исторический, современный и фантастический типы новеллы, выстраивая повествование по одному образцу, используя одни и те же приемы, стирая тематические и проблематические различия, непрестанно совершая переходы от воображаемого к реальности и обратно. Например, в «Царе Кандавле» отсутствие прямо фантастических элементов восполняется эскизом мистических предзнаменований, когда Гигесу начинает казаться, что портреты предков хмурятся и гневаются, а в «Джеттатуре», напротив, мистическое воздействие «дурного глаза» героя может быть истолковано как цепь вполне реальных событий-совпадений. Далеко не всегда вводя фантастические элементы в прямом смысле слова, иногда заменяя их фантасмагорическими, экзотическими***, Готье непременно обращался — прямо или косвенно — к темам театра, драматур-

---

* Однако же при всем своем пиетете к «сахему» Готье, в отличие от Гюго, никогда не мечтал стать «Шатобрианом — или ничем», а герой его «Мадемуазель де Мопен» Альбер кажется одному из литературоведов пародией на Рене (см.: Roulin 1999: 33).

** Среди прозаических сочинений Готье, безусловно, большое место занимают и собственно новеллы — «Омфала», «Золотая цепь», «Ночь Клеопатры», «Ножка мумии», «Арриа Марселла» и др.

*** Так, в трех романических повестях — «Невинные распутники», «Двое на двое» и «Жан и Жанетта» (см. наст. изд.) — нет сверхъестественных персонажей или событий, но есть причудливо-фантазийная и искусно построенная «театральная» интрига. А в «Джеттатуре» фантастическое воссоздано не как вторгнувшееся в реальность таинственно-необычайное событие, а как «длящееся в своей неопределенности действие, поддерживающее равновесие между странным и фантастическим» (Bellati 2009: 32).

гии, живописи или скульптуры, иными словами, – к теме искусства как воплощения Красоты. Современный литературовед вообще делит всю художественную прозу Готье на ту, что связана с темой изобразительных искусств (сюда, в частности, он относит «Фортунио», «Царя Кандавла» и «Роман о мумии»), и ту, которая развивает тему театра (в эту группу он включает «Аватару», «Джеттатуру», «Спириту») (см.: Lund 1983: 241).

Однако такое разделение весьма условно. Ведь, с одной стороны, театральность проявляется практически во всех романических повестях Т. Готье, причем самым разнообразным образом: в форме интертекстуальных вкраплений, введения театрализованных диалогов в повествование, описанием той или иной пьесы, наконец, в виде рефлексии о сущности театра*. С другой – наиболее популярным сравнением для персонажей любого прозаического текста Т. Готье является сравнение с произведением искусства – картиной, скульптурой, а наиболее продуктивным мифом, так или иначе реализованным в сюжете романической повести – миф о Пигмалионе**. А кроме того, декоративность описаний в прозе Т. Готье сводит воедино театральное и живописное. И наконец, сама театральность с точки зрения романтической поэтики выступает как форма фантастического***. В результате все новеллы и романические повести Готье обладают сходной поэтикой «фантазийного романтизма» (Thomas 2004: 27), как обозначила это течение К. Тома.

Во-вторых, он продолжает фантастическую и экзотическую традицию в романической прозе, развивая не столько новеллистическое начало, сколько именно романное, даже тогда, когда его тексты не слишком велики по объему. В более пространных текстах, какими являются публикуемые в данном двухтомнике произведения, эта романность проявляется особенно явно. Как пишет И. Уссе, «первый парадокс новелл Готье проистекает из того, что автор идет поперек эстетике новеллы, которая была принята в первой половине XIX века» (Houssais 2007: 176): вместо экономии текста, сосредоточенности на событийности, на наррации Т. Готье превращает повествование в некий предлог для развернутых живописных описаний, действуя как «писатель-художник». В каждой из представленных здесь рома-

---

* Эта классификация предложена М. Эйгельдингером (см.: Eigeldinger 1982: 142). Исследовав тридцать прозаических сочинений Т. Готье, М. Эйгельдингер не обнаружил театральных референций только в «Милитоне» (из всех произведений, представленных в наст. изд.) (см.: Eigeldinger 1982: 150). Однако, по мнению С.Н. Зенкина, в «Милитоне» театральное начало как раз выразительно проявляет себя в эпилоге (см.: Зенкин 1999: 184).

** Об этом см.: *Geisler-Szmulevicz A.* Le mythe de Pygmalion au XIX siècle: pour une approche de la coalescence des mythes. P.: Honoré Champion, 1999; *Ubersfeld A.* Théophile Gautier ou le regard de Pygmalion // Romantisme. 1989. № 66. А. Юберфельд при этом отмечает «обратную логику» Готье: его герои желают не оживления статуи или картины, как Пигмалион, а, напротив, жаждут, чтобы женщина навсегда осталась бы столь же прекрасной, как в описываемый момент, т. е. превратилась бы в неподвластный времени предмет искусства (см.: *Ubersfeld A.* Op. cit. P. 51).

*** Об аналогии между театральностью и фантастичностью у Готье см.: Roulin 1999: 40. Паоло Тортонезе приводит следующие слова Готье : «<...> есть театр, который я люблю. Это фантастический, экстравагантный, невозможный театр» (Tortonese 2003: 398).

нических повестей такие описания составляют едва ли не бóльшую часть текста, можно даже сказать, что сюжеты их целиком вырастают из описания, *построенного* как словесная картина. Такое действие было сознательным, говоря точнее – программным для автора. Не случайно он писал: «Цель искусства, которую слишком прочно забыли в наши дни, – не точное воспроизведение природы, но сотворение с помощью красок, которые она нам предлагает, микрокосма, где могли бы рождаться и жить мечты <...>» (цит по: Voisin 1980a: 338). При этом далеко не любое описание привлекает Т. Готье: он рассматривает его как способ создания прекрасного, как запечатление красоты – а не житейских подробностей или будничной достоверности. Оттого «гипертрофированные описания» его романических повестей – «иные, чем у реалиста Бальзака» (David-Weill 1989: 28). Не случайно в «Милитоне», например, он пропускает описание «рядового буржуазного ужина» (т. I, с. 310 наст. изд.) и отказывается детально изображать городскую площадь – уродливое прибежище бедноты, заметив, что «у Рабле или Бальзака перечисление этого мусора заняло бы по меньшей мере четыре страницы» (т. I, с. 316 наст. изд.). Живописность в духе Э. Сю ему явно не по вкусу, о чем он сам сообщает в одной из своих критических статей*, да и сам Э. Сю не является для Готье примером романиста со вкусом. Точно так же он не разделяет общего восхищения романтиков В. Скоттом, полагая его слишком моралистическим сочинителем (см. об этом: Harvey 2007: 213). Он создает собственный вариант романной прозы, целью которой является она сама – как полет художественного воображения, творческой фантазии.

Фантазия Т. Готье питается широчайшим спектром мировой культуры. Ассоциации, сравнения, к которым он прибегает, отсылают читателя к античной мифологии (Фортунио и Мюзидора, Жан и Жанетта сравниваются с Амуром и Психеей, Феба – с Дианой) и скульптуре (лорд Ивендэйл похож на восковую копию с Мелеагра или Антиноя, а Милитона в минуту отчаяния – на статую Девы Скорбящей), к живописи Ренессанса, XVII, XVIII веков (взгляд Вольмеранжа напоминает «некоторых мечтательных и зловещих ангелов Альбрехта Дюрера» (т. I, с. 418 наст. изд.); портрет коммодора воссоздан «в духе сатирических гравюр Хогарта» (т. II, с. 200 наст. изд.), а тетушка Альдонса списана с ведьмы в изображении Гойи) и, наконец, к литературе – прошлой и современной (госпожа д'Эмберкур напоминает героиню романа Диккенса; Розетта – Манон Леско, Мюзидора и Алисия Уорд – ангела из стихов Томаса Мура и т. п.).

Уподобление персонажей уже имеющимся произведениям искусства, словесного текста в целом – скульптуре или картине демонстрирует отсутствие у Т. Готье стремления к референции с реальностью (см.: Lund 1983: 241). И как бы ни были «гиперреалистично» детальны его описания (ср., напр.: «Теплые коричневатые тона у корней иссиня-черных волос создают плавный переход к роскошно-белому лбу; легкий пушок на висках смягчает четкость сурово изогнутых бровей; нежная полная шея отсвечивает золотистыми тонами – яркими внизу и бледными под во-

* Точнее, в цикле статей под одним названием «История морского флота у Эжена Сю». Первые две статьи были напечатаны в «Кроник де Пари» 28 февраля и 3 марта 1836 г., а третья – в «Мюзе де фамий» в июле 1824 г. См.: Gautier 1904: 26–27.

лосами, а спереди на этой шее вырисовываются три очаровательные складочки – *ожерелье* (курсив мой. – *Н.П.*) Венеры» (т. I, с. 19 наст. изд.)), они не только являются результатом работы воображения, но и самой своей сверхподробностью демонстрируют нереалистическую фантазийность. Не случайно известная исследовательница творчества Т. Готье Мартина Лаво, определяя стиль писателя, говорит о присущей ему «мании дескриптивности», характеризующейся к тому же изобилием «интертекстуальных и живописных референций» (Lavaud 2003: 446).

Тексты Т. Готье – наглядное воплощение романтического синтеза искусств, а сам он, безусловно, «живописец слова» (Sainte-Beuve 1945: 330), как его именовали, вслед за Ш. Сент-Бёвом, многие литературоведы*. Именно романическая проза, с ее бóльшим пространством текста, чем в классической новелле, стала для Т. Готье реализацией взаимосвязи и взаимоперехода живописного, скульптурного и словесного и способом достижения художественной полноты**.

«Материальность» портретов, интерьеров, одежд, предметов искусства и т. п. у Готье неоднократно подчеркивалась исследователями, и в этом они видели существенное отличие его поэтики от романтизма. Однако парадоксальным образом материальность часто оборачивается у писателя призрачностью, фантомностью***. Как справедливо заметил М. Вуазен, в тексте Готье «точность описания, вместо того чтобы погрузить в реальность, может окунуть в кошмар» (Voisin 1980b: 172). Тесная связь любви и смерти (ср. влюбленность Ивендэйла в мумию, Ги де Маливера – в дух умершей девушки, Милитоны – в покончившего с собой Хуанчо), красоты и ужаса (ср. убийственно-прекрасный взгляд Ниссии, красивое и отталкивающее лицо д'Аспремона, совершенный и грозный облик фараона), реальности предметов и их иллюзорности (ср. подробно выписанный интерьер-обманку жилища «гризетки»-маркизы, дом-дворец Фортунио) придает внешней материальности описаний у Т. Готье вполне романтическую двойственность. Эта «материальность» парадоксальным образом не нуждается в буквальном осязании предмета, фактическом, прямом знакомстве с ним: не случайно писатель создает «Роман о мумии», еще не побывав в Египте[4]*. Для его воображения оказывается довольно «в ночи глядеть эстампы», удивительно зримо запечатлевая в действительности неведомые автору дали.

Помимо живописности, пейзажи Т. Готье обладают необходимой для романтической диалектики реального-воображаемого точностью. Так, среди мест, где происходят события романических новелл Т. Готье, мы обнаруживаем и привычные Францию, Англию, Италию, Испанию, и экзотические Египет, Индию, впрочем,

---

* О том, что Готье – «живописец и поэт одновременно», см.: Jasinski 1929: 29.

** *Fournou M.* Représentations de l'artiste et problématique de la créativité dans un récit fantastique de Théophile Gautier: Onuphrius, entre autoréférentialité et théorisation de la création fantastique // Loxias. Doctoriales II. URL: http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=122 (дата обращения: 12.10.2009).

*** По наблюдениям Натали Давид-Вейл, всякий раз у Готье женщина из плоти и крови превращается в фантом (см.: David-Weill 1989: 113).

4* Тем самым ориентализм Готье, как и других писателей – его современников, является «способом познать себя» (Hawthorne 1993: 719).

все же реально существующие на карте мира, в отличие от какого-нибудь сказочного Джиннистана. Как романтик, Т. Готье стремится передать колорит и места действия и характеров своих героев – французов, англичан, испанцев, немцев, египтян, иудеев и др., постоянно соотнося экзотические пейзажи, привычки, типы с теми, к которым привыкли его воображаемые читатели – современные французы: «Не удивляйтесь, что столь благовоспитанная особа, как донья Фелисиана, так запросто обращается к молодому человеку; в Испании принято называть друг друга по имени, данному при крещении, уже после непродолжительного периода знакомства» («Милитона», т. I, с. 289 наст. изд); «Современные люди из-за ужасной обуви, столь же нелепой, как китайские туфли, уже забыли, что такое ступня» («Царь Кандавл», т. I, с. 181 наст. изд.); «Если вы сочтете недостатком столь пылкое пристрастие к кораллам, вспомните, что мы в Неаполе» («Джеттатура», т. II, с. 200 наст. изд.) и т. п.

Кроме того, автор достаточно конкретен и в определении времени действия. «Царь Кандавл» описывает то, что произошло «через пятьсот лет после Троянской войны и за семьсот пятнадцать лет до нашей эры» (т. I, с. 153 наст. изд.), «Милитона» начинается фразой «В июне 184... года, в понедельник <...>» (т. I, с. 285 наст. изд.), а если «Невинные распутники» и используют «сказочный зачин» – то есть слово «однажды», то достаточно быстро время действия уточняется как прямым называнием года («В тысяча восемьсот сорок пятом году вашей матушке явно было больше семнадцати» (т. I, с. 214 наст. изд.)), так и посредством упоминания точных реалий – в частности, круга чтения героини (Ламартин, Байрон, Гюго и др.), и даже введения в повествование реальных исторических лиц (Ла Гимар и Сартин в «Жане и Жанетте», Наполеон в «Двое на двое»). Романические повести Готье, за небольшим исключением, описывают события современности. В противном случае, как в «Царе Кандавле» и «Жане и Жанетте», где речь идет соответственно об античности и о XVIII веке, а также в центральной части «Романа о мумии», где публикуется «древняя рукопись» о временах египетских фараонов, автор так или иначе перебрасывает своеобразный мост к сегодняшней истории – прежде всего выступая как рассказчик, живущий в XIX веке и обращающийся к современным читателям. В то же время все повести проникнуты чувством исторического, которое, как считает И. Уссэ, является для Готье-прозаика главным источником вдохновения (Houssais 2007: 175), поскольку именно романтически-ностальгическое ощущение духа истории позволяет писателю выразить свое неприятие уродливо-прозаического прогресса (как выразился герой «Романа о мумии» лорд Ивендэйл, «возможно <...> наша цивилизация, которую мы считаем кульминацией <...> на самом деле лишь глубокий упадок» (т. II, с. 306 наст. изд.)). Все эти romans-contes так или иначе связаны с фантастическим («Фортунио», «Джеттатура», «Аватара»), мистическим («Роман о мумии», «Спирита»), экзотическим («Царь Кандавл», «Милитона», «Двое на двое») или необыкновенным, экстравагантным, причудливым («Невинные распутники», «Жан и Жанетта»), непрестанно демонстрируя переходы одной модальности в другую. По мысли М. Фурну, фантастические сочинения Т. Готье не могут существовать без «приведения к пропасти» («mise en abîme»)* своего собственного существования и своей функции, и это, думается, одно из дока-

* *Fournou M.* Op. cit.

зательств не только связи писателя с романтической традицией, но и с жанровыми свойствами романной прозы.

Конечно, не только эти признаки — свидетельство включенности рассматриваемых произведений Т. Готье в поле романтической и в поле романной литературы. Прежде всего, эта связь проступает в постоянно ведущейся в каждом из них полемике с устоявшейся традицией романа, в жанровой саморефлексии. Во всех этих текстах важнейшую роль играет рассказчик — превосходящий своим знанием, вкусом, способностью к размышлению и читателей, и фабульных персонажей. Рассказчик не столько ведет диалог с читателем, пытаясь предугадать его желания, реакцию (хотя в повестях можно изредка встретить опережающие читательскую реакцию возражения — например: «Вы скажете, что Октаву все надоело <...> но любые ваши предположения будут далеки от истины» («Аватара», т. II, с. 115 наст. изд.)), сколько ставит в известность читателя о тех или иных своих действиях: «<...> прежде чем начать следующую главу или сесть в экипаж, скажем несколько слов о наряде Мюзидоры» («Фортунио», т. I, с. 50 наст. изд.); «На правах повествователя мы проникнем за эту дверь раньше нашего героя» («Двое на двое», т. I, с. 400 наст. изд.); «Мы не станем оскорблять наших догадливых читателей многословными объяснениями» («Невинные распутники», с. 280 наст. изд.) и т. п. Автор то принимает позу всезнающего и всемогущего рассказчика («Пользуясь вполне дозволительной повествователю вездесущностью, последуем за быстрым экипажем Милитоны» (т. I, с. 308 наст. изд.)), то утверждает свою беспомощность («Как, черт возьми, узнать, чем занимается Фортунио? И почему мы должны быть более осведомлены на сей счет, чем вы?» (т. I, с. 77 наст. изд.)), стараясь не застывать в определенной нарративной позиции, делать ее до прихотливости свободной.

Та же свобода определяет и приемы изображения персонажей. С одной стороны, Т. Готье обращается к уже существующему литературному арсеналу: еще Ш. Бодлер замечал по поводу «Царя «Кандавла», что «трудно выбрать более изъезженную тему, более предсказуемую драму»*. Жюстина из повести «Жан и Жанетта» названа писателем горничной, многократно изображенной в комедиях Мариво (см. т. II, с. 35 наст. изд.), Бальтазар Шербонно, персонаж «Аватары», как будто «сбежал из фантастической сказки Гофмана» (т. II, с. 116 наст. изд.), Алисия Уорд в «Джеттатуре» напоминает автору «непорочных героинь Шекспира» (т. II, с. 246 наст. изд.) — и этот ряд авторских сравнений собственных персонажей с литературными героями прошлого можно продолжать; герои «Спириты» носят имена, почерпнутые из книг Стендаля (Ги де Маливер — Октав де Маливер в «Арманс») и В. Скотта (лорд Ивендэйл — «Пуритане»), де Савиль — имя героя «Аватары» взято из новеллы Ж. де Нерваля «Граф Сен-Жермен». Рассуждения рассказчика апеллируют к общепринятым мнениям («Социальные условности легче забываются, когда ничто наносное не напоминает о них, и добродетель, которая в городе остается неприступной, смягчается в полях» (т. II, с. 72 наст. изд.)) либо к известным литературным персонажам («Мир полон Грандисонов, которые ведут себя, как Ловеласы» (т. I, с. 220 наст. изд.)).

---

* *Baudelaire Ch.* Op. cit.

В то же время Т. Готье не упускает случая иронически обыграть знакомую тему, дистанцироваться от привычных форм ее воплощения: от идеального персонажа («мы создали такого совершенного со всех точек зрения героя, что <...> не можем им воспользоваться» («Фортунио», т. I, с. 102 наст. изд.)), от сказочных приключений («Даже самый отъявленный скептик не заподозрил бы в этом старичке переодетого принца, то был самый настоящий метельщик» («Невинные распутники», т. I, с. 216 наст. изд.)), от «романических» чувств («столь щепетильная верность встречается разве что в романах» («Милитона», т. I, с. 292 наст. изд.)) и т. д.

Вследствие этого важным признаком романности повестей Т. Готье становится их «автореференциальность», как именует подобное свойство М. Фурну: они не только представляют собой рассказанную историю, но и одновременно становятся размышлением о процессе сочинения этой истории, репрезентацией самого акта литературного творчества*.

Подобное размышление о тексте внутри самого текста, взгляд на собственное письмо как бы со стороны создает ироническую дистанцию, весьма характерную для прозы Т. Готье. Именно область романного и романического творчества явилась для писателя благодатной сферой манифестации романтической иронии.

Областью наибольшего проявления иронии во французском романтизме Ц. Харви справедливо называет роман: этому способствует «природная» открытость и свобода жанра (см.: Harvey 2007: 94). Причем роман в 1830–1860-е годы переживает бурное развитие на поле общественной жизни Франции, активизируется как его литературная, так и социальная роль, что не в последнюю очередь обеспечивается возможностью для писателей публиковать свои сочинения в периодике. По мнению М. Прево, именно в рамках деятельности романистов-фельетонистов рождалась новая концепция культуры 19-го столетия (см.: Prévost 2002: 31). Среди авторов, причастных к практике романов-фельетонов, следует назвать и Т. Готье.

«Искусство для искусства» — в массы: своеобразие эстетизма романической прозы Т. Готье

М.-Е. Теренти верно считает важной приметой творчества второго поколения романтиков во Франции ироническое письмо, при этом преимущественным «дискурсивным полем иронии» (Thérenty 2007: 79) она называет газетный фельетон. Т. Готье был, безусловно, одним из самых активных создателей фельетонов во французской литературе позапрошлого столетия, не случайно его назначают ответственным за раздел фельетонов («directeur du feuilleton») в «Пресс» и он работает в этой должности с 1839 по 1855 г. (подробнее см.: Kearns 2007: 22). В то же время обычно журналистскую деятельность писателя расценивают как вынужденную, вызванную преимущественно житейскими причинами, видят в нем «мученика журналистики». В какой-то степени такой точке зрения способствуют высказывания самого

* См.: *Fournou M.* Op. cit.

Т. Готье, время от времени сетовавшего, что журналистикой он губит свой талант, но вынужден зарабатывать на жизнь*.

Однако стоит заметить, что «радикальный скептицизм» (Brix 1999: 93) и ироничность писателя вполне могут быть обращены и на его программные идеи, тем более что часто они противоречат друг другу**. Кроме того, журналистский период творчества Т. Готье распространяется практически на весь его путь в литературе и в жизни, а потому его нельзя сбросить со счетов: с 1836 по 1855 год писатель сотрудничает с «Пресс», с 1855 до 1872 года – с «Монитёр юниверсель», публикуя в этих печатных органах не только свои статьи (общее число которых достигает 1200), но и художественную прозу, а если подсчитать общее количество газет и журналов, в которых Готье время от времени печатался, их окажется три десятка.

Сегодня общепризнано, что массовая литература в ее современном виде сложилась в 19-м столетии. И романтизм сыграл в этом далеко не последнюю роль, поскольку был особого рода эстетической революцией, демократическому пафосу обновления которой, по справедливому замечанию Ж. Лакоста, естественно, грозило потенциально возможное тиражирование, клиширование, превращение в китч (см.: Lacoste 1995: 108–110). Реализация этой потенции романтизма стала особенно ощутимой начиная с середины 1830-х годов, когда во французской литературе, в ее составе и функции очень многое изменилось, когда получила развитие публикация художественных сочинений, прежде всего романов, в периодической печати, когда возник параллельно с «высоким» романтизмом так называемый «народный романтизм» (см.: Allen 1981), активно проявивший себя в жанре романа-фельетона. О распространенности и важности этого жанра, активно развивавшегося с 1836 по 1914 год, писал Жан-Ив Малерб:

> Роман-фельетон позволял установить повседневное нарративное общение автора и читателя <...>. Из такого общения <...> рождался манихейский и мелодраматический сюжет с персонажами-типажами, носителями добра или зла, невинности или преступления»***.

Газетный подвал (традиционное место фельетонов и романов-фельетонов) или приложение к газете были «двояким» пространством: эстетическим «низом» (в силу своей

---

* Лишь совсем недавно журналистская и журнальная деятельность Т. Готье стала оцениваться как объект серьезного научного интереса, когда в 2007 г. в университете Монпелье состоялась международная конференция «Теофиль Готье и стесненность журналистикой». А в анонсе готовящегося номера «Этюд литерэр», посвященного юбилею Т. Готье, будущих авторов статей просят обратить внимание на актуальность его творчества как романиста, поэта, так и критика (см.: Bicentenaire de Théophile Gautier. Appel à contribution. URL: http://www.fabula.org/actualites/article32551.php (дата обращения: 21.10 2010).

** Например, в статье в «Пресс» от 20 марта 1848 г. «элитарный» Готье выступает сторонником «массового», и притом нравоучительного, искусства: «Нужно дать массам чувство искусства <...>, у красоты есть чрезвычайная нравственная сила» (цит. по: Bénichou 1992: 570).

*** *Malerbe J.-Y.* La lecture du roman-feuilleton français du XIX siècle et son importance politique et culturelle. 2005. URL: http://www.ruk.dk/isek/shriftseller/XVI-SRK-Pub/FLIT/FLIT02-Malherbe (дата обращения: 15.12.2010).

преимущественно развлекательной функции) и одновременно «верхом», предоставлявшим возможности для свободного творчества (см.: Thérenty 2007: 79). Последнее обстоятельство, безусловно, сильнее привлекало романтиков, но не избавляло их от нападок критики, сетовавшей одновременно на идейную «пустоту» такой литературы, «чистую» развлекательность* и на «вредные идеи», которые она несет, за безнравственность, потакание низменным инстинктам и дурному вкусу публики**. Безусловно, роман-фельетон изначально возникал как литература для «массы», то есть для консьержек, кухарок, извозчиков, мелких служащих и т. п. — в общем, для демократической городской среды, поскольку напрямую был связан с появлением дешевой, доступной этой среде прессы. Однако в действительности романы-фельетоны читали люди самых разных слоев — в том числе и достаточно элитарных***. Так, известный издатель и редактор нескольких журналов, Ипполит де Вильмесан, признавался в своих мемуарах: «Я имел привычку читать выпуск романа-фельетона, отходя ко сну; и если мне хоть раз не доставался очередной кусок, я поднимался среди ночи, чтобы раздобыть его во что бы то ни стало»[4*].

Стоит обратить внимание на то, каким термином определяли эту литературу критики и читатели того периода. Два основных варианта — «littérature industrielle» и «littérature populaire» — выделяли главные свойства феномена: его включенность в рыночный обмен (книга становится объектом купли-продажи) и его особого вида популярность и «народность» (когда в рамках письменной культуры, до сих пор отстоящей от фольклорно-лубочной, основанной на устной традиции, возникает культура вторичного, «городского фольклора») (см.: Raulet 2001: 98–99). Писатели этого периода, по словам К. Роле, начинают «подозревать, что не все их читатели способны к критическому чтению» (Ibid: 100), но именно такие читатели и составляют большинство тех, кто имеет дело с современной литературой.

---

* Представление о паралитературе как о «совокупности продукции без утилитарного назначения» сохранилось отчасти и сегодня, поскольку так определяет ее известный словарь Робера (Le Robert: dictionnaire de la langue fransaise. URL: http://www.lerobert.com/espace-numerique/enligne (дата обращения: 25.12.2010).

** Приведу лишь один из многочисленных отзывов: «<...> торопливая и авантюрная импровизация <...> заменила серьезную, продуманную работу <...> количество заменило качество; <...> романы нравов, которые так любили читать наши отцы и которые сочиняли Лесаж, Филдинг, аббат Прево, исполненные столь точных наблюдений и столь тщательной и строгой заботы о стиле <...> уступили место роману-фельетону» (*Cuvillier-Fleury M.* Eugène Sue. Le Morne-au Diable ou L'aventurier (Journal des débats. 14 juin 1842) // La querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse et politique, un débat précurseur (1836–1848) / Textes réunis et présentés par L. Dumasy. Grenoble: Ellug, 1999. P. 68). В указанной антологии подробно проанализированы и представлены газетно-журнальными материалами споры критики о романе-фельетоне.

*** Это обстоятельство определило своего рода лабильность жанра романа-фельетона, которая, как кажется, еще недостаточно исследована современным литературоведением, хотя интерес элиты к популярной литературе изредка отмечают, в частности, тот же Ж.-И. Малерб (см.: *Malerbe J.-Y.* Op. cit.).

4* Цит. по: *De Viveiros G.* Du roman-feuilleton au roman-feuileté. Alexandre Dumas ou le triomphe du fast-food littéraire. URL: http://www.brown.edu/Reseach/Equinoxes/journal/Issue%207/eqx7_deviveiros.html (дата обращения: 07.09.2009).

Изменения затрагивают и самих писателей. Второе поколение романтиков, к которому принадлежал Т. Готье, родилось уже после Французской революции и, как уточняет М. Конде, «не посещало, подобно старшим, салоны высшего общества» (Condé 1986: 33). Оно было частью той буржуазной среды, которой себя противопоставляло. Поколение литераторов, которое родилось вместе с эпохой романтизма, таким образом, жило среди буржуа, испытывало воздействие буржуазных кругов, становилось вольным или невольным участником прогресса и индустриализации (см.: Cassagne, Oster 1997: 95), вело борьбу отчасти с самим собой, ощущая противоречие между эстетической и рыночной ценностью собственных сочинений. Одним из признаков понимания (если не приятия) сложившегося положения вещей можно считать, в частности, тот факт, что, даже отстаивая автономию словесного искусства от прагматической морали, Готье (как и Бодлер) использовал не старое «благородное» понятие «поэзия» (подобно Шатобриану или Гюго), а современный термин «литература», содержащий представление об участии художественных созданий словесности в культурном обмене, в рыночных отношениях (см.: Goebel 1983: 74).

Кроме того, многое изменилось в этот период и конкретно в области прозаических жанров. Задача эстетической реабилитации романа (которая выходила на первый план в XVII веке, когда жанру подыскивали достойные античные образцы, изобретали правила), как и стремление к его этической реабилитации в XVIII веке (когда этот жанр насыщали морализацией, доказывая возможность благотворного воздействия романа на нравы), уступила в этот период место задаче доказать общественную пользу романа, которая заключалась в том, что обществу дают его правдивое описание, — во всяком случае, эта мысль была основным писательским аргументом защиты романа от нападок критики.

А. Пажес полагает, что роман-фельетон был воплощением медийного компромисса между литературой и политикой*. А по мнению Ц. Харви (см.: Harvey 2007), роман XIX века находил свое этико-эстетическое оправдание в социальной или политической миссии, именно поэтому сблизился с журналистикой, стал публиковаться в газетах и журналах. Писатели считали необходимым для себя участвовать в истории. В политическом плане связи между социальным и литературным аспектами были так важны, что позднее, в 1850-е годы, разочарование от падения Второй республики (в результате захвата власти Наполеоном III) соединилось с некоторым разочарованием в романе как жанре.

Как вписать в это направление произведения Т. Готье, подчеркнуто «бесполезные», направленные на удовольствие и развлечение, насыщенные разнообразными фантазийными элементами, отнюдь не стремящиеся к социальной проблемности?

Чрезвычайно важно еще раз подчеркнуть в связи с этим, что позиция Т. Готье никогда не была однозначной, а главное — статичной. Не случайно в одном из писем Г. Флоберу он утверждал: «Хранить рукописи впрок — акт безумия; едва книга закончена, ее необходимо публиковать и продавать как можно дороже» (цит. по:

---

* *Pagès A.* La lysogénèse du texte romanesque // Site officiel de l'Institut des textes et manuscrits modernes. URL: http://www.item.ens.fr/index.php?id=27132 (дата обращения: 23.12.2010).

Cassagne, Oster 1997: 96). Более того, и романтизм, и теория «искусства для искусства» в целом отнюдь не были однозначными. Романтическая позиция, полемически направленная против строгой эстетической иерархии, против «мертвого» академического вкуса, естественно тяготела к широкому приятию «всего, что *есть в природе* (курсив мой. – *Н.П.*)»*, дабы воплотить это «все» в искусстве, и появление «популярного романтизма» было в определенном смысле необходимым итогом развития этого принципа. Следует заметить и другое: романтики, борясь против универсальных правил, защищая индивидуальность, вольно или невольно создавали свои правила, разрушая прежнюю риторику, творили собственную, стремясь к новизне и оригинальности, так или иначе повторялись, порождали свои собственные клише**.

Что же касается школы «искусства для искусства», то ее питали не только идеи немецких философов романтической поры, но и академическая традиция эстетики, отнюдь не противостоящая «буржуазности», изначально столь чуждой романтизму. А. Кассань и Д. Остер обращают внимание на чрезвычайно важный аспект проблемы взаимоотношения литературы «искусства для искусства» с буржуазным потребителем искусства в середине XIX века: по их мнению, французские буржуа, воспользовавшиеся плодами революции 1830 года, были крайне заинтересованы в сохранении общественного статуса-кво. Романтическая идея свободы искусства, в том числе и от политических баталий, тем более идея «искусства для искусства», встречалась благосклонно, поскольку воспринималась как форма нейтралитета искусства в общественно-политической реальности, а значит, как способ упрочения этого статуса (см.: Cassagne, Oster 1997: 67–69).

С этой точки зрения любопытно проследить, как в сюжете одной из романических повестей Т. Готье – «Двое на двое» реализуется нелюбовь писателя к политике. Герои этой повести, по молодости лет дав «поспешные обеты» о своем участии в политическом заговоре, тем самым оказываются виновны в разрушении собственной личной жизни, ничего не изменив в политике: судьба оказывается сильнее их намерений («Не пытайся переписать книгу судеб, не наши руки держат нити событий» (т. I, с. 501 наст. изд.), – делает вывод сэр Артур Сидни), а случай – способом проявления ее неумолимости. Даже разделяемое с ранними романтиками восхищение Наполеоном не отменяет у Готье неверия в «наполеоновскую легенду», выразившегося в стремлении показать императора не просто в изгнании, а смертельно больным и вскоре умершим («О великая державная душа! Что видела ты в эти первые часы бессмертия?» (т. I, с. 500 наст. изд.)), похожим на «статую бога» (там же) трупом. Это лишний раз подчеркивает зависимость даже великого человека от судьбы – убеждение, вполне отвечающее обывательскому «человек предполагает, а Бог располагает». Тем самым Готье принимает как норму то, что «собственные чувства» героев повести – Бенедикта и Эдит – волновали их куда сильнее, «чем влияние этой смерти на судьбу человечества» (т. I, с. 502 наст. изд.). В любом

* «Все, что есть в природе, есть и в искусстве» (Гюго 1980: 452).

** Любопытно, что даже сам переносный смысл типографского термина «клише» родился в эпоху романтизма. См.: *Amossy R., Rosen E.* Les Discours du cliché. P.: CEDES/CDU, 1982. P. 6; *Castillo-Durante D.* Du stéréotype a la littérature. Montréal: XYZ, 1994. P. 23.

случае, насмешливо-презрительное отношение Т. Готье к политике, очевидное предпочтение им частной жизни парадоксальным образом вполне вписывалось в обыденные представления широкого читателя, каким и был читатель романов-фельетонов.

Писатель отчетливо осознавал, что публика, знакомящаяся с его романическими повестями, включает в себя и «сытых буржуа» («Фортунио»), и «отчаянных романтиков» («Невинные распутники»), и «светских людей» («Спирита»), и «сентиментальных горничных» («Фортунио») – в общем, самых разных «современных людей» («Царь Кандавл»). Но парадоксальным образом опыт широкого читателя был важен для Т. Готье, поскольку писатель очевидно ставил перед собой задачу иронического дистанцирования от традиционной популярной романистики, игры романическими приемами. Само по себе игровое начало, ирония и даже жанровая пародийность не выводит романы из круга популярной литературы. «"Популярный" текст, – замечает Ж. Мигоцци, – как любой другой текст представляет собой словесную ткань, организованную в соответствии с желанием быть широко читаемым, но, кроме того, имеющую эстетические принципы, включающие этот текст в динамику развития литературности»*. Как верно замечено одним из ученых, стратегии популярного романа были весьма разнообразны, и ироническое дистанцирование от изображаемого, пародирование предшествующих романических клише вполне вписывалось в его поэтику (см.: Jackel 1994: 206). И потому, вероятно, в текстах романной прозы Готье возникает порой парадоксальное переплетение элитарности и массовости. Так, в «Фортунио» он насмехается над читательскими ожиданиями «горничных» («предупреждаем сентиментальных горничных: в нашей книге они не найдут сетований по поводу горькой разлуки, утраты иллюзий, сердечной тоски и прочих претенциозных пошлостей» (т. I, с. 10 наст. изд.)), но парадоксальным образом их удовлетворяет (Мюзидора тоскует по исчезнувшему Фортунио и в конце концов умирает, узнав о его смерти). В «Невинных распутниках» он как будто намеревается разрушить романическое клише тайного свидания в церкви («приходилось признать простой и лишенный всякой романтики факт, что незнакомка в манто и вуали приехала в коляске с опущенными шторками только затем, чтобы помолиться» (т. I, с. 216 наст. изд.)), но в результате использует другое, не менее романическое – девушка получает в молитвеннике оставленное для нее послание, и т. п. Иронизируя над установившейся модой на предисловия, Готье настаивает на их бесполезности, но делает это в *тексте предисловия* к «Фортунио». В данном случае даже жанровая рефлексия соединяется с массовостью – ведь героя этой повести справедливо называют предшественником Фантомаса (см.: Fouchereau 1972: 74).

В то же время именно ироническая рефлексия над жанром романа-фельетона выводит произведения Т. Готье за рамки обычной популярной литературы и приближает к романной прозе «высокого» романтизма, поскольку превращает текст его романических повестей в своего рода поиски художественного абсолюта, где основным конфликтом оказывается столкновение практики «легкой увлекательной

* См.: Migozzi 2005: 118. См. также монографию Д. Куэнья: *Couégnas D.* Introduction à la paralittérature. P.: Seuil, 1992.

истории» и эстетического идеала совершенной красоты*, а основной темой – тема творчества в той или иной его форме. Не случайно главные персонажи повестей – большей частью люди, влюбленные в искусство, творческие натуры: так своеобразно преломляется у Т. Готье характерный для раннего, особенно немецкого, романтизма тип «романа о художнике».

Ни «мессианство» классического романтизма, ни элитарность «искусства для искусства» в конечном счете «не поймали» Т. Готье в сети своих канонов. Но и «сетей» журнализма он также избежал, хотя не чуждался приемов популярной литературы и писал для читателя-современника.

Эта установка не на отдаленный читательский успех у потомков, а на современного читателя, безусловно, была порождена опытом работы в периодике. Именно журналистика была нацелена на немедленное знакомство читателя с актуальными событиями, и в роман-фельетон проникла, по выражению М.-Т. Теренти, «эстетика актуальности»**.

Можно проследить, как со временем у писателя и одновременно журналиста возрастает стремление к точности терминов и фактов, хотя на эту свою особенность он указывает уже в «Фортунио»: «Следуя нашему обыкновению, мы с большой любовью, тщательно и добросовестно срисовывали с натуры апартаменты, мебель, наряды, женщин и лошадей <...>» (т. I, с. 10 наст. изд.). И дело не в том, что Готье неравнодушен к вещам вообще, нет, его восхищает только то, к чему приложил руки и душу Мастер, начиная от великих монументов и кончая идеальным английским газоном, то есть прекрасное рукотворное в окружающей человека действительности. И наоборот, он отшатывается от всего безликого, штампованного, ходульного (шторы в гостиной Фелисианы с прискорбной точностью воспроизводят картинки, которые публикуют парижские обойщики, за графиней д'Эмберкур водится один грешок: она заказывает себе наряды прямо из журналов мод и т. п.). Отсутствие вкуса для Готье так же неприемлемо, как отсутствие любознательности (в гостиной госпожи д'Эмберкур стоит ваза с редким экзотическим цветком, а «она даже не поинтересовалась, как он называется» (т. II, с. 455 наст. изд.)). При этом сам он не скажет «морская лебёдка» (термин, от которого поморщится любой моряк), он непременно напишет «кабестан» и укажет, в каком порядке и какие паруса поднимали матросы, какие именно кружева носила Фелисиана, какие статуэтки украшали комнату Милитоны, и т. д. Он легко оперирует архитектурными и прочими техническими терминами, не боясь отпугнуть рядового читателя, потому что ему они понятны и органичны. И при этом Готье никого не «клеймит» позором, не осуждает во всеуслышание, лишь в последнюю очередь он заботится о демонстрации дурных нравов, чтобы вызвать к ним отвращение***, или стремится привить своим читателям хороший вкус. Потому что прежде всего актуальной для

---

* Ц. Харви полагает поэтому, что Т. Готье каждый раз выступает в своих романах-фельетонах в двойной функции – автора и зрителя (см.: Harvey 2007: 196).

** Thérenty 2003: 473; см. также 475 et al. (Ch. VII: Esthétique de l'actualité).

*** П. Бенишу прав, замечая, что «критика буржуа была средством его воспитания» (Bénichou 1992: 500).

него является не этико-социальная, а имагинативная функция романа-фельетона*. Главное – «открывать читателям двери мечты» (Houssais 2007: 177), одновременно и непрестанно размышляя над тем, как это сделать.

Таким образом, Т. Готье, публикуя произведения в обстановке социальной и политической активности его современников, намеренно отказывается занять определенную общественную позицию, предлагает рассматривать роман как воображаемую репрезентацию, как игру романтического ирониста. Оставаясь в тени политических споров, партий, школ, он занимается только свободным искусством**, в противовес «социальным романтикам», ищущим пользы, настаивает на бесполезности своего творчества, на том, что оно – вольная игра воображения.

Безусловно, игра – важный компонент поэтики Готье-прозаика. Но несправедливо видеть в игровом начале проявление легковесности писателя, его антиметафизичности и поверхностности***. Эта игра, во-первых, двухуровневая, поскольку писатель играет не только с образно-стилистическими клише, но и с самими привычными приемами литературной игры; во-вторых, двойная по функции, поскольку является не только реализацией игровой поэтики, но и формой теоретической рефлексии, размышлением литературы о самой себе, о собственных возможностях и границах; в-третьих – это, как представляется, способ самосохранения романтизма, способ его развития в эпоху распространения нового типа творчества и нового способа чтения, иными словами – в период расцвета популярной литературы.

Так, играя, открывает двери из действительности в мечту, из реального в воображаемое писатель-художник Теофиль Готье и «переигрывает» многих своих серьезных и злободневных, но забытых современников, и, как представляется, в этом состоит секрет его непреходящего обаяния. Ведь и сегодня, спустя полтора столетия, вряд ли найдется читатель, который останется равнодушным к ироничному «Фортунио», страстной «Милитоне», экзотическому «Роману о мумии», пугающе-таинственной «Джеттатуре», меланхоличной «Аватаре» и поэтичной, очень личной и в то же время глубокой «Спирите».

---

* О том, что одной из функций романа-фельетона, помимо коммерческой, развлекательной и педагогической (обучающей и поучающей), была функция имагинативная – стремление разбудить воображение читателя, см.: *Malerbe J.-Y.* Op. cit.

** М. Вуазен с удивлением констатировал в свое время: «<...> всякий раз, когда Готье чувствует себя свободным, он выбирает бегство в мечту, в неощутимое» (Voisin 1980b: 171).

*** Как верно уточняет Кармен Фернандес Санчес, речь может идти о маске бесстрастности, легкости и беззаботности, с помощью которой «устанавливается ироническая дистанция между автором и произведением» (Fernández Sánchez 1998: 222).

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий перевод осуществлен по изд.: *Gautier T.* Romans, contes et nouvelles: En 2 vol. / P.: Gallimard, 2002. (Bibliothèque de la Pléiade).

При подготовке примечаний, помимо указ. изд., использовалось изд.: *Gautier T.* Contes et récits fantastiques / Théophile Gautier; préface et dossier critique d'Alain Buisine. P.: Librairie Générale Française, 1990.

•

ФОРТУНИО

Рукопись повести не сохранилась. Впервые опубл. под названием «Эльдорадо» («L'Eldorado») в виде литературного приложения к газете «Le Figaro» (28 мая – 24 июня 1837 г.) – 18 фельетонов по 8 страниц с продолжающейся пагинацией (что давало возможность сброшюровать выпуски в книгу). Отдельным изданием опубл. в том же году в книжной серии «Publications de Figaro». В мае 1838 г. опубл. под названием «Фортунио» («Fortunio») с авторским предисловием. Окончательная авторская редакция представлена в изд.: *Gautier T.* Fortunio // Nouvelles. P.: Charpentier, 1845.

На русском языке публикуется впервые.

В наст. изд. использованы иллюстрации художника Феликса Августина Милиуса (Felix Augustin Milius; 1843–1894).

Предисловие

[1] *Считается, что читатели... быстро пролистывают их, не читая...* – В эпоху романтизма распространение моды на предисловия было связано с ростом литературной саморефлексии. Предисловия часто выполняли функцию эстетических манифестов, содержали в себе художественную программу отдельного писателя или целого направления (см., напр., В. Гюго «Предисловие к *Кромвелю*», 1827). Особенно многочисленными они стали в 1830-е годы: «<...> мы живем в эпоху предисловий <...>», – заявлял Э. Пуайя, предваряя написанный им совместно с Ш. Менетрийе роман «Калибан» (1833). Однако еще в 1824 г. молодой О. де Бальзак (1799–1850)

сочинил ироническую заметку «О привычке к предисловиям», где содержался текст некоего «договора» между писателями и читателями, состоящего из двух пунктов: «1. Постоянна привычка авторов помещать в начале всех своих книг предисловия. 2. Постоянна привычка публики не читать их, считая пустыми и неуместными» (*Balzac H. de.* Œuvres diverses: En 2 vol. P.: Gallimard, 1990. T. 1. P. 110). Некоторые писатели создавали пародийные предисловия, как Ш. Нодье (1780—1844) в новелле «Фея крошек» (1832) или Готье в романе «Молодая Франция» (1834), некоторые — прятали их в тексте своих произведений. Второй вариант предпочли, в частности, Бальзак в «Отце Горио» (1835) и Ф. Сулье (1800—1847) в романах «Гипнотизер» (1834) и «Мемуары дьявола» (1838). Пародийное предисловие к «Фортунио» — одновременно и дань Готье литературной моде, и игра с ней: автор высмеивает избитые приемы, клишированные выражения, принятые в предисловиях и т. п. (подробнее об этом см.: *Sangsue D.* Préfaces parodiques // Préfaces et manifestes du XIX siècle / Textes réunis par J.-L. Diaz. Lille: Septentrion, 2009. P. 19—35. (Revue des sciences humaines. № 3 (295)).

[2] *...придумать правила написания сочинений гораздо легче, чем писать по этим правилам... мы предпочтем не вспоминать об Аристотеле, Горации и Шлегеле...* — Готье иронически ставит в один ряд трех основоположников европейской литературной теории, из которых первые два, истолкованные по-своему, были непререкаемыми авторитетами для классицистов, извлекавших из их сочинений универсальные и вечные законы и правила творчества, а последний был одним из зачинателей романтизма, отвергавшего правила, культивировавшего творческую индивидуальность с «безусловным произволом» художника (*Шлегель Ф.* Критические фрагменты. 37. *Пер. Ю.Н. Попова*). Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ, создатель «Поэтики» (ок. 335 до н. э.), ставшей образцом нормативной теории классицизма. Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.) — древнеримский поэт, автор стихотворного «Послания к Пизонам», более известного как «Искусство поэзии» (18 до н. э.) и также воспринимавшегося классицистами как образец поэтологических норм. Фридрих Шлегель (1772—1829) — немецкий философ, писатель, критик, глава йенского кружка романтиков, создатель теории романтизма. Вместе со старшим братом Августом Вильгельмом Шлегелем (1767—1845) издавал журнал «Атенеум» (1798—1800), где печатал свои «Критические фрагменты», заложившие основы романтической эстетики. Автор литературно-критических статей («Разговор о поэзии», 1800), курса лекций «История древней и новой литературы» (1813—1815), трудов «Философия жизни» (1828), «Философия истории» (1829), «Философия языка и слова» (1830).

[3] *...архитектонизм, эстетизм, эзотеризм и все прочие термины с величественным «-изм» на конце...* — Готье перечисляет здесь понятия разного рода: архитектонизм в приложении к художественному стилю обозначает стройность и четкость последнего; эстетизм — термин более широкого значения, предполагающий не только обостренное чувство прекрасного, стремление превратить самоё жизнь в произведение искусства, но и преобладание эстетических ценностей над этическими; эзотеризм — сокровенное учение, основанное на убеждении в существовании тайных, внутренних, доступных только посвященным знаний. Несомненно, Готье был причастен ко всем этим тенденциям в своем творчестве, но вместе с тем

писатель играет с каждой из них, не желая глубокомысленно теоретизировать на их счет. Как и в предыдущем случае (см. примеч. 2), Готье предпочитает художественную практику «сухой» теории.

[4] *Фельетон* (от фр. feuille — лист, листок). — Во времена Готье так называлась небольшая заметка или статья, помещавшаяся в «подвале» газеты и посвященная, как правило, обзору или критическому анализу театральных, живописных, музыкальных или литературных произведений. Это понятие возникло и получило распространение в нач. XIX в., а сам Готье был автором многих газетных фельетонов.

[5] *«Гофолия»* — поздняя трагедия Жана Расина (1639—1699), написанная драматургом по просьбе маркизы де Ментенон (1635—1719) и впервые поставленная в девичьем пансионе монастыря Сен-Сир в 1691 г. В основу трагедии положен ветхозаветный сюжет о жене иудейского царя Иорама Гофолии, пытавшейся вернуть в Иерусалим идолопоклонство, и возведении на престол Иоаса (см.: 4 Цар. 11).

[6] *...лучше быть богатым, чем бедным, как бы ни старался господин Казимир Бонжур... убедить нас в противном...* — Казимир Бонжур (1795—1856) — французский комедиограф, сочетавший в своих пьесах водевильную стилистику и комедийную интригу с моральным поучением (напр., «Деньги, или Нравы нашего века», 1826). В 1836 г., т. е. незадолго до создания «Фортунио», Бонжур опубликовал роман со знаменательным названием «Горе богача и счастье бедняка». В романе писатель пытался убедить читателей в преимуществе простого и скромного образа жизни.

[7] *...«Пусть ветошь, все равно — ценна мне эта ветошь». — Мольер.* Ученые женщины. Д. II, явл. 7. *Пер. М. Тумповской.* Реплика принадлежит Кризалю — персонажу комедии (пост. 1672, опубл. 1673) Мольера (наст. имя Ж.-Б. Полклен; 1622—1673), с позиций житейского «здравого смысла» отвергающему всякую ученость как бесполезное мудрствование.

[8] *Мюзидора* (от греч. — дарованная музами). — Куртизанки часто выбирали себе в качестве псевдонимов «красивые», звучные имена.

[9] *Психея.* — Имеется в виду персонаж вставной новеллы из романа древнеримского писателя Луция Апулея (ок. 124 — ок. 180) «Метафорфозы» (или «Золотой осел», 150-е или ок. 170—180), царская дочь, соперничавшая красотой с самой Венерой, возлюбленная и впоследствии супруга Амура. Любопытство Психеи стало причиной множества постигших ее несчастий и едва не привело к гибели. Так, возвращаясь из царства мертвых, куда ее отправила за чудесными притираниями коварная Венера, Психея, несмотря на предостережения таинственного голоса, заглянула в ларец с волшебной мазью, чтобы немного позаимствовать божественной красоты. Однако в ларце оказалось не чудодейственное снадобье, а подземный стигийский сон, который тотчас же охватил Психею. Объятую смертным сном Психею спас от верной гибели Амур: он нашел свою возлюбленную и, снова заключив сон в ларец, пробудил Психею легким уколом стрелы.

[10] *Эльдорадо.* — Здесь впервые в повести упоминается Эльдорадо (от *исп.* el dorado — золоченый) — мифическая страна необыкновенных богатств (прежде всего золота и драгоценностей) и чудес. В XVI—XVII вв. испанские конкистадоры, вдохновленные рассказами индейцев, искали эту страну в Южной Америке между Амазонкой и Ориноко, причем иные утверждали, что побывали в Эльдорадо. Хотя реальные подтверждения существования страны так и не были найдены, ле-

генда об Эльдорадо широко распространилась по Европе, в том числе и в художественной литературе. Однако Готье вдохновлялся не ироническим описанием Эльдорадо в повести Вольтера «Кандид» (1759), а именно устной легендой, в которой конкретные географические и исторические приметы страны исчезли, уступив место более общему представлению об идеальном чудесном месте, которое можно найти или устроить себе самому. См. также т. I, с. 551 наст. изд.

[11] *Сенсимонисты вольны узреть в нашей книге... единение Запада и Востока...* — Сенсимонисты — последователи учения французского мыслителя-утописта Анри де Сен-Симона (1760—1825) — верили в социальный прогресс как результат научной организации промышленности и общества. Целью этого прогресса, как они полагали, должно было стать производство материальных благ. Под влиянием их идей во Франции в 1830-е годы началось создание сети железных дорог, а в 1869 г. был построен Суэцкий канал. После того как в 1832 г. постановлением суда созданная в Менильмонтане (близ Парижа) община сенсимонистов была распущена, Б.-П. Анфантен (1796—1864), возглавивший сторонников идей Сен-Симона со смертью последнего, мечтал возродить движение в Северной Африке и оттуда вновь завоевать Европу, с тем чтобы объединить Восток и Запад в рамках современной цивилизации.

[12] *Фортунио* (от ит. fortunato — счастливчик, баловень фортуны). — Имя заглавного героя заимствовано Готье у Альфреда де Мюссе (1810—1857): так зовут персонажа поэмы Мюссе «Сюзон» (1831) и одно из действующих лиц пьесы «Подсвечник» (1835).

[13] ...«*Разве может газ сравниться с солнцем*?» — В 1799 г. французский инженер Филипп Лебон (1769—1804) получил патент на изобретение системы газового освещения улиц. В первой пол. XIX в. газовое освещение активно начали вводить во Франции, а к середине столетия оно стало почти повсеместным. Однако романтики, не являвшиеся сторонниками технического прогресса (слишком «механического» и «прозаического», с их точки зрения), предпочитали природный свет искусственному освещению. Пройдет несколько десятилетий, прежде чем художники-импрессионисты откроют поэтичность газового света — в сравнении с электрическим освещением, пришедшим на смену газовому в кон. XIX в.

Глава I

[1] *Джордж.* — Готье не случайно дает своему герою имя на английский лад (примечательно, что в окончательной редакции «Фортунио» Готье исправил французское написание имени щеголя Georges (Жорж) на английское — George (Джордж)). Англомания широко распространилась в светском обществе Франции во второй пол. XVIII в., заметно уменьшилась в период Французской революции 1789—1799 гг. и вновь вернулась в эпоху Реставрации (1814—1815 гг., 1815—1830 гг.), а в 1830—1840-е годы породила целый слой французских «денди». Закономерно поэтому, что любимую лошадь Джорджа зовут Мистрис Белл, а негритенка Мюзидоры — Джек. См. также примеч. 3 к гл. X.

[2] ...*давал ужин своим друзьям... львам и тиграм...* — Слово «лев» (*фр.* lion) как синоним слова «денди» (в значении «модник», «щеголь») начало употребляться во

Франции в эпоху Реставрации, но широкое распространение получило при Июльской монархии (1830–1848 гг.), поскольку воспринималось как заимствование из английского языка (яркий тому пример очерк О. де Бальзака «Путешествие в Париж африканского льва и что из этого последовало», 1842). Оно означало богатых и расточительных молодых людей, не считавшихся с условностями и стремившихся к оригинальности. Определению этого социального типажа, в частности, Ф. Сулье посвятил целую главу своего романа «Влюбленный лев» (1839; гл. I). «Тиграми» (*фр.* tigres) во Франции XIX в. называли грумов – юношей-лакеев у светских «львов».

[3] *Клеопатра.* – Имеется в виду Клеопатра VII (69–30 до н. э.), последняя царица Египта из династии Птолемеев, известная своей красотой и обаянием. Античные историки, отдавая должное обольстительности царицы, одновременно ужасались ее чересчур вольному нраву (см., напр.: *Аврелий Виктор.* О знаменитых людях. LXXXVI). К образу Клеопатры Готье обращается также в новелле «Ночь, дарованная Клеопатрой» (1838).

[4] *Империя* Коньяти (или де Парис; 1486–1512) – знаменитая римская куртизанка, славившаяся своим умом и образованностью, впоследствии была выведена О. де Бальзаком в качестве персонажа повестей «Красавица Империя» и «Замужество красавицы Империи» из сборника «Озорные рассказы» (1832–1837).

[5] *Буффы.* – Так в светском обществе Парижа называли Итальянский театр, с 1762 г. объединивший Театр итальянской комедии и театр Комической оперы. На сцене этого театра ставились почти исключительно пьесы итальянских авторов и оперы-буффа – музыкально-драматические произведения, относящиеся к жанру комической оперы, который сложился в 30-е годы XVIII в. Родоначальником жанра оперы-буффа принято считать итальянского композитора Дж.-Б. Перголези (наст. имя Драги; 1710–1736), дальнейшее развитие жанр получил в творчестве В.-А. Моцарта (1756–1791), Дж.-А. Россини (1792–1868), Дж.-С. Меркаданте (1797–1870) и Г. Доницетти (1797–1848).

[6] *...стрелки великолепных часов Буля, стоявших на низкой, инкрустированной ракушками тумбе...* – Андре Шарль Буль (1642–1732) – знаменитый французский мебельный мастер, управлявший мастерской при дворе Людовика XIV (1638–1715, король Франции с 1643 г.) и удостоившийся звания «королевский чернодеревщик». Один из главных законодателей вкуса в истории мебельного искусства, создал собственный стиль художественной мебели «буль». Украшал предметы мебели монументальных форм (шкафы, комоды, консоли, столы, футляры, стойки для часов и т. п.) сложной мозаичной инкрустацией из дерева, золота, металла, кости и т. д. В эпоху романтизма мебель работы Буля была в большой моде и стоила крайне дорого.

[7] *Апиций* – прозвище римского мота и чревоугодника Марка Габия (первая пол. I в.), произошедшее от имени другого, жившего ранее, гастронома Апиция (кон. II–I в. до н. э.), который прославился любовью к роскоши и расточительностью. По свидетельству Луция Аннея Сенеки (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.), Марк Габий растратил бóльшую часть своего состояния на пиры и покончил жизнь самоубийством из страха, что ему придется умереть с голоду (см.: Утешение к Гельвии. X. 8–9). Ему также приписывалась знаменитая древняя поваренная книга «О поварском деле» («De re coquinaria», кон. IV–V вв.). Имя Апиция – современника Тибе-

рия (42 до н. э. – 37 н. э., римский император с 14 г. н. э.) часто упоминалось у древнеримских писателей (см., напр.: *Плиний Старший*. Естественная история. VIII. LXXVII. 209; IX. XXX. 66; X. LXVIII. 133; XIX. XLI. 137; *Корнелий Тацит*. Анналы. IV. 1), впоследствии оно превратилось в нарицательное и стало означать подлинного гурмана.

[8] *Венецианское стекло.* – Имеются в виду художественные, преимущественно выдувные, изделия из стекла, производство которых началось в Венеции в V в., а в кон. XIII в. было переведено на остров Мурано близ Венеции, под предлогом защиты города от возможных пожаров, на самом же деле с целью сохранения секретов особых техник стеклоделия: стекольной филиграни (переплетения кружевных белых нитей, вплавленных в стенки сосудов), кракелажа (создания узора из трещинок на стекле), цветной мозаики, изготовления необыкновенно тонкого и прозрачного стекла и проч. В период наполеоновского завоевания Италии в кон. XVIII в. стекольные мастерские Мурано были практически полностью уничтожены, и только с падением Наполеона (1769–1821, император французов в 1804–1814 гг., 1815 г.) и окончанием франко-итальянских войн, в 1810–1820-е годы стали возрождаться, а мастера-стеклодувы начали восстанавливать прежнюю технику. Поэтому творения венецианских мастеров: сосуды из бесцветного, агатового, авантюринового, мозаичного стекла, кубки, покрытые эмалями и позолотой, с портретами, изображениями всадников, с орнаментом в виде рыбной чешуи, а также выполненные в технике филиграни бокалы с сетчатым орнаментом, чаши с ножками в виде драконов и проч. – чрезвычайно высоко ценились в первой пол. XIX в.

[9] *Рейнское вино* (рейнвейн) – общее название немецких белых вин, которые производятся в винодельческой области Рейнгау из винограда, выращенного на склонах Таунуса в долине реки Рейн. Поскольку эти вина ввозились во Францию, они стоили там дороже местных вин.

[10] *Арабеска* (от фр. arabesque – букв.: арабский) – европейское название особого вида орнамента, сложившегося в искусстве мусульманских стран и построенного по принципу бесконечного развития и ритмического повтора геометрических, растительных или эпиграфических мотивов. Отличается многократным ритмическим наслоением однородных форм, что создает впечатление насыщенного прихотливого узора.

[11] *Химеры* – здесь: скульптурные изображения фантастических чудовищ, олицетворяющих пороки, темные силы и т. п. Широко использовались в архитектурном убранстве средневековых готических сооружений.

[12] *Кессоны* – квадратные или многоугольные декоративные углубления на потолке или внутренней поверхности арки, свода.

[13] *...из крапленого мрамора...* – В оригинале «brèche antique» (*фр.* – античная брекчия). Французские комментаторы полагают, что Готье имел здесь в виду один из самых редких и дорогих сортов мрамора шоколадного цвета с красными и матово-белыми вкраплениями.

[14] *...лицами, достойными резца Жана Гужона или Жермена Пилона...* – Имеются в виду французские скульпторы и резчики эпохи Возрождения Жан Гужон (ок. 1510–1564/1568) и Жермен Пилон (ок. 1525/1528 или 1537–1590), работы которых высоко ценились в XIX в.

[15] *...венецианское зеркало в переливающейся всеми цветами радуги раме.* — Техника изготовления стеклянных зеркал, исчезнувших в начале Средневековья, была открыта в Европе в XII в., однако первоначально они были вогнутыми. Только в 16-м столетии в Венеции изобрели способ создания плоских стеклянных зеркал, покрытых оловянной амальгамой. Высокое качество вкупе с изысканным оформлением рам обусловило чрезвычайную дороговизну таких зеркал, они служили украшением прежде всего дворцовых интерьеров. Хотя именно во Франции в XVII в. сумели разгадать секрет изготовления подобных зеркал и наладить собственное производство, даже в XIX в. настоящие венецианские зеркала по-прежнему оставались там (как и в большинстве европейских стран) предметами роскоши. Подробное описание старинного венецианского зеркала в великолепной раме можно найти в повести Готье «Спирита» (см. т. II, с. 472 наст. изд.).

[16] *...прекрасные творения Тициана... дивные Венеры и возлюбленные царей...* — Тициано Вечеллио (1476/1477 или 1488/1490—1576) — великий итальянский живописец Высокого и Позднего Возрождения, крупнейший представитель венецианской школы живописи (см. примеч. 17 к гл. II «Аватары»). Широкую известность Тициану принесли многочисленные портреты, а также картины на религиозные и мифологические сюжеты. Его кисти принадлежат, в частности, полотна «Любовь земная и небесная» (ок. 1514—1515), «Женщина за туалетом» (1512—1515), «Портрет Лауры деи Дианти» (ок. 1523), «Венера Анадиомена» (ок. 1525), «Венера Урбинская» (ок. 1538), «Венера и Адонис» (1553—1554), «Венера перед зеркалом» (1550-е) и др.

[17] *Плато* — здесь: вид настольного украшения, большая, как правило, круглая, декоративная подставка из серебра, золоченой бронзы и т. п. Считается, что идея создать зеркальное плато с плоским рельефом золоченой бронзы по бортику, на которое можно было ставить канделябры, вазы для сладостей, фруктов и цветов, скульптурные группы и т. д., впервые пришла П.-Ф. Томиру (1751—1843). Зеркальное дно плато многократно отражало свет и придавало особый блеск золоченой бронзе.

[18] *...тарелки из японского и старинного севрского фарфора...* — Речь идет о самой изысканной посуде того времени. Производство фарфора в Японии началось гораздо позже, чем в Китае, лишь в нач. XVI в., когда на острове Кюсю была обнаружена необходимая для этого каолиновая глина. Однако уже к XVII в. японский фарфор приобрел известность благодаря своим отличительным особенностям, в частности, чрезвычайной белизне черепка из-за высокого качества глины, разнообразию и художественному совершенству росписи, использованию золота в декоре. В XVII—XVIII вв. японский фарфор был представлен прежде всего изысканной продукцией мастерских Кутани и Набэсима, славившихся дорогими, тонкими изделиями, а также массовой продукцией Арита и Сэто. Обе эти разновидности объединяло многообразие форм и декоративность. К XIX в. японский фарфор стал популярен и в западноевропейских странах. Так, в 1830-е годы в Европе был известен преимущественно эмалированный японский фарфор в стиле какиемон и фарфор Имари. Для первого из них был характерен скудный асимметричный узор на молочно-белом фоне, выполненный эмалями красного, оранжевого, голубого, бирюзового, желтого и иногда фиолетового цветов; изделия из фарфора в этом стиле копировались, в частности, мастерами Челси, Шантийи, Бау и Мейсена. Фарфор Имари, служивший образцом для голландских и английских мастеров, легко

можно было опознать по темно-синей подглазурной росписи в сочетании с рыжевато-красной, золотой, желтой, зеленой, реже — бирюзовой и фиолетовой эмалевыми красками. Севрский фарфор — художественные изделия, изготовлявшиеся на Королевской фарфоровой мануфактуре в Севре, неподалеку от Версаля, с 1756 г. (ранее это производство располагалось в Венсенне). Покровителями мануфактуры были Людовик XV (1710–1774, король Франции с 1715 г.) и маркиза де Помпадур (1721–1764), а со смертью последней также графиня Дюбарри (1743–1793). Посуда, выпускавшаяся в Севре во второй пол. XVIII в., создавалась из мягкого фарфора, отличалась нежной и сочной росписью с изысканной дробной орнаментацией (напр., с изобразительными мотивами в медальонах на цветном фоне) и покрывалась позолотой. Именно такую произведенную в Севре посуду и называют старинной.

[19] *Арабелла* (от лат. orabilis — внемлящий молитве, уступающий мольбе) — имя латинской этимологии, редкое для Франции, но распространенное в Шотландии и Англии. Это имя носили, в частности, дочь шотландского аристократа, претендентка на английский престол Арабелла Стюарт (1575–1615), певица и лютнистка Арабелла Хант (ум. 1705), в честь которой написал оду известный драматург У. Конгрив («Пение мисс Арабеллы Хант», 1692), молодая дворянка Арабелла Фермор, которой посвятил свою поэму «Похищение локона» (1712) А. Поуп и др.

[20] *Феба.* — Это имя принадлежало нескольким женским персонажам древнегреческой мифологии: дочери Урана и Геи, матери Астерии и Лето, титаниде, считавшейся основательницей храма и оракула в Дельфах, который она затем подарила своему внуку Аполлону; дочери Левкиппа, невесте Идаса, похищенной вместе с ее сестрой Гилаейрой Диоскурами и ставшей женой Полидевка; дочери Тиндарея и Леды, сестре Клитемнестры и Елены. В древнеримской мифологии так звучало культовое имя Дианы, отождествлявшейся с древнегреческой богиней Артемидой, сестрой Аполлона.

[21] *Цинтия* (Кинфия) — одно из имен богини Артемиды (произошедшее от названия горы Кинф на острове Делос), а также имя, которое древнеримский поэт Проперций (ок. 50–15 до н. э.) дал в любовных элегиях своей возлюбленной Гостии. В элегиях Проперция Цинтия изображена женщиной недоступной и своевольной, переменчивой и неверной.

[22] *Кордовская кожа* — особым образом выделанная конская или козлиная кожа характерного красно-коричневого цвета, отличавшаяся ярким блеском и исключительной долговечностью. Тисненая золоченая и посеребренная кордовская кожа с раннего Средневековья изготовлялась в испанском городе Кордове (отчего и получила свое название) и славилась по всей Европе (в частности, она широко экспортировалась Кордовским халифатом с IX в.). После изгнания мавров к сер. XIII в. производство кордовской кожи распространилось также на север Франции и Фландрию.

[23] *Эбеновое дерево* — название темноокрашенной (темно-зеленой, иногда черной) плотной тяжелой древесины некоторых видов тропических деревьев семейства эбеновых (Ebenaceae) и ряда других семейств. Используется преимущественно для отделки дорогой мебели, изготовления различных поделок, музыкальных инструментов, инкрустаций.

[24] *...стулья... причудливой формы, которая нынче получила название «мазарини»*... — Именем кардинала Джулио Мазарини (1602—1661) иногда называют стиль мебели эпохи регентства (1643—1661 гг.) Анны Австрийской (1601—1666) при малолетнем Людовике XIV, поскольку в этот период страной фактически руководил кардинал, назначенный королевой первым министром. Выражение «стиль мазарини» было пущено в оборот значительно позже, лишь в XIX в., и закрепилось прежде всего за особым типом бюро на восьми изогнутых ножках. Мазарини приглашал во Францию многих итальянских мастеров мебели, вносивших элементы барокко в классицистический стиль. Комоды, бюро, кресла и стулья «стиля мазарини» отличали одновременно массивность и декоративность.

[25] *...негритята... подобные тем, что встречаются на пиршествах Паоло Веронезе.* — Паоло Веронезе (наст. имя Кальяри; 1528—1588) — итальянский художник эпохи Позднего Возрождения, прославившийся как блестящий мастер монументально-декоративной живописи. Продолжил и обогатил традицию изображения празднеств, идущую от Дж. Беллини (ок. 1429—1507) и В. Карпаччо (ок. 1455 или 1465 — ок. 1526). Одним из излюбленных видов станковой живописи Веронезе были торжественные многофигурные композиции с изображением праздничных пиршеств, шествий и аудиенций (напр., «Христос в Эммаусе», кон. 1550-х; «Брак в Кане», 1563; «Пир в доме Симона Фарисея», ок. 1570; «Пир в доме Левия», 1573).

[26] *...живую иллюстрацию к «Любви ангелов» Томаса Мура.* — Томас Мур (1779—1852) — английский поэт-романтик, друг Дж.-Г. Байрона (1788—1824). Особую популярность приобрел его сборник стихотворений «Ирландские мелодии», выходивший выпусками с 1807 по 1834 г. В поэме «Любовь ангелов» (1823), которая описывает злоключения трех ангелов, влюбленных в смертных дев, Мур использовал сюжет о любви ангела и земной женщины, восходящий к Библии (см.: Быт. 6: 1—4). Этот сюжет был весьма популярен в эпоху романтизма (см.: *Milner M.* Le sexe des anges: de l'ange amoureux à l'amante angélique // Romantisme. 1976. № 11. P. 55—67). Поэма Мура, в частности, во многом перекликается с поэмой французского романтика А. де Ламартина (1790—1869) «Падение ангела» (1838) и с мистерией Байрона «Небо и земля» (1821). Следы ее влияния обнаруживаются также в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» (1829—1839).

[27] *...за вычетом девственности, напоминает сестру Аполлона...* — Имеется в виду древнегреческая богиня-девственница Артемида. См. также примеч. 20.

[28] *Теплые коричневатые тона ~ ожерелье Венеры.* — Одним из прообразов портрета Цинтии, по мнению французских комментаторов, послужил «Портрет госпожи Девосей» (1807) Жана Огюста Доминика Энгра (см. примеч. 1 к гл. VII «Невинных распутников»). См. также примеч. 29.

[29] *Канова* Антонио (1757—1822) — знаменитый итальянский скульптор, один из ведущих мастеров европейского классицизма, считавшийся образцом для подражания среди академистов XIX в. По утверждению французских комментаторов, образ Цинтии также мог быть навеян статуей Кановы «Паолина Боргезе в образе Венеры» (1805—1807), которая хранится в галерее Боргезе в Риме.

[30] *Клеомен* (I в. до н. э.) — афинский скульптор, которому во времена Готье приписывалось создание статуи Венеры Медицейской, находящейся ныне в галерее Уффици во Флоренции. Основанием для атрибуции античного изваяния послужила надпись на древнегреческом языке, обнаруженная на пьедестале скульпту-

ры: «Клеомен, сын Аполлодора, афинянин, сделал». Однако подлинность этого указания в настоящее время отрицается. Вероятно, статуя представляет собой эллинистическую копию I в. до н. э., выполненную с древнегреческого оригинала IV в. до н. э. неизвестным мастером.

[31] *...ответила с надменностью, достойной героев Корнеля...* — Пьер Корнель (1606—1684) — французский драматург-классицист, блестящий автор героико-политических трагедий. Уже современники писателя считали его героев образцами героического благородства, носителями возвышенных чувств и страстей, а самого Корнеля называли древним римлянином среди французов.

[32] *Вино Констанцы* (констанцское) — дорогое южноафриканское вино, которое производится с кон. XVII в. в Констанце (Констанции) близ Кейптауна из винограда, выращенного на восточном склоне Столовой горы. Констанца, в прошлом имение губернатора Капской колонии Симона ван дер Стела (1639—1712), с именем которого связывают начало виноделия в колонии, в первой пол. XVIII в. стала центром виноградарства и виноделия в Южной Африке. Обладая особо благоприятными для виноградарства землями, эта местность славилась своими винами, экспортировавшимися в Европу и высоко ценившимися, в частности, Наполеоном Бонапартом.

[33] *Булонский лес* — парк на западе Парижа, возник на основе обширного лесного массива, до сер. XIX в. принадлежавшего королям Франции и впоследствии переданного городу Наполеоном III (1808—1873, президент Французской республики в 1848—1852 гг., император французов в 1852—1870 гг.). Булонский лес был открыт для публики в XVIII в. при Людовике XVI (1754—1793, король Франции с 1774 г.) и вскоре стал излюбленным местом для прогулок и свиданий парижской знати.

[34] *Опера.* — Королевская Академия музыки, учрежденная в 1669 г., называлась в культурном обиходе XVII—XIX вв. Академией оперы или просто Оперой. На ее основе действительно существовал оперный театр, на протяжении двух веков одиннадцать раз менявший свое месторасположение, но не название. Так, в XIX в. Опера находилась на улице Ришельё (1794—1820 гг.), в театре Лувуа (1820 г.), в зале Фавар (1820—1821 гг.) и в зале Ле Пелетье (1821—1873 гг.). С 1874 г. по настоящее время театр находится в специальном здании, построенном Ш. Гарнье (1825—1898), и называется Оперой Гарнье, Национальной Парижской оперой или просто Оперой.

[35] *Провиантмейстер* — лицо, ведавшее продовольственным снабжением войска; в данном случае Готье использует это слово в качестве шутливого обозначения подручного повара.

[36] *Луидор* — французская золотая монета, чеканившаяся с 1640 по 1795 г. Была введена Людовиком XIII (1601—1643, король Франции с 1610 г.), по имени которого и получила свое название. Содержание золота в монете в XVIII в. колебалось от 7,275 г в 1726—1785 гг. до 6,84 г в 1791—1795 гг. Луидор равнялся 4 экю, или 24 ливрам, или 480 су. Таким образом, Арабелла щедро одарила привратника.

[37] *...похож на святого Михаила, написанного Гвидо...* — Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский живописец болонской школы, работы которого отличались идеализированной трактовкой мифологических и религиозных сюжетов. Картина «Святой Михаил Архангел», написанная Рени до 1636 г., находится в церкви Капуцинов в Риме.

[38] *...умен, как Меркуцио...* – Меркуцио – персонаж трагедии Шекспира (1564–1616) «Ромео и Джульетта» (1591–1595), близкий друг Ромео, жизнерадостный и остроумный, поэтичный и здравомыслящий.

[39] *Ротшильды* – европейская династия банкиров, основанная во Франкфурте-на-Майне Майером Амшелем Ротшильдом (1744–1812) и пятью его сыновьями, в том числе Яковом Ротшильдом (1792–1868), который возглавил банкирский дом Ротшильдов в Париже.

[40] *...щедр, как Великолепный из сказки Лафонтена...* – Имеется в виду персонаж сказки Жана де Лафонтена (1621–1695) «Великолепный» из сборника «Сказки и рассказы в стихах» (1665–1685; кн. IV, сказка XVI), галантный благонравный флорентиец, который описан следующим образом: «Немного ума, много добродушия | И еще больше – снисходительности».

[41] *Ливр* – денежная единица Франции до введения в 1795 г. франка. Серебряная монета, достоинством в $^1/_{24}$ часть луидора, в 1834 г. изъятая из обращения. Таким образом, молодой английский лорд, покончивший с собой из-за неразделенной любви к Мюзидоре, обладал весьма большим состоянием.

[42] *Лоншан* – парк для верховых прогулок на берегу Сены, на окраине Булонского леса (см. примеч. 33). Возник в нач. XIX в. на территории бывшего аббатства Лоншан, разрушенного во время Французской революции. Впоследствии, в 1857 г. в Лоншане был открыт всемирно известный ипподром.

[43] *...в коляске, запряженной по д'Омону...* – Герцог Луи Мари Селест д'Омон (1762–1831) вошел в историю не только как библиофил, но и как изобретатель особого способа запрягать лошадей (*фр.* calèche à la d'Aumont). Этот способ, с одной стороны, придавал упряжке большую пышность и элегантность, а с другой – требовал более рослых и сильных лошадей. В коляске «по д'Омону» не предусматривалось место для кучера, в нее запрягались цугом две пары лошадей, которыми управляли два форейтора, сидевшие на левых лошадях.

[44] *Гентский бульвар.* – В эпоху Реставрации Итальянский бульвар, или бульвар Итальянцев, где в период «Ста дней» (20 марта – 22 июня 1815 г.) собирались монархисты, сторонники бежавшего в Гент Людовика XVIII (1755–1824, король Франции в 1814–1815 гг. и 1815–1824 гг.), иронически называли Гентским бульваром. В описываемое время этот бульвар был одной из самых фешенебельных улиц Парижа, местом встреч денди, дам полусвета и проч.

[45] *...обладать волшебным плащом Фауста...* – Аллюзия на реплику Мефистофеля из трагедии И.-В. Гёте (1749–1832) «Фауст» (1808–1832; Ч. I. Сц. 4: Кабинет Фауста). Ср. в пер. Н. Холодковского:

Фауст

Но как же нам пуститься в путь?
Где экипаж, где кони, слуги?

Мефистофель

Мне стоит плащ мой развернуть –
И взовьемся легче вьюги.

У Готье часто встречаются цитаты из Гёте, ссылки на его произведения. Как и другие французские писатели романтической эпохи, он восхищался Гёте, на Готье

произвела огромное впечатление первая часть трагедии «Фауст», которая в 1828 г. была опубликована в блестящем переводе на французский язык, выполненном поэтом Ж. де Нервалем (1808–1855), близким другом Готье. Этот перевод удостоился одобрения самого Гёте.

[46] *...найти способ управлять воздушным шаром...* – До изобретения в 1852 г. управляемого аэростата (прообраза дирижабля) А. Жиффаром (1825–1882) воздушные шары летали только по ветру.

[47] *Гиппогриф* – фантастическое крылатое существо, полуконь-полугрифон. Впервые мысль о том, чтобы соединить коня с грифоном, в литературе была высказана Вергилием (70–19 до н. э.). Так, в «Буколиках» (42–83 до н. э.; эклога VIII, ст. 27) поэт использовал фразу «iungentur iam grypes equis» (*лат.* – скрестят коня и грифа) как своеобразный перифраз несбыточности и нелепости чаяний безответно влюбленного пастуха Дамона (ср. в пер. А. Шерина: «Узами свяжут грифонов и лошадей, будет время | С гончими псами к воде придут боязливые серны»). При этом Вергилий, очевидно, имел в виду, что в античной культурной традиции лошади считались добычей грифонов. Как особое существо гиппогриф был описан позднее в поэме итальянского поэта эпохи Возрождения Лудовико Ариосто (1474–1533) «Неистовый Орландо» (1516–1532; IV. 18; VI. 18). Само слово «ipogrifo» было составлено поэтом из основ греческого слова «hypos» («конь») и итальянского «grifo» («грифон»). Под влиянием Ариосто образ гиппогрифа стал часто упоминаться в литературных произведениях Ренессанса и XVII–XVIII вв. Его можно найти, в частности, в «Агесилане Колчоском» (1530), продолжении популярного рыцарского романа «Амадис Галльский» (кон. XIII – нач. XIV в.), в романе М. де Сервантеса (1547–1616) «Дон-Кихот» (1605–1615), в пьесе П. Кальдерона (1600–1681) «Жизнь есть сон» (1637), в поэмах Д. Милтона (1608– 1674) «Возвращенный рай» (1671) и Х.-М. Виланда (1733–1813) «Оберон» (1780). Символическое значение этого фантастического животного было разным: он мог становиться воплощением необычайной скорости езды, как у Сервантеса, животной, неконтролируемой мощи, как у Милтона, или символом творчества, крылатого воображения, своего рода «Пегасом Средневековья», как у Виланда (об этом см.: *Montor A. de.* Encyclopédie des gens du monde: Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts: En 22 vol. Strasbourg: Treuttel et Würtz, 1840. Vol. 14. Pt. 1. P. 59). В 19-м столетии гиппогриф все чаще воспринимался как органическая часть легенды о короле Артуре и рыцарях «Круглого стола». Так, Э. Кине (1803–1875) в романе «Волшебник Мерлин» (1860) описал гиппогрифа как крылатого коня, который покоряется только настоящему рыцарю, а Т. Булфинч (1796–1867) в переложении Ариосто («Легенды о Карле Великом», 1863) назвал гиппогрифа конем средневековых рыцарей. Популярности образа гиппогрифа способствовала в XIX в. также живопись. К примеру, Ж.-О.-Д. Энгр, вдохновившись произведением Ариосто, создал в 1819 г. картину «Руджеро, освобождающий Анджелику», где фигурировал гиппогриф, позднее, в 1879 г., Г. Доре (1832–1883) выполнил иллюстрации к поэме Ариосто, дав свою живописную трактовку образа этого животного.

[48] *Меркурий.* – Фортунио в шутку называет лакея Джорджа именем Меркурия – древнеримского бога торговли, хитрости и обмана, покровителя искусств и ремесел, посланника и прислужника богов.

[49] *Кубок Геракла.* — Имеется в виду скифос — древнегреческий сосуд для питья в форме чаши с двумя горизонтальными ручками. Поскольку мифический кубок, полученный Гераклом от бога Гелиоса во время путешествия героя за коровами Гериона на далекий остров Эрифия, был, по преданию, скифосом, последний также иногда называли кубком Геракла.

[50] *...библейское море из меди, стоящее на двенадцати волах...* — Ветхозаветная аллюзия (см.: 3 Цар. 7: 23—26). В Библии литым морем назван огромный, отлитый из меди сосуд для ритуальных омовений священнослужителей, имевший форму распустившейся лилии и стоявший на двенадцати медных волах, которые были разделены на четыре группы, ориентированные по сторонам света. Медный резервуар стал вторым после жертвенника грандиозным творением Хирама для храма Соломона.

[51] *...подобно пажам на картинах Терборха...* — Герард Терборх (1617—1681) — голландский художник, принадлежавший к числу так называемых «малых голландцев», мастер жанровой живописи. Среди зрелых работ Терборха преобладали картины с изображением интимного быта состоятельных горожан — камерные сцены с немногими действующими лицами, разворачивающиеся на фоне богатого интерьера. Фигуры пажей крайне редко встречаются на картинах Терборха, в частности, прислуживающий знатной даме паж запечатлен на полотне «Туалет дамы» (ок. 1660).

[52] *Урна* — у древних римлян название похожего на кувшин сосуда, служившего для зачерпывания и хранения воды.

[53] *Ваза* — общее название античных сосудов (преимущественно для жидкостей), относившихся главным образом к предметам домашней утвари.

[54] *Кратер* — название древнегреческого сосуда для смешивания вина с водой. Кратеры делали из обожженной глины, реже — из металла или мрамора, они имели широкое горло, вместительное тулово, две ручки и устойчивую ножку.

[55] *...с легкостью, свидетельствовавшей о долгом и терпеливом обучении науке возлияний, как выразился бы папаша Алькофрибас Назье.* — Алькофрибас Назье — псевдоним Франсуа Рабле (1494—1553), представляющий собой анаграмму имени писателя (Alcofribas Nasier — François Rabelais). В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (опубл. 1533—1564), гротескно-иронически обращенном к «достопочтенным пьяницам» и «досточтимым венерикам», Рабле всячески обыгрывал тему жажды, питья — и в буквальном, и в переносном смысле. Так, согласно приведенной в романе комической этимологии имени одного из главных персонажей, Гаргантюа, оно было образовано от фразы «Ке гран тю а!» (*фр.* «Que grand tu as!» — «Ну и большая же у тебя!»), которую воскликнул отец великана, Грангузье, имея в виду глотку новорожденного, в момент своего появления на свет закричавшего: «Лакать! Лакать! Лакать!» (*Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. I, гл. VII. *Пер. Н.М. Любимова*).

[56] *Кхоль* — старинное восточное средство для подводки глаз, порошок, состоящий из смеси свинца, серы и животного жира.

[57] *...далеко до невиданных размеров чела знаменитого поэта...* — Иронический намек на Виктора Гюго (1802—1885), ко времени написания «Фортунио» уже завоевавшего славу главного романтического поэта Франции.

[58] *...вроде Бахуса Индийского... в Музее древностей...* — Имеется в виду находящийся в Лувре античный бюст Бахуса Индийского, изображающий древнегреческого

бога вина, виноделия и виноградарства Диониса (почитавшегося в Древнем Риме под именем Вакха или Бахуса) в образе зрелого бородатого мужчины. По всей видимости, изваяние восходит к античному мифу о Дионисе — покорителе Индии (см., напр.: Bacchus // Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d'après les texts et monuments / Société d'écrivains spéciaux, d'archéologues et de professeurs; sous la direction de Ch. Daremberg et Edm. Saglio. P.: Hachette, 1877. T. 1. P. 591–639).

[59] *Венера Милосская* — общепринятое название древнегреческой мраморной статуи Афродиты (сер. II до н. э.), найденной в 1820 г. на острове Милос в Эгейском море. Надпись на плите, обнаруженной рядом со статуей, гласила, что скульптуру изваял Агесандр (или Александр) из Антиохии на Меандре. По одной из версий, в левой руке богиня держала яблоко, а правой придерживала спадающие одежды. Статуя стала предметом восторженного поклонения художников (как романтиков, так и мастеров классицизма) и ценителей искусства. В настоящее время находится в Лувре.

[60] *Антиной* (ум. 130) — прекрасный юноша из Клавдиополя в Вифинии, фаворит императора Адриана (76–138, римский император с 117 г.), обожествленный после смерти. Антиной часто изображался в образе Диониса на античных монетах, геммах, в статуях и бюстах, как идеал юношеской красоты. Во всех портретах Антиноя прослеживаются общие черты, воспроизводящие, по-видимому, реальный образ: мускулистый торс с широкими плечами, тонкие руки, округлое лицо с полными щеками, пухлыми губами, крупным носом и прямыми бровями. Большинство портретов представляет Антиноя героически обнаженным, как греческого атлета (напр., статуя из Национального музея в Неаполе, 130-е, — один из лучших портретов Антиноя), или в виде какого-либо греческого божества (напр., статуя в Ватикане, в которой Антиной запечатлен в образе Диониса-Осириса, 130-е). Однако на сохранившихся изображениях красивое юношеское тело лишено силы и мужества греческих прообразов. Его чувственная красота соединяется с выражением томной грусти и покорности судьбе. Самая знаменитая статуя Антиноя (Антиной Капитолийский, первая пол. II в.), найденная в 1740 г. на вилле Адриана, с 1838 г. находится в Капитолийских музеях Рима. В Лувре имеется только бюст Антиноя (130-е).

[61] *...по чистоте соперничает с Регентом и Санси...* — Имеются в виду два знаменитых крупных бриллианта с богатой историей, принадлежавших к сокровищам французской короны (в настоящее время хранящихся в Лувре). Регент — бриллиант с голубоватым отливом в 140 карат (до огранки весил 410 карат), найденный в 1698 г. в Индии. Санси — бледно-желтый бриллиант каплевидной формы весом 55,23 карата, судя по огранке — индийского происхождения. Оба бриллианта славятся своей чистотой.

[62] *...с простодушным видом... разрушить все планы князя Талейрана.* — Шарль Морис Талейран-Перигор (1754–1838), князь Беневентский (1806–1815), герцог Дино (с 1817) — французский государственный деятель и дипломат, славившийся своим умом и изворотливостью. Вошел в историю как признанный мастер тонкой дипломатической интриги, «слуга всех господ» и ловкий политик. Талейрана отличали большая проницательность, умение использовать слабые стороны своих противников и вместе с тем вероломство. В течение жизни ему, по собственному при-

знанию, пришлось принести четырнадцать противоречивших одна другой присяг (см.: *Talleyrand Ch.-M.* La confession. P.: Sauvaitre, 1891. P. 6).

[63] *Живое серебро* — то же, что ртуть. По всей видимости, обозначение восходит к древнегреческому врачу Диоскориду (I в. н. э.), который, нагревая киноварь (минерал, на 86,2% состоящий из ртути) в железном сосуде с крышкой, получил ртуть в виде паров, конденсировавшихся на холодной внутренней поверхности крышки. Продукт реакции получил название «υδραργυρος» (*греч.* — жидкое серебро), от которого, в свою очередь, возникло латинское «hydrargyrum», а затем и «argentum vivum» (*лат.* — живое серебро). Последнее обозначение дало название ртути в переводе сохранилось во многих европейских языках (ср.: *англ.* quicksilver, *фр.* vif-argent, *нем.* Quecksilber).

[64] *Мадригал* — здесь: поэтический жанр, восходящий к пастушеской песне. К XVIII в. мадригал превратился в интимный жанр (сродни эпиграмме и посланию) и представлял собой небольшое стихотворение, не имевшее каких-либо строгих формальных правил и содержавшее игру слов. Чаще всего мадригалом называли остроумный, иногда иронический, стихотворный комплимент, адресованный даме.

[65] *...на набережной Вольтера, у... торговца редкостями.* — Именно у торговца редкостями на набережной Вольтера приобрел волшебный талисман Рафаэль, главный персонаж романа О. де Бальзака «Шагреневая кожа» (1830–1831). Набережная Вольтера (в прошлом — часть набережной Маллаке) получила свое название в 1791 г. после того, как прах Вольтера был перенесен в Пантеон. Вскоре она стала знаменита скоплением лавок, прежде всего букинистических, антикварных и торгующих предметами искусства, что нашло отражение в литературе XIX – нач. XX в. (напр., П.-А. Понсон дю Террайль «Похождения Рокамболя», 1858–1859; Г. Флобер «Воспитание чувств», 1869; Г. Леру «Роковое кресло», 1909, и др.)

[66] *...как красавица на великолепном портрете Энгра...* — См. примеч. 28.

[67] *...глаза слипались от золотой пыли...* — По распространенному в Западной Европе поверью, золотой пылью (или песком) Песочный человек (своего рода «народный» вариант мифологического Морфея – древнегреческого бога сновидений) посыпает глаза тех, кому он хочет послать сны.

[68] *...мечтают сделать из вас пэра Франции...* — Изначально во Франции было лишь двенадцать пэров: шесть церковных и шесть светских. Все они имели привилегию быть судимыми только судом пэров, взамен же приносили оммаж королю Франции, у которого находились в ленной зависимости. С 1180 г. пэры начали участвовать в церемонии коронации короля Франции. Однако со становлением абсолютизма институт пэрства постепенно утратил былое значение, в частности, король мог своей милостью произвести в пэры Франции даже простого дворянина, «привязав» его к уже существующему владению-пэрству или возведя его земли в пэрство. С этого момента пэрство стало преимущественно почетным титулом. В 1814 г. Людовик XVIII создал палату пэров по английскому образцу. После июльской революции 1830 г. Луи-Филипп (1773–1850, король французов в 1830–1848 гг.) сохранил палату пэров, но отменил закон о передаче пэрства по наследству.

[69] *Трастевере* — бедный густонаселенный район в Риме на правой стороне Тибра.

[70] *Арака* (арак) — крепкий алкогольный напиток из сока кокосовой или финиковой пальмы, а также из сахарного тростника, риса, изюма и т. п., изготовляемый на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

[71] *...отправился обедать с Великим Моголом...* — Великие Моголы — европейское название тюркской династии правителей так называемой Могольской империи — государства, располагавшегося на территории современной Северной Индии, Пакистана и южного Афганистана в XVI—XIX вв. Основатель династии Захиреддин Мухаммед Бабур из рода Тимуридов (1483—1530, падишах Могольской империи с 1526 г.) происходил из Моголистана, как в то время назывались территория Средней и Центральной Азии, — отсюда возникло название династии «Моголы» (*инд.* Mughal). Формально Великие Моголы продолжали считаться правителями Индии до сер. XIX в., однако уже к нач. 19-го столетия страна фактически находилась под господством английской Ост-Индской компании (см. примеч. 7 к гл. XII «Двое на двое»). Наконец, в 1858 г. английские колониальные власти объявили об упразднении династии и переходе Индии под прямое управление английской короны. Последним представителем династии Великих Моголов стал Бахадур-шах II (1775—1862, падишах Индии в 1837—1857 гг.).

[72] *Пресвитер Иоанн* — легендарный царь могущественного христианского царства на Востоке, которое в разное время локализовали в Индии, Китае, Средней Азии и Эфиопии. Легенда о пресвитере Иоанне возникла в сер. XII в. и быстро распространилась среди европейских народов, участвовавших в крестовых походах, а также среди турок, монголов, персов, арабов, индийцев, китайцев и армян. Первое упоминание о нем встречается в 1145 г. в «Хронике» Оттона Фрейзингенского (ок. 1114—1158), из которой оно перешло в другие хроники. В основе легенды лежало «Письмо Пресвитера Иоанна», подлинность которого в настоящее время подвергается сомнению. Оно было адресовано предположительно Мануилу I Комнину (1123?—1180, византийский император с 1143 г.) королем Индии пресвитером Иоанном и подробно описывало чудеса и богатства далекого царства. «Письмо» появилось ок. 1165 г. в Византии, в скором времени было переведено на несколько языков и получило хождение по Европе. Толчком к зарождению легенды послужило, по всей видимости, распространение несторианства среди народов Средней Азии, засвидетельствованное сирийским церковным деятелем и ученым Абу-ль-Фараджем ибн Харуном аль-Малати (по прозвищу Ибн-аль-Ибри, Bar-Hebraeus; 1226—1286) в сочинении «Хроника» (т. 2), посвященном истории сирийской Церкви. Легендарный же элемент сказания о цветущем царстве, полном всех благ, и о царе-первосвященнике, защищающем христиан от неверных, связан был с угнетением восточных христиан турками и сарацинами. Изначально считалось, что государство пресвитера Иоанна находилось в Индии, чему способствовали апокриф о путешествии в Индию апостола Фомы (так наз. «Деяния апостола Фомы») и слухи о существовании там христианских общин. Таким образом, пресвитер Иоанн считался наследником апостола Фомы на Востоке. С падением в 1291 г. Акры, последнего оплота крестоносцев в Палестине, слухи о пресвитере Иоанне на время утихли, но с появлением армии Чингисхана (ок. 1155—1227, великий хан Монгольской империи с 1206 г.) в Персии и Армении возродились вновь. Монгольского хана долгое время считали пресвитером Иоанном, а монголов — христианами. Когда же прибывшие в 1245—1246 гг. и 1253—1255 гг. в Каракорум католические миссионеры убедились в ошибочности подобных суждений, поиски легендарного правителя возобновились. Так, Дж. да Плано Карпини (1182—1252) локализовал местоположение царства пресвитера Иоанна в Индии (см.: История монгалов.

V. I. 7); В. де Рубрук (1215/1229–1293) считал пресвитера Иоанна государем разбитых Чингисханом кара-киданей (см.: Путешествие в восточные страны. 19, 30); Марко Поло (1254–1524) же утверждал, что нашел потомков прославленного царя в лице монгольских князьков, несториан, кочевавших в стране Тянь-дэ, или Тендух, в Ордосе (см.: Книга о разнообразии мира. I. LXXIV). В сер. XIV в. поиски царства легендарного правителя были перенесены в Эфиопию, бóльшая часть жителей которой принадлежала к христианству.

Глава II

[1] *...временные алтари на празднике Тела Господня.* — Праздник Тела Господня (Corpus Christi) — литургическое празднество Католической Церкви. Отмечается ежегодно в четверг, следующий за днем Святой Троицы. Основная идея праздника — напоминание о сущности католического догмата причастия (Евхаристии). Праздник возник в сер. XIII в. в Льежской епархии, находившейся на территории современной Бельгии, и первоначально был местным. Позднее, в 1264 г., Папа Урбан IV (ок. 1200–1264, Римский Папа с 1261 г.) сделал этот праздник общецерковным, постановление Урбана IV впоследствии было утверждено Венским собором в 1311 г. Главную принадлежность праздника составляла торжественная процессия по улицам города во главе со священнослужителями, несущими дароносицу, а также праздничная месса в соборах. Шествие по улицам города призвано было подчеркнуть, что праздник Тела Господня являлся не только церковным, но и общегородским праздником. Проведение праздника оплачивали муниципальные власти. В частности, они заключали контракты с мастерами и художниками, которые сооружали на улицах пышно и богато украшенные временные алтари, сверкавшие драгоценностями, серебром и золотом.

[2] *...тибетской шерстью... драгоценным руном... за которым Ясон отправился в далекий путь на своем «Арго».* — Тибетская шерсть — высококачественная шерсть обитающих в Тибете маленьких горных коз, из которой прядется крепкая тончайшая нить, использующаяся главным образом для изготовления дорогостоящих шалей. Ткань из тибетской шерсти, «тибет», похожа на кашемир — дорогую ткань, производящуюся из подшерстка горных коз в индийской провинции Кашмир (именно эта ткань пошла на шторы в спальне Мюзидоры). Готье сравнивает тибетскую шерсть с золотым руном — золотой шкурой волшебного барана, за которой, согласно мифам, древнегреческий герой Ясон вместе с другими прославленными мужами Эллады плавал в Колхиду на корабле «Арго». Чтобы добыть руно, Ясону со спутниками пришлось пройти через множество испытаний и совершить ряд подвигов.

[3] *Кружево англетер* — вид брюссельского плетеного кружева. В кон. XVII — нач. XVIII в. главным центром производства кружев во Фландрии был Брюссель; изготовлявшиеся там плетеные кружева с изящным растительным орнаментом на тюлевом фоне были известны во всех странах Европы. Название «англетер» (от *фр.* Angleterre — Англия) кружево получило в связи с тем, что во второй пол. XVII в. английский парламент в целях поощрения местного производства запретил ввоз в Британию фламандских кружев. Однако, поскольку фламандские кружева считались лучше английских и пользовались неизменно высоким спросом, купцы стали

прибегать к хитрости: они тайно ввозили брюссельское кружево и продавали его под видом английского.

[4] *Наяда.* – В древнегреческой мифологии наядами назывались нимфы источников, ручьев и родников.

[5] *Масулипатнам* (Мачхалипаттанам) – город в Индии, расположенный на берегу Бенгальского залива. В Средние века был известен как Бандар и являлся одним из портов княжества Голконда (см. примеч. 12 к гл. VIII «Аватары»). С сер. XVIII в. вплоть до нач. XX в. город принадлежал Франции. Масулипатнам с давних времен славился расписными тканями.

[6] *Гелиогабал* (Элагабал, наст. имя Варий Авит Бассиан; 204–222) – римский император из династии Северов, правивший с 218 г. под именем Цезаря Марка Аврелия Антонина Августа. Являясь жрецом сирийского бога солнца Элагабала (отсюда происходит имя императора в историографии), пытался ввести Элагабала в официальный римский пантеон в качестве верховного божества, а также установить в Риме оргиастические обряды, связанные с культом этого бога. Вошел в историю своей распущенностью, жестокостью и расточительностью.

[7] *Сеген* Арман (1765–1835) – французский химик и промышленник, владелец нескольких кожевенных заводов, поставщик республиканской армии, впоследствии банкир Наполеона в эпоху Консульства (1799–1804 гг.), конкурент знаменитого финансиста Г.-Ж. Уврара (1770–1846). Прославился своей эксцентричностью, в частности, странными и непомерными расходами: «он швырял деньгами, оригинальничал, безобразничал, катался по Парижу в роскошном экипаже, но одетый в халат, устраивал великолепные приемы и выходил к гостям в домашних туфлях; задавал в своем поместье (в Жуи) ночные празднества с фейерверками и распоряжался, чтобы искры от фейерверка летели в лицо гостям; те в панике разбегались и при этом падали в ямы, прикрытые сверху листьями. Его дом был полон редчайших картин, убран с неслыханной роскошью; в конюшнях стояло сорок лошадей; он собирал драгоценнейшие скрипки Страдивариуса и, по-видимому, просто не знал, куда и на что выбрасывать деньги. Все это проделывалось на глазах люто голодавшей столичной бедноты» (*Тарле Е.В.* Жерминаль и прериаль // Тарле Е.В. Собрание сочинений: В 12 т. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 6. С. 345).

[8] *...замочные скважины и задвижки из ирландского хрусталя.* – Период кон. XVIII – первой трети XIX в. стал временем расцвета художественного стеклоделия в Ирландии. К нач. 19-го столетия изделия ирландских мастеров-стеклодувов завоевали известность далеко за пределами Британских островов и были чрезвычайно востребованы в материковой Европе. Причины стремительного развития производства художественного стекла в Ирландии носили преимущественно экономический характер. Так, в 1745 г. в Великобритании был издан новый закон о налогообложении стекольной продукции пропорционально ее весу, грозивший серьезными финансовыми потерями фабрикантам. Налоговое бремя послужило стимулом к разработке различных способов, позволявших сделать изделия из тяжелого свинцового стекла легче, в частности, к совершенствованию приемов шлифования и резьбы, созданию алмазной грани и т. п. Вместе с тем ужесточение налогообложения привело к значительным изменениям в организации стеклоделия и его географии. Центры стекольного производства постепенно стали перемещаться на северо-запад, в Ирландию, где с 1780 г. были отменены введенные ранее налоговые и торговые ограничения на производство и сбыт хрусталя. Это придало новый им-

пульс развитию стеклоделия в Ирландии, ранее существовавшего здесь лишь эпизодически. Так, в кон. XVIII в. появились стекольные заводы в Тироне, Дублине, Корке и др. Однако наибольшую известность приобрел хрустальный завод в Уотерфорде, основанный в 1783 г. братьями Джорджем и Уильямом Пенроузами. Уникальный (благодаря чрезвычайно высокому содержанию окиси свинца) по чистоте, прозрачности и блеску хрусталь со сложным резным узором, изготовлявшийся в Уотерфорде, широко экспортировался на рубеже XVIII—XIX вв. на материк, где пользовался необычайным спросом. Высокое качество ирландского хрусталя составило столь сильную конкуренцию изделиям английских мастеров, что в 1810 г. английскому парламенту пришлось принять акт, запрещавший экспорт ирландского художественного стекла, а позднее, в 1825 г., ввести в Ирландии налогообложение стекольной продукции пропорционально ее весу, чтобы уравнять условия изготовления ирландского хрусталя с английским. Все это привело к тому, что после 1825 г. производство хрусталя в Ирландии начало стремительно сокращаться, а к сер. XIX в. большинство ирландских стекольных заводов было закрыто.

[9] *...этрусская лампа из красной глины, по форме полностью повторяющая античный оригинал.* — Этруски — древние племена, населявшие в 1-м тыс. до н. э. область на северо-западе Апеннинского полуострова, называвшуюся в древности Этрурией (современная Тоскана). Большое влияние на этрусскую керамику, как и на некоторые другие виды искусств и ремесел, оказали произведения древнегреческих мастеров. Археологические раскопки в южной Этрурии развернулись в 1828 г., поэтому в XIX в. предметы домашней утвари этрусков порой становились украшением богатых домов и изысканными подарками (как, к примеру, в новелле П. Мериме «Этрусская ваза», 1830).

[10] *...по образцу софы Кребийона-сына...* — Имеется в виду софа из одноименного романа (1742) французского новеллиста и романиста Клода Проспера Жолио де Кребийона (1707—1777), более известного как Кребийон-сын. Писатель не дает в романе точного описания софы как предмета мебели. Готье, по всей видимости, намекает на то, что душе принца Аманзея, одного из главных персонажей романа «Софа», было бы на что посмотреть, если бы она переселилась в софу Мюзидоры. См. также примеч. 6 к гл. XVII «Жана и Жанетты».

[11] *Британская кошка.* — Несмотря на то что первые кошки были завезены в Британию в I в. из Египта, Малой Азии, Греции и Рима, современная порода британской короткошерстной кошки, отличающейся плотной, густой, плюшевой шерстью, была выведена в Англии только в 1880-е годы, как и ее подвид — британская длинношерстная кошка. Британскую кошку часто считают результатом скрещивания домашней английской кошки и кошки персидской породы. Однако сходство британской породы кошек с так называемой французской картезианской, или шартрезской, кошкой, по одной из версий выведенной еще в 16-м столетии в монастыре Шартрез на юго-востоке Франции (не случайно эта кошка упоминается в произведении Ж. Дю Белле «Эпитафия кошке», 1558), позволяло некоторым любителям кошек считать названия «британская» и «шартрезская» синонимами, обозначающими одну и ту же породу, а ряду специалистов — предполагать участие картезианской кошки в выведении породы. Именно шартрезскую кошку, вероятно, имеет в виду Готье, поскольку и события его новеллы, и время ее написания относятся к периоду, предшествовавшему официальной регистрации британской породы кошек в 1898 г.

Глава III

[1] *...достойному льва Андрокла...* — По рассказам Авла Геллия (ок. 120—180) и Клавдия Элиана (ок. 175 — ок. 235), Андрокл был рабом римского проконсула в Африке, бежавшим от жестокости господина в Ливийскую пустыню, где встретил льва, занозившего себе лапу и сильно хромавшего. Андрокл не побоялся вынуть из его лапы занозу, и в благодарность лев стал верным другом Андроклу и делился с ним своей добычей. Позднее Андрокл был схвачен и отправлен в Рим; та же участь постигла льва. Обоим предстояло сразиться на арене римского цирка. Но, ко всеобщему удивлению, лев не бросился на Андрокла, а стал ласкаться к нему, узнав своего благодетеля. Пораженный этим странным зрелищем, римский император подарил невольнику свободу, а вместе с нею и льва. Впоследствии Андрокл водил льва по городу и собирал щедрые подаяния (см.: *Авл Геллий*. Аттические ночи. V. 14; *Клавдий Элиан*. О природе животных. VII. 48). Сенека-младший также упоминает о льве, который, узнав в одном из бестиариев своего прежнего хозяина, защищал его от нападения других зверей (см.: О благодеяниях. II. 19).

[2] *...паука Пелиссона...* — Поль Пелиссон-Фонтанье (1624—1693) — французский писатель, поэт-сатирик, секретарь генерального контролера финансов Н. Фуке (1615—1680), впоследствии королевский историограф. Опала Фуке в 1661 г. привела к аресту и тюремному заключению Пелиссона. По рассказам современников, во время пребывания в Бастилии (1661—1665 гг.) Пелиссон приручил жившего в камере паука: общение с этим животным, обычно вызывающим неприятные чувства, приносило узнику большую радость и скрашивало заточение.

[3] *...собаки из Монтаржи...* — Аллюзия на французскую средневековую легенду о рыцаре Обри де Мондилье, жившем в XIV в. и вероломно убитом рыцарем Ричардом де Макером в лесу Бонди близ Монтаржи. Злодеяние де Макера осталось бы нераскрытым, если бы не борзая убитого. Своими неустанными попытками расправиться с де Макером собака возбудила в короле Карле V (1338—1380, король Франции с 1364 г.) и у его приближенных подозрение, что преследуемый ею рыцарь повинен в смерти де Мондилье. По приказу короля Карла V между собакой и де Макером устроили поединок, в результате которого убийца был повержен. Он признался в своем преступлении и был предан казни.

[4] *Алебастр* — минерал молочно-белого цвета, мелкозернистая разновидность гипса.

[5] *Набоб* — титул наместника провинции Могольской империи в XVII в.; с началом распада империи в первой пол. XVIII в. многие набобы стали фактически независимыми князьями. В переносном значении в Великобритании и Франции со второй пол. 18-го столетия набобами называли людей, наживших состояние в колониях, прежде всего в Индии. Впоследствии слово «набоб» превратилось в иносказательное обозначение быстро разбогатевшего человека, выскочки, ведущего праздный, расточительный или экстравагантный образ жизни.

[6] *...филантропам, раздающим бесплатный суп бедным...* — Имеется в виду Румфордов суп — дешевый суп из костей, крови, картофеля и др. недорогих питательных веществ, который был придуман Бенжамином Томпсоном, графом Румфордом (1753—1814) — ученым и изобретателем американского происхождения, в

молодые годы поступившим на службу к британскому правительству и переселившимся в Лондон. Создавая в 1790-х годах суп для питания бедняков и солдат, получивший впоследствии название Румфордова супа, граф преследовал цель не только сделать привычным для европейцев употребление в пищу картофеля, завезенного из Америки, но и найти способ приготовления одновременно полезного, сытного и дешевого блюда (по этой причине изобретателя иногда называют основателем диетологии). В 1802 г. Румфорд переехал во Францию, что, помимо других факторов, способствовало распространению придуманного им супа и в этой стране.

[7] *...купить рекрута... если их призовут в армию.* — Закон о «заместительстве», позволявший призывнику заплатить уже отслужившему свой срок солдату, чтобы последний вновь пошел служить в армию вместо призывника, был введен Наполеоном Бонапартом в 1800 г. Наполеон не слишком высоко ценил новобранцев, предпочитая опытных ветеранов. Этот закон сохранился и в эпоху Реставрации, но уже по причине того, что добровольческий энтузиазм службы в армии в посленаполеоновскую эпоху иссяк. Закон был отменен только в 1855 г.

[8] *...генерал Империи...* — То есть военный, ставший генералом во время наполеоновских войн периода Империи (1804—1814 гг., 1815 г.).

[9] *Черная Мадонна* — распространенное в средневековой Европе скульптурное изображение темнокожей Богоматери с младенцем, чаще всего вырезанное из эбенового или другой породы темного дерева. Известны также, хотя и в гораздо меньшем количестве, изображения Черной Мадонны на фресках и иконах. Скульптуры Черных Мадонн существуют во многих европейских странах, в частности, больше всего подобных изображений Богоматери находится во Франции (около трехсот). Однако одна из самых знаменитых статуй, по преданию, вырезанная святым Лукой, хранится в испанском монастыре Монсеррат и является главным предметом паломничества.

[10] *Но как прикажете писать без отступлений и вставных эпизодов?* — Авторский курсив подчеркивает ироническое отношение Готье к возникшей еще в XVII—XVIII вв. и сохранившейся в романах XIX в. моде на вставные новеллы и авторские отступления, использование которых порой объяснялось не художественной необходимостью, а тем, что гонорары писателей напрямую зависели от объема книги.

Глава IV

[1] *Форейтор* — верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных цугом.

[2] *...я развяжу гордиев узел, и мне не понадобится меч, как этому громиле Александру!* — Согласно древнегреческой легенде, когда фригийцы, лишившись царя, обратились за советом к оракулу, тот приказал им избрать новым царем первого, кого они встретят едущим к храму Зевса на повозке. Этим человеком оказался простой землепашец Гордий. Став царем, Гордий основал столицу Фригии, названную его именем, а в цитадели города поместил повозку, которой был обязан своей властью, и привязал к ее дышлу сложным узлом ярмо. По предсказанию оракула, развязавший этот узел («гордиев узел») должен был стать властителем всей Азии. Как сообщают античные биографы Александра Македонского (356—323 до н. э., царь Ма-

кедонии с 336 г. до н. э.), Квинт Курций Руф (I в.), Плутарх (ок. 46 – ок. 127) и Флавий Арриан (ок. 95 – вторая пол. II в.), великий полководец не стал распутывать узел – он просто рассек его мечом (см.: *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания. Александр. 18; *Арриан.* Поход Александра. II. 3; *Квинт Курций Руф.* История Александра Македонского. III. I. 1, 14–18).

[3] *Хризопраз* – минерал, разновидность халцедона, полудрагоценный камень зеленой окраски (от изумрудно-зеленой до травяно- и яблочно-зеленой). Считалось, что хризопраз приносит удачу. Вошел в моду с кон. XVIII в. благодаря Фридриху II (1712–1786, король Пруссии с 1740 г.), который постоянно носил перстень с хризопразом и даже украсил этим камнем свою корону. Ювелиры XIX в. любили сочетать хризопраз с алмазами и другими прозрачными драгоценными камнями, например, с топазами.

[4] *Пандора... открыла ящик и... выпустила на волю все зимние бедствия и болезни.* – Аллюзия на древнегреческий миф о Пандоре – первой женщине, созданной по воле Зевса Афиной и Гефестом в наказание людям, которые получили в дар от Прометея похищенный с Олимпа огонь. Боги наделили Пандору как красотой, так и множеством пороков, одним из которых было любопытство. Несмотря на запрет Зевса, она открыла врученный ей богами ларец (по другой версии сосуд), в который были заключены все людские пороки и несчастья, и по земле расползлись болезни и бедствия. Только надежда осталась на дне ларца, так как Пандора поспешила захлопнуть его крышку.

[5] *...Pavetta indica, которую описал доктор Румфиус в... «Hortus malabaricus».* – Имеется в виду паветта индийская, или ангсока, – произрастающий в Юго-Восточной Азии вечнозеленый полукустарник семейства мареновых (Rubiaceae) с красивыми цветами, источающими сильный аромат. Румфиус (этим именем Готье впоследствии назовет одного из главных персонажей «Романа о мумии») – латинизированная форма имени голландского натуралиста Георга Эберхарда Румпфа (1627–1702). Готье допускает неточность: Румпф упоминал ангсоку в своем шеститомном сочинении «Амбонский гербарий» («Herbarium Amboinense», опубл. 1741–1755), в то время как двенадцатитомный труд «Индийские садовые культуры Малабара» («Hortus indicus malabaricus», опубл. 1678–1703) принадлежал голландскому натуралисту и губернатору Кочина в 1670–1677 гг. Хенрику Адриану ван Рееде тот Дракенстейну (1636–1691). Именно ван Рееде впервые описал указанное растение.

[6] *...косичку... с обоих концов которой свисали просверленные золотые цехины.* – Цехин – старинная золотая монета весом ок. 3,5 г, чеканившаяся в Венеции в 1284–1797 гг. С сер. XVI в. цехины стали чеканиться также в ряде европейских государств под названием дукатов. Эти монеты часто использовались женщинами для украшения причесок и одежды, к примеру, цехины вплетала в косы Эсмеральда – персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831).

Глава V

[1] *...из благородного предместья...* – Имеется в виду парижский квартал Фобур Сен-Жермен, или Сен-Жерменское предместье, – район частных особняков, в котором традиционно проживали французские аристократы и банкиры. Располагался на левом берегу Сены, в 7-м (до 1860 г. – 10-м) округе Парижа.

Глава VI

[1] *Гризайль* (от фр. gris – серый) – вид декоративной живописи, выполненной в разных оттенках какого-либо одного цвета (чаще серого). Техника гризайль, начавшая применяться с XVII в., была широко распространена в росписях интерьеров классицизма, главным образом как имитация скульптурных рельефов, а также использовалась в гравюрах.

[2] *...сюжеты – о Диане и Каллисто, Салмакиде и Гермафродите, захваченной нимфами Гиласе, застигнутой врасплох лебедем Леде...* – Готье упоминает сюжеты древнегреческой мифологии, повествующие в той или иной форме о любовных превращениях. Так, согласно мифам, Зевс (которому в древнеримском пантеоне соответствовал Юпитер) принял облик Артемиды (почитавшейся в Древнем Риме под именем Дианы), чтобы обольстить спутницу богини, нимфу Каллисто, впоследствии обращенную в медведицу разгневанной Артемидой (по другим версиям мифа Зевсом, желавшим спасти возлюбленную от мести Геры, или ревнивой Герой). Нимфа Салмакида, которой прекрасный Гермафродит, сын Гермеса и Афродиты, не ответил взаимностью, упросила богов соединить ее с возлюбленным в одно существо. Спутник и оруженосец Геракла Гилас во время похода аргонавтов за золотым руном был похищен плененными красотой юноши наядами, которые превратили его в эхо. Воспылавший страстью к Леде, супруге спартанского царя Тиндарея, Зевс соблазнил ее в образе лебедя. Все эти мифы позднее были описаны древнеримским поэтом Овидием (43 до н. э. – ок. 18 н. э.) в «Метаморфозах» (2–8 н. э.). Разделяя вместе с другими романтиками интерес к поэзии Овидия, Готье часто обращался к мифологическим мотивам, почерпнутым из «Метаморфоз» (об этом см.: *Ubersfeld A.* Théophile Gautier ou le regard de Pygmalion // Romantisme. 1989. № 66. P. 51–59).

[3] *Мадрепоры* – мадрепоровые кораллы (Madreporaria), отряд морских книдарий класса коралловых полипов, преимущественно колониальные, прикрепленные к морскому дну животные с развитым наружным известковым скелетом. Вместе с мшанками, моллюсками, известковыми водорослями и некоторыми другими морскими организмами образуют мощные поселения, называемые коралловыми рифами. Обитают во всех океанах, кроме Арктики.

[4] *Ундина* – в фольклоре германских и прибалтийских народов женский дух воды, русалка. По поверьям, ундины принимают облик прекрасных девушек (иногда с рыбьими хвостами), которые выходят из воды и расчесывают свои волосы, пением и красотой завлекая путников в глубины. Писатели-романтики часто обращались к легендам об ундинах. Прекрасный пример тому повесть немецкого писателя Ф. де ла Мотт Фуке (1777–1843) «Ундина» (1811), послужившая основой для либретто к одноименной опере Э.-Т.-А. Гофмана (1776–1822), премьера которой состоялась 3 августа 1816 г. в Королевском Национальном театре в Берлине. В России повесть получила известность благодаря стихотворному переводу, выполненному в 1831–1836 гг. В.А. Жуковским (1783–1852).

[5] *...он невидим, точь-в-точь как восточный царь...* – Имеется в виду царь Лидии Гигес (кон. VIII – первая пол. VII в. до н. э.), которому, по легенде, принадлежало волшебное кольцо, обладавшее способностью делать невидимым того, кто его носит. Легенда о кольце Гигеса впервые была рассказана Платоном (см.: Государство. II. 359d–360a; X. 612b). См. также примеч. 23 и 41 к гл. I «Царя Кандавла».

[6] *Коллеж де Франс* – одно из старейших научно-исследовательских и учебных учреждений Франции, основанное в 1530 г. Франциском I (1494–1547, король Франции с 1515 г.), первый светский французский университет со свободным посещением лекций. С момента возникновения он опирался на принципы свободы, публичности, общедоступности образования и бесплатного обучения. Являясь учреждением, чуждым практических целей, Коллеж де Франс не выдавал дипломов. В первой пол. XIX в. здесь изучались прежде всего древние (в частности, древнегреческий, латынь, санскрит, древнееврейский) и восточные языки (китайский, арабский, турецкий, персидский, сирийский, арамейский, татарский и монгольский).

[7] *Сильфида.* – В кельтской и германской мифологии, а также в средневековом фольклоре многих европейских народов часто фигурируют сильфы – легкие, подвижные существа, олицетворяющие стихию воздуха. Слово «сильф» («sylphe») вошло во французский язык благодаря трудам знаменитого врача, естествоиспытателя и алхимика Парацельса (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493–1541), который называл сильфами крылатых духов воздуха, сочетающих в себе, подобно другим стихийным духам, материальное и духовное начала (напр., в «Книге о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах, гигантах и прочих духах», 1566). Однако создание женского варианта сильфа, введение образа сильфиды по праву считается заслугой аббата Н. Монфокона де Виллара (1635–1673), автора книги «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках» (1670). Эта книга, много раз переиздававшаяся во Франции, переведенная, в частности, на английский (1680 г.), немецкий (1684 г.) и итальянский (1691 г.) языки, была популярна не только в XVIII в., но стала также источником сказочно-фольклорных мотивов для романтиков. О различных вариантах сюжетов о сильфиде в литературе и музыке XIX в. см.: *Roulin J.-M.* La Sylphide, rêve romantique // Romantisme. 1987. № 58. P. 23–38.

[8] *Валансьенское кружево* (валансьен) – тип тонкого кружева, первоначально изготовлявшийся во французском городе Валансьене (отсюда происходит название кружева), а затем и за его пределами (преимущественно во Фландрии). Прочное кружево с плоским растительным орнаментом на тюлевом фоне. Особенностью валансьенского кружева стала сетка фона, которая плелась одновременно с узором, благодаря чему кружево получалось однородным по текстуре и прекрасно подходило для отделки как белья, так и верхнего платья.

[9] *Зеркало-псише* – большое напольное зеркало в прямоугольной или овальной раме, закрепленной шарнирами между стойками таким образом, чтобы его можно было устанавливать в наклонном положении. Зеркала-псише появились в кон. XVIII в. и получили широкое распространение в эпоху Империи, став одним из элементов ампирного убранства комнат.

[10] *Венецианская баута.* – Имеется в виду черная венецианская накидка с широким капюшоном, вошедшая в моду во Франции в эпоху романтизма.

[11] *Гагат* – черный поделочный камень со смолистым блеском, разновидность каменного угля.

[12] *Митенки* – женские перчатки без отделений для пальцев, удерживающиеся на кистях рук за счет плотного облегания и с помощью перемычек между пальцами.

[13] *...столь же важно, как знать точную дату смерти фараона Аменхотепа.* – Ироническая аллюзия на страстный интерес к истории и культуре Египта, который вспыхнул в научной и околонаучной среде Франции после египетской кампании

Наполеона 1798–1801 гг. и особенно после открытий, сделанных Ж.-Ф. Шампольоном (1790–1832) и другими египтологами в 1820-х годах. С этого времени египтология была провозглашена «французской наукой» и любые изыскания в этой области широко поддерживались государством (см., напр. *Gady E.* Les égyptologues français au XIX siècle: quelques savants très influents // Revue d'histoire au XIX siècle. 2006. № 32. P. 41–62). См. также примеч. 7–11 к Прологу «Романа о мумии».

Глава VII

[1] *Грум* – слуга, верхом сопровождающий всадника или едущий на козлах либо на запятках экипажа.

[2] *Лопасти* – крылья чепчика: длинные оборки, ниспадающие по бокам чепца и закрывающие шею и щеки.

[3] *Медуза* Горгона – персонаж древнегреческой мифологии, младшая из трех сестер Горгон, чудовищных порождений морских божеств Форкия и Кето. Как и ее старшие, бессмертные сестры, Медуза отличалась ужасным видом: она была крылатой, покрытой чешуей, со змеями вместо волос, с клыками и с ужасным взором, превращавшим всё живое в камень. В античном искусстве Медуза традиционно изображалась в виде женщины с извивающимися на голове змеями и кабаньими клыками вместо зубов.

[4] *Прусская охра.* – Имеется в виду берлинская, или прусская, красная краска – жженая охра.

[5] *Утрехтский бархат* (трип) – разновидность дорогой бархатной ткани (т. е. с ворсом на лицевой стороне) из шерстяной пряжи, получившая название по провинции Утрехт в Нидерландах и пользовавшаяся большой популярностью в XVIII в. Шерстяной бархат использовался для верхней одежды, шляп, а также обивки мебели и экипажей.

[6] *Бисквит* – белый, матовый, не покрытый глазурью фарфор. С сер. XVIII в. бисквит использовался для изготовления настольных скульптурных фигур и групп. Одни из лучших статуэток и скульптурных композиций из бисквита выпускались на фарфоровом заводе в Севре (см. примеч. 18 к гл. I) по моделям Л.-С. Буазо (1743–1809), Ж.-Б. Деферне (1729–1783) и Э.-М. Фальконе (1716–1791).

[7] *Кун Фу-цзы* – приближенная к китайскому произношению транскрипция имени Конфуция (552/551–479 до н. э.), великого китайского философа, основоположника конфуцианства.

[8] *...«Трактату о разведении тутового шелкопряда».* – В кон. XVIII – нач. XIX в. во Франции началось стремительное развитие производства шелковых тканей, а также бурный рост шелководства. В этой связи было опубликовано множество работ о разведении тутового шелкопряда, в том числе и книга французского натуралиста Пьера Буатара (1789–1859) «Трактат о выращивании тутовых деревьев и разведении шелкопряда» (1828).

[9] *...китайский алфавит насчитывает сорок тысяч знаков...* – Именно такое число распространенных китайских иероглифов обычно называлось в работах европейских синологов первой пол. XIX в.

[10] *Лакричный сок* – сок корня солодки, жидкость темно-коричневого цвета с характерным сладковатым запахом.

[11] *Хугли* — река на востоке Индии, западный рукав дельты Ганга, образуется слиянием рукавов Бхагиратхи и Джаланги, впадает в Бенгальский залив Индийского океана. На берегу Хугли расположена, в частности, Калькутта.

[12] *...величественной пагоде Джаггернаута...* — Имеется в виду известный индуистский храм XII в. в индийском городе Пури, посвященный Джаганнатхе — одному из воплощений Вишну в виде Кришны в индуизме (Джаггернаут — искаженная форма имени божества; см. примеч. 7 к гл. IV «Аватары»). Храм был подробно описан, в частности, французским путешественником и писателем Б. де Сен-Пьером (1737–1814) в неоднократно переиздававшейся повести «Индейская хижина» (1790). Главное здание и ворота храма имеют форму пагоды.

[13] *Баядерки* (баядеры) — европейское название индийских профессиональных танцовщиц, участвовавших в религиозных церемониях или общественных увеселениях. Образ баядерки часто использовался европейскими художниками XVIII–XIX вв., прекрасный пример тому — знаменитая баллада И.-В. Гёте «Бог и баядера» (1797).

[14] *Как снег над зыбями морскими ~ И в восхищении умру. — Пер. М. Квятковской.* Стихотворение первоначально было опубликовано под названием «Фантом» во втором сборнике Готье «Пляски смерти» (1838), а позднее вошло под заглавием «Мотыльки» в сборник писателя, объединивший стихотворения разных лет («Poésies complètes», 1845).

[15] *Гарпократ* — в античной традиции имя Гор-па-херда, одной из ипостасей древнеегипетского бога Гора, олицетворявшей восходящее солнце и изображавшейся в виде мальчика с «локоном юности», держащего палец у рта. Древние греки истолковывали этот жест как знак молчания и почитали Гарпократа как бога безмолвия.

[16] *Кольцо Гигеса.* — См. примеч. 5 к гл. VI.

Глава VIII

[1] *Поперли.* — В оригинале Готье использует слово из воровского арго «*effaroucher*» (*фр.* — вспугнуть).

Глава IX

[1] *...вдохновить художника на чудесный каприз.* — Имеется в виду каприччио, или каприччо, — жанр изобразительного искусства, основополагающими принципами которого являются творческая свобода, прихотливость фантазии и новизна мысли художника. Чаще всего каприччио называют вымышленные пейзажи, где в пределах изобразительного пространства по воле художника причудливо переплетаются самые разнообразные мотивы, представляя в конечном итоге пейзажную фантазию (напр., Ф. Гварди «Архитектурная фантазия с разрушенной аркой», первая пол. 1780-х; «Архитектурная фантазия с двориком», первая пол. 1780-х; Дж.-П. Панини «Вид Форума в Риме», 1741; «Проповедь апостола», первая пол. XVIII в. и т. п.).

[2] *...Нестор и Приам...* — Имеются в виду персонажи древнегреческой мифологии, первый из которых был царем Пилоса, сыном Нелея, а второй — последним царем Трои, сыном Лаомедонта. У Гомера Нестор и Приам изображены мудрыми старцами, дожившими до преклонных лет (см., напр.: Илиада. II. 76—77; XXI. 526).

[3] *...растаяло бы даже ледяное сердце Ипполита.* — Ипполит — персонаж древнегреческой мифологии, сын афинского царя Тесея и царицы амазонок Антиопы (по другим версиям Ипполиты или Меланиппы). Презирал любовь и славился как охотник и почитатель богини девы-охотницы Артемиды, за что навлек на себя гнев Афродиты, внушившей мачехе Ипполита Федре преступную любовь к пасынку. Миф об Ипполите неоднократно использовался в литературе с древнейших времен, начиная с трагедий «Федра» Софокла (496—406 до н. э.) и «Ипполит» (428 до н. э.) Еврипида (ок. 480—406 до н. э.). См. также примеч. 8 к гл. XVIII «Жана и Жанетты».

Глава X

[1] *...она лежала на полу, подперев голову руками... поза ее... повторяла позу Марии Магдалины с картины Корреджо.* — Корреджо (наст. имя Антонио Аллегри; ок. 1489—1534), — итальянский художник периода Высокого Возрождения. Среди его работ есть также картина «Мария Магдалина» (1518—1519), в настоящее время находящаяся в Лувре. Однако поза, описанная Готье, изображена не на картине Корреджо, а на полотне другого итальянского художника — Франческо Фурини (1603—1646). «Мария Магдалина» (1630—1635) Фурини, хранящаяся в Музее истории искусств в Вене, являет собой яркий пример живописи барокко.

[2] *Гризетка* — молодая девушка не очень строгих нравственных правил, зарабатывавшая на жизнь трудом; литературный тип во французских романах 1830—1840-х годов.

[3] *Стипль-чез* (англ.) — скачки с препятствиями. В нач. 1830-х годов во Франции вновь стали популярными разного рода конные состязания. А поскольку увлечение скачками пришло из Великобритании, то вместе с интересом к конному спорту оно принесло целый пласт специальной лексики. Использованное Готье английское слово («steeple-chase») — яркая примета времени. В конце первой трети XIX в. французский светский лексикон пополнился многими английскими терминами и выражениями, связанными с конными видами спорта. Некоторым исключением стало лишь слово «жокей» («jockey»), которое проникло во французский язык еще в 18-м столетии, предположительно после успеха пьесы Л. де Буасси (1694—1758) «Скачки, или Жокеи» (1757).

[4] *Бьевра* — левый приток Сены, впадавший в нее возле современного моста Аустерлиц (в 1910 г. заключен в подземную трубу). На берегах Бьевры проводились скачки с препятствиями.

[5] *Тюильри* — дворец в Париже, служивший одной из резиденций французских королей. Был сооружен как часть комплекса Лувра в сер. XVI в. для Екатерины Медичи (1519—1589) по проекту архитектора Ф. Делорма (ок. 1510/1515—1570); неоднократно перестраивался, в частности, в 1660-е годы парк перед дворцом был перепланирован под руководством А. Ленотра (1613—1700). Дворец почти пол-

ностью сгорел в 1871 г. во время боев парижских коммунаров с версальцами, а дворцовый парк стал городским.

[6] *...основывать школы по методу Ланкастера...* – Джозеф Ланкастер (1776 или 1778–1838) – английский педагог. Одновременно с Э. Беллом (1753–1832) предложил так называемый метод взаимного обучения, легший в основу Белл-Ланкастерской системы обучения, в соответствии с которой старшие и более успевающие ученики под руководством учителя вели занятия с остальными учащимися. Первоначально система взаимного обучения применялась в Индии, где в то время находился Белл, однако уже в нач. XIX в. стала широко использоваться в ряде стран (США, Франции и Бельгии) как дешевый и быстрый способ распространения грамоты.

[7] *Пале-Рояль* – архитектурный ансамбль недалеко от Лувра, сооруженный в 1629–1636 гг. архитектором Ж. Лемерсье (1585–1654) по заказу кардинала А.-Ж. дю Плесси Ришельё (1585–1642), который завещал этот дворец Людовику XIII; впоследствии парижская резиденция герцогов Орлеанских. Ансамбль представляет собой парк четырехугольной формы, застроенный по периметру зданиями с одинаковыми фасадами, аркадами и галереями с модными магазинами и ресторанами. С XVIII в. – излюбленное место прогулок парижан.

[8] *Тартюф* – персонаж пьесы Мольера «Тартюф, или Обманщик» (пост. 1664, опубл. 1669), ханжа и лицемер.

[9] *Амадис* Галльский – персонаж цикла средневековых испанских рыцарских романов, из которых сохранился лишь четырехтомный роман Гарси Родригеса де Монтальво (ок. 1450 – ок. 1505) «Смелый и доблестный рыцарь Амадис, сын Периона Галльского и королевы Элисены», первые части коего появились в Сарагосе в 1508 г. Роман был переведен на французский язык в 40-х годах 16-го столетия и пользовался во Франции особенным успехом. Имя Амадиса Галльского неоднократно упоминается также в романе М. де Сервантеса «Дон-Кихот». Для англичан и французов имя Амадиса Галльского стало синонимом красноречивого и пылкого влюбленного.

[10] *Галаор* – персонаж средневековых испанских романов об Амадисе Галльском (см. примеч. 9), брат главного героя, отважный рыцарь, образец воинской доблести.

[11] *Ворота Майо* – западные ворота Парижа. От площади Звезды (современная площадь Шарля де Голля) до этих ворот вела дорога (ныне проспект Великой Армии) протяженностью 1,8 км, а сразу за воротами находилась северо-восточная окраина Булонского леса (см. примеч. 33 к гл. I).

Глава XI

[1] *Вердье* – владелец располагавшегося на улице Ришельё в центре Парижа модного магазина, где продавались трости и хлысты.

[2] *Елисейские поля* – проспект в центре Парижа между площадью Людовика XV (современная площадь Согласия) и площадью Звезды. В прошлом обширное заболоченное поле, на котором после его осушения архитектор А. Ленотр в 1667 г. разбил широкий проспект с грунтовым покрытием, усаженный по бокам деревьями. Проспект получил свое нынешнее название в 1709 г. До сер. XIX в. Елисейские

поля использовались преимущественно для прогулок верхом и в экипажах, позднее были застроены многоэтажными жилыми домами, особняками и магазинами.

[3] *Триумфальная арка на площади Карусель* — памятник архитектуры в центре Парижа между площадью Карусель и садом Тюильри. Построена в 1806—1808 гг. по приказанию Наполеона Бонапарта в память об одержанных французской армией победах 1805 г.

[4] *...Брадаманты и Марфизы...* — Имеются в виду персонажи поэм Маттео Марии Боярдо (1441—1494) «Влюбленный Орландо» (1495) и Лудовико Ариосто «Неистовый Орландо», девы-воительницы, обладавшие неслыханной силой и отвагой.

[5] *Ворота Отёй* — ворота у юго-восточной окраины Булонского леса (см. примеч. 33 к гл. I), расположенные в 5,5 км к югу от ворот Майо (см. примеч. 11 к гл. X).

[6] «*Кафе де Пари*» — один из самых знаменитых и модных парижских ресторанов, находившийся на углу Итальянского бульвара и улицы Тебу. Открыт в 1822 г. на первом этаже особняка, поменявшего нескольких владельцев, среди которых был, в частности, граф Николай Никитич Демидов (1773—1828), член знаменитой русской семьи промышленников и отец известного мецената Анатолия Николаевича Демидова (1812—1870), женившегося на племяннице Наполеона I. Кафе просуществовало вплоть до 1856 г.

Глава XII

[1] *Из статуи вышла женщина. Так в... древности навстречу юному пастуху неотразимой красоты, полученной в дар от Венеры... вышла... нимфа.* — Аллюзия на древнегреческий миф о Пигмалионе, легендарном царе Кипра, влюбившемся в созданную им статую прекрасной женщины и умолившем богиню Афродиту вдохнуть жизнь в изваяние. Неотразимой красотой богиня любви наградила другого героя древнегреческих мифов — Париса, присудившего Афродите победу в споре за право называться прекраснейшей (см. примеч. 11 к гл. I «Царя Кандавла»). Однако прежде чем он снискал благосклонность Афродиты, юный троянский царевич завоевал любовь нимфы Эноны, когда пас стада на склонах горы Иды.

[2] *...гадая: «Любит, не любит», как наивная Маргарита в саду госпожи Марты.* — Аллюзия на сцену из трагедии И.-В. Гёте «Фауст» (1808; Ч. I. Сц. 12: Сад), описывающую гадание Маргариты на астре.

[3] *Мессалина* Валерия (ок. 18—48) — третья жена императора Клавдия (10—54, римский император с 41 г.), известная своим распутством. Снискала репутацию не только сластолюбивой, но также коварной, властной и жестокой женщины.

[4] *...злым языкам удалось оклеветать даже Тиберия и Нерона.* — Клавдий Нерон Тиберий (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император с 14 г. н. э. В силу враждебного отношения к нему римских аристократов изображался античными историками преимущественно как тиран и лицемер. Подобную нелестную характеристику опровергли исследования ученых Нового времени. Клавдий Цезарь Нерон (37—68) — римский император с 54 г., который по традиции, берущей свое начало в сенаторских кругах, также описывался историками как жестокий тиран. Однако среди народа он пользовался любовью, не случайно в истории трижды зафиксировано появление Лже-Нерона.

[5] *Итальянские птички вылетели из золотой клетки...* — Имеются в виду артисты Итальянского театра (см. примеч. 5 к гл. I), которые с 1827 г. получили право играть в театре только с октября по май, а в остальное время могли покинуть «золотую клетку» и отправиться на гастроли по другим городам Европы.

[6] *...на представлении «Анны Болейн» или «Дон-Жуана».* — «Анна Болейн» — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797—1848). Итальянское либретто к опере создал Феличе Романи (1788—1865). Премьера оперы состоялась 26 декабря 1830 г. в театре Каркано в Милане. «Дон-Жуан, или Наказанный распутник» — опера, написанная австрийским композитором Вольфгангом Амадеем Моцартом (1756—1791) на либретто Лоренцо да Понте (наст. имя Эмануэле Конельяно; 1749—1838) и впервые поставленная в Театре графа Ностица (современный Сословный театр) в Праге 29 октября 1787 г. На сцене Итальянского театра в Париже творения Доницетти и Моцарта впервые были показаны в 1831 г. и 1811 г., соответственно.

[7] *...«О, святая простота!»* — По легенде, эту фразу (*лат.* «O, sancta simplicitas!») произнес чешский религиозный реформатор Ян Гус, когда увидел, как в его костер подложила вязанку дров некая пожилая женщина, верившая, что казнят опасного еретика. В 1414 г. Гус был схвачен и приговорен к казни как еретик, когда явился на церковный Собор в Констанце, где надеялся защитить свое учение в открытом споре. Однако, по утверждению историков христианства, это выражение впервые было употреблено на 1-м Вселенском соборе в Никее в 325 г. Стоит отметить, что в произведениях романтиков (напр., В. Гюго «Уильям Шекспир», 1864; Ж. Лафорг «Sancta simplicitas», 1886, и др.) приведенная фраза стала использоваться вслед за И.-В. Гёте, вложившим ее в уста Мефистофеля (см.: Фауст. Ч. I. Сц. 11: Улица).

[8] *...острижена под Тита.* — Тит Флавий Веспасиан (39—81) — римский император с 79 г. Прическа под Тита — коротко стриженные волосы, по античному образцу закрученные в мелкие кудри. Впервые была введена в моду исполнявшим роль Тита французским актером Франсуа Жозефом Тальма (1763—1826), для которого был изготовлен специальный парик, имитировавший античные изваяния древнеримского императора, после чего прическа и получила свое название.

[9] *О, гирканская жестокость...* — Гиркания — древнегреческое название области вдоль юго-восточного побережья Каспийского моря. В древности считалась дикой и суровой страной, изобилующей свирепыми зверями и в особенности жестокими тиграми. См. также примеч. 9 к гл. IV «Жана и Жанетты».

[10] *О Каллиопа, муза с бронзовым рогом в руках!* — Каллиопа — в древнегреческой мифологии муза эпической поэзии, главная из девяти муз. В античности Каллиопа изображалась с вощеной дощечкой или свитком и стилем (палочкой для письма) в руках. Однако начиная с XVII в. одним из атрибутов Каллиопы стала также труба.

[11] *Мы намеренно создали хорошенькую женщину ~ триста двадцатой странице.* — В первом издании повести в литературном приложении газеты «Le Figaro» (см. т. I, с. 551 наст. изд.) это ироническое предсказание скорой гибели главного женского персонажа находилось на с. 160 и предвосхищало несостоявшуюся попытку самоубийства Мюзидоры, описанную далее на с. 180. Всего же первое издание «Фортунио» насчитывало 315 страниц. Таким образом, полушутливые предварительные расчеты повествователя, вставленные Готье в середину произведения, с точки зрения читателей «Le Figaro», оказались на удивление точными. Приведенный пассаж — прекрасный пример того, как Готье пытается создать иллюзию, что перед читате-

лем незаконченный текст, однако, по сути, следует четкому, заранее продуманному плану.

[12] ...«[Поэт] *всегда спешит к развязке*». — *Гораций*. Наука поэзии. 148. Ср. в пер. М. Дмитриева: «Прямо он к делу спешит; повествуя знакомое, быстро | Мимо он тех происшествий внимающих слух увлекает; <...>».

Глава XIII

[1] *Новенна* — девятидневный молитвенный обет, традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение девяти дней подряд. Наиболее распространено чтение заупокойных новенн, новенн по случаю торжественного праздника или события, а также новенн Богородице и различным святым.

[2] *...думала утопиться, но... ей... не нравилось, что ее выловят сетями под мостом Сен-Клу...* — Страшная легенда о том, что у моста Сен-Клу, расположенного под Парижем, стоят сети для задержания утопленников, распространилась еще в сер. XVIII в. благодаря книге Л.-Б. Неэля (1695–1754) «Путешествие из Парижа в Сен-Клу по морю и возвращение из Сен-Клу в Париж по суше» («Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris par terre», 1748), пользовавшейся большой популярностью. Эта легенда была опровергнута в 1831 г. французским романистом и драматургом Л. Гозланом (1803–1866) в рассказе «Морг» («La Morgue»), который был опубликован в первом томе пятнадцатитомного издания «Париж, или Книга ста одного автора» («Paris, ou Le livre des Cent-et-Un»), вобравшего в себя произведения многих писателей и журналистов того времени.

[3] *Порфирный* — то есть сделанный из порфира — вулканической горной породы мелкокристаллического или стекловидного строения с вкраплениями крупных кристаллов часто иного цвета, чем основная масса. Благодаря многообразию оттенков (красноватого, желтого, серого, почти черного у гранит-порфира) порода прекрасно подходит для создания контрастных по цвету композиций. Порфир, в особенности его красно-бурая разновидность с белыми вкраплениями, с древнейших времен использовался как поделочный и облицовочный камень.

[4] ...[опытом] *на малоценном живом существе*. — Эвфемизм, используемый в медицине и биологии для обозначения опытов на животных (*лат.* in anima vili).

[5] *Нейи* — северо-западное предместье Парижа.

Глава XV

[1] *...слово, что дороже бриллиантов, падающих с уст юной чистой девушки из сказки Перро*. — Аллюзия на сказку Шарля Перро (1628–1703) «Подарки феи» из сборника «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (опубл. 1697). В сказке описывается удивительный дар, полученный от феи одним из персонажей, младшей дочерью вдовы, в награду за доброту: с каждым словом девушка роняла из уст цветок или драгоценный камень.

[2] *Денди* — социально-культурный тип XIX в., мужчина, одевающийся по моде и с лоском, подчеркнуто следящий за изысканностью речи и манер, сочетающий утонченность и элегантность с аффектацией и дерзкой эксцентричностью, а так-

же культивирующий основанный на крайнем эгоцентризме способ думать и жить. Дендизм возник в Англии в XVIII – нач. XIX в. и в скором времени распространился по всей Европе, в том числе и во Франции. Так, среди наиболее известных парижских денди сер. XIX в. можно назвать друга Готье – Ш. Бодлера (1821–1867). Подробнее о французских денди см.: *Becker K.* Le dandysme littéraire en France au XIX siècle. P.: Paradigme, 2010.

[3] *...сердце женщины подобно творению Дедала... никто не... владеет волшебным клубком, ведущим к выходу из этого запутанного лабиринта.* – Аллюзия на древнегреческий миф о Минотавре – ужасном человекобыке, рожденном женой критского царя Миноса, Пасифаей, от священного быка, посланного на Крит богом Посейдоном, или от самого Посейдона. Согласно мифу, Минотавр был заключен в построенный для него искуснейшим архитектором Дедалом подземный лабиринт, выход из которого невозможно было найти без посторонней помощи. Туда чудовищу регулярно привозили на растерзание семь юношей и девушек из Афин, пока в числе предназначенных на съедение Минотавру на Крит не приплыл афинский царевич Тесей. Он убил Минотавра и выбрался из хитросплетения лабиринта с помощью клубка ниток, который тайно вручила герою влюбленная в него дочь Миноса Ариадна.

[4] *...под аркой на площади Звезды...* – Имеется в виду Триумфальная арка на площади Шарля де Голля (до 1970 г. – площадь Звезды), построенная по распоряжению императора Наполеона в 1806–1836 гг. как памятник во славу французского оружия. Находится в конце проспекта Елисейских полей (см. примеч. 2 к гл. XI). В XIX в. за аркой начинался пригород.

[5] *...тучу пыли, клубившуюся подобно классическому облаку, в котором скрывается какое-нибудь божество...* – В античной мифологии темное облако нередко упоминается как средство передвижения богов, а также как непроницаемая завеса, скрывающая небожителей и их избранников от глаз смертных. Так, согласно древнегреческому мифу, когда Иолай взмолился богам, чтобы они вернули ему на один день былую силу и помогли догнать убегавшего с поля боя Эврисфея, с неба упали две яркие звезды и колесницу Иолая окутало темное облако. Едва облако рассеялось, Иолай предстал во всем блеске юности. Он настиг Эврисфея и пленил его.

[6] *Бербер* (берберийская лошадь) – верховая порода лошадей, которая была получена путем скрещивания арабских и нумидийских (Нумидия – в древности область в Северной Африке, в восточной части современного Алжира) лошадей и очень ценилась арабами.

[7] *...посмотрю вашу веранду, ваш вигвам...* – Слово «веранда» («véranda») появилось во французском языке сравнительно недавно, лишь в нач. XVIII в. Оно было заимствовано из английского языка, в свою очередь английское слово «veranda» возникло, предположительно, от «varaṇḍā» или «barāmdā» (*хинди*). В первой трети XIX в. это слово еще не утратило полностью экзотического ореола во французском, поэтому Мюзидора употребляет его в одном ряду со словом «вигвам» (*фр.* wigwam), вошедшим в европейские языки столетием ранее, в первой трети XVII в. из языка индейцев Северной Америки (абенаки и оджибве).

[8] *Аркадский* – здесь: простой, непритязательный. Аркадия – область в центральной части Пелопоннеса в Греции. В античной литературе и в пасторалях XVI–XVIII вв. изображалась райской страной, отличавшейся патриархальной простотой нравов и населенной пастухами и пастушками, сатирами и нимфами.

Глава XVI

[1] *...большие вазоны из голубой глины в духе Людовика XIII.* — Стиль короля Людовика XIII, проявивший себя в архитектуре, мебели, предметах интерьера первой пол. XVII в., представлял собой французский вариант европейского барокко. Он впитал в себя влияние итальянского и фламандского искусства, отличался перегруженностью крупными декоративными деталями, массивностью конструкций, любовью к рельефным украшениям.

[2] *Медальон* — изобразительная или орнаментная композиция (лепной или резной рельеф, роспись, мозаика) в овальном или круглом обрамлении. Применяется в декорировании зданий, мебели и др.

[3] *...ступени со сфинксами по бокам, положившими свои заостренные груди на вытянутые лапы.* — Похожих сфинксов (см. примеч. 121 к Прологу «Романа о мумии») можно увидеть у входа во дворец М. де Бетюна, герцога де Сюлли (1560–1641), построенный в стиле Людовика XIII на улице Сент-Антуан в 1624–1627 гг. по проекту Ж.-Б. Андруэ Дюсерсо (1585–1649).

[4] *Сосим из Пергама.* — Вероятно, Готье имеет в виду Сосия, древнегреческого мастера, упоминаемого Плинием Старшим (23/24–79). По словам древнеримского писателя, Сосий прославился тем, что создал в Пергаме чудесную мозаику, где в числе прочего изобразил пьющего из кубка голубка в окружении нескольких греющихся на солнышке и чистящих перышки птиц (см.: Естественная история. XXXVI. LX. 184).

[5] *...колонны из желтой брекчии...* — Брекчия — горная порода, состоящая из сцементированных угловатых обломков одной или нескольких пород. Различают базальтовые, порфировые, известняковые, мраморные и другие брекчии. Желтая брекчия образуется, в частности, из обломков известняка или мрамора.

[6] *Аттик* — декоративная стенка с рельефами и надписями, возведенная над венчающим сооружение карнизом. Иногда аттиком называют также невысокий этаж, расположенный над главным карнизом здания.

[7] *Восковая живопись* — вид живописной техники, при которой связующим краски веществом служит воск. Выполняется расплавленными или растворенными в летучих маслах красками либо эмульсией. Благодаря малой химической активности и влагоустойчивости воска произведения, созданные в этой технике, сохраняют в течение многих веков первоначальную свежесть цвета, а также плотность и фактуру красочного слоя.

[8] *Кроталы* — у древних греков и римлян деревянный или металлический музыкальный инструмент, схожий с кастаньетами.

[9] *Ни Геркуланум, ни Помпеи...* — Имеются в виду два древних города в Кампании (Италия) на берегу Неаполитанского залива, погибших в 79 г. при извержении вулкана Везувия. Руины Помпей были случайно обнаружены в самом конце XVI в. во время земляных работ, однако раскопки города начались только в сер. 18-го столетия — на несколько десятилетий позже, чем в Геркулануме, найденном в нач. XVIII в. При раскопках Геркуланума и Помпей на стенах многих жилых и общественных строений были открыты, в частности, прекрасно сохранившиеся фрески, которые стали основным материалом для изучения древнеримской живописи.

[10] *Сарданапал* — легендарный ассирийский царь, прославившийся изнеженностью, любовью к роскоши и наслаждениям. Образ Сарданапала неоднократно использовался художниками XIX в. начиная с Дж.-Г. Байрона, написавшего трагедию «Сарданапал» (1821). Так, французский художник Эжен Делакруа (1798—1863) представил на Салоне 1827—1828 гг. картину «Смерть Сарданапала», о которой Готье позднее лестно отзывался в статье 1844 г. (см.: *Gautier T.* Salon de 1844 // La Presse. 1844. 26 mars).

[11] *...золотой серединой.* — Знаменитое образное выражение (*лат.* aurea mediocritas), заимствованное из оды Горация к Лицинию Мурене (консул в 25—24 гг. до н. э.), в которой древнеримский поэт призывал свойственника Мецената (74/64—8 до н. э.) к умеренности стремлений (см.: Carmina. II. X. 5). Ср. в пер. З. Морозкиной: «Выбрав золотой середины меру | Мудрый избежит обветшалой кровли, | Избежит дворцов, что рождает в людях | Черную зависть».

[12] *...«Лучше сидеть, чем стоять, лежать, чем сидеть, и умереть, чем лежать»... Фериддеддина Атара.* — Происхождение приведенного афоризма неясно: его в той или иной формулировке приписывают китайцам, индусам, арабам и персам, в частности, одному из величайших персидских поэтов-мистиков Фариду ад-дину Мухаммаду ибн Ибрахиму ан-Нишабури Аттару (ум. 1220), чья «Книга назидания» была издана в переводе на французский язык в 1819 г.

[13] *...синие бесы мучили меня...* — В оригинале использовано выражение «diables bleus» (*фр.*) — буквальный перевод английской идиомы «blue-devils», означающей «уныние». Детальному описанию симптомов и последствий этой тяжелой формы меланхолии посвящены, к примеру, несколько глав романа А. де Виньи (1797—1863) «Стелло, или Голубые бесы» (1832; гл. I—III).

[14] *О, воля! Ей беда — лишь повод для триумфа ~ Когда есть мужество, и...* — Готье пародирует в этих строках христианский стоицизм барочных авторов и, в частности, нравоучительные четверостишия П. Матье (1563—1621), К. Фавр де Вожла (1585—1650) и Г. де Фор де Пибрак (1529—1584). Об этих поэтах кон. XVI — нач. XVII в. Готье писал, в частности, в своем сборнике «Гротески» (1833, опубл. 1844).

[15] *...велел принести словарь рифм...* — Первые французские словари рифм появились в XVI в. Прекрасный пример тому представляют собой издания, составленные Ж. Ле Февром (1493—1565) и О. де Ла Ну (1560?—1618) в конце 16-го столетия (см., напр.: *Le Fèvre J.* Dictionnaire des rymes françoises. P.: Galiot de Pré, 1572; *La Noue O. de.* Le Dictionnaire des rimes françoises. Genève: Les héritiers de E. Vignon, 1596).

[16] *Крис* — стальной кинжал с пламевидным или змеевидным лезвием и богато украшенной рукоятью у народов Малайзии и Индонезии. В прошлом крис был обязательной принадлежностью мужского костюма.

[17] *Стиль помпадур* — стиль декоративно-прикладного искусства второй пол. XVIII в., названный по имени фаворитки короля Людовика XV маркизы де Помпадур (урожд. Жанна-Антуанетта Пуассон; 1721—1764), позднее рококо. Отличался игривостью, изяществом, стремлением к комфорту, обилием деталей.

[18] *Десюдепорт* — декоративная композиция, расположенная над дверью. Десюдепорты широко применялись в отделке парадных интерьеров в Европе XVII—XVIII вв.

[19] *Ватто* Антуан (1684—1721) — французский художник рококо (см. примеч. 5 к гл. IV «Жана и Жанетты»). В бытовых и театральных сценах — галантных празднествах, отмеченных изысканной нежностью красочных нюансов и трепетностью рисунка, Ватто удалось воссоздать мир тончайших душевных состояний.

[20] *Плафон* — здесь: потолок, украшенный живописным или скульптурным (лепным) изображением либо архитектурно-декоративными мотивами.

[21] *Будуар* — небольшая гостиная, личная комната хозяйки в богатом доме, предназначенная для отдыха, неофициальных приемов и т. п. Как правило, отличался изысканной, интимной обстановкой.

[22] *Брабантское кружево* — разновидность фламандского кружева, изготовлявшаяся в Брабанте (историческая область на территории современной Бельгии и Нидерландов) с XVII в. По технике и орнаменту брабантские кружева практически не отличались от знаменитых брюссельских (см. примеч. 3 к гл. II), однако уступали последним в изящности и виртуозности плетения.

[23] *Цитрон* — крупные плоды одноименного вечнозеленого дерева или кустарника (Citrus medica) рода цитрус семейства рутовых. Обладают грубой бугристой, очень толстой кожурой лимонно-желтого или оранжевого цвета и кислой или кисло-сладкой малосочной мякотью. Используются главным образом для приготовления варенья, мармелада и цукатов.

[24] *«Аи»* — старинный сорт шампанского, названный по месту произрастания виноградников — городку Аи в Шампани. В прошлом шампанские вина были предметом роскоши, доступным исключительно состоятельным людям.

[25] *Богемское стекло.* — Имеется в виду так называемый богемский хрусталь, твердое, допускавшее глубокую огранку кальциево-известковое, или поташное, стекло, которое начали изготавливать в Богемии (официальное название Чехии (без Моравии) в 1526—1918 гг. в составе Габсбургской империи) со второй пол. XVII в. Созданные богемскими мастерами в нач. XVIII в. формы массивных кубков, флаконов и чаш, украшенных пушной орнаментальной и фигурной резьбой и гравировкой, оказали сильное влияние на европейское стекольное производство. В сер. XVIII в. этот яркий, истинно барочный стиль уступил место иным сочетаниям тонкой гравировки с росписью и золочением, шлифованию многослойного цветного и молочного стекла, имитировавшего фарфор.

[26] *Меттерних* Клеменс Венцель Лотар, князь (1773—1859) — австрийский государственный деятель и дипломат. В 1801—1803 гг. — австрийский посланник в Саксонии, в 1803—1805 гг. — посланник в Пруссии, 1806—1809 гг. — посол в Париже, в 1809—1821 гг. — министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства, в 1821—1848 гг. — канцлер Австрии.

[27] *Йоханнисбергское.* — Виноградники замка Йоханнисберг в Рейнгау (Западная Германия), по легенде, заложенные по указанию Карла Великого (742—814, король франков с 768 г., римский император с 800 г.), давали небольшое количество чрезвычайно дорогого вина высочайшего качества. На протяжении многих веков вина замка Йоханнисберг практически не знали себе равных. Так, в 1775 г. здесь впервые было произведено шпетлезе (*нем.* Spatlese) — вино из урожая позднего сбора, а позднее, в 1787 г. — ауслезе (*нем.* Auslese), вино из отборных гроздей урожая позднего сбора. В 1816 г. замок и прилегающие к нему земли были подарены Францем I (1768—1835, император Австрии с 1804 г.) князю К. фон Меттерниху (см.

примеч. 26) в знак признания заслуг последнего на Венском конгрессе 1814–1815 гг. Князь фон Меттерних осознал потенциал входящего в моду игристого, и уже в 1834 г. в поместье Йоханнисберг были предприняты попытки по его производству. Впоследствии, в 1867 г. игристый рислинг из замка Йоханнисберг был удостоен золотой медали на Международной выставке в Париже.

[28] *Шираз* – город на юго-западе Ирана, издавна славившийся своими виноградниками. Вплоть до революции 1979 г. Шираз являлся крупнейшим центром виноделия.

[29] *Здесь столько еды, что хватило бы на свадьбу Камачо или Гаргантюа.* – Камачо Богатый – персонаж романа М. де Сервантеса «Дон-Кихот», молодой деревенский богач, который устроил необычайно пышную свадьбу, сопровождавшуюся обжорством и неумеренными возлияниями (Ч. II, гл. XX–XXI). Гаргантюа – персонаж романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», великан-чревоугодник, которому посвящена первая книга произведения, получившая название «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, некогда сочиненная магистром Алькофрибасом Назье, извлекателем квинтэссенции, книга, полная пантагрюэлизма» (1534). Грандиозная свадьба Камачо и непомерный аппетит Гаргантюа вошли в поговорку.

[30] *Не бойтесь разочаровать меня хорошим аппетитом; я не сторонник идей лорда Байрона...* – В период работы над поэмой «Корсар» (1814) Дж.-Г. Байрон стал крайне воздержан в еде. Этими же аскетическими чертами он наделил и Конрада – персонажа «Корсара».

[31] *Барбадосский крем* – слабый алкогольный напиток, приготовленный из процеженной и смешанной с сахарным сиропом настойки из цитронов, апельсинов, оболочек мускатного ореха, корицы и гвоздики. Перечисленные в настоящей главе закуски и напитки преимущественно заимствованы Готье из произведений французских писателей XVIII в.

[32] *Мы испытываем почти то же затруднение... что и Милтон, когда ему нужно было предать слова Творца... в... поэме «Потерянный рай»...* – «Потерянный рай» (1667) – эпическая поэма, написанная английским поэтом и публицистом Джоном Милтоном (1608–1674) на библейский сюжет о грехопадении человека и изгнании Адама и Евы из рая (см.: Быт. 2: 4, 8–9, 15–17; 3: 1–19, 21–24). Милтона нередко упрекали в том, что в его поэме грандиозный образ Сатаны, наделенного страстными, проникнутыми жаждой свободы речами, полностью заслонил собой невыразительный, условный образ Творца, говорящего исключительно цитатами из Библии.

[33] *...если дозволено малое сравнить с великим...* – *Вергилий.* Георгики. IV. 176. Ср. в пер. С. Шервинского: «Так и кекроповых пчел, – коль великое сравнивать с малым, – | Всех обрекает на труд прирожденная страсть к накопленью <...>».

Глава XVII

[1] *Апофегма* – краткое остроумное и наставительное изречение.

[2] *Бетель* – пряная жевательная смесь из листьев одноименного вьющегося кустарникового растения (Piper betle) семейства перечных, семян арековой пальмы и небольшого количества извести, употребляемая в Южной и Юго-Восточной

Азии. При жевании бетеля полость рта, язык и десны окрашиваются обильно выделяемой слюной в кроваво-красный цвет, а зубы чернеют. Красные зубы у китайской принцессы — любовницы Фортунио — от употребления бетеля.

[3] *Сераль.* — Французское слово «sérail» (от которого в свою очередь появилось русское «сераль») возникло от персидского слова «сарай», перешедшего в турецкий язык и означавшего «большой дом», «дворец». Во французском языке заимствованное слово обросло новыми значениями, в частности, оно стало использоваться как название дворца турецкого султана, а также как синоним слова «гарем» для обозначения женской половины дворца и ее обитательниц — жен и наложниц султана. Именно в последнем значении использует слово в своей повести Готье.

[4] *...Мадонны Рафаэля...* — Рафаэль (наст. имя Рафаэлло Санти; 1483—1520) — выдающийся итальянский живописец и архитектор эпохи Высокого Возрождения. Одним из центральных образов в творчестве Рафаэля стал образ Богородицы: художник не раз возвращался к нему на протяжении жизни. В своих работах («Мадонна Конестабиле», ок. 1502—1503; «Мадонна в зелени», 1506; «Мадонна в кресле», 1514—1515; «Сикстинская Мадонна», 1515—1519 и др.) он наделял Богоматерь исключительной женственностью, жизненностью и красотой.

[5] *Скапен* — тип плутоватого слуги в итальянской комедии дель арте, а также имя хитроумного персонажа Мольера — ловкого слуги-пройдохи из комедии «Плутни Скапена» (1671).

[6] *...Давов из пьес Плавта.* — Готье допускает неточность: раб Дав — персонаж комедий «Девушка с Андроса» (166 до н. э.) и «Формион» (161 до н. э.), созданных древнеримским комедиографом Публием Теренцием Афром (ок. 195—159 до н. э.), а не его предшественником Титом Макцием Плавтом (ок. 254—184 до н. э.).

[7] *Бенарес* — древнее название города Варанаси на севере Индии, важнейшего религиозного центра и места паломничества к священной реке Ганг (см. примеч. 2, 3 к гл. XIV «Двое на двое»).

[8] *...мадемуазель Тальони в «Боге и баядерке»...* — Опера-балет «Бог и баядерка, или Влюбленная куртизанка» (музыка Д.-Ф. Обера, либретто Э. Скриба по мотивам баллады И.-В. Гёте «Бог и баядера», хореография Ф. Тальони) впервые была поставлена 13 октября 1830 г. на сцене Парижской оперы. Главную женскую партию в ней танцевала дочь хореографа, великая Мария Тальони (1804—1884) — одна из первых балерин, вставших на пуанты.

Глава XVIII

[1] *Фриз* — сплошная полоса изображений (скульптурных, живописных и проч.), часто орнаментального характера, окаймляющая верх стен, поле ковра и т. п.; в архитектурных ордерах также средняя горизонтальная часть антаблемента (см. примеч. 7 к гл. III «Царя Кандавла»), между архитравом и карнизом, как правило украшенная рельефом.

[2] *Джорджоне* (наст. имя Джорджио Барбарелли да Кастельфранко; 1476/1477—1511) — итальянский художник венецианской школы (см. примеч. 17 к гл. II «Аватары»), один из основоположников Высокого Возрождения. Техника масляной живописи, к которой Джорджоне обратился одним из первых среди мастеров-венецианцев, позволяла ему в полной мере передавать плавные цветовые переходы,

насыщенные пятна цвета, сгущающиеся тени и мягкие очертания фигур и предметов.

[3] *Лоуренс* Томас (1769–1830) – английский живописец, с 1792 г. главный художник короля, с 1794 г. действительный член Королевской Академии художеств в Лондоне, впоследствии, с 1820 г., ее президент. Один из самых востребованных портретистов своего времени, он написал в беглой манере сотни картин, безупречных по технике исполнения и легкости, с которыми в рисунке и колорите передана фактура блестящих шелков и сверкающих золотом мундиров. Лица его моделей пронизаны идущим изнутри светом.

Глава XIX

[1] *...несмотря на все ухищрения и изворотливость Протея...* – Протей – в древнегреческой мифологии морское божество, сын Посейдона, обладавший даром прорицания, а также чудесной способностью принимать облик различных существ, которая спасала Протея от попыток смертных поймать его и заставить предсказать будущее (см., напр.: *Гомер.* Одиссея. IV. 410–419, 450–460).

[2] *...знаем о ней не больше, чем о великом татарском хане...* – В представлениях романтиков татарский, или крымский, хан символизировал бесконечное очарование и непостижимость Востока (напр., В. Гюго «Восточные мотивы», 1829; Ж. де Нерваль «Девы огня», 1854).

[3] *...волшебная палочка Абариса...* – Абарис – полулегендарный античный мудрец, прорицатель и жрец Аполлона, по преданию, получивший от бога-целителя стрелу, которая служила Абарису одновременно средством передвижения и волшебной палочкой (см., напр.: *Геродот.* История. IV. 36; *Ямвлих.* О Пифагоровой жизни. XIX, 91; *Пиндар.* Фрагм. 271).

[4] *На Сите Бержер, где гурии живут...* – Авторский курсив указывает на то, что во фразе содержится скрытый подтекст, а именно, завуалированное обращение к Генриху Гейне (1797–1856) и его прекрасной возлюбленной, а в будущем супруге Крессанс Эжени Мира (1815–1883). Сите Бержер – расположенный неподалеку от бульвара Монмартр маленький переулок, в котором жил со своей избранницей Гейне. Гурии (хурии; *араб.* – букв.: белые) – согласно Корану, черноокие большеглазые (44: 54; 52: 20) райские непорочные девы, которым уготовано стать для праведников любящими (56: 35–37) «супругами чистыми» (2: 25; 3: 15; 4: 57), т. е. очищенными, лишенными как телесных, так и духовных недостатков; живут в шатрах; к ним не притрагивался ни человек, ни джинн (55: 74); они подобны яхонтам и сокрытым в раковине жемчужинам (55: 58; 56: 22). В исламском предании это существа различных цветов, сотворенные из шафрана, мускуса, амбры, с прозрачной кожей и телом, усыпанным драгоценностями, на груди у них – надписи с именем Аллаха и именем супруга. В переносном значении гуриями называют также прекрасных, обольстительных женщин.

[5] *Сен-Мор* (Сен-Мор-де-Фоссе) – юго-восточный пригород Парижа, возникший рядом с основанным в сер. VII в. аббатством Сен Пьер де Фоссе, которое на рубеже XII–XIII вв. было переименовано в Сен Мор де Фоссе, а позднее, в 1563 г., секуляризовано кардиналом Жаном дю Белле (ок. 1493–1560). Замок, сооруженный в 1541 г. на территории аббатства архитектором Филибером Делормом, в 1563 г. был

куплен Екатериной Медичи и затем перестроен. В дальнейшем он перешел к младшей ветви дома Бурбонов, роду Конде, и позже, во время Французской революции, был разрушен. В 17–18-м столетиях поблизости от замка были возведены особняки многих придворных: последних привлекали природные красоты этого места. В XIX в. в предместье появились также многочисленные загородные дома парижан. В Сен-Море предпочитали селиться или проводить лето, в частности, В. Гюго, А. Дюма-отец и другие писатели и художники.

[6] *Отёй* — в прошлом предместье, с 1860 г. — квартал 16-го округа Парижа к юго-востоку от южной окраины Булонского леса. В 18-м столетии многие знатные люди построили на территории предместья и в его окрестностях особняки — загородные дома, использовавшиеся для тайных любовных свиданий (см. примеч. 11 к гл. II «Жана и Жанетты»).

Глава XX

[1] *Бурнус* (араб.) — плащ с капюшоном из белой шерстяной материи у арабов, а также похожая на него по фасону верхняя одежда, вошедшая в моду во второй четв. XIX в.

[2] *...Тритон... пловец из свиты Нептуна.* — Тритон — в древнегреческой мифологии морское божество, сын бога морей Посейдона (в Древнем Риме почитавшегося под именем Нептуна) и одной из нереид Амфитриты. Изображался в виде старца или юноши с рыбьим хвостом вместо ног. Атрибутами Тритона были дельфин, рог для вина и витая раковина, звуками которой он мог вздымать или усмирять волны.

[3] *Феб-Аполлон.* — Со времен Еврипида бог Гелиос у древних греков начал отождествляться с Аполлоном как всевидящий бог солнца со всеведущим богом предсказания; отсюда возникло культовое имя Аполлона — Феб (от *др.-греч.* — блистающий, светлый). В этой новой ипостаси Аполлон представлялся в виде златокудрого, сияющего бога Солнца, в течение дня объезжающего на своей огненной колеснице небосвод.

[4] *...Скамандр — губитель дев...* — Скамандр — в древнегреческой мифологии грозное божество одноименной реки на Троянской равнине. Согласно легенде, рассказанной афинским оратором Эсхином (ок. 390–314 до н. э.), перед свадьбой девушки приходили на берег Скамандра, чтобы принести ему в жертву свою девственность (см.: Письма. X. 3). Однако для Готье источником сравнения, очевидно, явилась выставленная на Салоне 1824 г. картина французского художника Ж.-Ф. Ланкренона (1794–1874) «Скамандр и юная дева», на которой Скамандр был представлен в виде прекрасного юноши. О глубоком впечатлении, произведенном на него картиной, Готье позднее писал в статье для «Illustration» (9 марта 1867 г).

[5] *...Эндимион, бледный возлюбленный Луны...* — Эндимион — персонаж древнегреческой мифологии, сын Аэтлия и дочери Эола Калики, возлюбленный богини Луны Семелы, которого Зевс по просьбе богини погрузил в вечный сон, чтобы сохранить прекрасному юноше вечную молодость.

[6] *Фидий* (нач. V в. до н. э. — ок. 431/432 до н. э.) — выдающийся древнегреческий скульптор, архитектор и живописец периода высокой классики. Скульптурные работы Фидия известны преимущественно по описаниям античных авторов и копиям. Наиболее прославленными из них были колоссальная бронзовая статуя

Афины Промахос (*греч.* — предводительница в битвах), воздвигнутая ок. 460 г. до н. э. в афинском Акрополе в память побед над персами, и две грандиозные статуи, выполненные в хрисоэлефантинной технике, — Афины Парфенос (*греч.* — дева) в Парфеноне в Афинах и Зевса Олимпийского в храме Зевса в Олимпии (это произведение считалось в древности одним из «семи чудес света»). Наилучшее представление о Фидии как ваятеле дает скульптурное убранство Парфенона (438—432 до н. э.; фрагменты находятся в настоящее время в Британском музее в Лондоне, в Лувре в Париже и в Музее Акрополя в Афинах), созданное под руководством и, возможно, при личном участии мастера. Творчество Фидия по праву считается одним из величайших достижений мирового искусства, образы художника сочетали жизненность с возвышенной классической гармонией и совершенной красотой.

[7] *...Лисипп, скульптор Александра...* — Лисипп (вторая пол. IV в до н. э.) — знаменитый древнегреческий скульптор периода поздней классики, придворный художник Александра Македонского. Лисиппу принадлежало, в частности, несколько пластических портретов великого полководца, часть из которых сохранилась в эллинистических и римских копиях.

[8] *...они же не мужчины... вполне могли бы спеть «Miserere» в Сикстинской капелле.* — Знаменитый мужской хор Сикстинской капеллы (1473—1481, Ватикан) вплоть до XX в. наполовину состоял из певцов-кастратов. «Miserere» (*лат.* «Miserere mei Deus» — «Помилуй меня, Боже») — католическая молитва, представляющая собой текст 51-го псалма католической литургии (в Синодальном переводе Библии 50-го), начиная с третьего стиха. «Miserere» исполняется во время утренних богослужений в среду и пятницу на Страстной неделе. Первые композиции на текст псалма возникли на рубеже XV—XVI вв., однако наиболее знаменитым считается музыкальное переложение молитвы, написанное Г. Аллегри (1582—1652) — оно неизменно ежегодно звучало в стенах Сикстинской капеллы вплоть до 1870 г.

[9] *...розовые, будто персты Авроры.* — Аврора — в древнеримской мифологии богиня зари, отождествлявшаяся с древнегреческой Эос. «Розоперстая» (*др.-греч.* ῥοδοδάκτυλος) — устойчивый эпитет Эос (см., напр.: *Гомер.* Одиссея. II. 1; III. 404, 491).

[10] *...пресной воде теперь незачем завидовать соленой... из нее вышла вторая Венера...* — Аллюзия на древнегреческий миф о рождении вечно юной богини любви и красоты Афродиты, с которой отождествлялась древнеримская богиня Венера. Согласно более древней версии мифа, Афродита появилась из крови оскопленного Кроносом бога неба Урана, которая попала в море и образовала белоснежную пену. См. также примеч. 11.

[11] *Наш мир получил бы свою Венеру Анадиомену.* — Имеется в виду знаменитая не сохранившаяся картина древнегреческого художника Апеллеса (вторая пол. IV в. до н. э.) «Афродита Анадиомена» (см. примеч. 34 к гл. I «Царя Кандавла»), вызвавшая множество подражаний в эпоху эллинизма. По свидетельству Плиния Старшего, картина изображала обнаженную богиню любви, наполовину показавшуюся из моря и выжимавшую обеими руками волосы (см.: Естественная история. XXXV. XXXVI. 87, 91). В эпоху Возрождения эту композицию, в частности, повторил, основываясь на литературных источниках, Тициан («Венера Анадиомена», ок. 1525). Позднее, в 1848 г. Ж.-О.-Д. Энгр (см. примеч. 1 к гл. VII «Невинных распутников») создал свою «Венеру Анадиомену», в отношении которой Готье в 1855 г. заметил,

что ни один образ не был написан этим художником с такой нежностью и любовью (см.: *Gautier T.* Exposition universelle // Le Moniteur universel. 1855. 19 juni). См. также примеч. 2 к гл. II «Царя Кандавла».

[12] *Вольтеровское кресло* — удобное рабочее кресло с высокой спинкой и закругленными подлокотниками в стиле «эпохи Вольтера», т. е. эпохи рококо.

Глава XXI

[1] *...жить так же долго, как Мафусаил и Мельхиседек.* — Мафусаил и Мельхиседек — библейские персонажи. Мафусаил — библейский праотец, прославившийся своим долголетием, поскольку прожил 969 лет (см.: Быт. 5: 21—27). Мельхиседек — вечный священник, чья жизнь не имеет ни начала, ни конца (см.: Евр. 7: 1—3).

[2] *Я верю во все... если бы Троица состояла из четырех персон, то и тогда крепость моей веры удостоилась бы... похвалы.* — Аллюзия на незавершенную поэму Дж.-Г. Байрона «Дон-Жуан» (1818—18244; XI. 6). Ср. в пер. Т. Гнедич: «Во-первых, я уверовал, как водится, | В Спасителя и даже в сатану, | Потом поверил в девство Богородицы | И, наконец, в Адамову вину... | Вот с троицей трудненько мне приходится. | Но скоро я улаживать начну | Посредством благочестья и смиренья | И это цифровое затрудненье...»

[3] *Благочестивый Эней* (лат. pius Æneas). — Имеется в виду персонаж античной мифологии, сын Анхиза и богини Афродиты (почитавшейся в Древнем Риме под именем Венеры), один из главных защитников Трои во время Троянской войны, а также легендарный родоначальник Рима и римлян, которому посвящена эпическая поэма Вергилия «Энеида» (29—19 до н. э.). В поэме Вергилия имени Энея часто сопутствует эпитет «благочестивый» (см., напр.: Энеида. I. 220, 305, 378).

[4] *...явился из Нейи, точно конституционный монарх.* — Иронический намек на короля-буржуа Луи-Филиппа, который был возведен на престол в результате Июльской революции 1830 г., приведшей к установлению во Франции либерально-конституционной монархии. Незадолго до начала революции герцог Орлеанский (в будущем — король Луи-Филипп) уехал из Парижа в охотничий замок в Нейи (см. примеч. 5 к гл. XIII), где и скрывался во время вооруженного восстания 27—29 июля 1830 г. Одним из условий его избрания королем французов было принятие герцогом Орлеанским новой конституции, составленной на основе Конституционной хартии 1814 г. См. также примеч. 12 к гл. XXIV.

Глава XXII

[1] *...голубой цветочек наивной любви тихо цвел в уголке его души...* — Аллюзия на один из центральных образов романа Новалиса (наст. имя Фридрих фон Гарденберг; 1772—1801) «Генрих фон Офтердинген» (1802) — голубой цветок, ставший символом романтического томления по недостижимому идеалу.

[2] *...чист, как Керубино у ног своей крестной.* — Аллюзия на сцену из комедии Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732—1799) «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784; д. I, явл. VI—IX).

[3] *...охотно прогулялся бы с пансионеркой в атласной светло-зеленой накидке по берегу Линьона.* — На берегах реки Линьон разворачивается основное действие пасто-

рального романа Оноре д'Юрфе (1568–1625) «Астрея» (опубл. 1607–1627), повествующего о любви благородного пастуха Селадона, носящего светло-зеленую накидку, к прекрасной пастушке Астрее. В отчаянии от ссоры с возлюбленной Селадон бросается в воды Линьона. Выражение «гулять по берегам Линьона» стало иносказательным обозначением платонической, трепетной любви, верной и возвышенной.

Глава XXIII

[1] *...в дорическом стиле...* — Имеется в виду дорический ордер, один из трех основных архитектурных ордеров, сложившийся в дорийских областях Древней Греции к VI в. до н. э. и ставший в VI–V вв. до н. э. главным средством художественной выразительности зодчества периода поздней архаики и классики. В древнегреческой системе ордеров это наиболее лаконичный и монументальный ордер с массивными, тяжелыми пропорциями.

[2] *Я готов был зарезать твою софу, как мужчину.* — Аллюзия на роман Кребийона-сына «Софа» (см. примеч. 10 к гл. II).

[3] *...гнусный, как хитон Несса...* — Аллюзия на древнегреческий миф о кентавре Нессе, которого Геракл сразил стрелой, смазанной желчью лернейской гидры, за то, что Несс посмел покуситься на честь жены Геракла Деяниры. Перед смертью коварный кентавр посоветовал Деянире собрать вытекшую из его раны кровь, якобы обладавшую свойствами приворотного зелья. Позднее Деянира, терзаемая ревностью к дочери царя Эврита, Иоле, пропитала кровью Несса хитон мужа, полагая, что таким образом сможет сохранить любовь Геракла. Однако кровь Несса, погибшего от отравленной стрелы, сама превратилась в яд. Когда Геракл надел хитон, яд гидры стал проникать в тело героя, причиняя невыносимые страдания. См. также примеч. 6 к гл. III «Царя Кандавла».

[4] *Чуло* (исп. chulo) — букв.: развязный, наглый, вульгарный. В XVIII в. это слово использовалось по отношению к представителям бедных мадридских кварталов, отличавшимся вызывающей манерой поведения и одеждой. В XIX в. чуло стали называть также помощников тореро, отвлекавших быка разноцветными плащами.

Глава XXIV

[1] *...обратить внимание на тех, кто... мечтает увидеть напечатанной свою частную переписку?* — Иронический намек на вышедший двумя годами ранее, в 1835 г., в издательстве «Renduel» роман Готье «Мадемуазель де Мопен», названный самим автором «эпистолярной повестью» (гл. VI).

[2] *Браммел* Джордж Брайан (1778–1844) — знаменитый денди, распутник и законодатель мод нач. XIX в., прозванный современниками «красавчик Браммел»; промотал все свое состояние и провел последние пять лет жизни в приюте для умалишенных в городе Кале.

[3] *...недоступном, как Эльдорадо, которое так стремились найти испанские искатели приключений...* — Испанские мореплаватели и конкистадоры действительно искали в Южной Америке (в основном в бассейне рек Ориноко и Амазонки) эту мифическую страну (см. примеч. 10 к Предисловию) начиная с XVI в.

[4] *...золотой дом Нерона...* — Имеется в виду грандиозный дворцово-парковый комплекс, построенный по приказу Клавдия Цезаря Нерона (см. примеч. 4 к гл. XII) после пожара 64 г., уничтожившего бóльшую часть Рима и среди прочего дворец, который император воздвиг в начале правления. Подробное описание Золотого дома сохранилось, в частности, у древнеримского писателя и историка Гая Светония Транквилла (см.: Жизнь двенадцати Цезарей. VI: Нерон. XXXI). Дворец Нерона послужил Готье моделью для описанного в повести Золотого дворца Фортунио. Образ Золотого дома Нерона был чрезвычайно популярен в 30—50-е годы 19-го столетия. Так, в 1839 г. архитектор Виктор Лемер построил на месте особняка Шуазель-Стенвиля, располагавшегося на Итальянском бульваре, «Золотой дом», в котором вскоре открылся ресторан. Ресторан был разделен на две части: общедоступную, вход в которую находился на бульваре, и так называемую «кабинетную», попасть в которую можно было с улицы Лафит. Это место любили посещать и описывать в своих произведениях многие писатели (напр., О. де Бальзак «Утраченные иллюзии», 1843; Ж. де Нерваль «Октябрьские ночи», 1852). Позднее, в 1853 г. на первом этаже этого здания А. Дюма-отец разместил редакцию своей газеты «Мушкетер» («Le Mousquetaire»), а в 1885 г. Э. Золя дал в ресторане обед по случаю возобновления постановки «Западни» в театре Шатле.

[5] *Портик* — прилегающая к зданию крытая галерея с колоннадой или арками; как правило, располагается перед входом в здание и завершается фронтоном или аттиком, украшенным скульптурами или рельефом.

[6] *Ангсока.* — См. примеч. 5 к гл. IV.

[7] *Диорамы* — изогнутые живописные полотна с предметным передним планом, имитирующим объемное изображение. Изобретены Л.-Ж. Дагером (1787—1851) и Ш.-М. Бутоном (1781—1853) в 1822 г. С помощью жалюзи и ставней, регулировавших потоки света, который падал на большое полупрозрачное полотно, диорама поражала зрительскую аудиторию калейдоскопическим чередованием образов, сменяя время действия с ночи на день.

[8] *...с мраморными соборами Святого Георгия, Доганой и Дворцом дожей...* — Готье перечисляет здесь основные достопримечательности Венеции. Монастырь и церковь Св. Георгия (1565—1580) находятся на острове Сан-Джорджо-Маджоре; принадлежащий греческой общине храм Св. Георгия (сер. XVI в.) — в районе Кастелло; пунта делла Догана, или таможня (XV в., перестроена в XVII в.) — на пересечении Большого канала с каналом Джудекка. Прекрасный вид на оба архитектурных комплекса и греческий храм открывается из окон расположенной по соседству с Дворцом дожей (XIV—XV вв., частично перестроен в кон. XV—XVI вв.) гостиницы Даниэли (кон. XIV в.), в которой издавна останавливались многие иностранные туристы.

[9] *Мадрас* — старинный город в Южной Индии, на берегу Бенгальского залива, один из живописнейших индийских городов наряду с Варанаси (Бенаресом) и Мачхалипаттанамом (Масулипатнамом). См. примеч. 5 к гл. II, примеч. 7 к гл. XVII, а также примеч. 5 к гл. IV «Аватары».

[10] *...словно речь шла о мороженом у Тортони...* — Кафе Тортони, находившееся на Итальянском бульваре, было основано в 1798 г. приехавшим в Париж неаполитанским мороженщиком Веллони. В 1804 г. владелец уступил кафе своему помощнику Джузеппе Тортони, и в скором времени оно превратилось в модное место встреч.

[11] *...пять кодексов...* — Имеются в виду так называемые наполеоновские кодексы — своды законов, подготовленные и составленные под наблюдением, а иногда и при непосредственном участии Наполеона Бонапарта: Гражданский (1804), Гражданско-процессуальный (1806), Торговый (1807), Уголовно-процессуальный (1808) и Уголовный (1810).

[12] *...конституционная хартия распускалась трехцветными кокардами...* — 27 июля в Париже вспыхнуло массовое вооруженное восстание под лозунгом защиты Конституционной хартии 1814 г. и смещения кабинета О.-Ж.-А. де Полиньяка (1780—1847, глава французского правительства и министр иностранных дел в 1829—1830 гг.). Непосредственным поводом к восстанию послужили подписанные Карлом X (1757—1836, король Франции в 1824—1830 гг.) 25 июля 1830 г. ордонансы о роспуске палаты представителей, отмене свободы печати и ужесточении избирательного права. Опубликованные 26 июля ордонансы были восприняты в обществе как грубое нарушение хартии 1814 г. 29 июля 1830 г. повстанцы овладели дворцом Тюильри и другими правительственными зданиями. Часть войск самовольно покинула Париж, остальные примкнули к восставшим. Власть в столице перешла к «муниципальной комиссии», составленной из руководителей либеральной оппозиции (прежде всего генерала М.-Ж. Лафайета, банкиров Ж. Лаффита и К. Перье и др.). 31 июля 1830 г. палаты депутатов и пэров назначили «наместником королевства» герцога Орлеанского, который после отречения Карла X от престола (2 августа) был провозглашен (7 августа) королем французов (см. примеч. 4 к гл. XXI). Новый государственный строй был законодательно оформлен в «Хартии 1830 г.», принятой 14 августа 1830 г. и окончательно закреплявшей передачу власти из рук аристократии в руки крупной буржуазии. В отличие от Конституционной хартии 1814 г., которая декларировалась как пожалование королевской власти, новая конституция объявлялась неотъемлемым достоянием народа. Сторонники новой хартии выражали свою поддержку, надевая на шляпы трехцветные кокарды — трехцветные ленты или банты — как символ революции.

[13] *Он разделял отчасти взгляды султана Шахрияра...* — Шахрияр — персонаж «Рассказа о царе Шахрияре и его брате», обрамляющего сборник сказок «Тысяча и одна ночь» и служащего связующей нитью между другими рассказами свода; всемогущий шах, который, узнав об измене собственной жены и жены своего младшего брата, возненавидел женщин и с тех пор каждую ночь брал себе новую жену, а наутро отрубал ей голову.

[14] *Пери* (а в. pairika — ведьма) — в иранской мифологии сверхъестественное существо женского пола. В зороастризме пери — демонические существа, многократно упоминаемые в Авесте наряду с колдунами, уродливые ведьмы, враждебные людям, часто персонифицировавшие природные катаклизмы, а также выступавшие олицетворением вредных животных. В классической персидской литературе, начиная с «Шах-наме», особенно в фольклоре пери становятся прекрасными девами-волшебницами, способными обернуться любым животным и перемещающимися по воздуху. В эпосе они входят наряду с дэвами, зверями и птицами в войска первых царей Ирана. С приходом ислама пери начинают ассоциироваться с джиннами. В поздней персидской лексикографической традиции они вновь соотносятся с дэвами (в частности, считалось, что пери могут поразить человека чарами и сделать его одержимым). В переносном значении пери называют также пленительно-

прекрасных, чарующих женщин. В европейской романтической традиции образ пери стал особенно популярен благодаря поэме Т. Мура «Рай и пери» (часть «восточной» поэмы поэта «Лалла рук», 1817).

[15] *Хризоберилл* — минерал подкласса сложных оксидов. Прозрачные разновидности хризоберилла (александрит, цимофан, или кошачий глаз) считаются драгоценными камнями.

[16] *Рудракша* — здесь: плоды одноименного вечнозеленого широколиственного дерева (Eleocarpus ganitrus), относящегося к семейству элеокарповых и произрастающего в Индии, Сирии, Иране. В Индии и странах Средиземноморья плоды рудракши издавна использовались для изготовления четок и бус, которым приписывались магические и целебные свойства. В частности, бусы из рудракши нашли на скелете цыганки Эсмеральды могильщики, явившиеся в Монфолкон за телом Оливье ле Дена (см.: *Гюго В.* Собор Парижской Богоматери. Кн. 11, гл. IV). Стоит отметить, что Готье употребляет для обозначения плодов растения не устоявшееся в современном французском языке слово «rudraksha», а существительное «azerodrach», в котором угадывается сходство со словом «adrézarach», использованным ранее в романе Гюго в качестве именования рудракши. Вероятно, Готье заимствовал слово «azerodrach» у Гюго, изменив написание.

[17] *Строфий* (страфион) — пояс из ткани или мягкой кожи, которым женщины в античности подвязывали грудь.

[18] *Цест* — здесь: пояс, кушак, узкая повязка на бедра.

[19] *...у ее голубоватых висков, сквозь просвечивающую кожу которых, точно у Анны Болейн, виднелась сеточка тонких прожилок...* — Готье, скорее всего, имеет в виду находящуюся в Лувре картину Ганса Гольбейна-младшего (1497–1543) «Портрет Анны Клевской» (1539), на которой изображена четвертая супруга английского короля Генриха VIII (1491–1547) и которая долгое время ошибочно считалась портретом Анны Болейн (ок. 1507 — 1536), второй супруги короля. Карандашный рисунок (1536) Гольбейна с портретом Анны Болейн в XIX в. хранился в Королевском музее Неаполя.

[20] *Гарциния* камбоджийская (Garcinia cambogia) — вечнозеленое дерево семейства клузиевых с крупными желтыми цветами, произрастающее в Юго-Восточной Азии.

[21] *Аргус* большой (Argusianus argus) — вид семейства фазановых, обитающий в Юго-Восточной Азии. Второстепенные маховые перья крыльев фазанов аргусов покрыты рядами разноцветных глазкув.

[22] *Гюзла* (гузла) — однострунный смычковый музыкальный инструмент южных славян, использовавшийся народными певцами-сказителями. В упоминании Готье «гюзлы» (*фр.* guzla) угадывается аллюзия на выпущенный в 1827 г. Проспером Мериме (1803–1870) одноименный стихотворный сборник, который был представлен французским писателем как собрание переводов народных песен западных славян, якобы записанных Мериме во время путешествия по Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине

[23] *...пантум о голубке Патани и ястребе Бендаме.* — Пантум (пантун) — малайская поэтическая форма, представляющая собой импровизированные четверостишия с перекрестной рифмовкой, иногда соединенные так, чтобы второй и четвертый стихи предыдущей строфы становились рефренами в первом и третьем стихе

следующей строфы. Именно в таком виде пантум был усвоен в европейской поэзии в качестве твердой формы в XIX в. (напр., в сборнике В. Гюго «Ориенталии», 1829). Исполняемый красавицей Камбаной пантум был опубликован во Франции в переводе Эрнеста Фуине в сборнике «Избранные произведения восточной поэзии» («Choix de poésies orientales», 1831).

[24] *Когда тебя нет... мир пустеет, ты один свет, движение и жизнь...* — Приведенный пассаж начинается с развития темы знаменитой строки из стихотворения А. де Ламартина (1790—1869) «Одиночество»: «Нет в мире одного — и мир весь опустел!» (*Пер. Ф. Тютчева*). Ср. в пер. Б. Лившица: «Одно лишь существо ушло, и неподвижен | В бездушной красоте мир опустел навек». Заканчивается он перефразированными словами апостола Павла (см.: Деян. 17: 28). Ср. в рус. пер.: «<...> ибо мы Им живем и движемся и существуем <...>».

[25] *Шербет* — восточный прохладительный напиток из фруктовых соков и пряностей.

[26] *Тимпан* — древний музыкальный инструмент наподобие маленькой ручной литавры или бубна, распространенный в античной Греции, у шумеров, иудеев и других народов древнего мира. В средневековой Европе тимпаном иногда называли цимбалы.

[27] *...на своей тыкве с ручкой.* — Ироническое обозначение вины — старинного индийского щипкового инструмента, напоминающего лютню.

Глава XXVI

[1] *Тильбюри* — легкий двухместный кабриолет, иногда с откидным верхом, названный по имени английского каретника Джона Тильбюри, владельца лондонской фирмы, производившей конные экипажи. Изобретен в 1810-е годы.

[2] *...преподавателя, обучающего английскому письму...* — В XIX в. девушкам из хороших семей вменялось в обязанность умение писать так называемым английским письмом, или «anglaise» (см. примеч. 3 к гл. XI «Аватары»), отличавшимся сильным наклоном букв вправо, изящными завитками и изгибами линий, а также четкой прорисовкой толстых и тонких штрихов (об этом подробнее см.: *Chartier A.-M., Hébrard J.* Pratiques d'écriture: un éclairage historique // Ecrire et faire écrire. Saint-Cloud: Ecole Normale Supérieur, 1994. P. 29—36).

[3] *...с ...коринфскими колоннами...* — То есть с колоннами, характерными для коринфского ордера (см. примеч. 11 к гл. III «Милитоны»), сложившегося в Древней Греции во второй пол. V в. до н. э. От ионических колонн коринфские отличаются главным образом более легкой колоколообразной капителью, состоящей из рядов стилизованных листьев аканта (см. примеч. 33 к гл. II «Царя Кандавла») и небольших волют (см. примеч. 34 к гл. II «Царя Кандавла»).

[4] *...по бульвару длиной шагов в двести...* — Имеется в виду Итальянский бульвар, протяженность которого составляет 390 м.

[5] *Всем актрисам, которых превозносит и обожает публика... лет шестьдесят... только когда их возраст подходит к пятидесяти, все вдруг замечают, что они хороши собой и не лишены таланта.* — Ироническое преувеличение: в 1837 г. знаменитой французской актрисе мадемуазель Марс (наст. имя Анн-Франсуаз-Ипполит Буте; 1779—1847) было 58 лет, а прославленной танцовщице Марии Тальони испол-

нилось 33 года. Однако большинство актрис во Франции добивалось признания, как правило, еще в молодости.

[6] *...есть в Париже один поэт, чье имя кончается на «-го»... он пишет вполне сносно...* – Очевидный намек на Виктора Гюго. Однако, несмотря на заверения главного персонажа повести, что в современной Европе есть только один поэт, в «Фортунио» помимо Гюго Готье так или иначе воздал должное И.-В. Гёте, Ж. де Нервалю, Г. Гейне, Дж.-Г. Байрону, Т. Муру, П. Мериме и Д. Милтону, а также Горацию, Гомеру и Вергилию.

[7] *...больше люблю царя Шудраку, автора Васантасены.* – Шудрака – полулегендарный древнеиндийский царь и поэт, которому приписывается авторство созданной на санскрите драмы «Мриччхакатика» («Глиняная повозка», IV–VIII вв.), главным персонажем коей является блудница по имени Васантасена. Драма была переведена с английского языка на французский в 1828 г., а в 1835 г. ею заинтересовался Ж. де Нерваль, близкий друг писателя, поспешивший показать драму Готье. Позднее де Нерваль в соавторстве с Ж. Мери адаптировал пьесу для французской сцены, и в 1850 г. драма была поставлена под названием «Детская повозка» в театре «Одеон».

•

ЦАРЬ КАНДАВЛ

Впервые опубл. в газете «La Presse» (1–5 октября 1844 г.; 5 фельетонов). В 1845 году опубл. в составе неоднократно переиздававшегося сб.: *Gautier T.* Nouvelles. P.: Charpentier, 1845. Частые переиздания повести – свидетельство ее успеха у читателей-современников. Готье получил восторженные отзывы о «Царе Кандавле», в частности, от В. Гюго, Ш. Бодлера. Кроме того, у повести существует богатая история восприятия в искусстве. Так, она стала источником вдохновения для ряда художников (напр., Ж.-Ж. Прадье «Ниссия», 1848; Э. Дега «Супруга Кандавла»; двухактная опера «Царь Кандавл» (1865), музыка Э. Диаса, либретто М. Карре).

На русском языке публикуется впервые.

В настоящем издании использованы иллюстрации художника Поля Авриля (наст. имя Эдуар-Анри; 1843–1923).

Глава I

[1] *Через пятьсот лет после Троянской войны и за семьсот пятнадцать лет до нашей эры...* – События Троянской войны, ставшие сюжетом гомеровского эпоса, еще античными историками воспринимались как ряд исторических фактов и датировались кон. XIV – кон. XII в. до н. э. (см., напр.: *Геродот.* История. I. 3–5; II. 112–120, 145; *Диодор Сицилийский.* Историческая библиотека. I. 5; VII. 1, 4–5, 8; Паросский мрамор. 23–24; *Эратосфен.* Хронография. Фрагм. 1–2). Историки XIX в. (К. Мюллендорф, Ф. Рюккерт, Э. Курциус и др.), ведя спор по вопросу хронологии событий, также не сомневались в исторической основе троянских сказаний и старались, почерпнув сведения из эпоса, восстановить картину войны, определить ее

масштаб и место действия (об этом подробнее см., напр.: *Кравчук А.* Троянская война: Миф и история / Пер. с польск. Д.С. Гальпериной; послесл. Л.С. Клейна. М.: Наука, 1991). Именно на волне подобных настроений археолог-любитель Генрих Шлиман (1822–1890) в 1870 г. приступил к археологическим раскопкам на холме Гиссарлык в Малой Азии в поисках гомеровской Трои. Относя начало действия повести к 715 г. до н. э., Готье, очевидно, опирался на труды XVIII – первой трети XIX в. по древней и всеобщей истории, в которых смерть Кандавла и приход к власти династии Мермнадов в Лидии (см. примеч. 3, 13, 23) датировались, как правило, 710-ми годами до н. э. (см., напр.: *Fourmont E.* Reflexions critiques sur les histoires des anciens peuples, Chaldéens, Hébreux, Phéniciens, Egyptiens, Grecs, etc. jusqu'au tems de Cyrus: En 3 L. P.: Musier Pere: Jombert: Briasson: Bullot, 1735. T. 2. P. 373–389; Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu'à présent / Composée en Anglois par une Société de Gens de Lettres; nouvellement traduite en français par une société de gens de lettres; enrichie de figures et de cartes. P: Moutard, 1780. T. 8. P. 389–392; *Larcher P.H.* Essay de chronologie sur Hérodote // Hérodote. Histoire: En 9 vol. / Traduite du grec; avec des remarques historiques et critiques, un essay sur la chronologie d'Hérodote, et une tabel géographique [par P.H. Larcher]. Nouvelle éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. P.: Guillaume Debure: Théophile Barrois, 1802. T. 2. P. 204–214, 599; *Volney C.-F.* Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne. Nouvelle éd. P.: Bossange frères, 1822. T. 1. P. 367–373).

[2] *Сарды* – древний город в Малой Азии, столица государства Лидия с нач. VII в. до н. э. по 547 г. до н. э., находившаяся на берегу реки Пактол у северного подножия Тмола (см. примеч. 5), к северо-востоку от Смирны (современный Измир), и достигшая наивысшего расцвета при Крезе (595–546 до н. э., царь Лидии с 560 г. до н. э.).

[3] *Кандавл* – полулегендарный царь Лидии, правивший в 733–716 гг. до н. э. (по другим версиям в 728–711 гг. до н. э., 685/681–682/678 гг. до н.э.). Трагическая история Кандавла была подробно описана Геродотом (см.: История. I. 7–14), который в свою очередь ссылался на Архилоха Паросского (возможно, древнегреческий историк имел в виду отчасти сохранившийся монолог, вложенный поэтом в уста плотника Харона; см.: *Архилох.* Фрагм. 22). В несколько измененном виде легенду о Кандавле и Гигесе можно найти также, в частности, у Платона (см.: Государство. II. 359d–360b), Николая Дамасского (см.: История. VI. Фрагм. 56 (47; 49)) и Плутарха (см.: Застольные беседы. V. 622f; Греческие вопросы. XLV. 301f–302a). Легенда неоднократно служила источником вдохновения для художников, о чем свидетельствуют, к примеру, стихотворная сказка Ж. де Лафонтена «Царь Кандавл и законный властелин» (1674), диалог Б. де Фонтенеля (1657–1757) «Кандавл – Гигес» (1683), басня Ф. Фенелона (1651–1715) «Кольцо Гигеса» (1690), а также картины Я. Йорданса (1593–1678) «Кандавл, царь Лидии, показывающий свою жену Гигесу» (1646), Э. ван дер Неера (1635/1636–1703) «Жена Кандавла замечает Гигеса» (1675–1680) и У. Этти (1787–1849) «Кандавл, царь Лидии, украдкой показывает свою жену, ложащуюся в кровать, министру Гигесу» (1820). При создании «Царя Кандавла» Готье опирался преимущественно на вариант легенды, изложенный Геродотом: сюжет повести французского писателя воспроизводит событийную канву эпизода из «Истории» древнегреческого автора. Кроме того, Готье мог вдохновиться живописным полотном своего друга Ж.-Ф. Буассара де Буаденье (1813–1866) «Царь Кандавл и Гигес» (1841).

[4] *Феб-Аполлон.* — См. примеч. 3 к гл. XX «Фортунио».

[5] *...позолотил вершины Тмола... с Пактолом...* — Тмол (современный Боздаглар) — горный хребет на западе Малой Азии, образующий водораздел между бассейнами рек Герм (современный Гедиз) на севере и Каистр (современный Малый Мендерес) на юге. В древности был известен своими винами, благовониями и богатыми запасами золота, которое вымывалось Пактолом (современный Сарабат) — небольшой рекой, берущей начало на Тмоле и впадающей в Герм. Считалось, что золотой песок, которым изобиловал Пактол, стал источником богатств Креза.

[6] *...роскошной рекой, в водах которой... искупался Мидас, наполнив их золотым песком.* — Аллюзия на древнегреческий миф о фригийском царе Мидасе, сыне царя Гордия, известном своим богатством и невежеством. По одной из версий мифа, в награду за почет, оказанный Мидасом наставнику Диониса Силену, бог виноделия предложил царю исполнить любое его желание. Мидас пожелал, чтобы всё, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото. Поскольку в золото стала превращаться даже пища, до которой он дотрагивался, Мидас взмолился богу, чтобы тот снял чары. Дионис сжалился над царем и велел ему омыться в струях Пактола, после чего река стала золотоносной (см., напр.: *Овидий.* Метаморфозы. XI. 85—145). См. также примеч. 27 к гл. I «Жана и Жанетты».

[7] *Агора* — у древних греков название народного собрания, а также места проведения собраний — как правило, рыночной площади, по сторонам которой находились святилища, государственные учреждения и портики с мастерскими и торговыми лавками. Агора являлась средоточием общественной жизни древнегреческих полисов.

[8] *Нард* — ароматическое вещество, которое добывается из корней одноименного травянистого растения (Nardostachys jatamansi), относящегося к семейству валериановых и произрастающего в горных районах Северной Индии. Нард был известен еще в древности — в частности, он упоминается в Ветхом Завете (см.: Песн. 1: 11; 4: 13—14) — и крайне ценился.

[9] *...Иксион, обнимающий облако...* — Аллюзия на древнегреческий миф об Иксионе — царе лапифов, допущенном Зевсом к пиру богов. Оказавшись на Олимпе, неблагодарный смертный осмелился домогаться любви богини Геры. Зевс создал образ супруги из облака, которое от союза с Иксионом произвело на свет чудовищное потомство — Кентавра, прародителя кентавров. Когда же Иксион стал похваляться своей победой, Зевс жестоко наказал его, велев привязать несчастного к вечно вращающемуся колесу и забросить в небо (по другой версии мифа, привязанного к огненному колесу Иксиона Зевс обрек на вечные муки в Тартаре).

[10] *...Диана, застигнутая в купальне Актеоном...* — Аллюзия на древнегреческий миф об охотнике Актеоне, который случайно увидел богиню Артемиду (в Древнем Риме почитавшуюся под именем Дианы) нагой, когда она купалась вместе с нимфами. Разгневанная богиня превратила Актеона в оленя, после чего он был растерзан собственными собаками. См. также примеч. 2 к гл. IX «Жана и Жанетты».

[11] *...пастух Парис на горе Иде, вершащий суд над Герой лилейнорукой, Афиной светлоокой и Афродитой в волшебном поясе...* — Аллюзия на древнегреческий миф о суде Париса, сына троянского царя Приама и Гекубы, воспитанного пастухами и приставленного пасти царские стада на горе Ида. Зевс поручил Парису рассудить,

кому из трех богинь, Гере, Афине или Афродите, должно достаться яблоко с надписью «Прекраснейшей», которое бросила на свадебном пиру Пелея и Фетиды богиня раздора Эрида, обиженная тем, что ее одну из всего сонма богов не пригласили на празднество. Желая склонить Париса на свою сторону, Гера обещала сделать его самым могущественным из земных царей, Афина — самым храбрым героем, а Афродита — обладателем красивейшей женщины на свете. Парис присудил яблоко Афродите. По одной из версий мифа, не последнюю роль в решении троянского царевича сыграл волшебный пояс, принадлежавший богине: он источал колдовской аромат и вызывал любовь к своей обладательнице как у богов, так и у смертных. Гера и Афина потребовали, чтобы Афродита сняла его, прежде чем предстать перед Парисом, но богиня прибегла к хитрости, сделав пояс невидимым. «Лилейнораменная» и «светлоокая» (также «ясноокая») — варианты перевода постоянных эпитетов Геры и Афины, соответственно (собственно *др.-греч.* λευκωλενος — белорукая и *др.-греч.* γλαυκωπις — совоокая), утвердившиеся в русской традиции после перевода Н.И. Гнедичем и В.А. Жуковским эпических поэм Гомера.

[12] *...троянские старцы, поднявшиеся, как утверждает слепец из Милета, навстречу Елене у Скейских врат.* — Аллюзия на строки из эпической поэмы Гомера «Илиада» (III. 145–153), в которых описывается, как почтенные мужи Трои всходят на Скейскую башню, чтобы взглянуть на прекрасную Елену, в сопровождении служанок приближающуюся к вратам города. Слепцом из Милета Готье иронически называет Гомера, который традиционно изображался незрячим. Примечательно, что в качестве родины древнегреческого певца Готье указывает Милет: точное место рождения Гомера доподлинно не известно, на славу отчизны поэта претендовали семь городов, среди которых Милет не значился. В частности, Авл Геллий в числе городов, споривших за звание родины Гомера, упоминает Смирну, Родос, Колофон, Саламин (на острове Кипр), Иос, Аргос и Афины (см.: Аттические ночи. III. 11).

[13] *...польстить царю Кандавлу — потомку Гераклида Алкея...* — Античная традиция относила лидийских царей к потомкам древнегреческого героя Геракла (см., напр.: *Плутарх.* Греческие вопросы. XLV. 301f; *Диодор Сицилийский.* Историческая библиотека. IV. XXXI. 8; *Николай Дамасский.* История. IV. Фрагм. 55 (46; 49), 56 (47; 49); *Аполлодор.* Мифологическая библиотека. II. VII. 8). В частности, согласно Геродоту (490/480 — ок. 425 до н. э.), от Геракла происходила вторая правящая династия Лидии, прервавшаяся со смертью Кандавла. Первым Гераклидом (т. е. потомком древнегреческого героя), воцарившимся в Лидии, по словам Геродота, стал Агрон, сын Нина, внук Бела, правнук Алкея — сына Геракла от рабыни царя Иардана. По подсчетам историка, Гераклиды правили Лидией в течение 22 поколений, на протяжении 505 лет (см.: *Геродот.* История. I. 7).

[14] *...с эпизодами из жизни Геракла в Фивах...* — Ироническая аллюзия на цикл мифов о Геракле. Фивы — место рождения древнегреческого героя, здесь он совершил свой первый подвиг: задушил двух чудовищных змей, посланных коварной Герой к колыбели Геракла и его брата Ификла. Позднее, в возрасте 18 лет, Геракл победил царя Орхомена Эргина, требовавшего дань с фиванцев, и обратил войско орхоменцев в бегство. Однако подвиги, принесшие ему бессмертную славу, Геракл совершил вдали от Фив. После того как он в приступе насланного Герой безумия убил собственных детей от Мегары, дочери фиванского царя, Геракл покинул Фи-

вы и, дабы искупить свое злодеяние, пошел в услужение к царю Тиринфа и Микен Эврисфею.

[15] *Ниссия, дочь сатрапа Мегабаза...* — Геродот, как и большинство последующих античных авторов, не называет имя супруги царя Кандавла и не уточняет ее происхождение. Согласно Николаю Дамасскому, последний царь Лидии из династии Гераклидов взял в жены Тудо, дочь царя мисов Арносса, основавшего город Ардиний на Фивийской равнине (см.: *Николай Дамасский*. История. VI. Фрагм. 56 (47; 49). 6). Птолемей Гефестион (кон. I — нач. II в. до н. э.), чьи сочинения дошли до наших дней в подробном пересказе патриарха Константинопольского Фотия (ок. 810 или ок. 820—890-е), утверждал, что имя супруги Кандавла было Нисия вопреки мнению некоторых историков, полагавших, что ее звали Тудун, Клития или Абро (см.: *Фотий*. Библиотека. Кодекс 190). Вероятнее всего, Готье почерпнул имя невесты Кандавла из комментария П.-А. Ларше к Геродоту. В частности, в примечание, посвященное лидийской царице, Ларше включил собственный перевод отрывка из свидетельства Птолемея Гефестиона, по ошибке изменив при транслитерации имя супруги Кандавла с Нисия на Ниссия (см.: Larcher 1802: 193—194, n. 33). Именно этот вариант написания имени лидийской царицы и представлен в повести Готье. В качестве родины невесты Кандавла Готье выбрал далекую Бактрию (см. примеч. 19), которая была в описываемое время самостоятельным государственным образованием. А отцу Ниссии он дал персидский титул сатрапа (т. е. наместника сатрапии — провинции в древней и раннесредневековой Персии) и имя одного из великих полководцев Дария I (ок. 550—486 до н. э., царь государства Ахеменидов с 522 г. до н. э.) — Мегабаза, покорившего Фракию (см., напр.: *Геродот*. История. IV. 143—145; V. 1—2, 10, 12, 14—17, 23—24).

[16] *Ахейцы* — общее название древних греков у Гомера, наряду с данайцами и агривянами. Исторически ахейцы были одним из основных древнегреческих племен наряду с ионийцами, дорийцами и эолийцами и изначально населяли Фессалию (с нач. 2-го тыс. до н. э.), позднее заняли полуостров Пелопоннес, сыгравший большую роль в истории Древней Греции.

[17] *Персеполь* — город в Древней Персии, основанный в кон. VI в. до н. э. Дарием I, одна из столиц государства Ахеменидов. В 330 г. до н. э. был захвачен и сожжен Александром Македонским.

[18] *Экбатана* — древнегреческое название города Хамадан, столица Мидии в VII—VI вв. до н. э., с 550—549 гг. до н. э. — летняя резиденция правителей из династии Ахеменидов, один из древнейших иранских городов, упоминаемый в ассирийской клинописи XI в. до н. э. как Аматана.

[19] *Бактрия* — историческая область в Средней Азии по среднему и верхнему течению реки Амударьи, в сер. VI в. до н. э. вошедшая в состав государства Ахеменидов и ставшая одной из самых богатых и сильных сатрапий древнеперсидской державы.

[20] *Евпатриды* — родовая землевладельческая знать в древнегреческих Афинах; в данном случае Готье, очевидно, подразумевает знатных жителей Сард.

[21] *Киммерия* — название полулегендарной страны, располагавшейся, по мнению античных географов, в Северном Причерноморье и населенной воинственным кочевым народом (см., напр.: *Геродот*. История. IV. 11—13; *Страбон*. География. VII. II. 2; VII. III. 6; VII. IV. 3, 5). Прилагательное «киммерийский», однако, исполь-

зовалось античными авторами, как правило, по отношению к дальнему Северу, где, по представлениям древних, царила полярная ночь (см., напр.: *Гомер.* Одиссея. XI. 14–19).

[22] *...Гарпократ, бог молчания, навеки приложивший палец к своим устам.* — См. примеч. 15 к гл. VII «Фортунио».

[23] *...Гигес, начальник гвардии Кандавла.* — Античные историки расходились во мнениях относительно социального статуса и происхождения Гигеса (царь Лидии в 716–678 до н. э., по другой версии в 680–644 до н. э.). Большинство античных авторов полагали, что Гигес был низкого происхождения. Так, согласно Геродоту, он состоял телохранителем (*др.-греч.* αἰχμοφόρος — букв.: копьеносец) при Кандавле (см.: История. IV. 8), по словам Платона, Гигес был пастухом, батрачившим у лидийского царя и впоследствии поднявшимся до вестника, приближенного к правителю (см.: Государство. II. 359d–360b), а Ксенофонт назвал предка Креза рабом (см.: Киропедия. VII. 2). Николай Дамасский, напротив, утверждал, что Даскил, дед Гигеса, принадлежал к благородному роду Мермнадов, однако был вероломно убит одним из Гераклидов, сыном лидийского царя Ардиса, после чего беременная жена Даксила из страха за свою жизнь бежала во Фригию. Сын Даксила, опасаясь преследований Гераклидов, отправился из Фригии к сирам, но затем, по настоянию оставшегося в Лидии бездетного дяди и с разрешения правящего царя, послал своего сына, Гигеса, в Сарды, где тот добился высокого положения. Юный Гигес стал телохранителем, а впоследствии и доверенным лицом молодого лидийского царя, фактически вторым человеком в государстве (см.: *Николай Дамасский.* История. VI. Фрагм. 53 (44; 49). 11; 55 (44; 49); 56 (47; 49). 1–4).

[24] *...Гигес... скакал по холмам Бактрии, куда царь отправил его с важным секретным поручением...* — По свидетельству Николая Дамасского, когда последний царь Лидии из династии Гераклидов решил взять в жены дочь царя мисов Арноса, то отправил за невестой к будущему тестю своего телохранителя Гигеса (см.: История. VI. Фрагм. 56 (47; 49). 6).

[25] *...подстегивая... нумидийского коня.* — Имеется в виду одна из древнейших пород лошадей, выведенная в Нумидии (древняя область в Северной Африке). Нумидийские кони ценились за подвижность и резвость, вывозились на продажу во все страны Средиземноморья и стали родоначальниками современной берберийской породы лошадей.

[26] *...Борей со взлохмаченными от фракийских морозов волосами и раздутыми щеками...* — Борей — в древнегреческой мифологии бог сильного северного ветра, сын титанидов Астрея и Эос, брат Зефира и Нота — богов западного и южного ветров, соответственно. Местом его обиталища считалась Фракия, где царили холод и мрак. Борей изображался могучим крылатым, длинноволосым и бородатым божеством.

[27] *Эрос* (Эрот) — в древнегреческой мифологии бог любви, неизменный спутник и помощник Афродиты, олицетворение любовного влечения, обеспечивающего продолжение жизни на Земле. В искусстве классики и эллинизма изображался в виде капризного и озорного златокудрого крылатого мальчика с луком и стрелами или пылающим факелом.

[28] *...застыл от одного взгляда на прекрасную Медузу...* — В искусстве Нового времени образ младшей из сестер Горгон начинает переосмысляться. По верному наблюдению Л. Руссийон-Константи, исследователя образа Медузы в творчестве

романтиков, «от Данте и Петрарки до Шелли, через Гёте, фигура Медузы воплощает для поэтов всех эпох амбивалентность женского взгляда, который притягивает и околдовывает, соблазняет и губит» (*Roussillon-Constanty L.* Méduse au miroir: esthétique romantique de Dante Gabriel Rossetti. Grenoble: ELLUG, 2008. P. 31). В частности, у С.-Т. Колриджа, Д. Китса, Э.-А. По и Ш. Бодлера Горгона предстает в образе роковой женщины, сражающей мужчин своей красотой. См. также примеч. 3 к гл. VII «Фортунио».

[29] *...между золотыми грифонами царского трона.* — Грифоны — в мифологии Древнего Востока и Древней Греции чудовищные птицы с телом льва и с орлиным клювом (иногда с головой льва). Изображения грифонов были широко распространены в древневосточном и античном искусстве, в частности, резные грифоны часто служили подлокотниками царского трона или стояли по бокам от него.

[30] *Плангон* — персонаж повести Готье «Золотая цепь, или Подаренный любовник» (1837), знаменитая своей красотой гетера родом из Милета.

[31] *Архенасса* (правильно — Археанасса) — гетера родом из Колофона (см. примеч. 33), жившая в Афинах в кон. V в. до н. э. Считается, что в нее был глубоко влюблен в юности Платон. В частности, древнегреческий ритор и грамматик Афиней (III—II вв. до н. э.) приводит эпиграмму, посвященную Платоном Археанассе (см.: Пир мудрецов. XIII. LVI. 589c—d). В «Палатинской антологии» похожая эпиграмма (№ 217), однако, атрибутирована Асклепиаду (см.: The Greek Anthology: In 5 vol. / Tr. by W.R. Paton. L.: William Heinemann; N.Y.: G.P. Putnam's sons, 1919. Vol. 2. Bk. 7. P. 122–123. (The Loeb classical library)).

[32] *Таис* — знаменитая афинская гетера, пользовавшаяся благосклонностью Александра Македонского, впоследствии вторая жена Птолемея I Сотера (367—283 до н. э., правитель Египта в 323 г. до н. э.).

[33] *Феано из Колофона* — вымышленный персонаж. Колофон — один из городов, входивших в состав Ионийского союза в Малой Азии. Этот город называли также в числе городов, претендовавших на славу родины Гомера.

[34] *...дочь Неба и Моря...* — Имеется в виду древнегреческая богиня красоты и любви Афродита (в Древнем Риме известная под именем Венеры), родившаяся, согласно наиболее древней версии мифа, из крови оскопленного Кроносом бога неба Урана, которая попала в море и образовала белоснежную пену. Отсюда происходит один из эпитетов богини — Анадиомена (от *др.-греч.* — появившаяся на поверхности моря). См. также примеч. 51.

[35] *...маленькое зеркало из литого металла...* — В древности зеркала изготовлялись из полированных металлических пластин (бронзовых, серебряных, медных) или шлифованных камней и минералов (напр., обсидиана, горного хрусталя); первые стеклянные зеркала появились значительно позже, в нач. I в. в Риме.

[36] *...у Ниссии в каждом глазу по два зрачка? ~ у нее такой пронзительный взгляд, что она видит сквозь стены ~ подарил ей волшебный камень из головы дракона, наделяющий... способностью видеть в темноте и даже сквозь... стены.* — Описывая невероятные слухи, распространявшиеся жителями Сард о Ниссии, Готье, очевидно, опирается на предложенный П.-А. Ларше перевод свидетельства Птолемея Гефестиона в пересказе патриарха Фотия. Кратко излагая содержание сочинений Птолемея Гефестиона, Фотий среди прочего отметил, что, по утверждению автора, у жены Кандавла «были двойные зрачки и необычайно пронзительный взгляд

с тех пор, как она получила змеиный камень» (*Фотий*. Библиотека. Кодекс 190). Ларше перевел использованное Фотием выражение «δραχοντίτην... λίθον» (*греч.*) как «камень дракона» (Larcher 1802: 193). О роковых женщинах с двойными зрачками писал также, ссылаясь на Аполлонида и Исигона Никейского, Плиний Старший (см.: Естественная история. VII. II. 16, 17).

[37] *Кнемиды* — металлические доспехи, защищавшие голени древнегреческих воинов; то же, что поножи.

[38] *...белые, словно ноги Фетиды...* — Среброногая (*др.-греч.* ἀργυρόπεζα), т. е. с белоснежными ногами — постоянный эпитет древнегреческой морской богини Фетиды (см., напр.: *Гомер*. Илиада. I. 538, 556; IX. 410; XVI. 222, 574).

[39] *Метопы* — прямоугольные, почти квадратные плиты, которые, чередуясь с триглифами (прямоугольными вертикальными каменными плитами с продольными желобками), образуют фриз дорического ордера. Иногда украшались рельефами, реже росписью.

[40] *...обратилась к фессалийской колдунье...* — Фессалия — историческая область в Северной Греции у побережья Эгейского моря, охватывавшая плодородную Фессалийскую равнину; с древних времен считалась страной магического искусства и могущественных колдуний, умевших, по поверью, заклинать стихии и сводить луну с неба на землю (см., напр.: *Гораций*. Эподы. V. 45; *Аристофан*. Облака. Эписодий II).

[41] *...волшебный перстень, который Гигес... нашел в бронзовом коне посреди лесной чащи, утратил чудесную силу, делавшую его владельца невидимым...* — О волшебном кольце Гигеса, которое, стоило лишь повернуть его камнем к ладони, делало своего обладателя невидимым для других, писал Платон (427—347 до н. э.) в диалоге «Государство». По словам философа, Гигес нашел перстень, когда однажды пас овец. Заметив трещину в земле, образовавшуюся после землетрясения и ливневых дождей, он спустился в расселину и нашел в ней среди других удивительных вещей медного коня с дверцами, внутри которого находился мертвец с золотым кольцом на руке (см.: Государство. II. 359d—360b; X. 612b). Позднее эту историю пересказал Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.) в своем сочинении «Об обязанностях» (III. IX. 39). Перстень Гигеса впоследствии не раз упоминался в античной и европейской литературе (см., напр.: *Лукиан*. Дважды обвиненный, или Судебное разбирательство. 21).

[42] *Драхма* — здесь: древнегреческая весовая и денежная единица, серебряная монета, чеканившаяся с VI в. до н. э. и равнявшаяся 6 оболам. В разных частях Древней Греции имела разный вес, напр., эгинская драхма — 6,1 г, аттическая — 4,36 г.

[43] *Талант* — здесь: наивысшая денежно-весовая единица в Древней Греции и Малой Азии. В античном мире существовало несколько весовых систем, однако самой крупной единицей в каждой из них был талант. Членение таланта на меньшие единицы во всех системах, как правило, было однотипным: талант состоял из 60 мин, мина, в свою очередь, делилась на 50 статеров или 100 драхм, а в драхме насчитывалось 6 оболов. Что же касается веса самого таланта, то таковой в различных полисах не был одинаковым. Так, эгинский талант равнялся 37 кг, а эвбейский — 26,2 кг, однако наибольшую известность получил так называемый малый аттический талант, который был введен реформой Солона 594 г. до н. э. и составлял 26,2 кг серебра (при Александре Македонском — 25,9 кг).

[44] *...в паламедских играх...* — Паламед — персонаж древнегреческой мифологии, сын царя Эвбеи Навплия, хитростью разоблачивший Одиссея, который притворился сумасшедшим, чтобы избежать участия в Троянской войне. Ему приписывается создание (или упорядочение) алфавита, введение чисел, мер длины и веса, счета времени по годам, месяцам и дням, а также изобретение игр в шашки и кости.

[45] *Гиперион* (др.-греч. Ὑπερίων) — букв.: идущий наверху, т. е. по небу. В древнегреческой мифологии имя принадлежало одному из титанов, сыну Геи и Урана, отцу Гелиоса, Селены и Эос, нередко отождествлявшемуся с самим богом солнца.

[46] *Кумган* — металлический или керамический сосуд для воды, узкогорлый изящный кувшин с носиком, ручкой и крышкой.

[47] *...браслетов из офирского золота...* — Офир — упоминаемая в Библии страна, славившаяся превосходным золотом (см.: Иов. 22: 24, 28: 16; Ис. 13: 12; 1 Пар. 29: 4; Пс. 44: 10). Согласно Ветхому Завету, в Офир снаряжали совместные морские экспедиции царь Соломон и царь Тира Хирам за золотом, слоновой костью, красным деревом и драгоценными камнями (см.: 3 Цар. 9: 27–28; 10: 11; 2 Пар. 8: 18; 9: 10). Местонахождение Офира спорно, в разное время его искали в различных частях света и странах, вероятнее всего, он располагался в районе Баб-эль-Мандебского пролива и соответствовал египетскому Пунту или шумеро-аккадской Мелуххе.

[48] *Калазирис* — в Древнем Египте прямая женская рубашка на лямках.

[49] *...из канопской ткани...* — Каноп — древнеегипетский город в западной части дельты Нила, до основания в 332 г. до н. э. Александрии — главный центр египетской торговли с греками; достиг своего расцвета при Птолемеях в IV–III вв. до н. э.

[50] *Серы* — название, использовавшееся древними греками, а позднее также древними римлянами для обозначения народов, населявших северо-западный Китай и обладавших секретом производства чудесной ткани — шелка (*др.-греч.* σηρικά, *лат.* serica). Сведения античных авторов о далекой стране серов, в частности о ее местоположении, были отрывочными, поэтому ее называли загадочной, сказочной и т. п. (см., напр.: *Страбон.* География. XVI. I. 37; *Плиний Старший.* Естественная история. VI. XX. 53–55; VI. XXIV. 88).

[51] *...изваяния Венеры Небесной и Венеры Прародительницы...* — Небесная (*лат.* Caelestis) и Прародительница (*лат.* Genetrix) — эпитеты древнеримской богини Венеры, отождествлявшейся с древнегреческой богиней любви и красоты Афродитой. Первый из эпитетов, восходивший к древнегреческому мифу о рождении Афродиты из крови оскопленного бога неба Урана (см. примеч. 34), соответствовал воплощению Венеры в образе синкретичной верховной богини, сочетавшей в себе черты Астарты и Кибелы. Изображения Венеры Небесной сохранились, в частности, на древнеримских монетах, отчеканенных в честь Юлии Соэмии (180–222), матери императора Гелиогабала (см. примеч. 6 к гл. II «Фортунио»): на реверсе ряда монет 218–222 гг. была выбита богиня Венера в диадеме, державшая в руках яблоко и скипетр и, как правило, восседавшая на троне. Второй эпитет связан с преданием об основании Рима сыном богини троянцем Энеем, отцом Аскания, или Юла, легендарного предка рода Юлиев, к которому принадлежали, в частности, Гай Юлий Цезарь (100/102–44 до н. э.) и Октавиан Август (63 до н. э. — 14 н. э.). Культ богини как прародительницы потомков Энея и покровительницы римлян получил особое распространение в период диктатуры Юлия Цезаря (49–44 гг. до н. э.) и принципата Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Так, в 46 г. до н. э. Юлий Це-

зарь воздвиг в Риме храм, посвященный Венере Прародительнице. В качестве культовой статуи диктатор приказал греческому мастеру Аркесилаю изготовить копию ныне утраченной древнегреческой скульптуры, изображавшей Афродиту и приписывавшейся прославленному афинскому ваятелю Каллимаху (кон. V в. до н. э.). Одна из многочисленных копий храмовой статуи (кон. I – нач. II в.) находится, в частности, в Лувре. Скульптура изображает Венеру в длинном одеянии, ниспадающем до пят и открывающем левую грудь, в левой руке богиня держит яблоко, а правой набрасывает на голову покрывало.

[52] *...выполненные лучшими учениками сикионской школы...* – Сикион – полис на северо-востоке Пелопоннеса, славившийся как один из центров древнегреческого искусства и родина знаменитого художника Апеллеса (см. примеч. 2 к гл. II). В нач. VI в. до н. э. здесь была основана критскими мастерами Дипойном и Скиллидом так называемая сикионская школа бронзовой и деревянной скульптуры. К этой школе принадлежали, в частности, Аристокл (вторая пол. VI в. до н. э.), Канах (руб. VI–V вв. до н. э.), Синноен (Синноон; кон. VI – первая пол. V в. до н. э.), Птолих из Эгины (первая пол. V в. до н. э.), Сострат (вторая пол. V в. до н. э.) и Пантий (кон. V – нач. IV в. до н. э.). Изображения скульпторов сикионской школы отличались от изваяний предшественников и мастеров других школ более легкими, удлиненными пропорциями, более четкими, тонко проработанными чертами, а также острым линейным рисунком. О мастерах сикионской школы и их творениях упоминали в своих трудах, в частности, Плиний Старший (см.: Естественная история. XXXIV. XIX) и Павсаний (см.: Описание Эллады. VI. III. 4, 11; VI. IX. 1; VI. XIII. 4; VI. X. 2; VI. XIV. 5).

[53] *Паросский мрамор* – знаменитый мелкозернистый чистый белый мрамор (из-за примеси железа, однако приобретающий от времени чуть желтоватый оттенок) с острова Парос, одного из островов архипелага Кикладов в Эгейском море, излюбленный материал античных ваятелей; систематически добывался с IV в. до н. э. фракийскими рабами.

[54] *Огромная картина Буларха, за которую Кандавл отдал столько золота, сколько она весила... представляющая битву Магнетов...* – О картине «Битва магнетов» древнегреческого художника Буларха (вторая пол. VIII в. до н. э.), купленной на вес золота последним царем Лидии из династии Гераклидов, Кандавлом, или Мирсилом, упоминает в «Естественной истории» Плиний Старший. По словам древнеримского писателя, высокая цена, заплаченная Кандавлом за картину, свидетельствует о том, что уже в те времена мастерство античных художников достигло поразительных высот (см.: Естественная история. XXXV. XXXIV. 55). Приведенное Плинием название картины созвучно с названием более известного, однако более позднего сражения – битвы при Магнесии, состоявшейся в декабре 190 г. до н. э. между римской армией под началом Сципиона Азиатского (ок. 232–183 до н. э.) и армией Антиоха III (241–187 н. э., царь государства Селевкидов с 223 г. до н. э.) и закончившейся сокрушительным поражением последнего (см., напр.: *Моммзен Т.* История Рима: В 5 т. / Под науч. ред. С.И. Ковалева и Н.А. Машкина. СПб.: Наука: Ювента, 1997. Т. 1. Кн. 3. С. 565–588).

[55] *...укрощал коня не хуже лапифа...* – Лапифы – в древнегреческой мифологии родственное кентаврам фессалийское племя, жившее в горах и лесах Оссы и Пелиона и отличавшееся диким воинственным и независимым нравом.

[56] *...мог натянуть лук Одиссея и поднять щит Ахилла...* — То есть обладал недюжинной силой и ловкостью. Одиссей и Ахилл — персонажи древнегреческой мифологии, воспетые в эпических поэмах Гомера, одни из величайших героев Троянской войны. По словам древнегреческого поэта, огромный, сверкающий щит Ахилла выковал сам бог кузнечного дела и огня Гефест, в свою очередь, Одиссей был единственным, кто мог натянуть свой необыкновенно тугой лук (см.: *Гомер.* Илиада. XVIII. 478—608; Одиссея. XXI).

[57] *...работы Телефана из Сикиона, Клеанта и Ардика из Коринфа, Гигиемона, Диния, Хармада, Евмара и Кимона... помимо простых рисунков без тушевки... цветные и одноцветные.* — Древние авторы писали о чрезвычайной красоте произведений греческой живописи, восхищались ими, даже больше, чем скульптурой, однако мы можем судить о них только по литературным источникам, поскольку ни одного памятника живописного искусства Древней Греции не сохранилось. Перечисленные Готье художники упоминаются в «Естественной истории» Плиния Старшего. Так, со слов Плиния, коринфянин Клеант первым среди греков начал рисовать силуэты, в свою очередь, Телефан и Ардик усовершенствовали линейный чертеж (добавив тушевку), хотя и не использовали в работах цвет, как авторы более поздних монохромных рисунков. Гигиенона (ошибочно названного Готье Гигиемоном), Диния, Хармада и Евмара Плиний указывает как первых из известных создателей одноцветных рисунков, причем в творениях последнего мастера, по утверждению античного писателя, изображенные фигуры обрели пол. Кимон же первым сумел запечатлеть предметы и людей в перспективе и в разных ракурсах (см.: *Плиний Старший.* Естественная история. XXXV. V. 16; XXXV. XXXIV. 56). Т.-Л.-Б. Вебстер, впрочем, настаивает, что под перспективой Плиний имел в виду не способ изображения объемных тел в пространстве, а наклонность отдельных фигур (см.: *Pliny.* Natural history: In 10 vol./Tr. by H. Hackham, M. A. Cambridge (MA): Harvard University Press; L.: William Heinemann LTD, 1961. Vol. 9. S. 303, f e. (The Loeb classical library)).

[58] *Энкаустика* — вид восковой живописи (см. примеч. 7 к гл. XVI «Фортунио»), выполнявшейся горячим способом, т. е. расплавленными красками, которые наносились на нагретый бронзовой лопаткой участок основы. Техника энкаустики была создана древнегреческими мастерами в V в. до н. э., однако с III в. ее постепенно начала вытеснять восковая темпера, а позднее и так называемый холодный способ восковой живописи. Согласно Плинию Старшему, этим способом писали, в частности, Полигнот (вторая четв. V в. до н. э.) и Памфил (вторая четв. IV в. до н. э.), учитель Апеллеса (см.: Естественная история. XXXV. XXXIX. 122; XXXV. XL. 123; XXXV. XLI. 149). Энкаустика применялась главным образом в станковой живописи; в монументальных росписях она использовалась в тех случаях, когда из-за неблагоприятных внешних условий требовалась особая прочность красочного слоя (стенописи в термах, наружные росписи и проч.).

[59] *Ляпис-лазурь* (лазурит) — непрозрачный минерал синего цвета, используется как поделочный камень для изготовления украшений и художественных изделий.

[60] *Тир* (современный Сур) — древний финикийский город-государство на восточном побережье Средиземного моря, в прошлом один из важнейших торговых

и ремесленных центров региона (особенно по выработке пурпурных шерстяных тканей и производству изделий из слоновой кости и стекла). С VIII в. до н. э. находился под властью Ассирии, с нач. VI в. до н. э. — Нововавилонского царства, во второй пол. VI — второй пол. IV в. до н. э. — державы Ахеменидов.

[61] *Виссон* — тончайшая дорогая белая или пурпурная ткань, изготовленная из льна или хлопка и предназначавшаяся в древности для одеяний царей, жрецов и т. п. Виссон неоднократно упоминается в Библии (см., напр.: Быт. 41: 42, Исх. 25: 4, Лк. 16: 19, Откр. 19: 8), в частности, как материал для священного облачения (см.: Исх. 26: 1; 28: 6, 8; 39: 27–29).

[62] *Синдон* (греч.) — род тонкой хлопчатобумажной ткани, а также платье из этой ткани. В Библии синдоном названа нижняя рубашка из тонкого полотна (см.: Суд. 14: 12–13) и чистая плащаница, в которую завернули тело Иисуса (см.: Мк. 15: 46; Мф. 27: 59).

[63] *Фламий* (лат.) — в Древнем Риме огненно-красная подвенечная фата.

Глава II

[1] *Праксителъ* (ок. 390–330 до н. э.) — знаменитый древнегреческий скульптор эпохи поздней классики; считается первым древнегреческим мастером, изваявшим полностью обнаженную женскую фигуру (Афродита Книдская, 350–330 до н. э.).

[2] *Апеллес* (вторая пол. IV в. до н. э.) — один из самых выдающихся древнегреческих живописцев, создатель портретов и аллегорических полотен, придворный художник македонских царей, произведения которого, к сожалению, не сохранились до наших дней и известны лишь по описаниям античных авторов (см., напр.: *Плиний Старший*. Естественная история. XXXV. XXXVI. 75, 79–97). См. также примеч. 31.

[3] *Мимнерм* (вторая пол. VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт и музыкант, считающийся родоначальником эротической элегии в античной литературе. Главная заслуга Мимнерма состояла во введении новых тем в жанр элегии: в своих произведениях поэт описывал среди прочего радости и разочарования любви, размышляя о бренности человеческой жизни, краткости юности и горестях старости.

[4] *Электрум* — редкий минерал янтарного цвета, разновидность самородного золота, содержащая свыше 25% серебра.

[5] *Елисейские поля* — в древнегреческой мифологии часть царства мертвых Аида, где пребывали после смерти, не ведая печали и забот, герои и избранники богов; то же, что Элизиум. По представлениям древних греков, находились далеко на западе, к примеру, Гомер локализовал эти острова на самом краю земли около реки Океан, омывающей землю (см.: Одиссея. IV. 563–569).

[6] *...Тифон, ворочающийся под Этной...* — Тифон — в древнегреческой мифологии чудовищное порождение Геи и Тартара. По одной из версий мифа, одолев Тифона, Зевс навалил на него гору Этну, из вершины которой стало извергаться дыхание стоглавого огнедышащего великана потоками пламени, камней и дыма.

[7] *...проживи вы хоть тысячу Олимпиад...* — То есть 4000 лет. Олимпиада — в Древней Греции промежуток времени в четыре года между двумя Олимпийски-

ми играми, служивший единицей летосчисления вплоть до 394 г. Считается, что первые Олимпийские игры состоялись в 776 г. до н. э. На рубеже V—IV вв. до н. э. Гиппий из Элиды пронумеровал Олимпиады, позднее Аристотель (ок. 384—322 до н. э.) составил их список, а ок. 264 г. до н. э. историк Тимей (ок. 356 — ок. 260 до н. э.) ввел систему счета времени по Олимпиадам. Это летосчисление использовали, в частности, Полибий (ок. 200—120 до н. э.), Диодор Сицилийский (ок. 90—21 до н. э.) и Дионисий Галикарнасский (вторая пол. I в. до н. э.).

[8] *...красой златоглавого сына Лето...* — Имеется в виду златокудрый бог Аполлон — сын древнегреческого бога Зевса и титаниды Лето, дочери титанов Коя и Фебы.

[9] *Орфей* — персонаж древнегреческой мифологии, сын фракийского речного бога Эагра (по другой версии — Аполлона) и музы эпической поэзии Каллиопы. Славился как певец и музыкант, наделенный магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но также боги и сама природа.

[10] *...Кабиров, Тельхинов и Дактилей...* — Речь идет о демонических существах древнегреческой мифологии. Кабиры — хтонические божества малоазийского происхождения, считались детьми бога Гефеста и нимфы Кабиро, ведавшими подземным огнем и обладавшими особой, унаследованной от Гефеста, мудростью. Культ кабиров был распространен на Самофракии, Имбросе, Лемносе и в Фивах. Тельхины — хтонические существа, культ которых был связан с островом Родос. По верованиям древних греков, тельхины были великолепными кузнецами (поэтому их нередко смешивали с дактилями и циклопами), выковавшими, в частности, серп, которым Кронос оскопил Урана. Тельхины почитались также как изобретатели различных искусств и колдуны, употреблявшие свои магические знания как на пользу, так и во вред людям и богам. Дактили — спутники Реи-Кибеллы (см. примеч. 48 к гл. I «Милитоны»), искусные металлурги и кузнецы, жившие на горе Иде на Крите (или во Фригии); им приписывалось открытие обработки железа.

[11] *...ледяные души Нестора и Приама...* — См. примеч. 2 к гл. IX «Фортунио».

[12] *...взоры юной вавилонянки, повязавшей голову веревкой и приносящей жертву богине Милитте...* — Аллюзия на эпизод из «Истории» Геродота. Описывая традиции и нравы жителей Вавилона, античный историк упоминает о древнем обычае, согласно которому каждая вавилонянка раз в жизни должна была, надев на голову повязку из веревочных жгутов, отправиться в святилище Милитты, ассирийской богини любви и плодородия, и там смиренно дожидаться, пока ее не выберет какой-нибудь чужестранец, чтобы соединиться с ней за символическую плату (см.: *Геродот.* История. I. 131, 199).

[13] *Суккот-Беноф* — в Ветхом Завете название божества, созданного вавилонскими переселенцами в Самарии (см.: 4 Цар. 17: 30).

[14] *...к ногам Венеры, выходящей из вод.* — См. примеч. 10, 11 к гл. XX «Фортунио».

[15] *Шир ха-ширим* (др.-евр.) — транскрипция оригинального названия книги Песни Песней Соломона, канонической части Ветхого Завета, приписываемой сыну Давида и Вирсавии Соломону, третьему царю Израильско-Иудейского государства (ок. 965—928 до н. э.). По форме представляет собой сборник любовных и свадебных песен, возникший не ранее 300 г. до н. э. и горячо воспевающий страстную любовь, которая преодолевает все преграды.

[16] *...только Соломону позволительно уподобить носик красавицы Ливанской башне, обращенной к Дамаску.* — Библейская аллюзия (см.: Песн. 7: 5). Ср. в рус. пер.: «<...> шея твоя — как столп из слоновой кости; глаза твои — озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску <...>»

[17] *...Елена, белокурая Тиндарида...* — Тиндаридой, т. е. дочерью спартанского царя Тиндарея, называет Елену Вергилий (см., напр.: Энеида. II. 568, 601). Что касается цвета волос, то «белокурый» (в пер. Н.И. Гнедича — «светлокудрый») — устойчивый эпитет супруга Елены, Менелая (см., напр.: Илиада. XVII. 6, 18, 113, 124). Саму Елену Гомер неизменно называет «прекраснокудрой» (в пер. Н.И. Гнедича — «лепокудрой»; см., напр.: Илиада. III. 329; VII. 355), не уточняя цвета волос царицы. Однако под влиянием неопетраркистских представлений о женской красоте в культурном сознании XIX в. распространилось представление о белокурой Елене. К примеру, в опере Ж. Оффенбаха (1819–1880) «Прекрасная Елена» (премьера 17 декабря 1864 г.; либретто А. де Мельяка и Л. Галеви) есть ария, начинающаяся словами «Меня зовут Еленой белокурой» («On me nomme Hélene la blond...»; акт II).

[18] *...разве удалось бы Семирамиде обольстить... Нин-Невета и возложить на свою голову жемчужную митру — символ верховной власти...* — Согласно древнегреческой легенде, Семирамида хитростью убила своего супруга царя Нина, основавшего столицу Ассирийского царства Ниневию. Обладая необычайной красотой и недюжинным умом, она выпросила себе у Нина на несколько дней царские регалии и самое власть, воспользовавшись которой приказала казнить своего мужа и стала единовластной правительницей.

[19] *И в то же время, разве есть ~ не отличался безупречностью?* — Парафраза известного изречения французского мыслителя Блеза Паскаля (1623–1662). Ср. в пер. С. Долгова: «Будь нос Клеопатры покороче — иное было бы лицо мира» (Мысли. III. VII. 162).

[20] *Аскалон* — древний хананейский, а с XII в. до н. э. филистимский город в Южной Палестине на побережье Средиземного моря, впервые упоминаемый в египетских документах XVIII в. до н. э. В Ветхом Завете назван одним из пяти главных городов филистимлян (см.: Ис. Нав. 13: 3; 1 Цар. 6: 17; Иер. 25: 20; 47: 5, 7; Ам. 1: 8; Соф. 2: 4; Зах. 9: 5). В древности был крупным торгово-ремесленным центром, в римско-византийскую эпоху стал одним из центров греческой культуры. Окончательно был разрушен в 1270 г. Бейбарсом (1223/1225–1277, мамлюкский султан Египта с 1260 г.). В настоящее время на месте города находится одноименное селение государства Израиль.

[21] *Согд* (Согдиана) — историческая область в Средней Азии в долинах рек Зеравшан и Кашкадарья, один из древних центров цивилизации, в VI–IV вв. до н. э. входил в состав государства Ахеменидов.

[22] *Шакка* — древний город на юге Сирии.

[23] *Ресафа* (впоследствии Сергиополь) — древний город, располагавшийся в долине Евфрата к югу от современного города Ракка в Сирии. Упоминается в Ветхом Завете как Рецеф (см.: Ис. 37: 12). В настоящее время — мертвый город, похороненный под песками пустыни.

[24] *...не задушивший, подобно... прапрадеду, никакой гидры и не разорвавший ни одного льва...* — Ироническая аллюзия на цикл древнегреческих мифов о двенадцати по-

двигах Геракла, совершенных героем на службе у царя Тиринфа и Микен Эврисфея. Так, выполняя приказания Эврисфея, Геракл убил Немейского льва, задушив его собственными руками, и умертвил Лернейскую гидру, отрубив ей все головы. Поскольку вместо одной отсеченной головы у гидры тотчас же вырастали две новые, Гераклу пришлось прижечь обрубки шей чудовища горящими головнями, а последнюю, бессмертную, голову закопать в землю и придавить тяжелым камнем.

[25] *Гинекей* – в Древней Греции название женской половины в задней части дома.

[26] *Нехси.* – Как уточняет Ж.-Ж. Шампольон, именем «нехси» древние египтяне называли негров (см.: *Champollion-Figeac J.-J.* Egypte ancienne. P.: Firmin Didot, 1839. P. 30). См. также примеч. 4 к гл. I «Романа о мумии».

[27] *Куш* – в древности страна, расположенная между первым и шестым порогами Нила и далее к югу и востоку по Белому и Голубому Нилу, между Красным морем и Ливийской пустыней. В глубокой древности (с 4–3-го тыс. до н. э.) был заселен родственными древним египтянам семито-хамитскими и кушитскими племенами. Со 2-го тыс. до н. э. сюда начали проникать и смешиваться с местным населением негроидные племена. С X в. стал называться Нубией.

[28] *...подобно тем индусам, что устилают своими телами дорогу, по которой везут их идола.* – Имеется в виду праздник Ратха-ятра (*санскр.* – шествие колесницы), проходящий в июне или июле в индийском городе Пури и посвященный Джаганнатхе (*др.-инд.* – владыка мира) – одному из воплощений Вишну в виде Кришны в индуизме (см. примеч. 7 к гл. IV «Аватары»). Во время празднества статую Джаганнатхи вместе со статуями брата и сестры Кришны, Баларамы и Субхадры, провозят во главе религиозной процессии через весь город на огромной шестнадцатиколесной колеснице, которую тащат на длинном канате толпы богомольцев. В прошлом некоторые из паломников в экзальтации бросались под колеса проезжающей колесницы, веря, что, погибнув таким образом, обретут вечное блаженство.

[29] *Парис-Александр.* – Согласно древнегреческому мифу, в юности царевич Парис получил прозвище Александр (*др.-греч.* – букв.: отражающий мужей), за то, что храбро отразил нападение шайки разбойников на стадо, которое он пас.

[30] *Пентелийский мрамор* – знаменитый мелкозернистый белый мрамор, добывавшийся под Афинами на горе Пентеликон. Служил одной из основных статьей экспорта древних Афин и излюбленным материалом древнегреческих строителей и скульпторов.

[31] *...так... поступил Александр Великий со своей фавориткой Кампаспой, которая обнаженной позировала Апеллесу.* – Согласно Плинию Старшему, Александр Македонский заказал Апеллесу (см. примеч. 2 к гл. II) портрет Панкаспы (Кампаспы), на котором художник должен был запечатлеть прекрасную наложницу царя полностью обнаженной. Однако когда Александр заметил, что художник, работая над картиной, воспылал страстью к натурщице, то великодушно подарил мастеру содержанку, чем выказал величайшеее уважение, испытываемое им к живописцу, и вместе с тем доказал собственную выдержку и самообладание. По словам Плиния, Панкаспа позировала Апеллесу также для знаменитой утраченной картины «Афродита Анадиомена», на которой художник изобразил древнегреческую богиню, выходящую нагой из морской воды (см.: Естественная история. XXXV. XXXVI. 86–87).

[32] *Менал* — гора в Аркадии, покровителем которой в древности считался бог Пан.

[33] *Аканф* (акант) — декоративное украшение в форме стилизованных листьев и стеблей одноименного растения, широко использовавшееся в античном искусстве, в частности, для декора фризов и карнизов, а также капителей колонн коринфского ордера, сложившегося в сер. V в. до н. э. (см. примеч. 3 к гл. XXVI «Фортунио»).

[34] *...ионические волюты...* — Волюта — архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком («глазком») в центре, характерная часть капители ионической колонны, входит также в композицию коринфских и композитных капителей.

[35] *Фриз.* — См. примеч. 1 к гл. XVIII «Фортунио».

[36] *Циклопическая кладка* — тип каменной кладки из больших отесанных каменных глыб без применения связующего раствора; древние греки приписывали создание сложенных таким образом строений циклопам (отсюда произошло название кладки). Сооружения с циклопической кладкой относятся преимущественно к бронзовому веку и встречаются прежде всего на территории Средиземноморья, Армянского нагорья и в Крыму.

[37] *Каннелюры* — вертикальные желобки на стволе пилястры или колонны, а также горизонтальные желобки на базе колонн ионического ордера.

[38] *Иерофант* — в Древней Греции верховный жрец в Элевсине, имевший право посвящать в таинства мистерий.

[39] *Архитрав* — в архитектурных ордерах главная балка, нижняя часть антаблемента (см. примеч. 7 к гл. III), лежащая на капителях колонн или пилястр.

[40] *...Алкей, сын Геракла и Омфалы, Нин, Бел, Агрон — первые цари из рода Гераклидов... Ардис, Алиатт, Мелес, или Мирс, отец Кандавла, и, наконец, сам Кандавл.* — Перечисляя царственных предков Кандавла, Готье объединяет сведения, почерпнутые им у Геродота, со списком царей Лидии из хроники Евсевия Кесарийского. При этом у Геродота Готье берет имена первых Гераклидов, наделяя первых трех потомков древнегреческого героя царским титулом, а у Евсевия заимствует имена непосредственных предшественников Кандавла, Ардиса, Алиатта и Мелеса (см.: *Геродот.* История. I. 7; *Eusebius Pamphili.* Chronicorum canonum libri duo. Mediolani: Regiis typis, 1818. P. 47). Вместе с тем, называя Омфалу родоначальницей лидийских царей, Готье использует эллинистическую версию происхождения правящей династии Лидии (ср., напр.: *Плутарх.* Греческие вопросы. XLV. 301f; *Аполлодор.* Мифологическая библиотека. II. VI. 6; *Диодор Сицилийский.* Историческая библиотека. IV. XXXI. 8). Согласно Геродоту, вторая династия лидийских царей вела свой род от рабыни царя Иардана.

[41] *Тринакрийский* — то есть с Тринакрии, мифического острова, на котором, согласно Гомеру, паслось тучное стадо белоснежных быков бога солнца Гелиоса, числом соответствовавшее дням года (см.: Одиссея. XI. 107; XII. 128–137; XIX. 275). Впоследствии Тринакрия стала отождествляться с Сицилией.

[42] *Ир* — прозвище одного из персонажей поэмы «Одиссея», попрошайки, попытавшегося прогнать Одиссея, когда тот под видом нищего вернулся во дворец на Итаку (см.: *Гомер.* Одиссея. XVIII. 1–107); иносказательно — обозначение бедняка, нищего.

[43] *...Прометей вылепил из глины первых людей...* — По одной из версий древнегреческого мифа, людей создал титан Прометей, вылепив их из глины.

Глава III

[1] *Гигия* — в древнегреческой мифологии богиня здоровья, дочь бога врачевания Асклепия.

[2] *...со времен Дедала, чьи статуи умели говорить и ходить.* — Дедал — легендарный древнегреческий мастер, считавшийся не только гениальным архитектором и изобретателем, но также талантливым художником и искусным скульптором. По преданию, созданные Дедалом статуи двигались как живые; об этом упоминает, в частности, Платон (см.: *Платон.* Менон. 97d; Еврифрон. 11d—e).

[3] *Лин* — персонаж древнегреческой мифологии, сын музы Урании, внук Посейдона (по другой версии сын Эагра и Каллиопы), знаменитый музыкант и певец, живший в одной из пещер на Геликоне, соперник Аполлона, убитый им. Лином звали также фиванца, обучавшего музыке юного Геракла и его брата Ификла.

[4] *...дряхлым, сухим и морщинистым, как Тифон в своих свивальниках...* — Тифон, или Титон — персонаж древнегреческой мифологии, сын легендарного троянского царя Лаомедонта, брат Приама и возлюбленный богини зари Эос, родившей ему Мемнона. Зевс в угоду Эос даровал ему бессмертие, но богиня зари забыла попросить громовержца о вечной юности для супруга. Несмотря на то что Эос давала ему амброзию и нектар, Тифон состарился и настолько одряхлел, что превратился в сверчка. По другой версии, Тифон так сморщился от старости, что его, как младенца, спеленали и уложили в ивовую корзину.

[5] *...бессмертные карают неосторожных невеж, что отваживаются бросить взгляд на их обнаженное тело.* — См. примеч. 10 к гл. I.

[6] *...клянусь пеплом костра, что превратил в бога моего предка...* — То есть пеплом погребального костра Геракла. Согласно древнегреческому мифу, муки, которые испытывал Геракл, надевший пропитанный кровью Несса хитон (см. примеч. 3 к гл. XXIII «Фортунио»), были столь нестерпимы, что герой предпочел взойти на погребальный костер. Когда пламя охватило Геракла, с неба спустилась туча и с громом унесла его на Олимп, где герой был принят в сонм бессмертных богов.

[7] *Антаблемент* — верхняя горизонтальная часть сооружения, обычно лежащая на колоннах, составной элемент классического архитектурного ордера (см. примеч. 11 к гл. III «Милитоны»). Делится по вертикали на несущую часть — архитрав, на опирающийся на него фриз и венчающую часть — карниз.

[8] *Патера* — в Древнем Риме неглубокий сосуд, чаша для питья и возлияний в честь богов.

[9] *...трижды окрашенная пурпуром мантия...* — То есть неслыханно дорогая и редкая. Согласно Плинию Старшему, даже для самых изысканных одеяний в античности использовали шерсть, крашенную пурпуром не более двух раз. Как сообщает древнеримский писатель со ссылкой на Корнелия Непота (99—24 до н. э.), дважды крашенное пурпуром облачение ввел в моду курульный эдил Публий Лентул Спинтер (сер. I в. до н. э.). Несмотря на то что поначалу подобное щегольство воспринималось как предосудительное, лишь немногие могли стать обладателями роскошных одеяний, поскольку либру дважды окрашенной ткани невозможно было купить даже за тысячу динариев. Однако с течением времени, по словам Плиния, большинство дорогостоящих тканей начали красить тирским пурпуром дважды (см.: Естественная история. IX. LXIII. 137).

[10] *...огромные лаконские собаки...* — Имеется в виду лаконская порода собак, получившая свое название от Лаконии — области на юго-востоке Пелопоннеса, в которой находилась также древняя Спарта, или Лакедемон. Эта порода была хорошо известна еще древним грекам, в частности, ее упоминал в первой пол. V в. до н. э. Пиндар (см., напр.: Из неизвестных гипорхем. 107ab). Образ резвой лаконской собаки, выслеживающей и загоняющей дичь, неоднократно встречался и у древнеримских авторов, яркий пример тому — восхваление спартанских псов в монологе Ипполита в трагедии Луция Аннея Сенеки «Федра» (первая пол. I в.; ст. 35—43). Подробное описание экстерьера и повадок лаконских собак можно найти также у Плиния Старшего (см.: Естественная история. X. LXXXIII. 177—178). Лаконские собаки являлись преимущественно охотничьей, гончей породой, но считались прекрасно приспособленными и для охраны скота на пастбищах.

[11] *...усеянная глазка́ми, как тело Аргуса...* — Аргус — персонаж древнегреческой мифологии, многоглазый всевидящий великан, стерегший по приказанию богини Геры Ио — возлюбленную Зевса, превращенную громовержцем из страха перед гневом ревнивой супруги в белоснежную корову. После того как Гермес убил Аргуса по воле Зевса, Гера перенесла глаза великана на оперение павлина.

[12] *...в гесперийских водах...* — То есть в водах на крайнем западе, в Атлантическом океане. Гесперия — у древних греков название расположенных к западу земель (преимущественно Пиренейского полуострова и Италии), произошедшее от имени древнегреческого божества вечерней звезды Геспера.

[13] *...за столпами, возведенными моим предком...* — То есть за Геркулесовыми столпами — двумя скалами, воздвигнутыми, согласно древнегреческим мифам, в память о своих странствиях Гераклом (Геркулесом в древнеримской мифологии) на африканском и европейском берегах у Гибралтарского пролива, где, по представлениям древних греков, находился край света.

[14] *...не дрогнув, сразился бы с Калидонским вепрем и Немейским львом...* — То есть не испугался бы даже самого страшного зверя. Калидонский вепрь — в древнегреческой мифологии огромный свирепый вепрь, посланный Артемидой разорять земли царя Калидона Ойнея в наказание за то, что он забыл принести традиционную жертву богине в начале жатвы. Чтобы справиться с чудовищным зверем, Ойней созвал храбрейших воинов Греции на охоту, во время которой вепря сразил Мелеагр. Немейский лев — в древнегреческой мифологии чудовищное порождение Тифона и Ехидны, опустошавшее Немейскую долину в Арголиде. Необыкновенно прочная шкура надежно защищала льва от любого оружия из железа, бронзы или камня, поэтому Гераклу пришлось задушить чудовище руками.

[15] *Пеплос* — в Древней Греции женская верхняя одежда из шерстяной ткани в складках, без рукавов, надевавшаяся поверх хитона; скреплялась на плечах застежками и подпоясывалась с напуском.

[16] *...особой магнетической чувствительностью...* — То есть чувствительностью, основанной на «животном магнетизме» человека (см. примеч. 35 к гл. II «Милитоны»).

[17] *Перикл* (ок. 495—429 до н. э.) — величайший государственный деятель Афин, знаменитый полководец и оратор, с именем которого связан период расцвета древнегреческой литературы и искусства. Он объединил вокруг себя виднейших ученых и деятелей искусства того времени (Анаксагора, Протагора, Фидия, Геродота, Софокла и др.).

[18] *...достойным образцом для кубка Гебы...* — Геба — в древнегреческой мифологии богиня юности, дочь Зевса и Геры, супруга Геракла на Олимпе. Выполняла на пирах богов обязанности виночерпия, впоследствии перешедшие к Ганимеду: подносила небожителям нектар и амброзию, даровавшие олимпийцам вечную молодость и бессмертие.

[19] *Наконец, вздохнув, она сбросила тунику ~ передать только в мраморе.* — Центральный эпизод повести Готье неоднократно использовали и творчески переосмысляли в своих работах художники — современники французского писателя. Так, скульптор Ж.-Ж. Прадье (см. примеч. 9 к гл. I «Невинных распутников») представил на парижском Салоне 1848 г. свою статую «Ниссия», навеянную образом главного женского персонажа произведения Готье, а французский художник Ж.-Л. Жером (1824—1904) в 1858 г. написал картину «Царь Кандавл», на которой изобразил Ниссию, Кандавла и подглядывающего из-за двери Гигеса.

[20] *...сверкавший как карбункул в восточных сказках...* — Карбункул — старинное название драгоценных камней густо-красного цвета (рубина, пиропа, альмандина). По восточным поверьям, карбункул светится даже в темноте.

Глава IV

[1] *...безумец, сбежавший из Антикиры...* — Антикира — город в Фокиде на берегу Коринфского залива. Славился в древности произраставшим в его окрестностях морозником (Helleborus) — растением, которому приписывалась способность исцелять множество недугов, среди прочих меланхолию, сумасшествие и слабоумие. Изготовлявшееся в Антикире снадобье на основе морозника было известно далеко за пределами Древней Греции (см., напр.: *Гораций*. Наука поэзии. 300; *Павсаний*. Описание Эллады. X. XXXVI. 4). Название самого города в античности нередко использовалось как иносказательное обозначение места врачевания глупости и безумия. Ср., напр., выражение «naviget Anticyram» (*лат.* — пусть плывет в Антикиру) у Горация (Сатиры. II. III. 166).

[2] *...спрятав, точно... Исиду, за завесой, и краешка которой никто не смел приподнять под страхом смерти...* — По свидетельству Плутарха, на находившемся в Саисе (современный Са-эль-Хагар в Египте) изображении Афины, которую древние египтяне почитали под именем Исиды, была следующая надпись: «Я есть все бывшее, и будущее, и сущее, и никто из смертных не приподнял моего покрова» (Исида и Осирис. § 9. *Пер. Н.Н. Трухиной*).

[3] *...похотливом идоле из Сикиона или Коринфа...* — В античности в Сикионе особенно почитался бог света Аполлон, а в Коринфе был развит культ богини любви Афродиты.

[4] *...Ниоба, видя, как ее четырнадцатое дитя погибает от стрел Аполлона и Дианы...* — Аллюзия на древнегреческий миф о Ниобе, дочери Тантала, жене фиванского царя Амфиона, которая навлекла на себя гнев титаниды Лето тем, что дерзнула возгордиться перед матерью Аполлона и Артемиды своим многочисленным потомством. Оскорбленная Лето попросила Аполлона и Артемиду (почитавшуюся в Древнем Риме под именем Дианы) наказать дерзкую, и они сразили стрелами всех детей Ниобы, которая окаменела от горя. Образ Ниобы стал символом невыносимого страдания. Однако, возможно, Готье имеет здесь в виду известную скульп-

турную мраморную группу Ниобид с центральной статуей Ниобы, прижимающей к себе одну из дочерей — прекрасную римскую копию греческого оригинала IV в. до н. э., хранящуюся в настоящее время в галерее Уффици во Флоренции.

[5] *Икмалий* — имя мастера, искусно сработавшего украшенное серебром и слоновой костью кресло для Пенелопы (см.: *Гомер.* Одиссея. XIX. 55—58).

Глава V

[1] *Ирида* — в древнегреческой мифологии богиня радуги, дочь морского бога Тавманта и нимфы Электры, быстроногая вестница богов, считавшаяся также посредницей между небожителями и людьми.

[2] *Все краски жизни ~ еще трогательней и прекрасней.* — Утверждение, что душевные страдания преображают и придают особое очарование облику женщины, встречается еще в литературе XVIII в. Так, в романе П.-А. Шодерло де Лакло (1741—1803) «Опасные связи» (1782) виконт де Вальмон замечает, что личико президентши похорошело благодаря «покоряющему очарованию слез», а маркиза де Мертей восхищается плачущей Сесиль Воланж (письма 23, 63. *Пер. Н. Рыкова*). В свою очередь, герой романа Ж.-Б. Луве де Кувре (1760—1797) «Один год из жизни шевалье де Фобласа» (1787) восклицает, говоря о своей возлюбленной маркизе де Б.: «Плачущая женщина так интересна!» Этому ставшему клише сентиментальному описанию не были чужды и романтики.

[3] *...Немесиду, спустившуюся со своего грифона и ждущую часа, чтобы покарать виновного.* — Немесида — в древнегреческой мифологии богиня возмездия, дочь Никты, наблюдающая за справедливым распределением благ среди людей и обрушивающая свой гнев на тех, кто преступил закон. Одним из атрибутов Немесиды, символизировавшим быстроту божественной кары, была запряженная грифонами колесница.

[4] *Аид* — в древнегреческой мифологии владыка подземного мира и царства мертвых, а также название самого царства мертвых.

[5] *...даже герои охотно променяли бы острова Блаженных на родину.* — Аллюзия на слова Ахилла из поэмы Гомера, обращенные к Одиссею, который дерзнул спуститься в царство мертвых (см.: Одиссея. XI. 489—491). Ср. в пер. В.А. Жуковского: «Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, | Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, | Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый». Острова Блаженных — по поверьям древних греков, далекая страна на западе за океаном, в которой находили вечное пристанище люди, получившие бессмертие от богов, или те из смертных, чья жизнь была признана праведной и благочестивой. Впервые упоминаются у Гесиода (см.: Труды и дни. 166—173); то же, что Елисейские поля (см. примеч. 5 к гл. II).

[6] *...мы обращались к Геродоту, Эфестиону, Платону, Досифею, Архилоху Паросскому, Гесихию из Милета, Птолемею, Эвфориону...* — Возможно, Готье действительно изучил труды всех упоминаемых авторов, а возможно, просто перечислил их имена в шутку, демонстрируя свою эрудицию. Без сомнения, он был знаком с сочинением Геродота, ссылавшегося, в свою очередь, на ямбический триметр древнегреческого поэта Архилоха (вторая пол. VII в. до н. э.) с острова Парос (см.: *Геродот.* История. I. 12). Готье также прочел комментарии к «Истории» Геродота П.-А. Лар-

ше, в которых упоминалось, в частности, имя древнегреческого грамматика Птолемея Гефестиона, подарившего имя главному женскому персонажу повести (см. примеч. 15 к гл. I). Кроме того, Готье, очевидно, была известна легенда о волшебном кольце Гигеса, впервые изложенная Платоном в диалоге «Государство» (см. примеч. 41 к гл. I). Остальные античные и раннесредневековые писатели, чьи имена приводит Готье, могли, однако, не входить в круг его чтения. Эфестион (правильно — Гефестион; сер. II в.) — ученый и поэт из Александрии, автор книг о древнегреческой метрике, из которых до наших дней дошли лишь «Трактат о метрике» и часть «Трактата о стихосложении». Досифей Магистр (кон. IV в.) — живший в Риме греческий грамматик, которому принадлежат переведенная на латынь греческая грамматика, латинско-греческий словарь и сборник отрывков из различных текстов для упражнений в переводе с греческого на латынь. Современные исследователи, впрочем, сомневаются, что словарь и сборник упражнений были, по крайней мере, полностью составлены Досифеем. Гесихий из Милета (первая пол. VI в.) — византийский историк и лексикограф, автор исторического труда в форме хроники, охватывающего период мировой истории, начиная с ассирийского царя Бела и заканчивая смертью императора Анастасия I в 518 г. (этот труд сохранился лишь в отрывках, а также в пересказе патриарха Фотия и «Свиды»). Эвфорион из Халкиды (ок. 276—225 до н. э.) — ученый и поэт, библиотекарь Антиоха III, автор исторических сочинений.

[7] *Что же двигало Ниссией ~ трудно, если не сказать невозможно.* — Среди античных авторов существовало мнение, что лидийская царица столь поспешно предложила руку и трон Гигесу, поскольку знала о существовании заговора против Кандавла, а возможно, и сама участвовала в нем. В частности, эту мысль недвусмысленно высказывает Платон: по словам философа, Гигес совратил жену Кандавла и подговорил ее убить царственного супруга (см.: Государство. II. 360b). Сообщение о мятеже, поднятом против царя Гигесом при поддержке соседних государств, встречается и у Плутарха (см.: Греческие вопросы. XLV. 302a). В свою очередь Геродот утверждает, что лидийская царица и до происшествия в супружеской опочивальне не раз призывала к себе телохранителя Кандавла. Свидетельство древнегреческого историка тем самым также допускает возможность существования сговора между царицей и Гигесом и позволяет предположить, что последний давно готовил дворцовый переворот. Упоминание Геродотом приверженцев Гигеса, воспрепятствовавших расправе возмущенных лидийцев над убийцей законного царя, косвенно подтверждает это предположение (см.: *Геродот.* История. I. 11, 13).

[8] *...увидев, какая ты мастерица, Афина Паллада однажды со злости стукнет тебя челноком по лбу, словно бедную Арахну.* — Аллюзия на древнегреческий миф об Арахне, искусной вышивальщице и ткачихе из Лидии, которая настолько возгордилась своим мастерством, что посмела бросить вызов самой Афине. Во время состязания Арахна выткала сцены любовных похождений Зевса, чем безмерно разгневала богиню. Возмущенная дерзостью ее работы, Афина порвала полотно соперницы и четырежды ударила Арахну в лоб челноком из киторского бука (см., напр.: *Овидий.* Метаморфозы. VI. 5—133).

[9] *Черный самос* — сладкое ликерное вино с острова Самос.

[10] *...с гиметтским медом?* — Гиметт — невысокая гора, расположенная к востоку от Афин, с древних времен славящаяся душистыми травами и медом диких пчел.

[11] *Непентес* — упоминаемый в «Одиссее» волшебный напиток, позволявший забыть на время боль и горе, чудодейственное снадобье, подаренное Прекрасной Елене египетской царицей Полидамной (см.: *Гомер.* Одиссея. IV. 219—232). Как полагают некоторые исследователи, это название древнегреческий поэт мог использовать для обозначения опийной настойки или египетской настойки полыни, напоминавшей современный абсент.

[12] *...не чувствовал сонной пыли на ресницах.* — См. примеч. 67 к гл. I «Фортунио».

[13] *...в темных углах копошились... ларвы и лемуры.* — Ларвы и лемуры — в древнеримской мифологии вредоносные тени, призраки мертвецов, не получивших должного погребения, преступно убитых, злодеев и т. п., бродящие по ночам и насылающие на людей страшные видения и безумие.

[14] *...Смерть, разорвав алмазные цепи, которыми Геракл приковал ее к вратам Аида ради спасения Алкесты...* — Аллюзия на диалог между Адметом и Гераклом из трагедии Еврипида (ок. 480—406 до н. э.) «Алкеста» (сер. 410-х до н. э.; явл. XVIII, ст. 1139—1143), описывающий чудесное спасение царицы, которая согласилась сойти вместо мужа в Аид. Ср. в пер. И. Анненского:

Адмет

Но как же ты ее добился воли?

Геракл

Затеял бой я с демонским царем.

Адмет

Ты с демоном сражался смерти, точно?

Геракл

Над самою могилой оцепил
Его руками я, засаду кинув.

В видении Гигеса вместе с тем угадывается аллюзия на сюжет о древнегреческом герое Одиссее, дерзнувшем бросить вызов смерти и спуститься при жизни в Аид, чтобы вопросить Тиресия о причинах своих злоключений (см.: *Гомер.* Одиссея. XI), а также на миф о прикованном несокрушимыми цепями к скале титане Прометее, которого освободил от непрестанных мучений Геракл (см. примеч. 9 к гл. XV «Двое на двое»).

[15] *Жители Сард, возмущенные смертью Кандавла ~ занимал его долгие годы.* — Парафраз эпизода из «Истории» Геродота. По словам древнегреческого историка, лидийцы подняли бунт, когда узнали, что Гигес убил законного царя и захватил трон. Однако приспешники Гигеса убедили бунтовщиков не прибегать к оружию, а обратиться к оракулу и, если последний признает Гигеса царем Лидии, позволить Мермнаду и дальше занимать престол. Изречение оракула было в пользу Гигеса, и он стал полноправным правителем Лидии. В благодарность Гигес отправил в Дельфы щедрые дары, в числе прочего шесть золотых кратеров весом в 30 талантов. Согласно Геродоту, Гигес правил долгих 38 лет и за все свое царствование не совершил ничего великого (см.: История. I. 13—14). О сокровищах, посвященных Гигесом дельфийскому оракулу, упоминает также Страбон (см.: География. IX. III. 8)

•

НЕВИННЫЕ РАСПУТНИКИ

Впервые опубл. в газете «La Presse» (19–24, 26–30 мая 1846 г.; 9 фельетонов), отдельно опубл. в изд.: *Gautier T.* Les Roués innocents. P.: Desessart, 1847.

На русском языке произведение впервые было напечатано в 1847 г. в журнале «Библиотека для чтения» (Т. 84. Отд. II: Иностранная словесность. С. 1–80) в сокращенном переводе В.В. Дерикера под названием «Без вины виноват». Этот же перевод вошел в изданный в 1991 г. сборник новелл Готье «Два актера на одну роль» (М.: Правда, 1991. С. 265–341).

Глава I

[1] *Бъевра.* — См. примеч. 4 к гл. X «Фортунио».

[2] *Джентльмены-райдеры* (англ. gentlemen-riders — букв.: господа-наездники). — Готье использует английское выражение, употреблявшееся во Франции в нач. XIX в. для обозначения аристократов, увлекавшихся верховой ездой и участвовавших в скачках. См. также примеч. 3 к гл. X «Фортунио».

[3] *...одного из знаменитейших ресторатеров Пале-Рояля...* — Имеется в виду один из старейших и известнейших ресторанов Парижа «Три провансальских брата» («Les Trois Frères Provençaux»), существовавший с 1795 по 1870 г. Далее в тексте Готье называет его просто «Провансальские братья» (*фр.* Frères-Provençaux). Этот ресторан упоминается также, к примеру, в романах О. де Бальзака «Лилия долины» (1836), «Истории величия и падения Цезаря Бирotто» (1837; ч. I), а также в романе А. Дюма-отца «Парижские могикане» (1854–1858; ч. I, гл. 2). О Пале-Рояле см. примеч. 7 к гл. X «Фортунио».

[4] *...наряды были слишком броскими, если... воспользоваться гипаллагой...* — Гипаллага — риторическая фигура, основанная на переносе признака или действия с одного объекта на другой, связанный с ним, внутри одной фразы. Готье использует здесь причастие настоящего времени от глагола «voir» (*фр.* — видеть) — «voyant», которое первоначально означало «видящий», «зрячий», однако впоследствии приобрело дополнительное значение «бросающийся в глаза», «яркий». Называя употребление слова в переносном значении гипаллагой, Готье подразумевает, что действие причастия в этом случае относится не к субъекту восприятия (повествователю), как при использовании слова в прямом значении, а к объекту восприятия (нарядам).

[5] *Тюрбо* — рыба семейства ромбов отряда камбалообразных, большой ромб (Scophthalmus maximus).

[6] *Комус* — латинская форма имени древнегреческого бога Кома, покровителя пиршеств и веселья.

[7] *Ганимед* — персонаж древнегреческой мифологии, любимец Зевса, сын троянского царя Троса и нимфы Каллирои. Из-за своей необыкновенной красоты был похищен на склоне горы Ида, когда пас овец отца, Зевсовым орлом и унесен на Олимп, где стал исполнять обязанности виночерпия, разливая на пирах богов нектар. В переносном значении — слуга, подающий гостям вино.

[8] *Плато.* — См. примеч. 17 к гл. I «Фортунио».

[9] *Прадье* Жан-Жак (прозв. Джеймс; 1790/1792–1852) — один из самых видных скульпторов своего времени, автор аллегорических и мифологических скульптур. О его творчестве Готье писал в статьях для газеты «La Press» (22 ноября 1836 г. и 1 марта 1837 г.). См. также примеч. 19 к гл. III «Царя Кандавла».

[10] *Кружево англетер.* — См. примеч. 3 к гл. II «Фортунио».

[11] *Фромен-Мёрис* Франсуа-Дезире (1801–1855) — выдающийся парижский ювелир, друг Готье.

[12] *...портреты Жане или Порбуса, изображающие миньонов Генриха III.* — Жане — прозвище двух французских художников, Жана Клуэ (ок. 1475 или 1485–1541) и его сына Франсуа (ок. 1505/1510–1572). Очевидно, в данном случае Готье подразумевал Франсуа Клуэ, унаследовавшего от отца должность придворного художника при Франциске I (1494–1547, король Франции с 1515 г.) и сохранившего за собой это звание также при дворах Генриха II (1519–1559, король Франции с 1547 г.), Франциска II (1544–1560, король Франции с 1559 г.) и Карла IX (1550–1574, король Франции с 1560 г.). Порбус, или Поурбус, — династия фламандских живописцев, основанная Петером Поурбусом (1523–1584) и продолженная его сыном Франсом Поурбусом Старшим (1545–1581) и внуком Франсом Поурбусом Младшим (1570–1622). По всей видимости, в приведенном пассаже Готье имеет в виду последнего, наиболее прославленного художника, чьи картины писатель ценил за их достоверность и искренность. Миньон (*фр.* mignon — букв.: милашка) — распространившееся в XVI в. во Франции обозначение фаворита, любимчика высокопоставленной особы. Первоначально это понятие использовалось преимущественно по отношению к фаворитам Генриха III (1551–1589, король Франции с 1574 г.), окружившего себя целой свитой дерзких молодых людей, которые отличались преданностью монарху, остроумием, отвагой и стремлением жить полной жизнью. Миньоны пользовались особым расположением и доверием короля, что вызывало открытую неприязнь двора и всей Франции. В частности, постоянным объектом насмешек служили излишне женственная внешность и наряды фаворитов (длинные завитые волосы, широкие брыжи и проч.), а также их жеманность и непомерная заносчивость. Сравнивая облик барона Рудольфа с портретами миньонов Генриха III, выполненными Жане и Поурбусом, Готье, должно быть, допустил неточность. Франсуа Клуэ умер за два года до восшествия Генриха Валуа на французский престол, художнику, впрочем, принадлежат несколько изображений Дианы де Пуатье (1499–1566), фаворитки Генриха II (напр., «Туалет дамы», ок. 1571), а также картина «Генрих II и Екатерина Медичи в окружении портретов членов семьи Валуа» (вторая пол. XVI в.), где среди прочих изображен и будущий Генрих III. В свою очередь, из трех художников-фламандцев лишь первые два создавали полотна во времена Генриха III, однако только Франсу Поурбусу Младшему удалось стать придворным живописцем: он работал, в частности, при дворе Генриха IV (1553–1610, король Франции с 1589 г.) и запечатлел как самого французского правителя, так и членов его семьи и приближенных. К примеру, в Лувре хранятся два парадных портрета Генриха Наваррского кисти художника (оба ок. 1610).

[13] *Опера.* — См. примеч. 34 к гл. I «Фортунио».

[14] *...со спокойствием и самоуверенностью обладателя крупного пакета акций Северной железной дороги.* — Французская «Компания Северной железной дороги», одно

из самых масштабных предприятий своего времени, была основана в сентябре 1845 г. Джеймсом (Якобом) Майером Ротшильдом (см. примеч. 39 к гл. I «Фортунио»). В ее задачи входило обеспечение перевозок между Парижем, севером Франции, где находились портовые города и была сосредоточена, в частности, угольная промышленность, а также Бельгией. Номинальная стоимость акций, выпущенных сразу после основания компании, составляла 500 франков, однако уже в конце сентября 1845 г. она увеличилась более, чем в 1,5 раза. Несмотря на некоторое понижение их цены к началу 1846 г., ко времени написании повести акции Северной железной дороги по-прежнему оставались весьма прибыльными и пользовались высоким спросом на рынке ценных бумаг.

[15] *...представлю вас Эдвардсу и Робинсону и познакомлю с... Томом Хёрстом.* – Рудольф перечисляет имена известных жокеев, выступавших во Франции в 1830–1840-х годах, неоднократных победителей скачек, – Джорджа Эдвардса, Тома Робинсона и Томаса Хёрста. Джордж Эдвардс и Томас Хёрст работали также берейторами, их лошади часто побеждали на скачках того времни.

[16] *...Барсак, Грюо-Лароз, Романею, Констанцу...* – Имеются в виду лучшие вина того времени: Барсак – знаменитое белое сладкое вино, изготовляемое в одноименной общине на юго-западе Франции близ Сотерна, Грюо-Лароз – изысканное красное сухое вино из Медока, известное с нач. XVIII в. и производящееся в Сен-Жюльене на юго-западе Франции, Романея – одно из лучших бургонских вин (красное сухое) из одноименного виноградника в общине Вон-Романе на востоке Франции, Констанца, или констанцское, – дорогое сладкое южноафриканское вино из местечка Констанца (Констанция) близ Кейптауна (см. примеч. 32 к гл. I «Фортунио»).

[17] *...ваша скромность Неморена не позволит вам воспользоваться благосклонностью этой Эстеллы.* – Аллюзия на пасторальный роман Жан-Пьера Клари де Флориана (1755–1794) «Эстелла и Неморен» (1788), персонажами которого стали пастушок Неморен и его возлюбленная Эстелла. Любовная коллизия романа Флориана в полной мере отражает особенность концепции любви в сентиментализме, предполагавшей не чувственность или страстность, а нежную дружбу наивных и чистых героев.

[18] *Наперсник* – сценическое амплуа, традиционный персонаж классицистической трагедии XVII–XVIII вв., приближённое к герою или героине лицо (кормилица, гувернер, секретарь и проч.). Роль наперсника, как правило, была вспомогательной: отвечая на вопросы наперсника, герой сообщал зрителю о своих намерениях, мыслях и т. д.

[19] *Империя.* – Имеется в виду Первая империя, период правления во Франции императора Наполеона I Бонапарта (1804–1814 гг., 1815 г.), сменивший период Консульства (1799–1804 гг.).

[20] *Реставрация* – во Франции период вторичного правления династии Бурбонов, свергнутой в кон. XVIII в. в результате Французской революции. Различают первую Реставрацию (1814–1815 гг.) и вторую (1815–1830 гг.), отделенные одна от другой периодом «Ста дней» (20 марта – 22 июня 1815 г.).

[21] *Контрданс* – изначально старинный английский народный танец, в кон. XVII в. превратился в бальный танец и получил распространение во многих европейских странах, в XIX в. слился с кадрилью.

[22] *Галоп* — стремительный бальный танец со скачкообразным характером движений. Появился в Германии к нач. XIX в., в 1820-е годы проник во Францию, откуда и распространился по всей Европе. Использовался также в опере, оперетте, балете.

[23] *Вальс* — парный бальный танец, сложившийся на основе народных танцев Южной Германии, Австрии, Чехии. Приобрел популярность в Вене в 80-х годах XVIII в. и вскоре в XIX в. покорил всю Европу. Поначалу вальс (особенно быстрый) осуждался и считался неприличным, так как прежде кавалеры на балу не обнимали в танце дам, однако уже во второй четв. 19-го столетия без него не обходился ни один бал.

[24] *Полька* — старинный чешский народный танец, живой и простой, исполнялся движущимися по кругу парами. В 40-х годах XIX в. полька стала популярна по всей Европе как бальный танец.

[25] *Мейербер* Джакомо (наст. имя Якоб Либман Бер; 1791—1864) — немецкий композитор и пианист, создатель стиля героико-романтической большой оперы, законодатель европейской оперной сцены XIX в.

[26] *Геркуланум.* — См. примеч. 9 к гл. XVI «Фортунио».

[27] *Жуир* (от фр. jouir — наслаждаться) — весело и беззаботно живущий человек, ищущий в жизни только удовольствий.

[28] *...склонилась к спящему, словно Диана к Эндимиону.* — См. примеч. 5 к гл. XX «Фортунио».

[29] *...вздыхая, прославляли на свирели вашу красавицу, как и положено прекрасному Селадону?* — Аллюзия на пасторальный роман французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625) «Астрея» (1607—1627), повествующий о любви прекрасной пастушки Астреи и пастуха Селадона, трепетного влюбленного, изнывающего от обуревающих его чувств.

[30] *...пытался разжать ее кулачок... строить из себя лорда Ратвена и герцога де Гиза...* — Аллюзия на сцену из пьесы Шарля Нодье «Вампир» (1820; д. II), написанной по мотивам повести директора театра Водевиль Сиприена Берара «Лорд Ратвен, или Вампиры» (1820), а также на сцену из пьесы А. Дюма-отца «Генрих III и его двор» (1829; д. III, сц. 5). В обеих сценах упоминаемые Аминой действующие лица хватают за руку один из женских персонажей пьесы.

Глава II

[1] *Церковь Сен-Жермен-де-Пре* — самая старая церковь в Париже, сооруженная в XI—XII вв. в романском стиле и много раз перестраивавшаяся. В XIX в. церковь подверглась основательной реконструкции. В настоящее время находится в 6-м округе, на площади Сен-Жермен, в которую вливается улица Аббатства. Церковь Сен-Жермен-де-Пре изначально была частью разрушенного при Французской революции бенедиктинского аббатства Сен-Жермен-де-Пре, ставшего королевской усыпальницей задолго до аббатства Сен-Дени и считавшегося одним из богатейших монастырей Франции в Средневековье. См. также примеч. 7.

[2] *Фиакр* — легкий наемный экипаж.

[3] *Автомедон* — имя ловкого колесничего Ахилла (см.: *Гомер.* Илиада. XVI. 145—147; XVII. 429; XXIV. 474), иносказательно — обозначение искусного возницы.

[4] *Баута.* — См. примеч. 10 к гл. VI «Фортунио».

[5] *Домино* — просторный плащ с рукавами и капюшоном, традиционный элемент маскарадного костюма на венецианском карнавале, легко позволяющий сделать своего владельца неузнаваемым.

[6] *Гризайль.* — См. примеч. 1 к гл. VI «Фортунио».

[7] *Фландрен* Ипполит (1809—1864) — французский художник-портретист, писавший также картины на религиозные и исторические темы. Занимался росписью церкви Сен-Жермен-де-Пре в 1842—1848 гг. и 1856—1861 гг. В частности, в 1842—1844 гг. Фландрен украсил алтарную часть храма, где изобразил в числе других сюжетов «Вход в Иерусалим» и «Несение креста», а в 1846 г. приступил к работе над убранством хоров.

[8] *Сен-Жерменское предместье.* — См. примеч. 1 к гл. V «Фортунио».

[9] *...«Раздумья», «Осенние листья», «Поль и Виргиния», «Паломничество Чайльд-Гарольда»...* — Описывая круг чтения Каликсты Депре, Готье перечисляет выдающиеся произведения европейской сентиментальной и романтической литературы. «Поэтические раздумья» (1820) — романтический сборник стихотворений французского поэта А. де Ламартина, «Осенние листья» (1831) — сборник стихотворений писателя и теоретика французского романтизма В. Гюго, «Поль и Виргиния» (1787) — роман французского писателя-сентименталиста Ж.-А. Бернарден де Сен-Пьера (1734—1814), «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1818) — поэма английского поэта-романтика лорда Дж.-Г. Байрона.

[10] *Эрар* Себастьян (1752—1831) — французский мастер арф и клавишных инструментов, владелец известной на всю Европу фабрики музыкальных инструментов, в 1821 г. изобрел механизм двойной репетиции, который использовался в дальнейшем всеми мастерами, изготовлявшими фортепиано.

[11] *...ноты пятнадцатой сонаты Бетховена...* — 15-я соната ре мажор для фортепиано (1801) Л. ван Бетховена (1770—1827), посвященная композитором графу Йозефу фон Зонненфельсу, позднее была названа гамбургским издателем А. Кранцем «Пасторальной». Историки музыки расходятся во мнениях, связано ли название Кранца с лиризмом и напевностью произведения или с идилличностью последних двух частей сонаты.

[12] *Вист* — здесь: карточная игра вчетвером (двумя парами) в 52 карты, заключающаяся в том, чтобы набрать больше взяток; дала начало бриджу, винту и преферансу.

[13] *Бостон* — здесь: карточная игра для четырех участников, играющих двумя колодами карт, разновидность виста, пришедшая в Европу из Нового Света и чрезвычайно распространенная в первой пол. XIX в.

[14] *Макиавеллизм* — термин, используемый для обозначения беззастенчивой политики, добивающейся своих целей любыми средствами, подчас противоречащими нормам морали. Происходит от имени Никколо Макиавелли (1469—1527), итальянского политического деятеля, мыслителя, историка и военного теоретика эпохи Возрождения, приверженца сильной государственной власти. Иносказательно — обозначение коварного, вероломного поведения кого-либо, преследующего некую скрытую цель.

[15] *Мир полон Грандисонов, которые ведут себя как Ловеласы...* — То есть благопристойных молодых людей, которые ведут себя как развязные волокиты. Гранди-

сон – персонаж романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689–1761) «История сэра Чарльза Грандисона» (1754) – идеальный английский джентльмен, соперничающий в добродетели со своей невестой мисс Гарриет Байрон. Его имя сделалось нарицательным для обозначения безукоризненного положительного героя. Ловелас – персонаж эпистолярного романа Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди, заключающая в себе важнейшие вопросы частной жизни и показывающая, в особенности, бедствия, которые могут явиться следствием неправильного поведения как родителей, так и детей в отношении к браку» (1747–1748). Его имя стало нарицательным обозначением коварного соблазнителя.

[16] *Эпоха Регентства* – период с 1715 по 1723 г., когда Францией правил жизнерадостный и легкомысленный Филипп II Орлеанский, герцог Шартрский (1674–1723), – регент при малолетнем Людовике XV. Нравы французского общества в эпоху Регентства отличались крайней вольностью и распущенностью.

[17] *...позавтракать в Сен-Жермене, в Павильоне Генриха IV...* – Имеется в виду Павильон Генриха IV, расположенный в Сен-Жермен-ан-Ле близ Версаля, – единственная сохранившаяся до настоящих дней часть так называемого Нового дворца, возведенного Генрихом II и служившего королевской резиденцией с сер. XVI в. до переноса двора в Версаль при Людовике XIV в 1682 г. После Французской революции павильон превратился в гостиницу с рестораном.

[18] *Трубадур* – средневековый поэт-певец. Поэзия трубадуров зародилась на юге Франции, в Провансе, в нач. XI в. и достигла расцвета в XII – нач. XIII в. Как правило, трубадуры были рыцарями, служившими при дворе крупного феодала; они не только слагали стихи, но и чаще всего писали к ним музыку. Музыкальное сопровождение и мелодичность стиха играли особую роль в поэзии трубадуров, отличавшейся изысканностью жанровых форм и стиля. Светская по происхождению и содержанию, лирика трубадуров была проникнута куртуазными идеалами и посвящена преимущественно воспеванию прекрасной дамы, пылких чувств влюбленного рыцаря и т. п.

[19] *...абрикосовый редингот с бархатными лентами.* – Редингот (*фр.* redingote от *англ.* riding coat) – длинный сюртук. Появился в Англии в 20-х годах XVIII в. как мужской костюм для верховой езды и первоначально не отличался большой длиной. Если в первой пол. XIX в. в мужской одежде наблюдалось определенное разнообразие в выборе цвета, то с середины столетия в моду прочно вошли темные цвета, преимущественно черный и серый, хотя допустимыми считались также бежевые и серебристо-голубые оттенки. При этом сдержанность расцветок костюма сочеталась со строгостью отделки.

Глава III

[1] *Камеристка* – комнатная служанка при госпоже, следившая за ее гардеробом, помогавшая одеваться, принимать ванну и т. д.

[2] *Левретка* – карликовая порода борзых собак, выведенная в Средние века в Италии, одна из первых пород комнатных собачек.

[3] *Валансьенское кружево.* – См. примеч. 8 к гл. VI «Фортунио».

[4] *...одна обнаженная рука томно покоилась на изгибе бедра, другую прелестница закинула за голову, подобно царице Клеопатре.* – Описанную Готье позу можно увидеть,

в частности, на гравюре Маркантонио Раймонди (ок. 1480 – ок. 1534) «Клеопатра» (1520–1525), на двух из трех версий картины итальянской художницы Артемизии Джентилески (1593–1652) «Клеопатра» (1621–1622, 1630) и на полотне Пьетро делла Веккиа (наст. имя Муттони; 1603–1678) «Клеопатра».

[5] *Вертер* – персонаж сентиментального романа И.-В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), трепетный влюбленный, погибающий от неразделенной любви.

[6] *Линьон.* – См. примеч. 3 к гл. XXII «Фортунио».

[7] *...с Эскобаром и его трактатам о совести...* – Имеется в виду трактат знаменитого испанского иезуита Антонио Эскобара-и-Мендозы (1589–1669) «Малая сумма проступков против совести» («Summula casuum conscientiae», 1627). В нем автор высказывает мысль о том, что благая цель оправдывает действия, порицаемые моралью и законами, в частности, предательство, кражу и даже убийство. Трактат (вкупе с другим произведением Эскобара, «Нравоучительным богословием», 1644, осмеянным Б. Паскалем в «Письмах к провинциалу», 1656–1657) принес своему создателю настолько дурную славу, что во французском языке даже возникло слово «escobarderie», обозначающее лицемерие, при помощи которого человек разрешает затруднительные вопросы совести, сообразуясь только с собственной выгодой.

[8] *Субретка* – театральное амплуа, комедийный персонаж: бойкая, находчивая служанка, помогающая своим господам в любовных интригах. Впервые субретки появились в итальянской комедии дель арте (напр., Коломбина), затем вошли во французскую комедию. Яркими примерами субреток во французской драматургии являются Дорина и Николь из пьес Мольера «Тартюф» и «Мещанин во дворянстве» (пост. 1670, опубл. 1671), Лизетта из «Игры любви и случая» (1730) П.-К. де Шамблена де Мариво (1688–1763), Сюзанна из комедии П.-О.-К. де Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и др.

[9] *Курбет* – здесь: прыжок лошади с поджатыми передними ногами.

[10] *Хэк.* – Готье использует английское слово «hack» (сокр. от *англ.* hackney), которое обозначает выведенную в XVIII в. в Великобритании породу, известную также как норфольский рыск и знаменитую тем, что ее можно использовать и для верховой езды, и для упряжек.

[11] *В пьесе Кальдерона «Поклонение кресту» есть один шалопай по имени Эусебио, чья единственная заслуга – глубокая вера в крест как знак искупления.* – Имеется в виду персонаж драмы «Поклонение кресту» (1631) испанского драматурга Педро Кальдерона де ла Барки, главарь банды разбойников Эусебио. Он носит на груди отпечаток распятия и непреклонно верит, что неким таинственным образом связан с крестом, поскольку его изображение не раз спасает юношу. Эусебио трепещет перед таинственной силой креста и поклоняется ему, а перед самой смертью обращается с покаянной молитвой к распятию и тем самым спасает свою душу.

[12] *Фаэтон* – высокая, легкая, четырехколесная четырехместная коляска с откидным верхом.

[13] *Тильбюри.* – См. примеч. 1 к гл. XXVI «Фортунио».

[14] *Американка* – маленький легкий экипаж на двух больших колесах с откидным верхом.

[15] *Улитка* – здесь: низкий, чаще всего одноконный экипаж.

[16] *Брогам* – одноконная четырехколесная закрытая двухместная карета с кучером на передке, впервые созданная в 1838 г. по эскизу лорда Генри Петера Брогама (1778–1868).

[17] *Спаниель короля Карла* (кинг чарльз спаниель) — порода той-спаниелей, выведенная в Великобритании и вошедшая в моду во времена правления Карла II (1630—1685, король Англии с 1660 г.).

[18] *...рядом с конями из Марли...* — Имеются в виду две конные статуи на высоких пьедесталах, вывезенные в 1795 г. из дворца Марли (см. примеч. 11 к гл. XVIII «Жана и Жанетты») и установленные при въезде на Елисейские поля (см. примеч. 2 к гл. XI «Фортунио»). В настоящее время находятся в Париже у моста Инвалидов. Скульптурные композиции, созданные в 1743—1745 гг. Гийомом Кусту (1677—1746), изображают вставших на дыбы исполинских крылатых коней со свирепым взглядом, влекущих за собой возничих.

[19] *Бульот* — французская азартная карточная игра для трех—пяти игроков, вошедшая в моду в нач. XIX в.

[20] *...благодаря магнетической интуиции...* — То есть интуиции, основанной на «животном магнетизме» человека (см. примеч. 35 к гл. II «Милитоны»).

Глава IV

[1] *Флёрдоранж* — здесь: настой цветов померанцевого дерева, использовавшийся как успокоительное.

[2] *Люксембургский сад* — дворцовый парк, разбитый по распоряжению Марии Медичи (1575—1642) в 1611—1612 гг. вокруг загородного замка, который был сооружен в 1615—1620 гг. на месте купленного вдовой Генриха IV отеля герцога Пиней-Люксембургского. В настоящее время — один из красивейших парков Парижа, расположенный в 6-м округе, поблизости от Латинского квартала. Люксембургский сад был открыт для публики в 1778 г. и сразу же стал излюбленным местом прогулок литераторов, а также студентов Сорбонны и простых парижан. После Реставрации в Люксембургском дворце находилась Палата пэров, а с 1852 г. — Сенат.

[3] *...он ваш истинный Пилад!* — То есть самый верный друг. См. также примеч. 14 к гл. X «Милитоны».

[4] *Гарат* Мартен (1748—1830) — финансист, с 1808 по 1830 г. бессменный директор Французского банка.

[5] *Мондор* — традиционное имя любовника-простофили во французской комедии.

[6] *...играя в вист, не уступил бы Дешапелю, а в шахматы — Лабурдонне.* — Александр Луи Оноре Лебретон Дешапель (1780—1847) — французский шахматист, в нач. XIX в. завоевавший славу одного из сильнейших шахматистов Европы. В сер. 1820-х годов оставил шахматы после того, как проиграл своему ученику Луи-Шарлю де Лабурдонне (1795—1840). В дальнейшем Дешапель с блеском проявил себя в других играх: он слыл непобедимым в висте, изумлял современников мастерством владения левой рукой бильярдным кием (правую Дешапель потерял во время наполеоновских войн). В свою очередь, Лабурдонне по праву считался сильнейшим шахматистом с 1820-х годов вплоть до своей смерти. Он также был видным теоретиком шахмат того времени, основал в 1836 г. первый в истории шахматный журнал «Паламед» и написал учебник «Новое руководство по игре в шахматы» (1833).

[7] *Барышник* — здесь: торговец лошадьми, перекупщик.

[8] *...Гризье, Понс и Гатшер...* — Готье перечисляет известных учителей фехтования сер. XIX в. В частности, Огюстен Гризье (1791—1865) держал школу фехтования, где обучались потомки богатых и знатных родов Франции. Имена Понса и Гатшера встречаются в мемуарах того времени.

[9] *Гентский бульвар.* — См. примеч. 44 к гл. I «Фортунио».

[10] *Араго* Доминик-Франсуа (1786—1853) — французский физик, астроном и политический деятель, чьи работы посвящены магнетизму, оптике, астрономии. В частности, Араго доказал связь между северным сиянием и магнитными бурями.

[11] *...правы фурьеристы, когда утверждают, что климат портится...* — Фурьеристы — здесь: ученики Жан-Батиста Жозефа Фурье (1768—1830), французского математика и физика, научного советника Наполеона Бонапарта в Египте с 1798 по 1801 г. В статье «Записка о температурах земного шара и других планет» (1827) Фурье рассмотрел различные механизмы формирования климата Земли и, в частности, впервые теоретически обосновал существование феномена, впоследствии получившего название парникового эффекта.

[12] *Саламандра* — в средневековых верованиях дух, живущий в огне, олицетворение стихии огня, часто изображавшееся как маленькая ящерка или дракончик, выпрыгивающий из пламени. В алхимии саламандра стала элементалем огня. В христианской символике саламандра обычно олицетворяла праведника, которого не мог поглотить огонь искушения. Ее характерной особенностью считался необыкновенный холод тела, позволяющий саламандре находиться в огне, не сгорая, а также тушить любое пламя.

Глава V

[1] *Письмо было написано языком, далеким от изящного слога госпожи де Севинье...* — Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626—1696) — французская писательница, автор замечательных писем, опубликованных в 1734 г. благодаря стараниям ее дочери, Франсуазы-Маргариты де Севинье, графини де Гриньян (1646—1705), главного адресата посланий маркизы. В многочисленных письмах мадам де Севинье рассказывала о жизни Парижа и Версаля, политических событиях, литературных и театральных новинках; так, одно из современных и наиболее полных изданий ее писем состоит из трех толстых убористых томов (см.: *Sévigné M. de.* Correspondence: En 3 vol. / P.: Gallimard, 1953—1956. (Bibliothèque de la Pléiade)).

[2] *Корифейка* — здесь: артистка балета. С момента возникновения Оперы все артисты балета делились на разряды: первых танцовщиков, фигурантов, или вторых танцовщиков, корифеев и артистов кордебалета (так наз. кадрилей). Эта иерархия сохраняется в Парижской опере и в наши дни, с той разницей, что теперь появились «звезды», т. е. солисты балета высшего разряда.

[3] *Гайдук.* — Так в XVIII в. называли слугу, выездного лакея, одетого в венгерский национальный костюм.

[4] *...сыграв роль Иосифа...* — Библейская аллюзия. Согласно Ветхому Завету, находясь в доме египетского царедворца Потифара, Иосиф отверг любовные притязания жены своего господина. Оскорбленная его отказом, супруга Потифара оклеветала Иосифа перед царедворцем, и юношу заключили в темницу (см.: Быт. 39: 7—20).

[5] ...*«Вам утешение найдется».* — *Мольер.* Мизантроп. Д. III, явл. VII. *Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.* Готье допускает неточность: процитированные Рудольфом слова принадлежат Арсиное, персонажу комедии Мольера «Мизантроп» (1666), а не Тюрлюпену (сценич. имя Анри Леграна; 1587–1637), французскому комику, игравшему в старейшем театре Парижа «Бургундский отель».

[6] ...*от «Кафе де Пари» до улицы Монблана...* — Улица Монблана (название улицы Шоссе д'Антен с 1793 по 1815 г.) вливается в Итальянский (Гентский) бульвар, по которому прогуливались Дальбер с бароном и на углу которого располагалось «Кафе де Пари» (см. примеч. 6 к гл. XI «Фортунио»).

Глава VI

[1] *Фигурантка* — артистка балета второго разряда. См. примеч. 2 к гл. V.

[2] ...*Это Диас!.. Я отдам вам моего Делакруа... Хотите амура за тигра?*— Имеются в виду картины «Молодой тигр, играющий с матерью» (1830) французского художника Эжена Делакруа (1798–1863) и «Венера, обезоруживающая Амура» (1837) Нарсиса Виржиля Диаса де ла Пеньи (1808–1876), французского художника испанского происхождения.

[3] *Госпожа Бодран* — владелица модного парижского магазина головных уборов и тканей. Ее имя упоминается в похожем контексте также, в частности, у О. де Бальзака в романе «Тридцатилетняя женщина» (1831–1834; гл. VI) и в записках А. Дюма-отца «Год во Флоренции» (1841; гл. XVI).

[4] ...*тартановая дымка...* — Тарталан — легкая полупрозрачная шелковая или хлопчатобумажная ткань.

Глава VII

[1] *Энгр* Жан Огюст Доминик (1780–1867) — французский художник-классицист, чье субъективное восприятие во многом сближало жиповисца с романтиками, хотя сам мастер нередко негативно отзывался об их теоретических установках. Энгр вошел в историю западноевропейского искусства прежде всего как замечательный портретист, несмотря на то что считал портретный жанр «низким». Его портреты пленяют чистотой и музыкальностью плавных линий, скульптурностью формы.

[2] ...*корчитесь, точно инка на раскаленной жаровне.* — Аллюзия на эпизод из «Опытов» (1580–1588) Мишеля де Монтеня (1533–1592), описывающий стоицизм добровольно сдавшегося конкистадорам короля Мексики, которого испанские завоеватели связали вместе с его приближенным и подвергли страшным пыткам с помощью раскаленных жаровен с углем в надежде выведать, где спрятаны легендарные сокровища майя. Несмотря на невыносимые муки, плененный правитель сохранил стойкость духа и строго упрекнул приближенного в малодушии и трусости, когда тот не выдержал пыток и застонал (см.: *Монтень.* Опыты. Кн. III. Гл VI: О средствах передвижения).

[3] ...*танцевала сама Карлотта.* — Карлотта Гризи (1819–1899) — выдающаяся итальянская балерина, дебютировавшая в Парижской опере 30 августа 1836 г., пер-

вая исполнительница роли Жизели в балете А.-Ш. Адана (1803–1856) на либретто Готье «Жизель, или Вилисы» (1841). См. также примеч. 12 к гл. XVI «Спириты».

[4] *«Клятва»*. – Имеется в виду опера в трех действиях «Клятва, или Делатели фальшивой монеты» (музыка Ф. Обера, либретто О.-Э. Скриба), которая впервые была поставлена на сцене Парижской оперы 1 октября 1832 г. См. также примеч. 32 к гл. I «Милитоны».

[5] *...как в пятом акте мелодрамы...* – Как правило, в пятом акте происходят трагические события, ведущие к развязке пьесы.

[6] *...в Венсеннском лесу, на аллее Минимов.* – Венсеннский лес – обширный парк в юго-восточном пригороде Парижа, в XIX в. – излюбленное место парижских дуэлянтов. В парке находятся три объекта, носящих имя Минимов, – проспект, пруд и дорога вокруг этого пруда.

[7] *...драться с зонтиком в одной руке и пистолетом в другой... дуэль в духе Робинзона Крузо.* – Аллюзия на эпизод из романа Даниэля Дефо (1660–1731) «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719). Построив лодку и сшив себе новую одежду, Робинзон Крузо смастерил обтянутый козьими шкурами складной зонт, с которым никогда не расставался, т. к. зонт защищал его и от палящих лучей солнца, и от непогоды.

[8] *Тронная застава* (Венсеннская) – застава, на которой взимались пошлины на ввозимые в Париж товары. Находится на востоке города рядом с площадью Нации (раннее – Тронной площадью).

[9] *И не успела прозвучать вторая команда, как раздался его выстрел.* – По первой команде секундантов противники начинали сходиться. Затем, не ранее, чем через три секунды, и не позднее, чем через одну минуту после второй команды, тот, кто имел право первого выстрела, т. е. оскорбленная сторона, должен был выстрелить. Таким образом, Рудольф нарушил неписаные правила дуэли.

Глава VIII

[1] *Наргиле* – восточный курительный прибор, сходный с кальяном, но имеющий, в отличие от последнего, длинный рукав вместо трубки.

[2] *...сидим, будто сфинксы, и точим когти?* – См. примеч. 121 к Прологу «Романа о мумии».

[3] *...яблоко Париса досталось не мне...* – См. примеч. 11 к гл. I «Царя Кандавла».

[4] *Эпиталама* – свадебная песня в античности, исполнявшаяся перед невестой или покоями новобрачных хором юношей и девушек. В европейской музыке эпиталамой называется ария-гимн любви.

[5] *Титания* – персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1595), царица эльфов.

[6] *...предложили вместо денег живых верблюдов, чучело крокодила и полог из амальской саржи, как наследникам во времена Мольера...* – Аллюзия на пьесу Мольера «Скупой» (1668; д. II, явл. 1).

[7] *Клиши.* – Имеется в виду парижская долговая тюрьма, находившаяся на улице Клиши. Заключенные в ней пользовались относительной свободой: днем двери их камер не запирались, и должники могли принимать у себя любых посетителей.

Глава IX

[1] *...если побег — твое призвание, как у Латюда и барона де Тренка...* — Жан-Анри Мазер де Латюд (1725–1805) — один из самых знаменитых узников Бастилии, который провел в заточении в разных тюрьмах Франции в общей сложности 35 лет. Латюд известен тем, что трижды бежал из тюрем, считавшихся особо надежными: два раза из Венсенна и один раз из Бастилии, откуда он выбрался через каминную трубу с помощью веревочной лестницы. Барон Фридрих фон дер Тренк (1726–1794) — прусский дворянин, офицер и литератор, неоднократно попадавший в тюрьму и всякий раз бежавший на волю, в том числе через подкоп.

[2] *...обрушился на всех женщин с обвинениями, достойными Ювенала.* — Децим Юний Ювенал (ок. 55/60 – после 127) — римский поэт-сатирик, посвятивший порочности женщин свою самую пространную сатиру (VI).

[3] *Тимон Афинский* — персонаж одноименной трагедии (1608) Шекспира. Историческим прототипом шекспировского персонажа послужил живший в V в. до н. э. знатный афинянин Тимон, который прославился мизантропией, после того как, растратив все свое состояние на праздники и подарки для друзей, оказался покинут всеми.

[4] *...скряги Квинтена Массейса, которые жадно тянутся к стопкам золотых монет костлявыми пальцами.* — Квинтен Массейс (1465/1466–1530) — фламандский живописец, выдающийся художник антверпенской школы, помимо картин на религиозные темы прославился как портретист и автор жанровых сцен. В Лувре находится его картина «Меняла с женой» (1514), которая и могла навеять Готье образ скряг, тянущихся костлявыми руками к золоту. Французские комментаторы, впрочем, полагают, что речь идет, скорее, о картине французского художника Тома Кутюра (1815–1875) «Любовь к золоту» (1844).

[5] *Диатриба* — здесь: гневная обличительная речь, инвектива.

[6] *...послужить Ментором этому Телемаку, пообещав окунуть его в горькие струи, если он вдруг засидится на острове какой-нибудь Калипсо.* — Аллюзия на эпизод из дидактического романа Франсуа Фенелона «Приключения Телемака, сына Улисса» (1699; гл. VI). Заметив, что Телемак, воспылавший страстью к влюбленной в него Евхарисе — нимфе из свиты Калипсо, не стремится покинуть полный соблазнов остров, Ментор, под чьей личиной скрывается сама Минерва, сталкивает сына Улисса со скалы в море и сам прыгает вслед за ним, чтобы доплыть до корабля, стоящего недалеко от берега.

Глава X

[1] *...он остолбенел, если верить Шарлю Лебрену и его зарисовкам.* — Шарль Лебрен (1619–1690)– французский художник, автор серии рисунков, посвященных выражениям душевных переживаний, запечатленным на лицах людей. Эти рисунки были опубликованы лишь после смерти Лебрена в виде сборника гравюр в изд.: Expressions des passions de l'âme représentées en plusieurs testes, d'après les dessins de feu M. Le Brun. P.: J. Audran, 1727. См. также примеч. 6 к гл. IX «Спириты».

[2] *Поистине, восточные народы гораздо мудрее нас!* — *Дальбер подавил вздох...* — Французские комментаторы полагают, что Дальбер вздыхает, сожалея, что ни ему,

ни другим персонажам повести недоступно умение восточных народов быть выше человеческих страстей. Это чувство вполне разделял и сам автор. Во всяком случае, для Готье, как и для его друзей – Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, Ф.-О.-М. Вилье де Лиль-Адана, Ж.-А. Барбе д'Оревильи, Восток служил «эстетическим, художественным, философским и эмоциональным идеалом» (*Dahab F.E.* Théophile Gautier and the Orient // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 1999. Vol. 1. № 4. P. 6. URL: http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol1/iss4/5 (дата обращения: 16.01.2012)).

•

МИЛИТОНА

Впервые опубл. в газете: «La Presse» (1–16 января 1847 г.; 11 фельетонов).

Отдельное изд.: *Gautier T.* Militona. P.: Desessart, 1847, вышло с ошибками и опечатками. Дальнейшие переиздания (см., напр.: *Idem.* Trio de romans. P.: V. Lecou, 1852; [*Idem.*] Militona par Théophile Gautier. P.: Hachette, 1855; 1857) устраняли одни ошибки и создавали новые.

При подготовке французского издания, по которому выполнен настоящий перевод (см. т. I, с. 521 наст. изд.), использовались изд.: [*Gautier T.*] Militona par Théophile Gautier. P.: Hachette, 1857 (как наиболее корректное), и текст, опубликованный в «La Presse», который за неимением рукописи может рассматриваться как единственный авторизованный вариант повести.

На русском языке публиковалась в 1847 г., предположительно в переводе В.В. Дерикера (см.: [*Готье Т.*]. Милитона. Роман Теофила Готье. СПб.: В тип. К. Крайя, 1847), и в пер. О.В. Моисеенко (см.: *Готье Т.* Избранные произведения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1972; *Он же.* Два актера на одну роль: Новеллы. М.: Правда, 1991).

В наст. изд. использованы иллюстрации художника Адриана Моро (Adrien Moreau; 1843–1906).

Глава I

[1] *...в понедельник, то есть в dia de toros...* – Бои быков проводились в Мадриде только по понедельникам и некоторым праздникам.

[2] *Улица Сан-Бернардо.* – Эту улицу, как и почти все топонимы, упоминаемые в романе, можно найти на карте современного Мадрида. Квартал Осписьо, в котором располагается улица Сан-Бернардо, был застроен в XVII–XVIII вв. добротными зданиями в стиле классицизма и барокко.

[3] *...достославного и героического города Мадрида.* – Аллюзия на события 2 мая 1808 г., когда в Мадриде вспыхнуло восстание против наполеоновских войск, занявших город 2 марта того же года. Кровавое подавление восстания, положившего начало национально-освободительной войне испанского народа, вошло в историю под названием «мадридской резни».

[4] *Дон* (и с п. don) – господин, звание лиц (мужчин) дворянского сословия. Женское звание – донья. На дворянское происхождение героя указывает также частица «де», стоящая перед его фамилией.

[5] *Галисиец* (и с п. gallego) — уроженец испанской провинции Галисия. Поскольку Галисия была одной из самых отсталых провинций, ее жители часто уходили в Мадрид и нанимались в прислуги, поэтому слово «gallego» приобрело нарицательное значение и стало синонимом слова «слуга».

[6] «*Только бы... ей не взбрело в голову репетировать этот омерзительный, нескончаемый дуэт Беллини...*» — Беллини Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор, автор 11 опер, 5 симфоний и других сочинений. Творчество Беллини было связано с искусством бельканто. Исполнение его произведений требует высокого мастерства. Оперы Беллини пользовались успехом и в Париже, и в Мадриде, хотя уже в XIX в. его музыку критиковали за вялость и приторность.

[7] *...не увижу испуганную физиономию альгвасила...* — Альгвасил (*исп.* alguacil) — здесь: распорядитель корриды. Ритуальный ужас, который изображал альгвасил, поражал воображение всех иностранцев, в том числе и Готье, о чем он писал в своей книге «Путешествие в Испанию» (1843).

[8] *Манильская соломка* (или пенька) — волокно из текстильного банана, или абаки, родом с Филиппинских островов. Отличается жесткостью, прочностью и устойчивостью к влаге. По мнению Готье, испанские циновки отличались большим вкусом, о чем он писал в «Путешествии в Испанию».

[9] *Гризайль.* — См. примеч. 1 к гл. VI «Фортунио».

[10] *Несколько... гравюр «в черной манере»...* — Имеются в виду копии с живописных полотен, получаемые путем изготовления оттисков с металлической доски, обработанной особым способом гравирования, называемым «черная манера» или «меццо-тинто». Способ изобретен голландцем Людвигом ван Зигеном в сер. XVII в. В XVIII и нач. XIX в. им часто пользовались для воспроизведения живописи. См. также примеч. 11—14. Ниже мы увидим, что комнату Милитоны украшают гравюры совсем иного стиля и содержания (см. примеч. 14—16 к гл. Ш).

[11] «*Воспоминания и сожаления*». — Имеются в виду две парные картины французского художника Клод-Мари-Поля Дюбюфа (1789—1864) «Воспоминания» и «Сожаления» (1827). В XIX в. эти слащаво-сентиментальные полотна были растиражированы в литографиях (см. примеч. 17).

[12] «*Маленькие браконьеры*, или Школьные каникулы» — популярная гравюра Дюбюфа (см. примеч. 11) на сюжет сентиментальной пьесы неких Мерля, Бразье и Шарля, которая шла в парижском театре «Варьете» в мае 1813 г.

[13] «*Дон-Жуан и Гайдэ*» — популярная французская гравюра, в основу которой положен романтический эпизод из поэмы Байрона «Дон-Жуан» (песнь 2).

[14] «*Минна и Бренда*». — Имеется в виду гравюра французского иллюстратора Жане-Ланжа (1815—1872), помещенная в начале первой главы французского издания приключенческого романа Вальтера Скотта (1771—1832) «Пират» (1822) (см.: *Scott W.* Le Pirate / Illustré par Janet-Lange. P.: G. Barba, 1855). На гравюре изображены героини романа, сестры Тройл.

[15] *...сувениры времен завоевания Египта...* — Имеется в виду египетская экспедиция (1798—1801 гг.) Наполеона Бонапарта.

[16] *...часы, на которых Эсмеральда учила козочку составлять имя Феб...* — Эсмеральда — прекрасная цыганка, героиня романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), влюбленная в офицера по имени Феб. Ее дрессированная козочка выбирала карточки с написанными на них буквами, из которых слагалось имя возлюбленного героини.

[17] *...картинки, публикуемые... в журналах мод и тетрадях с литографиями.* — Литография — разновидность гравюры. Художник гравирует изображение на камне, после чего с него можно получить ряд копий. Изобретена в 1796 г. в Германии. Благодаря сравнительной простоте техники, многотиражности и дешевизне во второй четверти XIX в. стала популярной художественной техникой, которая позволила, в частности, наладить выпуск относительно дешевых журналов мод.

[18] *Было бы несправедливо обойти молчанием свору собачек из дымчатого стекла, группу... статуэток, филигранные корзинки... пресс-папье и расписные шкатулки из Спа, теснившиеся на этажерках...* — Все перечисленные здесь безделушки были в моде в буржуазной среде сер. XIX в. Филигранные корзинки — ажурные корзинки, сплетенные из золотых, серебряных и др. проволочек. Шкатулки из Спа — деревянные шкатулки с пейзажами, выполненными гуашью. Спа — город в Бельгии, в северных предгорьях Арденн. Производство различных шкатулок начало развиваться в Спа в нач. XVI в., но к нач. 20-го столетия этот промысел пришел в упадок, и в наши дни остались только одна мануфактура и несколько частных мастеров. Старинные шкатулки из Спа являются предметом коллекционирования. Ср. описание комнаты Фелисианы с описанием скромного жилища Милитоны (см. т. I, с. 311—312 наст. изд.).

[19] *Юфть* — бычья или свиная кожа, окрашенная в черный цвет с помощью сандала, которая на Западе именуется «русской кожей».

[20] *Орренте* Педро (1580—1645) — испанский художник эпохи барокко, писал масштабные полотна на библейские и исторические сюжеты.

[21] *Менендес* (правильно: Мелендес) Луис Эхидио (1716—1780) — испанский художник, мастерски писавший натюрморты в классическом стиле и в строгих неярких тонах.

[22] *...Фелисиана одевалась по заграничной моде двухлетней давности...* — С 1830 по 1848 г. модным направлением в среде зажиточных буржуа и аристократов был романтизм, и женский костюм стремился подчеркнуть хрупкость его обладательницы. В моде воцарился кринолин (нижняя юбка из волосяной ткани), придававший юбке форму колокола, расширенные рукава, поддерживаемые пластинками из китового уса, глубокое декольте, открывавшее плечи. На смену тяжелым и дорогим бархату и парче пришли легкие ткани в цветочек и клетку, шляпы украшались цветами, лентами, воланами, широко использовались драгоценности. Чтобы подчеркнуть свое особое положение, художники и писатели придерживались в одежде особого стиля, так, например, сам Теофиль Готье носил широкополую фетровую шляпу а-ля Рубенс.

[23] *«Камильфо»* (фр. comme il faut — букв.: такой, как должно). — Употребляется в значении «благовоспитанный», «пристойный».

[24] *...ткани... доставляют из Англии дерзкие гибралтарские контрабандисты.* — Боясь конкуренции, Испания в области внешней торговли придерживалась политики протекционизма, таможенные пошлины на все импортные ткани были очень высоки. Ввоз товаров в обход таможни был выгоден и Англии, и контрабандистам, и покупателям, поэтому контрабанда процветала, а национальная промышленность европейских стран терпела убытки.

[25] *Валансьенское кружево.* — См. примеч. 8 к гл. VI «Фортунио».

[26] *Романсы.* — Имеются в виду испанские лиро-эпические поэмы (наподобие европейской баллады), возникшие в русле устной традиции и впервые записанные в сер. XV в. Сюжетом романса со времен Средневековья становились полулегендарные, исторические или вымышленные события. Жанр и форма романса также использовались и в литературе Нового времени, когда стали появляться в том числе и авторские литературные романсы. См. также примеч. 12 к гл. IX.

[27] *Кипсек* (англ. keepsake) — как правило, роскошно изданные альбомы литографий преимущественно с изящными картинками (зачастую изображавшими женские головки), иногда с подписями или стихотворными вставками.

[28] *Мантилья* — кружевная накидка на голову и плечи, традиционный элемент национального женского костюма в Испании.

[29] *Фанданго и качуча...* — испанские народные танцы андалузского происхождения, сопровождаемые пением. Первый исполняется в паре под аккомпанемент гитары и кастаньет. Второй является сольным танцем, схожим с болеро, сопровождается пением и кастаньетами.

[30] *Контрданс.* — См. примеч. 21 к гл. I «Невинных распутников».

[31] *Ригодон* — французский народный парный танец. Название происходит от имени марсельского маэстро танцев Риго, который, как считается, представил его на суд парижского общества в 1630 г. Характерные для этого танца подпрыгивания были взяты на вооружение профессиональными танцорами при дворах Франции и Англии, где танец оставался популярным на протяжении всего 18-го столетия.

[32] *Скриб* Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург и либреттист, мастер насыщенной, хорошо сделанной пьесы со стройным сюжетом. Его комедии, в которых выражались ценности и предпочтения буржуазного общества и превозносились достоинства коммерции и семейной жизни, были рассчитаны на массовую аудиторию. Самые известные и сильные его произведения «Стакан воды» (1840) и «Адриенна Лекуврер» (в соавторстве с Э. Легуве, 1849) идут на сценах до сих пор.

[33] *Театр Принсипе* — мадридский драматический театр, находящийся на улице Принсипе. Возведен архитектором Джованни Баттиста Саккетти в 1745 г. на месте старого, построенного в 1583 г. Значительную часть репертуара этого театра составляли пьесы Э. Скриба (см. примеч. 32) и другого популярного писателя — Ф. Сулье (см. примеч. 1 к гл. I «Фортунио»).

[34] *Театр Сирко* — мадридский театр оперы и балета, до 1867 г. находился на улице Реколетос, затем переехал на Королевскую площадь.

[35] *...в Испании принято называть друг друга по имени... в отличие от нас, в этом нет никакого интимного... подтекста.* — Во французском высшем обществе обращение по имени было принято только между ближайшими родственниками (супругами, братьями и сестрами, родителями и детьми) или любовниками.

[36] *Ворота Алкала* — триумфальная арка, построенная на площади Независимости по заказу Карла III в 1778 г. для украшения въезда в город; архитектор Франсиско Сабатини (1722—1797). Сразу за аркой находилась Площадь Быков. См. также примеч. 62.

[37] *Арройо Абрунигал* (исп. arroyo — ручей, поток). — Очевидно, имеется в виду приток реки Мансанарес ручей Аброньигал (*исп.* Abroñigal), протекавший рядом

с современной Площадью Быков и в свое время значительно осложнявший ее обустройство; в настоящее время почти во всем своем течении заключен в подземные трубы. Впрочем, французские комментаторы отмечают, что слово «Абрунигал» появилось только в издании 1855 г., когда Готье передал права на «Милитону» издательству «Hachette», и предполагают, что это фамилия поставщика быков для корриды.

[38] *Гавирия.* — Имеется в виду дон Мануэль Гавирия, который выращивал быков для корриды, отбирая самых злобных и агрессивных. Он поставлял своих быков в Мадрид с 1822 г.

[39] *Тореро* (и с п. torero) — общее название участников боя быков. Готье одним из первых среди французских писателей заметил, что испанцы не употребляют слово «тореадор» и крайне редко используют слово «матадор», предпочитая ему слово «эспада», букв. означающее «шпага». См. также примеч. 1—3, 16, 18 к гл. II.

[40] *Улица Десенганьо.* — На этой аристократической улице, название которой в переводе на русский означает «Разочарование», в доме 37 находилась лавка Фрагола, где Ф. Гойя, согласно Леону Фейхтвангеру (см.: *Фейхтвангер Л.* Гойя, или Тяжкий путь познания. Гл. 32), выставил свою серию офортов «Капричос». См. также примеч. 67 к наст. гл. и примеч. 33 к гл. II.

[41] *Улица Кабальеро-де-Грасья.* — На этой улице жил Готье во время своего пребывания в Мадриде в 1840 г.

[42] *...два любимых испанцами слова... перелетали... словно воланы, посланные ракетками.* — Имеются в виду слова «dia de toros». Игра в волан (*фр.* volant — летунок) пришла в Европу из Азии в Средние века. В XVII в. стала очень популярна в среде французской аристократии, в кон. 19-го столетия получила название «бадминтон».

[43] *Филипп IV* (1605—1665) — король Испании (1621—1665 гг.) и Португалии (1621—1640 гг.) в период упадка Испании как великой мировой державы.

[44] *Берлингот* — двухместная карета, упрощенный вариант берлины (см. примеч. 7 к гл. I «Двое на двое»).

[45] *...в эпоху Мануэля Годоя...* — То есть в 1792—1808 гг., когда Мануэль де Годой (1767—1851) был главой испанского правительства (с перерывом в 1798—1801 гг.). В 1808 г. Годой был арестован и позднее выслан во Францию.

[46] *...«кукушек»... вытесненных на свалку железной дорогой.* — «Кукушки» — название, которое парижане дали пригородному общественному транспорту — четырех-, шести- или восьмиместным коляскам, запряженным парой лошадей. Появились в XVIII в., отправлялись после заполнения из четырех пунктов и следовали на север, юг, запад и восток от Парижа. К 40-м годам 19-го столетия они, очевидно, уже весьма обветшали. Первая железная дорога во Франции была построена в 1837 г. между Парижем и Сен-Жерменом (45 км). К 1840 г. общая протяженность железных дорог в стране равнялась уже 415 км.

[47] *Омнибусы* — большие крытые кареты с лавками для пассажиров, наиболее распространенный в Европе вид общественного транспорта второй пол. XIX в., постепенно вытесненный конкой и трамваем. Появились в Париже в 1662 г., но действительно широкое распространение получили во Франции и Англии только в 20-е годы XIX в. К 40—50-м годам омнибусы появились и в других странах Европы.

[48] *Фонтан Сибелис.* — Находится на площади с тем же названием. В центре фонтана высится скульптурное изображение богини Кибелы (Сибелис — испанское

именование богини), сидящей в колеснице, запряженной парой львов. Кибела в греческой мифологии – владычица гор, лесов и зверей. В Риме культ Кибелы стал отождествляться с культом богини посевов и жатвы Опс, а позднее, в эпоху Империи, она стала почитаться как покровительница городов и всего государства, дарующая плоды земли.

[49] *Триумфальная арка.* – См. примеч. 36.

[50] *Карл III* (1716–1788) – испанский король (1759–1788 гг.), один из просвещенных монархов XVIII в. Помог Испании достичь экономического и культурного расцвета, изгнал иезуитов и боролся с инквизицией.

[51] *Дуро* – старинная испанская серебряная монета, равная двадцати реалам (см. примеч. 23 к гл. II).

[52] *...sombra (место в тени), рядом с барьером... там он... не упускал ни малейшей детали боя и мог по достоинству оценить силу и точность ударов.* – Готье тоже отдавал предпочтение именно этим местам, о чем писал в своих репортажах о корриде в 1846 г.

[53] *...он... не вел свою родословную от дона Хуана Тенорио или дона Хуана де Маранья...* – То есть не был донжуаном – соблазнителем женщин. Дон Хуан Тенорио – герой драмы Тирсо де Молины (1584–1648) «Севильский озорник, или Каменный гость» (1620), а также пьесы «Дон Хуан Тенорио» (1844) испанского драматурга Хосе де Сорильи. Дон Хуан де Маранья – герой новеллы Проспера Мериме «Души чистилища» (1834) и драмы Александра Дюма «Дон-Жуан де Маранья, или Падение ангела» (1836).

[54] *Площадь Быков* – площадь, которая располагалась сразу за воротами Алкала сбоку от улицы Алкала. Здесь находилась первая постоянная арена для корриды, сооруженная в 1749 г. и вмещавшая 9669 зрителей. В 1874 г. эта арена была снесена, а площадь застроена жилыми домами.

[55] *Лукас Бланко.* – Имеется в виду Хуан Лукас Бланко (1828?–1865) – тореро родом из Севильи. В 1847 г. бык на арене тяжело ранил его в живот, после чего Бланко был вынужден оставить карьеру тореадора.

[56] *Монтес* Франсиско из Чикланы (1805–1851) – знаменитый тореро родом из Чикланы по прозвищу Пакиро, выступавший на арене с 1831 по 1849 г. Готье видел его на арене во время своей поездки в Испанию в 1840 г. Именно Монтес превратил корриду в настоящее театральное зрелище, создал новый блестящий костюм тореро, а также написал в 1836 г. учебник по тавромахии. Его племянник, по прозвищу Чикланеро (т. е. родом из Чикланы), также был знаменитым тореро. Готье видел выступления Чикланеро и Бланко в 1846 г.

[57] *...manola (похоже, именно к этому слою общества принадлежала девушка)...* – К манолам (см. примеч. 58) в Испании относились так же, как к гризеткам во Франции (см. примеч. 2 к гл. X «Фортунио»), то есть считалось, что этим девушкам из народа, самостоятельно зарабатывающим себе на жизнь, не свойственна ни неприступность, ни продажность. На самом деле гризетки часто пользовались своей молодостью и красотой, чтобы поправить материальное положение за счет богатых покровителей.

[58] *Маноло* (ж. – манола) – производное от просторечной формы имени Мануэль. Слово стало популярным после выхода в свет сайнете (драматическое произведение пародийного характера) «Маноло» (1769) испанского драматурга Раймона де ла Крус и вошло в общую лексику со значением «красавчик», «щеголь», «хваб-

рец». В кон. XVIII – нач. XIX в. относилось к представителям мадридского простонародья и использовалось в качестве синонима слова «махо» (см. примеч 22 к гл. II).

[59] *Салон Прадо* (исп. prado – луг) – часть мадридского проспекта Прадо (от ворот Алкала до Каррера-Сан-Херонимо), построенная во времена Карла III на месте городского предместья, модное место прогулок и отдыха.

[60] *Фонтан Алькачофа* – фонтан, построенный в 1781 г. в самом конце проспекта Прадо, рядом с нынешним вокзалом Аточа. В 1880 г. был перенесен в парк Ретиро.

[61] *Площадь Лавапьес* – центральная площадь старинного квартала Лавапьес на юго-западе Мадрида, с узкими улочками, булыжными мостовыми и мелкими лавочками.

[62] *...проходил под одной из трех арок ворот Алкала...* – Ворота Алкала (см. примеч. 36) имеют пять проемов: два боковых прямоугольной формы и три центральных – в виде полукруглых арок.

[63] *Тарантайка* – легкая двухколесная двухместная коляска.

[64] *...кузов... исчезал под сонмом амуров и прочих анакреонтических атрибутов: лир, тамбуринов, волынок, пронзенных стрелами сердечек и целующихся голубков, что в стародавние времена изобразила кисть...* – Анакреонтический – от имени древнегреческого поэта Анакреон(т)а (563–478 до н. э.). Стихотворения самого Анакреонта дошли до нас только в небольших отрывках, но сохранился сборник более поздних древнегреческих подражателей поэта под названием «Анакреонтика», который заложил основы традиции европейской лирики Возрождения и Нового времени, воспевающей земные радости, дружеские пирушки, любовь и чувственные наслаждения.

[65] *...у нас в кругах, столь хорошо описанных Полем де Коком, говорят матушка Мишель или матушка Годишон.* – То есть в кругах мелких буржуа, гризеток, студентов, описанных модным и плодовитым писателем Полем де Коком (1794–1871). Его сочинения отличались легким, слегка гривуазным стилем и пользовались большой популярностью у широкой читательской публики. Однако писательская элита большей частью презирала его сочинения, называла его «романистом для кухарок и лакеев». В статье, опубликованной в «Journal officiel» от 23 мая 1870 г., Готье подверг де Кока резкой критике.

[66] *Дуэнья* – в Испании и некоторых других странах, как правило, пожилая женщина, чаще всего вдова из обедневшей дворянской семьи, поступавшая в услужение к богатой и родовитой женщине для исполнения обязанностей компаньонки. Дуэньи, несмотря на крайне униженное положение в семье хозяйки, обычно кичились своей родословной и потому становились мишенью для насмешек как в жизни, так и в литературе.

[67] *Гойя, неподражаемый автор «Капричос», двумя штрихами нарисовал бы вам ее портрет.* – Возможно, имеется в виду лист 46 серии из 80 гротескных офортов Франсиско Гойи, которые при всей своей фантастичности дают яркую картину жизни Испании того времени. В левом нижнем углу этого листа изображена опечаленная старая ведьма – похоже, именно ее описывает Готье, говоря о пожилой спутнице незнакомки. Готье посвятил Гойе и «Капричос» восторженную статью, опубликованную в «La Revue des Deux Mondes» от 1 января 1843 г. См. также примеч. 33 к гл. II.

[68] *Гагатовый.* – См. примеч. 11 к гл. VI «Фортунио».

Глава II

[1] *Чуло.* — См. примеч. 4 к гл. XXIII «Фортунио».

[2] *Бандерильеро* (исп. banderillero) — участник корриды, вонзающий в холку быка бандерильи (дротики, украшенные лентами), чтобы разозлить животное.

[3] *Матадор* (исп. matador) — иначе эспада (*исп.* espada — шпага), главный участник корриды, наносящий быку смертельный удар шпагой.

[4] *Перкаль* — тонкая хлопчатобумажная техническая ткань из некрученой пряжи, нити основы которой пропитаны клеящим раствором, что обеспечивает прочность изделий и защиту от ветра и дождя. Как отмечают французские комментаторы, в данной ситуации у тореро нет необходимости надевать плащи. Возможно, Готье вспоминает гравюру 16 из серии «Тавромахия» (1815; опубл. 1816) Ф. Гойи, на которой изображен тореро, закутанный в плащ.

[5] *Сигары «настоящие».* — Представляли собой один скрученный лист табака. Среди «молодых французов», или «младофранков», было модным курить именно такие сигары, а также папелитос, которые упоминаются автором чуть ниже.

[6] *Севилья* — город и провинция в составе автономной области Андалусия на юго-западе Испании.

[7] *Наваха* — испанский длинный складной нож, служащий оружием. Непременный атрибут каждого «настоящего испанца».

[8] *Опера.* — См. примеч. 34 к гл. I «Фортунио».

[9] *Хуанчо* — выдуманный персонаж, о чем свидетельствует его имя, так как выше Готье говорит, что он родом из Андалусии, а уменьшительный суффикс «-чо» является арагонским. В описании Хуанчо Готье частично опирается на портрет знаменитого тореро Мартинчо, изображенного Ф. Гойей на гравюрах 15, 16, 18 и 19 из серии «Тавромахия» (1816).

[10] *Бант, пучок* — пышный бант из лент (moño), которым скреплялись длинные волосы тореро, подражавших моде мадридских чуло XVIII в. Позднее был заменен на колету — косичку с лентой.

[11] *Монтера* — небольшой суконный головной убор тореро, пришедший на смену бикорну (двууголке). Впервые монтеру надел Франсиско Монтес (о нем см. примеч. 56 к гл. I) в 1835 г.

[12] *Маспуле* — имя заводчика быков. Черный бык Маспуле был первым противником пикадора дона Мигеля Антонио Ромеро, участвовавшего в королевских боях 1846 г., о которых Готье написал в своей статье «В Испании», созданной под впечатлением поездки в Мадрид на свадьбу сына Луи-Филиппа и инфанты доны Луизы-Фернанды де Бурбон в октябре 1846 г. (см.: *Gautier T.* En Espagne // Gautier T. Loin de Paris. P.: M. Lévy, 1865).

[13] *Архона* Франсиско (1818—1868) — тореро, по прозвищу Кучарес, ученик Монтеса из Чикланы (см. примеч. 56 к гл. I). Публику (и Готье) особенно восхищала его виртуозная работа с плащом.

[14] *Лисасо* — населенный пункт в Наварре, место выращивания быков для корриды.

[15] *Что скажет ваша милость? ~ это верный признак.* — Данная сцена описана в гл. XV книги «Полная тавромахия» Монтеса. См. примеч. 56 к гл. I.

[16] *Пикадор* (исп. picador) – всадник, приводящий быка в ярость уколами пики или копья.

[17] *Мулета* (исп. muleta) – полотнище, частично закрепленное на рукоятке, обычно с внешней стороны красное, с внутренней – желтое, которым матадор дразнит быка.

[18] *...присоединился к... группе тореадоров.* – Группа матадора или квадрилья, выходящая с ним на арену, состоит из двух-трех бандерильеро и двух-трех пикадоров, а также нескольких чуло (см. примеч. 1).

[19] *Сутаж* (суташ) – тонкий плетеный шнурок, круглого или плоского сечения, изготовленный из цветных нитей.

[20] *Сапата* Хуан – портной из Гранады, пошивший для Готье весьма экстравагантный костюм махо (см. примеч. 22), который писатель носил во время своего пребывания в Испании в 1840 г.

[21] *Кардильяк* – персонаж новеллы Э.-Т.-А. Гофмана (1776–1822) «Мадемуазель Скюдери» (1818), ювелир, который, не в силах расстаться со своими творениями, убивает заказчиков и снимает с них проданные им украшения.

[22] *Махо* (ж. – маха). – В кон. XVIII – нач. XIX в. так стали называть жителей мадридских ремесленных кварталов, которые претендовали на статус своего рода простонародной «касты» – хранительницы исконных национальных традиций и обычаев. Своей особой щегольской манерой одеваться, дерзкой речью, вызывающим поведением они противопоставляли себя «благопристойному» обществу. В кон. XVIII в. «махизм» вошел в моду и в среде испанской аристократии, которая через особые поведенческие модели (предпочтение национального костюма, традиционной музыки и танцев, народных обычаев, увеселений, например, корриды) выражала протест против «офранцуживания» испанцев. См. также примеч. 58 к гл. I.

[23] *Реал* – старинная испанская серебряная или медная монета, находившаяся в обращении с XIII в. до 70-х годов XIX в. Один серебряный реал равнялся двум медным.

[24] *...Хуанчо остановился для приветствия перед ложей королевы.* – Речь идет об Изабелле II (1830–1904), королеве Испании с 1833 по 1868 г. Скандальные факты личной жизни Изабеллы, жившей отдельно от своего мужа, и ее деспотическое вмешательство в политику вредили репутации монархии. Осенью 1868 г. революция лишила ее трона и отправила в изгнание.

[25] *Пепе-Илью* – прозвище знаменитого тореадора из Севильи Хосе Дельгадо-и-Галвеса (1754–1801), автора книги «Тавромахия, или Искусство побеждать быков» (1796), погибшего на арене. Франсиско Гойя посвятил ему три литографии из серии «Тавромахия».

[26] *Ромеро* Педро (1754–1839) – выдающийся тореадор родом из Севильи, соперник Пепе-Ильо (см. примеч. 25). За 28 лет своей карьеры победил 5400 быков. Гойя посвятил ему одну из гравюр.

[27] *Хосе Кандидо* (1734–1771) – первый профессиональный тореадор Испании родом из Кадиса. Погиб на арене от удара рогом. Возможно, Готье имеет в виду его сына, Херонимо Хосе Кандидо, также выдающегося тореро.

[28] *Святая Эрмандада* (исп. Santa Hermandad – Святое Братство) – специальная вооруженная организация для охраны общественного порядка, учрежденная кортесами в 1476 г. и упраздненная в 1834 г. Первые эрмандады возникли еще

в XI в. как добровольные объединения горожан и крестьян, охранявшие от воров и разбойников паломников по дороге к христианским святыням. Позже функции таких братств расширились, и они фактически стали прообразом полиции.

[29] *...первый бык...* — В течение одной корриды матадор сражается по очереди с четырьмя—шестью быками.

[30] *Кушак* — широкая полоса льна, которым тореро несколько раз обертывал талию. Был характерным элементом костюма махо (см. примеч. 22).

[31] *Эбеновый.* — Здесь: насыщенного черного цвета. См. также примеч. 23 к гл. I «Фортунио».

[32] *Санбенито* — накидка (нарамник) из желтого сукна с алым крестом, надевавшаяся на тех, кого инквизиция приговаривала к публичному «покаянию» или казни. По одной из этимологических версий происходит от сочетания «святой мешок» (*исп.* saco bendito), по другой — восходит к имени святого Бенедикта (*исп.* San Benito).

[33] *Бараонская семинария.* — По испанским поверьям, поля Бараоны (местность под Сорией — городом в провинции Кастилия-Леон) служат местом встречи для колдунов и ведьм. С выражением «Бараонская семинария» Готье, по-видимому, познакомился благодаря Гойе. В 1799 г. Гойя выставил на продажу 80 офортов под общим названием «Капричос». Помимо красноречивых названий Гойя и его современники оставили многочисленные комментарии к этим гравюрам. Один из таких комментариев к листу 46 (под названием «Выговор»), приписываемый самому художнику, гласит: «Без выговоров и порицаний нельзя преуспеть ни в одной науке. Ведовство же требует особого таланта, прилежания, зрелости, покорности и послушания Великому Колдуну, который ведает Бараонской семинарией».

[34] *...моет девушек перед шабашем!* — Описание такого обычая нами не обнаружено. Согласно народным поверьям, ведьмы перед шабашем, чтобы летать, наносили на тело волшебную мазь.

[35] *Магнетизм.* — В XVIII—XIX вв. существовала теория, согласно которой человек может воздействовать на другого человека (или животное) не только при помощи материальных средств, а своей жизненной силой или животной (магнетической) энергией. Кроме того, магнетизмом называли гипноз, то есть погружение с помощью магнетической силы в сон, в забытье, в бессознательное состояние, лишение человека собственной воли, внушение способности к ясновидению, видению прошлого и будущего, а также дара общаться с духами и проч. См. также примеч. 2 и 12 к гл. IV «Аватары».

[36] *Ван Амбург* Исаак (1811—1865) — знаменитый американский укротитель, работавший с тиграми, львами, пантерами и леопардами. Гастролировал в Европе, в том числе и в Париже (1839 г.). Готье писал о нем в своем театральном фельетоне, опубликованном в «La Presse» от 19 августа 1839 г.

[37] *...надо во что бы то ни стало... поразить* [быка] *в одно определенное место, иначе — позор!* — Тореро (матадор) обязан поразить быка в так называемый «крест» — самую верхнюю часть хребта, где загривок сходится со спиной. В противном случае удар считается плохим и подлежит освистанию со стороны публики.

[38] *Юрисдикция* — термин из тавромахии, означающий маленький участок арены, на котором тореро, находясь в непосредственной близости от рогов, выполняет пируэты и приемы против быка.

[39] *На каторгу его, в Сеуту*! – Сеута, крепость и порт на средиземноморском побережье Марокко (под управлением Испании), в XIX в. служила местом ссылки.

[40] *Крестообразный эфес... торчал... подобно распятию на голове оленя со старинных гравюр о видении святого Губерта.* – Согласно легенде, источником которой является рукопись, датированная приблизительно XIII–XV вв. и хранящаяся в Льеже, св. Губерт вел довольно беспечный и разгульный образ жизни, пока не увидел на охоте оленя с сияющим крестом между рогами. Он трактовал это как знамение, а потому покаялся в грехах, раздал свое имущество бедным и стал служить Церкви. Святой Губерт (ум. 727 г.) – епископ Льежский, сын герцога Аквитанского, канонизированный после смерти. Почитается как покровитель охотников.

[41] *Чикланеро.* – См. примеч. 56 к гл. I.

[42] *Инфанта* – титул дочерей испанского короля. Здесь в значении «принцесса».

[43] *...распевая... песенку о быках из Пуэрто.* – Народная песня, которая была в то время буквально у всех на устах. Ее упоминают почти все путешественники, попавшие тогда в Испанию. См. также примеч. 23 к гл. XI.

Глава III

[1] *...прогуливался... по Прадо, неподалеку от памятника жертвам Второго мая...* – Этот памятник, открытый в 1840 г., находится на сквере площади Леальтад (Верности), расположенной сбоку от проспекта Прадо. См. также примеч. 3 к гл. I.

[2] *...в двадцать пять лет, даже не будучи Дон-Кихотом Ламанчским, каждый готов... броситься на защиту прекрасной принцессы...* – Имеется в виду герой романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) «Дон-Кихот». В первой части романа, которая называлась «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» (1605), он, возомнив себя странствующим рыцарем и защитником слабых и обиженных, избрал в качестве дамы сердца простую крестьянку Альдонсу Лоренсо, которую на манер знатной дамы или принцессы окрестил Дульсинеей Тобосской.

[3] «*Перальта*» – выдержанное вино, которое делали в районе Перальты (провинция Ла-Риоха на севере Испании) из винограда сорта «темпранильо». В настоящее время не производится.

[4] «*Педро Хименес*» – очень сладкий и душистый херес из винограда сорта «Педро Хименес». Производится на юго-западе Испании.

[5] *...завертывает в papel de hilo, выдержанную в лакричном соке, несколько щепоток trabuco...* – Папиросная бумага, выдержанная в лакричном соке (соке корня солодки), приобретает коричневатый цвет и сладковатый вкус.

[6] *Сегидилья* – народная песня, строфа которой состоит из четырех семи- и пятистопных стихов, сопровождающаяся парным танцем под аккомпанемент гитары и иногда кастаньет.

[7] *Аравия.* – Здесь: арабский Восток. В VIII в. арабы захватили бóльшую часть Иберийского полуострова и властвовали там вплоть до кон. XV в. Их культура оказала большое влияние на культуру Испании.

[8] *...благовоспитанные люди Мадрида садятся за стол в тот же час, что в Париже или Лондоне...* – Сторонники испанских традиций выступали против следования примеру французов, ужинавших (обедавших) около шести часов вечера.

[9] *...у ворот Сан-Хоаким или Сан-Херимон...* — Правильные названия — Сан-Хоакин и Сан-Херонимо; соответственно северные и западные ворота Мадрида, которых сейчас уже нет, но есть улицы Сан-Хоакин и Каррера-де-Сан-Херонимо, идущие на север и на запад от центра Мадрида.

[10] *Улица Десампарадос* (исп. calle de los Desamparados) — букв.: улица беззащитных, бесприютных.

[11] *Ордер* — художественно-архитектурный образ стоечно-балочной конструкции, которая по вертикали делится на три основные части: опору (стереобат, цоколь, подий, пьедестал колонны), несущую часть (стена, колонна) и несомую систему (антаблемент).

[12] *Святой Иосиф* — согласно Новому Завету, земной отец Иисуса. В христианстве почитается также святой Иосиф — тайный ученик Иисуса, который спрятал его тело в принадлежавшей ему пещере для захоронений.

[13] *...гипсовая статуэтка святого Антония...* — Святой Антоний Великий (251—356) — основатель отшельнического монашества. Со времен Средних веков почитался как заступник при массовых заболеваниях и пожарах. В иконографической традиции главными атрибутами святого Антония являются крест, книга и колокольчик.

[14] *...гравюры, изображавшие Второе мая...* — Имеется в виду гравюра с картины Гойи «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» (1814). Оригинал хранится в музее Прадо, Мадрид. См. также примеч. 3 к гл. I.

[15] *...погребение Даоиса и Веларде...* — В 1841 г. в Мадриде состоялось торжественное перезахоронение праха двух офицеров, возглавивших восстание 2 мая 1808 г. и расстрелянных в ночь на 3 мая, — Луиса Даоиса-и-Торреса (1767—1808) и Педро Веларде-и-Сантийяны (1779—1808).

[16] *...пикадора на лошади — копию с картины Гойи...* — «Пикадор» — картина испанского художника Франсиско Гойи (1746—1828).

[17] *Цветоносное воскресение* — название воскресения за неделю до Пасхи, которое в Православной Церкви называется Вербным.

[18] *Ромерия* (исп. romería, от romero — паломник в Рим) — католический праздник, посвященный какому-либо святому. Сопровождается массовым паломничеством (ходом) к соответствующему храму или святому месту.

[19] *Святой Исидор* Землепашец — покровитель Мадрида, чей праздник (ромерия) отмечается большим шествием верующих 15 мая.

[20] *Лас-Делисиас* — мадридский сад, в котором давались народные балы.

[21] *...сомнительные прелести заполнивших салон... вдовушек в тюрбанах...* — Восточный головной убор тюрбан в нач. XIX в. стал модным вечерним аксессуаром у европейских дам. Ко времени написания повести тюрбаны давно вышли из моды.

Глава IV

[1] *Растро* — существующий и поныне блошиный рынок, осью которого является улица Рибера де Куртидорес, находящаяся в южной части старого Мадрида. Возник в 40-е годы XVIII в. неподалеку от скотобойни, чему и обязан своим названием:

шкуры забитых животных волоком тащили в дубильные мастерские, располагавшиеся на месте нынешней барахолки, и на земле оставался кровавый след — «растро» (*исп.* rastro).

[2] *Тампль* — самый восточный из Больших бульваров Парижа, с XVII в. — излюбленное место прогулок простонародья. Здесь всегда было много уличных торговцев, кафе, ресторанов, шли представления в многочисленных театрах. В 20—30-е годы 18-го столетия репертуар этих театров состоял из пьес с убийствами, отравлениями, похищениями, поэтому бульвар Тампль был прозван бульваром преступлений.

[3] *У Рабле или Бальзака описание этого мусора заняло бы по меньшей мере четыре страницы.* — Гротескные перечни — перечисления частей тела, блюд, предметов и т. п. — характерная черта стиля Рабле (ср. перечисление игр Гаргантюа, видов подтирок и т. п.). Бальзак, весьма почитавший Рабле, также прибегал к приему длинных перечислений, подробных описаний, хотя и в менее гротескной форме.

[4] *Гранада* — город и провинция на востоке Андалусии.

[5] *...как хорошо он смотрелся бы в... рондийских сапогах...* — То есть в сапогах, произведенных в городе Ронда, который находится в провинции Малага автономной области Андалусия на юге Испании.

[6] *...стянуть... шелковым гибралтарским кушаком!* — То есть кушаком из шелка, который завозился из Китая в порт Гибралтар, находящийся на южной оконечности Пиренейского полуострова.

[7] *Девиз* — прикрепляемый иголкой к шкуре быка бант, цвет которого обозначает хозяйство, в котором бык был выращен. Девизы вручались матадору, убившему быка на корриде.

[8] *...под арками улицы Майор...* — Улица Майор — одна из старейших улиц Мадрида. Центральная ее часть (так же как и примыкающая к улице площадь Майор, на которой до 1754 г. проводилась коррида) застроена четырехэтажными домами с аркадами, сооруженными в нач. XVII в.

[9] *Ронкони* Феличе (1811—1875) — знаменитая итальянская певица, гастролировавшая в разных странах Европы.

[10] *...в... horchatería de chufas* (*орчатерии*)... — Имеется в виду заведение, где продают или подают напиток из клубней чуфы (земляного миндаля, произрастающего в Валенсии). Далее в тексте перевода используется испанизированный вариант — «орчатерия».

[11] *Дитя с повадками царицы ~ Которым ты пренебрегла!* — *Пер. А. Эфрон.* Эту серенаду Готье опубликовал затем в газете «L'Artiste» от 1 ноября 1849 г. под названием «Серенада тореро», а в 1852 г. включил в свой сборник «Эмали и камеи» под названием «Rondalla» (арагонская серенада). Еще неизвестный композитор Ж. Оффенбах положил ее на музыку, и она одной из первых принесла ему успех. Помимо данного перевода известны также переводы Н. Гумилева и В. Левика (см.: *Готье Т.* Эмали и камеи. М.: Радуга, 1989).

[12] *Элегия* — стихотворение меланхолической тональности, поднимающее тему смерти, разлуки, несчастья и т. п. Готье иронически называет элегией громкую и страстную песню Хуанчо.

[13] *...сочиненная... Маламором, доном Спавенто, Фракассом или Траншмонтанем.* — Имена (означающие по-итальянски соответственно: Убийца мавров, Ужас, Грохот

и Проломигора), под которыми выступал персонаж итальянской комедии дель арте Капитан – авантюрист, трус, хвастун и демагог. Капитан говорил по-итальянски с испанским акцентом и был одет в карикатурную военную форму испанского покроя. Под именами Фракасс и Траншмонтань Капитан фигурировал также во французской народной комедии.

[14] *...щеголи... обучаются приемам фехтования палкой и тростью... французскому боксу, доведенному до... совершенства Лекуром и Буше.* – Фехтование палкой и тростью (*фр.* canne et bâton) – вид борьбы, получивший развитие в XVII–XVIII вв., когда дворяне вместо шпаг стали носить трости, а простой народ в ответ вооружился палками. В XIX в. улицы французских городов стали небезопасны, и приемам фехтования тростью стали обучать в специальных залах. Трости делали из кизильника, длина их была 95 см, вес от 400 до 500 г. Палки длиной 1,5 м и весом от 350 до 450 г делали из каштана. С 1830 г. обучение фехтованию тростью и палкой стали совмещать с обучением французскому боксу (сочетание приемов английского бокса с французской борьбой ногами – сапатой). Лекур Жан-Антуан-Шарль (1808–1894) был владельцем зала в Париже и тренером. Именно он явился создателем французского бокса. Буше (правильно Лебуше) Луи (1807–1866) также был парижским тренером. В 1843 г. он издал книгу «Теория обучения борьбе палкой в 25 уроках». Теофиль Готье, так же как Дюма, Бальзак и Эжен Сю, тренировался у Лекура и Лебуше, его называли «поразительно ловким колоссом». 16 августа 1847 г. Готье писал в «La Presse»: «Господин Шарль Лекур превратил драку нищих в искусство <...>. Тот, кто владеет этим искусством, не боится темноты; можно забыть трость, карманный пистолет, но никто никогда не забудет своих рук и ног».

[15] *...знатоки-академики из... Сан-Лукара... Потро... Альбайсина и... Трианы...* – районы соответственно Мадрида, Кордовы, Гранады и Севильи, пользовавшиеся дурной славой как места проживания уголовного сброда.

Глава V

[1] *Ночной сторож с... грубоватыми... чертами лица, белая, как воск, девушка с черными бровями, подчеркивавшими ее бледность, и безжизненное тело юноши, чью голову она держала на коленях, словно сошли с картины Рембрандта.* – Готье явно отсылает к знаменитым групповым портретам великого голландского живописца Рембрандта (1606–1669), которые отличались исключительным драматизмом, тонкой передачей мимики каждого лица и мастерским использованием приема светотени.

[2] *В ту минуту девушка напоминала статую Скорби, преклонившую колени у гробницы.* – Имеется в виду статуя Божьей Матери Скорбящей (Mater Dolorosa) – изображение Богоматери, которая после снятия тела Иисуса с креста держит на коленях безжизненное тело своего сына. Эта тема получила широкое распространение в искусстве второй пол. XV в.

[3] *Собор Севильской Богоматери* – собор Святой Марии в Севилье. Санта-Мария-де-ла-Седе (1402–1506) – самый большой католический собор в Испании и третий по величине в Европе. Был построен в основном в XV в. на месте разрушенной Большой мечети IX–XII вв. Часть мавританских построек, в частности башня минарета Хиральда, стала колокольней христианского храма, в 1560–1568 гг. ее надстроили. Собор отличается смешением готического и ренессансного стилей.

[4] *Гентский бульвар.* — См. примеч. 44 к гл. I «Фортунио».

[5] *...фонарей-канделябров в стиле их собратьев с площади Согласия, заменивших живописные железные столбы с изящно закрученными завитками...* — Имеется в виду площадь восьмиугольной формы в центре Парижа с двумя фонтанами и восемью статуями, символизирующими города Франции. Площадь освещается фонарями, установленными вертикально по три на высокие мраморные с золотом колонны и заменившими старые фонари в 40-х годах XIX в.

[6] *Тильбюри.* — См. примеч. 1 к гл. XXVI «Фортунио».

[7] *Ландо* — четырехместная карета с открывающимся верхом.

[8] *Берберский скакун.* — См. примеч. 6 к гл. XV «Фортунио».

[9] *Госпожа Бодран.* — См. примеч. 3 к гл. VI «Невинных распутников».

[10] *...Пресвятая Дева... сошедшая с картины Мурильо...* — Из довольно обширного наследия испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо (1618—1682) значительную группу составляют полотна, посвященные прославлению Богоматери. В них Пресвятая Дева изображена в виде юной невинной отроковицы, стоящей или парящей среди облаков в окружении сонма ангелов. И в ее позе, и в выражении лица запечатлены девственная чистота, кротость, молитвенное умиление, что не противоречит узнаваемости национального испанского типа, натуральности жестов и мимики. Таковы, например, три версии «Непорочного зачатия» (1645—1650, 1670-е, 1678), хранящиеся в мадридском Музее Прадо, или «Пречистая Дева во славе» (1675—1676; Художественный музей в Севилье).

[11] *...agurs (приветствия)...* — Словечко «agur» Готье услышал из уст мадридских франтов, о чем упомянул в своей книге «Путешествие в Испанию».

[12] *Артиллерийский парк.* — Находился на площади Второго мая в бывшем дворце герцогов де Монтелеон. Сейчас на его месте стоит памятник Даоису и Веларде (см. примеч. 15 к гл. III).

[13] *...музей живописи...* — Имеется в виду Прадо — художественный музей в Мадриде, в стенах которого хранится богатейшая коллекция испанской живописи, а также других школ европейской живописи, особенно итальянской и фламандской. Основан в 1819 г., здание построено в 1785—1830 гг.

[14] «*Векфилдский священник*» (1766) — роман английского писателя-сентименталиста Оливера Голдсмита (1728—1774), воспевающий семейные добродетели и патриархальный уклад жизни. Считалось, что это самое подходящее чтение для благовоспитанных девушек, и потому роман пользовался успехом на протяжении всего 19-го столетия.

Глава VI

[1] *Редингот* — длинное приталенное пальто с высоким стоячим воротником, часто с пелериной, узкими рукавами с манжетами и карманами в боковых швах. Возник под влиянием английского мужского платья для верховой езды.

[2] *...как утопиться посреди июня в Мансанаресе?* — Имеется в виду река, протекающая через Мадрид и пересыхающая в середине лета.

[3] *Алькальд* — глава местного самоуправления в Испании, исполнявший также функции судьи.

[4] *Аргус смотрел во сто глаз, а у полиции их тысячи, ее не усыпишь звуками свирели.* — По велению Геры Аргус Всевидящий (см. примеч. 11 к гл. III «Царя Кандавла») стерег ее жрицу Ио, превращенную в корову. Зевс, влюбленный в Ио, приказал Гермесу убить Аргуса, что тот и сделал, предварительно усыпив великана игрой на свирели.

[5] *Улица Пелигрос.* — Такая улица в Мадриде действительно существует, однако, возможно, Готье упоминает ее, имея в виду буквальный перевод названия (*исп.* calle de los Peligros — улица Опасностей).

[6] *Мансанилья* — сухой херес (крепостью от 15,5 до 17 градусов) из винограда, выращиваемого в районе Санлукар-де-Баррамеда, на юге Испании. Употребляется в качестве аперитива.

[7] «*О времена! О нравы!*» — *Цицерон.* Первая речь против Луция Сергия Катилины. I. 1. *Пер. В.О. Горенштейна.* Цицерон употребил это выражение для осуждения близоруких сенаторов, знавших, что Катилина готовится захватить власть, и не принимавших против него никаких мер. С тех пор фраза означает высшую степень осуждения общественного порядка.

[8] *...отныне я не только твой друг до гроба, но твой сеид, твой верный пес и преданный мамлюк.* — Фактически Готье использует слова «сеид» и «мамлюк» как синонимы, в значении «покорный исполнитель чужой воли».

В действительности сеид (сейид, сайййд, *араб.* — господин, вождь, глава) — почетный титул у мусульман для потомков пророка Мухаммада. В социальной иерархии мусульманского общества они составляют обособленную привилегированную группу и пользуются большим авторитетом среди верующих. В шиитском контексте принадлежность к роду Посланника Аллаха наделяет человека сакральностью. Внешне такое родство отмечается ношением зеленой чалмы. Термин «сеид» широко использовался в титулатуре мусульманских правителей, что было связано как с претензией на родство с Мухаммадом (легитимация правящего режима посредством его сакрализации), так и с сохранением в употреблении доисламского значения данного термина (представитель племенной аристократии, вождь племени). Например, с таким титулом властвовали государи из узбекских династий в центральноазиатских ханствах XVIII—XIX вв. Слово «сеид» широко употребляется также и в нейтральном значении «господин» (например, в выражении «Дамы и господа!»). Кстати, его не следует путать со словом «саид» (*араб.* — счастливый), которое обычно используется в качестве личного имени.

Мамлюк (мамлук, *араб.* — тот, кем владеют) — раб-воин (обычно белый), служивший в армии. Мамлюки часто достигали высоких воинских должностей, а с ними порой и свободы, случалось, даже совершали военные перевороты и силой приходили к власти, основывая новые династии (например, египетских и сирийских Мамлюков (1252—1517)).

[9] *Эспартеро* Бальдомеро (1793—1879) — испанский генерал, глава правительства в 1840—1841 гг. и 1854—1879 гг., регент в 1841—1843 гг. В 1833—1840 гг. участвовал в войне против карлистов (см. примеч. 11), поддерживая партию Изабеллы — дочери умершего в 1833 г. короля Фердинанда VII. Лидер созданной в 1830-х годах прогрессистской партии (партии леволибералов).

[10] *Граф де Монтемолин* — Карлос Луис де Бурбон (1818—1861), племянник Фердинанда VII, сын Карлоса Марии Исидро де Бурбон; с 1845 г. принял имя Карла VI и претендовал на испанский престол. См. также примеч. 11.

[11] *...присоединиться к какому-нибудь уцелевшему логову карлистов или недобитой банде герильеро...* — Карлисты — участники и сторонники политического движения, возникшего в Испании в 1830 г. после издания Фердинандом VII так называемой Прагматической санкции, которая в обход господствовавшего тогда салического закона (наследование престола по непрерывной нисходящей мужской линии) провозглашала наследницей трона дочь короля Изабеллу. Тем самым от престола устранялся брат Фердинанда дон Карлос Мария Исидро де Бурбон. После смерти Фердинанда в 1833 г. Испания фактически раскололась на два лагеря: карлисты поддерживали права дона Карлоса и его наследников, а их противники «кристиносы» — права Марии Кристины, регентши Изабеллы. На протяжения XIX в. страна пережила три гражданские войны (их называют карлистскими), которые в общей сложности длились с 1833 по 1876 г. События второй карлистской войны (1846—1849 гг.) разворачивались преимущественно в Каталонии, где карлисты действовали небольшими отрядами и использовали методы партизанской войны. Герильеро (*исп.* guerrillero) — партизан.

[12] *Испания танцует на вулкане!* — Аллюзия на знаменитую фразу французского государственного деятеля и писателя Н.-А. де Сальванди (1795—1850), адресованную герцогу Орлеанскому, дававшему в июне 1830 г. (т. е. накануне Июльской революции) в Париже бал в честь короля Неаполя: «Ваша Светлость, это поистине неаполитанский праздник, мы танцуем на вулкане» (цит. по: La Revue de Paris. P., 1830. T. 15. P. 64).

[13] «*Биржевое кафе*» — одно из самых знаменитых кафе Мадрида, находившееся на улице Карретас.

[14] *Аякучос* — прозвище офицеров — участников битвы при Аякучо в Перу (1824 г.), большинство которых поддерживало Б. Эспартеро (см. примеч. 9).

[15] *Лилла бурелло.* — Имеется в виду английская сатирическая песенка «Лилли бурлеро», сочиненная в 1687 г. Джеймсом Уортоном на музыку английской народной колыбельной. Была чрезвычайно популярна, особенно в армии в период Ирландской войны и революции 1768 г., и затем вставлена в пьесу «Опера нищих» английского поэта Джона Гея, которая с успехом шла в 1828 г. Название песенки от ее припева «Лилли бурлеро, буллен а ля!»(«Lilli burlero, bullen a-la»). В романе английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767) один из персонажей напевает эту песенку всякий раз, когда сталкивается с нелепостью или оказывается в затруднительном положении.

[16] *Он прикидывался добрым, как Брут — безумным.* — Речь идет о первом консуле, Луции Юнии Бруте (ум. 509 до н. э.), который сверг последнего римского царя Тарквиния Гордого (534—509 гг. до н. э.) и основал Римскую республику. По преданию, его отец и братья были казнены, а сам Брут, чтобы избежать той же участи и приготовиться к отмщению, был вынужден притворяться безумным.

[17] *...Севилья искуснее Родригеса...* — Севилья Франсиско (ум. 1841) и Родригес Антонио (сер. XIX в.) — пикадоры, чьи выступления на арене Готье видел в 1840 г.

[18] *Мелилья* — город и порт на средиземноморском побережье Марокко (под управлением Испании).

[19] *И в девятом круге ада не придумать более страшной пытки!* — По Данте, в девятом, последнем, круге ада находились предатели. Самые страшные муки в чет-

вертом поясе девятого круга испытывали Иуда, Брут и Кассий, коих вечно терзали три пасти Люцифера (см.: *Данте*. Божественная комедия. Ад. XXXII–XXXIV).

[20] *...поступь статуи командора.* — Имеется в виду статуя командора, явившаяся за Доном Хуаном (Дон-Жуаном), чтобы погубить его. См. также примеч. 53 к гл. I.

Глава VII

[1] *Альбасетский нож* — нож, изготовленный в Альбасете, столице одноименной провинции на юго-востоке Испании, известной старинным производством ножей.

[2] *Медуза Горгона.* — См. примеч. 3 к гл. VII «Фортунио».

[3] *Пресвятая Дева Альмудена.* — Так в Мадриде называют Деву Марию. Существует несколько версий, объясняющих происхождение этого имени. По одной из них (от *араб.* аль-мудайна — крепость) статуя Девы Марии, доставленная на Пиренейский полуостров еще апостолом Иаковом, во время арабского нашествия, в 712 г., была замурована в крепостной стене и чудесным образом обнаружена лишь в XI в., когда испанские войска отвоевали город. По другой версии, ее спрятали от арабов в амбаре (*араб.* аль-мудин), где хранилось зерно. Святая Альмудена считается покровительницей Мадрида.

[4] *Новенна* — в католической церковной практике девятидневная молитва, личная или общая, в надежде получения особой благодати. Прототипом новенны нередко считают девять дней, которые апостолы провели в Иерусалиме в молитвенном ожидании сошествия Святого Духа.

[5] *Торил* (и с п. toril) — загон, где держат быков перед боем.

[6] *Колменар*-Вьехо — населенный пункт в 20 км от Мадрида, где находилось хозяйство дона Мануэля Родригеса, разводившего быков для корриды.

[7] *Монте-Сагрaдо* — старинное аббатство на горе Сакромонте, неподалеку от Гранады. Считалось, что там хранятся мощи святого Сесилио, покровителя Гранады. Однако в XX в. было установлено, что на самом деле останки принадлежат архиепископу Гранады Педро де Састро, жившему в XVII в.

[8] *Пресвятая Дева дель Пилар* (букв.: Пресвятая Дева на Столпе или Пресвятая Дева Столпница). — Около 40 г. святому Иакову, который без особого успеха пытался обратить испанцев в христианскую веру, явилась Дева Мария, стоявшая на небольшой колонне из яшмы, и повелела ему набраться мужества и терпения и продолжить свое святое дело. Храм Пресвятой Девы Столпницы находится в Сарагосе (Арагон).

Глава VIII

[1] *...для первой случившееся грозило обернуться... нарушением приличий...* — Чтобы еще раз подчеркнуть англоманию Фелисианы, Готье выделил курсивом слово «impropérité» — англицизм, образованный им от *англ.* improper — неуместный, неприличный.

[2] *Лестница Иакова.* — Аллюзия на ветхозаветную историю об Иакове, увидевшем во сне стоящую на земле и уходящую в небо лестницу, по которой восходят и нисходят ангелы Божии (см.: Быт. 28: 11–14).

[3] *Мадригал.* — См. примеч. 64 к гл. I «Фортунио».

[4] *Гражданская война.* — В 1808 г. Франция оккупировала Испанию. Король Карл IV, правивший с 1788 г., был низложен, и власть перешла к брату Наполеона Бонапарта Жозефу. После «мадридской резни» (см. примеч. 3 к гл. I) началась освободительная война испанского народа («Пиренейская война» или война за независимость), в которой погибло до 600 тыс. человек. В 1814 г. французы были изгнаны из Испании, но вернувшийся на престол Фердинанд VII ликвидировал все прогрессивные преобразования французов и местных властей и восстановил крепостное право, что привело к многочисленным восстаниям, вылившимся в 1820 г. в революцию. В 1823 г. с помощью французских войск Фердинанд VII подавил революцию и отменил решения кортесов (парламента). В 1833 г. после смерти Фердинанда королевой была провозглашена его дочь Изабелла, однако претензии на трон предъявил ее дядя дон Карлос, что вызвало гражданскую войну (первая карлистская война, 1833—1839 гг.). См. также примеч. 9—11 к гл. VI.

Глава IX

[1] *...нет... почтовой бумаги «Виктория»!* — Время правления английской королевы Виктории (1837—1901 гг.) было периодом политического и экономического укрепления Великобритании в Европе и мире. Успехи промышленной революции способствовали экспансии английских товаров. Высокое качество бумаги «Виктория» обеспечивалось тем, что в 1840-е годы именно в Англии был усовершенствован процесс производства бумаги из древесной целлюлозы. А поскольку в этот период готовился визит королевы Виктории во Францию, «La Revue Parisienne» от 9 сентября 1843 г. в преддверии визита во Францию королевы Виктории предвидит возникновение новой моды и новых марок: «Появятся шарфы “Виктория”, манто “Виктория” и т. д.».

[2] *Риджент-квадрант* — площадь четырехугольной формы в центральной части знаменитой лондонской улицы Риджент-стрит, на которой находятся богатые магазины, рестораны и ателье.

[3] *Он стоял... ближе к идеалу комфортабельности...* — В эпоху написания «Милитоны» слово «comfortable» было еще новым англицизмом и писалось с буквой «m» (в современном французском языке пишется «confortable»). В этом слове сосредоточено все, чего сторонился писатель.

[4] *High life.* — В первых двух изданиях повести французские издатели давали внизу страницы примечание, в котором это выражение весьма вольно переводилось как «homme du bel air», т. е. человек, следящий за своей внешностью. На самом деле признаками английской «high life» того времени являлись: именитые поставщики, модное место для прогулок (Гайд-парк) и танцев, Королевский театр, кабриолет с четверкой лошадей и собачка-компаньон, о которых мечтает Фелисиана. См. также примеч. 15—20.

[5] *Неаполитанская шляпа* — шляпа из плотного шелка, производившегося в Неаполе.

[6] *Зеркало-псише.* — См. примеч. 9 к гл. VI «Фортунио».

[7] *...англичанин, прославлявших... тротуары из каменных плит или асфальта...* — В ту пору асфальтовое покрытие было еще большой редкостью. В Европе первые асфальтовые блоки были положены в Париже на Елисейских полях в 1824 г. В Лондоне же широкое использование асфальта для покрытия городских мостовых и

тротуаров началось только в 1869 г., после того как компания «Валь де Травер» освоила производство асфальта повышенной прочности. До этого большая часть лондонских улиц была вымощена булыжником.

[8] *...испробовать новейшие удары кулаком в Тампле или в Чипсайде...* — Герой имеет в виду бокс, которым англичане увлеклись еще в 17-м столетии. Боксеры-чемпионы, покинув ринг, на выигранные в матчах деньги часто открывали небольшие залы, где обучали любителей боксерским приемам. Тампль и Чипсайд — старинные районы в центре Лондона.

[9] *...в сногсшибательном наряде.* — Готье употребляет редкое слово «supercoquentieux», зафиксированное в словарях французского языка и являющееся вариантом слова «supercoquelicantieux» — «более чем великолепный», «умопомрачительный», «сногсшибательный», которое придумал Ф. Рабле. В повести «Жан и Жанетта» Готье использует третий вариант этого же слова: «superlicocantieux».

[10] *...Фелисиана... затягивала шнуровку корсета... с помощью ворота...* — шуточное преувеличение. Корсет (см. примеч. 17 к гл. II «Жана и Жанетты»), мода на который была импортирована в Испанию из Франции, считался признаком хорошего тона.

[11] *Рядом с Милитоной в... платье, сшитом по испанской моде... претенциозность и... роскошь туалета Фелисианы казались просто смешными.* — Противостояние испанского национального костюма и моды французской уходит корнями в XVIII в., когда простые испанцы своим внешним видом и соблюдением традиций выражали властям протест против засилья Бурбонов, которые находились у власти с 1700 г., а также против их сторонников, так называемых офранцуженных (afrancesados). Этот феномен захватил и высшее общество, благородные сеньоры использовали элементы национального костюма в своем гардеробе (см. примеч. 22 к гл. II). Однако к сер. XIX в. двор и испанские аристократы полностью покорились общеевропейской моде.

[12] *Если... эту сцену... поместить над заголовком романса... нищий слепец наживет целое состояние.* — В XIX в. важные события становились в Испании темой для романсов, которые печатались большими тиражами и продавались на улицах. См. также примеч. 26 к гл. I.

[13] *Лорд Байрон прав — долой бледных северных красавиц!* — Сэр Эдвардс следует моде и полагается на чужие авторитеты. В данном случае он руководствуется мнением самого модного английского поэта лорда Джорджа Байрона (1788—1824), который часто противопоставлял южную страстность и европейскую холодность (см., например, стихотворение «Девушка из Кадикса», а также «Паломничество Чайльд-Гарольда»).

[14] *...испанки все-таки лучше — я это... знаю. Благодаря романсеро и войне за независимость я повидал их немало...* — Это утверждение сэра Эдвардса еще раз свидетельствует о том, что в своих пристрастиях он руководствуется литературными источниками. Романсеро — корпус испанских лиро-эпических песен, воспевающих красоту испанских женщин. В войне за независимость (см. примеч. 4 к гл. VIII) Англия поддерживала испанцев, а Байрон воспел борьбу испанского народа и пылкость испанок в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» (1812—1813).

[15] *Ассамблея Олмэка* — зал для балов (Almack's Assembly Rooms), названный в честь его основателя Уильяма Олмэка и открытый 13 февраля 1765 г. на Королев-

ской улице в Лондоне. Абонемент на сезон (то есть на три месяца) стоил десять гиней, ночные балы с ужином давались каждую пятницу. В ассамблею допускались в буквальном смысле избранные члены общества, так как абонемент выдавался только с разрешения комитета патронесс. Эти же патронессы выбирали партнеров для незамужних девушек-дебютанток. В XIX в. ассамблея сохраняла свой великосветский и снобистский характер.

[16] *...мы будем уезжать в Калькутту или на мыс Доброй Надежды...* — То есть в британские колонии — Индию и мыс Доброй Надежды.

[17] *...в ватерпруфе и макинтоше!* — Оба эти слова символизировали для Готье «вершину шарлатанства» из-за агрессивных методов рекламы этих товаров (см.: *Gautier Th.* Une journée à Londres // La Revue des Deux Mondes. 1842. 15 avril). Ватерпруф (*англ.* waterproof) — непромокаемый плащ. Макинтош — марка плащей из ткани, изобретенной в 1830 г. шотландцем Чарльзом Макинтошем (1760—1843). Макинтоши очень быстро вошли в моду и стали своего рода символом Британии.

[18] *...посуда от Веджвуда...* — Джозайя Веджвуд (1730—1795) — английский керамист и изобретатель. Веджвудская керамика (посуда) — торговая марка английских тонких керамических изделий, отличающихся изящным неоклассическим рельефным рисунком белого цвета на окрашенном фоне (наподобие камей).

[19] *Гайд-парк* — крупнейший из королевских парков в Лондоне, излюбленное место отдыха лондонцев.

[20] *...в театре Ее Величества...* — Имеется в виду лондонский Королевский оперный театр «Ковент-Гарден», названный так по площади, на которой он находится. Открыт в 1732 г.

[21] *...рядом с чистокровным спаниелем короля Карла!* — См. примеч. 17 к гл. III «Невинных распутников».

[22] *Фанданго.* — См. примеч. 29 к гл. I.

Глава X

[1] *Ворота Йерро* — ворота, находившиеся на северо-западе Мадрида. Именно через них Готье въехал в Мадрид в 1840 г.

[2] *Сьерра-Гуадаррама* — горный хребет на северо-востоке от Мадрида. Сьерра (*исп.* sierra — букв.: пила) — название горных хребтов с зубчатыми гребнями в Испании, Северной и Южной Америке, на Филиппинах.

[3] *...Хуанчо... не согнулся бы и под тяжестью ворот Газы, унесенных Самсоном...* — Аллюзия на ветхозаветный сюжет о герое-израильтянине Самсоне. Когда жители Газы Филистимской узнали, что Самсон проведет в их городе ночь, они заперли ворота, чтобы не выпустить его живым из города. Самсон, встав в полночь, вырвал ворота из земли, взвалил на плечи и, пройдя с ними половину Ханаана, водрузил на вершине горы близ Хеврона (см.: Суд. 16: 3).

[4] *Ламанча* — равнина в Испании, на юго-востоке от Мадрида, в области Кастилия-Ламанча.

[5] *Лукас.* — См. примеч. 55 к гл. I.

[6] *Хинес* — видимо, вымышленный персонаж.

[7] *Росаура.* — В 30-е годы XIX в. в литературных кругах Мадрида некая Росаура славилась своей жестокостью по отношению к своим поклонникам.

[8] *...со времен силача из Оканьи...* — Имеется в виду герой пьесы испанского драматурга Луиса Велеса де Гевары (1578—1645) «Геркулес из Оканьи», а также пьесы с таким же названием испанского драматурга Хуана Баутисты Диаманте (1625—1687). В «Путешествии в Испанию» Готье пишет, что, когда он проезжал через Оканью, ему вспомнилась знаменитая комедия Диаманте.

[9] *...Бернардо дель Карпио... одним пальцем останавливал мельничные жернова...* — Бернардо дель Карпио — легендарный испанский герой IX в., по одной из версий рожденный от инфанты, сестры астурийского короля Альфонса II Целомудренного, и графа де Салданьи. Ему посвящен обширный цикл романсов, воспевающих его героические подвиги. Сюжет многих из романсов связан с историей об освобождении его отца, которого держит в плену король Альфонс. Последний подвергает героя, подобно Геркулесу, всяческим испытаниям. Возможно, Готье имеет в виду эпизод из романа Сервантеса, где Дон-Кихот, перечисляя деяния великих героев, наряду с Бернардо дель Карпио упоминает Дьего Гарсию де Паредеса, «которого природа наделила такой силой, что он одним пальцем останавливал мельничное колесо на полном ходу» (*Сервантес М. де.* Дон-Кихот. Ч. I. Гл. 32. *Пер. Н.М. Любимова*).

[10] *...упал, как падает мертвец, если воспользоваться словами Данте.* — Выслушав рассказ Франчески и Паоло об их первом поцелуе, Данте говорит: «<...> и мука их сердец, | Мое чело покрыло смертным по́том; | И я упал, как падает мертвец» (*Данте.* Божественная комедия. Ад. V. 140—142. *Пер. М. Лозинского*).

[11] *Сан-Агустин-дель-Гвадаликс* — город в 23 км к северу от Мадрида.

[12] *Алькобендас* — город в 19 км к северу от Мадрида.

[13] *Альгвасил* (исп. alguacil) — здесь: судебный исполнитель.

[14] *...эти Орест и Пилад сыскного дела...* — Комическая пара сыщиков уподобляется героям греческой мифологии, ставшими олицетворением верной дружбы. После того как царь Агамемнон был убит и его сыну Оресту угрожала та же участь, Орест бежал в Колхиду, где у него завязалась такая крепкая дружба с сыном колхидского царя Пиладом, что каждый из них был готов пожертвовать жизнью ради другого.

[15] *Долговые приставы* — агенты службы, существовавшей в Париже для ареста должников по постановлению суда. Ликвидирована вместе с отменой тюремного заключения за долги по закону 1867 г.

[16] *...задушил бы ее подушкой, как тот негр... в пьесе...* — Аллюзия на трагедию У. Шекспира «Отелло» (акт V, сц. 2).

[17] *Кашемировые шали.* — Настоящие кашемировые шали изготовлялись из шерсти кашмирских коз, были очень дороги и являлись для женщин своего рода свидетельством их богатства и высокого положения в обществе.

[18] *Бьетри* Лоран (1799—1857) — парижский фабрикант, производивший поддельные «кашемировые» шали. С 1840 г. ему приходилось бороться с конкурентами за исключительное право на наименование «кашемировый».

[19] *Лахор* — город в Пакистане, в исторической области Кашмир. В XIX в. являлся британской колонией.

Глава XI

[1] *Гранада* — столица провинции Гранада (Андалусия). Стоит на холмах, возвышающихся над долинами реки Дарро и ее притока Хениль.

[2] *Антекерула.* — Квартала с таким названием в современной Гранаде нет, но есть две улицы, расположенные в пяти минутах ходьбы от церкви Санто-Доминго, которые называются Нижняя и Верхняя Антекеруэла.

[3] *Монастырь Санто-Доминго.* — Церковь Санто-Доминго, являвшаяся частью монастыря Санта-Крус, была заложена в 1512 г. Архитектор неизвестен. Готье часто ходил в этот монастырь, чтобы полюбоваться фонтаном и лаврами.

[4] *Перистиль* — прямоугольные площадь, сад или двор, окруженные со всех сторон крытой колоннадой.

[5] *Мавританская архитектура* — средневековая архитектура Магриба (северная и северо-западная Африка) и мусульманской Южной Испании, возникшая из слияния художественных традиций арабо-мусульманской и христианской культур. Эффектная зрелищность мавританской архитектуры основана на строго организованной декоративной системе, в ней широко применялись разнообразные формы арок, сталактитовые купола, навесы и карнизы на консолях, различные материалы (изразцы, дерево, мрамор, стекло). Ведущая роль во всех видах мавританского искусства принадлежит орнаменту, изощренно сочетающему геометрические фигуры и растительные узоры.

[6] *Коринфская капитель.* — Капитель — венчающая часть колонны, получившая наиболее детальную разработку в ордерной системе античной архитектуры; коринфская капитель, по сравнению с дорической и ионической, самая легкая и нарядная. Имеет вид расширяющейся кверху пышной чаши из аканговых листьев и завитков.

[7] *Волюта.* — См. примеч. 34 к гл. II «Царя Кандавла».

[8] *Альгамбра* — дворцовый ансамбль мавританских королей в городе Гранада (сер. XIII — кон. XIV в.), классический образец мавританской архитектуры (см. примеч. 5). Стоит на холме Аль-Сабика.

[9] *...кипарисы... нарушают голубизну неба, как грустные мысли, возникшие посреди... веселья.* — Мрачная темно-зеленая листва кипариса обыкновенного с древних времен служила эмблемой печали, а потому кипарис в южных странах считается кладбищенским деревом. Ветви кипариса кладут в гробницы, ими украшают дома во время траура.

[10] *...воды Дарро, поднятые... на вершину горы... арабскими мастерами гидравлики.* — Арабы отвели от реки Дарро канал длиной почти в два лье и подняли воду на холм Аль-Сабика.

[11] *Дукат* — старинная серебряная, а затем золотая монета, появилась в Венеции в 1140 г. Позже чеканилась во многих западноевропейских странах (иногда под названием цехина или флорина).

[12] *Арабеска.* — Здесь: слова и фразы, начертанные арабскими буквами.

[13] *Сьерра-Невада* — горный хребет на юго-востоке от города Гранады.

[14] *Хенералифе* — летняя резиденция мавританских королей в городе Гранаде и сады с бассейнами и фонтанами. Находится на холме Соль.

[15] *...под кипарисами Зораиды и Сердечных уз?* — В Хенералифе (см. примеч. 14) есть дворик Кипарисов, в котором растут четыре очень старых кипариса, с каждым из которых связана определенная легенда. Зораида (Сораида, Сорайя) — мавританское имя юной пленницы-христианки Исабель де Солис, на которой женился предпоследний эмир Гранады Абу-ль-Хасан Али (христианское имя — Мулей Хасен). Ее возненавидела первая жена Мулея Хасена, Айша, которая восстановила против него своего сына Боабдила, в результате чего эмир и его вторая жена были отправлены в изгнание. Согласно легенде влюбленный эмир и христианка Исабель тайно встречались в этом дворике, что повлекло их гибель. Сердечные узы (*фр.* Chaîne-des-Cœurs) — по мнению французских комментаторов, это перевод на французский имени жены Боабдила — последнего султана Гранады — Мораймы. По версии испанского хрониста и романиста Хинеса Переса де Иты (1544—1619), история Мораймы также связана со встречами с любовником из рода Абенсеррахов в этом дворе, получившем второе название — «двор кипариса султанши».

[16] *...красные башни Альгамбры...* — Название Альгамбра произошло от *араб.* альхамра, что означает «красный». См. также примеч. 8.

[17] *...скрываясь в цыганских пещерах... в... Сакромонте рядом с подземельями изгнанников.* — В XIII в. под натиском Реконкисты (см. примеч. 32) в Гранаду отступили мавры. Знать устроилась в городе, а беженцы-мусульмане со всей Испании обосновались в пещерах на склонах холмов Альбайсин и Сакромонте, где после окончательного изгнания мавров (1492 г.) поселились цыгане.

[18] *Лима* — столица Перу. Некоторые испанские тореро действительно уезжали в Мексику, Бразилию и Перу и выступали там на корридах.

[19] *Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария* — город, находящийся на противоположной от Кадиса стороне Кадисской бухты.

[20] *Кадис* — город и порт на Атлантическом побережье, в Андалусии, считается самым древним городом Испании.

[21] *...пароход, курсировавший между Кадисом и Пуэрто...* — Этот путь проделал на пароходе сам Готье. В «Путешествии в Испанию» он писал, что коррида в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария порадовала его множеством смешных происшествий, но закончилась «отвратительно и безобразно».

[22] *Латинский парус* — треугольный парус, нижняя сторона которого намного превышает его высоту и почти равна длине лодки.

[23] *...пропел фразу из песенки про быков из Пуэрто...* — См. примеч. 43 к гл. II.

[24] *С моря на Кадис открывался потрясающий вид, порт... заслуживает тех похвал, что расточал ему лорд Байрон.* — См.: *Байрон Дж.-Г.* Паломничество Чайльд-Гарольда. I.

[25] *Аламеда* — протяженная набережная-бульвар в Кадисе.

[26] *Басон* — общее название текстильных изделий, предназначенных для украшения одежды, мебели, штор: галунов, позументов, бахромы и т. п.

[27] *...на постоялом дворе «Виста-Алегре»...* — По свидетельству Готье («Путешествие в Испанию»), он сохранил наилучшие воспоминания об этой гостинице, которая «полностью оправдывает свое название»; «Виста-Алегре» (*исп.* vista alegre — радостный вид).

[28] *Херес-де-ла-Фронтера* — крупный город неподалеку от Кадисской бухты, живущий почти исключительно за счет продажи всемирно известных вин (различных сортов хереса).

[29] *Вара* (исп. vara) – белая трость или палка, раздвоенная на конце и длиной более метра, на которую небрежно опираются во время разговоров на улице. Ни один уважающий себя махо не выходил без такой трости на улицу.

[30] *Андалусада* (исп. andaluzada) – андалусская шутка, острота.

[31] *...он словно считал себя неуязвимым подобно Ахиллу или Роланду...* – Имеются в виду герои двух эпических поэм – древнегреческой поэмы Гомера «Илиада» и средневековой французской «Песни о Роланде». В действительности неуязвимость Ахилла не играет в поэме Гомера никакой роли, и, более того, герой знает, что обречен на гибель, таким образом его отважное, бесстрашное поведение связано с представлением о воинской доблести и славе. Однако, согласно греческой мифологии, его мать, морская богиня Фетида, желала сделать сына бессмертным, для чего окунала его в воды Стикса, держа за пятку, которая осталась единственным уязвимым местом Ахилла. Поведение Роланда, который, несмотря на численное превосходство мавров, отказывается призвать на помощь войска короля Карла, продолжает сражаться и принимает гибель в Ронсевальском ущелье, также обусловлено не его представлением о собственной неуязвимости, а типичным эпическим мотивом – мотивом героической неистовости, дерзости, богатырской переоценки своих сил.

[32] *Сид Кампеадор* – Родриго (Руй) Диас де Бивар (1043–1099), по прозвищу Сид Кампеадор (от *араб.* сеид – господин и *исп.* campeador – воитель), – испанский рыцарь, прославившийся подвигами в Реконкисте, т. е. борьбе христианских государств с маврами. Подвиги Сида воспеты в «Песни о моем Сиде» (XIII в.) и многих народных романсах кон. XIV – нач. XV в. Сид считается одним из изобретателей боя быков. Гойя посвятил ему одиннадцатую гравюру из серии «Тавромахия».

[33] *Квадрилья.* – См. примеч. 18 к гл. II.

[34] *Качетеро* – тореро, добивающий быка кинжалом.

[35] *Лаби* (Лави) – прозвище двух тореро – отца и сына, выступавших на арене в 1840–1850-х годах.

●

ДВОЕ НА ДВОЕ

Впервые опубл. в газете «La Presse» (20 сентября – 15 октября 1848 г.; 20 фельетонов) под общим названием «Две звезды» («Les Deux Étoiles»). Первое отдельное издание (в 2 т.) под изначальным названием появилось в Брюсселе в 1848 г. в издательстве «Taride». В 1851 г. издательство Ипполита Суверена напечатало повесть под заглавием «Двое на двое» («Partie Carrée»), разбив текст на 21 гл. (в 3 т.), причем третий том был дополнен повестями Готье «Клуб гашишистов» и «Двойной кавалер». В июне – сентябре 1865 г. газета «L'Univers Illustré» и издательство «Michel Lévi» опубликовали произведение под названием «Красотка Дженни» («La Belle-Jenny»), а в 1889 г. издательство «Charpentier» переиздало его под заглавием «Двое на двое». В XX в. повесть выходила неоднократно то под одним, то под другим названием.

На русский язык повесть переведена впервые специально для серии «Литературные памятники».

Глава I

[1] *Фолкстон* — старинный портовый город и курорт на берегу Па-де-Кале, расположенный к юго-востоку от Лондона, ближайший к французскому берегу английский порт.

[2] *Гинея* — старинная английская золотая монета достоинством в 21 шиллинг (примерно соответствует 25 франкам), находившаяся в обращении до 1817 г., когда ее заменил соверен. Однако гинея продолжала использоваться как счетная единица, равная 21 шиллингу, вплоть до перехода Великобритании на десятичную денежную систему в 1971 г. Таким образом, доход Джорди за последний месяц довольно существенно превысил обычную выручку.

[3] *Кларет* — общее название легких красных бордоских вин.

[4] *...коснуться огромной утробы почтенного Фальстафа.* — Сэр Джон Фальстаф — персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих IV» (Ч. I—II, 1597—1598) и комедии «Виндзорские насмешницы» (1598), толстяк, гурман, болтун и распутник, чье имя стало нарицательным для обозначения безудержной веселости, неиссякаемого оптимизма, бесконечной изобретательности и жизнелюбия.

[5] *Несколько гравюр... по рисункам Хогарта, изобличающим разные пороки...* — Уильям Хогарт (1697—1764) — английский живописец, график, гравер и теоретик искусства, автор сатирических картин, изобличающих человеческие пороки, в частности, «Прилежание и леность» (1747), серии «Карьера мота» (8 картин, 1732—1735), «Карьера проститутки» (6 картин, 1730—1731), «Модный брак» (6 картин, 1743—1745).

[6] *Ландо.* — См. примеч. 7 к гл. V «Милитоны».

[7] *Берлина* — четырехместная карета, которая была изобретена в XVIII в. в Берлине, отчего и получила свое название.

[8] *Линкольн* — здесь: сукно ярко-зеленого цвета, первоначально изготовлявшееся в графстве Линкольншир, Англия.

[9] *Арака.* — См. примеч. 70 к гл. I «Фортунио».

[10] *Общество трезвости.* — Первая половина XIX в. в Европе стала временем стремительного распространения общественных движений, направленных на борьбу с пьянством и призывавших к отказу от употребления спиртных напитков. К примеру, в Великобритании первое общество трезвости возникло в городе Гриноке в Шотландии в 1829 г., и уже к нач. 1830-х годов общество насчитывало более 300 отделений в этой части Соединенного Королевства.

[11] *Патер Мэтью.* — Имеется в виду Мэтью Теобальд (1790—1856), ирландский католический священник, член ордена капуцинов, проповедовавший трезвый образ жизни и получивший прозвище «апостол воздержания». В 1838 г. учредил в г. Корк Общество абсолютной трезвости, члены которого приносили обет воздержания от спиртных напитков. По подсчетам современников, за свою жизнь обратил к трезвости более 5 млн человек.

[12] *...подобный обет казался еще более опрометчивым, чем обет Иеффая.* — Иеффай — ветхозаветный персонаж, военачальник и один из судей Израиля. Дал обет в случае победы над аммонитянами принести в жертву первого, кто выйдет ему навстречу из ворот дома. Дабы не нарушить обет, был вынужден пожертвовать своей единственной дочерью, которая первая ступила за ворота приветствовать отца с тимпанами (см.: Суд. 11: 30—40).

[13] *...переплел руки похитрее, чем стыдливая Венера.* — Имеется в виду тип изображения богини Афродиты и отождествлявшейся с ней Венеры, который получил название Венеры стыдливой (*лат.* Venus Pudica). В скульптурах данного типа богиня представлена прикрывающей руками свою наготу или придерживающей упавшее одеяние. К этому типу относится, к примеру, Афродита Книдская (ок. 350 до н. э.) Праксителя (ок. 390—330 до н. э.), а также Венера Капитолийская (II в.) и Венера Медцейская (I в. до н. э.).

[14] *Спитфилд* — восточный пригород Лондона. Эмигрировавшие из Франции гугеноты основали в Спитфилде производство прекрасных шелковых тканей, часть из которых поставлялась на экспорт.

[15] *Рангоут* — общее название надпалубных частей судового оборудования (мачт, стеньг, рей и проч.), предназначенных для постановки и растягивания парусов, подачи сигналов, подъема грузов и т. п.

[16] *Бриг* — морское двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами.

[17] *Брамсель* — самый верхний прямой парус судна, ставящийся на брам-стеньге над марселем. В зависимости от принадлежности к той или иной мачте различают фор-брамсель (на фок-мачте), грот-брамсель (на грот-мачте), крюйс-брамсель (на бизань-мачте).

[18] *Фок-мачта* — передняя мачта судна.

[19] *Кливер* — косой треугольный парус, который ставят в дополнение к основным парусам между фок-мачтой (см. примеч. 18) и бушпритом (горизонтальным или вертикальным брусом, выступающим впереди носа корабля).

[20] *Лисель* — дополнительный парус, приставляемый при слабом ветре сбоку к прямым основным парусам для увеличения их площади.

[21] *Кошениль* — натуральный краситель красного цвета (кармин), получаемый из одноименных насекомых подотряда кокцидовых (Coccoidea, или Coccinea). Наиболее ценилась мексиканская кошениль, она пользовалась таким спросом в европейской текстильной промышленности, что цена на это сырье устанавливалась на биржах Лондона и Амстердама.

[22] *Клотик* — деревянный или металлический шар с роликами (шкивами) для тросов (фалов), насаживающийся на верх мачты или флагштока для подъема флага или фонаря.

[23] *Такелаж* — общее название всех снастей на судне, используемых для крепления рангоута (см. примеч. 15), а также управления последним и парусами.

[24] *Карета молниеносно сорвалась с места, и ее колеса заискрились, будто у огненной колесницы Ильи Пророка.* — Библейская аллюзия. Согласно Ветхому Завету, пророк Илия живым вознесся на небо на огненной колеснице, запряженной огненными конями (см.: 4 Цар. 2: 11).

Глава II

[1] *Арабеска.* — См. примеч. 10 к гл. I «Фортунио».

[2] *...в триумфах Нептуна или Галатеи.* — Триумф — здесь: распространенный сюжет, пользовавшийся особой популярностью в ренессансной живописи и литературе и сохранившийся также в искусстве XVII—XVIII вв. Восходит к официаль-

ному празднику-чествованию полководцев в Древнем Риме, однако в отличие от первого действующими лицами триумфов в искусстве могли быть не только исторические, но и аллегорические персонажи, а также герои античной мифологии, в частности, Нептун и Галатея. Чествования античных морских божеств запечатлены, к примеру, на фреске Рафаэля (наст. имя Рафаэлло Санти; 1483–1520) «Триумф Галатеи» (1514–1515) и картине Никола Пуссена (1594–1665) «Триумф Нептуна и Амфитриты» (1634).

[3] *...впрячь библейских грифонов...* – В Библии грифон (фантастическое животное в виде льва с головой и крыльями орла) не упоминается, однако встречается в древневосточной и древнегреческой мифологии. В частности, у древних греков грифон как солярное существо считался спутником Аполлона, а как олицетворение мудрости – спутником Афины, запряженная парой грифонов колесница была одним из атрибутов Немесиды – богини возмездия. В Средневековье грифон нередко служил символом двойственной природы Иисуса Христа, прекрасный пример тому – «Божественная комедия» (1307–1321) Данте Алигьери (1265–1321), где описан влекущий за собой колесницу грифон, который назван зверем, слившим «два воплощенья» (Чистилище. XXXI. 81. *Пер. М. Лозинского*).

[4] *Гиппогриф.* – См. примеч. 47 к гл. I «Фортунио».

[5] *...промчался... громыхая, будто колесница Салмонея на бронзовом мосту...* – Аллюзия на древнегреческий миф о Салмонее, кичливом сыне царя Эола, в своей заносчивости осмелившемся уподоблять себя Зевсу. Чтобы заставить своих подданных поверить, что он равен владыке Олимпа, проехал на колеснице по медному мосту (по другой версии мифа – привязал к колеснице высушенные шкуры и медные кувшины), бросая в воздух горящие факелы, и стал утверждать, что производит гром и молнии. За дерзость был убит Зевсом.

[6] *Церковь Святой Маргариты* Антиохийской – позднеготическая церковь, расположенная между Вестминстерским аббатством и Вестминстерским дворцом в Лондоне. Изначально ее возвели в романском стиле монахи-бенедиктинцы прилегающего аббатства в кон. XI в., однако при Эдуарде III (1312–1377, король Англии с 1327 г.) неф храма заменили на выдержанный в перпендикулярном стиле, а в 1486–1523 гг. при первых Тюдорах церковь была перестроена полностью. Позднее, в 1730-е годы, церковь была облицована портлендским известняком. В 1614 г. церковь Святой Маргариты стала приходской церковью палаты общин английского парламента. В ней венчались многие поколения английской аристократии.

[7] *Рамсгит* – курортный городок на побережье Северного моря на юго-востоке Англии, в графстве Кент. Находится севернее Фолкстона, в устье реки Стоур. Большинство зданий в исторической части города выдержано в стиле эпохи Регентства (1811–1820 гг.), а также раннем викторианском стиле.

[8] *На траверзе* – в навигации: на линии, перпендикулярной курсу судна или диаметральной плоскости последнего.

[9] *Халл* (Гулль, Кингстон-апон-Халл) – город на востоке Великобритании, расположенный в историческом графстве Йоркшир, на левом берегу реки Халл при ее впадении в эстуарий Хамбер. Издавна служил важным портом на Северном море, к XIX в. превратился в торговый центр, средоточие рыболовного и китобойного промыслов.

[10] *...увидев их черные паруса, отец Тесея умер бы от горя.* — Аллюзия на миф о древнегреческом герое Тесее, который обещал своему отцу, афинскому царю Эгею, в случае победы над Минотавром (см. примеч. 3 к гл. XV «Фортунио») поднять белые паруса. Однако на обратном пути Тесей забыл о своем обещании и вернулся в Афины под черными парусами, что и стало причиной гибели Эгея, уверившегося в гибели сына и бросившегося в море.

[11] *Меласса* (патока кормовая) — густая сиропообразная жидкость темно-бурого цвета, является отходом свеклосахарного производства и используется в качестве корма для скота.

Глава III

[1] *...выдавая в авторах завсегдатаев театра Тайберна.* — Тайберн — деревня, находившаяся в историческом графстве Мидлсекс, рядом с современной Мраморной аркой (1827–1833) в Лондоне. С кон. XII в. по 1783 г. Тайберн служил местом проведения публичных казней, посмотреть на которые стекались целые толпы городского люда. Позднее лондонский эшафот был перенесен в заново отстроенную Ньюгейтскую тюрьму (см. примеч. 2), однако название местечка долгое время использовалось как эвфемизм смертной казни, а в современном английском языке до сих пор сохранилось выражение «тайбернское дерево» (*англ.* Tyburn tree), означающее виселицу. Исторически «тайбернское дерево» представляло собой сооруженную в 1571 г. оригинальную конструкцию из деревянных балок, образующую в сечении большой треугольник, что позволяло предавать казни одновременно несколько преступников.

[2] *Ньюгейтская тюрьма* — старейшая лондонская тюрьма, первоначально возведенная в 1188 г. по приказу Генриха II (1133–1189, король Англии с 1154 г.) и впоследствии неоднократно перестраивавшаяся. Оставалась главной тюрьмой города и прилегавшего к нему графства Мидлсекс на протяжении своего существования вплоть до 1902 г., когда острог был закрыт, а само здание подвергнуто сносу.

[3] *...фантастические, как у делла Беллы, корабли...* — Стефано делла Белла (1610–1664) — флорентийский художник и гравер, особенно прославился выполненными по заказу кардинала А.-Ж. дю Плесси Ришельё (1585–1642) сценами осад Арраса (1641), Сент-Омера (1638) и Ла-Рошели (ок. 1641), на которых среди прочего с поразительной точностью запечатлел военные корабли того времени. Изображения военных и торговых судов, присутствующие и на других работах художника (напр., серии гравюр «Морские пейзажи», «Морские порты»), свидетельствуют о его прекрасных познаниях в области кораблестроения.

[4] *...золотой подсвечник с семью символическими ветвями...* — Имеется в виду семисвечник — светильник в виде семи ветвей, укрепленных на одной подставке, наподобие описанного в Ветхом Завете светильника для Скинии (см.: Исх. 25: 31–40; 37: 17–24). Первоначально на алтарях раннехристианских храмов возжигали две свечи как символ двух естеств во Христе. Однако позднее в алтарной части начали ставить семисвечник, который впоследствии превратился в один из атрибутов христианского храма. Прообразом христианского семисвечника принято считать упоминаемые в апокалиптических видениях св. Иоанна Богослова семь светильников огненных, что находятся перед престолом Вседержителя и являются семью

духами Божиими (см.: Откр. 1: 12–20; 4: 5). Семисвечник изначально понимался как символ Святого Духа, дающего верующим семи даров Премудрости из одного источника, а позднее стал также символом семи таинств Церкви.

[5] *...целомудренную Сусанну и старцев...* — Сусанна — персонаж неканонического эпизода из «Книги пророка Даниила» (гл. 13), жена Иоакима, которую пытались склонить к прелюбодеянию двое старейшин, подглядывавших за ее купанием. Сусанна отвергла притязания старцев, за что последние ложно обвинили ее в нарушении супружеской верности. Была оправдана и спасена от казни пророком Даниилом.

[6] *Георг III* (1738–1820) — король Великобритании и Ирландии с 1760 г. из Ганноверской династии. Проводил жесткую колониальную политику, которая привела к Войне за независимость североамериканских колоний (1775–1783 гг.), а также активно участвовал в организации антифранцузских коалиций. Вошел в историю также как жертва тяжелого психического заболевания, по причине которого над ним с 1811 г. было установлено регентство.

[7] *...подвиги Джека Шеппарда и Джонатана Уайлда...* — Имеются в виду знаменитые преступники Джек Шеппард (1702–1724) и Джонатан Уайлд (1682–1725), первый из которых прославился многочисленными побегами из тюрем, а второй — созданной им воровской организацией. Биография Шеппарда и Уайлда неоднократно привлекала внимание писателей и публицистов, ярким примером тому могут послужить, в частности, комическая опера Д. Гея (1685–1732) «Опера нищего» (1728), сатирический роман Г. Филдинга «История жизни покойного Джонатана Уайлда Великого» (1743), а также, вероятно, известный Готье роман У.-Г. Эйнсворта (1805–1882) «Джек Шеппард» (1837).

[8] *Сид.* — См. примеч. 32 к гл. XI «Милитоны».

[9] *Бернардо дель Карпио.* — См. примеч. 9 к гл. X «Милитоны».

[10] *...скачки в Эпсоме и Ньюмаркете...* — Имеются в виду два всемирно известных английских ипподрома, находящихся в одноименных городах.

[11] *Браммел* Джордж Брайан (1778–1840) — английский денди, определивший облик мужского костюма в эпоху Регентства, близкий друг принца Уэльского Георга (1762–1830, король Великобритании и Ирландии с 1820 г. под именем Георга IV). См. также примеч. 2 к гл. XXIV «Фортунио».

[12] *...эффект в духе Мартина...* — Джон Мартин (1789–1854) — английский художник-романтик, часто изображавший на своих полотнах нагромождение зданий и статуй и питавший пристрастие к грандиозным драматическим сюжетам (напр., «Всемирный потоп», 1826; «Падение Вавилона», 1819; «Разрушение Геркуланума», 1822, и др.). Работы Мартина отличаются мастерством в создании световых эффектов.

[13] *Мир, мир, старый крот!.. слова Гамлета, обращенные к Призраку.* — См.: *Шекспир У.* Гамлет. Акт I, сц. 5. Ср. в пер. М. Лозинского: «Так, старый крот! Как ты проворно роешь!»

[14] *Театр Друри-Лейн* — королевский драматический театр, расположенный между Бридж-стрит и Друри-Лейн, впервые был открыт Т. Киллигру (1612–1683) в 1663 г. Считается одним из старейших действующих театров Лондона.

[15] *...порцию синей отравы.* — В оригинале использован оборот «ruine bleue» (*фр.* — синяя пагуба), калькированный с выражения из английского сленга XIX в. «blue ruin», которое означало «паленый джин», т. е. джин очень низкого качества.

Глава IV

[1] *Вест-Энд* – район фешенебельных особняков в Лондоне.

[2] *Кружево англетер.* – См. примеч. 3 к гл. II «Фортунио».

[3] *Его парасские и пентелийские карьеры...* – См. примеч. 53 к гл. I и 30 к гл. II «Царя Кандавла».

[4] *Альбион* – название Британских островов, известное еще древним грекам и перешедшее затем в древнеримскую литературу. Согласно одной версии, является древним кельтским обозначением островов, возникшим от кельтской основы «alb/alp» («гора») или «al» («высокий»), согласно другой – произошло от прилагательного «albus» (*лат.* белый), относившегося к меловым скалам близ современного Дувра, на которые открывается вид со стороны Ла-Манша.

[5] *...плавающего посреди океана лебяжьего гнезда.* – Аллюзия на реплику Имогена из пьесы Шекспира «Цимбелин» (1609–1610; акт III, сц. 4). Ср. в пер. П. Мелковой: «Британия – часть мира, но не мир – | В пруду большом гнездо лебяжье».

[6] *...не хуже миланских доспехов...* – Начиная с XIV в. Милан становится, наряду с Нюрнбергом, ведущим центром европейского производства рыцарских доспехов.

[7] *Эрар.* – См. примеч. 10 к гл. II «Невинных распутников».

[8] *...великосветской жизни...* – См. примеч. 4 к гл. IX «Милитоны».

[9] *...заслужили бы одобрение... графа д'Орсэ.* – Имеется в виду Габриель Альфред Гийом, граф д'Орсэ (1801–1852) – законодатель мод во Франции с 1820-х годов, получивший прозвище «король денди» за безукоризненность своих нарядов и манер.

[10] *Антиной.* – См. примеч. 60 к гл. I «Фортунио».

[11] *...копию... греческого божества работы Вестмакотта или Чантри.* – Имеются в виду сэр Ричард Вестмакотт (1175–1856) и сэр Френсис Легат Чантри (1781–1841) – знаменитые британские скульпторы, чьи творения украшают многие памятники архитектуры Лондона, к примеру, Мраморную арку, фронтон здания Британского музея (1852), Гайдхолл (статуя Георга III, 1814) и Трафальгарскую площадь (статуя Георга IV, 1829).

[12] *...носом а-ля Веллингтон...* – Имеется в виду Артур Уэсли, герцог Веллингтон (1769–1852), английский полководец, государственный деятель и дипломат, прославившийся большим, длинным, загнутым книзу носом.

[13] *...превращались в левиафанов и бегемотов...* – Имеются в виду ветхозаветные чудовища. В Священном писании левиафаном названо большое морское животное, которое описывается как крокодил, гигантский змей (см.: Ис. 27: 1) или чудовищный дракон (см.: Иов. 40: 11–13) и предстает либо как пример (наряду с бегемотом) непостижимости божественного творения (см.: Иов. 40: 20–27; 41; Пс. 103: 26), либо в качестве враждебного Богу могущественного существа, над которым Творец одерживает победу в начале времен (см.: Пс. 73: 14; Ис. 27: 1). Вместе с левиафаном иногда упоминается также бегемот (см., напр.: Иов. 40: 10–19), который изображается огромным земноводным животным, соответствующим, по всей видимости, гиппопотаму. В переносном смысле левиафан и бегемот используются для обозначения чего-либо громадного и чудовищного.

[14] *Эреб* – в древнегреческой мифологии олицетворение мрака, а также название самой глубинной части царства мертвых, где стоял дворец Аида, владыки над тенями умерших.

[15] *Флёрдоранж* (фр. fleur d'orange — цветок апельсина) — белые цветы померанцевого дерева, а также похожие на них искусственные цветы; символизируют чистоту, невинность и являются принадлежностью подвенечного убора невесты.

Глава V

[1] *Шандернагор* — французский вариант названия индийского города Чандранагар (Чандернагор), расположенного в Бенгалии, на севере от Калькутты. Чандранагар являлся французской колонией с 1673 по 1757 г., а также с 1763 по 1794 г. и затем с 1816 по 1950 г.

[2] *У некоторых мечтательных и зловещих ангелов Альбрехта Дюрера...* — Альбрехт Дюрер (1471—1528) — немецкий живописец и гравер, один из величайших художников эпохи Возрождения. Очевидно, Готье имеет в виду гравюры Дюрера, в частности, серию гравюр на дереве «Апокалипсис» (1497—1498), гравюры «Святая Троица» (ок. 1511) и «Меланхолия» (ок. 1514), поскольку художник нечасто изображал фигуры ангелов в своих живописных произведениях (напр., «Алтарь Ландауэра», 1511).

[3] *Стихарь* — часть духовного облачения для церковно- и богослужения, прямое длинное платье с широкими рукавами. В протестантской Церкви (кроме Англиканской) стихарями называют одеяние из белой ткани, доходящее до середины бедра.

[4] *Таламус* (греч.) — здесь: комната, опочивальня новобрачных.

Глава VII

[1] *...булавка в виде арфы зеленого Эрина, усыпанная фальшивой бирюзой...* — Эрин — одно из древних кельтских названий Ирландии (наряду с Банбой и Фодлой), восходящее к имени богини Эриу. Золотая арфа на голубом щите издавна служила геральдическим символом Ирландии. В частности, она стала изображаться на гербе лорда Ирландии с кон. XIII в., и позднее, с провозглашением Ирландии королевством в 1541 г., была признана официальным гербом страны.

[2] *...«Прекраснее всего вода».* — *Пиндар.* Первая олимпийская ода. *Пер. Сергея Левчина.* Из всех произведений древнегреческого поэта-лирика Пиндара (518—448 до н. э.) до наших дней сохранились преимущественно эпиникии — хвалебные хорические песни, или оды, в честь победителей на спортивных состязаниях, собранные александрийскими учеными в четыре книги соответственно местам одержанных побед (на Олимпийских, Пифийских, Немейских и Истмийских играх).

[3] *...подобно Смарре, что в кошмарных снах уносит вас в своих чудовищных объятьях.* — Смарра — персонаж фантастической новеллы французского писателя Шарля Нодье «Смарра, или Демоны ночи» (1821), жуткий крылатый монстр, являющийся человеку во сне и вырывающий сердце.

[4] *Сарабанда* — старинный испанский танец, предположительно возникший из церковного обряда совершать шествие вокруг плащаницы в Страстную пятницу. Впоследствии сарабанда стала исполняться на похоронах как своего рода похоронный марш, во время которого присутствующие на погребении в молчании обходили вокруг гроба.

[5] *Сильф* — дух воздуха. См. также примеч. 7 гл. VI «Фортунио».

[6] *Уголино* делла Герардеска, граф Доноратико (ок. 1220—1289) — правитель Пизанской республики, глава партии гвельфов в Пизе. В результате заговора, составленного архиепископом Пизы Руджери дельи Убальдини (ум. 1295), в 1288 г. был заключен в башню Гуалланди вместе со своими двумя сыновьями и двумя внуками, где скончался в страшных мучениях от голода. Трагическая история графа была описана Данте (см.: Божественная комедия. Ад. XXXII. 124 — XXXIII. 90) и впоследствии не раз переосмыслялась художниками (напр., Д. Диотти «Уголино с сыновьями», 1820; Д. Рейнольдс «Смерть Уголино и его сыновей», 1770-е).

[7] *Кибела.* — См. примеч. 48 к гл. I «Милитоны».

[8] *Беркеры.* — Готье использует слово «burkeurs», образованное от английского глагола «burke» («душить»), который в свою очередь произошел от имени серийного убийцы Уильяма Бёрка (1792—1829), задушившего не менее 15 человек и продавшего трупы эдинбургскому патологоанатому Роберту Ноксу (1791—1862) в качестве материала для препарирования.

[9] *...в плавании он мог поспорить с лордом Байроном или Энкхедом...* — Несмотря на хромоту, лорд Дж.-Г. Байрон был несравненным пловцом. Личность Энкхеда (Enkhead) установить не удалось.

Глава VIII

[1] *...озаренный свечой силуэт... Сондерса, будто сошедшего с картины Шалкена...* — Готфрид Шалкен (Схалхен; 1643—1706) — голландский живописец и график, автор портретов и картин на мифологические сюжеты. Знаменит своим мастерством в передаче игры светотени, а также эффектов искусственного освещения.

[2] *...наименее достойная его часть — животная, как говорил де Местр...* — Жозеф де Местр (1753—1821) — французский дипломат, публицист, противник Просвещения и Французской революции. Считал индивидуума от природы злым и ущербным существом и называл подчинение власти нравственной обязанностью людей. В противоположность концепции «общественного договора» утверждал, что главное условие общественной жизни — поглощение более сильными организмами более слабых, а единственная возможность управлять людьми — это использование властью насилия и жестокости, поэтому особую роль в государстве отводил палачу.

Глава IX

[1] *Гэльский диалект* (гаэльский) — один из языков гойдельской ветви кельтской языковой группы (наряду с ирландским и мэнкским), носители которого — гэлы, субэтническая группа шотландцев, — населяют северо-западную (горную) часть Шотландии и Гебридские острова.

[2] *...напоминало Ниневию, на которую надвигается туча гнева Господня.* — Библейская аллюзия (см.: Наум. 1: 3, 8). Ср. в рус. пер.: «<...> в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его. <...> Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак».

[3] *Гравюра «в черной манере».* — См. примеч. 10 к гл. I «Милитоны».

[4] *...точно соломинка, падающая в... водовороты Мальстрёма...* — Мальстрём — сильное приливно-отливное течение в Норвежском море у Лофотенских островов. В Средневековье и последующие эпохи Мальстрём нередко описывался как ужасающее по своей мощи явление в виде гигантской воронки, засасывающей корабли и грозящей неминуемой гибелью попавшим в нее судам. Отголоски этого мифа встречаются, к примеру, в романах Эдгара Алана По (1809–1849) «Низвержение в Мальстрём» (1841) и Жюля Верна (1828–1905) «Двадцать тысяч лье под водой» (1869–1870).

Глава X

[1] *Трабукеры.* — Готье употребляет здесь слово каталанского происхождения «trabucaire» (от *исп.* trabuco — мушкетон), которое первоначально относилось к каталонским мятежникам XIX в., использовавшим в качестве оружия преимущественно мушкетоны (отчего и получившим свое прозвание). Позднее это слово стало также обозначать разбойников, нападавших на путешественников в Пиренеях.

[2] *Твиндек* — межпалубное пространство на судне, где располагаются каюты для пассажиров и команды и грузовые отсеки.

[3] *Кабестан* — лебедка с барабаном, насаженным на вертикальный вал, для передвижения грузов, подъема якорей, подтягивания судов к берегу и т. п.

[4] *Марс* — здесь: деревянная или решетчатая площадка на мачте для наблюдения за горизонтом, установки навигационных приборов, а также работ по управлению парусами.

[5] *...каббалистические письмена...* — В XVIII–XIX вв. слово «каббалистический» (*фр.* cabalistique) употреблялось не только в своем первоначальном значении, но и для обозначения всего непонятного, сверхъестественного, связанного с потусторонним миром.

[6] *...клялись... Хроносом и Юпитером, Ахероном и Стиксом, некогда объединявшим богов.* — То есть поклялись страшной нерушимой клятвой. В древнегреческой мифологии Хронос изначально был богом времени, однако из-за созвучия имен позднее стал отождествляться с титаном Кроносом — младшим сыном Урана и Геи, по наущению матери оскопившим отца и вместо него сделавшимся верховным божеством. В частности, у древних римлян, почитавших его под именем Сатурна, Кронос превратился в символ неумолимого времени. Согласно мифам, Кронос был свергнут и заточен в Тартар собственным сыном Зевсом, с которым отождествлялся древнеримский бог Юпитер, считавшийся у римлян также гарантом верности клятве. В более поздней античной традиции с ниспровержением Кроноса Зевсом связывался закат Золотого века и начало Серебряного (см., напр.: *Овидий.* Метаморфозы. I. 89–114). Ахерон (Ахеронт) и Стикс — в древнегреческой мифологии название двух подземных рек в царстве мертвых, а также олицетворяющих эти реки божеств. По одной из легенд, Стикс прежде других богов поспешила на помощь Зевсу во время его борьбы с Кроносом, за что громовержец сделал ее богиней клятв, а воды Стикс — их символом. Поэтому во время раздоров между богами-олимпийцами спорящие стороны по приказу Зевса произносили самую страшную клятву над водой Стикс, доставленной из Аида Иридой. Бог, нарушивший

свою клятву или солгавший, год лежал бездыханным, а затем девять лет должен был жить вдали от Олимпа, и только на десятый год получал прощение (см., напр.: *Гесиод.* Теогония. 457–460, 782–806). Через воды Ахерона, согласно верованиям древних греков, перевозил души усопших Харон. Впоследствии у Данте Ахерон превратился в поток, опоясывавший первый круг Ада и, следовательно, все остальные. В частности, вытекавшие из Ахерона ручьи к пятому кругу Дантовой преисподней становились багрово-черными и впадали в болото Стикса, в котором казнились гневные и которое омывало стены города Дита, окаймлявшие пропасть нижнего Ада (см.: Божественная комедия. Ад. VII. 100–116; VIII. 67–75; XIV. 115–120).

Глава XI

[1] *...статуя Командора, приглашенного Лепорелло на ужин к Дон-Жуану.* — Аллюзия на оперу В.-А. Моцарта «Дон-Жуан, или Наказанный распутник» (д. II, картины 3, 5).

[2] *Медуза.* — См. примеч. 3 к гл. VII «Фортунио».

[3] *Волосы струились по ее плечам, словно у кающейся Марии Магдалины работы Кановы.* — Имеется в виду скульптура А. Кановы (см. примеч. 29 к гл. I «Фортунио») «Кающаяся Мария Магдалина» (1809). Одна из авторских копий изваяния хранится в Эрмитаже.

Глава XII

[1] *Примроуз-Хилл* — холм на севере от Лондона, в настоящее время — парк в черте города.

[2] *...«Ничтожность, женщина, твое названье!»... — Шекспир У.* Гамлет. Акт I, сц. 2. *Пер. А. Кронеберга.*

[3] *Лондонский монумент* — название сооружения в виде каменной дорической колонны, увенчанной бронзовой урной, которое было воздвигнуто в 1667 г. в память о пожаре, уничтожившем бóльшую часть Лондона. Установлен в Сити (центральной части города) рядом с северным концом Лондонского моста.

[4] *Автомедон.* — См. примеч. 3 к гл. II «Невинных распутников».

[5] *...идол... Тримурти, изображавший Брахму, Вишну и Шиву...* — Тримурти (*санскр.* — обладающий(ая) тремя обликами) — в индуизме проявление единства сущностей трех главных богов — Брахмы (бога-творца), Вишны (бога-хранителя) и Шивы (бога-разрушителя). Представления о Тримурти сложились сравнительно поздно, в эпоху пуран (см. примеч. 14 к гл. XVII), однако сама идея троичности божественных сил прослеживается с древнейших слоев древнеиндийской мифологии. На скульптурных изображениях члены Тримурти или стоят рядом друг с другом (напр., памятники Эллоры и др.), или их тела как бы вырастают одно из другого (напр., изваяния в южноиндийских шиваитских храмах). Прежде за Тримурти ошибочно принимали статуи Шивы-Махешвары (в частности, скульптуру, найденную на острове Элефанта ок. Бомбея) с тремя лицами, соответствующими трем собственным ипостасям этого божества. См. также примеч. 33–35 к гл. IV «Аватары».

[6] *Крис.* — См. примеч. 16 к гл. XVI «Фортунио».

[7] *Ост-Индская компания* — название ряда торговых компаний, учрежденных в западноевропейских странах в XVII—XVIII вв. и наделенных монопольным правом торговли с Ост-Индией (так в XVII—XVIII вв. в Европе именовали Индию и другие страны Юго-Восточной Азии в противоположность Вест-Индии — островам Атлантического океана между материками Северной и Южной Америки). В данном случае имеется в виду английская Ост-Индская компания — акционерная компания, созданная в 1600 г. указом Елизаветы I (1533—1603, королева Англии и Ирландии с 1558 г.) и получившая обширные привилегии для торговых операций в Ост-Индии и Китае. Обладая собственной армией и флотом, она сыграла огромную роль в английской колониальной политике, в частности, в завоевании Индии, и постепенно превратилась из частной торговой компании в государственную организацию по управлению английскими владениями в Индии. После подавления Индийского восстания 1857—1858 гг. была ликвидирована в 1858 г. решением британского правительства, передавшим управление владениями компании британской короне.

[8] *Кордовская кожа.* — См. примеч. 22 к гл. I «Фортунио».

[9] *Бетель.* — См. примеч. 2 к гл. XVII «Фортунио».

[10] *...его колени хрустели при ходьбе, как у дона Педро...* — Аллюзия на авторское примечание Проспера Мериме (1803—1870) к новелле «Кармен» (1845; примеч. к гл. III), в котором писатель упоминает о странном физическом недостатке Педро I (1334—1369, король Кастилии и Леона в 1350—1366 гг. и 1367—1369 гг.). Будучи ловким и сильным, король обладал необычным дефектом телосложения: когда он двигался, его коленные чашечки издавали громкий хруст. Именно этот изъян, по словам Мериме, помог опознать в правителе Кастилии участника ночной дуэли, которую Педро I затеял по вздорному поводу с незнакомцем во время одной из своих прогулок инкогнито по улицам Севильи. Сразив противника, король поспешил скрыться с места поединка, однако случайная свидетельница происшествия успела расслышать характерный хруст коленных чашечек убегавшего дуэлянта. Этот анекдот из жизни испанского правителя Мериме использовал позднее также в своем историческом сочинении «История дона Педро I, короля Кастилии» (1848; гл. VII, ч. V).

[11] *Хайдарабад* — здесь: город в Южной Индии у слияния рек Муси и Уси, основанный на рубеже XVI—XVII вв. как столица Голконды (см. примеч. 12 к гл. VIII «Аватары»). С 1724 по 1956 г. был столицей одноименного княжества и резиденцией низамов (правителей княжества).

[12] *Бенарес.* — См. примеч. 7 к гл. XVII «Фортунио».

[13] *Кессоны.* — См. примеч. 12 к гл. I «Фортунио».

[14] *Пальметта* — орнаментальный мотив в виде стилизованного веерообразного листа пальмы. В различных вариантах использовался в зодчестве разных стран и эпох как элемент архитектурного декора, а также в декоративно-прикладном искусстве.

[15] *Элефанта* — остров, расположенный в гавани Бомбея в Аравийском море. На Элефанте находился древний город, который был разрушен португальцами в XVI в. Известность острову принесли восходящие к VIII в. пещерные брахманские храмы — выдающиеся памятники раннесредневекового индийского искусства, среди которых наиболее знаменит многостолпный зал с гигантским бюстом трехликого божества Шивы и многочисленными рельефами.

[16] *Пагода Джаггернаута.*— См. примеч. 12 к гл. VII «Фортунио».

[17] *Аурангзеб* (1618–1707) — могущественный правитель Империи Великих Моголов с 1658 г. См. также примеч. 71 к гл. I «Фортунио».

Глава XIII

[1] *Апсары* — в ведийской и индуистской мифологии женские полубожества, обитающие преимущественно на небе (реже — на земле в виде духов вод и гор), жены и возлюбленные гандхарвов, позднее также небесные танцовщицы, которые услаждают пляской богов и воинов, героически павших на поле брани. Способны по собственному желанию менять свой облик, однако обычно изображаются прекрасными женщинами в богатых одеждах, украшенных драгоценностями и цветами.

[2] *Индра* — в древнеиндийской мифологии бог грома и молнии, царь богов, богвоитель, обитающий на небесах, впоследствии также миродержец Востока.

[3] *Горочана* — здесь: распространенный в Индии натуральный краситель золотисто-желтого цвета, получаемый из цветов сафлора красильного (или дикого шафрана, Carthamus tinctorius).

[4] *Унаби* — зизифус настоящий (Ziziphus jujuba), род растений из семейства крушинных, произрастающий в Закавказье, Средней и Юго-Восточной Азии, Японии и Китае, колючий листопадный кустарник или небольшое дерево. У унаби небольшие круглые или яйцевидные мясистые плоды-костянки с очень сладкой мякотью, которые становятся красно-коричневого цвета, когда вызревают.

[5] *Духшанта* (Душьянта) — персонаж классической индуистской литературы и мифологии, древнеиндийский царь, отец императора Бхараты — основателя династии Бхаратов, супруг Шакунталы, дочери риши Вишвамитры и апсары Менаки (см. примеч. 11). По преданию, он встретил Шакунталу во время охоты в лесу и сочетался с ней браком гандхарвов (см. примеч. 28). Когда Душьянта по воле злого брахмана Дурвасаса потерял память и отверг Шакунталу с сыном, опознать возлюбленную царю помогло кольцо, подаренное им девушке в качестве залога любви. Легенда о Душьянте и Шакунтале в разных вариантах изложена в «Махабхарате» (I. 62–69) и «Бхагавате-пуране» (IX. 20). Однако наибольшую известность получила обработка легенды индийским поэтом и драматургом Калидасой (ок. V в.) в пьесе «Узнанная по кольцу Шакунтала», опубликованной в переводе на французский язык в 1830 г. По мотивам этой пьесы Готье написал в 1858 г. либретто к балету «Шакунтала» (композитор — Л.-Э.-Э. Рейер, балетмейстер — М. Петипа), поставленному в том же году на сцене Парижской оперы. Однако ни в «Махабхарате», ни в пуранах, ни у Калидасы нет какого-либо упоминания о Духшанте как художнике, царь обрисован как могущественный воин.

[6] *Пробор, подкрашенный карминoм, разделял волосы надвое...* — Готье, вероятно, по ошибке изображает Приямваду с прической, которую в Индии носят только замужние женщины.

[7] *Махадева* (санскр. — великий бог) — в индуистской мифологии одно из имен Шивы. См. также примеч. 35 к гл. IV «Аватары».

[8] *...ладошки... покрывала красная краска...* — В Индии ладони красят невесте во время свадьбы.

[9] *...хвост павлина, на котором восседает Сарасвати...* — Сарасвати — в древнеиндийской мифологии богиня, первоначально олицетворявшая одну из рек Индии, в послеведический период почитавшаяся как богиня красноречия и мудрости, супруга Брахмы, изобретательница санскрита и алфавита деванагари, покровительница искусств и наук. Ваханой (т. е. ездовым животным) Сарасвати являлся лебедь, иногда также павлин.

[10] *Парвати* — в индуистской мифологии одно из имен супруги Шивы наряду с Дургой, Деви и проч. По легенде, в образе Парвати, дочери царя гор Химавата и апсары Менаки (см. примеч. 11 к наст. главе, а также примеч. 1 к гл. XIV), возродилась после самосожжения на священном огне первая жена Шивы, Сати.

[11] *...ни Мишракеши, ни Менака...* — Имеются в виду персонажи древнеиндийской мифологии, апсары (см. примеч. 1), первая из которых стала супругой царя Ватсаки, подарившей ему сына Врику. Мишракеши фигурирует также в качестве персонажа в драме Калидасы «Узнанная по кольцу Шакунтала». Менака была апсарой, по приказанию Индры соблазнившей мудреца из царского рода Вишвамитру, чтобы отвлечь его от аскетических подвигов. От их союза родилась Шакунтала (см. примеч. 5). Другая дочь Менаки — Прамадвара, ставшая женой Руру, была рождена апсарой от царя гандхарвов Вишвавасу. В пуранической традиции Менака считалась дочерью Брахмы, а также женой Химавата (см. примеч. 1 к гл. XIV) и матерью Умы и Ганги.

[12] *...подошла... почти не наступая на пятки, словно Шакунтала, срывающая цветы вдоль тропинки...* — Аллюзия на сцену из драмы Калидасы «Узнанная по кольцу Шакунтала», описывающую, как царь Душьянта идет по тропинке, рассматривая следы Шакунталы и стебли, с которых она сорвала цветы (акт III). См. также примеч. 5.

[13] *Лакшми* — в индийской мифологии супруга бога Вишну (см. примеч. 34 к гл. IV «Аватары»), богиня счастья, богатства и красоты, по одной из версий мифа, родилась из океана с лотосом в руках, когда боги и асуры пахтали Океан, по другим представлениям, была дочерью Бхригу и Кхьяти или возникла в самом начале творения, всплыв из первозданных вод на цветке лотоса.

[14] *Ашока* (санскр. — беспечальное) — дерево с оранжево-алыми или малиновыми цветами (Jonesia asoka или Saraca indica) из семейства бобовых, произрастающее в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Играет большую роль в древнеиндийской мифологии и индийской поэтической традиции, в частности, из цветка ашоки сделана одна из пяти стрел бога любви Камы (см. примеч. 25).

[15] *Малини* (санскр. — увенчанная цветами) — одно из названий Ганги (см. примеч. 2 к гл. XIV). По легенде, на берегу Малини апсара Менака родила Шакунталу (см. примеч. 5, 11).

[16] *Мадхави* — лиана с красивыми душистыми белыми цветами (Gaertnera racemosa), считалась в индуизме воплощением весны.

[17] *Дакша* — в ведийской и индуистской мифологии один из адитьев, сын и одновременно отец Адити (см. примеч. 15 к гл. XVII), считался седьмым сыном Брахмы (или Праджапати), родившимся из большого пальца правой ноги творца. Женой Дакши стала родившаяся из пальца левой ноги творца Вирини, отождествлявшаяся с ночью и иногда называвшаяся Дакши.

[18] *Приямвада* — персонаж пьесы Калидасы «Узнанная по кольцу Шакунтала», подруга Шакунталы (см. примеч. 5).

[19] *Сиринга* (греч. – флейта) – устаревший термин для обозначения древнеегипетских подземных захоронений в Долине Царей, напоминающих по форме флейту.

[20] *Гуру* (санскр.) – в индуизме и буддизме духовный наставник, учитель; в строгом смысле, гуру является не учителем, передающим какую-либо информацию, а тем, кто направляет и питает Пробуждение ученика.

[21] *Катастрофа* – заимствованный из «Поэтики» Аристотеля термин теории драмы, означающий победу противодействия, поражение, которое терпит герой трагедии в напряженной ситуации, созданной событиями, что развивались в течение драматического действия и были заданы в экспозиции и завязке. Катастрофа предшествует развязке трагедии.

[22] *Муни* (санскр.) – отшельник, аскет, мудрец, святой человек; определение, которое часто применяется к создателям сутр. В отличие от многочисленных синонимов, оно несет коннотацию «тот, кто не проронит ни слова всуе».

[23] *Брахманы* (санскр. – обладатели брахмы) – высшая из четырех древнеиндийских варн (сословных групп). Согласно «Пуруша-сукте», варна брахманов возникла из рта первочеловека Пуруши (см.: Ригведа. X. 90. 12), позднее ее происхождение стали связывать с устами Брахмы (см.: Законы Ману. I. 31). В древности брахманы были жрецами, исполнителями жертвоприношений, знатоками и толкователями Вед. Со временем из среды брахманов стали выходить писцы, писари, священнослужители, ученые, учителя, судьи и чиновники.

[24] *Чандра* – в древнеиндийской мифологии одно из имен прекрасного ликом бога Луны.

[25] *...пять цветов, из которых Кама, бог любви, делает свои стрелы...* – Кама – в древнеиндийской мифологии бог любви. Изображался юношей, восседающим на попугае (также – на колеснице) и держащим в руках лук из сахарного тростника с тетивой из пчел и пятью стрелами из цветов, насылающими любовную страсть. Названия этих стрел упоминаются, в частности, в «Рамаяне»: увлажняющая (*санскр.* varṣaṇam – букв.: дождящая), иссушающая (*санскр.* śoṣaṇam), пьянящая (*санскр.* mādanam), сжигающая (*санскр.* samtāpanam), слезящая (*санскр.* vilāpanam) (см.: Рамаяна: Кн. 1: Балаканда (Книга о детстве). Кн. 2: Айодхьяканда (Книга об Айодхье) / Изд. подг. П.А. Гринцер. М.: Ладомир: Наука, 2006. С. 98, 178, 761. (Литературные памятники)).

[26] *...чампака, амра, кесара, кетака и бильва...* – Готье перечисляет произрастающие в Индии цветущие деревья, цветы которых имеют символическое значение в индийской мифологии и упоминаются в древнеиндийском эпосе. Чампака – дерево семейства магнолиевых с желто-оранжевыми цветами (Michelia champaca). Амра – манговое дерево (Mangifera indica). Кетака – пандан (Pandanus odoratissimus), небольшое дерево с удлиненными листьями и душистыми цветами. Кесара – шафрановое дерево с остроконечными красными цветами (Crocus sativius). Бильва – дикая яблоня (Aegle marmelos), листья которой используются в религиозных церемониях, посвященных Шиве.

[27] *...жалобные песни кокилы и чаватраки...* – Кокила (*санскр.* kokila) и чаватрака (правильно – чатака, *санскр.* cātaka) – птицы семейства кукушек (Cuculus micropterus, или индийская кукушка, и Cuculus melanoleucus, соответственно). Согласно индийской поэтической традиции весеннее пение кокиды пробуждает любовную

страсть, а ожидание чатакой дождя, каплями которого она, по поверью, питается, традиционно символизирует жажду, а также любовную тоску. Возможно, впрочем, что под чаватракой Готье подразумевает чакраваку – птицу с красно-коричневым опереньем из породы уток Anas Casarca. В древнеиндийской поэзии она стала символом преданной любви: самец и самка чакраваки нежно привязаны друг к другу и жалобно кричат в разлуке ночью.

[28] *...соединиться по... обряду гандхарвов.* – Гандхарвы – в древнеиндийской мифологии группа полубогов, мужья и возлюбленные апсар (см. примеч. 1), певцы и музыканты, которые услаждают богов на их празднествах и пиршествах. Гандхарвы дали название одному из видов брака, «браку по обряду гандхарвов», – добровольному союзу между юношей и девушкой, не требующему согласия родителей и соблюдения формальных обрядов. Эта форма брака упоминается наряду с другими семью в «Законах Ману» (см. примеч. 29) и признается соответствующей дхарме кшатрия (см.: Законы Ману. III. 21, 26, 32). По легенде, браком гандхарвов сочетались друг с другом Духшанта и Шакунтала (см. примеч. 5).

[29] *Законы Ману* – памятник древнеиндийской литературы, сборник предписаний, регламентирующих поведение индийцев в частной и общественной жизни в соответствии с религиозными догматами брахманизма, содержит также наставления по управлению государством и судопроизводству. В дошедшем до наших дней виде сложились во II в. до н. э. – II в. н. э. и приписываются мифическому прародителю людей – Ману. Первый перевод «Законов Ману» на английский язык был опубликован в 1794 г. сэром Уильямом Джонсом (1746–1794), основателем индологии (см.: Institutes of Hindu Law, or the Ordinances of Manu, According to the Gloss of Cullúca / Verbally tr. from the original sanscrit [by sir W. Jones]. Calcutta: S.n., 1794). После сэра Джонса «Законы Ману» неоднократно переводились полностью или частично на другие европейские языки (см., напр.: Manava-dharma-sastra: Lois de Manou, comprenant les institutions religieuses et civiles des Indiens / Traduites du sanscrit et accompagnées de notes explicatives par A. Loiseleur-Deslongchamps. P.: Crapelet, 1833; Законы Ману / Пер. С.Д. Эльмановича. СПб.: Типолитогр. Н.И. Евстифеева, 1913).

Глава XIV

[1] *Химават* – в индуистской мифологии бог, персонифицирующий вершину Гималаев, обитель ракшасов, пишачей и якшей, муж апсары Менаки, подарившей супругу сына Майнаку и дочерей Парвати (см. примеч. 10 к гл. XIII) и Гангу (см. примеч. 2).

[2] *...вода... что льется с неба... и вытекает из глотки священной коровы, которую пасет на склонах великий Бхагиратха; это вода священной реки, которая именуется Гангой.* – Ганга – в индуистской мифологии небесная дева, дочь царя гор Химавата (см. примеч. 1), излившаяся на землю, олицетворение реки Ганг (Ганги). Согласно пуранам, вытекая из пальца Вишну, первоначально пребывала только на небе, но по просьбе царя Бхагиратхи боги позволили Ганге спуститься на землю, чтобы оросить прах предков царя – шестидесяти тысяч сыновей Сагары, которые иначе не смогли бы обрести посмертное блаженство. Главный исток реки, Бхагиратхи, находится в районе Гомукх (*санскр.* – букв.: морда коровы), нижней части ледника

Ганготри. В индуизме река Ганг считается священной, по индуистским представлениям, ее воды очищают от грехов, избавляют от болезней и даруют небесное блаженство тем, кто избирает их местом своего погребения. См. также примеч. 4 к гл. IV «Аватары».

[3] *Спустившись по ступеням мраморной лестницы Бенареса...* — Имеется в виду протяженный ансамбль высоких ступенчатых каменных спусков (гхатов) с площадками для религиозных омовений и кремации, расположенный на набережной Ганга в Бенаресе (см. примеч. 7 к гл. XVII «Фортунио»). Время постройки разных частей ансамбля различно: самая древняя лестница относится к XII в., наиболее новые — к XVIII в.

[4] *...Адама, что похоронен на острове Серендиб...* — Серендиб, или Сарандиб — одно из названий острова Цейлон (современная Шри-Ланка), встречающееся у арабских географов раннего Средневековья наряду с Табрубани и произошедшее, предположительно, от «Sinhaladvipa» (*санскр.* — остров сингальцев). Согласно одному из мусульманских преданий, после изгнания из рая Адама и Евы, а также Сатаны Адам был низвергнут на остров Цейлон и там «опустился на вершину горы Рахун, по мнению некоторых космографов, самую близкую к небу точку земли. Рассказывают, что на той вершине, именуемой с тех пор Пик Адама, сохранился отпечаток стопы Прародителя, длиной, по свидетельству знаменитого арабского путешественника Ибн-Баттуты (XIV в.), в одиннадцать пядей. Попав на землю, Адам очутился именно на Цейлоне, так как здешний мягкий климат похож на райский: ведь тот, кому суждено было стать отцом человечества и родоначальником пророков, не мог погибнуть ни от жары, ни от холода». По этой версии, останки Адама после долгих скитаний Прародителей по земле были захоронены «в Индостане — в пещере той самой горы, куда Адам низвергся с Неба» (*Ибрагим Т., Ефремова Н.* Мусульманская священная история. От Адама до Иисуса. М.: Ладомир, 1996. С. 33).

[5] *Дурга.* — См. примеч. 5 к гл. XII «Аватары».

[6] *...Нарасинха, человек-лев, раздирающий чрево Хираньякашипу.* — Нарасинха (*санскр.* — человек-лев) — в индуизме аватара (см. примеч. 42 к гл. IV «Аватары»), принятая Вишну, дабы уничтожить царя асуров Хираньяхашипу, который получил от Брахмы дар неуязвимости и благодаря последнему захватил власть над тремя мирами, подчинил себе богов и поселился во дворце Индры на небе.

[7] *Ричмонд* — город неподалеку от Лондона, расположенный выше по течению реки Темзы. В настоящее время — западное предместье столицы Великобритании.

[8] *...для сладострастия коттедж превращался в грот Калипсо, для злодеяний — в пещеру Кака.* — То есть с легкостью мог стать тайным убежищем влюбленных или смертельной ловушкой. Калипсо — в древнегреческой мифологии нимфа с острова Огигия, полюбившая Одиссея и семь лет удерживавшая его на своем острове. Согласно Гомеру, жилище Калипсо, в котором нимфа скрывала Одиссея, находилось в чудесном гроте, увитом виноградом (см.: Одиссея. V. 57–74). Как (Какус) — в древнеримской мифологии сын Вулкана, огнедышащий великан, опустошавший поля Эвандра. Обитал в пещере и нападал на путников, проходивших мимо его жилища. Был убит Геркулесом за то, что украл у него часть быков Гериона.

[9] *Гаррота* – орудие казни, применявшееся в Испании и Португалии. Изначально представляла собой накидывавшуюся на шею осужденного петлю с продетой в нее палкой; используя палку как рычаг, палач умерщвлял приговоренного посредством удушения. С течением времени гаррота превратилась в металлический обруч, стягиваемый винтом на шее преступника.

Глава XV

[1] *Галс* – курс судна относительно направления ветра, соответственно различают левый (судно обращено к ветру правым бортом) и правый (судно обращено к ветру правым бортом) галсы.

[2] *Солнце вставало и садилось; белые лошади трясли своими лохматыми гривами...* – В античной традиции Аполлон как бог солнечного света иногда изображался объезжающим небосвод на огненной колеснице, запряженной упряжкой белых коней. См. также примеч. 3 к гл. XX «Фортунио».

[3] *Баркарола* – песня венецианских гондольеров или произведение, написанное в подражание ей.

[4] *Мадейра* – здесь: самый крупный остров в группе одноименных вулканических островов в Атлантическом океане, расположенных вблизи северо-западного побережья Африки и принадлежащих Португалии с XV в.

[5] *Сепия* – здесь: светло-коричневая краска, изготовленная из чернильного мешка каракатицы.

[6] *Канары* (Канарские острова) – архипелаг вулканического происхождения в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки, принадлежащий Испании с XV в.

[7] *Острова Зеленого Мыса* (Кабо-Верде) – архипелаг в Атлантическом океане у западного побережья Африки, в первой пол. XIX в. являвшийся колонией Португалии.

[8] *Остров Вознесения* – вулканический остров в центральной части Атлантического океана. Оставался необитаемым вплоть до 1815 г., когда англичане установили на нем наблюдательный пост для предотвращения возможного бегства Наполеона Бонапарта с находящегося юго-восточнее острова Св. Елены (см. примеч. 11).

[9] *...пытка, подобная кавказскому распятию... колоссальный силуэт прикованного к скале Прометея.* – Прометей – персонаж древнегреческой мифологии, сын титана Иапета и океаниды Климены, похитивший у олимпийских богов огонь и передавший его людям, за что был жестоко наказан Зевсом. По приказу громовержца Прометей был прикован к скале и обречен на непрекращающиеся мучения: прилетавший каждый день орел расклевывал печень титана, которая за ночь вновь отрастала. Согласно одной из версий мифа, роковая скала находилась в отрогах Кавказского хребта (см., напр.: *Аполлодор.* Мифологическая библиотека. I. VII. 1; *Эсхил.* Прометей прикованный. Стасим I, ст. 422; эписодий III, ст. 719). Использованный Готье образ кавказского распятия (*фр.* croix du Caucase) восходит, по всей видимости, к выражению «crucibus Caucasorum» (*лат.*) раннехристианского богослова и писателя Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (ок. 160 – после 220), который сравнил страдания Прометея с крестными муками Иисуса Христа и назвал Спасителя истинным Прометеем (см.: Против Маркиона. I. I. 3–4; Апологетик. XVIII. 2).

[10] *...Прометей, которого, как в трагедии Эсхила, приковали к этой земле Власть и Сила.* — Аллюзия на трагедию Эсхила (ок. 525—456 до н. э.) «Прометей прикованный», открывающуюся появлением на сцене Гефеста и слуг Зевса, Силы и Власти, которые выводят приговоренного Прометея и приказывают божественному кузнецу приковать титана к скале (пролог, ст. 1—11).

[11] *Святая Елена* — остров вулканического происхождения в Атлантическом океане, принадлежащий Великобритании с 1659 г., в 1815—1821 гг. стал местом ссылки Наполеона Бонапарта. Опальный император содержался в поселке Лонгвуде на одноименной вилле, бывшей летней резиденцией генерал-губернатора острова, которая располагалась на горном плато к юго-востоку от Джеймстауна — главного населенного пункта и единственного порта острова. Дом и примыкающую к нему территорию окружала каменная стена протяженностью 6 км, а вокруг стены были расставлены часовые так, чтобы они могли видеть друг друга. На вершинах окрестных холмов размещались дозорные, сообщавшие сигнальными флажками о всех действиях Наполеона — британское правительство сделало все, чтобы побег свергнутого императора с острова стал немыслим. При этом пленнику разрешалось прогуливаться верхом или пешком без сопровождения британского офицера на прилегавшей к Лонгвуду территории, просматривавшейся с постов наблюдения охраны.

Глава XVI

[1] *Острова Тристан-да-Кунья* — группа из четырех островов в южной части Атлантического океана, расположенных к юго-востоку от острова Св. Елены и принадлежащих Великобритании с 1815 г.

[2] *Кванза* — река в Анголе, впадающая в Атлантический океан чуть севернее широты острова Св. Елены.

[3] *Манильская солома.* — См. примеч. 8 к гл. I «Милитоны».

[4] *Индигофера* — род кустарников и трав семейства бобовых, произрастающий в тропических и субтропических странах. Некоторые виды растения, особенно индигофера красильная (Indigofera tinctoria) и аниль (Indigofera anil), традиционно использовались для получения красителя индиго, ставшего значительным источником прибыли для Ост-Индской компании (см. примеч. 7 к гл. XII).

[5] *Челси* — исторический район Лондона, ранее — пригород столицы Великобритании. Один из самых дорогих фешенебельных районов города, в XIX в. был пристанищем литераторов и художников.

[6] *Тэмпл-Бар* — здесь: застава на западной границе лондонского Сити. До 1878 г. представляла собой каменные ворота, украшенные скульптурными изваяниями, с тремя пролетами и надстройкой.

[7] *...в руках или на... шляпке должен быть букетик фиалок...* — По легенде, бонапартисты выбрали своей эмблемой фиалку, любимый цветок первой супруги Наполеона Бонапарта — Жозефины Богарне (1763—1814), после того как опальный император, отправляясь в ссылку на остров Эльба (1814—1815 гг.), пообещал, что вернется с первыми фиалками. По иронии судьбы, Наполеон бежал из ссылки 20 марта 1815 г., когда начали распускаться эти весенние цветы, и народ встречал его с фиалками на шляпах и в руках. Ср. прозвище Наполеона среди бонапартистов «Капрал-Фиалка», «отец фиалок».

Глава XVII

[1] *Аурангабад* — город в Индии, находящийся у истоков реки Годавари (см. примеч. 2), столица Империи Великих Моголов при Аурангзебе (см. примеч. 17 к гл. XII).

[2] *Годавари* — одна из священных рек Индии, пересекающая полуостров Индостан с запада на восток и впадающая в Бенгальский залив. У истоков этой реки находится город Аурангабад (см. примеч. 1).

[3] *Махиша* — в индуизме могучий демон (асур) в облике буйвола, победивший Индру и прогнавший богов с неба. Чтобы одолеть Махишу, боги создали из пламени собственного гнева и своей энергии (шакти) грозную богиню Дургу, сразившую демона-буйвола.

[4] *Мана-Пралая.* — В оригинале «Mana-Pralaya» — вероятно, искаженная форма написания слова «mahâ-pralaya» (*санскр.* — великое разрушение), одного из центральных понятий индуистского учения об устройстве вселенной. Индийская космология насчитывает четыре периода (юги) мировой истории: крита-югу (или «золотой век»), которая именуется также сатья-юга («благой век», «век истины») и длится 1 728 000 земных лет, трета-югу (1 296 000 лет), двапара-югу (864 000 лет) и кали-югу (432 000 лет). Все вместе они (в соотношении 4:3:2:1) составляют одну великую югу — махаюгу. В свою очередь, десять махаюг составляют одну калпу, или «день Брахмы», вслед за которой следуют гибель мира (пралая), затем «ночь Брахмы», равная по продолжительности дню, а затем новая калпа. По истечении махакалпы, равной ста божественным годам, каждый из которых насчитывает 12 месяцев по 30 суток (сменяющих друг друга «дней» и «ночей»), наступает полное разрушение Вселенной (махапралая) со смертью Брахмы. По прошествии ста божественных лет хаоса рождается новый Брахма и начинается новый цикл калп. Сведений, подтверждающих, что махапралая изображается в индуизме в виде чудовища, пожирающего город, найти не удалось.

[5] *Ардханари* — в индуизме одна из ипостасей Шивы, представляющая бога в едином образе с его супругой Парвати. Изображается в виде андрогинного существа, полумужчины-полуженщины.

[6] *Маха-Кали* (Кали) — в индуизме и брахманизме темная яростная ипостась Деви, или Дурги, супруги Шивы, олицетворение грозного, губительного аспекта шакти Шивы. Согласно индуистской эсхатологии воплощает представление о ночи гибели вселенной в конце мирового периода. Обычно изображается в виде женщины с черной или темно-синей кожей, широко разинутым ртом, из которого свисает окрашенный кровью ее жертв язык, и четырьмя руками, держащими отрубленные головы, меч и жертвенный нож кхадгу; как правило, одета в шкуру пантеры и ожерелье из черепов.

[7] *Трипурасура* — в индуизме имя демона (асура) Баны, вступившего в борьбу с богами и уничтоженного Шивой.

[8] *Гаруда* — в древнеиндийской мифологии царь птиц, вахана Вишну, олицетворение солнечного жара, борец со змеями-нагами. Изображался в виде существа с человеческим туловищем и орлиной головой, крыльями, когтями и клювом.

[9] *Васантасена.* — См. примеч. 7 к гл. XXVI «Фортунио».

[10] *Магаратты* — устаревшее европейское обозначение маратхов (самоназвание маратха — букв.: великие воины) — народа, населяющего запад полуострова Ин-

достан (современный штат Махараштра). Маратхи вели упорную борьбу против английского господства в Индии в кон. XVIII — нач. XIX в., однако потерпели окончательное поражение в 1843 г.

[11] *Праджати.* — Очевидно, Готье имел в виду праджапати, подразумевая в данном случае «владык сущего» — мудрецов-прародителей человечества, которых создал Брахма (см. примеч. 12) после сотворения Вселенной (см., напр.: Махабхарата. X. 17).

[12] *Брахма* — в индуизме первый из трех верховных божеств, создатель вселенной и всего живого.

[13] *Бхарата* — здесь: царь Лунной династии, сын Духшанты и Шакунталы (см. примеч. 5 к гл. XIII), прославившийся как «властитель мира» (чакравартин). К нему возводят царский род бхаратов, к которому принадлежали герои «Махабхараты» кауравы и пандавы.

[14] *Пураны* — памятники древнеиндийской литературы, священные книги индуизма. Древнейшие из сохранившихся пуран восходят к сер. 1-го тыс. до н. э., однако основные дошедшие до нас тексты возникли преимущественно во второй пол. 1-го тыс. По содержанию и форме пураны близки древнеиндийскому эпосу и излагают космогонические легенды, мифы о происхождении богов, мудрецов, героев и легендарных династий. В них приводятся также рассуждения религиозно-философского характера и некоторые сведения по различным отраслям практических знаний: праву, политике, астрономии и т. п.

[15] *Адити* — в древнеиндийской мифологии женское божество, супруга божественного мудреца Кашьяны (см. примеч. 16), мать богов адитьев.

[16] *Кашьяпа* — в ведической и индуистской мифологии божественный мудрец, которому приписывалось участие в творении мира.

[17] *Панчатвам* — в индуизме смерть (всего иллюзорного) как растворение в пяти стихиях.

[18] *Мукти* (санскр. — освобождение, избавление) — в индуизме предельная, окончательная цель стремлений индивидуума, мыслимая как избавление от всякой изменчивости, круговорота перерождений и смертей (сансары), страданий, а также превратностей и ограничений материального существования.

[19] *Спортсмен.* — В оригинале использовано заимствованное из английского языка слово «sportsman», которое в XIX в. обозначало любителя верховой езды, наездника.

[20] *...перенесся во времена Дария и Александра.* — Имеется в виду битва при Иссе (333 до н. э.) между войсками Дария III (381—330 до н. э., царь государства Ахеменидов с 336 г. до н. э.) и Александра Македонского, которая закончилась сокрушительным поражением первого.

[21] *Ганеша* — в индуистской мифологии сын Шивы, владыка божеств, составляющих свиту Шивы, почитается как бог мудрости и устранитель препятствий. Ганеша изображается с человеческим туловищем красного или желтого цвета, большим шарообразным животом, четырьмя руками и слоновьей головой, из пасти которой торчит лишь один бивень.

[22] *Сипаи* — в колониальной Индии наемные солдаты, вербовавшиеся из местного населения в армии европейских колонизаторов, чаще всего британских.

[23] *Куша* (также дарбха) — в индуизме священная трава с длинными игольчатыми стеблями (Poa cynosuroides, или Cynodon dactylon) рода мятлик, которая использовалась во время жертвоприношений и других религиозных церемоний, а также для амулетов и оберегов, призванных защищать от всевозможных бед и прегрешений и ограждать от ритуальной нечистоты.

[24] *«Ом»* — священный, или «вечный» слог в индуизме и буддизме, начинающий и завершающий религиозные ритуалы, чтение молитв, а также тексты религиозного содержания. Изначально, в ведическом ритуале, одно из главных возглашений, приносящее благо. Стал предметом метафизического и мистического осмысления уже в прозаических частях Вед, особенно в Упанишадах, и превратился в глубочайший символ абсолюта, вселенской целости, непрерывности, в символ Атмана и Брахмана и главную мантру (священную формулу, обладающую мистической и духовной силой). Ом — источник всех звуков и сущность Вед. В «Мандукья-упанишаде» толкуется как прошлое, настоящее и будущее; три состояния сознания — явь, греза и сон и проч.; символика слога неисчерпаема. Ом произносится также в начале и конце значимых дел для успешности начинания.

[25] *Неджджский скакун...* — Имеется в виду порода лошадей, выведенная в Аравии (в провинции Неджд), путем скрещивания арабских лошадей с более высокорослыми персидскими и туркменскими жеребцами. Бедуины начали поставлять неджджских коней в Индию, выдавая за чистокровных арабских скакунов, для кавалерии Ост-Индской компании еще в кон. XVIII в.

Глава XVIII

[1] *Субмарина.* — В оригинале использовано прилагательное женского рода «sous-marine» (*фр.* — подводная [лодка]). Готье единожды употребляет это слово в тексте при описании сконструированного персонажами повести судна. Данное прилагательное крайне редко использовалось в конце 40-х годов XIX в., хотя к тому времени уже существовали действующие образцы субмарин. В частности, в 1800 г. американский инженер Роберт Фултон (1765—1815) представил Наполеону Бонапарту практическую модель своей первой подводной лодки «Наутилус», чрезвычайно похожей на ту, что описана в повести Готье. Фултон предлагал свои проекты флотам Франции и Великобритании, однако лодки не были приняты на вооружение, и конструктор с 1806 г. посвятил дальнейшую деятельность строительству пароходов. Опередившие свое время проекты не были востребованы и пребывали в забвении до начала 60-х годов XIX в., когда работы по созданию субмарин возобновились, а во французском языке за подводными судами прочно закрепилось слово мужского рода — «sous-marin».

[2] *Хадсон Лоу* (1769—1844) — английский генерал, губернатор острова Св. Елены с 1816 по 1821 г. Суровость его обхождения с опальным Наполеоном вызвала в свое время множество нареканий.

[3] *...три тысячи океанид оплакивали титана!* — Аллюзия на хор океанид (в древнегреческой мифологии морских нимф, дочерей титана Океана) в трагедии Эсхила «Прометей прикованный» (парод, ст. 128—136, 146—154, 163—171, 184—192; стасим I, ст. 405—440). Готье развивает здесь сравнение находящегося в изгнании Наполеона Бонапарта с прикованным к скале титаном (см. примеч. 10 к гл. XV).

[4] *Небо посылало знамения, точно в дни смерти Юлия Цезаря и Иисуса Христа.* – По свидетельствам современников, в июле 43 г. до н. э. во время игр, устроенных в память Гая Юлия Цезаря (100/102–44 до н. э.), в небе появилась комета, которая была воспринята римлянами как знак божественности убитого диктатора. Так, о яркой комете, вспыхнувшей в небе рядом с Большой Медведицей и в течение семи дней с 11 часов озарявшей небосвод, сообщает, к примеру, Плиний Старший (см.: Естественная история. II. XXIII. 93–94). О хвостатой звезде, что «сияла в небе семь ночей подряд, появляясь около одиннадцатого часа», пишет и Гай Светоний Транквилл, который упоминает также о недобрых предзнаменованиях накануне убийства диктатора, предвещавших скорую кончину Гая Юлия Цезаря (Жизнь двенадцати цезарей. I. 88, 81. *Пер. М.Л. Гаспарова*). Отголоски этих свидетельств можно найти, к примеру, в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1599; акт II, сц. 2). По преданию, смерть Иисуса Христа и Наполеона также сопровождалась необычными явлениями. Согласно Евангелию, кончина Спасителя на кресте была ознаменована солнечным затмением (см.: Мф. 27: 45; Мк. 15: 33; Лк. 23: 44–45), землетрясением (см.: Мф. 27: 51) и воскресением умерших (см.: Мф. 27: 52–53). Тогда как 5 мая 1821 г., в день смерти Наполеона, над островом Св. Елены разразилась страшная буря с грозой, а за три месяца до ухода из жизни опального императора в небе появилась комета, узнав о которой Наполеон воскликнул: «Комета возвестила смерть Цезаря и возвещает мою!» (*Anquetil N.P.* Histoire de France: En 6 vol. P.: Philippe, 1839. T. 6. P. 492; ср. также: *Маршан Л.-Ж.* Наполеон. Годы изгнания: Мемуары. М.: Захаров, 2003. С. 665).

[5] ...*«Лама́ савахфани́?»*... – «Для чего Ты Меня оставил?» (*арам.*). Согласно Евангелию, предсмертные слова распятого на кресте Иисуса Христа (Мф. 27: 46).

Глава XIX

[1] *Ланн* Жан, герцог де Монтебелло (1769–1809) – один из самых выдающихся маршалов Наполеона Бонапарта, легендарный полководец, с которым императора связывала дружба. Последние слова Ланна, смертельно раненного в сражении при Эсслинге (22 мая 1809 г.), были обращены к Наполеону: «Живите и спасите армию!» (*Марбо М.* Мемуары генерала барона де Марбо. М.: Эксмо, 2005. С. 308).

[2] *Дюрок* Жерар Кристоф Мишель, герцог фриульский (1772–1813) – французский генерал, гофмаршал при дворе Наполеона Бонапарта, один из самых близких советников и постоянный спутник будущего императора, начиная с итальянского похода 1796 г. 22 мая 1813 г. был смертельно ранен пушечным ядром, когда в составе свиты Наполеона наблюдал за арьергардным боем русско-прусской армии, отступавшей после Бауценского сражения.

[3] ...*проводил траурный кортеж до Долины гераней, куда стекает с пика Дианы любимый ручей императора... окруженный плакучими ивами, священные листья которых разбросало потом по всей вселенной.* – По свидетельству Л.-Ж. Маршана, камердинера Наполеона Бонапарта, последний отдал устное распоряжение своему адъютанту графу А.-Г. Бертрану (1773–1844), чтобы в случае, если после смерти ссыльного императора Великобритания воспротивится возвращению его тела во Францию, его предали земле в расположенной неподалеку от Хатсгейта (см. примеч. 4)

Долине гераней (см.: *Маршан Л.-Ж.* Наполеон. Годы изгнания. С. 709). Именно там под сенью трех плакучих ив, у источника, из которого брали питьевую воду жители Лонгвуда (см. примеч. 11 к гл. XV), опальный император был похоронен 9 мая 1821 г. В 1854 г. Франция выкупила у Великобритании Долину гераней вместе с Лонгвудом. В настоящее время рядом с бывшей могилой Наполеона (прах императора в 1840 г. был перезахоронен в Доме Инвалидов в Париже) растет береза, специально привезенная из Франции, а также кипарисы, оливковые деревья, араукарии и другие декоративные растения, поскольку три печально известные ивы погибли по вине туристов, ломавших ветви и срывавших кору деревьев на память.

[4] *Хатсгейт* — поселение в северо-западной части острова Св. Елены между Джеймстауном и Плантейшн-хаусом — резиденцией губернатора острова, Х. Лоу (см. премеч. 2 к гл. XVIII). В Хатсгейте располагался дом, где жил с супругой граф А.-Г. Бертран. Вилла Лонгвуд, в которой были размещены во время ссылки Наполеон и его свита, находилась восточнее поселения.

[5] *Тартюф.* — См. примеч. 8 к гл. X «Фортунио».

Глава XX

[1] *Саптапарна* — здесь: дерево семейства кутровых, альстония (Alstonia scholaris), лекарственное растение с мутовчатыми листьями, дающими густую тень.

[2] *Шудры* — низшая из четырех древнеиндийских варн (сословий), представители которой обязаны были служить более высоким варнам, не причиняя им никакого вреда. Согласно «Пуруша-сукте», варна шудр возникла из ног первочеловека Пуруши (см.: Ригведа. X. 90. 12), позднее ее происхождение стали связывать со ступнями Брахмы (см.: Законы Ману. I. 31)

[3] *Понтийские болота* — ранее обширная болотистая местность, простиравшаяся на юго-востоке от Рима вдоль побережья Тирренского моря. Вплоть до ее осушения в XX в. отличалась крайне нездоровым климатом. Еще древние римляне неоднократно безуспешно пытались осушить болота.

[4] *Тимон Афинский.* — См. примеч. 3 к гл. IX «Невинных распутников».

[5] *...похожее на туники Фидия...* — См. примеч. 15 к гл. II «Аватары».

Глава XXI

[1] *Велень* — здесь: плотная гладкая бумага высшего сорта, внешне похожая на одноименный сорт тонкого пергамента из телячьей кожи. Впервые веленевая бумага была изготовлена в Англии в 1757 г.

[2] *...могли похвастаться такими длинными списками блестящих побед, что впору позавидовать самому Дон-Жуану.* — См. примеч. 7 к гл. V «Спириты».

[3] *...освобождение Греции, в которой позднее Байрон... нашел свою смерть.* — В 1821 г. в Греции вспыхнуло народное восстание против гнета Османской империи. Желая помочь греческому народу обрести свободу, лорд Дж.-Г. Байрон летом 1823 г. отплыл в Грецию, где встал во главе разрозненных партизанских отрядов. Однако пребывание Байрона в Греции оказалось недолгим: в декабре 1823 г. его отряды осадили крепость Миссолонги. Вскоре поэт заболел лихорадкой и умер 19 апреля 1824 г. в военном лагере у стен крепости. Несколькими годами позднее Османская

империя предоставила автономию Греции по условиям Адрианопольского мирного договора с Россией после поражения в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг.

[4] *...бросали вызов небесам горстью пыли...* – Аллюзия на знаменитое высказывание О.-Г. Мирабо (1749–1791) из речи, произнесенной оратором 8 февраля 1789 г., после того как его исключили из собрания дворянства Прованса: «Когда последний Гракх умирал, сраженный ударами патрициев, перед своим последним вздохом он бросил к небу горсть пыли, призывая богов-мстителей; из этой пыли родился Марий, который велик не столько тем, что истребил кимвров, сколько тем, что навеки сломил заносчивость римской аристократии» (цит. по: *Aulard F.A.* Les grands orateurs de la Révolution: Mirabeau, Vergniaud, Danton, Robespierre. P.: BiblioBazaar, 2007. P. 27).

[5] *...подобно Ксерксу, охотно высекли бы море.* – Ксеркс I (ум. 465 г. до н. э.) – царь державы Ахеменидов с 486 г. до н. э., сын Дария I. Согласно легенде, приказал высечь море и закинуть в него цепи, когда во время похода персов на Грецию разгулявшийся шторм разрушил наведенные мосты через Геллеспонт (современный пролив Дарданеллы).

[6] *Священные Фемы* – тайное судебное общество, возникшее в Вестфалии в XIII в. и вершившее суд и жестокое возмездие за преступления самого разного рода; прекратило свое существование в XVI в.

[7] *...дворце, построенном в эпоху рыцарей...* – То есть в период с 1309 по 1522 г., когда Родос находился под властью рыцарей иерусалимского ордена Святого Иоанна, которые наряду с укреплением фортификационных сооружений острова (яркий пример тому – Родосская крепость, одна из самых неприступных цитаделей своего времени) способствовали также возведению дворцов и храмов, большей частью сохранившихся до наших дней.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПЬЕРА ЖЮЛЯ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ (1811–1872)

1811
30 августа — Родился в г. Тарбе. Отец – Пьер-Жан Готье, родом из Авиньона, 1778 г. рождения, служащий налоговой инспекции. Мать – Аделаида-Антуанетта Кокар, родом из г. Мопертуи, 1773 г. рождения. Родители Теофиля поженились в декабре 1810 г., молодая семья жила на улице Бур-Вьё.

1814–1822 — Семья переезжает в Париж, на улицу Вьей-дю-Тампль, 130. 14 января 1817 г. у них родилась дочь Эмилия, а 12 марта 1820 г. – дочь Зоя. Сестры Готье остались незамужними, писатель всю жизнь содержал их.

Теофиль научился читать, по его словам, в пять лет. Его любимыми книгами стали «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Поль и Виргиния» Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера. В это время он читает также «Дон-Кихота» Сервантеса, «Влюбленного дьявола» Казотта; учит с отцом латынь и начинает рисовать.

1822
9 января — Поступает в интернат коллежа Людовика Великого.

23 апреля — Покидает коллеж Людовика Великого, не сумев приспособиться к жизни в интернате.

1822–1828 — Родители отдают его в коллеж Карла Великого в качестве вольного экстерна, а сами переезжают поближе к коллежу на улицу Пар-Рояль, 4. В коллеже у Готье завязываются дружеские отношения, которые он будет поддерживать всю жизнь. Его друзьями становятся Огюст Маке, будущий соавтор Александра Дюма, Эжен де Нюлли, которому Готье посвятит поэму из своего первого сборника, и Жерар Лабрюни – будущий поэт Жерар де Нерваль, который (он старше Готье на три года) окажет значительное влияние на своего младшего товарища и, в частности, введет его в мир немецкой литературы.

В эти годы Теофиль занимается рисунком и живописью, начинает сочинять стихи.

Лето дети Пьера Готье проводят в Мопертуи, в замке д'Артаньян, где их дед служит управляющим.

1829 Параллельно с обучением в коллеже посещает находящуюся неподалеку студию живописи художника Риу. В июле заканчивает коллеж.

лето Пишет для церкви города Мопертуи картину «Святой Петр, исцеляющий расслабленного». 27 июня Нерваль знакомит его с Виктором Гюго.

сентябрь Заканчивается обучение Готье в коллеже Карла Великого.

октябрь Присутствует на премьере «Венецианского мавра» Альфреда де Виньи.

В этом году начинается его первая из известных связей — с г-жой Дамарен. Эта связь продлится (с перерывами) почти двенадцать лет. Готье подарит г-же Дамарен свою картину и альбом своих стихов с собственными иллюстрациями.

1830 Нерваль включает Готье в группу молодых людей, которые
февраль должны поддержать пьесу Гюго «Эрнани» во время премьеры.

25 февраля Состоялась первая битва за «Эрнани», на которую Готье явился в специально сшитом красном жилете (см. ил. 3, 6). Он присутствовал на сорока спектаклях.

Семья Готье переезжает на Королевскую площадь (ныне — площадь Вогезов), 8.

Июльская революция разоряет отца Готье.

28 июля В продажу поступает сборник «Стихотворения», напечатанный в типографии Рину за счет отца. Но в эти беспокойные дни книга проходит почти не замеченной.

В этом же году Готье знакомится с нежной и умной девушкой Эжени Фор, которая в 1836 г. станет его любовницей.

В конце года «Малый Сенакль» — кружок поэтов и художников-романтиков — обосновывается в мастерской Жеана Дюсеньора. Об этом периоде жизни Готье расскажет позднее в своей незаконченной «Истории романтизма».

1831 В журнале «Гастроном, всеобщий журнал хорошего вкуса» (Le
24 марта Gastronome, journal universel du goût) опубликована без указания имени автора новелла «Один обед в египетской пустыне», которая приписывается Готье.

4 мая В журнале «Читальный зал» (Le Cabinet de lecture) опубликована новелла «Кофейник, фантастическая сказка».

8 октября Выходит первая статья Готье, посвященная изящным искусствам, «Искусство. Бюст Виктора Гюго» (в журнале «Меркурий XIX века» (Le Mercure du XIX siècle)).

1832 Готье освобождается от призыва на военную службу из-за перелома левой руки.

август В журнале «Литературная Франция» (La France Littéraire) опубликована новелла «Онуфриус».

октябрь Семья Гюго переезжает на Королевскую площадь, 6. Гюго принимает Готье у себя как ученика и друга. В конце месяца публикует новеллу «Альбертус, или Душа и Грех, теологическая легенда».

22 ноября Премьера драмы Гюго «Король забавляется», для которой Готье собирает сторонников, не сумевших помешать провалу пьесы. Затем запрет спектакля.

1833 В начале года распадается «Малый Сенакль».

март В журнале «Литературная Франция» появляется первый отчет Готье о ежегодной художественной выставке «Салон». Отныне он будет писать эти отчеты ежегодно (кроме 1835, 1841, 1843 и 1859 гг.) до конца своей жизни.

август Сборник новелл «Молодые французы, насмешливые повести» (изд-во «Renduel»).

сентябрь Подписывает с издательством «Renduel» договор на роман «Мадемуазель де Мопен».

6 ноября Премьера драмы Гюго «Мария Тюдор», на которую Готье снова надевает свой знаменитый вишневый жилет.

декабрь Первого декабря подписывает договор с директором «Литературной Франции» на серию статей о старых и малоизвестных французских писателях и поэтах. Девять статей появятся в печати с января 1834 г. по сентябрь 1835 г. В 1844 г. они выйдут в одном томе под названием «Гротески».

Публикуются новеллы «Которая из двух, история одного затруднения» (в сборнике «Селам, избранные отрывки»), «Соловьиное гнездышко» (в сборнике «Амулет»).

1834 Отец Готье назначается сборщиком налогов в Пасси (пригород
октябрь Парижа), родители перебираются туда, а Готье снимает две маленькие комнатки по соседству с Жераром де Нервалем в тупике Дуайене, рядом с Лувром.

февраль Публикация новеллы «Омфаль» в еженедельнике «Журналь де жан дю монд» (Le Journal des Gens du Monde).

1835 Улица Дуайене становится местом встреч и развлечений для молодых художников, поэтов и их друзей.

ноябрь В продажу поступает первый том «Мадемуазель де Мопен».

1836
январь — В продажу поступает второй том «Мадемуазель де Мопен». Роман вызвал возмущение критиков, терпит коммерческий провал, только несколько голосов звучит в его защиту, в том числе голоса Бальзака и Гюго.

Готье и его возлюбленная по имени Викторина позируют художнику Луи Буланже для его монументальной картины «Триумф Петрарки». В 1838 г. Готье напишет поэму под тем же названием и посвятит ее Буланже.

февраль — Эжени Фор становится любовницей Готье. Их любовь перерастет в дружбу, которую прервет только смерть.

2 марта — Появляется первый номер «Ариэля, газеты для щеголей», выходившей раз в две недели. Газета основана Готье и Шарлем Ласайи (1806–1843) и будет выходить до 7 мая.

июнь — В «Парижской хронике» (Chronique de Paris) опубликована новелла «Мертвая возлюбленная».

июль — Готье и Нерваль отправляются в путешествие по Бельгии.

август — Публикация статьи о переводах сказок Гофмана в «Парижской хронике».

В недавно основанной газете «Пресс» (La Presse) появляется первая статья Готье, посвященная живописным полотнам, вывешенным в Палате депутатов. Его сотрудничество с этой газетой продлится до апреля 1855 г.; всего будет опубликовано около 1200 его статей и новелл.

Вместе с Нервалем и Уссэем переезжает на улицу Сен-Жермен-де Пре, 3.

30 августа Карлотта Гризи (см. ил. 17, 20–22), итальянская балерина, которую Готье будет любить всю свою жизнь, первый раз выступает в Парижской опере.

сентябрь–декабрь — Публикует в «Парижской хронике» шесть статей под названием «Бельгийский тур».

сентябрь–октябрь — Публикация «Монографии парижского буржуа» в «Журнале XIX века» (La Revue du XIX siècle).

Первого октября в «Фигаро» (Le Figaro) появляется статья «О физиологии актеров», которую специалисты приписывают Готье и которая явилась первой из серии статей, опубликованных Готье в этой газете. Он сотрудничает с «Фигаро» до мая 1838 г., в октябре 1837 г. станет членом ее редакции.

Готье с Викториной переезжают на улицу Наварен, 5.

16 октября в «Фигаро» публикуется новелла «Собачий рай».

29 ноября — Родился Шарль Мари Теофиль, сын Теофиля Готье и Эжени Фор.

Брат Эжени вызывает Готье на дуэль, которая будет отменена после того, как Готье признает сына. Позднее Готье будет сожалеть, что отказался тогда жениться на Эжени.

19–24 декабря — В «Фигаро» публикуется новелла «Маленькая собачка маркизы».

За весь год Готье опубликовал около двадцати четырех статей.

1837

1 марта — Открытие художественной выставки, статьи о которой Готье публикует в «Пресс» до 1 мая.

Готье и Викторина переезжают из дома № 2 по улице Наварен в дом № 27.

май–июль — В «Парижской хронике» опубликована новелла «Золотая цепь, или Подаренный любовник» (28 мая и 11 июня).

«Фигаро» публикует повесть «Эльдорадо» (в 1838 г. Готье изменит название повести на «Фортунио»).

В «Пресс» публикуется первая статья Готье как театрального критика, под названием «Королевская академия музыки».

1838

февраль — Выходит сборник стихотворений «Комедия смерти» (изд-во «Desessart»). В мае отдельным изданием выходит «Фортунио».

май–июнь — Работа над либретто к балету и новеллой, посвященными Клеопатре. Музыку к балету писал Ксавье Буасело, балет был принят Оперой, но так никогда и не был поставлен. Рукопись либретто была утеряна.

Девятого июня в «Пресс » выходит первая статья из серии «Путешествия без границ». Статьи этой серии в 1845 г. будут выпущены в сборнике «Зигзаги», а в 1852 г. – в сборнике «Капризы и зигзаги».

27 сентября — В «Пресс» публикуется новелла «Трубка опиума».

ноябрь–декабрь — В «Пресс» публикуется новелла «Ночь, дарованная Клеопатрой».

В конце года в «Галерее печати, литературы и изящных искусств» (La Galerie de la presse, de la littérature et des beaux-arts) появляется биографическая заметка о Готье, написанная романистом и драматургом Огюстом Маке (1813–1888).

1839

январь — Становится главным редактором фельетонов в «Пресс». Публикует новеллу «Слеза дьявола» (изд-во «Desessart»).

март–апрель — Пишет слова к оратории Дж. Мейербера (1791–1864) «Иисус», посвященной Иисусу Навину.

август — В «Пресс» опубликована новелла «Золотое руно»; в «Карикатюр» (La Caricature) – «Портрет госпожи Жабюло, комические сцены».

начало октября — Оставляет Викторину и переезжает в дом № 14 по улице Наварен.

ноябрь — «Пресс» публикует новеллу «Душа дома».

Восьмого ноября Готье записывают в Национальную гвардию.

1840

5 мая — Вместе с другом Эженом Пьо отправляется в Испанию, откуда возвращается 9 октября. В это время в «Пресс» публикуется 12 статей Готье, посвященных Испании. В 1843 г. они будут выпущены в сборнике «Tra los montes», а в 1845 г. превратятся в книгу «Путешествие в Испанию».

Как результат этого путешествия, через пять лет появится стихотворный сборник «Испания» («España»).

июль — В журнале «Мюзе де фамий» (Le Musée des Familles) публикуется новелла «Двойственный рыцарь».

сентябрь — Там же печатается новелла «Ножка мумии».

1841

7 марта — Пишет восторженную статью о танце Карлотты Гризи в опере Доницетти «Фаворитка». Это восторг новой любви, которая не всегда была платонической, особенно в тот период, когда Карлотта нуждалась в поддержке со стороны критики.

28 июня — Премьера балета «Жизель» на музыку Адольфа Адана (1803–1856), либретто которой Готье написал специально для Карлотты. См. ил. 20.

июль — «Мюзе де фамий» публикует новеллу «Два актера на одну роль».

ноябрь — Назначан секретарем комиссии по оценке проектов гробницы Наполеона.

конец года — В «Галерее драматических актеров Парижа» публикует статью «Госпожа Карлотта Гризи (в "Жизели")». Балет принес Готье как автору либретто 982,28 франка в этом году, а за все ее представления он получил до конца своей жизни 3773,26 франка. Таким образом, либретто представляли собой существенный источник доходов, в связи с чем Готье позднее пишет и другие либретто.

1842

17 января — За работу в комиссии по гробнице Наполеона Готье присвоено звание рыцаря Королевского ордена Почетного легиона. Газеты упрекают правительство за то, что Готье получил это звание не как писатель, а как чиновник.

март — Шестого марта сопровождает Карлотту Гризи и ее хореографа Жюля Перро на премьеру «Жизели» в лондонском театре «Ковент Гарден».

Из Лондона Готье едет в Бельгию, где два дня гостит в Генте у певицы Эммы Карл. Там он знакомится с ее сестрой Нарсис Одоиль, с которой вступает в романтическую связь. Эта связь, видимо, будет длиться почти весь 1843 г.

май — Карлотта Гризи возвращается в Париж к своей матери и сестре Эрнесте. Она танцует в балете «Красавица из Гента» (музыка А. Адана, либретто Ж.-А. Сен-Жоржа (1799–1875)). Готье становится завсегдатаем Оперы, за что подвергается всеобщим насмешкам.

август — Публикует в «Мюзе де фамий» новеллу «Тысяча вторая ночь».

1843
январь — Работает над новым балетным либретто «Пери».

февраль — Печатает новеллу «Ночной визит» в газете «Осы» (Les Guêpes).

17 июля — Премьера балета «Пери» с Карлоттой Гризи в главной партии. Балет имел большой успех и у зрителей, и у критики. В тот же день было опубликовано либретто. См. ил. 22.

лето — Готье живет на широкую ногу, катает Карлотту на собственном фаэтоне, заводит двух пони и слугу.

21 сентября — Премьера в театре «Одеон» водевиля «Путешествие в Испанию», написанного в соавторстве с Полем Сироденом (1814–1883) ради денег.

ноябрь — Первого ноября по дороге в Лондон останавливается в Руане у сестры Карлотты, оперной певицы Эрнесты Гризи (см. ил. 18). Он увозит Эрнесту с собой, и так начинается связь, которая продлится до 1866 г.

1844
май — В начале мая Готье с Эрнестой переезжают из Парижа в Отёй, где писатель снял дом, в котором они проживут до октября.

В «Мюзе де фамий» печатает новеллу «Пастух».

июнь — Поездка в Гасконь.

октябрь — Печатает в «Пресс» повесть «Царь Кандавл».

Публикует сборник «Гротески» (изд-во «Desessart»). См. год 1833.

В коллективном сборнике «Дьявол в Париже» (изд. П.-Ж. Этцель) опубликована новелла «Листки из дневника художника-недоучки».

1845
7 апреля — Премьера спектакля «Очарованная треуголка, одноактная комедия в стихах» (текст пьесы опубликован в «Пресс» от 12–13 апреля).

22 апреля — Подписывает с издательством «Delavigne» договор на роман «Старец с горы», который обязуется представить в течение года. В обмен на это «Delavigne» уступает издательству «Charpentier» права на переиздание «Tra los Montes», «Слезы дьявола» и «Комедии смерти». «Старец с горы» не был написан.

июнь — В «Мюзе де фамий» печатается новелла «Подушка юной девушки». В соавторстве с Дельфиной де Жирарден, Жюлем Сандо и Жозефом Мери работает над эпистолярным романом «Круа де Берни».

Вместе с Ноэлем Парфе 3 июня выезжает в путешествие по Алжиру, из которого вернется в Париж 7 сентября.

Издательство «Charpentier» выпускает сборник «Все стихотворения» (Poésies Complètes) и сборник новелл (5 июня).

июль—август — «Пресс» (9 июля—19 августа) публикует «Круа де Берни, роман с препятствиями» (Дельфина де Жирарден выступает под псевдонимом виконта Шарля де Лонея).

Рождение дочери Теофиля Готье и Эрнесты Гризи — Жюдит (25 августа).

ноябрь — Курение гашиша в отеле Пимодан (3 ноября) вместе с доктором Моро, психоневрологом, интересующимся влиянием наркотиков на психику.

Выходит в свет сборник «Зигзаги», в котором объединены статьи о путешествиях 1832—1840 гг. (29 ноября).

22 декабря — Второй сеанс курения гашиша, на котором присутствуют также Бальзак и, предположительно, Бодлер.

1846

1 января — «Новогодний альманах» публикует анонс о выходе в январе «Живописного путешествия по Алжиру: Алжир, Оран, Константинополь, Кабилия». Готье подготовил эти заметки, но при его жизни они так и не были опубликованы.

1 февраля — «Обозрение Старого и Нового Света» (La Revue de Deux Mondes) публикует новеллу «Клуб гашишистов».

1 марта — Новый опыт с гашишем.

«Обозрение Старого и Нового Света» публикует «Лжеобращение, одноактная пьеса-поговорка». При жизни Готье она не была поставлена, лишь в 1899 г. дочь Готье Жюдит выступит с ней в театре «Одеон», но без особого успеха.

19—30 мая — «Пресс» публикует повесть-пародию «Невинные распутники».

июнь—июль — Выезжает из Парижа на открытие Северной железной дороги (14 июня). Затем едет в Германию, Голландию и Англию, откуда возвращается 11—12 июля.

сентябрь	Снимает квартиру у Арсена Уссея на улице Лорда Байрона, 18.
	«Мюзе де фамий» публикует новеллу «Павильон на воде». Вместе с Ватри выезжает в Испанию, чтобы присутствовать на двойном бракосочетании испанской королевы и испанской инфанты. 26 сентября возвращается в Париж.
12 ноября	Премьера в театре «Порт-Сен-Мартен» «Еврейки из Константинополя, анекдотической драмы в пяти актах и шести картинах», написанной в соавторстве с Ноэлем Парфе (1814–1896). Эта мелодрама была навеяна путешествием в Алжир.
1847 январь	В «Пресс» опубликована повесть «Милитона».
сентябрь	Печатает статью «О прекрасном в искусстве» в «Обозрении Старого и Нового Света» (1 сентября).
	Присутствует на сеансе магнетизма у госпожи де Жирарден (6 сентября), о котором на следующий же день пишет статью в «Пресс».
октябрь	Премьера в театре «Водевиль» пьесы «Посмертный Пьеро, арлекинада», написанной в соавторстве с Полем Сироденом (4 октября).
	Премьера в театре «Одеон» пьесы «Смотрите, но не трогайте, комедия плаща и шпаги», написанной в соавторстве с Бернаром Лопесом (20 октября).
28 ноября	Рождение второй дочери Готье и Эрнесты – Эстеллы.
1848 февраль	Революция и провозглашение Второй республики (24–25 февраля). Готье разоряется; переезжает в маленькую квартирку на улице Ружемон, 14, и с головой уходит в поэзию. Сочиняет стихотворения, которые составят сборник «Эмали и камеи».
26 марта	Умирает мать Готье.
27 мая	Первое причастие сына Теофиля Готье и Эжени Фор – Теофиля Готье-младшего.
июль	Отец Готье уходит на пенсию (7 июля) и переселяется вместе с дочерьми в Монруж. Готье часто навещает их там.
6 августа	Подает заявку военному министру на аренду 99 га земли в Алжире, решив перебраться в колонию и уйти от всех финансовых проблем. Заявка осталась без ответа.
сентябрь–октябрь	«Пресс» публикует повесть «Две звезды», которая в 1851 г. выйдет отдельным изданием под названием «Двое на двое», а в 1865-м – под названием «Красотка Дженни».

ноябрь	Переезжает в отель «Пимодан», где поселяется в комнате, смежной с квартирой его друга художника Буассара де Буаденье (1816–1866), у которого проходили «опыты» с гашишем, а также ужины и музыкальные вечера, на которые его часто приглашали.
1849 26 мая – 11 июня	Вместе со своим другом художником Шарлем Ланделем (1821–1908) живет в Лондоне, встречает там Нерваля и знакомится с Марией Матеи. Проехав на обратном пути через Голландию и Германию, возвращается в Париж (21–22 июня).
20 августа – 14 сентября	Путешествие в Страну Басков.
октябрь	Журнал «Советчик для детей» (Conseiller des enfants) публикует новеллу «Дитя в башмаках из теста». Мария Матеи становится любовницей Готье. Первая встреча Готье и Флобера (28 октября).
1850 март	Публикация либретто хоровой оды «Селам (сцены из восточной жизни), описательная симфония» (23 марта) на музыку Эрнеста Рейера (1823–1909). Первое исполнение в театре Итальянской оперы.
9–26 июля	«Пресс» публикует повесть «Жан и Жанетта, история в стиле рококо».
3 августа – 19 ноября	Вместе с юристом и политическим деятелем Луи-Мари Кормененом (1788–1868) путешествует по Италии. Посылает в «Пресс» статьи, посвященные этому путешествию. Готье посещает Венецию, Рим, Флоренцию и Неаполь, откуда его высылают 4 ноября за «красные» убеждения.
1851 15 января	В Опере состоялась премьера балета «Маргаритка», либретто Готье и А. Сен-Леона (1821–1870), музыка Ф. Бенуа (1794–1878).
18–25 августа	Посещает Всемирную выставку в Лондоне.
15 сентября	Становится совладельцем нового журнала «Парижское обозрение» (La Revue de Paris).
4 октября	Крещение дочерей Готье. Крестными родителями Жюдит были писатель, один из основателей «Парижского обозрения» М. дю Кан (1822–1894) и Карлотта Гризи, Эстеллы – Л.-М. Корменен и актриса Алиса Озн (1820–1893).
1852 январь–март	В «Пэи» (Le Pays) публикуется продолжение «Путешествия в Италию». В 1875 г. эти статьи вместе с теми, что были ранее опубликованы в «Пресс», будут выпущены отдельным изданием. «Парижское обозрение» публикует новеллу «Ария Марцелла, воспоминания о Помпеях» (1 марта).

15 мая	Выходит в свет сборник стихотворений «Италия».
22 июня	Приезжает в Константинополь, оттуда возвращается, посетив Афины, Корфу, Триест и Венецию.
17 июля	Выходит в свет сборник «Эмали и камеи».
октябрь	«Пресс» публикует путевые заметки «Из Парижа в Константинополь, летняя поездка» (1–18 октября). Газета «Монитёр универсель» (Le Moniteur universel) печатает три очерка «Экскурсия в Грецию». Выходит в свет трехтомный сборник новелл и статей «Тигровая шкура» (изд-во «Souverin»).
ноябрь	Издатель Виктор Леку выпускает «Трио романов», в который входят «Милитона», «Жан и Жанетта», «Ария Марцелла».
8 декабря	Мария Матеи порывает с Готье, они остаются друзьями.
1853	Пишет либретто балета-пантомимы «Влюбленная статуя», которое будет опубликовано только в 1879 г. Работает над путевыми заметками «Константинополь».
1854 апрель–май	«Монитёр универсель» публикует три очерка из серии «Экскурсия в Грецию».
31 мая	Премьера балета «Гемма» (либретто Готье, музыка итальянского композитора Н. Габриэлли (1814–1891), хореография балерины Ф. Черитто (1817–1909)). Критика встретила балет недоброжелательно, и в итоге он потерпел провал.
июль	Путешествие в Германию (Мюнхен, Нюрнберг, Франкфурт).
22 августа	Смерть отца Готье.
1855 30 января	Похороны Нерваля, который покончил с собой в ночь с 25 на 26 января. «Пресс» печатает некролог, написанный Готье.
март–декабрь	Публикует в «Монитёр универсель» очерки, посвященные Всемирной выставке.
4 апреля	Публикует в «Пресс» свою последнюю критическую статью, посвященную театру (с 9 апреля сотрудничает только с «Монитёр универсель»).
24 декабря	Выставляет свою кандидатуру в Академию. 10 апреля за него будет подан один голос.
1856 март–апрель	«Монитёр универсель» публикует повесть «Аватара».
июнь–июль	Выходит в свет сборник статей разных лет «Современное искусство» (L'art modern. P.: Michel Lévy).

«Монитёр универсель» публикует повесть «Поль д'Аспремон» (отдельное издание выйдет через год под названием «Джеттатура» («Jettatura»)).

Выходит в свет «История драматического искусства Франции за последние двадцать пять лет» (изд-во «Hetzel et Lebègue»).

сентябрь — Поездка в Испанию.

1 декабря — Приступает к обязанностям главного редактора газеты «Артист» (L'Artiste), которые будет исполнять до февраля 1859 г.

1857 — В «Монитёр универсель» печатается «Роман о мумии».

март—май — В апреле переезжает вместе с Эрнестой и дочерьми в Нейи (см. ил. 23), куда его настойчиво приглашают в качестве соседа два директора «Монитёр универсель». Оставляет себе в Париже маленькую квартирку, где ночует после спектаклей.

Присутствует на отпевании Альфреда де Мюссе (4 мая).

6—15 июня — Гостит у Флобера.

сентябрь — Готье в Германии (Висбаден, Штуттарт).

1858

22 апреля — Премьера балета-пантомимы «Янко-бандит» на музыку Э. Дельдевеза (1817—1897) в театре «Порт-Сен-Мартен».

май—июнь — Путешествует по долине Рейна, Эльзасу, Швейцарии, Германии, Голландии и Бельгии, путевые заметки публикуются в «Монитёр универсель».

июль — 14 июля премьера в Парижской опере балета-пантомимы «Шакунтала» (либретто Готье, музыка Л.-Э.-Э. Рейера (1823—1909), хореография Л. Петипа (1815—1898)).

Готье присваивают звание офицера ордена Почетного легиона (30 июля).

Готье отдыхает в Бадене.

4 августа — Выезжает в Шербур на открытие новой акватории порта.

15 сентября — Выезжает в Россию, где пробудет до марта следующего года. Готье отправился в это путешествие с намерением написать работу о сокровищах русского искусства, куда должны были войти двести фотографий, сделанных фотографом А. Ришбуром. Работу курировал царь Александр II. Она не была завершена главным образом из-за недобросовестности голландского предпринимателя Каролуса ван Рая, который должен был финансировать этот проект. Для Готье это было выгодное предложение, все расходы оплачивались, и он получал 3000 франков независимо от результата. Кроме того, «Монитёр универсель» предоставил ему отпуск на полгода в обмен на путевые заметки. 11 октября была опубликована первая статья из серии, которая в 1867 г. превратится в книгу «Путешествие в Россию».

октябрь	С 15 октября работает в Санкт-Петербурге.
1859 февраль—март	В начале февраля посещает Москву, затем снова возвращается в Санкт-Петербург. 27 марта Готье возвращается в Париж. См. ил. 15.
май	Выходят пять выпусков из «Сокровищ русского искусства». Теофиль Готье-младший отправляется в Россию, чтобы попытаться уладить дело и организовать продолжение работы отца.
сентябрь	Поездка на родину, в Тарб.
1860 февраль—май	Статьи в «Монитёр универсель», посвященные произведениям современных художников, представленным на выставке в пользу Кассы взаимопомощи художников, скульпторов, архитекторов и рисовальщиков.
апрель	Покупает участок земли в Вилье-сюр-Марн, дабы впоследствии построить там «хижину» для Эрнесты.
август—сентябрь	Статьи по живописи XVIII в. в «Монитёр универсель».
25 ноября	Статья о книге Ж. де Нерваля «Путешествие на Восток» в «Ревю насьональ э этранжер» (Revue national et étrangère).
1861 27 мая	Наносит визит в Тюильри, где его принимает император, которому он дарит один из выпусков «Сокровищ русского искусства».
3 августа	Отправляется во второе путешествие по России в сопровождении сына и друга — Оливье де Гуржо.
9 августа	Прибывают в Санкт-Петербург.
15 августа	Готье как художника торжественно принимают в члены-корреспонденты Императорской академии искусств.
18—20 августа	Едет в Москву, а оттуда в Нижний Новгород.
28 августа	Возвращается на родину через Вену, где останавливается у Карлотты Гризи. Там у него начинается приступ ревматизма в колене, к нему приезжают Эрнеста, сын Теофиль и Жюдит.
25 декабря	В «Ревю насьональ э этранжер» начинается публикация романа «Капитан Фракасс».
1862 февраль	Организует выставку Национального общества изящных искусств.
апрель—июнь	В сопровождении Эрнесты и двух дочерей выезжает на Всемирную выставку в Лондоне. «Монитёр универсель» публикует его статьи о выставке.
7 августа	Выезжает в Алжир на открытие железнодорожной ветки Алжир — Блида.

31 августа	Семья Готье дает в Нейи спектакль по пьесе «Посмертный Пьеро».
15 ноября	Выходят в свет «Приключения барона Мюнхгаузена» в переводе Теофиля Готье-младшего с предисловием Теофиля Готье и иллюстрациями Гюстава Доре.
22 декабря	«Монитёр универсель» публикует статью Готье о повести Г. Флобера «Саламбо».
1863	
18 февраля	Получает приглашение от принцессы Матильды, хозяйки одного из знаменитейших салонов Парижа. За этим приглашением последуют и другие.
3 апреля	Флобер приглашает Готье для работы над либретто оперы «Саламбо», музыку к которой должен написать Д. Верди.
25 апреля	Государственный министр назначает Готье ежегодную пенсию в размере 3000 франков.
7–12 сентября	Гостит у Жорж Санд в Ноане.
7 ноября	Выходит первый тираж издания романа «Капитан Фракасс» (14 ноября – второй и третий тиражи).
30 ноября	Назначен членом Верховного совета по образованию в области изящных искусств.
1864	Поездка в Испанию.
13–30 августа	
сентябрь–октябрь	Гостит в Женеве у Карлотты Гризи. Их отношения перерастают в нежную дружбу.
декабрь	Карлотта гостит в Нейи.
1865	С февраля этого года у Готье начинаются почечные колики.
23 июля	Повторно приезжает к Карлотте Гризи в Женеву, где напишет повесть «Спирита».
6 октября	Снова заболевает и из-за свирепствующей в Париже холеры остается в Женеве до начала ноября.
17 ноября–6 декабря	Публикация повести «Спирита» в «Монитёр универсель». См. ил. 9.
1866	Снова выезжает в Женеву; везет с собой издание «Спириты»
26 февраля	со специально сделанным в типографии посвящением Карлотте Гризи.
март	Возвращается в Париж и порывает с Эрнестой, обвиняя ее в том, что она дала согласие на брак Жюдит с поэтом из группы «Парнас» Катюлем Мендесом (1841–1909), против которого сам Готье резко возражал. Поселяется в маленькой гостинице на улице Жакоб, неподалеку от редакции «Монитёр универсель».

1 апреля	«Обозрение XIX века» (La Revue du XIX siècle) публикует новеллу «Мадемуазель Дафна де Монбриан».
11 апреля	Выезжает в Женеву. Отказывается присутствовать на бракосочетании дочери (17 апреля).
14 апреля	Снова поселяется в Нейи вместе с дочерью Эстеллой.
1 мая	Эрнеста переезжает в домик, который Готье построил в Вильесюр-Марн.
30 мая—7 июня	Визит Карлотты Гризи в Париж.
17 сентября—2 октября	Гостит в Женеве у Карлотты Гризи.
31 октября	Вместе с Эстеллой едет в Женеву (вернется в Париж 15 ноября).
3 ноября	Выходит «Путешествие в Россию».
20—31 декабря	Снова находится в Женеве.
1867 24 апреля	Выставляет свою кандидатуру в Академию. На заседании 2 мая его снова не изберут в академики, хотя в этот раз он получит двенадцать голосов.
25 апреля—7 июня	Печатает в «Монитёр универсель» статьи о Всемирной выставке в Париже. Во время выставки вместе с братьями Гонкур присутствует при «распеленывании» мумии в павильоне Египта (27 мая).
26 августа—17 сентября	Находится в Женеве.
октябрь—ноябрь	В середине октября посещает места, связанные с именем Рабле. Затем, после недолгого пребывания в Женеве, вместе с сыном совершает поездку по Оверни (14—23 ноября).
23 декабря	Едет с дочерью на Рождество в Женеву.
1868 январь	Работает в Нейи, где все его общество составляет кошка Эпонина.
4 марта	Получает приглашение от принцессы Матильды на все воскресные вечера марта и апреля.
8 апреля	Выходит сборник статей о прогрессе в литературе и науке во Франции (Rapport sur le progrès des lettres: recueil de rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France / Par MM. Sylvestre de Sacy, Paul Féval, Théophile Gautier et Éd. Thierry); одна из статей «О прогрессе в поэзии» принадлежит перу Готье.
20 апреля	Приглашает Эжени Фор на ужин. Эти ужины по четвергам станут традицией.

	Готье плохо себя чувствует, переносит сердечный приступ, у него начинается отек легкого.
7 мая	Очередной провал попытки избрания в Академию.
середина мая — середина июня	Гостит в Женеве вместе с Эстеллой и сестрой Лили. Совершают поход в Альпы (30 мая — 5 июня). Врачи прописывают Готье рыбий жир.
23—30 июня	Гостит у принцессы Матильды в Сен-Гратьене.
август	В начале месяца совершает поездку по Швейцарии в сопровождении Эстеллы.
	Выезжает в Амбер (29 августа), чтобы навестить сына, который работает там в должности супрефекта.
9 сентября	Возвращается с дочерью в Нейи.
24 октября	Назначен библиотекарем принцессы Матильды с жалованьем в 6000 франков в год.
начало ноября	Гостит у Карлотты Гризи.
24 декабря	Сын Готье назначен начальником отдела Министерства внутренних дел.
1869	
4 января	Начинает вести театральную хронику в «Журналь офисьель» (Le Journal officiel), в который 1 января был преобразован «Монитёр универсель».
12 января	Карлотта приезжает в Нейи и остается там до 2 апреля.
март—апрель	Снова выставляет свою кандидатуру в Академию (30 марта) и снова терпит провал (29 апреля). См. ил. 13.
14 августа	Получает приглашение в Египет на открытие Суэцкого канала, которое должно состояться 17 ноября.
сентябрь	Из Женевы путешествует по Италии. Его сопровождают Эстелла и Карлотта со своей дочерью Эрнестиной (от князя Радзивилла). Посещает Милан, Венецию, Болонью, Парму и Геную.
1 октября	Возвращается в Париж.
7 октября	Выезжает в Египет. К несчастью, в Марселе падает на трапе парохода и получает вывих левого плеча и трещину плечевой кости. Несмотря на это, продолжает путешествие.
16 октября — 15 ноября	Успешно лечится в Каире.
17—21 октября	Присутствует на открытии канала, путешествие по каналу.
28 октября	Возвращение в Каир, экскурсия к пирамидам.

декабрь	Отплывает из Александрии (5 декабря) и возвращается в Париж через Неаполь, Рим и Женеву.
1870 февраль—май	Публикует в «Журналь офисьель» (17 февраля – 12 мая) очерки о поездке в Египет.
	Сын Готье, назначенный в начале февраля супрефектом в Понтуазе, женится на Элизе Порталь (26 февраля). Готье рад этому браку.
19 июля	Объявлена война с Пруссией.
30 августа	Вывозит Эстеллу в Швейцарию.
сентябрь	Префект полиции закрывает театры (11 сентября), и с 17 сентября Готье начинает писать для «Журналь офисьель» статьи под общим названием «Путешествие по Парижу. Взгляд зрителя», в которых рассказывает о различных событиях культурной жизни Парижа.
14 ноября	Отправляет с воздушным шаром письмо Эстелле в Женеву, в нем жалуется не столько на голод, сколько на то, что он чувствует себя запертым в могиле, оторванным от всего мира.
1871 28 января	Капитуляция Франции и перемирие.
12 февраля	С трудом поправляется после воспаления легких, условия жизни по-прежнему ужасны, но он не может выехать в Женеву.
26 июня	Добирается до Женевы.
6 октября	Министр народного просвещения сообщает Готье о восстановлении его пенсии, которую ему снова начинают выплачивать во второй половине этого года.
8 октября	Уходит из «Журналь офисьель» и пишет в «Газет де Пари» (La Gasette de Paris), что в Париж возвратилась нормальная жизнь и вновь открылись театры.
1872	Болеет.
январь—февраль	В «Газет де Пари» за 28 февраля опубликована последняя статья Готье как театрального критика – о новой постановке «Рюи Блаза».
март—июнь	Болеет.
	Публикует в газете «Бьян пюблик» (Le bien public) двенадцать глав «Истории романтизма», оставшейся незаконченной (3 марта – 6 ноября).
	Эстелла выходит замуж за поэта, драматурга, главу иллюстрированного еженедельника «Современная жизнь» Эмиля Бержера (15 мая).
	С 28 мая по 17 июня Готье публикует последние статьи о ежегодном Салоне.

июль—август	Тяжело болеет.
23 октября	В 8 часов 32 минуты умирает в своем доме в Нейи. См. ил. 26–28.
25 октября	Отпевание Теофиля Готье в церкви Нейи и похороны на кладбище Монмартр.
1873	
23 октября	Издатель Альфонс Лемер публикует сборник памяти Готье «Гробница Теофиля Готье», в котором собраны воспоминания и поэмы его друзей, среди которых «Теофилю Готье» Виктора Гюго и «Погребальный тост» Стефана Малларме.
1875	На кладбище Монмартр открывается памятник Теофилю Готье. См. ил. 30, 31.
1933	
17 марта	Одна из парижских улиц была названа сначала улицей, а затем проспектом Теофиля Готье.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Бахтин 1975 – *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975.

Гюго1980 – *Гюго В.* Из предисловия к драме «Кромвель» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. С. 447–459.

Зенкин 1999 – *Зенкин С.Н.* Теофиль Готье и «искусство для искусства» // Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. С. 170–200.

Морозов 1972 – *Морозов А.А.* Немецкая волшебно-сатирическая сказка // Немецкие волшебно-сатирические сказки. Л.: Наука. 1972. С. 155–201.

Новалис 1980 – *Новалис.* Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. С. 94–107.

Чавчанидзе 1971 – *Чавчанидзе Д.Л.* «Земное начало» романтизма // Вопросы литературы. 1971. № 2. С. 224–227.

Шлегель 1983 – *Шлегель Ф.* Эстетика, философия, критика: В 2 т. М.: Искусство, 1983.

Allen 1981 – *Allen J.S.* Popular French Romanticism. Syracuse: Syracuse Univ. Press, 1981.

Baronian 2000 – *Baronian J.-B.* Panorama de la littérature fantastique de langue française. P.: Le Renaissance du livre, 2000.

Bellati 2009 – *Bellati G.* Fictions narratologiques de l'euphemisme dans le conte «Jettatura» de Théophile Gautier // Synergies. Italie. Numéro special. 2009. P. 31–40.

Bellemin-Noël 1973 – *Bellemin-Noël J.* Fantasque Onufrius // Romantisme. 1973. Vol. 3. № 6. P. 38–48.

Bénichou 1992 – *Bénichou P.* L'école du désenchantement. P.: Gallimard, 1992.

Bourgeois 1974 – *Bourgeois R.* L'ironie romantique. Spectacle et jeu de madame de Staël à Gérard de Nerval. Grenoble: Presses univ. de Grenoble, 1974.

Brix 1999 – *Brix M.* Le romantisme française. Esthétique platonicienne et modernité littéraire. Namur: Peeters, 1999.

Cassagne, Oster 1997 – *Cassagne A., Oster D.* La théorie de l'art pour l'art: en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes (1906) / Préf. de D. Oster. Seyssel: Champ Vallon, 1997.

Castex 1951 – *Castex P.G.* Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant. P.: Corti, 1951.

Chambers 1974 – *Chambers R.* La lecture de «Spirite». P.: Minard, 1974.

Condé 1986 – *Condé M.* La genèse sociale de l'individualisme romantique. Liège: Centre culturel Les Grignoux, 1986.

Court-Perez 1998 – *Court-Perez F.* Gautier, un romantique ironique. P.: Honoré Champion, 1998.

Crouzet 1995 – *Crouzet M.* Théophile Gautier et le paradoxe du cliché // Gautier T. Les Jeunes France. Romans gouguenards. P.: Seguier, 1995. P. 7–27.

David-Weill 1989 – *David-Weill N.* Rêve de Pierre: La Quête de la femme chez Théophile Gautier. Genève: Droz, 1989.

Eigeldinger 1982 – *Eigeldinger M.* L'inscription du théâtre dans l'œuvre narrative de Gautier // Romantisme. 1982. Vol. 12. № 38. P. 141–150.

Fernández Sánchez 1998 – *Fernández Sánchez C.* L'autre testament de *Spirite* ou le triomphe de Cherbonneau: fantastique et humour en habit noir // Relire Théophile Gautier: le plaisir du texte / Éd. F.G. Henry. Amsterdam; Atlanta (GA): Rodopi, 1998. P. 221–240.

Fouchereau 1972 – *Fouchereau S.* Théophile Gautier. P.: Denoël, 1972.

Friedrich 1983 – *Friedrich C.D.* De la peinture de paysage dans l'Allemagne romantique. P.: Klincksieck, 1983.

Gautier 1904 – *Gautier T.* L'histoire de la marine par Eugene Sue // Gautier T. Souvenirs de théâtre, d'art et de critique. P.: E. Fasquelle, 1904. P. 17–39.

Goebel 1983 – *Goebel G.* «Poésies» et «littérature» chez Baudelaire et Mallarmé. Analyse du changement d'un concept // Romantisme. 1983. Vol. 13. № 39. P. 73–74.

Harvey 2007 – *Harvey C.* Théophile Gautier, romancier romantique. Québec: Nota bene, 2007.

Hawthorne 1993 – *Hawthorne M.C.* Dis-covering the Female: Gautier's Roman de la momie // The French Review. 1993. April. Vol. 66. № 5. P. 718–729.

Hoffmann 1967 – *Hoffmann E.T.A.* Briefwechsel. Gesammelt und erläutert von Hans von Müller und Friedrich Schnapp. München, 1967. Bd. 1: Königsberg bis Leipzig, 1794–1814.

Houssais 2007– *Houssais Y.* Théophile Gautier et la nouvelle: écriture du paradoxe // Anales de Filologia Francesa. 2007. № 15. P. 175–179.

Jackel 1994 – *Jackel M.* Thématisation du référénces littéraires, ironisation de la fiction et parodie dans «L'Héritage mystérieux» (1857) de Ponson du Terrail // Intercâmbio. Univ. do Porto. 1994. № 5. P. 205–214.

Jasinski 1929 – *Jasinski R.* Les années romantiques de Théophile Gautier. P.: Guibert, 1929.

Jeleva 2008 – *Jeleva A.* La (pseudo-)rationalité du fantastique romantique // Acta iassyensia comparationis. Sofia: Sofiyski Univ., 2008. № 6. P. 238–243.

Kearns 2007 – *Kearns J.* Théophile Gautier. Orator to the Artists. Art Journalism of the Second Republic. L.: Legenda, 2007.

Lacoste 1995 – *Lacoste J.* Esthétique romantique en France. Une anthologie // Romantisme. 1995. Vol. 25. № 89. P. 108–110.

Lagarde, Michard 1970 – *Lagarde A., Michard L.* La littérature française. Les Évolutions du XIX[e] siècle / Éd. de H. Lemaître: En 3 vol. P.: Bordas: Laffont, 1970. Vol. III.

Lanson 1923 – *Lanson G.* Histoire de la littérature française illustrée. P.: Hachette, 1923. T. 2.

Larcher 1802 – *Larcher P.H.* Notes sur le premier livre d'Hérodote // Hérodote. Histoire: En 9 vol. / Traduite du grec; avec des remarques historiques et critiques, un essay sur la chronologie d'Hérodote, et une tabel géographique [par P.H. Larcher]. Nouvelle éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. P.: Guillaume Debure: Théophile Barrois, 1802. T. 1. P. 173–539.

Laubriet 2002 – *Laubriet P.* Introduction // Gautier T. Romans, contes et nouvelles: En 2 vol. P.: Gallimard, 2002. T. 1. P. P. XI–LXXIX.

Lavaud 2003 – *Lavaud M.* À propos des Grotesques (1844): Gautier et l'échec littéraire // CAIEF. 2003. № 55. P. 441–458.

Lund 1983 – *Lund H.P.* Contes pour l'art. La métaphorique picturale et théâtrale chez Gautier // Revue Romane. 1983. Vol. 18. № 2. P. 240–265.

Migozzi 2005 – *Migozzi J.* Boulevards du populaire. Limoges: PUF, 2005.

Millet 2007 – *Millet C.* Le Romantisme. Du bouleversement des lettres à la France révolutionnaire. P.: Livre de Poche, 2007.

Millet, Labbé 2005 – *Millet G., Labbé D.* Le fantastique. Tours: Belin, 2005.

Pagán López 2005–2006 – *Pagán López A.* Amour rétrospectif, ambiguité et intertextualité dans le récit fantastique // Anales de Filología Francesa. Univ. de Murcia. 2005–2006. № 14. P. 199–216.

Préfaces et manifestes 2009 – Préfaces et manifestes du XIX[e] siècle / Textes réunis par J.-L. Diaz // Revue des sciences humaines. Vol. 295. № 3. Lille: Presses de l'Univ. Charles-de-Gaulle, 2009.

Prévost 2002 – *Prévost M.* Rictus romantigue. Politique de rire chez Victor Hugo. Montréal: Presses de l'Univ. de Montréal, 2002.

Raulet 2001 – *Raulet C.* Le commerce du livre et la relation auteur – lecteur dans la première moitié du XIX[e] siècle en France // Labyrinthe. 2001. № 10. P. 97–100.

Roulin 1999 – *Roulin J.-M.* Confusion des sexes, mélanges des genres et quête du sens dans Mademoiselle de Maupin // Romantisme. 1999. Vol. 29. № 103. P. 31–40.

Sainte-Beuve 1945 – *Sainte-Beuve Ch.* Œuvres complètes. P.: Gallimard, 1945.

Sainte-Beuve 1966 – *Sainte-Beuve Ch.* Hoffmann. Contes Nocturnes // Œuvres. P.: Gallimard, 1966. Vol. 1: Premiers lundis.

Schneider 1964 – *Schneider M.* La littérature fantastique en France. P.: Fayard, 1964.

Smith 1917 – *Smith H.E.* The Brief-Narrative Art of Théophile Gautier // Modern Philology. Chicago, 1917. Vol. 14. № 11. P. 647–664.

Stocks 2006 – *Stocks L.* Gautier critique: liberté, fraternité et la défence du réalisme. South Australia: Univ. of Adelaïde, 2006.

Thérenty 2003 – *Thérenty M.-E.* Mosaique. Etre écrivain entre presse et roman. P.: Champion, 2003.

Thérenty 2007 – *Thérenty M.-E.* La case ironique: Delphine de Girardin et Théophile Gautier feuilletonistes (1836–1848) // Ironies entre dualité et duplicité. Aix-en-Provence: Publication de l'Univ. de Provence, 2007. P. 79–90.

Thomas 2004 – *Thomas C.* Les Petits romantiques et le rococo: éloge du mauvais goût // Romantisme. 2004. Vol. 34. № 123. P. 21–40.

Tortonese 2003 – *Tortonese P.* Gautier et le théâtre de la fantaisie // La fantaisie post-romantique / Sous l'éd. de J.-L. Cabanès, J.-P. Saidah. Presses univ. de Mirail, 2003. P. 397–408.

Vaillant 2005 – *Vaillant A.* La crise de la litérature. Romantisme et modernité. P.: ELLUG, 2005.

Voisin 1980a – *Voisin M.* Le Soleil et la Nuit. L'Imaginaire dans l'œuvre de Théophile Gautier. Bruxelles: Éd. de l'Univ. de Bruxells, 1980.

Voisin 1980b – *Voisin M.* L'insolite quotidien dans l'œuvre en prose de Théophile Gautier // Cahiers de l'Association internationale des études françaises. 1980. Vol. 32. № 1. P. 163–178.

Voisin 1998 – *Voisin M.* La pensée de Théophile Gautier // Relire Théophile Gautier / Éd. par F.G. Henry. N.-Y.: Rodopi, 1998. P. 73–89.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

На фронтисписе. Теофиль Готье (1811–1872). Худож. Огюст де Шатильон (1808–1881). Холст, масло. 1839. Музей романтизма (Париж).

Ил. на с. 5. Теофиль Готье (1838 г.). Эстамп. Худож. Селестен Нантёй (1813–1873). Опубл. в 1838 (P.: Chez Aubert). 1839.

Иллюстрации к повести Готье «Фортунио»

Ил. 1–24. Цветные литографии. Худож. Александр Люнуа (1863–1916). Опубл. в: *Gautier T.* Fortunio: réimpression textuelle de l'édition originale / Ill. A. Lunois. P.: Librairie des bibliophiles, 1898.

Иллюстрации к биографии Теофиля Готье

Ил. 1. Теофиль Готье в возрасте 28 лет. Худож. Огюст де Шатийон (1808–1881). Холст, масло. 1839. Музей Карнавале (Париж).

Ил. 2. Теофиль Готье в греческом костюме (1840-е годы). Рисунок. Худож. Теодор Шассерио (1819–1856). Библиотека Института Франции (Париж).

Ил. 3. Теофиль Готье (*в левом нижнем углу*) в знаменитом красном жилете на премьере драмы В. Гюго «Эрнани» (1830). Худож. Поль Альбер Бенар (1849–1934). Холст, масло. 1903. Дом-музей Виктора Гюго (Париж).

Ил. 4. Оноре де Бальзак с актером Фредериком Леметром и Теофилем Готье (*слева направо*). Худож. Жан-Жак Гранвиль (наст. имя Жан Иньяс Изидор Жерар; 1803–1847). Акварель. 1840.

Ил. 5. Один из «литературных обедов» у ресторатора Маньи (ок. 1866 г.): Теофиль Готье, Гюстав Флобер, Сент-Бёв, Александр Дюма-сын, Шарль Эдмон (наст. имя Карл Эдмунд Хоецкий), Жорж Санд (*слева направо*). Рисунок. Худож. Эдуард Лоеви (1857–1910). 1866.

Ил. 6. Теофиль Готье времен «битвы за "Эрнани"» носил длинные волосы и красный жилет. Литография. Худож. Бенжамэн Рубо (1811–1847). 1839. Опубл. в изд.: *Jullien A.* Le romantisme et l'éditeur Renduel: souvenirs et documents sur les écrivains de l'école romantique, avec lettres inédites adressées par eux a Renduel. P.: Charpentier et Fasquelle, 1897. P. 233. См. также ил. 3.

Ил. 7. Портрет Теофиля Готье, выполненный знаменитым скульптором и живописцем Огюстом Клезенже. Худож. Огюст (наст. имя Жан-Батист) Клезенже (1814–1883). Рисунок карандашом. 1853. Национальный музей Версальского дворца и дворцов Трианон (Версаль).

Ил. 8. Портрет-шарж Теофиля Готье в виде набоба. Раскрашенная гравюра мастера Жийо с рисунка худож. Ипполита Майи (1829–?). Опубл. в: Le Hanneton. 1867. 3 mai. Оригинал хранится в Национальном музее Версальского дворца и дворцов Трианон (Версаль).

Ил. 9. Карикатура на Готье с повестью «Спирита» (подпись: «Теофиль Готье и его новый роман, *спиритический*... и спиритуалистический»). Эстамп. Худож. Карло Грипп (наст. имя Шарль Тронсан; 1830–?). Опубл. в: La Lune. 1866. 6 mai.

Ил. 10. Портретная зарисовка-шарж Теофиля Готье, выполненный Надаром. Худож. Надар (наст. имя Гаспар-Феликс Турнашон; 1820–1910). Уголь, белила (блики), коричневая бумага. XIX в. Лувр (Париж).

Ил. 11. Портретная зарисовка-шарж Теофиля Готье, выполненный Надаром. Худож. Надар (наст. имя Гаспар-Феликс Турнашон; 1820–1910). Уголь, акварель, коричневая бумага. Лувр (Париж).

Ил. 12. Карикатура на Теофиля Готье, выполненная Надаром. Гравюра. Худож. Надар (наст. имя Гаспар-Феликс Турнашон; 1820–1910). 1854–1855. Опубл. в: [*Commerson J.L.A.*] Un million de binettes contemporaines, biographie comique, par Commerson. P.: Passard, [1883]. P. 240.

Ил. 13. Карикатура на Готье – несостоявшегося академика (надпись вверху: «Вечные сожаления»; внизу: «Табак Леванта»). Литография. Худож. Андре Жиль (1840–1885). 1869. Опубл. в: L'Éclipse. 1869. 2 mai.

Ил. 14. Теофиль Готье (ок. 1856 г.). Фотография. Фот. Надар (наст. имя Гаспар-Феликс Турнашон; 1820–1910). Музей Метрополитен (Нью-Йорк).

Ил. 15. Теофиль Готье в русской шубе и шапке (1859 г.). Фотография. Фот. Пьер-Амбруаз Ришбур (1810–1875). Опубл. в: *Spoelberch de Lovenjoul Ch., vicompte de.* Histoire des œvres de Théophile Gautier: P.: G. Charpentier, 1887. T. 2.

Ил. 16. Портрет Теофиля Готье, выполненный с фотографии Берталя (1867 г.). Фот. Берталь (наст. имя Шарль Альбер д'Арну; 1820–1882). Худож. Адольф Муйерон (18820–1881). Опубл. в: L'Illustration. 1867. 9 mars.

Ил. 17. Предположительно портрет Карлотты Гризи в итальянском костюме. Рисунок Теофиля Готье. Сепия, гуашь, коричневая бумага. 1847. Дом-музей Бальзака (Париж).

Ил. 18. Портрет Эрнесты Гризи кисти Теофиля Готье. Дерево, масло. Ок. 1843. Дом-музей Бальзака (Париж).

Ил. 19. Рисунок Теофиля Готье предположительно на сюжет «искушение святого Антония». Чернила, сепия, белила. [1872]. Архив департамента О-де-Сен (Франция).

Ил. 20. Карлотта Гризи в роли Жизели. Гравюра. Худож. Альфред Эдвард Шалон (1780–1860), мастер Джон Генри Робинсон (1796–1871). Опубл. ок. 1842 г. (P.: Soulier). Национальная библиотека Франции (Париж).

Ил. 21. Карлотта Гризи и Жюль Перро. Полька. Раскрашенная вручную литография. Худож. Жюль Бувье (1800–1867), мастер Блау. Опубл. в 1845 г. Музей Виктории и Альберта (Лондон).

Ил. 22. Карлотта Гризи в балете «Пери» (композитор Ф. Бургмюллер, сценарий Т. Готье и Ж. Коралли). Раскрашенная вручную литография. Худож. и мастер Уильям Стир (XIX в.). Опубл. ок. 1844 г. Нью-Йоркская публичная библиотека исполнительских искусств (Линкольн-центр).

Ил. 23. Теофиль Готье с Эрнестой Гризи и дочерьми Жюдит и Эстеллой в Нейи-сюр-Сен (1857 г.). Фотография. Фот. Пьер-Амбруаз Ришбур (1810–1875). Архив департамента О-де-Сен (Франция).

Ил. 24. Эстелла Готье (1848–1914), младшая дочь Готье. Фотография. Фот. Надар (наст. имя Гаспар-Феликс Турнашон; 1820–1910). Частная коллекция.

Ил. 25. Жюдит Готье (1845–1917), старшая дочь Готье. Фотография. Мастерская Надара. Ок. 1880. Нью-Йоркская публичная библиотека.

Ил. 26. Теофиль Готье на смертном одре. Фотография. 1872. Архив города Нейи-сюр-Сен (Франция).

Ил. 27. Кабинет Теофиля Готье, в котором писатель окончил свои дни. Рисунок с натуры. Худож. М. Прово. XIX в. Архив города Нейи-сюр-Сен (Франция).

Ил. 28. Дом в Нейи-сюр-Сен (ул. Лоншан, 32), где скончался Теофиль Готье. Фотография. XIX в. Архив города Нейи-сюр-Сен (Франция).

Ил. 29. Две вдовы: Карлотта и Эрнеста Гризи (1870-е годы). Фотография Лакомба и Лакруа. Женева. Национальные галереи Большого дворца (Париж).

Ил. 30. Открытие надгробного памятника Теофилю Готье 17 июля 1875 г., кладбище Монмартр. Рисунок. Худож. Гюстав Жане (1829–1898). Музей Карнавале (Париж). Речь произносит поэт Леконт де Лиль (1818–1894).

Ил. 31. Центральная фигура памятника Теофилю Готье (муза Каллиопа). Скульптор Киприан (или Циприан) Годебский (1835–1909). Мрамор. 1875. Кладбище Монмартр (Париж).

Ил. 32. Дочь Теофиля Готье Жюдит Готье, известная французская писательница, первая женщина-академик Гонкуровской академии. 1920-е годы. Фотография. Нью-Йоркская публичная библиотека. Изображение Теофиля Готье воспроизведено по медали Пьер-Жана Давида д'Анжера (1788–1856). Бронза. 1845. В настоящее время хранится в Художественном музее Уолтерса (Балтимор, США).

Содержание

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Том I

Перевод Е.В. Трынкиной

ФОРТУНИО 7
ЦАРЬ КАНДАВЛ 151
НЕВИННЫЕ РАСПУТНИКИ 203
МИЛИТОНА 283
ДВОЕ НА ДВОЕ 381

ПРИЛОЖЕНИЯ

Н.Т. Пахсарьян. Романическая проза Теофиля Готье: между реальностью и воображением 521

Примечания. *Сост. Е.В. Трынкина, Н.Т. Пахсарьян, Е.В. Безмен, М.Б. Смирнова, П.В. Башарин, А.Г. Курбанов* 551

Основные даты жизни и творчества Пьера Жюля Теофиля Готье *Сост. Е.В. Трынкина* 680

Список сокращений 698

Список иллюстраций 702

Готье Теофиль

Романическая проза: В 2 т. / Теофиль Готье; пер. с фр.; изд. подгот. Н.Т. Пахсарьян, Е.В. Трынкина. – М.: Ладомир: Наука, 2012. Т. 1: Фортунио. Царь Кандавл. Невинные распутники. Милитона. Двое на двое. – 707 с., ил. (Литературные памятники)

ISBN 978-5-86218-504-1
ISBN 978-5-86218-497-6 (т. I)

Творчество Теофиля Готье (1811–1872), одного из выдающихся писателей-классиков XIX в., в России было представлено до сих пор весьма скупо (романами «Капитан Фракасс» и «Мадемуазель де Мопен», стихотворным сборником «Эмали и камеи»). Меж тем фигура французского романтика, основоположника «парнасской школы», привлекала пристальное внимание многих русских писателей и поэтов рубежа XIX–XX вв. (М. Волошина, В. Брюсова, Н. Гумилева, А. Ахматовой и др.).

Настоящий том охватывает пять повестей (сам писатель называл их романами), созданных в 1830–1840-е годы. Он адресован читателю, желающему преодолеть несколько однобокое восприятие Т. Готье, погрузиться в его разнообразный и парадоксальный литературный мир, сочетающий байронический демонизм, иронию, эпикурейское жизнелюбие, флер эротичности, изощренный эстетизм и дотошное воспроизведение исторических и бытовых деталей, «материалистичность» и фантастику.

Неутомимый путешественник (Англия, Бельгия, Испания, Алжир, Италия, Мальта, Константинополь, Греция, Россия...), художественный критик, театральный обозреватель, поражавший работоспособностью журналист («пролетарий пера», по его собственному выражению), Готье вложил в эти повести весь свой богатейший опыт. Он смело преодолевает географические и временные границы, перенося нас из древней полулегендарной Лидии («Царь Кандавл») в современную ему Францию («Невинные распутники») или Испанию («Милитона»), из Англии 20-х годов XIX в. на остров Св. Елены, где в изгнании умирает великий Наполеон («Двое на двое»), из салонов парижского полусвета в экзотическую Индию (в повести «Фортунио» главный герой, светский лев, бесстрастный денди и одновременно богатый наследник индийского набоба, превращает один из центральных кварталов Парижа в сказочный оазис восточной роскоши – Эльдорадо, а в итоге, разочаровавшись в «старушке Европе», возвращается в Индию).

При всей тематической пестроте повестей, Готье прежде всего интересует природа человеческих чувств. Будучи истинным ценителем и знатоком изящной словесности, он мастерски избегает избитых сюжетов, тривиальных литературных приемов и ходов. Его герои всегда оказываются в ситуации рокового выбора, который раз и навсегда меняет их жизнь. Так, закаленный в боях воин не в силах устоять перед велением сердца и смиренно преклоняет колени перед пленительной царицей, а блистательная куртизанка, искушенная в коварстве, неожиданно открывает целый мир возвышенных чувств, ради которых жертвует своей жизнью.

Представленные в настоящем издании повести – это не только занимательные рассказы о любви, но и обширный свод самых разносторонних знаний, которыми располагал XIX в. и которые жадно впитал Готье, – об истории, науке, архитектуре, живописи, литературе, моде. Ориентироваться в этом бескрайнем море информации, равно как и в тонком узоре литературных и культурных аллюзий, читателю помогут подробные примечания и статья, посвященная малоизвестному жанру творчества писателя.

«Живописец слова» (по меткому определению Сент-Бёва), Готье представлен в настоящем томе в достойном художественном обрамлении: при оформлении книги были использованы редкие иллюстрации мастеров книжного дела, граверов и литографов XIX в.

Научное издание

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

В двух томах

Том I

Фортунио
Царь Кандавл
Невинные распутники
Милитона
Двое на двое

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии «Литературные памятники»

Редакторы
Е.В. Безмен, М.Б. Смирнова

Корректор
О.Г. Наренкова

Разработка оригинал-макета, верстка и препресс
В.Г. Курочкин

ИД № 02944 от 03.10.2000 г. Подписано в печать 09.06.2012 г.
Формат 70×90$^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Баскервиль». Печ. л. 55,0. Тираж 2000 экз.
Зак. № К-8704.

Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Тел. склада: 8-499-729-96-70
E-mail: ladomirbook@gmail.com

Отпечатано в ГУП «ИПК "Чувашия"»
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13

ISBN 978-5-86218-497-6

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ

Серия «Литературные памятники»

ВОРДСВОРТ УИЛЬЯМ

Прелюдия, или Становление сознания поэта

Появление на русском языке первого полного перевода поэмы Уильяма Вордсворта «Прелюдия, или Становление сознания поэта» – крупное событие для отечественной культуры. Это центральный памятник раннего английского романтизма, детально прописанная «биография души» художника того времени.

Ее автор, У. Вордсворт (1770–1850), прожил долгую жизнь. С литературным творчеством он соприкоснулся, когда были живы корифеи английского классицизма и сентиментализма Сэмюэл Джонсон и Уильям Каупер. В 1798 г. Вордсворт (совместно с Сэмюэлом Тейлором Колриджем) издал сборник «Лирические баллады и другие стихотворения», открывший эпоху романтизма в Великобритании. Позже, как очевидец последствий французского террора, Вордсворт перестал разделять энтузиазм сторонников революционного движения и приблизился к лону Англиканской церкви, из-за чего приобрел противников в лице младших современников – Джорджа Гордона Байрона и Перси Биши Шелли. Вордсворт поддерживал приятельские отношения со многими современниками – Вальтером Скоттом, Томасом Де Квинси, Альфредом Теннисоном и др., в 1843–1850 гг. он занимал пост поэта-лауреата при королеве Виктории, но люди искали встреч с ним не как с официальной фигурой, а как с признанным поэтом-мыслителем. С ним состоял в переписке Генри Уордсворт Лонгфелло. Тридцатилетний Ральф Уолдо Эмерсон специально приезжал в Озерный край, в усадьбу на холме Райдал, чтобы лично побеседовать со стариком Вордсвортом. К тому времени многие поэтические произведения последнего давно были разобраны на цитаты. «Прелюдию» знали и цитировали Томас Харди, Уолтер Патер, Льюис Кэролл, Джордж Элиот, Вирджиния Вулф, Элизабет Баррет-Браунинг, Уильям Фолкнер и многие другие.

Через «Прелюдию» Вордсворт раскрывается как поэт, предвосхитивший развитие возрастной психологии и совместивший ее с психологией творчества. Современные ученые иногда называют «Прелюдию» «поэмой, стоящей у истоков модернизма», ведь предметом особого поэтического внимания здесь являются «моменты видения» героя, вспышки его воображения.

До выхода настоящего издания на русском языке публиковалось менее одной четверти его поэтического наследия, и поэма «Прелюдия» была представлена лишь небольшими фрагментами. Данным изданием это упущение наверстано. Сюда вошли практически все лучшие стихотворные произведения Вордсворта, созданные в период так называемого «золотого» расцвета его таланта (1797–1807 гг.).

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ

Серия «Литературные памятники»

ГЮГО ВИКТОР

Ган Исландец. Бюг-Жаргаль

Один из самых популярных и читаемых классиков французской литературы, автор всемирно известных «Собора Парижской Богоматери», «Отверженных», «Человека, который смеется», Виктор Гюго (1802–1885) представлен своими дебютными романами – «Ган Исландец» и «Бюг-Жаргаль». Оба произведения созданы в 20-е годы XIX в., когда их юному автору еще не было и двадцати, оба интересны не только с точки зрения эволюции самого Гюго, но как ярчайшие вехи в формировании жанра исторического романа. Публикуемые сочинения оказались на перекрестке двух эпох – просветительской и романтической, а потому впитали в себя и традицию готического романа (Г. Уолпол, А. Радклиф и М.-Г. Льюис), и живой интерес романтиков к экзотике, народным преданиям и, наконец, к истории, что ярчайшим образом воплотилось в творчестве Вальтера Скотта.

Вышедший в самый разгар «моды на ужасное» во Франции, «Ган Исландец» переполнен невероятными приключениями, а его заглавный герой – чудовище, то ли человек, то ли зверь, кровожадный и беспощадный. Романтический антураж – суровая природа Норвегии, народный быт и суеверия, описания придворных нравов давней эпохи – и мистический ореол, которым неизменно окружен в сознании людей последний год уходящего века (действие разворачивается в 1699 г.), – придают сюжету увлекательность и живость, счастливая же развязка дает надежду на безоблачное будущее благородных героев.

«Ган Исландец» послужил источником вдохновения и для других писателей: молодой Жерар де Нерваль был настолько впечатлен творением Гюго, что воспользовался сюжетом романа и написал мелодраму в трех действиях, которую читатель найдет в разделе «Дополнения».

В романе «Бюг-Жаргаль» действие происходит тоже в экзотических краях и тоже в переломную эпоху, но это перелом совсем иного толка: в 1790-е годы во Франции начинается революция, и на ее заморских территориях активизируются выступления борцов за автономию, а затем и за полную независимость колоний. Главные герои романа – личности неординарные, мощные, самобытные – в силу не зависящих от них обстоятельств оказываются во враждующих лагерях. Но их связывают узы искренней дружбы и преданности, что ставит героев перед нелегким моральным выбором. Напряженный и динамичный сюжет развивается на фоне самобытных реалий тропического острова Санто-Доминго. Этот сюжет, однако, не имеет счастливой развязки, до нее пройдет еще не одно десятилетие борьбы, горя и крови, поражений и побед.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ

Серия «Литературные памятники»

МИСТЕРИИ ЙОРКСКОГО ЦИКЛА

Данная книга содержит первый русский перевод и, соответственно, первое русское издание знаменитого и практически не известного у нас памятника средневекового театра – цикла Йоркских мистерий (XIV–XV вв.). Он состоит из целого ряда небольших пьес на библейские сюжеты как Ветхого, так и Нового Заветов – от сотворения мира до Страшного суда. Уцелели рукописи нескольких таких циклов, написанных на среднеанглийском языке. Из них всех Йоркский цикл считается самым удачным и лучше всего сохранившимся.

В эпоху позднего Средневековья циклы мистерий с большим успехом игрались в разных городах актерами-непрофессионалами из числа ремесленников, неизменно собирая огромные толпы зрителей. Написанный стихами текст таких пьес, скорее всего, сочиняли клирики, чьи имена до нас не дошли. Они же, по-видимому, осуществляли и режиссуру спектаклей, длившихся целый день – с рассвета до заката. Пьесы игрались на свежем воздухе под открытым небом в нескольких местах города. Сценой служила особая повозка на колесах, которая могла свободно перемещаться по узким средневековым улицам. Одна повозка, на которой исполнялась та или иная пьеса, сменялась другой, на которой разыгрывалось новое действо. Затем она тоже уезжала, а ее место занимала третья. Подобные представления случались в Англии раз в году, в середине лета, вскоре после Троицы, в католический праздник Тела Христова, в течение почти трех веков – с XIV по XVI – и постепенно прекратились с приходом Реформации. Циклы мистерий оказали безусловное влияние на елизаветинских драматургов (в том числе на Шекспира), которые продолжили традиции средневекового театра.

Помимо текстов, книга содержит также научную статью о мистериях Йоркского цикла и пространный комментарий. Издание предназначено как профессионалам, историкам театра и литературы, так и самому широкому кругу читателей, интересующихся средневековой культурой и восприятием в ней Библии.

Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом в издательстве
по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: 8-499-717-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70.
E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма,
в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»)

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ

Серия «Литературные памятники»

ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ

Письма

Святая Екатерина Сиенская (1347–1380), итальянская религиозная деятельница и писательница, принадлежит к числу фигур, определяющих облик той эпохи, в которую ей выпало жить. Современница многих великих людей – Франческо Петрарки, Джованни Боккаччо, Колуччо Салутати, Франко Саккетти, если упоминать лишь наиболее известные имена, – она навсегда могла бы остаться на втором или даже на третьем плане в ряду многочисленных религиозных деятелей XIV в., сочинения которых едва пережили их создателей. Но масштаб личности Екатерины был таков, что и сегодня интерес к ней не угасает. Святой Престол признал Екатерину Сиенскую небесной покровительницей Рима, Италии (вместе со св. Франциском Ассизским), Римско-католической церкви, а также средств массовой информации и коммуникации. По всему миру действуют общества, монашеские конгрегации и общины, названные именем Екатерины.

Как автор литературных произведений, Екатерина Сиенская известна прежде всего своими письмами, которые она посылала на протяжении десяти лет (с 1370 г. и вплоть до своей кончины). Это редкий образец средневековой религиозной прозы, принадлежащий перу женщины-монахини и отличающийся несомненными художественными достоинствами. В письмах затрагиваются важнейшие политические, общественные, религиозные проблемы той эпохи: перенесение Святого Престола из Авиньона в Рим и борьба с расколом внутри Церкви, примирение церковных и светских властей, реформа Церкви, взаимоотношения итальянских городов, установление мира в Италии. Приходится только удивляться, что скромная доминиканская монахиня, получившая весьма ограниченное образование, оказалась в состоянии не только понять назревшие проблемы своего времени, но и существенно повлиять на их решение. Адресатами ее писем, помимо простых людей (ее родственников, знакомых, сестер по ордену, монахов других орденов и т. д.), были Папы Римские, кардиналы, епископы, особы королевской крови, представители аристократии и городской власти, люди искусства.

Письма Екатерины Сиенской – не только бесценное свидетельство ее внутренней жизни, но и важный исторический источник, документ эпохи, в которую произошло уникальное соединение мистического и исторического начал. Неоспоримо и влияние Екатерины на духовную традицию, подтвержденное причислением святой (первой из женщин, наряду с Терезой Авильской) к числу Учителей Церкви в 1970 году.

ВНИМАНИЮ

ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ, ИСТОРИКОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ

Если вы хотели бы принять участие в подготовке томов серии «Литературные памятники», отправляйте, пожалуйста, свои предложения в Научно-издательский центр «Ладомир» по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а, НИЦ «Ладомир».

E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»).

ВНИМАНИЮ

СОБИРАТЕЛЕЙ СЕРИИ «ЛП»

Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом в издательстве
по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: 8-499-717-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70.
E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»).
Для получения бесплатного перспективного плана изданий «Ладомира» и бланка заказа вышлите маркированный конверт по адресу издательства.

ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

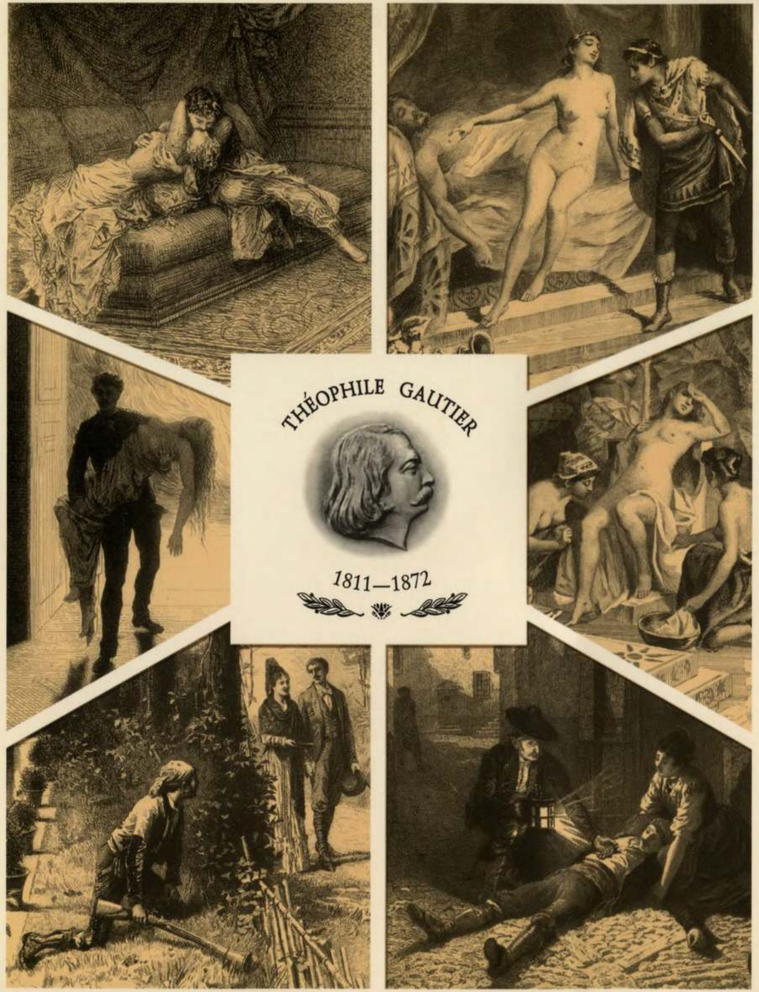
Фортунио
(1837)

Царь Кандавл
(1844)

Невинные распутники
(1846)

Милитона
(1847)

Двое на двое
(1848)



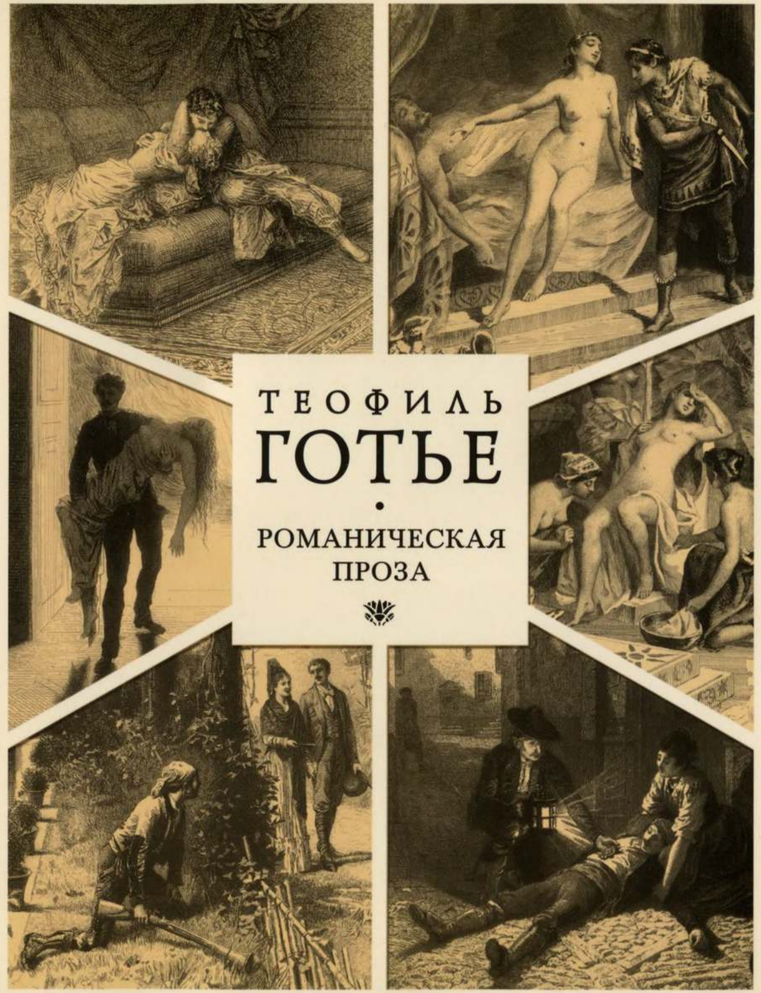
THÉOPHILE GAUTIER

1811—1872

ТЕОФИЛЬ • ГОТЬЕ

ЛП

ладомир



ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ТЕОФИЛЬ
ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Фортунио
(1837)

Царь Кандавл
(1844)

Невинные распутники
(1846)

Милитона
(1847)

Двое на двое
(1848)

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

РОМАНИЧЕСКАЯ ПРОЗА